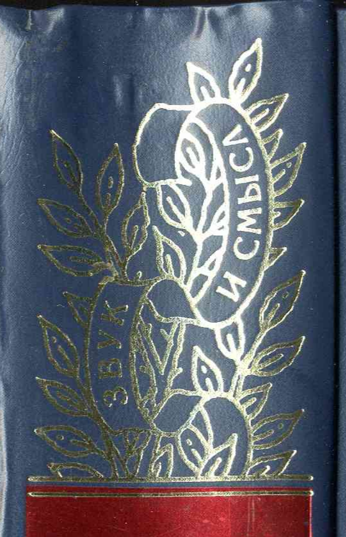
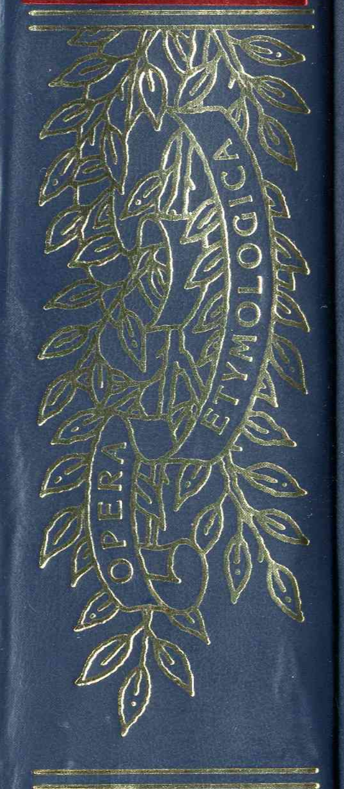


О. Н. Трубачев — Труды по этимологии



Том 1

OPERA ETYMOLOGICA

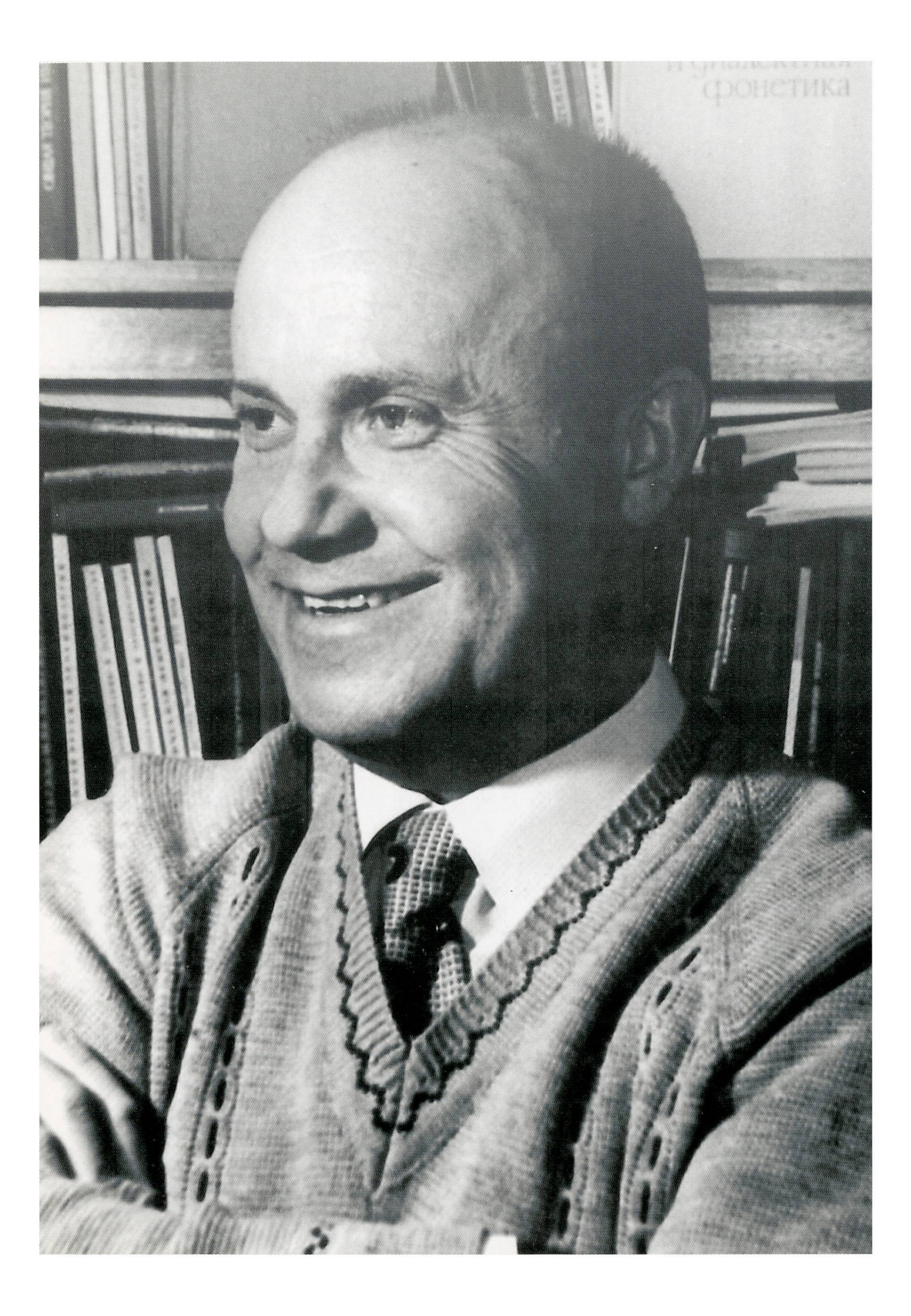
ЗВУК И СМЫСЛ

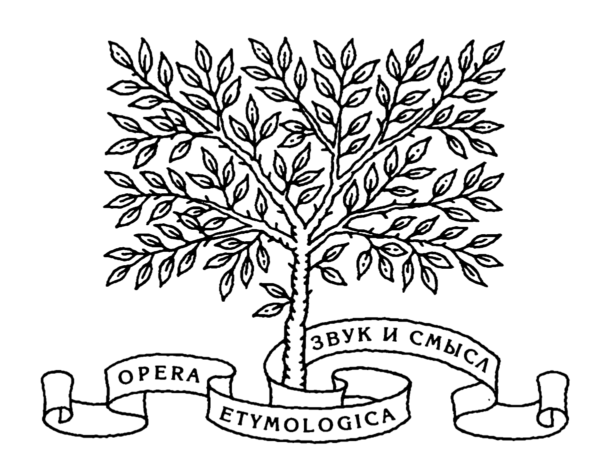
О. Н. Трубачев

Труды по этимологии

Слово · История · Культура

Том 1


фонетика


OPERA
ETYMOLOGICA
ЗВУК И СМЫСЛ

О. Н. Трубачев

Труды по этимологии

Слово · История · Культура

В двух томах



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2004

О. Н. Трубачев

Труды по этимологии

Слово · История · Культура

Том 1





ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
МОСКВА 2004

ББК 81.2
Т 77

Издание осуществлено при финансовой поддержке
Российского государственного гуманитарного фонда
(РГНФ)
проект № 03-04-16307

Трубачев О. Н.

Т 77 Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 1. — М.: Языки славянской культуры, 2004. — 800 с. — (Opera etymologica. Звук и смысл).

ISBN 5-9557-0048-2

Книга выдающегося ученого-слависта академика О.Н.Трубачева «Труды по этимологии» содержит более ста его работ, список которых составил (еще при жизни автора) один из его учеников А. Г. Григорян. Первоначально этот проект показался Олегу Николаевичу невыполнимым: разбросанные по разным отечественным и зарубежным источникам статьи (практически за 50 лет научной деятельности) найти и собрать воедино действительно было далеко непросто. Тем более приятно осознавать, что приложенные усилия не оказались напрасными. В процессе работы проект содержания будущей книги был значительно расширен с ориентацией на более полный охват фундаментальных для славистики и вообще для современного языкознания проблем, которые рассматривались ученым на фоне этимологического анализа колоссального лексического материала. С учетом этих проблем формировалась и рубрикация публикуемых статей. Бесценные по своему научному значению труды, собранные в двух томах настоящего издания, далеко не исчерпывают всех работ ученого в данной области, но в то же время дают представление о взглядах автора на решение важнейших проблем славянской этимологии, исторического языкознания и понимание культурно-исторического значения этимологических исследований.

Для лингвистов, филологов, историков, преподавателей филологических факультетов вузов, а также для всех интересующихся историей слова.

ББК 81.2

ISBN 5-9551-0048-2



ОГЛАВЛЕНИЕ

Часть 3. Славянская и индоевропейская этимология

СЛОВО О ТРУБАЧЕВЕ

Олег Николаевич Трубачев — целая эпоха в языкознании, но и более того в сфере гуманитарного знания второй половины XX века. Сделанное им огромно и всегда на высочайшем уровне. С самых первых трудов Трубачева стало понятно, с ученым какого уровня мы имеем дело. О масштабе его научного дарования можно было судить по кандидатской диссертации Олега Николаевича, защищенной в 1956 и поразившей специалистов (увы, тогда немногочисленных!) своей широтой, заявившей о себе уже в самом названии ее — «История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя», изданной как монография в 1959 году. Само соотнесение терминов родства и терминов общественного строя было новаторским шагом, как и само слово «История» в заглавии монографии.

Олег Николаевич действительно был историком не в меньшей степени, чем лингвистом и, кажется, это обстоятельство не было замечено сразу. А ведь он был историком Божьей милостью, и историческая доминанта присутствовала во всем объеме, им написанного: он был историком и в лингвистике, и когда он писал о терминах родства и общественного строя или о ремесленной терминологии, когда обращался к этнонимии, антропонимии и топонимии, когда он открывал и блестяще открыл присутствие древнего индо-арийского субстрата на юге России, открыв до тех пор неизвестную страницу в истории только еще имеющей стать будущей России. И, может быть, самое замечательное в этом то, что он не просто хорошо знал историю и применял, когда нужно, свои знания, но то, что нечто пребывавшее в пространстве «внеисторического» он преформировал таким образом, что оно оказывалось в плотном историческом контексте.

Но так же он своим примером преформировал то, что можно было бы назвать «российской» этимологией, часто непрофессиональной, случайной, от

случая к случаю и занимавшее далекое от центра лингвистических интересов положение. И сейчас, полстолетия спустя, этимология в России имеет весьма прочные корни и нет сомнения в ее надежном будущем. Этимологические труды Трубачева были той колыбелью, завязывалось достойное будущее этимологии.

И все-таки не только труды и исследования Олега Николаевича формировали этимологию дня сегодняшнего. Он отнюдь не пренебрегал и тем, что можно назвать организационной работой в области этимологии. В 1936 году был учрежден ежегодник «Этимология», вступивший уже в четвертое десятилетие своего существования. Олег Николаевич был разработчиком проекта и пробных статей «Этимологического словаря славянских языков», первый выпуск которого появился в 1974 году, а сейчас их уже 30 и успешно продолжается усилиями коллектива, созданного и подготовленного к ответственной и самостоятельной работе Трубачевым, и можно надеяться, что словарь успешно достигнет финиша, хотя для этого понадобится еще полтора десятка или около того выпусков. Потеря Олега Николаевича, конечно, невосполнима, и поэтому сейчас коллектив ЭССЯ, как никогда, нуждается в поддержке и помощи. Это было бы лучшим из того, что можно сделать в память инициатора, организатора и автора огромного большинства статей этого словаря.

За отпущенный ему век Олег Николаевич сделал исключительно много — фундаментальные монографии, каждая из которых была большим событием, сотни научных статей, докладов, рецензий. Наконец, ему принадлежала инициатива перевода «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера (с дополнениями, внесенными Трубачевым) и перевод всех четырех томов. А ведь сделать этот перевод мог бы и другой лингвист, знающий немецкий язык, но характерно, что ответственность за «русского» Фасмера взял на себя Трубачев — с раннего утра до обеда переводил с листа, одновременно печатая перевод на пишущей машинке, а с пяти часов садился со своим соавтором писать другую монографию, требовавшую большого труда. В половине одиннадцатого (ни раньше, ни позже) работа кончалась.

Геродота греки называли «отцом истории», хотя и до Геродота были известны тексты, содержавшие информацию исторического характера. В этом смысле и Олега Николаевича Трубачева смело можно было бы назвать «отцом русской этимологии» в ее предельно полном виде, осуществившем т о т а л ь н ы й подход к этой области знания и исследуемому экземпляру. И именно в этом пространстве и на этом уровне так тесно и органично сплетаются тайны человека и им познаваемого мира явлений, в отношении которого человек и этимолог выступают, по сути дела, как ономастет, не только дающий всему имени, но и познающий самого себя в зеркале имен.

Начинающееся издание этимологических трудов Трубачева — последний дар его нам, за которым будет следовать благодарность всех, кто будет проходить обряд посвящения в тайну формы и смысла, в тайны слов и в тайну Слова. По ступеням этого познания нас будет вести великий проводник Олег Николаевич Трубачев.

В. Т.

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ*

Начну с начала — с фамилии. Один уважаемый коллега-тюрколог попытался даже произвести фамилию Трубачёв из тюркского... Это он напрасно, хоть и от добрых чувств. В тюркском есть имена деятеля на *-чи/-чы*, но совершенно ясно, что фамилия Трубачёв — от *трубач* — фамилия военная, казачья, несмотря на попытку Кипарского связать ее с названием породы голубей (корень ее — германский, ср. др.-в.-нем. *trumba*, всё в том же значении 'труба', что вяжется семантически и функционально с дальнейшей судьбой фамилии), засвидетельствована в послеермаковской Сибири, в Тюмени 1650-х гг. (см. Словарь Тупикова), но истоки ее, повторяю, казачьи и потому — южновеликорусские. Я уже вспоминал о некоей не то балке, не то ерике Трубачёва на Дону, а Дон («излучина Дона») близко подступает к царицынскому Поволжью, «шалившему» при донском казаке Пугачеве (в обратном словаре фамилии Пугачёв и Трубачёв стояли бы рядом), откуда я родом...

Ad septuagintam

Мой научный руководитель по аспирантуре говаривал, что вот, мол, придет время, и вы будете во всеоружии знаний, в уверенном всеоружии... Учитель нескольких поколений нашей научной молодежи, академик Иван Петрович Павлов, учил тому, чтобы быть способным в любой момент пути уметь признать: «Я — невежда».

Вот пришли мои семьдесят, а где она, моя уверенность, и в ней ли смысл жизни, хотя бы только научной? В какой момент мы ближе к истине — тогда

* Речь на торжественном собрании в Российской государственной библиотеке по случаю 70-летия автора — О. Н. Трубачева.

ли только, когда исправно, заученно повторяем собранное и обработанное авторитетами, или — когда решаемся сами делать шаги на свой страх и риск? Я повторяю — на свой страх и риск. Поступая так, мы позволяем себе усомниться в привычной интерпретации, в традиционном ви́дении фактов. Развить в себе умение сомневаться в привычном и общепризнанном — вот, пожалуй, главное, чему меня научила моя научная жизнь, мой главный Учитель.

Из моих слов, похоже, следует, что я — то, что называется автодидакт, самоучка. В каком-то смысле, да. Из провинциального Днепропетровска, куда семью занесли перипетии войны, я прибыл в Москву без малого полстолетия назад с серьезным интересом к этимологии и — уже тогда — со своей темой и проблемой — этимологическим словарем славянских языков, чем я занимаюсь и сейчас и буду заниматься до конца дней. Самое время сказать спасибо тем, кто встретился на моем пути и при этом не помешал, не повлиял, не отговорил. А это было бы вполне возможное дело. Послемарристская Москва 1950-х гг. болела структурализмом. Появились возможности и у сравнительно-исторических изучений, но рейтинг «прогрессивности», как сейчас сказали бы, был на стороне структурализма. На предмет моих интересов порой поглядывали снисходительно, как на «вчерашний день» — не все, правда, и благодарная память хранит тех, кто проявил понимание, солидарность, поддержку. Я вначале обмолвился об автодидактизме и готов поправиться: нам лестно бывает думать, что главному или даже всему мы научились сами, но тут легко ошибиться — и в моем случае, и не только в моем. Мы удивительно много перенимаем, усваиваем от других, будь то люди старше нас, сверстники нам или моложе нас, «зубры» нашей науки или члены нашей семьи, наши жены... Женщины, думаю, не самые сильные стратеги, но тактики они великолепные. Тактика — искусство «ближнего боя», вспомним эту женскую черту: на одно слово — два, на два слова — десять (или — как в песне из одного посредственного сериала: «На каждое “о да!” доносится “о нет!”»). Ну, что сказать, — всё это очень поучительно... Способность незаметно учиться таким образом — одна из счастливейших, и я рад признать, что судьба меня ею не обделила. Мой преподаватель греческого, Александр Николаевич Попов из МГУ, помню, сказал, имея в виду мою усвояемость, — «вы как губка», дело было в аспирантском 1953—1954 учебном году, а для меня это и по сей день высокое отличие. Так что, начав разговор с рассказа о приехавшем в столицу самоучке, кончим признанием правоты древних: мы учимся всегда, всю жизнь и тогда, когда, как нам кажется, учим других.

Что сказать о первых шагах формирования научной личности? Ясно, что случай был не беспроигрышный. Этимология — дело непростое: научиться отделять зерно от плевел, выработать в себе этот ни с чем не сравнимый этимологический, свойственный только этимологии детективизм там, где до те-

бя — пусть с разным успехом — пробовали силы многие и весьма достойные, сделать это своим делом навсегда, сомневаться в чем угодно, но только не в правильности своего выбора. Сказать, что это было ответственно и страшно, значит ничего не сказать. На самом деле страшно как раз не было, был всепоглощающий интерес к языкам, словам, значениям слов, была некая спасительная страсть, заглушавшая упомянутые человеческие страхи. Спасибо судьбе, что на этом пути не утратил я сдерживающих начал, не стал ни графоманом, ни фантазером, ведь и это могло случиться. Мне всегда обидно слышать, что для кого-то фантазия и этимология чуть ли не синонимы. Мне больше импонирует отождествление «мечты» и «моего верного вола» у поэта Валерия Брюсова (Вперед, мечта, мой верный вол! Неволей, если не охотой...).

Спасибо науке, которая, будучи наиболее строгой и точной из гуманитарных, оставалась, тем не менее, в высоком смысле гуманитарной; за звукосоответствиями и филиациями значений она всегда видела и искала человека, социум, культуру. Это великое счастье — быть гуманитарием! Вы никогда не задумывались еще над одним отличием гуманитария от специалиста «точных» наук? Когда желают потеплее похвалить технократа, не преминут отметить: он сочинял стихи, музыку, писал маслом или акварелью, коллекционировал, изучал древнерусские иконы. NB! Всё это не от хорошей жизни, а наоборот, от гуманитарного голода всех этих математиков, физиков, химиков, а теперь еще и информатиков. Когда интервьюеры слишком настойчиво добиваются: «А какое у вас хобби?», у меня припасен дежурный ответ: собака, кошки, приусадебное хозяйство. Но всё это не более как отговорка (чтобы отвязались!). Я в хобби не нуждаюсь, я всегда лингвист и этимолог — во все субботы-воскресенья, во все отпуска. Моя наука меня не отпускает, но она же меня бесконечно питает и радует общечеловеческими радостями, не допускает иссушения разума. Она не глушила мои чисто человеческие слабости, о которых можно вполне сказать хорошо всем известными словами Плавта.

Я всегда работал самостоятельно, прямо со студенческой скамьи, сначала — как автор статей, индивидуальных тем, монографий, потом — как руководитель проектов, но всё же мое истинное предназначение — индивидуальный исследователь и исполнитель. Высоким руководством я тяготился, а с течением времени стал уставать и от человеческих контактов. Преподавания регулярно не вел и особенно к нему не стремился (редкие выступления, вроде сегодняшнего, не в счет), был за это порицаем и укоряем близкими, но пусть меня простят — это было в духе моих склонностей, предпочтений работать la plume à la main «с пером в руке». Так сложился «кабинетный образ жизни», желательно — не в Москве, а за городом, потише, подальше от мегаполиса. Плохо ли, хорошо ли, но по этой логике сокращались и визиты в Москву, и посещение библиотек. Да простят мне служители и блюстители этого святого

места[1], но я давно не хожу в высокочтимую Ленинскую библиотеку, ныне РГБ, стыдно сказать, но помню точно — с 1964 г. В оправдание скажу, что всегда пользовался межбиблиотечным абонементом и другими аналогичными формами услуг, например выборочным ксерокопированием зарубежных журналов в ИНИОН РАН, даже, помнится, числился у них одно время на одном из первых мест по активности.

Совсем недавно занесла меня одна командировка, замешанная на «человеческой слабости», очень далеко от Москвы, на Камчатку, где я имел счастливую возможность познакомиться и вести назидательные беседы с местным епископом, владыкой Игнатием. Владыка, выслушав меня, очень своеобразно резюмировал мою кабинетную жизнь, сказав, что она сродни затворничеству, и сослался при этом на нашего Феофана Затворника XIX в. (младшего современника Серафима Саровского), порекомендовал даже его труды. Что я могу сказать, кроме того, что феномен затворничества, или «кабинетный образ жизни», — он ведь сопряжен и с достижением определенного возраста. В Древней Индии это был *vāṇa-prasṭha* — лесное существование, после 60 лет жизни среди людей. Как видите, и я вполне созрел.

Но постепенно в течение 1950—1960-х гг. стало набирать силу и наше сравнительно-историческое языкознание, заговорили даже о его расцвете. Параллельно развивалось сразу много направлений: наряду со славистикой балтистика, другие отделы индоевропеистики. У формальных методов просто не хватило потенций для безраздельного господства. Возобладало разумное соединение синхронии с диахронией, в чем-то созвучное пражской школе, но во многом самостоятельное и зрелое. Благоприятно сказалось выдвижение нескольких очень ярких исследователей, уверенно владевших и компаративизмом, и структурализмом, их имена известны всем. В 1974 г. начал выходить «Этимологический словарь славянских языков», публикующийся вот уже немного более четверти века. Этим словарем, а также ежегодником «Этимология» (с 1965 г.) заявил о себе, как и рядом других книг и исследований, Сектор этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР еще при жизни академика В. В. Виноградова. Отныне стало очевидно значение наших достижений в этой обширной области знаний для всей международной лингвистической, гуманитарной общественности. Одна важная деталь лично моих воспоминаний на фоне того несколько назойливого хора, который озвучивается через СМИ. Послушать иных многих, так просто жалко делается людей: чуть ли не все изнывали под игом тоталитаризма, диктата, цензуры. Конечно, работники идеологического фронта могли испытывать на се-

[1] Эти слова были произнесены в Российской государственной библиотеке в день моего 70-летия.

бе нечто подобное, не знаю, но в случае с собой я никаких таких кошмаров не припомню. Нельзя также сказать, чтобы я не дорожил своей внутренней свободой. Разумеется, доистория, которой я как этимолог занимался, была вроде далека от новейшей идеологической борьбы, но не во всех случаях. Стычки возникали, и однажды, не согласившись с тогдашним директором Института славяноведения П. Н. Третьяковым (археолог), я просто снял свою статью. Но, безусловно, наибольшая идеологическая ангажированность среди проблем древности отличает проблему матриархата, к которой причастны и историки общества, и философы, и археологи, и лингвисты. Замечательно, однако, еще и то, что в трактовке проблемы матриархата никакой особенной личной свободой отнюдь не блещут и западные исследователи, наоборот, заслышав о ней, бегут, как черт от ладана, чтобы не быть уличенными в сочувствии марксизму. В угоду этим же, ныне модным, умонастроениям стараются и некоторые наши современники, вроде одного автора по фамилии Першиц, который почему-то считает нужным высказываться с регулярностью раз в десять лет в «Вестнике» Академии против существования матриархата в древнем обществе. Многих аргументов «за» он не учитывает либо не знает, и я успел даже подискутировать с ним в своей книге по этногенезу славян. Обывательские авторские рассуждения насчет того, что мужчина сильнее физически и вполне может поколотить свою подругу, особенно когда выпьет (какой, мол, уж тут матриархат...), в нашем опровержении не нуждаются, не имея ничего общего с подлинной реконструкцией. Печально, но подчас именно так у нас с водой выплескивается и ребенок.

Если не отвлекаться подробностями, то рассказ о моей научной жизни должен быть рассказом о моих словарях. Сейчас, спору нет, я давно «человек словаря», если можно так выразиться. Но эти склонности закладывались рано. Я почти никогда не вспоминаю об этом, но еще в школьные годы я дерзнул начать составление «своего» немецкого, немецко-русского словаря. Конечно, это была всего лишь компиляция из нескольких известных мне словарей, и далеко я в ней не продвинулся. Словарная работа определенно влекла меня к себе, и в те же школьные годы я, читая тогда польских авторов в подлиннике с довоенным польско-русским словарем под рукой, усердно, помнится, занимался таким делом, как дополнения. Словарь этот чудом и сейчас у меня, а на его полях — мои ученические дополнения нарицательных слов, оборотов речи, даже собственных имен, почерпнутых из чтения Сенкевича, Мицкевича, Словацкого и других авторов в те далекие уже годы.

Уже в конце первого десятилетия московской жизни, когда мне не было и тридцати, еще до начала работ над большим славянским этимологическим словарем, я вплотную столкнулся с большой работой по этимологической лексикографии.

В 1959 г. возник замысел перевода немецкого издания «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, с чем и обратились ко мне. Это была инициатива покойного Н. И. Толстого. Я взялся с энтузиазмом, помню как сейчас, что мне доставлял радость сам процесс перевода, травестии на русский язык. Я был горд и возможностью исправить и дополнить, что мог. Время было докомпьютерное, работа велась на двух машинках, русской и латинской. Объем говорит сам за себя — 3200 страниц на машинке, около 160 авторских листов, свыше 18 тысяч словарных статей составили будущий русский четырехтомник, первый том которого вышел 35 лет назад. Потом были 2-е и 3-е издания, сейчас поставлен вопрос об издании четвертом. Работа была проделана большая, я уже писал о ней и в научном, и в мемуарном плане, не стоит повторяться. Ведь параллельно с этим трудом на ниве русской этимологической лексикографии, сложившимся всего в два года, 1959—1961, во что трудно верится сейчас даже самому, тогда же, в 1960 г. была написана двумя авторами — Топоровым и Трубачевым — еще книга на довольно ответственную тему: «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья» (вышла в 1962-м). Начало и первая половина 1960-х гг. — окончательная разработка принципов нашего нового «Этимологического словаря славянских языков». Оказалось возможным в самой старой и традиционной области сравнительной грамматики — этимологии — сказать свое слово, довольно много нового. И это навсегда наложило отпечаток на нашу продукцию, в сравнении, скажем, с тем, что делалось в этой науке на Западе и в наиболее передовых славянских странах. Скажу лишь одно: это был первый в полном смысле прорыв в праславянскую (говоря шире — праязыковую) лексикографию. И прорыв этот был первым в мировой и европейской науке. Вообще те 1960-е и 1970-е вспоминаются как романтическое и счастливое время. Обыкновенно пишут с давних времен о тяготах словарного дела, лексикографии. Да, словарники, бесспорно, марафонцы науки и научной практики, и это в первую очередь относится к многотомным академическим проектам с трудноопределимым окончанием предприятия. Но именно словарники, думаю — как никто другой, развили в себе защитную реакцию, способность радоваться своему бесконечному делу, находить там, где не очень посвященные видят одну рутину, находить, повторяю, там эти радости лексикографа, о чем я неслучайно говорю, может быть, неоднократно, черпая эту радость в почти повседневных находках — больших и поменьше.

Этимолог, к тому же, это как бы лексикограф вдвойне, ему приходится восстанавливать, реконструировать и значение, и форму слова. В этом положение его еще более трудное, чем у его ближайших собратьев, работающих в исторической лексикографии, с которыми лексикограф-этимолог сотрудничает теснейшим образом. Специфика (или разница) в том, что историческая

лексикография ограничена письменной традицией языка, тогда как история языка (языков) не знает, не должна знать этих условных ограничений. Больше того, как правило, если речь идет об основном фонде лексики, история, например, значений слов к началу письменности в основном уже сложилась, а на письменный период приходится то, что можно назвать периодом относительного покоя. Понятно поэтому, какая ответственная, подлинно пионерская задача в раскрытии древних значений слов, а через них — элементов древней культуры, ложится на нас, лексикографов-этимологов. Я в свое время очень увлекся этими идеями единой, непрерывной Истории, этого вторичного периода относительного покоя, в целом — соотношением этимологической и исторической лексикографии, и писал об этом.

Так мы жили, увлекались и радовались, мы, молодые люди 1960-х гг., небольшой сектор этимологии и ономастики академического института. И нашими трудами, в том числе, осуществлялось и закладывалось то, что позднее, к 80-м гг. XX в., было названо (в западных энциклопедиях) «золотым веком лексикографии». И вот прошли еще несколько десятилетий, и мы, что называется, проевши зубы и положив здоровье на этом, смею надеяться, небесполезном поприще, оглядываемся на пройденное и испытываем, думаю, смешанные чувства. Расцвет — расцветом, но картина далека от чистоты и безоблачной ясности. Сравнительно-историческое направление выстояло, формальные методы с их акцентом на отношениях и функциях отступили, в чем-то обогатив историю языка (не станем отрицать этого). Но пришедшее новое поколение — в силу тех или этих обстоятельств — все же сохранило эту печать межеумочности, в частности — разучилось глубоко заглядывать в историю, глубоко ее понимать. Понимание необходимости нового этапа носится в воздухе. Все эти призывы типа «назад, к значению» (или «вперед, к значению»?) в глазах человека, прожившего в науке довольно долго, суть своего рода судороги, попытка преподать хорошо забытое старое в виде нового. Когнитивная лингвистика? Извольте. Но только подлинно когнитивным (познавательным) всегда было и остается историческое, сравнительно-историческое языкознание. А пока... пока мы читаем иногда имитацию истории вроде того опуса «Кто живет в вертепе?» в моем журнале «Вопросы языкознания», почему-то ставшего мне известным только на стадии тиража. Дело в том, что древнерусская письменность знает слово *вертепъ* (*вьртьпъ*) в значениях 'пещера', 'притон' и близких (Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 2. М., 1975. С. 97—98), но речь идет о южнославянизме, а в славянских языках Балкан семантическая картина слова предстает резко отличной, более сложной, ср. болг. *въртоп* 'водоворот', 'воронкообразное углубление'. Перед нами реликтовое балканско-индоевропейское образование **u̯r̥t-up-*, буквально 'водоворот', на что в свое время обратил внимание Вл. Георгиев. Яс-

но, что в водовороте мало кому удалось бы жить. Ясно, что перед нами первоначальный гидроним, ср. точное соответствие в литовском названии реки *Virt-upė* (я писал об этом). Ясно, что в упомянутой выше неглубокой «истории слова», строго говоря, не заинтересованы, не нуждаются ни большая История языка, ни археология, ни наука об этногенезе и древней культуре, которые обычно очень внимательны к тому, что дает, что может дать Этимология.

Назвав только что эти смежные науки, я затронул как бы «вторую жизнь» этимологии, а собственно — и вторую половину своей научной жизни, в которой я, применяя опыт, нажитый в славянской этимологической лексикографии, в славянской и индоевропейской этимологии, пытался решить накопившиеся «вечные» вопросы нашей языковой и этнической древности. И опять я благодарен Словарю, лексикографии, которая, как полагают, конденсирует, сгущает языковую картину, сравнительно с текстом, но в этом сгущении лучше проступают древние черты: древние западные связи славянского, древние отличия от балтийского (литовского, латышского) и другое. С опытом пришла пора сомнений, сомнения метили в устоявшиеся, привычные догмы, нарушали чей-то духовный комфорт. Нетрудно было предугадать, что возврат к дунайской прародине славян, сколько угодно фундированный фактически, навлечет на себя пик критики. Еже и бысть, как сказали бы в старину. Хотя в моих глазах ничто не способно поколебать этимологический и историко-культурный вес лексических пар слав. **pola voda* — лат. *pal-ūdem*, слав. **basъ-*nebasъ* — лат. *fās-nefās*, где отпечаталась и экология мест проживания, и древняя этика. То ли на это требуется время и привычка, то ли еще почему, но критики способны охотно принять ту или иную аргументирующую этимологию, но только не этногенетическую концепцию в целом, даже самые доброжелательные из них. Наиболее недоброжелательные — просто молчат. Вот, например, что пишет молодая специалистка по ономастике Дуня Брозович-Рончевич, впрочем, теперь уже скорее гранд-дама хорватской филологии:

> Наиболее многочисленны и намного больше других цитируемы труды О. Н. Трубачева, который объединил результаты своих долголетних исследований в книге, посвященной славянскому этногенезу, 1991 г...

Дуня констатирует здесь (вслед за автором) возврат к почти забытой теории Шафарика, разумеется, на новом фактическом уровне, что отмечает и Дуня. Говоря ее словами, «Трубачев внес бесспорно много нового ⟨...⟩ в зачастую вялую дискуссию о славянском этногенезе — как методологически, так и замечательно многочисленные новые факты и объяснения. И всё же его стремление снова, в согласии с теорией Шафарика, локализовать славян в Центральной Европе, на Дунае, при всех признаниях “революционности” ар-

гументации, вместе с тем получило и многочисленные критические отзывы, а в русской славистике нередко и реакцию своеобразного высокомерного умолчания. Существенно более восприимчива к такому истолкованию оказалась часть археологов и историков» (*D. Brozović-Rončević.* Važnost hidronimije za proučavanje slavenske etnogeneze // Filologija 29. Zagreb, 1997. S. 17, 19—20). Вот и всё пока о Дуне и Дунае. Хотя всё больше кажется загадкой без разгадки, сколько же еще нужно «методологически нового» и тактически убедительного, чтобы преодолеть тоже довольно уже старую, нидерлевскую ученую тенденцию — не пускать древних славян в Европу ближе Предкарпатья, а то и Полесья. Порой невесело думаешь, что тут, как и во всем нас окружающем, без психолога и политолога не обойтись. Уж поверьте мне, в активе сторонников предкарпатской и среднеднепровской славянской прародины аргументов никак не больше, и методологической новизной они совсем не блещут. И вся эта игра в выталкивание славян из Европы напоминает случай с Россией за порогом страсбургского Совета Европы в наши дни. Подождем еще.

Но упомянутое мной выше, при всей весомости и многолетности занятий материей, — не более как маргиналия основной моей словарной деятельности, поэтому и не будем о ней распространяться. И совсем в стороне оставим такую целиком уже маргинальную и к «Славянскому миру» прямо не относящуюся проблему, как «INDOARICA в Северном Причерноморье», хотя — как знать: и на нее ушли годы и годы, и в рамки древней индоевропейской диалектологии она вполне ложится, и импульсы, проверенные на славянском (древняя диалектная сложность и многое другое), помогли в работе и над ней.

Но главным остается Словарь и все более напряженно актуальный вопрос к себе самим: ведь начинали молодыми, потом вроде тоже — писали, не гуляли, частота и регулярность выхода томов — без аналогов, никаким полякам нас не догнать никогда, уже вышел 27-й выпуск (том), и все же — успеем ли, закончим ли это основное дело жизни? С сомнений начав, этой нотой сомнения, пожалуй, и кончу сегодня. Говорю это, а на языке так и вертится что-то другое, неуныло-бодрое: «А жизнь прекрасна, вопреки всему» — quand-même, как говорят французы.

23 октября 2000 г.

* * *

Но это — присказка. Главное, как всегда, впереди, в том, несколько неожиданном и для автора, собрании небольших работ, «kleinere Schriften», как их именуют в таких случаях западные коллеги. Момент неожиданности в самом деле был, потому что автор не лелеял мечту опубликоваться в серии из-

дательства «Языки русской культуры», зная, впрочем, о книгах этой серии и их отличной полиграфии и рейтинге. Скажу, что и тогда, когда ко мне обратился с таким приглашением сам издатель, Алексей Дмитриевич Кошелев, моей реакцией было, скорее, сомнение (конечно, смешанное с чувством благодарности). Моя издательская деятельность казалась мне в основном «завязанной» на тематических циклах, огромную часть этимологий вобрал в себя Словарь, что я и сказал в ответ на предложение издать «Статьи по этимологии». Но надо отдать должное любезному терпению самого А. Д. Кошелева и его единомышленников, пожелавших не только вернуться к переговорам, но и представивших весьма детальный макет издания.

Около сотни (или за сотню) работ, действительно, объединены стержневой идеей этимологии, понимаемой широко, с включением аспектов этимологической лексикографии, культурной истории и других, сопутствующих. Я счел выбор удачным, пусть все так и будет. Это не «Избранное», здесь представлена едва ли пятая часть написанного мной, причем кое-что может сохранять, думаю, скорее «историческое» значение (молодежная «Этимология слова *собака*» или навлекшая тогда же, очень давно, критику этимология названия зимы). В остальном читатель разберется сам. Не показалось, впрочем, лишним включение составителями кое-чего из публицистики, основанной на той же этимологии и на серьезном, историческом понимании лингвистической географии. Если при этом выходы в национальное самосознание кому-то опять покажутся дерзкими (р у с с к и й я з ы к о в о й с о ю з), то и это вряд ли остановит меня как веская причина для умолчания (или замалчивания), особенно, когда наблюдаешь недавние неловкие попытки все же хоть как-то объяснить факторы, сдерживающие полный распад СНГ и апелляции к менталитету (?), ментальности (?), с трудом даже внешне претендующие на наукообразие[2].

Словом, и тут — судить читателю.

Остальнось наиглавнейшее — слова благодарности Издателю, тому, кто явно заинтересованно составил список моих работ (Армен Грачикович Григорян), друзьям, как и я, «заболевшим идеей», тем, благодаря которым макет, торс одевался плотью, благодаря которым книги, а порой и рукописи не

[2] Малый штрих, говорящий об истинной природе сдерживания распада СНГ, — из телепередачи весной 2001 г.: конфликт на азербайджанско-грузинской границе, горит КПП, кто-то подстрелен при незаконном переходе, в центре кадра — женщина, громко, по-восточному выражающая свои чувства; но кричит она, замечу, по-русски, а пестрая, разнонациональная по-кавказски толпа слушает ее с п о л н ы м п о н и м а н и е м. Действие происходит за пределами нынешней России. Перед нами русский языковой союз в его конкретном проявлении на бытовом уровне, и от этого никуда не уйти.

только порой «уплывали» с полок и из архива (что делать — бывали востребованы в общей работе!), но и с лихвой «возвращались в строй». Спасибо всем, наипаче же близким — Галине Александровне Богатовой, Инге Борисовне Еськовой, всем сотрудникам моего Отдела в Институте русского языка РАН, так живо откликнувшимся и помогавшим в поисках и комплектации материалов. Лишний раз вспомнишь, что говаривалось раньше: «в науке все находки коллективны».

Март 2001 г., больница в Узком, Москва

О. Т.

Часть I

ПРИНЦИПЫ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЗАДАЧИ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Целью настоящего доклада является освещение задач этимологических исследований славянских языков в плане анализа состояния данной науки в нашей стране. Однако вместе с тем целесообразно вынести на обсуждение целый комплекс проблем этимологического исследования славянских языков.

Идеальные условия для этимологического исследования заключаются в наличии хороших этимологических словарей исследуемых языков, далее — подробных исторических словарей и словарей диалектной лексики, а также полных материалов по географии слов. Думается, что первым из перечисленных условий по праву может считаться наличие хорошего этимологического словаря соответственно русского, украинского или белорусского языка. В настоящем докладе нас в первую очередь интересуют вопросы, связанные с этимологизированием материала славянских языков Советского Союза. Тем не менее пока что приходится констатировать печальный факт отсутствия каких бы то ни было этимологических словарей для двух из трех восточнославянских языков. Не случайно поэтому работа на данном этапе без таких словарей создает впечатление, что вершиной достижений этимологических исследований представляется подготовка в будущем этимологического словаря того или другого языка. В действительности это не более как объективное свидетельство младенческих пока еще возможностей этимологии этих языков. Появление этимологического словаря — это лишь начало настоящего этимологического исследования лексики данного языка. Именно на примере русской этимологии, если брать примеры наиболее нам близкие, мы можем убедиться, что наличие в распоряжении исследователя современного этимологического словаря открывает возможности серьезного развития этимологии языка в различных аспектах.

В силу общеизвестных причин и специфики развития нашего языкознания в целом за последние десятилетия к работе по этимологии славянских языков в настоящий момент у нас оказались привлеченными молодые, преимущественно начинающие специалисты. В частности, как курьез можно отметить, что эта старейшая область сравнительного языкознания по юности своих адептов у нас может успешно соперничать с такой совсем молодой наукой, как математическая лингвистика. Нормальным это явление можно признать, по-видимому, только для последней. Для планирования работы молодых специалистов по этимологии славянских языков в ряде случаев оказывается характерным выделение в качестве основной задачи на ближайшее время составление этимологического словаря языка. Подобный выбор, разумеется, трудно назвать неактуальным: кроме того, можно вполне понять, что широкая научная общественность ждет от этимологов Украины и Белоруссии скорейшего создания украинского и белорусского этимологических словарей. Одним словом, руководство Института языкознания им. А. А. Потебни АН УССР и Института языкознания им. Я. Коласа АН БССР в принципе было право, запланировав создание в ближайшие годы этимологических словарей. Реальная сторона дела заключается в том, что такой крупнейший по научной сложности и объему труд, как этимологический словарь, явится в обоих случаях по сути если не первой пробой пера, то во всяком случае первой значительной работой молодого ученого. Это достаточно серьезные факты, имеющие прямое отношение к качеству будущего труда, если учесть, что именно начальному этапу формирования молодого научного работника естественно присущи бурные темпы накопления научного опыта и другие «трудности роста», менее всего удобные при составлении этимологического словаря. Понятно поэтому, что успешное выполнение задачи создания этимологических словарей сопряжено на данном этапе с немалыми трудностями. С другой стороны, вынужденный практицизм планирования до известной степени сковывает силы молодых ученых, подчиняя их интересы всепоглощающей работе над словарем и, естественно, затрудняя им обращение к другим важным, более разнообразным и вместе с тем более удобовыполнимым темам по этимологии. Однако в целом, видимо, положение таково, что, даже отдавая себе отчет во всех трудностях и даже возможных неудачах, начатую работу по подготовке этимологических словарей как украинского, так и белорусского языков нужно обязательно довести до конца. Тем более отрадно поэтому отметить первые удачи в этом направлении. Так, можно не колеблясь назвать удачным первый выпуск «Краткого этимологического словаря украинского языка» (*А—безбеш*), подготовленный к печати Р. В. Кравчуком (Институт языкознания АН УССР, Киев).

Помимо основной настольной книги этимолога — этимологического словаря соответствующего языка — успешная работа по этимологии зависит

от наличия разнообразных прочих справочников. Первостепенное значение полного исторического словаря языка для этимологизирования хорошо известно. Однако в действительности мы имеем: по русскому языку — «Материалы» И. И. Срезневского, охватывающие, главным образом, собственно древнерусский период, тогда как лексический материал более поздних веков, имеющий нередко решающее значение для этимологии слов самого различного происхождения, остается по-прежнему неизданным; по украинскому языку в распоряжении исследователей имеется по-прежнему только «Исторический словарь украинского языка» Тимченко, публикация которого остановилась в самом начале алфавита. Для белорусского языка мы лишены и этого немногого. Не менее насущна потребность этимолога в возможно более полных словарях диалектной лексики. Материалов по словарю народных говоров русского, украинского и белорусского языков опубликовано и публикуется очень много, но пользование этими многочисленными словарями, появившимися в разных изданиях, очень затруднено. Весьма полезно было бы получить в будущем для каждого языка объединенный в одном издании свод, который бы включал критически обработанные материалы по областной лексике, т. е. в первую очередь материал всех соответствующих публикаций, пополненных при возможности дополнительными изысканиями (ср., например, план, разработанный Ф. П. Филиным). Очевидно, подобные своды будут содержать довольно полные сведения об ареалах областной лексики во всем ее многообразии.

В целом ясно, насколько реальные условия работы этимолога далеки от идеальных. В этой связи уместно коснуться вообще состояния этимологии у нас в настоящее время. О положении с этимологическими словарями всех языков восточнославянской группы уже было сказано выше. В Москве (Академия наук СССР) запланирован на начало 1970-х гг. выпуск этимологического словаря славянских языков. Запланированный этимологический словарь славянских языков, как известно, будет далеко не первым трудом, носящим это название; он будет, по-видимому, обладать существенными отличиями от известных работ на эту тему. Современный уровень науки требует, чтобы это был, так сказать, праславянский этимологический словарь; понятие «праславянский» понимается как достаточно широкое, с обязательным включением древних лексических регионализмов и диалектизмов, выдержавших доступную хронологическую проверку. Некоторые предварительные наблюдения, публиковавшиеся ранее и встретившие одобрение, позволяют думать, что число древних слов, не имеющих общеславянского распространения, будет довольно внушительно. Так, если в каждом случае около сотни непроизводных слов (со значительными допустимыми колебаниями в ту или другую сторону), будучи древними, являются только русскими или только польски-

ми, или чешскими, то эта лексика представляется уже значительным компонентом будущего словаря. Принцип хронологической проверки будет применен и к заимствованиям, причем, вероятно, с особой строгостью.

Параллельно будут продолжаться этимологические исследования тематических групп лексики славянских языков. Такие работы представляются наиболее удобными в плане перспективы подготовки этимологического словаря славянских языков. Необходимость подойти к материалу не с точки зрения разобщенного семантически алфавитного словника будущего словаря, а с совершенно другой — смысловой стороны — представляет выгодные преимущества. Наличие взаимосвязи между словами, образующими смысловые группы, своеобразное равновесие внутри этих групп оправдывают такую форму с точки зрения лингвистической; общность культурного фона служит убедительной аргументацией с точки зрения реалий, все вместе взятое обеспечивает многостепенность контроля результатов исследования и приносит этимологии максимальную достоверность решений. Этимологическое исследование тематических групп лексики лучше всего позволяет нащупать типичные переходы значений и применить с пользой наблюдения над семантическими закономерностями в других близких случаях. К сожалению, у нас исследования тематических групп лексики пока крайне немногочисленны (ср. работу Булаховского об общеславянских названиях птиц, ряд статей Гринковой, далее — Богородского по мореходной терминологии, Меркуловой о некоторых названиях растений, по украинскому языку — ряд статей Дзендзелевского и Бурячка). Некоторые диссертации по истории русского языка посвящены аналогичным проблемам, например бытовой лексике определенной эпохи или определенного круга памятников.

Правда, этимологическая часть при этом бывает выполнена нередко на довольно низком уровне.

Обращаясь к монографическим исследованиям по этимологии отдельного слова, мы также должны будем констатировать незначительный еще пока объем продукции на соответствующие темы в нашей научной литературе. Этот факт служит свидетельством недостаточной интенсивности этимологических исследований в нашей стране. Следует подчеркнуть, что из всех форм этимологического исследования статья по этимологии отдельного слова, иначе говоря — этимология такого-то слова, представляет собой наиболее полное выражение сущности этимологического исследования. Она является, кроме того, основным конструирующим элементом двух других, уже упоминавшихся выше видов этимологического исследования: этимологического словаря и этимологического исследования тематической группы лексики. Большинство работ о происхождении отдельных слов, публикуемых у нас, носит скорее лексикологический, а не этимологический характер. Таковы,

например, работы Шанского. Сюда можно причислить также ряд конкретных словообразовательно-лексикологических заметок по русскому языку Виноградова, М. А. Соколовой. Смешанный характер имеют работы Ларина, обычно включающие значительный сравнительно-исторический материал. Особо можно упомянуть обстоятельную работу покойного Чичагова о слове *ружье*, в которой собственно происхождение слова *ружье* сознательно используется автором лишь как призма для наблюдения над рядом общих вопросов истории русского языка. Можно было бы назвать и некоторые другие примеры эпизодического вторжения в этимологию и ее периферийные области отдельных русистов-лексикографов. Специально нужно назвать многочисленные работы А. С. Львова, занимающегося активно старославянской этимологией. Лиц, которые выступают с работами по этимологии в республиканских лингвистических центрах, можно перечесть по пальцам (например, в последнее время статьи по этимологии Кобылянсого, Ткаченко и некоторых других на Украине, Крапивина и Вержбовского — в Белоруссии, Супруна — Фрунзе). Уровень этимологического анализа в этих работах невысок. Со статьями по этимологии выступает в последнее время профессор Черных (его поиски исконно славянской этимологии слова *варяг* нельзя, однако, считать удачными). Здесь можно еще упомянуть ряд работ ленинградского ученого Попова, активно занимающегося топонимикой Европейской России, вопросами финно-угроведения и исследованием лексики восточноевропейских языков. В целом, все работы по этимологии носят более или менее локальный характер и решают вопросы происхождения конкретных русских, белорусских и украинских слов. Вопросы славянской этимологии с широким привлечением индоевропейского материала пользуются незначительной популярностью.

Это зависит не столько от выбора слов, сколько от узости сравнительной базы.

Вышеизложенные наблюдения говорят о том, что нам еще многого недостает для того, чтобы поднять научный уровень нашей этимологической продукции, а вместе с тем и ее эффективность, а также удельный вес в общей лингвистике. Отставание это, нетерпимое по ряду принципиальных соображений, досадно еще и потому, что среди читателей и научной общественности вопросы этимологии пользуются живым интересом. Между тем у нас почти не известен вид этимологического исследования по принципу «слова и вещи», плодотворность которого для изучения названий реалий несомненна и далеко не исчерпана (ср. единичные опыты Абаева и др.). Заметим, что это лишь одна сторона широких возможностей контакта этимологии с историей и этнографией.

Поскольку в центре нашего обсуждения неизменно мыслятся нужды этимологии восточнославянских языков, целесообразно затронуть вопрос о дополнительных или косвенных ресурсах в реальных условиях сложной лин-

гвистической и этнической ситуации Восточной Европы. Речь идет, например, об учете многообразного вклада языка балтийского населения в говоры восточных славян и в восточнославянскую ономастику в широком смысле слова, почему важно учитывать материалы по балтийским языкам и их этимологии, соответствующую литературу и словари. Далее, имеются в виду исключительно разнообразные контакты со всеми представителями финно-угорской семьи языков (лексические связи западнофинских языков с русским изучены хорошо, однако существенные коррективы возможны и здесь, о чем свидетельствует хорошая этимология, предложенная в последнее время Меркуловой для слова *пихта*). Далее, постоянно должны учитываться лексические связи — главным образом русских диалектов — с мордовскими языками, марийским языком, пермскими (удмуртским и коми). Нельзя сказать, чтобы материалы по этим языкам были удобно представлены в доступных изданиях, скорее наоборот. Немалый интерес поэтому вызывает известие о намерении наших финно-угроведов выпустить этимологический словарь коми языка. Наличие надежных справочников, облегчающих ориентацию, помогло бы выявить немало находок по этимологии темных пока еще слов. Вопросами связей с обско-угорской группой у нас обстоятельно занимается в последнее время молодой исследователь Матвеев (Свердловск). Что касается контактов с венгерским языком, то более или менее регулярно они имеют место лишь в отношении к украинскому языку, западные диалекты которого содержат ряд венгерских заимствований.

Исключительно важное значение для раскрытия этимологии большого числа слов в славянских, конкретнее — в восточнославянских языках имеет учет разнообразных лексических проникновений из тюркских языков. Эти вопросы пользовались всегда вниманием русских этимологов, тем не менее можно без преувеличения сказать, что мы попросту еще недооцениваем размеры этих влияний и не всегда отдаем себе отчет в том, как много еще предстоит здесь сделать. Наиболее крупная публикация последних лет на эту тему — посмертная статья Дмитриева о тюркских элементах русского словаря (Лексикографический сборник. 1958. Вып. 3) — может считаться сразу же устаревшей. Правда, изучение этих проблем сопряжено со значительными объективными трудностями; как известно, лексика самих тюркских языков изучена далеко недостаточно. Больше того, тюркологи сами многого ждут в этом отношении, в частности от изучения восточнославяно-тюркских лексических общений. Удобные справочники и современные этимологические словари по тюркским языкам почти полностью отсутствуют. Но, вероятно, уже в скором будущем положение улучшится, потому что сектор тюркских языков Института языкознания АН СССР активно работает в течение ряда лет над этимологическим словарем тюркских языков. В нашей печати сооб-

щалось, что готовится также особый этимологический словарь чувашского языка. Можно думать, что русская и в целом славянская этимология пополнится еще не одним десятком достоверных толкований слов, заимствованных из тюркских языков, включая сюда и весьма древние элементы восточнославянского словаря и слова, наименее всего подозревавшиеся ранее в заимствовании из названного источника.

Полезным может оказаться, далее, изучение материалов по лексическим отношениям с североиранскими языками, о чем немало указаний можно почерпнуть из знакомства с осетинский этимологией, которая у нас представлена важными трудами Абаева. «Историко-этимологический словарь осетинского языка» (Т. 1. 1958), принадлежащий перу последнего, заслуживает самого пристального внимания всех, кто интересуется этимологией восточнославянских языков, поскольку Абаев привлекает и этимологизирует большое число русских и других диалектных слов. Все мы ждем с нетерпением выхода второго тома этого словаря.

Обрисовав современное состояние славянской этимологии в нашей стране, остановимся коротко на принципах этимологических исследований. При этом вполне логичным представляется изменить преимущественному аспекту настоящего сообщения и отвлечься от конкретных вопросов состояния данной науки у нас. К тому же, например, разработка принципов этимологического исследования на материале славянских языков не привлекала до сих пор внимания наших исследователей. Редкие работы на эту тому построены на материале других языков (ср. *А. А. Белецкий*. Принципы этимологических исследований. Киев, 1950). Особняком стоит статья Торопова «О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа» (ВЯ. 1960, № 3), представляющая собой первую попытку систематической переформулировки существующих понятий и принципов этимологии в духе структурного языкознания. При всей несомненности научно-теоретического значения этой работы, внимательное знакомство с ней оставляет довольно стойкое впечатление отсутствия существенных противоречий между лучшими из сложившихся в практике этимологизирования принципов, с одной стороны, и формулируемыми в данной работе принципами — с другой, при условии, если конструктивная сущность последних достаточно четко уловима. Таковы — на выбор, без строгой последовательности — принцип сравнения целых совокупностей элементов, а не изолированных единиц; задача определения участия различных компонентов, входящих в различные системы соответствующего отрезка истории языка, в акте образований данного слова вместе с задачей изучения дальнейшего развития слова: вспомогательная задача разработки в каждом отдельном случае возможно более сложной системы проверки (вопросов) с целью устранить или уменьшить субъективный фактор при выборе решений.

Собственно говоря, попытки синтезировать наблюдения над принципами этимологических исследований на материале славянских языков отсутствуют как будто и за рубежом. Мы воздержимся от рассуждений о том, говорит это или не говорит об относительной незрелости славянской этимологии. Важно прежде всего отметить, что ее принципы вполне поддаются формулировке. Во многом существенном это будут, разумеется, некие общие принципы этимологического исследования, приложенные к славянскому материалу.

Едва ли имеются основания утверждать, что в последнее время происходит сокращение исследований по славянской этимологии в целом. Напротив, после войны эта область славянского языкознания развивается весьма успешно. Показательно, что именно за последние годы окончательно сложился такой новый в славянской этимологии вид исследования, как монографический этимологический анализ определенной тематической группы лексики. Кроме того, достаточно интенсивно продолжают развиваться другие формы этимологических исследований, в первую очередь — этимологические словари славянских языков. Концепция этимологического словаря в славянской лингвистике тоже прогрессирует. Быть может, не лишено смысла и такое, казалось бы, внешнее условие, как вопрос о лицах, занимающихся славянской этимологией. Если раньше специализация преимущественно в области этимологии не имела места, а этимологией, как известно, занимались слависты весьма широкого профиля в порядке оформления попутных наблюдений, πάρεργα, то сейчас все более обычной, очевидно, будет становиться вполне определенная специализация слависта-этимолога. Необходимость постоянно учитывать материал и развитие других областей языкознания и других наук приобретает при этом особое значение.

По-видимому, и упомянутая четкая специализация этимологии, и это второе условие, которое можно формулировать как необходимость, говоря словами одного ученого, «перебросить мосты» между различными областями науки, являются знамением времени.

Другим положительным фактором развития современной славянской этимологии следует считать апробацию на практике основного инвентаря исследовательских приемов и главных направлений этимологических исследований славянских языков. На вопрос об основном источнике исследовательских возможностей славянской этимологии удобнее ответить, прибегнув к методу исключения. Так, очевидно, сюда не относятся такие возможности периферийного значения, как апеллирование к субстрату, к экспрессивным фонетическим изменениям, к реалиям и другим моментам внеязыкового порядка, наконец, своеобразное наивное этимологизирование. Корни каждого из этих частных направлений гораздо индивидуальнее и субъективнее, чем иногда думают, и сами эти направления не могут служить достаточным осно-

ванием для мрачных прогнозов о судьбах славянской этимологии в целом. То, что, например, Вайян эволюционировал от традиционной по методу этимологии *дождь* < **dus-diu-s* к этимологическим юморескам типа *котора* 'вражда' < *которати* с ѧ, *которыи*, *котерыи*, — это вопрос, главным образом, творческой эволюции самого́ ученого. Впрочем, он сам с достаточной свободой откладывает их в сторону, чтобы выступить во всеоружии современной этимологии с ее первоочередным вниманием к словообразовательному оформлению (ср. этимологию *печатьлѣти* < **печатьль* из тюркского слова с суффиксом *-li*), чем в немалой степени усложняет труд каждому, кто пожелал бы сделать на основании этих частных фактов вывод об общей эволюции этимологии. Основной, хотя, разумеется, не единственный источник исследовательских возможностей славянской этимологии, ее базу составляют достижения сравнительно-исторического языкознания. Вместе с тем было бы неправильно отворачиваться от пересмотра ряда приемов, направленного на их улучшение.

Сравнительно-историческое языкознание дает славянской этимологии ряд конкретных сведений, подробный перечень которых занял бы здесь слишком много места и опускается поэтому как достаточно широко известный. Можно ограничиться здесь лишь общим замечанием, что эти сведения характеризуют отношения между языками в плане генетического родства и в плане контактов (заимствования) и относятся, главным образом, к области фонетики и морфологии. Но поскольку этимология не может ограничиться только сведениями грамматического порядка и в значительной мере определяется сведениями из таких областей, занимающих более или менее автономное положение относительно уже названных, как словообразование, лексикология и семасиология, которые в историческом аспекте представляются наименее разработанными, можно думать, что отношение именно к этим разделам наиболее существенно при формулировке принципов современного этимологического исследования. Другими словами, в целом план слова, его словообразовательной структуры и семантической характеристики подчиняет себе грамматический план.

Так, например, взаимоисключающая фонетическая характеристика, согласно которой звуки *b* и *m* никогда не вступают в отношение чередования друг с другом в славянском и, напротив, образуют отношение чередования в тюркских языках, целиком принадлежит к сфере славянской или тюркской фонетики. В то же время вопрос о происхождении русских слов, явно связанных друг с другом и одновременно содержащих упомянутое чередование согласных (*бусор*, *бусырь*, *бусир* : *мусор*), целиком входит в ведение этимологии, которая допускает для них заимствование из тюркских диалектных вариантов **büsr* / **müsr-* (откуда происходит также *бисер*).

2. Заказ № 2261.

Что касается характера взаимосвязи между изучением словообразования и этимологии, то здесь самостоятельность и особая роль этимологии проявляются особенно убедительно, поскольку этимология в данном случае может выступать в качестве важного источника информации о словообразовательных типах и формантах, функционировавших в предшествующие периоды истории языка. Именно в свете этимологии очевидна ошибочность точки зрения Вайяна о том, что славянское *къ* может выступать только как предлог (из первоначального послелога) и не выступает как приставка, в чем Вайян вслед за Бенвенистом усматривает черту близости с иранскими (согдийскими) фактами. Однако это мнение обладает лишь кажущейся очевидностью, потому что существует значительное количество этимологически выявимых случаев как глагольной, так и именной приставки *къ* (ср. сербохорв. *кнадити*, рус. диал. *конозить* (*каназить*), слав. *kǫdelь*, *kǫdьrja*, рус. *ка-н-дёр* и др.)

Еще более интимна связь этимологии с вопросами лексикологии в целом и семасиологии. Для отношений этимологии с последней из названных дисциплин характерна форма обратимости: вероятные конкретные наблюдения над переходами значений могут быть использованы как решающая аргументация для этимологических сближений слов при остальных положительных условиях. Опасность порочного круга при этом, по-видимому, практически невелика, поскольку о конкретном характере и направлении семантического перехода можно говорить, когда известны по крайней мере два самостоятельных примера его осуществления на материале различных морфем. В действительности число примеров (а вместе с тем и возможность проверки) бывает нередко гораздо выше. Лексикологический и семасиологический аспекты вплетаются в этимологию на каждом шагу и присутствуют при оценке огромного множества ситуаций. Их использование облегчает объяснение ряда фактов внешней, фонетической формы. Такими представляются различные метатезы звуков, вызванные мотивами табу или сходными, вторичные долготы гласных, закрепление различных фонетических вариантов слова за разными значениями и т. д. Вообще, чем менее регулярный характер носит фонетический факт, тем, как правило, значительнее его семантическое наполнение. Сказанное непосредственно подводит нас к одному из важнейших вопросов этимологического исследования. Говоря о принципах этимологического исследования, следует акцентировать, может быть, настойчивее, чем это обычно делалось прежде, необходимость дифференцированного их применения, что опять-таки логически следует из само́й природы слов и их оформления и употребления.

Дифференцированное применение принципов этимологического исследования предполагает постоянный учет различной степени обобщенности вскрываемых в слове изменений. Это важно иметь в виду, поскольку нео-

правданное обобщение более или менее узко локализованных процессов ведет к ошибочности этимологии. Наибольшую степень обобщенности обнаруживают, по-видимому, кардинальные фонетические изменения и соответствия, максимально свободные от семантической нагрузки. Другая противоположность им — семасиологические изменения и соответствия — обладает наименьшей степенью обобщенности, поэтому важные сами по себе для этимологии семасиологические наблюдения тем надежнее, чем они конкретнее. Более общие семасиологические закономерности типа «от конкретного к абстрактному» имеют довольно небольшое практическое значение и решительно проигрывают в сравнении с конкретными наблюдениями, например: 'сильный, резкий', 'сильно, резко' > 'очень'; 'рождать(ся)' > названия различных частей тела; 'совершать жертвенные возлияния' > 'взывать, петь'; 'поить' > 'паять' и многие другие. Из формальных изменений и соответствий приближаются к семасиологическим по степени обобщенности, по-видимому, те, которые несут бóльшую семантическую нагрузку, о чем уже говорилось выше. Это означает необходимость максимально конкретного, зачастую индивидуального этимологического анализа экспрессивных слов и вместе с тем — ошибочность произвольного обобщения наблюдаемых конкретных случаев на неограниченное число других (таков принципиальный недостаток работ ряда этимологов, главным образом в Чехословакии). Вместе с тем разумное выявление конкретных изменений, заряженных значительной дозой экспрессии, может быть весьма плодотворным как раз при этимологизировании слов ограниченного употребления и, возможно, позднего происхождения. В этом смысле оказывается удачной именно этимология рус. диал., укр. *шкапа* (также в ряде западнославянских языков), предложенная Махеком, — от глагола *скопить*, *оскоплять*, способного, вероятно, давать производные со значением 'неповоротливое животное'. Что касается изменения *с* > *ш* (или точнее *ск-* > *шк-*) и некоторых других, их следует расценивать как локальное выражение экспрессивности и не более.

Можно надеяться, что учет всего комплекса возможных изменений и соответствий и их специфики составит надежную базу для плодотворных этимологических исследований с достаточно высокой объективной ценностью результатов исследования.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Дореволюционное научное наследие в области разработки этимологических вопросов в России не было особенно богатым. Высокий уровень русской филологической науки конца XIX — начала XX вв. не может быть безоговорочно приписан также и этимологическим исследованиям. Парадоксальность этого положения состоит в том, что, хотя научное историческое языкознание, сравнительная грамматика выросли всюду (в том числе и в России) из этимологии, значение этимологии, тем не менее, сводится к роли инструмента для названных дисциплин, цели которых заключаются в другом. Характерно, что проблема принципов этимологических исследований, теории этимологических исследований так и не была поставлена дореволюционным русским языкознанием. Усиления разработки этих проблем мы не видим и в первые послереволюционные десятилетия, несмотря на то, что это время, особенно 1920-е гг., было временем интенсивной научной работы ряда русских, армянских и других ученых, причем некоторых из них можно назвать не колеблясь этимологами по преимуществу. В течение длительного времени не может быть речи о большой самостоятельной перспективной программе этимологических исследований, потому что сами эти исследования мыслятся обычно как подчиненные разделы сравнительно-исторической лингвистической проблематики, а также отчасти потому, что проводимые в это время этимологические исследования нельзя отделять от творческой деятельности того или другого ученого-языковеда, нельзя правильно понять в отрыве от остальной научной продукции данного ученого. Мы хотели бы подчеркнуть, что сказанное не есть какой-то общий случай в науке, а характерно в первую очередь для научной этимологии в течение значительного периода ее истории, когда мы имеем больше оснований говорить не о собственной логике развития этимологических исследований как таковых вообще, а о логике творческой эволюции того или иного уче-

ного, обращающегося более или менее часто также к этимологии. Это может быть отнесено, очевидно, не только к русской науке; больше того, — подобная ситуация должна постоянно иметься в виду теми, кто берется за синтез развития этимологии как науки и высказывает при этом суждения, например, о современном общем упадке этимологии и столь же общих причинах этого упадка. В качестве примера можно вспомнить об этимологическом методе французского слависта А. Вайяна, который, казалось бы, эволюционировал от своих традиционных этимологий 1920-х гг. к очень индивидуальным и произвольным толкованиям последних лет. Однако почти одновременно с этими последними А. Вайян выдвигает прогрессивное понятие словообразовательной этимологии. Делать на основании этой глубоко личной, подчас — разноликой творческой эволюции данного ученого вывод о каких-то общих тенденциях современного этимологического исследования, по крайней мере, рискованно.

Понятно поэтому то значение важного события, крупного этапа в развитии наших этимологических исследований, которое приобретает выход в 1910 г. «Этимологического словаря русского языка» А. Г. Преображенского. Публикация словаря А. Г. Преображенского предваряет советский период истории этимологических исследований. Кроме того, она связана с последующим периодом также и тем более существенным отношением, что дала конкретную научную пищу обстоятельным критикам и рецензиям этого словаря, которые вышли в первую половину 1920-х гг. в русских научных периодических изданиях. Полезность этимологического словаря А. Г. Преображенского несомненна для нас и сейчас, спустя полстолетия; еще более очевидна была она тогда, так как эта работа является бесспорным шагом вперед по сравнению с созданным ранее словарем Н. Горяева. Словарь А. Г. Преображенского привлек внимание отдельных ученых. Кроме этого, еще одно имя стало известным в русской науке — имя М. О. Когена, автора ряда подробных критических обзоров данного словаря, выступающего в них как довольно активный этимолог. В отличие от последующих его публикаций рецензии и поправки М. О. Когена к словарю А. Г. Преображенского могут считаться серьезными для своего времени.

В 1926 г. в связи с выходом названного словаря появляется важная рецензия Б. М. Ляпунова — известного уже к тому племени слависта и русиста, публиковавшего отдельные этимологические наблюдения еще задолго до Октябрьской революции. Внимание к этимологической теме характеризовало и всю его сравнительно долгую послереволюционную научную деятельность. Более поздние труды по этимологии Б. М. Ляпунова не очень многочисленны, но они обладают рядом ценных научных качеств, отличаясь трезвостью, доброкачественным материалом и обоснованностью обобщений.

Любая характеристика русской научной литературы по этимологии 1920-х гг. осталась бы неполной, если не назвать Г. А. Ильинского — плодо-

витейшего из наших этимологов, который оставался этимологом по преимуществу даже тогда, когда исследовал внешне очень далекие от этимологии вопросы. Чтобы дать некоторое представление об интенсивности этимологической работы Г. А. Ильинского, укажем, что, например, за 1918—1919 гг. им опубликовано 85 самостоятельных этимологических этюдов (Славянские этимологии. I—LXXXV). Однако те, кто обратится к его трудам сейчас, не смогут не отметить, что объем этих этимологических разысканий и количество привлеченного в них материала не уравновешиваются высотой научного метода (многое из предложенных Г. А. Ильинским этимологий последующими учеными признано устаревшим). Никто, например, не объясняет теперь заимствованные юж.-слав. *kip* 'изображение, картина', сербохорв. *пашеног* 'свояк' как исконно славянские слова или чеш. *včela* 'пчела' (развитие праслав. **bъčela*, ср. диссимиляцию словац. *vták* при чеш. *pták* 'птица') — как якобы особое образование, родственное чеш. *vučeti* 'жужжать' из **ouk*-. Искусственных построений Г. А. Ильинского не спасали ни внешнее изящество анализа, ни обширность фактических знаний самого автора. Строгость научной аргументации ему, к сожалению, слишком часто заменяло одностороннее увлечение определенной идеей, мешавшее видеть иногда самые очевидные вещи. Надо сказать, что гораздо менее изощренные по форме, подчас даже наивные заметки о происхождении слов А. И. Соболевского благодаря присутствующему в них здравому смыслу выдержали испытание временем успешнее в своем большинстве. При всем том этимологические исследования Г. А. Ильинского были и остаются важным этапом в истории русской этимологической литературы, служа примером редкого сочетания филологической культуры и библиографической полноты в этимологии. Все сказанное выше может быть отнесено и к работам Г. А. Ильинского предшествующих десятилетий. Он лучше, пожалуй, чем кто-либо другой, демонстрирует своей деятельностью продолжающийся в основном характер этимологических исследований в русском языкознании 1920-х гг., поскольку и следующее десятилетие не принесло этому ученому существенно новых форм этимологической работы, все так же сохраняющей у Г. А. Ильинского характер накопления наблюдений по морфологической и корневой этимологии.

Таким образом, мы не находим в этимологических исследованиях того времени существенных новых идей и новых форм работы. В 1920-е гг. продолжают работать несколько видных ученых (Б. М. Ляпунов, Г. А. Ильинский и А. И. Соболевский), но о сколько-нибудь заметном притоке новых сил говорить не приходится [1]. Продолжающиеся у нас в эти годы исследования по

[1] Дело в том, что молодой М. Р. Фасмер, заявивший о себе с самого начала как этимолог-русист, К. Буга — выдающийся знаток балтийских языков и автор множе-

этимологии носят печать разобщенности и индивидуальности. Так, для Г. А. Ильинского это, в основном, форма его праславянских морфологических разысканий, а, например, для Б. М. Ляпунова это скорее этимологические досуги русиста-историка языка. Этот отпечаток разобщенного и личного проступил позднее еще более четко, что делает понятным столь легкое вытеснение, практически — исчезновение со страниц нашей научной печати в последующее время классической этимологии, которая в 1930—1940 гг. переживала сильный упадок. Приобретают популярность иные исследовательские методы, но их острие направлено не специально против традиционной этимологии, играющей и без того слишком небольшую и случайную роль.

В 1920-е гг. в области конкретной этимологии преимущественно младограмматического толка делается еще довольно много, оживленный и деловой характер носит сотрудничество с зарубежными учеными. Так, этимологические статьи Г. А. Ильинского можно встретить в югославских, немецких, чехословацких, польских изданиях, а зарубежные этимологи участвуют в изданиях нашей Академии наук (см., например, «Статьи по славянской филологии и русской словесности»[2]). Равным образом тесное сотрудничество связывает русских ученых с украинскими и белорусскими, и этимологии Г. А. Ильинского печатаются в эти годы неоднократно в Белоруссии и на Украине. А. И. Соболевский, давший в дореволюционный период ряд полезных этимологий и толкований слов в своих «Лекциях по истории русского языка», «Материалах и исследованиях в области славянской филологии и археологии» и др., плодотворно работает и в 1920-е гг. Именно это десятилетие ознаменовано в его богатом творчестве систематическим обращением к вопросам происхождения топонимов, гидронимов, вообще — собственных названий. Эти занятия А. И. Соболевского связаны с его дореволюционными экскурсами в проблематику балтийских следов в топонимии и с аналогичными поисками А. А. Кочубинского, А. Л. Погодина, Е. Ф. Карского. Однако в работах А. И. Соболевского 1920-х гг. особенно обсуждаются вопросы, характерные для этого ученого как ономаста: славяно-скифская проблема, проблема славянского *х*, принципы выявления субстратных, дославянских названий рек и мест, конкретные следы дославянских этнонимов и антропонимов. Хотя многое звучит сейчас неубедительно, эти труды, их материал и их идеи не утратили научного значения и сейчас. А. И. Соболевский указал точный иранский

ства балтийских и славянских этимологий, и Я. Эндзелин — крупный славист, специалист по балтийским языкам и индоевропеист, писавшие по этимологическим вопросам до революции в русских изданиях, в 1920-е гг. продолжают свою работу за пределами России.

[2] Сборник статей в честь акад. А. И. Соболевского. Л., 1928.

прототип племенного имени хорватов, призывал пристально изучать гидронимы с точки зрения их суффиксальной оформленности — неоформленности, решая вопрос об их генезисе. В истории русской ономастической этимологии А. И. Соболевский, бесспорно, занимает видное место. И хотя классическая разработка ономастических следов иранцев на Юге России принадлежит М. Фасмеру (1923), который позднее, в 1930-х гг., в немецких изданиях дал систематические очерки исторической топонимии Восточной Европы, труды последнего примыкают в ряде пунктов к работам А. И. Соболевского, являясь как бы дальнейшим развитием русской школы исторической топонимии. К сожалению, эти труды М. Фасмера не получили у нас откликов ни в 1930-е, ни в 1940-е, ни в 1950-е гг.

Опыт нашей этимологической науки 1920-х гг. занимает по праву довольно много места в пашем очерке истории этимологических исследований за 50 лет, поскольку период 1920-х гг. тесно связан с предшествующей эпохой интенсивного развития русской филологии и языкознания, с которой 1920-е гг. объединяет не только относительное обилие этимологических публикаций, но и еще более красноречивые лакуны в области этимологических исследований. Этимологизация отдельных слов и собственных названий велась более или менее активно, сознавалась необходимость работы над созданием этимологического словаря славянских языков. Для того времени это было состояние, близкое к европейскому уровню в данной области. С другой стороны, полностью отсутствовала такая форма этимологической работы, как этимологическая монография группы слов, близких по значению и условиям употребления. Работу такого плана о названиях родства у славян выпустил, как известно, вот уже сто лет назад П. А. Лавровский [3]. Другой сколько-нибудь значительной подобной монографии не дала русская наука ни до революции, ни в рассматриваемый выше послереволюционный период, в течение которого традиции предшествующей русской языковедческой науки были достаточно сильны.

Довольно сложный характер носит вопрос о связи с периодом 1920-х гг. этимологии последующих десятилетий и нашей современной этимологии, особенно если говорить не о пассивно воспринятой традиции, а о преемственной связи. Заслуживают быть выделенными некоторые работы Б. М. Ляпунова, выпущенные в 1930—1940 гг. и специально построенные на связи этимологии и семасиологии [4]. Этимология, основанная на значении, или се-

---

[3] *П. А. Лавровский*. Коренное значение в названиях родства у славян. СПб., 1867.

[4] *B. M. Ljapunow*. Semasiologisch-etymologische Skizzen aus dem Gebiete der ostslavischen Sprachen // Mélanges de philologie offerts à J. J. Mikkola. Helsinki, 1932; а также: [Ляпунов, 1946].

масиологическая этимология, — это один из важных аспектов современной этимологии, поэтому сейчас представляется существенной постановка вопроса Б. М. Ляпуновым, который, в свою очередь, имел предшественника в М. М. Покровском (см. работы последнего по семасиологии и образованию слов). Но вопрос о преемственности, традициях и о влиянии имеет смысл трактовать осторожно, потому что к сходной постановке тождественных проблем в последующие эпохи может толкать исследователей в значительной мере типологическое, независимое сходство ситуаций в науке, а не безотносительное воздействие старого образца [5].

В старой русской этимологической литературе пользовалась вниманием авторов тема восточных заимствований в русском словаре (ср. известную полемику П. М. Мелиоранского и Ф. Е. Корша о тюркских заимствованиях в «Слове о полку Игореве»). В послереволюционное время эта тема исследуется в этимологических этюдах востоковедов старшего поколения — В. А. Гордлевского и С. Е. Малова. О тюркизмах русского языка в целом написана статья Н. К. Дмитриева [6]. Определенное развитие русской филологической этимологии мы наблюдаем в серии статей и заметок В. В. Виноградова по этимологии и истории слов современного русского литературного языка [7].

Старая русская этимология не завещала нам аспект лингвистической географии, который входит сейчас в число основных требований, предъявляемых к современной этимологии. В 1920-е же годы это последнее требование не стояло с такой остротой и притом не только в нашей науке. Аспект лингвистической географии был чужд Г. А. Ильинскому, так же как был он чужд, например, А. Брюкнеру, крупнейшему польскому этимологу того же времени.

Подводя итоги первого периода истории этимологических исследований в советское время, мы должны указать, что теоретическая разработка проблем и принципов этимологии не была тогда объектом исследования, синтетические монографии по этимологии групп близкой лексики не появлялись, русская и славянская этимологическая лексикография практически не существовала, а то, что делалось и печаталось по этимологии отдельных слов, носило разрозненный, несистематический и как бы прикладной характер.

---

[5] В современной этимологии можно сослаться на шведского русиста Г. Якобссона, который работает над семасиологическим аспектом этимологии. Можно также вспомнить о семасиологических (синонимических) словарях, трактующих способы выражения в лексике тождественных понятий (индоевропейский словарь Бака 1949 г., предназначенный для этимологов).

[6] *Н. К. Дмитриев.* О тюркских элементах русского словаря // Лексикографический сборник. Вып. III. М., 1958.

[7] В этом направлении работают также периодически за рубежом Б. Унбегаун, В. Кипарский, А. В. Исаченко.

Естественно, что в стране с высокоразвитым востоковедением работа по этимологии велась не только в области славистики и русистики. Русские и советские востоковеды с их широкими интересами в диалектологии, истории языка, филологии и истории культуры периодически обращались к этимологическим вопросам. Примером может служить иранист А. А. Фрейман и его работы разных десятилетий. Из числа широко ориентированных филологически иранистов особенно выделяется В. И. Абаев с его острым вниманием к этимологии, который с 1920-х гг. много работает, главным образом, над осетинской, скифо-сарматской, восточноиранской этимологией, над этимологическими связями лексики языков Кавказа. В. И. Абаева занимает проблема реликтов скифского языка; на основе сохранившейся ономастики он реконструирует «Словарь скифских основ» — опыт поучительный при всей скудости исходной базы. Иранист-этимолог, изучающий осетинский словарный состав, имеет дело с языком народа, история которого не написана. Этимологизация лексики представляет собой важный источник по истории осетинского народа; этим определяется основной для В. И. Абаева интерес к этимологии в связи с историей народа. Восстановление быта и истории древних осетин по данным языка приносит В. И. Абаеву много интересных этимологий, хотя проблемы и неясности здесь остаются и, как мы видим в последние годы, даже усложняются (скифо-сарматские связи осетинского языка и связь с Причерноморьем, с одной стороны, и связь с восточноиранскими языками Азии, Древней Согдианы и Хорезма — с другой). В скифских разысканиях В. И. Абаева мы видим ту линию, которая восходит через работу М. Фасмера об иранцах на Юге России 1923 г. к работам В. Б. Миллера, т. е. ценное продолжение и развитие ономастической этимологии, ограниченное, правда, специфической языковой областью.

Нельзя не отметить, что именно в 1920—1930-е гг. ведется интенсивнейшая и не находящая себе сравнения в пределах нашей страны работа по армянской этимологии, завершающаяся кодификацией всего материала в виде титанического труда — «Этимологического коренного словаря армянского языка» Р. Ачаряна в семи томах. Ценность этого уникального труда — в совмещении исторического и этимологического словарей данного языка, в поражающем богатстве этимологических и библиографических данных. Однако несколько необычная форма публикации (фототипия с авторской рукописи, к тому же — на армянском языке), во-первых, и значительные успехи, накопленные спустя истекшие 30 лет этимологической арменистикой и индоевропеистикой, во-вторых, заставляют признать словарь Р. Ачаряна труднодоступным и устаревшим. Тот же ученый собирает огромные материалы по армянской ономастике.

В 1930-х гг. положение в этимологических исследованиях резко меняется. Дело не только в том, что умирают или отходят от активного творчества

большие этимологи-компаративисты (А. И. Соболевский, Г. А. Ильинский). В этимологию нашла широкий доступ лингвистическая доктрина Н. Я. Марра. К наследию этого ученого, в том числе и к его этимологиям, следует подходить дифференцированно. «Много из того, что им (Н. Я. Марром. — *О. Т.*) сделано ⟨...⟩ сохранит свое значение, в особенности для картвельских и армянского языков. Составители этимологических словарей этих языков не пройдут мимо работ Марра, где наряду с сомнительными и фантастическими есть немало остроумнейших сопоставлений и разъяснений»[8], — пишет В. И. Абаев. Действительно, знакомство с новейшим «Этимологическим словарем картвельских языков» Г. А. Климова убеждает в правоте этих слов. Но верно также и то, что написанное Н. Я. Марром по этимологии славянской и индоевропейской лексики настолько выпадает из разумных представлений об объективно ценном и прогрессивном в этой области, что может быть без ущерба обойдено здесь молчанием. В остальном в 1930-е гг. еще появляется ряд серьезных этюдов по этимологии видных русских и других лингвистов (Б. М. Ляпунов, Е. Д. Поливанов), но все это скорее случайные публикации, нередко — в зарубежных изданиях. Уровень и интенсивность этимологических исследований в общем резко падают. Можно назвать отдельные этимологические работы в основном школьного и прикладного характера, например серию статей И. А. Фалева «Материалы по этимологии и словообразованию» в журнале «Русский язык в школе» за 1939 и 1940 гг. От этого периода сохраняют известное значение для этимологии те работы, которые посвящены подробному описанию лексики, в частности — на основе живых наблюдений (ср. работы Ф. П. Филина о лексике русских народных говоров, позднее — о лексике древнерусского языка Киевской эпохи, серии статей Н. П. Гринковой по областной лексике русского языка, отдельные статьи А. П. Евгеньевой по истории слов русского языка).

1940-е гг. принесли трудности военного времени, но вместе с тем и обновление интереса к генетическим, родственным связям языков, в первую очередь — славянских, что существенно для этимологических исследований. Эти веяния во всяком случае предшествуют лингвистической дискуссии 1950 г. Но систематических, крупных работ по этимологии не ведется, хотя некоторые ученые периодически обращаются к близким темам. Крупнейшей публикацией в истории русской этимологии этих лет является том 1 Трудов Института русского языка АН СССР за 1949 г., где, наконец, было издано окончание этимологического словаря А. Г. Преображенского, а также большая статья Л. А. Булаховского «Деэтимологизация в русском языке».

[8] *В. И. Абаев.* Н. Я. Марр (1864—1934). К 25-летию со дня смерти // ВЯ. 1960, № 1. С. 98.

Л. А. Булаховскому же мы обязаны важной инициативой возрождения в отечественном языкознании монографического исследования группы слов с точки зрения их происхождения и этимологии (1948). Определенные заслуги в разработке более «камерного» жанра — этимологии и истории отдельных слов — имеет Б. Л. Богородский, который с конца 1930-х гг. в течение вот уже трех десятилетий систематически исследует в серии статей старые и новые пласты нашей морской терминологии и профессиональной лексики.

Дискуссия 1950 г. легализовала наметившееся уже раньше оживление нашей компаративистики, но совершенно ясно, что формальный акт восстановления в правах не мог привести к возрождению нормальной научной деятельности там, где предшествующие десятилетия привели ее к постепенному затуханию и упадку. То, что относилось к компаративистике, сравнительно-историческому языкознанию в широком смысле, с еще более полным основанием могло быть отнесено к такой специфической области, как этимология. Лингвистическая публицистика начала 1950-х гг. подняла много этимологического материала, но все это было повторением известных, хрестоматийных примеров и иллюстраций и само по себе еще не означало возрождения серьезных этимологических исследований. Вообще активизация этимологических исследований у нас, которая действительно наметилась в последующие годы, — достаточно сложное явление, которое не может трактоваться однозначно как возрождение традиционных этимологических исследований, например, русской и советской науки 1920-х гг. Недостатки периода 1920-х гг. были видны 30 лет спустя достаточно ясно. К этому нужно добавить, что развитие мировой науки в области этимологии ушло от того уровня, на котором работали наши этимологи 1920-х гг., и было бы неразумно не считаться с этим в 1950-е гг. В иных условиях, может быть, встал бы вопрос о коренной ломке исследовательских навыков, но практически не потребовалось и этого, поскольку хорошо известно, что к этому времени у нас почти не оставалось ученых старшего поколения, связанных преимущественно с этимологией. Поэтому активизацию этимологических исследований у нас в 1950-е гг. и в последующее время следует понимать как новое развитие этимологии, которая, естественно, строилась на учете лучших достижений нашего прошлого и зарубежной науки, воспринимая отдельные отечественные и зарубежные традиции и новые принципы, но не являясь вместе с тем прямым продолжением ни тех, ни других. Делом развития этимологии на новой, синтетической основе были заняты в последний период рассматриваемого здесь пятидесятилетия в основном молодые силы, пришедшие в науку в 1950-х гг. Фактический перерыв традиции в области этимологических исследований имел то положительное последствие для формирования молодых специалистов в этой области в 1950-х гг., что им как бы была предоставлена возможность нестес-

ненного выбора и синтезирования исследовательских методов. Разумеется, то же самое обстоятельство не уберегало их на первых порах от того, что можно назвать недостатком школы. Высказанная здесь краткая характеристика касается, прежде всего, положения в этимологии русского и славянских языков, которая пострадала в предшествующие десятилетия несравненно больше, чем та же область исследования других языков, например иранских и армянского. Характерно, что в обсуждении проблем и принципов составления этимологических словарей славянских, русского и других языков, состоявшемся в 1952 г., приняли участие ученые, непосредственно не занимавшиеся славянской этимологией. То же может быть отнесено и к принципам этимологического исследования как такового. Как известно, дело с разработкой принципов славянской этимологии у нас всегда обстояло довольно плохо. Вышедшая в 1950 г. сама по себе довольно интересная книга А. А. Белецкого «Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка)» в силу специфичности своего материала не могла иметь большого значения для практики этимологизации русской и славянской лексики. В то же время сам факт выхода такой книги не мог не иметь положительного значения. Ее автор, опытный индоевропеист и лингвист-классик, время от времени выступает также в последующие годы с этюдами по этимологии, в частности — ономастического содержания. В целях скорейшего обеспечения нашей этимологии методологическим пособием в 1956 г. была издана книга В. Пизани «Этимология» в переводе с итальянского на русский язык под редакцией и с предисловием В. И. Абаева. Однако эта книга выросла из собственной практики В. Пизани — лингвиста-классика и индоевропеиста широкого профиля. Славянского материала она касается (если не говорить о принципиальных вопросах) конкретно в одном-двух примерах и притом — едва ли удачно[9]. Ясно, что ни эта, ни какая-либо другая, столь же «внешняя» по отношению к славянскому и русскому материалу работа, не исключает по-прежнему настоятельной необходимости работать в направлении создания у нас своих оригинальных обобщений методологии и принципов этимологических исследований в этой области. В том факте, что такое оригинальное теоретическое исследование не появилось ни в начале 1950-х гг., ни даже сейчас, целых полтора десятилетия спустя, нет ничего, что должно было бы вызвать острое беспокойство, так как теоретическая работа по методологии этимологических исследований должна отражать зрелый коллективный или индивидуальный опыт, т. е. должна вырастать из большой практики конкретных исследований. Из этого не вытекает, что сами эти конкретные этимологические исследова-

---

[9] Например, приложение об этимологии слова *площадь*, см.: *В. Пизани.* Этимология. М., 1959. С. 167—170.

ния могут осуществляться в свободе от всякой теории. Напротив, каждое конкретное этимологическое исследование основывается на своей рабочей теории. Отсутствие разработанной методологии, которая бы гармонично отражала все достижения языкознания, применимые в этимологии, составляет бесспорно одну из существенных трудностей в работе наших новых специалистов по этимологии. Ясно также, что упомянутая теоретическая разработка должна явиться одним из последующих этапов пути; было бы неправильно начинать творческий путь этимолога со столь ответственного теоретизирования, раньше, чем приобретен вкус к этимологии и опыт, который может быть достигнут только этимологической практикой. Право на теоретическое обобщение приходит не сразу. Поэтому вполне естественным и логичным нужно считать прежде всего оживление публикаций по этимологии слов и их групп с 1950-х гг., наблюдаемое и сейчас. В течение этого новейшего периода развития наших этимологических исследований не только накапливается конкретный опыт этимологизации, но совершенствуются и ее внешние формы, включая формы публикации, укрепляются основы того, что можно потом будет назвать научным общественным мнением в вопросах этимологии. Это последнее, в свою очередь, служит одним из критериев контроля качества этимологических исследований. Следовательно, основы наших будущих достижений в этой области коренятся в интенсивности проводимой конкретной этимологической практики, естественно, при условии достаточно высокого уровня этой исследовательской практики. Разумеется, соблюдение обоих условий удается не всегда. Но рост объема этимологических исследований за последнее десятилетие налицо, причем это относится к разным языкам. Здесь следует отметить статьи В. Н. Топорова по этимологии славянских, балтийских (древнепрусский) и индоевропейских языков, которые начали выходить с 1958 г. в различных советских и зарубежных изданиях. Этимологические исследования В. Н. Топорова обладают исключительно надежной филологической базой, опираются на очень полное знание обширной литературы, очень интересны своими этимологическими идеями. В его работах мы находим ценный новый материал по лексико-словообразовательным связям славянского и италийского, балтийских и тохарских языков. Предлагаемые им новые этимологии, как правило, очень трезвы, тонко обоснованы со стороны семасиологии и соотнесены с различными другими внеязыковыми аспектами, например — с древними мифологическими воззрениями. Этимологические исследования В. Н. Топорова, бесспорно, должны быть отнесены к лучшему из того, что вышло в этой области за последние десять лет. Сюда примыкают работы индоевропеиста Вяч. В. Иванова, главным образом о лексике хеттского клинописного и других родственных древних языков Анатолии, отчасти в связи с балтийским и славянским (1958_1, 1958_2, 1960). Вышли книги О. Н. Тру-

бачева «История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя» и «Происхождение названий домашних животных в славянских языках». Несколько лет спустя им опубликована книга «Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой реконструкции)». Начиная с 1955 г. О. Н. Трубачев публикует статьи по этимологии славянских слов, в частности — продолжающуюся серию «Славянские этимологии» (выходит в различных изданиях), работы по этимологии балтийских и других индоевропейских слов, о принципах этимологизации и о принципах реконструкции групп лексики, о составе праславянского словаря, о лексических связях славянского с другими индоевропейскими (например: Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965). В Институте русского языка АН СССР с 1961 г. под руководством О. Н. Трубачева ведутся работы над новым этимологическим словарем славянских языков. О. Н. Трубачев осуществил перевод с дополнениями «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера. Вышла в свет книга В. Н. Топорова и О. Н. Трубачева «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья», включающая этимологический словарь этих гидронимов. О. Н. Трубачев подготовил монографию «Названия рек Правобережной Украины».

Продолжает работать над этимологической проблематикой В. И. Абаев, публикующий в 1950—1960-х гг. в различных изданиях Москвы и Ленинграда, а также за рубежом статьи о происхождении иранских слов, о восточных заимствованиях в русском языке. В последние годы его интересуют языковые следы европейских связей скифского и осетинского. Крупнейшим вкладом В. И. Абаева в нашу и мировую этимологическую науку явился его «Историко-этимологический словарь осетинского языка». Несколько статей по истории слов и этимологии выпустил Б. А. Ларин. Отметим как наиболее удачное его сближение слов **sormъ* ‘срам’, ‘стыд’ и лит. *šarmà* ‘иней’ [10]. Лингвист-классик Ю. В. Откупщиков выступает со статьями по этимологии ряда слов латинского, литовского и славянских языков. В области славянской этимологии работает В. В. Мартынов, интересующийся, в основном, славяно-германскими отношениями (1963). Полезные работы по лексике славянских языков выпускает Г. П. Клепикова, особенно о различных славянских названиях птиц, где этимологические комментарии удачно сочетаются с использованием географии слов и карт [Клепикова 1961]. Наша балтийская этимология несколько активизируется благодаря усилиям молодых литовских лингвистов. А. Сабаляускас опубликовал за последние годы большое количество статей, главным образом, о названиях культурных растений в балтийских языках. Ряд статей по литовской, древнепрусской к индоевропейской этимо-

[10] Ларин. 1958. С. 150.

логии принадлежит В. Мажюлису. Происхождение различных русских и славянских названий растений освещается в этимологических статьях В. А. Меркуловой. Автором нескольких статей и заметок по славянской этимологии и словообразованию является Ж. Ж. Варбот. Ее этимология слова *лезвие* < *лезть* обращает на себя внимание своей убедительностью и простотой [11]. Л. А. Гиндин и В. В. Шеворошкин в своих работах по анатолийским индоевропейским языкам и их связям с догреческим миром касаются вопросов происхождения различных местных слов и ономастики. Этимологическую проблематику затрагивает также этрусколог А. И. Харсекин.

Нельзя не упомянуть о плодовитой деятельности А. С. Львова, который опубликовал в советских и зарубежных изданиях много статей об употреблении и происхождении старославянских и русских слов. В различных изданиях выходили статьи А. Е. Супруна о происхождении русских и украинских слов, в частности — восточных заимствований. Статьи по русскому словообразованию и этимологии выпускал Н. М. Шанский, опубликовавший также вместе с В. В. Ивановым и Т. В. Шанской «Краткий этимологический словарь русского языка» — пособие, близкое по типу к школьному этимологическому словарю, вышедшему в г. Калинине в 1955 г. С 1963 г. Н. М. Шанским издается этимологический словарь более пространной редакции. П. Я. Черных опубликовал ряд заметок о происхождении слов и собственных названий, а также книгу «Очерк русской исторической лексикологии». В академических и университетских изданиях Москвы и Ленинграда, в «Лексикографическом сборнике» и других органах вышло за послевоенные годы немало полезных статей и заметок по истории и происхождению слов М. А. Соколовой, В. А. Плотниковой, Н. А. Мещерского, Е. М. Иссерлин, Д. К. Зеленина, К. Н. Державина и др. Этимологический характер носят некоторые популярные статьи В. А. Никонова. На Украине в области лексики, отчасти в связи с вопросами этимологии, много работает И. А. Дзендзелевский, выпустивший серию статей о различной народной терминологии. А. А. Бурячок опубликовал книгу о терминах родства в украинском языке. В области украинской этимологии работает Р. В. Кравчук.

Традиционная для русской науки тема — заимствования в русской лексике — продолжает довольно углубленно разрабатываться в отдельных своих фрагментах, например, в монографии А. К. Матвеева «Финно-угорские заимствования в русских говорах Северного Урала», а также в целом ряде его статей в советских и зарубежных (венгерских) изданиях. Богата лексическим материалом книга А. И. Попова «Из истории лексики языков Восточной Европы». Исследование Ф. П. Филина «Образование языка восточных славян»

---

[11] *Ж. Ж. Варбот.* Заметки по славянской этимологии // Этимология. 1964. М., 1965.

строится в значительной части на материалах лексики и этимологии. В работах этих авторов привлекаются также данные топонимии. В целом, исследования топонимов, гидронимов, их происхождения тесно примыкают к собственно этимологической литературе. Здесь можно напомнить о более ранних статьях Д. В. Бубриха об этнонимах *анты* / *вятичи*, *мордва*[12]. Б. А. Серебренников в ряде статей исследует старую, субстратную гидро- и топонимию Средней и Северной России, характеризуя ее с точки зрения словообразования и происхождения (ср. указание на связь с топономастикой зауральских территорий)[13]. Он же по заимствованиям в восточнофинских языках пытается выявить следы исчезнувшего балтийского языка в центре Европейской России. Сходные в принципе проблемы занимают В. А. Никонова, ставящего вопрос о неизвестных языках Поочья. Упорно работает над историческим изучением севернорусской топонимии А. К. Матвеев. Исследование старой топономастики Северной и Средней России, естественно, ставят перед каждым автором, в основном, одну и ту же дилемму: финно-угорское или дофинно-угорское, resp. нефинно-угорское, происхождение старого слоя названий. Из исторических разработок антропонимии можно назвать книгу В. К. Чичагова «Из истории русских имен, отчеств и фамилий»[14].

В конце 1950-х — начале 1960-х гг. вновь усиливается внимание к вопросам теории этимологии, принципам построения этимологических словарей разных типов (статьи В. Н. Топорова, О. Н. Трубачева, А. С. Чикобавы). Заново пересматривается на этимологической основе теории далекого родства языков — ностратическая теория, «сибиро-европейская гипотеза» (В. М. Иллич-Свитыч, А. Б. Долгопольский).

Кроме известного оживления в области этимологической теории, 1960-е гг. характеризует определенный прогресс в сфере этимологической лексикографии. Значительным событием явился выход «Этимологического словаря картвельских языков» Г. А. Климова. Этот словарь корневого фонда группы родственных языков отличается продуманностью структуры и теоретического плана и представляет также интерес в методологическом отношении. Автору принадлежит, кроме того, ряд серьезных работ по лексике и этимологии кавказских языков, по вопросам глоттохронологии и морфологической сис-

[12] *Д. В. Бубрих*. О названии *анты* и связанных с ним названиях // Изв. АН СССР, ОЛЯ. 1946. Т. V. Вып. 6.

[13] *Б. А. Серебренников*. Топонимические загадки Сибири // Onomastika. Roczn. V, zesz. 1. Kraków; Wrocław, 1959.

[14] *В. К. Чичагов*. Из истории русских имен, отчеств и фамилий. (Вопросы русской исторической ономастики 15—17 вв.). М., 1959; *В. К. Чичагов*. О некоторых вопросах истории русского языка в связи с историей слова *ружье* // Уч. зап. МГУ. 1952. Вып. 150. С. 283.

темы. Опубликован «Этимологический словарь чувашского языка» В. Г. Егорова, что лишь частично компенсирует отставание этимологических исследований в остальных тюркских языках. В. И. Лыткин издал в 1964 г. небольшой проспект «Краткого этимологического словаря восточнофинских языков (Финно-угорский фонд)». В ближайшем будущем можно ожидать также оживление работы в области алтайской этимологии. Активизируется работа по абхазско-адыгской лексике [Шагиров 1962]. В прямом отношении к росту активности наших авторов-этимологов находится укрепление научных связей с зарубежными учеными: участились публикации советских этимологических исследований за рубежом и выступления зарубежных этимологов на страницах наших изданий (статьи А. Вайяна, М. Вея, В. Махека).

Разнообразны виды публикаций нашей этимологической литературы последнего времени. Сюда относятся монографические исследования (книги, статьи по этимологии в составе сборников и периодических изданий различного плана); сборники или специальные периодические издания преимущественно этимологического характера («Этимология», издается с 1963 г. Институтом русского языка АН СССР; «Этимологические исследования по русскому языку», изд. МГУ, вышло четыре выпуска); этимологическая лексикография.

Говорить об этимологических исследованиях в широком смысле применительно к нашей стране — это значит говорить об этимологии славянских, балтийских, тюркских, армянского, кавказских, иранских, финно-угорских, алтайских и других языков. Естественно, с равным правом можно ставить вопрос о развитии нашей этимологии германских, романских, далее — древних индоевропейских языков, хотя здесь работа у нас все еще не носит систематического характера.

Поэтому, ставя, например, вопрос о задачах на будущее и вполне отдавая себе при этом отчет в специфичности задач каждой из перечисленных частных этимологий, мы считаем допустимым изложение задач славянской этимологии как относительно продвинутой у нас области.

Новый этимологический словарь славянских языков; монографическое описание групп лексики и их этимологии; работы по методике и методологии этимологических исследований; постоянное издание ежегодного печатного органа по этимологическим исследованиям; этимологический словообразовательный анализ гидронимии старых славянских территорий, на их базе — сводное исследование по праславянской топонимии и гидронимии; этимологический словарь русских фамилий (или фамилий, употребительных в России) — важнейшая задача этимологических исследований.

В плане методологии и общих принципов задачи этимологических исследований можно сформулировать так:

1) групповой аспект как нейтральный аспект исследования слов;

2) лингвогеографический аспект как постоянный фон этимологизации;

3) выявление преимущественной сочетаемости морфем и словообразовательных элементов;

4) опора на типичные семасиологические связи и переходы.

Литература

Абаев 1949 — *Абаев В. И.* Осетинский язык и фольклор. Т. 1. М.; Л., 1949.

Абаев 1952 — *Абаев В. И.* О принципах этимологического словаря // ВЯ, 1952, № 5.

Абаев 1958 — *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М., 1958.

Ачарян 1952 — *Ачарян Р. А.* О составлении этимологического словаря славянских языков // ВЯ, 1952, № 4.

Белецкий 1950 — *Белецкий А. А.* Принципы этимологических исследований (на материале греческого языка). Киев, 1950.

Булаховский 1948 — *Булаховский Л. А.* Общеславянские названия птиц // Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1948, вып. 2.

Булаховский 1949 — *Булаховский Л. А.* Деэтимологизация в русском языке // ТИРЯ АН СССР, 1949, т. 1.

Вурячок 1961 — *Вурячок А. А.* Назви спорідненості і свояцтва в українській мові. Київ, 1961.

Виноградов 1956 — [*Виноградов В. В.*] Список трудов акад. В. В. Виноградова (особенно № 59—83) // Акад. В. В. Виноградову. Сборник статей. М., 1956.

Егоров 1964 — *Егоров В. Г.* Этимологический словарь чувашского языка. Чебоксары, 1964.

Журавлев 1962 — *Журавлев В. К.* Григорий Андреевич Ильинский. М.: МГУ, 1962.

Иванов 1958 — *Иванов Вяч. В.* К этимологии балтийского и славянского названий бога грома // ВСЯ, 1958, № 3.

Иванов 1960 — *Иванов Вяч. В.* Рус. *молить* и хеттск. *malda*(*i*) // Этимологические исследования по русскому языку, 1. М., 1960.

Ильинский Г. А. — см. *Журавлев В. К.*

Клепикова 1961 — *Клепикова Г. П.* Славянские названия птиц (аист, ласточка, ворон) // ВСЯ, 1961, № 5.

Климов 1964 — *Климов Г. А.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964.

Ларин 1958 — *Ларин О. А.* Из славяно-балтийских лексикологических сопоставлений // Вестник ЛГУ, 1958, № 14.

Лыткин 1964 — *Лыткин В. И.* Краткий этимологический словарь восточнофинских языков. (Финно-угорский фонд). М.: Проспект, 1964.

Ляпунов 1946 — *Ляпунов В. М.* Из семасиологических этюдов в области русского языка: *досуг* и пр. // Изв. АН СССР, ОЛЯ, 1946, т. V.

Мартынов 1963 — *Мартынов В. В.* Славяно-германское лексическое взаимодействие древнейшей поры. Минск, 1963.

Матвеев 1959 — *Матвеев А. К.* Финно-угорские заимствования в русских говорах Северного Урала. Свердловск, 1959.

Петерсон 1952 — *Петерсон М. Н.* О составлении этимологического словаря русского языка // ВЯ, 1952, № 5.

Попов 1957 — *Попов А. И.* Из истории лексики языков Восточной Европы. Л., 1957.

Преображенский 1958 — *Преображенский А. Г.* Этимологический словарь русского языка. М., 1958. (Переиздание фотоофсетным способом).

Топоров 1958_1 — *Топоров В. Н.* Этимологические заметки (славяно-италийские параллели) // КСИС, 1958, № 25.

Топоров 1958_2 — *Топоров В. Н.* Заметки по прусской этимологии // ВСЯ, 1958, Вып. 3.

Топоров 1960 — *Топоров В. Н.* Из праславянской этимологии: *ryba* // Этимологические исследования по русскому языку, 1. М., 1960.

Топоров 1963_1 — *Топоров В. Н.* К этимологии слав. *myslь* // Этимология. М., 1963.

Топоров 1963_2 — *Топоров В. Н.* Тохарская этимология за двадцать лет // Этимология. М., 1963.

Топоров 1963_3 — *Топоров В. Н.* Исследования по балтийской этимологии (1957—1961) // Этимология. М., 1963.

Топоров, Трубачев 1962 — *Топоров В. Н., Трубачев О. Н.* Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

Трубачев 1955 — *Трубачев О. Н.* К этимологии слова *собака* // КСИС, 1955, № 15.

Трубачев 1957_1 — *Трубачев О. Н.* Славянские этимологии 1—7 // ВСЯ, 1957, вып. 2.

Трубачев 1957_2 — *Трубачев О. Н.* Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ, 1957, № 5.

Трубачев 1957_3 — *Трубачев О. Н.* Этимологический словарь славянских языков Г. А. Ильинского // ВЯ, 1957, № 6.

Трубачев 1959_1 — *Трубачев О. Н.* Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ, 1959, № 1.

Трубачев 1959_2 — *Трубачев О. Н.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.

Трубачев 1960_1 — *Трубачев О. Н.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960.

Трубачев 1960_2 — *Трубачев О. Н.* Об этимологическом словаре русского языка // ВЯ, 1960, № 3.

Трубачев 1961 — Основные задачи этимологических исследований в области славянских языков // КСИС, 1961, № 33—34.

Трубачев 1963_1 — Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. М., 1963.

Трубачев 1963_2 — О составе праславянского словаря (проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V МСС. Доклады сов. делегации. М., 1963.

Трубачев 1963_3 — Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология. М., 1963.

Трубачев 1966 — *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках. (Этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.

Филин 1962 — *Филин Ф. П.* Образование языка восточных славян. М.; Л., 1962.

Черных 1956 — *Черных П. Я.* Очерк русской исторической лексикологии. М., 1956.

Шагиров 1962 — *Шагиров А. К.* Очерки по сравнительной лексикологии адыгских языков. Нальчик, 1962.

Шанский, Иванов, Шанская 1961 — *Шанский Н. М., Иванов В. В., Шанская Т. В.* Краткий этимологический словарь русского языка. М., 1961.

Шанский 1963 — *Шанский Н. М.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1. Вып. 1 (А). М., 1963; Вып. 2 (Б). М., 1965.

Ačaṙjan 1927—1935 — *Ačaṙjan Hr.* Hayeren armatakan bararan, I—VII. Erevan, 1927—1935.

ЭТИМОЛОГИЯ И ТЕКСТ

Задача этимологии — исследовать с л о в о, его происхождение, первоначальную структуру и древнее значение. Об этой специфике этимологии написано немало. Исследование т е к с т а не входит в сферу признанной компетенции этимологии; им занимаются такие разделы языкознания, как синтаксис, фразеология, а за пределами языкознания исследование текста в конкретном и общем плане является делом текстологии и филологии.

Однако граница между словом и текстом (словосочетанием), зыбкая даже с синхронной точки зрения (рус. *смеяться* — одно слово, а тождественное польск. *śmiać się* — два слова, рус. *не уметь* — два слова, а тождественное чеш. *neumět* — одно...), сходит иногда на нет при диахроническом подходе. Такие слова, как церковнославянское **нєѩвѣръ**, древнерусское *неꙗсыть* исторически оказываются развернутыми словосочетаниями ('не имущий веры', 'не имущий насыщения'), а современное русское слово *кто-нибудь* каждый человек, знакомый с историей языка, прокомментирует как первоначальную фразу 'кто бы то ни было'. Весьма относительна историческая граница между словосложением и словосочетанием.

Разумеется, оговорки не должны заслонять главной задачи этимологии — выяснять происхождение слов, а этимологическое значение и активное (лексическое) значение могут сильно различаться, вследствие чего даже лингвистическая дисциплина, изучающая сочетания слов — синтаксис, уже, как правило, не интересуется этимологией этих слов, закрепляя тем самым за этимологией репутацию специальной отрасли.

При всем том этимология помогает глубокому проникновению в текст, нередко обеспечивает правильное чтение текста. Крупнейшая проблема филологии древних текстов — членение на слова — этимологическая в своей сущности.

Древние тексты, письмо которых известно, а членение слов проблематично и допускает много чтений, могут прочесть в конечном счете только этимологи. Нередкое для древних текстов сплошное написание (scriptio continua) совокупно с естественной порчей первоначального текста воздвигают преграду, которую трудно преодолеть интерпретатору, не прибегая к этимологии. Вспомним то место в «Слове о полку Игореве», в рассказе о Всеславе, которое членится и читается в литературе несколькими в корне отличными способами. Назовем из них два: *I. утръ же воззни стрикусы*; *II. утръже вазни с три кусы*. Согласно первому, это место гласит, что Всеслав «наутро ударил боевыми топорами», по второй версии получается, что Всеслав «урвал удачи с три куска» (!). Обе версии опираются на ассоциации с лексикой — в каждом случае различной, с которой они ищут этимологические связи. Слабостью первой версии надо признать то, что центральное при этом чтении слово **стрикусъ* сконструировано на базе очень приблизительного сходства с германскими названиями боевого топора, откуда оно считается заимствованным, тогда как в само́м русском, славянском материале оно прямо не засвидетельствовано. Вторая версия имеет очень правдоподобную лексическую базу, но сомнительна фразеологически, так как постулирует большую древность явно позднего, по-видимому нерусского фразеологизма. Манера считать удачные события на «куски», «штуки» отдает современным жаргоном и обращает на себя внимание широтой и переносностью употребления, напоминая прежде всего чешское *kus* 'кусок', а также 'штука', 'вещь', которое и могло навести автора второй версии — Р. О. Якобсона — на подобную реконструкцию; семантическое расширение и метафоризация в чешском — результат вторичного влияния немецкого *Stück*.

Изучение проблематики «Слова о полку Игореве», правильное понимание текста этого произведения невозможны без этимологии. Приведем оттуда в связи с этим такой пример, в котором чтение текста как будто ничем не затруднено и членение на слова не вызывало споров: *а половци неготовами дорогами побѣгоша къ Дону великому*… В. А. Жуковский так и переводил это место — «неготовыми», но этимология читает здесь 'непригодными для езды, непроходимыми', и это будет, пожалуй, окончательным прочтением данного места. Этимологическое обоснование: родство слова *готовый* слову *гать* 'мощеный проход (например, через болото)' и далее — индоевропейской основе $*g^{u}\breve{\bar{a}}$ 'идти' [1]. У Срезневского, правда, встречаем толкование выражения *неготовами дорогами* (в той же единственной цитате) как 'не проторенная' [2],

[1] *О. Н. Трубачев*. Славянские этимологии. 40. Слав. *gotovъ* // Prace filologiczne. T. XVIII. Cz. 2. Warszawa, 1964. S. 153 и след.

[2] *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. II. М., 1958 (1-е изд. СПб., 1895). Стб. 373.

но это чисто интуитивная трактовка по контексту, которую можно принимать, но можно и не принимать, пока в дело не введена серьезная этимологическая аргументация.

Этимологически фундированное чтение и членение на слова — это, таким образом, первое требование к исследователю и комментатору древних текстов. Можно привести много примеров в подтверждение сказанного. Здесь же, помимо вышеуказанных мест из «Слова», сошлемся еще на опыт востоковеда, правившего существующие чтения в лексически пестром «Хождении за три моря» Афанасия Никитина с учетом восточных этимологий соответствующих слов текста. Так, Ю. Н. Завадовский разоблачил как «придуманное комментатором» слово *далюк* и соответственно этому место, читавшееся прежде: *В Кузряте же родится краска далюк* — «В Гуджерате родится краска дал», прочитал заново как: *краска да люк* «В Гуджерате же родится индиго и лак»[3].

Эти и им подобные настояния по поводу необходимости этимологически фундированного чтения древних текстов в принципе понятны и потому не могут вызвать споров. Но уже настоящим парадоксом, наверное, прозвучит также глубоко справедливое, по нашему мнению, требование ввести этимологический критерий в комментирование текстов, близких к нашему времени, в том числе пушкинских, толстовских и других, наиболее значимых в плане филологии и культуры. Действительно, этимологический критерий может помочь там, где, может быть, меньше или не так точно сориентируется исследователь-неэтимолог, литературовед, который этим критерием пренебрежет.

У Пушкина есть стихотворение с несколько загадочным названием «Ме́док (Ме́док в Уаллах)»[4], перевод части поэмы «Madoc» (1805 г.) английского поэта Роберта Саути[5]. Что значит «в Уаллах»? Ясно, что это местный падеж от имени **Уаллы*, примеры которого в именительном падеже нам неизвестны, и поэтому мы ставим звездочку, принятый в этимологической процедуре сигнал не засвидетельствованных форм. Исследователи-пушкинисты поступают менее строго, они прямо говорят (в тех немногих случаях, которые нам удалось разыскать) о названии *Уаллы*, отождествляя его — в общем верно — с Уэльсом. Их комментарии при этом приблизительны и неточны:

---

[3] *Ю. Н. Завадовский*. К вопросу о восточных словах в «Хождении за три моря» Афанасия Никитина (1466—1472 гг.) // Тр. Ин-та востоковедения АН УзССР. Вып. III. Ташкент, 1954. С. 145.

[4] *А. С. Пушкин*. Полн. собр. соч. Т. III. М.: Изд-во АН СССР, 1948. С. 179.

[5] История английской литературы. Т. II. Вып. 1. М., Изд-во АН СССР, 1953. С. 86—87. Автор гл. 2 «Озерная школа» Р. М. Самарин почему-то ни слова не говорит о пушкинском переводе.

«Уаллы — Уэллс (русифицированная форма)» [6]; «Уаллы — Уэльс, графство в Великобритании» [7]. Русифицированной уникальная форма *Уаллы* названа по ошибке, так как из русской письменности она нам вообще неизвестна. Старым названием Уэльса в русских документах было *Валисъ*, *Валлисъ*, часто встречаемое в текстах XVII в., которое восходит к немецкому *Wallis*. Польский язык издавна употребляет для обозначения Уэльса латинизированную форму *Walia* и поэтому не может здесь приниматься в расчет, равно как и французский с его самобытным *pays de Galles* 'Уэльс'. Остается только английское *Wales* [*weilz*], которое Пушкин передал упомянутым образом — индивидуально, но чрезвычайно тонко, причем английской этимологически плюральной форме *Wales*, др.-англ. *Walas* [8] точно соответствует русская флексия множественного числа на *-ах*: *в Уаллах*.

Проникновение в текст (в том числе художественный) может быть разной глубины. Одно дело — прочесть «Войну в мир» Л. Н. Толстого, не зная французского языка и довольствуясь подстрочными переводами, другое дело — прочесть весь толстовский текст, в том числе французские диалоги и письма. Всестороннее исследование языка и стиля Толстого-писателя может содействовать углубленному пониманию этого произведения, но есть места, полное понимание которых может дать только этимология. В томе 1 «Войны и мира» (ч. 3, гл. XVIII) читаем в описании аустерлицкого сражения: «Остатки войск ⟨...⟩ теснились около прудов на плотинах и берегах у деревни Аугеста. В шестом часу только у плотины Аугеста еще слышалась жаркая канонада одних французов...». О каких местах, собственно, идет речь? У русского читателя остается об этом, по-видимому, крайне смутное представление, кроме того известного факта, что театром боевых действий в ту кампанию явились земли Австрийской империи. Между тем, этимолог укажет на то, что *Аугест* в тексте Толстого — это немецкая запись (*Augest*) первоначально чешского *Aujezd*, *Ujezd* (родственно русскому *уезд*). Аустерлиц, кстати сказать, давно переименован в *Slavkov* и *Brna*, и вся описываемая местность находится в Моравии, на территории нынешней ЧССР. Этимология воскрешает эпизод немецко-славянских языковых отношений, характерных для бывших

---

[6] «Путеводитель по Пушкину» (приложение к журналу «Красная нива» на 1931 г.). С. 356.

[7] См. примечания В. В. Томашевского к стихотворению «Медок» в кн.: *А. С. Пушкин*. Стихотворения. Т. III. Л., 1955. С. 858 (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.). «Словарь языка Пушкина» (в 4-х т.), как известно, не охватывает собственных имен, автору очень помогли соответствующие неопубликованные картотечные данные, за знакомство с которыми он приносит благодарность составителям пушкинского словаря.

[8] *P. H. Reaney*. The origin of English place-names. 2nd ed. London, 1961. P. 83.

австрийских владений. Этимологические комментарии не кажутся излишними в этом вопросе, скорее наоборот, тем более что они воссоздают фрагменты упомянутых отношений, в которых не мог полностью отдавать себе отчет сам автор «Войны и мира», хотя он и упоминает там вскользь о чешской речи беженцев. Таким образом, если говорить о глубине проникновения в реальный мир толстовского произведения на примере этого отрывка, то этимологическое комментирование в подходящей форме наделило бы читателя своеобразным двойным зрением (способностью видеть также и то, чего мог не видеть автор).

Приведенные выше примеры этимологического комментирования классических художественных текстов — пока всего лишь благие пожелания, потому что существующие комментарии к изданиям лучших авторов отличаются, так сказать, нищетой этимологии. Кое-что в этом отношении можно было бы исправить, опираясь на имеющиеся достижения этимологии. Сказанное, однако, не следует понимать в том смысле, что этимология «может все». Нет, для нее найдутся неясности и трудные задачи даже при комментировании текстов, практически современных нам. Этимологически темными нам представляются, например, следующие строки Есенина: *Тихих вод парагуш квелый // Курит люльку на излуке*[9].

Обширная проблема «этимология и текст» имеет два более или менее самостоятельных аспекта — этимология и текст (словосочетание) в собственном смысле слова, которого мы коснемся специально, и то, что можно определить как этимология и филология. К этому последнему аспекту относятся, кроме рассмотренных нами выше, другие возможные вопросы (не исключена, например, постановка вопроса этимология и сюжет) и в первую очередь — этимология в связи с проблематикой литературного языка. Названный вопрос или, скорее, цикл проблем заслуживает специального систематического освещения[10] с тем большим основанием, что в этимологических исследованиях еще не преодолены романтические тенденции односторонней переоценки значения народно-диалектной лексики в ущерб значению лексических богатств письменных, литературных языков. В двух словах это выглядит, например, как убеждение, что праславянский словарный состав можно восстанавливать единственно на базе лексики народных диалектов с одновременным осуждением попыток

[9] *С. Есенин*. Собр. соч. в 3-х т. Т. I. М.: изд-во «Правда», 1970. С. 95.

[10] Ср.: *K. Gutschmidt*. Die Erforschung des schriftsprachlichen Wortschatzes der slawischen Sprachen und ihre Bedeutung für die slawische Sprachwissenschaft // Internationales Symposium zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, 11—12. X. 1972 (Thesen).

систематического использования для этой цели данных литературной лексики. Значение диалектных данных бесспорно, но они требуют к себе весьма критического отношения, поскольку диалектный словарь открыт внешним влияниям и подвижен в гораздо большей степени, чем словарь письменного языка. Письменная фиксация, более высокий уровень и универсальная роль последнего приводят к тому, что в общем и целом лексика литературного языка всегда архаичнее, чем лексика народных говоров, лишенных описанных выше атрибутов. Сохранение в территориальных диалектах отдельных (порой многочисленных) архаизмов лексики не меняет существенно общую картину. Не исключено, например, что отдельные пласты лексики (и словообразования, ср. разряд имен с суффиксом *-telь* в славянских языках[11]) никогда не были известны в территориальных диалектах в узком смысле слова и носили уже в праславянскую эпоху выразительно наддиалектный характер. Тот факт, что к такому мнению приходят исследователи, до недавнего времени разделявшие романтические взгляды на лексику народных говоров, говорит о том, что эти взгляды переживают кризис.

Обширность проблемы «этимология и текст» заставляет нас, основываясь на наблюдениях над этимологией и определенными универсальными явлениями в лексике, фразеологии, контексте, в заключение ограничиться одним очень важным, как нам кажется, вопросом. Речь идет о диахронической универсалии[12], которая, на первый взгляд, кажется парадоксальной, но тем не менее, видимо, отражает сущность языковых отношений. Если говорить о тексте (словосочетание, фразеологизм), то наиболее древними оказываются не фразеологизмы (сочетания, где целое означает не то же, что сумма значений его частей), как это ни странно, а относительно свободные сочетания слов, контексты (сочетания, где значение целого равно сумме значений его частей). Мы считаем, что жесткая сочетаемость относительно недолговечна; она несет экспрессию и неизбежно разрушается по мере стирания последней. Тезис «свободных сочетаний в языке по существу нет»[13] приемлем с оговор-

---

[11] *С. В. Бернштейн*. К истории славянского суффикса *-telь* // Русское и славянское языкознание. К 70-летию члена-корреспондента АН СССР Р. И. Аванесова. М., 1972. С. 36 и след.

[12] См. *Б. А. Серебренников*. О лингвистических универсалиях // ВЯ. 1972, № 2. С. 3 и след.

[13] См. работу *М. М. Копыленко* в кн.: Обзор работ по русскому литературному языку за 1966—1969 гг. Лексика. М., 1972. С. 50 (гл. 3. Фразеология). ИРЯ АН СССР (ротапринт).

ками в том смысле, что языку на разных уровнях свойственна избирательность (селективность) связей, практически подчас близкая к свободе выбора.

Бесспорно праславянскими являются, например, относительно свободные контексты **věno dati*, **jъti za mǫžъ*. Первый из этих двух примеров восходит еще к индоевропейской диалектной эпохе (**u̯ēnom dō-*), тогда как примеров индоевропейских или даже праславянских фразеологизмов, пословиц мы пока не знаем. Мы не знаем равным образом и исследовательских попыток выявить или постулировать праславянскую древность фразеологизма-пословицы, что говорит само за себя и, видимо, основано на интуитивном убеждении, что пословицы и вообще фразеологизмы не столь древни. Может быть, в этом коренятся и другие причины, скажем, неразработанность методов реконструкции в относительной хронологии фразеологизмов. Пока что для нас ясно одно: тесная спайка частей в переносный характер употребления еще не знаменует собой древности. Точно так же в плане словообразования производный, прозрачный характер слова еще не говорит о его позднем образовании. Напротив, такие образования легче переносят воспроизводство древней модели в новых фонетических и других условиях, подобно тому как легче поддаются морфологическому и фонетическому воспроизводству древние модели относительно свободных словосочетаний (контекстов), исключительно информативные и для этимологии входящих в них слов. В новом «Этимологическом словаре славянских языков» (ИРЯ АН СССР) на этом основании придается принципиальное значение нефразеологическому контексту и так называемым прозрачным производным продуктивного типа. Предшествующая славистика исходила из молчаливого постулата о поздней хронологии того и другого.

Конструкции (слова́, словосочетания) тем древнее, чем легче они поддаются воспроизводству (в диахроническом плане). Крайний пример — слова́ детской речи, термины родства *мама*, *папа* и т. п., которые как бы воссоздаются заново в опыте каждого минимального человеческого коллектива (семьи). О них еще говорят, что они «не имеют истории». Но это, так сказать, *une façon de parler*. На самом же деле перед нами — древнейшие факты языка.

ЭТИМОЛОГИЯ

ЭТИМОЛОГИЯ (греч. ἐτυμολογία, от ἔτυμον — истинное значение слова, этимон, и λόγος — слово, учение) — отрасль исторического языкознания, исследующая происхождение слов, первоначальную словообразовательную структуру и семантические связи слова. Этимология — древнейший термин языкознания, введен античными философами более 2 тысяч лет назад. Этимологией называется также результат раскрытия происхождения слова.

Этимология в широком смысле — реконструкция звукового и словообразовательного состава слова. Помимо родства звуков и тождества морфем, этимология выявляет избирательность сочетания морфем (корней и суффиксов) в определенных словообразовательных моделях. Изучая относительную хронологию этих моделей, выделяя архаизмы и инновации, этимология имеет дело с таким сложным процессом, как воспроизводство словообразовательных моделей, в какой-то мере аналогичное воспроизводству моделей морфологии в языке.

Культурное, познавательное и прикладное значение этимология весьма велико, например в антропонимии, топонимии и гидронимии, в выяснении проблем этногенеза и древних субстратов, изучении слов и обозначаемых ими вещей, наконец при углубленном чтении и интерпретации художественного текста. Известно, что «Слово о полку Игореве» практически невозможно читать без этимологического комментирования, но это относится и к произведениям нового времени. У А. С. Пушкина название оборотня — «вурдалак» оказывается изменением исходной формы на базе реальных болг. *въркола́к*, сербскохорв. *вуко̀длак*, рус. народн. *волкола́к*, укр. *вовкула́к*. Один из пушкинских стихотворных переводов носит название «Медок в Уаллах», где выражение «в Уаллах», собственно, значит «в Уэльсе» и уникальным образом передает англ. *Wales* (кстати сказать, этимологически — форма мн. ч. на *-s*, что

было по-своему ярко передано Пушкиным через рус. *-ах*). В романе «Война и мир» Л. Н. Толстого при описании аустерлицкого сражения упоминается деревня Аугест, на названии которой вряд ли задерживается внимание читателя. Это немецкая запись *Augest* первоначального чеш. *Aujezd*, *Újezd* (родственно рус. *уезд*): знаменитое сражение разыгралось на территории теперешней ЧССР. Некоторые стихи С. А. Есенина могут быть не поняты без этимологического комментирования. Ср.: «В оглоблях мосластая шкеть...» («Анна Снегина»), где малоизвестное слово *шкеть* (о лошади) представляет собой арготизм, заимствованный из чеш. *šketa* 'зверь', 'изверг'.

Этимология, в том числе наивная, вымышленная, выполняла художественную функцию у многих старых и новых авторов. Дж. Свифт в «Путешествиях Гулливера», рассуждая о происхождении названия летающего острова Лапута, пародийно как бы предвосхищает проблему сложности этимологического решений. Вместе с тем ряд вымышленных личных имен у того же автора имел, по-видимому, реальную этимологическую основу (например, Глюмдальклич, имя девочки-великанши, ср. ирл. *glúndaltae* 'младенец'); Ф. М. Достоевский давал некоторым своим героям фамилии литовского происхождения: Голядкин, Свидригайлов.

Основы научной этимологии связаны со сравнительно-историческим языкознанием (труды немецких филологов Ф. Боппа, В. Гримма, А. Ф. Потта и др.). Наибольшего развития достигла этимология тех языков, которые полнее изучены в сравнительно-историческом плане (индоевропейские, финно-угорские). От донаучной (античной и т. д.) научную этимологию отличает историческое тождество. Внешнее подобие слов изучается для отведения возможных случайных сходств, например рус. *начальник* не родственно похожему слову — польск. *naczelnik* 'начальник', потому что русское слово произведено от слова *начало*, не имеющего родственного соответствия в польском языке, а польское слово восходит к сочетанию *na czele* 'во главе' (местный падеж единственного числа от *czoło* 'лоб').

Этимологизация и все сравнительное языкознание в целом строится на регулярных звукосоответствиях, но реальная история слов практически всегда гораздо сложнее, поэтому должны учитываться также факторы нерегулярных изменений, несущих закономерно большую экспрессивную нагрузку. Этимология отличается исключительной для языкознания множественностью объектов исследования. Структурализация методов исследования в этимологии применима лишь в ограниченных размерах. Этимологическому исследованию свойственна множественность возможных решений (слова в большинстве случаев имеют по нескольку этимологий); выбор решений и нахождение новых возможностей сильно зависят от интуиции этимолога. По этой причине иногда приходят к пессимистическому выводу, что этимология остается

искусством, ars etymologica, хотя в действительности проблематичность, гипотетичность этимологии есть частный случай проявления гипотетического характера построений науки объясняющей в отличие от наук описательных.

Этимология несет немалую культурную информацию. Выявляемое этимологически соотношение исконного и заимствованного в лексике знаменует межъязыковые и этнические контакты. Этимологическое раскрытие внутренней формы заимствования всегда поучительно (ср. русское слово *анекдот* и его греческий первоисточник ἀνέκδοτα 'неизданное, неопубликованное'). Новые заимствования могут иметь неясную этимологию. Так, слово *нейлон* восходит к англ. *nylon*, которое документально появилось в 30-х гг. XX в., но, тем не менее, происхождение его неясно (предполагается аббревиатура из различных компонентов).

Этимология бесписьменных и младописьменных языков ориентирована прежде всего на внешнее сравнение и внутреннюю реконструкцию. При этимологизации языков с развитой старой письменностью добавляются филологические критерии (критика текста, филологическая достоверность слова). Известно, что целый ряд слов возник именно вследствие сильного влияния письменной формы языка на устную, в частности, в результате неверного чтения, описок; ср. рус. *алконост* из выражения «алкионъ есть» (птица), фиктивное др.-рус. *вермие*, порча правильного *вершие* (дубное) — верхушки дуба (о пище св. Иоанна), проникшее во все словари.

Народной (или ложной) этимологией, богато представленной в лексике всех языков и народных диалектов, называют случаи вторичного этимологического осмысления, аттракции слов, первоначально имевших другое происхождение.

Литература

Пизани В. Этимология / Пер. с итал. М., 1956.

Топоров В. Н. О некоторых теоретических основаниях этимологического анализа // ВЯ. 1960, № 3.

Трубачев О. Н. Задачи этимологических исследований в области славянских языков // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. 1961. С. 33—34.

Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. 1—4. М., 1964—1973.

Berneker E. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1—2. Heidelberg, 1924.

Kiparsky V. Etymologie gestern und heute // Kratylos. 1966. Jg. 11, H. 1—2.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И ЛЕКСИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА

Важность семантики слова для работы этимолога совершенно очевидна; это тот случай, когда истина не нуждается в доказательствах, а поле ее применения огромно. Между тем, работ, которые сополагают семантику и этимологию в теоретическом плане, сейчас мало: это известная статья Э. Бенвениста, поучительная своей трезвостью и предостерегающая против переоценки «универсальных» семантических категорий [Бенвенист 1954], и, далее, статья Ш. Ондруша [Ондруш 1961], которая, наоборот, грешит чрезмерными обобщениями такого рода, работы К. Карулиса и С. Каралюнаса [Карулис 1969, Каралюнас 1972]. Показательно, что в последних по времени обобщающих очерках по индоевропейской компаративистике исследованиям семантического плана почти не отводится места; так, у О. Семереньи в очерке по сравнительному языкознанию нет вообще раздела по семантике, лишь в маленьком разделе «Lexicon» сказано два слова об упомянутой нами статье Э. Бенвениста [Семереньи 1972]. Названные выше авторы сосредотачивают своё внимание преимущественно на исторической семасиологии. Можно сказать, что это как бы предопределяет их пассивное обращение с тем, что сейчас называется лингвистической семантикой.

Создается впечатление, что редко исследователи темы «семантика и этимология» считают свою задачу выполненной, если им удалось найти какие-то дополнительные аргументы, иллюстрации, подтверждающие положения современной семантики, структурного языкознания. С. Каралюнас ставит во главу угла идею изоморфизма плана содержания и плана выражения, к которой мы еще вернемся. Э. Бенвенист тоже занимается не чем иным, как «фонологизацией», структурированием древней семантики [1], констатируя пози-

[1] Главная заслуга Э. Бенвениста не в этом, а в том, что он поставил вопрос о необходимости критического пересмотра древних омонимов, на чем мы остановимся подробнее.

ции нейтрализации значений, семантические дифференциальные признаки, варианты, «семантизацию» вариантов и переход их в дифференциальные признаки [Бенвенист 1954: 252—253, 264]. Конечно, можно истолковать зависимость этих авторов от готовой теории сосредоточенностью эвристических интересов этимологов в своей непосредственной области, причем семантика используется как вспомогательный критерий. Мы далеки от мысли, что такое направление деятельности устарело, и в заключение приводим некоторые новые соображения из сферы конкретной этимологии для ответа на вопрос, что дает лексическая семантика для этимологических исследований (касаемся при этом семантического словообразования, включая кальки, и даем новую этимологию, опирающуюся на более полные значения слова).

Но мы чувствуем себя вправе поднять и другой вопрос, как нам кажется, сейчас еще более актуальный: что дает этимология для семантики. Уверенность, что ответ не будет голословным, мы основываем на убеждении, что никакая другая лингвистическая дисциплина не собирает такую полноту информации о значении слова, как этимология, объединяющая в целях своего исследования современные данные, письменную историю, дописьменную реконструкцию и семантическую типологию. Знание эволюции значения небезразлично для понимания его нынешней природы и структуры, поэтому суждение этимологии должно интересовать, и оно так или иначе интересует специалиста по современной лингвистической семантике, в противном случае проигрывает лингвистическая семантика. К сожалению, эта ныне бурно развивающаяся дисциплина представляется нам неким подобием самодовлеющей области. «Примат синхронии над диахронией» тут пока еще перевешивает более умудренную широту взглядов, впрочем, причина коренится, вероятно, подчас не в сознательной тенденции, а, по-видимому, в недостаточной осведомленности.

Одним из мотивов, побудивших меня взяться за ответ на сформулированный выше вопрос, явилось обсуждение моего доклада «Лексикография и этимология» на VII Международном съезде славистов в Варшаве (август 1973 г.). Выступавшая во время обсуждения Я. Пузынина обратилась ко мне с вопросом: в чем состоит значение этимологии для современной лексикографии, помимо известного чисто эвристического значения этимологии. Правда, выступивший вслед за тем другой польский коллега В. Маньчак практически избавил меня от необходимости давать ответ, указав на то, что решение важнейшей в лексикографии проблемы омонимии просто невозможно без этимологии. Но сейчас я думаю, что одного такого ответа недостаточно и что этимология должна определить свою позицию в отношении ряда основных понятий современной лексикологии, лексикографии и современной

3. Заказ № 2261.

лингвистической семантики (сами исследователи семантики нередко ставят знак равенства между этими тремя последними дисциплинами, ср. темы публикации или формулировки вроде «семантика и словарь», «описание словаря через семантику» и т. д.).

Семантика, лексикология и лексикография — сложный комплекс дисциплин; прибавим сюда еще словообразование, отчего сложность с необходимостью возрастет. Речь идет о дисциплинах и направлениях синхронного языкознания. Само понятие синхронности, эта идея никогда не достижимой одномоментности и прочие атрибуты строгости и стройности производят бесспорно сильное впечатление на сторонних людей и начинающих лингвистов. Однако по мере того как мы вникаем в специальные исследования, впечатление строгости постепенно уступает место пестроте суждений и оценок, синхронное словообразование, этот «план выражения» семантики, приобретает самые неопределенные очертания — от расплывчатых и объемлющих весь ныне известный словарь до осторожного ограничения функциональным словообразованием, — и как естественный результат следуют ошибки в трактовке языкового материала. По словам одного из специалистов, «целостной и всеобъемлющей общей теории синхронного словообразования, которой можно было бы воспользоваться целиком, не существует» [Урбутис 1971: 3]. Мы не погрешим против истины, если распространим эту оценку и на современную семантику.

Внешне это направление переживает расцвет. Обращает на себя внимание растущее множество работ в области структурной, порождающей семантики, синхронной семантики в связи с синхронным словообразованием. Ряд докладов из этой тематики был прочитан на последнем, VII съезде славистов; семантика явилась предметом обсуждения обширных конференций последних лет, ср. дискуссию по проблемам семантики на расширенном заседании филологической секции ученого совета Института востоковедения АН СССР 16—18 февраля 1971 г. Раздаются голоса, предсказывающие перелом в лексикографии в ближайшем будущем в связи с развитием лингвистической семантики [Семантика и словарь 1972].

Но начнем по порядку. Принято считать, что семантика — это особый уровень языка. Современная теория и практика структурного языкознания исходят из принципа и з о м о р ф и з м а уровней языка. Применительно к семантике в первую очередь говорят об изоморфизме семантики и словообразования. Только признанием принципа изоморфизма можно объяснить «фонологическую» концепцию семантики (семантические дифференциальные признаки, семантизация как аналог фонологическим ДП и фонологизации и т. д.), встречаемую во многих работах. Е. Курилович, выдвинувший понятие изоморфизма как глубокого структурного параллелизма между звуковы-

ми комплексами и семантическими комплексами, первоначально был очень прямолинеен в трактовке их отношений: «В области семантики производные основываются на исходных формах (непроизводные слова > производные слова, словосочетания > сложные слова). Производные *hort-ul-us* 'сад-ик', *lup-ul-us* 'волч-онок' отличаются от исходных слов *hort-us* 'сад', *lup-us* 'волк' с точки зрения формальной (наличием суфф. *-ul-*) и семантической (наличием значения уменьшительности)» [Курилович 1962а: 21, 25—26].

Надо иметь, конечно, в виду, что известная статья Куриловича, откуда взяты эти слова, была впервые опубликована еще в 1949 г. Позднее этот автор высказывается несравненно сдержаннее, в специальной работе о законах изоморфизма он избегает говорить об изоморфизме семантического и формального планов [Курилович 1965]. Будет чрезмерным упрощением утверждать сейчас, что структурная лексикология признает «полный изоморфизм языковых уровней» [Уфимцева 1968: 237], хотя первоначально иллюзии на этот счет питались и шли они явно от жесткой фонологической схемы. Положение об изоморфизме плана выражения и плана содержания применительно к семантике и словообразованию было и остается декларацией, от которой постепенно отошли все те, кому приходится работать со словом и значением. Перепечатывать в 1972 г. семиотические цитаты вроде того, что «...семантическая структура как расчленение семантического мира на минимальные значения (или семы), соответствующие дифференциальным признакам плана выражения (или фемам)» [Каралюнас 1972: 5], — значит впадать в предосудительное простодушие. И хотя до последнего времени приходится иногда слышать о чьих-то запоздалых попытках выявить изоморфизм «всех» уровней, включая семантику [Слюсарева 1973: 18], сейчас все больше и больше говорят об автономности интересующего нас семантического плана или, по крайней мере, подразумевают ее, причем не только лингвисты, настроенные критически в отношении семиотических направлений [Урбутис 1971: 6—7], но и последовательные структуралисты. Мы находим эту реакцию здравой, принимая при этом во внимание высказывания ряда специалистов по семантике и словообразованию и основываясь также на собственном опыте по этимологии слов.

Так, например, наше внимание в этой связи привлек весьма показательный обмен мнениями на VI Международном съезде славистов в Праге 1968 г. между теоретиком словообразования М. Докулилом и Р. Гжегорчиковой, которая высказалась следующим образом: «Докладчик (М. Докулил. — *О. Т.*) констатирует, что существует тенденция к сохранению симметрии, а ее проявлениями, между прочим, служат факты словообразования, в которых наблюдается соответствие обоих планов, т. е. все элементы содержания имеют свои знаменатели в форме. Кажется, однако, что в очень немногих типах

производных эта симметрия существует в самом деле. Мы наблюдаем ее в так называемых семантически регулярных производных (по терминологии проф. Завадовского), т. е. таких, структурное значение которых равняется реальному значению, иначе говоря — значение слова как лексической единицы вытекает из вставных элементов. Таких производных немного (названия действия типа *писание*, уменьшительные типа *домик* и др.). Большинство производных — это так называемые семантически нерегулярные конструкции, в которых некоторые элементы реального значения не имеют своего знаменателя в форме. Например, в слове *рыбак* сема 'ловит' лишена своего знака в форме, которая несет единственно информацию следующего содержания: 'тот, кто каким-то образом связан с рыбой'. Существует очень много типов и степеней семантической нерегулярности» [Гжегорчикова 1970: 41].

Чем дальше мы продолжим свои поиски в современной литературе по словообразованию и семантике, тем яснее станет для нас, в каком вопиющем меньшинстве остаются куриловичевские симметрии формы и значения *hort-ulus* 'сад-ик', *lup-ulus* 'волч-онок', как мало права дают они для выводов о типичности изоморфизма подобного рода в языке. Действительная картина гораздо сложнее. Оказывается, например, что «вопросы семантической соотносительности производных и производящих слов специально не изучались», что налицо имеется «пренебрежительное отношение многих лексикографов к идее возможности семантической тождественности производящих и производных слов вообще», что существуют случаи, когда производящее слово имеет больший объем значений, чем производное, и по системе значений богаче, чем производное, например: *мертвый — мертветь*, *глухой — глохнуть* и т. п. [Тихонов 1971: 177—178, 190].

Польский автор С. Кароляк, говоря о таких крупных разрядах производных, как имена деятеля, названия орудия, вообще констатирует семантическое соответствие производящих и производных; последние, как он понимает, фактически не меняют значения, но переводятся в другую категорию с помощью морфем транскатегоризации [Кароляк 1973: 233], т. е., иными словами, здесь нет лексического значения, но есть значение словообразовательное, как в категориально близком примере И. Немца, приводившемся им на первом заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов в Смоленицах под Братиславой (30 янв. — 1 февр. 1973 г.): *zlobidlo* 'nástroj ke zlobení', т. е. 'то, чем злят', производное на *-dlo* от глагола *zlobiti* 'злить'.

В общем и целом обрисованную выше ситуацию в языке можно, соглашаясь с Н. Д. Арутюновой, определить словами: «автономность развития плана содержания и плана выражения» [Общее языкознание 1971: 179]. И там же еще: «В плане выражения происходит постоянное дробление означающих,

их частичное варьирование; в плане содержания, напротив, протекает объединение означаемых, их слияние в одном новом значении» [Там же: 180]. Очень уместным нам кажется поставить вопрос о наличии в отношениях семантики и словообразования своеобразной междууровневой компенсации, т. е. явления, скорее противоположного изоморфизму. О явлении компенсации в литературе писалось [Леков 1973], но по большей части — в плане отношений одного и того же уровня.

В практике этимологии, этого исторического словообразования по преимуществу, непредубежденный исследователь не может не видеть и того, что выше было определено как автономность развития значения слова, на фоне развития его словообразовательной структуры, и ряда других, не менее ярких проявлений этой автономности. Начнем с примера из числа деминутивов, потому что именно деминутивы служат излюбленными иллюстрациями для сторонников изоморфизма, или тенденции к симметрии значения и внешней структуры слова. Праслав. **gъrnьcь* представляет собой уменьшительное с суфф. *-ьcь* от **gъrnъ* (рус. *горн* 'плавильная, гончарная печь'). По логике, казалось бы, семантический процесс должен идти в том же направлении, что и словообразовательный, и в результате мы должны ожидать у **gъrnьcь* значения 'маленький горн, горн-ик'. Но ничего подобного в природе не имеется, и славянские языки знают для слова **gъrnьcь* только значение '(глиняный) горшок'.

Однако, заметят нам, основа у слов **gъrnъ* и **gъrn-ьcь* все-таки общая. Основа — да, а значение? Вот тут мы воочию и сталкиваемся с фактом, что словообразовательное производное сохраняет основу в ее семантически более древнем, как бы производящем состоянии, давно оставленном само́й производящей основой (горн как примитивный купол наподобие горшка или даже в виде сооружения из горшков — таков реальный фон древней встречи обоих значений). Нам возразят, что сохранение более старых значений в связанном виде (в производных, в сложениях) — известное явление. Но тогда тем более парадоксально то, что об этом умудряются забывать, говоря об изоморфизме. Впрочем, на этом пути можно прийти к далеко не тривиальным выводам.

Исследуя славянскую ремесленную терминологию в диахроническом, этимологическом плане, мы получили такой результат: «...следы связи с плетением наиболее ярко и полно реконструируются для лексики гончарства ⟨...⟩ и минимально — для терминологии ткацкого производства» [Трубачев 1966: 19, 244]. Поясню, что речь идет о вскрытии древних семантических связей и тождеств. Что касается реально-понятийного плана, то, наверное, каждому без долгих разъяснений понятно, что техники плетения и ткачества родственны, ибо ткачество развилось из более древнего плетения.

По логике, по «здравому смыслу», печать этого должна лежать на всей семантике ткаческой лексики, тогда как на самом деле это имеет место в крайне незначительной степени. Разве не странно, что ни одно название сосуда из глины, вопреки всё тому же здравому смыслу, не образовано непосредственно от основы со значением ‘жечь, обжигать’ (во всяком случае, судя по известному нам материалу славянских языков)? На основании этого складывается убеждение об автономности плана лексической семантики также и в отношении плана самих реалий и соответствующих им понятий. Приходилось также наблюдать, что, когда происходит словообразовательная инновация, а также связанная с ней инновация семантическая, они могут вступать в отношения некоего парного равновесия, при котором новое значение закрепляется за старой формой, а старое значение — за словообразовательным производным. Мы пытались показать это на этимологии слов *лото́к* ‘мелкое деревянное корытце’ и *ла́тка* ‘глиняная сковорода’, полагая, что второе произведено от первого (с удлинением корневого гласного), но семантически более первично, ср. родство с нем. *Letten* ‘глина’ (герм. **laþjon-*) [Трубачев 1996: 220—221]. Разумеется, это не единственный пример такого рода.

Старые славянские производные и сложения **bog-atъ* (рус. *богатый*), **sъ-bož-ьje* (польск. *zboże* ‘хлеб в зерне’, укр. *збіжжя* ‘имущество, пожитки’), **u-bogъ* (рус. *убогий*) образованы от слова **bogъ*. Это последнее распространено во всех славянских языках в значении ‘бог, (верховное) божество’. Словообразовательная деривация **bogъ* → **bog-atъ*, **u-bogъ*, **sъ-bož-ьje* исключает какие бы то ни было сомнения, а семантическая деривация может смутить и опытного исследователя. Считать значения ‘богатый’, ‘нищий’, ‘имущество’ производными от исторического или современного значения ‘бог’ — бессмысленно. Некоторая элементарная семантическая реконструкция в состоянии свести значения ‘имущество’, ‘богатый’, ‘нищий’ к первоначальному *‘материальное благо ~ божество — податель материальных благ’, которое кажется архаичнее, чем более абстрактное значение-идея ‘божество вообще / верховное божество’. Выходит, семантическая деривация может быть передана статической схемой **bogъ* ← **bog-atъ*, **u-bogъ*, **sъ-bož-ьje*, т. е. ее направление прямо противоположно словообразовательной [2].

Другое древнее сложение **čьrtoryja* настолько древнее, что почти не сохранилось в славянской апеллятивной лексике, но известно, главным обра-

---

[2] Влияние иранского **baga-* ‘бог’ на слав. **bogъ* мы здесь оставляем в стороне как вопрос специальный и более или менее спорный, а постулируемое некоторыми по аналогии древнеиндийского др.-слав. **bogъ* I ‘богатство’ (откуда якобы все словообразовательное гнездо — см. выше) наряду с **bogъ* II ‘бог’ считаем аллегорией, своеобразной записью, ничего не меняющей в сути изложенных отношений.

зом, из восточнославянской и западнославянской топонимии, несомненно связано с **čьrtъ*. Но можно ли утверждать с такой же уверенностью, что **čьrto-ryja* образовано от **čьrtъ* в христианском значении 'черт, дьявол'? Я сомневаюсь в этом. Достаточно указать на форму **krъto-ryja* (др.-рус. **кръторыга** 'крот'), которая представляет собой апофонический вариант к **čьrto-ryja*, чтобы понять, что **čьrtъ* в составе **čьrtoryja* — это еще не враг рода человеческого, а так себе земной дух, роющийся в земле вроде крота; **čьrto-ryja* можно толковать как глоссовое сложение на базе фразы **čьrtъ ryje(tь)*, в которой уже налицо элементы глоссы или figura etymologica ('роющий роет'), а семантическое расстояние между свободными словами этой фразы даже ближе, чем между компонентами в едином слове **čьrtoryja*, где давно сказалась деэтимологизация. Для вящей убедительности приведу еще одно этимологически родственное суффиксальное производное слав. **čьrt-ьсь* (укр. *черте́ць* 'грызун Myoxus nitela'). С первого взгляда очевидно, что оно не только далеко от значения 'черт-ик', которое, казалось бы, отвечает его словообразовательной структуре, но никогда и не могло означать ничего подобного; это явствует и из сравнения с весьма близким этимологически, словообразовательно и семантически литовским *kertùkas* 'землеройка' (к слову сказать, черт по-литовски называется совсем иначе, имеет другой корень). И снова повторяется знакомая картина: древние производные (или образованные) **čьrt-ьсь*, **čьrto-ryja* от **čьrtъ* в семантическом отношении содержат **čьrtъ*, которое можно расценивать как производящее для свободного **čьrtъ* с его эволюционировавшей семантикой 'черт, дьявол'.

В этимологии, историческом словообразовании и при реконструкциях разной степени глубины (праславянский, индоевропейский) в тех случаях, когда нет уверенности в том, что родственные формы связаны непосредственным словопроизводством на данном хронологическом уровне, мы говорим обычно, что они с о о т н о с и т е л ь н ы друг с другом. Отсутствие такой характеристики в работах по современному словообразованию, современной семантике и уверенное употребление в них взамен этого таких квалификаций, как производное, мотивация, мотивированный, производят странное впечатление.

Во всех перечисленных примерах (их могло бы быть и больше) выступает автономность развития значения и — что не менее важно — его исключительная в а р и а ц и я. Необходимо подчеркнуть историчность этого явления, ибо в диалоге с некоторыми молодыми направлениями языкознания оказывается просто необходимым входить в разъяснение некоторых неновых истин.

Мы исходим из убеждения, что лексическая семантика связана тесной, хотя и своеобразной связью со словообразованием, а словообразование в своей сущности исторично и поэтому принадлежит к той же области, что и этимология. Думается, что уже разница в терминах сигнализирует приложи-

мость / неприложимость синхронного подхода, ср.: фонология, морфология, но словообразование. Фонология и морфология могут по праву быть синхронными при условии, если они занимаются не фонемо-образованием или морфемо-образованием (диахронический аспект этих дисциплин), а функционированием соответствующих уровней. Это делает ясным ответ, что слово-образование, вопреки всем ухищрениям, — диахроническая, историческая отрасль, синхронный подход возможен лишь в аспекте функционирования словообразовательных моделей.

Специалисты по синхронной лексикологии, конечно, по-своему стремятся решить эти и другие родственные проблемы, которые ставит перед ними материал. Иногда при этом стремление во что бы то ни стало остаться в рамках синхронного метода оборачивается для исследования упрощением языковой действительности, дает в результате неполноценную научную истину. Никто, например, не станет возражать против концепции словообразования как процесса и как результата; когда начинают говорить о процессе в смысле синхронии, это уже как-то меньше поддается разумению (по-моему, в синхронии мы всегда имеем дело с результатом), несмотря на разъяснения, что процесс, релевантный в синхронии, может не совпадать с историческим. Крайнюю зыбкость этих рассуждений выдает конкретный материал. Так, нам называют пример с *-heit* в немецком языке, потому что в современном словообразовании с этим элементом связан суффиксальный процесс, а в историческом словообразовании — словосложение [Степанова 1968: 161]. Но ведь немецкие слова *Dumm-heit*, *Frei-heit*, *Schön-heit* начали функционировать как суффиксальные сравнительно давно, это тоже уже исторический, диахронический процесс, охвативший ряд германских языков и даже «обогативший» интернациональную лексику пресловутым термином *апартеид* (точнее: *апартхейд*) — из бурского (африкаанс) *apart-heid* с тем же суффиксом. Все это уже состоялось не сегодня и даже не вчера, успев тем самым превратиться в достояние истории, диахронии, в том числе — языковой.

Либо необходимо применять понятие синхронного словообразовательного процесса с такой степенью строгости, на которую исследование практически не способно, либо отказаться от этого понятия, признав его фиктивным (см. выше), и заниматься функционированием готовых словообразовательных моделей, опять-таки с существенными оговорками, в частности, изучать не их словопроизводство, что было бы снова фикцией с точки зрения синхронии, а их соотносительность, как это делается, например, в диахроническом словообразовании применительно к славянским моделям, унаследованным от индоевропейского.

Некоторые специалисты по синхронному словообразованию достаточно четко представляют себе его функциональный характер, в противополож-

ность словообразованию историческому [Урбутис 1971: 19]. По крайней мере не меньшая (если не бо́льшая) разноголосица царит в сфере понятий производности, мотивации, мотивированности. Правда, отдельные авторы умеют даже различать производность и мотивированность, не покидая синхронный план [Там же: 4], что, пожалуй, чересчур тонко, тогда как большинство обсуждающих эту проблематику поглощено более реальной трудностью разграничить диахроническое и синхроническое в сфере мотивации. Сделать это не так легко, гораздо легче понять тех «некоторых исследователей», для кого «понятие “мотивированности”, по-видимому, допускает только диахроническое истолкование». Эти слегка окрашенные иронией слова взяты из книги Д. Н. Шмелева [Шмелев 1973: 22], интересной для нас широтой и разносторонностью своих суждений (см. далее). А вот что заботит лексиколога-синхрониста: «Принимая в расчет возможность изменений или забвения первичной мотивации, необходимо ввести понятие исторической мотивации ⟨...⟩ несмотря на то, что главной областью применения терминов м о т и в а ц и я и м о т и в и р о в а н н о с т ь, конечно, является синхроническое исследование лексики» [Ценковски 1973: 303]. Значит, сначала изжить (для вящей методологической строгости), а потом все-таки внести обратно, по-видимому, в интересах дела.

Тенденции специалистов по синхронному и современному словообразованию понимать его очень широко лишены объективных оснований по той простой причине, что огромное большинство слов образовано не сейчас (σὺν χρόνῳ τούτῳ), а в процессе истории языка. Этому не противоречит сохранение у удивительно большого числа слов прозрачности словообразовательной структуры, мотивации; названному явлению содействует в высокой степени воспроизводство словообразовательных моделей, действующее с древнейших времен до наших дней.

Не нужно недооценивать емкости понятия процесса истории языка и словаря. Оно без остатка включает то, что обозначается как «рождение слова», «неологизм», хотя здесь, кажется, пульсирует сама злоба дня, а соответствующим темам у нас посвящают книги специалисты по синхронному, а не по историческому словообразованию [Лопатин 1973].

Смешивать образование и употребление слова — гораздо больший грех, чем смешивать значение слова и его употребление; этому последнему изъяну лексикографии, кстати сказать, не всегда очевидно и объективно установимому и, кажется, не всегда изъяну [Шмелев 1973: 95 — о принципе диффузности значений], посвящена статья акад. В. В. Виноградова [Виноградов 1953]. Смешение образования и употребления слов, вопреки всей очевидности происходящего, обретает у нас на глазах силу, масштабы, становится профилирующей функцией целой дисциплины... На этимолога и историка

языка это производит впечатление некоего бесконечного эксперимента на тему: что было бы, е с л и б ы все образования осуществлялись на глазах у исследователя и е с л и б ы все иностранные слова типа *телевизор* были исконно русскими.

Другая сторона той же дисциплины напоминает психолингвистическое тестирование: предположим, что рядовой носитель современного русского языка знает «Грамматику иностранных слов» Юшманова или что-нибудь в этом роде и без запинки членит *теле-виз-ор* как свое родное русское слово... Примером с телевизором и его простодушно-синхронным словообразовательным анализом (*теле-виз-ор* в одном ряду с *желт-изн-а*!) я обязан З. Ф. Оливериусу, который трактует в своей работе о семантических правилах порождения и интерпретации русских слов [Оливериус 1973: 266]. В противовес этому я позволю себе процитировать (так сказать, из чувства некоторого одиночества) довольно обширное место книги Д. Н. Шмелева: «Так, для характеристики развития современной русской лексики существенно то обстоятельство, что при образовании новых наименований из различных способов номинации наибольшую активность приобретают, по-видимому, те, которые обеспечивают или предельную (в соответствии с возможностями языка) мотивированность нового обозначения, или же, напротив, его полную немотивированность, т. е. непроницаемость для всякого рода “словообразовательных” ассоциаций. В связи с этим явно преобладающую роль по сравнению с аффиксальным словообразованием приобретают такие способы номинации, как заимствование иноязычных слов (ср. закрепление в русском языке в последние годы таких слов, как *радар*, *глобальный*, *диктат*, *акваланг*, *кемпинг*, *мотель*, *нейлон*, *шорты* и мн. под.) и (особенно) образование устойчивых составных наименований (типа *термоядерная бомба*, *космический корабль*), а также создание — на базе подобных наименований — сложносокращенных и аббревиатурных обозначений (типа *леспромхоз*, *МГУ* и т. п.). Для первых вопрос о “мотивированности” не возникает...» [Шмелев 1973: 210]. Что же, вполне справедливые слова, хотя и идущие вразрез с ходовыми концепциями синхронного словообразования современного русского языка: в духе последних ничего не стоит, например, взять да и сконструировать «русский» словообразовательный ряд на *-инг* (*кемп-инг*, *парк-инг*) и уж тем более членить *глоб-альный* так, как если бы речь шла о рядовом производном, мотивированном на русской почве и средствами русского языка, не смущаясь фактом цельности заимствования слов *camping*, *global*, как бы потом эти заимствования ни осмысливались носителями языка, особенно с ростом элементарной языковой культуры последних.

От обсуждения теорий о семантическом уровне и его отношениях к другим уровням языка и к категории времени перейдем к главному вопросу —

анализу значения и его составных элементов. Уже известно, что по образу и подобию фонологии проводятся многочисленные опыты структурирования словарного состава и значений слов. Элементы семантического анализа при этом, как уже говорилось, — семантические дифференциальные признаки (ДП) и сообщающиеся с ними варианты значений слов. Последовательная логика структурного семантика, привыкшего мыслить бинарными оппозициями, выводит еще одну структурную величину, парную к упомянутому варианту (вариантам) — инвариант. Вот на этих трех понятиях современной семантики (семантических ДП, вариантах значения и семантическом инварианте) мы сосредоточим свое внимание, причем будем стараться, как и прежде, выяснить мнения и аргументы современных семантиков, с одной стороны, а с другой стороны — поделиться мнениями, языковыми наблюдениями и опытом этимолога и историка языка.

Сразу очевидно, что между семантическими дифференциальными признаками, составляющими, согласно воззрениям в современной семантике, значение слова, и дифференциальными признаками фонем наличествует лишь самое поверхностное сходство, идущее едва ли дальше терминологии, хотя это сегментирование семантического уровня и ставит задачу проникновения в мутность исследуемого материала. Разница не только в количестве (максимум нескольким десяткам фонем противостоят сотни тысяч семем, или лексических значений), здесь все различно также в принципе организации (фонема как звукотип, наделенный элементами теоретического конструкта, с одной стороны, и лексическое значение как воплощение объективной реальности языка — с другой; там — удобовычленимые ДП абстрактного звукотипа, здесь — принципиальная объективная диффузность значения). И как следствие серьезных различий — жалобы весьма серьезных исследователей на трудность формализации семантики ввиду ее сложности и различных связей с внеязыковой субстанцией [Бенвенист 1954: 264].

Авторы, идущие от семиотической схемы, правда, терзаются сомнениями в меньшей степени; им все ясно — и то, что дифференциальный семантический признак — это важнейшее понятие, и то, что значение слова — упорядоченная (?) совокупность дифференциальных семантических признаков [Семантика и словарь 1972: 40]. А между тем неясного здесь гораздо больше, чем ясного. Начнем с того, что существующие способы установления упомянутых семантических признаков отличаются априорностью, на что, между прочим, обращали внимание участники дискуссии на первом заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов (об этом говорил Филипец, выступая по докладу Я. Горецкого о семантических дифференциальных признаках).

В отношении определений и формулировок семантических ДП царит большая пестрота, авторы конкретных исследований по семантике впадают в такой распространенный недостаток, как нелингвистичность выдвигаемых признаков. Действительно, можно согласиться с Н. А. Слюсаревой в том, что такие признаки, как тип сооружения, характер постройки, назначение постройки, место постройки и т. п., «не являются лингвистическими, а относятся к семантике отражения» [Слюсарева 1973: 19].

В специальной статье «Типы семантических признаков при анализе лексики» выступил против смешения языковых и внеязыковых признаков лексем при компонентном анализе Г. С. Щур [Щур 1973]. Как пример этого смешения автор приводит опыт классификации из статьи В. Бланара [Бланар 1971: 6, 8], в которой общественные заведения и их названия классифицируются на такие, где продаются спиртные напитки, и такие, где напитки не продаются, но зато можно получить ночлег или ночлег получить нельзя. Г. С. Щур высказывает мнение, что такая классификация отражает не семантику слов, а существующий в данном городе или данном обществе порядок. Тем не менее, именно эти отличия (1. 'напитки и кушанья подаются / не подаются'; 2. 'ночлег предоставляется / не предоставляется') В. Бланар называет семантическими дифференциальными признаками. Г. С. Щур считает их, как нам кажется, с полным правом внеязыковыми по природе. Конечно, содержание семем / лексем очень тесно соотнесено с внеязыковой действительностью, поэтому, например, Д. Н. Шмелев как бы в поддержку расширительной трактовке семантических ДП находит естественным обращение к семантической субстанции при их выделении [Шмелев 1973: 18], и все-таки, пожалуй, можно согласиться с теми, кто видит разницу между лексической семантикой как коренящейся в слове и внеязыковой семантикой, которая в зависимости от ситуации лишь «приписывается лексеме» [Щур 1973: 351].

Между этими планами, т. е., в конечном счете, между лексическим значением и внеязыковой действительностью нет тождества или равенства, но есть своеобразная связь, как бы преломленное отражение. Эти тонкие сюжеты требуют осторожного обращения. Ведь и высота дерева может сказываться на характере обозначающей его лексемы / семемы, подобно тому как в этимологии иногда наблюдается связь между размерами реки и происхождением ее названия [3], но разве на основании этого можно делать выводы о прямых отношениях и однозначных закономерностях?

В связи с обсуждаемым нами вопросом должна быть упомянута работа Н. И. Толстого «Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиоло-

[3] Так, отмечается, что все реки Болгарии длиной свыше 100 км имеют дославянские названия.

гии» [Толстой 1968], хотя речь в ней идет не о сравнительной (генетической) семасиологии, как можно было бы подумать, а о семантической типологии, или структурной семантике, о типологическом анализе семем и составляющих их сем (ДП). Автор вводит (по аналогии с фонологизацией, дефонологизацией и трансфонологизацией) понятия семантизации, десемантизации, транссементизации, хотя о семантизации вариантов в дифференциальные признаки говорил задолго до него, например, Бенвенист [Бенвенист 1954: 264]. Наверное, Н. И. Толстой прав, стремясь различать признак, относящийся к знаковой стороне, семеме, и свойство, присущее предмету, но это, как видно, не так просто. Например, спрашивается, действительно ли лингвистичен и неразложим признак (сема) «дремучесть», выделяемый автором [Толстой 1968: 357], если вспомним, что, по определению лексикографа, *дремучий* — это 'густой, темный, непроницаемый (о лесе)' [Ожегов 1953: 153].

В последнее время, как известно, стало чуть ли не признаком хорошего тона обыкновение критиковать существующие толковые словари, так сказать, с высоты современной семантической теории за неточность, нелингвистичность и другие недостатки их определений значений слов. Тон критики бывает самым разнообразным — от уничтожающего до снисходительного, как в приводимой ниже цитате: «Существующие словари построены не на общей семантической теории, и было бы некорректно (unfair) винить их в этом. Они обычно сочетают энциклопедическую информацию с элементами семантического анализа. Большинство определений даже в лучших словарях поэтому либо избыточно, либо неполно и лингвистически иррелевантно» [Исаченко 1972: 78]. Ну, что ж, очень может быть.

Обратимся к теоретикам современной лингвистической семантики в надежде найти у них идеальное лингвистическое определение значения. Однако только что процитированная характеристика (избыточность, лингвистическая иррелевантность...) невольно приходит в голову, когда читаешь экспериментальные словарные статьи «Толково-комбинаторного словаря русского языка», где перегруженность семантических определений избыточной информацией, второстепенной или просто лингвистически неважной, слишком очевидна, идет ли речь о видах брака или видах костров (ср. костер для обеспечения нужд путешественников; костер для обеспечения нужд туристов, партизан), наконец, о видах преступлений (должностное преступление, служебное преступление).

Что это такое перед нами — семантические дифференциальные признаки, семы, из которых составляются, упорядочиваются значения слов, семемы? Где же в таком случае их лингвистическая взаимоисключающая дифференциальность? Если это просто иллюстрации контекстов, употребления слов, то и тогда это скорее совершенно нерелевантные лексикологически

параграфы из юридического кодекса или другого специального пособия, иначе — кто объяснит лингвистическую разницу между хищением продавцом продуктов из магазина и подделкой документов работником паспортного стола, если для юриста между ними — как преступлением должностным и преступлением служебным — и существует, может быть, специальное различие? [4]

Этимолог не может пройти также мимо тех случаев, когда, занимаясь анализом значения, вспоминают и этимологию, но только затем, чтобы отвести ей несколько странную роль. Я имею в виду статью Ю. Д. Апресяна «Определение лексических значений как проблема теоретической семантики» [Семантика и словарь 1972: 40, 44, 54]. Автор статьи, перечисляя факторы, приводящие к ошибкам в лексикографических определениях, называет и «внушение этимологии». Дальше выясняется, что приговор вынесен не всякой этимологии, а только неверной: «Много неточных определений возникает в результате неверной этимологизации» [Там же: 54].

Допустив столь некорректную подмену одного положения другим, автор не признался в этом ни себе, ни читателям, но ведь неверное, ложное применение любого метода, а не одной лишь этимологии обязательно приведет к ошибкам, и для доказательства этой истины не нужно писать статьи. Кстати, об ошибках, приводимых Ю. Д. Апресяном в связи с этим положением. Он предостерегает против ошибочного толкования значения слова *аппетитный* = 'возбуждающий аппетит'; поскольку в значение прилагательного *аппетитный* вообще не входит признак 'аппетит'. Думаю, не все контексты слова *аппетитный* подтвердят мысль Ю. Д. Апресяна, и если случаи переносного, фигурального употребления, пожалуй, не включают означенного признака 'аппетит' (например, *Вид у нее был аппетитный*), то прямое «гастрономическое» употребление (например, *Из кухни доносились аппетитные запахи*), конечно же, включает этот признак как основной. Ю. Д. Апресян предпочитает говорить, взамен этого, о значении (или признаке) 'желание съесть', сам того не замечая, что это и есть значение (или семантическая калька) заимствованного слова *аппетит*. Так что не надо пенять на этимологию... Не надо, кроме того, даже на семантическом метаязыке описания употреблять грамматически ошибочные выражения вроде «возбуждающий желание съесть себя», потому что это, строго говоря, попахивает каннибализмом и может возбудить у русского читателя, действительно, не аппетит, а какие угодно другие эмоции.

---

[4] Эти и другие примеры такого рода можно найти в работе: *Л. Н. Иорданская*, *Л. П. Крысин*. Материалы к толково-комбинаторному словарю русского языка. М., 1970 (Предварительные публикации. Вып. 7). С. 39—40 (Виды преступлений).

Разобравшись, таким образом, что ошибка семантического толкования заключена не там, где видит ее автор, и что виновато здесь не внушение этимологии, а скорее невнимательное к ней отношение, мы обнаруживаем неожиданно, что это и был самый доказательный пример Апресяна, поскольку второй пример ошибок толкований по причине ложной этимологизации (их вообще всего два) не представляет сколько-нибудь серьезного интереса: так, *адресовать* якобы не значит 'посылать по какому-либо адресу', ср. *адресовать записку докладчику* (просто-напросто в последнем случае мы имеем фигуральное употребление предыдущего нейтрального значения, что, разумеется, не отменяет живого характера этимологической связи слов и значений *адрес* : *адресовать*).

О трудностях громоздкого дела формализации лексикографических определений, предпринимаемого современными семантиками, лучше и подробнее уже сказали другие, поэтому ограничимся здесь оценкой идеи, которой в общей схеме семантики словаря отводится центральное место и обсуждение которой, будучи важно в плане общелингвистической теории, самым непосредственным образом касается исторических, этимологических воззрений на словарь языка. Речь идет о семантическом инварианте.

Идея семантического инварианта, т. е. неизменяемого элемента лексического значения, очень смущает тех, кто хотел бы заниматься исследованием изменения значения слова, так сказать, не порывая с современной семантической теорией. В. Бланар по этому поводу пишет: «При попытках формализовать семантические отношения обычно исходят из инвариантного значения слова. Однако тем самым создается весьма статический образ, который в некоторой степени искажает действительность» [Бланар 1973: 5]. Исходя, по-видимому, из чисто априорных соображений, что устоять при всевозможных изменениях значения слова или лежать в основе разных значений, соединяя их наподобие стержня, могло только что-то очень конкретное, Бланар отождествляет инвариантное значение с конкретным [Там же: 11]. А как быть в тех случаях, когда значение слова достоверно изменяется в противоположном направлении — к конкретному от более общего? Что тогда инвариант? Похоже, что автор как-то не подумал об этой весьма реальной возможности.

Е. Фодор, рассматривающая семантику в тесной связи со словообразованием (примем к сведению, что все это строго синхронно), решает вопрос путем простого арифметического вычитания: как она полагает, мотивированная основа (например *лесник*) повторяет значение мотивирующей основы (*лес*), причем последняя выступает семантическим инвариантом [Фодор 1973: 13]. Автор явно находится под внушением словообразования и отождествляет относительную устойчивость формы корня с устойчивостью его содержания.

Спору нет, значения отдельных корневых морфем и слов очень устойчивы, но в этом — специфика этих конкретных случаев, а не проявление какого-то мифического инварианта.

Еще больше можно привести примеров бесконечной вариации значения слова в целом и его корневой морфемы в частности, вариации значения производящего слова и совершенно самобытной подчас вариации значения корневой морфемы в связанном виде в составе производного слова, о чем уже говорилось ранее.

Критический разбор теорий изоморфизма и симметрии языковых планов научил нас не полагаться на то, что простым вычитанием словообразовательных морфем мы получим разом и корень слова и неизменяемую семантическую сущность. В современном, непосредственно наблюдаемом состоянии формы и значения слова заложено гораздо больше живой информации об истории того и другого, чем это признают синхронисты. Для того, чтобы яснее представить себе, что синхрония — это застывшая диахрония, иногда полезно почитать «Лаокоон» Лессинга, написанный еще в XVIII в.

Некоторые авторы, пишущие по вопросам формализации семантики, обходятся без понятия инварианта, как, например, Н. И. Толстой в уже упоминавшейся работе (он там обходится, правда, и без словообразования). Другие из них пользуются «семантическим инвариантом» на уровне рабочей фикции синхронного словообразования, например З. Ф. Оливериус в своей также уже привлекавшейся нами статье. Никто не отказывает этому направлению в праве на свою собственную «эмическую единицу» (из ряда *фонема*, *морфема*), т. е. семему, хотя сомнения здесь тоже вполне уместны (см. выше). Но нельзя безоговорочно объявлять семантическим инвариантом мотивирующую основу во всех, в том числе — ярко исторических фактах словообразования.

Если одни исследователи очень приближают к словообразовательному анализу семантический анализ и самую методику выделения семантического инварианта строят, так сказать, на уровне морфемных швов, как Е. Фодор в своей статье (*лес* — *лесник*), то для других решение вопроса об общем семантическом элементе не сковывается ни словообразовательной структурой вообще, ни сколько-нибудь индивидуальным изучением значения и употребления отдельных слов. Такую откровенно умозрительную и семиотическую трактовку семантического инварианта мы находим у польской исследовательницы Зофии Зарон в статье с характерным названием «Купить, продать, заработать, украсть (некоторые слова с элементом 'иметь')» [Семантика и словарь 1972: 179]. З. Зарон пишет: «Задачей настоящей статьи является описание значения некоторых слов, таящих в глубинной структуре элемент 'иметь'. Таких слов в польском языке много: *brać*, *dać*, *dostać*, *grabić*, *kupić*,

otrzymać, *pozbawić*, *pożyczyć*, *przekazać*, *przyswoić*, *przywłaszczyć*, *rekompensować*, *sprzedać*, *stracić*, *ukraść*, *wziąć*, *zabrać*, *zachować*, *zamieniać się*, *zarobić*, *zwrócić* и т. п.». Однако нельзя свою собственную формализованную запись, скажем, значений слова *брать* как 'каузировать иметь', а *дать* — как 'каузировать не иметь' или какую-либо другую такого рода запись, выявляющую понятийный, семиотический элемент 'иметь', ассоциируемый с этими словами, но отсутствующий в их лексических значениях, выдавать за глубинную структуру.

Глубинная структура — понятие, если и не совпадающее полностью с исторической, этимологической структурой, то во всяком случае во многом близкое, как своеобразная память, способность к воспроизводству древних, исторических особенностей употребления слов, их морфемного и фонемного состава на поздних, в том числе — современных стадиях функционирования этих слов. С таким пониманием глубинной структуры, кстати сказать, уже работают исследователи, которые пытаются нащупать точки соприкосновения порождающей грамматики и сравнительного языкознания[5]. Ни у польских глаголов *brać*, *dać*, *tracić*, *kraść*, ни у их русских эквивалентов *брать*, *дать*, *тратить*, *красть* в глубинной структуре не было семантического элемента 'иметь', мы можем утверждать это, опираясь на неплохую изученность в науке этимологии и истории этих слов. То же можно сказать и почти обо всех остальных словах списка (сделаем исключение только для польск. *wziąć*, рус. *взять*, праслав. **vъz-ęti*, **vъz-ьmǫ*, действительно связанного с *иметь* на древнем уровне и генетически и семантически). В остальном же записи значений вроде *Szymon kupuje kozę* = '*Szymon zaczyna mieć kozę*', т. е. Шимон покупает козу = 'Ш. начинает иметь козу' [Семантика и словарь 1972: 181], не представляют иного интереса, кроме как образцы индивидуального метаязыка описания З. Зарон как лексикографа.

На тему о семантическом инварианте не замедлили появиться и диссертации. Нам известна одна такая диссертация [Бутыленков 1972], где у десятка этимологически совершенно разных синонимов (мы бы сказали — вторично синонимизировавшихся слов) старофранцузского языка, обозначавших храброго, воинственного человека: *coragos*, *hardi*, *os*, *combatant*, *bataillos*, *chevalier*, *vassal*, *emprenant*, *manevi*, *outrecuidié*, — устанавливается семантический инвариант 'храбрый'. Пресловутый инвариант значения здесь фиктивен не только для всего ряда как такового, но и для каждого из этих слов в отдельности (например, где неизменное семантическое ядро слова *chevalier*, сначала обозначавшего всадника, рыцаря, затем — храброго человека?).

---

[5] Ср. *W. Dressler*, *A. Grosu*. Generative Phonologie und indogermanische Lautgeschichte // Indogermanische Forschungen. 1972. Bd. 77. Особенно с. 49—50.

Чехословацкая лингвистка К. Габовштякова в своей статье о значении лексической единицы [Габовштякова 1973] говорит об исследовании глубинной семантической структуры слова. При этом центр тяжести семантического содержания она видит в так называемой ядерной семе, а эта ядерная сема (иначе — главное, мотивирующее, общее значение) может быть инвариантной. Как видим, нюансы в понимании того, что такое семантический инвариант, весьма существенны и разнообразны, и, наверное, при наличии большего времени и места мы могли бы продолжать свой обзор. Но сейчас нас больше беспокоит другое, а именно — отсутствие в языковой действительности объекта, которому названные авторы посвятили свои суждения. Семантический инвариант — это фикция. Другие положения современной семантической теории вызывают у меня тоже большие сомнения, изложенные выше, но в этом последнем или главном ее положении, как в фокусе, видны все недостатки и слабости этого направления.

Иногда говорят о фикциях сравнительно-исторического языкознания [Курилович 1962б: 36]: «Сравнительно-историческому языкознанию, если оно тщательно не учитывает внутрисистемных отношений каждого из изучаемых языков, грозят две опасности. Это, во-первых, реконструкция фиктивных элементов, которые никогда и ни в каком языке не существовали, подобных интонации на безударных или кратких гласных. Во-вторых, это установление фиктивных фонетических законов, к которому ведет нечеткое разграничение фонологических и морфологических явлений, как в случае мнимых непосредственных акцентуационных или количественных рефлексов интонаций в разных славянских языках».

Если видеть в этих словах Е. Куриловича, ученого, одинаково полно владеющего методами компаративистики и структурализма, квинтэссенцию критики нашей науки, то нельзя не отметить, что в методике сравнительно-исторического языкознания он насчитал не так-то много фикции. Конечно, в науке фикция фикции рознь. Иногда они принимаются исследователями с полным сознанием их условности, например, как некая формула соответствия, и как таковые они вполне уместны и оправданы в любой области лингвистического исследования, в том числе и в сравнительно-историческом языкознании, которое, как известно, целиком зиждется на соответствиях. Именно так, вероятно, надо воспринимать -*o*-основу продуктивного вида и.-е. **ĝonos*, выводимую из сравнения др.-инд. *jána-*, греч. γόνος, которая — в силу упомянутой продуктивности — могла и не быть праиндоевропейской. Это справедливо лишь с одной стороны, поскольку, с другой стороны, нельзя целиком исключать, что данная конкретная форма существовала в праязыке, что как будто допускает и Е. Курилович, который пишет об упомянутом параллельном соответствии на -*o*-основу, что оно «м о г л о возникнуть в любой

момент предыстории индийского или греческого языка» (разрядка моя. — *О. Т.*) [Там же: 31][6].

Гораздо больше фикций наблюдается в структурных или синхронных исследованиях. Они здесь не только различны по характеру, но и многочисленны (в некоторых случаях, думается, даже превышен критический процент допустимого применения рабочих фикций, как, например, в названии доклада типа «Функциональные особенности и значение нулевых фонем, морфем и слов»). Очень часто они имеют вид рабочих фикций, аналогичных только что рассмотренной компаративистской; структуральная концепция симметрии языковых отношений (ср. прежде всего парные оппозиции) побуждает исследователей говорить о «нулевых флексиях», «нулевых суффиксах», «пустых клетках». Однако наряду с фикцией как рабочим приемом мы встречаемся и с фикцией как методологическим заблуждением. Такова, как нам кажется, идея инварианта в синхронной семантике и словообразовании.

Мотивов возникновения этой идеи мы уже касались отчасти выше, их можно понять на фоне общих и нередко поверхностных тенденций фонологизировать, структурировать лексико-семантическое исследование и получить «непротиворечивую» картину, объединяющую в одном семантическом поле все значения, все признаки значений, увидеть оппозицию между совокупностью меняющихся признаков-вариантов и неким неизменным ядром.

Идея выделения этого семантического ядра (инварианта, «ядерного», «основного» значения) бесспорно умозрительна. Многие лингвисты всерьез поверили в нее, ср. в работе Н. И. Толстого диахронически окрашенный тезис о необходимости установления исходной семемы (исходного значения), «требующего обращения к исторической семасиологии и этимологии...» [Толстой 1968: 364].

Что касается поисков однозначной исходной семемы, то прежде чем мы перейдем к несколько иным показаниям этимологии, остановимся на гораздо более убедительных и трезвых рассуждениях на этот счет у Д. Н. Шмелева: «Это не значит, что следует искать “общее значение”, которое рассматривалось бы как семантический инвариант или как некоторое неизменное смысловое ядро, сохраняющееся при употреблении слова в разных значениях. Существование подобного “общего значения” у слова сомнительно хотя бы потому, что свойственные слову значения во многих случаях соотносят его с

[6] Воспринимать из этого высказывания Е. Куриловича одни лишь запретительные интонации, как это делает, например, Ф. Славский (*F. Sławski.* Nad pierwszym tomem Słownika prasłowiańskiego // Rocznik Slawistyczny. 1973. XXXIV. S. 8), было бы также слишком односторонне. Вообще вряд ли верно отождествлять продуктивность образования с поздним временем его появления, хотя так обычно делают.

неоднородными “реалиями” и с разными семантическими группами слов ⟨...⟩ Семантическое единство слова заключается, таким образом, не в наличии у него некоего “общего значения”, как бы подчиняющего себе более частные, выделяемые обычно в толковых одноязычных словарях значения, а в определенной связи этих самостоятельных значений друг с другом и их закрепленности за одним и тем же знаком» [Шмелев 1973: 76]. И далее в книге Д. Н. Шмелева читаем: «Принцип диффузности значений многозначного слова является решающим фактором, определяющим его семантику. То, что лексикографические описания не отражают этого (более того, именно стремятся освободить словарные статьи от “неопределенных” примеров) существенно искажает представление о семантической структуре описываемых слов» [Там же: 95]. Какая свежая и смелая мысль! Эта или подобная характеристика диффузности семантики типологически приложима к древним лексическим и семантическим реконструкциям, которые, как известно, в современной науке все шире моделируются на основе наших знаний о живых языковых процессах, а не на умозрительных представлениях о древней первоначальной «простоте». К такому убеждению приводят занятия конкретной этимологией и историей слов и их значений.

Несколько примеров помогут пояснить всю обременительность и искусственность понятия семантического инварианта, а также «основного», «исходного» значения.

И.-е. **del-* I ‘раскалывать, резать’ (др.-инд. *daláyati* ‘раскалывает’, *dálati* ‘лопается, трескается’, лат. *dolō* ‘тешу, обрабатываю’) этимологически родственно **del-* II ‘плести, вить’, ‘формовать, лепить’ (праслав. **kǫ-delь* ‘пучок льна, конопли’, др.-ирл. *dolb(a)id* ‘формует, лепит’, лат. *dōlium* ‘большой глиняный сосуд’).

И.-е. **derbh-* I ‘раздирать, дёргать, чесать’ (чеш. *drbati* ‘царапать, драть’, рус. диал. *дербúть* ‘чесать, скрести, драть’) тождественно **derbh-* II ‘вить, скручивать, плести’ др.-инд. *dṛbháti* ‘связывает, вьет’, *darbhá-* ‘пучок травы’).

И.-е. **ker-* I ‘резать’ (греч. κείρω ‘отрезаю’, др.-инд. *kṛntati* ‘режет’) родственно **ker-* II ‘крутить, скручивать, сплетать’ (др.-инд. *kṛnátti* ‘крутит, сучит нитку, прядет’, *cṛtáti* ‘вяжет, скрепляет’) [Трубачев 1966: 245—247].

Не омонимы ли перед нами? Но слишком устойчива повторяющаяся в этих парах (ср. аналогично **plek-* I и **plek-* II, **tek̑s-* I и **tek̑s-* II, примеры значений ‘рвать, рубить’ (I) и ‘плести, ткать’ (II) можно найти для них в «Индоевропейском этимологическом словаре» Ю. Покорного) связь значений I и II порядков, чтобы походить на омонимию. Занимаясь в свое время более подробно этой связью, мы видели своеобразное синхронное подтверждение сказанному выше в примере практически одновременного синкретического сосуществования обоих значений (‘рубить’ и ‘связывать’) как в древнерус-

ском (Ипатьевская летопись под 1015—1016 гг.: *...а вы плотници суще, а приставимъ вы, хоромъ рубить нашихъ* 'а раз вы плотники, то мы заставим вас строить наши дома'), так и в русском (например, *срубить избу* в значении 'построить избу, связать избу из бревен') [Там же: 249]. Итак: 'рубить, резать' и — 'вязать'. Где здесь «инвариант», когда сто процентов значения охвачены как раз вариацией? Значение, эволюционируя, изменяется здесь без остатка.

Поиски основного или общего значения равным образом были бы обречены на неуспех, трактовка одного из приведенных выше значений как исходного в обычном понимании также может показаться произвольной, удовольствоваться констатацией поляризации значении, в свою очередь, было бы слишком мало для проникновения в суть явления. Д. Н. Шмелев (ср. цитату выше и смежные места книги, а также фактические иллюстрации там) приходит на конкретном материале к необходимости оперировать совокупностью значений. Наши примеры показывают важность этого на этимологическом, историческом материале (впрочем, включая употребления, живые и в современном языке). Мы имеем дело с совокупностью изменяющихся значений. Этот процесс протекает всякий раз индивидуально; тем меньше при этом имеется оснований говорить о некоем неизменном инварианте. Его нет и там, где эволюция разворачивается медленно, а первичное значение проступает как бы сохраннее; его тем более нет в случаях радикальной замены значений, каких немало, где налицо лишь цепь взаимосвязей между первичными и вторичными значениями.

Теории инварианта равно противоречат случаи яркой и неяркой эволюции, исконной лексики и заимствований. Вот еще два историко-этимологических примера из древней унаследованной лексики: франц. *tête* 'голова' < лат. *testa* 'черепок'; слав. **golva* 'голова' из первоначального 'шишка, желвак', ср. родственные **žьly* 'черепаха', **zьlъvakъ* (рус. *желвак*), **gluda* 'ком'. Практически та же картина вариации закономерно выступает в заимствованной лексике. Например, русское слово *эталóн* '(законный) образец' заимствовано из франц. *étalon*, которое выступает, с одной стороны, в значении 'узаконенный образец', с другой стороны — в значении 'жеребец-производитель'. Правда, стойко держится традиция считать их омонимами и этимологически трактовать раздельно [Доза 1946: 298], что, однако, сомнительно, если обратить внимание на хорошо известные в литературе данные: *étalon* I 'жеребец' производится от старофранцузского *estal* 'стойло, конюшня', а *étalon* II 'образец', старое *estelon* (как полагают, изменившееся в *étalon* «благодаря аттракции» названия жеребца), объясняется из старофранцузского *estel* 'кол', по-видимому, заимствованного из германских языков [Там же: 298]. Однако упомянутое старофранцузское название стойла тоже германского про-

исхождения, причем его германский этимон практически тождествен этимологически названию кола, стояка (см. [Клейн 1967 II: 1502—1503]): англ. *stall* 'стойло, конюшня', нем. *stellen* 'ставить', *Stelle* 'место', ср. др.-инд. *sthū̆ṇā* < **sthulnā* 'колонна', ср. также те и другие значения, приводимые для русского слова *стóйло* в словаре Даля. Спрашивается, что инвариантно в прослеживаемых здесь значениях: идея образца? значение 'кол'? А между прочим, некоторые авторы, размышлявшие, в частности, и над отдельными приведенными выше названиями и их значениями в плане выявления в них семантического инварианта (например, по поводу названия головы, не случайно упомянутого нами), готовы как раз приписать им любую абстрактную идею, как бы лежащую в основе всего, хотя трудно найти занятие более бесплодное.

Явление семантического синкретизма, таким образом, должно изучаться не как нечто раз и навсегда преодоленное языком и предполагаемое по большей части для праязыковых эпох, да и то на уровне гипотезы, а как характерная особенность словаря. Выше мы коснулись одного примера из живого языка (*срубить* I и *срубить* II), истоки которого восходят к древности. Однако признание семантического синкретизма позволяет во многом по-новому взглянуть на такую первоочередную проблему лексикографии (в том числе современной лексикографии), как омонимия.

Ориентация современного языкознания в значительной степени на речь, на живое употребление слова почему-то не отразилась на трактовке омонимии. Иначе это трудно объяснить, потому что в противном случае, думается, были бы затронуты и поколеблены самые устои представлений об омонимах. Любопытное мнение на этот счет с позиций семасиологии современного языка находим у Д. Н. Шмелева: «Можно утверждать также, что омонимия вообще мало ощущается говорящими, так как "звуковая форма" в принципе является для них показателем тождества слова» [Шмелев 1973: 96]. Далее, оказывается, что постулируемая современными лексикографами омонимия, от которой без преувеличения рябит в глазах при чтении словарей, часто не подтверждается и с историко-этимологической стороны.

Лексикографическая практика, построенная на парадоксальном невнимании как к живому речевому употреблению, так и к классической диахронии, нуждается, видимо, в серьезных коррективах. Из многочисленных случаев мы выберем здесь один, довольно заметный — омонимическую трактовку слов *топить* I и *топить* II в русском языке, — чтобы показать, что их омонимичность явилась исключительно плодом деятельности лексикографов. Мнимый характер омонимичности *топить* I 'разводить огонь: обогревать; нагревая плавить, превращать в жидкое' и *топить* II 'заставлять пойти ко дну', 'заливать, покрывать (водой)' явствует из того обстоятельства, что у них как раз имеются общие семантические признаки. Это означает, что в

данном конкретном вопросе мы расходимся с Д. Н. Шмелевым, который считает, что таковых признаков у *топить* I и *топить* II нет [Там же: 89]. В противоположность этому мы считаем вероятным историко-этимологическое единство обоих глаголов с общим исходным и.-е. **tep-* 'теплый, горячий' как для слав. **topiti* I 'нагревать', так и для слав. **topiti* II 'заливать' ввиду наличия позиции семантической нейтрализации в значении 'нагревая плавить, делать жидким, льющимся' (ср. рус. *топить воск*). Сходным образом выявлял позицию семантической нейтрализации якобы омонимичных и.-е. **dhe-* I 'ставить' и **dhe-* II 'делать', франц. *voler* I 'лететь' и *voler* II 'воровать' Э. Бенвенист в своей уже упоминавшейся статье 1954 г. о семантических проблемах реконструкции. Это и есть искомый общий семантический признак глаголов *топить* I и *топить* II; важно отметить его практическую сохранность вплоть до современности.

Сказанное выше демонстрирует важность этимологических данных для суждений об отсутствии здесь омонимии в настоящем смысле также с синхронной точки зрения современного русского языка. Мы вовсе не хотим внушить при этом мысль, что этимология всегда имеет готовый единственно правильный ответ на вопросы такого рода; укажу, что изложенное перспективное, как нам кажется, этимологическое решение не является господствующим, более того, заглянув, например, в словарь Фасмера [Фасмер 1973 IV: 78—79], мы увидим, во-первых, привычную для глаза омонимическую трактовку *топить* I, *топить* II, во-вторых, преобладание в этимологической литературе раздельной этимологизации обоих случаев и, наконец, лишь в самой беглой форме высказанное допущение этимологического тождества *топить* I и *топить* II на базе исходного значения 'топь, растопленное, талое место', т. е. выходит *топить* II > *топить* I, что прямо противоположно нашему объяснению (*топить* I > *топить* II), а заодно и свидетельству языка. В этимологии также предстоит еще проделать большую работу по пересмотру квазиомонимов.

Диалог по вопросам лексической семантики возможен между современной лексикографией и этимологией также при определении иерархии значений. Распространенная практика подачи в словарях значений в том или ином порядке (под номерами или без номеров) предполагает признание первого из поданных таким образом значений как основного, «первого» по существу, тогда как остальные при этом надлежит понимать как второстепенные, третьестепенные и т. д. значения. Однако на вопрос о том, какой критерий положен в основу этой иерархии, мы, скорее всего, не получим сколько-нибудь четкого или удовлетворительного ответа.

Лексикограф, классифицирующий значения в пределах словарной статьи, опирается на свое собственное языковое чутье, на известный ему общепринятый узус, но все это далеко от точности, связано с впечатлением, восприяти-

ем, т. е. субъективно. Этимология может выявить, что значение, определяемое лексикографом как «первое», в историческом и этимологическом плане оказывается «вторым» и наоборот — «второе» значение у лексикографа оказывается этимологически первым. Возражения против ввода этимологических и исторических критериев в современную лексикографию мы отвергнем с прежней настойчивостью как некорректные, сославшись при этом на то, что сами лексикографы современного языка не могут обойтись без такой, в сущности, исторической характеристики, как «переносное», куда обычно попадают «вторые» значения. Так, например, для слова *дом* специалисты по лексикографии и семантике современного языка единогласно выделяют значение 'здание' как первое, основное, а значение 'семья' — как второе, переносное [Шмелев 1973: 79].

Историко-этимологические исследования последнего времени показали, что так называемое переносное значение современного русского слова *дом* не только прослеживается в ряде древних индоевропейских языков, но и выступает в них при этом как основное. Латинское слово *domus* обозначает дом не как постройку, сооружение, а как символ семьи, это термин права и социальной организации, а не строительной техники. По этой, а не по какой-либо другой причине эта индоевропейская основа входит в состав др.-инд. *dam patiḥ*, греч. δεσπότης (**dems-pot-*) 'господин, глава семьи', исключительно социального по своей природе термина.

Старая этимология от и.-е. **dem(ə)-* 'строить' (греч. δέμω) теперь оспаривается исследователями и.-е. **dem-* 'дом, семья' [Эрну, Мейе 1951 I: 326—327; Бенвенист 1969 I: 293—307]. Эти этимологические данные далеко не безразличны для современного употребления слова, как может показаться на первый взгляд. Так, если мы возьмем формы *домой*, *дома*, которые, при всей своей специфике наречий из старых падежных форм, хорошо сохраняют связь с основным словом *дом*, мы без труда обнаружим, что и сейчас, как тысячу лет назад в древнерусском и как аналогичные латинские *domi*, *domum*, *domo* две тысячи лет тому назад, они по-прежнему имеют значение 'к себе, у себя', а не 'под крышу, под крышей' или что-нибудь в этом роде.

Наличие у слов «собственных, самостоятельных значений, не зависящих от конкретного контекста» [Шмелев 1973: 159], мы считаем знаменателем важности собственного происхождения слова. Хотя постоянно наблюдается закономерное ослабление и забвение этимологического значения слова в повседневной коммуникации, его деэтимологизация, не следует в этом коммуникативном облегчении быта видеть повод для того, чтобы облегчать от этимологии также наши исследования современного значения и употребления слова. Абсолютно, казалось бы, синонимичные лексемы / семемы «торговля» в нескольких европейских языках — нем. *Handel*, чеш. *obchod*, рус. *торгов-*

ля — далеко не во всем совпадают друг с другом по стилистическим особенностям и употреблению: нем. *Handel* примыкает к сфере понятий 'дело', 'сделка', 'делишки', и это так или иначе обусловлено его этимологической связью с *Hand* 'рука', *handeln* 'действовать'; чеш. *obchod* с его прозрачной структурой (*ob-chod*: *ob-choditi*) едва ли можно отрывать от других европейских обозначений торговли как сообщения, обращения (франц. *trafic*, нем. *Verkehr*); рус. (и слав.) *торг*, *торговля* или родственно или рано испытало влияние группы слов с глагольным корнем **tъrgati*, т. е. тяготеет к понятийной сфере похищения.

Этимология навсегда предопределила собственную стилистику этих слов. В связи с этим для нас очень интересны мысли В. И. Абаева о том, что он в свое время назвал «идеосемантикой», т. е. семантикой генезиса и взаимосвязи значений [Абаев 1934: 34]: «Предшествующие этапы развития данного семантического комплекса могут как-то сохраниться в семантической структуре слова, окружая его тончайшей идеосемантической оболочкой, почти неуловимой, да и несущественной в повседневной речи, но весьма важной, скажем, для поэта или переводчика художественного произведения. Можно даже сказать, что значение идеосемантики в художественной речи особенно велико. Если в научном языке естественно стремление употреблять слово в его максимально точном, ограниченном, технизованном значении, то для художника слова высшим мастерством является, напротив, — умение заставить играть слово всеми теми многообразными и тонкими идеосемантическими оттенками и ассоциациями, которые оно несет с собой из глубины своего прошлого» [Абаев 1948: 19]. И далее: «...даже весьма отдаленное идеосемантическое содержание речевых элементов может быть донесено до наших дней в виде еле уловимой оболочки смутных ассоциаций, окутывающих "сухое" технизованное ядро значения. Незаметная в обыденной речи, эта оболочка может быть, однако, подхвачена и оживлена художником слова для поэтической выразительности и стилевого колорита» [Там же: 28].

В. И. Абаев затронул здесь и в некоторой степени предвосхитил весьма важные идеи современных исследований древнего (и нового) поэтического языка. В двух словах можно резюмировать свои наблюдения в этой связи таким образом: если основной тенденцией нейтрального словоупотребления, средних стилей речи является деэтимологизация, то в поэтическом языке и вообще в приподнятых стилях речи необходимо считаться с р е э т и м о л о г и з а ц и е й, т. е. оживлением этимологических связей (эта тенденция гораздо шире и многообразнее образа figura etymologica, к которому любят обращаться в связи с этимологией и проблемами поэтического языка); тенденция реэтимологизации, реализующаяся в особых условиях словоупотребления, служит для нас многозначительным свидетельством своеобразной этимоло-

гической памяти слова (аналогичной той памяти о предшествующем, глубинном фонетическом строе языка, которая, например, вызывает к жизни в пении или поэтической речи французское e muet в абсолютном исходе слова, где оно давно и совершенно регулярно умолкло в стандартной речи).

Этими замечаниями мы заканчиваем часть нашей работы, посвященную вопросу о месте этимологии в кругу семантических и лексикографических проблем, и перейдем к менее дискуссионному, но неизменно интересному вопросу о роли лексической семантики в собственно этимологических исследованиях. При этом интересно остановиться на семантическом словообразовании (т. е. лексических новообразованиях преимущественно семантическим путем, включая семантические кальки, как правильные, так и ложные) и на примере новой этимологии, полученной с помощью более полных значений слов.

Известно, что только значение мотивирует ряд формальных изменений, не объяснимых исключительно со стороны формы или структуры. Например, литовское слово *kanópa* 'подкова' трудно объяснить иначе как через метатезу (семантически обусловленная перестановка звуков) первоначального **kapóna* [Френкель 1962 I: 216], старое причастие прошедшего времени страдательного залога от глагола *kapóti* 'рубить, сечь, бить'. Описанные причастия на *-n-* в историческое время практически неизвестны литовскому языку, хотя следы их там сохраняются (ср. отношения *pìlnas* 'полный' : *pìlti* 'лить, сыпать'). Само собой разумеется при этом значение семантической типологии. Так, при этимологизации слова, обозначающего подкову, мы обращаем внимание на семантические типы называния подковы в разных языках, как бы проверяя по ним правильность принятой нами этимологии: 1. «подкова» как «железная подошва», «копытное железо», ср. лат. *solea ferrea* 'подкова', нем. *Huf-eisen* то же; 2. «подкова» как «прибитая, прикованная»; ср. рус. *под-кова*. Лит. *kanópa* < **kapóna*; *kapóti* может семантически примыкать сюда или, скорее, может быть одного корня с русским *копыто* (: *копать*).

Семантическое словообразование, в частности семантическое калькирование, может быть очень различным в разных языках даже при наличии общей, тождественной отправной базы. Достаточно сравнить латинское выражение *res publica* и его довольно точную передачу английским *commonwealth* 'общее богатство, общее достояние' [7] и польским *rzeczpospolita* 'общее дело'.

---

[7] *British Commonwealth* 'общебританское достояние' в качестве официального названия союза частей бывшей Британской империи у нас почему-то принято переводить как *Британское содружество наций*, что, по меньшей мере, неточно. К нашему удивлению, этимологические словари английского языка — и старые [Скит 1911], и новые [Клейн 1966—1967] — не интересуются образованием *commonwealth*; новейший из них, словарь Клейна, характеризует при этом близкие кальки англ. *commonplace* — с лат. *locus communius*, *common sense* — с лат. *sensus communis*.

Значительной деэтимологизации способствовало то, что в обоих случаях так назывались монархические правления (Rzeczpospolita Polska, как известно, первоначально имела выборных королей). С другой стороны, можно обратить внимание на немецкое *Freistaat* 'республика' (букв. 'свободное государство') как на передачу не семантического содержания лат. *res publica*, а скорее — идеи, ассоциируемой с *res publica* и его продолжениями.

Калькирование, или передача, даже современных штампов, оборотов, фразеологизмов, в частности — из сферы международной, политической жизни, приводит в разных языках, разных лексических системах к различным семантическим наполнениям с разной лексико-семантической соотнесенностью. Так, русское словосочетание *Соединенные Штаты Америки* передает английское *United States of America*, но у нас *штат* — это 'административно-территориальная единица (в Америке и т. д.)' и 'постоянный состав сотрудников' [Ожегов 1953: 832], что очень напоминает соотнесенность синонимичного польского обозначения *Stany Zjednoczone* (*Ameryki Północnej*): польск. *stan* '(территориальный) штат', 'сословие людей' (государство называется в польском особым словом *państwo*, подобно тому как это имеет место в русском языке). Близкую, но с отличиями, картину соотнесенности аналогичного обозначения имеем во французском *Etats-Unis d'Amérique*: *état* 'государство' (позднее — 'штат'), 'сословие, контингент сотрудников'. Иная ситуация в немецком: *Vereinigte Staaten von Amerika* — *Staat* 'государство'; в чешском (явно по немецкому образцу): *Spojené Státy Americké* — *stát* 'государство'; в сербохорватском (по той же модели): *Сједињене Америчке Државе* — *држава* 'государство'.

Если учесть, чти английское слово *state* означает прежде всего 'государство', то при поддержке вышеупомянутых аналогий станет, во-первых, яснее «этимологическое» значение оборота *United States of America* 'Соединенные государства Америки' (попутно обретет дополнительное логическое объяснение культурный контекст, например наличие у американских «штатов» собственной конституции), во-вторых, станет очевидным тот факт, что даже в этом, очень позднем эпизоде называния и калькирования мы видим все через толстую призму лексико-семантической соотнесенности своего языка.

Курьезно выглядит, когда некоторые этимологи, злоупотребляющие гнездовым принципом построения словарной статьи, судят как бы с позиций синхронного словообразования о производных, в действительности прошедших собственный весьма извилистый путь калькирования, помноженного на ложные ассоциации. Так, в литовском этимологическом словаре Френкеля читаем, что литовское слово *bangìnis* 'кит' — прилагательное, производное от *bangà* 'волна' (*bangìnis* можно там найти внутри гнездовой статьи на заглавное *bangà*). Можно согласиться, что такое прямое соотнесение оправдано

психолингвистически с точки зрения языкового сознания среднего носителя современного литовского языка. Но это осмысление на уровне народной этимологии мало чего стоит. Подлинное происхождение слова *bangìnis*, так же как и другого литовского названия кита — *bañgžuvė*, объясняется неточной калькой нем. *Wal-fisch* 'кит', где первую часть при передаче на литовский поняли как 'волна', в то время как на самом деле нем. *Wal* (как и англ. *whale* 'кит') восходит к германскому названию рыбы **hwala-* [Бенвенист 1969: 122—123].

В заключение — опыт новой этимологии слова *наглый*, основанный на значении. Речь, собственно, идет о слове, охватывающем ряд славянских языков: др.-рус. *нагло* 'быстро, скоро, тотчас', рус. *на́глый* 'нахальный, дерзкий, бесстыдный', укр. *на́глий* 'внезапный, неожиданный', 'быстрый, стремительный', польск. *nagły* 'внезапный, неожиданный', 'спешный, неотложный', 'проворный, горячий, вспыльчивый', в.-луж. *nahły* 'обрывистый, крутой', 'быстрый, внезапный, вспыльчивый', н.-луж. *nagły* 'крутой', 'быстрый', 'внезапный, необдуманный, горячий', чеш. *náhlý* 'неожиданный, спешный, стремительный, вспыльчивый', 'крутой, отвесный', словац. *náhly* 'быстрый, неожиданный', 'торопливый', словен. *nágel* 'внезапный, быстрый, стремительный', сербохорв. *на̂гао*, *на́гла* 'спешный', болг. *на́гло* 'нагло'. Эти формы живых славянских языков продолжают праслав. **naglъ(jь)*.

Достаточно отвлеченный характер части перечисленных выше значений побуждал исследователей видеть в них вторичный перенос. Но что считать первичным, а что — вторичным? Преображенский в своем этимологическом словаре объединяет 'быстрый, внезапный; поспешный', считая их уцелевшим первоначальным, а значение 'дерзкий, бесстыдный' — вторичным значением. П. Тедеско предлагает углубить семантическую реконструкцию в том же направлении, причем, признавая значение 'внезапный' древнейшим из известных значений, он возводит его к гипотетическому 'агрессивный' или что-то в этом роде [Тедеско 1951: 29, 30]; этот же автор считает, что значение 'бесстыдный' развилось из 'настойчивый, требовательный'. Для Ж. Ж. Варбот первичными являются в общем все те же значения 'быстрый, спешный, внезапный', но их праисторию она понимает иначе: 'сильный, деятельный' [Варбот 1964: 28—29]. Значение 'дерзкий, бесстыдный' Ж. Ж. Варбот, по-видимому, относит к прочим, экспрессивным значениям. Семантическая реконструкция слова с заведомо сложной историей значения — ответственный акт. Удачу или неудачу в этом деле можно контролировать косвенными показаниями других уровней. При этом обращает на себя внимание тот факт, что праславянское слово **naglъ* с постулируемым значением 'быстрый, спешный, внезапный' не имеет достоверных соответствий в родственных индоевропейских языках. Сомнительность имеющихся соответствий усугубляется кратко-

стью сравниваемых форм; характерно, что из сравнения исключается *-l-* в **nagl*ъ, практически всеми отождествляемое с суфф. *-l-* славянских прилагательных. Таковы сближения с др.-инд. *áñjas, áñjasā* 'прямо, неожиданно, быстро, скоро', готск. *anaks* 'внезапно, быстро, тотчас', лит. *ankstì* 'рано', далее — с лит. *nogë̃tis* 'стремиться' [Там же: 29], сравнение с латышским *naguôt* 'быстро идти', включенное в посмертное, второе издание чешского этимологического словаря В. Махека. Другого рода этимологии оперируют чисто славянскими сравнениями, но от этого они не перестают быть очень гипотетическими реконструкциями, например объяснение Ф. Миклошичем *naglъ* из *nagъblъ* 'inclinatus' [Миклошич 1875: 94] или П. Тедеско: *naglъ* — **nalъglъ* [Тедеско 1951: 28].

С учеными, исследовавшими слово **naglъ*, можно согласиться, пожалуй, в одном существенном пункте: поиски этимологии этого специфического слова должны продолжаться на базе его семантики. Есть основания думать, что еще недостаточно изучена известная семантика славянского слова. Так, Ж. Ж. Варбот вынуждена признать, что значение русского диалектного (яросл.) *наглый* 'чистый, настоящий, подлинный' остается обособленным [Варбот 1964: 28], а ее попытка в дальнейшем сблизить это последнее значение со (словом и) значением **snaga* 'опрятность, украшение' нас не убеждает, особенно ввиду аргументации, излагаемой нами ниже. Но особенно красноречиво говорит о неудовлетворительности принимаемой в литературе семантической реконструкции слав. **naglъ* свидетельство, можно сказать, забытого украинского диалектного слова *нáглий* 'голый': *І вонá нáгла остáлась.* Росава [Курило 1928: 97].

Сразу хочется отметить непосредственную связь друг с другом, которую обнаруживают значение 'голый' этого украинского диалектного слова и доставившее столько хлопот значение 'чистый, настоящий, подлинный' упомянутого выше русского диалектного слова. Обоснованность такого сближения в семантическом плане удается подтвердить с помощью аналогии немецкого слова *bar*, которое имеет этимологически первичное значение 'голый, неприкрытый' (ср. *barfuß*, *barhaupt*) в соответствии со своим происхождением из и.-е. **bhosós* 'обнаженный', но развило на этой базе также и вторичное значение 'чистый, несмешанный' (откуда, например, *bare Münze* 'чистая монета', *bares Geld* 'наличные', т. е. 'настоящие, ничем не замененные деньги'). В подтверждение сказанному можно еще вспомнить выражения вроде *голая, неприкрытая правда*, чтобы направление семантического развития 'голый' → 'чистый, настоящий, подлинный' приобрело большую степень вероятия для двух рассмотренных выше диалектных свидетельств (укр., рус.) славянского слова **naglъ*.

Таким образом, наши знания о существующих значениях исследуемого слова **naglъ* в славянских языках ощутимо пополнились, и в этом выражает-

ся исключительная ценность данной украинской диалектной записи, которая, как увидим, решительно требует совершенно другой этимологизации слова. Единичный характер этого свидетельства не может его сколько-нибудь обесценить[8]. Запись произведена хорошим диалектологом, но важнее всего то, что отмеченное при этом значение 'голый, нагой' бесспорно архаично. Его нельзя вывести из остальных известных нам значений слав. **naglъ*. Более того, делается ясным, что все эти остальные значения без исключения вторичны. Интересно то, что теперь нет надобности считать значение 'дерзкий, бесстыдный' (рус. *наглый*) результатом какой-то особо поздней экспрессивной деривации от каких-нибудь промежуточных значений 'агрессивный, навязчивый, требовательный' и т. п. Значение 'бесстыдный' получено путем прямой семантической деривации от древнего значения 'нагой, голый'. Значения 'быстрый, внезапный, спешный', преобладающие в других славянских языках, отстоят еще дальше от первичного значения (не говоря уже об ответвлениях вроде 'проворный, горячий, вспыльчивый' или 'обрывистый, крутой', см. выше перечень).

Спрашивается, какова же этимология слова **naglъ*? Теперь, после уточнения семантической картины, на этот вопрос ответить уже легко: слав. **naglъ* этимологически родственно слав. **nagъ* 'нагой, голый'. Исключительная проницательность А. Брюкнера позволила ему в сущности напасть на след этого происхождения слова: кратко характеризуя польское *nagły*, он высказал догадку-вопрос «z nagi?» [Брюкнер 1957]. Но догадка так и осталась ничем не подкрепленной, и Тедеско счел эту мысль Брюкнера «не очень вразумительной», не заметив, что это и есть та самая наиболее рациональная «etymology based on meaning» из всех возможных.

Несколько слов о фонетической форме слав. **naglъ*. Она не первична, хотя звуковую сторону перестройка задела куда в меньшей степени, чем разобранную нами семантическую. Слав. **naglъ* продолжает более древнее **nagnъ*, подвергшееся затем диссимиляции двух *n*. Следы древнейшего слав. **nagnъ* непосредственно до нас практически не дошли, но есть различные косвенные доказательства существования такой формы. Например, в литовском языке, наряду с формой *nõglas*, *noglùs* 'внезапный, скоропостижный (о смерти); резкий, быстрый, рьяный', есть диалектное (жемайтское) *nõgnas* примерно в тех же значениях. Мы не сомневаемся в том, что это слова славянского происхождения, попытки С. Каралюнаса объяснить их как исконные отглагольные производные [Каралюнас 1973: 27] не могут рассчитывать на всеобщее признание. Хотелось бы подчеркнуть, что из славянских языков

---

[8] К **naglъ* 'голый', возможно, примыкает кашубско-словинское *nag^{u}ulec* 'голый человек, голый ребенок', тоже с *-l-* «суффиксальным».

заимствовано не только лит. *nõglas*, относительно чего в литературе в общем нет споров, но и форма со вторым *-n-*, важная как отражение праславянской формы **nagnъ*. Нельзя, конечно, до конца исключить здесь ассимиляцию *n* — *l* > *n* — *n* на литовской почве, но кажется более естественным предполагать славянское происхождение и этого варианта, на что как будто не обращалось внимания. Показательно и то, что более новые литовские формы на *-l-*, отражающие слав. **naglъ*, распространены в диалектах южных и восточных аукштайтов, непосредственно контактирующих со славянскими языками, тогда как *nõgnas*, *nognùs* известны из жемайтских говоров на Западе Литвы, не соседивших в историческую эпоху со славянскими языками, откуда вытекает архаичность этой литовской формы с двумя *n*.

К числу косвенных доказательств реальности существования праславянского **nagnъ* 'нагой, голый' можно отнести, далее, надежные синонимичные соответствия в других индоевропейских языках, восходящие вместе со слав. **nagnъ* к и.-е. *$*n\breve{\bar{o}}g^{u}no$-s* (диалектной форме, существовавшей наряду с иным древним суффиксальным производным диалектного распространения *$*nog^{u}odho$-s*: лат. *nūdus*, готск. *naqaþs*, а также наряду с непроизводной основой с тем же значением и.-е. *$*n\breve{\bar{o}}g^{u}o$-s*: слав. **nagъ*, лит. *núogas* 'нагой, голый'). Праслав. **nagnъ* этимологически родственно др.-инд. *nagná-*, авест. *maγna-*, далее — преобразованному осет. *bæγnæg* 'голый, нагой' (специально об иранских формах см. [Абаев 1958: 247; Семереньи 1966: 217]). Еще может быть сюда же отнесено древнепрусское слово *nognan* 'кожа', собственно 'голое', причисляемое, вслед за Эндзелином, к тому же лексическому гнезду. Однако особенно выделяется ввиду семантического тождества слов и идентичного суффиксального расширения *-n-* близость праслав. **nagnъ* и его индоиранских соответствий. Эту близость следует квалифицировать как важную славянско-арийскую изоглоссу. Пизани попытался возвести слав. **nagъ* вместе с греческим и индоиранскими к индоевропейскому медиопассивному причастию настоящего времени *$*nog^{u}$ə-mno-*, при страдательном причастии прошедшего времени *$*nog^{u}$ə-to-* в латинском, германском, кельтском [Этимологический словарь 1966: 43 и след.]. Известные ему балтийские и славянские факты (слав. *nagъ*, лит. *núogas*) итальянский ученый остроумно объясняет через утрату срединного *ə* и диссимиляцию двух *n*. Но эта мысль Пизани о диссимиляции *n* — *n* > *n* — ∅ (так сказать, «диссимиляция на исчезновение») кажется типологически маловероятной; сомнения в ней усиливаются после предложенной выше этимологии *naglъ* < **nagnъ*, где представлена диссимиляция естественного вида. Надо полагать, слав. **nagъ* никогда не имело второго, суффиксального *-n-*. Таким образом, славянский обнаруживает две древние лексические формы с упомянутым корнем — **nagъ* и **nagnъ*, и путь к этому фрагменту реконструкции проложила семантика слова.

Литература

Абаев 1934 — *Абаев В. И.* Язык как идеология и язык как техника. Когда семантика перерастает в идеологию // Язык и мышление. II. Л., 1934.

Абаев 1948 — *Абаев В. И.* Понятие идеосемантики // Язык и мышление. XI. М.; Л., 1948.

Абаев 1958 — *Абаев В. И.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М.; Л., 1958.

Бенвенист 1954 — *Benveniste E.* Problèmes sémantiques de la reconstruction // Word, 1954. V. 10, № 2—3. (Linguistics today).

Бенвенист 1969 — *Benveniste E.* Le vocabulaire des institutions indoeuropéennes. I. Economie, parenté, société. Paris, 1969.

Бланар 1971 — *Бланар В.* О внутренне обусловленных семантических изменениях // ВЯ. 1971, № 1.

Бланар 1973 — *Бланар В.* Механизм изменения значения лексической единицы // Jazykovedný časopis. 1973. Ročn. XXIV.

Брюкнер 1957 — *Brückner A.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1957.

Булаховский 1954 — *Булаховский Л. А.* Введение в языкознание. Ч. II. 2-е изд. М., 1954.

Бутыленков 1972 — *Бутыленков С. М.* Опыт исследования развития семантической структуры прилагательных с инвариантным значением «храбрый» в составе синонимического ряда (на материале французского языка XI—XIII, XVI и XX вв.) / Автореф. канд. дисс. М., 1972.

Варбот 1965 — *Варбот Ж. Ж.* Заметки по славянской этимологии // Этимология. 1964. М., 1965.

Виноградов 1953 — *Виноградов В. В.* Основные типы лексических значений слова // ВЯ. 1953, № 5.

Габовштякова 1973 — *Habovštiaková K.* K otázke významu lexikálnej jednotky // Jazykovedný časopis. 1973. Ročn. XXIV.

Гжегорчикова 1970 — *Grzegorczykova R.* VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze, 1968. Akta sjezdu. 1. Praha, 1970.

Доза 1946 — *Dauzat A.* Dictionnaire étymologique de la langue française. Paris, 1946.

Исаченко 1972 — *Isačenko A. V.* Figurative meaning, derivation, and semantic features // The slavic word. Proceedings of the International colloquium at UCLA, September 11—16, 1970 / D. S. Worth, ed. The Hague; Paris, 1972.

Каралюнас 1972 — *Karaliūnas S.* Semantika ir etimologija // Leksikos tyrinėjimai (Lietuvių kalbotyros klausimai. XIII). Vilnius, 1972.

Каралюнас 1973 — *Karaliūnas S.* Iš lietuvių kalbos i̯o-kamienių veiksmažodžių istorijos // Lietuvių kalbotyros klausimai. XIV. Vilnius, 1973.

Кароляк 1973 — *Karolak S.* Transkategoryzacja a znaczenie wyrazu // VII. Międzynarodowy Kongres slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973.

Карулис 1969 — *Karulis K.* Historische Semasiologie und Etymologie // Revue roumaine de linguistique. T. XIV, № 5. Bucureşti, 1969.

Клейн 1966—1967 — *Klein E.* A comprehensive etymological dictionary of the English language. V. I—II. Amsterdam; London; New York, 1966—1967.

Курило 1928 — *Курило О.* Матеріали до української діалектології та фольклористики. Київ, 1928.
Курилович 1962а — *Курилович Е.* Понятие изоморфизма // *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962.
Курилович 1962б — *Курилович Е.* О некоторых фикциях сравнительного языкознания // ВЯ. 1962, № 1.
Курилович 1965 — *Kuryłowicz J.* On the laws of isomorphism // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zesz. XXIII. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965.
Леков 1973 — *Леков И.* Компенсацията — развоен фактор в славянските езикови системи // Славянска филология. Доклади и статии за VII Международен конгрес на славистите. Т. XII. Езикознание. София, 1973.
Лопатин 1973 — *Лопатин В. В.* Рождение слова. Неологизмы и окказиональные образования. М., 1973.
Миклошич 1875 — *Miklosich F.* Vergleichende Grammatik der slavischen Sprachen. Bd. II. Stammbildungslehre. Wien, 1875.
Общее языкознание 1970 — Общее языкознание. Формы существования, функции, история языка. М., 1970.
Ожегов 1953 — *Ожегов С. И.* Словарь русского языка. М., 1953.
Оливериус 1973 — *Oliverius Z. F.* Семантические правила порождения и интерпретации русских слов // Československé přednášky pro VII mezinárodní sjezd slavistů. Varšava, 1973. Praha. 1973.
Ондруш 1961 — *Ondruš S.* Zur Theorie der Semasiologie und Etymologie // Publicationes Instituti philologiae slavicae universitatis Debreceniensis. 1951. T. 15.
Семантика и словарь 1972 — Semantika i słownik / Praca zbiorowa pod red. A. Wierzbickiej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1972.
Семереньи 1966 — *Szemerényi O.* Iranica II // Die Sprache. 1966. T. XII.
Семереньи 1972 — *Szemerényi O.* Comparative linguistics // Current trends in linguistics / Ed. Th. Sebeok. V. 9. Linguistics in Western Europe. The Hague; Paris, 1972.
Скит 1911 — *Skeat W. W.* A concise etymological dictionary of the English language. Oxford, 1911.
Слюсарева 1973 — *Слюсарева Н. А.* Проблемы лингвистической семантики // ВЯ. 1973, № 5.
Степанова 1968 — *Степанова М. Д.* Методы синхронного анализа лексики (на материале современного немецкого языка). М., 1968.
Тедеско 1951 — *Tedesko P.* Slavic *pilьnъ* and *naglъ*: two etymologies based on meaning // Language. 1954. V. 27.
Тихонов 1971 — *Тихонов А. Н.* Проблемы составления гнездового словообразовательного словаря современного русского языка. Курс лекций. Самарканд, 1971.
Толстой 1968 — *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI МСС. Доклады сов. делегации. М., 1968.
Трубачев 1966 — *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
Урбутис 1971 — *Урбутис В.* Словообразование имен существительных в современном литовском языке / Автореф. док. дисс. Вильнюс, 1971.

4. Заказ № 2261.

Уфимцева 1968а — *Уфимцева А. А.* Слово в лексико-семантической системе языка. М., 1968.

Уфимцева 1968б — *Уфимцева А. А.* Лексикология // Теоретические проблемы советского языкознания. М., 1968.

Фасмер 1964—1973 — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964—1973.

Фодор 1973 — *Фодор Е.* Словообразование и семантика. К вопросу о внутренней валентности слова: на материале восточнославянских языков. Bucureşti, 1973 (Доклады и сообщения, представленные на МСС. Варшава, 21—27 авг. 1973 г.).

Френкель 1962 — *Fraenkel E.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg, 1962.

Ценковски 1973 — *Cienkowski W.* Stopnie motywacji (metodologia i terminologia leksykologiczna) // Poradnik językowy. 1973, № 5—6.

Шмелев 1973 — *Шмелев Д. Н.* Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973.

Щур 1973 — *Sčur G. S.* Die Typen semantischer Merkmale ei der Analyse der Lexik // Neuphilologische Mitteilungen. Bulletin de la Société néophilologique. LXXIV. Helsinki, 1973.

Эрну, Мейе 1951 — *Ernout A.*, *Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine / 3-ème éd. T. I. Paris, 1951.

Этимологический словарь 1966 — Etymologický slovník slovanských jazyků. Ukázkové číslo / Red. E. Havlová. Brno, 1966.

ЭТИМОЛОГИЯ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Под этимологией понимается раскрытие первоначального значения и первоначальных связей слова. Хотя этимология представляет собой специальную науку, она касается отнюдь не одних только специалистов. Не будет преувеличением, если мы скажем, что ее значение выходит далеко за рамки обширной науки языкознания. Недавно один ученый высказал по этому поводу такое суждение: «Единственные лингвистические проблемы, к которым проявляет интерес широкая публика в Европе (а американская публика питает еще меньший интерес к лингвистике), — это правильность речи… и этимология».

Человек — носитель языка может не обнаруживать интереса ко многим важным научным проблемам языкознания, может даже не подозревать об их существовании, но трудно допустить, чтобы он хотя бы раз в жизни не задумался над происхождением тех или иных слов родного языка. Это говорит о широком распространении этимологических интересов. Одно из проявлений таких интересов — многочисленные письма с вопросами об этимологии того или иного слова, поступающие в Институт русского языка АН СССР. То, что широким культурным слоям нашего общества интересны конкретные результаты этимологических исследований, налагает на научных работников большую ответственность.

Этимология русского языка — родного языка для значительной части населения нашей страны, языка межнационального общения народов Советского Союза — представляет собой часть более обширного целого — славянской этимологии. Как и всякая другая наука, славянская этимология имеет свои определенные достижения, к которым относится все, что накоплено в этой области мировой наукой, учеными нашей страны, других славянских и неславянских стран за длительное время. Ввиду ограниченности места, я оста-

новлюсь здесь только на некоторых результатах исследований по славянской этимологии, полученных главным образом в Академии наук СССР в течение последних лет. При этом мне хотелось бы выделить такой аспект проблемы, как этимология и история культуры.

Остановлюсь для начала на той части этимологии — топонимии и гидронимии, которая изучает названия населенных мест, рек, озер и т. п. на землях, ныне занимаемых славянскими народами, и содействует изучению этногенеза славянских народов. Можно констатировать наличие у нас систематических успешных разработок на этом направлении науки.

Проведено обследование названий рек Днепровского бассейна и некоторых примыкающих территорий. Этимология названий рек свидетельствует, что все Верхнее Поднепровье и примыкающие районы бассейна Оки были в дославянский период освоены древними балтийскими племенами (родичами современных литовцев и латышей). Юго-восточные границы этого древнего балтийского ареала при внимательном изучении оказались одновременно северными границами древнего распространения ираноязычных племен (скифов, сарматов). Иранское происхождение обнаруживают названия рек *Хоропуть*, *Эсмань*, *Апажа* и др., балтийское — *Обиста*, *Клевень*, *Куберь* и ряд других. Особенно яркий пример межъязыкового взаимодействия представляют собой названия реки *Ропша*, она же *Лисичка*, и ее притока по имени *Лопанка*: сравните, соответственно, источники этих имен в скиф. *raupasa*, слав., рус. *лисица*, лит. *lapė* — все со значением 'лисица'. Эти названия калькируют, т. е. переводят друг друга. Анализ не одного изолированного названия, а целого ряда названий дает возможность говорить о древних балто-иранских языковых контактах, точно локализуемых по реке Сейм.

Напомню, что возможность непосредственного общения соответствующих языковых групп до недавнего времени отвергалась индоевропейским языкознанием. Обоснованный утвердительный ответ на вопрос о реальности контактов между ними, полученный нашей наукой, был положительно оценен в международной научной литературе. Названный тезис поддержали, помимо лингвистов, археологи. С того момента, когда археолог указал, что балто-иранский языковой контакт, обнаруженный в гидронимии Среднеднепровского Левобережья, находит подтверждение в факте общения между юхновской культурой и скифскими лесостепными культурами, мы можем говорить уже не только о языковых, но и об этнических балто-иранских контактах, к которым постепенно подключались расселявшиеся славяне.

Более древние районы расселения славян к югу от Припяти также оказались далеко не однородными. Этимологизация старых речных названий дала карту, которая показывает, как зоны разных этнических следов расчерчивают в различных направлениях эту территорию, нередко определяемую учеными

как территория прародины славян. В междуречье Днестра и Припяти были выявлены следы древнего пребывания других индоевропейских этносов, причем на Верхнем Днестре и Горыни есть названия, соответствия которым мы встречаем в западной части Балканского полуострова, тогда как на Южном Буге и Среднем Днепре есть названия восточнобалканского типа. Ср. *Duklja* — в горах Черногории (антич. Δόκλεα у Птолемея) и *Bužanin* (антич. *Bulsinius*) — гора в адриатической Иллирии, с одной стороны, и с другой — этимологически тождественную им пару названий в Прикарпатье: *Дукля* — перевал и *Белз* — один из древних червенских городов. Оба названия нельзя объяснить, исходя из славянского. В свою очередь, на Южном Буге мы находим название реки *Ятрань* с близким соответствием *Янтра* на болгарской территории (антич. *Atrus*). Примеры могли бы быть умножены. С этими данными перекликаются данные археологии о том, что значительная часть Поднестровья в культурном отношении представляет собой восточную периферию Карпато-Дунайского района, а Южный Буг и Среднеднепровское Правобережье когда-то вместе с восточной частью Балканского полуострова входили в единый ареал Трипольской культуры [1].

Таким образом, подтверждается важность проведения дальнейших работ по этимологическому изучению старых названий мест и вод на территориях раннего расселения славян. Этих работ ждут также те археологи, которые имеют дело с материально конкретными, но немыми в языковом и этническом отношении древностями.

Но основным объектом наших этимологических исследований служит, естественно, не ономастика, а нарицательная лексика, необозримое словарное богатство живых, а также вымерших славянских языков.

Словарный состав славянских языков таит в себе немало ценных материалов, научное истолкование которых необходимо для правильного понимания истории культуры славян. Давно стало очевидным также и то, что без широкого этимологического осмысления славянского словарного состава будет неполным и односторонним наше представление об эволюции культуры всей большой семьи индоевропейских народов, т. е. славян, германцев, балтов, индоиранцев и т. д. В славянских языках сохраняются следы дославянских культурных пережитков. При этом показательны не только дошедшие до нас слова, термины, но иногда даже само отсутствие того или иного термина, случаи, когда сохраняется и воспроизводится лишь отношение между

---

[1] См.: *О. Н. Трубачев*. Названия рек Правобережной Украины. М., 1968; *В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев*. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962.

терминами, сами же они бывают замещены новыми словами, и, наконец, все то, что можно охватить понятием типологии в словаре. Наиболее плодотворно изучение этимологии целых групп лексики.

В секторе этимологии и ономастики Института русского языка АН СССР были исследованы славянские термины родства и общественной организации, названия домашних животных, термины основных ремесленных производств, названия съедобных дикорастущих растений и некоторые другие совокупности слов.

Заметим, что современный подход к решению проблем этимологии и образования тематической группы слов существенно отличается от того, какой был, например, в XIX в., когда объединение лексического материала в одной книге уживалось с изолированным рассмотрением истории отдельных слов. В проведенных у нас работах четко ставилась задача групповой реконструкции, преимущественной сочетаемости (селективной связи) всех элементов (слов и их словообразовательных компонентов), выявления типичных семантических моделей и их воспроизводства.

Наверное, не только для этимологов и лингвистов представит интерес положение о недостаточности терминологии — об архаизирующей сущности любой традиционной терминологии, например народных терминов прядения и ткачества[2]. Я имею в виду под этим способность такой терминологии обходиться какое-то время старым инвентарем терминов даже тогда, когда уже появились новые реалии, еще не имеющие специальных названий. Язык имеет тенденцию в конечном счете приходить в соответствие с культурным прогрессом, но осуществляется это с неизбежным запозданием, а сам способ достижения такого соответствия обычно обнаруживает себя, что дает в руки исследователя дополнительный материал для реконструкций как этимологических, так и историко-культурных. Например, названия веретена, прялки, берда, челнока, мотовила либо вторичны, либо восходят к названию простой палки, а это приводит к реконструкции предшествующей «эпохи без орудий».

Если перед нами группа слов со старой четкой внутренней организацией, то возможности того, что можно назвать внутренней реконструкцией (выявление инноваций и архаизмов, исходя из разных современных состояний объекта), действительно большие. Например, этимологизация и реконструкция древнего состава терминов родства у славянских народов приводит к восстановлению небольшого числа примитивных обозначений родственных отношений, без четких указаний на род и какое-либо превосходство мужского начала[3].

---

[2] См.: *О. Н. Трубачев*. Ремесленная терминология в славянских языках. М., 1966.

[3] См.: *О. Н. Трубачев*. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959.

Монографическое этимологическое исследование древних славянских названий домашних животных привело к мысли, что вначале приручение животных не всегда мотивировалось их чисто утилитарной ролью. Например, молочное направление в разведении крупного рогатого скота отнюдь не было древним, и это видно из истории лексики[4]. Праиндоевропейцы знали крупный рогатый скот и название для него (**gu̯ou-*), но не знали названия для молока и, по-видимому, не употребляли его в пищу. Специальный термин для обозначения дойного животного ('корова') вторичен: слав. **korva*, *корова* этимологизируется как 'рогатая', а не как 'дойная'.

Еще один пример. Историк культуры делит Европу на зоны, где грибы издревле употребляются в пищу, и зоны, где грибов не едят. При этом к микофобам относят германцев, а в микофилы попадают окружающие германцев с двух сторон романские народы и славяне. Казалось бы, в плане ареальной типологии (инновации идут из центра, а архаизмы дольше сохраняет периферия) славяне должны изначально любить грибы. Но этимология, установив молодость образования большинства названий грибов у славян, пришла к выводу об относительно поздней популярности грибов среди славянских народов.

Так мы подходим к постановке вопроса об автономности лингвистических, этимологических свидетельств. Только построенное с учетом его внутренней специфики этимологическое исследование может оказать действительную пользу и археологу, и историку культуры. «Неожиданные», с точки зрения этих специалистов, выводы такого этимологического исследования представляют гораздо большую ценность, чем, например, приискивание лингвистических данных с откровенной целью подкрепить уже готовые концепции по археологии, этнографии, истории культуры.

История культуры, как известно, охватывает материальную и духовную культуру. Если материальная культура древности дошла до нас и доступна археологам в виде материальных реалий, предметов, которые «тленья убежав» сохранились до наших дней в ископаемых культурных слоях земли, то что остается от древней духовной культуры? Есть, конечно, культурная типология, которая различает в современной народной культуре архаические обычаи, есть сравнительно-историческое изучение древних верований, но этого недостаточно. И тут на помощь приходит этимологическое изучение языка, лексика которого может очень стойко сохранять петрификаты древних концепций, образов (и не только религиозных).

История табуистических названий (т. е. основанных на ритуальных запретах каких-то других нежелательных названий) выявила уже немало фак-

[4] См.: *О. Н. Трубачев*. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960.

тов древнего запрета в лексике. Кое-что сделано для исследования следов древнего язычества в славянской лексике. Один пример может быть назван как любопытный по простоте этимологизации и небезынтересный методологически, поскольку он включает элементы внутренней реконструкции.

Глагол *петь* обнаруживает себя этимологически как слово с древним значением 'совершать жертвенные возлияния, взывая к божеству'. Обратите внимание на общность форм 1 лица ед. ч.: *пою* I — 'произвожу звуки пения' и *пою* II — 'даю пить'. Нейтрализация противопоставления между глаголами *петь* и *поить* в данном случае говорит о единстве их происхождения. Яркое подтверждение закономерности описанного развития значения мы наблюдаем на примере древней индоевропейской основы **ĝheu*, которая выступает, с одной стороны, в греч. χέω 'лью', в др.-инд. *juhóti* 'лить масло в огонь, приносить жертву', а с другой стороны, в др.-инд. *hávate* 'призывать, обращаться' и в рус. *звать*.

К широким славистическим и культурно-историческим задачам славянской этимологии относится такая по сути специальная задача, как выяснение состава праславянского словаря, т. е. лексики языка древних славянских племен. Эта задача решается в ходе работы над «Этимологическим словарем славянских языков», выпускаемым научным коллективом в Институте русского языка АН СССР под редакцией автора этих строк (в 1974—1980 гг. вышло 7 выпусков).

Следует вспомнить, что еще сравнительно недавно монополией на создание общеславянских этимологических словарей обладала зарубежная, и в первую очередь немецкая, наука. Этимологический словарь славянских языков Ф. Миклошича, неоконченный славянский этимологический словарь Э. Бернекера, остановившийся в са́мом начале своего издания сравнительный словарь славянских языков Л. Садник и Ф. Айцетмюллера. Первые два из названных словарей, несмотря на их выдающееся научное значение, устарели; последний словарь, выходивший в ФРГ, имеет едва ли приемлемую для нас теоретическую концепцию. К этому надо добавить, что сходную проблематику разрабатывают в последние десятилетия в Чехословакии и в Польше, но теоретическая концепция и специфические задачи составляемых там словарей не соответствуют тем представлениям, которые были выработаны в этой области у нас. Этим я хотел бы подчеркнуть, что идея создания первого в нашей стране этимологического словаря славянских языков родилась у нас в Академии наук не из чисто внешнего стремления перехватить инициативу, а оформилась на основе того интенсивного развития, которого достигли советская славистика и лингвистика за сравнительно короткое время. Мы считаем нашу работу над «Этимологическим словарем славянских языков» важнейшим научным обязательством международного значения.

Работы над названной темой сопряжены с необходимостью решения целого комплекса конкретных и общих задач по реконструкции в области древней лексики и ее этимологического осмысления, в области реконструкции древней культуры. Эта работа дала и продолжает давать материал для новых уточнений в широкой картине языка и культуры древнего славянства. Подводить итоги проведенным исследованиям мне сейчас затруднительно ввиду весьма специального характера самого материала и процедуры его обработки. Назову лишь несколько очевидных примеров.

Славянское название растения **žimolztь*, **žimъlza* 'жимолость' содержит индоевропейское название козы **gheid* (ср. лат. *haedus*) и этимологически означает 'козлячье горлышко', что соответствует внешней форме распускающегося цветка самого растения жимолости.

Другой пример демонстрирует неизвестную дотоле связь одного редкого славянского культурно-хозяйственного термина с соответствующим словом латинского языка. Я имею в виду установленное родство кашубско-словинского *dvjīgə* 'ярмо для двух волов' из праслав. **dъv-igo*, буквально 'два ига' и лат. *bīgae* 'двойная упряжка', тоже из близкого **du-igai*.

Интересным в собственно этимологическом и культурно-историческом значении может быть сочтено и объяснение древнезападнорусского (старобелорусского, староукраинского) слова *зерема* 'колония бобров' из праслав. **zerd-men* 'огороженное'.

При работе над названным словарем возникли многочисленные уточнения, поправки и дополнения к этимологизации славянской лексики. Многое из этих конкретных результатов исследования легло в основу ряда специальных публикаций, статей и книг.

Постоянным печатным органом специалистов по этимологии, работающих, кстати, не только в Москве, но и в Киеве, Минске и других городах, стал ежегодник «Этимология» (выходит с 1963 г.).

Проводившийся в 1967 г. в Институте русского языка АН СССР первый международный симпозиум, посвященный проблемам славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии, деятельно обсуждал актуальные вопросы нашей науки. Определившееся направление работ и крепнущий международный научный обмен (московский симпозиум открыл ряд последующих встреч — в Лейпциге 1972 и 1977 гг.) позволяют надеяться на успешное решение стоящих перед этимологией задач.

В заключение я хотел бы вернуться к проблеме этимологии и истории культуры. В свое время Н. С. Трубецкой, один из крупнейших русских лингвистов первой трети XX в., сказал слова, полемически направленные против

старой, классической немецкой индоевропеистики и науки об индоевропейских древностях: «Понятие “индоевропейцы” является чисто лингвистическим — в такой же мере, как понятия “синтаксис”, “родительный падеж” или “ударение”» [5].

Едва ли будет правильно сейчас считать, например, праславян или даже праиндоевропейцев чисто лингвистическим понятием. Одного «лингвистического понятия» о праславянах и праиндоевропейцах недостаточно там, где можно плодотворно объединить усилия разных смежных наук. Это заставляет нас определить этимологию как часть комплекса наук, изучающих историю культуры.

Этимология пользуется историческим методом, и надо развивать и полнее использовать возможности этого метода, укреплять положительное взаимовлияние этимологии и других отраслей исторического языкознания, в конечном счете обеспечивающего наиболее полное проникновение в природу и формирование языка.

[5] *Н. С. Трубецкой*. Мысли об индоевропейской проблеме // ВЯ. 1958, № 1. С. 65.

РЕКОНСТРУКЦИЯ СЛОВ И ИХ ЗНАЧЕНИЙ*

Практически с самого момента провозглашения примата синхронии над диахронией наметилась и антитеза между исчезающе малым объемом понятия синхронии и всеобъемлющим характером диахронии. Строгий принцип единого среза, одномоментности в синхронии никогда не выдерживался да и не мог быть выдержан, чем объясняется вынужденная необходимость условно принимать за синхронное состояние отрезок времени некоторой протяженности, с чем неизбежно связано упрощение действительности [1]. Например, по мнению Ж. Ре-Дебов, основанному на наблюдаемой смене биологических и социолингвистических поколений, «чистая синхрония соответствует 60 годам языковой истории» [2]. В этом можно усмотреть petitio principii, но важно другое. Если действительность так властно диктует моделирование синхронных и диахронических схем по образу периодов развития («...une diachronie très courte, considérée comme une synchronie pratique...»), то это означает возможность и даже необходимость в синхронии, описании более широкого применения методов и достижений диахронии, истории. Однако на практике дело обстоит иначе. Использование диахронических методов в синхронии сковывалось и тормозилось упомянутой идеей примата синхронии и

---

* В основу этой статьи лег доклад на IV заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов [Либлице (ЧССР), май 1979 г.], посвященном проблемам значения слова. Обмен мнениями по наиболее острым вопросам лексической семантики, имевший там место, показалось целесообразным в интересах дела отразить в настоящей статье.

[1] *Ф. де Соссюр*. Курс общей лингвистики // *Ф. де Соссюр*. Труды по языкознанию. М., 1977. С. 134.

[2] *J. Rey-Debove*. Etude linguistique et sémiotique des dictionnaires français contemporains. The Hague; Paris, 1971. S. 98.

декларацией пропасти между синхронией и диахронией, хотя сама языковая реальность нас учит другому и убеждает в необходимости преодолевать инерцию теории.

Из всей обширной проблематики нас интересует здесь аспект слова и его значения, а также наиболее глубокого понимания этого значения, т. е. лексикологический и лексикографический аспекты проблемы. Продолжая приведенную выше критику примата синхронии над диахронией (историей), я считаю уместным напомнить уже высказывавшуюся ранее мысль о том, что (1) «все словари — исторические в той или иной мере ⟨...⟩ абсолютно только понятие исторического словаря»[3]. Равным образом (2) углубленное понимание современного значения слова есть тем самым его реконструкция. Какие-то стороны значения слова активны, какие-то, наоборот, пассивны, латентны, приглушены, но они есть и могут проявляться при употреблении слова. Связь активных и латентных сторон значения несомненна, концепция целостности значения слова едва ли подлежит спору (ср. ниже), описание одних сторон и игнорирование других — едва ли лучший способ познания, и в этом элементарно намечается взаимодействие методов синхронии и диахронии в исследовании значений слов.

Реконструкция, на которой строится компаративистика, была всегда реконструкцией форм. Реконструкция была предметом интересов и сомнений для всех, кто думал о недоступном прошлом и видел в реконструкции либо исключительно формулу соответствия, как А. Мейе, либо реальные формы языка и цель всякого сравнения, как Ф. де Соссюр[4].

Однако, чтобы быть действительно реальной, реконструкция полнозначных элементов языка должна быть также реконструкцией значения. Вместе с

---

[3] *О. Н. Трубачев.* Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII МСС. Доклады сов. делегации. М., 1973. С. 294.

[4] О воззрениях «формалистов» и «реалистов» на реконструкцию и целом круге проблем см. специальный итальянский сборник, который говорит об остром теоретическом интересе последних лет именно к реконструкции, а вместе с ней — к проблемам диахронической лингвистики, сравнительного языкознания (Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del convegno internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 1975 / a cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma. 1977. В этом сборнике нет, однако, ни одного доклада по семантической реконструкции). Ср., далее, тезисы докладов конференции «Проблемы реконструкции» (М., 23—25 октября 1978 г.) (насколько можно судить, вопрос о семантической реконструкции на конференции не ставился), наконец — специальную новую монографию Г. Бирнбаума [*H. Birnbaum.* Linguistic reconstruction: its potentials and limitations in new perspective. Washington [б. г.] (= Journal of Indo-European studies, monograph №2)]. В этой небольшой реферативной работе есть специальный раздел «Semantic reconstruction» (с. 41), в котором прогресс в семантической реконструкции связывается с успехами этимологических исследований.

тем мы должны констатировать, что реконструкция лексических значений решительно отстает в своей методике. Ее роль пассивна и вспомогательна, о ней вспоминают, когда что-то «не так». Ср. обращение к семантическому критерию в известных принципах этимологического исследования О. Семереньи, точнее, только в одном из этих принципов: «В. Если этимон вызывает предположение о необычном семантическом развитии, исследователь должен заново проверить этимологию с фонологической точки зрения»[5].

Как это ни странно, реконструкция древнего слова отнюдь не часто оказывается единой адекватной реконструкцией формы и значения. А поскольку слово — это обязательное единство формы и значения, мы приходим к обескураживающему выводу, что реконструкция слова — акт не только сложный, но и редкий. Не случайно поэтому реконструкция теснее связывается по-прежнему не с лексикологией, а с грамматикой (фонетика, морфология, словообразование, синтаксис), которой принадлежит бóльшая часть рекомендаций и правил, связанных с реконструкцией.

Из этого парадоксального положения вырастают другие недостатки. Взаимосвязь значения и формы в практике сравнения и этимологии не оставляла сомнений ни у кого, но понималась весьма своеобразно. Примером слишком буквального и чересчур жесткого истолкования этой связи может служить статическая концепция семантики родственных слов в трудах В. Махека: родственными признаются слова, пусть даже весьма далекие формально, но с тем же самым значением[6]. Таким образом, присущие этой этимологической школе очень широкие допущения формальных отклонений как бы компенсируются своеобразным семантическим ригоризмом, в чем можно признать внутреннюю логику с позиций данного метода, но трудно признать адекватность фактам языка. Все же это свидетельствует о поисках надежных опорных пунктов в семантике. Но в еще большей степени свидетельствует это о том, что в семантике еще элементарно не выработано понятие исторического (диахронического) тождества. Одного этого достаточно, чтобы понять, какая пропасть разделяет детально разработанную фонетику и семантику как она есть. Важность оперирования историческим тождеством в фонетике и этимологии понята давно, и тем заложена основа точной науки исторической фонетики, а также всего действительно точного в этимологии. В семантике же мы по-прежнему, говоря фигу-

---

[5] *О. Семереньи.* Славянская этимология на индоевропейском фоне // ВЯ. 1967, № 4. С. 12; *O. Szemerényi.* Principles of etymological research in the Indo-European languages // II. Fachtagung fur indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 1962.

[6] См. второе, посмертное издание: *V. Machek.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971 (Úvodní slovo. S. 11).

рально, подвизаемся в своих суждениях часто на уровне тождеств *habere* и *haben*, т. е. тождеств мнимых. В конце концов типология (т. е. общее правдоподобие, probabilité) развития есть не что иное, как правильная идентификация диахронических тождеств. Именно типология семантического развития определяет реконструкцию значений слов.

Разумеется, мыслительный фон автономен в отношении звуковой формы слова, но вместе с тем он связан с ней множеством нитей. Эволюция значений не может не выражаться через эволюцию форм слов [7], тем самым — реконструкция значений тесно связана с реконструкцией форм, она во многом как бы читается через реконструкцию формы. Примером могут служить названия месяца: др.-инд. *mās-*, авест. *må*, род. п. *måŋhō*, греч. ион. μείς (*με̄νς), аттич. μήν, лат. *mēnsis*, лит. *mĕnuo*, *mĕnesis*, арм. *amis*, род. п. *amsoy*, алб. *muai*, ирл. *mī*, готск. *mēna*, слав. **mĕsęcь* (**mēsen-* < **mēnes-*), на основании которых реконструировалась праформа и.-е. **mēns-* или, скорее, **mēnes-*, обозначавшая луну, небесное тело, а также отрезок времени — месяц. Временнóе значение, хотя и охватывает различные индоевропейские языки и бесспорно восходит к праиндоевропейской древности, все же должно быть признано вторичным отражением удивительных свойств луны — ее способности со строгой периодичностью во времени убывать и нарастать. Следовательно, значение 'месяц, период времени, за который луна нарождается и вырастает до полнолуния', вторично и получено из значения 'месяц, луна'. Но и это древнее значение и.-е. **mēnes-* неизначально, оно является скорее сложным, чем простым (ср. далее еще о «сложных» и «простых» значениях слов). Как же образовалось значение 'луна' у и.-е. **menes-?* Если опустить здесь некоторые менее интересные гипотезы, остаются две этимологии: одна из них (Я. Розвадовского) реконструирует первоначальное значение и.-е. **mēnes-* как 'eius qui mutatur, изменяющаяся', что встречает, однако, формальное препятствие, поскольку соответствующий глагол «менять(ся)» имел дифтонгическую огласовку **moi̯-*, **moi̯-n-*, в отличие от названия луны, месяца; есть и семантическое препятствие, потому что названная глагольная основа преимущественно применялась к человеческим отношениям, обмену, торговле и на луну, небесное тело, вряд ли распространялась. Поэтому преобладает другая этимология — **mēnes-* от **mē-* 'мерить', которая, кажется, имеет в свою пользу и формальные, и реальные моменты [8]. Однако и эта эти-

---

[7] И. Немец, выступая в дискуссии на заседании в Либлице, справедливо указывал, что лексическое значение проявляется и со стороны формы слова.

[8] См.: *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg, 1924. S. 51; *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. II. М., 1967. С. 609, с дальнейшей литературой.

мология и семантическая реконструкция оказывается чисто умозрительной. Реконструируемое значение («мера?», «мерило?») кажется с самого начала ненатуральным и единственным в своем роде, даже для такого светила, как луна. Типологическая уникальность в плане семантики усугубляется сомнениями в плане формальной реконструкции: этимологизация от *$m\bar{e}$-* ‘мерить’ объясняет лишь часть слова **men-*, в то время как другая часть (*-es-*) не получает объяснения, а между прочим, она неизменно наличествует и должна быть объяснена. Ее принадлежность к флексии сомнительна, вероятнее всего, это суффикс, определенным образом модифицирующий форму и значение корня. Так возникает гипотеза об этимологическом родстве и.-е. **mēnes-* ‘месяц, луна’ и компаратива **men(i̯)os-* ‘меньше, меньший’, ср. ст.-слав. мьнє (**mьn’es-*), лат. *minor*, *minus*, греч. μείων, μεῖον. Конечно, между формами остаются различия, нуждающиеся в объяснении, но их присутствие естественно, учитывая давность функциональной дифференциации и необходимость ее формального выражения (продление корневого гласного, отклоняющийся состав суффикса, ср., впрочем, литовский компаративный суффикс *-es-nis* наряду с йотовым вариантом *-i̯os-* в других индоевропейских языках). Проявляются, однако, и выгоды нового объяснения: так, впервые стало возможным предположить контекстную связь и прочесть словосочетание **mēnes- louksnā* как последовательность значений ‘меньшая луна’ [9]; при традиционной этимологии нельзя было говорить о контексте и приходилось довольствоваться реконструкцией изолированных семем ‘мера, мерить’ и ‘луна’. Существование, далее, таких обозначений (полу)месяца, как франц. *croissant*, собств. ‘растущий’, иначе говоря, oppositum понятию ‘меньший, уменьшающийся’ (луна то нарастает, то уменьшается), вселяет в нас уверенность в правильности избранной интерпретации, над которой размышлял задолго до нас Сократ:

---

[9] И. Немец, участвовавший в обсуждении предложенной мной этимологии **mēnes-*, отозвался о ней положительно («strukturní příklad»), но вместе с тем высказал соображение, что, принимая во внимание этимологическое значение слова **louksnā* ‘светило’, все словосочетание можно понять как ‘меньшее светило’ (по сравнению с солнцем). Однако наиболее вероятным кажется, что мотивом такого называния послужили фазовость, уменьшение самой луны, т. е. структурное противопоставление, если угодно, мыслилось не между солнцем и луной как меньшим светилом (?), а луной и меньшей луной. Умирание как атрибут месяца-луны интересно отразилось в традиционной образности плача жены по мертвому мужу, которого безутешная вдова называет именно месяцем. Ср. один довольно ранний пример (1389 г.): **Видѣвши же княгини его мертва на постели лежаща, и въсплакася горкымъ гласомъ: ...мѣсяць мои красныи, рано погибаеши.** Воскр. лет. VIII, 57 (Картотека ДРС, Институт русского языка АН СССР). На это употребление обратила мое внимание Г. А. Богатова.

«Месяц (μείς) мог бы от уменьшаемости (μειοῦσθαι) правильно быть назван μείης» (Платон. Кратил).

Таким образом, изменение значений во времени — факт бесспорный, и семантическая реконструкция остается актуальной задачей. Преобладающая зыбкость представлений, связанных с семантикой, и существующие опыты перенесения структурного анализа из синхронии в диахронию наводят на мысль о возможности внедрения более строгих системно-структурных критериев также в методику семантической реконструкции. Ставится, таким образом, вопрос о структурации диахронической семантики и границах ее применения. Э. Бенвенист в своей работе «Семантические проблемы реконструкции» (1954 г.; русское издание — 1974 г.) дал хорошие образцы оперирования противопоставлением вариантов значения, их нейтрализацией, семантизацией одного из вариантов, т. е. превращением его в семему, самостоятельное значение. Все это так, но из правильных констатаций делаются иногда ложные выводы. Трактовка лексического значения как семемы условно ставит значение — семему в ряд так называемых эмических терминов и представлений современной лингвистики: фонема, морфема, лексема. Этот ряд моделируется прежде всего по образу и подобию фонемы, что неизбежно ведет к натяжкам.

Начнем с того, что наличие дифференциальных признаков, характерное для фонемы, не подтверждается даже для такой близкой эмической единицы формального уровня, как морфема. Тем не менее мы наблюдаем, как часто в последнее время предпринимаются механические попытки перенести все фонологические представления в область семантики, где ведутся при этом поиски дифференциальных признаков, или сем, у семемы. Эффективность и оправданность таких попыток вызывает у нас серьезные сомнения. Самобытность уровня лексической семантики остается при этом непонятой. Эта самобытность семантики состоит в том, что семема (лексическое значение) сохраняет всегда свое единство и неделимость; точно так же и вариант семемы, т. е. потенциальная семема. В лучших исследованиях по диахронической семантике, действительно вскрывающих семантическую эволюцию и дающих реконструкцию значения, мы видим именно такую целостную концепцию семемы. Противоположные понимания в литературе (семема как пучок ДП) мы относим за счет негативного давления сходной терминологии. Вообще структурация значения по семантическим дифференциальным признакам — большая иллюзия нашего времени, и исследования по диахронической семантике и реконструкции значений ее не подтверждают [10]. Думается, что именно исследования по исторической семантике играют в этом

[10] Ср. на эту тему отчасти уже: *О. Н. Трубачев*. Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

вопросе решающую диагностическую роль, поскольку синхронный анализ семантики по фонологическому образцу меньше подходит для вскрытия недостатков метода, и лишь история значения, реконструкция древнего значения слова учит нас считаться с эволюцией значения как единого целого, а не как суммы сем или дифференциальных признаков. Значение слова — это органически цельный блок. В конце концов, сегментация значения на отдельные компоненты, или признаки, в синхронном плане и в целях какого-нибудь специального, скажем, учебного эксперимента — вещь допустимая, хоть и малоэффективная в диагностическом плане. Любая такая сегментация окажется или грубой или внеязыковой (описывающей не столько лексическое значение, сколько соотнесенную с ним реальность), но прежде всего — неполной, потому что всегда есть риск оставить вне поля зрения некий суперсегментный остаток[11], который как раз и есть суть значения. Так — в синхронии. Что же касается диахронии и особенно реконструкции, то они вскрывают недостатки названного метода более сурово, демонстрируя неактуальность семантического компонентного анализа. Складывается впечатление, что главное внимание исследователя должно быть направлено на значение как целое, а в диахронии — на постепенность, «градуальность» изменения всего значения[12]. Например, между ре-

[11] Весьма симптоматично поэтому, в наших глазах, выступление на упомянутом заседании Комиссии чехословацкой лингвистки В. Будовичовой, говорившей о важности понятия остаточного значения, не поддающегося формализации. Вполне справедливо высказывалась она о нерешенности структурно-семантических проблем слова. В целом, по мнению В. Будовичовой, компонентный анализ не добился значительных результатов ни в варианте структурной семантики Греймаса, ни в генеративном варианте. Столь же здраво судит В. Будовичова о произвольности выделения семантических ДП (в зависимости от остроумия автора). Попыткам некоторых исследователей обосновать внеязыковой критерий сегментации значения слова как отражение языком внеязыковой действительности В. Будовичова, как нам кажется, очень удачно противопоставила концепцию асимметрии отношений языкового и внеязыкового планов (мы бы сказали — сложности или непрямолинейности языкового отражения действительности, в чем, собственно, и проявляется самобытность языка). На необходимость отличать внеязыковую действительность и действительность языковую сочли нужным обратить внимание и другие участники дискуссии в Либлице (например X. Шустер-Шевц, Лейпциг). Вообще идея изоморфизма, кардинальная для семантического компонентного анализа и его сторонников (Й. Филипец, Прага, — автор вступительного доклада и активный участник дискуссии), встретила на заседании критику и весьма вескую оппозицию в перспективной концепции асимметрии отношений между различными уровнями языка.

[12] О понятии постепенности изменения, правда, на фонетическом материале см.: *S. Scalise*. Gradualità versus non gradualità nel mutamento fonetico // Problemi della ricostruzione in linguistica… S. 59 и след.

конструируемым праславянским словом и значением **ploxъ* (вариант к **ploskъ*) 'плоский' (ср. чеш. *plochý* 'плоский'), с одной стороны, и рус. *плохой* 'нехороший, негативный, отрицательный, вызывающий осуждение' — с другой стороны, вытягивается целая цепочка градусов, или шагов, изменяющегося значения: 'плоский, ровный, открытый, незащищенный, плохо, без присмотра лежащий, плохой'. В пословицах Симони (XVIII в.) обнаруживается пример, фиксирующий промежуточный градус этой диахронической семантической шкалы: «Не там вор берет, где много, а там, где плохо» (т. е. «открыто, не заперто, без присмотра»). Современный вариант той же пословицы — «Вор берет, где плохо лежит» — есть лишь корректура речи под давлением вторично изменившегося значения слова.

Критикуя семантический компонентный анализ, мы критикуем его научный результат, а не похвальное стремление объективизировать «неуловимое значение слова». В сущности, раздельная трактовка, или сегментация значения, задолго до опытов компонентного анализа осуществлялась в практической лексикографии с той разницей, что в последней речь идет не о семах или семантических дифференциальных признаках, а о «значении 1, 2, 3...». И тому и другому противостоит единое значение единого слова в реальном языке, или, точнее, то, что можно назвать, используя в описательной семантике опыт истории культуры и сравнительно-исторического языкознания, синкретичным значением слова [13]. Условность лексикографической трактовки «значение 1-е», «значение 2-е», «значение 3-е» в связи со сказанным выше состоит в том, что, описывая таким образом значение слова, мы не можем быть вполне уверены, что при этом не пропущены какие-то промежуточные фрагменты значения между выделенными «1-м» и «2-м», «2-м» и «3-м». В. Бланар (Братислава) одобрительно откликнулся во время дискуссии в Либлице на идею опускаемых промежуточных значений и предложил «то, что между 1-м и 2-м значениями», называть лексическими вариантами. Однако думается, что, множа рубрики (и терминологию, о чем также ниже), мы лишь удаляемся от понимания ц е л о с т н о с т и з н а ч е н и я, которое, в конечном счете, остается главным. Делимость значения не доказана. Возникает вопрос, оправдан ли методологически анализ значения, опирающийся на проблематичную и недоказанную процедуру — сегментацию.

Сегментацию значения, которую дает практическая лексикография, мы принимаем cum grano salis, стараясь не забывать о некотором возникающем упрощении. Однако тенденция превратить рабочую процедуру в общую тео-

---

[13] И. Немец при обсуждении доклада назвал это «диффузностью значения», вслед за Д. Н. Шмелевым. См.: *Д. Н. Шмелев*. Проблемы семантического анализа лексики (на материале русского языка). М., 1973. С. 76—77 и след.

рию вызывает серьезные возражения. Не повторяя их полностью, остановлюсь на отдельных моментах. Можно сказать, что смутная неудовлетворенность теорией семантического компонентного анализа растет как бы и изнутри, находя различные выходы. В частности, мне кажется, что понятие семантического инварианта, будучи нечетким и противоречивым, есть не что иное, как проявление своеобразной ностальгии по единому, целостному значению слова, которое декларативно признается всеми, но нередко подменяется суммой семантических ДП. Имея постоянно дело и на практике и в теории с меняющимся значением слов, я все больше убеждаюсь, что 'семантический инвариант' — это пример давления терминологии на почве теории межуровневого изоморфизма. Вопрос о терминологии — не последний по важности хотя бы потому, что состояние в терминологии теории всегда симптоматично для состояния само́й теории. На заседании в Либлице один докладчик сетовал на 'недостаток терминологии' в семантическом компонентном анализе, однако приводившийся при этом перечень свидетельствовал об обратном — о гипертрофии терминологии (сема, архисема, гиперсема, семантическое поле, гипосема, абстрактная сема, метасема, дифференциальный признак, система, структура, класс, триада...). Скорее всего, все дело в недостатке самой методологии.

В докладе Й. Филипца на конференции в Либлице был выдвинут в общем почтенный принцип важности чистоты метода при исследовании семантических полей. Но, соблюдая чистоту метода, полезно также не упускать из виду недостаточность методов (а иногда, как известно, — и целых дисциплин, откуда теперешнее внимание к интердисциплинарным исследованиям). Недостаточность синхронного метода описания мы пытаемся показать здесь и далее на некоторых примерах. Равным образом необходимо сознавать недостаточность диахронического метода хотя бы потому, что он, в свою очередь, зависит от синхронных (письменных) фиксаций. Главное — это язык, адекватное описание и осмысление которого может обеспечить лишь широкий подход и достаточно гибкая методология, в противном случае к уже названной вначале антитезе придется добавить еще одну благоприобретенную антитезу между чистотой метода и искомой полнотой описания и объяснения. Хорошо известно, что явление богаче, чем закон.

В упомянутой дискуссии поднимался вопрос о произвольности вычленения сем / компонентов значения слов. В развитие этого положения можно сказать, что некоторая их умозрительность базируется на ходячих (наивных) понятийных представлениях о внеязыковых особенностях реалий. В то же время семантическое наполнение лексем бывает не только совершенно иначе построено этимологически, но также — и это особенно существенно для синхронии — первоначальная, этимологически вскрываемая семантическая струк-

тура лексемы продолжает определенным образом влиять на употребление лексемы в речи, живет в контексте. Этимологическое значение слова представляет не только исторический интерес, как нередко думают, но и ключ к пониманию современной семантики слова, в которой этимологическое значение может воспроизводиться. Так, по компонентному анализу, семема 'птица' включает сему 'лететь', и это кажется так просто и логично. Но обращает на себя внимание то обстоятельство, что в разных языках слова́ со значением 'птица', как правило, не связаны происхождением с глаголом 'лететь': слав. **pъtakъ* / **pъtica* — но **letěti*, нем. *Vogel* — но *fliegen*, англ. *bird* — но *fly*, лат. *avis* — но *volare* (соответственно франц. *oiseau* — но *voler*), греч. ὄρνις — но πέτομαι, лит. *paukštis* — но *skristi*, венг. *madár* — но *szállni*. Похоже, что гетерономасия представляет собой здесь более распространенное и, видимо, более древнее явление, чем тавтономасия, ср. фин. *lintu* 'птица' — *lentää* 'лететь' или вторичное греч. πετεινός, πετεινόν 'крылатый, летучий' (о птице, ср. пример из новозаветного койне, далее) — πέτομαι 'лететь'. Причина коренится в иных, чем наши, воззрениях древних на птицу. Но еще важнее для нас отметить здесь продолжающуюся скрытую жизненность этих древних воззрений (что, разумеется, неоднозначно хомскианским innate ideas, а относится к стойкости потенций языка, слова). Действительно, летание по воздуху отличает не одних только птиц (ср. образование в германском от глагола 'летать' названия для мухи — нем. *Fliege*, англ. *fly* и т. д.). Главное, что бросалось в глаза древнему человеку в птице, — это, скорее, способ выведения потомства (несение яиц, высиживание птенцов) и забота о потомстве. Образ гнезда с торчащими оттуда разинутыми клювами птенцов и неутомимое снование кормящих птиц-родителей знакомы каждому и сейчас.

Поскольку известный словарь К. Д. Бака является словарем избранных синонимов, охватывает наряду с древними языками материалы новых языков, дублирующие друг друга, а главное — его этимологические комментарии не всегда надежны [14], представило интерес остановиться особо на этимологической природе нескольких затронутых синонимов со значением 'птица'. Показания этимологии действительно красноречивы, и они не оставляют места для семы 'лететь', по крайней мере у этих названий птицы, несмотря на стойкую тенденцию искать данную сему даже в древних значениях. Надо сказать, что необнаружение этимона 'лететь' у названия птицы нередко очень озадачивает исследователей, заставляя их принимать насильственные решения либо признавать свое бессилие, хотя более внимательный анализ и семантическая типология помогают пойти дальше и установить довольно очевидные

[14] *C. D. Buck.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages, 3 impression. Chicago; London, 1971. P. 183: *bird*.

связи форм, а с ними и принципиальное изменение значения. Начнем со ст.-слав. **пътица**, рус. *птица* и других славянских соответствий. Чисто умозрительное сближение их с др.-инд. *pátati* 'лететь', греч. πέτομαι, неточное и с фонетической стороны, давно оставлено, и, напротив, обращено внимание на фонетически точное и перспективное семантически родство слав. **pъtica*, лит. *paũikštis*, лтш. *putns* 'птица' с лат. *putus* 'дитя', др.-инд. *putrá-* 'сын', *póta-* 'детеныш животного', лит. *paũtas* 'яйцо' [15]. Этимологизация основного германского названия птицы, насколько она отражена в словаре Клюге [16], целиком скована вышеупомянутыми традиционными воззрениями, поэтому всерьез дебатируется производность от **flug-* 'fliegen' и реконструкция **flug-la*. Архаичными и исходными (в свете связей славянского названия птицы) являются, однако, форма и значение ранненововерх.-нем. *fugel* 'зародышевое пятно в яичном белке' (XVI в.). Германское суффиксальное производное **fug-la-*, вероятно, родственно формально и семантически рус. диал. *пуга* 'тупой конец яйца', далее — греч. πυγή 'задница', ср. укр. *гузка* 'тупой конец яйца' — *гуз(но)*.

Оригинальное английское название птицы *bird* признается — по причине все тех же рутинных торможений — 'of uncertain origin' [17], несмотря на то, что семантическая и генетическая эволюция, в сущности, известна, ср. др.-англ. *bridd* 'птенец' (NB: значение!), далее— явно родственное гнездо англ. *breed* 'выращивать', *brood* 'высиживать (яйца)', нем. *brüten* то же.

Еще менее удовлетворительно состояние этимологизации и семантической реконструкции лат. *avis* 'птица': обычно констатируют родство с др.-инд. *víḥ*, *véḥ*, *váyas-* 'птица', авест. *vīš* (род. п. мн. числа *vayąm*) то же. «Alle weiteren Verbindungen unsicher» [18]. Между тем сюда относятся из балтийского не только лит. *vištà* 'курица' [19], но и глагол лит. *veĩsti* 'плодиться, размножаться', лтш. *veist* 'выращивать, размножать', индоевропейская основа **u̯ei̯s-*, явно исходная для перечисленных выше названий птицы. Ср. также

---

[15] *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. III. М., 1971. С. 398; *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg; Göttingen, 1962. S. 554; *О. Н. Трубачев*. История славянских терминов родства. М., 1959. С. 51—52.

[16] *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl. Berlin, 1967. S. 822—823.

[17] *E. Klein*. A comprehensive etymological dictionary of the English language. I. Amsterdam; London; New York, 1966. P. 175.

[18] *A. Walde — J. B. Hofmann*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg, 1965. S. 84; *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. III. Heidelberg, 1976. S. 265.

[19] *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 1266: «Etymologie unsicher».

типологические параллели славянских, германских, балтийских названий птицы, уже разобранных нами ранее.

Греч. ὄρνις 'птица' обычно сравнивают с названиями орла — хеттск. *haraš*, готск. *ara*, лит. *erẽlis*, слав. **orьlъ*[20], что, конечно, еще нельзя признать этимологией в подлинном смысле. Только сближение с ἔρνος 'отпрыск, потомок' и далее — ὄρνυμαι, ὄρνυμι, в значениях 'начинать(ся), рождать(ся)' позволяет сделать ощутимый шаг в семантической реконструкции также для греческого названия птицы.

Таким образом, древним значением лексемы 'птица' в рассмотренных выше примерах было 'детеныш, выкормыш', а не 'летун, то, что летает'. Довольно широкий охват языков и самостоятельный характер основ позволяют предполагать у этого семантического развития довольно общий характер. Следует, далее, отметить определенную жизненность или оживление этого празначения в современном языке или даже скорее в речи, в ее эмоциональных стилях; не случайно и сейчас мать может назвать ребенка 'птенчиком, птичкой'. Вспоминается евангельская притча: ἐμβλέψατε εἰς τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ σπείρουσιν οὐδὲ θερίζουσιν οὐδὲ συνάγουσιν εἰς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά. Matth. 6, 26. (Рус. перев. синод, изд. 1912 г.): 'Взгляните на птиц небесных: они ни сеют, ни жнут, ни собирают в житницы; и отец ваш небесный питает их'. И сочетание *птицы небесные*, и очевидное противопоставление *птицы небесные* — *отец небесный* станут понятнее, если мы попробуем предположить здесь отношение детей к отцу (для чего, разумеется, потребуется осмысление некоторых слов как вторичных, ср. греч. τὰ πετεινά, собств. 'летучие, крылатые' — о птицах, или как поздних вставок в текст вроде *отец ваш*...). Жизнь древнейшего значения продолжается и в послепраязыковые эпохи, и с этими тонкими фактами надлежит считаться всем, кто питает серьезный интерес к значению слова. Изложенный пример предназначался для того, чтобы показать, что этимология и связанная с ней реконструкция древнего значения важна не только сама по себе и для себя, но и для полного адекватного анализа современного значения слова, и это отражает интереснейшую, еще недостаточно исследованную сторону языка, когда древние связи происхождения, забываемые в коммуникации, латентно живут и периодически маркируются в словоупотреблении, в разных стилях речи.

Если мы научимся лучше понимать и использовать богатства семантической диахронии, мы поймем многое неясное в употреблении слов и их значений в разные эпохи. Динамика словаря станет для нас яснее. Появление це-

---

[20] *Hj. Frisk.* Griechisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 421—422; *P. Chantraine.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. III. Paris, 1974. P. 822—823.

лых больших и, как нам кажется сейчас, незаменимых семейств слов получает объяснение как первоначальный акт семантической филиации, сдвиг значения, например гнездо слав. **xodъ*, **xoditi*. Становится возможным глубже проникнуть в природу такого универсального явления, как утраты словаря. Поняв их, мы сумеем восстановить утраченное, по крайней мере, в отдельных случаях, что крайне ценно для сравнительного языкознания, для познания прошлого, для познания вообще. Дело в том, что иногда «утрата» лексемы есть ни что иное, как изменение семемы, смысла. Утрата, таким образом, оказывается мнимой, лишний раз демонстрируя нам мощный фактор эволюции значения (ср. случай и.-е. **omәsos* в славянском, ниже). С неравномерностью развития значения тоже надо считаться. При этом отсутствие лексического соответствия в языке при проверке подчас оборачивается всего лишь отсутствием последующего семантического развития, на самом же деле лексическое соответствие имеется, но его значение как бы остановилось на более архаической стадии развития, а отсутствие лексемы оказывается и на сей раз мнимым и опять — по причине нераспознанности значения (ср. и.-е. **rēĝ-* 'править, царствовать' и вопрос о его славянских соответствиях, ниже).

Реконструкция лексических значении освещает отдельные звенья языкового строя и мотивы их реорганизации, или, точное, переосмысления. Вообще при таком подходе выясняется, что в языке гораздо больше переосмыслений, чем абсолютных прибавлений и вычитаний. Эта ярко функциональная черта заслуживает самого серьезного исследования. Переосмысление отдельных форм и слов, положившее конец их дальнейшему существованию, не менее важно для этимологии и реконструкции, чем нейтрализация противопоставлений двух значений как доказательство единства слова, так хорошо изученная Бенвенистом. Пример на переосмысление морфологической формы с последующей лексикализацией — это судьба и.-е. **sod-*, связанного чередованием с и.-е. **sed-* 'сидеть' в славянском. Начнем с того, что славянский не знает -*о*-ступени **sod-* от корня **sed-*. Правда, наличие слав. **sadъ*, **saditi* весьма ослабляет это утверждение, так как **sad-* восходит к **sōd-*, что есть всего лишь долгая ступень в отношении к **sod-*. Так, внутренняя реконструкция показывает, что в славянском ступень **sod-* была. В действительности же эта ступень и сейчас существует в скрытом виде, хотя функционально ее нет, она исчезла в акте переосмысления и генезиса нового лексического значения: **sod-* 'сидение' > **sod-* 'ход' > праслав. **xodъ* в особых фонетических позициях. И.-е. **sod-* 'сидение' и выдвижение **sod-* 'ход, ходьба' тесно связаны как взаимоисключающие друг друга явления. Первое из них представлено именно в языках, не развивших второго значения, ср. др.-ирл. **suide* 'сидение', лат. *solium* 'трон' из и.-е. **sodi̯om*. Любопытно, что как раз греческий (ὁδός) и славянский, в которых и.-е. **sod-* выступает в значении 'ход, хо-

дить', не знают *sod- в значении 'сидение, сидеть', что служит косвенным, но убедительным доказательством первоначального этимологического единства *sed- / *sod- 'сидеть' и *sod- 'ходить'. Можно ли считать, что семантическая инновация 'сидеть' > 'ходить' охватила обе ступени апофонии *sed- / *sod- (что, возможно, объясняло бы причину продления корневого гласного *sed- > *sēd- как специфическое раннее отличие формы лексемы 'сидеть' [ср. слав. *sěděti, но эту долготу имеют также и балт., лит. sėdė́ti, где значение 'ход, ходить' неизвестно]), или ступень *šьd- апофонически вторична, редукционна по отношению к слав. *xodъ? Со стороны реально-семантической заманчиво считать, что на инновации 'сидеть' > 'ходить' отразился в древности новый способ передвижения сидя (например, в повозке или верхом, ср. рус. *всадник*, др.-инд. *sādín* то же), или здесь в немалой степени сыграла роль семантика достижения цели, как можно бы было понять др.-инд. *ā-sad-* 'подходить, достигать' (так сказать, 'присесть в конце пути, у цели'?), *ut-sad-* 'уходить', авест. *apa-had-* 'устраняться, избегать'.

Таким путем язык лексикализовал семантический вариант, преодолев затем (фонетически) возникшую избыточную омонимию.

Но вернемся к рассмотрению в плане семантической реконструкции двух бегло упомянутых случаев мнимого неучастия славянского в древней индоевропейской лексике: *omǝsos и *rēg-. Индоевропейское название плеча *omǝsos (др.-инд. *áṁsa-*, греч. ὦμος, лат. *umerus*) как будто не известно в славянском. В свое время мной был предложен эксперимент по реконструкции. Если все-таки попытаться предположить, что и.-е. *omǝso- уцелело в славянском и получило в нем формальное продолжение и развитие, то результатом будет закономерное праслав. *ǫsъ. Однако в этой форме в славянских языках фигурирует только название уса, усов или усов с бородой (рус. *ус*, польск. *wąs* и др.). Обнаруженное загадочное столкновение двух якобы разных слов — индоевропейского названия плеча и славянского названия усов — любопытно сочетается с неудовлетворительностью этимологизации последнего. Этимологии слав. *ǫsъ исходят из молчаливой презумпции изначальности значения 'усы, растительность на лице' у этого слова. Не будем перечислять их здесь подробно, но именно в этой их априорности коренится причина их тщетности. Между прочим, семема 'усы' и соответствующий термин, как это ни странно для такого неоспоримого атрибута мужественности и мужской красоты, развиваются очень поздно и даже отсутствуют в ряде языков. Очевидно, все-таки существовали какие-то обозначения и описания, которые не ограничивались лексемой и семемой и.-е. *bhordhā, слав. *borda и т. д. 'борода'. Большая, красивая борода ложится на грудь, а усы, если вообще представляется возможным как-то выделить их из бороды, достают до плеч (в каком-то смысле фигурально, что дела не меняет). Так реконструируется

связь слов и значений: **omǝsos* 'плечо' > **ǫsъ* 'волосы до плеч' > 'усы до плеч' > 'усы'[21].

И.-е **rēĝ-*, известное как обозначение царя, царской власти и царских полномочий, реконструируется для более древних эпох как слово со значениями из сферы сакральных, жреческих функций — 'размечать, разделять, проводить линию, р е з а т ь ч е р т у', и мы приходим к семантике слав. **rězъ*, **rězati*, которое закономерно включается благодаря данной семантической реконструкции в ареал и.-е. **rēĝ-*[22].

Семантической реконструкции приходится иметь дело с различными лексическими значениями. Здесь можно встретить продуктивные семантические модели, слова с развивающимися значениями, значения с прозрачной генеалогией (ср. 'хватать рукой' > 'понимать, схватывать умом'), есть, наконец, слова вроде бенвенистовских первичных вокабул (vocables primaires), слова с 'вечными' значениями. Значения можно понимать как простые и непростые (сложные). В общем все значения слов человеческого языка, видимо, производны и вторичны, но в особенности это относится к сложным значениям. Примером такого сложного и вместе вечного значения является семема 'гора'. Как все-таки формируется значение 'гора'? Как решает эту задачу компонентный анализ? Возможно (мне в данный момент такие опыты неизвестны) выделением сем, или дифференциальных признаков, 'высокий', 'очень большой', 'твердый', 'каменный', 'неподвижный', т. е. всего того, что в среднем сознании ассоциируется со словом и значением 'гора' и может быть отнесено к школьным знаниям, энциклопедизму, бытовому опыту, иначе говоря — к внеязыковой сфере. Отдельные признаки, действительно, могут совпадать с реконструируемыми значениями, например, в основе названия горы в некоторых индоевропейских языках лежит **kouk-* 'высокий' или **bhr̥gh-* с тем же значением, но могут и не совпадать. Возможности семантической типологии здесь шире, и семантическая реконструкция должна ими овладеть. Возьмем слав. **gora*, изучению и реконструкции семантической предыстории которого мешает монотонность семантических соответствий родственных слов ('гора', изредка — 'лес', что, конечно, вторично). Ю. Покорный дает в своем словаре и.-е. *g^uer-*, *g^uor-* со значением 'гора' как пределом семантической реконструкции. Однако имеются сигналы о непервоначальности такого состояния. Эти сигналы поступают со стороны формы слов. Так, мы обнаруживаем явную диспропорцию между типично именной семан-

---

[21] См.: *О. Н. Трубачев*. Заметки по этимологии и сравнительной грамматике // Этимология. 1970. М., 1972. С. 13—14.

[22] См.: *В. Н. Топоров*. Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам // Этимология. 1972. М., 1974. С. 12 и след.

тикой ('гора'!) и типично глагольным или отглагольным вокализмом корня *g^uer- : *g^uor- : *g^ur̥- (ср. слав. *gora, др.-инд. girí-, лит. girià, алб. gur 'камень'). Подобная развитая апофония могла возникнуть только на базе глагольных и глагольно-именных функций. Отыскивается (или, вернее сказать, давно известна, но не получила адекватной интерпретации) и позиция нейтрализации, которая увлекает нас в несколько неожиданном направлении. Это и.-е. *g^urīvā-: др.-инд. grīvā 'затылок', авест. grīvā 'горный перевал', перс. garīva 'холм', но также girē 'шея', слав. *griva 'волосы на шее', лтш. grīva 'устье реки'. Одни ученые относят это *g^urīvā только к гнезду 'гора', а другие (NB!) — к корню и.-е. *g^uer- 'глотать, поглощать и т. д.'. Как всегда, позиция нейтрализации доставляет много хлопот ученым, причем первые из них вынуждены отрицать связь *g^urīvā и *g^uer- 'поглощать' (что довольно трудно), а вторые обходят молчанием связь *g^urīvā и *g^uor- 'гора', что также насильственно. А между тем разумнее признать, что перед нами единая цепь этимологически родственных форм (характерно и там и тут наличие лабиального задненёбного в начале слова) с единой линией филиации значений; нужно лишь логично объяснить при этом природу значения 'гора'. Никого не удивляет определение вулкана как горы, извергающей пламя, но реконструкция значения *gora как 'извергающая воду, испускающая через уста влагу' в сущности гораздо более универсальна и естественна. Случай слав. *gora < и.-е. *g^uer- 'испускать, извергать через уста' (ср. наличие последнего значения у др.-инд. *gar-) находит параллель в названии горы авест. *Xarābərəzaitī*, сюда же ср. перс. *Har-burz*, *Эльбурс* в Иране и *Эльбрус* на Кавказе, которое мы этимологизируем как *sarā- *bhr̥ĝh- 'высокий (водо)сток'. Любопытна взаимозаменяемость обоих компонентов в составе одного сложного названия горы: др.-инд. *Pīlu-sāra*, она же — *Pīlu-giri*, наконец, вспомним о том, что *-giri* выступает в Индии не только в названиях гор, но и в названиях рек *Candanagiri*, *Antyāginā*. Это очень древнее воззрение, по которому гора — податель влаги, не оставил без внимания Аристотель в своей «Метеорологии», где он говорит о массах холодной влаги, скапливающихся в горах.

Не механическая композиция, а единое содержание, прочное и изменчивое одновременно,— таково значение слова. С его прочностью, как и с его изменчивостью, связывает свои надежды лексико-семантическая реконструкция.

ПРИЕМЫ СЕМАНТИЧЕСКОЙ РЕКОНСТРУКЦИИ

Семантическая реконструкция, т. е. процедура восстановления древнего, или предшествующего, значения слова, тесно связана с реконструкцией формально-фонетической и словообразовательно-лексической, а также с реконструкцией языковой (праязыковой) в целом. Имеющая место универсальная тенденция к усложнению последней (праязыковая диалектология) ведет, естественно, и к усложнению праязыковой семасиологии, и к пересмотру ее хронологии.

Бесспорность этих связей, однако, еще не предопределяет характер и направление связей. Намерение говорить о «приемах» семантической реконструкции не означает, что уже решены принципы семантической реконструкции и другие базисные вопросы, и не освобождает от их обсуждения, хотя и перемещает акцент в план более детального анализа отношений слов и значений. Разумеется, сохраняют важность категории и положения, выработанные предыдущим исследованием: внутренняя и внешняя реконструкция, контроль реконструкции через генетические связи и семантическую типологию, генезис лексических значений исконным путем и через заимствование, относительная хронология (семантические архаизмы и инновации), закономерность семантических изменений (?) или, скорее, их контролируемость, семантическая универсальность и уникальность, реконструкция апеллативной семантики и ее резервы (ономастика, реликты, формы, реликты языка — субстраты), проблемы автономности и взаимосвязи, диахронии и синхронии.

Не последняя роль отводится тому, что было названо «семантическим инстинктом» исследователя [1], и, разумеется, опыту исследования — индивиду-

---

[1] «К счастью, сейчас составители этимологических словарей по большей части обладают примечательным семантическим инстинктом (как я бы назвал это качест-

ального и коллективного. Мы имеем в виду опыт этимологии и этимологической лексикографии индоевропейских, славянских и других языков (к настоящему времени опубликованы уже 14 выпусков «Этимологического словаря славянских языков», опирающихся на 30-летний опыт работы в этимологии и реконструкции лексических значений) и вклад этимологии в «историю идей». Говоря об истории идей, мы имеем также в виду, что именно этимология уполномочена дописывать историю лексических значений и реконструировать дописьменный период этой истории, часто несравненно более длительный и бурный, чем собственно письменная история у слов фондовой лексики, для которых письменная история обычно застает уже период относительного покоя в собственной истории слов и значений [Трубачев 1984].

Было бы неправильно, наконец, если бы в числе побудительных причин появления данного раздела не был отмечен тот факт, что уже исполнилось 30 лет со времени публикации «Семантических проблем реконструкции» Э. Бенвениста в американском журнале в 1954 г. — до появления компонентного анализа — и тем не менее тонких, во многом образцовых и сейчас в вопросах точного описания значений слов и их эволюции [Бенвенист 1974].

Но главное, конечно, не во внешних поводах для обсуждения. Суть дела в том, что углубленное понимание значения есть, по нашему убеждению, уже тем самым его реконструкция [Трубачев 1980: 3], а в этом деле нельзя обойтись без этимологии. Смутное понимание возросшей интердисциплинарной важности этимологии облекается иногда в причудливую форму признания ее «синхроничности». Таков ход рассуждений западногерманского автора К.-П. Хербермана: этимология обычно понимается как «единственная целиком диахроническая дисциплина» (Я. Малкиел, Э. Косериу), однако этимология вскрывает мотивацию, а мотивация — это «чисто синхроническое понятие» (С. Ульман), на основании чего делается вывод о синхроничности этимологии, ср. и способность этой дисциплины к классификации и систематизации [Herbermann 1981: 22 и след.]. Перед нами поучительный пример отрицательного давления терминологии и понятийного ригоризма, жертвой которого стал упомянутый автор (далее мы будем говорить и о других примерах ущерба, наносимого науке типично метафористическим мышлением). Соссюрианская дихотомия диахронии—синхронии заслонила Херберману реальную живучесть, функционирование диахронии в синхронии. Разумным пониманием этого последнего, думается, необходимо уравновесить одностороннюю тенденцию к переформулировке диахронии в

во), т. е. они извлекли из большого числа обследованных ими историй слов такой опыт, что они держат в памяти множество параллелей смысловой эволюции или номинации» [WVB 1979: XV].

духе синхронии. Целесообразнее, по-видимому, согласиться с другими учеными в том, что смена поколений влечет за собой и смену интересов к научным направлениям и что сейчас растет вновь интерес к истории и этимологии, а вместе с ним и готовность признать именно за этимологическим исследованием умение «установить степень мотивированности языкового знака в определенный момент» [Pfister 1980: 4, 37; Трубачев 1983: 173].

Чем дольше мы изучаем значение слова, тем острее понимаем важность проблем и приемов записи значения, влияние правильной (resp. неправильной) записи значения на правильную (resp. неправильную) интерпретацию значения. Понятно отсюда и наше желание разобраться насчет реального места некоторых приемов. Семиотическое понимание значения как «перевода знака в другую систему знаков» (Ч. Пирс) [цит. по: Jakobson 1980: 10] и построенная целиком на этой базе популярная теория семантического метаязыка (языка описания) могут быть, в свете нашего опыта, сведены к проблеме синонимии и синонимизации[2], что, с одной стороны, показывает важность извечной проблемы синонимии в языке и лексике, а с другой — демонстрирует тенденцию к метафорическим преувеличениям, которая характеризует — и затрудняет — нынешнее теоретическое языкознание. В самом деле, что́ есть перевод, как не упражнение по синонимии прежде всего? В презумпции интерлингвальности всякого перевода содержится преувеличение. Так, нам сулят пунктуальное описание, а взамен мы получаем неточное сравнение и переносное употребление. Поневоле приходят в голову молитвенные

[2] См. подробнее: «Здесь уместно вспомнить о негативном давлении терминологии на примере теории метаязыка как (другого?) языка описания, а также эффектной, но шаткой семиотической концепции значения у Пирса (Peirce) как "перевода знака в другую систему знаков" ⟨...⟩ Вообще проблема синонимической сложности языка, несмотря на интерес к ней нынешних исследователей, все еще до удивительного недостаточно изучена и оценена, причем именно теми, кто, казалось бы, по роду своих занятий трансформациями и семантическими "языками описания" должен был бы по достоинству оценить потенции языковой синонимии ⟨...⟩ Теория метаязыка вообще уязвима как раз в плане синонимии, ибо практически применения метаязыка (иначе — языка описания) в толковой, одноязычной лексикографии — это не что иное, как парад синонимов того же самого (описываемого) языка, причем по крайней мере в этих случаях — кстати, важнейших в силу важности толковых словарей — проблема особого языка описания попросту снимается. Встречаемые в литературе остроумные рассуждения о "метаязыковой потребности" человека начиная с детского возраста (вроде ответов на вопросы ребенка *это что?*) или о том, что мы пользуемся всю жизнь метаязыком, сами того не подозревая (мы бы сказали: толкованиями, синонимическими переинтерпретациями с применением различных выразительных средств, слов, конструкций), свидетельствуют все о том же — о надуманности проблемы» [Иванов, Трубачев 1982: 7].

слова Поля Луи Курье: «Боже, избави нас от лукавого и от образной речи! Иисусе Спасителю, спаси нас от метафоры!» [3].

Реконструкция — сущность сравнительного языкознания, однако любопытно отметить, что современную формулировку проблемы охотно связывают с именем Соссюра [см.: Gambarara 1977: 52—53], с которым до недавнего времени связывали совсем другие задачи совершенно другого способа видения языка. Действительно, в специальном небольшом разделе своего «Курса» (Гл. III. Реконструкции) Ф. де Соссюр признает реконструкцию единственной целью сравнения, цель самой реконструкции видит в «регистрации успехов нашей науки» и высказывает уверенность в надежности реконструкций [Соссюр 1977: 255 и след.]. Мы бы сейчас сказали, что главная цель как сравнения, так и реконструкции — углубленное понимание связей и причин. Точность хороших реконструкций в этимологии бывает достаточно высока, и все же она допускает н е е д и н с т в е н н о с т ь р е ш е н и й, что неизбежно для каждой объясняющей, а не описательной науки. В конечном счете все решает точка зрения исследователя. В контексте того, что изложено нами выше, глубокое удовлетворение и одобрение вызывают слова, сказанные Соссюром: «Ce sera une des utilités de l'étude historique d'avoir fait comprendre ce qu'était un état» («Одним из полезных свойств исторического исследования явится то, что оно позволило понять, что такое состояние»). Между тем и сейчас еще лингвисты, не задерживаясь на этой мысли Соссюра, видят главное в тоне (и контексте) «строгого укора», адресованного Соссюром историческому языкознанию [Jakobson 1980: 54].

Потребность синхронического общения нередко понимают упрощенно, недооценивая, например, информацию, заключающуюся в живом слове; время от времени отмечающееся о ж и в л е н и е (реэтимологизация) в речи (высокой, поэтической, окказиональной) отдельных, казалось бы, давно забытых этимологических связей созвучно семантической реконструкции, на которую направлено этимологическое исследование. Более того, указанное оживление древних связей хорошо демонстрирует их потенциальную актуальность, а вместе с тем и актуальность самих исследований по этимологии, представляющих вовсе не схоластический научный интерес. Мы никогда так и не поймем природы этой реэтимологизации слова в речи, если не постараемся понять, что наше слово «всегда несет большее количество информации, чем наше сознание способно извлечь из него...» [4].

---

[3] Из письма П. А. Вяземского (цит. по: *Раевский Н.* Портреты заговорили. Алма-Ата, 1980. С. 195).

[4] Р. Якобсон, по которому мы цитируем это высказывание А. Э. Шерозиа [Jakobson 1980: 129], вряд ли прав, видя здесь соответствие гипотезе Сепира—Уорфа.

То, что подобная реэтимологизация осуществляется не всегда и не во всякой речи, а в выдающимся образом организованной речи (выше — поэтической), также составляет одно из естественных условий. Говоря иначе, своеобразным этимологическим тестом гениальности такого мастера русской художественной речи, как Лев Толстой, может служить один пример (их, бесспорно, больше, но это могло бы быть темой особого исследования), когда мы читаем о физическом веселье, которое ощущал Стива Облонский (буквально в тексте — «...чувствуя себя ⟨...⟩ здоровым и физически веселым...»): Толстой едва ли знал об этимологическом родстве этого слова с латышским *vesels* 'здоровый' и о дальнейшем происхождении от и.-е. **u̯esu-* 'хороший, добрый', но он проницательно увидел, уловил эту потенцию употребления слов *веселье*, *веселый*, не дав себя сбить значению эмоциональной игривости, абсолютно преобладающему и активному во всех славянских языках, но банальному и, как видим, этимологически не первоначальному. В свое время крупные шаги в направлении к раскрытию этих идеологических потенций языка и слова сделал, как известно, В. И. Абаев [1934; 1948]. К плодотворной абаевской концепции идеосемантики и ее пробуждения в высоких стилях речи примыкают и наши суждения о собственном, специфическом значении слова как знаменателе важности собственного происхождения слова, а также о том, что этимология предопределяет стилистику слов (на примерах слов со значением 'торговля' в разных европейских языках) [Трубачев 1976: 170—171]. Современное речевое употребление — при обязательном условии точности его описания, записи — хранит большие потенции вскрытия непрерывного действия этимологических связей. Австрийская исследовательница. У. Ройдер, занимаясь внутренним, семантическим родством слов греч. θυμός 'мужество, ярость', др.-инд. *dhūmáḥ* 'дым', лат. *fūmus* 'дым' и хеттск. *tuḫḫima-* 'одышка, удушье', реконструирует не только, в общем, очевидное направление семантического развития 'дым' → 'мужество, ярость' и фрагмент соответствующего представления древних индоевропейцев о мужестве или ярости как о внутреннем огне, разжигаемом в теле желчью и раздуваемом мехами легких. Гораздо важнее следующий вывод У. Ройдер: «Работа по реконструкции облегчается тем, что потускневшие картины мира (verblaßte Weltbilder) ⟨...⟩ продолжают жить в оборотах речи еще очень долго, иногда тысячелетия (разрядка наша. — *О. Т.*)» [Roider 1981: 109]. Примеры последнего исследовательница видит в немецких выражениях *rauchen vor Wut* (ср. рус. *пышет яростью*) — *der Zorn verraucht*, *der Mut wird gekühlt*. С другой стороны, — и это тоже очень важно — дескриптивная мысль синхрониста, какой бы точной она сама себе ни мнилась, неизбежно скользит по поверхности, не затрагивая интересующих нас явлений и даже порождая удобную иллюзию коммуникативного их забвения. Не-

которые авторы, в общем, сознают, что «внутренняя информативность (неисчерпанность скрытых возможностей) объекта значительно выше, чем тот же показатель его описания» [Лотман 1974: 13], но, скорее всего, поворот в сторону «динамики», «динамической модели» носит в большей степени терминологический характер и преодолеть жесткую, статическую сущность синхронного описания никогда не сможет.

Лексическая семантика — особый уровень языка, несмотря на терминологические споры и даже целые направления, работавшие без признания семантического и в целом — лексического уровня. Так, например, в ряде докладов советско-чехословацкого симпозиума «Единицы разных уровней грамматического строя языка и их взаимодействие» (апрель 1967 г.) чувствовалась тенденция растворить уровень лексической семантики в концепции языковой семантики с ее (бинарной) оппозицией языковой структуре, а также синонимизировать понятия семантики и функции [ЕЯВ 1969]. Впрочем, и в самое последнее время можно встретиться с утверждениями вроде того, что «семантика не является языковым уровнем...» [Бахнарь 1982: 33]. И это не должно вызывать удивления, если вспомнить, что целые лингвистические школы (например американская дескриптивная лингвистика) обходились также без лексического уровня вообще. Сюда примыкают и другие концепции, не различающие слово и словоформу и изучающие все пространство между уровнями фонологии и синтаксиса в духе морфемики.

Из правильной идеи взаимосвязи уровней предшествующим языкознанием был сделан явно преувеличенный вывод о равноструктурности, или (не совсем точно) изоморфизме, уровней, имевший далеко идущие последствия. Понятие изоморфизма выдвинуто в 1949 г. Е. Куриловичем и формулируется как идея структурного параллелизма между звуковыми и семантическими комплексами [Курилович 1962: 21, 25—26]. Практически это выразилось в появлении опытов «фонологизации» семантики, т. е. ее структурирования по образу и подобию фонологического уровня и оперирования семантической нейтрализацией, семантическими ДП, вариантами и их семантизацией (читай: фонологизацией) [Бенвенист 1974]. Надо признать, что сам автор понятия изоморфизма после первых своих несколько прямолинейных высказываний избегал впоследствии настойчивых утверждений об изоморфизме семантического и формального уровней [Kuryłowicz 1965], чего никак нельзя сказать о его последователях [см.: Трубачев 1976: 150]. Результатом явились не только голословные высказывания об изоморфизме всех уровней, но и опыты описания одного уровня через другой. При этом для сторонников классического структурализма это были описания снизу вверх, от низшего уровня к высшему (конкретно — «фонологизация» всех уровней, включая семантический [ср.:

Benveniste, 1954]), в чем, даже если не соглашаться с этим, можно еще признать известную стройность (сведение к меньшему числу единиц описания).

Однако с распространением генеративистских учений появились и опыты описания семантики через синтаксис, т. е. низшего уровня через высший, процедура внутренне противоречивая, о чем говорят хотя бы поиски «элементарных смыслов». Вопрос этот затрагивается здесь потому, что он имеет очень серьезные теоретические и практические последствия. Совершенно справедливо мнение о схоластичности суммативного изоморфизма «снизу вверх» — от фонемы к высказыванию, поскольку при этом игнорируется фактическая несводимость высших форм к низшим [Белый 1982: 33]. Надо ли говорить, что в изоморфизм «наоборот» (т. е. от высшего к низшему) поверить еще труднее. Недаром раздаются голоса о «хорошо известном факте анизоморфизма языков» («...el hecho bien conocido del anisomorfismo de las lenguas» [ILG 1977: 251]). Ходячее утверждение о сумме универсальных сем как значении слова естественного языка, таким образом, глубоко проблематично и сомнительно. Искать универсальные для каждого языка смыслы на синтаксической базе значило бы недооценивать элементарное противоречие между изменчивостью, зыбкостью препозитивной семантики и устойчивостью лексической семантики [ср.: Телия 1981: 71]. Даже в трудах последовательных пражских структуралистов сейчас можно встретить «международные (универсальные) семы лексического значения» [Němec 1981], что, как и вышеупомянутые «универсальные смыслы», идет от генеративистских концепций трансформаций синтаксических процессов в словообразование и семантику слов и уже вызывает оправданную критику с разных сторон [Vajs 1982: 23].

Умение различать уровни языка неотрывно от умения видеть их автономию. Не кто иной, как Якобсон, указал, что ошибка многих лингвистов заключается в том, что они изучают уровни с позиций гетерономии, т. е. колониализма, а не автономии [Jakobson 1980: 95].

В чем же выражается автономия уровня, если говорить о ее наиболее ярких проявлениях? Очевидно, в первую очередь в деривации, если иметь в виду своеобразие деривации семантической сравнительно со словообразовательной деривацией, тем более что семантическая реконструкция интересуется именно деривацией лексического значения. Как раз здесь и обнаруживаются наибольшие затруднения, хотя, казалось бы, нет недостатка в работах, изучающих производные слова и их значения. Однако нет и надлежащей четкости в понимании генезиса производных образований и их значений. При всех возможных нюансах толкований над соответствующими анализами тяготеет схема однонаправленности деривации формальной и семантической. Не будучи ошибкой в ряде случаев, эта изоморфистская схема чревата ошибками при попытках ее абсолютизации, т. е. распространения на все случаи.

5. Заказ № 2261.

И все-таки, при всех недостатках, исследования, которые ведутся в русле «традиционных» направлений (включая теперь уже и работы в духе классического структурализма), изучая производность слов и значений, изменение значений, появление вторичных значений, семантическое приращение (терминология при этом бывает различной), способны воссоздать в известном приближении если не картину, то схему, хотя бы в принципе не противоречащую объективной. Показателем этого является объективно правильное выделение в корнях или основах словообразовательных дериватов случаев «семантических архаизмов», где ожидаемая семантическая деривация не состоялась, а имела место, напротив, семантическая консервация [ср.: Ермакова 1977: 31, 33—34]. Правда, и в этих исследованиях нет объяснения этого явления, но сама способность нащупать важный феномен налицо. Примечательно, что трансформационная доктрина словообразования как первоначально синтаксического процесса, прошедшего конденсацию (компрессию, свертывание и т. п.), оказывается, в сущности, мало интересуется семантическим приращением; вне поля зрения генеративной лексической семантики остается и упомянутый феномен семантической консервации в словообразовательном производном. Типичной в русле этого направления в нашей литературе является книга Е. С. Кубряковой [1981]. Читая такие работы, все время задаешься вопросом, насколько четко различают (и различают ли) исследователи свой собственный рабочий метаязык описания и поддающиеся проверке факты действительного свертывания фразы в слово. Опасность сбиться на изучение своего собственного метаязыка описания крайне велика, и это не может не тревожить исследователей проблемы подлинной семантической реконструкции слова, не говоря о других приведенных выше примерах утраты тонкости в вопросах семантической интерпретации. Сама «динамичность» динамической модели [ср. об этом еще: Straková 1983: 217 и след.] при этом делается спорной. Во всяком случае, семантическая реконструкция как исследовательская задача нуждается в другом динамизме.

После этого станет понятной наша настороженность в отношении всякой постулируемой семантической конденсации, будто бы присущей любой деривации без исключения [Мартынов 1982: 130 и след., 134]. Так, суффиксальные производные вроде *стар-ик*, *стар-ец* вовсе не обязательно представляют собой свертывание первоначально двухкомпонентного словосочетания *старый человек*. Гораздо более реальной представляется картина свободного употребления прилагательного *старый* (о человеке), и суффиксальное оформление его в *стар-ик* было лишь формальным довершением уже наметившейся субстантивации. При занятиях историческим словобразованием такие примеры встречаются во множестве, и было бы произвольно видеть здесь обязательные эллипсисы первоначально двучленных конструкций. Схема би-

наризма всякой номинации (хотя бинарные оппозиции как будто неотрывно входят в арсенал структурализма), особенно же его последующие конденсации, смыкаются с семантическим генеративизмом, разделяя его недостатки. Нужна определенная широта и нескованность мысли, чтобы увидеть возможность изначальной эллиптичности (точнее — одночленности) подобных случаев словообразования, семантики, номинации вообще.

Но о бинаризме речь еще будет дальше, а эту часть своих рассуждений мы намерены закончить другим. Занимаясь деривацией, словообразовательной и семантической, многие упускают из виду, что старая функция (читай: значение) может закрепляться за новой формой, а новая функция — за старой формой, что делает понятной потенциальную противоположность словообразовательной и семантической деривации (в нашей литературе нам приходилось встречать рассуждения на эту тему, но только на эмпирическом уровне, без теоретического осмысления и истории вопроса [ср.: Ермакова 1977]). Этот закон («4-й закон аналогии») выдвинул — по иронии судьбы — тот же самый ученый, который обосновал и противоположное понятие изоморфизма, — Е. Курилович, причем в том же 1949 г. (двойная ирония!) в статье «La nature des procès dits analogiques» [Kuryłowicz 1949: 15—37], которую историки науки потом назовут «знаменитой» [Szemerényi 1982: 134, 136]. Неисповедимым образом, однако, эта статья, а с ней и сам закон не получили, в частности у нас, такой громкой известности, которой до сих пор пользуется неистребимо популярный изоморфизм. В нашей работе об этимологических исследованиях и лексической семантике 1976 г. был поставлен вопрос «о наличии в отношениях семантики и словообразования своеобразной междууровневой компенсации, т. е. явления, скорее противоположного изоморфизму» [Трубачев 1976: 152]. Там же, а собственно говоря, еще раньше, на основании этимологического исследования славянской ремесленной терминологии, написанного 20 лет назад, был сделан вывод, что «довольно часто семантическое новообразование если и сопутствует формально-фонетическому новообразованию, то отнюдь не обязательно совпадает с ним в одном слове; напротив, при этом нередко складываются отношения своеобразного парного равновесия, при котором новообразование формы одного слова компенсируется новообразованием значения другого слова» [Трубачев 1966: 220]. В старой деривации, вскрываемой практикой этимологии и исторического словообразования, такое явление известно. Можно сослаться здесь на наш пример отношений производящего слав. **gъrnъ* (рус. *горн* [плавильный] и т. д.) и производного **gъrn-ьсь*; последнее, будучи словообразовательно уменьшительным от **gъrnъ* 'горн', должно было бы значить — в духе изоморфизма — 'маленький горн', однако вместо этого данный словообразова-

тельный деминутив знает в славянских языках только значение 'горшок', как оказывается, значение архаическое не только для производного **gъrn-ьсь*, но и для производящего **gъrnъ*, под древней формой которого кроется обновленное значение 'плавильная печь' (реально-исторически такая печь вначале — подобие горшка или сооружение из горшков).

Как видим, мы пришли к аналогичному выводу самостоятельно, опираясь на материал этимологии, правда, без учета закона, опубликованного Куриловичем раньше. Впрочем, думается, что и в европейском (и в мировом) языкознании в целом 4-й закон аналогии Куриловича, если и известен, все же используется совершенно недостаточно там, где его действие следует допускать с большим вероятием, — во всех случаях смены форм и функций и в соответствующих операциях по реконструкции предшествующего состояния. Один из ярких примеров на сравнительном индоевропейском материале — судьба формантов и окончаний вокатива и номинатива ряда основ на согласный: вокатив как категория (функция) вторичен, однако за ним закреплено бесспорно первичное (первоначально номинативное) словообразовательное окончание *-ter*, *-or* с краткостью, тогда как старая функция номинатива перенесена на обновленную форму с продлением *-tēr*, *-ōr* (некоторыми неточно реконструируемую как исконную форму номинатива, как, например, у Семереньи в книге о терминологии родства [Szemerényi 1977]). Точно так же кажется допустимым отождествлять, например, с балтийскими именными исходами *-ā* (> *ă*) только исход *-o* (и.-е. *-ă*) славянских вокативов основ на *-a*, но не сами эти последние номинативные исходы, где *-a* (долгое *-ā*) удержалось в условиях местного инновационного продления формы со старой функцией.

Отступление преследовало единственную цель — показать важность данного положения для работ по реконструкции форм и значений. Остается сказать, что ничем этим не интересуется «динамическая» модель генеративной семантики слова.

Значит, направление, которое изъявило готовность принять эстафету исследования словообразовательной и семантической деривации после направления, основанного на анализе парных, в том числе лексических, оппозиций, органически не сможет адекватно охватить полноту динамики слова и значения. Не следует, впрочем, думать, что бинаристская (структурная) лингвистика уже сдала свои позиции. Она продолжает работать над проблемами, которые интересуют всех нас, демонстрируя одновременно как отдельные достижения, так и коренные свои недостатки. Общим предостережением могут послужить слова Мартине, сказанные, правда, по поводу другого конкретного случая (билингвизм — диглоссия): «Опасность как здесь, так и в других случаях состоит в навязывании упрощенной бинарной оппозиции, которая способна лишь затушевать исключительное разнообразие исследуемых си-

туаций» [Martinet 1982: 11]. Упрек очень серьезный, потому что бинарная (парная) оппозиция причисляется к главным достижениям структурализма. Противопоставление в лексике как универсалия языка по-прежнему занимает молодых лингвистов [ср.: Маслова 1981]. Несмотря на выступления против бинарных упрощений, именно на них и на поисках ограниченного числа универсальных смыслов строятся оппозитивные анализы лексического значения: компонентный анализ (разделение значения слова на элементарные, неделимые «кванты содержания», семы), дистрибутивный анализ (через описание позиций, употреблений, окружений) [Васильев 1975: 158 и след., 172].

Однако замечено, что компонентные семантические анализы вроде 'дантист' = 'вставлять' + 'зубы' не более как гипотеза, иначе — один из возможных анализов, но отнюдь не вскрытие объективных отношений между компонентами [ILG 1977: 250]. Точно так же не выдерживает проверки этимологией и семантической реконструкцией и оказывается всего лишь непригодной гипотезой другая ходячая истина компонентного анализа — о том, что семема 'птица' включает сему 'лететь' [см. подробнее: Трубачев 1980: 9 и след.]. Согласимся, что г и п о т е т и ч н о с т ь   о п и с а н и я (а анализ по семантическим компонентам — это прежде всего описание типа фонологического анализа, ср. выше концепцию изоморфизма уровней) — признак тревожный (contradictio in adiecto). Испанский лингвист Ф. Адрадос писал по этому поводу в коллективном труде «Введение в греческую лексикографию»: «Очевидно, что всякая семантическая теория стремится к упрощению ⟨...⟩ В действительности существует тенденция к двум взаимно противоположным упрощениям, которые одинаково опасны, если принимать их безоговорочно: а) одна из них — та, которая находит в значениях слов устойчивые и постоянные элементы, организованные в устойчивые и постоянные сочетания (⟨...⟩ компонентный анализ), б) обратной является тенденция к установлению строгого разграничения между оппозициями слов и оппозициями более высокой иерархии...» [ILG, 1977, 250]. Сказанное верно, но схватывает суть дела не до конца. Современная теоретическая мысль в области семантики стремится к упрощению и одновременно боится простоты и всячески ее избегает, а вместе с тем бежит и от здравого смысла. Недвусмысленные симптомы этого — критически высокая метафоричность научного языка и мышления и гипертрофия внешних атрибутов точности анализа и терминологии. Сейчас нередко стыдятся говорить о расширении значения или о его сужении (специализации), предпочитая говорить о прибавлении новых сем — латентных (скрытых), потенциальных, реальных, конкретных, обязательных [ср.: Dolník 1982: 109 и след.]. Семантическая реконструкция остро заинтересована в прояснении этого вопроса — ведь речь идет о динамике значения слова. Все говорят о динамике, ей посвящены работы по компонентному анализу семан-

тического приращения, но на деле мы получаем не динамику, а статику. Попытки понять семантическое развитие как выделение новой семы не раскрывают динамики явления. Постулируемая новая сема как бы имплицирует в составе (новой) семемы наличие междусемного шва, стыка, чего в языковой действительности не наблюдается. Нужно признать, что эти опыты недостаточно тонки для описания значения и восстановления его эволюции. Единственно достоверное, на что мы можем сейчас серьезно опереться с виноградовских времен, — это констатация основного собственного значения слова и контекстно обусловленных употреблений этого значения. Вся суть семантической эволюции — во взаимодействии обеих категорий. Сходную мысль выразил Мартине: «Каждое слово в каждый момент языковой эволюции обладает определенными семантическими достоинствами, известными носителям языка, на основе которых можно толковать изменения, задаваемые различными контекстами» [Martinet 1983: 3].

Сейчас, как и прежде, мы вынуждены повторить, что компонентная делимость значения не доказана [Трубачев 1980: 8]. Изменение значений слов происходит не так, как его упрощенно и механистически описывают, и, следовательно, на этот опыт нельзя ориентироваться при проведении семантической реконструкции слова. Весьма симптоматично встреченное в этой литературе указание на «очень значительное число неразложимых семем (типа 'береза', 'ольха', 'мак', 'полынь' и т. п.), которые мы вынуждены пока трактовать как состоящие из одной семы» [Толстой 1968: 346; ср. также: Blanár 1983: 111]. Между прочим, и специалисты по толково-комбинаторной лексикографии уклоняются от лексикографирования таких слов, считая, что толкование тут можно заменить картинкой реалии. А ведь этимология и семантическая реконструкция располагают данными для того, чтобы восстановить непростой и длинный путь развития лексем и семем 'береза', 'ольха', 'полынь'... Мощным резервом семантической реконструкции следует считать тот факт, что «очень мало слов выпадает из языка, потому что — почти как правило — они подвергаются дифференциации внутри синонимического ряда и таким способом взаимно перегруппировываются, и языковые эпохи этим и отличаются по большей части друг от друга» [Матијашевић 1982: 120—121]. Нам тоже уже приходилось раньше говорить о том, что в языке гораздо больше переосмыслений, чем абсолютных прибавлений и вычитаний (утрат) [Трубачев 1980: 12]. Значит, основной путь изменения словарного состава — это переосмысление.

Важнейшими понятиями лексической семантики и семантической эволюции, включая ее реконструкцию, остаются, помимо уже называвшейся синонимии, полисемия и омонимия. Как известно, триумф этимологического исследования — в умелом решении задач на омонимы [ср.: Трубачев 1985_1:

8]. Однако, неизменно признавая фундаментальную лингвистическую важность этих понятий, необходимо постоянно иметь в виду их соотнесенность с внеязыковой действительностью: «Первым важным фактором при различении полисемии и омонимии является внеязыковая действительность» [Peciar 1980: 87]. Речь должна идти именно о соотнесенности, а не о прямолинейной связи, которая обычно кладется в основу семантических дифференциальных признаков. «При полисемии все значения слова связывает некоторое общее представление ⟨...⟩ При омонимии эта общая база и связь значений отсутствуют» [Там же: 92]. Было бы странно отрицать тот факт, что семантическое словообразование — это как раз и есть результат критического разрастания полисемии, хотя попытки такого отрицания встречаются [Марков 1981: 20].

Каждый серьезный исследователь заинтересован в том, чтобы несколько сократить существующие недостатки реконструкции. Очевидным представляется постулат, что всякое действительное тождество должно быть доказуемым и что семантическая вариация — гораздо более распространенный феномен, чем абсолютное тождество значений. Можно понять поэтому мнение, что историческая лексикография должна всегда сомневаться в однозначности слова современного языка и того же слова в древний период истории языка [Němec 1980: 92]. Столь же важно для семантической реконструкции требование возможной точности описания значения, т. е. функциональной синонимии. Вероятно, только на этом пути восполнимы «недостающие звенья», которые всех так волнуют. Наверное, разные исследователи видят по-разному минимизацию недостатков реконструкции. Так, австрийский лингвист О. Панагль в специальной работе о семантической реконструкции в этимологии относит к числу достижений лексической семантики за время после выхода известной работы Э. Бенвениста компонентный, или признаковый, анализ [Panagl 1980: 317 и след.]. Но, учитывая ошибки субъективизма прямолинейной экстралингвистичности или же вообще недостаточно тонкую методику членения значений на семы даже при хорошо наблюдаемой семантике слов, трудно возлагать особенно большие надежды на такой анализ при реконструкции древних состояний. Если дело обстоит так, то говорить об ощутимом прогрессе за 30 лет, истекших со времени появления статьи Бенвениста, не приходится. По-прежнему необходимо стремиться к более точному описанию употреблений слов, к изучению факторов появления нового вида значения, к определению основного понятия и его различных реализаций (вспомним сказанное выше о значении слова и его употреблениях вслед за В. В. Виноградовым).

Исследовательская практика учит нас также отличать способы, ведущие к разрешению реальных проблем, от тех, которые только доказывают общеизвестное (так, впрочем, рекомендовал и Бенвенист [1974: 348], предостере-

гавший и против ложных «очевидных» истин, которыми, кажется, активно питается практика компонентного анализа лексических значений, ср. выше о воззрениях на состав значений слов *дантист* и *птица*). Нам нечего, например, возразить против одного опыта интерпретации формальными методами нашей этимологии — семантической реконструкции слав. **pěti*, **pojǫ* 'петь' ← 'совершать возлияния (божеству)' на основе тождества (нейтрализации) с презентным **pojǫ*, рус. *пою* в составе **pojiti* 'поить', кроме того, что этот новый род записи (см. ниже) уже известных данных ('торжественно петь', 'возносить молитвы' как центральные значения и 'гласить', 'петь' как периферийные значения, с последующим выделением способа совершения жертвы — магического песнопения [Homolková 1983: 119 и след.]) не добавляет ничего нового к нашей давней этимологии 1959 г. [Трубачев 1959: 135 и след.]. Более того, не будь той этимологии, которая, оставаясь гипотезой, одновременно представляла собой довольно реальный шаг в направлении воссоздания неизвестного (забытого) языкового прошлого, не было бы и этой попытки интерпретации формальными методами того, что уже сказано этимологией.

Возвращаясь вновь и вновь к бенвенистовскому требованию более точного описания употребления слов, без которого вскрытие условий появления нового вида значения существенно затрудняется и, наоборот, повышается риск неточной оценки природы процесса, мы воспитываем в себе зоркость и наблюдательность, а вместе с ними способность фиксировать свое внимание на ранее не замеченных несоответствиях. Мы имеем в виду поучительные случаи, когда привычная, традиционная и, казалось бы, точная запись значения (подчеркнем, что здесь имеется в виду не происхождение, а именно запись современного, живого значения!) не столько показывает основное значение слова, сколько скрывает его от нас за своего рода идиоматизированным (связанным) словоупотреблением. Уточнив, скорректировав традиционную запись значения, мы заметно облегчаем семантическую реконструкцию.

Наиболее подходящими кажутся при этом примеры из недавней практики подготовки 12-го выпуска «Этимологического словаря славянских языков», посвященного, как известно, реконструкции праславянского лексического фонда и его более глубоких, индоевропейских, связей. Остановимся в первую очередь на словах праславянского гнезда **krasa* — **kresali* — **krěsiti*. Так, глагол **kresati* устойчиво обнаруживает значение, которое мы привыкли передавать как 'высекать огонь, искру', ср. значение русского (прежде всего диалектного) слова *кресáть*. В отдельных славянских языках и диалектах **kresati* выступает также в значении 'бить, ударять', в чем сказывается видимое влияние рифмы **kresati* с глаголом **tesati*, позволяющее отвести при семантической реконструкции значение 'бить' как вторичное для **kresati*. Но

внимательное изучение толкования значения **kresati* как ‘высекать огонь / искру’ (поддающегося переформулировке и как ‘выбивать огонь / искру’) наряду с некоторыми другими соображениями, о которых ниже, позволяет увидеть и в этом случае связанное, идиоматическое и, как увидим, вторичное употребление, ср. хотя бы постоянно наличествующее или подразумеваемое дополнение / объект — *кресать* (*огонь, искру*). Иллюзия единственной возможности именно этого толкования значения (*кресать* ‘высекать, выбивать огонь, искру’) поддерживалась в реальном плане техникой добывания огня ударом. Однако дальнейшее внимательное изучение, во-первых, типологии называния способов добывания огня в более далеких языках, а во-вторых, показаний производных и других слов лексического гнезда **kresati* в славянских языках упорно свидетельствует, что толкование значения *кресать* ‘высекать, выбивать (огонь)’ есть не более как запись значения, одна из возможных записей значения, которое могло быть записано и иным способом, более адекватным этимологии слова (например, ‘добывать (огонь, искру)’).

Постоянная идиоматическая спайка глагола и дополнения слав. **kresati ognь* дает нам право обратиться к равнозначным парам, например лит. *ùgnį kùrti* ‘разжигать огонь’, далее — нем. *Feuer anstiften*, *Feuer anmachen*. Интересно при этом, что лит. *kùrti*, в составе идиоматического сочетания *ùgnį kùrti* означающее действие ‘разжигать’, обладает — как основным — значением ‘создавать, производить’, что, в свою очередь, позволяет правильно взглянуть на значение ‘разжигать’ как на вторичное для глагола *kùrti*, иначе говоря — его идиоматизированное употребление. Что же касается немецких глаголов *anstiften*, *anmachen*, то для всякого элементарно владеющего немецким языком ясно их основное значение ‘устраивать, создавать, делать’ что угодно, в том числе и *Feuer* ‘огонь’.

Следовательно, типология сочетаний ‘разжигать огонь’ в других языках показала реальность их первоначального значения ‘создавать огонь’, а это существенно и для наших поисков исходной семантической базы славянского словосочетания **kresati ognь*. Обращение к другим словам гнезда **kresati* подтверждает наличие внутренних данных в пользу такого типологического вероятия. Достаточно взять родственный этимологический глагол **krěsiti* с его важным значением ‘о ж и в л я т ь, освежать, воскрешать’, непосредственно производный от имени **krěsъ* названия летнего солнцеворота, т. е. прежде всего возрождения (а побочно и связанного с ним купальского огня). Деривативное продление вокализма **kresati* > **krěsъ* сомнений не вызывает, а иная этимологизация последнего (**krěs-* < **krěp-s-* < **kroip-s-* в связи с семантикой ‘оборачивать, поворачивать’) не кажется приемлемой. В свете изложенного допустимо реконструировать древнее значение словосочетания **kresati ognь* как ‘создавать огонь’ (следует признать, что это пример того, как собственно

реконструкция значения сливается с углубленным, правильным пониманием современного значения, см. об этом в начале раздела).

Окончательный вывод гласит, что значение глагола **kresati* безотносительно к названному контексту было ʽсоздавать, творитьʼ и что слав. **kresati* этимологически родственно лат. *creō* ʽсоздавать, творить, производитьʼ, *crēscō* ʽрастиʼ. Имя **krasa*, связанное с **kresati*, **krěsъ*, **krěsiti* чередованием *a* / *ě*, или **ō* / **ē*, семантически убедительно реконструируется как ʽцвет жизниʼ, откуда затем — ʽкрасный цвет, румянец (на лице)ʼ, значение, которое иногда упрощенно понимают как безусловно вторичное, недооценивая древний синкретизм красного именно как цвета жизни; далее — ʽцветение, цвет (растений)ʼ, ср. укр. диал. и блр. диал. *краса* в последнем значении, наконец, на описанной базе общее значение — ʽкрасотаʼ.

Излагая нашу семантическую реконструкцию глагола слав. **kresati*, рус. *кресать* (и т. д.) как ʽсоздаватьʼ, уместно вспомнить о древних воззрениях на живую природу огня. Древняя семантика, стертая в центре лексического гнезда, в производящем слове, лучше закрепилась на периферии, в словообразовательных производных **krasa*, первоначально ʽцвет жизниʼ, **krěsъ* ʽоживление, воссоздание, воскрешениеʼ — в полном соответствии с представленной выше концепцией автономности деривации словообразовательного и семантического уровней, а также с 4-м законом аналогии Куриловича.

Этимология, кстати, расширяет пределы лексического гнезда **kresati* и дает дальнейшие подтверждения семантической реконструкции. Так, вполне логично отнести сюда же слав. **krějati* / **krьjati* с его первоначальной семантикой выздоровления, обретения сил, ср. ст.-чеш. *křáti*, *křiti* ʽприходить в себя, набираться силʼ, рус. диал. *кре́ять* ʽвыздоравливать, поправлятьсяʼ и укр. *крiя́ти*, блр. *крыя́ць* в близких значениях (оппозитивные значения ʽслабеть, терять силы, чахнуть, вянуть, хиреть, хворатьʼ у продолжений слав. **krějati* / **krьjati* в болгарском, а также в русских диалектах на этом фоне получают объяснение как вторичные, появившиеся в результате префиксальных сложений с *ot-* и последующего депрефигирования, что породило к тому же и темные случаи, например повторное префигирование и т. п.). Важно здесь отметить старое сближение **krějati* / **krьjati* с лат. *creō*, *creāre* ʽсоздаватьʼ (Маценауэр) и наличие той же древней семантики жизни, что и в **kresati* и непосредственно родственных последнему формах (см. выше).

Затронув бегло выше терминологию и семантику купальского огня (**krěsъ*), мы не можем пройти мимо основных соответствующих слов, имен и значений, поскольку они интересны как сами по себе, так и в связи с занимающей нас специально коллизией между привычной, традиционной записью и углубленным описанием значения, иначе — его реконструкцией. Славянский глагол **kǫpati* обычно сопровождается в словарях толкованием

'погружать в воду для обмывания, освежения, lavare' (таковы рус. *купа́ть*, цслав. **кѫпати** и др.). Может создаться впечатление, что, например, глаголы *купать* и *мыть* в русском языке, его диалектах и их соответствия в других славянских языках близко перекрещиваются и во многом синонимичны. Однако не случайно указывалось также, что **kǫpati*, *купать* обозначало не просто (гигиеническое) мытье, а ритуальное омовение, очищение. Несмотря на случаи семантической интерференции **kǫpati* и **myti* (ср. *купа́ться* в значении 'мыться в бане' в отдельных русских диалектах или, скажем, польск. *kąpiel* в значении 'ванна', приспособленное для обозначения реалии современной цивилизации), первоначально это были слова с четко различимыми сферами употребления. Более адекватным первоначальному употреблению следует признать такое, когда, говоря русскими словами, м о ю т с я в бане (ср. Даль I, 45: баня — «строение или покой, где моются и парятся»), а к у п а ю т с я обычно в открытых водоемах, реках. Тонкие остаточные различия словоупотреблений вроде *купать детей*, *купать стариков* (а не *мыть*...) ведут, очевидно, дальше — в ритуальную сферу. Похоже, что **kǫpati*, *купать*, как ни странно, выпадает из банной терминологии в собственном смысле, так что этимологии, ведущие этот глагол от мытья, применения воды, веника, недостоверны. Недвусмысленным показателем ритуального характера термина **kǫpati* служит то, что Иоанн Креститель был первоначально назван Иваном *Купало* для перевода греч. βαπτιστής, собственно, 'купатель, погружатель', а, например, не **Мов(ь)никъ* или **Мыльникъ*, ср. и немецкое название Иоанна Крестителя — *Johannes der Täufer* (от *taufen*, собственно, 'погружать, освящая', потом 'крестить'), а не *Johannes der *Bader* (от *baden* 'купать', первоначально 'мыть в жаркой бане').

Специфично, что термины 'мыть' и 'купать' имеют и различают не все языки. Богатый латинский обозначал и то, и другое одним словом *lavō*, *lavāre*, почему и вынужден был для высокого нового смысла 'окунать в священную купель, крестить' перейти на греческую терминологию: *baptizare*, *Baptista*. Славянский глагол **kǫpati*, напротив, на ранней стадии христианизации подошел для передачи греч. βαπτίζω 'крестить — освящать, погружая в купель' (ср. свидетельства производных — Купало, купель), явившись предтечей возобладавшего потом повсеместно в славянских языках глагола **krьstiti*, рус. *крестить* и т. д. (от имени Христа) подобно тому, как сам Иоанн Креститель явился предтечей Христа. Этот эпизод семантической истории **kǫpati* почти забыт по причине экспансии **krьstiti*, но он имел место и доступен реконструкции — опять, как видим, по данным семантики производных и другим восстановимым особенностям употребления. Эти указания сводятся к тому, что **kǫpati* было ритуальным термином: 'омывать с целью очищения, врачевания', возможно также — 'пользовать особыми средствами

или травами'. Любопытно при этом, что терминологическая пара *myti — *kǫpati не извечна в славянском: если *myti слово достоверно индоевропейского происхождения (ср. ниже), то *kǫpati не имеет глагольных индоевропейских соответствий и является, очевидно, славянским благоприобретением в особых условиях. Вероятный культовый характер слова *kǫpati, первоначально 'ритуально очищать' (ср. выше), заставляет вернуться к старой этимологии Мерингера — от названия конопли *kanap-, откуда *kǫpati 'пользовать коноплей'. Здесь лишь с краткостью напомним, что конопля исконно известна Северному Причерноморью, «Скифии» и ее древним этносам, как и ее применение скифами в особой паровой конопляной бане, о котором поведал еще Геродот. Полагают, что скифы одурманивали себя паром разогретой конопли в культовых целях. Вероятен и генезис имени конопли в самих индоиранских диалектах Северного Причерноморья. В таком случае *kǫ pati проделало путь из Скифии к славянам, как и ряд других древних сакральных терминов славян.

И.-е. *meų-, *mū̆- 'мыть, очищать', к которому восходит праслав. *myti, рус. *мыть*, лежит в основе важнейших лексических значений, которые сто́ят того, чтобы сказать о них при обсуждении проблем семантической реконструкции, и прежде всего — это значения 'красота, красивый' и 'мир', понятый как 'красота'. Правда, это не славянские обозначения красоты и мира; славянский, унаследовав индоевропейскую глагольную основу 'мыть (очищать физически)', пошел при формировании значений и терминов для красоты и мира своим путем: как мы отметили выше, для обозначения красоты в славянском широко использовано обозначение цвета жизни, румянца — *krasa (и родственные). Зато лат. *mundus* 'нарядный, чистый, красивый' — это, собственно, 'мытый'.

Венцом семантической деривации этого ряда является лат. *mundus* 'мир, вселенная', первоначально — употребление в этом новом значении слова *mundus* со значением 'украшение' (субстантивация вышеназванного прилагательного), семантическое новообразование *mundus* I 'украшение' → *mundus* II 'мир' в духе греч. κόσμος 'красота' и 'мир' (как упорядоченная красота) (остается добавить, что в основе греческой семемы и идеи красоты реконструируется образ причесанных, приведенных в порядок волос — κόσμος < и.-е. *kes- / *kos-). Таким же путем семантического калькирования в конечном счете греч. κόσμος, образовано готск. *fairhus* 'мир' < 'красота'. Так, семантическая реконструкция вскрывает самобытность формирования первичных понятий («красота») и ареальный характер формирования понятий более высокой культуры («мир, вселенная»). Но и здесь ареальное оказывается, скорее, территориально ограниченным, поскольку в других языках названия мира реконструируются уже не как обозначения красоты и внешнего порядка.

Так, слав. **mirъ*, рус. *мир* — это прежде всего 'внутренний порядок, согласие', тогда как слав. **světъ*, рус. *свет* (*весь свет*, *белый свет*) — это, как и др.-инд. *loka-*, 'мир-свет', 'видимый мир', а западногерманское особое название мира (англ. *world*, нем. *Welt*) — это 'мир-век, человеческий возраст' [см. об этих словах: Pokorny 1959: 741; Buck 1971: 12 и след.; Walde—Hofmann 1972: 126; Kluge 1967: 851]. Они показывают, какой школой лингвистической и культурной типологии могут быть занятия семантической реконструкцией.

Опираясь на семантическую типологию и реконструкцию, оказывается возможным свести воедино как будто несвязанные слова разных языков, воссоздать на их базе древнее слово и значение. Например, в «Этимологическом словаре славянских языков» (вып. 1, с. 142 и след.) впервые было восстановлено праславянское слово **bakuľa* / *bakъľa*, объединяющее слова и значения: сербохорв. *бакуља* 'заболонь (в дереве)', рус. диал. *баклýша* 'заболонь', 'чурбак', 'яма с водой', укр. *бакáль* 'озеро' и некоторые другие, либо совершенно пропущенные в прежних славянских этимологических словарях Миклошича и Бернекера и в новом «Праславянском словаре» [SP 1974], либо толкуемые как разнородные, в том числе заимствованные слова. На самом же деле ни заимствование из лат. *baculum*, ни этимологическая связь с рус. *бакалея* 'колониальные товары' (последнее — из арабского) здесь не имели места. Зато соседство значений 'заболонь, самый молодой и светлый слой древесины' и 'яма с водой', 'болото' оказывается не случайным, а возводимым к семантически единому обозначению белого, светлого. Ср. параллели праслав. **bolna*, **bolnь*, **bolnьje*, обозначение как древесной заболони, так и болотистых, мокрых пространств в разных славянских языках, а также праслав. **bělь* в обоих значениях [ЭССЯ. Вып. 1]. Обозначение белым, светлым как заболони дерева (ср. лат. *alburnum*), так и болота, в частности мохового (ср. и общее название болота праслав. **bolto*, рус. *болото*), оказывается довольно устойчивым и встречаемым явлением семантики слов. И заболонь, и болотные пространства характеризует, кроме светлого цвета, еще и такое общее реальное свойство, как склонность к загниванию. Семантическая реконструкция вскрывает филиацию образов и лексических значений 'белое' → 'заболонь дерева' → 'нарост (шишка, прыщ, пузырь)'; 'палочка, колышек' (собственно, 'обеленная, оструганная палочка'): 'болотистое место' [см. также: Трубачев 1975_1: 31]. Семантическая реконструкция — важная сторона праязыковой реконструкции, как об этом уже было сказано в начале настоящего раздела. Сейчас можно считать наиболее продвинутой практику праязыковой реконструкции для славянского (праславянского) языка, поэтому следует отметить соответствующий диалог, явно или неявно возникающий между двумя основными словарями [SP; ЭССЯ] и затрагивающий теоретическую и практическую сторону дела. Из всех возможных видов праязыко-

вой реконструкции: фонетико-фонологической, лексико-словообразовательной и т. д. — наиболее трудной является семантическая реконструкция древнего слова: это особенно очевидно при признании автономности (анизоморфизма) каждого уровня, на чем мы специально останавливались выше. Ясно также, что семантической реконструкцией в полном смысле нельзя считать бесхитростную транспозицию засвидетельствованных значений слов отдельных славянских языков в праславянскую эпоху. Это путь возможных ошибок. Так, краковский «Праславянский словарь» приводит следующие значения праслав. **bujь*: 'сильно разросшийся, развитый', 'мощный, сильный, безудержный, неистовый', 'неукротимый', 'бешеный, глупый' [SP 1974: 441]. Ниже, в этой статье словаря, мы встретим эти же значения при отдельных славянских лексических соответствиях. Тем самым вместо реконструкции мы получаем неэкономную тавтологию, от которой авторы «Этимологического словаря славянских языков» с самого начала отказались. Дело в том, что все перечисленные значения содержатся и у нас в обзоре слов под праслав. **bujь* [ЭССЯ. Вып. 3. С. 83—84]. То же отличие между трактовкой в обоих словарях производного **bujьnъ*, как и других слов. У нас нет доказательств наличия всех перечисленных весьма разных значений у **bujь* и **bujьnъ* уже в праславянское время. Можно заметить, что в «Праславянском словаре» реконструируются для праславянского также явно вторичные, переносные значения 'безудержный', 'бешеный, глупый', но оставляется без внимания значение 'крупный', о первичном и этимологическом характере которого говорит происхождение праслав. **bujь*, **bujьnъ* от и.-е. **bhou-* / **bhū-* 'расти'. Например, для блр. *буйны́* значение 'крупный' является основным, и оно архаично, а не инновационно на остальном славянском фоне, хотя случаев значения 'крупный, большой' меньше по сравнению с преобладающими другими значениями (см. выше). К сожалению, знание значений этимологически родственных форм никогда полностью не заменит знания реального значения исследуемого слова. Обольщаться насчет этимологии нецелесообразно, как и недооценивать ее важность, хотя примеры того и другого есть и в работах крупнейших лингвистов. Ни суммирование известных значений, ни их праязыковая транспозиция, ни достоверные этимологические соответствия полной гарантии реконструкции реального древнего значения не дают. Полезно отдавать себе отчет в том, что мы лишь приблизительно нащупываем древнее значение или, вернее, его основные признаки. Описанное показывает не слабость этимологического метода семантической реконструкции, а трудности самой реконструкции (при этом пример с **bujь*, **bujьnъ* отнюдь не самый трудный, скорее наоборот).

Не более чем изоморфистским предубеждением оказывается мнение о том, что чем «прозрачнее» словообразовательная структура, тем яснее перво-

начальное значение. В нашей работе, откуда черпаются рассматриваемые здесь материалы [Трубачев 1985_2], разобран — как наиболее яркий в этом смысле — феномен названий ломбарда, когда между «прозрачной» структурой европейских названий ломбарда (франц. «гора благочестия», нем. «житель Ломбардии») и реальным значением этих слов (‘кредитное учреждение, ссужающее деньги под залог’) нет ничего общего. Не следует, однако, принимать за пессимизм трезвое сознание относительности наших возможностей. Именно языкознание, его сравнительный метод и внутренняя реконструкция позволяют существенно продвинуться в понимании древних лексических значений там, где уже не может помочь письменная истории. Нами также разбирается более подробно случай со словом *изгой*, когда мы в состоянии подсказать и историкам общества, что первоначальным для данного термина было не значение ‘отверженный, отщепенец’, как обычно думают, а скорее что-то вроде ‘иждивенец, ограниченный в правах’, как это показывает более внимательный учет семантики мотивирующих глаголов, сохранившихся в производном рус. *иждивение* [Там же].

В обоих словарях праславянского языка [SP; ЭССЯ] остро стоит проблема омонимичных слов и их значений. Здесь имеются расхождения, и они, по-видимому, поучительны. В нашем словаре дана одна словарная статья **drobъ* [ЭССЯ. Вып. 5. С. 119—120], объединяющая слова со значениями ‘внутренности’, ‘кусочки, крошки’, ‘осадок, подонки’, ‘дробь’, ‘мелкие домашние животные’. Морфологически всю собранную здесь славянскую лексику объединяет соотносительность с глаголом **drobiti* ‘мельчить, разделять на кусочки’: семантически общими для этих имен являются близкие значения ‘остаток’, ‘мелочь’. Как ‘остаток’ можно понять значение ‘внутренности, потроха’ в ряде славянских языков, поскольку легкие, сердце, печень обозначены, как остаток после отделения более ценных сортов мяса. Осадок, подонки — это тоже ‘остаток’, а также и ‘крошево, крошки’ (оба основных значения при этом как бы нейтрализуются в одном — ‘остаток’ / ‘мелочь’). Понятен поэтому и достаточно старый принцип обозначения домашней птицы и мелких домашних животных как того, что остается за вычетом крупной скотины. Отсюда ясно, как единое первоначально слово праслав. **drobъ* с общим значением было употреблено вторично для обозначения разных объектов в отдельных славянских языках. Трактовка краковского словаря [SP IV: 245—248] не кажется последовательной (ниже разрядка наша. — *О. Т.*): *drobъ* 1. ‘то, что о с т а е т с я (осадок) после варки пива’; **drobъ* 2. ‘мелкие предметы, мелочь, отходы, о с т а т к и, крошки’, ‘мелкие домашние животные, птица’; *drobъ* 3. ‘внутренности животных (обычно сердце, легкие, печень)’. С равным успехом можно было бы, множа омонимы, выделить и *drobъ* 4. ‘мелкие домашние животные и птица’, объединенное в «Праславянском словаре» вместе с

'мелкими предметами', как можно было бы и не делать этого, справедливо увидев в *drobъ* 1 (2, 3, 4) вторичную лексикализацию, снимаемую при древней реконструкции единого **drobъ*. Конечно, там, где речь может идти только о приближении к реальному древнему значению слова, всегда будут возможны разногласия. Польские исследователи праславянской лексики и семантики, в свою очередь, отмечают случаи своего несогласия с нашей трактовкой, кроме рассмотренного **drobъ*, также, например, алфавитно близкого **dropъ* 'драный, рваный' и т. п. [ср.: Boryś 1981: 35 и след.].

Понятны неослабевающие стремления объективировать представления о зыбкой стихии семантических изменений. Правда, в этих поисках и рекомендациях относительно немного новизны, гораздо больше внешнего разнообразия изложения и затейливости терминологии. А научная суть вращается примерно вокруг тех же одной-двух старых истин: «Если мы не можем определить место какого-нибудь значения, то посмотрим, куда идут его типичные связи. В историческом лексиконе есть много значений, которые недостаточно ясны. В таких примерах мы прибегаем к сеткам типичных связей» [Novak 1982: 165]; или: «Для раскрытия семантического состава лексики определенной эпохи очень важно семантическое соседство слов в языке» [Там же: 168]. Актуальность этого давно известна. Гораздо хуже обстоит дело с осуществлением замыслов кодификации «типичных связей» значений, их филиации в разных языках. На практике чаще встречаются примеры индивидуального развитого «семантического инстинкта» исследователя-этимолога (о чем см. выше), перегруженной человеческой памяти. Опытов же кодификации семантической эволюции слов в науке почти нет, не считая одного законченного, но неполного словаря «избранных синонимов» американского индоевропеиста К.Д. Бака [Buck 1971]. Есть несколько проектов, ср. далекий от завершения «Словарь сравнительной семасиологии» И. Шрёпфера [WVB 1979]; один проект принадлежит и автору этих строк [Трубачев 1964: 100 и след.], ср. реплику по его поводу [Havlová 1965].

Отсутствие полных систематизированных справочников в такой интересной материи, как типология эволюции лексических значений, не может не показаться заметным отставанием в наше время проектирования банков информации. Однако не следует спешить с категорическим осуждением. Кодифицированные инвентари семантической эволюции (если таковые в будущем появятся) едва ли будут предназначены для широкого читателя. Основной фонд семантической типологии, который они, возможно, будут содержать, уже находится в обороте, правда у немногочисленных исследователей лексической семантики. Но прежде нас замечено, что серьезность и важность научного направления не измеряется количеством его сторонников. Семантическая реконструкция представляется нам одним из таких общекультурно важ-

ных направлений, для здорового состояния которого достаточно наличия немногочисленных квалифицированных исследователей; у каждого такого специалиста в голове свой «второй Бак (Buck)», выработанный годами практики и чтения. Кодифицированный инвентарь сократит годы, но только годы способны создать исследователя, его интуицию и память. Ведь и хорошие поэты никогда серьезно не нуждались в словарях рифм.

Мы и сейчас уже умеем отличать сложные значения от простых, вторичные — от первичных, типологически подтвержденные реконструкции — от типологически изолированных. Например, исландский лингвист И. Хильмарссон реконструирует семантическое развитие и.-е. **n̥ĝhū-* 'язык' из первоначального 'рыба (**ĝhū-*) внутри (**n̥-*)' на основании сходства второго компонента этого слова и названия рыбы — и.-е. **ĝhū-* / **ĝhdhū-* [Hilmarsson 1982: 355 и след.]; связующее звено автор видит в распространенном назывании мускулов «рыбой», а «язык — это мускул». Но дело даже не в том, что вообще-то в индоевропейских языках еще более популярен принцип называния мышцы, мускула «мышью, мышкой», а, скорее, в том, что Хильмарссон исходит из современного понимания анатомии («язык — это мускул») и без колебания приписывает его древним индоевропейцам, для которых язык человека был, конечно, чем-то особенным. Чистой конструкцией оказывается смежная этимология В. Винтера, который возводит индоевропейское название языка к еще более древнему сложению **n̥dh-ĝheAw-* '(то, что) внизу зева / под нёбом' [Winter 1982: 167 и след.]. Более адекватной древним воззрениям кажется семантическая реконструкция, признающая сакральную роль человеческого языка и его названия и связывающая **n̥-ĝhū-* 'язык' с и.-е. **ĝheu̯-* 'совершать возлияния; звать', ср. тождество др.-инд. (вед.) *juhū́-* 'язык' и *juhū́-* 'ложка (для жертвенных возлияний)', редупликация того же корня [ЭССЯ. Вып. 6. С. 74—75]. Сакральность названия языка позволяет лучше понять последующие разнородные преобразования начала этого слова (как табуистические): лат. *lingua*, стар. *dingua*, готск. *tungō*, лит. *liežùvis* и др., в том числе метатезы.

В свое время у нас вызвал сомнение слишком обобщенный тезис Х. Шустер-Шевца о звукоподражательном происхождении многих славянских и индоевропейских названий деревьев [Schuster-Šewc 1975: 13 след.], тогда как, по нашим наблюдениям, известен только один более или менее достоверный случай образования названия дерева от звукоподражательного глагола — название бузины, т. е. постулируемый семантический переход оказывался уникальным. Отсюда важность знания градации типологических оценок семантических переходов — от констатации недостоверности и уникальности (так, проверка пока не подтвердила достоверность семантического развития 'тыква' > 'трактир', в том числе и для известных русских примеров

кабак I и *кабак* II [Havlová 1979: 183—184]) до различных степеней возможного, помня при этом, что «возможно» еще не значит «фактически обязательно» [Kopečný 1975: 23; Havlová 1979: 183—184]. Семантическая реконструкция средствами этимологии — не только важная самоцель, но и один из источников реконструкции древней культуры — духовной и материальной. В первом из этих разделов культуры лингвистическая реконструкция смыкается со сравнительной мифологией. Применение лингвистической (семантической) реконструкции в разделе истории материальной культуры особенно ощутимо для реконструкции культуры материалов недостаточной сохранности — «деревянной» культуры. Археология мало что дает для восстановления древней посуды и орудий из дерева, тогда как этимологизация названий палицы, палки, óжега в русском и других славянских языках от соответствующих глаголов *палить* и *жечь* помогает полнее представить масштабы применения древней техники закаливания деревянных орудий и предметов вооружения — обжиганием на огне [Němec 1983: 197—198 и след.].

Наблюдаются и неиспользованные случаи перекрестных свидетельств этимологии (семантической реконструкции) и археологии. В этом смысле показательна реконструкция древнего значения праслав. **kǫtja*, предложенная и обоснованная в 12-м выпуске «Этимологического словаря славянских языков». Праслав. **kǫtja*, восстанавливаемое на основе болг. *къ́ща* 'дом', сербохорв. *кȕћа* то же, словен. *kóča* 'хижина' и целого ряда слов в восточнославянских диалектах (русских, украинских, белорусских), при характерном отсутствии в западнославянских языках, мы объясняем как производное от названия угла — **kǫtъ*. Этой, в общем, прозрачной словообразовательной связи не хватало до сих пор семантического обоснования. Суть последнего состоит в связи слова **kǫtъ* с огнем, очагом, ср. болг. диал. *кът* 'место для сидения близ очага' и соответственно значение 'помещение с очагом' у болг. *къ́ща*. Значения 'помещение с очагом', 'кухня' вообще характерны для продолжений праслав. **kǫtja* в южнославянских языках, но близкие следы существуют и у восточнославянских соответствий, хотя они привлекли меньше внимания, ср. рус. диал. *кутя́* 'часть избы перед русской печью', укр. диал. *ку́ча* 'узкое пространство под русской печью', блр. диал. *ку́чка* 'место под печью'. Весьма показательны и значения производящего слова **kǫtъ* (также в южнославянском и восточнославянском): 'место у очага', 'часть дома, где раскладывался очаг', 'задняя часть или угол в русской печи', 'кухня' и т. п. Известно к тому же, что слав. **kǫtъ* обозначает не всякий угол, а внутренний. Таким путем постепенно вырисовывается обозначавшееся с помощью **kǫtja* примитивное жилище прямоугольной формы (ср. **kǫtъ* 'угол') с очагом или печью в углу, что само по себе уже есть реконструкция не только древнего лексического значения, но и фрагмента древней культуры.

По данным археологических раскопок известно, что размещение очага (печи) в углу характерно для прямоугольных землянок и полуземлянок, типичных жилищ древних славян, причем не для всей их территории около середины 1 тысячелетия н. э., а, скорее, склавено-антского ареала (в терминах готского историка VI в. Иордана): такие жилища археологически не характерны для венедской территории, т. е. Северо-Западной Славии. Археологической картине весьма точно соответствует распространение **kǫtja* 'прямоугольное помещение с очагом в углу' только у южных и восточных славян, но не у западных. При этом полезно справиться в археологических исследованиях о типах жилищ древних славян и ареалах их распространения [Donat 1979: 184; Седов 1979: 114—115; 1982: 14—15].

Но вернемся к языковым проблемам семантической реконструкции. В языке пик языковой специфики приходится, как правило, на глагол. Отсюда не следуют прямолинейные обратные заключения об имени, однако исключительная грамматичность глагола остается фактом. Недаром глагол — излюбленный объект исследования для всех формализующих направлений. Это полностью относится и к признаваемому всеми семантическому своеобразию глагольной лексики [ср., например: Васильев 1981: 34 и след.]. В общем, нужно признать, что моменты формы (грамматики) и словообразования сохраняют эвристическое значение при такой неформальной реконструкции, как воссоздание древней семантики слова всюду, но в большей степени для глаголов, чем для имен. Однако тонкое и объективное исследование предполагает и умение критически работать с устоявшимися и общепринятыми суждениями, способность отличить достоверность от предвзятости. И, хотя нижеследующее утверждение может показаться отклонением от предшествующего вступления, утрированный примат глагола можно считать предвзятым суждением.

Идея этого примата, унаследованная от предшествующих поколений ученых и поддерживаемая компонентными и трансформационными направлениями лексикологов и семасиологов, заслоняет собой сложную и изменчивую реальность. Здесь мы коснемся только одной, правда обширной и важнейшей, проблемы глагольной каузации (каузативности) и только в интересующем нас плане, но с одновременной задачей показать принципиальную смежность, даже перемежаемость глагольного и именного в глагольной проблематике. То, что каузация — сложная категория и, следовательно, возводимая к другим языковым средствам, более простым или прежде всего иным, признается, но, кажется, не очень глубоко понимается, а популярный метод семантического перифразирования глагольного глагольным же (например *поить* = 'делать так, что кто-либо пьет') [Савичюте 1980] не раскрывает сущности явления и процесса и приводит вообще к ошибочному пониманию отглагольности, как увидим ниже.

Выше упоминался пример нашей реконструкции первоначально каузативного значения ('поить') у формально некаузативного глагола **pěti* [Трубачев 1959: 135 и след.], что служило в свое время и для автора, и для критики камнем преткновения: ожидалась правильная каузативная форма — слав. **pojiti*, рус. *поить*. Однако уже указывалось на поздний характер образования многих глаголов на *-iti* в славянских языках и на отыменность некоторых из них [Куркина 1965: 44 и след.]. Давно замечено также, что каузативная характеристика славянских глаголов на *-iti* — не первичная и не древняя их черта. Уже балтийские глаголы на *-ī-* четко некаузативны [Vaillant 1966: 417]. Показательна формальная и семантическая реконструкция некоторых достаточно старых славянских глаголов на *-iti*, например **věniti*: др.-рус., рус.-цслав. **вѣнити** 'продавать', но также 'покупать, выкупать' (**вѣномъ вѣнити**). Внешне и функционально каузативный славянский глагол **věniti* этимологически тождествен лат. *vēnīre* 'продаваться, быть проданным'. Сравнение это ценно тем, что лат. *vēneō*, *vēnīre* совершенно четко представляет собой свернутое словосочетание *vēnum īre*, т. е. сочетание глагола 'идти' с именем, что-то вроде 'идти на продажу'. Точность соответствия *vēnīre* = **věniti* позволяет нам допустить у славянского глагола в древности такое же лексическое значение, как и хорошо сохранившееся латинское значение: 'идти на продажу, продаваться'. Древнее страдательное значение, видимо, через промежуточное медиальное (**вѣномъ да ю вѣнить собѣ женѣ**. Исх. XXII. 16. XIV в.) лишь впоследствии обрело каузативный смысл. Оставляя в стороне интересный открывающийся аспект диахронического тождества глагольного форманта и глагола 'идти' (слав. **jьti*, и.-е. **ei-*), как и в целом рассмотрение этих древних отношений [Трубачев 1975_2: 11—12], укажем на отыменность каузатива **věniti* < **věno* 'плата, выкуп', важную для нас сейчас.

О т ы м е н н о с т ь к а у з а т и в н о г о г л а г о л а — таков тезис, который был в кратком виде предложен на лейпцигском симпозиуме по этимологии в 1972 г. на примере слав. **baviti* 'пребывать, медлить, проводить время' от имени **bava* (рус. диал. 'благосостояние', 'игрушка', блр. 'разговор'), а также **traviti* ← **trava*, **slaviti* ← **slava* [Трубачев 1975_1: 33]. Это толкование, специально развернутое позднее в «Этимологическом словаре славянских языков» [ЭССЯ. Вып. 1. С. 168 и след.], вызвало дискуссию как нетрадиционное и на симпозиуме, и в последующей литературе. И. Немец на симпозиуме 1972 г. возражал, что «поздний простой глагол (simplex) *baviti*, который О. Н. Трубачев производил в своем докладе от существительного *bava*, нельзя считать отыменным глаголом, а, скорее, результатом видовой депрефиксации: наряду с *zabyti* (← *byti*) уже в праславянском языке существовала каузативная видовая пара первичного типа *zabaviti* : *zabavjati*, от которой путем депрефиксации была получена видовая пара вторичного типа *zabaviti* : *baviti*

'забавлять', а от этого простого глагола в свою очередь было произведено отглагольное имя *bava* (= 'забава'. Даль, s. v. *бавить*)» [Němec 1975: 24].

В развитие доводов И. Немца о важности видовой депрефиксации и о том, что надо учитывать все гнездо соответствующих префиксальных и депрефигированных форм, выступил позднее в специальной статье В. Шаур. Ему импонирует концепция видовой префиксации / депрефиксации, выдвинутая Немцем. В целом, Шаур считает, что «каузативы на *-aviti* образовывались первоначально от глаголов на *-uti*, а затем по аналогии и от глаголов на *-yti* [Šaur 1980: 19 и след.]. Он считает важным, что префиксальные формы соответствующих глаголов, как правило, старше, чем простые: известны ст.-слав. *избавити*, *прибавити*, *пробавити*, но нет ст.-слав. **бавити*. В древности простых, непрефигированных форм Шаур в принципе сомневается. Он думает, что и семантика свидетельствует против направления деривации *slava* ⟶ *slaviti* ⟶ *proslaviti*. Равным образом он полагает, что глагол *traviti*, первоначально 'потреблять, истреблять', семантически ближе к глаголу *truti* 'уменьшаться, сокращаться', чем к имени *trava*, первоначально 'корм для скота вообще', откуда потом 'луговая растительность'. Большое значение чехословацкий лингвист придает тому, что нет ни простых глаголов **naviti*, **taviti*, ни имен **nava*, **tava*, но есть префиксальные глаголы *unaviti*, *otaviti* и производные от них, по его мнению, имена типа чеш. *únava*, *otava*.

Заключение Шаура совершенно однозначно: «Из приведенного материала, таким образом, вытекает правильность мнения И. Немца, что исследованные глаголы на *-aviti* являются отглагольными производными и что образование шло явно по пути типа *truti* ⟶ *otraviti* ⟶ *traviti* ⟶ *trava*. Мысль О. Н. Трубачева о том, что эти глаголы отыменны, а следовательно, образование шло по пути *truti* ⟶ *trava* ⟶ *traviti* ⟶ *otraviti*, не подтверждается хронологией засвидетельствованных форм» [Там же]. Оставляя несколько в стороне «хронологию засвидетельствованных форм», в которой возможен элемент случайного, обратимся к тому, что требует критического рассмотрения, поскольку автор уверенно говорит о «глаголах на *-aviti*», что ни в каком случае не является точным: можно говорить только о глаголах на *-iti*. Остроту антитезы префиксального / непрефиксального можно попытаться ослабить. Начнем с замечания, что для вероятных старых образований четкая видовая корреляция здесь, видимо, вторична, а первичны лексические отношения. Преимущественно лексико-семантическим было отношение простого и префиксального глаголов **truti* и **otruti*, ср. и наше современное *кормить* и *обкормить*. Затем от этих глаголов (на базе презентных форм **trovǫ*, **otrovǫ*) были правильно произведены (с продлением корневого $o \to \bar{o} = a$) имена **trava* и **otrava*, а от них, в свою очередь, глаголы на *-iti*: **traviti* и **otraviti*. Неясные случаи могут продолжать оставаться неясными, но основное на-

правление деривации было все-таки **bava* → **baviti*, **zabava* → **zabaviti*, а не наоборот.

Каузативность глаголов **baviti*, **traviti* (и, если угодно, префиксальных **zabaviti*, **olraviti*) и других на *-iti-* оказывается вторичной их каузативной соотнесенностью с **byti*, **truti* (**zabyti*, **otruti*) при первичной производности от имен **bava*, **trava* (**zabava*, **otrava*). Таким образом, наблюдается ф а к т и ч е с к а я   п р о и з в о д н о с т ь   о т г л а г о л ь н о г о   г л а г о л а   о т (п р о м е ж у т о ч н о г о) и м е н и.

Наша уверенность в магистральном направлении деривации **otovǫ* / **otyti* (глагол) → **otava* (имя) → **otaviti* (глагол), а не **otovǫ* / **otyti* → **otaviti* → *otava* получила существенную поддержку в виде следующего важного положения Куриловича: «...отглагольный глагол всегда отыменен по происхождению» [Kuryłowicz 1977: 102]. Самая грамматическая из языковых категорий тем самым преподносит нам урок, направленный против тенденций решать проблемы, в том числе формальной и семантической реконструкции, так сказать, «в чистом виде». Реальный итог в данном случае — смешанный (глагольно-именной) характер глагольной деривации.

Итак, приемы семантической реконструкции — это хорошая эмпирия (правильное описание значений и употреблений слов) плюс неизменный здравый смысл (готовность к пониманию специфики воссоздаваемой эволюции значения без анахронистических атрибуций современных воззрений древним эпохам) и плюс компетентность в типологии формирования близких значений в разных языках, и все это — на фоне прочного знания формально-этимологических приемов или принципов, за которыми должны стоять вся сравнительная грамматика и все общее языкознание. Более конкретное изложение приемов семантической реконструкции (демонстрируемых отчасти выше на примерах решения задач узловой важности) увело бы нас целиком в эмпирию, для чего рамки настоящего раздела слишком малы.

Литература

Абаев 1934 — *Абаев В. И.* Язык как идеология и язык как техника: Когда семантика перерастает в идеологию // Язык и мышление. II. Л., 1934.

Абаев 1948 — *Абаев В. И.* Понятие идеосемантики // Язык и мышление. XI. М.; Л., 1948.

Бахнарь 1982 — *Бахнарь В. И.* Относительно понятия семантического варианта // Вариантность как свойство языковой системы. (Тезисы докладов). М., 1982. Ч. 1.

Белый 1982 — *Белый В. В.* Американский дескриптивизм, его истоки и методологические основания: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1982.

Бенвенист 1974 — *Бенвенист Э.* Семантические проблемы реконструкции // *Бенвенист Э.* Общая лингвистика. М., 1974.

Васильев 1975 — *Васильев Л. М.* Методы семантического анализа // Исследования по семантике: Межвузовский научный сборник. Уфа, 1975. Вып. 1.
Васильев 1981 — *Васильев Л. М.* Семантика русского глагола. М., 1981.
Ермакова 1977 —*Ермакова О. П.* Проблемы лексической семантики производных и членимых слов: Автореф. дис. ... докт. филол. наук. М., 1977.
Иванов, Трубачев 1982 —*Иванов В. В, Трубачев О. Н.* Ф. П. Филин [Некролог] // ВЯ. 1982. № 4.
Кубрякова 1981 — *Кубрякова Е. С.* Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 1981.
Курилович 1962 — *Курилович Е.* Понятие изоморфизма // *Курилович Е.* Очерки по лингвистике. М., 1962.
Куркина 1964 — *Куркина Л. В.* О некоторых поздних образованиях в системе славянских глаголов на *-i-* // Этимология. 1964. М., 1965.
Лотман 1974 — *Лотман Ю. М.* Динамическая модель семиотической системы / ИРЯ АН СССР. Проблемная группа по экспериментальной и прикладной лингвистике. Предварительные публикации. Вып. 60. М., 1974.
Марков 1981 — *Марков В. М.* О семантическом способе словообразования в русском языке. Ижевск, 1981.
Маслова 1981 — *Маслова В. А.* Принцип противопоставления и его реализации в семантике языка (на лексическом материале): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1981.
Матијашевић 1982 — *Матијашевић Ј.* О синонимјi и синонимима // Лексикографиja и лексикологиja: Зборник реферата / Одговорни уредник Д. Ћупић. Београд; Нови Сад, 1982.
Савичюте 1980 — *Савичюте Г. С.* Предикаты цели и предикаты каузации (на материале флективных индоевропейских языков): Автореф. дис. ... канд. филол. наук. М., 1980.
Седов 1979 — *Седов В. В.* Происхождение и ранняя история славян. М. 1979.
Соссюр 1977 — *Соссюр Ф. де.* Труды по языкознанию. М.: Прогресс, 1977.
Телия 1981 — *Телия В. Н.* Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. М., 1981.
Толстой 1968 — *Толстой Н. И.* Некоторые проблемы сравнительной славянской семасиологии // Славянское языкознание. VI МСС. Доклады сов. делегации. М., 1968.
Трубачев 1959 — *Трубачев О. Н.* Следы язычества в славянской лексике. 1. *trizna*. 2. *pěti*. 3. *kobь* // Вопросы славянского языкознания. Вып. 4. М., 1959.
Трубачев 1964 — *Трубачев О. Н.* 'Молчать' и 'таять'. О необходимости семасиологического словаря нового типа // Проблемы индоевропейского языкознания. М., 1964.
Трубачев 1966 — *Трубачев О. Н.* Ремесленная терминология в славянских языках (этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966.
Трубачев 1975_1 — *Трубачев О. Н.* Словообразование, семантика, этимология в новом Этимологическом словаре славянских языков 1—3 // Slawische Wortstudien: Sammelband des Internationales Symposiums zur etymologischen und historischen Entforschung des slawisches Wortschatzes. Leipzig, 11—13.10.1972. Bautzen, 1975.
Трубачев 1975_2 — *Трубачев О. Н.* Несколько древних латинско-славянских параллелей // Этимология. 1973. М., 1975.
Трубачев 1976 — *Трубачев О. Н.* Этимологические исследования и лексическая семантика // Принципы и методы семантических исследований. М., 1976.

Трубачев 1980 — *Трубачев О. Н.* Реконструкция слов и их значений // ВЯ. 1980. № 3.
Трубачев 1983 — *Трубачев О. Н.* [Рец. на кн.:] *Pfister M.* Einführung in die romanische Etymologie. Darmstadt, 1980 // Этимология. 1981. М., 1983.
Трубачев 1984 — *Трубачев О. Н.* Историческая и этимологическая лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984.
Трубачев 1985_1 — *Трубачев О. Н.* О семантической теории в этимологическом словаре. Проблема омонимов истинных и ложных и семантическая типология // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985.
Трубачев 1985_2 — *Трубачев О. Н.* Праславянская лексикография // Этимология. 1983. М., 1985.
ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—. Вып. 1—.
Benveniste 1954 — *Benveniste E.* Problèmes sémantiques de la reconstruction // Word, 1954. V. 10, № 2—3.
Benveniste 1968 — *Benveniste E.* Mutations of linguistic categories // Directions for historical linguistics. Austin, 1968.
Blamár 1983 — *Blanár V.* K povahe a typológii sémantických príznakov // JČ. 1983. Roč. 34, č. 2.
Boryš 1981 — *Boryš W.* Prasłowiańskie przymiotniki dewerbalne z apofonią *o* : *ъ* (dial. **dropъ*, **stromъ*, **tromъ*) // Rsl. 1981. T. 41, cz. 1.
Buck 1971 — *Buck C. D.* A dictionary of selected synonims in the principal Indo-European languages. Chicago; London, 1971.
Dolník 1982 — *Dolník J.* Sémový rozbor obsahových rovín slova a jeho dynamiky // JČ. 1982. Roč. 33, č. 2.
Donat 1979 — *Donat P.* Zur Struktur der westslawischen Dorfsiedlungen // Rapports du III[e] congrès international d'archéologie slave. Bratislava, 7—14 septembre 1975. T. 1. Bratislava, 1979.
Gambarara 1977 — *Gambarara D.* Le entità ricostruite tra fonetica e fonologia // Problemi della ricostruzione in linguistica: Atti del convegno internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 1975 / A cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma, 1977.
Havlová 1965 — *Havlová E.* O potřebě slovniku sémantických změn // JA. 1965. № 4.
Havlová 1979 — *Havlová E.* Význam sémaziologie pro etymologický výzkum // LF. 1979. Roč. 4. T. 101.
Herbermann 1981 — *Herbermann C.-P.* Moderne und antike Etymologie // KZ. 1981. Bd. 95. H. 1.
Hilmarsson 1982 — *Hilmarsson J.* Indo-European "tongue" // JIES. 1982. Vol. 10. № 3—4.
Homolková 1983 — *Homolková M.* K systémovému výkladu sémantického vývoje slovesa pěti // SaS. 1983. XLIV. 2.
ILG — Introducción a la lexicografia griega. Madrid, 1977.
Jakobson 1980 — *Jakobson R.* The framework of language. Ann Arbor, 1980 [= Michigan studies of the humanities, 1].
Kluge 1967 — *Kluge F.* Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 20. Aufl., bearbeitet von W. Mitzka. Berlin, 1967.
Kopečný 1975 — *Kopečný F.* [Выступление в прениях] // SW. 1975.
Kuryłowicz 1949 — *Kuryłowicz J.* La nature des procès dits analogiques // AL. 1949. № 5.

Kuryłowicz 1965 — *Kuryłowicz J.* On the laws of isomorphism // Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego. Zesz. XXIII. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1965.

Kuryłowicz 1977 — *Kuryłowicz J.* Problèmes de linguistique indo-européenne. Wrocław, etc., 1977.

Martinet 1982 — *Martinet A.* Bilinguisme et diglossie: Les avatars d'une dichotomie ambigüe // La linguistique. 1982. Vol 18.

Martinet 1983 — *Martinet A.* Se soumettre à l'épreuve des faits // La linguistique. 1983. Vol. 19, № 1.

Němec 1975 — *Němec I.* [Выступление в прениях] // SW. 1975.

Němec 1981 — *Němec I.* Definicja jednostki znaczeniowej jako składnika „systemu systemów" (машинописные тезисы для V заседания Комиссии по лексикологии и лексикографии МСС, Варшава, ноябрь 1981 г.).

Němec 1981 — *Němec I.* Dějiny hmotné kultury a jazykověda // Arch. rozh. 1983. XXXV.

Novak 1982 — *Novak F.* Vprašanja pomenske analize leksike starejsih obdobij // Лексикографија и лексикологија: Зборник реферата / Одговорни уредник Д. Ћупић. Београд; Нови Сад, 1982.

Panagl 1980 — *Panagl O.* Zur Problematik semantischer Rekonstruktion in der Etymologie // Lautgeschichte und Etymologie. VI. Fachtagung der Indogermanischer Gesellschaft. Akten. Wien, 24—29. September 1978 / Hrsg. von M. Mayrhofer, M. Peters, O. E. Pfeiffer. Wiesbaden, 1980.

Peciar 1980 — *Peciar Št.* Vzťah polysémie a homonymie // Sas. 1980. Roč. 41.

Pfister 1980 — *Pfister M.* Einführung in die romanische Etymologie. Darmstadt, 1980.

Pokorny 1969 — *Pokorny J.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern; Bd. 1—2. München, 1959—1969.

Roider 1981 — *Roider U.* Griech. νυμός 'Mut' — ai. *dhūmaḥ* 'Rauch' // KZ. 1981. Bd. 95.

Šaur 1980 — *Šaur V.* Ke genezi sloves typu baviti, slaviti // Slavia. 1980. Roč. 49, č. 1—2.

Schuster-Šewc 1975 — *Schuster-Šewc H.* Modellierung semantischer Prozesse und Etymologie // SW. 1975.

SP — Słownik prasłowiański / Pod red. F. Sławskiego. T. I—V. Wrocław et al., 1974—1984.

Straková 1983 — *Straková V.* Sovětský přispěvek k teorii slovotvorného významu // SaS. 1983. Roč. 44, č. 4.

Szemerényi 1977 — *Szemerényi O.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages. Téhéran; Liège, 1977 [= Acta Iranica. Vol. 8: Textes et mémoires].

Szemerényi 1982 — *Szemerényi O.* Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. II. Die fünfziger Jahre (1950—1960). Heidelberg, 1982.

Vaillant 1966 — *Vaillant A.* Grammaire comparée des langues slaves. T. 3: Le verbe. Paris, 1966.

Vajs 1982 — *Vajs N.* O leksikografskoj definicji (od leksikografije do semantike) // Лексикографија и лексикологија: Зборник реферата / Одговорни уредник Д. Ћупић. Београд; Нови Сад, 1982.

Walde, Hofmann 1972 — *Walde A., Hofmann J. B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 5. Aufl. Bd. 2. Heidelberg, 1972.

Winter 1982 — *Winter W.* Indo-European words for 'tongue' and 'fish': a reappraisal // JIES. 1982. Vol. 10. № 1—2.

WVB — Wörterbuch der vergleichenden Bezeichungslehre / Hrsg. von J. Schröpfer. Bd. 1. Lief. 1/2. Heidelberg, 1979.

СЛАВЯНСКАЯ ФИЛОЛОГИЯ И СРАВНИТЕЛЬНОСТЬ. ОТ СЪЕЗДА К СЪЕЗДУ

Ihr naht euch wieder,
schwankende Gestalten…

Goethe. Faust

Вы вновь ко мне, туманные виденья…

Славистические съезды в этом веке начались в Праге и из Праги (I съезд славянских филологов — 1929 г.). Но даже следующий затем II регулярный Международный съезд славистов в Варшаве 1934 г. был все-таки слишком камерным (как-то давно в Кракове мне показывали коллективное фото его участников, человек 30, едва ли два-три процента от тысячных съездовских аудиторий последних десятилетий). Третий МСС должен был состояться в 1939 г. в Белграде, его сорвала война, но в общий реестр он все же зачислен.

Мое поколение пришло в науку после войны, и московский IV Международный съезд славистов 1958 г. был нашим первым славистическим съездом. Он и по всем своим параметрам был первым славистическим съездом нового времени, второй половины века. Тысячное участие (точнее, говорят, тогда собралось более 2000 человек) роднило его уже со всеми последующими съездами, но он отличался от них, смею утверждать это, небывалым подъемом, обилием организационно-научных инициатив (я не называю, они всем известны), а также неожиданным множеством собравшихся живых классиков, которых не успела выкосить война.

Фасмер, Кипарский, Мазон, Вайян, Белич, Гавранек, Лер-Сплавинский, Якобсон, Стендер-Петерсен, Виноградов… Никогда уже больше ни один съезд славистов не соберет равновеликого сонма имен. Наше поколение жад-

но смотрело на них, с восхищением вслушивалось в их речи, в дискуссии между ними, в их русский язык, которым они (почти все) замечательно владели. Но увы, также ясно было, что они скоро уйдут. Поэтому — как не вспомнить тех, у кого достало прозорливости, чтобы, глядя на нас тогда, назвать тот съезд нашим съездом. Храню об этом точное воспоминание... Теплый сентябрьский день 1958 г. От станции метро «Университет» в Москве отходит автобус № 111 в сторону главного здания МГУ. Автобус довольно полон, не всем удалось сесть. В окно виден Владимир Николаевич Сидоров, он улыбается своей доброжелательной улыбкой тому, кто остается снаружи и говорит: «Это ваш съезд»...

* * *

В сентябрьские дни московского съезда славистов у меня родился сын. Сорок лет назад...

* * *

Перебирая в памяти и в анналах воспоминания и материалы «от съезда к съезду» и отнюдь не претендуя при этом ни на исчерпывающую полноту, ни, тем паче, на всезнание, все же увлекаешься интересной задачей — выделить отдельные моменты, важные и в плане самих съездов и всей нашей науки — славянской филологии. Убедительно символизируя п р е е м с т в е н н о с т ь науки, каждый съезд жил этой преемственностью. Академик В. В. Виноградов на открытии VI Международного съезда славистов в Праге 1968 г. [Виноградов 1970] вспоминает об участии в I МСС 1929 г. (также в Праге) Белича, Фасмера, Гавранека, Лер-Сплавинского, Чекановского (кстати, участвовавших и в IV, московском, МСС).

Р. И. Аванесов специально указывает на московском съезде: «Необходимость создания общеславянского лингвистического атласа была осознана еще на I Международном съезде славистов [*A. Meillet*, *L. Tesnière*. Projet d'un Atlas linguistique slave. — *O. T.*], хотя практических шагов с тех пор сделано не было. На нашем, IV съезде этот вопрос впервые подвергся серьезному обсуждению» [Аванесов 1962]. Проблема создания Общеславянского лингвистического атласа (ОЛА) растянулась во времени и вообще знавала разные коллизии, но и — итоги, один из которых, 20-летие работы над Атласом, Аванесов докладывает уже на VIII МСС 1978 г. [Аванесов 1978]. Неизменный интерес представляет и другая смежная проблематика, адекватной или, наоборот, избыточной терминологической и концептуальной трактовки, которой мы еще постараемся коснуться далее. Речь идет о вечной проблеме отношений диа-

лектов и языка (национального, книжно-письменного, литературного). В докладе Аванесова на V Международном съезде славистов (София, 1963) говорится, не без противоречий, о «диалектном языке» («система систем», «территориальное варьирование») [Аванесов 1963] и как будто нет ни слова о наддиалекте, единственной коммуникативной форме, которую способно выработать общение диалектов между собой. Десятилетие спустя к прежнему сюжету «русского диалектного языка» у этого исследователя добавляются уже высказывания, более определенно солидарные с исканиями других ученых в этой области: «Можно предположить уже для древнейшей эпохи также существование некой наддиалектной койне» [Аванесов 1973]. Примерно так уже судили такие участники съездов славистов, как Б. Гавранек («до возникновения письменно-литературных языков существовало койне, которое обслуживало культурные потребности той или иной эпохи») [Гавранек 1962: 65]) и С. Б. Бернштейн («культурный» язык Брюкнера, иначе «какое-то разговорное койне, часто междиалектное...» [Бернштейн 1962]).

Совершенно очевидно, что перед нами концептуальные задачи, по-прежнему актуальные и для науки новейшего времени, более того, далеко не выполненные ею и даже не всегда корректно ныне выдвигаемые. Список научных actualia, поднятых еще на первых съездах славистов, можно продолжить, и он будет внушительным, пойдет ли речь о «синтаксических целых высшего порядка» в выступлениях Б. Гавранека [Гавранек 1962: 213], открывающих путь к современным лингвостилистике и лингвистике текста, или об «Изоглоссах в славянском языковом мире» Бодуэна де Куртенэ еще на I съезде славистов [Baudouin de Courtenay 1932: 448—450]. Далее, заслуживает особого упоминания такая яркая и могучая постиндоевропейская морфологическая инновация славянского, как развитие глагольного вида, с четко обозначившейся имперфективацией, с постепенным переходом к четкой оппозиции определенность / неопределенность от того, видимо, архаического, как бы «двухвидового», неопределенного состояния, которое, между прочим, до сих пор наблюдается в сербохорватском. Именно докладам и дискуссиям славистических съездов мы обязаны в немалой степени прогрессом в этой области знаний, ср. А. Мазон, «Глагольный вид в славянских языках» (пленарный доклад на IV МСС), Ю. С Маслов — о первостепенной роли имперфективации (на том же съезде), И. Грицкат — о двухвидовых сербохорватских глаголах [Němec 1959: 301 и след.; Бородич 1962: 204].

Значение и важность проблемы славянского глагольного вида может косвенно явствовать еще и из диагностического аспекта, открывающегося (и при этом слабо учитываемого) для нее и других проблем морфологического плана в обстоятельствах, о которых коротко — ниже. Вопрос о так называемых смешанных языках, к которому не остались равнодушны и наши сла-

вистические съезды (ср. [Lenček 1978: 500]), неожиданно затронул самое генеалогическое существо славянского, ибо, в унисон другой популярной типологической идее — о славянском как новом языковом типе, стала — от съезда к съезду — насаждаться мысль — о смешанном характере славянского. Ср. характерное положение об этом: «...праславянский осуществился как результат италийской инфильтрации в западнобалтийский ареал» [Мартынов 1978: 548]; далее, попытку объяснить тенденцию к открытости слога и другие фонетические особенности праславянского наложением «одного из скифских языков» на группу балто-славянских диалектов [Чекман 1978: 154]; наконец, суммарное положение на ту же тему: «...территория становления праславянского языка на основании славяно-иранского субстратно-суперстратного языкового взаимодействия около V в. до н. э. и выделения праславянского языка из западнобалтийского состояния» [Мартынаў 1993: 73]. Эти взгляды, представленные также в более раннее время весьма авторитетными исследователями (Вяч. Всев. Иванов, В. Н. Топоров — IV МСС), встречают, однако, непреодолимое сопротивление в концепции, логично возвращающей нас к упомянутому выше фактору развитости славянской морфологии: «...стоит упомянуть наблюдение Теньера с том, что любой язык, не имеющий морфологии, кажется продуктом весьма недавнего смешения и наоборот — язык с богатой морфологией, скорее всего, не является продуктом недавнего смешения» [Szemerényi 1972: 174].

Понятно, что не меньшее, больше того — подавляющее число участников всех наших съездов было неизменно и остро заинтересовано в прояснении вопросов старославянско-церковнославянского комплекса во всем их множестве, в их числе «вечный» вопрос — не является ли русский литературный язык церковнославянским («целиком», «наполовину», «на две трети») или же генетически церковнославянских элементов в нем не более 12%, что вполне совместимо с самобытностью основного корпуса языка [Филин 1978: 215]. По-прежнему в центре внимания оставался кирилло-мефодиевский канон, его генезис, его тяготения. Сразу отметим, что в этой важной проблемной области всегда было и будет много споров, поэтому особенно актуально здесь привлечение новых фактов и раскрытие дополнительных типологических аспектов. Насколько перспективна концепция, рассматривающая старославянский — по укоренившейся научной терминологии — книжный язык как плод индивидуальной творческой деятельности первоучителей славян — святых Кирилла и Мефодия (ср. так [Верещагин 1997: 3 и след.])? Не ведет ли это нас к построениям с возрастающей сомнительностью вроде того, что старославянский — искусственный язык? Ср. трезвое дискуссионное суждение на этот счет на IV МСС: «...утверждение докладчика (Й. Курца. — *О. Т.*), что старославянский язык не был языком на-

родности, а с самого начала был литературным языком, мне кажется слишком смелым. Перевода церковных книг на какой-нибудь искусственный язык не могло быть» [Львов 1962: 151]. Поэтому вновь и вновь звучит этот вопрос вопросов: «Какой же это был все-таки язык? Его основой, несомненно, была речь славянского населения окрестностей Солуни в своей местной диалектной форме, **а, может быть, и устный культурный диалект более широкого славянского региона Балкан** (выделено мной. — *О. Т.*)» [Večerka 1993: 229]. Неслучайной поэтому кажется постановка проблемы докирилломефодиевского культурного (надъ)языка (I. Mahnken, IX МСС), ср. тогда же поддержку, сформулированную, правда, в духе «наличия двух типов литературного болгарского языка IX в. — письменного и разговорного» [Кочев 1986: 93]. Как видим, дальнейшие уточнения здесь возможны и даже необходимы, взять хотя бы старый, но неустаревший тезис Копитара о карантанско-паннонских истоках старославянского, проницательность которого — тезиса Копитара — все же явствует из факта высокой степени родства старославянского и словенского словаря [Orožen 1993: 129—130]. Здесь важны также косвенные показания, подключающиеся к решению главного вопроса, например, западная раннеславянская христианская терминология в венгерском языке, в свою очередь возвращающая нас к моравско-паннонскому компоненту старославянского языка (лексикона) [Хелимский 1993: 62]. И в интересах дела необходимо вновь и вновь вызывать в памяти, как бы «проигрывать» эту единственную реальную этнолингвистическую ситуацию, уже затронутую выше и крайне актуальную для понимания того, к а к э т о б ы л о в условиях предписьменного, предкирилломефодиевского этапа: диалекты → междиалектное общение → наддиалект, alias культурный язык. Складывание в предписьменную пору предтечи письменного языка, по-видимому, универсально. Возможности устного хранения и передачи (традиции) целых корпусов знаний были неограниченны. Не только агафирсы «пели свои законы», по сообщениям древних; нечто аналогичное имело место везде и всюду, в частности устная форма существования законов (традиция обычного права) у славян [Дерягин 1983: 79]. Не менее во всяком случае могут быть эффективны чисто типологические подходы к проблеме генезиса старославянского языка, я имею при этом в виду свободные аналогии «создания» нового литературного языка в совершенно другое время и внешне других обстоятельствах. Так, при внимательном рассмотрении известный тезис «Вук Караджич — индивидуальный создатель нового сербского литературного языка» корректируется и обретает иную, реальную формулировку: Вук Караджич как о б р а б о т ч и к канцелярско-административного языка карагеоргиевской Сербии [Stolz 1973: 120]. Согласимся, что эта ситуация могла бы иметь отношение к реалистичному решению вопроса о роли Кирилла и Мефодия.

Уже из нашего краткого обозрения видна роль словарных данных — в изучении древнейшего книжно-письменного языка славян, в исследованиях их этногенеза [Popowska-Taborska 1978: 715]. Нельзя сказать, что так было всегда. Напротив, лексический ряд скорее недооценивался современным языкознанием. Не вдаваясь в рассмотрение вопроса, насколько такая позиция языкознания может считаться адекватной, иными словами, — насколько вообще может быть живой языковая модель, не насыщенная лексически, ограничимся констатацией, что именно съезды славистов и их деятельные участники повернули стрелку славистического компаса в сторону словаря и слова.

На V и последующих съездах славистов выразительно фигурирует проблематика сравнительно-исторической лексикологии, почти неотрывно за ней следует историческая лексикография. Пытливому Игорю Немцу, выученику пражской лингвистической школы и видному исследователю и автору sub utraque specie мы обязаны памятными обзорами обеих этих дисциплин на съездах. Он четко выделяет успехи и отставания: имя по-прежнему больше исследовано, чем глагол: не выяснены закономерности лексического развития (— в сентябре 1963 г.; а выяснены ли они к сентябрю 1998-го? — *О. Т.*) [Němec 1964: 386—387]. Стоит напомнить и итог VII МСС от того же автора: «Славистика все же в целом хорошо сознает важность лексического материала, сохранившегося в письменных памятниках. Об этом также свидетельствует интерес участников съезда к исторической лексикографии. Подобно тому как пражский съезд 1968 г. стимулировал издание первых томов Старочешского словаря, варшавский съезд, со своей стороны, способствовал раннему выходу подробного «Пробного выпуска Словацкого исторического словаря». Требование ускоренного издания славянских исторических словарей было четко сформулировано на этом съезде С. Урбанчиком...» [Němec 1974: 169].

Еще одно, можно сказать, капитальное международное начинание из вышеназванной области связано так или иначе со съездами славистов. Я имею в виду праславянскую лексикографию, представленную к настоящему времени параллельно издающимися «Праславянским словарем» польских коллег (тт. 1—7: *A*—*G*) и нашим «Этимологическим словарем славянских языков» (Праславянский лексический фонд) (вып. 1—24: *A*—*N*). Можно сказать, что съезды славистов следили за ходом этих больших лексикографических предприятий, обсуждение их предварительных итогов звучало порой и с трибун съездов. Я здесь не намерен останавливаться на этом вопросе, в чем-то для меня личном, хотя допускаю, что в этом вопросе нашей общей науки отпечаталось немало того, что могло бы заинтересовать на тему славянской судьбы и судьбы вообще. Начать хотя бы с того, что оба названных словаря случайно начали издаваться в один и тот же год и месяц — в де-

кабре 1974-го, и это не легенда. Больше я о них говорить не буду, скажу лишь, что здесь в полней мере нашли выражение и сравнительность (это на тему нынешнего моего сообщения) и, увы, польско-русское соперничество (это, скорее, уже на тему славянской судьбы). Но феномен праславянской лексикографии сам по себе заслуживает того, чтобы сказать о нем особо. Позволю себе повторить, что уже сказал семь лет назад: «...мы имеем при этом впервые в индоевропеистике дело с праязыковой лексикографией. Я полагаю, что, например, германистике предстоит здесь еще многое наверстывать (я имею в виду прагерманский / общегерманский и специально прагерманскую лексикографию, которой, как известно, еще не существует)» [Trubačev 1991: 203]. Праславянская лексикография оказывается, таким образом, наиболее продвинутым направлением праязыковой лексикографии. Заметил это ученый Запад или, скорее, еще не заметил, — другой вопрос. Как сказал и на этот раз Игорь Немец: «В мировой лингвистике еще не был должным образом оценен тот факт, что славянскому языкознанию принадлежит особое первенство — в создании праязыковой лексикографии путем подготовки словарей праславянского языка в этимологических коллективах разных славянских стран. На этот факт обратила внимание словами О. Н. Трубачева конференция “Slavische Etymologie — 100-jähriges Todesjubiläum von Franz Miklosich (20.11.1813—07.03.1891)”, проведенная в дни 30 сентября — 1 октября 1991 г. в Вене в честь лингвиста, обладающего, вероятно, наибольшими заслугами в отношении этого первенства» [Němec 1992: 232].

Понятно, что только через лексику, полнозначные слова прокладывает лингвистика путь к культуре, ее истории и реконструкции этой истории. Эти самоочевидные констатации еще не означают непременного успеха подобных операций. Все дело в адекватности интерпретации, ее сравнительной и исторической глубины. То обстоятельство, что мы не всегда находим эти качества в реальном исследовании, служит объяснением, почему мы не всегда удовлетворены результатами исследования. Например, нехватка исторической перспективы, противоречивость и искусственность сразу бросаются в глаза, когда речь идет о попытке связать наличие «высоких (культурных)» слов **duša*, **grěxъ*, **svętъ* в западнославянском (вплоть до полабского!) то ли с влиянием мефодианской миссии, то ли с так называемой «западной» миссией (последнее см. А. де Винценц на X МСС [De Vincenz 1988: 260]). Впрочем, понятно, на чем основана и как эшелонируется эта ошибка, — на неверии в несомненную, кстати, праславянскую принадлежность этой и другой высокой лексики, на неверии в существование самой этой высокой, культурной страты дописьменного языка славян (их культурного наддиалекта, интердиалекта, см., об этом у нас, выше), на недостаточном понимании праславянской, порой — праиндоевропейской древности культурной, религиозной терминологии, которую

христианство гибко переняло у славянского язычества. С аналогичной близорукостью мы сталкивались и на 1000-летии крещения Руси, когда эта культурно-историческая близорукость облеклась в форму речей о «начале древнерусской культуры» точно с 988 г. или же о «трансплантации» этой культуры из другой страны на Русь, которая при этом мыслилась как некая tabula rasa. Наиболее «частотные» религиозные слова (термины, понятия) *бог*, *вера*, *святой*, *дух*, *душа*, *рай*, *грех*, *закон* были взяты не из языка Греции, а из собственного языка славян [Трубачев 1997: 37 и сл.]. Культурную преемственность — дописьменно-книжно-письменную, языческо-христианскую — недопустимо недооценивать, хотя это делается [Толочко 1993: 99—100]. Означенная лексика не является также продуктом индивидуального творчества святых Кирилла и Мефодия, они уже застали нужную лексику для выражения главных религиозных понятий в языке самих славян и применили, использовали ее, а не искусственные неологизмы или, скажем, заимствования, и именно в этом непреходящее величие обоих братьев. То, что требуется от нас с вами в отношении этих данных, это адекватный сравнительно-исторический лексико-этимологический анализ. Важность и перспективность этого предмета для современной славянской этнолингвистики и социолингвистики несомненна. Лексическое сравнение и лексико-семантическая реконструкция, например, в практике нашего «Этимологического словаря славянских языков», в том числе и в его еще не опубликованных томах, «помогает увидеть, как праславянская дохристианская лексика реквизировалась христианской понятийно-терминологической системой», см. ...**nevědja* и **nevě*(*d*)*golsъ* 'невежда, неверующий', далее, **nevěra*, **nevěrъ*, **nevěrъje* с их еще праславянской древностью и **nejęvěrъ* 'маловер', основанное на базе целого куска праславянского текста **ne jęti věry* 'не принимать на веру, не верить' [Трубачев 1997а: 119].

Описательный уровень исторической лексикографии подвергается сравнению с данными этимологической реконструкции. Так, дискуссия о значении слова *gostь*, интересно вспыхнувшая на IV МСС между датчанином К. Р. Шмидтом и польским ученым проф. С. Урбанчиком, — не 'купец' (К. Р. Шмидт), а 'пришелец, чужой в городе человек', на основании Старопольского словаря [Урбанчик 1962: 89], может возобновиться десятилетия спустя, потому что этимология открывает новые горизонты значения слова **gostь*, и.-е. **ghestis* / **ghostis* от глагола **ghed-* 'доставать, хватать', а именно 'possessor, владелец, вступающий во владение', идет ли речь о полноправном хозяине или только о лице, приравниваемом к хозяину из вежливости [Трубачев 1995: 29—30].

Отражение состояния науки съездами славистов — вообще аспект интересный и непростой, в чем-то психологический. Одну закономерность, по крайней мере, кажется возможным выделить, и она довольно логична и чело-

6. Заказ № 2261.

вечески понятна. Так, большие обсуждения, дискуссии, споры совсем необязательно свидетельствуют о больших достигнутых успехах. Чаще — наоборот, здесь нет «изоморфизма» (то, что его нет, как правило, и в других постулируемых случаях, мы еще скажем далее), 1950—1980-е гг. — это эпоха фронтальной публикации этимологических словарей всех славянских языков. Ничего похожего даже отдаленно раньше не наблюдалось. А обсуждение принципов этимологии и этимологической лексикографии на наших съездах как бы затухает. На VIII МСС (1978 г.) не было ни одного доклада по этимологической лексикографии (как, впрочем, думается, и исторической лексикографии). Почему? А наверное все обстоит нормально, если принять во внимание, что все заняты делом («пишут словари»). Знаю по себе: никогда не рвался обсуждать принципы этимологии и особенно — этимологического словаря, может быть, потому, что все эти годы писал его не покладая рук. Научный съезд может, таким образом, отражать успехи науки латентно [Trubačev 1978—1979: 59].

Сравнение, сравнительность, сравнительно-исторический метод языкознания — общеизвестные атрибуты последнего (так и хочется сказать: научного языкознания, в духе неумирающей концепции Германа Пауля, не желая ни в коей мере задеть этим тех, кто избрал другую часть — дескриптивное, синхронное языкознание). Ясно, что распространение этого метода, по крайней мере частичное, его терминологии на другие отделы филологии — это результат влияния языкознания. В этом проявилась тенденция времени и современной науки, и с этим нельзя не считаться, особенно, если относиться с вниманием ко всему, что объединяет филологию. Вспомним слова, принадлежащие не кому-нибудь, а самому Р. О. Якобсону, который боролся за структурное языкознание, не теряя при этом из виду взаимопроникающего единства всей филологии: «Лингвист, глухой к поэтической функции, точно так же, как специалист по литературе, безразличный к проблемам и методам языкознания, в наше время представляет вопиющий анахронизм» (цит. по [Rabanales 1979: 98]). Попытаемся в дальнейшем держаться этого общефилологического масштаба, тем более, что до сих пор обычно преобладает раздельная трактовка той же сравнительности (внутри лингвистики; внутри литературоведения) и новый — общефилологический ракурс мог бы обогатить суждения. Уместно вспомнить, с кем из ушедших великих была специально связана эта инициатива, одна из этих инициатив. С. Вольман в одной из недавних статей упоминает, что в 1955 г. (Београдски славистички састанак) акад. В. В. Виноградов, только что избранный председателем Международного комитета славистов, в процессе подготовки московского, IV МСС, предложил внести в программу будущего съезда «выраженно компаративистские проблемы литературы и фольклора» [Wollman 1997: 16].

Если учесть, что «сравнительно-историческое изучение славянских литературных языков — совершенно не исследованная область славянской филологии», как было признано на том же IV МСС [Плющ 1962: 36], ясно, что распространение принципа сравнительности на всю славянскую филологию было несомненным novum. Это новое было неслучайно инициировано человеком, так много сделавшим для русистики, для расширенного, панорамного изучения слова (взять хотя бы это позднейшее учение Виноградова о различиях внутриприсущего значения слова и его контекстного употребления). В сущности вся обширная наука филологии замкнута на слове, чем задана непререкаемая база единства всего корпуса науки, что, однако, не всегда уберегало эту науку от потрясений и разъедающих сомнений.

Просто филология гораздо старше языкознания; последнее как более узкая дисциплина почти современно новой эпохе и как самоутверждающееся новое порой и первое время как бы работало на разрыв, на сецессию, тем более, что на рубеже XIX—XX вв. в духовной сфере сецессионистские настроения в культурной Европе цвели буйным цветом. Мы сейчас, в конце XX в., все же понимаем, что гораздо больше мудрости в единстве филологии, в общности объединяющих ее интересов, в этом общем вкусе и интересе к своеобразию языков, к специфике слова [Martinet 1987: 3 и след.]. Конечно, может быть, с этим согласны не все и сейчас, например, генеративизм с его дихотомией поверхностного и глубинного. Что же говорить о начале и первой половине нашего века (мы почти застали эти умонастроения), когда посягательства на единство филологии сделались опасно модными. Было время, когда Бодуэн де Куртенэ ратовал против смешения лингвистики с филологией и даже — «против обязательного союза с филологией и историей литературы» [Biatokozowicz 1983: 357]. Сейчас можно сказать, что это время прошло. Сейчас говорят даже об определенном единении не только славянской филологии, но и славистики, по объему, правда, не очень сильно отличающейся традиционно от филологии. На открытии VI Международного съезда славистов 1968 г. в Праге Б. Гавранек вспоминал опасения В. Ягича по поводу распадения славистики на национальные дисциплины. Сам Гавранек смотрел на вещи уже с определенным оптимизмом, полагая, что «славистика как целое, наоборот, начиная с 1930-х гг. набирала новое научное значение» [Havránek 1970: 13]. Причем не в последнюю очередь благодаря самим съездам славистов, добавим мы.

В нашей практике единство филологии наилучшим образом представляет школа Виноградова, прежде всего благодаря тому обстоятельству, что покойный ученый имел завидно широкие научные интересы, включавшие русское языкознание, лингвостилистику, литературоведение; виноградовской школе присуще внимание к проблематике текста. Это, конечно, стратеги-

ческие суждения по существу дела; в практическом повседневье весьма нередки ситуации, когда «узкий» специалист, скажем, по словообразованию, нуждается в напоминании, что он лингвист, т. е. для многих специалистов по небольшому кругу тем даже единство языкознания — довольно абстрактная истина [Трубачев 1993: 70]. Возвращаясь к ягичевскому еще пониманию славянской филологии (имея в виду труды серии «Энциклопедия славянской филологии»: СПб., Пг., Л., 1908—1929), надо заметить, что оно, в сущности, еще не включало литературоведения в современном понимании, охватывая, главным образом, славянские языки и письмо (памятники славянского письма), а также этнографические данные (см. [Супрун 1989: 15]). Конечно, такая концепция подлежала расширению, что и произошло. Спорным и по сей день остается объем славистики (славяноведения), и это прямо затрагивает наши съезды и дебатируется на них, съезды, которые, к слову сказать, даже по определению, уже давно являются съездами славистов, а не славянских филологов, как, например, назывался I съезд 1929 г. в Праге. За последние десятилетия в практике наших съездов прошел и миновал пик политизации и идеологизации, но некий корпус исторических (в их числе археологических) проблем, без которых рассмотрение выразительно комплексных тем вроде этногенеза славян просто невозможно, остается в составе современной славистики и тематики съездов славистов (см. [Горяинов, Досталь, Робинсон 1993: 656; Šťastný 1993: 421 и след.]). Что касается славянской этнографии, то упрек в ограниченном объеме ее привлечения прозвучал еще на IV МСС [Токарев 1962: 379]. Надо сказать, что к настоящему времени положение несколько выровнялось в своеобразной форме междисциплинарного сотрудничества, точнее, целой дисциплины этнолингвистики, уже заявившей о себе также на славистических съездах.

Существенно же то, что вся филология изучает тексты. Тут вспоминается несколько тавтологичное определение языка, сформулированное краковским ученым, проф. В. Маньчаком — «język to teksty mówione i pisane». Если обратить внимание на то, что имеется серьезная тенденция отождествлять или, по крайней мере, сближать историю литературы («подлинную, а не вымышленную») и текстологию (ср. выступления на ряде съездов славистов видного историка литературы и текстолога русского «золотого века», Л. Д. Громовой [Громова-Опульская 1978: 289; Громова 1993: 496]), можно высказать наблюдение, что задатки дрейфа к взаимосближению лингвистических и литературоведческих дисциплин налицо. Тем более, что текстологии пишутся и лингвистами, и литературоведами. «Текст», «лингвистика текста», «стилистика и текстология» — это темы отдельных докладов и целых заседаний, особенно последних съездов, на которых можно было встретить и «фольклористическую текстологию» [Simonides 1978: 804] и специальный

доклад супругов Толстых «Слово в обрядовом тексте» [Толстой, Толстая 1993: 179].

Конечно, не только слово, но и текст всегда в центре внимания сравнительного языкознания, идет ли речь о древнем тексте или о реконструированном, хотя в последнем случае сильно возрастает гипотетизм более или менее смелых шагов. Умелая и хорошо обоснованная интуиция может здесь многое, например, нащупать вероятный жанр древнейших, в том числе воссоздаваемых, реконструируемых устных народных произведений. Скорее всего это была басня [Раденковић 1993: 131]. Праславянскую басню не пробовали как будто восстановить, зато известны опыты реконструкции басни индоевропейской (см. [Гамкрелидзе, Иванов 1984: 832, сн. 1]: упоминание реконструкции индоевропейской басни Шлейхером и перезаписи ее позднее у Хирта).

В условиях такого взаимопроникновения разных дисциплин или, точнее сказать, иррадиации методологически влиятельного языкознания понятие «чистый специалист» делается все более проблематичным. Вспоминаются сетования Терье Матиассена по поводу того, что такое «чистый славист» на XI МСС [Mathiassen 1993: 86]. В понимании норвежского ученого, это славист без знания балтийских языков. Мы у себя, как известно, страдаем от того, что у нас преобладает «чистый русист», русист без знания остальной славистики. И славистические конгрессы, которые должны были бы положительно сказаться на расширении компетенции таких русистов, пока не смогли переломить дело.

Желательно при этом постоянно иметь в виду, что усложнение состава дисциплины и разветвление ее частей — нормальный процесс, вовсе не отменяющий ее единства. Вот на гибком понимании единства я хотел бы сделать акцент, не меньший, чем на сравнительности. Все дело в том, что, при всем прогрессе науки, в наших умах сохраняется в неизменности младограмматическое понимание — отождествление «единство-простота», идеальное исходное единство, тогда как жизнь и факты науки непрерывно учат нас тому, что живое единство — это сложное единство, это единство частей, идет ли речь о нашей дисциплине — филологии, или о языке. Первым не выдержало этого испытания и подорвалось понимание единства филологии. Наши учителя в науке, помнится, разуверились в нем. Сейчас единство филологии обретает более сильные позиции, и это добрый знак. Та же ситуация поучительно повторяется и с языком, и, при некоторой дальновидности, испытываешь досаду при мысли, сколько еще сил и времени наверняка будет потрачено на преодоление также и здесь все той же косности, хотя порой и модно приодетой в современные научные атрибуты. Я имею в виду праславянское единство и древнерусское единство. Для меня это заведомо сложные единства, упрощенное понимание которых — миф и недоста-

ток информации, отрицание же этих единств пока что остается бездоказательным, как модное растаскивание их на гетерогенные компоненты. Наибольшим авторитетом в методологически важном понимании сложного единства я считаю св. апостола Павла (Первое послание к коринфянам, гл. 12), высказывание которого я в свое время избрал эпиграфом к своей книжечке о поисках единства:

> Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не рука, то неужели она потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: я не принадлежу к телу, потому что я не глаз, то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние?.. А если бы все были один член, то где было бы тело?..

Два слова о древненовгородском диалекте древнерусского языка как о предмете спора, зашедшего в тупик, хотя, кажется, перед нами случай, допускающий только одну определенную интерпретацию. Концепция преимущественного «новгородско-западнославянского родства» ложна, как и спаренная с ней концепция гетерогенности восточнославянского ареала (подробнее см. [Крысько 1997: 110 и след.]), элементарно ложны и аргументы — общие с западнославянским архаизмы, поскольку никто не опроверг правила лингвистической географии о том, что общие архаизмы в двух отдаленных языках (диалектах) никоим образом не свидетельствуют о близости (родстве) этих языков (диалектов), что звучало и на наших съездах [Popowska-Taborska 1988: 696]. В другом месте я уже писал, что древненовгородский диалект — одна из периферий древнерусского языкового ареала, счастливо сохранившаяся (в берестяной письменности), но не обязательно самая архаичная, ср. ономастические и контактные следы другой древней — утраченной — юго-восточной, азовско-черноморской древнерусской периферии. И там, и тут фиксируются отдельные архаические, эндемические особенности, и там, и тут их наличие объяснимо из единого ареала древнерусского языка. Неверие в нормальную, живую жизнь такого сложноединого ареала, безапелляционный страх перед вскрывающимися самобытными диалектизмами, младограмматическая вера, что адекватно объяснить их возможно, только отдав другому языку, уже внесли много путаницы в обсуждение вопроса. Между единством и изначальной диалектной сложностью не существует внутреннего противоречия.

Наши категорические лингвистические утверждения о древнерусском единстве интересно сопоставить со сходными показаниями других независимых дисциплин: антропологии (труды В. П. Алексеева, Т. И. Алексеевой) — об исключительном морфологическом сходстве всех краниологических серий русского народа, их принадлежности единому гомогенному

(заметьте — не гетерогенному!) типу и (sapienti sat!) о локализации общеславянского единства «все-таки в Центральной Европе» [Р 1997: 61, 73; Чекановский 1962: 487] — и археологии (труд В. В. Седова, на которого любят односторонне ссылаться наши древненовгородские «сепаратисты») — об инфильтрации в Смоленско-Полоцкий регион в VIII—IX вв. из Среднего Подунавья [Седов 1995: 232, 236].

Мы затронули аспект, достаточно популярный и на наших съездах, — междууровневые и междисциплинарные информация и взаимодействие, и мы еще постараемся далее вернуться к этому плодотворному аспекту. Сейчас же имеет смысл вернуться к сравнительности / сопоставительности, которая, в принципе, присутствует и в только что отмеченной ситуации (ситуациях) и вообще глубоко органична в природе человека и его языка (см. специально ниже), что могло бы объяснить и нашу нынешнюю попытку взглянуть на природу сравнительности в широких рамках славянской филологии. Не ходя далеко за доводами присущности сравнительности природе человека, которому свойственно не только ошибаться, но и сравнивать (что уместно выразить как *Comparare humanum est*, да и сам человек без натяжки подошел бы под психолингвистическое определение *Homo comparans*, человек сравнивающий), вспомним, что и Сын человеческий в Евангелиях «говорил притчами» (ἐλάλεσε ἐν παραβολαῖς), причем слав. **pri-tъča* с его структурой и семантикой 'случай, слово к случаю, рассказ' (сербохорв. *при̑ча* 'рассказ', см. подробнее [Фасмер III с. 368]) — не самая удачная передача знаменитого греческого παραβολή 'сопоставление, сравнение', породившего огромную позднероманскую лексико-семантическую группу 'слова' (*parola*, *palabra*, *parole*), и все же точнее, видимо, передаваемого немецким эквивалентом *Gleichnis* 'сравнение; притча'.

Сравнение — плоть и кровь языкознания в его сравнительно-исторической ипостаси, этой «исконно европейской науке» [Szemerényi 1982: 107]. Будучи инструментом этой, к слову сказать, самой точной филологической дисциплины, сравнение языков как метод вскрытия и доказательства генетического родства языков, думается, не могло не произвести глубокого впечатления и на другие отрасли филологии, а также вообще на человеческую мысль. Дальнейшее было уже практически в поле зрения наших славистических съездов. Знаменательно, конечно, что «первые голоса», ставившие и обсуждавшие проблему сравнительности также в области литературоведения, — это были ученые, столь же активно проявившие себя и как лингвисты-компаративисты, например, В. М. Жирмунский. Конечно, и он, и другие филологи, распространяя сравнительность на литературу, испытывают при этом сомнения и глубокие колебания, в их высказываниях видны поиски, сквозят опасения голословности и поверхностности применения сравнительности к литературоведению,

эти очевидные с первого взгляда колебания между «общими социально-обусловленными закономерностями» и типологией [Žirmunskij 1970: 300].

Речь идет о «методологической интеграции сравнительного изучения литератур» [Wollman 1978: 964], наряду с откровенными признаниями, что сравнительное литературоведение все еще не нашло свою нишу [Ничев 1978: 631]. Хотя прообразом может послужить еще сравнительное изучение славянских литератур Шафарика в долитературоведческий, так сказать, период, живость обсуждения проблемы именно в последние десятилетия все же говорит сама за себя. Мы снова наблюдаем случай, когда оживленность дебатов, скорее всего, сигнализирует о недостаточно ясном состоянии. Мнения отчасти разделяются. Есть ряд утвердительных ответов относительно сравнительного характера современной литературоведческой славистики и сравнительной фольклористики, но есть сомнения со стороны тех, кто видит чистую славистичность и компаративность только в языкознании, как, например, Л. Дюрович [см. ответы на анкету Мареша—Вольмана в сборнике Aktuální otázky slovanské filologie a Šafaříkův odkaz (Slavia 65, 1996, passim)].

В славянском языкознании компаративность так не обсуждается, из чего можно было бы заключить не только то, что в литературоведение она (компаративность, сравнительность) перенесена вторично, в чем-то — метафорично, но и также, что в языкознании, в духе уже высказывавшихся мыслей, все относительно благополучно («мало обсуждают, потому что заняты делом»), за исключением, правда, тех случаев, когда в самом языкознании наблюдается определенное сокращение сравнительности. Такая ситуация едва ли может говорить о здоровье науки. Достаточно сказать, что чисто формальные (формалистические) методы в языкознании исчерпали себя значительно быстрее. Сравнение запаса потенции будет, скорее, в пользу сравнительного метода. Более того, страны, где «модернизация» (или — близорукая, практицистская научная политика) проведена особенно широко, оказались вообще лицом к лицу с опасностью выпасть (либо уже выпали) из числа мировых славистических держав. Похоже, это случилось с Францией после Мейе, Мазона, Вайяна (я помню публичные призывы акад. М. П. Алексеева примерно к началу 1980-х гг. — помочь французской славистике). В центре благополучной концепции современной славянской филологии должны, очевидно, быть — в перспективе — не «формальные критерии» (так X. Бирнбаум в сб. «Aktuální otázky...»), а широкая, в своем ядре — сравнительная — формально фундированная теория. Исключительно или по преимуществу прикладное, описательное, вычислительное, лингводидактическое языкознание (le cas de France) — это еще не (или — уже не) славистика...

И хотя применение сравнительности в филологии все более ширится, выступая то в виде сравнительной фразеологии [Morvay 1978: 612], то в виде

сравнительного изучения письма [Furdal 1978: 240], ясно, что из него постепенно выхолащивается его генетическая сущность, где сравнение беспрепятственно пересекают собственно генетические языковые границы (русская, немецкая литература), практически оставаясь общим литературоведением / общей теорией литературы.

Есть, правда, одна сфера в нелингвистической филологии, где сравнительность обретает генетический (не типологический) смысл — проблема стеммы, родословной рукописных списков в текстологии (см. [Лихачев 1962: 11 и след., 446 и след.; Жуковская 1976: 17]).

Если идея сравнительности обрела популярность и была широко подхвачена за пределами языкознания и применена, пусть порой поверхностно и метафорично, прежде всего — в литературоведении, то осталась, к сожалению, незамеченной другая плодотворная идея современного теоретического сравнительного языкознания — идея внутренней реконструкции. Это упущение тем более досадно, что сравнительное литературоведение имеет, несомненно, дело с материалом и культурно-историческими эпизодами, которые явно нуждаются в трактовке в плане внутренней реконструкции. Правда, к трактовке одного из таких культурно-исторических эпизодов в духе внутренней реконструкции исследователи стихийно уже подошли, если иметь в виду логику внутрикультурного развития, идеологию сознательной архаизации в случае с так называемым «вторым южнославянским влиянием», этим своеобразным феноменом на границе языкознания, текстологии, литературы, который толковался преимущественно односторонне, за счет внешних импульсов, ср. и название — «второе южнославянское влияние». Второй случай, феномен так называемого «(Пред)Возрождения», кажется, целиком был принесен в жертву внешним импульсам. Насколько это оказалось адекватно, мы попытаемся рассмотреть далее.

Но сначала о «втором южнославянском влиянии». Дин С. Ворт в своем заметном докладе «Так называемое “второе южнославянское влияние” в истории русского литературного языка» на IX МСС 1983 г. в Киеве, кажется, удачно нащупал внутрикультурные мотивы архаизации языка и письма, которые обычно толковались как пришедшие извне. В дискуссии мнения разделились. Сторонники безусловного влияния древнеболгарского языка и литературы обязательно видели его и здесь, в качестве влияния Тырновской литературной школы Болгарии (Д. Иванова-Мирчева и др.), чему другими (Л. П. Жуковская), кажется, разумно противопоставлялись доводы фактические и хронологические в духе явного предшествования проводимого редактирования и архаизации на Руси тому, что связывают с деятельностью Евфимия Тырновского в Болгарии (см. [выступления в дискуссии: Д. Иванова-Мирчева; Л. П. Жуковская на IX Международном съезде славистов. 1986]).

Вообще же оказывается, что культурная Европа того времени (вторая половина XIV в.) знала примеры синхронного расцвета филологической деятельности с тождественными задачами «чистоты слова», «чистоты речи», воссоздания чистоты наследия и связанного с этим исправления книг (см. Р. Пиккио в: [Липатов 1990: 198]). Не будет преувеличением сказать и о той эпохе, что сходные умонастроения носились в воздухе; в такой ситуации лучше воздержаться от прямолинейных поисков заимствований и влияний и шире допускать возможности типологического параллелизма.

Аспект внутренней реконструкции слишком значителен, чтобы ограничиться упоминанием о нем в двух словах. Сейчас это один из важнейших аспектов (методов) современного теоретического языкознания (сравнительно-исторический метод + внутренняя реконструкция + типология). Можно сказать, что разработка внутренней реконструкции совершалась на глазах славистических съездов и силами их участников. Внутренняя реконструкция в нашей науке связывается с именем Е. Куриловича и имеет, надо сказать, специально краковские коннотации. Краковский публичный доклад Куриловича весной 1962 г. о внутренней реконструкции был, вероятно, первым крупным его выступлением на эту тему и привлек большое внимание научной общественности. Во всяком случае проф. Ф. Славский, бывший в числе слушателей, не случайно произнес с чувством эти запомнившиеся слова: «Mieliśmy ucztę duchową» (Мы были на духовном пире). Вскоре доклад был опубликован [Kuryłowicz 1962—1963: 19 и след.]. История внутренней реконструкции в науке в действительности старше, она обсуждалась еще на IV МСС в Москве и была названа там одной из задач этимологии [Трубачев 1962: 99], в конце концов, теория и практика реконструкции праславянского лексического фонда и составления «Этимологического словаря славянских языков» основаны также на внутренней реконструкции [Трубачев 1963: 13, 28], и это известно из литературы [СИИЯРС 1988: 11]. Для истории науки, наверное, полезно знать, насколько точны (или наоборот) бывают некоторые прогнозы. Так, например, вопрос № 8 «Какие новые возможности для изучения истории праславянского языка дает так называемая “внутренняя реконструкция”»? в «Сборнике ответов на вопросы» к IV МСС в Москве не привлек внимания лингвистов. Единственный ответ (Вл. Георгиева) гласил, что возможности внутренней реконструкции в значительной степени исчерпаны, а новые возможности в этом смысле маловероятны…

Влияние лингвистических терминов-понятий на литературоведческие вряд ли нуждается в доказательствах (интер-диалект → интер-текст), зато обратного направления влияний, скорее всего, нет (рецепция ‘восприятие того или иного писателя, произведения или литературы в другом регионе’ остается без лингвистического аналога). Зато в типологию уверовали, кажется, все

филологи (ср. [Horálek 1973: 951]). При этом К. Горалек признает, что в сравнительной фольклористике, как и в сравнительном литературоведении, трудно бывает отличить типологическое родство от контактного происхождения. Вся обширная область контрастивного изучения языков основана на типологии. Типологическое исследование оказывается продуктивным, даже если речь идет о близкородственных языках, ср. давний уже «Опыт типологии славянских языков» А. В. Исаченко, задуманный еще как ответ на вопрос к несостоявшемуся III МСС 1939 г. в Белграде [Isačenko 1939: 64 и след.]. С тех пор чистая (типологическая) сопоставительность — как некий pendant к сравнительности — уже не покидала съездовских трибун и страниц съездовских изданий, ср. японский доклад на IX МСС в Киеве — Y. Nakamura, «Система цветов в “Слове о полку Игореве” и “Хэйкэ-моногатари”».

Теоретические возможности типологического аспекта, его объяснительная сила использованы еще далеко не в полной мере и могли бы помочь в рассмотрении и адекватной оценке болезненных вопросов современной филологии и культуры путем привлечения широких свежих типологических аналогий с целью разрушения мифа уникальности тех или иных острых ситуаций. Один пример такого рода. Горячие проблемы нынешнего украиноведения (кому принадлежит Древний Киев, Владимир Святой и др.), к тому же усердно рассматриваемые под лупой славистами третьих стран, как это имело место на симпозиуме в Кастель Гандольфо 1996 г. под эгидой папы Иоанна Павла II [WS, 1997], — эти сколь угодно горячие проблемы не должны нас ожесточать и считаться неоправданно уникальными. Переливание / миграция Древней Киевской Руси в Северо-Восточную Русь Великую типологически точно напоминает распространение ариев и индуизма из первоначального ареала обитания в Северо-Западной Индии в Центральную и Восточную Индию. Северо-Западная Индия вторично освоена исламом, воплотившимся в Пакистан, но это не отменяет исторического факта первоначальной ее принадлежности ариям (ср. [Барроу 1976: 46: «В самый ранний период он (санскрит. — *О. Т.*) сосредоточивался в Пенджабе, но вскоре центр переместился на восток, в области Куру и Панчала»]).

Продуктивнейшим аспектом славянской и не только славянской филологии остается междууровневое и междисциплинарное взаимодействие, способное продвинуть решение задач на типологической основе, имея в виду в первую очередь задачи труднорешаемые или не решаемые в рамках (средствами) одной дисциплины. Полезность сотрудничества лингвистики и этнографии (духовная и материальная культура народа) известна давно, но лишь в последние годы трудами и теоретическими разработками покойного Н. И. Толстого и его школы утвердилась новая дисциплина на стыке двух

традиционных — этнолингвистика. Мне, как работнику в области лингвистической дисциплины, этимологии, представляется полезным привести, со своей стороны, пример того, как обращение к этнографии, осмысленное этнолингвистически, содействует выводу этимологии слова из тупика, из того своеобразного circulus viticsus, в который она попала в силу односторонне этимологических сравнений. Праслав. **zǫbъ*, ст.-слав. **зѫбъ** 'ὀδούς', *dens*, рус. *зуб*, польск. *ząb* и т. д. обычно сравнивают с лит. *žam̃bas* 'острый выступ', *žem̃bti* 'разрезать', др.-инд. *jámbhate* 'хватать, кусать', *jámbha-* 'зуб, клык', авест. *zəmbayaδwəm* 'разрушьте, раздробите', греч. γόμφος 'колышек', алб. *dhąmp*, *dhëmp* 'зуб', *dhëmp* 'мне больно, болит', др.-в.-нем. *kamb* 'гребень', тохар. *kam*, *keme* 'зуб' (Фасмер[3] II, с. 106: 'зуб' < первонач. 'раздробитель'; Mayrhofer I, S. 419). Можно заключить, что значение 'зуб' еще праиндоевропейское, остальные, главным образом глагольные значения (см. выше) как бы замыкаются на 'зуб': 'разрезать, кусать, дробить, делать больно (зубом)' (circulus vitiosus!). О семеме 'зуб' известно, что это вторичное, сложное значение, ср. прежде всего и.-е. *(*e*)*dont-* / *(*o*)*dont-* 'зуб' < 'едящий'. Славянское название зуба обнаруживает даже на славянском языковом уровне связи с лексикой, ничего общего с 'зубом' не имеющей, ср. хотя бы рус. *зябнуть*, *про-зябнуть*, *про-зябать*, *знобить*. На этом основании еще более 40 лет назад была предложена реконструкция слав. **zǫbъ* < и.-е. **ĝon-bhos* 'выросшее' < **ĝen-* 'рождать(ся)' (см. дополнение к Фасмеру, там же). Но на этом все как бы остановилось, где и пребывало до самых последних лет, когда «умудренный» жизнью (утрата собственных зубов и потеря близких...) автор этих строк стал искать у этнографов и этнолингвистов, прибегнув к незаменимой поддержке С. М. Толстой. Результатом было обращение к снам и их народным толкованиям, которые оказались весьма единогласны и красноречивы: выпавший зуб во сне предвещает смерть, смерть в семье, смерть близкого (и так — в различных частях славянства, что как бы гарантирует фондовый характер суеверия, см. [Niebrzegowska 1996: 224, 242, 246, 249—250; Усачева (рукопись)]. Народная культура подсказывает нужное направление этимологической дешифровки, причем з у б в ы п а л — это своего рода отголосок еще живой этимологии '*р о ж д е н н ы й (**ĝon-bhos*) умер'. Все остальное — вторичные напластования.

Примеры междисциплинарного взаимодействия легко могут быть продолжены, они весьма разнообразны и, надо сказать, порой поучительны. В прошлом году, во время встречи в Польше (дело было в Кракове) С. Вольман сообщил мне, что заинтересовался библейским словом **окринъ** как компонентом д р е в н е й ш е г о л и т е р а т у р н о г о с ю ж е т а. Справки в нашем Словаре и справочной литературе, среди которой оказалась и моя «Ремесленная терминология в славянских языках», выявили, что праславян-

ское *ob-krinъ (откуда ст.-слав окринъ 'миска, плошка', Син. Треб., чеш. *okřín* 'блюдо', словац. *okrín* '(деревянная) чаша, миска', н.-луж. *hokśin* 'корытце, лоток') — более древняя лингвистическая модель 'оплетенное, облепленное', чем, например, равнозначное **ob-krǫtъ* в ряде других славянских языков.

Уже опробованным аспектом междисциплинарного взаимодействия может служить привлечение гидронимических данных в археологических исследованиях и — vice versa. Не все подобные апелляции к инодисциплинарной материи и методологии оказываются, правда, удачными (порой вольное обращение с гидронимическими формами и этимологиями у археологов); на этом фоне выгодно отличаются комплексные работы нашего влиятельного археолога В. В. Седова, прежде всего — корректностью обращения с гидронимическим материалом и лингвистической спецификой, ср. его доклад «Становление и этногенез славян (по данным археологии и гидронимии)» на XI МСС.

Запоминающийся пример взаимодействий такого рода дало нам изучение переклички биологии развития (ботаники) и сравнительного языкознания (этимологии) на фоне удачного применения лингвистической географии. Я имею в виду прежде всего лингвистически тонкое наблюдение нашего выдающегося ботаника Н. И. Вавилова о средневосточном названии 'ржи' как 'терзающей пшеницу / ячмень' и стимулированное этим выявление этимологических (семантических) аналогий в северных названиях ржи — в тех географических широтах и культурных ареалах, где рожь обрела уже значение полезного злака, но по-прежнему ее номенклатура несла на себе родимое пятно ее прошлого как досадного сорняка, — лат. *secăle*, сюда же франц. *seigle*, 'рожь': *secāre* 'срезать, сечь, рассекать'; слав. **rъžь*, лит. *rugiai*, нем. *Roggen* (и другие германские), все — 'рожь', от и.-е. **ru-gh-* 'рвать, разрывать' [Трубачев 1991: 213].

Дальнейшие примеры у меня выстроены по степени возрастающей курьезности, даже отрицательного характера взаимодействия дисциплин или — отсутствия его в случаях, где оно явно бы пригодилось. Но сначала — один, хотя и курьезный, но скорее положительный пример, демонстрирующий плодотворные возможности довольно высокого культурного уровня страны и престиж ее филологии и специально — лексикографии, словарного дела. Только в стране с высокой, национальной престижностью словарного дела — Сербии, где успешно и оперативно издается исключительно богатый по своему составу и корректный по своему толкованию слов и значений, полиграфически отличный «Речник књижевног и народног српскохрватског језика», уже обогнавший по этим параметрам знаменитый столетний «Rječnik Jugoslavenske Akademije» в Загребе, мог зародиться в начитанном и изощренном

писательском мозгу такой опыт, как «Хазарский словарь» М. Павича [Павић 1994]. Да, конечно, здесь много творчески индивидуального — и загадочно-мистическая фабула вокруг одного раннего (утерянного) хазарского печатного лексикона, и целый узел проблем на стыке трех религий и культур (иудейской, христианской, мусульманской), и беллетризированная кирилло-мефодиана с хазарской и моравской миссиями двух братьев, первоучителей славян, и своя версия балканского фольклора, турецких войн и полумифических сербских персонажей прошедших веков, и все это — затейливым писательским языком. Но хочется все же вернуться к культурной питательной среде, в которой писатель черпал свою образованность (знание научной литературы о хазарах — Артамонов, Данлоп), на которую опирал свой опыт беллетризации лексикографии, «реконструкцию» утерянного лексикона, построение своего опуса (алфавитные словарные статьи, аппарат) и, может быть, прежде всего и в первую очередь — это сквозящее сквозь саркастическую усмешку избранного кафкианского жанра высокое уважение к профессии составления словарей: «Поверьте, много опаснее, о господин, составлять из рассеянных слов словарь о хазарах здесь, в этой тихой башне, чем отправиться на войну на Дунай, где уже колотят друг друга австрийцы с турками...» (с. 96).

Следующий пример — об одной досадной лакуне в аппарате и знаниях специальной (западной) литературы у наших этнографов, лакуне, передающейся и нашим археологам и, увы, лингвистам, когда они смело производят «великорусов Великого Новгорода» прямо с Запада. Удобства ради, а также в интересах внесения ясности в этот все-таки запутанный вопрос прохода с запада на восток, «где-то в бассейне Немана», я позволю себе процитировать несколько обширнее свою книгу [Трубачев 1997б: гл. III, 98—99]: «Думая таким образом, слависты разных специальностей не хотят видеть капитального препятствия, стоящего на пути их умозрительных рассуждений: этнографического рубежа на Северо-Востоке Польши. Судя по тому, что у нас и этнографы обходятся без его упоминания (мне оно ни разу не встретилось в новой академической “Этнографии восточных славян”, во всяком случае — в разделах о народной культуре белорусов), этот феномен в нашей литературе, мягко говоря, не пользуется известностью».

Понятие этого важнейшего этнографического рубежа было выдвинуто еще в довоенные годы в польской науке, и состоит оно в том, «что на северо-восток от среднего течения Вислы фигурирует один из наиболее очерченных в Европе энографических рубежей, имеющий, вдобавок, соответствия в ареалах доисторических культур. А именно — в 1-м тысячелетии до н. э. достигла этого рубежа с запада лужицкая культура...» [Czekanowki 1957: 385]. В этом рубеже не было никакой мистики: естественную преграду на восток от него

образовывали сплошные дремучие леса, пуща. «В разные эпохи волны культур, двигающиеся с запада на восток, вынуждены были останавливаться на краю великого первобытного леса, как на берегу моря» [Czekanowski 1957: 390]».

Нижеследующий пример отрицательного взаимодействия в духе той обобщенной классической формулировки взаимодействия, которую дал праксеолог Котарбинский («два субъекта взаимодействуют, если по крайней мере один из ним помогает или мешает другому» [Kotarbiński 1973: 93]), налагает на нас, филологов, тяжелую и неприятную ответственность, которую лишь отчасти разделяет с нами воцарившаяся на книжном рынке атмосфера беспредела, разрушительства и скандальной вседозволенности. В подобных случаях очень неохотно берешься за опровержение, в надежде, что неприятную работу выполнит кто-то другой, а «умный читатель» и сам разберется. Но за разбираемой здесь кратко ревизией нашей истории стоит академик РАН (sic!), что резко увеличивает вероятность некритического восприятия этой ревизии. Акад. А. Т. Фоменко, математик, берется за корректировку («укорачивание») хронологии России (как, впрочем, и других стран), смело перечеркивая итоги исторического источниковедения и филологии, истории языка. Не имея возможности заниматься здесь всем этим подробно и не будучи историком, текстологом, палеографом, скажу здесь кратко только о языковых (лексических, топонимических) примерах, с которыми этот ученый обращается так, как если бы у соответствующих дисциплин не было своей аксиоматики, принципов, литературы. Опровергать почти не нужно, факты говорят сами за себя. Cum tacent, clamant. В просмотренной мной публикации [Носовский, Фоменко 1997] содержатся утверждения: «Термины *войско* и *воин* являются церковнославянскими по происхождению, а не старо-русскими, и вошли в употребление лишь с XVIII в.; старые названия были таковы: *Орда*, *казак*, *хан*» (с. 11), *Монголия*... это — просто греческое слово *мегалион*, что означает «Великий» (с. 12): «Батый (Батька?)» (с. 13); «не есть ли “город Теребовль” попросту искажение “города Тверь”?» (с. 59); *«даруги* [монгольское! — *О. Т.*] — *други*, дружинники» (с. 69); нем. *Ross* по «мгновенной ассоциации» сближается с *русскими* (с. 77); Мамай — «сын мамы» (с. 79); библейское *Рош* отождествляется с английским *Russia*, «Раша» (с. 85), что называется, «по звонам», библейское *Фувал*, *Тубал*, оказывается, «попросту *Тобол*» (с. 85); *яр-марка* связывается с *Яро-Славлем* (с. 92), «слова *улус* и *рус*, *Русь* не одного ли корня?» (с. 95) и так далее, на том же уровне, если это — уровень.

Уровни языка автономны, как и дисциплины. Этому противоречит популярный теоретический постулат изоморфизма уровней, который все же опровергается реальными фактами. Элементарно опровергаются излюбленные якобы изоморфные отношения словообразовательного и семантического уровней ввиду часто наблюдаемой реальной разнонаправленности де-

ривации обоих, с чем исследователи сталкиваются на практике, ср. наблюдение З. Голомба на VIII МСС в связи с формированием новых прошедших времен: «При этом развитии характерно одно: **старые формы** приобретают **новые значения**, **старые значения** переносятся на **новые формы**» (выделено мной. — *О. Т.*) [Gołąb 1978: 364]. Аналогичные наблюдения стихийно делались лингвистами в общем всегда — и после внедрения понятия изоморфизма и задолго до него. Еще один типичный пример словообразовательно-семантического а н и з о м о р ф и з м а (неизоморфности) — болг. диал. *опо-скам*, *опо-щя* 'искать (вшей)' как сохранение старого значения болг. *и́скам* 'искать' (теперь только 'хотеть'!) во вторичном словосложении. По свидетельству моего старинного друга Кирила Костова (письменно), пример приводил еще более полвека назад проф. С. Младенов в лекциях. Лингвисты всегда понимали это на практике, а именно то, что «в поисках изоморфизма механически переносят методы изучения одного языкового "уровня" на другой. Между тем природа объектов изучения на разных уровнях различна» [Zolotova 1970: 82]. Ниже я привожу несколько пространнее высказывание, созвучное выраженным мной мыслям и вместе с тем принадлежащее яркому исследователю В. А. Никонову на IV МСС: «Два методологических положения не учитываются исследователями: 1. Очаг явления видят там, где его примеры всего гуще. В действительности чаще наоборот: явление торжествует не там, где оно возникло, а лишь вырвавшись на колонизационный простор. 2. Названия сравнительны. В сплошных лесах бессмысленны названия *Лес*. Названия *Русский брод* и т. п. часты не в области сплошного русского заселения, а на его былых рубежах, в зоне этнической чересполосицы. Пренебрежение к этой относительной негативности влечет к горьким ошибкам...» [Никонов 1962: 478]. — Какой жестокий удар по изоморфизму! И — какой триумф сравнительности! Хотелось бы в связи с этим коснуться одного вида «изоморфизма», о котором мало кто говорит, а грешат которым многие, — молчаливо принимаемого «изоморфизма» языкового и внеязыкового (реального) плана. Этим проникнуты практически все периодизации истории литературного языка / языков; они, как правило, нелингвистичны, построены на прямолинейных и недоказанных отождествлениях типа «до монгольского ига», «после Октябрьской революции», «общественная смута» = смута в языке (?), т. е. вульгарно-социологичны. Безусловно, подобная установка вех в языковом, литературном развитии — относительно более легкий способ, но это скорее аргумент «против», чем «за». В основе периодизаций собственно языка и, наверное, литературы должен лежать постулат преломленного характера отражения. Внимание также должно быть обращено на всякого рода компенсации (в том числе междууровневые) в развитии славянских языков (см. [Леков 1973: 46]).

Дальше мы коснемся эпизода из истории культуры и литературы, который, при всей ясности, оставлен в нарочито затуманенном, нерешенном состоянии, которое, на худой конец, видимо, больше устраивает сторонников положительного решения, чем открытое признание несостоятельности такого решения. Вопрос этот, конечно, должен интересовать всю славянскую филологию и, кроме своего культурно-исторического наполнения, способен дать пищу для слишком многих размышлений и, в свою очередь, способен оплодотвориться от применения весьма разных аспектов — уже упоминавшейся внутренней реконструкции и даже, если угодно, — от лингвистической географии. Я имею в виду проблему Возрождения у славян и прежде всего — у славян русских, восточных. Уже беглое ознакомление с исследованиями по древнерусской литературе показывает отсутствие оснований для констатации Возрождения на Руси, «так как в духовной культуре Древней Руси религия доминировала вплоть до XVII в.». Вымученный и нелогичный вывод после сказанного, что «это — Предвозрождение», вызывает недоумение, как некая уступка настойчивому желанию все же найти «признаки устремленности к Ренессансу» [ИРЛ 1980: 148, 187, 289].

Более осторожные оценки раздавались на Западе, например мнение С. Грачотти на X МСС в Софии 1988 г. о том, что применительно к России речь о Ренессансе («гуманизме») ранее XVII—XVIII вв. не идет. «Ренессанс со своим гуманистическим индивидуализмом был, таким образом, во всей полноте пережит только на побережьях позднейшей Югославии. Он пустил корни в адриатических городских республиках и, собственно говоря, не перешагнул через горные хребты, отделяющие их от внутренних районов полуострова» [Dąbrowska-Partyka 1997: 67]. Понятно, что вопрос деятельно обсуждался на съездах славистов. Ренессанс в значительной степени достиг всетаки Польши, лучший ее поэт в XVI в., Ян Кохановский, был вершиной литературы польского Возрождения [Pelc 1973: 691; 1988: 475]. Опираясь на литературоведческий анализ того, как итальянский ренессансный гуманизм повлиял сначала на прибрежную Далмацию, а через Центральную Европу проник в чешскую, затем — в польскую литературу (см. [Petrů 1978: 691]), лингвист явственно представляет себе все это в виде аналога лингвогеографической проекции — с Запада на Восток, с полным угасанием на Востоке, в России. Труды славистических съездов постепенно проясняют и сущность ренессансного «гуманизма», которую порой слишком сглаженно толкуют как «возврат к античности» (ср. [Petrů 1993: 255]). Нет, речь безусловно и откровенно должна вестись о возрождении греховного, плотского человека. Случай с Максимом Греком, которого даже пытались выставить как «итальянского гуманиста» в бытность его, Михаила Триволиса, в Италии (до схимы), более чем показателен. А между тем перед нами один из православных пытливых умов, совре-

менник «гуманизма», который рассматривал этот «гуманизм» именно как кризис, греховный потоп. Максим Грек, верный православию, бежал, по собственному признанию, от «проповедников нечестия», как он называл тех, кто насаждал «Возрождение» и «гуманизм», бежал из Италии на православный Восток.

Можно себе представить, какой ересью это было в глазах православного христианства (это — к вопросу о поисках Возрождения в русском XVII в., не говоря о более ранних веках). Слишком широкая манипуляция понятием «античность» тоже грозит обернуться анахронизмом. Небольшая словарная справка о понятии и термине *античность*. В древнерусских (русско-церковнославянских) текстах разных веков (с XII по XVII вв.) *еллинъ* — синоним язычника, *еллинство* — 'язычество'. И хронологически, и идеологически поучительна поздняя цитата 1666 г.: ...Богодухновении отцы наши... жидовство же и еллинство, и латынство, ариянство и люторство, и кальвинство обличиша [СлРЯ XI—XVII вв. V: 47]. Ясно, что вплоть до конца XVII в. на Руси просто не было культурной ниши для так называемого возрождения (чего? — античности, т. е. вышеупомянутого эллинства и латинства?) с его выраженным антиклерикализмом, с его культом греховного человека. Иными словами, если не покидать этот угол зрения, «Возрождение» знаменовало кризис западного христианства — кризис, перед которым православное христианство устояло, несмотря на весь этот своеобразный (внушаемый нам) комплекс неполноценности. Кстати, как и следовало ожидать, сло́ва *античный* не знают ни «Словарь древнерусского языка XI—XIV вв.», ни «Словарь русского языка XI—XVII вв.». Слабые зачатки появляются только в XVIII в.: *антикви* (1721) = *антики* (1748) мн. 'древние вещи' [СлРЯ XVIII в. 1, 1984: 73]. Дальнейшее уже принадлежит новому времени. Очень объективно судит о взаимоотношениях Slavia Romana и Slavia Orthodoxa в этом вопросе Риккардо Пиккио — о задержке «неолатинских литературных “правил игры”» именно в православном славянстве и именно ввиду «живучести» «местных традиций» «церковнославянского общества» [Picchio 1978: 695]. Таким образом, обычная хронологическая раскладка — у хорватов и чехов с XV в., у поляков и словенцев с XVI в., у восточных славян и сербов с XVII в. [Rothe 1993: 54] — нуждается в значительных оговорках. «Несходство культурной ситуации в Византии и Западной Европе, с одной стороны, и в Slavia Orthodoxa, с другой, не оставляет возможности говорить о “восточноевропейском Предвозрождении”» [Живов 1993: 165]. Одним лишь преувеличением однородности культурной ситуации в обеих частях Европы и широким допущением культурной трансплантации с Запада на Восток реальных отношений не объяснить.

Это и есть, собственно говоря, главная причина («живучесть местных традиций церковнославянского общества», см. Пиккио, выше), почему у нас в России ни в XVI, ни в XVII вв. не было своего Яна Кохановского, что

обычно не преминут отметить польские литературоведы, когда пишут о древнерусской литературе. Ян Кохановский — типично возрожденческий поэт, гармонизировавший свою христианскую душу с «языческим телом» [Jerzyna 1996: 7]. Согласимся, что ничего подобного в древнерусской литературе мы не найдем, потому что там это было не ко двору. Наша старая литература оставалась строго христианской и бдительной к соблазнам схизматиков. Таким образом, могла бы отпасть одна довольно крупная шаблонизация (стандартизация) по западному образцу, и вещи бы встали на свои места.

Естественно, что упомянутый феномен не следует путать или отождествлять с национальными возрождениями чехов, словаков, болгар, с тем, что еще обобщенно называется «славянское национальное возрождение». Остается добавить, что ничего адекватного также этим национальным возрождениям не было в русской культуре, литературе ввиду рано сложившейся идеологии великой державы.

В том, что обсуждалось выше, имело и имеет место неточное, избыточное употребление терминов, перенос терминологии, оформившейся в иных культурных регионах. Этим грешат отнюдь не одни только исследователи Ренессанса. Мне уже приходилось — на лингвистическом материале — наблюдать некорректность применения классического термина «рабство» к славянам, для которых, скорее, характерно было некое «квазирабство» [Трубачев 1991: 202—203]. В свою очередь, чрезмерно в иных условиях обкатанные понятия и термины «феодализм», «(классическое) средневековье» ощущаются как внешние, заносные (с Запада), вторичные для русской историографии (см. [Свак 1988: 649]).

Отношение (противостояние) Slavia Romana — Slavia Orthodoxa представляет только одну из ипостасей более универсальной оппозиции Запад — Восток. Их не все разделяет, многое их связывает, взять хотя бы то обстоятельство, что Germania, Romania и Slavia (обе Славии — римско-католическая и православная) в сумме составляют Европу. Относить целиком славян к Востоку — это наиболее примитивный «западный» угол зрения. Немалая собственная специфика славянства служит оправданием формулировки «славяне между Востоком и Западом» [Карагьозов 1997: 363 и след.]. Если сосредоточиться на нерешенных вопросах, то делается ясным, что накопился большой дефицит адекватной оценки этой собственной специфики, внутренней, вертикальной культурной п р е емственности (язычество → христианство, «второе южнославянское влияние» и его потенциальные внутренние мотивы и др., см. выше) за счет традиционной переоценки горизонтальной, с Запада на Восток, п е р е емственности.

Есть наблюдения (и в области исконной славянской христианской лексики — праслав. **rajь* ‘рай’, и в сфере выражения посессивности — ключевое слово **svojь*, *свой*), показывающие единство славян, не разрушенное даже

этой схизмой на Славию римско-католическую и Славию православную. Реконструкция вскрывает это неумирающее единство, и мы благ.рны реконструкции. Сквозь антропоцентризм, который довольно широко свойственен языку и который, может быть, сто́ит, чтобы сказать о нем особо, все же просвечивает оппозиция западного индивидуализма и славянского коллективизма / этноцентризма [Карагьозов 1997: 369].

Дескриптивизм, не отягощенный исторической памятью, оперируя «наивной» картиной мира, «вдруг» открывает для себя антропоцентризм в языке и всякий раз почти точно знает, к какому авторитету это восходит — к А. Вежбицкой [Земская, Ермакова, Рудник-Карват 1993: 260] или к X. Людтке [Reiter 1986: 27]. Такое «новаторство» производит несколько странное впечатление, потому что сравнительно-историческое языкознание, этимология, построенная на них реконструкция в общем давно работают с концепцией антропоцентричности древней (в частности) славянской культуры и языковой картины мира, ср. тезис о том, что тему праславянской культуры надо начинать с человека, который eo ipso мерит все окружающее и мыслимое ключевым словом **svojь*, *свой*, вплоть до того, что сама культура представляется совокупностью с в о и х отношений к окружающим и мыслимым объектам (см. [Трубачев 1991: 156—157]). Значит, как минимум — нужно признать слабую взаимную информированность таких филологических дисциплин, как дескриптивное и сравнительное языкознание. Работать в направлении укрепления взаимосвязей нужно всегда и особенно — сейчас, когда излишний ригоризм деления на «строгие» и «нестрогие» дисциплины и методы, на «современные» (moderne) и «традиционные» направления, слава богу, ослабевает и теряет актуальность.

Сейчас, как говорят (в том числе — на наших съездах), «доминирует переход от закрытых структур к открытым» [Savický 1993: 436], это не может не выражаться в смягчении претензий всюду видеть строгую структурность и системность. Словарный состав, лексика, наиболее соответствующие эталону открытой структуры, хотя бы по одному тому, что перед ними пасовали структуралисты, эти «охотники за системностью», постепенно вновь занимают подобающее место в интересах теоретиков языка.

А начиналось все, как известно, очень «круто», если вспомнить прокламацию непримиримой дихотомии «синхрония» — «диахрония», — не на шутку встревожившей серьезных представителей целостной науки о языке. Семереньи напоминает нам, что первым, кто возвысил голос против «злополучного раскола» (the unfortunate schism) между синхронией и диахронией, насаждаемого продолжателями и апологетами соссюрианства, был Вальтер фон Вартбург в 1931 г. [Szemerényi 1969: 120]. Гигантский собственный опыт В. фон Вартбурга во французской этимологии и сравнительном романском

языкознании (этимологический словарь французского языка) известен. Но ригористической дихотомией синхронии и диахронии тяготились и те, кто принадлежал к лагерю структурной лингвистики. Пражский лингвистический кружок, чьи «Тезисы» были опубликованы к открытию I Международного съезда славистов 1929 г., выступил как раз против «непреодолимости преград между синхронией и диахронией» [Булыгина 1990: 390]. Пражцы боролись не только **против** означенной «пропасти», но и з а синхронию, прилагая много усилий, чтобы снять отождествление с и н х р о н и и и с т а т и к и [Jakobson 1992: 17]. Но кирпичик из здания все же оказался вынут, и постепенно и малозаметно оно начало оседать и разрушаться. Тем более, что, вопреки всем кривотолкованиям, именно согласно Соссюру синхрония — это статика [Павленко отд. отт.]. Упомянутая борьба пражцев оставляла непроходящий привкус эклектизма и — главное впечатление, что ригористическая синхрония, этот никем никогда недостижимый «миг между прошлым и будущим», обречена. Казалось, нет ничего проще, тем не менее знаменательны признания, что определить состояние синхронии труднее всего. Искусственность и умозрительность приобретают при этом угрожающие размеры. Метафоричность теоретического словоупотребления превращается во все более назойливую помеху. Мне уже приходилось писать о том, что «и Миклошич, и Вондрак искренне удивились бы, если бы им сказали, что в их сравнительных грамматиках славянских языков даны с и н х р о н н ы е обзоры старославянских, русских и других словообразовательных средств...». Для них с этого начинался сравнительно-исторический аспект [Трубачев 1993: 65]. Само р а з в и т и е я з ы к а уже кажется нашим и заграничным теоретикам парадоксом («парадокс Балли») (ср. [Николаев 1987: 19]). Ясно, что нормальным такое положение признано быть не может. Ясно, что развитие языка — это универсальная реальность, и в нем самом заключено уже опровержение универсальной системности языка (иначе существовало бы вечное равновесие, а не вечное развитие, что есть на самом деле). Системные задатки, системные моменты существуют, но они частны, специальны, а не универсальны (об этом, впрочем, писали и другие, например М. Вандрушка). Параллельно назрел кризис концептуализации и терминологизации; здесь все болезненно пестрит от преувеличений и метафор. Все эти «системы систем» и «синхронные срезы» (!) в два века недоказуемы и давно вызывают чувство неудобства, — тем большего, что здесь далее сказывается также негативное воздействие языкознания на литературоведение. Примеров достаточно: «Древнеславянские литературы как система» [Лихачев 1970: 326]; «Категория пространства является одной из основ литературы как семиотической системы» [van Baak 1983: 447]; «...интеграция в Европе славянских литератур в составе подсистемы восточноевропейской литературы...» [Kovács 1993: 367]. Очень нагляд-

но обстоит дело с лингвистическим термином *метаязык* 'семантический, описательный язык' [Гвишиани 1990: 297] и с его литературоведческими эпигонизмами: «Традиция металитературы у А. П. Чехова...» [Maxwell 1983: 378]; ср., далее, сближение «мета-литературы» и «литературы-посредницы» у Д. С. Лихачева [А. В. Липатов 1990: 189]. В общем, мотивация и динамика этого явления понятны; они — в природе человека, метафористичного человеческого мышления, этой питательной почвы поэтики и поэзии, во всепроникающей метафористической природе человеческого языка вообще, в котором, как утверждают, метафорично все, кроме математики [Friedrich 1986: 8], ср. еще [Трубачев 1988: 74].

Но вернемся напоследок к нашей парадоксальной дихотомии «синхрония — диахрония»; которая неслучайно «смотрится» в ряду других метафорических преувеличений нашей филологии. Вплоть до открытия Куриловичем сохранного ларингального в хеттском взгляды раннего Соссюра (о консонантном коэффициенте) почти 50 лет считались «чистой ересью» (pure heresy) [Szemerényi 1967: 69]. Кто знает, не сочтут ли — в свою очередь — наши потомки великой ересью нашего XX в. эту обременительную дихотомию синхронии — диахронии?..

Филология и в ней — сравнительность останутся и в следующем веке, останутся навсегда.

Литература

Аванесов 1962 — *Аванесов Р. И.* IV МСС. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.

Аванесов 1963 — *Аванесов Р. И.* Описательная диалектология и история языка // Славянское языкознание. V МСС. Доклады советской делегации. М., 1963.

Аванесов 1973 — *Аванесов Р. И.* К вопросам периодизации истории русского языка // Славянское языкознание. VII МСС. Доклады советской делегации. М., 1973.

Аванесов 1978 — *Аванесов Р. И.* Общеславянский лингвистический атлас (1958—1978). Итоги и перспективы // Славянское языкознание. VIII МСС. Доклады советской делегации. М., 1978.

Барроу 1976 — *Барроу Т.* Санскрит. М., 1976.

Бернштейн 1962 — *Бернштейн С. Б.* IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.

Бородич 1962 — *Бородич В. В.* IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.

Булыгина 1990 — *Булыгина Т. В.* Пражская лингвистическая школа // Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В. Н. Ярцева. М., 1990.

Верещагин 1997 — *Верещагин Е. М.* История возникновения древнего общеславянского литературного языка. Переводческая деятельность Кирилла и Мефодия и их учеников. М., 1997.

Виноградов 1970 — *Виноградов В.* // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu I. Praha, 1970.
Гавранек 1962 — *Гавранек Б.* // IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
Гвишиани 1990 — *Гвишиани Н. Б.* Метаязык // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.
Гамкрелидзе, Иванов 1984 — *Гамкрелидзе Т. В., Иванов Вяч. Вс.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. Реконструкция и историко-типологический анализ праязыка и протокультуры. II. Тбилиси, 1984.
Горяинов, Досталь, Робинсон 1993 — *Горяинов А. Н., Досталь М. Ю., Робинсон М. А.* Методологические проблемы истории славистики как объект анализа в рамках международных съездов славистов // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.
Громова-Опульская 1978 — *Громова-Опульская Л. Д.* L'évolution des opinions de L. Tolstoï et les problèmes de la textologie // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A—K. Zagreb, 1978.
Громова 1993 — *Громова Л. Д.* История текста как путь к истории литературы // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.
Дерягин 1983 — *Дерягин В. Я.* // IX МСС. Материалы дискуссии. Языкознание. Киев, 1983.
Жуковская 1976 — *Жуковская Л. П.* Текстология и язык древнейших славянских памятников. М., 1976.
Живов 1993 — *Живов В. М.* Гуманистическая традиция в развитии грамматического подхода к славянским литературным языкам в XV—XVII вв. // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.
Земская, Ермакова, Рудник-Карват 1993 — *Земская Е. А., Ермакова О. П., Рудник-Карват З.* Теоретические проблемы сопоставительного изучения словообразования славянских языков (семантико-функциональный аспект) // XI МСС. Доклады российской делегации. М., 1993.
ИРЛ 1980 — История русской литературы. Т. 1. Древнерусская литература. Л., 1980.
Карагьозов 1997 — *Карагьозов П.* Славяне между Востоком и Западом. Религиозные и литературные аспекты двойственности // Slavia Orientalis. Т. XLVI. № 3. 1997.
Кочев 1986 — *Кочев И.* // IX МСС. Материалы дискуссии. Языкознание. Киев, 1986.
Крысько 1997 — *Крысько В. Б.* Кости и письмена: к поискам истоков древнего новгородско-псковского диалекта // Псковские говоры. История и диалектология русского языка / Под ред. И. Бьёрнфлатена. Oslo, 1997.
Леков 1973 — *Леков И.* Компенсацията — развоен фактор в славянските езикови системи // VII Międzynarodowy kongres slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973.
Липатов 1990 — *Липатов А. В.* Общие закономерности истории славянских литератур и концепция Р. Пиккио // ZfSl. 35, 1990, 2.
Лихачев 1962 — *Лихачев Д. С.* Текстология на материале русской литературы X—XVII вв. М.; Л., 1962.

Лихачев 1970 — *Лихачев Д.* // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu I. Praha, 1970.
Львов 1962 — *Львов А. С.* // IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
Мартынов 1978 — *Мартынов В. В.* Balto-Slavo-Italic isoglottic lines (Lexical synonymy) // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.
Мартынаў 1993 — *Мартынаў В.* Этногенез славян. Язык и миф // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.
Николаев 1987 — *Николаев Г. А.* Русское историческое словообразование. Теоретические проблемы. Казань, 1987.
Никонов 1962 — *Никонов В. А.* IV МСС. Материалы дискуссии. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
Ничев 1978 — *Ничев Б.* Сравнителното славянско литературознание в контекста на съвременната литературна наука // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.
Носовский, Фоменко 1997 — *Носовский Г. В.*, *Фоменко А. Е.* Новая хронология Руси. М., 1997.
Павић 1994 — *Павић М.* Хазарски речник. Београд, 1994.
Павленко — *Павленко Н. А.* Синхрония и диахрония в языке // Slavia (отд. отт.).
Плющ 1962 — *Плющ П. П.* IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
Раденковић 1993 — *Раденковић Љ.* Словенске народне басме (крај XIX — почетак XX века) // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.
Р. 1997 — Русские / Отв. ред. В. А. Александров, И. В. Власова, Н. С. Полищук. М., 1997.
Свак 1988 — *Свак Д.* Концепции т. н. «русского феодализма» в русской исторической науке // Международен конгрес на славистите. Резюмета на докладите. София, 1988.
Седов 1995 — *Седов В. В.* Славяне в раннем средневековье. М., 1995.
СИИЯРС 1988 — Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции / Отв. ред. Н. З. Гаджиева. М., 1988.
СлРЯ XI—XVII вв. — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975—.
СлРЯ XVIII в. — Словарь русского языка XVIII в. 1974—.
Супрун 1989 — *Супрун А. Е.* Введение в славянскую филологию. 2-е изд., перераб. Минск, 1989.
Токарев 1962 — *Токарев С. А.* IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.
Толочко 1993 — *Толочко П. П.* Язычество и христианство на Руси // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.
Толстой, Толстая 1993 — *Толстой Н. И.*, *Толстая С. М.* Слово в обрядовом тексте (культурная семантика слав. **vesel-*) // Славянское языкознание. XI МСС. Доклады российской делегации. М., 1993.
Трубачев 1962 — *Трубачев О. Н.* // IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.

Трубачев 1963 — *Трубачев О. Н.* Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963.

Трубачев 1988 — *Трубачев О. Н.* Славянская этимология и праславянская культура // X Международен конгрес на славистите. Резюмета на докладите. София, 1988.

Трубачев 1991 — *Трубачев О. Н.* Этногенез и культура древнейших славян. Лингвистические исследования. М., 1991.

Трубачев 1993 — *Трубачев О. Н.* Синхрония, диахрония — und kein Ende… // Slavia. Ročn. 62. 1993.

Трубачев 1995 — *Трубачев О. Н.* Sclavania на Майне в меровингскую и каролингскую эпоху. Реликты языка // Dialectologia slavica. Сб. к 85-летию С. Б. Бернштейна. М., 1995.

Трубачев 1997а — *Трубачев О. Н.* Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд // Вестник Российского гуманитарного научного фонда. 2. М., 1997.

Трубачев 1997б — *Трубачев О. Н.* В поисках единства. Взгляд филолога на проблему истоков Руси. 2-е изд., доп. М., 1997.

Урбанчик 1962 — *Урбанчик С.* // IV МСС. Материалы дискуссии. Т. 2. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.

Усачева — *Усачева В. В.* Зубы (рукопись; передана автору С. М. Толстой).

Филин 1978 — *Филин Ф. П.* Iskonsko i pozajmljeno u suvremenom ruskom književnom jeziku // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A—K. Zagreb, 1978.

Хелимский 1993 — *Хелимский Е. А.* Ранняя славянская христианская терминология в венгерском языке // Славянское языкознание. XI МСС. М., 1993.

Чекановский 1962 — *Чекановский Я.* // IV МСС. Материалы дискуссии. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962.

Чекман 1978 — *Чекман В. Н.* Typological and areal aspects of phonetic changes in Common Slavic // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A—K. Zagreb, 1978.

van Baak 1983 — *Baak J. J. van.* Семиотика литературного пространства в диахронном освещении // IX МСС. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983.

Białokozowicz 1983 — *Białokozowicz B.* Jan Baudouin de Courtenay and Slavonic literatures // IX МСС. Резюме докладов и письменных сообщений. М., 1983.

Baudouin de Courtenay 1983 — *Baudouin de Courtenay Z.* Izoglosy w świecie językowym słowiańskim // Sborník Prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze 1929, svazek II. Praha, 1932 (Перепечатано в: *J. N. Baudouin de Courtenay.* Dzieła wybrane. T. V. Warszawa, 1983).

Czekanowski 1957 — *Czekanowski J.* Wstęp do historii Słowian. Wyd. II. Poznań. 1957.

Dąbrowska-Partyka 1997 — *Dąbrowska-Partyka M.* Zagadnienie tożsamości a konflikt jugosłowiański // Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Kraków, 1997.

Friedrich 1986 — *Friedrich P.* The language parallax. Linguistic relativism and poetic indeterminacy. Austin, 1986.

Furdal 1978 — *Furdal A.* Schrifttheorie und ihre Bedeutung für Slavistik // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. I. A—K. Zagreb, 1978.

Gołąb 1978 — *Gołąb Z.* Conservatism and innovatism in the development of the Slavic languages // American contributions to the 8th International Congress of Slavists. Zagreb and Ljubljana, September 3—9, 1978. V. I: Linguistics and poetics / Ed. by H. Birnbaum. Columbus, Ohio, 1978.

Havránek 1970 — *Havránek B.* // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu I. Praha, 1970.

Horálek 1973 — *Horálek K.* Kritéria genetických souvislostí // VII Międzynarodowy kongres slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973.

Isačenko 1939 — *Isačenko A. V.* Versuch einer Typologie der slavischen Sprachen // Linguistica Slovaca I. Bratislava, 1939.

Jakobson 1992 — *Jakobson R.* Synchronní a diachronní studium jazyka // Slavia. 61/1, 1992.

Jeržyna 1996 — *Jeržyna Z.* Предисловие // *Jan Kochanowski.* Dzbanie mój pisany. Warszawa, 1996.

Kotabriński 1973 — *Kotabriński T.* Traktat o dobrej robocie. Wyd. 5. Wrocław, 1973.

Kovács 1993 — *Kovács A.* Comparative poetics of Slavic literatures // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.

Kuryłowicz 1962—1963 — *Kuryłowicz J.* O tzw. wewnętrznej rekonstrukcji // Sprawozdania Wydziału nauk społecznych PAN. 1962—1963.

Lenček 1978 — *Lenček R. L.* Baudouin de Courtenay's concept of mixed languages // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.

Martinet 1987 — *Martinet A.* De la philologie à la linguistique // La linguistique. V. 23. 1987.

Mathiassen 1993 — *Mathiassen T.* // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.

Maxwell 1983 — *Maxwell D.* // IX MCC. Резюме докладов и письменных сообщений. M., 1983.

Morvay 1978 — *Morvay K.* Z zagadnień frazeologii porównawczej języków słowiańskich // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.

Němec 1959 — *Němec I.* Vývojové problémy soudobé nauky o vidu // Slavia XXVIII/3, 1959.

Němec 1964 — *Němec I.* V mezinárodní sjezd slavistů v Sofii // Slavia. Ročn. XXXIII/3. 1964.

Němec 1974 — *Němec I.* Historická lexikologie a VII Mezinárodní sjezd slavistů // Slavia. XLII/2. 1974.

Němec 1992 — *Němec I.* Slovanská etymologie v stém výročí smrti F. Miklošiče // Slavia. Ročn. 61. 1992.

Niebrzegowska 1996 — *Niebrzegowska S.* Polski sennik ludowy. Lublin, 1996.

Orožen 1993 — *Orožen M.* Kontinuiteta starocerkvenoslovanske leksike v slovensken jeziku // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.

Pelc 1973 — *Pelc J.* Europejskość i swoistość literatury polskiego renesansu // VII Międzynarodowy kongres slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973.

Pelc 1988 — *Pelc J.* Renaissance humanism in Polish literature origins and further stages // X Международен конгрес на славистите. Резюмета на докладите. София, 1988.

Petrů 1978 — *Petrů E.* Les problèmes méthodologiques des recherches sur le mouvement humaniste dans les littératures slaves // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.

Petrů 1993 — *Petrů E.* Barokní humanismus ve slovanských literaturách // České přednášky pro XI mezinárodní sjezd slavistů. Česká slavistika. 1993 (Slavia).

Picchio 1978 — *Picchio R.* Принципы сравнительной славяно-романской истории литературы // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.

Popowska-Taborska 1978 — *Popowska-Taborska H.* Rôle et limite des arguments linguistiques dans les recherches sur l'ethnogénèse des Slaves // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.

Popowska-Taborska 1988 — *Popowska-Taborska H.* The problem of linguistic peripheries in the ethnogenetic researches // X Международен конгрес на славистите. Резюмета на докладите. София, 1988.

Rabanales 1979 — *Rabanales A.* Les interdisciplines linguistiques // La linguistique. V. 15. Fasc. 2. Paris, 1979.

Reiter 1986 — *Reiter N.* Anthropozentrismus und Sprachwissenschaft // Зборник за филологију и лингвистику XXIX/1, 1986.

Rothe 1993 — *Rothe H.* Zum Humanismus bei den Slaven: Stand und Aufgaben der Forschung // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.

Savický 1993 — *Savický N.* Předchůdci poststrukturalismu v jazykovědě slovanských zemí? // XI Medzinárodný zjazd slavistov. Zborník resumé. Bratislava, 1993.

Simonides 1978 — *Simonides D.* Ausgewählte Probleme der folkloristischen Textologie // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.

Šťastný 1993 — *Šťastný V.* Místo historiografie ve slavistických studiích // České přednášky pro XI mezinárodní sjezd slavistů. Česká slavistika. 1993 (Slavia).

Slolz 1973 — *Slolz B. A.* On the history of the Serbo-Croatian diplomatic language and its role in the formation of the contemporary standard // VII Międzynarodowy kongres slawistów. Streszczenia referatów i komunikatów. Warszawa, 1973.

Szemerényi 1967 — *Szemerényi O.* The new look of Indo-European. Reconstruction and typology // Phonetica. V. 17. № 2. 1967.

Szemerényi 1972 — *Szemerényi O.* Comparative linguistics // Current trends in linguistics / Ed. Th. A. Sebeok. V. 9. Linguistics in Western Europe. The Hague; Paris, 1972.

Szemerényi 1982 — *Szemerényi O.* Richtungen der modernen Sprachwissenschaft. II. Die fünfziger Jahre (1950—1960). Heidelberg, 1982.

Trubačev 1978—1979 — *Trubačev O. N.* Bilješke jednog sudionika VIII Međunarodnog slavističkog kongresa (3.09.—9.09. 1978. Zagreb) // Jezik. Časopis za kulturu hrvatskoga književnog jezika. God. XXVI. 2. 1978—1979.

Trubačev 1991 — *Trubačev O. N.* Slavische Etymologie gestern und heute // Wiener Slavistisches Jahrbuch. Bd. 37. 1991.

Večerka 1993 — *Večerka R.* Postavení staroslověnštiny v komplexní jazykové realitě staré Moravy // České přednášky pro XXI mezinárodní sjezd slavistů. Česká slavistika. 1993 (Slavia).

De Vincenz 1988 — О лексическом составе языка западной миссии у славян // X Международен конгрес на славистите. Резюмета на докладите. София, 1988.

Wollman 1997 — *Wollman S.* Pronásledování slavistů v Sovětském svazu a Slovanský ústav v Praze // Slavia. Ročn. 66. 1997.

Wollman 1978 — *Wollman S.* The methodological base of comparative Slavic literature // VIII Međunarodni slavistički kongres. Knjiga referata. Sažeci. II. L—Y. Zagreb, 1978.

WS 1997 — Współcześni Słowianie wobec własnych tradycji i mitów. Kraków, 1997.

Zolotova 1970 — *Zolotova G.* // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu I. Praha, 1970.

Žirmunskij 1970 — *Žirmunskij V.* // VI Mezinárodní sjezd slavistů v Praze 1968. Akta sjezdu I. Praha, 1970.

Часть II

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

ПАМЯТИ К. БУГИ

К тридцатилетию со дня смерти

Крупнейший ученый-языковед К. Буга внес большой вклад в науку о литовском языке.

Его языковедческие интересы были разнообразны, но, в основном, они тяготели к той области языкознания, которая таит в себе больше всего неизведанного — к истории языка, истории происхождения слов, чему посвящены многочисленные труды К. Буги. Его работы в этой области изобилуют ценными фактами, новыми мыслями.

Но значительная часть научных работ и материалов К. Буги еще не опубликована. Среди них — картотека к этимологическому словарю литовского языка, составляющая свыше 19 тысяч карточек, «Заметки и поправки к русскому этимологическому словарю Преображенского», находящиеся в образцовом порядке и буквально готовые для печати, переписка с ведущими русскими и другими языковедами. Эти интереснейшие и ценнейшие для советского языкознания материалы хранятся в рукописях в Академии наук Литовской ССР и Вильнюсском государственном университете. В них содержатся богатые сведения по истории литовского, латышского и близко родственных им славянских языков.

Потребность в издании этих трудов велика. На литовских языковедах лежит большая, почетная задача, которую так и не смог осуществить из-за своей ранней смерти К. Буга. Это — составление этимологического словаря литовского языка, одного из интереснейших языков мира. Изучение наследия выдающегося литовского языковеда может пролить новый свет на некоторые вопросы развития языков.

К. Буга остается для нас примером самоотверженного ученого-труженика, неутомимого исследователя, подчинившего большой цели всю свою недолгую, полную лишений жизнь.

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ЭТИМОЛОГИЧЕСКИХ СЛОВАРЕЙ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ

Общеславянский этимологический словарь, традиционное построение; современное состояние вопроса; сравнение с романскими и германскими этимологическими словарями; компромисс при составлении этимологического словаря; специфика славянской этимологии

1. История составления этимологических словарей славянских языков, как известно, открывается появлением общеславянских этимологических словарей Фр. Миклошича и Э. Бернекера. «Этимологический словарь славянских языков» Фр. Миклошича[1], игравший длительное время выдающуюся роль при изучении славянской лексики, был в значительной степени (если не полностью) заменен словарем Э. Бернекера[2]. В нашу задачу не входит обсуждение исключительно этимологической стороны словаря Бернекера, которая, кстати сказать, отличается высоким научным уровнем, получила в свое время прекрасную оценку и сохраняет большое значение до настоящего времени. В данном случае нас интересуют в первую очередь принципы, на которых строится словарь как таковой. Еще первые критики словаря Бернекера указывали, что этот словарь построен в общем совершенно так же, как словарь Фр. Миклошича, представляя некоторым образом коллекцию исконных и заимствованных, древних и поздних слов разных славянских языков.

---

[1] *F. Miklosich.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.

[2] *E. Berneker.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I (A—L). Heidelberg, 1908—1913.

В предисловии к словарю Э. Бернекер указывает, что он стремился исчерпать исконную общеславянскую лексику всех славянских языков, объединяя всякий раз родственные формы под общеславянской праформой; в словарь включено также большое количество заимствований, среди которых есть как общеславянские и ранние заимствования отдельных славянских языков, так и новые заимствования. Необходимость включения последних Э. Бернекер оговаривает для тех случаев, когда слова представляют «особенный интерес», добавляя, что во многих случаях решающим соображением являлся учет потребностей начинающих славистов. Это приводило к тому, что в словаре нашло место значительное количество недавних западных заимствований в польском и русском языках, а также множество турецких заимствований в южнославянских языках. Такой состав не мог не сообщить работе Э. Бернекера, воспринимаемой обычно как общеславянский этимологический словарь, определенного отпечатка теоретической невыдержанности, на что указал А. Мейе сразу же после ознакомления с первыми выпусками словаря[3].

2. Следует признать, что истекшие со времени издания словаря Э. Бернекера 40 с лишним лет внесли мало нового в разработку проблематики общеславянского этимологического словаря. Прежде всего остался незаконченным и сам словарь Э. Бернекера, а новые замыслы такого рода оказывались недолговечными и не доживали до своего осуществления. Здесь можно вспомнить о планах А. Мейе и Я. Розвадовского, об обширных рукописных материалах к славянскому этимологическому словарю, которые оставил Г. А. Ильинский. Известно, что И. М. Коржинек был намерен окончить словарь Э. Бернекера и вел определенную работу в этом направлении. Возможно, данное обстоятельство дает право заключить, что принципы построения словаря, примененные Э. Бернекером, по-прежнему считались наиболее приемлемыми. К сожалению, при обсуждении проблем, связанных со славянским этимологическим словарем, которое имело недавно место у нас и в Чехословацкой Академии наук (в январе 1954 г.)[4], как-то обошли вопрос оценки принципов Э. Бернекера и, собственно говоря, не дали достаточно конструктивных указаний относительно построения общеславянского этимологи-

[3] См. его рецензию на словарь Э. Бернекера в журнале «Rocznik slawistyczny» Т. II (Kraków, 1909).

[4] См.: *Р. А. Ачарян.* О составлении этимологического словаря славянских языков // ВЯ. 1952, № 4; *В. И. Абаев.* О принципах этимологического словаря // ВЯ. 1952, № 5; *М. Н. Петерсон.* О составлении этимологического словаря русского языка // там же. См. также: Slavia. Ročn. XXIV. Seš. 1. 1955. S. 141—145 (под рубрикой «Zprávy. Konference o slovníku jazyka staroslověnského a o etymologickém slovníku jazyků slovanských»).

7. Заказ № 2261.

ческого словаря. Предложения Р. А. Ачаряна, имевшего большой собственный опыт создания этимологического словаря армянского языка, в известной мере оригинальны, но плохо учитывают специфику славянского словаря. Нельзя строить общеславянский этимологический словарь на основе одного из современных славянских языков.

Кажется, наиболее серьезно в последнее время относятся к идее создания славянского этимологического словаря чехословацкие слависты. Опытный этимолог В. Махек выступил в печати со статьей, посвященной проблематике славянского этимологического словаря[5]. В. Махек указывал на необходимость составления подобного синтетического труда по славянским языкам. Однако он так и не затронул проблематики построения славянского этимологического словаря как таковой и не определил, во всяком случае, своего отношения к соответствующим принципам Э. Бернекера, ограничившись в статье проблематикой этимологических исследований. В докладе на вышеупомянутой конференции В. Махек полнее изложил программу этимологического словаря. Сообщив о намерении использовать в предстоящей работе материалы И. М. Коржинека, собиравшегося завершить труд Э. Бернекера, В. Махек охарактеризовал цель подготовляемого словаря: полностью объяснить словарный состав славянских языков, причем должны быть привлечены и важнейшие диалектные слова. Последний момент оказался в центре развернувшейся затем дискуссии, во время которой указывали на большую разнородность диалектного материала; многие участники предлагали привлекать диалектизмы ограниченно, лишь при условии их значимости в сравнительном отношении. Оригинальную точку зрения представил на дискуссии А. В. Исаченко, высказавшийся за концентрацию усилий на этимологическом словаре какого-либо отдельного славянского языка — чешского или старославянского. В общем, судя даже по сжатому отчету «Славии», дискуссия была интересной и важной; в частности, можно, отнюдь не предрешая успеха коллективного труда Чехословацкой Академии наук по созданию славянского этимологического словаря, признать весьма симптоматическими выступления, в которых, с одной стороны, было указано на трудность решения проблемы диалектизмов в подобном словаре, а с другой, выражалось сомнение в целесообразности славянского этимологического словаря как такового.

3. Сопоставление состояния славянской этимологической лексикографии с положением в германской и романской может дать любопытные выводы. Такое сопоставление оправдано тем, что в судьбе этих трех групп языков много близкого: общее индоевропейское происхождение, развитие из отдель-

---

[5] *V. Machek.* O potřebě a problematice slovanského etymologického slovníku // Slavia. Ročn. XXII. Seš. 2—3. 1953.

ного группового праязыка, отсутствие в настоящее время этого праязыка. Особенно интересно отметить состояние этимологической разработки германской группы языков. Как известно, германский этимологический словарь, собственно говоря, отсутствуют, зато имеется целый ряд этимологических словарей отдельных германских языков: немецкого, голландского, английского, датского, норвежского, шведского, исландского, готского. Отсутствие современного общегерманского этимологического словаря не представляется нам случайным. Известная лексическая самостоятельность современных германских языков сообщает опытам создания общегерманского этимологического словаря характер нереального свода[6]. Большая однородность славянских языков имеет своим следствием то, что идея славянского этимологического словаря продолжает десятилетиями жить в умах славистов, хотя до настоящего времени не нашла своего реального воплощения, отвечающего современным требованиям. Дело, очевидно, в том, что принципиального различия между положением в германской и славянской группах языков нет. С другой стороны, обе названные группы языков диаметрально противостоят романской группе, в которой мы имеем дело с редкостной сохранностью традиции, когда налицо все звенья цепи — от праязыка до современных романских языков. В сущности развитие во всех трех случаях протекало совершенно аналогично, имея своим источником один праязык, но есть существенное различие, которое приобретает особое значение в вопросе составления этимологического словаря каждой из названных групп. Это различие заключается в том, что в основе романских языков лежит единый культурный язык организованного государства (имевший письменность), в то время как прагерманский и праславянский языки никогда не представляли такого единства. Несомненно, что древняя диалектная разнородность отражалась также в словаре. Во всяком случае, постоянный учет этой древней разнородности гарантирует от серьезных заблуждений, неизбежных, если предполагать единые праязыки также для таких групп, как германская и славянская[7].

Э. Бернекер, создавая этимологический словарь славянских языков, решил задачу искусственно, хотя вполне возможно, что сама специфика проблемы и условия того времени не давали ему возможности иного решения. Это особенно бросается в глаза при сравнении словаря Бернекера с любым

[6] Большей реальностью отличаются, видимо, опыты этимологической обработки отдельных ветвей германской группы; ср.: *F. Holthausen*. Vergleichendes und etymologisches Wörterbuch des Altwestnordischen, Altnorwegisch-isländischen... Göttingen, 1948; еще раньше: *H. S. Falk*, *A. Torp*. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1910—1911.

[7] Ср. *В. Пизани*. Этимология. История — проблемы — метод / Перевод с итальянского. М., 1956. С. 52—53.

Латинским этимологическим словарем (А. Вальде или А. Эрну — А. Мейе). Принципиальное сходство общеславянского и латинского словарей в том, что оба — словари мертвых родоначальников семей родственных языков. Но письменная засвидетельствованность латинского языка значительно меняет положение вещей. Этимологический словарь латинского языка неизбежно реалистичен по своему составу: он отражает реально засвидетельствованную лексику. Для общеславянскою языка ничего подобного не существует. Это, казалось бы, внешнее различие между общеславянским и латинским языками ощутимо сказывается на характере соответствующих словарей. В итоге славянский этимологический словарь в его известной форме представляет довольно причудливое смешение по крайней мере двух словарей: типа латинского этимологического словаря и типа романского этимологического словаря В. Мейер-Любке. Мы привыкли видеть в словаре Э. Бернекера как нечто полагающееся огромное количество поздних заимствований. Подсчеты, результат которых может, очевидно, колебаться в известных пределах, показывают, что в словаре Э. Бернекера содержится: общеславянских слов и ранних заимствований — 1050; слов, известных отдельным славянским языкам, — 103; поздних заимствований (главным образом отдельных славянских языков) — 1278; неясных по происхождению слов — 227.

Отсюда следует, что на общее число слов в словаре Э. Бернекера (2658) приходится 1278 поздних заимствований, т. е. словарь почти на половину занят словами, не имеющими никакого отношения к общеславянской лексике. Разумеется, это анахронизм, который трудно извинить даже мотивами объединения всех этимологий в одном справочнике. Это становится особенно заметным при сравнении с латинским этимологическим словарем, который есть одновременно словарь общероманский; мы не найдем в этимологическом словаре латинского языка всех слов современных романских языков, требующих этимологического изучения, по той естественной причине, что их не знал латинский (общероманский) язык. К ним относятся все слова, не имеющие общероманского характера: славянизмы румынского языка и других романских диалектов Балкан, галльская лексика французского языка, большое количество германских заимствований французского и итальянского языков, среди которых многие заимствованы очень рано, и др. Именно в правильном отборе общероманской лексики как основного ядра словаря выражается реалистический характер латинского этимологического словаря. В этом свете славянский этимологический словарь Э. Бернекера нельзя не признать составленным искусственно. В методологическом отношении он уже с самого начала не мог не стоять ниже любого латинского этимологического словаря.

Наиболее оправданным в такой ситуации был бы, по-видимому, этимологический словарь праславянского языка, для чего потребовалось бы — в

качестве первого этапа — составление праславянского словаря[8]. Однако нельзя не заметить, что подобный умозрительно составленный праславянский словник будет иметь весьма относительную ценность. Исходить в случае со славянскими языками из какой-то идеально понятой общей базы и создавать на этой базе славянский этимологический словарь — значит так или иначе поставить под вопрос включение многих слов, общеславянский характер которых проблематичен. В настоящее время, когда не учтен еще удовлетворительно материал всех славянских языков в отдельности и, тем более, когда этот материал еще не получил достаточно исчерпывающей обработки в этимологических словарях отдельных славянских языков, упомянутый синтез вряд ли будет полезен. К тому же в итоге такой сводной работы возникнет своеобразная фикция. Подобной фикцией еще в большей степени является любой, даже лучший современный индоевропейский этимологический словарь ввиду неизбежных в нем значительных искусственных хронологических смещений. Правда, считается, что в рабочем порядке обобщающий свод такого рода для индоевропейских языков приемлем и в известном смысле полезен.

4. Естественно, что в составлении этимологического словаря присутствует определенная доза компромисса. Авторы первых таких трудов были вынуждены прибегать к компромиссу чрезвычайно часто, что диктовалось условиями работы и практическими соображениями. Э. Бернекер отдавал себе отчет в компромиссном характере своего словаря. Тогда еще не было этимологических словарей отдельных славянских языков, и Э. Бернекер, естественно, стремился в этих условиях дать как можно больше материала. Многие из прежних трудностей сохраняются и в наше время. Так, например, мы, очевидно, не сможем достичь такого уровня разграничения проблематики, который отличает романскую этимологию. Благоприятные условия последней позволяют четко разграничивать, например, латинский и французский этимологические словари. Более того, не менее четко различаются латинский и романский этимологические словари, причем первый содержит ретроспективное исследование общероманской лексики на индоевропейском сравнительном фоне, а второй — скорее преломление и развитие той же общероманской лексики в жизни отдельных романских языков.

Замечательно при этом то, что, например, романский этимологический словарь не повторяет материала и методов латинскою этимологического словаря, а французский или испанский этимологические словари, в свою оче-

[8] Сообщают, что в Кракове под руководством Т. Лер-Сплавинского готовится праславянский словарь, который должен отразить всю лексику праславянского языка конца его существования (см. *F. Sławski.* Z doświadczeń przy pracy nad Słownikiem etymologicznym języka polskiego // Język polski. T. XXXVI. Zesz. 4. 1956. S. 275).

редь, не повторяют, как правило, материалов романского этимологического словаря. Каждый из них занимается своей этимологической проблематикой. При таком чрезвычайно четком различении форм в максимально благоприятных условиях непрерывной письменной традиции компромисс сводится практически к минимуму. В. Мейер-Любке точно указывает круг не привлекающихся слов[9]. Хотя для славянской этимологии многое из перечисленных преимуществ является недосягаемым, но естественное стремление совершенствовать тип славянского этимологического словаря предполагает и здесь сведение компромисса до минимума. В частности, это должно выражаться в определении соотношений между общеславянским этимологическим словарем и этимологическим словарем отдельного славянского языка.

5. Пожалуй, именно для этимологии романских языков характерно столь четкое разграничение между ретроспективной этимологией латинской (общероманской) лексики с обязательным выходом в индоевропейскую этимологию и собственно романской этимологией — также большой самостоятельной областью, определяющей лицо этимологических словарей отдельных романских языков и синтетических этимологических словарей вроде труда В. Мейер-Любке. Кроме уже известных специфических условий, это объясняется значительным фонетическим развитием современных романских форм, для объединения которых вокруг латинской праформы очень часто требуется целое этимологическое исследование. Так, из лат. *turbāre* 'возмущать, волновать' произошли ит. *trovare* 'находить, захватить, встречать' и франц. *trouver* 'находить', но их происхождение настолько затуманено фонетическим и особенно своеобразным семантическим развитием, что для его определения потребовались, как рассказывают, напряженные искания Г. Шухардта, результатом которых явилась его блестящая, убедительная этимология в духе принципа «Wörter und Sachen». Г. Шухардт объяснил семантическое развитие этих слов в плане рыболовецкой терминологии: 'волновать, мутить воду' > 'находить, ловить рыбу в мутной воде' > 'находить (вообще)'[10]. Только этимология может, например, установить, что франц. *aisé* 'удобный, покойный' восходит к лат. *adjacens* 'окрестность, свободное пространство'. Такие примеры исключительно типичны для романской этимологии в целом.

В славянской этимологии мы находим несколько иное положение. Письменная история здесь короче, и праязык не сохранился, но главное, видимо,

---

[9] *W. Meyer Lübke*. Romanisches etymologisches Wörterbuch. 3-e Aufl. Heidelberg, 1935. S. VIII.

[10] *H. Schuchardt*. Romanische Etymologien. II // Sitzungsberichte der Wiener Akad. der Wiss. Bd. 141. 1899.

не в этом, а в более глубокой специфике славянского языкового развития, выражающейся в относительном консерватизме и, следовательно, сравнительной прозрачности словообразовательных связей и большем единообразии форм по славянским языкам. Возвести русское, польское или сербское слово к общеславянской форме в большинстве случаев еще не значит дать этимологию соответствующего русского, польского или сербского слова. В то же время сложность развития романских форм как раз ограничивает романскую этимологию вопросом выяснения отношений романских форм к латинской, на чем собственно романская этимология прекращается (здесь имеется в виду исконная романско-латинская лексика). В этом нужно усматривать коренное отличие романской этимологии от славянской. Славянская этимология, конкретно этимология русских, польских, сербских и других слов, — по преимуществу этимология ретроспективная, и она не может довольствоваться констатацией общеславянской праформы, прозрачной для большинства случаев, но обязательно предполагает выход в родственные индоевропейские языки. Одним словом, в собственно славянской этимологии мало реальной представляется деятельность такого ученого, как Я. Малькиль, который весьма плодотворно занимается испанской этимологией исключительно в охарактеризованных рамках, т. е. практически — без выхода в другие индоевропейские языки[11]. Этим различием должна объясняться, на наш взгляд, несравненно бóльшая пропорция не только общеславянской, но также индоевропейской этимологии в этимологическом словаре любого из славянских языков. Совершенно очевидно, что существенной частью славянской этимологии является выяснение славянских словообразовательных связей; полная надежность этой стороны сообщает этимологии значительную вероятность.

Таким образом, в вопросе относительно рамок словарной статьи сравнение с романскими этимологическими словарями показательно. Этимологические словари французского, испанского и других романских языков и в этом резко отличаются от латинского этимологического словаря. Если мы обратимся к славянским словарям, мы сразу отметим отсутствие сколько-нибудь принципиальных различий между словарем Э. Бернекера и словарями отдельных славянских языков: установки, сравнительный фон, этимологическая часть у них в значительной степени совпадают. Новый русский этимологиче-

[11] Ср., например, *Y. Malkiel.* Studies in the reconstruction of Hispano-Latin word families. Berkeley; Los Angeles, 1954: I — The Romance progeny of Vulgar Latin (*re*)*pedāre* and cognates…; II — Hispano-Latin **pedia* and **mania*..; III — The coalescence of *expedīre* and *petere* in Ibero-Romance. Автор указывает, что «хронологически ядро этой монографии составляет реконструкция лексических форм и значений, вторично развившихся или существенно видоизмененных в провинциальной народной латыни» (S. III).

ский словарь М. Фасмера в принципе уделяет почти не меньше, чем словарь Э. Бернекера, внимания общеславянским сравнениям и индоевропейской этимологии. Следовательно, если в вопросе построения общеславянского этимологического словаря в целом сравнение с романской этимологией, в частности с латинским этимологическим словарем, очень поучительно демонстрирует недостатки существующей формы славянского словаря, то в вопросе построения словарной статьи этимологического словаря отдельного славянского языка констатируемое отличие от практики французского этимологического словаря представляется необходимым и закономерно отражает специфику славянской этимологии.

Объем этимологического словаря отдельного славянского языка; вопросы теории этимологического словаря отдельного славянского языка; лексическая дифференциация; ее древний характер; значение этимологического словаря отдельного славянского языка

6. Среди вопросов построения этимологического словаря отдельного славянского языка заслуженным интересом пользуется вопрос об объеме словаря. О существующих на этот счет мнениях лучше всего говорят установки, которым следуют сами авторы словарей. А. Брюкнер пишет в предисловии к своему словарю: «Работа не охватила всех слов: из иноязычных исключены все новые европейские, относящиеся к моде, спорту, искусству и политике, к промышленности и технике; из исконных — все слишком специальные, относящиеся к естествознанию, медицине, ремеслу и носящие местный характер, диалектные или искусственные, преимущественно из студенческого жаргона, или непристойных. Тем самым словарь ограничивается средним литературным языком» [12]. Ф. Славский сообщает, что его словарь «объясняет прежде всего так называемые праслова, т. е. слова, имеющиеся и в других славянских языках, часто — общеславянские. Его задача — дать полный обзор основных общеславянских слов в современном польском языке ⟨...⟩ Из иноязычных слов учитывается только древнейший слой, который в среднем лингвистическом сознании часто уже не считается заимствованным» [13].

Очевидно, что А. Брюкнер, ограничивая определенным образом рамки словаря, все же считал необходимым отразить в нем многообразие лексики. В то же время Ф. Славский подчиняет свой словарь несколько более жесткой схеме. Концепция словаря А. Брюкнера, как нам кажется, более продумана в деталях и в целом. Можно спорить с обоими авторами, но с Ф. Славским сле-

---

[12] *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków [1927]. S. IX.

[13] *F. Sławski*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Zesz. I_1. Kraków, 1952. S. 5.

дует, по нашему мнению, спорить по принципиальному вопросу, тогда как А. Брюкнеру приходится возражать скорее по частным вопросам. Не следует думать, что этимологический словарь должен отражать только исконную и древнюю лексику, иными словами — основной словарный фонд, как предлагал М. Н. Петерсон [14]. К слову сказать, Ф. Славский неудачно оперирует понятием «праслов», т. е. «слов, имеющихся и в других славянских языках» (см. выше.) Этимология славянских языков знает немало «праслов», известных только одному из славянских языков, и это весьма существенно, поскольку имеет прямое отношение именно к специфике этимологических словарей отдельных славянских языков; но к этому вопросу еще придется вернуться ниже. Недавно опубликовавший свои наблюдения над новыми этимологическими словарями славянских языков В. Поляк считает, что теоретически этимологический словарь чешского языка должен содержать все слова чешского языка [15]. Тех авторов, которые по традиции вносят обычно в словарь лишь местные слова и старые заимствования, В. Поляк упрекает в незнании этимологической проблематики новых культурных слов. Он указывает, например, на то, что Ф. Славский не приводит слов *aksamit*, *alun*, *aloes*, *aras*, *arena*, *armata*, *bardysz*, *bazant*, которые есть даже у Э. Бернекера. Напротив, М. Фасмер необычайно расширил свой словник, в том числе — за счет большого количества заимствованной топонимики.

Попытаемся охарактеризовать объективные критерии, на которых, по нашему мнению, должен строиться этимологический словарь данного языка. К этимологическому словарю подходит определение словаря-справочника, который, как говорил Л. В. Щерба, вовсе не призван отражать единого языкового сознания (в отличие от нормативных словарей), но объединяет слова, принадлежащие разным эпохам и нуждающиеся в объяснении [16]. Требование исчерпывающей полноты, которое естественно предъявить к этимологическому словарю-справочнику, вряд ли вызовет принципиальные возражения. Здесь опять нельзя не согласиться со справедливым заявлением Л. В. Щербы, что «всякий краткий словарь вызывает у серьезных людей в конце концов раздражение, так как он всегда оказывается недостаточным во всех тех случаях, когда словарь действительно нужен» [17]. Правы те, кто предъявляет к этимологическому словарю максимальные требования, ибо если то или дру-

[14] *М. Н. Петерсон*. Указ. статья. С. 77.

[15] *V. Polák*. Nad novými etymologickými slovníky slovanskými // Rocznik slawistyczny. T. XVIII. Cz. I. 1956.

[16] *Л. В. Щерба*. Опыт общей теории лексикографии // ИАН ОЛЯ. 1940, № 3. С. 89—90.

[17] Там же. С. 106.

гое редкое, неупотребительное слово не найдет отражения в таком словаре, где же его подлинное место? Несомненно, однако, и то, что эта точка зрения нуждается в уточнении. Составитель этимологического словаря должен, по-видимому, избрать вариант в известном смысле компромиссный, основанный, с одной стороны, на наиболее широком представлении всех форм, имеющих хождение в языке и нуждающихся в этимологическом объяснении, с другой — и прежде всего — на учете фактов генетического родства, так как в конечном счете этимологический словарь основывается именно на отражении этого родства. Сочетание обоих названных принципов способно с достаточной степенью объективности отражать этимологию данного языка в наиболее полном значении этого слова.

Со стороны построения «Русский этимологический словарь» М. Фасмера[18], в основном, отвечает описанным максимальным требованиям, если, к тому же, сделать скидку на те несколько индивидуальные моменты, которые объясняются кругом преимущественных интересов автора (довольно обширное включение топонимики, этнонимов, вообще — собственных имен). Лишними, с точки зрения изложенных принципов, в словаре М. Фасмера окажутся разные искусственные образования и аббревиатуры, например: «*Путеводиус* 'фантастическая звезда, указывающая дорогу', у С. Михалкова (Новый мир. 1945, № 9. С. 47). Искусственное латинизированное образование от *путеводитель* или *путеводная звезда* и т. п. по аналогии имен вроде *Сириус*» (Т. II. С. 468); *летнаб* из *летчик-наблюдатель* (Т. II. С. 36); *СССР* (Т. II. С. 712). Словник М. Фасмера отличается, можно сказать, исчерпывающей полнотой. Конечно, и здесь можно говорить о пропусках, как известно из опубликованных рецензий на словарь, но это лишь единичные, случайные пропуски, а не десятки слов, не удовлетворявших схеме автора, что отмечается для других подобных словарей. Из пропусков, которые мы можем указать дополнительно, здесь назовем отсутствующие в словаре *дикобраз*, *лётка*, *холудина*. Заметим, что существуют различные затруднения, стесняющие достижение полноты объема в справочнике такого типа, как этимологический словарь отдельного языка (например русского). Сюда относятся непристойные слова, которые являются весьма древними образованиями и представляют значительный интерес в этимологическом отношении. Этим словам посвящена обширная литература, и они отражены с соответствующими нужными пояснениями в словаре М. Фасмера. Но все дело в том, что и словарь, и упомянутая литература представлены на других языках (главным образом на немецком), так что вопрос об одиозности этих слов практически не стоит; в

[18] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I—III (Lief. 19—22). Heidelberg, 1953—1957.

русской же этимологической литературе нам не приходилось встречать справок о соответствующих словах.

7. Может показаться, что составленный таким образом полный этимологический словарь языка будет очень разнородным и хаотичным в отношении состава и, следовательно, окажется ниже с методологической точки зрения, чем, например, словарь «упорядоченный», отражающий основную, древнейшую лексику. Действительно, этимологический словарь-справочник данного языка есть собрание разновременного «языкового материала», употребляя определения Л. В. Щербы, в то время как нормативный словарь представляет «языковую систему» [19]. Однако даже собранный таким образом «языковой материал» явится одноплоскостным отражением многих сменявших одна другую «языковых систем», т. е. отнюдь не хаотическим с точки зрения соотношения частей. Наиболее устойчивые и характерные тенденции обязательно найдут здесь отражение, пусть в смещенном виде. В данном смысле, возможно, показателен опыт учета — в известных границах точности — соотношения основных частей «языкового материала» (в нашем случае — этимологического словаря отдельного языка). Это имеет прямое отношение к старому вопросу лексической дифференциации языков, связанных общим происхождением из одного праязыка.

Нам представляется ясным в данной связи, что вопрос лексической дифференциации родственных языков — вопрос органический, генетический. Последнее важно для определения нашей позиции по отношению к неорганическим средствам упомянутой дифференциации, которые часто рассматриваются исследователями в общем плане лексической дифференциации. Роль неорганических (заимствованных) средств дифференциации действительно велика, но заимствования, гласным образом поздние, занимают особое место, что, кажется, общепризнано. Вряд ли возможно поэтому приводить среди примеров древней лексической дифференциации отдельных польских диалектов такие слова, как *magazyn*, *malwa*, *marzec*, *maszynista*, *mechanik*, *medytować*, *mirt*, *misja*, *misjonarz*, *monopol*, *monstrancja*, *mundur*, *musztra*, *muzyka* и подобные [20].

Средний тип этимологического словаря, как нам кажется, удачно подходит для проверки указанных положений, если учесть первостепенное внимание составителей к фактам лексики, при естественном опущении прозрачных фактов морфологии. Наблюдения и основанные на них выводы интересны,

[19] *Л. В. Щерба.* О трояком аспекте языковых явлений и об эксперименте в языкознании // ИАН СССР. Серия VII. Отделение общественных наук. 1931, № 1. С. 115.

[20] См. *H. Olesińska.* Kilka uwag o wzajemnych stosunkach ilościowych w słownictwie gwar polskich // Język polski. T. XXXVI. Zesz. 4. S. 297.

во-первых, потому, что они относятся к проблеме лексической дифференции и, во-вторых, потому, что позволяют более определенно судить о возможном характере этимологического словаря отдельного славянского языка.

8. Памятуя полезное указание, что «каждое исследование должно будет оперировать точными величинами (préciser), если оно занимается особенностями лексики или словаря» [21], предлагаем ниже результаты подсчетов состава нескольких этимологических словарей. Точность подсчетов, естественно, должна колебаться, как уже говорилось выше. Главное, что нас интересует, — это отражение лексической дифференциации, причем мы понимаем ее скорее в генетическом плане (см. выше).

У Брюкнера:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	2217
Западнославянских слов	71
Польских слов	91
Поздних заимствований	2283
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	320
Собственных имен	97

У Славского [22]:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	669
Западнославянских слов	18
Польских слов	7
Поздних заимствований	374
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	151
Собственных имен	=

У Голуба—Копечного [23]:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	2026
Западнославянских слов	121
Чешских слов	177
Поздних заимствований	1775
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	394

У Фасмера [24]:

Общеславянских слов (и ранних заимствований)	3191
Восточнославянских слов	72
Русских слов	93
Поздних заимствований	6304
Экспрессивных, звукоподражательных, неясных по происхождению слов	1119
Собственных имен и этнонимов	818

Попытки статистического учета степени относительной эволюции отдельных сторон языка известны давно. Например, основоположник так назы-

[21] *P. Guiraud.* Les caractères statistiques du vocabulaire // Essai de méthodologie. Paris, 1954. P. 55.

[22] В рамках первых четырех выпусков словаря.

[23] *J. Holub, F. Kopečný.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952.

[24] Bd. I—III (1—22). Lief. 1—4.

ваемого количественного метода Я. Чекановский пытался применением этого метода при освещении истории польского языка на фоне праславянского показать, что древнейшее состояние меньше всего сохранилось в современной лексической дифференциации польских диалектов сравнительно с фонетической и морфологической дифференциацией. В связи с этим Я. Чекановский неоднократно выдвигал следующее общее положение: «...в морфологических явлениях отразилась наиболее древняя дифференциация, в лексических — самая младшая, в то время как фонетические явления дают нам картину промежуточного периода»[25]. Подобное утверждение в такой общей форме вызывает принципиальные возражения. Относительно морфологических явлений факты говорят о возможности здесь дифференциаций в весьма поздние эпохи; ср. хотя бы продемонстрированное Р. Бошковичем развитие новых морфологических черт, общих только словенскому и сербохорватскому языкам, т. е. предполагающих поздний период, как, например, суффикс *-ћа*[26]. С другой стороны, подсчеты показывают, сколь невелик процент основных лексических отличий каждого славянского языка в отдельности, которые подтверждали бы мысль о поздней продуктивности лексической дифференциации. Напротив, сохранение в отдельных славянских языках, наряду с огромным большинством общеславянской лексики, также небольших, по весьма характерных групп древней по виду лексики, не обнаруживающей общеславянского характера и вместе с тем исконной (примеры см. ниже), говорит скорее о том, что лексическая дифференциация может отражать древние отношения.

Т. Лер-Сплавинский придает лексическим фактам решающее значение в вопросе древнейших диалектных связей индоевропейского языка. Так, 94 германо-славянские лексические параллели при 52 германо-балтийских приводят его к выводу о более тесных связях и древнейшем соседстве германской и славянской групп. Точно так же 55 славяно-арийских соответствий в лексике при трех балто-арийских свидетельствуют, по его мнению, о близости праславянских территорий к арийским[27]. Я. Чекановский, анализируя, в свою очередь, материалы Т. Лер-Сплавинского, отмечает, что в вопросах родства языков словарные данные представляют в целом менее яркую, хотя и правильную картину; на сей раз он не отрицает доказательной силы лексических

[25] *J. Czekanowski*. Różnicowanie się dialektów prasłowiańskich w świetle kryterium ilościowego // Sborník prací I. Sjezdu slovanských filologů v Praze. T. II. 1932. S. 486; ср.: *J. Czekanowski*. Wstęp do historii Słowian. Lwów, 1927. S. 142—155 (2-е изд. — Poznań, 1957. S. 283); *J. Czekanowski*. Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej. Kraków, 1947. S. 40—41.

[26] *Р. Бошковић*. Развитак суфикса у јужнословенској језичкој заједници // Јужнословенски филолог. Књ. XV. 1936. С. 1—154.

[27] *T. Lehr-Spławiński*. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946. S. 42—43.

отношений в древний период[28]. Однако следующий за этим уже известный вывод об отражении в словаре наиболее поздней дифференциации плохо вяжется с предыдущими рассуждениями Я. Чекановского, в которых он исходил как раз из оценки данных лексики как показателей древней дифференциации славянского и балтийского языков. «Хотя, несмотря на неоднократные попытки, мне не удалось заинтересовать лингвистов этими интересными закономерностями, я полагаю, что и здесь (в вышеупомянутых лексических соотношениях праславянского. — *О. Т.*) мы стоим перед лицом факта, что в грамматических данных отразились более древние отношения, а в словаре — более поздние»[29].

Выше уже указывалось на ошибочность столь общего утверждения. Но было бы неверно искать какое-то абсолютно противоположное решение. В обоих случаях прямым результатом было бы искаженное освещение отдельных моментов истории языка. Очевидно, нужен разносторонний учет отношений внутри системы языка. Лексическая дифференциация отнюдь не является наиболее поздним продуктом не только относительно распадения славянского единства, но и относительно, например, балто-славянского периода. Интересное нижеследующее высказывание Я. Чекановского согласуется скорее с этой нашей мыслью, чем с ходом его предыдущих рассуждений: «...комплексы грамматических особенностей и слов, общих для балтов и славян, образуют старшую фазу, даже в сравнении со специфическими особенностями архаических балтийских языков, а специфические особенности славянских языков отражают самые младшие отношения...»[30]. Разве можно в этой связи говорить, что словарные данные вообще моложе грамматических? Разумеется, балто-славянские лексические связи старше специфически славянских или балтийских морфологических явлений.

В общем следует принять, что в отдельных славянских языках, например в польском, хорошо сохранилась большая часть праславянской лексики[31]. С другой стороны, польский словарь сохранил также небольшую группу характерных древних слов, присущих только польскому или только западнославянским языкам (распространение таких слов может в отдельных случаях наблюдаться лишь в части языков западнославянской группы, как бы отражая следы древних диалектных различий). Сохранение этих различных элементов словаря позволяет смотреть на лексику как на нечто устойчивое и рано сложившееся в целом, а на лексическую дифференциацию — как на показатель древних делений и различий.

[28] *J. Czekanowski.* Polska synteza slawistyczna w perspektywie ilościowej // S. 38—40.
[29] Там же. S. 40—41.
[30] Там же. S. 41.
[31] См. *Т. Лер-Сплавинский.* Польский язык. М., 1954. С. 63—64.

9. Так как выше в общей форме уже говорилось о лексической дифференциации, позволим себе привести ниже ряд конкретных примеров, которые нам представляются чрезвычайно важными в сфере лексической дифференциации с точки зрения этимологического словаря отдельного славянского языка. В понятие лексической дифференциации можно, очевидно, вкладывать довольно широкое содержание, если привлекать сюда также заимствования самого позднего времени. Нежелательность такого широкого понимания сказывается в далеко идущем выводе о позднем характере лексической дифференциации вообще. Поэтому отсечение большой массы явных поздних заимствований позволяет лучше понять характер лексической дифференциации и связанную с ней роль этимологического словаря отдельного славянского языка.

Если начать с русского языка, то следует сразу указать, что речь идет не о различиях типа вост.-слав. *хороший*, *сорок* или рус. *лошадь*, которые в учебных пособиях всегда приводят в первую очередь как наиболее характерные. Как раз эти слова менее всего интересны, питому что они либо имеют славянскую этимологию (*хороший* : *хоронить*, правда, некоторые считают *хороший* иранизмом), либо заимствованы (*сорок*, *лошадь*). Здесь интересны древние диалектизмы, не имеющие других славянских соответствий, но зато располагающие вероятными соответствиями в других индоевропейских языках. При этом, естественно, наибольшего доверия заслуживают соответствия в ближайших индоевропейских языках, например балтийских, хотя возможны исключения. Есть неясные слова, имеющие, однако, древний вид, например:

Из русского словарного состава

рус. (вост.-слав.) *багáтье* 'огонь под золой': греч. *φώγω* 'жарить'
багор, англосакс. *becca* 'мотыга'
вадéнь, блр. *вадзéнь* 'овод': литовск. *úodas* 'комар'
верпу, др.-рус. *вьрпу* 'рву': литовск. *verpiù*, лтш. *vèrpu* 'пряду'
глýда 'ком': нем. *Kloß* — то же
глýдкий 'гладкий, скользкий': литовск. *glaudùs* 'гладкий, плотно прилегающий'
глузд 'ум', также укр.: др.-исл. *glǫggr* 'умный'
глы́ба: лат. *glēba* 'земля'
дóроб 'короб, сито', укр. *доробáйло* 'сито', рус. *доробить* 'гнуть': литовск. *darbas* 'плетенка', др.-инд. *dr̥bháti* 'плетет'
затéя: лтш. *tievêt* 'стремиться'
жýткий: литовск. *žudýti* 'убивать'
жень 'ремни бортников': литовск. *genỹ's* — то же
корзи́на: лтш. *kur̃za* 'коробка'
клеклый, *клекнуть* 'слежаться': литовск. *suklẽkęs*, *klèkti* — то же

кишéть: литовск. *kušéti* 'двигаться, шевелиться'
куст: литовск. *kúokštas* 'куст'
коромы́сло: литовск. *kárti* 'вешать'
лéзвие, укр. *лéзо* — то же
мизги́рь 'паук': литовск. *mezgù*, *mègsti* 'вязать', нем. *Masche* 'петля'
ови́н, блр. *ёвня* — то же: литовск. *jáuja* 'овин', *javaĩ* 'хлеб'
росомáха < **соромаха*: литовск. *šermuõ* 'горностай'
юти́ть
я́глый 'быстрый, резкий', литовск. *jẽgti* 'быть в состоянии, мочь'

Из словарного состава западнославянских языков

чеш. *bedla*, польск. *bedła* 'род гриба': литовск. *budelė* — то же
чеш. *dbáti*, польск. *dbać* 'заботиться'
чеш. *hlemýžď* 'улитка': лтш. *glemezis*
чеш. *kmen* 'род, племя; основы'
чеш. *koumati* 'исследовать, наблюдать'
чеш. *kouzlo* 'волшебство, чудо'
польск. *kpić* 'насмехаться, издеваться'
чеш. *krb* 'очаг'
в.-луж. *křida*, н.-луж. *kšida* 'сито': лат. *cribrum* — то же
чеш. *klesnouti* 'упасть, снизиться', польск. *klęsnąć* 'пасть', *klęska* 'падение, поражение': литовск. *klemšióti* 'неуклюже передвигаться'
чеш. *pán*, польск. *pan* 'господин'
чеш. *patřiti* 'смотреть; принадлежать', польск. *patrzyć* 'смотреть'
чеш. *pouhý* 'простой'
чеш. *šetřiti* 'беречь', польск. *szatrzyć*: лтш. *skatīt*
чеш. *trvati*, польск. *trwać* 'продолжаться, длиться': др.-инд. *turvati* 'побеждает'

Из словарного состава южнославянских языков

болг. *бърна* 'губа': литовск. *burnà* 'рот'
болг. *гъдел* 'щекотанье': герм. **kutilōn*, нем. *kitzeln* 'щекотать'
болг. *лош* 'плохой', словен. *lǫ̂šen*
болг. *чи́тав* 'целый, невредимый', серб. *чи̏тав* 'целый, цельный': литовск. *kíetas* 'твердый'
серб. *хри̑д* 'скала, утес'

Совершенно очевидно, что место указанных древних диалектизмов и многих им подобных — в этимологическом словаре отдельного славянского языка. Полный учет этих важных слов и всесторонняя их характеристика, а

также этимологические связи представляют одну из важных задач словарей упомянутого типа. Сведение всех подобных слов к гипотетической праславянской форме в общеславянском этимологическом словаре типа Бернекера не только нежелательно, но сплошь и рядом даже трудно заранее предвидеть, насколько оно чревато ошибками. В словаре Э. Бернекера анахронизм возможен всякий раз, когда форма, достоверно известная только в одном славянском языке, обобщается и предлагается как общеславянская, с возведением к общеславянской праформе: *glěmyždžь* — чеш. *hlemýžd'*, *golmę* — рус. *голомя*. Чем сложнее в таких случаях реконструкция общеславянской праформы, тем возможнее становится вероятность ошибок и натяжек. Болг. *кáрам* 'гоню, везу, еду', совершенно неизвестное другим славянским языкам, хотя, по-видимому, древнее слово, Э. Бернекер помещает под общеславянский праформой *karajǫ*, *karati* (с. 488). Однако условность этого объяснения слишком очевидна ввиду омонимичности с достоверным славянским итеративным глаголом *karajǫ* 'караю, наказываю'.

10. На основании изложенного можно сделать некоторые общие выводы. Последние десятилетия ознаменованы прежде всего появлением этимологических словарей отдельных славянских языков — русского, польского, чешского, болгарского — и подготовкой новых словарей для языков, ранее не имевших этих словарей: словацкого, сербохорватского, полабского, что отнюдь не является случайностью. В силу известной специфики славянского языкового развития этимологический словарь отдельного славянского языка является аспектом общеславянского этимологического словаря, удобным ввиду наименьшего момента гипотетичности по сравнению с общеславянским этимологическим словарем как таковым. Расплывчатые и обычно весьма схематические представления о первичной славянской лексике, беспомощность в тех случаях, когда речь идет о несомненно древних, но не полно засвидетельствованных словах, заставляют считать наиболее реалистическим типом именно этимологический словарь отдельного славянского языка. При этом опасность необоснованных обобщений, натяжек, хронологических смещений значительно сокращается.

Необходимость подробных этимологических словарей для каждого славянского языка совершенно очевидна. При отсутствии же таких словарей сведения по истории и этимологии отдельных слов могут носить весьма искаженный, фантастический характер даже у серьезных исследователей. Так, Э. Бернекер указывает, хотя и неуверенно, для укр. *кóдло* 'отродье, род' праславянскую форму *kъdьlo* (с. 658); К. Оштир сближал укр. *кóдло* со слав. *čędo*, *чадо*, основываясь на их семантической близости. И только когда мы узнаем у М. Фасмера (т. I, с. 588), что укр. *кóдло* — поздняя местная форма, заимствованная из польск. *godło* 'герб', мы понимаем всю беспочвенность прежних этимологий.

Значение этимологического словаря отдельного славянского языка становится еще более очевидным, когда речь идет о лингвистической географии, о точных данных географического распространения форм, которые могут также решить судьбу той или иной этимологии. Это хорошо показал Ф. Славский на примере старого польск. *gręd̨o* 'рысью', диал. *grędo* 'быстро', которые не относятся к ст.-слав. грѧдѫ 'иду', как думал наряду с другими Э. Бернекер, но вместе с целым рядом кавалерийских терминов заимствованы из немецкого; ср. ср.-в.-нем. *gerant* «причастие от *rennen* 'бежать, гнать, быстро ехать'»; ср. также ограниченное распространение современного диал. *grędą* (Кашубия, Мазовше, Познанское воеводство) [32]. Слово *grędą* и его этимология должны быть отражены только в польском этимологическом словаре.

Проблемы славянской этимологической лексикографии многообразны. Она нуждается в различных формах, но наиболее реальной вообще, а на данном этапе — просто необходимой является форма полного этимологического словаря для каждого из важнейших славянских языков в отдельности. В заключение стоит вспомнить, как правильно говорил об этом А. Мейе почти 50 лет назад, касаясь включения Э. Бернекером в свой словарь разнородных и поздних слов отдельных славянских языков: «Правда, зато мы получаем практически почти полный этимологический словарь главных славянских языков. Но это всего лишь видимость: этимологический словарь должен, чтобы быть полезным, показывать собственную историю каждого слова в каждой группе; этого можно достигнуть только в словаре, посвященном каждому языку. Этимологический словарь общеславянского языка, издаваемый г-ном Бернекером, подготавливает составление этимологических словарей болгарского, сербского, русского, польского и т. д.; он не смог бы заменить все эти труды, напротив, он заставляет желать их появления и показывает их необходимость. История каждого слова, диалектные формы могут быть там даны со всей нужной подробностью. И когда будут готовы все эти отдельные словари, словарь общеславянского языка приобретет такую точность, которая сейчас недосягаема. Ошибочным было бы желание заменить, даже временно, эти необходимые специальные этимологические словари, скорейшее составление которых нужно стимулировать» [33].

---

[32] *F. Sławski*. Z doświadczeń przy pracy nad słownikiem etymologicznym języka polskiego // Język polski. T. XXXVI. Zesz. 4. S. 279.

[33] *A. Meillet*. Указ. рец. S. 58—59.

ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ГЕОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Плодотворные идеи теории волн И. Шмидта о генезисе и распространении языковых форм во многом предвосхитили содержание языкознания XX в., однако настоящий сдвиг начал осуществляться лишь в результате подготовки больших атласов европейских языков. В последней четверти XIX в. Г. Венкером были собраны и в незначительной части опубликованы материалы «Лингвистического атласа Германской империи», а в первые десятилетия XX в. один за другим последовали «Лингвистический атлас Франции» Ж. Жильерона и Э. Эдмона, «Немецкий лингвистический атлас» Ф. Вреде, «Атлас Италии и Южной Швейцарии» К. Яберга и И. Юда. Методологические различия между этими работами оказались при этом весьма значительными. В то время как Г. Венкер, бывший настоящим пионером в этом деле, был скорее озадачен многообразием и переплетением линий распространения различных форм в диалектах и тем более не предвидел этой сложности, приступая к осуществлению своего замысла, что выразилось в характере его вопросника, составитель французского атласа Ж. Жильерон с самого начала опирался на выдвинутые к тому времени французской лингвистикой положения о взаимопроникновении диалектных особенностей и относительности диалектных границ. Различие, которое носило сначала как будто внешний характер (вопросник Жильерона содержал в несколько раз больше слов, чем у Венкера), привело со временем к важным результатам. Современный немецкий лингвистический атлас, отражающий сплошное обследование ряда форм на всей территории языка, является по сути обработкой материалов Венкера или новых данных, собранных в соответствии с его программой. Поэтому различие между атласами обоих языков, обозначившееся вначале, сохранилось в течение всего времени. Оно оказалось принципиальным особен-

но на следующем этапе, в период научной обработки материалов, представленных в атласе. Лингвистическая география, создание которой является исключительной заслугой авторов первых лингвистических атласов, явилась для французских ученых в первую очередь географией слов, чего нельзя было сказать об этой отрасли языкознания в Германии. Немецкий лингвистический атлас обладал рядом ценных преимуществ в других отношениях, особенности обоих атласов неоднократно обсуждались в литературе, и здесь не место останавливаться на них подробно. Однако именно французским лингвистам мы обязаны созданием географии слов, именно им принадлежит честь разработки основных принципов и первых важных трудов в этой области. Естественно, что нас интересует именно этот аспект лингвистической географии, имеющий важнейшее значение для этимологических исследований.

Лингвистическая география сказала очень много нового и ценного для этимологии, выдвинула ряд положений, значение которых трудно переоценить: каждое слово представляет собой индивидуальный в известном смысле продукт истории развития и географического распределения форм; соотношение форм, которое застает в определенный момент лингвист-наблюдатель, как правило, чуждо какой бы то ни было случайности, но объяснимо в свете данных истории, культурных влияний и взаимоотношений форм между собой; границы диалектов и вообще языковых территорий имеют относительное значение и не могут служить препятствием для распространения общих слов и форм, отсюда следует важный вывод о необходимости изучения внешней взаимозависимости лингвистических систем. В изучении значения слова нужно покончить с убеждением о его локальной изолированности, так как значение, равно как и само слово в целом, является отражением широких формальных, исторических и территориальных связей. Широкое географическое изучение слов, опирающееся на данные истории, способно правильно решить проблему стратиграфии, т. е. последовательных наслоений слов и форм, реконструируя подчас с большой степенью вероятности ареалы распространения древних, давно вымерших языков [1].

«Основная цель лингвистической географии заключается в том, чтобы восстановить историю слов, флексий, синтаксических сочетаний на основании распределения современных форм и типов. Это распределение не является делом случая; оно является отражением прошлого, а также географических условий и среды, воплощенной в человеке. Лексические и морфологические разновидности в любую эпоху рассеяны и сгруппированы отнюдь не произвольно ⟨...⟩ Нужно ⟨...⟩ вскрывать закономерности, обусловившие преобразо-

---

[1] *A. Dauzat.* La géographie linguistique. Paris, 1922. P. 27—28, 43, 162—163; *K. Jaberg.* Aspects géographiques du langage. Paris, 1936. P. 14, 44, 107—108.

вания, возникновение, группировки, передвижения, жизнь и борьбу слов»[2]. Эти слова А. Доза, между прочим, ясно указывают, как зачинатели лингвистической географии понимали назначение своей науки. Кстати сказать, в некоторых работах последнего времени довольно часто можно встретить отождествление лингвистической географии с описанием диалектов, диалектографией. В наши задачи в данный момент не входит необходимость отстаивать ту или иную точку зрения, важно лишь отметить, что этимологическому исследованию приходится иметь дело с лингвистической географией как широко понятой исторической дисциплиной. Некоторые ученые склонны упрекать французскую лингвистическую географию в преувеличенном внимании к слову как лингвистическому индивидууму. Верно, однако, и то, что французских лингвистов интересовали вообще формы, флексии и синтаксические сочетания в плане лингвистической географии. Сама языковая действительность побуждала их придавать особое значение реальному осуществлению форм и флексий и наиболее характерной единице речи — слову. С полным основанием говорит Доза о жизни и борьбе слов, применительно к чему Жильерон употреблял, например, такие термины, как «патология и терапевтика слов»[3]. Само собой разумеется, что слова — не живые организмы, а символы человеческих отношений в общественно-историческом плане. Но за этими более или менее неудачными терминами стоят реальные отношения форм языка, которых никто не станет отрицать: аналогическое развитие форм, явления народной этимологии. Радикальное преобразование различных форм, сблизившихся на определенном этапе своей истории и на определенной языковой территории, забвенье той или другой формы с целью обеспечить лучшее понимание — таков, упрощенно, смысл понятия словесной «патологии и терапевтики», как это хорошо продемонстрировал Жильерон на примере ряда французских слов.

Факты позволяли Жильерону говорить о крахе чисто фонетической этимологии. Одновременно им и другими представителями лингвистической географии выдвигались качественно новые методы этимологического исследования, обогащенные опытом работы над лингвистическим атласом. Не случайно все лингвисты этого направления проявляли постоянный и глубокий интерес к этимологии как таковой (ср., кроме работ Жильерона, разнообразные труды Доза, которому принадлежит также этимологический словарь французского языка).

В то время как французская и вообще романская лингвистическая география в полном смысле слова вышла из «Лингвистического атласа Фран-

---

[2] *A. Dauzat.* Указ. соч. P. 27.

[3] Ср. *J. Gilliéron.* Pathologie et thérapeutique verbales. Études de géographie linguistique. Vol. I—II. Neuveville, 1915; Vol. III. Paris, 1921.

ции», немецкая лингвистическая география, насчитывающая ряд крупных лингвистов и представленная главным образом школой замечательного ученого Т. Фрингса, выросла скорое из больших комплексных исследований языка важнейших исторических областей Германии — Рейнских провинций с их сложной политической историей, междиалектными отношениями и влиянием со стороны других языков и так называемого средненемецкого Востока, колонизированного позднее. Общее, что объединяет немецкую науку с французской,— это понимание лингвистической географии как исторической дисциплины, призванной интерпретировать карты во всеоружии общественно-исторических и лингвистических знаний с целью определения хронологии языковых явлений, а также их причин и направлений развития. Немецкая лингвистическая география добывает и обрабатывает огромный материал, наглядно иллюстрирующий генезис и направление различных инноваций в фонетике, морфологии и лексике, преодолевающих как диалектные, так и языковые границы. Немецкой лингвистической географии, действительно, присущ широкий, систематический охват языковых явлений, но среди них не последнее место занимает география слов, о чем свидетельствует, наряду с прочими, исследование П. Кречмера «География слов верхненемецкого разговорного языка» [4].

Лингвистическая география, основанная первоначально на данных, ограниченных территорией одного языка или группы близких языков, оплодотворила многими новыми идеями не только этимологию соответствующих языков в узком смысле, но и сравнительно-историческое языкознание в целом. Распространение принцинов лингвистической географии на сравнительно-историческое изучение индоевропейских языков является в основном достижением итальянских лингвистов. В систематизированном виде находим эту концепцию, получившую название «пространственной лингвистики», или неолингвистики, впервые у М. Бартоли. Согласно Бартоли, при отсутствии письменных свидетельств можно судить о хронологических отношениях на основании территориального критерия, который опирается на следующие принципы (norme): 1) фаза, сохранившаяся на изолированной территории; 2) фаза, сохранившаяся на периферийных территориях; 3) фаза, сохранившаяся на большей части территории; 4) более ранняя фаза, сохранившаяся в качестве островков в иноязычном окружении или в виде заимствований в других языках.

В дальнейшем В. Пизани окончательно закрепляет применение описанных принципов на индоевропейском материале. Ему также принадлежит в наиболее законченной форме обоснование уже называвшегося выше принци-

---

[4] *P. Kretschmer.* Wortgeographie der hochdeutschen Umgangssprache. Göttingen, 1918.

па, согласно которому языковые инновации могут распространяться через сложившиеся диалектные и языковые границы. Было бы неправильно ожидать от изложенных выше принципов точности математических законов, сами авторы сознавали это достаточно ясно и приводили примеры различных исключений и ограничений. Но это отнюдь не умаляет значения общих наблюдений пространственной лингвистики, напротив: новейшие исследования в области древнеиндоевропейской диалектологии подтверждают важность прежде всего положения о распространении инноваций на смежных территориях различных языков или диалектов при условии общности их исторических судеб. Немалое значение для проверки соответствий отдельных групп индоевропейских диалектов между собой имеет также принцип периферийных областей, помогающий констатировать на окраинах индоевропейской лингвистической территории, менее затронутых инновациями, ряд общих, в том числе лексических, реликтов [5].

Трудно переоценить особенно значение положения лингвистической географии (пространственной лингвистики) о распространении языковых инноваций. Благодаря ему становится возможным чрезвычайно важное методологически разграничение генезиса явления и распространения явления, в ходе которого явление продвигается из центра иррадиации путем субституций (звуковая инновация) или заимствований (лексическая и морфологическая инновация). Это положение широко и плодотворно применяется при изучении отношений как между языками, так и между диалектами языка. Классическим примером являются различные по происхождению языки Балканского полуострова: греческий, албанский, болгарский, македонский и румынский, которые в итоге длительного исторического взаимодействия развили ряд общих черт. Эта новая лингвистическая общность, объединившая балканские языки, объясняется, по-видимому, не отражением общего для всех названных языков лингвистического субстрата, а распространением общих инноваций, источником которых, как это хорошо показал К. Сандфельд, является в большинстве случаев наиболее влиятельный на Балканах в культурном отношении греческий язык [6]. Изучение разнообразных особенностей лексики, фонетики, морфологии и синтаксиса, охватывающих все балканские языки,

---

[5] См.: *M. Bartoli.* Introduzione alla neolinguistica (Principi — Scopi — Metodo). Génève, 1925; *V. Pisani.* Studi sulla preistoria delle lingue indoeuropee. 1933; *V. Pisani.* Geolinguistica e Indoeuropeo. 1940; *W. Porzig.* Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954. S. 48—49, 53, 56—57 (названия недоступных мне работ Пизани привожу по данной книге Порцига); *G. Alessio.* Le lingue indoeuropee nell'ambiente Mediterraneo. Bari, 1955. P. 140 и след.

[6] *K. Sandfeld.* Linguistique balkanique. Problèmes et résultats. Paris, 1930. P. 6, 165, 213 и след.

является объектом балканистики. Таким образом, большое значение приобретает определенный аспект лингвистической географии — ареальная лингвистика. Можно указать целый ряд областей в Европе и за ее пределами, в которых в силу исторических причин между носителями различных языков устанавливаются оживленные сношения, облегчающие распространение на всей данной территории лингвистических инноваций. Например, диалекты различных языков, расположенные на землях, прилегающих к Карпатам, в результате многократных перекрестных заимствований выработали целый ряд общих слов и значений, характерных только для этой области. На проявления аттракции между обско-угорскими и самодийскими языками, удмуртским и татарским языком, принципиально интересные как совместные инновации далеких или совершенно не родственных языков, указывает Б. А. Серебренников, занимающийся проблемами ареальной лингвистики [7]. Задачи ареальной лингвистики приобретают особенную ясность и четкость, когда приходится иметь дело с такими лингвистическими союзами, как балканский. Однако в интересах науки не следует также оставлять без внимания те случаи, когда налицо лишь некоторые элементы языкового союза или остатки таких элементов, но сам союз в силу исторических условий не сложился. Ниже мы еще коснемся примеров подобного рода.

Создатели лингвистической географии вполне отдавали себе отчет в том, что для глубокого изучения языковых отношений на территории одного какого-либо языка необходимо привлечь исследования по лингвистической географии соседних территорий. Так, для лингвистической географии Франции крайне важен лингвистический атлас Северной Италии. Проблема комплексного изучения лингвистической географии ряда смежных языковых территорий в Европе была, однако, во всей широте поставлена позднее немецкими учеными, которые обогатили лингвистическую географию применением принципа «слов и вещей», давшего прекрасные результаты. В. Пesслер, опираясь на аналогичный собственный опыт в области изучения немецкой диалектной лексики, говорит об атласе лексической географии Европы, который бы опирался на европейский этнографический атлас, что создаст реальную основу для географии слов и вещей, охватывающей всю Европу [8]. Таким образом, разрабатывались предпосылки для всестороннего исследования

[7] *Б. А. Серебренников.* Теория волн Иоганна Шмидта и явления языковой аттракции // ВЯ. 1957, № 4. С. 4 и след.; на VIII Международном конгрессе лингвистов в Осло (август 1957 г.) Б. А. Серебренников сделал сообщение «История языка и ареальная лингвистика».

[8] *W. Pessler.* Atlas der Wortgeographie von Europa — eine Notwendigkeit // Donum Natalicium Schrijnen. Nijmegen; Utrecht, 1929. S. 69 и след.

происхождения и распространения слов, обозначающих предметы материальной культуры, в связи с самими предметами. Однако эта лексика еще не составляет всего словаря языка, и немецким лингвистам можно вменить в вину недооценку иных словарных групп. Важнейшие общие инновации языков одной культурной зоны могут касаться также таких элементов словаря, имеющих первостепенное значение в общении людей, как числительные, местоимения, различные служебные слова. Появление в различных языках Европы функционально и семантически близких кратких слов со значением 'да', которые неизвестны в древний период истории тех же языков, А. Мейе проницательно объяснил взаимоподражанием в условиях близкой цивилизации[9].

Надо сказать, что в славянском языкознании принципы лингвистической географии не нашли по-настоящему широкого применения, в то время как славянские языки представляют богатейший материал для таких исследований. Поэтому единственной в своем роде представляется деятельность недавно скончавшегося польского лингвиста К. Нича. Творчески усвоив лучшие достижения французской и немецкой лингвистической географии, Нич большую часть своей жизни посвятил географии слов польского языка. Он рассматривал словарь как важный критерий языковой и диалектной классификации; расхождения в лексике между отдельными польскими говорами он исследовал с точки зрения истории и развития культуры. Необходимым условием при лингвогеографических исследованиях словаря он считал выход за пределы одного языка, хотя удовлетворительному выполнению именно этого условия препятствовала недостаточная разработка лексикографии и географии слов других славянских языков. Ничу принадлежит ряд монографических этюдов по истории и географии названий некоторых животных, архитектурных частей дома, почти всегда с выводами относительно этимологии слов. Исследование польских диалектных вариантов слав. **vl̥'ga* 'иволга' и **netopyrь* 'нетопырь' можно привести как пример предельно точного изучения рефлексов праславянских форм, расшатанных многократными влияниями аналогии и народной этимологии.

В работах Нича история и география слов опирается на соответствующие сведения о вещах, что особенно ярко проявляется в исследованиях названий предметов материальной культуры, названий растений и деревьев: *gryka* 'гречиха', *chaber* 'василек', *jodła* 'пихта', *świerk*, *smrek* 'ель'. Нич предпринял методологически важные попытки реконструировать географию отдельных

[9] *A. Meillet.* Les interférences entre vocabulaires // Linguistique historique et linguistique générale. 2-e éd. Paris, 1926. P. 343 и след. (= // Linguistique historique et linguistique générale. T. II. Paris, 1936. P. 36 и след.).

праславянских слов; ср. пример **xъr̥b-* (откуда польск. *chaber*) в части западнославянских диалектов.

Непреходящую ценность и плодотворность отдельных наблюдений Нича для последующих исследований подтверждает недавно вышедшая книга польского этнографа и лингвиста К. Мошинского «Первоначальная территория праславянского языка». Выдвигая в этой работе новую оригинальную гипотезу о первоначальном распространении праславянского языка в бассейне Среднего Днепра, откуда он лишь впоследствии распространился к западу, в бассейны Вислы и Одры, Мошинский называет в числе важнейших аргументов результаты исследования Нича о названиях пихты и ели в польском языке. В этом исследовании 1931 г. Нич анализирует изменение значения праслав. *jedla*, *jedlь* 'ель' > польск. *jodła* 'пихта' при новом названии ели — *świerk*, *smrek*. К. Мошинский находит, что эти изменения и семантические перемещения могут быть объяснены лишь в том случае, если принять гипотезу о постепенном продвижении носителей праславянского языка из Поднепровья на запад. Обитая на этой первоначальной территории, носители праславянского языка не знали дерева пихты, и *jedla* означало известную им ель; позднее, в период экспансии в более западные районы, праславяне, познакомившись с пихтой, переносят на нее основное название ели, в то время как ель получает новое название на освоенных территориях, откуда, например, польск. *smrek*. Этому выводу как будто соответствуют и известные данные ботаники о границах распространения пихты (Abies alba). К сожалению, трудно решить, насколько ближе к объективной истине гипотеза Мошинского, резко расходящаяся с автохтонистской теорией польских лингвистов Л. Козловского, Т. Лер-Сплавинского, археолога И. Костшевского, антрополога Я. Чекановского. Однако и в том и в другом случае за польскими автохтонистами остается долг — объяснить факты географии славянских названий ели и пихты, на которые впервые обратил внимание К. Нич [10].

Традиции лингвистической географии, географии слов получили значительное развитие в польской славистике. Здесь следует назвать книгу Л. Мошинского «География некоторых немецких заимствований в старопольском языке» — интересный опыт реконструкции географии немецких заимствований на польских диалектных территориях в период до 1500 г. [11]. В серии «Монографии польских диалектных особенностей» вышел ряд по-

[10] Многочисленные работы, опубликованные К. Ничем в разное время, см. в сб.: *K. Nitsch.* Studia wyrazowe // Wybór pism polonistycznych. T. II. Wrocław; Kraków, 1955; см. также *K. Moszyński.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. Wrocław; Kraków, 1957. S. 25 и след., 58.

[11] *L. Moszyński.* Geografia niektórych zapożyczeń niemieckich w staropolszczyźnie. Poznań, 1954.

лезных исследований, посвященных анализу конкретных форм и слов в свете лингвистической географии. Лингвистическая география остальных славянских языков разработана гораздо менее удовлетворительно. Монографические труды по географии слов или групп лексики представляют исключение, опыты комплексных исследований по лингвистической географии с привлечением данных истории и других смежных дисциплин фактически отсутствуют. Имеются суммарные характеристики диалектных различий в области лексики. Если выше на примере французской лингвистики приходилось говорить о практическом отождествлении лингвистической географии и географии слов, то здесь типичным пониманием лингвистической географии является наука о распределении фонетико-морфологических типов в рамках одного языка. Лексике, кроме суммарных обзоров, уделяется относительно небольшое внимание; недостаточно изучается движение слов и его исторические условия. Лингвистическая география этого типа исключает привлечение лексического материала смежных и родственных языков. Закономерным выводом из всего сказанного является констатация отсутствия исследований по этимологии на основе данных лингвистической географии. На практике это означает ущерб для этимологических исследований и обеднение смысла лингвистической географии.

Тезис лингвистической географии о возможности проникновения языковых инноваций через границы сложившихся языков и диалектов делает понятной важность изучения древних лексических различий близкородственных языков, с одной стороны, и их «сепаратных» этимологических связей с лексикой иных языковых групп, с другой стороны. Следует подчеркнуть, что имеются в виду не только и не столько заимствованные элементы в обычном понимании этого слова, сколько достоверные ранние диалектные различия в исконной лексике, например, праславянского языка. Это подтверждает первоочередное значение этимологических словарей отдельных славянских языков. Намечающаяся работа по составлению общеславянского лингвистического атласа поможет, очевидно, многое выяснить в этом отношении. «Изоглоссы общеславянского атласа должны дать материал ⟨…⟩ что особенно важно для изучения диалектных различий праславянского языка», — указывает С. Б. Бернштейн. Он говорит также о необходимости привлечь при отборе для картографирования наиболее ранних лексико-семантических различий данные славянской этимологии [12]. Роль этимологического критерия при таком отборе несомненна, но следует также помнить, что этимологи вправе питать

[12] См. текст доклада на IV МСС: *Р. И. Аванесов, С. Б. Бернштейн.* Лингвистическая география и структура языка (О принципах общеславянского лингвистического атласа). М., 1958.

более корыстную заинтересованность в предприятиях, подобных общеславянскому лингвистическому атласу, а упомянутое картографирование призвано, по-видимому, дать этимологическому исследованию новый материал по ряду вопросов, в которых этимологии без помощи лингвистической географии далеко не все ясно.

В связи со сказанным выше представляются принципиально необходимыми попытки определить этимологические соответствия, охватывающие лишь часть славянских языков (или даже один язык, если древность сопоставляемого факта вероятна), с одной стороны, и какую-либо иную индоевропейскую группу, с другой. Сюда, например, относится проведенное В. Махеком сравнение форм на *-ǫtj-* от прилагательного в некоторых славянских языках с аналогичными адъективными формами хеттского языка на *-ant-*: чеш. *bĕlúcí* — хеттск. *irmalanant* 'больной'; вопросам охарактеризованных выше «сепаратных» этимологических соответствий посвятили ряд специальных этюдов М. Фасмер, И. Шютц, Г. Лант.

Закончив на этом рассмотрение истории вопроса, перейдем к обсуждению некоторых конкретных проблем на фактическом материале. В данной работе мы ограничимся следующими вопросами: этимология генетически родственных форм и лингвистическая география; ономастика и топонимия; заимствования и лексические интерференции.

Этимология и лингвистическая география связаны подчас отношениями тесной взаимозависимости, причем этимология может также вносить существенные коррективы в построения лингвистической географии, уточнять направление древних изоглосс и хронологию отдельных черт. Здесь имеются в виду древнейшие диалектные особенности лексики, которые могут быть с большой степенью вероятности сочтены исконными элементами. Этимология приобретает значение важнейшего критерия в опытах реконструкции географии слов в отдаленные эпохи.

Пример с названиями козы в некоторых индоевропейских диалектах весьма показателен в этом отношении. Индоевропейские названия козы довольно разнообразны, а это является уже достаточным основанием для того, чтобы привлечь внимание лингвиста. В. Порциг, касаясь разнообразия индоевропейских названий козы, полагает, что их распространение должно отражать диалектные связи древнейшей эпохи. Так, общее название объединяет италийские и германские языки: лат. *haedus*, сабин. *fēdus*, готск. *gaits*, др.-в.-нем. *geiz* 'коза, козел'. Это соответствие приводится В. Порцигом в перечне италийско-германских изоглосс, исключающих кельтские, балтийские и славянские языки. Порциг указывает также, что среди частных соответствий отдельных групп диалектов между собой италийско-германские изоглоссы относятся к числу древнейших в индоевропейском. Славянский имеет

особое название *koza*, балтийский является представителем распространенного восточного (индоиранского) типа [13].

Однако этимологическое исследование позволяет обнаружить в западных и восточных славянских формах **žimḷza*, **žimolztь* ‘растение Lonicera xylosteum’, ср. рус. *жи́молость*, сложение рефлекса и.-е.**ghī(d)-*,**ghei(d)-* ‘коза’ и слав. **mḷzǫ* ‘дою, сосу’; отсюда предполагаемое значение **ži-mḷza*, **ži-molztь* ‘козлячье горлышко’, причем позднée это название метафорически перенесено на растение, двойные бутоны которого, кстати сказать, поразительно напоминают горлышко козленка [14]. Таким образом, мы видим, что названная выше италийско-германская изоглосса превращается в италийско-германско-славянскую изоглоссу. Далее, — и это чрезвычайно важно для относительной хронологии различных названий козы в славянском — италийско-германские соответствия гарантируют древность именно этого забытого названия козы в славянских языках, следы которого можно установить лишь косвенным путем. Что касается слав. *koza* и *azьno*, то первое из них, будучи общеславянским, одновременно оказывается совершенно изолированным среди прочих индоевропейских образований. Вместе с тем за пределами индоевропейских языков близкое название *käzä* (и подобные) ‘коза’ распространено во всех тюркских языках. Не исключена возможность, что слав. *koza* является древним заимствованием из тюркского, получившим общеславянское распространение и вытеснившим более древнее название. Заимствование здесь допускал еще Корш. Форма *azьno* ‘кожа’ представляется совершенно изолированной в славянском и в виду наличия других, более распространенных названий кожи в славянском **skora* и **koža*, а также по причине точных соответствий в индоиранском могла быть заимствована из иранских диалектов как отражение определенного культурного импорта.

Значительную важность принципы лингвистической географии приобретают при изучении ономастики, особенно частной ее разновидности — этнонимов. Наличие будто бы разрозненных и территориально не связанных древних племенных названий у славян — дулебы, сербы, хорваты — привело некоторых ученых к неоправданному скептицизму относительно возможности использования этих имен. Однако сохранение на различных частях славянской территории тождественных этнонимов говорит лишь об их связи и общем происхождении; ср. слав. **dudlěbi* — у части восточных славян, западных (чехов) и на Юге Паннонии; **sṛbi* — в Лужице и на Балканах;

---

[13] *W. Porzig.* Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. S. 106 и след., 114, 117.

[14] Подробнее см. *O. N. Trubačev.* Slawische Etymologien 10—23 // ZfS. Bd. 3. Hf. 5. 1958.

**xr̥vati* — у восточных, западных и южных славян. Прослеживание этнонима **xr̥vati* позволяет говорить о продвижении его носителей из Прикарпатской Волыни через чешские земли на Балканский полуостров; только о таком направлении распространения этнонима **xr̥vati* позволяет заключать его этимология как вероятного иранского заимствования. То же направление и приблизительно из того же исходного пункта имела экспансия носителей этнонима **dudlěbi*. И здесь на помощь приходит новая убедительная этимология этого имени, принадлежащая Р. Нахтигалю: **dudlěbi* < герм. *Dudl-eiba* 'страна волынок' (: нем. *Dudelsack*), буквальный перевод слав. *Volynь* (: рус. *волынка*)[15]. Проверенные данные такого рода в отдельных случаях представляют основание для интересных этногенетических выводов. Прекрасным примером может служить объяснение названия области в центре Европейской России — *Мещера* как продолжающего древнюю форму венгерского этнонима *megyer* / *magyar*, что соответствует историческим сведениям об остатках венгров, оторвавшихся от основной массы венгров после удара печенегов и осевших в Восточной Европе.

Среди таких реликтов, несомненно, имеется много древнейших образований, которые пережили не один и не два языка, сменявших друг друга на данной территории. Известна способность этнонимов усваиваться носителями иного языка. Это важно учитывать для таких территорий, которые характеризуются непрерывностью культурной традиции, как, например, низменная равнина к югу от Балтийского моря до Судет.

Для части этой территории с древних времен известен этноним *лугии*, существующий до наших дней в виде названия области *Лужица*, населяемой лужицкими сербами. Известно толкование этого этнонима как исконно славянского образования от слав. *lugъ* 'луг, низина'. Под влиянием работ польских археологов, лингвистов и историков, доказывающих исконность славянского населения на Висле и Одре, это мнение сделалось преобладающим. В качестве специфически славянских примет указывались варианты этого имени *loug-* / *long-*, встречающиеся в древних источниках и в то же время присущие только славянскому языку.

Германисты, исходя из германского характера ряда этнонимов, известных древним авторам в Восточной Германии, считают обычно *лугиев* германским племенем с германским же названием от основы герм. **lugjan-* 'лживый' или готск. *liuga* 'брак', т. е. 'союзники' [16]. Историки языка забывали при

---

[15] *R. Nahtigal.* Dudleipa—Dudlěbi // Slavistična revija. Letn. IV, 1—2, 1956. S. 95—99.

[16] См. *L. Niederle.* Rukověť slovanských starožitností. Praha, 1953. S. 101, 104, 106; *T. Lehr-Spławiński.* O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946. S. 141—142, 222—224; *T. Lehr-Spławiński.* O starożytnych Lugiach // Slavia antiqua. T. I, 1948. S. 261

этом, что под одним и тем же именем *лугиев* в разные исторические эпохи могли фигурировать германцы, затем славяне, но от этого допущения еще очень далеко до признания самогó этнонима славянским или германским образованием. Источники сообщают следующие формы имени: Λού(γ)ιοι (Страбон), Λούγιοι (Птолемей), Λύγιοι (Дион Кассий), *Lygii*, *Ligii* (Тацит), Λογίωνες (Зосим). Вряд ли можно в поздней форме *Long-* усматривать древний вариант с носовым согласным, свойственный якобы только славянскому. Очевидным остается факт, что римляне услышали это название из уст германцев. Все ранние формы названия указывают, если отсечь греческую или латинскую флексию, на **lugi-*, как звучало это имя, очевидно, в произношении германцев. Существенным, далее, обстоятельством является то, что этноним **Lugi*, кроме упомянутой территории в Восточной Германии, в других частях Германии не был известен.

Некоторые лингвисты, сознавая сомнительность германского или славянского происхождения этого имени, производят его из языка кельтов или иллирийцев. Интересно отметить существование в Восточной Германии, точнее — в самом Поморье, древнегерманского племени, известного под названиями *Lemovii*, или *Glomman*, собственно древние фигуральные названия волков, или прямо *Wulfingas*, др.-сканд. *Ylfingar* 'волки, род волков'. Германские названия *Lemovii* и *Glomman* продолжают в видоизмененной форме жить в этнонимах позднейших славянских насельников Восточной Германии — *лемузов* и *гломачей*, расположение которых указано на карте западных славян при книге Л. Нидерле «Руководство по славянским древностям». Гломачи и лемузы занимали северные склоны Судет, вблизи лужичан. Можно думать, что и древнегерманские *Glomman* (*Lemovii*) находились в непосредственной близости от **Lugi*. Этимологически прозрачные германские *Glomman* (*Lemovii*) могли быть первоначально просто переводами более древних местных названий, точное значение которых было усвоено в условиях двуязычия, предшествующего ассимиляции. Этим местным названием могло быть темное **Lugi*, отражающее, возможно, старое ударение, по закону Вернера: **lugí-* < **luh$^{\omega}$í-* < **luk$^{\omega}$í-*. Исходная догерманская форма, испытавшая затем на себе германское передвижение согласных, была, вероятно, тождественна др.-инд. *vṛkí-ḥ* 'волчица'. Таким образом, возникает гипотеза о существовании здесь

и след.; *K. Tymieniecki.* Lugiowie w Czechach // Przegląd zachodni. Rok. VII, № 5—6, 1951. S. 131 и след.; *K. Tymieniecki.* Ziemie polskie w starożytności. Ludy i kultury najdawniejsze. Poznań, 1951. S. 632; германцами лугиев считали А. Брюкнер и некоторые другие. См.: *A. Brückner.* Początki Słowiańszczyzny Zachodniej // Slavia. Ročn. I, seš. 2—3. 1922. S. 383; *R. Much.* см. Reallexikon der germanischen Altertumskunde / Hrsg. von J. Hoops. Bd. III. Strassburg, 1915— 1916. S. 168.

до германской колонизации племен с названием от древнего женского тотема волчицы. С юга к описанной территории примыкала область вероятного древнего распространения иллирийского языка, который, однако, имел иное название волка, сохраненное в алб. *ulk*, ср. иллирийск. *Ulcisia castra* в Паннонии; в кельтских языках на старое название волка было, видимо, рано наложено табу, но, судя по галльскому этнониму *Volcae*, оно также имело несколько иную форму. Поэтому предположение о причастности кельтского или иллирийского языков к образованию праформы этнонима *Lugi* не представляется обязательным. С другой стороны, связь с более поздними прозрачными этнонимами на общей территории позволяет говорить как раз о значениях 'волк, волчица' для этого древнего названия.

Возможно, далее, что реконструируемая архаическая форма этнонима *Luk^{ω}i-* имеет близкие по форме, исходному значению и употреблению в качестве этнонимов соответствия в таких периферийных реликтах, как названия древних индоевропейских народностей и языков в Малой Азии: *Lukki* 'ликийцы, Ликия', *luwi* — 'лувийский'. Во всяком случае, давно существует гипотеза об этих двух последних названиях как рефлексах индоевропейского названия волка, однако далеко не все исследователи признают ее вероятной [17]. Гипотетический этноним *Luk^{ω}i-*, существование которого можно допустить у части древнеиндоевропейских племен, объясняется из и.-е. *luk^{ω}os*, древнего варианта и.-е. *$\underline{u}\underline{l}k^{\omega}$os* 'волк'.

При исследовании подобных имен, как и вообще в поисках этимологических решений, обращение к свидетельствам археологии должно стоять не в начале, а в конце исследования. Можно согласиться с теми учеными, которые утверждают, что чрезмерное доверие предметам материальной культуры, найденным при археологических раскопках, обедняет специфику лингвистического исследования, равносильно предвзятому суждению и столь же вредно в методологическом отношении. Осведомленность в достижениях ис-

---

[17] *A. Ungnad.* Luwisch = Lykisch // Zeitschrift für Assyriologie und verwandte Gebiete. Bd. XXXV (Neue Folge. Bd. I). Berlin; Leipzig, 1924. S. 1 и след.; *R. von Kienle.* Tier-Völkernamen bei indogermanischen Stämmen // Wörter und Sachen. Bd. XIV. 1932. S. 39 и след.; *E. Laroche.* Problèmes de la linguistique asianique // Conférences de l'Institut de linguistique de l'Université de Paris. IX, année 1949. Paris, 1950. P. 73; *B. Rosenkranz.* Beiträge zur Erforschung des Luvischen. Wiesbaden, 1952. S. 3; *H. Otten.* Zur grammatikalischen und lexikalischen Bestimmung des Luvischen. Untersuchung der Luvili-Texte. Berlin, 1953. S. 59, 109; *H. Kronasser.* Vergleichende Laut- und Formenlehre des Hethitischen. Heidelberg, 1956. S. 15; см. рецензию на последнюю книгу: *E. Laroche.* BSLP. T. 52. Fasc. 2. 1957 (Comptes rendus 1956). P. 26; о хеттском *u̯etna-* 'волк' см. *J. Friedrich.* Hethitisches Wörterbuch. Lf. 3. Heidelberg, 1953. S. 254; несомненно, что это новое слово заменило в силу каких-то причин старое название волка.

тории материальной культуры, археологии необходима этимологу, но его главной задачей является использование всех возможностей, заложенных в языкознании как таковом. Так, например, нельзя не признать известной правоты К. Мошинского, который критикует лингвиста Т. Лер-Сплавинского за неумеренное пользование нелингвистическими данными, повлиявшими на случайный подбор гидронимов. В какой-то мере симптоматичным находит К. Мошинский отзыв И. Костшевского, в котором этот археолог с удовлетворением отмечает, что этимолог Лер-Сплавинский в своих суждениях об этнонимах *Lugii*, *Mugilōnes*, *Oueltai* основывается не на этимологических аргументах, а на факте расположения этих этнонимов в области культуры ямных погребений [18]. Подвергнув критическому анализу чисто лингвистические факты, мы, напротив, должны будем отнестись внимательно к указанию антропологов о скрещении на территории Лужиц и в Судетах двух раннеисторических антропологических экспансий: старшей — германской, и младшей — славянской, напластовавшихся на местной архаической антропологической почве [19].

При всей важности рассмотренных выше проблем основным вопросом этимологических исследований в плане лингвистической географии является исследование заимствований и языковых интерференций в целом. Эта крупнейшая проблема отличается значительной сложностью и распадается на целый ряд более частных проблем в зависимости от характера исследуемого материала.

Критерий распространенности слов всегда влияет на результат этимологии; ограниченное распространение слова очень часто служит признаком заимствования из иного языка. Конечный результат этимологии зависит от того, подтвердят или не подтвердят остальные аргументы этимологического исследования это свидетельство ограниченности территориального распространения. Этимология В. Махека польск. *kobieta* 'женщина' < ст.-нем. *gabetta* 'сожительница' весьма вероятна, потому что, помимо безукоризненных фонетических и семасиологических аргументов и правдоподобного исторического объяснения, она поддерживается соображениями географии слова. Во всяком случае, эту этимологию можно предпочесть другим объяснениям — исконно славянскому происхождению или заимствованию из финских языков [20]. Проблематика заимствований имеет в каждом языке свое лицо. Среди заимствованных слов украинского языка имеется ряд элементов румынского происхождения. Наличие этих слов обычно характеризует юго-

[18] *K. Moszyński.* Pierwotny zasiąg języka prasłowiańskiego. S. 305 и след., 312.

[19] *J. Czekanowski.* Wstęp do historii Słowian. 2-e wyd. Poznań, 1957. S. 332—333.

[20] *V. Machek.* Germano-slavische Wortstudien // Časopis pro moderní filologii. Ročn. XXVI. Č. 1 (1939), 1940.

8. Заказ № 2261.

западные диалекты, и лишь некоторые из них охватили большую часть территории украинского языка, как, например, *мáйже* 'почти', продолжающее форму *май*, ограниченную упомянутыми диалектами и непосредственно заимствованную из рум. *mai*. Распространение слова на ограниченной территории играет решающую роль для этимологии, особенно в тех случаях, когда заимствование хорошо приспособилось к фонетико-морфологической системе заимствовавшего языка и не выделяется из общей массы словаря.

Точность этимологии во многом зависит от степени точности диалектной локализации заимствования. Название германской столицы А. Брюкнер производил от славянского местного названия *Berla*, так же объясняет *Berlin* и М. Фасмер[21]. Однако наиболее вероятная этимология имени *Berlin* была предложена чехословацким историком Д. Д. Прохаской, который объяснил *Berlin* < *Bedlin* 'сторожевой пост', ср. др.-чеш. *bedliti* 'быть бдительным, караулить'. Наличие согласного *r* в *Berlin* Прохаска в основном правильно поставил в зависимость от известного в немецком языке диалектного ротацизма *d* > *r*, охватывающего северные и восточные области Германии. Именно в этих немецких диалектах слав. *Bedlin* дало *Berlin*[22].

Выяснение действительных путей проникновения заимствованного слова особенно важно и вместе с тем особенно затруднительно в том случае, когда заимствование, основной лингвистический источник которого в общем не оставляет сомнений, обнаруживает в пределах славянских языков четкие фонетические варианты с различными ареалами распространения.

Весьма красноречив следующий пример. Болг. *клашнúк* 'накидка, верхнее платье из грубой ткани', сербохорв. *клàшња* 'вид чулка', *клàшње* 'редкое сукно' объясняется как заимствование из ср.-лат. *calcia* 'чулок, башмак'. К этому же самому источнику возводятся словен. *hláča*, мн. число *hláče* 'штаны', *hláčica* 'носок', сербохорв. *хлàче* мн. число 'штаны', диал. *хлàча* 'чулок'. Однако различие в фонетическом облике между этими двумя группами слов является слишком очевидным. Поэтому П. Скок указал на возможность заимствования словенской и сербохорватской форм с начальным *h* непосредственно из фриульск. *tχaltse*. Интересно отметить, что именно к этой последней группе примыкает не привлекавшееся как будто в этой связи ранее укр. *холóшні* 'зимние штаны из толстого белого сукна' (в волынских говорах), *холóші* мн. число 'штаны', *холóша* 'штанина'. Пример данного роман-

---

[21] *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego. S. 21; *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 80.

[22] *Д. Д. Прохаска.* «Берлин» от славянского «Бедлин» — сторожевой пост // ИАН ОЛЯ, 1946. Вып. 4. С. 351 и след.; *В. М. Жирмунский.* Немецкая диалектология. М.; Л., 1956. С. 294—295.

ского заимствования поучителен также как показатель проникновения слова одновременно с определенным культурным влиянием.

Для правильной оценки этого влияния большую ценность представляет исследование К. Яберга[23]. В раннюю эпоху *calcea* 'чулок' фигурирует во всех романских языках, кроме румынского, а это значит, что оно образовано и Западной Романии после III в. н. э. Старый тип *calcea* с давних времен опоясывает Альпы. Тонкие, особенно вязаные чулки служили предметом экспорта и вместе с названием распространялись за пределы романской территории. Новшеством является развитие у *calcea* значения 'штаны', причем центром распространения этого новшества, как и эволюции самого предмета, была Северная Франция, откуда новое значение *calcea* проникло в культурные центры Италии и в результате охватило северную часть Каталонии, Беарн, часть Гаскони и Лангдока, Руэрг, восточную часть Лотарингии, французскую и ретороманскую Швейцарию и часть Северной Италии. Вся эта территория представляет тип *calcea* 'штаны'. Культурной иррадиации именно этой лингвистической территории следует приписать появление названных выше заимствований со значением 'чулки, штаны' в словенском и — частично — сербохорватском языке. Эта иррадиация проникает глубоко на восток, чем объясняется наличие слов *холóшнi*, *холóшi* 'штаны' в украинском языке. Значительный возраст этих заимствований в украинском косвенно подтверждает венгерский язык, получивший из украинского языка слово *harisnya* 'чулок' (< укр. *холошня*). Значение венгерского слова указывает, что и в украинском это слово имело первичное значение 'чулок', в настоящее время не известное говорам украинского языка.

В данный момент для нас прежде всего важен вывод, что непосредственным источником заимствования, охватившего словенский, часть сербохорватского языка, а также украинский язык, с самого начала письменного периода истории уже не имеющий непосредственных границ с этими двумя языками, послужила форма, близкая фриульск. *tχaltse* или ретороманск. *chotscha* (энгадинск. *chautscha*). Остальная часть сербохорватской языковой территории и территория болгарского языка, где близкие слова имеют некоторое отличие в значениях, а главное — продолжают иной фонетический тип с начальным *k*-, получили эти формы, несомненно, из иных диалектов, возможно из балканороманского.

Этимологическое исследование заимствованных слов дает также новый материал для реконструкции географии слов в различные исторические эпо-

[23] *K. Jaberg.* Zur Sach- und Bezeichnungsgeschichte der Beinbekleidung in der Zentralromania // Wörter und Sachen. Bd. IX, Hf. 2. Heidelberg, 1926. S. 137 и след. (там же имеется ссылка на *P. Skok.* ZfromPh. Bd. 36. 1912. S. 641—646).

хи, как и вообще для уточнения различных изоглосс. Особенно интересные примеры здесь можно назвать из лексики венгерского языка. Венгерский язык, обосновавшийся с IX в. в бассейне Среднего Дуная, где до этого времени население говорило на различных индоевропейских языках, должен был, согласно общему правилу, отмеченному лингвистической географией, отразить и сохранить отдельные слова и формы вытесненных языков. При этом, как обычно бывает в подобных случаях, подчас в виде заимствований сохраняются формы, совершенно оставленные языками-источниками в ходе их дальнейшего развития, что повышает значение этих свидетельств также для истории языков-источников. Так, славянские языки, можно сказать, не знают парного образования женского рода со значением 'кобыла' от существительного *konь*. Однако именно венгерский язык имеет слово *kanca* 'кобыла', которое закономерно продолжает слав. **konjica* с этим значением. И. Книежа не может при этом указать никаких следов этой славянской формы в подавляющем большинстве славянских языков, кроме одного моравского диалекта, где есть слово *konica*, *konice*, но он правильно заключает о возможном гораздо более широком распространении слав. **konjica* 'кобыла' в древности, особенно если учесть продуктивность форманта *-ica* в южнославянских языках[24]. Если мы добавим сюда еще ст.-укр. *коница* и значении 'equa, кобыла', встречаемое в Лексиконе Памвы Берынды в качестве перевода имени (Ксанθіппа, ры́жаа ко́ница), то праславянская изоглосса **konjica* 'кобыла' в какой-то мере обретает свою реальность.

Лексика венгерского языка содержит отдельные указания о словарном составе исчезнувших языков Дунайского бассейна: ср. устаревшее венг. *tót* 'словак', ранее известное как широкий этноним, обозначавший всех славян королевства Венгрии — словаков, хорватов (кроме сербов), которое Я. Мелих убедительно объяснил как иллирийское слово. Венг. *tót* продолжает иллирийск. **touta*, **teuta* 'народ, племя', отразившееся в массе топонимики и ономастики иллирийского происхождения: *Tautantum*, Τρι-τεύτα, *Teutmeitis*, *Teutana*. Ввиду скудости источников иллирийского языка это достоверное свидетельство венгерского языка имеет значительную ценность, и отсутствие, например, упоминаний о венг. *tót* в специальном исследовании Г. Крае об иллирийском языке следует отметить как недостаток[25].

Лингвистическая география, точнее — ареальная лингвистика, исследующая иррадиации различных лингвистических явлений и интерференции языков, размещенных на смежной территории, должна постоянно учитывать

---

[24] *I. Kniezsa.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I kötet, I resz. Budapest, 1955. S. 247.

[25] *J. Melich.* A honfoglaláskori Magyarország. Budapest, 1925—1929. S. 417—422; ср. *H. Krahe.* Die Sprache der Illyrier. Tl. 1: Die Quellen. Wiesbaden, 1955. S. 60—61, 72, 114 и след.

также различные исторические факторы, которые в конечном счете обусловливают все явления, изучаемые лингвистической географией.

Особенное значение для лингвистической географии имеет изучение следов влияния таких крупных культурно-политических центров, как, например, Моравия — так называемое государство Само (VII в.), Великоморавское государство (IX в.). Здесь в первую очередь воспринимались, осаживались или получали дальнейшее распространение среди славян немецкие влияния. Моравия представляет собой важнейший естественный коммуникационный путь, которому, по отзывам этнографов, западные славяне обязаны многими чертами близости материальной культуры к культуре населения Средней и Южной Германии.

Весьма вероятно, что результатом германо-славянской языковой интерференции является также неопределенное местоимение: чеш. *žádný*, словац. *žiaden*, польск. *żaden* 'ни один, никто'.

Ф. Миклошич, Я. Гебауэр, К. Э. Мука, А. Мусич, Ф. Оберпфальцер объясняли эти слова из основы **žęd-* 'жаждать, желать'. Аналогичные наблюдения находим в работе покойной молодой лингвистки Е. Галиковой[26]. Описанная этимология является общепринятой в чехословацком языкознании[27]. Другая часть ученых, занимавшихся названными словами, придает принципиальное значение формам типа др.-чеш. *nižádný*, др.-польск. *niżadny* с тем же значением, объясняя их, а через них и упрощенные *žádný*, *żaden* как продолжение древнего **ni-že-jedьnъ*, где *že* играет усилительную роль. Так объясняют эти формы В. Ягич, Я. Отрембский, А. Брюкнер, А. Вайан, Р. Нахтигаль[28].

---

[26] За ценные указания по литературе вопроса приношу благодарность проф. В. Махеку.

[27] *K. E. Mucke.* Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen (niederlausitzisch-wendischen) Sprache. Leipzig, 1891. S. 396; *J. Gebauer.* Historická mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví. 1. Skloňování. Praha, 1896. S. 292; *A. Musić.* Rad Jugoslav. Akademije. Knj. 224. 1921. S. 201 [цит. по: *Fr. Ilešič.* Severnoslovenski *žaden* (*žadny*), *žádný* i slovenački *(n)obeden* // Јужнословенски филолог. Књ. VI. Београд, 1926—1927. S. 264—265]; *F. Oberpfalcer.* Negace *žádný* // Časopis pro moderní filologii. Ročn. XII. 1926. S. 204 и след.; *E. Halíková.* K otázce obecného záporu v češtině // Sborník Vysoké školy pedagogické v Olomouci. Jazyk a literatura. IV, 1957. S. 19—23; *J. Holub, Fr. Kopečný.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952. S. 441; *V. Machek.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 590.

[28] *V. Jagìć.* AfslPh. Bd. V. 1881. S. 161—162 и сноска на с. 162—163; *J. Otrębski.* Język polski. XI. S. 179 и след. [оба автора цитируются по вышеуказанной кн: *Fr. Ilešič.* Severnoslovenski *žaden* (*žadny*)... S. 264—265]; *A. Brückner.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927 (2-e wyd. Warszawa, 1957). S. 660; *A. Vaillant.* Notules // II. Slovène *(n)oběden* 'aucun'. RÉSl. T. XI. Fasc. 1—2. 1931. S. 66; *R. Nahtigal.* Slovanski jeziki. 2 izd. Ljubljana, 1952. S. 246.

Прежде чем делать вывод об этимологии, следует обратиться к истории разбираемых слов. Ф. Оберпфальцер указывает на особую популярность в древнечешском языке формы *i jeden* 'ни один' или просто *jeden* в том же отрицательном значении; с середины XIV в. в этой функции употребляется *i žádný* наряду с *žádný*, в то время как *nižádný*, по мнению Оберпфальцера, в наиболее древних памятниках выступает относительно редко. Материал по истории современного словац. *žiaden* крайне невелик. Можно указать форму *nižádný*, которая, собственно, является древнечешской, в деловом письме 1455 г., составленном в Земплинском комитате в Восточной Словакии. Так называемая «Жилинская книга», крупный памятник XV — начала XVI вв. с определенными словацкими чертами, содержит только формы *žádný* — nymant, keyn; *žiadny*. В польском языке можно указать следующие данные: Флорианская Псалтырь (XIV в.) не имеет форм *żaden*, *żadny*, *nizadny* и употребляет в их значении слово *jeden*: *...jeden z nych ne zostaal* (псалом 105, 12). Начиная с древнейших памятников, употребляется также *nijeden* — Свентокржижские проповеди XIV в., Гнезненские проповеди XIV в., Познанские судебные присяги XIV в., «Перемышльское размышление» XV — начала XVI вв., Шарошпатацкая Библия королевы Софии 1455 г., «Sprawa chędoga o męce Pana Chrystusowej» 1544 г., Кодекс Святослава, или Пулавский, XV в., Кодекс Дзялынских XV в., Кодекс Страдомского (начало XVI в.), Легенда о святом Алексее XV в. Форма *nizadny* употребляется в Гнезненских проповедях (наряду с *nijeden*), Шарошпатацкой Библии; *ani żadny* — в варшавских судебных протоколах и присягах XV—XVI вв.; с XV в. широко представлено в различных памятниках *żadny*, *żaden*.

Прежде чем закончить краткий обзор истории западнославянских форм, следует специально остановиться на фактах украинского языка. Выражение 'ни один' выступало на протяжении истории украинского языка в следующих формах: в древнейших украинских грамотах широко употребляется *ни ѡдинъ*; так, изданные В. Розовым грамоты XIV — первой половины XV вв. совершенно не знают форм типа *жаден* в этом значении. В той же функции употребляется в этом сборнике грамот слово *никоторый*. Впрочем в других украинских грамотах уже довольно рано появляются формы типа *жаден*: *жадноѣ милости* (1347); *жаденъ жидъ не маєтъ присягати* (1388). В дальнейшем *жаден* приобретает право преимущественно употребляемой формы и сохраняется до настоящего времени, но с XVII в. засвидетельствовано *жоден*, давшее впоследствии общенародное и литературное укр. *жóдний* 'ни один'. Исконной формой, соответствующей выражению значения 'ни один' также в русском языке, является только ст.-укр. *ни ѡдинъ*. Грамоты, в которых она широко встречается, написаны на церковнославянском языке, но изобилуют чертами живого украинского языка. К числу последних, относится, несо-

мненно, и *ни ωдинъ*, представляющее собой чисто восточнославянское образование, отличное от др.-польск. *nijeden* или от церковнославянской по происхождению формы *ни един* в аналогичных более поздних деловых документах: *ни за един* — грамота молдавского господаря Петра 1591 г., *ни единого* — в сочинениях Ивана Вишенского (XVI — начало XVII вв.). Форма *жаден*, отмечаемая в украинских грамотах уже с первой половины XIV в., является прямым заимствованием из польского языка; самый факт документированного наличия этой формы в украинских памятниках представляет немалый интерес для истории этой формы в польском, особенно если учесть, что сами древнепольские памятники XIV в. не дают достаточно ясного представления о степени употребляемости польск. *żaden*. Заимствование последней формы староукраинским языком еще накануне аннексии Западной Волыни и Галичины Польшей говорит о широком распространении и жизненности формы *żaden* в древнепольском языке XIV в. и в предыдущую эпоху. Заимствование говорит также о том, что уже к этому времени в польском языке форма *żaden* успела проделать эволюцию (о деталях которой — ниже), в то время как изучение одних лишь польских памятников говорило бы как будто в пользу более позднего распространения и утверждения формы *żaden* как таковой. Ценные свидетельства украинского языка лишь подтверждают заимствованный характер формы *жаден*. Если вычесть эти украинские и аналогичные заимствованные белорусские формы, будет ясно, что мы имеем здесь дело с западнославянскими образованиями, не имеющими соответствий в остальных славянских языках.

Вопрос генезиса польских и связанных с ними украинских и некоторых других форм имеет решающее значение для определения развития относящихся сюда западнославянских форм в целом. Это тем более важно, что преимущественное внимание к чешским фактам, вероятно, может в данном случае представить в неверном освещении факты прочих языков, особенно если отдельные конкретные наблюдения над чешским материалом распространяются без достаточных оснований на остальные близкие языки. Древнечешские памятники имеют много примеров значения *žádný* 'desiderabilis, желанный', однако это следует признать специфически чешской семантической эволюцией исходной формы и значения **žędьnъ,* рус. *жадный* 'исполненный жажды, желания'. Формы *žádný* 'ни один' и *žádný* 'желанный' в итоге чешского фонетического развития оказались омонимами, причем новое, объективное значение второго из них дополнительно способствовало их сближению в чешском, чем объясняются некоторые затруднительные случаи, также представленные в богатой статье Оберпфальцера, в которых как бы имеются налицо элементы и одного и другого значения омонимов. Однако объяснять *žádný* 'ни один' < *žádný* 'желанный' значит констатировать лишь народную

этимологию, прочно вошедшую в данном случае в сознание носителей чешского языка. Говорят ли факты остальных языков в пользу этой этимологии? Лингвисты, принимающие объяснение *žádný* < **žędьnъ*, видят в польск. *żaden* чехизм, одновременно указывая на наличие носового *ą* в исконных древнепольских примерах: *żądny*. Однако данное обобщение неправомерно, так как *żadny*, *żaden* представлено огромным количеством примеров, в том числе в деловых записках, весьма далеких от чешского влияния. Написания *żadny* и *żądny*, *żødny* нередко производят впечатление графических вариантов, так как сосуществуют подчас в одной и той же фразе. Ср. в судебной записи Варшавской земли под годом 1548: *...nymaya nassya zadnych praw wsadzie zadnym wzywacz...* (и ниже:) *nyma ządny ządnemu przeskadzacz...* В высшей степени сомнительно, чтобы здесь бок о бок употреблялись заимствованная чешская и исконная польская формы. Разобранные выше факты староукраинского языка отражают с самого раннего времени только польск. *żaden*. Трудно предположить такое полное искоренение исконных польских форм и замену их чешскими. Сторонники этимологии *žádný* < **žędьnъ* ссылаются, далее, на наличие носового в соответствующих кашубско-словинских формах. Однако кашубские диалекты имеют только *žôden*, *ńižôden*. Словинские диалекты, действительно, знают формы *žǒu̯děn*, *ńižǒu̯děn*, но совершенно очевидно, что носовой тембр гласного представляет здесь диалектное развитие *ā* > *ǫ* перед носовым согласным в косвенных падежах типа *žǒu̯nå̑* (род. п., ед. число, м. р.); ср. сев.-польск. диал. *žaññȯ gȯyry̯* (вин. п., ед. число). Наряду с этим словинский сохранил формы с чистым гласным: *ńižǒu̯dĭn*, *žǒu̯děn*.

Из прочих западнославянских форм ср. н.-луж. *žeden*, в.-луж. *žadyn*. Можно полагать, что полабский язык не употреблял форм типа *žaden*, *nižaden*. Скорее всего, в этой функции выступала форма типа *nijeden*, ср. один не вполне удачный пример из глоссария И. Парум Шульце: *nie jang nie jaddahn Deffca = ist nicht eine Dirne*.

Что касается общего направления развития форм типа *žaden* в рамках очерченного западнославянского языкового пространства, его нужно представить в согласии с частью исследователей (о которых — выше) следующим образом: *nižaden* → *žaden*. Современные чешский, словацкий, польский языки и диалекты этих языков сохранили только этап *žaden*, но памятники письменности свидетельствуют, что раньше им был известен также этап *nižaden*. До настоящего времени сохраняют этап *nižaden* кашубско-словинские диалекты, что не является инновацией и должно быть отнесено к числу важных периферийных реликтов этой весьма архаической группы диалектов. Итак, значительная часть западнославянских языков оказывается охваченной формами, исторически восходящими к общему типу *nižaden*. Оценка этой формы как таковой и сравнение с состоянием в остальных славянских языках позво-

ляют в свою очередь рассматривать тип *nižaden* как инновацию, общую для большинства западнославянских языков. Относительно вероятного времени возникновения и распространения этой инновации можно сослаться на мнение Я. Станислава, который относит словац. *žiaden*, чеш. *žádný* и др. наряду с другими западнославянскими инновациями к эпохе Великоморавского государства IX в., когда почти все западные славяне находились в пределах одного государственного объединения[29].

Лингвисты, исследовавшие форму *nižaden,* обычно сразу пытались объяснить ее возникновение участием тех или иных морфем. Характерно, что при этом никто в сущности не ставил вопроса, почему состоялось такое обновление выражения 'ни один' в данных языках, а между тем этот вопрос важен и интересен в различных отношениях. Одной из типичных особенностей польского языкового развития является стяжение гласных, приводящее к образованию новых долгих *ā*, *ē*. Можно думать, что слав. **ni edьnъ*, представлявшее собой довольно стойкое сочетание, неизбежно должно было в праславянских диалектах подвергнуться стяжению с результатом *ē*: *nijeden* > **n'ēden*, что, по-видимому, вредно сказалось на устойчивости всей формы, так как прежде всего нарушило ее четкую связь с *jeden*. Это обстоятельство, а также, видимо, аналогичные явления в прачешском вокализме и послужили необходимым условием для морфологического обновления выражения 'ни один' — условием, которое до сих пор как-то игнорировалось. Обновление могло вначале возникнуть на сравнительно ограниченной части территории древних западнославянских диалектов и уже затем охватить значительную часть этой территории. Следующий вопрос — природа морфологического обновления выражения 'ни один' — находился постоянно в центре внимания исследователей, правда, в несколько ином плане. Форма *ni-že-jeden*, которую часть лингвистов не без основания считает исходной для *žaden*, *žádný*, допускает вероятность определенного внешнего импульса, а именно — влияния тоже новообразования на соседней немецкой языковой территории — франк. *nig-ein* и др., о которых подробно ниже, новообразования, которое столь характерно по сравнению с рефлексом праслав. **ni edьnъ* в польском и чешском, терявшим морфологическую четкость, необходимую в условиях парного употребления.

Известно, что не всякая этимология зависит от результата специального лингвогеографического анализа ее материала. Но несомненны случаи, когда ошибочность или просто сомнительность попыток прямолинейного объяснения фактов спонтанным происхождением становится очевидной только бла-

[29] *J. Stanislav.* Dejiny slovenského jazyka. I. Uvod a hláskoslovie. Bratislava, 1956. S. 123.

годаря лингвистической географии, которая проливает новый свет на уже известные факты. Влияние франк. *nig-ein* на западнославянские формы предполагает определенную легкость взаимопонимания, славяно-немецкое двуязычие, при котором *ein* машинально переводилось, в то время как влияние первой части *nig-ein* осуществлялось при участии на славянской почве народной этимологии и неизбежных звуковых субституций. Параллелизм новообразования и средств его осуществления на немецкой и западнославянской почве поразителен.

Совершенно противоречит как будто исходному пункту наших рассуждений о судьбе *ni edьnъ* в западнославянских языках наличие именно форм *nijeden* — и притом в большом количестве — в различных древнепольских и древнечешских памятниках. Однако этот пример лишний раз демонстрирует необходимость тщательного анализа относительной хронологии развития форм. Все время, пока тенденция стяжения оставалась живой, *nijeden* было невозможно фонетически, но как только она потеряла силу, возможность сочетания элементов *ni* + *jeden* снова оказалась реальной и была осуществлена в речи. Весь этот эпизод борьбы форм мог разыграться в дописьменном польском языке. Видимо, так нужно понимать ту сложную картину, которую мы застаем в памятниках польского языка: *niżaden* (*niżadny*, *żadny*), а рядом с ним *nijeden*. Первое из них можно признать инновацией эпохи Великоморавского государства, в то время как второе — *nijeden*, — по-видимому, не может считаться прямым рефлексом праслав. **ni edьnъ*, но лишь в точности повторяет последнее в новых условиях звуковой системы польского, resp. чешского языка. Точно так же, например, **ne je*, прапольск. *nie je* 'non est, non' дало фонетически закономерно польск. *nie* в этом значении, а с ослаблением описанной тенденции снова оказалось возможным сочетание *nie jest*. В Флорианской Псалтыри находим уже оба случая: *Rzekl iest szaloni na serczu swoiem: ne boga* (псалом 13, 1); *...ne iest asz do iednego* (псалом 13, 2).

Таким образом, в истории выражения 'ни один' в западнославянских языках наблюдается интересная эволюция форм: 1) кризис общеславянского **ni edьnъ*; 2) инновация *niže-jeden*, вытеснившая старое выражение (сюда же закономерные этапы ее собственной эволюции: *ni-žaden*, *aniž aden*, *žaden*); 3) новообразование *nijeden*, до известной степени соперничающее с *žaden* и иногда заменяющее его в стилистически оправданных случаях, ср. *ani jeden* как более сильное выражение вместо *żaden* в польском. В образовании *niže-jeden* мы, по-видимому, имеем дело с общей инновацией различных языков. В каждой инновации, охватывающей несколько языков, обязательно присутствует элемент заимствования, тем не менее между общей морфологической инновацией и лексическим заимствованием имеется существенное различие. Инновация предполагает элемент языкового союза. Выделить *nig-ein* — *niže-*

jeden как общую инновацию принципиально важно тем более, что речь идет о сравнительно поздней эпохе (до IX в. включительно), когда реальным выражением взаимодействия соседних германских и славянских языков обычно считается только лексическое заимствование.

Исследователи немецких заимствований в польском почти единогласно отмечают, что польский язык преимущественно черпал немецкие заимствования не из близкого нижненемецкого, а из верхненемецкого или — точнее — восточносредненемецкого. Сравнение зап.-слав. *nižejeden* с немецкими образованиями опять-таки указывает на средненемецкую языковую область, поскольку, как увидим ниже, именно там нужно локализовать формы типа др.-сакс. *nig-ēn*.

В то время как Средняя Германия явилась политическим ядром Франкского государства, Северная (Нижняя) Германия оставалась на положении окраины, испытывавшей в раннее средневековье значительный отток населения — на острова или в районы непосредственной близости культурно развитых областей. Исторический центр Франкского государства — Рейнская и Средняя Франкония — становится, по свидетельству историков немецкого языка, также центром иррадиации важных языковых влияний, что выражается в распространении за пределы этих областей языковых особенностей первоначально чисто местного значения. Языковые особенности франкского происхождения прослеживаются на территории Вестфалии, в южнонемецких письменных памятниках.

В этой связи большой интерес представляет история и география выражения ‘ни один’ на территории немецкого языка. Современные господствующие формы — н.-в.-нем. *kein*, гол. *geen* — отнюдь не являются общегерманскими, они не представляют собой даже общезападногерманских форм. Для этимологии нем. *kein* привлекаются др.-в.-нем. *nihhein*, *nihein*, др.-сакс. *nigēn*, объясняемые сложением *nih* ‘и не, также не’ + *ein*, причем древнесаксонская и продолжающие ее средненижненемецкие формы с *g* отражают действие закона Вернера и тем самым признаются более древними сравнительно с чисто верхненем. *nihein*, происходящим из эпохи после действия закона Вернера. Таково, в основном, содержание соответствующей статьи в словаре Ф. Клюге — А. Гетце. Нельзя сказать, чтобы динамика развития форм была здесь раскрыта удовлетворительно. Действительные диалектные взаимоотношения на территории немецкого языка в древности могли быть в данном конкретном случае несколько иными. Форма *nigēn* в немецкой лингвистической литературе обычно называется древнесаксонской. На расплывчатость старого понятия «древнесаксонский язык» в последнее время с полным правом указал В. Ферсте. Он выявляет ряд разнообразных следов франкского влияния, проникновения в древнесаксонский морфологических инновации франкского

происхождения. В отличающейся по языку от собственно вестфальских памятников древнесаксонской поэме IX в. «Гелианд» также известны черты, занесенные из франкских диалектов, на что указывал еще Ф. Энгельс. Исторически это объясняется наслаиванием нижненемецких по языку насельников-саксов на франкское население Вестфалии. Форма *nigēn* 'ни один' в языке «Гелианда» находится в резком противоречии с выражением этого значения в большинстве языков «нижненемецкой фонетической ступени», на что указывал, например, Я. Гримм в своем словаре: др.-сакс. *niên* (между прочим, также в «Гелианде»), ср.-н.-нем. *nên*, *nein*, др.-фриз. *nên*, англосакс. *nân*, англ. *none*, др.-исл. *neinn*. С другой стороны, формы, органически близкие *nigēn*, распространены на компактной смежной территории: *nigein*, *negeen*, *negheen*, *engheen*. Эти формы были присущи собственно франкским диалектам и продолжают существовать, например, в развившемся на франкской основе голландском языке и его диалектах: *geen*. Позднейшее фонетическое противопоставление нижненемецкого и верхненемецкого в соответствии с отражением верхненемецкого передвижения сгладило многие различия внутри нижненемецкого, бывшие прежде существенными. К ним относятся различия между истveонскими (франкскими) и ингвеонскими (древнесаксонскими, англофризскими) диалектами. В то время как форма типа *nigēn* представляется исконной для франкских диалектов вплоть до наличия *g* (ср. выше), для нижненемецкого-ингвеонского форма с *g* перед *e*, *i* не могла быть фонетически исконной; ср. многочисленные случаи перехода *g* > *j* в этом положении в саксонском, фризском, английском. Поэтому *nigēn* в древнесаксонском, как затем и *gein*, *geen*, *gîn* 'ни один' в средненижненемецком, являются заимствованиями из франкского. Англы и саксы, выселившиеся на Британские острова в V в., когда еще только начинался подъем франков, сохранили более простое древнее *nân*, структурно аналогичное праслав. **ni edьnъ*. Это означает, что древнесаксонский еще не знал тогда формы *nigein*. Влиянию исконно франкской формы *nigein*, *nigēn* обязаны, с другой стороны, по-видимому, верхненемецкие диалекты появлением в них вторичной формы *nihhein*, *nihein*, *nehein*, *nohhein*. Таким образом, *nigein* и родственные формы представляют собой типично немецкую инновацию, центр которой лежал в древнефранкских диалектах. Отсюда эта морфологическая инновация постепенно охватила остальные части немецкой языковой территории, за исключением ряда нижненемецких диалектов; ср. *nên* 'kein' (Зальцведель, Альтмарк), диал. вестфальск. *niən*, *nen*, *nain* 'kein'. Островные англосаксонские диалекты также представляют в этом отношении пример периферийных языков, сохраняющих реликт основной в прошлом формы и не охваченных инновацией. Эта инновация стала по своему распространению континентальной западногерманской чертой. Причина кризиса герм. **ni aina-* 'ни один' в континен-

тальных западногерманских и прежде всего франкских диалектах коренится, вероятно, в оформлении нового отрицания *nein* 'нет', сменившего более древнее простое отрицание, опять-таки сохраненное в виде периферийного англ. *no* и близких образований. К сожалению, этимологические словари не уделяют должного внимания этим отношениям. Дальнейшая история немецких форм выразилась в многочисленных поздних преобразованиях типов *nigein*, *nihhein*.

Принципиального различия в данном случае между взаимодействием древнефранкских диалектов с остальными континентальными западногерманскими диалектами и тех же древнефранкских — с частью западнославянских языков не существует. Здесь скорее можно говорить о наличии одной области распространения морфологической инновации выражения 'ни один', куда входили все названные языки и диалекты. Сопоставляя нем. *nigein*, *nihhein* > *gein*, *chein*, *kein* и зап.-слав. *nižaden* > *žaden*, можно говорить также о параллелизме дальнейшей эволюции данной морфологической инновации в этих языках.

Слово **korljь*, рус. *король*, проникшее в славянский в результате контактов с франками в эпоху Карла Великого (ум. в 814 г.), охватило большинство славянских языков. Говорит ли это о необходимости считать слав. **korljь* более древним, а только западнославянское *nižejeden* — более поздним образованием? Думается, однако, что такой вывод будет ошибочным и что широкое распространение слав. **korljь* объясняется политическим и социальным весом этого термина.

Преобразование и вытеснение праслав.**ni edьnъ* (ср. ст.-слав. **никдьнъ** и др.) имело место, кроме разобранного западнославянского примера, также в некоторых других частях славянской территории. Эти случаи частично уже исследовались, но, насколько можно заметить, основной смысл преобразования не был раскрыт. Общее наблюдение, непосредственно подводящее нас к причине преобразования, заключается в том, что данное явление присуще зонам наиболее интенсивного взаимодействия славянских языков с неславянскими.

Сюда относится, например, словен. *nobéden*, *nobèn* 'ни один', объясняемое из **ljubo eden* или из **obeju eden*, из **ob* + *eden* или **nibo eden*. Внимания заслуживает особенно последнее объяснение — из **nibo eden*, принадлежащее А. Вайану. С ним следует согласиться в том, что *bo* здесь усиливает отрицание *ni*, а также в том, что это образование аналогично зап.-слав. *nižejeden*, однако последнее не следует понимать как результат простой перестановки энклитики в выражении типа ст.-слав. **никдьнъже**. Импульс для такого образования скорее весго может быть обнаружен при детальном сравнении с подобными образованиями в немецком и западнославянских языках.

Словенские диалекты и памятники представляют весьма сложную и разнородную картину: есть примеры сохранения типа *nijeden*, ср. *nidan* в Резьянском катехизисе XVIII в. И. А. Бодуэна де Куртенэ и такая же форма в современных диалектах Резии. Только в словенских диалектах Северо-Восточной Италии можно указать по материалам Бодуэна де Куртенэ три способа выражения значения 'ни один': тип *nijeden*, тип *jeden* и сложение с *maj*: *...njẽmaš maj-dnəγa* = 'не имеешь ни одного'. Первая часть этого сложения представляет, вероятно, заимствование из соседних романских диалектов, ср. фриульск. *mai* 'но'.

Не менее интересные преобразования праслав. **ni edьnъ* находим в македонском и болгарском. К. Мирчев был прав, указывая на вост.-макед., болг. диал. *боеди́н* 'ни один', 'какой-нибудь' как на форму, структурно близкую словен. *nobědén*, однако для этого вовсе не нужно объяснять болгаромакедонские формы из *любо един*, тем более что продолжением старого наречия *любо* в восточномакедонских диалектах является *ліу*. Более правильным представилось бы объяснение вост.-макед. *боеди́н* из первоначального **нибо един*, которое, проникнувшись отрицательным значением, получило со временем возможность употребляться и без отрицания: *боеди́н*, ср. *nižaden* > *žaden*.

Никто из исследовавших *nižaden*, *nobeden* не затронул болг. *нито един*, которое имеет принципиальное значение. Ст.-слав. **ниже** калькирует греч. οὐδέ, как правильно отмечал А. Вайан, но рядом с *ниже* продолжало оставаться ст.-слав. **никдьнъ**, сохранявшее еще всю прочность формулы. Весьма показательны в этом отношении болгаромакедонские факты. Греч. οὐδέ тоже калькируется, но уже новыми средствами: *нито*, *нити*, южномакедонское *nįto* (Кулакийское Евангелие), *nìtu* (М. Малецкий). Серьезным новшеством болгарского является преобразование ст.-слав. **никдьнъ** > болг. *нито един*. Можно, правда, указать, что, например, усиленное отрицание типа *niti* является в какой-то мере общеюжнославянским, но это не противоречит выводу, что именно н.-болг. *нито един* является калькой греч. οὐδέ εἱς, οὐδείς с этим значением. Среднеболгарские памятники как будто последовательно сохраняют употребление форм старославянского типа — *ни единь*, *ни единъ*, что, впрочем, еще не означает позднего происхождения болг. *нито един*. Эта форма, как и ряд других подобных балканских черт болгарского, является отражением формы влиятельного κοινή, греческого языка Нового Завета. Но есть случаи, когда можно говорить и о более поздних образованиях, например юж.-макед. *puidìn* (Сухо и Висока в районе Салоник). Насколько удалось установить, *puidìn* в текстах Малецкого выступает семь раз в отрицательном значении 'ни один, никто' и, по крайней мере, 32 раза в неопределенном значении 'некоторый, какой-нибудь'. Правда, при этом надо учесть, что преоб-

ладание значений второго рода вызвано популярностью зачина *pujnò vr'ắm'ą* (Сухо) 'однажды' в повествовании, которое является основной формой текстов, записанных Малецким. В остальном *puidìn* является в этих говорах единственным выразителем значения 'ни один, никто'. В морфологическом отношении *puidìn* представляется сложением предлога-проклитики *pu* 'по' и числительного *idìn* 'один'. На этом исчерпываются возможности объяснения формы внутренними средствами местного славянского диалекта. С другой стороны, современный греческий язык знает форму χανείς, χαμμία, χανένα 'какой-нибудь, какой-то', 'ни один, никто', собственно χἂν εἷς 'хотя бы один'. В условиях двуязычия эта структура слова, несомненно, осознавалась. Болгаромакедонскому *по* известны уступительные значения; ср., например, модифицированную при помощи отрицания форму болг. литер. *поне́* 'хотя, хотя бы', которой соответствует в Сухо и Висока *punà* 'по крайней мере'. Поэтому можно объяснить *puidìn* 'какой-нибудь', 'ни один, никто' из **pune idin*, **puna idin*, которое калькирует новогреч. χανείς 'какой-нибудь', 'ни один, никто'.

Таким образом, взамен праслав. **ni edьnъ*, сохраненного частью восточнославянских и сербохорватским языком, большинство славянских языков в итоге различных местных конвергенций развило новые формы: *nižaden*, *nobeden*, *нито един*, *боедин*, *puidìn*. Изучение этих последних с точки зрения лингвистической географии представляется единственным правильным путем к раскрытию их этимологии.

Наблюдения о роли лингвистической географии в этимологическом исследовании можно закончить следующим выводом: лингвистическая география — дополнительный критерий, необходимость в котором для этимологического исследования тем выше, чем обрывочнее материал и чем сложнее выводы самого исследования.

К ВОПРОСУ О РЕКОНСТРУКЦИИ РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ ЛЕКСИКИ

Настоящая статья опирается — если иметь в виду практическую сторону вопроса — на проведенные ранее этимологические исследования, главным образом на материале славянских языков, нескольких различных тематических групп лексики: терминология родственных отношений, названия домашних животных, названия каш [1].

Что касается принципиальной, методологической стороны, настоящее сообщение существенно отличается от этих проведенных ранее работ, поскольку аспект взаимосвязей между хронологически взаимно приуроченными терминами, игравший в названных этимологических работах второстепенную, эпизодическую роль, избран сейчас как основной. Несколько предвосхищая конкретные выводы, можно сказать, что этот аспект весьма способствует выяснению взаимоотношений названий одного приблизительного временного пласта между собой и хронологической последовательности оформления разных исторических форм одного и того же названия, а также выявлению разных других видов исторической взаимосвязи форм (воспроизводство семантических и морфологических моделей, позволяющее рассматривать внешне не связанные формы как этапы, звенья единой эволюции, наконец, — генезис самой эволюции, смену основных способов образование моделей).

Нельзя сказать, чтобы каждая более или менее характерная семантическая группа словаря, исследуемая в избранном здесь аспекте, давала ответ на

---

[1] См. *О. Н. Трубачев*. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959 (в тексте сокращенно —Терм. род.); Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960 (в тексте сокращенно — Дом. жив.); Из истории названий каш в славянских языках // Slavia. Ročn. XXIX. 1960. S. 1 и след.

все поставленные выше вопросы. Дело в том, что далеко не все совокупности слов, одинаково заслуживающие название «тематическая (семантическая) группа словаря», одинаково организованы и равны по возрасту. Как раз наоборот: каждая из таких групп представляет подчас неповторимое своеобразие внутренней организации и носит признаки существенного «возрастного» отличия (примерная хронология оформления). Оба момента исключительно важны. Все это вынуждает крайне сдержанно н неохотно пользоваться в отношении к тематическим группам словаря такими терминами, как система, структура, признавая, однако, полезность и оправданность введения этих понятий в методологию исследования словаря. Всякая узость понимания и применения этих терминов окажется скорее вредной, как и обязательное стремление к «фонологизации» взаимосвязей такой в действительности более или менее свободной, незамкнутой системы отношений, которая присуща словарю, словарным группам. Следовательно, термин система надлежит применять к словарю cum grano salis[2]. Не лишены известной расплывчатости и соотношения синхронного и диахронического аспектов в том, что касается функционирования и генезиса слов и словарных групп. Это вынуждены констатировать современные специалисты по лексической семантике и исследованию лексико-семантических систем и полей[3].

При всем этом нельзя не высказать неодобрения в адрес авторов, близких к тому, чтобы отождествлять систему и поле в лексике. Морфосемантическое поле[4] представляется целесообразным рассматривать с гораздо бóльшим допущением диахронического аспекта, что на практике и делается исследователями, так как поле — это своеобразное осуществление тенденций взаимосвязей форм, их экспансии, воспроизводство морфологических и семантических моделей.

---

[2] П. Гиро рекомендует избегать понимания терминов система, структура (слов) в духе структурной фонологии или морфологии, предпочитая наполнять их значением «(морфосемантическое) поле» (*P. Guiraud.* Les champs morpho-sémantiques (Critères externes et internes en étymologie) // BSL. T. 52. 1956—1957. P. 286—287). Едва ли также оправдано неточное словоупотребление вроде следующего: «Семантическое поле — уникальная монолитная структура...» (*О. С. Ахманова.* Очерки по общей и русской лексикологии. М., 1957. С. 78).

[3] Ср., например, *W. von Wartburg.* Betrachtungen über die Gliederung des Wortschatzes und die Gestaltung des Wörterbuchs // ZfromPh. Bd. 57. 1937. S. 296—297; *St. Ullmann.* The Principles of Semantics. 2nd ed. Glasgow; Oxford, 1957. P. 37—38.

[4] Понятие «морфосемантического поля» как комплекса отношений форм и значений, образуемого совокупностью слов, выдвинуто П. Гиро, см. *P. Guiraud.* Указ. соч. // BSL. T. 52. 1956—1957; *P. Guiraud.* La sémantique. Paris, 1959. P. 82; *P. Guiraud.* Le champ morphosémantique du verbe «chiquer» (Essai sur le traitement étymologique des radicaux onomatopéïques) // BSL. T. 55. 1960. P. 135 и след.

Морфосемантическое поле — это наличие ряда общих характерных черт семантики и словообразования при мозаическом принципе примыкания в взаимосвязи слов, образующих незамкнутое целое, без четкой противопоставленности элементов. Актуальность синхронного аспекта здесь соответственно этому невелика в сравнении с тем, что может быть названо системой слов, т. е. такой совокупностью, которая, обладая рядом признаков поля, организована по принципу последовательной противопоставленности терминов в одном, преимущественно синхронном плане. Лексические системы нередко перекрываются полями, сосуществуют с ними и питают друг друга. Ср. ниже о поле *рождать(ся)* с соответствующими моментами контекста и о связях с системой родственных обозначений. Думается, что это наблюдение способствует изучению взаимосвязей таких разных единиц словаря, как именные и глагольные образования, совокупное рассмотрение которых в плане одной тематической группы словаря несколько недооценивалось, несмотря на неоднократные призывы к устранению этого недочета [5].

Разумеется, даже наиболее организованные словарные комплексы характеризуются наряду с «системообразующими», или основными терминами, наличием функциональных вариантов основных терминов, второстепенными терминами. Все это, естественно, усложняет изучение взаимоотношений. Однако наличие резервов внутренней реконструкции при этом несомненно, возможности выявления новообразований и архаизмов заманчивы.

Возрастные различия словарных групп весьма велики. Если терминология родственных отношений намного старше самого выделения праславянского языка, то, например, о названиях обуви как о самостоятельной тематической группе словаря рано говорить даже в применении к праславянскому периоду, когда имелось несколько образований, формально и семантически тяготевших к другим рядам словаря (одежда, различные части шкуры животного); для такой относительно молодой группы лексики актуален лишь аспект преимущественно одного отдельного славянского языка, например русские наименования обуви [6]. Как указывал еще Вартбург [7], семантические группы словаря «весьма различны в своей сущности. Среди них есть такие,

---

[5] См. сведения об этом в обзорных работах Сузанны Эман: *S. Öhman*. Theories of the «linguistic field» // Word. Vol. 9. New York, 1953. P. 127; *S. Öhman*. Wortinhalt und Weltbild, Vergleichende und methodologische Studien zur Bedeutungslehre und Wortfeldtheorie. Stockholm, 1951. S. 83.

[6] См. *И. С. Вахрос*. Наименования обуви в русском языке. I. Древнейшие наименования, до Петровской эпохи // Ежегодник Института по изучению СССР в Финляндии. Приложение к № 6—10. Хельсинки, 1959; а также мою рецензию на названную книгу: КСИС. 35. 1962. С. 99 и след.

[7] *W. von Wartburg*. Указ. соч. // ZfromPh. Bd. 57. 1937. С. 304—305.

которые очерчены довольно четко и остаются в общем устойчивыми. Такими естественными группами являются, например, части тела, родственные отношения, атмосферные явления, ежедневные отправления человека (*есть*, *пить*, *спать*). Но наряду с ними имеются группы, которые полностью преображают свой облик с течением времени (я имею в виду одежду человека, государственные учреждения, средства сообщения — короче говоря, все то, что человек создает сам). Однако это различие в значительной степени относительно и обнаруживает разнообразные оттенки. Перемещения имеются и внутри групп, названных вначале, и, наоборот, мы обнаруживаем в плане содержания также перемещения, которые не влекут за собой изменения в терминологии».

Еще несколько слов о лексических системах и полях (в упомянутом выше смысле), а именно о взаимоотношении языкового и внеязыкового. Природа этого взаимоотношения, видимо, такова, что системе реалий всегда соответствует лексическая система; так, например, система родственных обозначений соответствует реальной системе родства, система воинских званий — реальной системе воинской субординации, система цветообозначений — реальной системе цветов оптического спектра и т. д., причем реалии можно понимать достаточно широко, отнюдь не только в форме вещей, но также в форме отвлеченных величин более или менее условного характера, как, например, неделя из семи дней или различные социальные отношения. Добавим также, хотя это и выходит за рамки нашей настоящей статьи, что сказанное будет тем более справедливо в отношении научной терминологии, где система слов-терминов обязательно соответствует системе реалий или научных понятий. Правда, системы научных терминов искусственны. Но не послужило ли именно упомянутое принципиальное сходство их с «естественными» системами слов основанием для несколько парадоксального утверждения Р. М. Майера, что «большинство семантических систем до известной степени искусственны» [8]?

Как бы то ни было, говорить об имманентной сущности лексических систем можно лишь со значительными оговорками. Аспект сло́ва и вещи сохраняет неизменное значение при изучении лексических систем. Вместе с тем целиком уместно следующее замечание Гиро [9]: «Но история вещей, социальных и диалектных отношений, фонетических эволюций должна дополняться историей внутренних семантических отношений, способов образования слов, подчиненных в свою очередь сложному детерминизму, который

[8] *R. M. Meyer*. Bedeutungssysteme // KZ. Bd. 43. 1909. S. 358.

[9] *P. Guiraud*. Le champ morphosémantique du verbe «chiquer» // BSL. T. 55. 1960. P. 154.

имеет свои собственные законы, подчас независимые и отличные от законов, управляющих внешней причинностью». Таким образом, говорить о совокупной соотнесенности всех цветообозначений с внеязыковой реалией — спектром в целом [10] — еще не значит доказать системность цветообозначений. Что касается взаимоотношения языкового и внеязыкового в вопросе о «морфосемантическом поле», то здесь примат остается, по-видимому, за внутриязыковыми факторами, идет ли речь о морфосемантическом поле глагола *chiquer*, глагола *рождаться* или о реально-семантическом отношении типа *ходить — нога, хватать — рука* (Порциг).

Такой благородный отдел словаря, как терминология родственных отношений, обладает в высокой степени качествами, облегчающими системный подход, что отмечалось исследователями и ранее. Этим объясняется ее значительное место также в настоящем сообщении. Стройная организация и взаимосвязь наряду с глубокой древностью основного ядра названий делают возможным детализированное наблюдение и последовательное снятие напластований, а также заключение о первоначальном составе. Едва ли возможности реконструкции первоначальной взаимосвязи элементов для других групп словаря (имеем прежде всего в виду остальные приводимые ниже группы) в состоянии соперничать с подобными возможностями для терминов родства.

За основу целесообразно взять, например, современное состояние (для русского языка):

отец — мать / сын — дочь (*ребенок, дитя, дети*) / *брат — сестра*; *двоюродный брат — двоюродная сестра* и т. д. / *дядя — тетка / племянник — племянница / дед — бабка* и т. д. / *внук — внучка* и т. д. // *муж — жена / свекор — свекровь / тесть — теща / сноха, невестка*; *зять / деверь, золовка / шурин, свояченица*.

Эту упрощенную схему взаимоотношений основных терминов нашей современной системы родственных обозначений условно назовем VI стадией. Данное обстоятельство как бы предполагает наличие у нас известных представлений о «нижних» пластах, прежде чем мы обратимся к их анализу. Однако в практике исследования неизбежно приходится забегать вперед, даже имея в виду ограничение всякий раз более или менее единым данным одновременным слоем. Перечисленные современные родственные обозначения покрываются такими общими терминами, как *семья* и *родственники*. Более или менее ощутимо в названную систему вдается семантическое поле глагола *родить* и связанных с ним форм.

---

[10] См. *В. А. Москович*. Система цветообозначений в современном английском языке // ВЯ. 1960, № 6. С. 83 и след.

В качестве предшествующего важного синхронного пласта целесообразно выделить первое реконструируемое состояние — состояние родственной терминологии праславянского периода (V стадия):

otьcь — mater- / synъ — dъ(k)t'i) (dětę, děti, orbę...) / bratrъ — sestra; bratranьcь, -ica, sestrěnьcь, sestrьnьcь, -ica, sestritjь / stryjь, ujь — teta, tetъka / netьjь — neti, -ere / dědъ — baba... / vъnukъ — vъnuka... // mǫžь — žena / svekrъ — svekry / tьstь — tьstja / snъxa, nevěstъka; zętь / děverь, zъly / šurь, svьstь, jętry.

Для этой древней стадии отпадают некоторые названия, которые можно счесть поздними новообразованиями, опираясь исключительно на материал русского языка. Таковы обозначения *двоюродный* (*-ая*) *брат* (*сестра*), судя по поздней продуктивности самого способа (ср. *троюродный*). Их место в праславянском занимают названия, определение которых возможно уже лишь с привлечением внешних данных, ср. близкие укр. *братáнець*, *сестрíнець* и др. Сопоставление внешних и внутренних данных позволяет выделить как позднюю местную инновацию и современное рус. *племянник*, имевшее ранее иное, широкое значение. Преимущественно внешние данные и наблюдения над закономерностями эволюции отношений терминов позволяют видеть местную инновацию в современной паре *дядя — тетка* при праслав. *stryjь*, *ujь* 'дядя по отцу, матери' — *teta*. Отношения *svekrъ — svekry* в праславянском носят характер архаизма, но некоторые внешние наблюдения (ср. характер пары лит. *šešuras* 'свекор' — *anyta* 'свекровь', последнее, собственно, — модификация древнейшего родственного названия *an-* с суффиксом *-tia*) подготавливают к тому, чтобы видеть здесь тоже результат инновации, однако уже довольно древней.

В качестве новообразования русского характера отделимо *свояченица*, *свояк* с его живой семантической продуктивностью, что подтверждается и внешними данными о наличии конкретных праславянских терминов *svьstь*, *jętry*. Напротив, в сравнении с морфологически архаической парой *svekrъ — svekry* пара *tьstь — tьstja* может быть охарактеризована внутренне как построенная по гораздо более поздней и, видимо, продуктивной в праславянском модели; ср. *tьstja* как производное на *-ja* в функции формы женского рода. Ввиду сомнительности сколько-нибудь близких в семантико-морфологическом отношении внешних сравнительных данных в других индоевропейских языках, это слово может быть определено как праславянская инновация, первоначально собирательное *tь-stь* женского рода со значением 'то же самое' (что и свёкор, свекровь, отец, мать?), ср. образования местоименного происхождения *тёзка*, слав. *jьstъ* 'тот же, подлинный' (согласно убедительной

этимологии В. Н. Топорова)[11]. В Терм. род. С. 125 может быть внесена соответствующая поправка. Ср. местоимение *сам* в роли обозначения *мужа*, *супруга*, эволюция и.-е. **pot-s* 'сам' → 'супруг, господин'.

Некоторые праславянские названия занимают как второстепенные более скромное место в реконструкции праславянского состояния: *mězьnъ*, *otrokъ*, *nemъlvję*, *alda*, *potь*.

Праславянская терминология покрывается рядом общих названий родства: *sěmьja* (собирательное, в паре с сингулятивным *sěmь*, *sěminъ*), *rodъ* (< *ordъ*), *roditje* (< *orditje*), *plemę*. Все они на основании внешних и частично внутренних данных представляются новообразованиями, компенсирующими, как увидим ниже, редукцию более архаических обозначений. Праслав. *roditi* < *orditi* обнаруживает характер инновации в том, что объединяемые этой основой внутриславянские производные представляют модели поздней продуктивности (ср., помимо известной родственной терминологии, русское слово *рожа* (*rodja*). Этот глагол явно вытеснил в предшествующий период другую основу, следы которой четко видны в непродуктивных производных типах (*čelo*, *kolěno*, *čeljustь*). С другой стороны, между архаизмом и инновацией установима связь четкой преемственности, выражающаяся в воспроизводстве семантической модели (ср. изосемантизм переходов *рождать* > *член тела*). Производное на *-ja sěmьja* вторично (включая и его значение), судя по более архаичному производному на *-ro- sębrъ* < *sěmro-*, образованному не от основы на *-i sěmь*, а от основы на *-o sěmo-*. Следующий ниже слой (IV стадия) целесообразно определить как протославянский, соответствующий переходному периоду развития группы индоевропейских диалектов, близких к протобалтийским:

pter-/ptr-, *otikos* — *mater-*, диал. *mai̯a* / *sūnus* — *dukter-* (*dhoi̯to-*, *orbho-*) / *bhrāter* — *su̯esr-*; *su̯esrēno-* / *ptru̯i̯o au̯i̯o-* — *teta* / *neptii̯o-* / *dhēdh-*, *bhābhā*, *an-* / *mangu̯i̯o-*, *viro-*, *poti-* — *gena* / *su̯ekro-* — *su̯ekry-* / *snusā*; *ĝenətii̯o-* / *dai̯u̯er-*, *ĝŭlōus*, *si̯ouri̯o-*, *i̯enəter-*.

В целом существенное отличие от праславянского состояния наблюдается здесь в факте отсутствия типичных славянских черт и, напротив, активного функционирования формантов и словообразовательных моделей, утрачивающих продуктивность в собственно праславянском. Количество основных названий родства меняется в сторону сокращения, в ряде случаев противопоставленные термины обнаруживают более емкую семантику. В частности, это можно отнести к паре *su̯ekro-* — *su̯ekry*, которая охватывает и отношения,

[11] *В. Н. Топоров*. Этимологические заметки (славяно-италийские параллели); 2. Слав. *istъ* // КСИС. Вып. 25. М., 1958. С. 80 и след.

позднее выраженные парой праслав. *tьstь* — *tьstja*, т. е. первоначально родители мужа и жены назывались одинаково.

Как и для других состояний, для протославянской терминологии родства можно говорить об архаизмах и инновациях. Среди частных инноваций можно назвать протослав. *ot-ikos*, общее с греч. Ἀττικός, которое функционально отлично; далее, протослав. *su̯esrēno-*, соответствующее протобалт. диал. *su̯esrīno-*, и пралатинскому *su̯esrīno-*; *bhrātri̯ā*, общее для протославянского и для греческого. Замечательный расцвет характеризует такую инновацию, как словообразовательная модель с формантом *-i̯o*/*-i̯ā*, несомненно продуктивную на протославянской стадии, о чем говорит выделение этого форманта не только в протослав. диал. *ma-i̯a* (общее с греч. ματα), *bhrātr-i̯ā*, *ptru̯u̯-i̯o-*, *au̯-i̯o-*, *nepti-i̯o-*, *si̯our-i̯o-*, но и в таком протославянском новообразовании, как *mangu̯-i̯o-*. Расцвет модели с формантом *-i̯o*/*-i̯ā*, которая сама по себе восходит к более древнему периоду, объясняется более четкой морфологической характеристикой этого суффикса (мужской род—женский род), отсутствующей у более архаичных формантов, представленных к этому времени только в архаизмах. В семантическом отношении модель на *-i̯o*/*-i̯ā* представляет несравненно более выгодные возможности индивидуализации, в которой существует к этому временя, по-видимому, внутренняя потребность в системе протославянских терминов родства. Вместе с тем словообразовательную инновацию на *-i̯o*/*-i̯ā* связывает с архаической моделью на *-ter* (о которой ниже) такая устойчивая тенденция, как воспроизводство семантической и морфологической моделей в условиях противопоставленных отношений пар терминов[12]. Морфологическая регуляризация проявляется и во вторичном оформлении названий протослав. *gen-ā*, *snŭs-ā* (первое — из архаической нерегулярной основы, второе — из древней основы на *-o* с вероятным первоначальным собирательным значением ‘связь’).

Совокупность протославянских названий родства покрывается, по-видимому, судя по внешним данным, рядом архаичных производных от более древнего *k̂enə-* ‘родить’; более широкая общность обозначается как *su̯obho-*, местоименного происхождения; территориальный аспект представлен в *k̂eim-* : *k̂oim-ro-*. Активным и основным выразителем значения ‘родить’ является *k̂u̯el-*, судя по внутренним данным, ср. инновации в терминологии частей тела: протослав. *kelom-* ‘лоб’, *kolen-* ‘колено’, *keli̯-ousti-* ‘челюсть’; протобалт. *keljo-* ‘колено’. Названия частей тела от и.-е. *ĝenə-* все в протославянском ар-

[12] Тенденция постоянной инновации (обновления), идущей вместе с тем в русле сохранения относительной устойчивости характерных признаков, отмечается как свойственная ряду семантических полей (semantic areas) Э. Станкевичем на примере табу в терминологии родства: *E. Stankiewicz.* Slavic kinship terms and the perils of the soul // Journal of American Folklore. Vol. 71. № 280. 1958. P. 115.

хаичны. Об активности *k^uel-*, давшего, вероятно, и протославянское название рода, говорит и новообразование — мужской термин *keloųoįko-*, откуда праслав. *čelověkъ*. Эти же соображения подтверждаются сравнительным распределением производных от *ĝenə-* и *kųel-* в других индоевропейских диалектах.

Протослав. *otiko-*, давшее праслав. *otьcь*, едва ли функционирует как основной термин. Сравнение с внешними данными, а также ряд внутренних моментов — название отцовского дяди *ptruųįo*, особенно архаическое производное в болг. *паст(о)рок* 'отчим' (*pō- pətor-*) — говорят о том, что основным названием было протослав. *pter-*, более емкое по семантике, чем праслав. *otьcь*, современное рус. *отец*.

Этому состоянию предшествует стадия III:

pəter — māter / sūnus — dhughəter / bhrāter — sųesor / pətruųo- — aųįo- (aųo-) / neptįio- / man-, pot-, ųĭro- — gųen- (gųn-) / sųeƙro- — sųeƙru- / snuso-; ĝenəto- / daįųer, ĝelō(u)s, sįour-, enəter- (įenəter).

Это состояние тоже характеризуется четко выраженным проведением принципа морфологической регуляризации, однако распространение более пригодного для дифференциации мужских и женских названий форманта *-įo/-įā* гораздо у́же, чем на стадии IV, сама дифференциация двух одушевленных родов выражена слабо и непоследовательно, причем явно сказываются трудности преодолевания более древнего состояния. Функционирует главным образом основной морфологический выразитель противопоставления парных названий — элемент *-(t)er*, генетически восходящий к более древней эпохе. В древнейшей, по-видимому, паре этот элемент вторично обобщен обоими членами пары (*pəter — māter*), судя по возможности иного оформления одного из членов этой пары (*ma-įa*). Формант *-(t)er* функционирует как более или менее продуктивное средство морфологической регуляризации и формализации противопоставленности членов пары. Вместе с тем вполне очевидна характеристика этого форманта, послужившая причиной утраты им продуктивности на рассматривавшихся ранее последующих стадиях развития терминологии родственных отношений, когда в свою очередь продуктивным стал формант *-įo-/-įā*. Эта характеристика, носящая на себе печать глубокого архаизма, заключалась в том, что показатель *-(t)er* не выражал противоположения одного одушевленного рода другому (в отличие от более позднего *-įo-/-įā*) и генетически восходил к эпохе до дифференциации мужского и женского рода. Здесь можно упомянуть полезное наблюдение о функциональном и формальном сходстве имен на *-ter* со словами среднего рода (ср. отсутствие форм именительного падежа на *-s* у имен на *-ter* в индоевропейском [13]).

---

[13] См. *В. В. Иванов*. Тохарские языки и их значение для сравнительно-исторического исследования индоевропейских языков // Тохарские языки. М., 1959. С. 25.

Возвращаясь опять к взаимоотношениям названий родства на III стадии, отметим, что ряд привычных для нас звеньев родственной терминологии не заполнен, характеризуется архаическим отсутствием специальных терминов. Морфемы, которые позже выступят в функции этих последних, существуют пока в ранге второстепенных названий наряду с основными, которые в условиях отсутствия ряда позднейших противопоставлений характеризуются бóльшим семантическим наполнением, обозначают целые классы отношений. Так, положительно нельзя проследить древних названий деда, бабки, эта пара противопоставлений отсутствует, а сами отношения, как и отношения дядьев и теток, укладываются в более общее противопоставление типа ʻстарший мужчинаʼ — ʻстаршая женщинаʼ. В связи со сказанным выше отсутствуют обозначения внука. Словообразовательно-этимологические связи, очевидные для ряда названий, позволяют предполагать у последних характер новообразований, так что в принципе следует считаться с возможностью еще целого ряда «пустых мест» с точки зрения современной системы: ср. и.-е. **snusos* ʻсноха, жена сынаʼ в ряде индоевропейских диалектов при полном отсутствии в протобалтийском, где, например, лит. *marti* ʻсноха, невесткаʼ < *mar-ti̯a* < и.-е. *mer-/mor-* ʻмолодое существо, девушкаʼ, т. е. вскрывается практическое тождество с рядом внесистемных (относительно терминологии родства) обозначений молодого, маленького существа. Ср. также прозрачный производный характер *snusos* < *sneu̯-* ʻсвязыватьʼ.

На этой стадии, а также, видимо, и раньше основным термином для ʻродитьʼ является *ĝenə-*, а *ku̯el-* на этой древней стадии ведет себя как иной, технический термин — ʻвертетьʼ, ср. архаизм *kolo* / *koles-* (праславянская основа на согласный), лит. *kaklas* (*kal-kl-as*) ʻшеяʼ. Подавляющая масса названий частей тела образована от *ĝenə*, от него же образовано древнее *ĝenəs-* ʻродʼ. Само *ĝenə-* характеризуется довольно широким, синкретическим значением, вмещающим в себя и позднейшее узкое *ĝenə-* I ʻродитьʼ и вторичное *ĝenə-* II ʻзнатьʼ. Последнее подтверждается, как уже писалось ранее (Терм. род. С. 156—157), внутренними данными ряда индоевропейских диалектов; ср. контекст типа «знаю человека». Что касается понимания термина контекст, целесообразно предпринять некоторые уточнения, вызванные значительной экспансией и фактической расплывчатостью употребления этого термина. Понятие контекста весьма существенно для лексикологических дисциплин, судя по тому, что именно в последних оно приобретает новые автономные оттенки; ср. топонимический контекст, иными словами «совокупность топонимов (и гидронимов), характерная для данной территории». В конце концов и то, что не совсем точно определяется как словесный контекст (в работах по семантике и исследованиях лексико-семантических полей и систем), в действительности более подходит под описательное определение

как совокупность взаиморазличия и противопоставления слов одной системы, или поля. Для интересующей нас в настоящей статье проблематики удобнее более строгое понятие контекста как совокупности реального употребления слов, т. е. примерно такое, как его понимает Э. Бенвенист в своей известной статье о семантических проблемах реконструкции [14]. В данном случае контекст — это элементарное фразовое сочетание, как правило, «глагол + управляемое имя». Особенно поучительно исследование такого контекста для понимания эволюции употребления глагола, поэтому контекст — важный ресурс для новых, обоснованных глагольных этимологий, хотя, впрочем, и не только глагольных. Описанный контекст также допускает выделение архаистических и вторичных моментов словоупотребления. Так, к числу архаизмов было отнесено словоупотребление нем. *kenne den Menschen* (а не *weiss*..!), греч. γιγνώσκω τὸν ἄνδρα (а не οἶδα..!). То, что мы заговорили об эвристических возможностях, вытекающих из анализа контекста, об этимологии, отвлекшись от преимущественного аспекта одновременности, избранного нами здесь, может быть использовано как признак того, что мы вступили в область проблематики поля. Это морфосемантическое поле глагола *ĝenə-*.

II стадия: *pa-ter* — *ma-* / *sūnus* — *dhŭgha-* / *su̯es-* — *bhrā-*.

Обозначение родственных отношений носит еще более обобщенный, классифицирующий характер. Число системообразующих терминов, по-видимому, невелико. Морфемы, которым в будущем предстоит умножить число противопоставленных терминов и системообразующих названий, существуют в лучшем случае на положении второстепенных названий, а не в качестве терминов. Таковы *man-*, *u̯ĭro-*, которые лишь характеризуют качества мужчины и еще не включены в термины родства. Противопоставление *sūnus* — *dhŭgha-*, реквизированное из ряда обозначений физиологических свойств и возрастного различия, носит самый начальный характер. Основа *su̯es-* (откуда затем *su̯esor* и куда примыкают позже *su̯eƙro-*, *su̯eƙrū-*) еще может быть охарактеризована как употребимая с широким значением 'свой, родной', возможно, 'не подлежащий кровосмесительству'. Вместе с более молодым, по-видимому, *bhrā-* эта генетически местоименная основа дала одну из древнейших пар противопоставленных терминов. Основа позднейшего и.-е. *bhrāter* может быть определена как «первичная вокабула». «Первичная вокабула» (vocable primaire) введена в лингвистический обиход Бенвенистом [15] и обозначает слова, ограниченные одним языком или одной группой родственных языков, а также не поддающиеся анализу, не сводимые к более простому

[14] *E. Benveniste*. Problèmes sémantiques de la reconstruction // Linguistics Today. Word. Vol. 10. № 2—3. 1954.

[15] *E. Benveniste*. BSL. T. 52. 1956—1957. P. 60.

полнозначному элементу этого же периода языка или его предшествующего периода. Первичных вокабул, как отмечает Бенвенист, много в наиболее древних сферах индоевропейского словаря, таких, как термины родства, названия частей тела (названия языка, селезенки, последнее — с неуточненной формой). Другая группа «первичных вокабул» — это слова с установимой формой, но с явной аномалией структуры. Не следует думать, что приведенная выше весьма широкая характеристика целиком приложима к основе и.-е. *bhrāter*. Последнее послужило до известной степени лишь поводом для того, чтобы обратить внимание на плодотворное понятие «первичной вокабулы».

Пара терминов 'старший мужчина' — 'старшая женщина' имеет на II стадии вид *pa-ter* — *mā-*. Эта реконструкция имеет в виду начальный характер формализации противопоставления с помощью продуктивного с определенного времени форманта *-ter*. Некоторые фонетические моменты истории позднейших *pəter* — *māter* позволяют признать первичность такого оформления за *pa-ter*. Важно отметить, что различие мужского — женского рода на этой стадии еще не актуально и не выражено. Последняя черта в целом может быть признана как архаизм уже для этого раннего периода, связывающий его с еще более древним пластом. Вместе с тем эта стадия характеризовалась и новообразованиями, важнейшим из которых является *pa-ter*, а также, возможно, некоторые другие, построенные по тому же принципу. Намечается последовательное проведение аффиксации, характерной отныне для основных, системообразующих обозначений родства.

Наконец, I, древнейшая реконструируемая стадия развития системы родственных обозначений. Число установимых противопоставлений минимально. С уверенностью можно говорить в этом плане лишь о *pa-* 'старший мужчина рода' (возможно, наряду с *atta-*, *tata-*, *tet-*, *an-*, *nan-*) — *ma* 'старшая женщина рода' (возможно, наряду с *an*(*na*)). Принципиальное отличие I стадии, которое позволяет противопоставить ее всему позднейшему развитию терминологии родства, — это архаический способ словообразования — удвоение. Вся дальнейшая эволюция родственных обозначений в соответствии с духом индоевропейского морфологического развития в целом состоит в проведении морфологической регуляризации и аффиксации. Вместе с тем, подобно тому как новейшие исследования в области индоевропейской морфологии делают возможным снятие позднейших наслоений и парадигматической регуляризации с примитивной индоевропейской системы склонения с минимальным числом противопоставимых пар, точно так же возможности внешней и внутренней реконструкции в исключительно благоприятных условиях такой древнейшей лексической системы, как терминология родства, позволяют доходить в реконструкции до стадий, глубоко отличных качественно и архаичных по немногочисленности элементов и принципам их образования.

Я позволю себе еще задержаться на сравнении с реконструкцией в области морфологии и напомню соответствующее место в докладе В. В. Иванова на дискуссии 1957 г. о синхронии и диахронии: «Число единиц, которое можно обоснованно реконструировать для древнейшего (дофлективного) периода развития индоевропейского праязыка, сравнительно невелико ⟨...⟩ Чем дальше мы проникаем в глубь дописьменной истории языка, тем меньшее число элементов реконструируется и тем более обобщенной должна быть их характеристика. Но при этом сохраняется возможность реконструкции отношений между элементами» [16]. Вместе с тем, как справедливо указывается в названном докладе, «наибольшую трудность представляет правильное определение того, какие элементы могут быть сведены к одной хронологической плоскости» [17].

На I, древнейшей реконструируемой стадии развития терминов родства формальное выражение противопоставления отсутствует. В качестве современного этому состоянию следует допустить мощное проявление классификаторского принципа обозначения родства, синкретический характер терминов. Никаких оснований для постулирования примата мужского начала реконструкция системы родства не дает. Как недооцениваемый резерв внутренней реконструкции древнейшего состояния терминов родства могут быть использованы имеющиеся в каждом языке и консервируемые в благоприятных условиях так называемой «детской речи» названия вроде *папа*, *мама*, *тетя*. Тезис об архаичности этих последних обладает лишь кажущейся парадоксальностью. Справедливость его была доказана выше (см. содержание настоящей статьи). Далее подчеркнем то обстоятельство, что новообразования типа *pəter* пользовались в разных индоевропейских диалектах неодинаковым успехом. Так, древние индоевропейские языки Малой Азии оказались совершенно незатронутыми этой инновацией, и характерный для них тип родственных обозначений (*atta-*, *anna-*, *tata-*, *papa-*) представляет веское внешнее доказательство архаичности наших так называемых «детских слов». Образования *pəter*, по-видимому, никогда не знал также балтийский. И опять-таки мы видим, что подобно тому, как архаическая простота системы глагольных форм в хеттском позволяет «значительно сократить список мнимых утрат праславянского глагола» [18], простота и общий облик засвидетельствованных в письменности названий родства хеттского и близких ему архаических малоазиатских языков делают возможной иную характеристику «пустых мест» в системе

[16] *В. В. Иванов*. О методах изучения истории индоевропейского праязыка и его диалектов // Тезисы докладов на ... дискуссии о соотношении синхронного анализа и исторического исследования языка. М., 1957. С. 35.

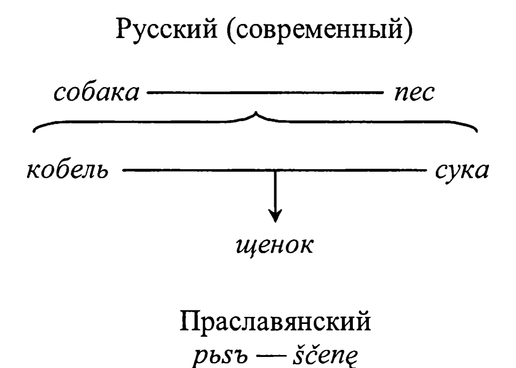
[17] *В. В. Иванов*. Указ. соч. С. 33.

[18] *В. Н. Топоров*. Некоторые соображения относительно изучения истории праславянского языка // Славянское языкознание. М., 1959. С. 13.

славянской и особенно — балтийской терминологии родства, позволяя констатировать в таких случаях для последних диалектное сохранение первоначальной простоты, вторично усложненной в большинстве других индоевропейских диалектов.

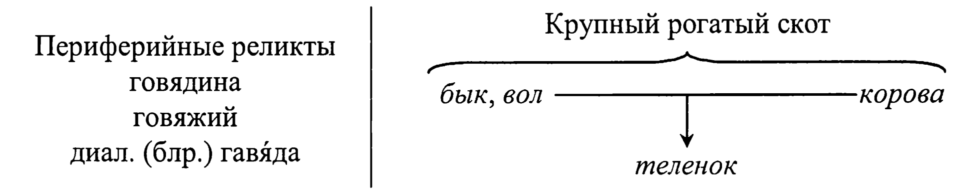
Такая тематическая группа словаря, как названия домашних животных, уже не может равняться с терминами родства по четкости взаимосвязей и эволюции элементов. Сама взаимосвязь названий уже менее соответствует понятию системы, противопоставления не пронизывают всю совокупность названий, которая, при наличии ряда общих семантико-морфологических черт, распадается на несколько более или менее замкнутых групп и семантических полей с отличающим их воспроизводством семантических моделей.

Наряду с сохранением архаизмов большое место занимают новообразования.

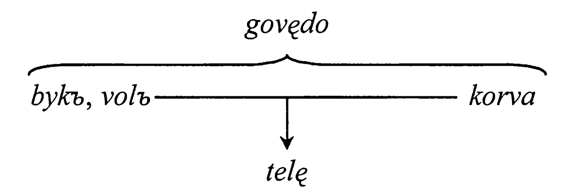


Характер поздней инновации отдельных славянских языков носит выдвижение термина для суки и в целом вышеупомянутое трехчленное отношение: мужской термин — женский термин — название молодого животного. Для праславянского реально восстановимо более простое, двухчленное противопоставление *pьsъ* — *ščenę*, при неактуальности женского термина. Но на этой и особенно на предшествующих стадиях обнаруживает себя как инновация слово *pьsъ*, о чем говорят, главным образом, внешние данные (< и.-е. *pik̑o-* 'пестрый'). Преемственные связи славянской терминологии собаки с и.-е. *k̑uon-*, по-видимому, отсутствуют. С другой стороны, инновации в этой небольшой системе отличаются стойким, однородным характером: постоянно воспроизводится семантическая модель «название по масти»; ср. такие разнородные этимологически слова, как *pьsъ*, *xъrtъ*, *кобель* (Дом. жив. С. 20 и след.). Значительным семантико-морфологическим компонентом, правда, главным образом, среди поздних, второстепенных названий, оказываются

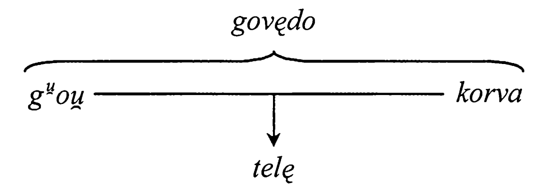
ономатопоэтические (сюда относятся многочисленные с основой *kut-* / *kuč-* / *kuc-*, праслав. *vyžьlъ* и др.).



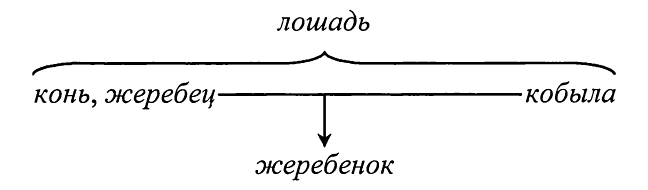
Фактическое отсутствие общего названия животного в современном русском, восполняемое искусственным словосочетанием *крупный рогатый скот*, следует расценивать как утрату. Внутренние данные (*говядина*) и сравнение с другими языками позволяют восстанавливать, наряду со второстепенными возрастными названиями, основные отношения в праславянском:



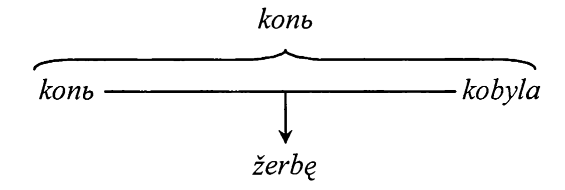
Собирательное значение праслав. *govędo* допустимо выделить как семантическую инновацию, которой предшествовало значение, близкое другим индоевропейским родственным формам, продолжающим *gu̯ou̯-* 'бык, корова' без четкой дифференциации. Праславянскую инновацию можно видеть и в словах *bykъ*, *volъ*, занявших место *gu̯ou̯-*, что привело ко взаимному ограничению функций и противопоставлению. Однако не исконно и более древнее (протославянское) трехчленное противопоставление:



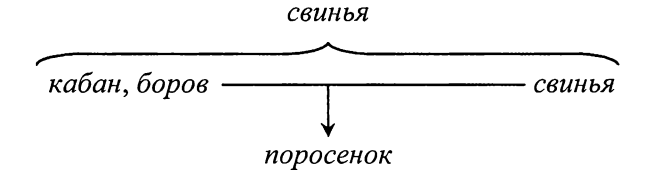
Реконструкция на основе показаний этимологии говорит об отсутствии к *gu̯ou̯-* в древности четкого полового значения. Резко очерченный семантически термин молочного хозяйства *koru̯ā*, без признаков эволюции значения внутри славянского, представляется инновацией путем заимствования (Дом. жив. С. 40—41). Наиболее древним и здесь является двухчленное противопоставление *gu̯ou̯-* — *telen-* (при второстепенных названиях разновидностей молодого животного от основ *pors-*, *port-*, *jun-*).



Эти отношения восходят к праславянским:

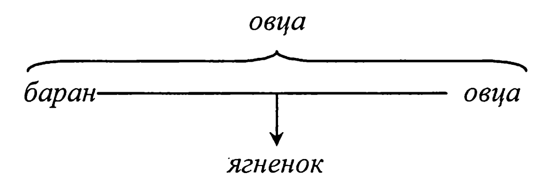


Трудность представляет характеристика всех названий взрослого животного: *konь*, *kobyla*. Праслав. *konь* может считаться первоначальным названием самца, жеребца, вторично обобщаемым в роли общего названия, которое практически отсутствует в языке. И *konь* и *kobyla* — праславянские инновации, причем для последнего допустимо принимать заимствование. Возможности внутренней реконструкции скудны, определенный интерес представляют контекстные различия, заставляющие отграничивать *konь* от *komonь*, слова различных сфер употребления и разного этимологического происхождения. Несомненными индоевропейскими соответствиями располагает лишь название молодой особи праслав. *žerbę*. Преемственная связь с индоевропейской номенклатурой у названия взрослого животного была нарушена, видимо, в результате семантико-морфологического сдвига, который привел к выработке четко противопоставленных мужского и женского терминов. Следовательно, после нарушения парного противопоставления названий взрослого и молодого животного (древнейший тип): *ek̑u̯o-* — *gu̯erbh-* → Ø — *žerben-*, освободившееся место (Ø) одного из членов противопоставления заняли новые термины.

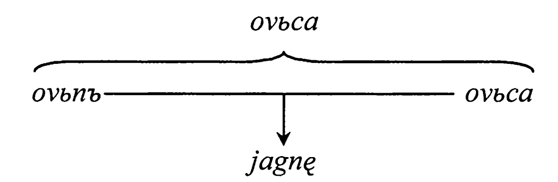


Внутренние данные говорят о вторичности образования с формантом -*ьja*, ср. прилагательное *свиной*. Вместе с тем вторичный формант придал слову вид и функции преимущественно женского термина. При древности специального узкого термина для кастрированного животного (*боров* и родственные) передвижение старого общего термина для животного в разряд

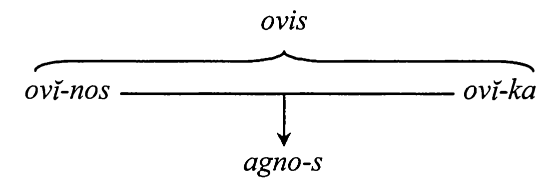
женских образований высвободило место для мужского названия. Все названия, заполнявшие это свободное место, являются новообразованиями, различными по происхождению. Среди них есть заимствования (*кабан*), новообразования и перемещенные слова (*kъrnorzъ*, *nerězьcь*, *veprь*, основы *kъrm-* и *kъl-* и др.). Новообразования в функции общего названия региональны (словац. *ošípaná* 'свинья', словен. *ščetinec* 'свинья'). Древнее противопоставление названий *su̯īno-* — *boru̯o-* для взрослых особей опять-таки вторично и носит более поздний характер в сравнении с древнейшей парой праслав. *svinъ* — *porsę* < и. -е. *su̯īno-* — *por̂ko-* 'взрослая свинья'— 'детеныш свиньи'.



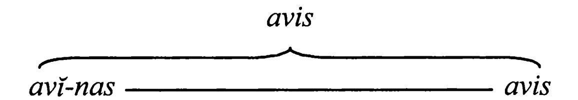
Распределение терминов для овцы в известном приближении напоминает взаимоотношения, только что рассмотренные выше. Это относится и к современному характеру связи названий, например в русском, который берется тут, как и в других случаях у нас, за отправной пункт для реконструкции; это также относится и к характеру и направлению сдвигов в отношениях между терминами в процессе их истории. Основное название взрослого самца в русском и некоторых других славянских (*баран* и родственные) заимствовано. Основным средством реконструкции более древних состояний является сравнение с внешними данными. В итоге получаем для праславянского:



Снятие вторичных проявлений экспансии образования с суффиксом приводит нас к более древнему, так сказать, протославянскому состоянию:

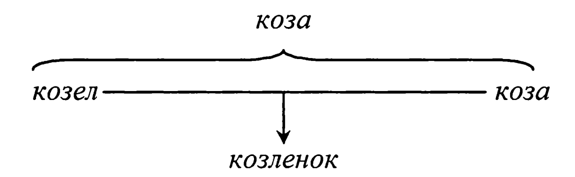


Это последнее поучительно сравнить с соотношением названий взрослого животного в балтийском:

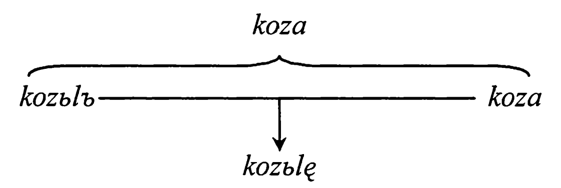


Все перераспределения в терминологии для взрослых животных, осуществляющиеся либо использованием продуктивных в праславянском словообразовательных моделей, либо путем заимствования иноязычных слов, могут быть сняты как вторичные. Мотивировку перераспределения названий взрослых (мужской и женской) особей нужно искать в тенденции к установлению новых четких терминологических отношений в плане морфологически выраженной родо-половой дифференциации. Остается древнейшая пара противопоставленных терминов *ovis* 'взрослая овца, баран' — *agno-* 'детеныш овцы'.

Современное отношение названий для козы:



— явно вторично, судя по красноречивому отсутствию супплетивности. Хотя их можно проецировать в праславянский период:



— наличие инновации здесь несомненно. Некоторые резервы реконструкции, выявляемые этимологией, позволяют выявить элементы старого состава: *azь*, *ži-* (< и.-е. *gheid-*, *ghaid-*). Засвидетельствованная система отношений названий этого животного в славянском представляет собой единственный случай в старой терминологии домашних животных, когда древнее противопоставление взрослого и молодого животного утрачено, уступило место поздним выравниваниям. В остальном это простейшее противопоставление проводится абсолютно и организует группу названий домашних животных по единому системному признаку, который в ряде случаев старше самого одомашнения: *pьsъ-* — *ščenę*; *gov-* — *telę*; *konь* — *žerbę*; *svinъ* — *porsę*; *ov-* — *agnę*. Сам тип противопоставления взрослое животное — молодое животное архаичен и весьма устойчив. Замечательной устойчивостью обладает его второй компонент — название молодое животное. Эти названия в славянском

9. Заказ № 2261.

характеризуются непрерывной преемственной связью с соответствующими морфемами дославянских периодов. Показателем стабильности основных названий молодых животных служит полное отсутствие среди них иноязычных заимствований. Первый член противопоставления, напротив, рано обнаружил тенденцию к делению и внутреннему перераспределению, реквизировавшему продуктивные словообразовательные модели или удобные иноязычные обозначения.

Наконец, такая интересная с различных точек зрения тематическая группа словаря, как названия каш, представляет собой типичный незамкнутый континуум, для которого вопрос о противопоставленных отношениях, точно так же, как и об организации по общему структурному признаку, не может ставиться. Проверка с различных сторон показала, что здесь мы имеем дело с тремя основными группами названий, которые были первоначально выделены по внелингвистическим признакам. Однако это разделение в общем совпало и с лингвистической характеристикой и с возможными хронологическими наблюдениями на основании последней, а следовательно, оно представляет интерес и для вопроса реконструкции в этом отделе словаря. Ограничив исходный материал в интересах цельности изложения только русскими названиями, получаем: 1. Каши из немолотых и нетолченых зерен: *каша*, *гуща*, *пшённая* (каша), *ягла*, *кулеш*, *кандёр*. 2. Каши из толченых зерен: *толокно*, *кисель*, *круп(е)ник*, *манная* (каша), *зобанец*. 3. Каши из молотых зерен, муки: *гамула*, *мудра*, *лемешка*, *жур*, *мамалыга*, *поливка*, *саламата*, *кулага*, *тюря*, *тетеря*, *веренина*, *заварушка*, *завара*, *разварка*, *пустовора*, *ерлы*, *моня*, *путря*, *тесто*, *мыльцы*, *абилиха*, *сыроежа*, *луда*, *дежень*, *дежня*, *поспа*, *заспинка*, *штейница*, *драчона*, *калина*, *рули*, *мурцовка*, *затерка*, *притирка*, *тертая* (каша), *крутень*, *муковня*, *мучница*, *солодуха*, *кваша*, *квашенина*, *кач*, *повалиха* и некоторые другие.

В известном смысле замкнутыми являются две первые группы, которые вместе с тем объединяют преимущественно старые названия, с архаичным словообразованием и фактами, не ясными в этимологическом отношении. Отглагольные образования здесь исключительно суффиксальны. Некоторые из них обнаруживают архаические особенности образований от нетематических глагольных основ, как, например, *pьšeno*, предполагающее исходное *pьx-en-* от **pьs-ti* при более поздних тематизированных отношениях *pьx-a-nъ*: *pьx-a-ti*. Ряд образований характеризует непродуктивность словообразовательных моделей, а также первичная номинация. Заимствования не существенны. Как праславянские могут быть реконструированы *kaša*, *gǫstja*, *pьšen-jagъl-*, *tolkъno*, *kyselь*, *krup*(*ьn*)-, *manьna*, *zoban-*. Правда, и здесь реконструкция группы словаря не идет глубже праславянского (в лучшем случае). Третья группа — классический пример незамкнутой совокупности, число элементов которой может расти до бесконечности. Подавляющее большинство

названий — образования поздней продуктивности, с наличием поздних деривационных признаков; отглагольно-префиксальные образования продуктивных и сейчас моделей, кроме того, значительное содержание метонимичных образований, наконец, эфемерных и иноязычных элементов. В этом смысле вся эта группа противостоит двум другим, названным выше. Праславянский слой, также присутствующий здесь, количественно невелик, кроме того, ряд реконструируемых элементов этого слоя уже выпадает из семантической сферы «мучная каша»: *polivъka*, *var-* / *vъrěn-*, *těsto*, *obil-*, *děžьnь*, *děžьna*, *sъp-*, *sъt-*, *tьr*(*t*)-, *mǫk-*, *soldu-*, *kvaša*.

О СОСТАВЕ ПРАСЛАВЯНСКОГО СЛОВАРЯ

(Проблемы и задачи)

Ряд соображений отчасти практического, а главным образом — теоретического характера заставляет нас уже сейчас обратиться к решению проблемы состава праславянского словаря, которая приобретает особую актуальность в связи с возможностью или даже более того — необходимостью по-новому рассматривать этот старый вопрос. Предлагаемый доклад подготовлен на основе пока еще небольшого опыта работы над новым «Этимологическим словарем славянских языков» в Институте русского языка Академии наук в Москве [1], а также некоторых предыдущих исследований [2], если иметь в виду только специальные работы о древнем славянском словаре как совокупности. Кроме того, постоянные занятия славянской этимологией приводили и приводят почти на каждом шагу к проблеме состава праславянского словаря. Они также в немалой степени вынудили нас определить свою позицию в вопросе состава праславянского словаря, сначала эмпирически, от этимологии к этимологии, а затем и в более общем плане.

Следовательно, обращение к названной теме при таких обстоятельствах, без сомнения, представляется естественным и закономерным. Однако нужно признать, что мы еще далеки от решения проблемы состава праславянского словаря, хотя бы в том объеме, в котором мы представляем ее себе сейчас.

---

[1] См. подробно: *О. Н. Трубачев*. Этимологический словарь славянских языков (Проспект. Пробные статьи). М., 1963, к которому отсылаем читателя, чтобы не повторять здесь положений этой работы. См. также нашу статью: О праславянских лексических диалектизмах серболужицкого // Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963.

[2] Ср., например, Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957, № 5.

Можно ожидать, что в ходе ближайших нескольких лет работы, с накоплением материала, усложнятся и наши представления о проблеме, несколько изменится и понимание наших задач, связанных с ее решением. Но сегодня на вопрос о том, как мы мыслим решение проблемы состава праславянского словаря, мы бы ответили следующим образом:

> полная инвентаризация живой лексики праславянского языка, выяснение соотношений общих и частных (региональных, диалектных) ее элементов; установление древних междиалектных изолекс и внешних (славянско-неславянских) изолекс и параллелизмов, новый полный лексический комментарий к праславянскому диалектному членению и описание праславянского словообразования на основе полного отобранного (реконструированного) праславянского лексического фонда.

Ясно, что для того, чтобы приблизиться к такому решению поставленной проблемы, необходимо прежде всего проделать всю работу по отбору праславянского словника нового «Этимологического словаря славянских языков», не говоря уже о надеждах на дальнейшее общее развитие славянской этимологии и пополнение литературы по этимологии, выход этимологических словарей отдельных славянских языков и т. д. Может создаться впечатление (и мы готовы допустить это), что решение проблемы состава праславянского словаря сейчас еще преждевременно. С большим основанием и во всей конкретности вопрос о решении проблемы будет поставлен на следующем, VI Международном съезде славистов. Мы позволили бы себе даже, пользуясь трибуной нашего съезда, сделать уже сейчас заявку на новый доклад для очередного съезда славистов, сформулировав его тему: «О составе праславянского словаря (проблемы и результаты)». Мы исходим из понимания того, что для удовлетворительного решения такой проблемы необходимы не только новые идеи, но и широкая фактическая база, а не выборочные данные, как это вынужденно представлено в нашем теперешнем докладе. Ниже излагаются отдельные предварительные фрагментарные наблюдения над уже собранным материалом по проблеме состава праславянского словаря, приводятся данные о взаимоотношении основных компонентов праславянского словаря — общеславянских и региональных (локальных) элементов — с более пристальным вниманием к этим последним, а не к повторяющемуся общеславянскому фону; наконец, предпринимается очень осторожная попытка обобщения цифровых данных по результатам подготовки праславянских словников, проведенной автором по некоторым славянским языкам.

Тем не менее, уже сейчас нельзя уклоняться от постановки проблемы в плане принципов и методологии, а также методики. Промедление здесь может сказаться на всем дальнейшем направлении хода работ в данной области

нашей науки. Из такого именно понимания задач исходят, кажется, и организаторы настоящего съезда, включившие, например, в число вопросов к V Международному съезду славистов следующий важный вопрос: *В какой мере и каким образом можно реконструировать лексический фонд праславянского языка? Каким путем следует решать вопрос лексических различий праславянского языка?*

Прежде чем углубиться в специальный вопрос о составе праславянского словаря, видимо, для существа дела будет полезно остановиться на некоторых типичных моментах, которые позволяют нам рассматривать проблему состава праславянского словаря как конкретный вариант более общей проблемы состава словаря [3].

Здесь можно отметить правомочность в принципе, по крайней мере, двух основных решений, подходов к проблеме состава словаря:

I. Предметно-семантический.

II. Структурно-генетический.

Название предметно-семантического подхода к проблеме состава словаря достаточно говорит само за себя, чтобы понять его как учение о сложной совокупности смысловых или предметных групп, образующих то, что мы называем словарем. Предметно-семантический подход составляет основу теории идеологической лексикографии, которая сейчас имеет уже значительные традиции и насчитывает ряд больших трудов как на материале отдельных современных языков, так и на материале целых групп языков. Назовем здесь такие имена как Дорнзайф, Касарес, Бак. Так, Ф. Дорнзайф [4] представил весь основной словарь немецкого языка в следующих 20 группах: 1) время; 2) пространство, положение, форма; 3) величина, масса, число, степень; 4) сущность, отношение, совершение; 5) видимость, свет, цвет, звук, температура, вес, состояния вещества, вкус; 6) неорганический мир, вещества; 7) органический мир, растения, животные, человек (физиология); 8) перемещение; 9) воля и действие; 10) чувственные восприятия; 11) чувства, аффекты, свойства характера; 12) мышление; 13) знак, сообщение, язык; 14) поэзия, письменность; 15) искусство; 16) общество и общность; 17) орудия, техника; 18) хозяйство; 19) мораль, право; 20) религия, сверхчувственные категории.

---

[3] Кстати о терминологии: русское языкознание не располагает такой удобной парой терминов, как Wortschatz — Wörterbuch, słownictwo — słownik, поэтому мы всецело возлагаем надежды только на то, что контекст наших рассуждений о праславянском словаре недвусмысленно указывает на употребление термина с л о в а р ь в значении 'Wortschatz, stownictwo', прибегая к недостаточным синонимам л е к с и к а и с л о в а р н ы й с о с т а в возможно реже. Омонимичность терминов с л о в а р ь I и с л о в а р ь II не всегда улавливают переводчики на западные языки.

[4] *F. Dornseiff.* Der deutsche Wortschatz nach Sachgruppen. 3. Aufl. Berlin, 1943.

Х. Касарес[5], работая над испанским материалом, предлагает следующий общий план идеологической классификации испанского словаря: бог, религия; вселенная: неорганический мир (материя и сила; география, астрономия, метеорология; геология, минералогия); органический мир; растительное царство: ботаника; животное царство: неразумные существа; зоология; человек; индивидуум (как живое существо — анатомия, физиология, медицина; питание, одежда, жилище; как разумное существо — чувствительность, разум, воля; чувствительность, смысл, чувства; априорное познание, понимание, мнение, суждение; существование, изменение; отношение, порядок, причинность; пространство; время; количество; пространство, форма, движение, положение; как деятель — поведение, действие); общество (общение, мысли и чувства — язык, искусство; общественные институты — государство, народ, нравы, право и правосудие, собственность, армия; промышленность и занятия — торговля, банк и биржа, сельское хозяйство, животноводство, средства сообщения, горное дело и металлургия, продовольственная промышленность, производства, связанные с одеждой и с жильем).

К. Д. Бак[6], обследуя уже целый ряд новых и древних индоевропейских языков, располагает лексический материал по такой семантической схеме: 1) физический мир в его наиболее крупных аспектах; 2) человечество: пол, возраст, семейное родство; 3) животные; 4) части тела; функции и свойства тела; 5) пища и питье: приготовление пищи и утварь; 6) одежда, украшения и уход за телом; 7) жилище, дом, утварь; 8) сельское хозяйство, растительность; 9) различные физические действия и действия, связанные со специальными искусствами и ремеслами, орудиями, материалами и продуктами; 10) движение, перемещение, средства сообщения, плавание; 11) владение, собственность и торговля; 12) пространственные отношения: место, форма, объем; 13) количество и число; 14) время; 15) чувственное восприятие; 16) душевное волнение (с некоторыми физическими проявлениями волнения); понятия, связанные с темпераментом, моралью и эстетикой; 17) душа, мысль; 18) произнесение звуков, речь; чтение и письмо; 19) территориальные, социальные и политические деления; общественные отношения; 20) военное дело; 21) закон; 22) религия и суеверие.

Наконец, Лер-Сплавинский и некоторые его ученики обращаются к предметно-семантической классификации словаря в плане несколько специальной задачи выделения праславянских пластов лексики некоторых современ-

---

[5] *J. Gasares*. Diccionario ideológico de la lengua española // Desde la idea a la palabra; desde la palabra a la idea. 2[nda] ed. Barcelona, 1959. P. XXXIV—XXXV.

[6] *C. D. Buck*. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages // A Contribution to the History of Ideas. Chicago, 1949.

ных славянских литературных языков. Отбираемую лексику (до 2000 единиц) они разносят по рубрикам следующей предметно-семантической схемы [7]:

А. Духовная жизнь человека: душевные эмоции и чувства; некоторые отвлеченные понятия; названия психических действий; психические свойства; психо-физические функции.

В. Мир и внешняя жизнь: земля и небо; растения и их части; животные, их тело и т. д.: a) млекопитающие, b) прочие животные, c) птицы, d) рыбы, e) тело животных, общие понятия, и т. д.; человек: a) общие понятия, b) человеческое тело, c) болезни, d) физические функции; семья. Общественная, религиозная, культурная жизнь; военная жизнь; названия народов; хозяйственная жизнь; пища, посуда; одежда и ее производство; названия физических действий; названия действий, звукоподражательные по происхождению; названия физических особенностей; прочее.

Изложение нескольких предметно-семантических классификаций словаря различных языков, на котором нам пришлось задержаться, имело смысл с разных точек зрения. Прежде всего, совершенно очевидно, что все эти классификации организованы по внеязыковому принципу и материала для суждений о составе словаря они непосредственно не дают. Дорнзайф, видимо, по-своему прав, осуждая алфавитный порядок расположения слов в словарях и выступая в поддержку порядка вещных групп. Он писал: «Таким образом, в практике подачи словаря господствует примерно такое же положение, как в городе, в котором бы население никогда не показывалось на улицах, а вызывалось бы для постороннего посетителя по книге жильцов поодиночке» [8]. Следовательно, по справедливому мнению автора, распространенный до сих пор порядок (буквенный алфавит) — чистая условность, лишенная опоры в языке. Но, предлагая группировку по значениям, предметно-смысловым разрядам, автор по сути дела подменяет один порядок другим, тоже условным порядком, базирующимся, главным образом, на внеязыковых критериях. Нетрудно, далее, заметить, что упомянутые выше классификации, примененные к весьма различным словарям, отличаются друг от друга в общем несущественно, произвольным размещением материала, формулировкой отдельных разрядов. Так, если мы исключим рубрики, наиболее ярко отражающие позднюю стадию цивилизации (банк, биржа и т. п.), то все по сути дела приведенные идеологические классификации словаря представляются близкими вариантами какой-то

---

[7] *T. Lehr-Spławiński.* Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie polskim // Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. T. II. Kraków, 1938. S. 469 и след.; *T. Z. Orłoś.* Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie czeskim // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 3. Warszawa, 1958. S. 267 и след.

[8] *F. Dornseiff.* Указ. словарь. S. 33.

одной классификации, более или менее пригодной для широкого круга языков; ср. хотя бы любопытные рассуждения Мошинского о словаре так называемых первобытных народов [9], который, вопреки устойчивым предрассудкам отдельных исследователей, всегда отражает не один только физический мир (орудия, одежда, полезные ископаемые, растения, животные, производственная деятельность), но также и абстрактные понятия (время, принадлежность, отношение, действие, жизнь, качества предметов, психические состояния).

Таким образом, если мы определим, с одной стороны, основную особенность сравниваемых идеологических классификаций как повторение существенных моментов схемы, а с другой стороны, отметим реальное глубокое своеобразие состава словаря каждого из двух (или более) языков, укладывающихся в одну и ту же идеологическую классификацию, то следует вывод о недостаточности предметно-семантического подхода к проблеме состава словаря для удовлетворительного решения этой проблемы. Мы склонны расценивать скорее отрицательно перспективы исследования нашей проблемы, которое велось бы исключительно или главным образом в предметно-семантическом плане.

Структурно-генетический подход к проблеме состава словаря основан на признании актуальности не семантического аспекта (смысловые группы слов), а аспекта морфемно-словообразовательных отношений внутри словаря языка и в его связях с другими родственными языками. Понятие семантической группы является центральным в исследовании, для которого анализ такой группы служит самоцелью. Напротив, в исследовании, изучающем состав словаря в его совокупности, понятие семантической группы, думается, не будет достаточно продуктивным, если иметь в виду ответ на вопрос о типичных особенностях состава данного словаря.

Для решения проблемы состава праславянского словаря исследователями накоплен значительный материал по идентификации, главным образом, инвентаря морфем и их родственных связей, охватывающих, как правило, все или большинство славянских языков и ряд других индоевропейских; такова сущность традиционной постановки вопроса. Современное исследование считает наиболее актуальным выявление этимологических соответствий и параллелей, представленных целыми словами в славянских и неславянских языках; выявление, далее, родственных форм и цельнолексемных соответствий, охватывающих часть славянских языков или один славянский язык и другие индоевропейские языки (проблема праславянских лексических диалектизмов и их удельного веса в общем лексическом составе праславянского,

---

[9] *K. Moszyński*. Słownictwo ludów tzw. prymitywnych // BPTJ. Zesz. XV. 1956. S. 93 и след., особенно — S. 103.

о чем специально будет сказано ниже); наконец, внутриславянская лексико-словообразовательная стратиграфия и изолексы — это также почти совсем неразработанный участок проблематики состава праславянского словаря.

К решению вопроса о типичных особенностях состава словаря интересно подойти в плане рассмотрения структуры словообразовательной модели, ее селективных признаков, если позволительно будет так назвать осуществление в конкретной словообразовательной модели сочетания данного корня именно с данным аффиксом при теоретически возможной широте выбора любой другой из определенного круга морфем. Значение внеславянских соответствий целых лексем при этом, естественно, особенно возрастает, представляя некоторые внешние ресурсы определения возраста того или иного сочетания морфем. Систематическая работа в этом направлении, как кажется, еще не начиналась. Интересы этимологии до сих пор направлялись обычно по другому пути, были обращены на иные объекты. Красноречивое подтверждение сказанному находим почти на каждой странице многих этимологических словарей, в которых наиболее точные и полные соответствия и параллелизмы погребены в недрах гнездовых статей. В жертву искусственному принципу расположения материала, искажающему реальную ситуацию и создающему подчас неверное представление о действительном соотношении и степени самостоятельности отдельных словообразовательных моделей, до сих пор на каждом шагу приносились ценнейшие факты. Регулярный учет этих фактов, конкретных словообразовательных моделей, целых лексем должен стать основной функцией этимологии. С этим связано понятное предпочтение одноморфемному соответствию двухморфемного соответствия (обычно «корень + аффикс», реже — «корень + корень», еще реже — «корень + корень + аффикс»), что увеличило бы достоверность результатов этимологического анализа. Двухморфемное соответствие, которое должно стать основным понятием этимологии, придаст последней принципиально новое качество. Разумеется, архаические корни-основы представляют определенное исключение в силу своего своеобразия, но огромное большинство индоевропейских слов вполне подходит под дихотомическое определение корня, оформленного аффиксом, и должно поэтому этимологизироваться в соответствии с этим свойством. В этимологии обычно недооценивается именно сочетаемость различных морфем, их «избирательное сродство» (Wahlverwandtschaft) друг с другом. Между тем глубокий интерес представляют как древность селективной характеристики, так и значительные проявления параллельного развития с тождественным результатом. И в том и в другом случае многое пока остается нераскрытым даже в материале, уже добытом этимологическим исследованием. Было бы желательно, чтобы этимологи систематически обращались к решению этих задач.

При рассмотрении вопроса о составе праславянского словаря разграничение элементов исконно славянских и заимствованных (само по себе важное) может иметь, как нам кажется, лишь ограниченную актуальность (кроме таких ярких включений, как германизмы), так как для ранних стадий провести серьезное различие между исконной и заимствованной лексикой очень трудно (ср. противоположные мнения о родстве праслав. **rǫka* и балт. **rankā* и о заимствовании праславянского слова из балтийского). Конечно, исследователь проблемы состава праславянского словаря не может пройти мимо того факта, что большая часть славянской лексики носит исконный индоевропейский характер, как и в балтийском, в отличие от армянского, албанского, греческого, германского; число древних заимствовании относительно невелико (особенно если учесть, что гипотеза Махека о «праевропейских» элементах в составе славянского словаря не опирается на надежный материал). В остальном для нас важнее и практически удобнее довольствоваться констатацией праславянского характера слова.

Вместе с тем имело бы смысл предпринять в плане исследования проблемы состава праславянского словаря пересмотр некоторых генетических и смежных аспектов, ограничиваясь в отдельных случаях пока постановкой вопроса, а в иных, наиболее благоприятных, решаясь и на более коренную перестройку. Основной компонент состава праславянского словаря восходит к лексике ряда различных, хотя и близких индоевропейских диалектов. В принципе ничто не мешает нам сделать вывод, что между отдельными индоевропейскими диалектами, консолидировавшимися позднее в праславянский, было различие, как между протобалтийскими и протославянскими (в собственном смысле) диалектами. Постепенно накапливается новый материал для пересмотра учения о балто-славянских связях в словаре, причем намечаются уточнения по двум основным линиям: 1) конкретизация аспектов (не вообще балто-славянские отношения и изолексы, а балто-южнославянские, восточнобалтийско-болгарские, балтийско-лужицкие, балтийско-украинско-белорусские и т. п.); 2) пересмотр тезиса об абсолютном превосходстве балто-славянских связей во всех сферах словаря (попытка показать фактически иную ориентацию праславянского словаря была нами предпринята на анализе материала ремесленной терминологии).

В тесной связи с вышесказанным находится проблема общей ориентации состава праславянского словаря. Напомним положение Мейе: «Индоевропейский словарь славянских языков ярче, чем словарь балтийских языков, свидетельствует о его родстве со словарем восточных диалектов» [10]. Однако некоторые новые наблюдения и систематически выявляемые новые факты упол-

[10] *А. Мейе*. Общеславянский язык. М., 1951. С. 405.

номочивают нас к пересмотру этого тезиса о восточной ориентации как слишком категорического и во всяком случае преждевременного (ср. наши наблюдения о почти троекратном превышении германско-славянских связей над балто-славянскими в старой текстильной и смежной терминологии). Что касается мнения о западной ориентации балтийского, то тут можно сослаться опять-таки на целый пласт иранско-балтийских словарных параллелей, игнорировавшихся до недавнего времени, весьма внушительных количественно и подкрепляемых иранско-балтийскими соприкосновениями в топонимии [11].

Основным правилом при структурно-генетическом подходе к проблеме состава праславянского словаря является, таким образом, выдвижение на первый план формально-словообразовательного и пространственного критериев.

Предметно-семантический подход сохраняет свое подчиненное значение ввиду связи с культурным фоном, а также ввиду обязательности учета последнего при исследовании лексики. Практически на данном этапе наиболее целесообразны и удобны промежуточные решения проблемы состава словаря; компромисс такого рода между предметно-семантическим и структурно-генетическим подходами вызван сохраняющейся пока недостаточностью материалов, на которые можно бы было опереться в более последовательном осуществлении второго из этих подходов. Что касается самих монографических исследований предметно-семантических групп лексики, то их можно было бы также полнее использовать в наших интересах и поставить на службу проблематике состава словаря как совокупности. Здесь можно упомянуть о перспективе изучения чисто языковых, морфемно-словообразовательных отношений через призму предметно-семантической группы, ср. отчасти уже упоминавшиеся балто-славянские, славяно-германские, славяно-италийские и другие отношения в свете результатов изучения старой текстильной терминологии в славянском и родственных диалектах; попытки реконструкции древних состояний лексики и словообразования [12]. Вместе с тем, сознавая слабости предметно-семантического подхода как некоей повторяющейся внеязыковой схемы (в плане исследования всего словаря как совокупности), незначительно варьирующей от языка к языку, нужно уже сейчас искать пути постепенного их преодоления.

Одним из таких путей может быть, как это следует из предыдущих рассуждений, более широкое допущение вопросов словообразования в пробле-

---

[11] Ср. перечень и характеристику соответствующего апеллативного и топонимического материала в кн.: *В. Н. Топоров*, *О. Н. Трубачев*. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья. М., 1962. С. 231.

[12] См. наши работы: Формирование древнейшей ремесленной терминологии в славянском и некоторых других индоевропейских диалектах // Этимология. Вып. 1 М., 1963. С. 14—51; К вопросу о реконструкции различных систем лексики // Лексикографический сборник. Вып. VI. М., 1963. С. 3—16.

матику исследования состава праславянского словаря и вообще — в проблематику состава словаря группы родственных диалектов. Исследование словообразовательно-лексического состава должно вестись по линии выявления архаизмов и новообразований. Наряду с совершенно изолированными случаями того и другого речь идет о каких-то общих инновациях или архаизмах, что дает нам право говорить уже об изоглоссах (изолексах). Общие ранние инновации, как справедливо полагают, — наиболее ценный и показательный материал, однако следовало бы воздержаться от недооценки архаизмов, особенно общих. В конце концов и в том и в другом случае мы можем говорить о возможности независимого параллельного развития. Есть также примеры, характеристика которых как архаизмов или инноваций вообще сопряжена со значительными трудностями. Немалая часть приводимых соответствий теоретически может быть отнесена к числу проявлений параллелизма.

Дальнейшее исследование состава праславянского словаря следует понимать в основном как работу с изоглоссами (изолексами), общими словообразовательно-лексическими особенностями, соединяющими или разъединяющими отдельные группы славянских и неславянских диалектов. Границы между языками, например, между исторически сложившимися славянскими языками, современное классификационное деление славянских языков не обладают достаточным авторитетом в глазах исследователя проблемы состава праславянского словаря. Триумфом исследования состава праславянского словаря следует считать выявление в словаре следов группировок и связей, предшествующих по следующей конвергенции и консолидации в существующие славянские языки. Наиболее оправданно и осторожно было бы пользоваться таким более конкретным и ограниченным понятием как «словарь диалекта», и поэтому определение каких-то изолекс как украинских и белорусских и т. п. следует принимать снисходительно, как неизбежный компромисс. Внутриславянские изолексы носят весьма сложный характер и представляют для нас не меньшую ценность, чем славянско-неславянские. Основное положение, из которого важно исходить, изучая проблему состава праславянского словаря, — это автономность праславянских состояний лексики славянских диалектов (языков), на что мы уже указывали в одной из работ.

Главная практическая задача — всесторонняя разработка изолекс разного рода во всех возможных аспектах. Выше уже указывалось на необходимость дальнейшей детализации балто-славянских, славяно-германских лексических отношений и изоглосс. Теоретически материал славянско-неславянских лексических отношений нуждается в систематическом пересмотре с точки зрения каждого отдельного славянского и каждого неславянского языка. В результате следует ожидать накопления большого количества цельнолексемных

соответствий и параллелизмов. Характер славянско-неславянских лексических соответствий оказывается различным: а) спорадические изолексы (словацко-латышские, серболужицко-литовские, латышские); б) массовые изолексы, пучки изолекс (южнославянские, болгарско-балтийские).

Между славянско-неславянскими и внутриславянскими изолексами, по-видимому, нет принципиального различия. И здесь в ряде случаев получатся красноречивые пучки изолекс, а остальные случаи представят единичные, спорадические или второстепенные сходства в лексике, слабо выделяющиеся на фоне словаря, общего для всех славянских языков. Наиболее показательны, разумеется, будут пучки, группы изолекс. Так, самая предварительная проверка обнаруживает ряд выразительных белорусско-сербско-хорватско-словенских, украинско-белорусско-словенско-сербско-хорватских, украинско-белорусских, серболужицко-сербско-хорватских, серболужицко-украинско-белорусских изолекс. Можно предполагать, напротив, отсутствие столь же заметных серболужицко-великорусских, болгарско-украинских изолекс.

Общее замечание, которым целесообразно руководствоваться при отборе изолекс: необходимо наиболее полно описывать не монолитный фон, а более изолированные явления. Это правило хорошо известно из практики внутренней реконструкции. Отбираемые таким образом факты словаря и словообразования, несмотря на свою обычно небольшую численность и кажущуюся случайность, обладают определенной доказательной силой.

Итак, мы подошли к кардинальной проблеме соотношения общих и частных (диалектных, региональных) элементов в составе праславянского словаря. Одним из наиболее актуальных в проблематике состава праславянского словаря является понятие диалектного праславянского лексического элемента. Это понятия выдвигалось нами в статье о проблематике этимологических словарей, где специально обсуждаются «древние диалектизмы, не имеющие других славянских соответствий, но зато располагающие вероятными соответствиями в других индоевропейских языках»[13]. Там же приводится ряд примеров таких лексических диалектизмов из различных славянских языков. Мысль о важности праславянских лексических диалектизмов в составе праславянского словаря находит поддержку у некоторых ученых. Очень внимательно отнесся к ней безвременно скончавшийся И. Попович[14], широко применивший понятие праславянского лексического диалектизма на сербско-хор-

---

[13] *О. Н. Трубачев.* Принципы построения этимологических словарей славянских языков // ВЯ. 1957, № 5. С. 69.

[14] *I. Popović.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 5—6, 16—17, 25—28, 342, 522, 537—541, 544—547; *I. Popović.* Les noms slaves de 'printemps' // Annali del Istituto universitario orientale. Sezione linguistica. I. Roma, 1959. P. 185.

ватском материале. Конечно, и здесь изредка приходится встречаться с неполнотой материала изолекс, но в этом виноват не столько Попович, сколько общее отставание данной области славянского языкознания. Так, исключительную, по мнению этого автора, словенско-чакавско-чешскую изоглоссу — словен. *golec* 'юноша', *golica* 'девушка', чак. *golcina* 'парень', *golica*, *golicina* 'девушка', чеш. *holec*, *holka* — «sonst unbekannt» [15] — мы могли бы пополнить русским просторечным словом *оголец* (все вместе — из праслав. **golьcь*).

Для нас представляет глубокий интерес то место книги Поповича, где он предварительно определяет количество праславянских слов в сербско-хорватском языке (общеславянские элементы, древние южнославянские, западно-южнославянские регионализмы, исключительно сербско-хорватские праславянские лексические диалектизмы в общенародном языке и говорах): «Можно предположить для них количество в 4000—5000 слов. Это должны показать будущие исследования» [16]. Отметим, что наши картотеки праславянских словников (индексов) для отдельных славянских языков дают в среднем 5000 праславянских слов в каждом славянском языке.

Работу с изолексами осложняет трудность хронологизации изолекс и их географической проекции, что побудило нас проявить крайнюю сдержанность в выводах о членении праславянского, простительную, впрочем, в этом предварительном докладе, не опирающемся еще на полный материал.

Иллюстративный материал, обработанный для настоящего доклада, мы предлагаем в виде нескольких неравноценных фрагментарных эпизодов праславянских лексических отношений: 1) праславянские диалектизмы русского словаря; 2) характеристика праславянских лексических архаизмов и изоглосс в белорусском; 3) праславянские лексические диалектизмы нижнелужицкого; 4) изолексы словенско-сербско-хорватско-украинско-белорусские, нижнелужицко-украинские (белорусские), лужицко-сербско-хорватские; 5) балто-славянские изолексы (состояние вопроса); 6) возможные выводы о диалектном членении праславянского языка.

1. Праславянские диалектизмы русского словаря

Приводимый ниже перечень носит предварительный характер и, разумеется, не полон; он представляет собой первую пробу, причем почти исключительно из случаев этимологического характера, в то время как словообразовательные диалектизмы и материалы для внутриславянских изолекс такого рода здесь почти не представлены. Основным источником нашего списка по-

[15] *I. Popović*. Geschichte der serbokroatischen Sprache. S. 33.
[16] Там же. S. 522.

служила выборка из «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, за исключением отдельных случаев, почерпнутых из собственных этимологических наблюдений. Следовательно, почти весь перечень в несколько десятков слов отражает известные из литературы существующие этимологии. Он достаточно внушителен, чтобы показать ошибочность удерживающегося до сих пор мнения об однородности словаря восточнославянских языков. Правда, и в нашем списке даются отдельные интересные слова, имеющие соответствия в украинском и белорусском, но их меньшинство; праславянские лексические диалектизмы и изолексы, например, в белорусском имеют другой состав. Вначале каждый раз приводится реконструированная праславянская форма, затем краткие сведения о слове; ссылки на Фасмера приводятся по немецкому изданию.

1. **olyni?* — диал. (владим., костромск.) *алынья* 'корова', ср. кимр. *elain* 'оленья самка' из **el-n̥nī*; Ильинский (см. ВЯ. 1957, № 6. С. 93).

2. **bagatьje* — диал. *багáтье* 'огонь, тлеющий под золой', укр. *багáття*, блр. *багáцце* то же, ср. греч. φώγω 'жарю', др.-в.-нем. *bahhan* 'печь'; Фасмер I, 36.

3. **bagъrъ* — *багóр*, укр. *багóр* 'обод колеса'; неясно, ср. англосакс. *becca* 'мотыка', ср.-в.-нем. *bicke*; Фасмер I, 37.

4. **buga* — диал. *бýга* 'низкий берег реки, кустарник в пойме', ср. лтш. *bauga* 'болотистое место у реки'; Фасмер I, 134.

5. **bugъrъ* — *бугóр*, ср. лтш. *baugurs* 'холм'; Фасмер I, 134.

6. **vadьnь* — диал. *вадéнь* 'овод, слепень', блр. *вадзéнь* то же, ср. лит. *úodas* 'комар'; Фасмер I, 163.

7. **vaznь* — др.-рус. *вазнь* 'счастье, удача'; Фасмер I, 164.

8. **vebьlica*, **vebьlъ* — диал. *вéблица* 'червь', ср. др.-в.-нем. *wibil* 'червь, жук'; Фасмер I, 176.

9. **vьrmьje*, **vьrmъ* — др.-рус. *вермие* 'черви, саранча', ср. лат. *vermis* 'червь' и др.; Фасмер I, 189.

10. **vьrpǫ*, **vьrpti* — др.-рус. *верпу* 'рву, граблю', ср. лит. *ver̃pti* 'прясть'; Фасмер I, 189.

11. **vetьla* — *ветлá*, укр. *ветлинá*, ср. лтш. *vîtuôls* 'ива'; Фасмер I, 194.

12. **vьlmina*, **vьlmъ* — др.-рус. *волмина* 'название дерева'.

13. **vorba*, **vorbъ* — диал. *ворóба* 'вид циркуля', *ворóбы* (мн.) 'приспособление для размотки пряжи', *вóроб* 'мотовило', ср. др.-в.-нем. *warf* 'основа ткани'; Фасмер I, 227.

14. **galъka*, **gala* — диал. *гáлка* 'горящая головня', ср. ср.-в.-нем. *galm* 'пар, чад'; Фасмер I, 255.

15. **glipati* — диал. *глúпать* 'глядеть, озираться', укр. *глúпати* 'мигать'; Фасмер I, 274.

16. **gluda* — диал. *глýда* 'глыба, ком', ср. ср.-в.-нем. *klôȥ* 'глыба, ком'; Фасмер I, 276.

17. **gludъkъjь* — диал. *глудкий* 'гладкий, скользкий', ср. лит. *glaudùs* 'гладкий, прилегающий'; Фасмер I, 276.

18. **gluzdъ* — диал. *глузд* 'разум, ум, память', укр. *глузд* то же, блр. *глузды́* (мн.) 'мозг', ср. др.-исл. *glǫggr* 'умный, ясный'; Фасмер I, 276.

19. **glyba* — *глы́ба*, укр. *гли́ба*, ср. лат. *glēba* 'ком, глыба земли'; Фасмер I, 277.

20. **dorbъ* — диал. *дóроб* 'короб, сито', блр. *дóроб* 'короб', укр. *доробáйло* 'сито', ср. др.-инд. *darbhá* 'пучок травы'; Фасмер I, 363.

21. **dukъ* — диал. *дук* 'ямка при игре в клюшки, в которую нужно загонять шар'; неясно; Фасмер I, 379.

22. **durьnъjь*, **durь* — *дурнóй*, *дурь*, укр. *дурни́й*, блр. *дурны́*; Фасмер I, 382.

23. **ědmę* — диал. *éмины* (мн.) 'харч, пища, особенно хлеб, оставляемый для домашнего запасу, не продажный', ст.-рус. *емена*, блр. *éме* (ср.) 'съестное', *éмiна* (ж.) 'продовольствие, харчи', *éмя* (ср.) 'предназначенное в пищу', ср. лит. *ėdmenẽ* 'съестное', лтш. *ę̄dmanis*, *ēdminis*, *ēdmenis*, др.-инд. *ádma* ср. 'пища'; Этимологический словарь славянских языков. Проспект 50—51.

24. **jьršь?* — *ёрш*, ср. лит. *erškẽtis* 'терновник', лтш. *ẽršķis*; Фасмер I, 404.

25. **ženь* / *žьnь?* — диал. *жень* 'бортнические ремни для лазания', ср. лит. *genỹs*, *geinỹs* то же; Фасмер I, 419.

26. **žьrstva* — диал. *жерст(в)а* 'щебень', укр. *жорствá*, блр. *жерствá*, ср. авест. *zarstva-* 'камень'; Фасмер I, 421.

27. **žuda*, **žudь* — диал. *жудá*, *жуть*, блр. *жуда*, ср. лит. *žudýti* 'убивать', англосакс. *gietan* то же; Фасмер I, 430—431.

28. **zordъ* — диал. *зарóд*, *зорóд*, *озорóд* 'огороженное место для стога', блр. *азарóд*, ср. лит. *žárdas* 'приспособление для сушки снопов'; Фасмер I, 461.

29. **zatějati*, **zatěvati* — *затéять*, *затевáть*, блр. *зацéяць*, *зацевáць*, укр. *витiвáти*, ср. лтш. *tievêt* 'стремиться к чему-либо'; Фасмер I, 445.

30. **zudъ*, **zuděti* — *зуд*, *зудéть*, ср. лит. *žaudus* 'раздражительный'; Фасмер I, 464.

31. **kyšěti* / **kyšati?* — *кишéть*, укр. *кишíти*, блр. *кiшáць* то же, ср. лит. *kušė́ti* 'шевелиться'; Фасмер I, 564.

32. **klekъ* — диал. *клёк* 'лягушачья икра', *клёкнуть*, ср. лит. *klèkti* 'густеть'; Фасмер I, 567.

33. **klypati* — диал. *клыпáть* 'хромать', ср. лит. *klùpti* 'спотыкаться', *klū́poti* 'стоять на коленях'; Фасмер I, 574.

34. **komьlь* — *кóмель*, ср. лит. *kamíenas* 'ствол, комель'; Фасмер I, 607.

35. **kъrzina*, **kъrza* — *корзи́на*, укр. *корзи́на*, ср. лтш. *kur̃za* 'кузовок для ягод, корзина'; Фасмер I, 626.

36. **kormyslo* — *коромысло*, укр. *корóмисло*, блр. *карóмісел*; неясно, Фасмер I, 631.

37. **korь* — *корь* 'моль', ср. греч. κόρις 'клоп'; Фасмер I, 639.

38. **kustъ* — *куст*, укр. *куст*, *кущ*, блр. *куст*, ср. лит. *kúokštas* 'куст'; Фасмер I, 704.

39. **lezo*, **lezvo*, **lezvьje* — *лéзвие*, укр. *лéзо*, *лéзво*, блр. *лéзіва*; неясно, Фасмер II, 26.

40. **lěkъ* — рус.-цслав. **лѣкъ** 'остаток', ср. лит. *ãtlaikas* то же; Фасмер II, 27.

41. **lepestъ* — *лепест(ок)*, ср. греч. λέπος 'кора'; Фасмер II, 32.

42. **lětь* — *леть* 'течка', укр. *літь*, *лíтити* 'оплодотворять', ср. ср.-ирл. *láth* 'течка'; Фасмер II, 36.

43. **libiti* — *лúбить* 'ловить (раков на приманку)', блр. *лíбіць* то же; Фасмер II, 39.

44. **ligoziti?* / **ligati* — диал. *лигозить* 'путать нити при тканье', укр. *полúгатися* 'связываться', *налúгати*, ср. лат. *ligāre* 'связывать'; Фасмер II, 40.

45. **luna* — диал. *луна́* 'смерть', блр. *лу́нуць* 'погибнуть', ср. лит. *lavónas* 'труп', *liáutis* 'перестать'; Фасмер II, 69.

46. **mězgyrь* / **mozgarь* — диал. *мизгúрь* 'паук', *мазгáрь* то же, ср. лит. *mezgù*, *mègsti* 'вязать', др.-в.-нем. *masca* 'петля'; Фасмер II, 133.

47. **mьšelъ* — др.-рус. *мьшелъ* 'стяжание', ср. др.-инд. *miṣam* 'обман'; Фасмер II, 182.

48. **evinъ* — *овúн*, ср. лит. *jáuja* 'амбар, сушилка', авест. *yəvīn-* 'хлебное поле'; Фасмер II, 249.

49. **o(b)sverъ*, **sverъ* — диал. *освéр*, *освúр* 'рычаг', ср. лит. *svérti* 'взвешивать', *svãras* 'гиря, весы'; Фасмер II, 280.

50. **plenь* / **plěnь* — диал. *плень* 'гниль', ср. лит. *plė̃nys* (мн.) 'пепел, зола'; Фасмер II, 369.

51. **pъlba* — *пóлба*, ср. греч. πολφός 'лапша'; Фасмер II, 391.

52. **prijutъ* / **prijǫtъ?* — *прию́т*, ср. лтш. *jùmts*, *jumta* 'крыша', *pa-jumte* 'приют'; Фасмер II, 436.

53. **ružь*, **ruža* — диал. *ружь* 'наружность', *ру́жа* то же, ср. лтш. *raũgs* 'глазное яблоко, зрачок', греч. ῥουγός πρόσωπον; Фасмер II, 545.

54. **svigati* — диал. *свигáть* 'гоняться, спешить, бегать', ср. лит. *svaĩgti* 'испытывать головокружение', англосакс. *swîcan* 'странствовать'; Фасмер II, 592.

55. **spina* — *спинá*, укр. *спинá*, ср. лат. *spīna* 'шип, хребет', лтш. *spina* 'прут'; Фасмер II, 708.

56. **ugr'umъjь*, **gr'umъ* — *угрю́мый*, ср. нем. *grauen* 'вселять страх'; Фасмер III, 172.

57. **uditi* / **uděti* — диал. *у́дить* 'зреть, наливаться' (о зерне), ср. и.-е. название вымени; Фасмер III, 174.

58. **uslo* — диал. *усло́* 'начатая ткань', ср. лит. *áudžiu*, *áusti* 'ткать', др.-инд. *ṓtum* то же; Фасмер III, 190—191.

59. **utrinъ* — рус.-цслав. **утринъ, утрьнъ** 'полотняный', ср. др.-инд. *ṓtum* 'ткать'; Фасмер III, 194.

60. **ušь* — др.-рус. *ушь* 'чертополох', ср. лит. *usnìs* 'чертополох'; Фасмер III, 198.

61. **ujǫtъ* — *ую́т*, *ую́тный*, см. *приют*, *ютить*; Фасмер III, 198.

62. **xmyliti*, **xmyľati* — диал. *хмы́лить*, *ухмыля́ться*, ср. ср.-в.-нем. *smielen* 'улыбаться'; Фасмер III, 252.

63. **čьrvъ* — диал. *черв* 'серп', ср. лит. *kir̃vis*, лтш. *cirvis* 'топор'; Фасмер III, 317.

64. **šeludь* / **šelǫdь?* — *шёлуди* (мн.), *шелуди́вый*, укр. *шо́луді* (мн.), блр. *шо́лудзі* (мн.); Фасмер III, 388.

65. **šьstъ* — *шест*, ср. лит. *šíekštas* 'выкорчеванный ствол, колода'; Фасмер III, 394.

66. **šustrъjь* — *шу́стрый*, ср. лит. *siuntù*, *siùsti* 'сходить с ума', *siaũsti* 'буйствовать'; Фасмер III, 439.

67. **ščelokъ?* — *щёлок*, ср. др.-исл. *skola* 'полоскать, стирать'; Фасмер III, 447.

68. **ščьlbъ* — диал. *щоло́б* 'красная глина', укр. *щовб* 'крутая вершина, утес', ср. др.-исл. *skjǫlf* 'возвышенность, мель', англ. *shelf* 'полка, мель'; Фасмер III, 453.

60. **jǫtiti* — *юти́ть*, Фасмер III, 474.

70. **jag(ъ)lъjь*, **jag(ъ)liti* — диал. *я́глый* 'ярый, усердный, быстрый', *я́глить* 'сильно желать, стремиться', блр. *я́гліць* 'горячо желать, донимать просьбами', ср. лит. *jėgà* 'сила', греч. ἥβη 'крепкий возраст, юность'; Фасмер III, 480.

Праславянский словник для русского языка, составляемый В. А. Меркуловой (ИРЯ АН СССР), содержит свыше 5000 слов; несколько десятков праславянских лексических диалектизмов в русском словаре, перечисленных нами, представляют собой внешне небольшую долю этого количества. Однако многие из них принадлежат к числу наиболее употребительных слов общенародного русского языка: *багор*, *бугор*, *ветла*, *глыба*, *дурной*, *ёрш*, *жуть*, *затеять*, *зуд*, *кишеть*, *клёкнуть*, *комель*, *корзина*, *коромысло*, *куст*, *лезвие*, *лепесток*, *полба*, *наружу* (*снаружи*), *спина*, *угрюмый*, *ухмыляться*, *шелудивый*, *шест*, *шустрый*, *щёлок*, *ютиться* (*приют*, *уют*). Остальные слова нашего списка распределяются между диалектами и древнерусским языком. Обращает на себя внимание семантическое разнообразие перечисленных слов, которые охватывают буквально все жизненные сферы: предметы хозяйственной деятельности, растительный и животный мир, части земного релье-

фа, физические признаки предметов, названия частей тела и физических качеств человека, названия духовных качеств и состояний, названия ряда действий. Все это позволяет нам расценивать довольно высоко долю праславянских лексических диалектизмов в словаре русского языка.

2. Характеристика праславянских лексических архаизмов и изоглосс в белорусском

Ставя такую проблему на материале белорусского языка, мы отдаем себе отчет в ее трудности. Прежде всего, для русского языка мы могли довольно легко составить подобный список, опираясь на новый этимологический словарь; белорусского этимологического словаря еще нет, и в каждом отдельном случае нужно проделывать всю работу с самого начала. Поэтому предлагаемый нами анализ, естественно, может быть не свободен от пробелов. Вместе с тем и в таких невыгодных условиях удалось, как нам кажется, выдвинуть ряд новых этимологий, указать некоторые словообразовательно-лексические изоглоссы и в целом собрать довольно интересный материал. Перечень белорусских фактов, собранных под таким углом зрения, может, кроме того, иметь значение и для преодоления некоторых еще удерживающихся предрассудков во взглядах на состав праславянского словаря вообще, на степень монолитности словаря восточнославянских языков — в частности. Учитывая, что белорусский материал вообще собран очень неудовлетворительно и в этимологии используется плохо, а его источники весьма разнородны, мы старались изложить свои данные подробнее, не страшась неизбежных длиннот. На основании этих же соображений мы предпосылаем нашей характеристике библиографию словарных и других источников, использованных нами при составлении праславянского сборника для белорусского языка в целом.

Байкоў—Некраш. — *М. Байкоў і С. Некрашэвіч*. Беларуска-расійскі слоўнік. Менск, 1925.

Скорина, Владимиров — *П. В. Владимиров*. Доктор Франциск Скорина. СПб., 1888.

Гарэцкі — *М. Гарэцкі*. Беларуска-расійскі слоўнічак. Выд. 3. Менск, 1925.

Горбач. — *Н. Горбачевский*. Словарь древнего актового языка Северо-Западного края и Царства Польского. Вильна, 1874.

Карский. Белор. — *Е. Ф. Карский*. Белорусы. Кн. (т.) I—III. Вильна; Варшава; М.; Пг., 1904—1922.

Касьяровіч — *М. І. Касьяровіч*. Віцебскі краёвы слоўнік (матар'ялы) / Пад рэд. М. Я. Байкова й праф. Б. І. Эпімаха-Шыпілы. Віцебск, 1927.

Мат. — Матэрыялы для слоўніка народна-дыялектнай мовы / Пад рэд. Ф. Янкоўскага. Мінск, 1960.

Новицкий — *И. П. Новицкий*. Справочный словарь юридических терминов древнего актового языка Юго-Западной России. Киев, 1871.

Носович. — *И. И. Носович*. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870.

Носович., Доп. — *И. И. Носович*. Дополнение к Белорусскому словарю. СПб., 1881 // Сб. ОРЯС. Т. XXI. № 6.

Расторгуев, Северск.-блр. — *П. А. Расторгуев*. Северско-белорусский говор. Исследование в области диалектологии и истории белорусских говоров. Л., 1927.

Романов — *Е. Р. Романов*. Белорусский сборник. Вып. 1—9. Киев; Витебск; Вильна, 1886—1912.

Рус.-блр. — Русско-белорусский словарь / Под ред. *Я.* Коласа, К. Крапивы, П. Глебки. М., 1953.

Сержпутовский, Чудина — *А. К. Сержпутовский*. Грамматический очерк белорусского наречия дер. Чудина, Слуцкого уезда, Минской губернии // Сб. ОРЯС. Т. LXXXIX. № 1. СПб., 1911.

Stang, Westruss. Kanzleispr. — *Chr. S. Stang*. Die westrussische Kanzleisprache des Grossfürstentums Litauen. Oslo, 1935.

Stang, Urk. Polozk — *Chr. S. Stang*. Die altrussische Urkundensprache der Stadt Polozk. Oslo, 1939.

Feder. — *M. Federowski*. Lud białoruski na Rusi Litewskiej. Materialy do etnografii słowiańskiej. Kraków. T. I—III, 1897—1903.

Хрэст. — Хрэстаматыя па гісторыі беларускай мовы. Ч. I—II. Мінск, 1961.

Шатэрнік — *М. В. Шатэрнік*. Краёвы слоўнік Чэрвенщчыны. Менск, 1929.

Янкоўскі I — *Ф. Янкоўскі*. Дыялектны слоўнік. I. Мінск, 1959.

Янкоўскі II — *Ф. Янкоўскі*. Дыялектны слоўнік. II. Мінск, 1960.

1. *абравíта* 'прямо' (Расторгуев, Северск.-блр. 139). Неясно.

2. *абрýд* 'нижняя часть деревянной посуды, от дна': *вядро цячэ ў вабрудзе* (Шатэрнік 5). — Из праслав. диал. **ob(ъ)-rǫdъ?* ср. **rędъ*, рус. *ряд*, лит. диал. *rindà* 'ряд, линия'; см. о последних Миклошич EW 276, Фасмер II, 561, Френкель LEW 735.

3. *агáзны*, *агазьлівы* 'надоедливый, озорной' (Касьпяровіч 9), праслав. **o(b)gazьnъ*, **o(b)gazьlivъjь?* Ср. слав. **gaziti*, лит. *gõžti* 'опрокинуть, пролить; разрастаться; неуклюже шагать'; см. о последних Бернекер EW 1, 299, Френкель LEW 162. — Или из **g(v)azd-*, ср. рус. *гвáздать* 'марать, пачкать': **gad-/*gyd-*, ср. еще укр. диал. (зап.) *огáзнути* 'покрыться инеем'.

4. *азарóд* 'переплёт на столбах, сделанный из жердей для хлебных снопов вроде лестницы' (Носович. 3), *азеру͡од* (Сержпутовский, Чудина 49), *азярóд* прясло для сушки снопов' (Рус.-блр., Касьпяровіч 17, Мат. 161), диал. *азярóт*

'скразны вецер, пройма' (Мат. 151). — Из праслав. диал. *ob(z)erdъ, *zordъ (наряду с *gordъ), см. выше о рус. диал. *зарóд*, *зорóд*.

5. *апяразáць* 'ударыць, перацягнуць' (Мат. 121), *перазáцца* 'опоясывать' (Байкоў—Некраш. 232), *падперазáць* 'подпоясать' (Рус.-блр.). — Из праслав. диал. *o(b)perzati, *perzati, откуда также укр. *оперезáти* 'опоясать' и, возможно, сербохорв. *запрéзати*, *зàпрē̂жēм* 'gürten, vorschürzen, praecingo' (Вук Караджж. 199); далее связано с *perz 'через'. См. Миклошич EW 244, Этимологический словарь славянских языков. Проспект.

6. *аталéк* 'покой; отбой': *ад сьвiней аталеку нет* (Касьяровiч 26). — Вместе со ст.-слав. **отълѣкъ** 'остаток', рус. диал. *отлéчиться* 'остаться' восходит к праслав. *otъlěkъ, наряду с *otlěkъ, откуда рус. стар., диал. *óлек*, бортнический термин. Ср. лит. *ãtlaikas* / *ãtliekas* 'остаток', см. о близких формах Бернекер EW I, 710, Траутман BSW 155, Френкель LEW 331, Фасмер II, 263, 291. Заимствование белорусского слова из литовского маловероятно.

7. *бóрзды* 'быстрый, проворный' (Рус.-блр.). ст.-блр. *борздо*, *борздый* (с XV в., Карский. Белор. II, I, 447; Скорина, Владимиров 302; Хрэст, I, 173 и след., Stang, Westruss. Kanzleispr. 147; Urk. Polozk 141). — Блр. *бóрзды* вместе с сербохорв. *брздѝца* 'стремнина в ручье' восходит к праслав. диал. *bъrzdъ, ср. лит. *burzdùs*, *bruzdùs* 'подвижный', в то время как во всех остальных славянских языках представлен тип *bъrzъ, — см. уже Траутман BSW 40, Попович, Geschichte 544 (последний — ошибочно, без белорусского соответствия).

8. *вад* 'зной' (Байкоў—Некраш. 54, Гарэцкi 26), *вáдны* 'знойный' (Байкоў—Некраш. 55, Носович 42: *вадный дзень*). — Это исключительно белорусское слово представляет собой лексему древнего вида, не имеющую надежных связей в славянском словаре, которую мы восстанавливаем как праслав. *vadъ; дальнейшие связи последнего неясны.

9. *верабéй* 'воробей' (Рус.-блр.), *веребéй* (Носович 48), др.-рус. *веребии* 'воробей' (Переясл. летоп. под 6454 г., Срезн. I, 243) продолжают праслав. диал. *verbьjь, связанное отношением чередования гласного корня с *vorbьjь (рус. *воробéй* и др.), *vorbьcь; см. Траутман BSW 342.

10. *вóсапа* 'оса' Vespa vulgaris (Касьяровiч 61) с известной осторожностью может быть объяснено из *vospa, реликта древней метатезы, представленной в лат. *vespa* 'оса' (из *vospa, Вальде[2] 827) и совр. нем. *Wespe* то же, при более распространенном первоначальном типе *vo(p)sa из и.-е. *u̯obhsā, откуда праслав. *(v)osa, рус. *осá*, блр. *асá*, *асвá* и др., лит. *vapsà*, др.-в.-нем. *wafsa* (Траутман BSW 342, Покорный, I, 1179).

11. *вýсны* pl. tant. 'уста, губы' (Рус.-блр.) восходит к праслав. *ustьna, представленному в значении 'губа, губы' главным образом в юж.-слав.: ст.-слав. **оустьна**, болг. *ýстнà*, сербохорв. *ȳсна*, словен. *ustna*, см. Миклошпч EW 372; по-видимому, это — древнейшее название губы, ср. *Porzig*. Die Glie-

derung des indogermanischen Sprachgebiets 114, где указывается на множественность названий губ в индоевропейских языках. Ср. также Этимологический словарь славянских языков. Проспект: пробная статья **vorga* и карта 'губа'.

12. *вы́салапіць* 'высунуть язык' (Гарэцкі 34), *вы́салупіць*, *высалупа́цъ* 'высовывать, высунуть (язык)' (Байкоў—Некраш. 70), *высолупа́ць*, *вы́солупиць* 'выставлять напоказ, высовывать', *солупа́цъ* то же (Носович 96, 599—600); укр. *ви́солопити* 'высунуть, вываливать (язык)', по-видимому, продолжают праслав. диал. **vysolpiti* / **vyselpiti*, **vysolpati* / **vyselpati*, **selpati*, ср. ст.-слав. **слѣпати** 'ἅλλεσθαι, salire', рус.-цслав. **слѣпати** 'течь, бить ключом' (Срезн. III, 441), далее ср. лит. *išselp-inė́ti* 'расходиться, разделяться', см. о последних Миклошич EW 307, Траутман BSW 256, Френкель LEW 760.

13. *гале́ча* 'бедность, нищета' (Рус.-блр.), 'гололедица; голытьба' (Гарэцкі 37), 'бедняк, беднота' (Касьяровіч 73), восходит через **goletja* к праслав. диал. **golotja*, которое мы реконструируем также на основе укр. *голе́ча*, сербохорв. *голо̏ћа*, словен. *golȏča*; см. Этимологический словарь славянских языков. Проспект.

14. *га́матны* 'плотный, массивный' (Рус.-блр.) может вместе с чеш. *hmotný* 'материальный, телесный', диал. (мор.) *hamatný* 'сильный, толстый, плотный, свалявшийся' продолжать праслав. **gomotьnъjь* от **gomotъ*, **gomota*. См. об этих словах (без белорусского) Бернекер EW I, 327, Machek Etym. slovn. 123, 133.

15. *глі́ца* (ж.) 'весенний ветер' (Гарэцкі 40, Байкоў—Некраш. 80); неясно.

16. *глы́за* (ж.) 'глыба' (Байкоў—Некраш. 81) может в качестве праслав. **glyza* представлять одну из многочисленных словообразовательных разновидностей общей исходной основы, ср. праслав. **glyba* (рус. *глы́ба*), праслав. **gluda* (рус. *глу́да*), праслав. **gluta* (словен. *gluta*) — все с близкими значениями 'глыба, ком, шишка'. Сюда же, с отличием в вокализме, праслав. **glazъ* (рус. *глаз*, польск. *głaz*).

17. *гусьце́ча* 'густы зараснік', диал. (Мат. 163), возможно, продолжает праслав. диал. **gǫstotja*, ср. *галеча*, *малеча* и др. на *-*otja*, имеющие параллели, кроме украинского, еще в западной группе южнославянских языков.

18. *даба́д* 'лебедь': *дабады высока лётаюцъ* (Касьяровіч 89). Следует обратить внимание на это, по-видимому, старое слово с темной формой, послужившее предметом этимологического исследования. Утверждать о его связи с другими славянскими названиями лебедя — **elbedь*, **olbǫdь*, пока затруднительно. Быть может, первоначальная форма здесь затемнена по мотивам табу.

19. *до́роб* 'короб', *доро́бка* 'коробка' (Носович 141, 142) — из праслав. диал. **dorbъ*, см. выше раздел о русских словах.

20. *драгба́* 'топь' (Касьяровіч 97), *дрыгва́* 'топь', 'трясина' (Рус.-блр., Касьяровіч 99) — из праслав. диал. **dreg*(ъ)*va*, родственного лит. *drė̃gnas*,

лтш. *dręgns* 'сырой', Фасмер I, 368—369, где сюда же относится восточнославянское племенное название *дреговичи*.

21. *дру́злы* 'дряблый' (Рус.-блр.), 'обрюзгший' (Касьпяровіч 98), вероятно, из праслав. диал. **drǫzlъjь*, ср. лит. *drumzlùs*, *drumžlinas*, *drumžlùs* 'мутный', далее сюда же — с другой ступенью вокализма и отличиями в суффиксе — ст.-слав. **дрѧселъ, дрѧхлъ** 'печальный, скорбный', рус. *дряхлый* и др., о которых см. Бернекер EW I, 222 — 223, Фасмер I, 376, Френкель LEW 106.

22. *е́ме* ср. 'употребление в пищу, ядение': *отбираем жито, што на еме, а што на семе* (Носович 723), *е́ме* 'съестное' (Касьпяровіч 102), *е́міна* (ж.) 'продовольствие, харчи' (Байкоў—Некраш. 100), *е́мінка* (ж.) 'отборный картофель для употребления в пищу' (Касьпяровіч 102), *е́мя* 'предназначенное в пищу' (Гарэцкі 52) — из праслав. диал. **ědmę*, *-mene*, откуда и рус. диал. *емины*, ст.-рус. (XVII в.) *емена*, см. соответствующее в разделе о русских словах, выше.

23. *жу́піць* 'говорить, беседовать, разговаривать' (Байкоў—Некраш. 103) — из праслав. **župiti*, ср. рус. диал. *жупе́ть* 'петь (о птицах)', о котором см. Фасмер I, 433; далее ср. рус.-цслав. **жѵпелица, жѵпельць** 'жук' (Срезн. I, 885). Сюда же с другим расширением той же основы — рус. *жук* и родственные.

24. ст.-блр. **зерема, зеремени** '*месца, дзе знаходзіцца статак баброў*', Литовский статут 1588 г.: *ѡ бобровые гоны* (Хрэст. I, 220, 221, 470), *зереме* 'отдельное место, в котором находилось особое стадо бобров. На расстоянии брошенной палки от зеремени запрещено было законом орать поле или иметь сеножать' (Горбач. 395). Другим славянским языкам неизвестно. Для древнерусского периода *зерема* приводится только из юго-западных памятников (Срезн. I, 977, с XV в.). Насколько известно, до сих пор исследователями не этимологизировалось. — Ст.-блр. *зерема*, *зереме* может быть объяснено из праслав. диал. **zerdmę*, собственно — **zerd-men-* 'огороженное', которое связано чередованием гласного корня с праслав. диал. **zordъ*, **o(b)zordъ*, см. выше блр. *азаро́д*, *азяро́д*, рус. диал. *заро́д*, *зоро́д*. Территории праслав. диал. **zerdmę* и **zordъ* в значительной части покрывают друг друга, в обоих случаях центр — в белорусском языке. На это обстоятельство, как и на сохранение только в этом районе праславянского диалектного продолжения и.-е. **ĝherdh-* / **ĝhordh-* (наряду с повсеместным отражением **ghordh-* в остальных славянских), стоит обратить особое внимание. Реальная сторона этимологии праслав. диал. **zerdmę* — 'огороженное' как названия места обитания речного бобра-строителя Castor fiber как будто не должна вызывать сомнения.

25. *знушча́цца* 'глумиться' (Гарэцкі 69), 'глумиться, издеваться' (Расторгуев, Северск.-блр. 144), укр. *знуща́тися* 'издеваться' могут продолжать праслав. диал. **sъnuščati sę*, ср. с другой приставкой польск. *poduszczać* 'подстрекать', см. подробнее Этимологический словарь славянских языков. Проспект.

Булаховский (Питання походження української мови. Київ, 1956. С. 65) объясняет *знущатися* из **згнущатися*.

26. *золь* 'непогодь, ненастье, сырой туман' (Гарэцкі 69), *зóлкі* 'надта халодны' (Мат. 27), возможно, восходят к праслав. диал. **zolъkъjь*, **zolь*, ср. лат. *gelidus* 'очень холодный', *gelu* 'холод, мороз', англосакс. *ciele* (< **kali*) 'холод' и родственные, см. Вальде[2] 335, Покорный I, 365—366.

27. *зурыць* 'старательно гнать': *пугу вазьмі ды зуры сьвіньней* (Шатэрнік 120), возможно, из праслав. **zariti*, откуда, например, и чеш. *zuřiti* 'бушевать, свирепствовать, приходить в ярость' (последнее объясняется иначе Махеком — Etym. slovn. 589); далее родственно лит. *žiaurùs* 'жестокий, свирепый'.

28. *какалýга* 'черемуха' (Касьпяровіч 149), *какалýша* 'черемуха' (Шатэрнік 126), *калакалýша* то же (Байкоў—Некраш. 139, Касьпяровіч 149). Не вполне ясное слово.

29. *кáліва* 'зерно; очень малое количество чего-либо' (Носович 228), *кáліва* ср. 'особь (растения); зерно, крупинка' (Байкоў—Некраш. 139), *каліва* ср. 'молодое растение; немножко; зерно': *каліва гароху* (Касьпяровіч 150), *кáліва* 'стебли картофеля' (Расторгуев, Северск.-блр. 145); ср. еще Романов 1, 2, 244: *на гарóдзи на градзе три каливы мяты* ⟨...⟩ *три каливы бобу* ⟨...⟩ *три каливы пшонки...*; Карский. Белор. II, 2, 23: *kāliwo* (Чечот). — Из праслав. диал. **kalivo* или **kъlivo*, ср. **kъlъ* 'росток', **kъlěti* 'давать росток, прорастать', см. перечень форм у Бернекера EW I, 661 (без блр. слова); там же все эти слова относятся к **kol'ǫ*, **kolti*, рус. *колоть* и др. Преображенский I, 285 и Фасмер I, 508—509 приводят форму *кáливо* только из пограничных русских говоров и дают ей менее вероятные толкования.

30. *калмáты* 'косматый' (Гарэцкі 74), 'косматый, лохматый' (Байкоў—Некраш. 139: *мох калматы*). Возможно, продолжает **kъlmatъjь*, дальнейшие связи которого неясны. Ср. укр. *кóвмо* (ср.) 'вязка конопли или льна' (Гринч. II, 262) из праслав. **kъlmo*.

31. *камёзы* 'комолый, безрогий' (Гарэцкі 74) — из **komezъjь*, словообразовательный вариант праслав. **komolъjь*, о котором см. подробно Бернекер I, 554. — Подобно тому как праслав. **komolъjь* / **gomolъjь* (польск., чеш.) сближаются с лит. *gamulà* 'безрогая скотина', *gùmulti* 'мять'. (см. Френкель LEW 132), праслав. диал. **komezъjь* можно сравнить с лит. *gãmužas* 'ком', лтш. *gùmza* 'изгиб, неровность, складка'. Ср. и др.-прус. *camstian* 'овца'.

32. Ст.-блр. *кремъ* 'соты, оставшиеся в улье, в котором вымерли пчелы', Литовский Статут (Горбач. 187), не совсем ясно. Ср., с одной стороны, праслав. **kremjь* (рус. *кремль*), **kremь*, **kroma* со значением края, ломтя, части; с другой стороны — ср. лит. *korỹs* 'сот, ячейка в нем', наконец, греч. κρεμάννυμι 'вешаю': и.-е. **kr-*/**kor-* (лит. *kárti* 'повесить') и идентичные расширения

-*ет*-. См. соответствующий материал у Фасмера I, 659, 666, Френкеля LEW 224, 283, Буазака, Dictionnaire étym.[4] 513.

33. *курáпа* 'жаба' (Гарэцкі 85), 'лягушка' (Расторгуев, Северск.-блр. 146) — из праслав. диал. **korpa* (через **коропа*, ср. *смурод* < *смород*), откуда также укр. *корóпа*, *корóпавка*, *коропáвиця* 'жаба', словен. *krápavica* 'жаба', см. Бернекер EW I, 574—575, Фасмер I, 632, которые связывают далее славянские слова с лит. *kárpa* 'бородавка'. Сюда же польск. *ropacha* 'жаба' < **chropucha* < праслав. **xorp-* / **korp-*, как правильно понимал уже Брюкнер — Słown. etym. 463. Сближение с лит. *rùpūžė* 'жаба' (Френкель LEW 751) нуждается поэтому в пересмотре.

34. *латнó* 'выгадна, вельмі добра, зручна' (Мат. 141) — из праслав. **latьnъ*, которое родственно праслав. **latja*, **latvъjь*, **latjьnьjь*, см. последние у Бернекера EW I, 694.

35. *лыч* 'рыло (свиньи)' (Рус.-блр., Гарэцкі 89, Сержпутовский, Чудина 54) — из праслав. диал. **lyčь* < *lūkjo-*, ср. лит. *laũkas* 'с белым пятном на лбу (о животном)', лат. *lūcidus* 'светлый', сюда же праслав. **lučь* (рус. *луч*), ср. особенно лит. *liaukà* 'железа (шейная)', *laukos* (мн.) 'железы у свиньи', лтш. *laukas* (мн.), *lauka* 'болезнь свиньи, опухоль желез'; см. об этих словах, кроме белорусского, Траутман BSW 151, Френкель LEW 344, 361.

36. *макрэ́ча* 'мокрядь, мокрота' (Рус.-блр.) — из **mokrotja*, ср. *галéча*, *малéча* и др.

37. *малéча* 1. 'малолетний', 2. 'мальчуги' (Носович 278), укр. *малéча* (собир.) 'малые дети, малыши', сербохорв. *мало̀ћа* 'малость, малое количество', словен. *malôča* 'мелочь' — из праслав. диал. **malotja*, см. Этимологический словарь славянских языков. Проспект.

38. *маркáч* 'баран-производитель' (Рус.-блр., Носович 280) — из **mъrkačь*, ср. болг. диал. *мъркалéц* то же (см. подробнее: Трубачев. Происхождение названий домашних животных. М., 1960. С. 81).

39. *мíліца* (ж.) 'камыш', 'тросточка' (Байкоў—Некраш. 170) — из праслав. диал. **milica*, **milь*, откуда также в.-луж., н.-луж. (*wódna*) *mil* 'стрелолист, шильник'; см. подробнее: *Трубачев*. Серболужицкий лингвистический сборник.

40. *мнец* 'работник, мнущий искусно лен или пеньку; мяльщик' (Носович 286), ср. укр. *мнецъ* 'кожемяка', словен. *menèc* «der Hirsetreter, der Ölschläger» — из праслав. диал. **mьnьcь* (: **męti*), ср. далее др.-прус. *mynix* 'кожевник', лит. *minìkas* 'мяльщик', см. Этимологический словарь славянских языков. Проспект.

41. *мýліць* 'натирать, надавливать' (Байкоў—Некраш. 172), а также юж.-в.-р. *мýлить*, укр. *мýлити*, сербохорв. *му̏љати* 'мять (виноград)', словен. *múliti* 'тереть, притуплять, срывать (листья)' — из праслав. **muliti*, см. подробно Фасмер II, 172.

42. *напаваць* 'напоить' (Расторгуев, Северск.-блр. 147), особенно укр. *напувати* то же, ср. н.-луж. *napowaś* то же — из праслав. диал. **napovati-*, см. подробнее: *Трубачев*. Серболужицкий лингвистический сборник.

43. *палетак*, род. *-тка* 'клин (например яровой)' (Рус.-блр.), *палі͡этак* (Сержиутовский, Чудина 52), ср. сербохорв. *па̏љетак* 'остаток на поле после сбора урожая' — из праслав. **palětъkъ* / **polětъkъ*, см. еще Этимологический словарь славянских языков. Проспект.

44. *пашак* 'род червей, находящихся у лошадей в заднепроходной кишке': *у коня пашшаки торчаць* (Носович 395). — Может быть понято как **poščakъ* < **postjak-* от и.-е. **post(i)* 'после, сзади', ср. лит. *pãstaras* 'последний', особенно — *pasčiũkai* (мн.) 'жидкое пиво, брага', далекое семантически, но с близким суффиксальным расширением (см. о литовском слове Френкель LEW 543—544).

45. *петаваць*, *петаць* 'бить, колотить' (Байкоў—Некраш. 237) — из **petati*, ср. лат. *petō*, *-ere* 'набрасываться, стремиться, желать' и др., о которых см. Покорный I, 825—826.

46. *прастэча* (ж.) 'простота' (Байкоў—Некраш. 248) — из **prostotja*, ср. *галеча*, *малеча* и т. п.

47. *прид* 'край в дне деревянного сосуда': *бочка у придах процекаець* (Носович 500), сюда же рус.-цслав. **придъ** 'прибыль, выг.' (Срезн. II, 1399), сербохорв. *при̑д* 'придача, прибавка (при купле-продаже)' — из праслав. **pridъ*, родственного лит. *priẽdas*, лтш. *prieds* 'придача, прибавка', см. (без упоминания белорусского слова) Френкель LEW 652. Образование **pri-dъ* совершенно аналогично, например, **sǫ-dъ* (рус. *суд* и др.). Заимствование из балтийского в белорусский невероятно в данном случае.

48. *пустэча* (ж.) 'пустошь' (Рус.-блр.), 'пустота' (Шатэрнік 235) — из **pustotja*, к которому восходят также сербохорв. *пустоћа*, словен. *pustôča*, см. Этимологической словарь славянских языков. Проспект.

49. *ружа* (ж.) 'суша': *ці ты йшла па ружы, ці па балоту* (Касьяровіч 271) — из **ruža* / **ružь?* Ср. соответствующее слово выше, в разделе о диалектизмах русского.

50. *рунь* (ж.) 'озимь, озимые всходы' (Рус.-блр.); неясно. Ср. Фасмер II, 518, где есть сравнение с диал. *рунить* 'быстро делать', *рух*, *рушить*.

51. ст.-блр. *русмистый* 'коричневый' (XVI в., Хрэст. I, 277, 497) — из **rusmistъjь*, прилагательное от основы **rud-sm-*, ср. др.-в.-нем. *rosamo* (**radh-s-men-*) 'краснота, красный цвет', др.-исл. *rosmu-fjǫll* 'красноватые горы' (см. о германских словах Покорный I, 872).

52. *сківаца* 'челюсть' (Рус.-блр.), *скивицы* (Сержпутовский, Чудина 53) — по-видимому, старое слово, для которого можно предположить праславянскую форму **skyvica*, образование и связи которой для нас неясны.

53. *скрыль* (м.) 'ломоть (о плодах, сыре)' (Рус.-блр., Касьяровіч 284, Мат. 106), в русских говорах отмечено только на юго-западной периферии, ср. затем сербохорв. *скрила*, *шкриља* 'тонкая каменная пластинка', словен. *skríl* (ж.) 'сланец', *skríla* 'каменная пластинка', чеш. *skřidla*, *škřidla* 'сланец', словац. *škridla* то же — из праслав. **skridlь*, родственного **krojiti*, см. Фасмер II, 652.

54. *скумáць* 'разуметь, догадываться' (Носович 588), другим восточнославянским языкам неизвестно; точно соответствует только чеш. *skoumati* 'исследовать, изучать', *koumati* 'замечать, наблюдать, понимать' — из праслав. диал. **sъkumati* < **kou-m-*, ср. **keu-* в **čuti*; см. уже Бернекер EW I, 643; иначе см. Махек. Etym. slovn. 228.

55. *сýкрыцца* 'завиваться': *у яё усі калдункі сукрацца* (Касьяровіч 296) — из **sukriti sę*, связанного с прилагательным **sukrъ(jь)*, далее — **sučiti*, **sъkati*. Или основано на заимствовании из балтийских языков? Ср. в обоих случаях лит. *sukrùs* 'вертлявый, проворный, быстрый', *sùkras* то же, лтш. *sukrs* 'бойкий, энергичный' (ср. о последних словах Френкель LEW 938).

56. *сум* (м.) 'печаль, уныние' (Рус.-блр.), укр. *сум* 'печаль, грусть'. Этот общий украинско-белорусский лексический элемент не имеет этимологии. Ср. сербохорв. *сȕмōран* 'угрюмый, хмурый, мрачный'? См. некоторые соображения и литературу у Славского, Słown. etym. 71—73.

57. *таўсмáты* 'ужываецца пры назвах асобы, жывёлы, дрэва... — прысадзісты, моцны' (Янкоўскі I, 181); не вполне ясно по образованию, хотя связь с **tъlstъ* — блр. *тóўсты*, рус. *толстый* — кажется естественной. Не исключено происхождение от поздней контаминации. Однако можно рассматривать и как праслав. диал. **tъlsmatъ*, прилагательное на *-atъjь* от сущ. **tъlsmъ* / **tъlsmo*, ср. лтш. *tulzums* 'опухоль'.

58. *траблó* 'живот обжоры', сюда же *трублáты* 'с толстым брюхом' (Касьяровіч 310, 312), возможно, продолжают праслав. диал. **treb(ъ)lo*, **treb(ъ)latъ*, которые ближе всего родственны лат. **strebula* (мн.) 'мясо на бедрах жертвенного животного'; далее сюда же праслав. **trebuxъ*, **trьbuxъ*, рус. *требухá*, блр. *трыбýх* и родственные, с которыми непосредственно связывает это латинское слово Грошель (Slavistična Revija. V—VII. 1954. S. 122). О латинском слове см. подробнее Вальде[2] 743.

59. *трымцéць* 'трепетать, дрожать' (Рус.-блр.), ср. укр. *тремтíти* то же — из праслав. диал. **tremъtěti*, которое представляется важным региональным архаизмом, в то время как большинство славянских языков имеет контаминированное **tręsti* из **trem-* и **tres-* (рус. *трястú* и родственные). Ср. Миклошич EW 360, Траутман BSW 329—330.

60. *угóрыч* 'угорь Anguilla fluviatilis Heck.' (Касьяровіч 317), наряду с *вугóр* в том же значении (Рус.-блр.). В блр. диал. *угóрыч* мы видим очень старый элемент лексики, праслав. **ǫgoritjь*, с соответствием фактически только

в словен. *ogórič* 'маленький угорь, угорек'; далее лит. *ungurýtis* 'маленький или молодой угорь' (см. Траутман BSW 8, без белорусского слова).

61. *халадзе́ча* (ж.) 'холод, стужа' (Байкоў—Некраш. 333), *халадне́ча* то же. Ср. с тождественным оформлением *гале́ча*, *мале́ча*, *пустэ́ча*; см. также Этимологический словарь славянских языков. Проспект.

62. *ця́мицъ* 'помнить, припоминать; понимать, примечать' (Носович 694), *цяміць* 'примечать, понимать, соображать' (Байкоў—Некраш. 341), 'понимать, схватывать' (Касьпяровіч 340), ст.-блр. *нетѧмилъ* 'non observavis» (Скорина, Владимиров 315); сюда же укр. *тя́мити* 'смыслить, понимать; помнить'. — Эти несомненно старые слова следует признать пока неясными. См. некоторый материал (с приведением южновеликорусских диалектных слов) у Фасмера III, 167.

63. *чаўпці́* 'говорить вздор' (Касьпяровіч 344), ср. укр. *човпти́*, *човпу́* 'твердить, повторять одно и то же'. На основании этих слов, а также по аналогии семантического развития блр. *вярзці́* 'плести вздор' < 'вязать' мы принимаем здесь исходное праслав. диал. **čьlpǫ*, **čьlpti*, родственное прежде всего лит. *kìlpoti* 'делать петли, складки, запутываться', лтш. *cil̃puôt* 'делать петли, вязать крючком', далее — лит. *kìlpa* 'петля'.

64. *чо́клый* 'настоящий, прямой, точь-в-точь': *Чоклый тата* (Носович 700) — из **čeklъjь?* Дальнейшие связи неясны.

65. *чы́ты* 'трезвый' (Касьпяровіч 347), сюда же периферийное рус. диал. (псков.) *чи́тый* то же. В остальном характерно для части южнославянских языков, ср. сербохорв. *чи̏т* 'целый, невредимый', *чи̏тав*, болг. *чи́тав* 'целый'. — Из праслав. диал. **čitъjь*, ср. лит. *kietas* 'твердый, жесткий', лтш. *ciê ts* то же, Бернекер EW I, 158, Траутман BSW 124, Фасмер III, 343.

66. *шу́піцъ* 'понимать, разбираться' (Касьпяровіч 356, Носович 179), укр. *шу́пити* 'смыслить, понимать'; неясно. Ср. Фасмер III, 437.

67. *я́па* (ж.) 'грыжа ў жывёліны' (Янкоўскі I, 201), *уя́па* (ж.) 'нарост на целе, вальбука' (Янкоўскі I, 188) — из **japa* < **ěpa* < **oi̯-p-ā*, ср. лтш. *iẽpa* 'волдырь на коже', о котором см. Мюленбах-Эндзелин II, 49.

Таким образом, в результате проверки на белорусском материале довольно полного праславянского словника, составленного нами к моменту проведения настоящей работы и насчитывающего свыше 5000 слов, мы отобрали группу в несколько десятков слов, которые в своем абсолютном большинстве могут быть охарактеризованы как древние, праславянские лексические элементы ограниченного распространения. Соотношение между 5000 всех праславянских слов для данного славянского языка и 60—70 древними словообразовательно-лексическими диалектизмами получается то же, что и в русском языке, хотя мы далеки от мысли, чтобы считать те и другие данные

окончательными. Тем не менее, мы получаем что-то такое, на что можно опереться в дальнейших разысканиях по проблеме состава праславянского словаря и на чем можно строить определенные, отнюдь не беспочвенные прогнозы о результатах дальнейших этапов исследования.

Как мы видели, повторения между белорусскими и собственно великорусскими праславянскими диалектизмами в лексике минимальны, они почти исчерпываются общими элементами в словаре сопредельных говоров. В итоге мы уже сейчас насчитали 120—140 старых слов, не только почти не известных за пределами восточнославянского, но и четко отграничивающихся в самом восточнославянском. Ясно, что это предвещает новые перспективы для исследования словаря, например, одних только восточнославянских языков и диалектов. Выше мы уже отмечали четкое различие в составе праславянских лексических диалектизмов русского и белорусского языков. Поэтому некоторые старые точки зрения в этой области[17] нуждаются в преодолении или, по крайней мере, в проверке на специально собранном надежном и большом фактическом материале. Степень изученности материала в этой области можно себе представить, хотя бы обратив внимание на то обстоятельство, что больше половины слов, привлеченных нами выше при изложении древних лексических диалектизмов белорусского языка, еще не исследовались в этимологической литературе.

Довольно многие слова в этом нашем списке объединяют белорусский язык с украинским, противопоставляя их великорусскому. Конечно, для части этих случаев мы можем принимать вторичное, исторически обусловленное распространение с части территории на всю территорию, тем более что есть ряд примеров только белорусского распространения древних лексических диалектизмов. Аналогичную работу по выявлению праславянского словника в украинском, а также по отбору древних лексических диалектизмов и изоглосс украинского языка еще только предстоит провести. Эта задача обследования украинского словаря представляется очень интересной и важной в общей серии задач, стоящих перед исследователями состава праславянского словаря. Есть основания полагать, что число архаических диалектизмов лексики в украинском языке окажется весьма внушительным. В целом уже сейчас можно рассчитывать, что систематическое обследование материала словаря восточнославянских языков даст 200—300 праславянских лексических диалектизмов, характерных, главным образом, только для этих языков. Можно также предполагать, что основные группы изолекс в этих языках и диалек-

[17] Ср.: *Л. А. Булаховський*. Питання походження української мови. Київ, 1956. С. 138: «...є порівняно мало такого, що є характеристичним саме для східнослов'янських мов і не може бути вказане в інших слов'янських — південних або західних».

тах распадутся, главным образом, на две совокупности, которые условно охарактеризуем как южную и северную, отнеся к последней собственно великорусский материал, а к первой — материал украинского и белорусского языков. Разумеется, намеченное деление обладает весьма приблизительной степенью точности и будет еще модифицировано впоследствии. Второе предположение, которое мы вправе выдвинуть уже сейчас, касается большого вопроса о соотношении общих и частных элементов в составе праславянского словаря. Пользуясь изложенными данными, а также известными сведениями о степени различий между другими славянскими языками и диалектами, мы можем допустить, что число праславянских лексических диалектизмов ограниченного распространения составит не менее 1000—1500 слов в целом в рамках всего праславянского лексического фонда, который можно исчислять в среднем в 6000 слов. Следовательно, можно ожидать, что до 20—25% состава праславянского словаря образуют всевозможные диалектизмы, элементы ограниченного распространения. Исследование должно проверить и уточнить высказанные предположения, а также вплотную заняться изучением характера выявляемых изолекс.

Ниже мы кратко остановимся на праславянских лексических диалектизмах нижнелужицкого. Обращение с этим вопросом к нижнелужицкому, вообще — к серболужицкому материалу не случайно и продиктовано отчасти теми же соображениями, что и в случае с белорусским. Эти языки равным образом лишены пока еще этимологических словарей и вообще довольно слабо обследованы в этимологическом отношении. Можно было бы еще увеличить число аналогий, указав на определенные черты переходного характера, характеризующие эти языки, но уже сказанного достаточно, чтобы отнести, например, лужицкий материал к числу важных участков в плане исследования проблемы состава праславянского словаря.

3. Праславянские лексические диалектизмы нижнелужицкого

Результаты этого обследования будут сообщены очень кратко, так как подробно они изложены в специальной статье, уже называвшейся выше. Суть этой статьи сводится к тому, что в нижнелужицком словаре выделяются следующие несколько десятков слов, в большинстве неизвестных верхнелужицкому, но носящих характер ранних образований: *bagi* (мн.) 'болота' (праслав. **bagy*), *beno* 'желудок, брюхо, пузо (у скота)' (**bъdno*), *bluraś* 'разбрызгивать, нагадить' (**bjurati*, ср. лит. *biauróti* 'гадить, загадить'), *drastwa*, *drasta* 'одежда, платье' (**drasta*), *gnybaś* 'грызть' (**gnybati*), *grěba* 'горстка хлеба или сена, образовавшаяся от одного удара косца' (**gręba*), *grud*, *gruda* 'тошнота, отвращение' (**grudъ*, **gruda*, ср. лит. *graudà* 'грусть, печаль'),

jaduš 'одышка, удушье' (**jadušь*), *jašk* 'отверстие верши или рыбачьего кузова' (**jaskъ*), *jěsny* 'быстрый, скорый; ранний' (**asnъjь*), *jurica* 'пырейник' (**jurь*), *kastwej* 'осока' (**kasty*), *kśida* 'сито' (**krida*), *kśud* 'бич, плеть' (**kŕudъ* ?), *mil* 'стрелолист, шильник' (**milь*), *muriś* 'мутить, омрачать; тревожить' (**muriti*), *muš* 'куриная трава; плющ' (**mušь*), *napowaś* 'напаивать; напоить' (**napovati*), *pakoẃež* 'вьюнок заборный' (**pakъ*), *póraś* 'приводить в движение, приглашать, побуждать' (**porati*), *pśiski* 'поспешный, суетливый; отвесный, крутой' (**prěskъjь*), *pulaś* 'приводить в движение, гнать' (**puĺati*), *rěso* 'толпа, шайка' (**rěso*, ср. др.-в.-нем. *reisa* 'отправление, поход'), *sćerizńa* 'вши' (**sterizn*ь ?), *sćěgor* 'мачта' (**stegorъ*, ср. лит. *stãgaras* 'сухой стебель, ствол'), *sńeło* 'яичко' (**snelo* ?), *srokoṕel* 'сорокопут' (**sorkopъlь*), *šṕeńc* 'заноза, ость, колючка, жало; стрела; росток' (**spenьcь* ?), *waka* 'жук' (**vaka*), *wótery* 'иной, кое-какой' (**jeterъ*), *wowa* 'бабушка' (**ova*).

Двух третей этой лексики, как уже отмечалось, верхнелужицкий не знает. На основании этого массового свидетельства словаря мы солидаризировались в упомянутой статье о праславянских лексических диалектизмах нижнелужицкого с теми учеными, которые считают, что между верхне- и нижнелужицким пролегал глубокий рубеж, и что нет оснований говорить о серболужицком праязыке. С другой стороны, эти языки обнаруживают определенный словообразовательно-лексический материал, имеющий соответствия в некоторых более отдаленных славянских языках, на что мы укажем несколько подробнее ниже.

Здесь же ограничимся немногочисленными дополнениями к материалу статьи о праславянских лексических диалектизмах нижнелужицкого:

wawriś 'говорить дичь, городить чепуху, молоть вздор, пустословить' (Muka Sł. II, 845) — из праслав. диал. **vavriti*, собственно редупликация **va(r)-vr-*, ср. греч. перф. εἴρηκα 'я сказал' < **u̯eu̯rā-*.

bajaś se 'тлеть, мерцать', в.-луж. *bać so* 'незаметно гореть, тлеть' — из праслав. диал. **bajati(sę)*, ср. др.-инд. *bhā́ti* 'светит, блестит'; Бернекер EW I, 39, Покорный I, 104.

źiběś 'хрипнуть, охрипнуть, осипнуть' (Muka Sł. II, 1192) — из праслав. диал. **diběti*, ср. лтш. *dibêt* 'греметь'.

4. Внутриславянские изолексы

Материал внутриславянских изолекс очень ценен и поучителен как для уточнения классификации славянских языков, так и для выяснения их первоначального расположения относительно друг друга. Едва ли следует особо раскрывать необходимость учета здесь не массовых общеславянских словарных повторений, а также не продуктивных явлений в словообразовании, а бо-

лее изолированных фактов словаря и словообразования, общность которых наиболее показательна в нашем смысле. Соответствующий материал собран еще далеко не полностью, поэтому нам в настоящем докладе приходится довольствоваться отдельными примерами и фрагментами отношений.

К числу словенско-сербохорватско-украинско-белорусских изолекс могут быть отнесены сербохорв. *запрéзати* 'опоясать' — укр. (*о*)*перезáти*, блр. (*а*)*перазáць* то же (см. выше); сербохорв. *брздѝца* 'стремнина в ручье' — блр. *бóрзды* 'быстрый' (см. выше); словен. *golôča*, сербохорв. *голòħа* — укр. *голéча*, блр. *галéча* 'бедность; беднота' (см. выше); словен. *krápavica* 'жаба' — укр. *коропáвиця*, *корóпа*, блр. *курáпа* то же (см. выше); словен. *malôča*, сербохорв. *малòħа* — укр. *малéча*, блр. *малéча* (см. выше); словен. *menèc* — укр. *мнець*, блр. *мнец* 'мяльщик' (см. выше); словен. *múliti*, сербохорв. *му̏љати* — укр. *мýлити*, блр. *мýліць* (см. выше); сербохорв. *па̏љетак* — блр. *палéтак* (см. выше); сербохорв. *пр̏ӣд* — блр. *прид* (см. выше); словен. *pustôča*, сербохорв. *пустоħа* — блр. *пустэ́ча*; словен. *skríl*, *skríla*, сербохорв. *скрила*, *шкриља* (а также чеш. *skřidla*, *škřidla*, словац. *škridla*) — блр. *скрыль* 'ломоть' (см. выше); словен. *ogórič* — блр. *угóрыч* 'угорь' (см. выше); сербохорв. *хладнòħа* — укр. *холоднéча*, блр. *халаднéча*, *халадзéча* 'холод, стужа' (см. выше); сербохорв. *чѝт* (а также болг. *чи́тав*) — блр. *чы́ ты* 'трезвый' (см. выше); сербохорв. диал. (икавск.) *рина* 'песок' — укр. *рінь*, др.-рус. *рѣнь* 'песчаная отмель' (Попович, Geschichte 540). — Эти 15 примеров составляют только часть всех словенско-сербско-хорватско-украинско-белорусских изолекс. Предварительные и еще не обработанные результаты проверки других специалистов говорят о том, что, например, количество сербско-хорватско-украинских (особенно западноукраинских) изолекс поистине огромно и исчисляется многими десятками и даже сотнями (устное сообщение Н. И. Толстого). Но трудно было бы недооценивать и значение приведенного выше перечня, в котором представлены важные единицы словаря, общие для названных языков. Существенным в наших данных представляется и несомненное указание на участие белорусского языка в ряде словенско-сербско-хорватско-украинских изолекс; больше того, ряд важных изолекс представлен с восточнославянской стороны только белорусским (ср. блр. *борзды*, *палетак*, *прид*, *скрыль*, *угорыч*, *чыты*), без участия украинского языка. Все эти слова глубоко интересны в фонетическом, словообразовательно-морфологическом и семантическом отношениях. В ряде случаев их особенности уполномочивают нас говорить о существенных общих инновациях в очерченной группе. Такой общей инновацией словообразования, возможно, является развитие суффикса *-otja*, хорошо прослеживаемое на целом ряде тождественных словенских, сербско-хорватских, украинских и белорусских слов в нашем списке. Точка зрения Р. Бошковича о суффиксе *-otja* как ис-

10. Заказ № 2261.

ключительном словенско-сербохорватском новообразовании нуждается, вероятно, в пересмотре[18].

Любопытны нижнелужицко-украинские / белорусские изолексы, которые, насколько нам известно, еще не служили предметом специального научного исследования: н.-луж. *jaduś* 'одышка, удушье' — укр. *ядýха* 'удушье'; н.-луж., в.-луж. *mil* (ж.) 'стрелолист, шильник' — блр. *мíлiца* 'камыш; тросточка'; н.-луж. *napowaś* — укр. *напувáти*, блр. *напавáць* 'напаивать, напоить'; н.-луж. *póraś* 'приводить в движение, приглашать, побуждать' — укр. *пóрати* 'обрабатывать, убирать, ухаживать'; н.-луж. *šṕeńc* 'заноза, ость, колючка, жало' — укр. диал. *спiнь* 'острый конец веретена'; н.-луж. *wenkach* 'на улице, снаружи' — блр. *вóнках* 'вне, снаружи', ст.-блр. *вонкахъ* (Скорина, Владимиров 303); *Wuskidź*, название населенного пункта с восточнолужицким наречием (Щерба. Вост.-луж. наречие I) — блр. *вýскiдзь* (ж.) 'выворот (дерева)' (Байкоў—Некраш. 62).

Далее, нуждаются в выявлении и полной инвентаризации серболужицко-сербско-хорватские изолексы, ср. в качестве примеров такие важные словообразовательно-лексические общности как в.-луж. *česel* 'гребень' (Pfuhl 78) — сербохорв. *чèшаљ* то же (Вук Карадж///. 852), достаточно древние формы из праслав. диал. **česlь* (при **greby*, *-ene* в прочих славянских), ср. соответствие в лтш. *kaslis* 'скребница, щетка' (Мюленб.-Эндз. II, 169); в.-луж. *ćěrić*, н.-луж. *śěriś* 'гнать' (Pfuhl 97, Muka II, 710) — серболуж. *mjȅрати* 'гнать' (Вук Караджю. 765); в.-луж. *črij* 'башмак, сапог' (Pfuhl 87), н.-луж. *crjej* 'башмак', *crjeja* 'Pflugsohle' (*H. Fasske*. Unbekanntes niedersorbisches Wortgut aus Werben // ZfS. Bd. V. 1960. S. 521) — сербохорв. *цр̏евља* 'башмак' (Вук Караджю. 842) из праслав. диал. **červьjь*, **červьja* (при **červikъ* в большинстве славянских языков); н.-луж. *traś*, в.-луж. *trać* 'продолжаться' (Muka Sł. II, 769) — сербохорв. *трajати*, болг. *трáя* то же (см. Миклошич EW 360) из праслав. диал. **trajati* при **trъvati* в некоторых других славянских языках.

5. Балто-славянские изолексы (состояние вопроса)

Если говорить о внешних изолексах, то балто-славянские соответствия, хотя и не абсолютно самые многочисленные во всех случаях (см. об этом отчасти выше), все-таки по-прежнему остаются наиболее трудоемким материалом. Сложность этого материала даже увеличивается теперь, когда ощущается потребность в конкретизации аспектов балто-славянских лексических отношений и в пересмотре балто-славянских изолекс с точки зрения каждого отдельного языка (см. выше). В последнее время здесь были выдвинуты от-

[18] *Р. Бошковић*. — ЈФ. Књ. XV. 1936. С. 125 и след.

дельные оригинальные мысли, в основном опирающиеся на удачно обобщенный известный ранее материал. Сейчас надлежит серьезно заняться проверкой и уточнением этих общих положений, а также систематическим сбором материала. Пожалуй, именно сбор критически проверенных данных сейчас самое главное, потому что, если верно, что принципиально правильное решение вопроса зависит от определения степени кучности и количества изолекс, то правильное представление об этих последних определяется полнотой нашего знания материала. Только в итоге полного сбора материала мы сможем уверенно характеризовать одни из балто-славянских изолекс как спорадические, другие же — как совокупности (пучки) изолекс.

В первую очередь упомянем о плодотворной идее Иллича-Свитыча, выдвинутой им в выступлении на IV Международном съезде славистов в Москве в 1958 г. и поддержанной его учителем Бернштейном [19]. Суть этой концепции состоит в том, что одни из древних славянских диалектов могли поддерживать более тесные связи с балтийскими, чем остальные славянские диалекты, иными словами, — занимали положение, в известном смысле переходное между балтийским и славянским. Предполагается, что это были диалекты предков восточной группы современных южных славян. При этом указывается ряд действительно убедительных балто-славянских изолекс, известных, главным образом, из болгарского словаря, и делается вывод, что диалекты, лежащие в основе болгарского и македонского языков, занимали первоначально северную периферию праславянской территории, гранича с балтийскими диалектами (*Бернштейн.* Очерк 〈...〉. С. 70). Названными учеными приводится следующий материал: лит. *burnà* 'рот' — болг. *бъ́рна* 'губа' (сербохорв. *бр̏њица* 'намордник'), лит. *žiáunos* (мн.) 'жабры' — болг. *джуна* 'губа', лит. *tárpas* 'промежуток, щель' — болг. *трап* 'яма' (сербохорв. *тра̏п*), лит. *saisti* 'ворожить' — ст.-сл. **сѣтити сѧ**, болг. *сетя*, *сещам* (сербохорв. *сѐтити се*, словен. *sétiti se*), лит. *draskýti* 'царапать' — болг. *драскам* 'царапаю', лит. *dẽšinas* 'правый' — ст.-слав. **десьнъ**, болг. *десен* (сербохорв. *дѐсан*, словен. *désen*), лит. *šalna*, лтш. *sal̃na* — болг. *слана* 'изморозь' (сербохорв. *сла́на*, словен. *slána*), лит. *ãtlaikas* 'остаток' — болг. *лек* 'чуточка', лит. *judė̃ti* 'двигать' — болг. *юда* 'дракон', лит. *ožỹs*, *ožìnis* 'козел, козлиный' — ст.-слав. **азьно**, лит. *kriáušė* — болг. *кру́ша* (сербохорв. *кру̏шка*) 'груша', лит. *gerklė̃* 'горло', *gurklỹs* 'зоб, кадык' — болг. *гръклян* (сербохорв. *гр̀кљан*), лит. *ãvinas*,

[19] См.: IV МСС. Материалы дискуссии. Т. II. Проблемы славянского языкознания. М., 1962. С. 436; *С. Б. Бернштейн.* Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 73—75. — К сожалению, полными материалами Иллича-Свитыча мы не располагаем, поэтому в своих дополнениях невольно можем дублировать его наблюдения.

лтш. *àuns* 'баран' — ст.-слав. **овьнъ**, болг. *овéн* (сербохорв. *óван*, словен. *óven*), лит. *mélžiu*, *mélžti* 'доить' — ст.-слав. **мльзѫ**, болг. *мълзя́* 'дою' (сербохорв. *мýзем*, словен. *mólzem*).

Этот перечень можно несколько дополнить: лит. *alsúoti* 'тяжело дышать', *ilsti* 'устать', лтш. *èlst* 'задыхаться, страдать одышкой', 'дуть', *el̃šât* 'глубоко вздыхать' — болг. *лъ̀хвам*, *лъ̀хна* 'подуть, повеять' из праслав. диал. **lъxati*, **lъxnǫti* (представляет интерес как общее исключительно восточнобалтийско-болгарское словообразовательно-семантическое новообразование); лит. *gruzdùs* 'рыхлый, ломкий' — болг. *гръ̀здав* 'бугристый, шероховатый' (Шюц); лтш. *braukts* 'деревянное приспособление для очистки льна' — серб.-цслав. *бруть* 'clavus', болг. *брут* 'железный гвоздь' (Бернекер EW I, 90, Покорный I, 170, Френкель LEW 55); лит. *dýrėti* 'глядеть, подстерегать' — болг. *дúря* 'ищу' (Траутман BSW 56); лит. *glèžti* 'слабеть, делаться мягким', *glẽžnas* 'нежный, вялый' — болг. *глéзя* 'балую, делаю нежным' (Бернекер EW I, 302, Мюленб.-Эндз. I, 626); лит. *gõžti* 'разрастаться; неуклюже шагать' — болг. *гáзя*, сербохорв. *га̏зити* 'переходить, наступать ногами' (Френкель LEW 162); лит. *kíetas*, лтш. *ciêts* 'твердый, жесткий' — болг. *чи́тав*, сербохорв. *чи̏т* 'целый, невредимый' (Бернекер EW I, 158, Траутман BSW 124, Френкель LEW 252); лит. *stãbaras* 'сухой сук' — болг. *стóбор* 'решетка, забор', сербохорв. (стар.) *сто̏бо̑р*, словен. *steber* 'столб' (Френкель LEW 891); др.-прус. *cawx*, лит. *kaũkas*, лтш. *kûkis* — болг. *кук*, *кукир*, *кукер* (балтийско-болгарская мифологическая параллель, Топоров).

Однако, во-первых, в самих диалектах восточной группы южнославянских языков наличие балто-славянских изолекс, по-видимому, неодинаково. Так, специального изучения требует вопрос о выявлении соответствующего материала в собственно македонском и его диалектах. Некоторые балтославянские изолексы, прослеживаемые в болгарском (см. выше), вероятно, никогда не были известны македонским диалектам, другие проникли в них вторично. С другой стороны, теоретически возможно существование на македонской территории таких локальных балто-славянских изолекс, которые в свою очередь неизвестны из болгарского словаря. С этим связана проблема загадочного, на первый взгляд, отсутствия многих балто-славянских изолекс в древних литературных версиях соответствующих языков, например, в старославянском, при наличии их в новоболгарском (точно так же — в древнерусском, в отличие от украинского, белорусского, русского). Причину этого не обязательно искать в позднем появлении таких балто-славянских соответствий. Их возможное отсутствие в древних текстах может объясняться по-другому: иной диалектной основой древней письменной версии, ср. македонскую, а не собственно болгарскую диалектную основу старославянского языка; народным характером балто-славянских изолекс (болгарских, белорус-

ских, украинских), не нашедших отражения в соответствующих древних книжных языках.

Во-вторых, следует обратить внимание на значительность балто-славянских изолекс, сосредоточенных в западной группе южнославянских языков и прежде всего — в сербохорватском словаре, что, как кажется, недооценивают, говоря в первую очередь о балтийско-болгарских лексических связях. Но уже из приводившихся списков явствует участие сербохорватского во многих болгарских соответствиях балтийским словам. Кроме того, известно немалое число только сербохорватско-балтийских изолекс, иногда — со словенскими и некоторыми другими соответствиями, о которых говорится ниже. Вот несколько примеров из цитировавшейся книги Поповича: сербохорв. *кланац* 'ущелье', словен. *klanec* 'лощина, ущелье, деревенская улица, русло ручья' — лит. *klãnas*, лтш. *klans* 'лужа' (Ягич сближал с лит. *kálnas* 'гора'); сербохорв. *брздѝца* 'стремнина' — лит. *burzdùs* 'подвижный'; сербохорв. *ду̏мача* 'глубокая долина', *ду̏ма̄н* 'очень глубокая поперечная долина' — лтш. *duomis* 'пещера, пропасть'; сербохорв. *двизак* 'двухгодовалый баран' — лит. *dveigỹs* 'двухгодовалая скотина'; сербохорв. *гу̂ван* 'жадный, алчный' (**gyvьnъ*) — лтш. *gūt* 'схватить, поймать'; сербохорв. диал. *гла̏да* 'пастушеская хижина из дерева, крытая корой' — лтш. *gàlds* 'доска, стол'; сербохорв. *ку̂к* 'горб' — лтш. *kūkis*, *kūkums* 'горб'; сербохорв. диал. *кору̏тина* 'крупная вытянутая плоскость в карсте' — лтш. *kaṟuôte* 'ложка'; сербохорв. диал. *кукаљ* 'плоскогорье' — лит. *káukolė* 'череп'; сербохорв. *пу̏кӯ* — лит. *baũžas*, лтш. *bauzis* 'безрогий'; сербохорв. *стру̏ка* 'вид' — лит. *rauka*, *raũkas* 'складка'.

И если не все эти сравнения убедительны этимологически, то факт наличия целой группы изолекс, тем не менее, налицо. Сюда же можно добавить еще сербохорв. *гру̏ме̄н* 'ком, комок' (праслав. диал. **grudmenъ* / **grudmy*) — лит. *graumenys* (мн.) 'пустынные места, чащи' (Френкель LEW 164); сербохорв. *гу̏рити се* 'съеживаться, корчиться' — лтш. *guôrît* 'потягивать, вытягивать' (Френкель LEW 177); сербохорв. *кра̏пе* (мн.) 'неровности, шероховатости' — лит. *kárpa*, лтш. *kãrpa* 'бородавка' (Френкель LEW 222); сербохорв. *кр̏ње* (мн.) 'ножны' (сюда же чеш. *krně* 'черенок ножа, лезвие') — лит. *kriaunà* 'рукоятка' (Френкель LEW 296); сербохорв. *сту̏га* 'полый ствол дерева для хранения зерна' — лит. *stuĩgas* 'округлый, овальный' (Френкель LEW 930); сербохорв. *пту̏ћ* 'птенец', словен. *ptìč* 'птица' (рус.-цслав. **пътишть** 'птенец, детеныш') — лит. *putýtis* 'цыпленок' (Траутман BSW 233); сербохорв. *вра̏нић*, словен. *vrânič* — лит. *varnytis* 'вороненок' (Траутман BSW 343); сербохорв. *ву̏чић*, словен. *vôlčič* — лит. *vilkýtis* 'волчонок' (Траутман BSW 359).

Совершенно очевидно, что и этот список не может даже приблизительно претендовать на исчерпывающий перечень балто-славянских изолекс для сербско-хорватского, тем более что по-прежнему нет этимологического сло-

варя сербско-хорватского языка, который бы мог облегчить нашу задачу. Полная инвентаризация южнославянско-балтийских изолекс во всех возможных аспектах (болгарский, македонский, старославянский, сербско-хорватский, словенский) — первоочередная задача исследовательской работы над проблемой состава праславянского словаря. Эта работа должна вестись параллельно с внимательным выявлением всех прочих (спорадических), локальных балто-славянских изолекс.

Интересно, далее, отметить, что в украинском и белорусском материале мы находим соответствия, как правило, именно для локальных балто-славянских изолекс сербско-хорватского (и словенского), а не болгарского. Мы не располагаем пока, естественно, всеми данными, которые давали бы нам право на более категорические утверждения, но уже те наши примеры, которые упоминались в иной связи выше, кажутся достаточно красноречивыми. Ср. сербохорв. *брзд-ѝца* — блр. *бóрзды* — лит. *burzdùs*; сербохорв. *кра̏пе* (мн.), словен. *krápavica* — укр. *коропáвиця*, *корóпа*, блр. *курáпа* — лит. *kárpa*; словен. *menèc* — укр. *мнець*, блр. *мнец* — лит. *minìkas*; сербохорв. *пр̂ид* — блр. *прид* — лит. *priẽdas*; словен. *ogórič* — блр. *угóрыч* — лит. *ungurýtis*; сербохорв. *чѝт* — блр. *чыты* — лит. *kíetas*. Белорусские слова, приводимые здесь, даже если и считать их возможными балтийскими элементами, относятся явно к более древнему слою, чем новые (литовские и др.) заимствования из балтийских языков в белорусском словаре. Кроме того, весьма знаменательно совпадение этих слов с соответствующими южнославянскими. Возможно, мы имеем здесь результат хронологически близких совместных общений части праславянских диалектов с частью балтийских. Нам кажется, что отмеченные белорусско-украинские соответствия локальным балто-славянским изолексам сербско-хорватского имеют определенное научное значение и должны скорее поступить в научный оборот, в этимологические словари и исследования по диалектным отношениям в праславянском.

Есть, по-видимому, много проблематических моментов, затрудняющих однозначную интерпретацию болгарско-балтийских соответствий в словаре в том смысле, в каком ее выдвигают ученые, акцентирующие эти соответствия. Почему, например, при наличии древних польско-(лехитско-)болгарских изоглосс (*Бернштейн*. Очерк... 72—73), польский язык, имея ряд собственных древних и новых лексических соприкосновений с балтийским, не обнаруживает параллелей к балтийским связям болгарского? Ничего похожего на белорусско-украинские соответствия балтийским изолексам сербско-хорватского мы здесь не имеем.

Наконец, можем ли мы, обращаясь к вопросу о пространственной проекции изучаемых нами лексических отношений, уверенно помещать праболгарские диалекты на севере славянской территории, по границе с бал-

тийскими, а прасербско-хорватские и прасловенские — на юге праславянской территории, в тылу у праболгарских? Ставя этот, может быть, все еще преждевременный вопрос, мы переходим к последней, внешней задаче своего доклада.

6. Возможные выводы о диалектном членении праславянского языка

Опираясь по возможности равномерно на внутренние и внешние изолексы, мы попытаемся представить себе древние диалектно-территориальные отношения в праславянском, в основном определяя их относительно одной и той же исходной точки — балто-славянских лексических связей (понимая последние в описанном выше смысле детализованно).

Использование лексических данных в вопросах классификации и диалектного членения языков все еще остается слабым местом языкознания, и причем не одного только славянского [20]. Однако нельзя не отметить, что опыты выявления характера древних языковых отношений, опирающиеся в значительной степени на лексику, уже предпринимались неоднократно на материале различных индоевропейских языковых территорий. Траутман специально широко использует данные словаря и их этимологизацию как показатели старых диалектных отношений внутри балтийского; он разбирает прусско-литовские, прусско-латышские лексические связи, элементы только прусские, родственные формам за пределами балтийского, — в германском, славянском и т. д. Исключительно прусских элементов словаря Траутман приводит, судя по списку, 36 [21]. Эта группа слов служит веским подтверждением обособленного положения древнепрусского сравнительно, например, с восточнобалтийскими языками. Этот опыт весьма поучителен и может быть использован в работе над проблемой состава праславянского словаря, праславянского диалектного членения. Много полезных аналогий такого рода можно найти в работах Френкеля и особенно Порцига, который использовал общность целых групп лексики как важный критерий определения диалектных отношений внутри индоевропейского [22].

Работа над славянской лексикой рождает уверенность, что общность определенного количества старых слов и словообразовательных особенностей

---

[20] Ср. *A. Zajączkowski*. Leksyka języków tureckich // Sprawozdania z prac naukowych wydziału nauk społecznych PAN. Rok II. Zesz. l. Warszawa, 1959. S. 60.

[21] *R. Trautmann*. Die altpreussischen Sprachdenkmäler. 2. Teil. Göttingen, 1910. S. IX.

[22] *E. Fraenkel*. Die baltischen Sprachen. Heidelberg, 1950; *W. Porzig*. Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954. — Так, 32 италийско-германские лексические и словообразовательно-морфологические изоглоссы говорят, по мнению Порцига, о древнем соседстве этих диалектов (S. 116).

позволяет судить о древних отношениях самих диалектов. Более того, исследуя проблему состава праславянского словаря, нельзя не обращаться к вопросам диалектного членения с тем, чтобы снова возвращаться к исходной и основной для нас проблеме. Схематическая пространственная проекция диалектных отношений праславянского не является здесь нашей главной целью, но, заключая в себе некоторые объективные моменты, конкретизирует наши дальнейшие поиски в плане проблемы состава словаря, облегчает постановку новых вопросов.

Предлагаемая схема, естественно, многим обязана научной традиции, что мы с благодарностью признаем. Некоторые звенья размещены в ней более условно (впрочем вполне традиционно), будучи менее обеспечены новым материалом сравнительно с другими звеньями. Есть, однако, и отличия. За ориентир взят балтийский и локальные лексико-словообразовательные изоглоссы (изолексы), тянущиеся от него к отдельным частям славянского. Они вынудили нас принять более интимную близость сербско-хорватско-словенского и балтийского (рядом с болгарским и македонским). Упомянутый рубеж между лужицкими языками получил также графическое выражение, как и связи лужицких с сербско-хорватским, а также нижнелужицкого — с украинским и белорусским (последнее здесь отмечается как будто впервые).

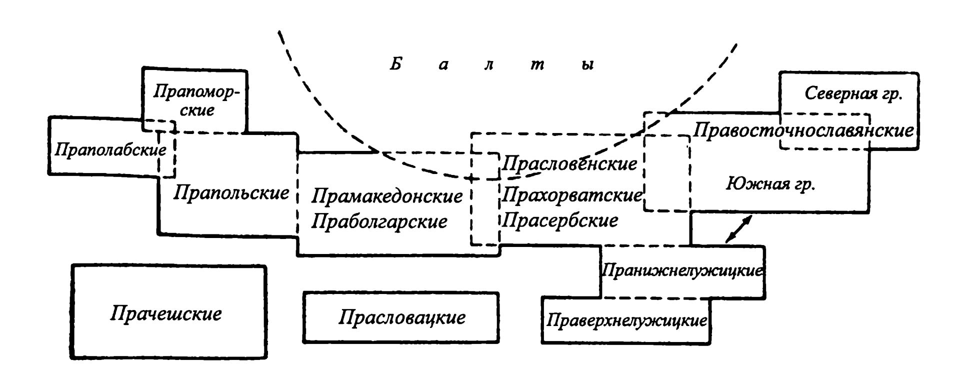


Схема праславянского членения начала нашей эры

Лексико-словообразовательные общности в отношениях с балтийским у сербско-хорватско-словенского и украинского / белорусского тоже повлияли на их расположение в схеме. Имело смысл также отразить старые лексико-словообразовательные различия между древним югом и севером восточнославянских диалектов. Дальнейшие уточнения схематической пространственной проекции праславянского диалектного членения мы надеемся получить от продолжающейся систематической работы над составом праславян-

ского словаря, а также от изучения топонимических ареалов и их общностей (сербско-хорватско-украинской; словенско-восточнославянской и т. д.).

В заключение подчеркнем, что в предлагаемой пространственной схеме, как и во всей методике изучения состава праславянского словаря, основным критерием для нас был праславянский лексический диалектизм, древние локальные группы словообразовательно-лексических изоглосс (изолекс).

О СОСТАВЕ ПРАСЛАВЯНСКОГО СЛОВАРЯ

(Проблемы и результаты)

Этот доклад продолжает и конкретно иллюстрирует доклад на ту же тему, предложенный мной для предыдущего съезда славистов. Вместе с тем настоящий доклад связан также с моим сообщением на недавнем симпозиуме по этимологии, особенно со второй частью упомянутого сообщения, которая ввиду ограниченного времени не была произнесена на симпозиуме, но отражена в тезисах [1]. В этих тезисах намечена попытка подойти к проблеме своеобразия славянского словарного состава на основании опыта работы над «Этимологическим словарем славянских языков». При этом славянский словарный состав в его древнейшей части понимается как продолжение лексики части индоевропейских диалектов, древние отношения которых друг к другу и к прочим индоевропейским диалектам ясны для нас лишь в малой степени. Своеобразие древнего славянского словарного состава изучается в его различиях, а также общностях с другими индоевропейскими диалектами, в том единственном сочетании отличного и общего, которое присуще только славянскому лексическому фонду. Сказанное определяет и методику изучения своеобразия состава праславянской лексики, которая состоит прежде всего в идентификации изоглосс, в том числе — изолекс и словообразовательных изоглосс. Эта методика предполагает обязательный учет ареального аспекта, причем возможно обнаружение целых пучков древних сепаратных изолекс.

---

[1] См.: *О. Н. Трубачев.* Работа над «Этимологическим словарем славянских языков» и проблема своеобразия славянского словарного состава // Международный симпозиум «Проблемы славянских этимологических исследований в связи с общей проблематикой современной этимологии». Программа. Тезисы докладов. М., 1966. С. 8—9 (ротапринт). Полный текст доклада см.: ВЯ. 1967, № 4.

Одним из существенных аспектов методики исследования славянского словарного состава является также славянская лексическая семантика.

Изоглоссный метод как способ изучения древнего словарного состава, а также древнего диалектного членения получил признание в индоевропеистике. В связи с этим сошлемся здесь (помимо известного опыта Порцига о членении индоевропейского) на Кноблоха, который цитирует интересное высказывание Зольты: «Прежде всего дает интересные результаты сравнительное описание словарного состава родственных языков. Эти частичные соответствия, изоглоссы представляют собой не только принцип классификации, но и организующую основу индоевропейского»[2].

В отношении состава праславянского словаря мы вынуждены констатировать, что, во-первых, для его исследования изоглоссный метод прежде практически почти не применялся и что, во-вторых, почти совершенно не выявлено значение данных о составе праславянского словаря для изучения древнего диалектного членения славянского языкового пространства. В подтверждение этих констатаций достаточно сослаться на некоторые работы последних лет. Х. Бирнбаум в своем докладе о праславянских диалектах на конференции по индоевропейскому языкознанию в Калифорнийском университете в апреле 1963 г. признает, что решающими критериями при определении праславянских диалектов оказываются фонологические. «Что касается лексических критериев, включая праславянские заимствования из других древних языков или языковых групп — таких, как иранский, греческий и германский, наши знания все еще слишком фрагментарны, чтобы позволить нам делать решительные выводы. Однако мы можем ожидать важных дополнительных критериев для классификации праславянских диалектов, как только станут доступными более полные соответствующие данные»[3]. При этом автор имеет в виду труды М. Фасмера и В. Кипарского о заимствованиях в славянском, книгу Ф. П. Филина «Образование языка восточных славян» (1962 г.). Работу Филина Бирнбаум характеризует как «первый опыт систематизации лексических данных для классификации праславянских диалектов». Действительно, все авторы до сих пор почти исключительно строили свои концепции праславянского диалектного членения на фонетических и фор-

---

[2] *J. Knobloch.* Concetto storico di protolingua e possibilità e limiti di applicazione ad esso dei principi strutturalistici «Le “protolingue”» // Atti del IV convegno internazionale di linguisti tenuto a Milano nei giorni 2—6 settembre 1963 presso il Sodalizio Glottologico Milanese. Milano, 1965. P. 148.

[3] *H. Birnbaum.* The dialects of Common Slavic // Ancient Indo-European dialects. Proceedings of the Conference on Indo-European linguistics held at the University of California. Los Angeles, April 25—27, 1963 / Ed. by H. Birnbaum and J. Puhvel. Berkeley; Los Angeles, 1966. P. 158.

мальных критериях. В результате своего критического обзора древних фонологических и морфонологических признаков праславянских диалектов Бирнбаум делает вывод, что праславянскому диалектному членению соответствуют исторические диалектные группировки: I — восточнославянская; II — западнославянская (лехитская, серболужицкая, чешско-словацкая); III — южнославянская (словенско-сербохорватская и македонско-болгарская). Лексические данные, по мнению этого ученого, мало что меняют в этой картине ввиду своей неполноты. Существенно следующее высказывание автора: «Подводя итоги, можно сказать, что традиционное трехчленное деление соответственно на восточные, западные и южные славянские языки сохраняет свою силу в свете праславянской диалектологии». К сожалению, именно недооценка показаний лексики и чрезмерное доверие к фонетическим моментам (среди которых немало поздних по своему распространению) помешали автору выполнить свою задачу, а полученные им результаты не могут нас удовлетворить.

Г. Шевелев в своем труде по доистории славянского [4] также строит теорию праславянского диалектного состава на данных фонетического порядка. Раннему диалектному членению праславянского этот ученый посвящает специальную диаграмму, которая при ближайшем ознакомлении оказывается не более как модификацией исторического трехчленного деления славянских языков. В число критериев, используемых им при этом, включается, например, рефлекс сочетания *tj*, *dj*. Однако совершенно ясно, что здесь может идти речь об относительно позднем фонетическом процессе, который может в порядке ареальной инновации сближать вторично отдельные совершенно обособленные языки (ср. переход *tj* > *č*, *dj* > [*d*]*ž*, объединяющий восточнославянские языки и современный литовский в значительной части его диалектов). Как бы то ни было, это явление не должно служить критерием при определении праславянского диалектного членения.

Новый курс введения в сравнительно-историческое изучение славянских языков, выпущенный украинскими лингвистами, уделяет лексике серьезное внимание. Существенно, следующее высказывание авторов: «Очевидно, праславянская лексика в последние века своего существования, приблизительно в III—IV вв. н. э., заметно дифференцировалась в диалектном отношении. Однако диалектная дифференциация праславянской лексики изучена слабо» [5]. Несмотря на то, что авторы указывают на частоту несовпадения лексических изоглосс с фонетическими и грамматическими, они

---

[4] *G. Y. Shevelov.* A prehistory of Slavic. The historical phonology of Common Slavic. Heidelberg, 1964. P. 308.

[5] Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янських мов / За редакцією О. С. Мельничука. Київ, 1966. С. 535.

группируют характерную лексику в соответствии с тремя традиционными группировками — южными, западными и восточными славянскими языками. При этом авторами «Введения» допускаются отдельные неточности (так, польск. *tani* определяется как только польское слово, упущено южнославянское соответствие севернославянскому названию лебедя **kъlpь* — сербохорв. *kuf*, Дубровник).

Авторы некоторых других новых публикаций из этой области акцентируют признаки иного древнего диалектного членения славянской языковой области — на две зоны, что также имеет свою историю, входить в подробности которой здесь нет возможности (см. соответствующие сведения в работе Бирнбаума, цитированной выше). Одним из последних повторил точку зрения о северо-западно-юго-восточном древнем делении славянского Б. В. Горнунг[6], который, однако, не сообщил при этом никакой сколько-нибудь подробной новой аргументации, в частности, из лексики. В отличие от него Ф. П. Филин, который также говорит о двух древних диалектных зонах славянской области — северной и южной, пытается проверить эту классификацию на значительном количестве лексических данных[7]. Ф. П. Филин не скрывает от читателя, что его соображения на этот счет носят предварительный характер. Им собран при этом довольно большой материал, правда, в массе своей уже известный из предшествующей литературы. Автор вполне отдает себе отчет в том, что поправки к его взглядам возможны почти на каждом шагу. Для примера укажем одну из них: Ф. П. Филин считает, что рус. *брюхо* и родственные слова известны только в севернославянских языках, однако это распространенное мнение давно оспорено; ср.: болг. *брюк*, *брюка*, *брука* 'опухоль'[8]. Более принципиальные возражения может вызвать мнение Ф. П. Филина о том, что лексические диалектные различия — это лишь продукт распада первоначального единства и что, например, отсутствие ряда древних севернославянских слов в южных славянских языках надо трактовать как утрату. На самом деле необходимо часто считаться с возможностью изначального отсутствия тех или иных слов.

В своем докладе для V Международного съезда славистов я как раз интересовался обеими сформулированными мной выше задачами: 1) изучением состава праславянского словаря изоглоссным методом и 2) возможностью реконструкции древнего славянского диалектного членения на основе дан-

---

[6] *Б. В. Горнунг.* Из предыстории образования общеславянского языкового единства // Славянское языкознание. V МСС. Доклады советской делегации. М., 1963.

[7] *Ф. П. Филин.* Образование языка восточных славян. М., 1962. С. 205 и след.

[8] *И. Леков.* Малко известни български съответствия на западнославянски (евент. и руски) думи // Slavia Occidentalis. Т. 12. 1933. С. 138 и след.

ных о составе праславянского словаря[9]. Упомянутый доклад для предыдущего съезда славистов был задуман как сугубо предварительная публикация, в которой много места вначале занимают общие вопросы, основные же задачи определены не столь четко. Впрочем, уже там собрано довольно много очевидно древнего диалектного лексического материала, и, кроме того, намечена гипотетическая схема праславянского диалектного членения начала н. э.[10]. Помимо локальных славянско-балтийских изоглосс, в этой схеме получили выражение по-видимому древние связи лужицких языков с сербохорватским и словенским, а также — южной подгруппой правосточнославянских диалектов (украинский, белорусский). Задача нынешнего доклада, который далек от претензии дать сколько-нибудь исчерпывающее решение поставленной обширной проблемы, усматривается также в том, чтобы обобщить некоторый новый материал, связанный с отдельными моментами вышеописанной схемы.

Но прежде, чем мы обратимся к материалу и его характеристике, важно задержаться на выяснении некоторых деталей методики отбора самого материала, на источниках отбора. К этому нас побуждают ответы на вопрос, предложенный V съезду славистов и имеющий самое прямое отношение к теме настоящего доклада: *До какой степени и каким образом можно восстановить лексический фонд праславянского языка? Каким путем следует решать вопрос о лексических диалектных различиях праславянского языка?*[11]. Нам известно восемь опубликованных ответов на названные вопросы. Ответы исходят от славистов разных стран (С. Б. Бернштейн, Р. Экерт, В. М. Иллич-Свитыч, О. П. Критенко, В. В. Мартынов, Ф. Славский, Х. Шустер-Шевц). Можно сказать, что в этих ответах в целом затронуты разные стороны проблематики изучения праславянского словарного состава. Авторы выражают уверенность в том, что говоры праславянского, по крайней мере в поздний период, различались лексически и что память об этих древнедиалектных различиях в каком-то виде сохраняется в каждом славянском языке. Часть авторов высказывала мнение, что для решения проблемы диалектного членения праславянского языка не следует использовать лексический материал современных литературных языков, расписывать данные толковых словарей общенародных языков, а наоборот, надо проводить сравнение и реконструкцию

[9] *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V МСС. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 159 и след.

[10] *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V МСС. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 195.

[11] Славянска филология. Материали за V Междунар. конгрес на славистите. Т. I. Отговори на въпросите за научната анкета по езикознание. София, 1963. С. 59 и след.

лексических данных на уровне диалектной лексики (Бернштейн, Иллич-Свитыч). Другие авторы говорят о необходимости учета и диалектных, и исторических данных для реконструкции праславянского словарного состава, далее — о том, что праславянскими следует считать преимущественно немотивированные образования, производные старого типа, в том числе — формы ограниченного распространения, причем ограниченность такого рода могла характеризовать также праславянский лексический состав (Славский). Наконец, некоторые исследователи видят путь к праславянской лексической реконструкции в специальных исследованиях, посвященных семантическим группам лексики (Экерт, Шустер-Шевц).

В ответах на вопросы, между прочим, говорится, что материал современных литературных языков может повести по неправильному пути, поскольку литературные языки содержат многочисленные инославянские элементы (например, в русском — старославянские элементы, в болгарском — русские, в польском — чешские и т. д.). Но диалекты подчас не в меньшей мере насыщены иноязычными элементами; так, например, не только украинский литературный, но и украинский народный, диалектный язык пронизаны множеством инославянских — польских лексических элементов. Иноязычные, в том числе — инославянские, элементы лексики общенародного языка в большинстве своем поддаются выявлению, кроме того, мы, как правило, лучше знаем историю письменного, литературного языка, чем историю диалекта. Но проблема в действительности еще сложнее. Всякий, кто знает лексикографию славянских языков, должен отдавать себе отчет в дифференциальном характере большинства славянских диалектных словарей, а следовательно, учитывать отсутствие в них стандартной лексики. Из этого отсутствия можно сделать неправильный вывод, что в говорах не было тех или иных слов. Значит, осторожное использование словарей общенародных и литературных языков необходимо и неизбежно для достижения наших целей. Далее, словарей народных говоров по-прежнему недостаточно, тогда как большое количество народных слов зафиксировано в словарях общенародного языка. В этой ситуации нам кажется уместным избрать своим принципом известное изречение, слегка видоизменив его: nous prenons notre bien où nous le trouvons. В качестве курьезного примера того, как местное слово может быть почерпнуто подчас в самых неожиданных источниках, сошлюсь на то, что покойный С. И. Ожегов рассказывал мне, как они с А. Б. Шапиро не могли найти известное им слово *скрижапель* ‘название сорта яблок’ ни в одном словаре и поэтому решили его поместить в... «Орфографическом словаре русского языка» [12]. Этимолог не должен зарекаться искать пищу для вдохновения даже в орфографических словарях.

[12] Орфографический словарь русского языка. 4-е изд., стереотип. М., 1959. С. 980.

Состояние славянской лексикографии просто не позволяет исследователю древнего состава лексики славянских языков отказываться от использования словарей литературных и общенародных языков. Сказать, что это использование должно быть критическим, — значит, впасть в трюизм, потому что — разве требование критического отношения отпадает для диалектных словарей? Трудно говорить серьезно о решении проблемы праславянского наследия в польской лексике без помощи Варшавского словаря, и это — при условии, что польская диалектная лексикография нового времени непрерывно обогащается полными (недифференциальными) диалектными словарями!

Нижеследующее является изложением данных, полученных нами в некоторых, в основном уже опубликованных конкретных исследованиях. Эти материалы, с одной стороны, продолжают положения, наметившиеся и разрабатывавшиеся уже в предыдущем докладе, с другой стороны — существенно дополняют прежние наши положения. В настоящем докладе, ограниченном по объему, пришлось довольствоваться кратким изложением и обобщением результатов специальных исследований, проведенных за период между двумя съездами славистов. Полагая эту задачу достаточной для данного сообщения, мы вынуждены почти целиком отказаться от дополнительного выдвижения и обоснования здесь новых этимологий и идентификации. Как и в предыдущем докладе, основное внимание ниже посвящается внутриславянским и славянско-неславянским изоглоссам в лексике. В первом случае обобщен некоторый дополнительный материал по изоглоссам серболужицкого, во втором случае речь идет о новом славяно-иранском материале (в докладе для предыдущего съезда славистов из внеславянских связей на первый план выдвинуты балто-славянские изоглоссы, а балто-славянские лексические отношения в целом избраны в качестве исходной точки определения древних диалектно-территориальных отношений в самом славянском).

Напомним, что в работе «О праславянских лексических диалектизмах серболужицких языков» [13], а также дополнительно — в упоминавшемся уже докладе для V международного съезда славистов нами была предпринята попытка на основании сплошного обследования крупнейших словарей этих языков и прежде всего — нижнелужицкого словаря Муки определить группу действительно древних и локально ограниченных в славянском мире слов этой языковой группы. Разумеется, дело не может здесь обойтись без последующих поправок и уточнений; ср. высказывавшиеся затем в печати мнения Э. Айхлера (в частности, о н.-луж., в.-луж. *waka* ‘жук, червь’), Л. И. Ройзензона (о н.-луж. *napowaš* ‘поить’), однако замечания последнего не показались мне достаточно убедительными. Наблюдения над серболужицкими лексиче-

[13] См.: Серболужицкий лингвистический сборник. М., 1963. С. 154 и след.

скими диалектизмами в рамках всего славянского языкового пространства дали повод для выделения ряда видимо древних изолекс, связывавших лужицкие языки, с одной стороны, с украинским и белорусским, с другой стороны — с западной группой южнославянских языков, прежде всего — сербохорватским [14]. Уже эти наблюдения и факты, которые мы здесь не будем повторять вновь, подводят нас к постановке вопроса о степени древности вхождения серболужицких языков в состав западнославянской языковой группы, поскольку накапливается все больше древних словарных серболужицких данных, коренным образом расходящихся с синонимичной лексикой остальных западнославянских языков.

Конечно, до тех пор, пока мы не получим подробного этимологического словаря обоих лужицких языков, наши результаты в этой области будут весьма далеки от полноты. Дальнейшее исследование этимологии лексики других славянских языков так же существенно для данной многосторонней проблемы, как и возможно более полное выявление славянского словарного состава в целом. Последнее даст нам право увереннее, чем сейчас, судить о составе и характере изоглосс, особенно частных изолекс, на которых основывается концепция о внутриславянских связях серболужицких языков. В связи с этим позиция серболужицкого должна рассматриваться как один из аспектов всей совокупности древних славянских междиалектных отношений, и по ряду признаков она рассматривается в качестве одного из наиболее показательных аспектов этих отношений. При этом мы исходим из того, что (1) налицо историческая связь и соседство серболужицких языков с западнославянскими и (2) немалое количество древних общностей и ранних лексико-словообразовательных инноваций, сохраняющих память о совершенно иных связях славянских диалектов. Сознательно оставляя в стороне поздние инновации и новые заимствования и оперируя только древней лексикой и ранними заимствованиями, я сделал в своей книге «Ремесленная терминология в славянских языках» вывод о вторичной окцидентализации лужицких языков, «которые рядом древних терминологических связей ближе связаны с востоком или югом славянства (...*češlь, *tьrdlica, *bľudo, *skъtьľa, *ěstьje, *vygnь)» [15]. Последние данные интересны тем, что получены в результате изучения одной терминологической области, что как бы повышает вероятность соответствующих выводов, отводя обвинение в случайности. Между прочим, особенно четким оказывается рубеж и изоглоссное расхождение между серболужицким и таким ярким пред-

[14] *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря. С. 188—189.

[15] *О. Н. Трубачев.* Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966. С. 391—392.

ставителем западнославянских языков, как польский. Это заключение тем важнее, что современный облик серболужицких, в частности — нижнелужицкого, сильно нивелирован в своих фонетических особенностях в сторону близости с польским и другими соседними западнославянскими. Изоглоссное расхождение между серболужицким и польским выражается не только в том, что серболужицкий участвует в ряде изоглосс, не захватывающих польский язык, но еще и в том, что в изолексах, характерных прежде всего для польского, серболужицкий не участвует (ср. ниже о польско-иранских изоглоссах).

Важно иметь в виду, что изоглоссные связи серболужицкой лексики с южными и восточными славянскими языками носят достаточно древний характер, их можно трактовать на уровне праславянского (см. выше), вместе с тем — это, как правило, совместные инновации. Они не исчерпываются названными случаями; ср. хотя бы такую верхнелужицко-словенскую изоморфу, как верхнелужицкий глагольный формант *-ny*(*ć*) — при словенском *-ni*(*ti*). Эти формы обоих языков функционально соответствуют в остальных славянских языках тому, что может быть объединено вокруг праслав. **-nǫ(ti)*: рус. -*ну*(*ть*). Еще Я. Эндзелин (1912 г.) показал инновационно-ассимилятивную природу этого **-nǫ*(*ti*) < *-nou-/-neu-*, причем эти исходные формы подтверждаются и средствами внутренней реконструкции, и внешними сравнениями. Существенно, что в.-луж. *-nyć* и словен. *-niti* не могут быть объяснены ни из праслав. **-nǫti*, ни из предшествовавшего ему *-nu-*. Верхнелужицкий и словенский форманты можно понимать только как продолжение особого праславянского **-nyti* < *-nū-*, видя здесь общую лужицко-словенскую инновацию ранней эпохи. Речь идет о парах типа в.-луж. *hinyć* : словен. *giniti*, в.-луж. *wjadnyć* : словен. *veniti*, в.-луж. *sknuć* / *schnyć* : словен. *sahniti*, в.-луж. *zběhnyć* : словен. *dvigniti* (и др.), которые только весьма условно могут быть возведены к праславянским реконструкциям **gybnǫti*, **vędnǫti*, **sъxnǫti*, **dvignǫti*. Словенские формы объясняли местным переходом из одного глагольного класса в другой [16], но их едва ли можно объяснять без учета аналогичных лужицких форм. Последние также трудно считать поздними новшествами, так как для серболужицкого характерно, наоборот, вытеснение древнего *-y-* более поздним *-u-* в различных морфологических категориях и лексических случаях.

В работе «Из славяно-иранских лексических отношений» [17] мной была определена задача — противопоставить прежнему традиционному изучению

---

[16] *R. Nahtigal.* Slovanski jeziki. 2-a izd. Ljubljana, 1952. S. 279—280. Точно так же, впрочем, кажется недостаточным предположение в словенских и верхнелужицких формах «чисто фонетических изменений» (см.: Вступ до порівняльно-історичного вивчення слов'янских мов / За редакцією О. С. Мельничука. Київ, 1966. С. 236).

[17] См.: Этимология. 1965. М., 1967.

этих отношений как связи монолитного славянского и монолитного иранского новый аспект исследования контактов праславянского диалектного пространства и древнеиранского диалектного пространства. Один из выводов названной работы гласит, что (вопреки распространенному мнению) «восточнославянско-иранские контакты ни в коей мере не следует отождествлять с древнейшими славяно-иранскими отношениями». Самым же любопытным, пожалуй, наблюдением оказалось выявление ряда древних западнославянских (преимущественно польских) лексических связей с древнеиранским словарем. В терминах праславянского и соответственно — древнеиранского эти лексические пары выглядят следующим образом: **obačiti* — **abiāxšaya-*, **patriti* — **pātraya-*, **šatriti* — **xšatraya-*, **dъbati* — **dbaya-*, **trъvati* — **tarvaya-*, *tušiti* — **tuš-*, **pitvati* — **paitva-*, **žьvavъjь* — **ǰuvaya-*, **počvara* — **pativāra*, **rarogъ* — **vāragna-*, **gъpanъ* — **gupāna-*, **katъ* — **kāta-*. Славянские члены этих пар представляют собой очевидные диалектизмы праславянской лексики, реконструируемые в основном на базе польских слов *baczyć*, *patrzyć*, *szatrzyć*, *dbać*, *trwać*, *tuszyć*, *pitwać*, *żwawy*, *poczwara*, *raróg*, *pan*, *kat*. Это дало основание обозначить данную проблему древних лексических связей как polono-iranica. Для характеристики праславянских лексических, а тем самым — диалектных взаимоотношений позволю себе — особенно в связи с затронутым выше серболужицким вопросом — привести еще одно суждение из своей упомянутой работы: «Из западнославянских к части случаев polono-iranica примыкает только чешский (со словацким), с другой стороны, важно иметь в виду, что в polono-iranica практически почти не участвуют серболужицкие языки, что соответствует уже полученным в других работах результатам исследования праславянского диалектного лексического состава». И, как в других уже рассмотренных выше случаях, серболужицкие языки, отклоняясь от схождений polono-iranica, обнаруживают подчас также и здесь особые связи с другими славянскими языками, не входящими в западнославянскую группу. Достаточно назвать в качестве примера тот факт, что серболужицкие языки, не зная формы, близкой польск. *trwać*, знают, напротив, соответствующую синонимичную форму южнославянского типа: в.-луж. *trać*, н.-луж. *traś* < **trajati*; ср. болг. *тра́я* ‘продолжаться, длиться’.

Точная локализация выявленных польско-иранских лексических контактов в древности, при всей ее очевидной важности для нашей более общей проблемы, по-прежнему затруднительна для нас, однако это еще не означает, что такая локализация никогда не может быть определена. Равным образом это не означает, что ввиду особой трудности локализации упомянутых контактов в географическом пространстве говорить о них вообще не представляется возможным. Существует мнение, выдвинутое польскими славистами, что польский язык дольше других славянских оставался в пределах, близких

к древней славянской родине. Существуют также указания на иранские (скифские) следы на польской территории. Вероятно, это нужно иметь в виду при осмыслении и историко-географической проекции охарактеризованных вкратце выше схождений polono-iranica. Но не исключено, что в действительности все было гораздо сложнее и что здесь повлияли различные другие неизвестные нам факторы. Но уже и при теперешнем состоянии наших познаний в этой области мы не имеем никаких оснований недооценивать того знаменательного обстоятельства, что эта очевидно древняя группа славяно-иранских словарных соответствий не распространилась практически за пределы западнославянских языков, что само по себе надежно свидетельствует о глубоких различиях, об известной разобщенности между праславянскими диалектами. Наконец, часть современных западнославянских языков, а именно — серболужицкие, вообще не охвачена описанными соответствиями. Изоглоссная характеристика словаря серболужицких языков неуклонно выводит эти языки из занимаемой ими в историческую эпоху позиции в составе западнославянской языковой группы. Таким образом, тот вывод, что серболужицкие языки стали западнославянскими лишь вторично, можно считать основным результатом, постепенно подкрепляемым с разных сторон новым материалом из области древней лексики и словообразования как по линии внутриславянских изоглосс, так и по линии славянско-неславянских (в данном случае — славяно-иранских) изоглосс. При этом речь идет о таких глубоких диалектных перемещениях, которые охватывают практически все ветви современной славянской семьи языков в их древнем состоянии (ср. то, что говорилось ранее о южных и восточных связях древней серболужицкой лексики).

Поведение польско-иранских лексических изоглосс внутри древнего славянского языкового пространства, с одной стороны, и сепаратные связи серболужицкого словаря — с другой (и то и другое — в рамках одной и той же исторической западнославянской группы), с разных сторон свидетельствует о существовании в праславянской древности таких глубоких диалектных рубежей и таких тесных связей, которые одинаково трудно отождествить как с традиционной трехчленной классификацией, так и с традиционной двучленной классификацией славянских языков.

Выше речь шла о разных сторонах проблематики изучения состава праславянского словаря, о методике изучения (изоглоссы лексического и словообразовательного характера, пучки изоглосс, ареальный, географический аспект изучения состава праславянского словаря, данные о составе праславянского словаря и праславянское диалектное членение, внутриславянские и славянско-неславянские лексико-словообразовательные изоглоссы). Область славянско-неславянских изоглосс лексического и словообразовательного характера принадлежит к числу таких проблем индоевропейской этимологии и

ареальной лингвистики, которые надлежит еще всемерно разрабатывать. Здесь предстоит сделать еще очень много по пересмотру старого и введению в обиход нового материала. Помимо высокого специального интереса, славянско-неславянские изоглоссы представляют важность и для изучения проблемы своеобразия славянского словарного состава на фоне широких индоевропейских сравнений. Мы далеки от мысли принимать весь праславянский за единицу на том лишь основании, что мы вступаем в область с такими масштабами, где внутриславянские различия казались до сих пор величиной незначительной. Напротив, внимательное выявление древних внутриславянских диалектизмов лексики и словообразования неоднократно убеждает нас в их несводимости к чему-то первоначально единому. Значит, в славянско-неславянских лексико-словообразовательных идентификациях сохраняют свое значение сепаратные славянско-неславянские изоглоссы, охватывающие часть славянского языкового пространства, хотя, разумеется, есть немало примеров общеславянского распространения явлений, типологически или генетически близких явлениям в других индоевропейских языках. Здесь также многое еще не обследовано достаточно основательно.

В виде примера можно сослаться на близость латинских отглагольных существительных на *-tio* (*-tionem*) и славянских отглагольных существительных на *-tьje*. Эта близость выглядит как нечто самоочевидное даже с точки зрения элементарной грамматики, и для такого мнения в общем есть основание, хотя как будто в научном плане это явление исследовано лишь в малой степени. Несколько слов об этой латинско-славянской параллели. Славянский именной отглагольный формант *-tьje* (ср. ст.-слав. **прикѩтик**) может быть условно реконструирован как и.-е. *-t̯iom* / *-tii̯om*, с другой стороны — регулярность образований на *-tьje* на славянской почве и их, по всей видимости, производность с формантом *-je* от соответствующих инфинитивных основ (ср. ст.-слав. **прикѩти**) заставляют расценивать имена на *-tьje* как славянское новообразование. Балтийский, знающий инфинитивы близкой формации (**-tēi*), не имеет таких расширенных именных форм. Напротив, латинский именной формант для образования отглагольных существительных *-tio* (ср. лат. *emptio*, род. п. *emption-is*, вин. п. *emption-em*), помимо функциональной и формальной близости, также может продолжать и.-е. **-t̯iom* (средний род, перестроенный затем в латинском по женскому склонению). Славянский и латинский форманты могут оформлять этимологически родственные глагольные основы, давая близкие по значению имена: ст.-слав. **при-кѩтик** 'прием' и лат. *emptio* 'купля' по сути дела объединяются общей исходной формой производного характера **emtii̯om* < **em-tii̯om*. Таким образом, можно говорить если не об общем новообразовании, то, по крайней мере, об общем словообразовательно-морфологическом параллелизме двух индоевропейских диалектных

групп. Широкий индоевропейский подход к славянским отглагольным именам на -*(t)ьje* приносит некоторые новые возможности их типологической интерпретации. Так, в старославянском глагольные существительные этого рода функционально близки инфинитивам (**пропѧтиѥ** : **пропѧти**), что как бы усиливает очевидность их словопроизводной связи. Но в латинском близкие имена образованы при отсутствии соответствующих инфинитивов славянского типа, что заставляет видеть деривационную основу в других категориях — супине, страдательном причастии прошедшего времени (*emptio*: *emptum*, *emptus*). При этом речь идет о более архаических (чем инфинитив) категориях, представленных как в латинском, так и в славянском, кроме того, только этим путем (от соответствующего причастия) можно объяснить славянские производные на -*пьje*.

Представление о составе праславянского словаря и о его своеобразии в сравнении с лексикой других индоевропейских языков должно быть основано также на изучении семантической характеристики исследуемого словарного состава. При этом имеется в виду лексическая семантика, выявление ее исторической эволюции, прослеживание с помощью этимологии на славянском материале как более общих семантических универсалий, так и оригинальных особенностей. Одним примером из этой области я хотел бы завершить свой доклад.

Речь идет о новой этимологии славянского слова **jьnьjь* (м.), **jьnьje* (ср.); рус. *иней* и родственные. Я объясняю это слово как -*i̯o*-производное от числительного **jьnь* 'один', причем название инея обнаруживает гипотетически реконструируемую семантику 'один мороз, первый мороз'. Такое истолкование, кажется, вполне убедительно в отношении реалии: иней обычно появляется до того, как ляжет снег и ударит настоящий мороз. Так можно объяснить и лат. *pruīna* 'иней' < и.-е. **pr̥u̯-* 'первый'. Иначе — и противоречиво — о лат. *pruīna* см.: Вальде—Гофман[18] (хорватское, чакавское слово *prvina* 'иней' заимствовано из романского). Древневерхненемецкое, древнесаксонское *frost*, англосаксонское *forst* 'Frost, 'мороз' лучше объяснять по аналогии славянского названия инея — из герм. **frusta-* 'первый', сюда же англ. *first* 'первый', нем. *Fürst* 'князь, государь'. Таким образом, нем. *Frost* < **frusta-* 'первый (мороз)'.

Сравнения слав. **jьnьjь* 'иней' и нем. *Eis* 'лед' надлежит пересмотреть.

[18] *A. Walde.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch / Herausgegeben von J. B. Hoffmann. 3. Aufl. Bd. II. 1954. S. 378—379.

‘МОЛЧАТЬ’ И ‘ТАЯТЬ’

О необходимости семасиологического словаря нового типа

Если справедливо, что фонетико-морфологический и словообразовательный критерии составляют основу любой этимологии, то почти столь же справедливо будет считать, что ими не исчерпывается этимология. Практика этимологического исследования показывает, что даже эти, названные нами основные критерии этимологического исследования применяются наиболее удачным образом в большом количестве случаев при учете ряда условий, в подробное описание которых мы здесь не можем входить. Для нас представляет здесь актуальный интерес то, что может быть естественнее всего определено как семасиологическая сторона этимологии. Трудность этого аспекта этимологического исследования состоит, как известно, в том, что именно здесь мы вынуждены до сих пор (и, видимо, долго будем впредь) основывать свои построения целиком на здравом смысле. Если сравнить это положение с фонетико-морфологическим и словообразовательным аспектами, которые дают этимологии определенные возможности объективной проверки результатов анализа, то мы не можем не признать наличия несомненной диспропорции, которая в общем сковывает и затрудняет почти на каждом шагу усилия этимологов.

Важность семасиологического аспекта представлена в скрытом виде даже в любой из таких этимологических пар, где есть тождество или возможная близость значений сравниваемых слов, т. е. такая ситуация, которая, по молчаливому согласию исследователей, как бы освобождает от необходимости говорить о семасиологическом аспекте или во всяком случае причислять его к основным и когда, казалось бы, убедительность этимологии решается фонетико-морфологическим и словообразовательным тождеством. Существуют,

однако, многочисленные случаи, когда примат семасиологического аспекта совершенно бесспорен. Сознание важности подобных ситуаций побуждало некоторых исследователей строить соответствующие этимологии главным образом на учете смысловых критериев (ср. специально «etymologies based on meaning» у Тедеско). Тенденция автономизации показаний семасиологии в этимологическом исследовании характерна, например, для работ шведского этимолога Г. Якобссона.

Наше внимание в настоящих заметках обращено на те наиболее актуальные, с нашей точки зрения, случаи, в которых парадоксальная фонетико-морфологическая и словообразовательная близость значит очень мало или почти ничего не значит и лишь оценка семасиологических отношений позволяет решить, имеем ли мы тут дело со случайной близостью или генетической близостью, этимологическим родством. Наблюдения, сообщаемые ниже, в силу конкретности материала носят внешне частный характер, но связываемая с ними попытка пересмотреть несколько типичных мнений в этимологической литературе подводит нас вплотную уже к такому вопросу более общего свойства, занимающему видное место в этимологической исследовательской процедуре, как разграничение и отождествление форм и слов. Наконец, излагаемые ниже соображения дают нам право высказать предложение о способе если не кодификации, то, во всяком случае, удобного расположения семасиологических материалов, которые должны полнее и систематичнее использоваться в этимологических исследованиях, в интересах более интенсивного развития последнего. Ядро этих семасиологических материалов могут составить наблюдения, уже полученные исследователями и известные из литературы. Обсуждаемые ниже некоторые новые этимологические связи можно воспринимать как ответ на вопрос о перспективах дальнейшего пополнения наших знаний в этой области.

Речь, собственно, идет о парных этимологических идентификациях, при которых одно из родственных слов обладает значением 'таять', другое — 'молчать'. Укажем сначала как неоспоримый пример этимологического тождества такой лексико-семантической пары праслав. **mьlčati* (рус. *молчать*, польск. *milczeć* и родственные) и др.-в.-нем. *molawên*, *molewên* 'tabere, таять'[1]. И праславянская, и германская формы продолжают общее и.-е. **mḷkē-*, **mḷk*^{u}*ē*[2]. Отношения этих сравниваемых слов таковы, что, по нашему мнению, не позволяют говорить об и.-е. **mḷkē-* I 'таять' и **mḷkē-* II 'молчать', но

[1] См.: *O. Schade.* Altdeutsches Wörterbuch^{2}. Halle, 1872—1882. S. 619: *molawên, molewên* 'tabere'

[2] Ср. аналогично TEW. S. 184. Покорный (PEW) не выделяет эти образования из числа форм на и.-е. *mel(ə)-*, рассматриваемых им совокупно. См. еще VEW.

только о едином **mḷkē-*, к исходному значению которого мы еще вернемся ниже. Вместе с тем мы признаем, что этимологическое тождество **mḷkē-* I = **mḷkē-* II целесообразно воспринимать пока как постулат. Такое чисто внешнее, казалось бы, правдоподобие данного изолированного положения и его практическая недоказуемость предстают, однако, сразу в другом свете, если мы обратимся к близким аналогиям, которые во всем существенном повторяют рассмотренные выше лексико-семантические и словообразовательные отношения. Опасность заколдованного круга как будто исключается, поскольку этимологически разнородный материал воплощает все ту же схему каждый раз в иной форме. Дело в том, что можно указать еще по крайней мере несколько этимологически родственных пар из различных индоевропейских языков, причем каждый раз оба члена пары связывает семантическое отношение ‘таять’ — ‘молчать’. Это как будто резко снижает момент случайности, в том числе в названных нами в первую очередь отношениях праслав. **mьlčati* — др.-в-нем. *molawên*. Кроме того, дополнительные примеры такого рода, которым мы придаем решающее значение, представляют самостоятельный интерес и влекут за собой неизбежный пересмотр существующих этимологий, побуждают к более строгому в известных пределах отбору круга этимологически сравниваемых форм. Это следующие пары: I. праслав. **tajati* (рус. *таять* и родственные), сюда же праслав. **taviti* ‘плавить, растоплять’, кауз. (чеш. *taviti*, н.-луж. *tawiś* то же), лат. *tābēre* ‘таять’, с одной стороны, и лат. *tăcēre* ‘молчать’ — с другой; II. лит. *tirpti* ‘таять’ — праслав. **tьrpěti* (рус. *терпеть* и родственные); III. праслав. **tьlěti* (рус. *тлеть* и родственные) — лит. *nu-tilti* ‘замолчать’, *tylėti* ‘молчать’.

Первый случай из этой группы объединяет слова, отнюдь не тождественные в своем словообразовательном оформлении; общее для них — это индоевропейская основа **tā̆* — с различными детерминативами: *-i̯*, *-u̯*, *-dh-*, *-k-*. При этом строгого структурного различия между терминами ‘таять’ и ‘молчать’ мы не можем здесь проследить. Тот же расширитель *-k-* оформляет как греч. τήκω ‘растопляю, плавлю’, дорийское τάκω, τήκομαι ‘таю’[3] (**tā-k-*), так и лат. *tăceō*, *tăcēre* ‘молчать’. Краткость корневого гласного характеризует, помимо последнего слова, также германские термины ‘таять’ (**þaw-*). В связи с этим небезынтересно поставить в этимологическом плане вопрос о парности отношений праслав. **tajati* ‘таять’ и **tajiti* ‘таить, делать тайным’. Нам кажется, что это дает возможность новой интерпретации формирования всей группы праслав. **tajiti*, **tajьnъjь* и родственных (возможно, исключая слово *тать* и предпринимая некоторые другие коррективы в этимологиче-

[3] *H. G. Liddell, R. Scott.* A Greek-English lexicon. Vol. II. Oxford [б. г.]. P. 1786—1787.

ских сближениях, обычно приводимых в связи с этими словами) в том, что касается лексико-семантических истоков их образования [4]. Забегая несколько вперед, с риском впасть в голословность, мы бы описали семантическую эволюцию **tajati* (состояние) → **tajiti* (кауз.) как 'распускаться, растапливаться, доходить до жидкого состояния, размельчаться' → 'делать мелким, маленьким, прятать, скрывать'. Мы придаем значение этой пробной реконструкции семантического развития еще и потому, что полагаем возможным распространить ее также и на другие (по крайней мере приводимые здесь) «глаголы молчания». Естественно, мы бы не хотели фетишизировать эту семасиологическую схему, больше того — уверены в том, что даже из числа приводимых здесь случаев в общем каждый представляет собой индивидуальный в семантическом отношении вариант той более или менее общей схемы семантического развития, которая охватывала бы все относящиеся сюда примеры. Таковы отношения др.-в.-нем. *molawên* 'tabere, таять' — праслав. **mьlčati* 'молчать' (отсутствие более близких пар внутри одного языка вроде праслав. **tajiti* — праслав. **tajati* вынуждает нас пользоваться внешними данными), этимологически — из единого и.-е. **m̥lkē-* < **m̥l-k-ē-*, по-видимому, 'делаться мягким, размельчаться / таять', сюда же и.-е. **m̥l-dh-u* / **mol-dh-u-*, ср. др.-инд. *mr̥dhu-*, праслав. **moldъ* с иным расширителем той же основы. Семантическая эволюция в этом конкретном случае: 'делать(ся) мягким, размельчать(ся)' → 'молчать'. Отношения лит. *tirpti* 'таять' — праслав. **tьrpěti* 'терпеть, страдать (молча)', которые мы, с некоторым колебанием, тоже относим к числу примеров наблюдаемой нами семантической эволюции, следует, по-видимому, понимать в свете этимологических связей и близких семантических параллелей как, во-первых, примат значения 'таять' (если не выходить за рамки приведенной пары) и, во-вторых, как родство с и.-е. **ter-* 'тереть', в данном случае — нулевая ступень вокализма, расширитель основы *-p-*: **ter-* / **tr-* > **tr̥-p-*. Значения вроде 'цепенеть' (например, *терпнуть* и т. д.) имеют для нас подчиненное значение и представляются более или менее промежуточными с точки зрения основных этапов семантической эволюции, которую можно здесь представить себе как 'растираться, измельчаться / таять' → 'молча страдать, терпеть'. Наконец, уже периферийный, строго говоря, для нас пример с праслав. **tьlěti* — лит. *nu-tilti* 'умолкнуть', *tylėti*

---

[4] Таковы сближения с др.-инд. *tāyúṣ* 'вор', хетск. *tai̯-* 'красть', см. VEW. Об остальных названных выше латинских, греческих и германских словах см. еще: *A. Ernout*, *A. Meillet.* Dictionnaire étymologique de la langue latine [3]. II. P. 1186—1188; *E. Boisacq*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque [4]; *H. Frisk*. Griechisches etymologisches Wörterbuch; *Fr. Kluge*, *A. Götze*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 15. Aufl. Berlin, 1951. S. 789.

'молчать' может быть интерпретирован в плане семантической эволюции как 'медленно уничтожаться, истребляться (от тления, разложения, приглушенного огня)' → 'молчать'.

Таким образом, то, что мы упрощенно считаем целесообразным обозначать и после сказанного как отношение 'таять' — 'молчать', точнее — семантическую эволюцию 'таять' → 'молчать', поддается в одних наших примерах более глубокой семантической реконструкции с исходным 'размельчать(ся), исчезать...', в других обнаруживает отклонение в последующих этапах или конечном результате семантической эволюции (... → 'таить, прятать'; '... → страдать молча, терпеть'), в принципе же вполне укладывается в намеченную обобщенную рубрику 'таять' → 'молчать'.

Этимолога не может не интересовать диахроническая динамика значений, выраженных исследуемой лексикой. Потребность в обобщающих, справочных работах такого рода ощущается уже давно. Мы не уверены, что эта потребность всегда правильно понималась. Так, не представляется вполне удачным фундаментальный труд К. Д. Бака «A Dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages» (Chicago, 1949). Обширный материал этого словаря не организован должным образом и в немалой степени пропадает в силу статичности принципа расположения по некой реальной схеме: «животные»; «части тела...»; «еда и питье; приготовление пищи и утварь» и т. д. Нам кажется, что подлинной «contribution to the history of ideas» мог бы послужить только свод рубрик типа 'таять' → 'молчать' (см. выше) с подробным сравнительным и критически отобранным этимологическим материалом внутри каждой такой семантической рубрики, с детально разработанными отсылками и с полными лексическими индексами, облегчающими пользование трудом. Что касается отбора рубрик-статей, то он должен охватить в первую очередь достоверные случаи семантической эволюции. Таких в науке к настоящему времени известно уже немало. Ср. 'дуть' → 'говорить, думать', 'скот' ↔ 'имущество', 'петь' ← 'поить, совершать возлияния', 'человек' ← 'земной', 'человек' ← 'смертный' и др. Эти рубрики-статьи будут продолжать пополняться новыми, могущими претендовать на известную достоверность, вроде разобранного выше примера 'таять' → 'молчать'. Более затруднителен практически вопрос рамок такого справочника. Строгое ограничение пределами, скажем, одних славянских языков было бы нецелесообразно и по-своему трудновыполнимо. Универсальный труд, который бы вообще игнорировал рамки генетического родства языков, может быть, подходил бы более всего для полного осуществления этой большой задачи, но это максималистское требование поставило бы под угрозу реальное завершение работы. Поэтому удобнее всего будет некий средний, достаточно емкий вариант — семасиологический словарь индоевропейских языков.

Названный семасиологический словарь мог бы явиться словарем семантических переходов на материале широкого круга языков. Такая выраженная направленность делает его словарем нового типа со специальными задачами и специфической структурой. Вопрос о задачах и смысле нового семасиологического словаря связан с более общим вопросом о пособиях и справочниках для этимолога. Положение в этом отношении более чем плачевно. Существуют, как правило, этимологические словари различных языков. Считается очевидным, что для тех языков, которые этимологическими словарями не располагают, последние должны быть созданы. Однако научный уровень этимологической лексикографии и этимологических исследований в целом в немалой степени зависит от разработки специальных справочников, на что по-прежнему обращается недостаточно внимания: это обратные словари, важные для изучения словообразования, и семасиологический словарь, названный выше. Структура нового Семасиологического словаря должна обладать определенными специфическими отличиями начиная со словника. Собственно говоря, место обычного словника занимает здесь — в нашем понимании — (алфавитное) собрание семантических статей-рубрик. Формально-этимологические отношения даются всякий раз под соответствующей семантической рубрикой. Нахождение того или иного слова возможно, главным образом, благодаря алфавитным лексическим индексам (по языкам). Что касается характера основного текста желаемого семасиологического словаря, то мы предлагаем в заключение несколько проб, имеющих, разумеется, самый предварительный вид. Эти пробы могли бы послужить материалом для последующей дискуссии по этому актуальному вопросу этимологических исследований.

Говорить см. *дуть → говорить, думать.*

Думать см. *дуть → говорить, думать.*

Дуть → говорить, думать: основа и.-е. **u̯ē-* 'веять, дуть', представленная, например, в слав. **vějati*, рус. *веять* и родственные, обнаруживается, с расширением *-t-*, в ст.-слав. **отъвѣтити** и других родственных verba dicendi, а также в производных от последних (ст.-слав. **вѣтии** 'пророк, оратор'), ср. подробно: *В. Н. Топоров* // КСИС. 1958, №25. С. 86 и след. Для Топорова вопрос о пути семантической эволюции ст.-слав. **отъвѣтити, вѣтии** еще не решен окончательно, и он справедливо оставляет под сомнением толкования Вайана (из первоначального 'провеивать') и Тиме. Подтверждение непосредственно семантической эволюции 'дуть' → 'говорить' мы видим в несомненной этимологической связи, например, ст.-слав. **дъмѫ** 'дую', с одной стороны, и польск. *duma* 'гордость' (собственно, первоначально 'надутость'), болг. *ду́ма* 'слово', рус. *думать* — с другой, на что обратил внимание недавно Г. Якобссон (*G. Jacobsson.* 'Hauch', 'Wort' und 'Gedanke' im Slavischen //

Studia Slavica G. Gunnarsson sexagenario dedicata (= Studia Slavica Upsaliensia, I) S. 35—42). Этот автор дает следующую схему данной семантической эволюции: 'дуть' → 'слово' (= 'выдох, экспирация'), 'мысль', ср. франц. *ne pas souffler le mot*. Аналогичную эволюцию первоначального значения, только на базе основы **vě-*, предполагает, кстати сказать, Якобссон (там же) и для ст.-слав. **отъвѣтити, вѣштє, отъвѣ**.

Знать (человека) см. *рождать(ся) → знать (человека)*.

Имущество см. *скот ↔ имущество*.

Молчать см. *таять → молчать*.

Петь см. *поить, совершать возлияния → петь*.

Поить, совершать возлияния → петь:
наблюдения помогли установить определенную закономерность, с которой глагольные основы, обладающие древними значениями 'поить, совершать возлияния', образуют затем термины 'петь', 'звать, взывать (первоначально к божеству)'. Так, слав. **pojǫ*, **pěti* этимологизируется как древний каузатив ('давать пить') от глагола **piti*, ср. решающее в системе доказательств этой этимологии тождество форм настоящего времени, например, рус. *пою—петь* и *пою—поить*. Аналогичная связь объединяет и.-е. *ĝheu̯ā-* 'призывать, обращаться' (др.-инд. *hávatē*, слав. *zъvati*) — *ĝheu̯-* 'лить' (др.-инд. *juhóti*, греч. χέω) (см.: *H. Hirt*. Indogermanische Grammatik. Teil II. Heidelberg, 1921. S. 189; *О. Н. Трубачев*. Следы язычества в славянской лексике // ВСЯ. 1959, № 4. С. 135—138).

Рождать(ся) → знать (человека): старый спорный вопрос о двух и.-е. *ĝenə-* — *ĝenə-* I 'рождать(ся)' и **ĝenə-* II 'знать' следует, по-видимому, решать, во-первых, как этимологическое тождество обеих названных основ и, во-вторых, как развитие значения 'знать (человека)' из значения 'рождать(ся)'. Специфика значения и.-е. **ĝenə-* II 'знать (человека)', дающая возможность увязать его этимологически с названным выше термином 'рождать', прослеживается почти вплоть до современных языков, в которых находим, если отвлечься от нарушений, любопытные особенности контекстного употребления типа нем. *ich kenne den Menschen* 'я знаю человека' (а не *ich weiss*), польск. *znam tego człowieka* (*wiem* 'знаю' можно сказать только о вещи) (см. подробно: *О. Н. Трубачев*. История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959. С. 154 и след.).

Скот ↔ имущество: наряду с классическим примером семантического перехода 'скот' → 'деньги' в лат. *pecus* — *pecunia* следует иметь в виду наличие множества примеров образования термина «*домашний скот*» от первоначальных названий имущества, имения, приобретения. Таковы чеш. *dobytek*, болг. *добúтък* 'скот', польск. *bydło* 'скот', сербохорв. *благо* в значе-

нии 'скот', укр. *худóба* 'скотина' см.: *W. Brandenstein*. Etymologica // Studies presented to Joshua Wharmough. 's-Gravenhage, 1957. S. 23; *A. Mátl*. K výkladu slov *dobytek* a *statek* // Studie ze slovanské jazykovědy. Sborník k 70. narozeninám akad. Fr. Trávnička. Praha, 1958. S. 315, а также: *О. Н. Трубачев*. Происхождение названий домашних животных в славянских языках. М., 1960. С. 102—103, где приводится дальнейшая литература.

Таять → молчать: называемый в данной рубрике семантический переход объясняет генезис, естественно, лишь части терминов *молчать* в индоевропейских языках. Об этих глаголах известно в общих чертах, что они имеют выразительно региональный характер, ср. **takē-* (ром., герм.), **teus-*, **swī-g-* (греч., герм.), лат. *silēre*, готск. *slawan*, лит. *tylėti*, слав. *mьlčati*, см.: *Buck*. A Dictionary of selected synonyms. Chicago, 1949. P. 1258—1259, а также: *A. Ernout*, *A. Meillet*. Указ. соч. II, где содержится полезное указание, что слова со значением 'молчать' обычно представляют собой результат развития новых значений. Тем интереснее, при всей разнородности глаголов со значением 'молчать' в отдельных индоевропейских языках, проследить по крайней мере для нескольких таких глаголов развитие на базе первоначального значения 'таять', а также 'размельчаться', 'уничтожаться тлением'. Ср. этимологическое родство соответственно др.-в.-нем. *molawên* 'таять' — слав. **mьlčati*; слав. **tajati*, **taviti* — лат. *tacēre* 'молчать'; лит. *tirpti* 'таять' — слав. **tьrpěti*; слав. **tьlěti* — лит. *tylėti* 'молчать'.

ЛЕКСИКОГРАФИЯ И ЭТИМОЛОГИЯ

Лексикография и этимология — связанные друг с другом области лингвистической теории и практики. Можно говорить об их сопоставимости. Обе дисциплины исследуют слово, обе — очень трудные дисциплины. Трудность лексикографии воспета в стихах. Я не знаю стихов на тему о трудности этимологии (если не считать давно примелькавшегося рефрена о том, что индоевропейская этимология зашла в тупик...), но кажется, что она еще труднее, чем лексикография, ибо к трудности этимологии надо прибавить ее специфичность. Этимология пользуется трудами лексикографии; чем больше словарей и чем лучше словари, тем надежнее база для этимологии. Но и лексикография не может обойтись без этимологии. Не следует думать, что место этимологии — только в этимологических словарях, хотя, разумеется, только там она развертывается во всеоружии, во всей своей сложности. Если придерживаться справедливого, на мой взгляд, мнения что «синхронический словарь — понятие в высшей степени относительное»[1] (потому что в самом единовременном словоупотреблении, тексте необходимо будут переплетаться архаизмы и новообразования[2]), то было бы неразумно игнорировать или даже хоть сколько-нибудь преуменьшать ту вытекающую отсюда истину, что все словари — исторические в той или иной мере, что абсолютно только понятие исторического словаря. Словарь современного русского литературного языка не будет в данном случае изъятием из общего правила. Конечно, это крайний пример, и его желательно принимать cum grano salis, на страницах словарей современных языков этимология формально отсутствует, если не считать

---

[1] *L. Zgusta, V. Černý, Z. Heřmanová-Novotná* [et al.]. Manual of lexicography. Published with a support granted... by UNESCO. Praha, 1971. S. 203.

[2] Там же.

скупых и не очень регулярных помет о происхождении при заимствовании, особенно — при новых иностранных словах. Но как неотделимы от лексической, лексикографической, словарной характеристики сло́ва категории истории, развития и происхождения, хотя бы в самой общей форме, так неотделим от теории и практики лексикографии этимологический критерий. Верно, конечно, что современное словоупотребление, как правило, не сохраняет отчетливую память об этимологических связях старого слова, что его значения могут разойтись вплоть до отрицания первоначального единства; впрочем, современное употребление слова может и подтверждать его этимологию. Было бы наивно думать, что лексикографическая трактовка слова в словаре современного языка нормально совершается в отрыве от этих сведений. Этимологические сведения, пусть в разном объеме, поверхностные и приблизительные, всегда влияли на словарное дело, и это видно на трактовке омонимов. Сомнительно, чтобы пара омонимов *горн* I 'вид печи' и *горн* II 'труба (духовой инструмент)' в современном языке трактовались раздельно, без поддержки их действительно разной этимологии. Это, так сказать, простейший пример, тут двух мнений быть не может. Есть и более сложные, не очевидные даже для специалистов, допускающие разные толкования (различия которых, в свою очередь, могут оказаться мнимыми). Существенно, что эти примеры, как сложные, так и простые, показывают, как этимологические знания, этимологический критерий моделируют трактовку лексикографом омонимов.

Классический своей общеизвестностью случай — рус. *икра* I (например *икра рыбья* и т. п.) и *икра* II (*икра ноги*), толкуемые без колебания как омонимы, что действительно верно для современного языка. Но этимология имеет серьезные (в том числе и типологические) основания считать оба слова тождественными по происхождению, причем *икра* (*ноги*) — не более как переносное употребление слова *икра* в первом (и первичном для него) значении. Перенос слова в данном случае не более фундаментален, чем в любом другом примере семантического сдвига, и мы, строго говоря, не погрешили бы против истины, если бы трактовали это слово как единое с двумя основными значениями: *икра* 1) 'икра рыбы и т. п.', 2) 'икра ноги'. Поэтому не прав Л. Згуста, который пишет в своей новой книге «Руководство по лексикографии» (глава 1. «Лексическое значение»; раздел «Омонимия»), что омонимичность упомянутых нами рус. *икра* I и *икра* II в современном русском речевом сознании подтверждается историей и этимологией, показывающих различное происхождение этих слов, сблизившихся позднее[3]. Автор ссылается при этом

[3] *L. Zgusta*. Указ. соч. S. 76. — Пособие Л. Згусты — интересная и нужная книга, к сожалению, освещающая неравномерно проблемы лексикографии и типы словарей,

на Дюровича, но нужно было бы, по-видимому, справляться у исследователей, более осведомленных в русской и славянской этимологии [4].

Пример этимологической оправданности иной трактовки слов *икра* I и *икра* II симптоматичен. Этимолог, работающий со словарями современных языков и диалектов, постоянно сталкивается с примерами омонимической трактовки разных значений одного слова и, наоборот, — трактовки этимологически разных слов как разных значений якобы единого многозначного слова. В решениях того и иного рода сказывается, помимо оценки речевой ситуации, несомненно также и этимологическая эрудированность лексикографа. Крайний случай омонимической трактовки наблюдается, как известно, тогда, когда каждое более или менее самостоятельное значение слова объявляется омонимом. Это нередко практикуется эмпирически лексикографами современных языков и диалектов; сюда примыкают те из этимологов, которые склонны каждое самостоятельное значение слова возводить к особому этимону, что до известной степени характерно для чехословацкой этимологической школы. Так, чеш. *česati*, рус. *чесать* (и другие славянские) 'чесать, разравнивать, приводить в порядок волосы, шерсть или волокна с помощью гребня' и чеш. *česati*, рус. *чесать* (просторечное) 'торопливо, поспешно идти, уходить, убегать, удирать', которые, в наших глазах, едины не только этимологически, но и в плане современной синхронной лексикографии, покойный В. Махек считал абсолютными омонимами с разной этимологией [5]. Слово *верста* толкуется в новых и старых словарях русского языка как одно слово: *верста́* 'ряд, порядок, линия, прямая черта, расположение в струнку, гусем; ровня, дружка, пара, чета, противень чему; что под стать, под лад, масть, под меру; година, пора, степень, возраст; что измерено, разбито на равные части; что служит мерилом, прави́лом, указывает, как ровнять или мерять; путевая мера в 500 сажен' [6], диал. *верста́* 1. 'ряд, порядок; прямая черта; рас-

---

что, впрочем, отвечало замыслу автора, специально выделившего проблематику словарей современных языков. Вопросы исторической, этимологической и семасиологической лексикографии изложены слишком бегло, здесь мало материалов, примеры случайны, многое существенное даже не названо. В остальных разделах немало длиннот, излишне увеличивших объем книги. По своему материалу работа очень пестра, приводятся примеры из языков Африки, Азии, Западной Европы и из чешского языка, крайне редко — из других славянских. При чтении книги следует остерегаться множества опечаток, нередко затрудняющих понимание смысла (*very* вм. *vary*, *of* вм. *if*, *that* вм. *than* и т. д.).

[4] См. *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. II. М., 1966—1967. С. 125—126.

[5] *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého. 2. vyd. Praha, 1968. S. 100.

[6] *В. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. 1. С. 181.

11. Заказ № 2261.

положение в линию, гуськом', 'крайний ряд булыжной мостовой, по которому кладут и ровняют остальные камни', 'ровня, пара кому-либо', 'пора, возраст'; *верста* 2. 'мелкий камень, щебень; дресва' [7], др.-рус. *вьрста* 'возраст', 'зрелый возраст', 'сверстник, товарищ', 'чета, пара', 'мера пространства' [8].

Я считаю, что совершенно правы были В. И. Даль, коллектив составителей под руководством Ф. П. Филина и И. И. Срезневский, рассматривавшие это слово как единое. Такая трактовка подтверждается этимологией данного русского и славянского слова от **vьrt-ta*, суффиксального производного от глагола **vьrtěti* 'вертеть, вращать', причем исходной семантической базой как значения 'возраст', так и значения 'мера пространства' и других смежных явилась идея оборота, цикла. Иные этимологические воззрения по поводу рус. *верста* и родственных чеш. *vrstva* 'слой', польск. *warstwa* то же, находим у ученицы В. Махека — Е. Гавловой. Она полагает, что в этих славянских обозначениях слоя, ряда, возраста, меры длины слились два разных праславянских слова: **vьrsta* I 'возраст', которое родственно др.-инд. *vṛddhi-* 'рост', и **vьrst(v)a* II 'оборот' от **vert-* 'поворачивать' [9]. Думаю, что наиболее вероятна старая этимология, а новая более сложна и труднее поддается семасиологическому обоснованию и проверке, однако допускаю, что, если бы новая этимология и идея раздельных истоков слова *верста* были высказаны давно и приобрели бы должную популярность, это не замедлило бы сказаться на структуре соответствующих словарных статей. На описанных примерах я хотел показать, что этимологическая эрудированность лексикографов так или иначе моделирует их лексикографическую трактовку слов, в том числе слов современных языков и диалектов. С этой целью я вернусь еще раз к слову *верста*, в частности к вопросу, почему, на мой взгляд, в «Словаре русских народных говоров» стои́т, кроме *верста* 1, еще и поданное как омоним *верста* 2 'мелкий камень, щебень; дресва' (см. выше). Сделано это исключительно по этимологическим мотивам, хотя об этом читателю и не сообщается, и сделано, как я думаю, правильно, потому что *верста* 2 в этом значении не что иное как вариант по отношению к слову *гверста́* 'крупный песок', *грества́* то же, *дверста́*, *дверства́*, *дресва́*, *жерства́*, *жерста́* 'щебень' — все это варианты особого слова со своей старой этимологией. Но составители «Словаря русских народных говоров» могли по каким-то причинам и не учесть этих ценных этимологических сведений, и не исключено, что мы

[7] Словарь русских народных говоров / Гл. ред. Ф. П. Филин. Вып. 4. Л., 1969. С. 148.

[8] *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1. М., 1958; СПб., 1893. С. 462—463.

[9] См. *V. Machek*. Указ. словарь. S. 700—701 (в 1-м изд. словаря 1957 г. изложена традиционная этимология).

получили бы единую статью *верста*, где значение 'мелкий камень, щебень' могло занять место, скажем, рядом со значением 'крайний ряд булыжной мостовой, по которому кладут и ровняют остальные камни'. Этого не произошло, к счастью, сказали бы мы, потому что, если такой чисто синхронной трактовкой удовлетворилось бы среднее речевое сознание, этот поверхностный подход, тем не менее, знаменовал бы собой определенные потери в нашем знании относительно употребления современного слова, которое, несмотря на естественную деэтимологизацию, так или иначе хранит отпечаток своего происхождения, что может неожиданно подтверждаться контекстом, географическим ареалом или какими-то другими косвенными моментами, которых мы можем не знать в настоящее время во всей их совокупности.

Речь идет о границах слова в практике современной лексикографии, где, как видим, этимологический критерий помогает получить непревратную картину. В исторических словарях роль названного критерия в силу необходимости возрастает, как и место, и роль этимологических помет. Ввиду очевидности этого явления я позволю себе не останавливаться на нем, за примерами можно отослать к известному словарю И. И. Срезневского. Высказывалось мнение о решающем значении этимологического метода для определения значений темных слов старых текстов [10], хотя, думается, не умаляя важность этого метода, его стоит применять в комплексе с изучением доступного контекста, потому что этимология, как известно, вскрывая связи и обнаруживая исходный семантический признак, получает как бы схему, но не гарантирует полной реконструкции живого конкретного лексического значения и употребления.

Основная масса лексики языка, как известно, складывается до появления письменности, т. е. в период, который иногда не очень удачно называют доисторическим. Для русского языка и для других славянских языков это время носит название праславянской эпохи. Ее изучение необходимо с самых разных точек зрения. Давно назрела потребность в систематическом лексикографическом исследовании праславянского периода. Поскольку в научной литературе обсуждаются вопросы реконструкции словарного состава праславянского периода и предпринимаются опыты практической реконструкции этого словарного состава (Т. Лер-Сплавинский и его ученики в Польше, Ф. Копечный с коллективом в Чехословакии, коллектив составителей «Этимологического словаря славянских языков» у нас в Москве), не будет преувеличением говорить о праславянской лексикографии.

[10] *В. В. Виноградов*. Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968, № 1. С. 3 и след.

Расположенный в традиционном алфавитном порядке отобранный праславянский словарный состав будет итогом весьма специфической работы, включающей различные аспекты. В настоящей статье нет возможности говорить обо всех них. Мы оставим совершенно сознательно в стороне такой важный и трудный аспект, как праславянская древность слова в плане словообразования. Вопрос, которого мы намерены коснуться сейчас, относится к некоторым моментам сравнительно-исторической фонетики и их хронологии, это вопрос, наиболее традиционный для этимологии, наиболее разработанный, как принято считать, и подчас заслуживающий самого серьезного пересмотра, как мы стараемся показать на своем материале. Историко-фонетический аспект этимологии имеет прямое отношение к праславянской лексикографии. Для того чтобы получить вероятный праславянский вид слова (или слов) живых славянских языков, надо проделать соответствующую фонетическую реконструкцию. Результаты ее могут быть очень наглядны, например, если иметь в виду начало слова, поскольку сплошь и рядом как гласный, так и согласный начала одного и того же слова совсем не тот в праславянскую эпоху, сравнительно с состоянием в период отдельного развития каждого из славянских языков. Затрагивая в дальнейшем и другие позиции в слове, мы говорим все-таки в первую очередь о позиции в н а ч а л е с л о в а, так как эта позиция имеет первостепенное значение для алфавитной лексикографии. Несколько очевидных примеров пояснят суть расхождений между словарным расположением лексических материалов отдельных славянских языков и их лексикографическим аспектом на праславянском уровне. При реконструкции праславянского состояния, естественно, отпадут слова с начальным *f-* (поздние, неславянские заимствования в своей массе, кроме случаев *f-* < *xv-*), на праславянском уровне мы не получим слов с начальным *h-* (кроме заимствований, где это *h-* иноязычного происхождения, как и все слово в целом, остальные слова на *h-* почти целиком перейдут в другой лексикографический разряд — в число слов с начальным *g-*), местные, вторичные консонантные протезы типа *h-*, *w-*, как, например, в серболужицких языках, отпадут, уступив место в начале слова чистому гласному (например *o-*) и т. д. и т. п. Иными словами, нам придется иметь дело с п е р е х о д а м и (в ретроспективном понимании этого явления) целых лексикографических разрядов слов в д р у г и е л е к с и к о г р а ф и ч е с к и е р а з р я д ы. Все это знаменует коренную перестройку, происшедшую за период времени, отделяющий живые славянские языки от языка праславян.

Л е к с и к о г р а ф и ч е с к а я к а р т и н а п р а с л а в я н с к о г о с л о в а р н о г о с о с т а в а г л у б о к о о т л и ч н а о т з а с в и д е т е л ь с т в о в а н н о г о и с т о р и ч е с к о г о с о с т о я н и я, и это объясняет научный интерес и актуальность проблемы праславянской лексикографии. Можно наде-

яться, что систематическая работа в этой области прояснит еще немало вопросов, небезразличных как для лексикографии, так и для этимологии. Праславянский словарь насчитывает следующие алфавитные рубрики, категории, или «буквы»[11] *a, b, c, č, d, e, ě, ę, g, x, i, j, k, l, m, n, o, ǫ, p, r, s, š, šč, t, u, v, z, ž*. Звуки *ъ, y, ь* в этом алфавитном перечне не фигурируют, потому что они не могли начинать праславянское слово, закономерно развивая перед собой согласную протезу: *v-ъ-, v-y-, j-ь-*, не говоря о вторичных преобразованиях.

Как уже говорилось, сравнительно-историческая фонетика — наиболее продвинутая вперед отрасль сравнительно-исторической грамматики славянских языков. Правда, это не мешает специалистам до последнего времени вести принципиальные споры, например, о взаимоотношениях гласных типа *a* и *o* в праславянском. Праславянский консонантизм как будто не вызывает сейчас таких жарких дебатов, в вопросах о характере и эволюции праславянских согласных нет такого глубокого расхождения мнений, хотя исследователи в полной мере учитывают сложный состав праславянского консонантизма, где древние, унаследованные элементы существуют рядом с новыми звуками. Происхождение ряда новых согласных носит характер регулярной собственной фонетической эволюции, как объясняются, например, слав. *s* и *z* из и.-е. **k̂* и **ĝ*, характер позиционного изменения, как, например, *č, š, ž* из *k, x, g* перед гласными переднего ряда. Считается, что история этих новых согласных не обнаруживает особой проблематичности. Несколько иначе обстоит дело с праславянскими согласными *x* и *c*. Коротко говоря, причина проблематичности происхождения, в частности, слав. *x* заключается в вероятной разнородности его источников, в экспрессивной природе употребления многих случаев *x*. Не случайно дискуссия о славянском *x*, в частности — о *x-* начальном, до сих пор не сходит со страниц славистической литературы. Это большая проблема, которая упоминается нами лишь как бы к слову, в силу некоторого сходства с другим вопросом, обсуждаемым здесь подробнее, — проблемой славянского *c*. Мы предпочитаем ограничиться словами на *c-* начальное, во-первых, потому, что *c* в иной позиции (внутри слова, в конце слова, между гласными) в науке принято обычно объяснять особо, во-вторых, потому, что примеры на *c-* начальное относительно немногочисленны, легко обозримы и вместе с тем представляют самостоятельную «букву», т. е. целую лексикографическую категорию. Эти достоинства обозримости, удобства и наглядности повышаются тем уже упоминавшимся обстоятельством, что согласный *c* — «новый» славянский звук, а исследование инноваций позволяет глубже проникнуть в механизм развития языка.

---

[11] Под «буквой» мы подразумеваем для дописьменного праславянского периода условную лексикографическую фиксацию звука, как правило, в позиции начала слова.

Праславянская «буква» *c-* в составе нового этимологического словаря славянских языков насчитывает около 80 слов, считая с производными. Вот полный перечень: **capati*, *capiti*, *capnǫti*, *capъ* 'козел', *cě*, *cědidlo*, *cědišče*, *cěditi*, *cěditъko*, *cědjь*, *cědъ*, *cědъka*, *cěglъjь*, *cělěti*, *cělica*, *cělikъ*, *cělina*, *cělistvъjь*, *cělitelь*, *cěliti*, *cělizna*, *cělostь*, *cělovati*, *cělъjь*, *cělъkъ*, *cěly*/*-ъve*, *cělyšь*, *cělьba*, *cělьbьnъjь*, *cělьcь*, *cěna*, *cěniti* I, *cěniti* II 'скалить (зубы)', *cěnъ*, *cěpati*, *cěpeněti*, *cěpenъjь*, *cěpidlo*, *cěpidlьno*, *cěpiti*, *cěpъ*, *cěpъkъ*, *cěpь*, *cěpьcь*, *cěriti* I 'лечить', *cěriti* II 'скалить', *cěsta*, *cěstidlo*, *cěstiti*, *cětati sę*, *cětja*, *cěto-(-gněvъ*, *-ľubъ)*, *cěva*, *cěvěti*, *cěvina*, *cěvъ*, *cěvъka*, *cěvь*, *cěvьca*, *cěvьje*, *cěvьnica*, *cěvьnikъ*, *cěvьnъjь*, *cęta*, *ci*, *cibr-* (*cibrъ*, *cibriti*), *ciglavъ*, *ciglivъ*, *cima*, *cipa*, *cipatъjь*, *cirъjь*, *civati*, *civriti*, *cvikati*, *cvikь* / *cvika*, *cvьknǫti*, *cvьkъtъ*, *cьpati*, *cьrky*/*-ъve*.

В этимологических словарях славянских языков Ф. Миклошича и Э. Бернекера состав слов на *c-* начальное несколько другой, рядом с древними лексемами стоят поздние местные заимствования вроде польск. *całun*, *cera*, *cło*, *cofać*, *cwał*, *cyrulik*, чеш. *cibule*, сербохорв. *cìpela* и т. д. (положения не меняет то, что Миклошич подчас дает такие слова в архаизирующей транскрипции). Нас интересует только потенциально праславянская лексика, поэтому из заимствований включены лишь претендующие на древность, относительно широко распространенные **capъ*, **cьrky* или предположительно архаичные (**cima*). Обращает на себя внимание ограниченность сочетаний *c-*, факт, справедливо связываемый с условиями происхождения *c-*. Последовательность звуков *ca-* выступает, кроме заимствования **capъ*, только в ономатопеях **capati*, **capiti*, **capnǫti*, последовательность *cę* — в заимствованном **cęta*, последовательность *cь* — в заимствованном **cьrky*, а также в **cьpati*, объясняемом особо (см. ниже). За исключением этих нескольких примеров, все остальные (кроме двух-трех на *cvi-* / *cvь-*) имеют начало *cě-* (большая часть) или *ci-*. Между слав. *ě* и *i* возможна регулярная апофоническая связь, продолжающая более древние отношения *oi̯* : *ei̯*, из которых, кстати, косвенно вытекает дифтонгическая сущность соответствующего *ě*. Вариантное *i* может объясняться из *ě* в подходящих интонационных и позиционных условиях, как это отмечается в конце слов (флексия). В одном из наших примеров в силу его краткости эти условия практически совпадают, ср. др.-рус. *ци* 'разве', 'ли, или', блр. *ці* 'ли', при ст.-слав. **цѣ** 'также, и, хотя'. Столь же очевидно родство **ciglavъ* / **ciglivъ* (болг. диал. *цúглав* 'высокий, но слабый и тонкий, жидкий', 'неплодородный (о почве)', *цúглеф* 'нежный, тонкий') и **cěglъjь* (цслав. **цѣглъ** 'единственный'). В остальном праславянская лексика с начальным *c-* — это, как уже сказано выше, почти исключительно слова на *cě-*. Если принять во внимание малочисленность «буквы» *c-*, то кажется естественной мысль о том, что подобная общность начала слова *cě-* у столь внушительного числа лексем может объясняться общностью этимологического происхождения. Мы вправе

установить здесь по крайней мере несколько случаев этимологической общности, пользуясь известными этимологиями, показания которых, однако же, до сих пор не были надлежащим образом обобщены. Так, **cěditi* 'процеживать, пропускать сквозь цедилку, сквозь редкую ткань', **cěniti* II (чеш. *ceniti zuby* 'скалить зубы'), **cěnъ* 'зев (в ткацкой основе)', **cěpiti* 'раскалывать, расщеплять', **cěpъ* 'цеп, палка', **cěriti* II (болг., сербохорв., чеш., словац.) 'ухмыляться, скалить зубы' восходят к одному корню **cě-*, от которого они произведены с суффиксами *-d-*, *-n-*, *-p-*, *-r-*, и продолжают и.-е. **skoi̯-* / **skai̯-* 'разделять, расщеплять', о чем говорит начало слова у родственных лит. *skíedžiu*, *skíesti* 'разбавлять', лит. *skiemuõ* 'зев', греч. σκοίφ φώρα (Гесихий), лат. *scīpio* 'палка, жезл'. Далее, **cěpati* (словен. *cépati* 'умирать, околевать, дохнуть', чеш. *z-cípati* 'подыхать'), родственное лит. *kaĩpti* 'хворать, чахнуть', и **cěvěti* (чеш. *civěti* 'тупо смотреть, таращиться', 'мешкать', словац. *civiet* 'тупо смотреть', 'торчать, пропадать', 'чахнуть', диал. 'зиять', польск. диал. *cewieć* 'тяжело и долго болеть, чахнуть, сохнуть', 'дохнуть'), родственное лит. *káivinti* 'мучить, изматывать', оказываются родственными друг другу и продолжают корень **koi̯-* в соединении с суффиксами *-p-*, *-v-*. Праслав. **cěglъjь*, **ciglavъ* / **ciglivъ* (см. выше), **cělъjь*, **cěliti* (и т. д.), **cěriti* I (болг. *церя́* 'лечить') восходят, видимо, к и.-е. **ka* 'один' в соединении с суффиксальными *-gl-*, *-l-*, *-r-*, ср. лат. *cae-lebs* 'холостой, одинокий'. Наконец, **cьpati* (чеш. *cpáti* 'набивать, напихивать', 'совать'), где начальное *c-* Копечный и Махек объяснили из *st-*, ср. лат. *stipare* в близких значениях.

Рассмотренными выше кратко случаями не исчерпываются все древние слова на *c-* (ср. **cěsta*, **cěstiti* < **skoi̯-*, **cětati sę* < **skoi̯t-* / **koi̯t-*), но здесь уже представлены все основные древние источники начального *c-* в славянском: **k-*, **sk-*, **st-*. Палатализация *k* перед *ě* носила, наверное, характер субституционной замены $k' > t^{s'} > c$; $s^{k'} > st^{s'} > sts > c$ (диссимиляция двух s). Наглядная возможность такой замены (правда, непалатальной) наблюдается, например, в рус. *ласка: ластиться*, *пускать: пустить*, где *ск-* > *ст-* в позиции перед гласным переднего ряда [12]. Эндзелин, обративший внимание на чередование *sk* : *st*, поставил вопрос и о чередовании *st-* : *ts-*, дав несколько примеров из разных языков вроде др.-инд. *tsárati* 'крадется': готск. *stilan* 'красть', лит. *sérgėti* (*ts-* > *s-*): рус. *стеречь* и др. [13]. Примечательно, что поводом для этого послужили Эндзелину примеры переходов или чередований *ks-* > *sk-* и *ps-* > *sp-*. Интересно, далее, что изменение *sk-* > *ks-* в некотором

---

[12] *И. Эндзелин.* Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 54—55. Сн. 3 (в этих примерах показательно проведение замены *k* > *т* именно перед передним гласным, однако Эндзелин никак не выделил это обстоятельство).

[13] *И. Эндзелин.* Указ. соч. С. 43. Сн. 2.

смысле характерно для славянского, где оно в итоге дало *x* как в начале слова, так и в иных позициях, ср. отношения лит. *skujà* : слав. **xvoja*, лит. *skaudùs* : слав. **xudъ*, лтш. *skar̂bs* : слав. **xorbrъ*; ст.-слав. дѣла-аше (импф.) : арм. *gorce-aç* (аор.) 'он делал', причем слав. *-še* < *-*xe* < *-*kse* : арм. *-ç* < *-*kse*, ср. греч. φεύγε-σκ-εν, итеративный претерит[14]. Не берясь за однозначное решение вопроса о мотивах эволюции *sk-* > *ks-*, *sp-* > *ps-*, *st-* > *ts-* (может быть, здесь нашла отражение тенденция повышения звучности слога?), мы считаем примеры названных изменений весьма достоверными. Наличие, в свою очередь, многих примеров сохранения *sk-* (слав. **skorъ* и т. д.), *sp-* (слав. **spěti*, **sporъ(jь)* 'обильный, богатый'), *st-* (слав. **starъ*) придает, конечно, общей картине сложность, но не зачеркивает и примеров описанной выше эволюции, которая, возможно, привела к законченному результату в изолированных корнях (см. выше), а в богатых лексических семействах сводилась на нет влиянием словопроизводных связей.

Как видим, сходство условий образования двух «новых» согласных *x* и *c* в славянском весьма велико и поучительно: *x* < *ks* / *sk* и *c* < *st* / *sk*. Пример на «чистый» переход *st-* > слав. *c-* у нас, правда, только один (**cьpati* < **stĭpā-*, выше), но в общем балансе крайне немногочисленного лексикографического разряда на *c-* начальное один старый и вероятный пример весит немало. Общее их число будет, наверное, увеличено, если указать на словац. *kocka* 'кость (игральная)' < **kostka*, польск. *pestka* 'косточка (плода)', наряду с первоначальным *pecka*. Сходство употребления *x-* и *c-* также значительно, ср. экспрессивное **xapati* / **capati*, но эти случаи «элементарного родства» мы оставим в стороне. Типологически сходное армянское *ç* получается путем, очень напоминающим образование названных славянских согласных: *ç* < *ks* < *sk* (см. выше).

Изложенные выше соображения понадобились нам, чтобы показать, какую сложную работу по фонетической реконструкции и этимологии необходимо проделать при отборе словника в пределах такого лексикографического разряда, как праславянская «буква» *c-*. Все это хорошо иллюстрирует связь праславянской лексикографии с праславянской этимологией (то же самое, наверное, справедливо будет утверждать о любой другой подобной праязыковой, или сравнительной лексикографии). Но изложенное выше преследует также другие цели. Мы остановились на словах с

[14] *H. Karstien*. Das slav. Imperf. und der arm-aço-Aor. Ein Beitrag zum slav.-arm. Verwandtschaftsverhältnis // Festschrift für Max Vasmer zum 70. Geburtstag am 28. Februar 1956 (= Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Instituts an der Freien Universität Berlin. Bd. 9). Wiesbaden, 1956. S. 211 и след. — Автор упоминает переход *sp-* > *ps-* в слав. **selzena* (S. 226).

начальным *с-* еще и потому, что появление этого «нового» согласного звука знаменует определенную тенденцию в славянской фонетической эволюции, определенные результаты, к которым пришла эта эволюция. Ведь появление аффрикаты *с-* (*ts-*) — это один из нескольких, по крайней мере типологически возможных, итогов палатализации *k* перед *ě* в славянском. Появившись перед *ě* в общеславянских масштабах, аффриката *с-* продолжает затем осуществляться позднее в несколько иных условиях, ср. переход *kvě- > cvě-* в южнославянских и восточнославянских языках (впрочем, в последних этот процесс проходил недостаточно последовательно и полно, как свидетельствуют диалекты). Нет надобности останавливаться здесь на локальном, зап.-слав. *с-* < праслав. *tj-*.

С падением редуцированных появились новые случаи *-с-*, вызванные слиянием *t-s*, ср. др.-рус. **цьтѧ**, при ст.-слав. **тьсть**, ст.-слав. **богатьство**, при польск. *bogactwo*[15]. В истории славянской палатализации задненёбных согласный *с-*, — относительно поздний результат (после появления *č*, *ž*, *š* в итоге смягчения *k*, *g*, *x* перед передними гласными и после монофтонгизации дифтонга *oi̯ > ě*) и, надо полагать, наиболее полный, законченный, если иметь в виду близость артикуляции согласного и гласного, более полный, чем это было достигнуто при I палатализации, когда *k* дало *č* вследствие выделения между согласным и гласным особой промежуточной иотовой артикуляции. Эту разницу в итогах I и II палатализаций кажется целесообразным понимать так, как изложено здесь, потому что в противном случае одни лишь утверждения, что *č* «не могло» появиться перед *ě* (из *oi̯*), голословны и ничего не доказывают (в конце концов *oi̯* после монофтонгизации дало не какой-то мистический $ě_2$, а все тот же *ě*, т. е. *ē*, перед которым как раз могло теоретически появиться *č*, ср. аналогичные *...kētei̯ > ...čati* в исходах глаголов после I палатализации, а также сказанное выше о нескольких типологически возможных итогах палатализации *kě-* из *koi̯-*, но дело в том, что к моменту монофтонгизации наступила та особая близость артикуляции согласного и гласного, которая в эпоху I палатализации отсутствовала и которая сейчас закономерно дала *с*, а не *č*). Мы не можем принять выдвигаемую некоторыми идею наибольшей древности прогрессивной палатализации именно потому, что это была *с-* палатализация[16].

Факт появления *с-* — результат тенденции, которая, вероятно, существовала в языке до этого и при том — в течение длительного времени. При универсальной способности языка к воспроизводству одной и той же модели в

---

[15] *R. Nahtigal*. Slovanski jeziki. 2 izd. Ljubljana, 1952. S. 116.

[16] Подробно о разных славянских палатализациях см.: *R. Channon*. On the place of the progressive palatalization of velars in the relative chronology of Slavic (= Janua linguarum / Ed. C. H. van Schooneveld). The Hague; Paris, 1972. P. 47.

разные периоды и, естественно, с различным результатом, можно a priori предположить, что праславянская «буква» *c-* — не первый случай осуществления аффрикаты *ts* в истории праславянского. Вопрос этот, как постараемся показать ниже, имеет ключевое значение, потому что решение его ведет к еще более глубокой реконструкции в плане праславянской лексикографии и проясняет многое в славянской этимологии. Поскольку в тех же словах и абсолютно в той же позиции, что и историческое *c-*, не могло быть аффрикаты *ts-* по понятным причинам (в описанной выше лексике в раннепраславянскую эпоху преобладало начало слова *k* + *oi̯*, *sk* + *oi̯*), раннепраславянское *ts-* (или **c-*) надлежит искать совсем в другой лексике, если это вообще возможно. Эта задача представляется нам выполнимой, а то, что мы получим при этом своего рода раннепраславянскую «букву» *c-* с о в с е м д р у г о г о с о с т а в а, ч е м и с т о р и ч е с к и и з в е с т н ы й с л о в н и к н а *c*-н а ч а л ь н о е, представляет, как нам кажется, высокий научный интерес. Достаточно сказать, что, если бы славяне получили письменность в ту отдаленную эпоху, мы имели бы в своем распоряжении фиксацию категории слов с алфавитным началом *ts-* (**c-*), совершенно особой по инвентарю.

При решении сформулированного выше вопроса мы исходим из проницательного высказывания А. Мейе: «В славянском языке доисторической эпохи, как и во всех восточных индоевропейских диалектах, средненёбные согласные перешли в аффрикаты типа **c*, **dz*; затем старые **c*, **dz* изменились в слав. *s*, *z* исторической эпохи» [17]. Остается лишь пожалеть, что это положение, под каждым словом которого можно, не колеблясь, подписаться сейчас, автор не подкрепил конкретными фактами, почему впоследствии оно было оставлено практически всеми (в том числе ближайшим последователем Мейе — А. Вайяном) в пользу различных других теорий, которые, казалось бы, подробнее разработаны и основаны на материале, но которые, тем не менее, нуждаются в критическом пересмотре.

Начнем с гипотезы. Так, мы считаем, что в р а н н е п р а с л а в я н с к у ю э п о х у и.-е. *k̂* п а л а т а л ь н о е о т р а ж а л о с ь к а к а ф ф р и к а т а **c* (*ts*). Возьмем примеры, где **k̂* палатальное этимологически обнаруживается в начальной позиции, наиболее самостоятельной фонетически, а также удобной и наглядной для нас в лексикографическом плане. Речь идет о следующих словах (в традиционной праславянской транскрипции): **selmę*, *sętь*, *senrъ*, *sěmьja*, *sěno*, *sěverъ*, *sirъ*, *sivъ*, *sloniti*, *slovo*, *sluti* / *slovǫ*, *sluxъ*, *slušati* / *slyšati*, *solma*, *solna*, *sorka*, *sormъ*, *sova*, *sovati*, *stropъ*, *suditi* [18], *sudla*, *sujь*, *světъ* / *svit-*,

---

[17] *А. Мейе*. Общеславянский язык. М., 1951. С. 22.

[18] Праслав. **suditi* восстанавливается на основе чеш. *cíditi* 'чистить (до блеска)' < **ot-suditi*; родственно др.-инд. *śodháyati* 'чистит' (см. *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého. 2 vyd. Praha, 1968. S. 85).

sъto, *sь*, *sьjati*, *sьrdьce*, *sьrna* (список не претендует на полноту). Раннепраславянское состояние этой группы слов до развития тенденции открытых слогов, до монофтонгизации дифтонгов и некоторых других явлений, характеризующих собственно праславянский период, мы представляем себе как состояние с характерным наличием упомянутого рефлекса **c* (*ts*). Отсюда вид и состав раннепраславянского словарного разряда на **c-* начальное: **celmen*, *centĭ*, *cernŭ*, *coi̯mĭjā*, *coi̯no*, *coi̯verŭ*, *cei̯rŭ*, *cei̯vŭ*, *clonītei̯*, *clovos*, *clou̯tei̯*, *clou̯xŭ*, *clou̯xjātei̯* / *clūxjātei̯*, *colmā*, *colnā*, *corkā*, *cormŭ*, *covā*, *covātei̯*, *cropŭ*, *cou̯dīlei̯*, *cou̯dlā*, *cou̯jĭ*, *cvoi̯tŭ* / *cvei̯t-*, *cŭto*, *cĭ*, *cĭjātei̯*, *cĭrdīko*, *cĭrnā*.

Несколько слов об отношениях раннепраславянского **c* и праславянского *c*. Сравнение позиций того и другого звуков в слове показывает их различия: пóзднее *c* обусловлено позицией *cě-* и по природе своей палатально, раннепраславянское **c-* практически независимо от позиции (ср. выше сочетания *ce-*, *cĭ-*, *co-*, *cl-*, *cv-*). Артикуляция *c-* имела возможность закрепиться, очевидно, только в условиях, описанных нами выше (мягкость, сближение согласного и гласного). Реконструируемое раннепраславянское **c* не отличалось, по-видимому, той прочностью и слитностью, как историческое *c*, т. е. было скорее группой *ts*, утратившей затем смычный элемент, поэтому мы говорим о раннепраславянском **c-* как о диахроническом этапе в эволюции и.-е. **k* > **c* > *s* в славянском. Совпадение примеров на **c-* и *c-* единично, ср. раннеправслав. **cvoi̯tŭ* (> праслав. **světъ*) и позднедиалектное **cvětъ* (< праслав. **květъ*), где отражаются индоевропейские дублеты на *k̂-* / *k-*.

Высказанная выше гипотеза о регулярном отражении и.-е. *k̂* палатального в виде аффрикаты **c* (*ts*) в раннепраславянскую эпоху нуждается в проверке и доказательствах. Поскольку наше предположение распространяется на все случаи отражения и.-е. *k̂*, в которых в историческую эпоху представлено *s*, кажется оправданным включение в число доказательств примеров поведения славянского рефлекса и.-е. *k̂* также в позиции внутри слова. Эти позиции бывают весьма разнообразными; нас интересуют те из них, где поведение рефлекса и.-е. *k̂* особенно показательно по каким-то причинам. Такова позиция после *ĭ̄*, *ŭ̄*, *r*. Согласно известному правилу Педерсена, и.-е. *s* в славянском после *i*, *ь*, *u*, *ъ*, *y*, *r*, *k* давало *x*. Этого не наблюдалось, если слав. *s* оказывалось продолжением и.-е. *k̂*: такое *s* в славянском сохранилось без изменения[19]. Ср. различия между сходными внешне слав. **vьxъ* (<**u̯ĭs-*) 'весь' и

---

[19] Попытка обосновать случаи перехода *x* < *s* < *k̂* в слав. *rěx-* (*rěšiti*), ст.-слав. **храна** cibus, **вьсь** omnis (см. *W. Vondrák*. Vergleichende slavische Grammatik. Bd. I. Göttingen, 1906. S. 260—261, 350) успеха не имела, см. *Г. А. Ильинский*. Праславянская грамматика. Нежин, 1916. С. 225, где говорится об ошибочности соответствующих этимологий. Если связи двух первых слов несколько проблематичны, то слав. *vьsь* 'весь, omnis' получило затем правдоподобную этимологию с и.-е. *s*, ср. лит. *vìsas*

vьsь* (< *u̯ĭk̂-*) ‘селение’, **porxъ* (< **pors-*) и **porsę* (< **pork̂-*), **pixati* (< *pei̯s-*) и **pisati* (< **pei̯k̂-*), **tixъ* (< **tei̯s-*) и **tisъ* (< **tik̂s-*), **pьxati* (< *pĭs-*) и **pьsъ* ‘собака’ (< *pĭk̂-*), **ryx-* (*ryxlъ* < **rūs-*) и **rysь* ‘рысь’ (< **rūk̂s- / lūk̂s-*),tysętja / tysǫtja* (< **tūsk̂m̥t-*). Спрашивается, почему слав. *s* из и.-е. *k̂* в этой позиции не перешло в *x*? Самым естественным, на первый взгляд, кажется ответ, что это было какое-то «другое» *s*. На том, видимо, основании, что речь идет о рефлексации палатального согласного; высказывалось мнение, что этот особый *ș* из *k̂* был мягким в праславянском языке. «У нас есть косвенные доказательства, что [ș] из [k̂] и исконный [s] различались еще в тот период, когда [s] после гласных [i], [ī], [u], [ū], сонантов [i̯], [u̯], [r], [ṛ], согласного [k] перед гласными изменился в [x]. Дело в том, что этот процесс пережил только исконный [s]… Надо думать, что [ș] и [z̦] из [k̂] и [ĝ] были согласными мягкими. Позже они эту мягкость утратили и совпали с исконными [s], [z]»[20]. Значит, мы должны принять, что существенным отличием этого особого *s*, препятствовавшим его переходу в *x*, была его мягкость (ș). Но находилась ли эта постулируемая мягкость *s* в таком непримиримом противоречии с переходом *s* > *x*? Предоставим слово исследователю, специально занимавшемуся эволюцией и.-е. *s* после *i, u, r, k* в балтийском (*s* > *š*) и славянском (*s* > *š* > *x*): «После взрывного согласного *k*, после *r*, произносимого кончиком языка, и после узких гласных *i* и *u* артикуляция согласного *s*, скорее всего, была более верхней, и сам звук, вероятнее всего, произносится тише и не так отчетливо. В акустическом отношении этот вариант согласного мог быть промежуточным звуком между *s* и *š* современного литовского языка, т. е. он мог быть *ś*… Во время этого изменения балтийские, славянские и индоиранские диалекты сохраняли определенные контакты: во всех трех языковых группах и.-е. *s* изменился в одной и той же позиции, а результат этого изменения был, в свою очередь, одним и тем же»[21]. Очевидно, что ни мягкостью *s*, развившегося из

‘весь’ и родственное лит. *vaĩsti* ‘плодиться’, см. специально *J. J. Mikkola*. Urslavische Grammatik II. Teil. Konsonantismus. Heidelberg, 1942. S. 178. Что касается *-x-* в укр. *прохáти,* рус. *прохáть,* то это аффектированный, экспрессивный аффикс, и этот пример также нельзя использовать как свидетельство перехода и.-е. *k̂* > *s* > *x* в слав. *prositi* из и.-е. **perk̂-*. См. *V. Machek*. Zur Erklärung der sog. Baudouinschen Palatalisierung im Slavischen und Baltischen // Mélanges linguistiques offerts à Emil Petrovici par ses amis étrangers à l’occasion de son soixantième anniversaire (= Cercetări de linguistică. III. 1958). S. 328.

[20] *С. Б. Бернштейн*. Очерк сравнительной грамматики славянских языков. М., 1961. С. 154. Ср. там же, с. 162, с аналогичной цитатой из Богородицкого (Краткий очерк… С. 47) о различии рефлексов древних *k̂* и *s* в славянском ввиду исключений из перехода *s* > *x*.

[21] *S. Karaliūnas*. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai // Baltų ir slavų kalbų ryšiai (= Lietuvių kalbotyros klausimai. X). Vilnius, 1968. S. 86.

k̑, ни каким-то особым характером этого *s* (*s̹*) нельзя объяснить исключения этого *s* из правила перехода в *x* в описанной выше позиции [22].

Это исключение объясняется просто и естественно, если предположить в означенной позиции в момент перехода *s* > *x* наличие аффрикаты *ts*. На такую мысль наводят, например, давно известные аналогии вроде слав. **rusъ*, рус. *русый*, наряду со слав. **rudъ*, укр. *рудий* и др., из **roud-s-*, далее — слав. **vysokъ*, рус. *высокий* < **ūp-s-*. Общепринято мнение, что *s* не перешло *x* в слове *русый*, потому что между *u* и *s* был зубной согласный, который впоследствии выпал, и никому не приходит в голову объяснять все это особым характером данного *s*. Точно так же единственную возможность понять устойчивость *s* в примерах **vьsь* II, **porsę*, **pisati*, **tisъ*, **pьsъ*, **rysь*, **tysętja* / **tysǫtja* мы видим в реконструкции смычной аффрикаты **c* (*ts*) : **vĭcĭ*, **porcen*, **pe̯icātei̯*, **tĭcŭ*, **pĭcŭ*, **rūcĭ*, **tūcentjā* / **tūcontjā*.

Основанное на изложенных фактах предположение раннепраславянской стадии аффрикаты *ts* для рефлекса и.-е. *k̑* как будто позволяет продвинуться в этом важном вопросе славянского и индоевропейского сравнительного языкознания. Существующие иные концепции на этот счет представляются нам фиктивными и недоказуемыми. Косвенным свидетельством этой недоказуемости может служить признание А. Вайяна в том, что долгая история и.-е. *k̑* в славянском совершенно неизвестна; выдвигаемые им «приблизительно» этапы **k̑* > **č* > балто-славянское *š* > славянское *s* [23] повисают в воздухе. Реконструируя шипящий типа литовского *š* как балто-славянскую стадию в эволюции слав. *s* < и.-е. *k̑*, Вайян просто переносит в славянскую сравнительную грамматику факты литовского, балтийского языкового развития. Объяснить приводившиеся выше славянские примеры таким образом трудно, исключение из правила перехода *s* > *x* после *i*, *u*, *r*, *k* останется непонятным, кроме того, у нас нет желания принимать на веру мнение Вайяна о «двух различных шипящих» в славянском [24], которое имеет под собой не больше оснований,

---

[22] Ср. критику Эндзелином (Славяно-балтийские этюды. С. 53—54) учения Фортунатова о двух *s* в индоевропейском праязыке, а также приводимые там же слова Бернекера: «Если мы будем стремиться возвести к различиям языка-основы все расхождения в фонетическом и формальном развитии отдельных языков, сколько-нибудь неясные для нас из них самих (а к этому склоняется московская школа), то язык-основа превратится в конце концов в большой чулан, куда сваливают с легкой душой все то, с чем не могут справиться, а также в неизменное искушение передать факты, ждущие нашего решения, в инстанцию, на которой решения от нас уже не требуется».

[23] *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. Vol. 1. Phonétique. Lyon; Paris, 1950. P. 25.

[24] Там же. P. 38.

чем гипотеза о двух разных *s* (см. выше). Концепция Вайяна — красноречивый пример отрицательного, сковывающего влияния схемы балто-славянского единства на изучение славянского языкового материала.

Гипотеза о слав. *s* < **c* < и.-е. *k̂*, подтверждаемая внутренними славянскими данными (выше), находит серьезные типологические подтверждения в кафирских (дардских) языках Афганистана, давно получивших широкую огласку благодаря аналогичному рефлексу. Так, и.-е. **dek̂m̥* 'десять' дало др.-инд. *dáśa*, авест. *dasa*, которому отвечает в одном из кафирских языков форма *duċ* с рефлексом *ċ* (*ts*) < и.-е. *k̂* [25]. Рядом с этой архаичной сатемной формой мы теперь поставили бы раннепраславянское **decentĭ*, а рядом с теми архаичными сатемными диалектами, в которых «оказывается возможным реконструировать смычные палатальные как продолжение индоевропейских палатальных» [26], мы поместили бы на полных правах славянский, допускающий не менее достоверную реконструкцию. Поэтому нельзя назвать иначе как преждевременным утверждение следующее: «Ничего подобного мы не наблюдаем при сатемной палатализации в балтийских и славянских языках, где нет никаких признаков предшествующей аффрикатизации» [27].

Таким образом, в эволюции слав. *s* из и.-е. *k̂* выделяется стадия промежуточной артикуляции [28], но это не шипящий [29], а смычная аффриката **c* (*ts*). Кроме внутренней реконструкции (**vь(t)sь*, **por(t)sę* и т. д.) и типологических оснований, выдвинутое здесь положение о раннепраславянской аффрикате *ts* из и.-е. *k̂* поддается косвенной проверке на материале древних заимствований.

Общим местом в сравнительных грамматиках славянских языков является констатация упрощения группы согласных *ts* > *s*, в пользу чего как будто свидетельствуют примеры ст.-слав. **остѫпити** < **ot-s...*, аористы **съ-блюсъ** < **bljud-sъ*, **вѣсъ** < **ved-sъ* [30]. Невольно возникает впечатление, что *ts* было практически невозможной группой и что упрощение *ts* > s носило характер чуть ли не моментального акта. Так объясняется, например, ст.-слав. **въсѫдъ** 'причастие' (Киевские листки), читаемое как ***вьсоудъ**, которое толкуют как

---

[25] *Z. Rysiewicz*. Zagadnienie palatalnych w językach dardyjskich // *Z. Rysiewicz*. Studia językoznawcze. Wrocław, 1956. S. 228.

[26] *Вяч. В. Иванов*. Проблема языков centum и satem // ВЯ. 1958, № 4. С. 13.

[27] *В. В. Мартынов*. Славянская и индоевропейская аккомодация. Минск, 1968. С. 89—90.

[28] Иначе ср. *С. Б. Бернштейн*. Указ. соч. С. 154: «Для праславянского у нас нет оснований предполагать в данном случае промежуточной артикуляции».

[29] О стадии *š* для слав. *s* < *k̂* см. еще, например, *J. Kuryłowicz*. L'apophonie en indo-européen. Wrocław, 1956. S. 375.

[30] *A. Vaillant*. Указ. соч. P. 80.

заимствование из древневерхненемецкого *wizzōd*, причем аффриката *z* (*-ts*) слова-источника была передана с помощью слав. *s*[31]. Но слав. *s* в этой позиции должно было перейти в *x*, и если этого не случилось, причина, по нашему мнению, заключалась в том, что здесь первоначально наличествовало славянское **c* (*ts*), адекватное аффрикате немецкого слова. Правда, этот пример годится только как аналогия, так как здесь нет отражения и.-е. *k̂*. Следы раннепраславянского **c* (*-ts*), восходящего к и.-е. *k̂*, могут быть, кажется, косвенно установлены по формам нескольких древних славянских заимствований в балтийских языках.

Следует иметь в виду, что звук *c* (*-ts*) совершенно чужд, например, литовскому языку, где он встречается, помимо ономатопей, исключительно в заимствованиях (наряду с субституцией слав. *c* = лит. *č*, которая, однако, не носит древнего характера). Сходное положение было, по-видимому, в древнем балтийском. Заимствуя лексику с аффрикатой **c* (*-ts*), древние балтийские диалекты должны были также прибегать к субституции. Мы рассмотрим три вероятных лексических заимствования из славянского в балтийский, которые не получили, как нам кажется, должного освещения. Речь идет о литовских словах *stìrna* 'косуля', *tū́kstantis* 'тысяча' и древнепрусском слове *parstian* 'поросенок'. Если опустить пока одну существенную деталь, к которой мы еще вернемся ниже, то родственные связи этих слов не вызывают сомнения. Лит. *stìrna* вместе с лтш. *stir̃na* и ст.-лтш. *sirna* тоже бесспорно связано со слав. **sьrna*, рус. *се́рна*[32]; лит. *tū́kstantis*, как и однозначные лтш. *tũkstuôt(i)s* и др.-прусск. *tūsimtons*, связано со слав. **tysętja* / *tysǫtja* [33]; др.-прус. *parstian* — с лит. *par̃šas* и слав. **porsę*[34]. Как видим, все это слова, в конечном счете связанные с праформами на и.-е. **k̂* палатальное: **k̂r̥n-* 'рог; рогатое животное', **tūs-k̂m̥t-* 'тысяча', собственно — 'большая, полная сотня', **pork̂-* 'поросенок, детеныш свиньи'[35]. Этимологическая ясность случаев и отражение и.-е. *k̂* создают довольно надежную опору для предпринимаемых ниже этимологических уточнений. Необходимость в этих последних вызвана тем обстоятельством, что рассматриваемые слова существенно отличаются от регулярной рефлексации и.-е. *k̂* в виде балт. *š* (= лит. *š*; др.-прус., лтш. *s*). Отличие лит. *sìrna*, *tū́kstantis*, др.-прусск. *parstian* в этой конкретной детали от

[31] *A. Vaillant*. Указ. соч. P. 80.

[32] *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. Heidelberg; Göttingen [б. г.]. S. 909; *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971. С. 609.

[33] *E. Fraenkel*. Указ. словарь. S. 1135—1136; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1958. S. 161—162.

[34] *R. Trautmann*. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923. S. 207.

[35] *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Bern; München, 1959. S. 574 и след.; 841, 1083.

общебалтийской эволюции и.-е. *k̂* интересует нас вместе с тем своей регулярностью, или закономерностью: всякий раз на месте ожидаемого правильного рефлекса стоит звукосочетание *st*. Общность этой черты требует общего объяснения для всех примеров и не может быть удовлетворительно истолкована частными обстоятельствами в каждом отдельном примере. А между тем до сих пор эти примеры-исключения толкуются как раз изолированно друг от друга. Я не говорю уже о том, что некоторые слависты и индоевропеисты по непонятным для нас причинам находят возможным приводить отношение слав. **sьrna* и лит. *stìrna* без каких бы то ни было комментариев как пример регулярной родственной связи![36]. Ясно, что в случае исконного родства со слав. **sьrna* литовская форма должна была бы иметь вид **širna*[37], ср. точное исконно родственное соответствие славянскому слову в лтш. *sirna*[38]. Попытки объяснить различие между слав. **sьrna* и лит. *stìrna* чередованием *ts-* : *st-*[39] или *st-* : *s-*[40] одинаково неубедительны, потому что не могут объяснить главного вопроса — отношения к этимону **k̂r̥n-* с и.-е. *k̂* палатальным. Между прочим, была высказана мысль и о заимствовании из славянского[41], но если брать за источник заимствования классическую праславянскую форму **sьrna*, то и тогда ожидалось бы лит. **sirna*, а что касается элемента *-t-*, то его вставка остается непонятной, она никак не подтверждается и славянским материалом ввиду отсутствия слав. **stьrna*. Совсем неубедительны предположения о каких-то вторичных контаминациях литовской формы[42]. Противоречия устраняются, если лит. *stìrna*, лтш. *stir̃na* считать заимствованием из раннепраславянского **cĭrnā*, с субституцией чуждого *ts-* > *st-* в балтийском, ср. интересную аналогию отражения иноязычного *ts-* в крымскоготском *stap* 'коза': алб. *tsap*, рум. *ţap* и другие близкие названия козла в карпатско-балканском ареале.

Равным образом только нетребовательностью к формальной стороне звукового соответствия можно объяснить тот факт, что в научную литературу и этимологические словари прочно вошло на правах бесспорного сближение лит. *tū̃kstantis*, лтш. *tũkstuôts* и ст.-слав. **тысѧшта, тысѫшта**, рус. *тысяча* и

---

[36] *Вяч. В. Иванов*. Проблема языков centum и satem // ВЯ. 1958, № 4. С. 21.

[37] *E. Fraenkel*. Указ. словарь. II. S. 909 (примеч. редактора); дальнейшее развитие **širna* > **štirna* > лит. *stirna*, предполагаемое там, на редкость искусственно.

[38] *И. Эндзелин*. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 195.

[39] Там же. С. 43. Сн. 2.

[40] *J.Otrębski*. Indogermanische Forschungen. Wilno, 1939; цит. по рец.: *V. Machek*. Listy filologické. LXVIII. 1941. S. 65—66.

[41] Литературу см.: *И. Эндзелин*. Указ. соч. С. 5; *М. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. III. М., 1971. С. 609.

[42] *E. Fraenkel*. Указ. соч. (с литературой).

далее — герм. **þūshundi* 'тысяча'[43]. Авторы, как правило, не видят различия в существенной детали между балтийским и славянским словами и не стремятся его объяснить. Тем не менее, существенное различие налицо. Балтийской формой числительного 'тысяча', родственной слав. **tysętja* / *tysǫtja*, строго говоря, может быть признано только др.-прус. *tūsimtons* вин. п. мн. ч. Траутман правильно реконструирует праформу **tūšimti̯ā-*[44], но он вместе со всеми неоправданно относит туда отклоняющиеся литовскую и латышскую формы. Между прочим, только прабалтийское **tūšimt-* могло дать фин. *tuhansi*, *tuhat* 'тысяча' (фин. *h* < прафин. **š* < балт. *ś*); встречающееся объяснение финского слова из лит. *tukštantis*[45] неточно. В лит. *tū́kstantis*, лтш. *tũkstuôts-k-* скорее всего вставное (ср. ст.-лтш. *tuustosche*, XVI в.)[46], а не суффиксальное[47]. Прабалтийское диалектное **tūstantis* было заимствовано из раннепраславянского **tūcentjā* / **tūcontjā*, с передачей *ts* через *st*. Числительное 'тысяча' легко заимствуется из одного языка в другой, ср. венг. *ezer* — из иранского, болг. *хиля́да* — из греческого и уже упоминавшееся фин. *tuhansi* — из балтийского.

Так же, как в словах *stirna* и *tūkstantis*, может объясняться характерная фонетическая деталь в др.-прус. *parstian* ср. р. 'поросенок' (в рукописи Эльбингского словарика под № 686 записано как *prastian*[48]), которое до сих пор приводят почти без оговорок в качестве исконно родственной формы в одном ряду с лит. *par̃šas* 'поросенок', слав. **porsę*, рус. *поросёнок* и т. д.[49]. Только Траутман, сознавая несоответствие между др.-прусск. *st* и правильными рефлексами и.-е. *k̂* (лит. *š*, слав. *s*), прибег к условной реконструкции *parstian* < **parsistian*[50], где **pars-* соответствовало бы точно рефлексам других языков, но это ухищрение едва ли потребуется, если взглянуть на древнепрусскую форму в одном ряду с рассмотренными выше. Форма *parstian* могла быть заимствована из раннепраславянского **porcen* с субституцией *ts* > *st*. В таком

[43] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1958. S. 161—162 (с литературой); *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. II. S. 1135—1136; *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. I. S. 1083; *S. Karaliūnas*. Kai kurie baltų ir slavų kalbų seniausiųjų santykių klausimai // Baltų ir slavų kalbų ryšiai (= Lietuvių kalbotyros klausimai. X). Vilnius, 1968. S. 92.

[44] *R. Trautmann*. Baltisch-slavisches Wörterbuch. S. 332.

[45] Так, см. *H. Jacobsohn*. Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922. S. 166.

[46] *И. Эндзелин*. О вставочных *k* и *g* в балтийских языках. СПб., 1913. С. 14.

[47] Так, см. *E. Frenkelis*. Baltų kalbos. Vertė S. Karaliūnas. Vilnius, 1969. S. 55—56.

[48] Цит. по изданию: Prūsų kalbos paminklai / Parengė V. Mažiulis. Vilnius, 1966. S. 73.

[49] *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. Heidelberg; Göttingen, 1962. S. 542; *M. Фасмер*. Этимологический словарь русского языка. Т. III. С. 332.

[50] *R. Trautmann*. Указ. словарь. S. 207.

случае близкое по значению др.-прус. *werstian* 'теленок', вместо закономерного **wersian* (ср. лит. *veršis* 'вол, теленок', лтш. *vèrsis* 'вол'), возникло под влиянием формы *parstian*, а не из **versistian*, как, в свою очередь, предполагает Траутман [51].

Таким образом, группу согласных *st* в разобранных балтийских примерах мы объясняем как отражение раннепраславянского *ts*, смычного рефлекса индоевропейского *k̑* палатального. Иное отражение было невозможно, поскольку даже в наиболее богатом консонантно балтийском языке — литовском до сих пор употребление *c* и *č* позиционно обусловлено или сосредоточено в заимствованной лексике. Это *st* служит косвенным доказательством существования стадии смычного в славянской рефлексации индоевропейского палатального *k̑*. Изучение древних заимствований оказывало и прежде большую помощь в исследовании эволюции индоевропейских палатальных в сатемных языках; достаточно вспомнить такой яркий пример, как фин. *kah-deksan* 'восемь' и *yh-deksän* 'девять', где второй компонент сближают с др.-инд. *daśa* и т. д. 'десять', а в сочетании *ks* видят отражение стадии сильной аффрикаты для и.-е. *k̑* [52].

1. Индоевропейское *k̑* палатальное прошло в раннепраславянскую эпоху стадию смычной аффрикаты **c* (= *ts*), прежде чем изменилось в *s*.

2. В связи с этим положением намечаются уточнения относительной хронологии процесса. Стадия смычной аффрикаты *ts* существовала во время изменения *s* > *x* после *i*, *u*, *r*, *k* в славянском (т. е. изменение *s* > *x* проходило при вполне определившемся сатемном облике славянского, следовательно, переход *s* > *x* нет надобности чрезмерно архаизировать).

3. Определению абсолютной хронологии раннепраславянской стадии смычной аффрикаты *ts*- из и.-е. *k̑* может помочь наблюдение, что «переход *sj* > *š* распространяется также на *s* из *k̑*...: *pīšǫ* 'пишу' из *pīs-jǫ*» [53]. Это значит, что ко времени I палатализации, с которой надо датировать появление шипящих в славянском, смычная аффриката *ts* (из и.-е. *k̑*) утратила смычный элемент и дала *s*, иначе мы имели бы **pits-jǫ*- > **pičǫ*. Следовательно, стадию смычной аффрикаты *ts* (из и.-е. *k̑*) в раннепраславянском надо датировать до I палатализации, т. е. временем около начала нашей эры.

---

[51] *R. Trautmann*. Указ. словарь. S. 353.

[52] *H. Jacobsohn*. Arier und Ugrofinnen. Göttingen, 1922. S. 171—172.

[53] *J. J. Mikkola*. Urslavische Grammatik. II. Teil. Konsonantismus. Heidelberg, 1942. S. 170—171.

СЛОВООБРАЗОВАНИЕ, СЕМАНТИКА, ЭТИМОЛОГИЯ В НОВОМ «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ», 1—3

Рукописный «Этимологический словарь славянских языков» (Праславянский лексический фонд; выпуски 1—3: *А*, *В*, *С*; Институт русского языка АН СССР, Москва) содержит много существенно нового по вопросам сравнительного изучения славянских языков. Ниже мы стремимся показать это на многочисленных примерах из этимологии (словообразования, семантики) и частично морфологии. Раньше мы уже опубликовали две небольшие статьи на эту тему: «К сравнительно-этимологической характеристике союза *а* и сочетаний с ним в праславянском» (Вопросы филологии. К 70-летию… профессора И. А. Василенко. 1969. С. 332—336); «Из праславянского словообразования: именные сложения с приставкой *а-*» (Проблемы истории и диалектологии славянских языков. Сборник статей к 70-летию… В. И. Борковского. 1971. С. 267—272).

В области этимологии — словообразования в нашем «Этимологическом словаре» постоянно учитываются лексемные соответствия (ср. праслав. **ajьce* ‘яйцо’: осет. *айк* / *айкæ* то же — и то и другое первоначальные уменьшительные, см. Абаев. Историко-этимологический словарь осетинского языка. 1. С. 41; в славистике оставлено без внимания), т. е. те соответствия, которые трактуют как возможно индоевропейский продукт не только корень славянского слова, но также и его словообразовательные морфемы, а равным образом и (возможно, индоевропейский) способ, с помощью которого они соединены с корнем. Соответственно этому на передний план выдвигается индоевропейский прототип славянского словообразовательного процесса, выдвигаются новые индоевропейско-славянские лексические сближения, или параллелизмы, относительная хронология ряда случаев славянского

словопроизводства пересматривается. Наш метод основывается при этом на убеждении, что, если говорить о типах словообразования, существует лишь небольшое количество абсолютно новых фактов. Абсолютные новообразования редки и проблематичны. Напротив, воспроизводство словообразовательных моделей поистине универсально. Исследование предпраязыковых (индоевропейских) прообразов и связей славянских словообразовательных моделей представляется в предшествующей славистике запущенным. По нашему мнению, это одна из важнейших задач нового «Этимологического словаря славянских языков». Все нижеследующие примеры ограничиваются первыми буквами праславянского алфавита (готовые выпуски словаря) и не претендуют поэтому на исчерпывающую полноту.

Праслав. **asenovъjь* / **asenevъjь* (рус. *я́сеневый*, в.-луж. *jasenjowy* 'ясеневый' и др.) находит соответствие в лат. *orneus* 'ясеневый' < **oseneu̯os*. Праслав. **berzovъjь* (рус. *берёзовый*, в.-луж. *brězowy*, н.-луж. *bŕazowy* 'березовый' и др.) соответствует фракийскому местному названию *Berzovia* (согласно Derby, 'березовый (ручей)'). Если мы к тому же еще вспомним италийское *Grabov-ius* (которое, в свою очередь, точно соответствует слав. **grabovъjь*), нам станет ясно, что славянские прилагательные, производные с суффиксом *-ov-*, имеют индоевропейское происхождение, а также что древнейшие прилагательные на *-ovo-* необязательно образованы от именных основ на *-u-*, как того хочет распространенная точка зрения (ср. **berzovъjь* ← **berza*, **asenevъjь* ← **asenъ/ь*!). Так обстоит дело с относительным возрастом славянских прилагательных на *-ovo-*, хотя ни в одном современном славянском языке ничто не является более продуктивным, чем прилагательные, образованные с этими формантом, например рус. *боевой*, *передовой* и многие другие свежие новообразования, словообразовательная модель которых, однако, древняя.

Праслав. **bratrьnъjь* (ст.-слав. **братрьнье**, стар. н.-луж. (Якубица) *bratrny* 'братский' и др.) сравнивается с лат. *frāternus* то же, тождественным по образованию прилагательным на суффикс *-n-*. Внешне вторичное производное — словен. *bŕzek* 'быстрый, проворный', стр.-чем. *brzký* 'резкий, стремительный' дает достаточное основание для реконструкции праслав. **bъrzъkъ*, особенно если сравнить последнее с тождественным структурно прилагательным нр. **mr̥zuka* 'короткий'.

В целом, прилагательные представляют богатый материал. Например, наличие параллельных форм праслав. **berza* ж. р. 'береза' и диал. (сербохорв., словен.) **berzъ* м. р. то же, которые следует возводить к и.-е. паре **bherəĝā*, **bherəĝos*, подтверждает хорошую старую этимологию (береза = 'белое дерево'), одновременно кладя конец старым морфологическим разногласиям. Один только тот факт, что мы имеем дело в том или ином случае с

древним прилагательным приводит подчас к верной этимологии. Пробным камнем при этом служит, как известно, различение по грамматическим родам. Например, первоначально адъективны **bezdъbna*, **bezdъbno*, **bezdъbnъ* (ср., между прочим, рус.-цслав. **бездъная** 'бездна'); точно так же **blaznъ*, **blazna*, **blazno* (ср. в.-луж. *błazn* м. р. 'дурак', *błazny* 'безумный, помешанный' и многие другие). Праслав. **bedra* ж. р., **bedro* ср. р. равным образом должны были первоначально быть прилагательными, хотя их продолжения в славянских языках неизменно обнаруживают именное значение 'бедро'; регулярный контроль всех старых производных — **bedrenikъ* 'Pimpinella saxifraga', **bedrenьcь* то же, **bedrica* (сербохорв. *бѐдрица* 'кровоподтек на теле от удара'), **bedrenъka* (польск. *biedrzonka* 'божья коровка Coccinella septempunctata L' и др.) — позволяет нам говорить о первичном прилагательном **bedrъ*, которое было произведено также от первичного глагола **bed-* 'бить, колоть'. Старое этимологическое отождествление **bedro* и лат. *femur* не объясняет всех этих отношений, которые мы рассматриваем как отголоски прилагательного **bedrъ*.

Дальнейшие примеры индоевропейско-славянских лексемных сближений: праслав. **bezsormьnъ* (ст.-слав. **бесрамьнъ** 'бесстыдный' и др.) — н.-перс. *би-шӓрм* то же; праслав. **bezvinьnъ* (ст.-слав. **безвиньнъ** 'невинный', в.-луж. *bjezwinny* 'невиновный' и др.) — н.-перс. *би-гуна* 'невиноватый, невиновный'; праслав. **bělica* 'различные виды белых животных, растений и рыб' — лат. *fulica* (и.-е. **bholikā*) 'водоплавающая птица'; праслав. **borgъ* (например н.-луж. *brog* 'стог (сена)' и др.) — дороманск. **bargā* 'соломенная хижина', кушанское βαργο 'здание, храм'; **bruliti* (болг. *бру́ля* 'сбивать, ударять') — лтш. *braulât* 'проводить (рукой по лицу)'; праслав. **brusna* (др.-рус. 'какая-то часть тела?') — кимр., брет. *bronn* (и.-е. **bhrusnā*) 'грудь'.

Этимология / словообразование в «Этимологическом словаре славянских языков» насчитывают немало интересных данных также в специальном разделе глагольно-именного словопроизводства. Ср. отношение праслав. **buna* (например сербохорв. *бу́на* 'мятеж'): **buniti* (сербохорв. *бу́нити* 'возмущать', рус. диал. *бу́ни́ть* 'гудеть, реветь' и т. д.) = **bura* ('буря, гроза', во всех славянских языках, кроме серболужицких): **buriti*. Здесь виден чисто суффиксальный характер *-r-* / *-n-*, причем становится окончательно ясной неудача индоевропейской реконструкции **bheur-*. Поучительны словообразовательные ряды, например, праслав. **bylo* (сербохорв., словен., укр. 'стебель растения'): **bylь* (ст.-слав. **быль** 'трава'): **bylьje* то же = **byto* (рус. 'пожитки'): **bytъ* ('житье, имущество, жилье'): **bytь* (рус.-цслав. и др. 'бытие'): **bytьje* то же. Отсюда явствует причастная природа формантов *-t-* и *-l-*. Построение правильных словообразовательных рядов открывает путь к надежной этимологии. Так, например, давно доказанное родство праслав. **bъrtь* 'пчелиная

борть', макед. *бртва* то же с лит. *bùrti* 'колдовать'; *bùrtas* 'жребий' следует понимать таким образом, что в основе славянских слов лежит утраченный славянский глагол **bъrti* 'делать зарубки, надрезки', от которого, с одной стороны, было образовано отглагольное имя **bъrtva* (ср. сюда же лит. *bùr-tv-is* 'колдун'), откуда, в свою очередь, глагол на *-iti* **bъrtviti* (болг. *бр̀ътвя* 'говорить глупости', отнесено Георгиевым неубедительно к лит. *burbėti* 'ворчать'), с другой стороны — производное имя действия **bъrtь*, которое так относится к глаголу **bъrti* (= лит. *bùrti*), как праслав. **sъ-mьrtь* 'смерть' — к лит. *mìrti* 'умирать'. Равным образом необходимо предполагать утраченный глагол (праслав. **cěpti* = лит. *kaĩpti* 'чахнуть') для отношения исторических **cěpati* (например словен. *cépati* 'умирать, подыхать', чеш. *z-cípati* то же) и прич. прош. страд. **cěpenъjь* (цслав. **цѣпѣнъ** 'жесткий', чеш. диал. *cepenyj* 'закаленный, здоровый'). До сих пор говорили, главным образом, только о родстве **cěpeněti* с вышеупомянутым лит. *kaĩpti*, хотя **cěpeněti* явно вторично. Далее рассматриваются как родственные друг другу и смежные производные с суффиксальной вариацией праславянские глаголы **cěditi* 'цедить', **cěniti* II (чеш. *ceniti zuby* 'скалить зубы'), **cěriti* II (болг. диал. *цéрим се* 'ухмыляться', сербохорв. *цjерити зубе* 'скалить зубы' и др.).

Много дополнительного материала получает исследование словообразовательных формантов и их оформления в праславянском. В частности выяснилось, сколь значительно количество собственных славянских новообразований в этой области. Ср., например, пару слов **babъka* (одно из значений — 'Plantago') — **babyka* (сербохорв. *бабика* 'Plantago'), которая делает очевидным удлинение гласного в суффиксе *-ъka* → *-yka* и тем самым усложняет дальнейшую индоевропейскую этимологизацию слав. *-ука,* например в **voldyka.* Аналогичным образом следует расценивать также некоторые другие пары или ряды слов с наглядной суффиксальной вариацией или чередованием гласных: праслав. **bodylь* (болг. *бодúл* 'терн, колючка'), также **badylь* (рус. диал. *бадыль* 'сухой стебель' и др.) **bodъlь*, **bugъrь* (рус. *бугóр*) — **bugyrь* (рус. диал. *бугúрь* 'шишка'); праславянские суффиксальные вариации **bъtr-* / **bъtur-* / **bъtyrь* (макед. диал. *бýтрач* 'репейник' — болг. диал. *бóтур* 'ствол, стебель', сюда же рус. диал. *бастыльник* 'сорняк'). Здесь уместно снова вспомнить о запутанной проблеме слав. **pastyrь* (*-tyr* как внутриславянское развитие суффикса *-tr-i* ср. болг. *пáстря* 'стеречь, охранять').

К разделу э т и м о л о г и и / с е м а н т и к и относятся многочисленные факты и новые этимологические точки зрения, которые нашли выражение в «Этимологическом словаре славянских языков». На помощь привлекалась в ряде случаев своего рода семантическая типология. Именно она помогала решить в сомнительных случаях, имеем ли мы дело с о д н о й или несколькими лексическими семьями. Такая словарная статья, как **bakul'a* / **bakъl'a*

(ср. там сербохорв. *бàкула* 'заболонь (в дереве)', в.-луж. *bakulka* 'пузырь', рус. диал. *баклуша* 'заболонь', 'чурбак', 'яма с водой', укр. *бака́ль* 'озеро' и др.) была обоснована со стороны семантики с помощью аналогии **bolnь* / **bolnьje*, которое имеет в наличии все существенные значения **bakul'a* / **bakъl'a*, т. е. 'заболонь (как б е л ы й слой древесины)', 'топкая местность' и т. п.

Но особенно богато представлены разделы с л о в о о б р а з о в а н и е/ с е м а н т и к а в примерах внутриславянских изоглосс. Прежде всего — ряд примеров в алфавитном порядке. Праслав. диал. **astrǫbъ* (словен. *jâstrob* 'ястреб', укр. *я́струб* то же) при **astrębъ* в большинстве славянских языков; **batoriti* (словац. *bátoriť* 'шуршать, шуметь', польск. *botorzyć* 'лепетать (о ребенке)', рус. диал. *бато́рить* 'говорить, болтать') произведено с суффиксом *ba-* от **toriti*, **tortoriti*; **bělozorъ* (болг., укр. 'растение Parnassia palustris'); **bodarь* (сербохорв. диал. *бòда̄р* 'рыболовная сеть', словин. *b'uodåře* мн. 'рыболовная острога'), заметная словообразовательная и семантическая изоглосса; **bolniti* (сербохорв. *бла́нити* 'беситься', рус. диал. *болони́ть* 'надоедать', *боло́нить* 'говорить'), интересное образование, еще не попавшее в этимологические словари и связанное чередованием гласных с *belnъ* / **belena* 'белена', ср. значения выше; **bol'ěznъ(jь)*, старое прилагательное, распространенное в южно- и восточнославянском, производное от **bol'ěznь* 'болезнь', неизвестное в западнославянском, но ср. в.-луж. *bolozny*; **bol'ętъkъ* (сербохорв. *боле́так* 'болезнь', рус. диал. *боляток*, *болето́к* 'нарыв', 'рана, язва', 'болезнь'), общее сербохорватско-русское суффиксальное производное от старого причастия **bol'ęt-*; **borьba* (болг., макед., сербохорв., словен. 'борьба, бой', а также словац. диал. *borba* 'борьба'), остальным западно- и восточнославянским народным диалектам практически неизвестно; **borьna* (болг. диал. *борня́* 'борьба', укр. *борня́* то же), общая субстантивация прилагательного праслав. **borьnъ*; **bǫbarь* (болг. *бръмбар* 'жук', *бъба́р*, макед. *бумбар* то же, сербохорв. *бумба̄р* 'шмель', сюда же рус. диал. *буба́рка* 'жук'), южнославянско-северновелирусская изоглосса, до сих пор практически неизвестная, звукоподражание вероятной индоевропейской древности, ср. др.-инд. *bambharaḥ* 'пчела', лит. *bam̃balas* 'шмель, майский жук', **bǫkarь* (полаб. *bǫkăr* 'выпь', рус. диал. *бука́рь* 'букашка, жук'), словообразовательная изоглосса (суффиксальное производное на *-arь* от **bǫkati*), связывающая полабский с русским; **broščь* (польск. *broszcz* 'кайма на женском платье', рус. диал. *брощи* мн. 'крылья'), редкое, очевидно старое слово; **brǫkъ* (название жука, известное в чешском и серболужицком, ср. еще рус. диал. *брюк* 'навозный жук', еще не использованное этимологами); **brusьna* (болг. диал. *брусн'ô* ж. р. 'ложь, сплетня', чеш. диал. *brusna* ж. р. 'сплетница', рус. диал. *брусна́* 'лгун(ья)'; **brъstьnatъ* (сербохорв. *бр̏сна̄т* 'покрытый листьями', словен. *brstànt* 'покрытый почками', укр. *бросна́тий* 'богатый, изобилующий почками'); **bučadlo*

(болг. *бучáло* 'углубление в почве с дождевой водой', макед. *бучало* 'водопад', сербохорв. диал. *бýчало* то же, рус. диал. *бýчало* 'водоворот', 'яма с водой', укр. диал. *бучáло* 'водоворот', 'глубокая яма с водой'); **bučavъ* (болг. диал. *бýчав* 'растрепанный', сербохорв. *буħав* 'растрепанный, непричесанный', укр. диал. *бучавúй* 'ссохшийся'); **bušьnъ* (сербохорв. *бýшан* 'дырявый', словин. *bšnḯ* 'задиристый, гордый'); **bъšiti* (болг. диал. *бъшим* 'утаивать', макед. диал. *bъši* 'скрывать, замалчивать', сербохорв. *бȁшити* 'отказывать(ся)', рус. диал. *башить* 'лгать'), глагол на *-iti* с характерным семантическим развитием из звукоподражательного **bъš-*, **bъx-*; **cědъ* (болг. стар. *цед* 'щелок', рус. диал. *цед* 'какой-то сок', укр. диал. *цід* 'закваска', блр. *цэд* 'жидкий раствор овсяной муки'), совместное именное обратное производное от глагола **cěditi.*

В целом картина выглядит несколько мозаично, и тем не менее это действительная картина сложнейших взаимоотношений или их реликтов. Все вышеназванные случаи (на этот раз точности ради приводились все соответствия; конечно, это относится только к обследованным *A*, *B*, *C*) относительно древни, их можно считать новообразованиями лишь с точки зрения праславянского. Нашим намерением было показать, сколь неожиданно велико количество славянских сепаратных изоглосс, как недостаточно они еще исследованы до сего времени и какие периферийные диалекты они связывают друг с другом и с центральными диалектами (болг. — укр., сербохорв. — укр., словен. — укр., юж.-слав. — словац., сербохорв. словин., полаб. — рус. и т. д.) и прежде всего — как образованы (из каких материальных элементов) эти сепаратные соответствия. Я повторяю здесь, что исчерпывающий список этих сепаратных изоглосс — это наша самая большая ожидаемая цель, которую мы наметили на будущее для нашего словаря.

Этимология, которую мы трактовали выше то как историческое словообразование, то как основополагающую семантическую эволюцию, то как своего рода географию слов, фигурирует сплошь и рядом также в роли исторической морфологии. Об этом свидетельствуют в свою очередь некоторые примеры из «Этимологического словаря славянских языков». В историческом аспекте граница между словообразованием и морфологией очень подвижна. При этом, как правило, осуществляется грамматикализация неграмматических (например словообразовательных и даже чисто фонетических) элементов. В этих всеобъемлющих интересах этимологии мы не видим ущерба ее «строгости» (строгая наука, как полагают, должна иметь строго определенный предмет), напротив, усматриваем здесь ее преимущество, ее далеко еще не использованные исследовательские возможности.

Пример праслав. **arębъ* 'куропатка', 'рябина' интересен глубиной досягаемой реконструкции. Мы имеем здесь, с одной стороны (в славянском), об-

разование с *а-* префиксальным; с другой стороны (в индоевропейском) — гласную протезу без какой-либо грамматической / словообразовательной функции; праформой являются и.-е. **ērebh- / *ōrobh-*, поскольку *r-* в начале слова представлялся фонетически неудобным. Некоторые предложенные в словаре этимологии морфонологические по содержанию. Таковы, например, этимология **baviti* 'пребывать, медлить, проводить время' как производного от именного **bava* (рус. диал. 'благосостояние', 'игрушка', блр. 'разговор') подобно **trovǫ* → **trava* → **traviti*, **slovǫ* → **slava* → **slaviti*, а не как каузатива на *-iti *baviti* от **byti*, по мысли многих исследователей. Древнюю основу на *-ū-* мы находим в праслав. диал. **body / -ve* (сербохорв. диал. *бо̏два* 'рыболовный трезубец, острога'), о древности которого говорят нам родственные кельт. **boduo-* 'битва, бой', др.-сакс. *Badu-* (в личных собственных именах). Этимология помогает раскрыть целые морфологические категории, даже если последние представлены единичными словами. Так, например, праслав. **bytьnъ* (серб.-цслав. **бытънъ** 'насущный' в Евангелии, сербохорв. *битан* 'существенный', рус. диал. *бытно время* 'пора' и др.) — остаток дебитива в славянском, ср. лит. *bū̃tinas* 'обязательный' (так, уже *Otrębski.* Studia indoeuropeistyczne. S. 171).

Мне потребовалось бы гораздо больше времени и места для того, чтобы говорить обстоятельно о новых этимологиях «Этимологического словаря славянских языков» (например **brъščьl'anъ / *brъščьlenъ* 'плющ', своеобразная славянская параллель к «Etymologien aus dem Niederwalde» Трира; **brьvьno* I: сербохорв. 'десна', в отличие от общеславянского **brьvьno* II 'бревно'; **bъrkъ*, с единой этимологией для лексем 'ус; побег, росток' и 'плечо'; **bьzъ* 'сирень', с предложением звукоподражательной этимологии от **bъzati, *bъziti*). Однако совершенно ясно и разумеется само собой, что каждый новый этимологический словарь должен содержать новые этимологии. Но самое важное — это направление этих этимологий, концепция этимологии как таковой и направление всей работы в целом. Нашим намерением как раз и было показать это в настоящем докладе [1].

Выступления на Международном съезде славистов 1972

[О лексике кашуско-словинских диалектов]

Большой интерес вызвал у меня доклад Ф. Хинце, поскольку проблема лексического своеобразия кашубско-словинских диалектов также давно занимает меня. Эти периферийные славянские диалекты обнаруживают отнюдь

[1] Zur Diskussion über das vorliegende Referat vgl. auch K. Polański. S. 69.

не банальные связи в лексике и словообразовании с весьма отдаленными языками и диалектами. Многое еще предстоит изучить и уточнить, и нет ничего удивительного, если в полезные списки кашубских локализмов у Ф. Хинце будут внесены коррективы. Так, например, кашуб. *bylny* 'умный, сильный, крепкий' не изолировано в славянском мире, как полагает Ф. Хинце, ему близко соответствуют сербохорв. стар. *bilan* 'verus, истинный, настоящий' (XVI в., Rječn, Jugosl. Ak. I. S. 303) и рус. диал. *быльнóй* 'действительный, настоящий', 'нужный', 'дельный', все три восходят к праслав. **bylьnъjь*. В кашубских локализмах, само собой разумеется, надо отличать древние лексические элементы от поздних контактных заимствований и кальк. К числу последних мы относим кашуб. *šėstńica* 'роды', собственно — калька нем. *Wochenbett* 'роды'; *Woche* 'неделя', ср. лит. *ušės*, *ušios* 'неделя', 'роды' — от древнепрусского названия для шести, также семантическая калька немецкого слова в том же прибалтийском ареале. Кстати, подобные кашубско-балтийские (литовские) общности было бы целесообразно специально изучить.

[О значении лексики литературных славянских языков для исследования древнего словарного состава]

Доклады Дж. Стоуна и К. Гутшмидта интересны и актуальны тем, что обращают принципиальное внимание на значение лексики литературных славянских языков для изучения праславянского словарного состава (особенно интересен в этом отношении последний доклад). Их голоса тем более своевременны, что до недавнего времени распространялось мнение, что литературную лексику, литературные словари якобы принципиально нельзя использовать для исследований древнего словарного состава, праславянской лексики и что для этой цели будто бы единственно подходят материалы диалектных словарей. Но этимологам, к сожалению, слишком хорошо известны недостатки большинства существующих диалектных словарей (их дифференциальный характер, прежде всего), чтобы можно было надеяться построить на них одних древнюю картину праславянского словаря. Кроме того, не исключено, что отдельные пласты лексики (и словообразования, ср. разряд имен с суффиксом *-telь*!) носили выразительно наддиалектный характер, будучи вместе с тем праславянскими образованиями.

[О происхождении славянских и индоевропейских названий деревьев]

В докладе Х. Шустер-Шевца заслуженно большое место отводится семантическим моделям и семантической реконструкции слов. Понятно стремление автора найти общие, универсальные истоки современных лексических

значений. Однако обобщения, к которым пришел докладчик, кажутся несколько односторонними и нуждаются в поправках. Первоисточником слов исторически засвидетельствованных языков были, по-видимому, действительно звукоподражания, слова-символы, слова-жесты, о чем говорят (в частности, и на этом симпозиуме) Ф. Копечный и упоминаемый им Г. Шухардт («Происхождение языка»). Однако между ономатопеями первобытного языка и полнозначными лексемами исторических языков расстояние слишком велико, чтобы мы могли безоговорочно принять тезис Х. Шустер-Шевца о звукоподражательном происхождении ('бить', 'стучать', 'рубить' и т. д.) большого числа славянских и индоевропейских названий деревьев. Я согласен с теми, кто предостерегает против слишком преувеличенного применения даже хорошо обоснованных принципов или методов анализа (очевидно, надо считаться с ограниченностью применения или недостатками практически каждого принципа). Насколько я понял, именно так оценивает ономатопоэтическую теорию происхождения славянских названий деревьев выступавший здесь Ф. Копечный, мнение которого для меня тем более ценно, что ономатопеи в славянской лексике — одна из его любимых тем. Лексемы с историческими различными значениями 'дерево', 'дуб', 'береза', 'бузина', 'бук' имеют различную историю, разный возраст, и едва ли правильно поэтому принимать для них одинаковое (звукоподражательное) происхождение. В ограниченном объеме звукоподражательные, экспрессивные этимологии приемлемы, например, для объяснения названий молодых древесных побегов (рус. *отпрыск* ~ *прыскать, брызгать*), быстрый рост которых как бы противопоставлен медленному росту большого дерева; для объяснения некоторых названий рощи, группы деревьев (семантическая модель 'лес' ← 'шум'). В остальном же перед нами — продукты неоднократной мотивации и длительной словопроизводной деятельности языка. Прямолинейно связывать их с первоначальными звукоподражаниями еще труднее, чем говорить об индоевропейских истоках всех современных славянских слов. Праиндоевропейский — это язык с весьма развитой и сложной мотивацией, которую не всегда удается раскрыть (ср. понятие vocable primaire у Э. Бенвениста); в еще большей степени это относится к такой дочерней стадии развития языка, которая представлена в славянском. Древнейшие ономатопеи продолжают функционировать здесь как «слова без истории» в условиях особой экспрессивной сферы употребления (рус. *папа*, *мама*, *тятя*, *няня*), но основная масса полнозначной лексики противостоит им, представляя собой мотивированные образования разной природы и истории, чрезвычайно далекие от первобытных ономатопей. Некоторая увлеченность упомянутой выше общей идеей в докладе Х. Шустер-Шевца оттеснила у него на задний план критерий относительной хронологии, привела к тому, что древние образования

трактуются здесь одинаково с более новыми (ср., с одной стороны, праиндоевропейское название березы и с другой стороны — только славянское название дуба), заимствования (например, названия бука, тополя) ставятся в один ряд с исконными словами. В отличие от автора я придерживаюсь, пожалуй, противоположного взгляда на тот же материал и считаю, что среди славянских названий деревьев этимологических звукоподражаний практически почти нет. До сих пор мне удалось выявить только одно, по-видимому, вероятное производное от звукоподражательного глагола в названии бузины (подробнее об этом говорится в «Этимологическом словаре славянских языков»), но уже слав. **xvorstъ* (в различных значениях) могло лишь вторично сблизиться со звукоподражательной лексикой.

Толкования других авторов, писавших о названиях деревьев, заслуживают более внимательного изучения, как, впрочем, одновременно с этим и критического отношения, поскольку в литературе высказывались до курьезного различные суждения, например, Г. Остхоф говорит о семантическом развитии и.-е. **dru-* / **dreu-* 'дерево' → 'верность', а Э. Бенвенист недавно (Le vocabulaire des institutions indo-européennes. 1. Paris, 1969) нашел эту мысль «странной» и предложил обратное направление 'верный, крепкий' → 'дерево'. Однако лексема 'дерево' бесспорно играла не последнюю роль в системе образов индоевропейца и послужила базой для различных метафор и метафорических обозначений в разных языках. С неменьшим правом Бенвенист мог бы говорить также и об и.-е. **dru-* 'дерево' как об этимологически не анализируемой первичной вокабуле.

В докладе Х. Шустер-Шевца имеется упоминание об «архаическом комплексном мышлении». Этимологическое исследование неоднократно убеждает в синкретизме древних лексических значений, а следовательно, и мыслительных образов. Известен пример синкретизма значений 'гора' ~ 'лес' в разных языках. Когда Х. Шустер-Шевц однозначно толкует и.-е. **der-* как 'драть, рвать', мне представляется необходимым указать на очевидно древние следы полярного синкретизма для лексем этого рода, опираясь на свои прежние наблюдения над этимологическим единством и.-е. **derbh-* 1 'драть' и **derbh-* 2 'вить, плести' и аналогичными примерами (Ремесленная терминология в славянских языках. С. 245 и след.).

[О теории делабиализации начального согласного в славянском и индоевропейском]

Ш. Ондруш предлагает в своем докладе внешне стройную теорию делабиализации начального согласного в славянском и индоевропейском, правда, эта стройность достигается не без ущерба для правдоподобной этимологии

конкретных слов. Вызывает сомнения слишком древний (индоевропейский) возраст делабиализации групп «согласный + *w*», постулируемый автором, тогда как индоевропейский бесспорно знал лабиализованные согласные, в том числе в начальной позиции. Слав. *pila* по-прежнему нам кажется вероятнее считать не очень древним германизмом (дерево вообще в древности не пилили, как свидетельствует консультация реалий!), произведение этого слова из и.-е. **pweHi-l-* у Ондруша остается для нас непонятным и противоречивым (ведь *eH* > *a*, следовательно, ожидалось бы *ai* > *e*, а не *i*?). Спорность или произвольность трактовки ряда слов при этом (например, слав. **lagy*, которое целесообразно считать культурным заимствованием; словен. *dezela* 'страна', которое, конечно, восходит к **dwiava*, а не к **degel-*, вопреки автору) настораживают и против теории в целом, хотя отдельные факты такого рода и сама тенденция в целом давно известны (ср. связь **kaša* : **kvasъ*, **be*< : **bhife{*, **begti* < **bhveg-*), спор вызывает лишь универсализация ее в работе Ондруша.

«ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ» И «ПРАСЛАВЯНСКИЙ СЛОВАРЬ»

Опыт параллельного чтения

В декабре 1974 г. почти одновременно вышли впервые в своих странах два словаря — «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд», вып. 1 (*A* — **besědьlivъ*) в Москве и «Słownik prasłowiański», tom I (*A* — *B*) в Кракове (точнее — в издательстве «Ossolineum» Польской Академии наук). К настоящему времени (октябрь 1977 г.) опубликованы еще четыре выпуска «Этимологического словаря» (буквы *B*, *C*, *Č* и начало *D*) и II том «Праславянского словаря» (буквы *C*, *Č* и начало *D*). Сдан в набор вып. 5 «Этимологического словаря» (буква *D* до конца) и подготовлен вып. 6 (буквы *E*, *Ě*, *Ę* и начало *G*). Работа польских коллег также продвигается вперед. Началу публикации обоих словарей предшествовала подготовка, занявшая немало времени. Вот уже 16 лет работает коллектив «Этимологического словаря» в Москве, и более 20 лет тому назад была начата подготовка «Праславянского словаря» в Кракове. Даже при самых благоприятных обстоятельствах публикация обоих словарей продлится еще ряд лет. Составители обоих словарей начали эту работу в относительно молодом возрасте. Можно сказать, что опыт, зрелость, тяготы и утехи лексикографа-этимолога они познали в процессе собирания материалов для словаря, а затем создания самого словаря. Обе группы ученых могут поэтому с полным правом назвать эту работу делом своей жизни. Идея параллельной работы двух научных коллективов, как по методу, так и по результатам небезынтересной для более широкой научной и читательской аудитории, побудила меня пред-

принять этот небольшой опыт параллельного чтения, несмотря на все колебания и сомнения в своевременности «Βίοι παράλληλοι» в данном случае. Правда, в роли объективного Плутарха недавно выступил проф. Ф. Копечный, подвергнув сравнительному анализу первые части обоих словарей [1], и его пример действует до некоторой степени ободряюще.

Современная наука не проходит мимо таких вопросов, как условия работы лексикографа и личность лексикографа, поэтому необходимо сказать в двух словах о группах составителей обоих словарей. В науке, как в спорте, не последнюю роль играет сплоченность и стабильность состава команд [2]. Так, что касается «московской команды», то основной состав сотрудников неизменен: О. Н. Трубачев, В. А. Меркулова, Ж. Ж. Варбот, Л. В. Куркина, И. П. Петлева, Т. В. Горячева (с 1971 г. — Г. Ф. Одинцов вместо Л. А. Гиндина, перешедшего на другую работу). «Краковская команда» в гораздо большей степени отличается тем, что у нас называется «текучесть кадров». Вот что об этом пишет проф. Ф. Славский: «W ciągu lat zespół ulegał poważnym zmianom» [3]. Умер Т. Лер-Сплавинский, по инициативе которого была начата работа над «Праславянским словарем», отошли от работы над этим словарем З. Голомб, К. Полянский и Р. Лясковский; Л. Беднарчук, Ю. Речек, Е. Русек, С. Стаховский и некоторые другие, как говорит Славский, принимали участие «dorywczo» (спорадически). Из старых составителей словаря, оставшихся в коллективе, надлежит выделить самого Ф. Славского и Т. Шиманского, из тех, кто пришел позже, — В. Борыся. Отсюда следует, что над «Праславянским словарем» (сравнительно с «Этимологическим словарем славянских языков») работало в течение более продолжительного времени почти вдвое большее количество людей, состав которых при этом часто менялся. В настоящее время в коллективе каждого из двух сравниваемых словарей насчитывается примерно поровну реальных сотрудников-составителей (7—8 человек). Два слова о самих сотрудниках. В польской группе ученых наиболее активную и давнюю исследовательскую работу по славянской этимологии в течение последних 30 лет ведет проф. Ф. Славский. Такие специалисты по сравнительной грамматике и этимологии, как З. Голомб и К. Полянский, отошли от «Праславянского словаря» уже достаточно давно. В нынешнем составе краковского коллектива работает ряд хороших специалистов по славян-

---

[1] *Фр. Копечный.* О новых этимологических словарях славянских языков // ВЯ. 1976, № 1. С. 3 и след.

[2] Спортивными моментами в оценке нашей деятельности я также обязан уважаемому проф. Ф. Копечному, который пишет в чешском варианте статьи о «краковской команде» и «московской команде» («moskevský team»).

[3] Słownik prasłowiański. I. S. 11 (Wstęp).

скому историческому словообразованию: например, В. Борысь и Т. Шиманский, но их этимологические исследования возникли на базе первоначальных историко-словообразовательных. Мне кажется существенным отметить, что московская группа ученых, работающих над подготовкой «Этимологического словаря славянских языков», с самого начала посвятила себя этимологии. При этом, правда, не обошлось без индивидуальных особенностей и направлений исследования, что в таких случаях естественно и — в зависимости от уровня разработки — даже полезно для общего дела. Так, В. А. Меркулова имеет склонность к исследованиям по чисто лексической этимологии (сло́ва, их значения, подчеркнутый интерес к миру реалий), тогда как Ж. Ж. Варбот преимущественно работает в морфонологически и словообразовательно ориентированной реконструкции и этимологии. Обе исследовательницы добились определенных успехов, и это находит отражение в «Этимологическом словаре». Нужно упомянуть работы по выявлению древних лексических ареалов и критериев их распознавания (Л. В. Куркина), по этимологии с учетом семантической типологии (И. П. Петлева), продолжение работ по тематическим группам лексики (Г. Ф. Одинцов, Т. В. Горячева).

Зачем делается «Этимологический словарь славянских языков»? Его цель — реконструкция древнего словарного состава языка славян приблизительно конца так называемой праславянской эпохи, т. е. незадолго до появления письменности у славян. Та же в общем цель стоит и перед «Праславянским словарем», издаваемым в Кракове, с той разницей, что в нем этимологии отведена более скромная роль критерия отбора и реконструкции праславянской лексики, а в «Этимологическом словаре славянских языков» этимология, или этимологизация, — одна из двух важных задач всего труда, что выразилось и в различной трактовке этимологической проблематики в обоих словарях, и это было замечено критикой. До сих пор еще высказывается мнение, что этимологический словарь славянских языков должен толковать происхождение всех слов подряд, включая поздние местные заимствования в отдельных современных славянских языках. Так еще недавно думал наш уважаемый коллега проф. Ф. Копечный, считавший, что такой словарь (вроде «Славянского этимологического словаря» Э. Бернекера или нового «Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen» Л. Садник и Р. Айцетмюллера) лучше, потому что «больше дает» (nabízí víc). В последние годы, кажется, Ф. Копечный стал благосклоннее судить о смысле ограничительного отбора лексики праславянского периода, сближающего московский и краковский словари (в отличие от максимального охвата, провозглашаемого Копечным и его коллегами в работе над их этимологическим словарем, который продолжает упомянутые принципы Бернекера и неосуществленные замыслы его чехословацкого продолжателя Й. М. Коржинека, почему и предприятие

чехословацких коллег, также начавшее выходить в свет [4], мы здесь намеренно оставляем в стороне). Я имею в виду сочувственные слова из доклада Ф. Копечного на симпозиуме по славянской этимологии 1972 г. в Лейпциге, сказанные именно по поводу московской и краковской работ: «Es ist eine beschränktere, trotzdem sehr nützliche Arbeit — und in der Beschränkung zeigt sich der Meister» [5]. Да и что значит характеристика «больше дает» (nabízí víc) применительно, скажем, к словарю Бернекера, если приглядеться к ней пристальнее. Возьмем наугад раскрытые страницы 52—53 I тома этого словаря начала XX в.: **berstъ*, *berza*, *besěda* (бесспорно праславянские слова), сразу за ними идут *bèstija* (сербохорв. из ит.), *bešík* (болг. из тур. 'колыбель'), *bèšika* (сербохорв. из рум. *beşíca* 'пузырь'), *bêšter* (словен. 'бодрый' из итал. *destro* 'прямой; проворный'), *bèteg* (сербохорв. 'болезнь, недуг' из венг.). Соседство этих последних заимствований и вышеупомянутых праславянских исконных слов — иллюзия, поскольку этой поздней лексики не было в древнем языке славян, на который в общем был ориентирован и словарь Бернекера. У поздних заимствований своя сложная проблематика, и ей место в этимологическом словаре отдельного славянского языка. От археолога, копающего курганы скифского времени, никто ведь не требует описания стреляных гильз, оставшихся на поверхности земли от войн нового времени.

Более подробная характеристика принципов московского Этимологического словаря славянских языков уже давно опубликована мной, см. «Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи», вышедший в 1963 г. и получивший отклики в печати разных стран. Позднее была опубликована статья «Работа над "Этимологическим словарем славянских языков"» (Вопросы языкознания. 1967, № 4) — текст моего доклада на I Международном симпозиуме по славянской этимологии в январе 1967 г. в Москве. В последнее время принципам нашего Словаря или, вернее, подтверждению принципов, выдвинутых ранее, было посвящено предисловие «От редактора» к 1 выпуску «Этимологического словаря». Теоретическими работами в том же направлении являются мои доклады о составе праславянского словаря, т. е. лексики, для V (Софийского) и VI (Пражского) международных съездов славистов. О подготовке и проблематике «Праславянского словаря» в Кракове также накопилась специальная литература: «Zeszyt próbny» 1961 г. и ряд статей покойного Т. Лер-

[4] Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1. Předložky. Koncové partikule / Tento svazek sestavil F. Kopečný. Praha, 1973. — См. мою рецензию // Этимология. 1974. М., 1976. С. 175—177.

[5] Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slawischen Wortschatzes. Leipzig, 11—13.10.1972. Bautzen, 1975. S. 143.

12. Заказ № 2261.

Сплавинского, нынешнего руководителя Ф. Славского, а также К. Полянского и З. Голомба, см. сведения в томе I «Słownika prasłowiańskiego» (S. 11).

Параллельное чтение, или контрастивная характеристика, двух наших словарей кажется нам полезным (полезной) не только для лучшего понимания особенностей самих словарей, но и для того, чтобы составить представление о самом предмете — лексике праславянского языка и его диалектов. При этом некоторой гарантией объективности результатов (особенно результатов совпадающих) служит то обстоятельство, что оба словарных коллектива в Москве и Кракове работают совершенно самостоятельно.

Как составлялись эти словари?

Методические приемы работы сильно отличались у советских и польских лексикографов, хотя есть вероятие, что в ходе дальнейшей работы, а также изучения взаимного опыта по опубликованным частям обоих словарей различия сгладятся. Первоначально весьма отличались даже самые принципы эксцерпции словарного материала, поскольку краковские слависты, например, регулярно расписывали как источники этимологические словари, что в принципе исключалось при работе московского коллектива, перед которым с самого начала была поставлена задача брать материал по возможности из первоисточников[6]. Напомню, что теоретическая концепция московского Словаря основана на новом в славистической науке положении об автономности праславянских состояний лексики славянских диалектов; важнейшим оперативным понятием признается праславянский лексический диалектизм. Праславянский словник (индекс) «Этимологического словаря» не является для нас заданной величиной. Иными словами, нам всегда была чужда практика, при которой бы сначала задумывалась или выводилась праславянская форма, к которой мы потом подбирали бы подтверждающие свидетельства из словарей языков и диалектов. Казалось бы, это тоже неплохой путь — взять какой-то обобщенный словник (по извлечениям из Миклошича, Бернекера, Траутмана) за основу, а затем хорошо проверить его по большому числу словарей обычного типа. Однако речь идет о вопросе принципиальном, потому что даже самая хорошая последующая проверка и доборка не освободит до конца такой праславянский индекс от априорности и заданности. И наоборот — элемент открытия, объективизации показаний лексики, мне кажется, в большей степени обеспечивает следующая в общем очень простая и тем не менее новая методика, которая у нас соблюдалась с первых дней совершенно не-

[6] Из всех остальных сравнительно-этимологических словарей славянских языков, которые подготавливаются сейчас в Польше, Чехословакии и ФРГ (см. выше), наш Словарь — пожалуй, единственный, который систематически использует также данные неопубликованных архивов и рукописных картотек.

укоснительно: для каждого славянского языка (живой славянский язык — величина, с точки зрения праславянского, конечно, далеко не абсолютная, но все же опора на живой славянский язык, «опрокидывание» нынешних диалектных данных на праславянский, или, как сейчас сказали бы, моделирование праславянской лексики по лексике живых языков и диалектов, — это был шаг вперед на пути преодоления устоявшейся в славянском языкознании концепции праславянского монолита) — для каждого отдельного славянского языка делался «свой» праславянский индекс, для чего на карточку выписывалось слово, его значение и вся документация, а в левом верхнем углу карточки наносилась контрастно (т. е. попросту карандашом) праславянская реконструкция данного слова с возможным учетом всех его индивидуальных словообразовательных и формальных черт (именно эта практика, если, конечно, проверка потом не перечеркивала «сепаратность» такой реконструкции, подарила нам немало новых, свежих праславянских словарных позиций). Это еще не было словником всего Словаря; последний надлежало получить путем сведения праславянских словников для белорусского, польского, старославянского и т. д. На этом этапе наша картотека как бы «заговорила» сама, и это было самое интересное. Напрашивается шутливая аналогия с машиной, «черным ящиком», в который закладывается обрабатываемый материал (input) и затем получается ответ. В нашем случае output (ответ, решение, данные «на выходе») был как раз праславянский словник (индекс) в масштабе всего славянского. Конечно, на практике все было не так-то просто, мы могли неточно оценить «праславянскость» того или иного реального слова (а часто так оно и случалось) и лишь потом обнаруживали лакуну на стадии «выхода» (output), возвращались к исходным данным, добирали недостающее. По-прежнему много решала компетенция, интуиция и другие, часто личные качества человека, который выполнял ту или иную задачу более удачно или менее удачно. И все-таки главное оставалось: праславянский словник как реконструкция во второй степени, непредвзятая итоговая картина, объективизация показаний Словаря.

Хотелось бы подчеркнуть единство этой концепции, от которой мы не отступили ни на йоту. Вышедшие I и II тома «Праславянского словаря» польских коллег позволяют сделать наблюдение, что они много поработали со времени выхода своего скромного «Zeszyta próbnego», весьма расширили материал и базу источников, все новинки славянской диалектной лексикографии привлекаются ими оперативно. Однако я бы затруднился определить их четкую теоретическую концепцию и соответственную ей практическую методику. Я бы сказал, что у краковских составителей «Праславянского словаря» есть тенденция к нарастающей агломерации материала (читатели «Этимологического словаря польского языка» Ф. Славского, наверное, уже заме-

тили там эту тенденцию в последних томах). Включаются в праславянскую лексику многочисленные междометия и звукоподражания [7], чтобы убедиться в этом теперь, достаточно заглянуть в том II на букву *C*; избыточно даются деминутивы, праславянскому лексическому диалектизму в краковском труде теперь отводится видное место, что едва ли можно было сказать о первоначальной концепции Лер-Сплавинского. В свое время я высказал предположение, что около четверти праславянского лексикона могли составлять старые лексические диалектизмы ограниченного распространения. Из «Вступления» к I тому краковского «Праславянского словаря» мы узнаем, что примерно на 900 словарных статей на *A* и *B* около 400 (почти половина!) признается несомненными диалектизмами. Никогда еще оценка праславянских лексических диалектизмов не достигала такой критической величины.

«Праславянский словарь», согласно данным Ф. Славского, имеет в своем томе I около 900 словарных статей на *A* и *B*, «Этимологический словарь славянских языков» на те же буквы дает в трех своих выпусках 1592 праславянских словарных позиции (при полном отсутствии отсылочных статей, которых, как известно, в «Праславянском словаре» немало). Ф. Копечный в упоминавшемся сравнительном анализе первых частей наших словарей дотошно подсчитывает в страницах и даже в количестве строк, насколько московский словарь подробнее и обстоятельнее краковского. Это действительно так. Во 2-м выпуске «Этимологического словаря», еще не известном Копечному в момент написания им статьи, например, материал предлога-приставки *bez* занимает около 48 страниц текста, в том числе 164 словарных статьи (отсылочных нет), а «Праславянский словарь» отводит для *bez* и сложений с ним всего около двух страничек, иначе говоря — 9 статей вместе с отсылочными. Любопытно провести сравнение трактовки такой небольшой и удобообозримой буквы, как *C* (выпуск 3-й «Этимологического словаря», с. 171—199, и том II «Праславянского словаря», с. 63—101). Первый результат сравнения озадачивает: в противоположность сказанному выше, у поляков насчитывается 127 статей на *C*, у нас — 81, по при ближайшем рассмотрении оказывается, что из 127 словарных статей на *C* «Праславянского словаря» 48 — отсылочные! Поскольку в нашем Словаре отсылочных статей нет и на этот раз, остаток — 79 основных статей на *C* в краковском словаре приближается к нашему количеству (81 статья). Поучительно и дальнейшее сопоставление трактовки слов на *C* в нашем и краковском словарях. Отрадно, что значительная

---

[7] Ср. то, что пишет Ф. Копечный (ВЯ. 1976, № 1. С. 11) о реконструкциях *achъ*, *achati*, *achъkati* в «Праславянском словаре»: «Разумеется, праславяне, как и большинство других людей, каким-то образом *ахали* и *ахкали*, но вопрос в том, произносилось ли это *ах* с редуцированным».

часть старого словника при этом у них и у нас совпадает, но одновременно выступают и серьезные различия (в польском словаре затушеваны отглагольные имена на *-dlo*, некоторые слова отсутствуют, сомнения вызывает правильность отдельных праславянских реконструкций, например *civkati*, но ср. *cupъkati*, странное впечатление производит целая колонка отсылок *cvěliti* zob. *kvěliti*, *cvětiti* zob. *květiti*, *cvětъ* zob. *květъ* и т. д., но ведь сочетание *cvě-* вообще не должно было попасть в праславянскую реконструкцию). Много и здесь у них дано междометной лексики, причем ряд примеров с последовательностью звуков *cu-*. Но праславянское *c* — звук строго позиционный, и для этой эпохи его нельзя без оговорок абстрагировать от условий его возникновения — вторая палатализация *k* перед *ě* из дифтонга. Это делает сомнительными и непраславянскими в наших глазах все эти *cu!*, *cucati*, *cucьkъ*, *cukati*, *cupati*, *cupъ!*, *cupъkati* (Słownik prasłowiański. T. II. S. 95—98). Специально об историко-фонетических проблемах реконструкции праславянской лексики на *c-* начальное я говорил в своем докладе на VII (Варшавском) Международном съезде славистов.

И все же несмотря на объективные подсчеты Копечного и мои собственные наблюдения, говорящие как будто о том, что в нашем Словаре статьи, в среднем обширнее, и насыщеннее материалом, чем в краковском словаре, я хочу вернуться к высказанному вскользь выше своему впечатлению о тяге к излишней агломерации материала, против которой хотелось бы предостеречь польских коллег. Во всяком случае, в другом труде Славского — его «Польском этимологическом словаре» — она уже начинает ощущаться как определенный недостаток и перерастание словарных лимитов. Буква *Č* в «Праславянском словаре» уже превзошла по объему соответствующий раздел в нашем 4-м выпуске. Лексикографический труд под названием «Праславянский словарь» — это не тезаурус (греч. θησαυρός 'сокровище', 'сокровищница'), где «всего много», его составители должны, как мне кажется, стремиться достичь в нем адекватного соответствия довольно строгому лексикографическому понятию словаря-реконструкции, а не словаря-коллекции. Очень большая избыточность так же исказит первичную картину, как и неполнота.

Я говорил уже о целях «Этимологического словаря славянских языков» и «Праславянского словаря». А теперь необходимо сказать о научной пользе обоих этих словарей. Учение о праславянском словарном составе — часть науки о праславянском языке, которая в современном славяноведении окружена атмосферой острого интереса (достаточно вспомнить программу последнего Международного съезда славистов в Варшаве). До недавнего времени сравнительное славянское языкознание, во-первых, исходило из постулата изначального единства праславянского языка на всех уровнях, а во-вторых, проповедовало вторичность диалектной дифференциации праславян-

ского, причем изучались фонетические, отчасти — морфологические различия, а о древних лексических различиях не говорил никто. Работы по подготовке «Этимологического словаря славянских языков» и «Праславянского словаря», а также некоторые другие современные исследования показывают сложность праславянского языка именно на лексическом уровне, изначальный характер многих различий и локальных изоглосс лексики праславянских диалектов. Праславянский лексический диалектизм в принципе может быть старше самого́ праславянского языка. Короче говоря, с выходом обоих наших словарей концепция древнейшей славянской лексики неизбежно подвергнется пересмотру.

Вместе с тем праславянский словарный состав остается вещью искомой. В двух сравниваемых нами словарях мы получим лишь наиболее достижимую модель праславянской лексики или, точнее, две модели, потому что словники обоих словарей совпадают далеко не во всех случаях. Совпадение было бы бо́льшим, если бы праславянский словник (индекс) комплектовался из одних непроизводных слов, но такой словник был бы далек от реального лексикона живого праславянского языка, который не мог функционировать без значительного числа производных и сложений. Современная наука, изучающая язык, историю культуры и этногенез славян, заинтересована в воссоздании реалистической модели праславянского словаря. Мне кажется, что эту задачу мы и польские коллеги одинаково правильно понимаем, но невольно расходимся в деталях трактовки и подачи производных форм, потому что это трудный путь. И у них, и у нас здесь возможны пропуски. Ф. Копечный насчитал в I томе краковского словаря около десяти пропущенных старых непроизводных и этимологически самостоятельных слов. В свою очередь, я должен признать, что обнаружил в нашем Словаре пропуск, например, производных *besědьnikъ* и *besědьnъ*, фиксируемых «Праславянским словарем».

Некоторая априорность в подходе польских коллег к материалу выразилась, например, в том, что словарю у них предпослан очерк праславянского словообразования. Но для того чтобы создать качественно новый очерк праславянского словообразования, надо сначала сделать полный праславянский словарь, а затем на его базе — обратный словарь праславянского языка, который покажет состав всех словообразовательных моделей[8]. Содержащийся в I томе «Праславянского словаря» и продолжающийся во II томе «Zarys słowotwórstwa prasłowiańskiego» принадлежит перу Ф. Славского. Этот очерк содержателен и полезен, но он не дает новых материалов и обобщений по описанным выше причинам. Отдельные новые авторские оценки и интерпре-

[8] См. Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. С. 36.

тации нуждаются в проверке, как и категорические утверждения, например о том, что в праславянском было только одно слово с суффиксом *-oja*: *děvoja* (т. I. S. 88). Их было, по крайней мере, несколько, а некоторая продуктивность сохранялась даже в послепраславянское время, ср. *Утрóя*, название реки бассейна Псковского озера, которая в верхнем течении, на территории латышского языка, называется *Rīt-upe* 'утренняя река', что позволяет членить русское название как *Утр-оя*[9]. Нельзя также не видеть эластичной связи с производными на *-aja* местоименноадъективной природы и прежде всего — со ст.-слав. **дѣвага** (Клоц., Супр.), вместе с которым **děvoja* противопоставлено субстантивному производному **děvica* (при первоначально адъективном праслав. **děva*). Если мы не учтем этих показаний, мы останемся в своем понимании словообразования формы **děvoja* там, где остановился Вондрак.

Решение задач славянской сравнительно-исторической лексикологии и лексикографии заставляет нас, таким образом, поднимать отнюдь не одни только этимологические вопросы, но и проблемы словообразования в широком, функциональном смысле, а равно и проблемы морфологической функции.

Не выходя за рамки корневой группы **děva*, позволим себе высказать еще одно замечание — о праслав. **děvica*, в толковании которого Славский (с. 99 «Очерка») также предпочел остаться традиционным. В соответствии с трактовкой древнейших образований на *-ica* как расширений на *-ka* первоначальных индоевропейских основ ж. р. на *-ī*, восходящей к Розвадовскому (ср. действительно эффектный и, возможно, единственный удачный пример последнего: и.-е. **u̯l̥kᵘī*, др.-инд. *vr̥kī́* 'волчица' — слав. **vьlčica*), Славский рассматривает всю словообразовательную категорию с суффиксом *-ica* в праславянском. Обобщение рискованное и едва ли оправданное! Ведь для большинства производных это уже вполне сложившийся и продуктивный формант. Ф. Славский толкует слово **děvica* из первоначального **děvi*, отождествляемого с др.-инд. *devī́* 'богиня'. Получается этимология, очень приятная для девушек, но при этом сомнительная и семантически, и формально. Семантически мы должны больше считаться с типологией значений: как, например, формируется значение 'девушка' в разных языках? Справки в словаре К. Д. Бака (A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1971. P. 90) достаточно, чтобы убедиться, что ни один из собранных там синонимов для обозначения девушки не этимологизируется из первоначального обозначения богини. Зато там дается ряд названий, о которых лучше всего можно сказать словами самого автора: «...applied to the young woman as of exuberant physique». При этом есть примеры более проблематичные (греч. παρθένος 'дева' : εὐ-θενής 'сильный, крепкий'), есть и впол-

---

[9] *О. Н. Трубачев*. История славянских терминов родства. М., 1959. С. 115.

не убедительные (кимр. *hogen* 'девушка' < **suk-* 'кормить грудью', ст.-слав. **дѣва : доити**, др.-инд. *dhayati*). Число именно этих параллелей может быть умножено, ср. др.-англ. *fǣmne* 'дева', афган. *pēγla* 'дева' (< **payō-gatā*), сближаемые с названием материнского молока [10]. Такие этимологии не порочат честь девушки, а главное — они показывают, какой великолепный материал по истории идей («a contribution to the history of ideas») дает этимологическая наука, но об этом подробнее — в другом месте. Усомнившись в семантической стороне этимологии **děvica* : *devī́* 'богиня', мы не можем не видеть и ее формального несоответствия, так как др.-инд. *devī́* 'богиня', *deva-* 'бог', лат. *deus* и т. д. продолжают корень с непридыхательным зубным и.-е. **dei̯-u̯-* 'дневной, небесный свет', а праслав. **děva*, **děvica* восходит к корню с зубным придыхательным и.-е. **dhē(i̯)-* 'кормить грудью'. Не менее важно то, что в праслав. **děvica* суффикс *-ica* уже фигурирует в своей типично славянской функции субстантивирующего форманта первоначального прилагательного, ср. отношения **děva* — **děvica*, **stara* — **starica*, **vьdova* — **vьdovica*. Ничего подобного мы не находим в др.-инд. *devī́*, где *-ī* — показатель формы женского рода от существительного мужского рода. Эти аспекты нельзя игнорировать в очерке праславянского словообразования и в праславянском словаре. Я не говорю уже о том, что праславянский суффикс *-ica* связан разнообразными отношениями прежде всего с праславянскими суффиксами *-icь*, *-ikъ*, *-ъcь* и лишь через их посредство — с и.-е. *ĭ* суффиксальным, иначе мы не сможем понять специфики внутреннего славянского развития.

От современного очерка праславянского словообразования мы вправе требовать большей четкости фонетической реконструкции, чем у Миклошича, который 100 лет тому назад еще не мог разграничить образования на суффикс *-l-* и на суффикс *-dl-*. Так, сейчас при поддержке кашубско-словинских (т. е. западнославянских!) данных надо реконструировать праслав. **načędlo*, а не *načęlo* («Zarys», s. 104), точно так же — **rydlь*, а не *ryľь* (s. 105).

Этимологические частности я здесь опускаю, выделяя лишь то, что затрагивает целые категории лексики и словообразования и потому существенно для реконструкции праславянского лексического состава.

На типе словаря сказывается личность автора и, наверное, не может не сказаться его языковая принадлежность. Понятно, что краковский «Праславянский словарь» написан по-польски и адресован польскому читателю. Менее оправдано, с научно-славистической точки зрения, то, что в этом словаре обзоры соответствий всегда начинаются с польской формы. Это отнюдь не формальность, а нарушение традиции: обзоры родственных форм славянских языков принято начинать со старославянского (древнеболгарского и т. д.),

[10] *Mayrhofer* II. P. 212.

потому что он ближе всего по древности своей письменной фиксации подходит к искомому праславянскому времени. Наш «Этимологический словарь» неуклонно следует этой традиции, рассматривая сначала старославянский и прочие южнославянские языки, затем — западнославянские и восточнославянские. Если иным критикам может броситься в глаза сравнительное обилие русского диалектного словарного материала в нашем «Этимологическом словаре славянских языков», то надо иметь в виду огромность русской территории, русской народной лексики и литературы о ней, ср. хотя бы обширный «Словарь русских народных говоров».

Реконструкция, при помощи которой достигается восстановление праславянского лексического состава, может быть многообразной. Во-первых, это реконструкция фонетической формы праславянского слова, сфера применения наиболее точных достижений сравнительно-исторического языкознания. Можно сказать, что фонетическая реконструкция праславянского вполне сложилась уже лет 70 назад, она вполне удовлетворительно представлена уже в «Славянском этимологическом словаре» Бернекера. Здесь расхождения между нашим «Этимологическим словарем» и краковским «Праславянским словарем» сводятся к частностям (отдельные реконструкции в последнем элементарно несовместимы с обликом праславянского языка исследуемого времени, например *beskedъ* (т. 1, с. 217), где сохраняется непалатализованный задненёбный перед передним гласным). Во-вторых, реконструкция словника (индекса). В-третьих, реконструкция древней акцентуации и, в-четвертых, реконструкция значения праславянского слова. В двух последних пунктах сравниваемые словари расходятся друг с другом. Праславянский словарь в принципе дает при заглавной праславянской форме также акцентуационную и семантическую реконструкцию, но первую из них — нерегулярно (из слов на *A* — только *asi̋ka*, *ȁstrębъ*), вторую, семантическую, он дает регулярно, но, строго говоря, ее нельзя назвать в полном смысле реконструкцией ввиду ее тавтологичности, так как реконструкция сводится к повторению значений засвидетельствованных слов или элементов этих значений. Если прибавить, что, кроме польского толкования значения праславянского слова, это толкование повторяется также по-латински, то это приводит в результате к неэкономному использованию места в словаре. Принципиальная сторона вопроса заключается в несравненно меньшей изученности семантической эволюции и неприменимости к ней мерок фонетической закономерности. Поэтому наш «Этимологический словарь» разграничивает а к т фонетической реконструкции и п р о б л е м у реконструкции значения слова, трактуя последнюю по необходимости как часть этимологического анализа или довольствуясь обзором значений слов.

Если фонетическая, акцентологическая и семантическая реконструкции принадлежат методике сравнительного языкознания, то лексическая реконст-

рукция наиболее лексикографична, если можно так выразиться. Прогресс работ над праславянским словарем (лексикой) определяется именно уровнем лексической реконструкции. Во времена Бернекера (не говоря о Миклошиче) вопрос о лексической реконструкции в сущности еще не ставился: правда, восстанавливались целые праславянские слова, но методика их словарной подачи и анализа оставалась корневой, еще не чувствовалось специального лексикографического интереса к слову праславянского языка как потенциально живому слову, методика расчлененной подачи словника и особенно его производных слов была исключением, доминировал гнездовой, этимологический принцип. Теперь, когда мы довольно твердо знаем, что производное и производящее слова — равноправные единицы речи, что их разумнее трактовать как соотносительные и что отношения этих форм в славянском часто оказываются скорее воспроизводством словообразовательной модели, чем чистым актом словообразования, мы отдаем решительное предпочтение расчлененной, а не гнездовой подаче слов в нашем «Этимологическом словаре славянских языков». Собственно, только сейчас можно говорить о возникновении праславянской лексикографии как разновидности праязыковой лексикографии, ведь то, что мы до сих пор знали и употребляли, например, как индоевропейский этимологический словарь, на самом деле представляет собой инвентарь корней и основ, а не слов.

Поэтому наше внимание привлекает в «Праславянском словаре» в первую очередь его словник, тем более, что для польских коллег, как и для нас, он является целью и главным результатом всего труда. Из одного лишь факта пропуска в «Праславянском словаре» слов **bezbordъ*, **bezčędьnъ* 'бездетный' (правда, там есть слово *bezdědъ* 'не имеющий деда'), далее — **bezgolvъ*, **beznogъ*, **bezrogъ*, **bezrǫkъ*, **bezstudjь* 'бесстыжий', **bezumъ* и т. д. мы не хотим сделать вывод, что авторы «Праславянского словаря» не допускали их наличия в праславянской лексике. Просто обманчивая регулярность модели, вызывающая и у нас в некоторых подобных случаях мысль о параллелизме, т. е. о чем-то возможно позднем и независимом (послепраславянском), подсказывала им менее рискованный способ, когда отдельно указываются на своих алфавитных местах все участвующие компоненты: **bez*, **borda*, **čędo*, **golva*, **rogъ*, **studъ*. Но в том-то и состоит разница между грамматикой и словообразованием, с одной стороны, и словарем — с другой стороны, что даже самые богатые и капитальные грамматические описания и очерки словообразования имеют принципиальное право оставаться сводом моделей словоизменения и словообразования, приводя в лучшем случае много примеров, но никогда не приводя всех, тогда как словарь — не индекс моделей, словарь кодифицирует все слова. Теоретическая возможность слова **bezrěkъ(jь)* 'не имеющий реки' в праславянском еще не означает его реального существова-

ния, одного лишь наличия известной модели и необходимых компонентов **bez* и **rěka*, а также вероятных речевых контекстов вроде **bez rěky* недостаточно, поэтому мы в своем «Этимологическом словаре», как правило, менее подробны лишь тогда, когда сомневаемся в реальном наличии или не видим достаточного материала свидетельств.

Это подводит нас к проблеме сочетания импликативного и экспликативного подходов в словаре такого типа. Естественно, что словарь содержит в свернутом виде очень многие регулярные и не лексические особенности языка. Например, основная словарная форма глагола **biti* имплицирует (т. е. как бы заключает в себе без упоминания) личные формы **biję*, **biješi*, **bijetъ*, **bijemъ…*, формы разных времен, залогов, причастия **bijǫtjь*, **bitъ*. Морфологическая заданность и регулярность позволяют трактовать эти формы в словаре имплицитно, т. е. не выделять их в особые словарные статьи. Эксплицитно трактовать, т. е. излагать словарь должен только то, что фактически лексикализовано. «Праславянский словарь» и «Этимологический словарь славянских языков» под внешне одинаковым заглавным словом *bitъ* приводят различный материал: первый дает страдательное причастие прошедшего времени *bitъ*, а второй — субстантивное **bitъ* ‘палка, жердь’, ‘удар’. Добавим, что «Праславянский словарь» не дает этих субстантивных значений, а наш «Этимологический словарь», в свою очередь, обходится без упомянутых морфологических, т. е. нелексических случаев. Из внутрипарадигматических грамматических форм в «Этимологическом словаре» трактуются как равноправные заглавные слова словарных статей всяческие случаи супплетивизма вроде **azъ* — **mene*, **esmь* — **byti*, где налицо примат лексического над грамматическим.

Композиция материала в словаре и вообще формальные приемы лексикографического дела небезразличны для проблем лексикологии. Через эти лексикографические акценты (распределение слов по важности места в словаре, соотношение отсылочных и основных вариантов) получает выражение наша лексикологическая концепция. Кстати, об отсылочных словах, практика которых весьма укоренилась. Отсылочное слово — чисто вспомогательная лексикографическая категория. Имея свое алфавитное место, оно во всем остальном трактуется как форма второстепенная. Лексикограф решает в конечном счете сам, какое слово основное, а какое — отсылочное. «Праславянский словарь» регулярно прибегает к отсылкам. Вот одно место I тома, где их особенно много (полстраницы): *bratrana* см. *bratana*; *bratrěnъ* см. *bratěnъ*; *bratrikъ* см. *bratikъ*; *bratrina* см. *bratina*; *bratriti* см. *bratiti*; *bratrъ* см. *bratъ; bratrьja* см. *bratьja; bratrьn’ь* см. *bratьn’ь* и т. д. (с. 360). Именно обширность этого пассажа порождает у нас некоторые сомнения в правильности такой практики. Из удобного приема отсылка грозит перерасти в категорию оценки,

так как она не просто «отсылает», но и квалифицирует, решает, какое слово основное, а какое — «отсылочное». Здесь наличествует момент составительского произвола. Заметим, что у бегло упомянутых *bratrъ*, *bratrьcь*, *bratrьja*, *bratrьn'ь* есть свои соответствия в других индоевропейских языках, сигнализирующие возможную древность формы и не распространяющиеся на варианты *bratъ*, *bratьcь*, *bratьja*, также имеющие собственные индоевропейские параллели, но уже меньше. По-видимому, это более молодые образования. Избрав последние в качестве основных, «Праславянский словарь» не всегда полно освещает оригинальность образований *bratrъ* и производных, например, упущено соответствие слав. *bratrьcь* — умбр. *fratreks* и слав. *bratrьn'ь* — лат. *fraternus*. Может быть, тут дело в неудачном распределении лексикографических акцентов и надо только поменять местами отсылочное и основное? Но едва ли все станет лучше, если мы напишем наоборот: *bratъ* см. *bratrъ*; *bratьcь* см. *bratrьcь* и дадим всю информацию на эти вторые формы. Освещение останется однобоким. В языковой действительности — наблюдаемой или реконструируемой — нет деления на второстепенные и основные слова, поэтому невольно начинаешь задумываться над полезностью этого деления в лексикографии, особенно если учесть реальную возможность обратного негативного наложения лексикографической практики на лексикологическую теорию. В «Этимологическом словаре» славянских языков нет отсылочных статей, что было уже отмечено критикой. Можно думать, что практика отсылочных словарных статей — это остаток гнездового принципа, от которого лексикографы в основном уже отказались в пользу адекватной трактовки 'словарная статья' = 'отдельное слово'.

Мой опыт сравнения заведомо неполон и содержит изложение некоторых наиболее важных, как мне казалось, вопросов, которые могут представить общий интерес. Мы присутствуем при начале многотомных продолжающихся изданий. Можно продолжить и параллельное чтение. Это сопоставление не преследовало цели обязательно выяснить, что один словарь «лучше», а другой «хуже», хотя различия в их подходах к одному предмету всегда привлекали наше внимание. Главное внимание необходимо обратить на самый предмет исследования — древнюю лексику всех славянских языков, изучение которой в обоих словарях разными путями продвигается вперед.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОСТОЧНОСЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ: СЛОВАРИ

Как известно, существуют три восточнославянских языка: русский, украинский, белорусский. Соответственно этому естественным представлялось бы наличие также трех этимологических словарей — для каждого из названных братских языков. Но как раз эти братские связи восточнославянских языков, то обстоятельство, что они очень близко родственны друг другу, иначе говоря, происходят из общего восточнославянского языка — древнерусского, были, по-видимому, причиной того, что идея «собственной» этимологии, этимологической ретроспективы вырабатывалась медленно, можно сказать, что и сейчас эта идея еще только формируется. Лишь в самое последнее время раздаются, например, голоса о «белорусском этимологическом ландшафте» [1], а также был выдвинут автором этих строк тезис об автономном состоянии праславянской лексики исторических отдельных славянских языков (последнее, однако, относится уже к специальной теме «Праславянская лексикография»). Но при таком близком родстве эта новая этимологическая концепция, может быть, не для всех так убедительна, как, скажем, теория восточнославянского родословного древа, потому что здесь праязык (древнерусский) засвидетельствован также в письменной форме и хронологически не очень удален от современности (конкретно — менее чем на тысячелетие; если считать начало самостоятельного существования позднейших восточнославянских языков с XIII в. — рубеж, кстати, целиком основанный на показа-

---

[1] *В. В. Мартынов.* Белорусский этимологический ландшафт // Slawische Wortstudien. Sammelband des internationalen Symposiums zur etymologischen und historischen Erforschung des slavischen Wortschatzes. Leipzig, 11—12 X 1972. Bautzen, 1975. S. 60 и след. Ср. далее: *Р. М. Козлова.* Белорусские регионализмы праславянского происхождения (на материале лексики восточного Полесья) // АКД. Минск, 1977.

ниях фонетики, — то временна́я протяженность сократится еще больше). Но при этом учитывались, как только что сказано, преимущественно критерии исторической фонетики, которые, естественно, были лучше исследованы, развивались почти исключительно в духе дивергенции и, собственно говоря, послужили основанием вышеназванной периодизации. Словарный состав был и остается хуже исследованным, его вообще нельзя охарактеризовать так однозначно, как, например, фонетику или даже морфологию, надо признать, что всякое сравнение хромает и паче всего хромает идея изоморфизма между разными уровнями. А может быть, именно словарный состав языка следует иногда мерить особыми периодами в отличие от исторической фонетики. Возможно, следовало бы несколько ограничить это «первородство» фонетических признаков развития языка в пользу лексических, особенно если принять во внимание, что иное слово (именно слово, а не его нередко вторичная фонетическая форма со своими поздними особенностями из XIII и, может быть, еще более поздних столетий) в белорусском или украинском определенно старше самих белорусского или украинского языков.

Идея самостоятельного этимологического словаря для каждого восточнославянского языка неотделима от развития всей восточнославянской лексикографии. В течение долгого времени эта последняя была русской лексикографией в широком смысле слова. Ближайше родственные украинский (малорусский) и белорусский рассматривались как наречия русского языка. Можно сказать, что при этом (в русле развития русской лексикографии в упомянутом смысле) украинский получил статус самостоятельного языка значительно позже, чем русский, но все-таки несколько раньше, чем белорусский. Ту же последовательность мы наблюдаем в этимологической лексикографии всех трех языков. Первыми проявились этимологические словари русского языка. Несколько корневых этимологических словарей XIX в. вряд ли заслуживают здесь упоминания, тем более, что этимологический значило тогда скорее «морфологический», чем «относящийся к происхождению и истории слова» в собственном смысле. Но блестящий успех и большая притягательная сила сравнительного языкознания произвели глубокое впечатление на культурный мир России, и преподаватели русских гимназий начали издавать, вместо корневых словарей, этимологические словари в современном понимании того времени.

Первый труд такого рода, достойный упоминания, появился уже в 1890-е гг.: это был «Сравнительный этимологический словарь русского языка» Н. В. Горяева, созданный и выпущенный в Тифлисе (2-е изд. — в 1896 г., позднее выходили в течение десяти лет еще несколько дополнений к нему, там же). Словарь Горяева как бы образует водораздел между старыми школьными методами и новыми научными методами нашей этимологической лек-

сикографии. Автор стремился обучить своего молодого читателя са́мому необходимому, ссылки на специальную литературу при этом, конечно, отсутствовали, как, впрочем, и самый анализ, но содержащийся материал был довольно богат, словарь охватывает более 6400 слов-статей, круг сравниваемых языков весьма велик, примеры из разных языков даны, как правило, точно. И хотя словарь Горяева в целом давно устарел и принадлежит только своему времени, его этимологические идеи нередко заслуживают внимания. Достаточно привести две этимологии, в которых мы последовали бы Горяеву, а не Фасмеру, например *бедро*, относительно которого как раз Горяеву принадлежит бесспорно убедительная идея о связи этого слова со словом *бодать*, со ссылкой на семантическую параллель нем. *Schlägel* в значении ‘ляжка’ и *schlagen*, *schlachten* ‘бить, колоть’. Фасмер придерживается сравнения рус. *бедро* и лат. *femur* то же, несмотря на то, что последнее сравнение было осуждено еще Мейе как бесперспективное. Так была предана забвению удачная этимологическая мысль, хотя в данном случае скромный учитель гимназии в Закавказье предвосхитил в принципе такую же более позднюю этимологию Я. Розвадовского. Другим примером более удачной этимологии Горяева — при всей обычной для школьного словаря излишней краткости, даже скудости данных — может служить слово *гайка*, которое Горяев верно сближал с укр. *гáїти* ‘задерживать’. На сей раз Фасмер знал о толковании Горяева, но, к сожалению, не последовал за ним. В другом месте я рассчитываю еще вернуться к этому слову, которое осталось для Фасмера «трудным».

Венгерский этимолог Л. Киш, опубликовавший обстоятельный очерк об этимологических словарях восточнославянских языков [2], говоря о словаре Горяева, характеризует его время следующим образом: «Всеобщий славянский этимологический словарь Миклошича (1886 г.) имелся в распоряжении, но ни один славянский язык не имел собственного подробного этимологического словаря» [3]. Возможно, это утверждение не совсем точно, поскольку кое-где в славянских странах на рубеже столетий издавались — на уровне учителей гимназии — этимологические словари, которые были, однако, обречены на короткую жизнь и малую известность, тогда как словарь Горяева имел сравнительный успех, говоря словами Киша: «Для зарубежных исследователей словарь Горяева был в течение долгого времени самым важным источником, из которого они могли черпать сведения по вопросам этимологии русского словарного состава» [4].

---

[2] *L. Kiss*. Die etymologischen Wörterbücher der ostslawischen Sprachen // Publicationes Instituti philologiae slavicae Universitatis Debreceniensis. Slavica. 1965, V.

[3] Там же. S. 106.

[4] Там же. S. 107.

Другой русский преподаватель гимназии А. Преображенский в Москве опубликовал в 1910—1916 гг. свой «Этимологический словарь русского языка» до слова *сулея́* 'сосуд для вина, масла и т. п.'. До конца, хотя и с большими пропусками, словарь был издан долгое время спустя после смерти Преображенского, последовавшей в 1918 г. Труд Преображенского гораздо лучше известен читателям, чем, например, словарь Горяева, так как словарь Преображенского, кроме окончания (*тело — ящур*), выпущенного вскоре после войны (1949) Академией наук СССР, публиковался в 1950-е гг., почти одновременно, помимо Советского Союза, также еще в Соединенных Штатах Америки и даже в Китае. Преображенский не был творческим этимологом. Мне трудно припомнить какую-нибудь действительно оригинальную этимологическую идею из его словаря. Но его хорошая начитанность в специальной литературе, добросовестность, богатая библиография, осторожная манера критики различных точек зрения делали его этимологический словарь в течение необычайно долгого времени (приблизительно около 40 лет) настоящим справочным пособием. Преображенский был школьный учитель, но словарь у него вполне научный. Это слияние обоих методов можно считать наиболее похвальной особенностью его словаря, можно сказать, что с его стороны это было едва ли не самым смелым шагом и самым важным авторским проявлением. Фактически есть только о д н а этимология, а не две — одна для учащейся молодежи, а другая для специалистов. Похоже, что с той поры эту истину стали забывать. Только таким образом можно объяснить себе появление целого ряда этимологических словарей русского языка, выпущенных за последние десятилетия специально для школы, которые вряд ли продвигают дальше этимологическую науку, да и для учащихся и для учителей не столь полезны, как это имелось в виду, потому что популяризация — дело не только трудное, но и нуждающееся в особо прочной научной основе и особенно точном знании фактов. Популяризация полунауки, разумеется, не оправдывается ни педагогически, ни с точки зрения ответственности перед широкими кругами читателей.

В 1955 г. вышел маленький «Школьный этимологический словарь», изданный Калининским педагогическим институтом. Менее элементарный характер, чем этот морфемно-корневой словарик, носил «Краткий этимологический словарь русского языка. Пособие для учителя» трех авторов (Н. М. Шанский и др., 1-е изд. М., 1961). Рецензии выявили в нем много ошибок и неточностей; одна из этих критических рецензий была напечатана М. Фасмером незадолго до его смерти, другая была опубликована мной [5]. Я не хотел бы здесь повторяться. Этот словарь был переиздан в 1971 г. тиражом 200000 эк-

[5] См.: ВЯ. 1961, № 5.

земпляров. Наконец, «Этимологический словарь русского языка» Г. П. Цыганенко (Киев, 1970. Тираж 54000 экземпляров) завершает пока, насколько мне известно, эту серию «кратких» этимологических словарей русского языка, составители которых спешат на помощь учителю русского языка.

И все-таки этимология и ее исследователи и читатели нуждаются в иной лексикографии. В настоящее время русская этимология уже имеет на своем счету труд, который сделал бы честь этимологии любого европейского языка. Это словарь Фасмера, который был опубликован за очень короткий срок начиная с 1950 г. и который оказал такое большое влияние на весь ход исследований в области русской и славянской этимологии, что знакомство с ним всех русистов и славистов, а также вообще всех интересующихся индоевропейскими языками как бы разумеется само собой. Здесь я не собираюсь говорить о словаре Фасмера с подробностью, которой он заслуживает (об этом словаре, а также об опыте своей работы над его русским переводом и дополнениями я предполагаю рассказать в другом месте). Нельзя, однако, не отметить и здесь больших заслуг М. Фасмера и его «Этимологического словаря русского языка» перед русской этимологией. Нельзя не вспомнить о достоинствах этого богатого, весьма надежного пособия по этимологическому исследованию не только современного русского литературного языка, но также и многочисленных диалектных и устаревших, в том числе древнерусских, слов. Обычно высоко отзываются о немецком этимологическом словаре Клюге, и эта оценка оправданна; Фасмер, например, сам сознавался, что, когда он работал над русским этимологическим словарем, у него перед глазами всегда был словарь Клюге как образец. Но солидный труд Клюге не лишен существенных недостатков. Например, когда однажды я стал искать немецкое корневое имя *Scharn* (сюда относится гордая дворянская фамилия *Scharnhorst*, букв. 'загаженное гнездо', в остальном — древнейшая, еще индоевропейская основа со следами гетероклитического склонения с исходом на согласный, как о том свидетельбтвует греч. σκῶρ / σκατός 'грязь, нечистоты'), то, к великому огорчению, я ничего не нашел в своем экземпляре Клюге 20-го издания (1967). Словарь Клюге почти не дает древненемецких и диалектных слов, как, например, искомое нижненемецкое *scharn* 'навоз', которые не имеют соответствий в литературном нововерхненемецком, явно выраженные диалектизмы попадаются в этом словаре редко. Установка на словарный состав исключительно литературного языка наносит ущерб принципу этимологического словаря. Граница между литературным и диалектным, древним и современным не столь существенна для этимологического исследования, в этимологии граница между существенным и несущественным (или, как сейчас еще говорят, — между релевантным и иррелевантным) проходит иначе. К счастью, Фасмер не последовал именно этому вышеназванному принципу Клюге, ско-

рее наоборот: некоторые критики или критически настроенные читатели словаря Фасмера высказывают мнение, что местами этот словарь выглядит не совсем по-русски. Но было бы точнее сказать, что словник (репертуар словарных статей) подобного этимологического словаря не всегда тождествен словнику словаря современного русского литературного языка по закономерным причинам, только что изложенным выше. Здесь уместно вспомнить мысль, высказанную в свое время Л. В. Щербой, о том, что сущностью лексикографии является компромисс. Для этимологической лексикографии это справедливо вдвойне.

Ограничение большого по объему этимологического словаря словарным составом литературного языка производит поэтому странное впечатление. Я имею в виду «Этимологический словарь русского языка», издаваемый с 1963 г. Московским университетом (вышли шесть выпусков: *А*; *Б*; *В*; *Г*; *Д—Е—Ж*; *З*). В настоящее время мне приходится обращаться к 4-му выпуску (*Г*); в нем отсутствует целый ряд достаточно известные диалектных и старых слов исконного происхождения, со славянскими и индоевропейскими родственными соответствиями, которые следовало учесть, например: *глива*[6], *глог*[7], *глузг*[8], *глузд*[9], *глуда*[10], *глыза*[11] (как это видно, пропущенные слова взяты из одного ограниченного алфавитного отрезка словаря). При этом нельзя не отметить, что это отнюдь не «краткий» словарь, скорее наоборот. По принципу отбора слов этот этимологический словарь можно было бы определить как этимологический словарь современного русского литературного языка, что, при всей необычности аспекта, хоть как-то объясняло бы пропуски ценной низовой или старой лексики.

---

[6] Рус. диал. *глива* 'род груши, дули' (юж., сарат., Даль [3] I, 875; Филин 6, 197: сарат., юж., курск., орл., донск., брян.), ср. родственные болг., сербохорв., словен., чеш., словац., н.-луж. слова, а также лит. *gléivos* 'слизь', *gleĩvės* мн., лтш. *glīve* 'зеленая слизь на воде'.

[7] Рус. диал. *глог* 'Cornus sanguinea, кизиль, дерен' (Даль [3] I, 877), сюда же диал. *глод* м. р. 'боярышник Crataegus' (Даль [3] I, 878, Филин 6, 200), также *глёд* м. р. (Даль [3] I: 875) с соответствиями во всех славянских языках.

[8] Рус. диал. *глузг* 'смежение и закрепа двух мягких кромок; уголок глаза, у самого раздела век' (Даль [3] I: 880), ср. чеш. *hluzek* 'уголок глаза'.

[9] Рус. диал. *глузд* 'толк' (курск., Опыт 37), 'ум, память, рассудок, толк' (курск., орл., юго-вост., юж., псков., смолен., зап.), 'мозг' (юж., зап.) (Филин 6, 207—208).

[10] Рус. диал. *глуда* 'глыба, ком; кусок' (моск., рязанск., ворон., курск.) 'выглаженная волнами поверхность камешка' (арх.) (Даль [3] I, 880; Филин 6, 207), ср. герм. **klauta-*, нем. *Kloß* 'ком'.

[11] Рус. диал. *глы́зá* 'глыба или ком' (арх., вологодск., новг. и т. д., см. Филин 6, 223; Опыт 37; Подвысоцкий 31; Богораз 38; Куликовский 15; Сл. Среднего Урала I, 114—115; Словарь старожильческих говоров средней части бассейна р. Оби 1, 97), ср. сюда же рус. диал. *глы́жа,* псков., твер., с близким значением, см. Филин 6, 222.

Заметным трудом мог бы быть «Историко-этимологический словарь современного (?) русского языка» П. Я. Черных, к сожалению, до сих пор неопубликованный [12]. В своем качестве исследователя-диалектолога, например, говоров Сибири, а также историка русского языка (как, впрочем, и автора несколько менее удачного «Очерка русской исторической лексикологии» 1956 г.) Черных был подготовлен для крупных работ, если не исключительно в области этимологии, то во всяком случае — в истории слов русского языка. Автор, умерший в 1970 г., успел окончить работу над рукописью своего «Историко-этимологического словаря». Его труд по своему объему (140 а. л.) почти равен словарю Фасмера (около 160 а. л. в русском издании), а по количеству словарных статей даже превосходит последний (25000 словарных статей против 18000 с небольшим словарных статей у Фасмера). Рукопись редактировалась в течение пяти лет, для чего были привлечены несколько консультантов (назову из них Ж. Ж. Варбот, на которую были возложены редактирование и унификация праславянских и индоевропейских реконструкций). Рукопись П. Я. Черных, готовая к печати, находится сейчас в издательстве «Русский язык». Словарь П. Я. Черных предназначается для широких кругов читателей, а также для учителей; главное внимание в нем не акцентировалось на вопросах развития праславянского и индоевропейского языков, лишь на заключительной стадии своей работы автор в какой-то степени изменил свою точку зрения на этот счет, хотя и не проявил себя в этой области столь же самостоятельно, как, скажем, Фасмер. Главная заслуга П. Я. Черных — в тщательном освещении вопросов восточнославянской и русской истории слов на базе древнерусских картотек Института русского языка Академии наук СССР и собственных разыскании автора. Оригинальные этимологии представлены в ряде словарных статей. Изложенная характеристика говорит о том, что этот словарь оказался бы весьма полезен в дополнение к уже существующему словарю Фасмера.

До сих пор речь шла об этимологических словарях русского языка. Этимологические словари украинского и белорусского языков у нас еще не издавались, но это вовсе не значит, что работа над ними не ведется. Скорее можно говорить в данном случае как бы о латентном периоде развития этимологической лексикографии украинского и белорусского языков. Правда, эта подготовка, планы и объем которой с течением времени неоднократно менялись, несколько затянулась. В Киеве и Минске имеются коллективы хороших специалистов, которые создают эти словари как коллективные труды [13]. Оба этих

---

[12] Сообщаемыми ниже сведениями об этом словаре я обязан, главным образом, Ж. Ж. Варбот.

[13] Несколько раньше, в самом начале 1960-х гг., в Киеве работал над украинским этимологическим словарем в качестве индивидуальной темы Р. В. Кравчук (в на-

национальных научных предприятия имеют солидную базу в виде специальных собраний материала. В Киеве работу над словарем возглавляет известный украинский языковед А. С. Мельничук, в Минске — В. В. Мартынов, известный своими трудами по германо-славянским и балто-славянским лексическим отношениям. Поскольку оба этимологических словаря существуют пока только в рукописном виде и не вполне завершены (так, например, только два небольших тома — I и II — белорусского этимологического словаря подготовлены к печати), нет возможности обсуждать их здесь детально. Поэтому я говорю дальше только о тех частях этих трудов, которые читал, будучи рецензентом, и притом — говорю достаточно суммарно, не вдаваясь в подробности критики, поскольку речь идет о трудах неопубликованных. Как известно, по украинскому языку имеется этимологический словарь Я. Рудницкого, выходящий в Канаде начиная с 1962 г. (опубликовано два тома, или 16 выпусков от *А* до *Ж*)[14]. Разумеется, этот словарь, при всей его полезности, сохраняет лишь временное значение. «Етимологічний словник української мови», к настоящему времени уже законченный в рукописи большим коллективом в Институте языковедения им. А. А. Потебни АН УССР в Киеве, будет охватывать несколько томов и насчитывать 25000 словарных статей (для сравнения целесообразно вспомнить о других известных цифрах в аналогичных случаях). Авторы поставили перед собой цель «изложить общее состояние этимологического исследования словарного состава украинского языка и обратить внимание будущих исследователей на слова, которые нуждаются в этимологическом объяснении» (цитируется по рукописи тома I). Учитывается лексика не только литературного языка, но и украинских диалектов[15], как старые, так и новые образования и заимствования. Равным образом солидно представлена этимология со всей относящейся сюда богатой литературой. В просмотренных частях Словаря я с трудом мог отметить какие-либо пропуски. При изложении принципов этого нового словаря высказывается и обосновывается вне всякого сомнения разумнейшая мысль, что предлагаемый украинский этимологический словарь занимает свое опреде-

---

стоящее время — в Минске); я знакомился тогда с его 1-м выпуском (*А — бéзбеш*) как рецензент. Работа, однако, не получила продолжения.

[14] *J. B. Rudnyćkyj*. An etymological dictionary of the Ukrainian language. I—II (parts 1—16). Winnipeg, 1962—1977.

[15] Правильное лицо этимологического словаря академического типа с учетом сложного состава лексики народных говоров этот словарь обрел, видимо, не сразу. Во время первого Всесоюзного координационного совещания по славяноведению в 1961 г. в Москве некоторые украинские участники из Киева в беседе со мной живо спорили против идеи широкого включения лексических диалектизмов (в связи со словарем Р. В. Кравчука).

ленное место в системе существующих украинских и других словарей. Однако эта идея проводится авторами, главным образом, со стороны украинистики, а именно: то, что относится к истории украинского слова, дается крайне лаконично, дабы не дублировать задачи ныне также уже подготовленного словаря староукраинского языка. Таким образом, мы получаем еще один возможный вариант решения: если, с одной стороны, имеются так называемые историко-этимологические словари, этимологические словари с подчеркнутым вниманием к истории, то, с другой стороны, надлежит поместить этот своего рода «чистый» этимологический словарь, почти без исторической документации. Но кажется, что украинские этимологи чересчур углубляются в собственную этимологию таких свежих заимствований, как, например, *авіáція*. Точно так же в случае с церковнославянскими грецизмами, как, например, *акáфіст*, было бы вполне достаточно указать на греч. ἀκάθιστος (ὕμνος) 'церковное песнопение, исполняемое стоя, а не сидя' как на непосредственный источник заимствования, и кажется излишним в украинском этимологическом словаре возводить греческие формы к индоевропейскому (**sed-*), чтобы затем вновь вернуться к праслав. **sěděti* 'сидеть', укр. *сидíти*. Здесь угадывается аналогия с методом Ф. Славского в его этимологическом словаре польского языка. Отсюда, частично, объясняется монументальный объем этимологического словаря А. С. Мельничука и его коллег.

Омонимы трактуются в украинском этимологическом словаре как в толковом словаре современного литературного языка. Хотелось бы порекомендовать при этом более диахронический, исторический, короче говоря — этимологический подход. Известно, что современная лексикография принимает во внимание при трактовке омонимов прежде всего контекстные и семантические критерии, но только происхождение может ответить на главный вопрос, имеем ли мы перед собой несколько реальных омонимов или о д н о слово. Не станем вдаваться в этот большой вопрос о роли этимологии в так называемой синхронной лексикографии (можно лишь удовольствоваться констатацией в данном случае заимствования этимологическим словарем распространенной методики синхронной лексикографии в трактовке омонимов), отложим до выхода в свет и обсуждение деталей собственной этимологии. Своими вынужденно краткими и наиболее общими наблюдениями я хотел бы лишь привлечь внимание к предстоящей публикации этого бесспорно значительного труда, оценка которого — дело будущего. Словарь наслуживает скорейшей публикации, что, естественно, совершится не без трудностей, поскольку речь идет о большом этимологическом словаре.

Если в случае с украинским языком мы имеем уже упоминавшийся Словарь Рудницкого, и, кроме того, нам известно несколько проектов в области

украинской этимологической лексикографии, то в белорусской этимологической лексикографии картина выглядит пока что намного скромнее. Начнем с того, что до сих пор вообще нет ни одного белорусского этимологического словаря. Возможно, что в этом отражаются еще не вполне преодоленные остатки прошлой культурно-исторической отсталости области распространения белорусского языка. Еще не изданы ни большой словарь современного белорусского языка, ни исторический словарь белорусского языка, тогда как нормальным условием следовало бы считать подготовку этимологического словаря после появления этих необходимых предварительных работ, а не до их появления. Правда, за последнее время белорусские языковеды выполнили много полезных работ и в первую очередь в области диалектологии и диалектной лексикографии. Многое решает также и хорошая подготовка исследователей, приступающих к делу. В этих условиях составляется «Этымалагічны слоунік беларускай мовы» под редакцией В. В. Мартынова. До настоящего момента подготовлены два тома, из них я знаком в рукописи с первым. Можно назвать этот первый том первым шагом белорусской этимологической лексикографии вообще. Не такой большой по объему — 20 а. л., — том I (буквы *А* и *Б*) в наших глазах представляет событие. Предлагаемая там этимологизация белорусских слов хорошо обоснована славистически, а также построена с учетом новых и новейших методов исследования.

Срединное положение белорусского языка, напоминающее до известной степени положение словацкого языка, представляется во многих отношениях уникальным, достаточно вспомнить, с одной стороны, продвинутую фонетическую эволюцию белорусского языка и, с другой стороны, — местами довольно архаический словарный состав и соответствующее ему словообразование. Все это чем дальше, тем больше приковывает внимание славистов к белорусской лексике и этимологии. Например, слависты В. В. Мартынов, Р. В. Кравчук и А. Е. Супрун, работающие сейчас над белорусской этимологией, не были белорусистами в первый период своей научной деятельности. Задача нового этимологического словаря — удовлетворить пристальный интерес других исследователей-славистов. Требования к новым публикациям при этом, надо сказать, достаточно высокие, поэтому дискуссии по конкретной этимологии с выходом названного словаря вряд ли утихнут, скорее наоборот. Откладывая обсуждение вопросов по этимологии слов, естественно, до выхода книги в свет, ограничусь здесь опять-таки лишь самым общим наблюдением относительно разрастания омонимии, когда, например, омонимов *бабка* оказывается не менее 18. В этимологическом словаре мне казалась бы более желательной (и логичной) несколько отличная трактовка материала и проблемы. Впрочем, названная организация словарных позиций, пожалуй, не исключение, как мы уже видели на примере родственного украинского сло-

варя, почему и представилось необходимым не откладывать с оглашением именно этого одного общего замечания по восточнославянской этимологической лексикографии. Существовало одно праславянское слово **babъka*, это, кажется, бесспорный факт. Впрочем, встав на путь компромисса и сделав скидку на более нежели 1000-летнее развитие, отделяющее праславянский, скажем, от белорусского, следствием чего могла явиться лексическая дифференциация, можно принять существование нескольких отдельных лексических случаев *бабка* (здесь возможны группировки материала вроде *бабка* — родственное обозначение, *бабка* — название растений, *бабка* — название бытовых предметов, частей тела и т. п.). Не имеем ли мы здесь, однако, ситуацию, напоминающую внутреннюю структуру многозначной словарной статьи с ее первичными и вторичными, метафорическими и окказиональными употреблениями?

Такова современная картина восточнославянской этимологической лексикографии, правда, обрисованная со всей краткостью. Я хотел бы еще добавить несколько слов о сути самого предмета. При этом напрашиваются некоторые лексикографические и лингвогеографические (лексические) замечания. Попробуем задуматься над «этимологическим ландшафтом» или даже «этимологическим субконтинентом» восточнославянских языков. Эти понятия тесно связаны с понятием восточнославянского языкового развития вообще, больше того — эти относительно непривычные понятия могут пригодиться для разъяснения понятий старых и привычных. Обычно слишком часто подчеркивают однородность восточнославянских языков и их развития, монолитность самих языков и их действительно большую взаимную близость. В отличие от западных и южных славян именно восточные славяне имели свой особый праязык — древнерусский как промежуточную стадию или ответвление праславянского языкового состояния. Но эта чрезвычайная близость и однородность, наблюдаемые в пределах восточнославянского языкового ареала, где границы между языками фактически не крупнее границ между иными диалектами, может быть также результатом длительного выравнивания. Этот процесс нивелировки при беспрепятственном протекании вполне мог завершиться опять-таки созданием единого языка для всего ареала. Но историко-политические обстоятельства восточноевропейского средневековья решили вопрос иначе, и политические границы того времени (Великое княжество Литовское с Речью Посполитой, Польшей versus Россия) повинны, как и в других случаях, в том, что новые границы между языками сложились именно так, а не иначе. История этой дифференциации в целом известна. Однако мы говорим здесь скорее о нивелировке, что отражает наши сомнения в том, что существовало некогда совершенно одноствольное родословное древо для будущих восточнославянских языков. Та-

кие сомнения оправданы и с точки зрения общетипологической, и с фактической — исторической точки зрения. Ведь известно, например, что какие-то дулебы ушли из Руси (этимология паспортизует, впрочем, не только уход древних дулебов далеко на Запад, где они получили свой неславянский — западногерманский — этноним, но и последующий возврат их с этим благоприобретенным названием на славянский Восток, вплоть до полного их растворения там), с другой стороны, так и осталось неизвестным, кто, собственно, были эти уличи и тиверцы на юго-западной окраине Древней Руси, далее, в западных районах Древнейшей Руси засвидетельствовано пребывание неких сербов и хорватов, существует, наконец, недвусмысленное известие о «ляшском» (сейчас, видимо, надо читать «западнославянском») происхождении радимичей и вятичей, которые жили в позднейшей Белоруссии и в сердце позднейшей Великороссии (о субстратах неславянских я здесь не говорю). И это всё не просто имена. Только имена дошли до нас там, где некогда должны были существовать и свой диалект, и своя культура. Отнестись к этому скептически, счесть все это недоказанной гипотезой нетрудно (точнее сказать — было нетрудно до недавнего времени). Теория восточнославянского родословного древа выглядит так просто и понятно. Но теоретическая концепция восточнославянской языковой группы как первоначально бескомпонентного монолита, до сих пор признаваемая многими, не могла удовлетворить всех. Ее неестественность ощущали уже априори. Ей противопоставлялись теории трехчленного и двухчленного первоначального состава, первая из которых принадлежит А. А. Шахматову, а вторая — Т. Лер-Сплавинскому. Но чем были эти теории как не попытками подменить один большой искомый монолит двумя или даже тремя монолитами поменьше? Невольно возникает желание предложить некоторым образом вместо игры в кубики другую игру — в мозаику. Мозаическое представление первоначальных языковых отношений, конечно, сложнее, но вместе с тем — значительно жизненнее, поскольку несравненно ближе историческим взаимоотношениям диалектов. Что осталось нам от гипотетического первоначального разнообразия? Потенциальные его реликты — приведенные выше племенные названия Древней Руси. Далее, это — установимые древние ареалы распространения слов. Русский, украинский и белорусский языки обнаруживают и сейчас или в исторический период ряд весьма старых образований, которые свойственны только одному из них и, по-видимому, никогда не разделялись всеми тремя. Я попытался подойти ближе к этой проблеме в своей работе «О составе праславянского словаря»[16]. И хотя предложенная там схема оставляет, быть может, несколько

[16] Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V МСС (София, сентябрь 1963). М., 1963. С. 159 и след.

кубистское впечатление [17], она, тем не менее, представляет попытку нащупать следы действительных отношений в лексике восточнославянских языков. Малость сохранившегося не должна нас заранее отпугивать, поиски приводят нередко к конкретным результатам. Только в старобелорусской или югозападнорусской письменности (например, в Литовском статуте XVI в.) документируется архаическое слово зерема 'колония бобров' [18], которое реконструируется как праславянское *zerdmę 'огороженное, ограда' и даже как индоевропейское *ĝherd-men-, стоящее в образцовых, регулярных отношениях чередования ступени *-e-* в производных на *-men-* к ступени *-o-* в праславянском *zordъ (древнем палатальном варианте к *gordъ); последнее исстари представлено в форме *азарод*, *азярод* 'вид сушилки для снопов', в частности, на белорусской языковой территории. Выявить такие реликты тысячами едва ли возможно, но и немногие находки этого рода весят много и дают нам право представлять себе, скажем, белорусский этимологический ландшафт не только в виде смеси из балтизмов, полонизмов, русизмов и т. д. В этом нам должен помочь этимологический словарь каждого восточнославянского языка, в этом мы видим смысл существования такого словаря.

История письменных памятников и заключенного в ней словарного состава поучительна, но она не может дать все. Приходится, например, считаться, с четко выраженной народно-диалектной основой украинского и белорусского языков. Наддиалектный западнорусский письменный язык средневековья и современный белорусский (или украинский) язык связаны друг с другом подчас весьма свободными отношениями. Это обстоятельство повышает информативность, а одновременно и ответственность этимологического словаря живого восточнославянского языка. Восточнославянская нерусская лексикография в течение определенного времени развивалась, как известно, на уровне диалектной лексикографии, которая существует в немалой степени под знаком дифференциальной методики. Этому дифференциальному образу мышления воздают дань и сейчас, когда, например, предостерегают от того, что полный этимологический словарь украинского языка рискует превратиться в украинский вариант праславянского этимологического словаря. И тем не менее, это неизбежно и заключено, так сказать, в природе вещей, о чем нелишне говорить сегодня, в канун широкой публикации восточносла-

[17] Там же. С. 195.

[18] До недавнего времени это слово оставалось как бы без подтверждения и продолжения в народных диалектах. Специального изучения заслуживает факт обнаружения его в укр. диал. *жэ́рэмйа* 'жилище бобров' в рукописном словаре Д. Запары 1849 г., см. о последнем: Совещание по общеславянскому лингвистическому атласу. Черновцы, 4—7 окт. 1976 г. М., 1977. С. 183 (выступление Б. К. Галас).

вянских этимологических словарей. Огромное множество слов белорусского языка — это чисто праславянские и общеславянские, а вместе с тем, в известном смысле, и русские, и украинские слова, но по одной этой причине их общераспространенности никому ведь не приходит в голову мысль воздержаться от помещения их в белорусских словарях общего типа (раз они есть в русских!). Существуют ситуации, когда повторяться необходимо.

ИЗ РАБОТЫ НАД РУССКИМ ФАСМЕРОМ

К вопросам теории и практики перевода

Как известно, «Русский этимологический словарь» Макса Фасмера был выпущен издательством «Карл Винтер» в Гейдельберге в 1950—1958 гг., т. е. добрых 20 лет тому назад. По словам проф. В. Кипарского, рукопись была «уже почти готова» в 1949 г.[1]. С того времени прошло почти 30 лет, возраст целого поколения людей. Этимологические словари имеют свою судьбу, они стареют, как люди, которые их пишут, они тоже не бессмертны. Их благополучие и продолжительность жизни зависят от того, как с ними обращаются и хорошо ли их «питают» — я имею в виду издания и дополнения. При этом, естественно, ни одно новое издание, ни одно дополнение не вправе считаться совершенным и полным, наиболее естественный ход вещей — это когда за хорошим следует лучшее (не будем сейчас говорить о возможности обратного). Лично я с нетерпением жду дополнения к словарю Фасмера («Nachtrag»), над которым, насколько мне известно, в течение ряда лет работает проф. В. Кипарский. Прежде чем рассказать о своем опыте, я хотел бы отметить касательно собственного перевода и дополнений к словарю Фасмера, что полностью отдаю себе отчет в тех или иных недостатках или неровностях этой работы. Сейчас, наверное, я сделал бы кое-что иначе, объяснил бы еще некоторые случаи, остававшиеся тогда неясными; но многое я и сегодня оставил бы как есть, и это, конечно, приносит удовлетворение и сознание правильности выбора или решения.

---

[1] *V. Kiparsky.* Max Vasmer zum Gedenken. Akademische Gedenkfeier der Fr. Universität Berlin für Max Vasmer am 6. Februar 1963 im Osteuropa-Institut. Veröffentlichung des Osteuropa-Instituts an der Fr. Universität Berlin. S. 19.

Этимологические словари, этимологическая лексикография — это большая, самостоятельная проблемная область науки, подчиненная автономным законам. Это тема для особого разговора. На сегодня достаточно несколько слов о главном инструменте этих специальных словарей — об этимологии. Раздаются нередко голоса (я имею в виду главным образом зарубежную печать), что современная наука предпочитает повертываться спиной к проблемам истории, что структуральные идеи постепенно пронизали современную науку; интересуются как бы только самим зданием, как оно устроено сейчас и как им пользоваться в настоящее время. Трудный вопрос, каким же образом оно, собственно, сложилось, кажется, может быть, непрактичным в свете задач нынешнего дня, хотя именно способ образования, история и ее истолкование одновременно скрывают в себе углубленное познание современного употребления, а также зародыш дальнейшего развития. Все сказанное относится полностью к этимологии. Ей было нелегко среди современного бума точных методов исследования сохранить репутацию серьезной науки, но это ей удалось [2]. Конечно, из этого спора она не вышла совсем незатронутой и неизменной. Можно сказать, она стоит сейчас перед нами обогащенная всем действительно хорошим и более привлекательная, чем когда-либо.

Что я подразумеваю под обогащением? Прежде всего типологию всякого рода. Типологическая направленность науки современности получила выражение и в этимологической литературе. До недавнего времени вряд ли можно было встретить такие теоретические исследования, как, например, «Опыт типологии этимологических словарей» [3], при всем том, что его автор, известный этимолог и исследователь романских языков Яков Малькель имеет за своими плечами уже несколько десятилетий успешной научной деятельности. Из его полезной книги можно много узнать о многих этимологических словарях старого и нового времени, об их принципах и даже о «дифференциальных признаках» («distinctive features») их структуры («time depth», «direction of change», «range», «grand strategy: the total organization of the corpus», «the structure of the individual entry: tactical preferences», «breadth», «scope», «purpose and level of tone»).

Далее, мы узнаем из этой книги, сколь часто переводились и переводились ли вообще этимологические словари на другие языки. Результат получается поучительный и тоже интересный типологически. А именно констатируется, что перевод этимологического словаря вообще редкость. А те немногие примеры, когда перевод этимологического словаря считался необходимым, всегда были одновременно доказательством признания его высоких научных

---

[2] Ср.: *Y. Malkiel.* Etymology and modern linguistics // Lingua. 36, 2/3, 1975. P. 101 и след.
[3] *Y. Malkiel.* Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago; London, 1976.

достоинств. Имеется, собственно говоря, всего три примера: норвежско-датский этимологический словарь Фалька и Торпа (немецкий перевод 1910—1911 гг. с норвежского оригинала), английский перевод 4-го издания этимологического словаря немецкого языка Клюге[4] и, наконец, перевод с немецкого на русский язык «Русского этимологического словаря» Фасмера. Последний из названных трех переводов, будучи единственным переводом на соответствующий национальный язык, представляет собой исключительный случай в этимологической лексикографии, говоря словами Малькеля, «a kind of crowning achievement»[5] покойного корифея немецкой славистики.

Это действительно так. Не случайно поэтому, когда на заседании западноберлинского университета, посвященном памяти Макса Фасмера, 6 февраля 1963 г. вспоминали о его многочисленных отличиях (членство в академиях и т. д.), «не в последнюю очередь» было упомянуто «также извещение советского государственного издательства от октября 1962 г. о русском переводе его "Этимологического словаря русского языка"».

Но в 1962 г. этот русский перевод уже год как лежал готовый в рукописи. Инициатива издания русского Фасмера в стране русского языка находит свое начало если не в самих предложениях московского съезда славистов (IV Международный съезд славистов 1958 г.), то во всяком случае в том прекрасном духе этого съезда и последующего за ним времени. 72-летний профессор западноберлинского университета Макс Фасмер прибыл в Москву (уже во второй раз после войны, первый раз был в 1956 г. в связи с Международным комитетом славистов), принял участие в конгрессе, был глубоко потрясен теплым приемом. У нас все еще помнят его трогательную речь в актовом зале Московского университета.

Короче говоря, вскоре затем возникла идея русского перевода его словаря. Издательство иностранной литературы обратилось ко мне с таким предложением, в январе 1959 г. был заключен договор, и я принялся с воодушевлением за дело. В апреле 1961 г. работа была окончена, и рукопись в 3200 машинописных страниц, примерно 160 авторских листов (оригинальный текст плюс этимологические и литературные поправки и дополнения переводчика) была передана редакции языкознания издательства. Те два года были для меня, молодого кандидата филологических наук, отличной школой, но и огромной работой без конца и без отдыха. Предстояло преодолеть многие трудности не только научного свойства. Вначале был назначен ответственный редактор — проф. Б. А. Ларин. Этого талантливого ученого больше отличало богатство идей, чем способность к терпеливому их осуществлению. Я имел

[4] *Y. Malkiel.* Etymological dictionaries. P. 18—19.

[5] Там же.

случай убедиться в этом сам. Его стиль работы также шел вразрез с моими представлениями на сей счет. Ему ничего не стоило вычеркнуть одну за другой две-три строки оригинального авторского текста, как будто это была сырая рукопись, а не первоклассный уже печатный научный труд. Естественно, я протестовал. В качестве ответственного редактора Б. А. Ларин написал также короткое предисловие к русскому изданию. Не считая одного-двух верных критических замечаний об этимологиях и материале Фасмера, это предисловие было достаточно банально, его небрежный тон был явно недостоин большого труда, словом, далеко не лучшее из того, что вышло из-под пера Ларина. Я протестовал и на этот раз, и редакция позволила мне отредактировать предисловие в более достойных тонах. Впрочем, Ларин быстро охладел к редактированию переведенного мной текста, так никогда и не перешагнув первые сто страниц. Вскоре он умер. С того времени редакция возымела ко мне больше доверия, и я работал совершенно самостоятельно. Думаю, что при этом я никогда не забывал о пиетете в отношении покойного автора. Это не мешало объективно трезвому взгляду на вещи, которому можно было поучиться у самого Фасмера и который так хорошо отличает его труды, в том числе и его этимологический словарь. Я дополнял и исправлял все, что считал нужным, и гордился этим.

Определенная подготовка к этому у меня была. Несколько лет уже были посвящены этимологическим исследованиям; близкое знакомство с только что опубликованным «Русским этимологическим словарем» Фасмера позволило мне выступить с докладом на обсуждении этого словаря на специальном заседании в Академии наук СССР в 1959 г. (см. ВЯ. 1960, № 3. С. 60 и след.). Своевременность выхода словаря Фасмера в свет, высокий научный уровень труда, богатый словник (диалектная лексика, включение украинских и белорусских слов, для которых еще отсутствовали собственные этимологические словари, серия статей по ономастике, особенно украсивших этот словарь, богатая библиография, трезвый этимологический анализ, непредвзятость) — таков был тогдашний вывод. Правда, не все удовлетворяло, например, отдельные пропуски в словнике; толкования слов были сработаны по-младограмматически надежно, но не всегда гибко, ср. прямо противоположное у Вацлава Махека. В словаре Фасмера мы напрасно бы искали ссылки на такие имена, как Курилович или Бенвенист, труд последнего об именном словообразовании в индоевропейском был, видимо, для Фасмера из числа тех новых теорий, к которым он относился сдержанно, несмотря на то, что работа Бенвениста 1954 г. «Problèmes sémantiques de la reconstruction» и заключительные мысли Фасмера о важности исследования значений были почти одновременны и отражали общие искания нашей науки. В реконструкциях Фасмера мы не найдем намека на ларингальную теорию.

Дополнить все это и сделать по-другому я, конечно, был не в состоянии, да и не стремился к этому. В противном случае получился бы другой, не фасмеровский словарь, вещь невозможная, кстати, за столь короткий срок! Задача моя была скромнее: перевод с дополнениями. За непродолжительное время я составил картотеку дополнений из современной литературы и рецензий, среди них имелись и новые этимологии. Мой рецензент Клаус Мюллер, проследивший критическим оком за всей моей работой над русским Фасмером [6], упрекнул меня вначале, что я упустил возможность капитально переработать и расширить словарь. Оставляю открытым вопрос об этической стороне и вообще о реальности подобного замысла. Не следует забывать также о чувстве меры. И тем не менее, дополненный материал оказался столь значительным по объему, что уважаемый рецензент, похоже, в конце концов совсем забыл о своем упреке и писал в рецензии на последний (4-й) том русского издания следующее: «Объем при переводе по сравнению с немецким оригиналом вырос благодаря дополнениям Трубачева более чем на одну треть» [7].

Доставляло истинное удовольствие переодевать труд Фасмера по-русски. Помимо сказанного выше, задача понималась так, что нужно было не только перевести немецкие партии текста, но и привести все целое в соответствие с современным русским советским культурным и литературным узусом (культурно-языковой контекст, к которому мы еще вернемся), будь то названия языков (*казахский* вм. нем. *kirgisisch* и *киргизский* — там, где нем. *karakirgisisch*) или географические названия. Последнее — совершенно особая проблема, которую полезно затронуть далее в теоретическом плане. Пока один пример. В одном солидном современном русском переводе с итальянского можно встретить город *Монако*, вместо правильного *Мюнхен*, как место издания книги Германа Хирта «Etymologie der neuhochdeutschen Sprache». Словарь Фасмера явно нуждался в определенной графической модернизации, нужно было заменить в новом издании все устарелые знаки в балтийских, литовских примерах, как, например, акут над буквой *ú* без принятого сейчас знака долготы (*ū́*: *bū́tas*), греч. *ε* вместо современного *ë* в албанском и многое другое, к чему привыкло то поколение языковедов.

Существенную часть работы над словарем Фасмера составили, естественно, дополнения и поправки. Первые из них носили следующий характер: 1) дополнения из новой (впрочем, не только новой) литературы; 2) собственные новые этимологии и 3) новые словарные статьи. Они довольно многочисленны, и здесь нет возможности приводить все примеры. Уместно поэтому ограничиться немногими. Так, в немецком оригинале при слове *вурдалак*

[6] *K. Müller.* ZfS. 11. 1966. S. 287—292; ZfS. 14. 1969. S. 273—274; ZfS. 18. 1973. S. 895—896; ZfS. 21. 1976. S. 256—258.

[7] *K. Müller.* ZfS. 21. 1976. S. 257.

'Werwolf' дается только отсылка «s. *волколак*». В русском издании сюда добавлено довольно много: «Форма *вурдалак*, появившаяся в русской художественной литературе в 20—30 гг. XIX в. (ср. *Виноградов.* Доклады и сообщения Ин-та языкознания. Вып. 6, 1954. С. 9 и след.), обязана своим происхождением, по-видимому, Пушкину и представляет собой искаженную передачу форм типа *волколак*, *вурколак*; эта целиком книжная форма получила известную популярность в последующий период; ср. ранний рассказ А. К. Толстого "La famille du vourdalak" (RES 26. 1950. C. 15 и след.). В свете изложенного следует отвергнуть объяснение Дмитриева (Лексикографический сб. 3, 1958. С. 40) из тюрк. *обур* 'обжора'». Это пример литературного дополнения, частично с попыткой этимологизации. Из тех своих собственных новых тогдашних этимологий, которые и сейчас не кажутся мне неудачными, назову пару примеров из 1-го и 2-го томов русского издания. Это разного рода заимствования, излюбленный разряд лексики у Фасмера. Тем не менее, как известно, многие из таких слов остались для него неясными или нуждаются в лучшей этимологии. Например, слово *апорт* 'сорт яблок' возводится в немецком издании вслед за Преображенским к названию португальского города *Oporto*. В русском издании читаем: «...скорее всего, *апорт*, укр. *япорт* заимствовано через польск. *japurt* из ср.-в.-нем. *apfalter* 'яблоня'». Диалектное слово *едукарь* 'дока, смышленый человек' названо в немецком издании неясным. Русское издание гласит: «Следует объяснять как заимствование из иранской формы, восходящей к иран. **yādukara-* 'волшебник', ср. авест. *yādu-* 'волшебник, колдун' и сложения типа *zūrah-kara-* Иран. **yādu-kara-* продолжается в н.-перс. *jādūgar*, но русское слово отражает более древнюю иранскую форму». Это русское слово не учтено должным образом в иранистической литературе, его нет, например, в статье Х. Д. Поля «Слова иранского происхождения в русском языке» (Russian linguistics. 1975, 2), хотя автор постоянно ссылается на русское издание Фасмера. Тот же ученый интересовался также древнеиранскими словами со вторым компонентом *-kara* и собрал соответствующий материал, ср. его Rückläufiges Wörterbuch des Altpersischen (// Klagenfurter Beiträge für Sprachwissenschaft. 1975/ 1. S. 14—15), где есть слова, облик которых не древнее, чем у иран. **yādu-kara-* (или **yātu-kara-?*), лежащего в основе русского слова.

Как пример новой словарной статьи приведу *дикобраз*, слово, чьи этимологические судьбы, возможно, не так уж запутаны (обратное производное от прилагательного *дикообра́зный*, т. е. «(зверь) дикого образа»), но и оно не должно отсутствовать в русском этимологиконе. Известно, что пропуски слов в словаре Фасмера носят подчас совершенно случайный характер.

Нужно было также исправить ряд языковых ошибок у Фасмера. Их было сравнительно немного, но среди них попадались и серьезные случаи. Напри-

мер, если у Фасмера рус. *зáпорток*, *запороток* переведено по-немецки «faules Ei, Schwätzer», то при этом допущена ошибка, возможно, на почве толкования значения слова *запорток* в Толковом словаре Даля: *зáпорток* — болтун ... гнилое яйцо. Объясняющее слово *болтун* произведено от глагола *болтать*, с основным значением 'болтать, трясти, раскачивать' и переносным — 'болтать языком'; общепринятое слово *болтун* — обычное имя действия, производное с переносным значением, и так наверняка понял его здесь Фасмер. Но в данном случае это не подходило, потому что здесь у Даля производное *болтун* отнесено к основному значению глагола и обозначало не болтливого человека, а 'болтающееся яйцо'. Толкования русских диалектных слов в словаре Фасмера нередко оказывались ошибочными или неточными. Проверять и править их по разнообразным источникам было делом очень трудоемким, для которого у меня самого уже не оставалось времени. Редакция привлекла для этого (правда, не сразу) нескольких помощников под наблюдением М. А. Обориной, редактора издательства, с которой я работал все эти годы над окончательной редакцией русского текста. Не так давно я прочел в одном западноевропейском журнале сообщение о завершенной публикации четырехтомного русского издания «Русского этимологического словаря» Фасмера «под руководством» (unter der Leitung) О. Н. Трубачева. Корреспондент был, конечно, не очень хорошо осведомлен, потому что я сделал перевод «в высшей степени собственноручно». Я позволю себе использовать здесь это выражение, употребленное Кипарским о манере работы Фасмера над словарем [8].

О манере работы я вспомнил не случайно; труд лексикографа и условия этого труда — это понятия, тесно связанные с человеком. В интересной книге Малькеля об этимологических словарях нельзя читать без улыбки то место, где рассказывается о романисте Дице, «который жил во времена относительного досуга (relative leisure) и писал свой Etymologisches Wörterbuch der romanischen Sprachen...» [9]. *Leisure*, *Muße*, *досуг* представляются мне как бы словами из пассивного лексического запаса. Взамен них более привычны постоянная нехватка времени и напряженный труд. Так обстоит дело сейчас, когда надо работать над новым «Этимологическим словарем славянских языков», не говоря о других проблемах, так было тогда. Время не проводилось в праздности. Коллеги говорят, что я работаю быстро. Может быть, это отчасти так и есть, но я знаю, как много надо сделать и чувствую, что надо работать еще быстрее. Это еще и потому, что лексикография — медленное дело. Молодому бывает нужно поверить в себя и проверить или, как сейчас говорят,

[8] *V. Kiparsky.* Max Vasmer zum Gedenken. S. 19.
[9] *Y. Malkiel.* Etymological dictionaries. P. 69.

13. Заказ № 2261.

«выразить» себя и не бояться перегрузок, даже когда старшие товарищи и учителя сомневаются в успехе. В те годы я работал младшим научным сотрудником в Институте славяноведения АН СССР. Когда мой руководитель проф. С. Б. Бернштейн услышал о проекте издания Фасмера на русском языке, он сразу сказал мне, что эту работу над переводом в план мне не включат. Это меня не устрашило, да и мой институтский план не пострадал от нового замысла, как того опасался С. Б. Бернштейн. «Это вам на всю жизнь», — сказал он мне тогда и ошибся. Как я уже сказал, весь перевод был закончен за два года. «За это время, — говорил мне далее С. Б. Бернштейн, — вы могли бы написать книгу». Я написал две. Кроме работы над переводом Фасмера, я выпустил книгу «Происхождение названий домашних животных в славянских языках» и другую книгу — в соавторстве с В. Н. Топоровым — «Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья». В 1960 г. мой обычный рабочий день был довольно напряженным: с утра до пяти часов — перевод Фасмера, с пяти до одиннадцати вечера — работа с Топоровым над «Лингвистическим анализом гидронимов Верхнего Поднепровья». И так — ежедневно, кроме присутственных дней в институте.

Родоначальники нынешних переводчиков с иностранного на русский — первоучители славян Кирилл и Мефодий — работали, правда, еще быстрее. Как сказано в «Житии Мефодия» (гл. XV), **ѿ оученикъ своихъ посажь дъва попы скорописьцѧ зѣло, прѣложї въ бръзѣ вьсѧ книгы испълнь, развѣ Макавѣи, ѿ грьчьска ꙗзыка въ словѣньскъ, шестию м҃ць, начьнъ ѿ марѳа м҃ца, до дъвоюдесѧтоу и шестию д҃нь. ѡктѧбрѧ м҃ца** ‘он посадил из своих учеников двух попов скорописцев “зело” (и) перевел быстро все книги (= Библию) полностью, кроме Маккавейских, с греческого языка на славянский за шесть месяцев, начав с марта месяца, до 26 октября’. Итак, Библию — за полгода! Правда, переводили втроем и притом переводили буквально, что при определенном навыке не так трудно, тем более «для трех аскетов IX в.», говоря словами акад. П. А. Лаврова [10]. И при всем том успели не к 7 октября [11], а только к 26 октября…

С окончанием перевода словаря Фасмера трудности не кончились. Скорее наоборот. Перевод мог бы выйти из печати значительно раньше, на самом же деле публикация длилась 8—9 лет (1964—1973). Дело оказалось новым и

[10] *П. Лавров.* Кирило та Методій в давньо-слов'янському письменстві. Київ, 1928. С. 80. Возможные уточнения см.: *Т. А. Иванова.* У истоков славянской письменности (К переводческой деятельности Мефодия) // Культурное наследие Древней Руси. М., 1976. С. 24 и след.

[11] Теперь можно и признаться, что я позволил себе тогда эту ироническую аллюзию на день брежневской конституции (7 октября), к каковому было принято приурочивать досрочные свершения (примечание лета 2000 г. — *О. Т.*).

не совсем обычным, издательские планы, как всегда, были перегружены, русский Фасмер нуждался в специальной печати, требовалась академическая типография.

От издательства «Карл Винтер» пришел мне запрос (переданный устно проф. Гертой Хютль-Ворт), действительно ли мы планируем у себя русское издание словаря Фасмера. В противном случае в Федеративной Республике Германии намеревались предпринять второе издание. Немецкое издание Фасмера насчитывало 2000 экземпляров, если не ошибаюсь. Наше русское издание было в десять раз больше, из них 5000 экземпляров пошли за границу. Говорят, фактическое количество заявок было в два раза больше тиража. Хочется надеяться, что наше русское издание, встреченное в целом положительно, стало не только «Фасмером для русских», но явилось новым исправленным и дополненным изданием для всех изучающих и исследующих русский язык. К сожалению, сам Фасмер не дожил до этого. Но еще перед своей смертью в 1962 г. он узнал о намерении издать его словарь на русском языке. Несколько озабоченный этим, он написал акад. В. В. Виноградову, тогдашнему академику-секретарю Отделения литературы и языка АН СССР. Хотя я познакомился с Фасмером лично еще в 1956 г., переписки между нами не было. Но как только я узнал о его опасениях, я послал ему образец своего перевода с примерными дополнениями в квадратных скобках. Полагаю, что его успокоил бережный характер перевода и дополнений (вряд ли он остался бы доволен, если бы узнал, как его собирался редактировать Б. А. Ларин).

Заменило ли русское издание немецкое? Да, почти, но не совсем. Наше издание обогащено новыми словарными статьями, точное количество которых я сейчас не назову, но Клаус Мюллер все, конечно, подсчитал. Назову одну цифру, представляющую известный интерес с точки зрения лексикологии, а именно количество словарных статей (позиций) в русском издании: 18246. Мы даем несколько больше материала, чем немецкое издание, за исключением одного-двух слов, которые пришлось снять. Это так называемые непристойные слова, лексика половой сферы. Эти слова весьма интересны в плане этимологии, истории языка, развития значений. Основные слова здесь восходят еще к праславянскому периоду и имеют различные балтийские и некоторые другие индоевропейские соответствия, один глагол имеет несомненное праиндоевропейское происхождение. Специальная литература по этому вопросу обширна, как это видно в соответствующих статьях словаря Фасмера. Будучи словарем академического типа, наше издание, конечно, вправе было претендовать на соответствующую лицензию. Но наша общепринятая культура речи и языка принципиально исключает неприличную лексику. Понять это можно. Слова, ничего не говорящие немецкому читателю, лишенные каких-либо социальных и чисто человеческих акцентов, тол-

куемые и этимологизируемые по-немецки, немедленно приобретали маркированный характер, как только попадали в русский литературный контекст да еще 20000 тиражом. Наш читатель к этому не привык, и, может быть, не нужно его легкомысленно эпатировать. До этого и не дошло, хотя вначале я предпринял усилия, чтобы убедить редакцию и дирекцию и не сокращать то, что в принципе дополнялось. Чистота русского литературного языка одержала верх. Негативный заряд этих слов и понятий был слишком велик. Вопрос этот отнюдь не только научный, он связан с традициями культуры и этики. Комично звучит поэтому оправдание этих купюр редакцией (заведующий В. А. Звегинцев): «...редакция, имея в виду достаточно широкий контингент читателей, сочла необходимым снять несколько словарных статей, которые могут быть предметом рассмотрения лишь узких научных кругов» (От редакции. Т. 1. С. 6). Таким образом, наши «узкие научные круги» по этому вопросу будут и далее обращаться к немецкому изданию Фасмера. Это получило отклик в западноевропейской литературе. Проф. В. Кипарский, говоря в своей книге (Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975. S. 17: Einleitung) о богатстве современного русского языка во всех областях человеческой культуры, одновременно указывает на существующее у нас табу половой сферы. Он приводит даже примеры, которые выпущены в русском переводе словаря Фасмера, в остальном, заключает он, русский язык по своей выразительности не уступает большим романским и германским языкам. «Неприличность» — понятие общечеловеческое, но только его объем, его понятийное поле различны в разных культурах и языках. Возможно, мы, русские, лучше чувствуем чрезвычайную «выразительность» таких слов, которые знаменуют, так сказать, антикультуру и особенно строго изгоняются из литературного языка и культурной жизни в эпоху массовой книжной продукции. Культурное разнообразие, конечно, этим не исчерпывается. Вспомним о фаллических культах внеевропейских культур и культур древности: там предписывается то, что просто невозможно в стандартной европейской культуре и ее языке. На этом кончим о типологии. Что касается главной мысли всего сказанного выше, так это мысль о том, что оба издания словаря Фасмера — немецкое и русское — оказываются нужными друг другу, и в этом мимолетно отразилось глубоко серьезное представление об отношениях наших культур и наук друг к другу.

Теперь уместно перейти к некоторым обобщениям. Хотя наша литература не испытывает недостатка в солидных пособиях по теории и практике перевода [12], а автор этих строк не считает себя теоретиком в этой области, тем

[12] См., например: *Л. С. Бархударов.* Язык и перевод. Вопросы общей в частной теории перевода. М., 1975.

не менее, любой личный опыт — как авторский, так и читательский, — может оказаться полезным для такой преимущественно эмпирической дисциплины. Отнюдь не из склонности к парадоксам, а наоборот, из самых серьезных побуждений я хотел бы обратить внимание на то, что при переводе не переводится. Но вначале — краткое замечание самого общего характера, отчасти уже прозвучавшее выше и созвучное, я думаю, дальнейшим рассуждениям. Я имею в виду положение о важности контекста, любого — от грамматического до культурного. Думаю, что недостаточный учет или даже игнорирование контекста встречаются и в переводах, выполненных высококвалифицированными специалистами. Один пример нарушения грамматического контекста. В переводе книги «Общеславянский язык» А. Мейе (перевод и примечания проф. П. С. Кузнецова под ред. С. Б. Бернштейна. М., 1951) на с. 112 упоминается древнесловенское (Фрейзингенские отрывки) дат. п. мн. ч. *crilatcem* 'alatis' в соответствии с др.-чеш. *křidlatec* 'быть крылатым'. Франц. *être ailé* можно перевести на русский двумя разными лексико-грамматическими способами: 1) инфинитивный 'быть крылатым' и 2) субстантивный 'крылатое существо', но выбор определяется контекстом (толкуется имя, а не глагол, рядом как ближайшее соответствие приводится также имя), а контекст допускал здесь только второй перевод.

Кроме этого единственного примера из апеллативной лексики, т. е. того разряда слов, которые главным образом переводятся при переводе, я, как уже сказал выше, хотел бы остановиться на том, что переводу в обычном смысле не подлежит, — на именах собственных. Правила передачи имен собственных при переводе в общем тоже существуют или должны существовать, однако как раз с собственными именами при этом случается всякое. Курьезный и, видимо, общеизвестный пример исчезновения собственного имени при переводе. Одна из пьес О. Уайльда носит у нас русское название «Как важно быть серьезным», хотя было бы точнее (а может быть, и смешнее) перевести английское название этой комедии «The importance of being Ernest» по-русски именно «Как важно быть Эрнстом». В английском оригинале имеет место великолепное каламбурное совпадение чистой знаковости личного имени собственного и лексической полнозначности апеллативного его субстрата — прилагательного *ernest* 'серьезный'. Я не случайно упомянул о чистой знаковости имени собственного: эта тема сто́ит того, чтобы ее развить дальше. Кажется, ни в зарубежной, ни в нашей литературе по имени собственному[13] не обращалось должного внимания на эту

[13] Ср.: *Е. Курилович.* Положение имени собственного в языке // *Е. Курилович.* Очерки по лингвистике. М., 1962; *А. В. Суперанская.* Общая теория имени собственного. М., 1973; *А. В. Суперанская.* Ударение в собственных именах в современном русском языке. М., 1966.

важную сущность имени. Знаковый характер языка и любого его слова доказан со времен Соссюра, но если это верно о полнозначном нарицательном слове, то в отношении имен собственных это справедливо вдвойне. Утрированная знаковость и тенденция к ее усилению всеми средствами (в произношении, ударении, на письме) — главная отличительная особенность имени собственного. Именно эта тенденция объясняет известное всем отталкивание (в произношении, ударении, на письме) имен собственных от этимологически тождественных апеллативов. Отличие собственных имен от нарицательных обычно видят в том, что собственные называют, а нарицательные обозначают (Курилович). Здесь, кажется, и кроется один из подводных камней перевода, потому что переводить надо как будто только то, что обозначает и имеет лексическое значение, собственные же имена надо транслитерировать или переводить в отдельных случаях то, что в них лексически переводимо [14]. Что происходит иногда при исправной транслитерации, мы уже видели на примере с *Монако* (кстати, пример вполне заслуживает того, чтобы стать хрестоматийным). Если мы транслитерируем итальянское *Mònaco* русскими буквами, то получится, конечно, известное всем *Монако*, но если в книге В. Пизани «Этимология» город *Mònaco* дважды упомянут как место издания немецких книг — 1) *Benfey.* Geschichte der Sprachwissenschaft und orientalischen Philologie in Deutschland. Mònaco, 1869; 2) *H. Hirt.* Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. Mònaco, 1921, — то речь, конечно, идет только о *Мюнхене*, по-итальянски — тоже *Mònaco* или *Mònaco di Baviera*. Переводчик книги Пизани Д. Э. Розенталь прибег к буквальной транслитерации (см. с. 171 и 173 раздела «Библиография» указанной книги), и *Монако* по недосмотру превратился в довольно крупный центр исследований по сравнительному и германскому языкознанию. Ни транслитерация, ни перевод здесь не годятся (хотя перевод здесь в принципе возможен, так как эквивалентные *München* = *Monachium* = *Mnichov* = *Monaco* значат 'монаший'). Здесь требуется знание эквивалентной передачи, очень важной для правильного отражения культурного контекста и, кстати, очень плохо обеспеченной словарями.

Мне кажется, хороший, образованный переводчик обнаруживает себя не только и не столько в том, что он тонко переводит и чувствует апеллативную семантику, фразеологизмы или не даст себя провести пресловутым «друзьям переводчика» опять же из нарицательной лексики, сколько в том, что, переводя, например, немецкий текст, где упомянут город *Ödenburg* на Западе Венгрии, он не позволит себе «перевести» *Эдинбург* (с чем я однажды столкнулся в одной книге по археологии), а напишет правильно: *Шопрон* (нынеш-

---

[14] *А. В. Федоров.* Введение в теорию перевода (Лингвистические проблемы). 2-е перераб. изд. М., 1958. С. 165 и след.

нее венгерское название города, принятое и у нас). Думаю, что хороший переводчик, переводя с чешского, позаботится о точной адекватной передаче также всей нечешской ономастики. В противном случае получится то, что получилось при переводе книги Л. Нидерле «Славянские древности» (М., 1956). Переводческая пара, трудившаяся над ее русским текстом, породила никогда не существовавшего парижского профессора Эрнста Дениса (с. 17 книги), в котором можно угадать известного Эрнеста Дени. Точно так же славяне Мезии помещены были ими между Нижним Дунаем и несуществующим горным хребтом Гаемом (с. 86 книги); так неверно было прочтено по-чешски «mezi dolním Dunajem a Haemem», что значит по-русски «между Нижним Дунаем и Балканами» (лат. *Haemus* — одно из названий Балкан). Подобная практика способна привести к появлению того, что можно назвать «ghost-names», имена-призраки, аналогично существующему в филологии понятию «ghost-words», слова-призраки, порожденные описками, ошибками, плохой информацией. Хорошо, если «имя-призрак» рождается мертвым, как в описанных только что случаях. Если же неточный вариант, плод исправной, так сказать, транслитерации, возникнув, довольно долго живет вроде того «Доброго человека из Сезуана» Бертольта Брехта, который на самом деле — «Добрый человек из Сычуани», то не следует удивляться, если рядовой читатель, слышавший, что в Китае есть Сычуань, а с театральных подмостков говорят о местности Сезуан в той же стране, — если этот читатель и зритель начнет думать о Сычуани и Сезуане (нем. *Sezuan* = *Сычуань*!) как о разных объектах.

Так нарушается старое доброе правило — entia non sunt multiplicanda «не следует умножать сущностей». Опасность этого рода всегда есть и была при переводах и пересчетах знаков одной культуры знаками другой. Не всегда легко знать, что имя китайского лингвиста, известное в англоязычном звучании *Yuen Ren Chao*, по-русски должно передаваться как *Чжао Юань-жень*. Но именно этой адекватной передачи таких сверхзнаков, как имена, мы должны ждать и требовать от хорошего перевода.

DIE URSLAWISCHE LEXIK UND DIE DIALEKTE DES URSLAWISCHEN*

Die Arbeiten zur slawischen Etymologie und danach besonders die Ausarbeitung des neuen Etymologischen Wörterbuches der slawischen Sprachen ließen uns schon vor geraumer Zeit die Überzeugung gewinnen, daß das Studium der Zusammensetzung des urslawischen Wortbestandes und seiner frühen lexikalischen Differenzierung, die bei weitem nicht der Dreiteilung der slawischen Sprachen entspricht, von Wichtigkeit ist. Es schälte sich das Problem der Erforschung der urslawischen Dialektgliederung am Material der Lexik und Wortbildung heraus. Bis zu einer Zusammenfassung der Forschungen auf diesem Gebiet ist es noch weit, wir erlauben uns aber eine solche vorwegzunehmen durch eine Prognose allgemeiner Art: Die Kompliziertheit der dialektalen Zusammensetzung des urslawischen. Wortschatzes übertrifft bei weitem die Vorstellungen, die in der Wissenschaft KU dieser Frage existieren. Es ist eine Arbeitshypothese von der Eigenständigkeit (Autonomie) der urslawischen Wortbestände in den einzelnen slawischen Sprachen und Dialekten aufgestellt worden (siehe erstmalig Voprosy jazykoznanija 1967, №. 5. S. 69). Dabei handelt es sich um einen Begriff, der für die weitere Arbeit auf den Gebieten der Etymologie, Lexikologie und Wortbildung unentbehrlich ist und von nun an kann diese Arbeit nicht mehr durch das Postulat von der urslawischen Dialektdifferenzierung ausschließlich n a c h d e m IV. Jh. u. Zr. gehemmt werden [1].

---

* Übersetzt aus dem Russischen von B. Eckert.

[1] Daß das erwähnte Postulat nicht nur die Ideen der Linguisten allein hemmte, geht aus dem kuriosen Bekenntnis eines Archäologen hervor: «Unbedingt als fehlerhaft ist die Ansicht über die Einheitlichkeit der slawischen Kermnik des 6.—7. Jh. anzusehen. Dies ist dadurch hervorgerufen, daß zu dieser Zeit die Slawen noch ihre gemeinsame urslawische Sprache benutzt hätten und sie kann durch keinerlei bestätigende Fakten im archäo-

Die Typologie und die Erfahrungen aus der indoeuropäischen Dialektologie bringen uns immer wieder auf den Gedanken, daß auch für das Urslawische der Begriff der Konvergenz breiter anzuwenden ist, als nur der Begriff der Divergenz, wie das gewöhnlich der Fall war. Es ist klar, welche Bedeutung in diesem Zusammenhang der urslawische lexikalische Dialektismus als Zeugnis der vor den Konvergenzprozessen liegenden Beziehungen erlangt. Im gegenwärtigen Arbeitsstadium am neuen Urslawischen Wörterbuch bringen auch unsere polnischen Kollegen der urslawischen lexikalischen Differenzierung große Aufmerksamkeit entgegen.

Die Anwendung des Begriffes des urslawischen Dialektismus ist in der Hinsicht perspektivisch, daß sie zu den urslawischen Dialekten hinführt, genauer gesagt, zur Rekonstruktion einer solch realen Größe wie der der alten W o r t a r e a l e. Wir verstehen natürlich, daß das Wortareal und der Dialekt einer Sprache nicht unbedingt zusammenfallen, das Wortareal steht der Kultur und ihren Arealen näher. Dies führt uns einerseits zu dem verlockenden Problem der sprachlichen Widerspiegelung der Kultur und gleichzeitig zu dem spezielleren Thema des vorliegenden Beitrages. Zuvor aber möchten wir ein Beispiel aus dem Gebiet der sprachlichen Rekonstruktion und der Rekonstruktion kultureller Gegebenheiten eines alten Dialektismus auf dem Gebiete der Lexik anführen.

Im Slawischen, darunter auch im Westslawischen ist die alte Benennung der Tür, des Tores gut bewahrt durch ursl. **dvьri*, **vorta*. Beide Wörter sind indoeuropäischer Herkunft. Dessenungeachtet beobachten wir innerhalb dieser Lexik seit ziemlich früher Zeit eine wesentliche Innovation, die nur einen Teil der Sprachen erfaßt: atschech. *brána* 'Tor'; tachech. *brána*, slowak. *brána* 'Tor, große Tür, bewachter Eingang', poln. alt *brona* 'Tor' (Niewiasty zawarły bronę. Rej. Warsz. I, 208). Warum ist diese Neuerung notwendig geworden und wie ist ihr Wesen zu erklären? Die Deutung 'to, co służy do bronienią się' (Brückner. 38, siehe unter *brama*) ist recht abstrakt, hier muß es aber einen konkreten Grund geben. Der wirkliche Grund besteht in der engen Verwandtschaft und sogar Identität mit der Benennung der Egge, die zudem ein größeres Areal aufweist: bulg. *braná*, maked. *brana*, skr. *brána*, slowen. *brána*, tschech. *brány* Pl., slowak. *brány*, *brána*, os. *bróna*, ns. *brona*, polab. *bornă*, poln. *brona*, russ. *boroná*, ukr. *boroná*, beloruss. *baraná*. Mit diesem Wort bezeichneten die Slawen aller Wahrscheinlichkeit nach die schon entwickelte Egge — ein Gitter mit Zinken (die mehr archaische Egge bestand aus einem Fichtenstamm mit Astzinken). Mit Hilfe einer solchen Gitter (Gatter-)Egge konnte man in zuverlässiger Weise den Eingang

logischen. Material erhärtet werden», *V. V. Sedov*. Proischoždenie i rannjaja istorija slavjan. M., 1979. S. 103 und Anmerkung 18, mit kritischen Erwähnungen, der Arbeiten von I. P. Ljapuškin und I. P. Rusanova.

abschließen und das wurde von den frühen Slawen unverzüglich genutzt, nicht nur von den Westslawen, vgl. eine der Bedeutungen des slowen. *brána* bei Pleteršnik 'brani podobne reči: die Gittertür, das Fallgatter, das Sägegatter' und schließlich im russischen Wörterbuch von Dal': «boronoj vorota zapiraet, v takom porjadke dom». Aber nur in der tschechisch-slowakisohen Gruppe der slawischen Sprachen und bei den Polen wurde die Egge zur Benennung des befestigten Tores und die Gründe dieser Dialekterscheinung sind uns nun klar. Es sind dies, wie wir gesehen haben, nicht rein linguistische Gründe, sondern auch kulturhistorische und auch das ist ganz natürlich für solch eine Lexik. Und wenn nach dem hier Gesagten sich unser Blick mit besonderer Aufmerksamkeit auf die gatterartigen Verflechtungen der Kirchenportale heftet, z. B. der Himmelfahrts-Kathedrale des 17. Jh. in Rjazan', so beweist dieses eigenartige «Eggenmotiv» in der entwickelten Architektur noch einmal die Langlebigkeit kultureller Überlieferungen.

Im vorliegenden Artikel interessiert uns gerade die Lexik, die Erscheinungen der Kultur widerspiegelt. Wir beabsichtigen, das große Problem der Beziehungen des urslawischen Wortbestandes und der urslawischen Dialekte anhand einiger Beispiele der Benennungen für Wohnstätten bei den Slawen zu erörtern, vor allem jener, die mit *ch-* anlauten, da die unten dargestellten Beobachtungen sich unmittelbar aus der Arbeit an der 8. Lieferung des «Etymologischen Wörterbuches der slawischen Sprachen» ergaben, die die Lexik auf anlautendes *ch-* enthalten. Es versteht sich von selbst, daß wir im Rahmen eines kleineren Beitrages diesen schwierigen Gegenstand nicht zu erschöpfen gedenken. Die Auswahl des Themas war kein Zufall. Es ist bezeichnend, daß nach groben Berechnungen die slawischen Benennungen für Wohnstätten und Wohnbauten auf anlautendes *ch-* etwa die Hälfte der urslawischen Benennungen für Wohnstätten ausmachen. So haben anlautendes *ch-*: **chalupa*, **chata*, **chatarъča*, **chlěvъ*, **chlěvina*, **chormъ*, **chormina*, **chyša* / **chyža*. Die anderen Bezeichnungen für Behausungen sind folgende: **domъ*, **jьstъba*, **věža*, **kǫtja*, **termъ*, **jata* / **jatъka*.

Es ist bekannt, daß der Laut *ch-* eine rein slawische Neuerung darstellt, gleichzeitig handelt es sich um eine recht alte Innovation, da sie der urslawischen Epoche zuzuordnen ist. Es kann auch eine genauere Datierung der Entstehung des slawischen *ch-* gegeben haben. Es entstand nicht lange vor der Entwicklung von *s* < *ts* < ieur. palatalem *k'* [2] und vor der 1. Palatalisierung, d. h. nicht später als am Anfang der Zeitenwende. Diese lautliche Bereicherung hat einen tiefen extralinguistischen und kulturhistorischen Gehalt: Die urslawische Sprache ist dadurch weit aufnahmefähiger für Entlehnungen aus anderen Sprachen geworden einschließlich der Laute *ch*, *h*, das aber war wichtig für die Kontakte zu Sprachen,

---

[2] *O. N. Trubačev*. Slavjanskoe jazykoznanie. VII. Meždunarodnyj s-ezd slavistov. Varšava, avg. 1973 g. M., 1973. S. 313.

deren Lautsysteme diese Laute enthielten. Gleichzeitig handelte es sich vom Gesichtspunkt des gesamthistorischen Prozesses um einen neuen Laut und das erhärten sehr eindrucksvoll die etymologischen Dubletten der Entlehnungen mit *ch* und ohne *ch*, z. B. ursl. **chalupa*, aber **kolyba*, **chata*, aber **kotъ*, über die weiter unten noch einiges gesagt werden wird.

Es erscheint notwendig, aus der Sicht der lexikalischen Semantik und des kulturellen Hintergrundes die Aufmerksamkeit auf die Tatsache des bemerkenswerten Zusammenfallens der erwähnten Innovation in der Sprache und der stark ansteigenden Auffüllung der slawischen Lexik zum Ausdruck stationärer Wohnbauten zu lenken (wobei wir jenen Teil im Auge haben, der den Laut *ch*- enthält, vgl. oben). Auch einige expressive Potenzen des neuen Lautes spielen eine Rolle. Ein poetisch gestimmter Mensch könnte vielleicht mit dem Dichter Velimir Chlebsikov, der immer für uns nicht sichtbare Ursachen sah, sagen: «*ch*- ist etwas, was zu seinem Wachsen der Deckung (Hilfe, des Schutzes) bedarf. *Chilyj*, *ochronjat'*, *cholja*, *chibarka*, *chata*, *chram*, *chlev...*» (Artikel «Naša osnova». Zitiert nach: *W. Weststeijk*, *Bal'mont* and *Chlebnikov*. A study of euphonic devices // Russian literature, VIII. 1980. S. 272). Man darf nicht vergessen, daß einige recht alte slawische Bezeichnungen für Häuser ursprünglich im Prinzip «nichtstationäre», bewegbare Vorrichtungen darstellten: **věža* < **vezti* 'fahren' (mit dem Wagen); **jata* / *jatъka* < **jati* 'fahren'. Das ursl. **domъ* neigt zur sozialen Lexik, während *kǫtja*, das die hauptsächliche Benennung für Haus bei den Südslawen abgab, ursprünglich wahrscheinlich auch nicht ein Gebäude bezeichnete, sondern einen natürlichen Unterschlupf, da es Derivat von **kǫtъ* 'Winkel' ist.

Somit wird ursl. **chalupa* auf der Grundlage folgender Fakten rekonstruiert: Skr. alt *halupa* 'tugurium' (18. Jh.) dial. *halupa* 'kleine, mit. Stroh gedeckte Hütte' (Kastavština), sloven. *halúpa* 'armselige Hütte', atschech. *chalupa*, *chalup* '(Bauern)hütte', tsch. *chalupa*, dial. *chalpa* 'Schuppen, Scheune; Hütte; chata'; slowak. 'Dorfhaus (gewöhnlich niedriges oder hölzernes)', os. *chałupa*, ns. *chałupa* (in den Wörterbüchern von Pfuhl und Muka, obgleich das Wort in den frühen Quellen und in den Dialekten nicht bezeugt ist[3]), poln. *chałupa* 'Wohnhaus des Bauern, gewöhnlich aus Holz', sowie dial. *χaṷupa'*, slowinz. *χałëpa* 'Hütte, Haus', sowie *χałpa*, russ. dial. *chalúpa* 'schlechte Hütte', *chalpá* (in russischen Mundarten Kareliens); ukr. *chalúpa*, beloruss. *chalúpa*. Das Wort ist in den slawischen Sprachen nicht überall verbreitet, sondern tritt mit bemerkenswerten Lücken auf: Das Sorbische kennt ursprünglich dieses Wort nicht im Unterschied zu den anderen westslawischen Sprachen; von den südslawischen Sprachen kommt es nur in der Westgruppe vor, die dem Alpen-Karpaten-Areal nahesteht; in der

---

[3] *H. Schuster-Šewc*. Historisch-etymologisches Wörterbuch der ober- und niedersorbischen Sprache, 6. Bautzen, 1980. S. 372.

bulgaro-makedonischen Gruppe ist das Wort **chalupa* unbekannt. Höchst wahrscheinlich stellt die russ., ukr. und beloruss. form *chalúpa* mit der beständigen «polnischen» Betonung eine Entlehnung dar. Das periphere russ. dial. (karelische) *chalpá* spiegelt eine ältere Form mit Allfangsbetonung und Synkope des Vokals in der Wortmitte wider, vgl. auch slowinz. *χałpa*, tschech. dial. *chalpa*. Es handelt sich wahrscheinlich um eine Entlehnung im Karpatenvorland, für deren bessere Erklärung man das Wort **kolyba* mit einer ähnlichen Bedeutung heranziehen muß, wobei dieses Wort mit **chalupa* über diachronische Identität verbunden ist. Es leuchtet ein, daß ursl. **kolyba* unmittelbar auf vorslaw. **kălūbā* zurückgeht, in diesem Falle geht **chalupa* auf das letztgenannte durch Vermittlung einer Sprache mit Lautverschiebung des germanischen Typs zurück, auf ein Wort mit Anfangsbetonung und Längenkürzung: **kălū̆bā* > **χálŭpă*. Die Slawen erhielten das Wort **chalupa* im Karpatenvorland von den Germanen, wie zu seiner Zeit richtig Vasmer vermutete, der diesen Gedanken später unbegründet aufgab. Die Germanen selbst hatten dieses Wort von anderen ortsansässigen Indoeuropäern entlehnt und zwar von denselben, die schon vorher dieses Wort den Slawen in der Form **kolyba* vermittelt hatten. Das letztere erklärt man gewöhnlich als alte Entlehnung aus dem Griechischen, man vgl. das südliche Areal dieses Lehnwortes: bulg. *kolíba* 'Hütte aus Ästen, Stroh, Fellen, (Laub)hütte'; skr. *kòliba* dass., slowen. *kolíba* 'Holzhütte, Baracke', (tschech., slowak. poln. *koliba*, ukr. *kolýba* sind später im Zusammenhang mit der Bergweidenwirtschaft aus dem Süden entlehnt worden). Ungeachtet bestimmter partieller gegenseitiger Überlagerungen haben die Wörter **kolyba* und **chalupa* eigenständige Areale, ersteres ein südliches, das zweite vor allem ein westliches. Aus einer gleich frühen Zeit existierten **kolyba* und **chalupa* nicht nebeneinander in ein und demselben Raume, was ebenfalls ihre Verbindung bestätigt. Das slaw. **kolyba* leitet man aus griech. καλύβη 'Hütte' (schon bei Herodot bezeugt) her und zwar von καλύπτω 'bedecken, zudecken', jedoch das Vorhandensein weiterer griechischer Ableitungen mit einem Aspirierten im Stammauslaut περικαλυφή 'das Bedecken', καλυφή ('Überschwemmung, Hochwasser') und der Fakt der Variativität von β : φ selbst lassen eine echt griechische Herkunft der Variante mit β (καλύβη) zweifelhaft erscheinen, vgl. auch die Glossierung des Wortes bei Hesyck als Fremdwort: καλύβη σκηνή, παστάς. Auch die Zuordnung einer sehr konkreten Bedeutung ('Hütte, Laubhütte') zu der Variante mit β ist nicht zufällig, sie verleiht dem Wort den Charakter einer etnographischen Entlehnung, während die Varianten mit φ die volle Bedeutung der verbalen Handlung ('das Bedecken', 'das Überschwemmen'), wie es scheint, bewahrt haben. Bei Beachtung des Gesagten würden wir es vorziehen, zu der Ansicht über die illyrische Herkunft von griech. καλύβη zurückzukehren (übrigens ergibt ieur. **bh* > illyr. *b*). Die Realität von illyr. **kalūbā* wird durch das germanische Zwischenstadium **χalupa*, das in slaw. **chalupa* seine Widerspiegel-

ung fand, gestützt. Die Kontakte der Germanen mit den Illyrern (den nördlichen Venetern) rufen keinen Zweifel hervor; im Gegenteil, eine Entlehnung aua dem griech. καλύβη ins Germanische ist wenig wahrscheinlich. Geringe Wahrscheinlichkeit ist auch für eine Entlehnung des slawischen Wortes aus dem Griechischen vorauszusetzen, das die Slawen am ehesten aus einer illyrischen Quelle bezogen haben und zwar gleich xweimal: zuerst unmittelbar (vgl. die Widerspiegelung des langen *-ū-* in slaw. *-y-* **kolyba*) und dann später über das Germanische mit allen Veränderungen (**chalupa*). Die Zweifel bezüglich des *-a-* (warum nicht **cholupa*?) lassen sich zerstreuen, wenn wir beachten, daß es auf Grund der germanischen Vermittlung betont war, vgl. die Spuren dieser Akzentstelle im Slawischen weiter oben. Als Hauptargument aber bleibt die einleuchtende Beziehung zwischen **chalupa* und **kolyba* bestehen, was schon Miklosich richtig erfaßt hatte.

Es kann sein, daß als deutlichster und typischster Vertreter der Gruppe der Benennungen für Wohnstätten mit anlautendem *ch-* das Wort **chata* auftritt: tschech. dial. *chat'* 'ärmliche, elende Hütte' (mährisch), slowak. *chata* 'Hütte', poln. *chata* 'Hütte, (Dorf)haus', slowinz. *χata* 'armselige Hütte', ukr. *chata*, beloruss. *chata*. Das Wort ist praktisch dem Sorbischen unbekannt. Die westslawischen Formen werden allgemein als Ukrainismen angesehen, die Zeit ihrer Entlehnung ist jedoch problematisch. Das Wort *chata* ist zweifellos aus dem Iranischen entlehnt, wie schon Miklosich annahm. Jedoch seit Korš, der von Berneker und einer Reihe nachfolgender Wissenschaftler Unterstützung fand, wurde angenommen, daß eine direkte Verbindung zwischen dem Iranischen und Slawischen hier fehlte wegen des aspirierten Anlauts des slawischen Wortes, weshalb man eine Vermittlung durch ungar. *ház* 'Haus' für notwendig hielt. Die Hypothese über die alt ungarische Vermittlung entfällt, wenn man beachtet, daß das slawische Wort (ebenso wie das ungarische) gerade das spätere Stadium des iranischen *kata-* > mittelir. *χata-* mit der Entwicklung der Spirantisierung *k* > *χ* in einer Reihe ostiranischer Sprachen widerspiegelt und dabei noch in Wörtern derselben Wurzel, vgl. avest. *xan-* 'Quelle', jagnob. *xan* 'Bewässerungsgraben, Bewässerungskanal; Bach'. Die letztgenannten Wörter sind von iran. **kan-*, avest., apers. *kan-* 'graben' abgeleitet, von dem auch iran. **kata-*, eigentlich **kn̥-ta*, Partizip Präteriti Pasaivi 'das (in der Erde) Ausgegrabene', vgl. avest. *kata-* 'Zimmer, Vorratskammer, Keller (in der Erde)' herrührt. Im Skythisch-Sarmatischen ebenso wie im Ossetischen fand zweifellos die erwähnte Spirantisierung der ostiranischen (anders auch nordiranischen) Sprachen ihren Niederschlag in ebenderselben Weise wie in diesen Sprachen auch die ostiranische Spirantisierung *g* > γ gespiegelt ist. Die letztgenannte Erscheinung wird als Stimulator für das Aufkommen des frikativen γ (*h*) im Slawischen betrachtet (V. I. Abaev). Es ist charakteristisch, daß das Areal des γ (*h*) im Slawischen sehr

stark dem Verbreitungsgebiet des Wortes **chata* mit dem Epizentrum auf ukrainischem Territorium ähnelt. Eine andere relativ späte Besonderheit des slaw. **chata* neben dem Areal, das nur einen Teil der slawischen Sprachen erfaßt, besteht in der Wiedergabe des kurzen iran. *a* (aus *n̥*) durch slaw. *a*, einem genetisch langen Laut, was dieses Wort sehr deutlich von einer anderen, altertümlicheren Entlehnung aus dem Iranischen unterscheidet, nämlich von ursl. **kotъ* >, **kotьcь*, man vgl. den Vokalismus und Konsonantismus sowie das breitere Areal des letztgenannten Wortes.

Ursl. **kotъ*, **kotьcь* und Ableitungen bezeichnen im Slawischen das Nest, den Korb, die Umzäunung, die Trennwand, den Stall, den Hühnerstall, die Laubhütte, den Käfig und sie werden sicher mit dem bereits erwähnten iran., avest. *kata-* verknüpft. Berneker und Vasmer kann man nur darin widersprechen, daß slaw. **kotъ* nicht ein dem Iranischen urverwandtes Wort sein kann, da wir, wenn wir die Herkunft des iran. *a* aus dem nasalen Sonanten *n̥* kennen, im Slawischen dann ein *ǫ* erwarten würden, aber auf keinen Fall ein *o*. Das Vorhandensein des *o* selbst weist das Wort als eine frühe Entlehrnung aus: **kotъ* < airan. **kata-*, vgl. das aus derselben Quelle stammende finn. *kota* 'Haus'.

Die iranische Etymologie von slaw. **chata* < **χata-*, **kata-* 'Ausgegrabenes' findet schließlich in der Semantik des slawischen Wortes ihre Bestätigung, in der bis heute die Bezogenheit auf das Grubenhaus, das eingetiefte Haus, den eiligetieften Raum durchschimmert, ebenso wie in der iranischen Quelle, man vgl. damit, daß in der ukrainischen Sprache mit dem Worte *chata* Lehmhütten bezeichnet werden, die das Merkmal der Eintiefung in der Erde aufweisen. Als wichtiges linguogeografisches Argument zugunsten der Entlehnung von slaw. **chata* aus dem Iranischen im Gebiet nördlich des Schwarzen Meeres kann schließlich ein anderes iranisches Relikt mit demselben Stamm und im selben Gebiet angeführt werden — der Flußname *Chan*, *Chon* im Einzugsgebiet des Sejm, vgl. oben erwähntes avest. *χan-* 'Brunnen,. Quelle', sowie die glossierende Benennung eines Nebenflusses des *Chan — Dobryj Kolodez'*.

Eng mit dem Worte **chata* hängt das in seiner Verbreitung eingeengte tschech.; slowak. *chatrč* 'baufälliges, armseliges Haus; arme Hütte' zusammen. Auch die Areale decken sich teilweise. In dem längeren Wort *chatrč* ist unbedingt eine Komponente enthalten, die mit dem Wort **chata* identisch ist, auch die Bedeutung der beiden Wörter weist große Nähe auf. Da eine andere Deutung kaum zu Klarheit führen wird, scheint es uns annehmbar zu sein, wenn wir eine Hypothese über die iranische Herkunft auch der zweiten Komponente dieses Wortes aufstellen, das wir im ganzen gesehen als ursl. **chatъrъčь* oder **chatarъča* rekonstruieren und auf iran. *χataruča-*? 'Grubenhaus mit Fensterchen' (Variante: mit Rauchloch?) zurückführen. Es liegt Inversion in der Folge der Komponenten vor, von denen wir die zweite mit jagnob. *rúča* 'Lichtoder Rauchloch im Dach',

'Fenster', sogd. *rwč* 'Tag', airan. *rauča-* 'Tag, Licht' zusammenbringen. Die Bedeutung 'baufälliges Häuschen' ist das Resultat eines sekundären Einflusses durch das Verb *chátrati* auf tschechischer und slowakischer Grundlage.

Es empfiehlt sich, die Analyse des nächsten Wortes mit der Ableitung zu beginnen, die nicht selten interessanter und archaischer in ihrer Bedeutung ist als der Ableitungsstamm. Es handelt sich um ursl. **chlěvina*, zu dem die folgenden Wörter gehören: asl. *chlěvina* 'οἰχία, domus, aedificium', bulg. dial. *chleviná* 'Baracke': skr. alt, selten *hl̥evina* 'Stall für das Rind'; tschech. *chlevina* 'Gestank aus dem Stall'; aruss., russ.-ksl. *chlěvina* 'Haus', 'Tempel, Kirche' (chram: Gr. Naz. 11. Jh.) 'Zelle', 'Dach' (Pat. Sin. 11. Jh.), 'Stall', 'Grube'; russ. *chlevína* 'Schuppen, Scheune (saraj), Viehstall, Abstellkammer (zakut)'; ukr. *chlivýna* 'kleiner Stall'. Ferner gehört hierher ursl. **chlěvъ*: asl. *chlěvъ* 'stabulum'; bulg. dial. *chlev*, *chl'af* 'Stall; Viehhürde'; skr. *hlȉjev* 'Stall; Schweine-, Kuhstall' (alt und dial.); slowen. *hlév* 'Viehstall, Stall'; tschech. *chlév*, dial. *chlív* 'Viehstall'; slowak. *chliev* dass., dial. *xl'eu̯* 'Stall', 'Öffnung im Dach, durch die Heu, Stroh auf den Heuboden befördert wird' (Východonovohrad.); os. *chlěw*, *chlow* 'Viehstall, Schweinestall'; ns. *chlěw* 'Viehstall', 'Schafstall', 'Heuboden über dem Stall oder Hühnerstall'; polab. *xlev* 'Viehstall, Schweinestall', poln. *chlew* 'Viehstall'; slowinz. *xlev* dass.; aruss. *chlěvъ* 'Raum für das Vieh', 'Pferdestall'; russ. *chlev* 'spezieller Schuppen für die Haustiere', dial. *klev* 'Hundchüttr' (um Moskau); ukr. *chliv* 'Viehstall'; beloruss. *chleŭ* 'Viehstall'.

Ursl. **chlěvъ* ist aus germ. **hlaiwa-*, vgl. got. *hlaiw* 'Grab' entlehnt. Diese alte Etymologie ist entgegen allen Zweifeln semantisch durchaus annehmbar. Die gotische Bedeutung 'Grab' ist eine partielle Realisierung der allgemeineren Bedeutung, etwa 'unter der Erde befindliche Räumlichkeiten'. Elemente der alten Bedeutung finden ihren Niederachlag in russ.-ksl. *chlěvina* 'Grube', sowie 'Haus' (vgl. ebenfalls weiter oben das asl. Wort), außerdem in den Bedeutungen 'Öffnung im Dach, durch die Heu, Stroh auf den Heuboden befördert wird' (slowak. dial., siehe oben), 'Heuboden über dem Stall' (ns.). Auf der Grundlage dieses Vergleiches kann man auch für germ. **hlaiwa* — die Bedeutung 'Böschung; das Herablassen' voraussetzen, vgl. die verwandte indoeuropäische Benennung der Leiter (russ. *lestnica*) in dtsch. *Leiter*, griech. χλῖμαξ. Germ. **hlaiwa-* geht zurück auf ieur. **k'loi̯u̯o-*, vgl. lat. *clīvus* 'Hügel'. Die oben dar gelegte slawische Semantik macht die Bekonstruktion der Bedeutung 'Wohnstätte aus angelehnten Latten' (Stender-Petersen, Kiparskij) für das germanische Wort überflüssig. Es ist klar, daß es sich um die Terminologie der unterirdischen oder in der Erde befindlichen (eingetieften) Räumlichkeiten handelt, die als Wohnung dienten oder für die Tierhaltung benutzt wurden oder zur Bestattung angelegt wurden usw. Das Sorbische, das am Germanismus **chalupa* aus dem Karpatunvorland nicht teilhat, wird von dem allgemein verbreiteten Germanismus **chlěvъ* erfaßt.

Im weiteren betrachten wir ursl. **chormъ* und seine Ableitung **chormina*: asl. *chramina* 'οἶκος, σκηνή, domus, tentorium' (Supr.); skr. alt *hramina* 'Haus' (bis zum 16. Jh.); slowen. *hramína* 'Gebäude'; tschech. *chrámina* 'Tempel, Gotteshaus'; poln. alt *chromina* 'Laubhütte, ärmliche Hütte, Schuppen'; aruss. *choromina* 'Haus, Gebäude'; 'Zimmer, Flur'; russ. *chorómina* 'Wohnhaus, Holzhaus', dial. *chorómina* 'Gebäude, großes Haus; nicht bewohntes Gebäude'; ukr. dial. *chorómyna* 'großes gutes Wohnhaus', 'großer Stall oder Schuppen'; **chormъ*. asl. *chramъ* 'οἰ κία, σκηνή, ναός; domus, tentorium, templum' (Supr. u. a.); bulg., maked. *chram* 'Tempel, Gotteshaus'; skr. *chram* 'Tempel, Kirche', 'großes Haus'; Demin. *hrȁmac* 'Hirtenhütte'; slowen. alt *hram* 'Keller (in der Erde) (Gutsmann), *hràm* 'Gebäude, Lager, Scheune', 'Zimmer, Kammer, Vorratskammer', dial. *χràm* 'Keller (in der Erde)'; tschech. *chrám* 'Tempel, Kirche'; slowak. buchspr. *chrám* dass.; ns. *chrom* 'Gebäude, Haus', 'Kirche, Tempel', (dial.) 'Nebengebäude oder Tor mit Heuboden'; aruss. *choromъ* 'Haus; Gebäude'; russ. *chorómy* Pl. 'bewohntes Gebäude aus Holz', dial. *choróma* fem. 'Dach', 'Raum, Haus', *charómy* 'Wirtschaftsgebäude', *chorómy* 'Viehstall' (chlev); ukr. dial. *choróma* 'auf vier Säulen ruhendes Schutzdach für Heu', *chorómy* Pl. 'Flur, Diele'; beloruss. dial. *charóm* 'Dach'.

Die wohl altertümlichste Bedeutung ist 'Dach, Schutzdach auf Säulen' (vgl. russ., ukr. und beloruss. dial.). Diese Bedeutung paßt am besten für die Benennung des h o h e n Hauses, hauptsächlich des Tempels, der Kirche auch deshalb, weil die S e m a n t i k d e r W o h n s t ä t t e (in der Regel eines niedrigen, halb in der Erde vertieften Baues, siehe auch weiter unten) das Wort **chormъ* nicht allzu sehr beschwerte. Wenn es auch natürlich erscheint, die Kirche oder den Tempel als Haus (Gottes) zu benennen, so kann man diese Art der Auffassung wohl kaum als alt anerkennen. Der alte Tempel oder das Heiligtum setzte nicht mit einem Haus ein, sondern mit einer abgemessenen und geheiligten Fläche, davon zeugt z. B. die Etymologie von lat. *templum*. Ursl. **chormъ* stammt wahrscheinlich aus **skormo-*, vgl. ahd. *scirm*, *scërm*, dtsch. *Schirm*, das in seiner Semantik dem Schutzdach (russ. naves), dem Dach nahesteht. Das oben Gesagte über das hohe Haus und über den Tempel führt wie es scheint, dazu, daß die anderen Etymologien (z. B. von **sormo-* 'geflochtene Hütte') als weniger wahrscheinlich zu gelten haben.

Innerhalb der betrachteten Gruppe der slawischen Benennungen für Wohnstätten auf anlautendes *ch-* ist das Wort **chormъ* das einzige slawische Erbwort, die anderen Bezeichnungen sind alle Entlehnungen. Eine Entlehnung ist auch das folgende Wort (bzw. Entlehnungen sind die folgenden Wörter): Es handelt sich um ursl. **chysъ* / **chysa*, **chyša* : skr. *hiša* 'Haus', sowie dial. *hiš* (Istrien), *hisa*, alt *his* (15. Jh.); slowen. *híša* 'Haus, (Wohn)zimmer'; *hìs* 'hölzerner Keller in der Erde; Vorratshäuschen, Klete'; tschech. *chýše*, *chyšē* 'armselige Hütte'; das altslowak. Derivat *chyšný* 'häuslich, zum Haus gehörig, Haus-' (Žilinská kniha); ursl. **chyzina*: asl. *chyzina* 'οἰ κία, κελλίον, domus, cella' (Supr.);

aruss. russ.-ksl. *chyzina*, *chizina* 'ärmliche Hütte'; ursl. **chyzъ* / **chyza*: asl. *chyzъ* καλύβη, domus, tugurium 'ärmliche Hütte' (Supr.); skr. alt *hiza*, slowen. *hìz* 'kleiner, hölzerner Keller in der Erde; Getreidespeicher'; ns. *hyz* 'Haus, Anbau; Vorratskammer'; poln. alt *chyz* 'ärmliche Hütte'; aruss., russ.-ksl. *chyza*, *chiza* 'ärmliche Hütte; Haus; Laubhütte'; *chyzъ* 'ärmliche Hülte, Haus'; russ. dial. *chíza* 'Raum zur Aufbewahrung von Heu'; ursl. **chyža* : bulg. *chiža* 'Haus (im Gebirge)', 'Dorfhaus; ärmliche Hütte', dial. *íža* 'Erdhütte', skr. alt *hȉža* 'Haus', dial. *hiža*, *iža*; slowen. *híža* 'Haus; Zimmer'; tschech. *chýže*, dial. *chýže'*, slowak. dial. *xiža* 'Haus; Zimmer'; os. *chěža* 'Haus'; ns. dial. *chyža* 'ärmliche Hütte' polab. *xaiznă* Pl. 'Familienangehörige', apoln. *chyż*, *chyża* 'ärmliche Hütte, Lehmhütte', poln. alt, dial. *chyża* 'Lehmhütte; ärmliche Hütte', 'Erdhütte', 'Haus'; aruss., russ.-ksl. *chyža*, *chiža* 'ärmliche Hütte, Haus'; russ. dial. *chíža* 'Laubhütte im Walde; armselige Hütte, kleine Hütte', *chížka*, 'gesonderte kleine Küche', häufig 'Erdhütte' (aus dem Dongebiet); ukr. *chyža* 'Klete, Speicher, Vorratskammer, Abstellkammer', 'Lehmhütte', 'Viehstall'; beloruss. dial. *chiža* 'Klete, Vorratskammer'; ursl. **chyžina* : asl. *chyžina* 'οἰκία, domus' (Supr.); bulg. dial. *chižina* 'leichtes Hofgebäude'; skr. *hȉžina*, Augmentativum zu *hiža*, dial. *ižina* 'Bau'; tschech. *chyžina* 'ärmliche Hütte'; os. *chěžina* 'Häuserreihe'; russ. *chížina* 'kleines Häuschen; Hüttlein'. Es ist schon lange festgestellt worden, daß ursl. **chysъ*, **chyzъ* aus germ. **hūs*, vgl. ahd. *hūs* 'Haus' entlehnt sind. Die Varianz von *s*/*z* ist noch nicht genügend geklärt, sie kann auf chronologische Unterschiede, verschiedene germanische Varianten und schließlich auf slawische Tendenzen zurückführbar sein.

Wichtig ist aber etwas anderes. Als entlehntes Kulturwort, «Importwort», entbehrt dieses germanische Lexem einer zusätzlichen kulturellen Information, seine Semantik geht organisch in die Semantik der slawischen Bezeichnungen der Wohnstätten ein, wobei es die gewöhnlichen Bedeutungen bis hin zur Bedeutung des «Grubenhauses» (siehe oben) aufweist, wodurch es sich vom germanischen Wort unterscheidet, das in ganz gehobenen Kontexten anzutreffen ist, vgl. got. *gudhūs* 'Tempel, Kirche' ('Gotteshaus'). Die Bedeutung des slawischen Wortes hat im Gegensatz, dazu einen verächtlichen Nebensinn ('ärmliche Hütte'). Die linguistischen Fakten — der ausgesprochen redundante Charakter der Entlehnung **chysъ* / **chyzъ* — mahnen uns zur Vorsicht vor einer einseitigen Deutung des sogenannten fränkischen Einflusses auf den slawischen Hausbau. Das ist auch die Meinung der Archäologen, die darauf verweisen, daß der traditionelle Grundriß des Hauses über charakteristische alte Areale ohne engen Zusammenhang mit dem Ethnos verfügt und im Prinzip älter als die slawische und germanische Besiedelung ist[4].

---

[4] *A. Pittrová*. Přspěvek k otázce tzv. franského vlivu na slovanský dům // Vznik a počátky Slovanú, III. Praha, 1960. S. 189ff., 217.

Damit ist die slawische Lexik für Wohnstätten auf anlautendes *ch-* erschöpft. In Zusammenhang mit ihr ist noch eine Bezeichnung für eine Behausung erwähnenswert, die bereits dem nächsten, alphabetischen Abschnitt des Wörterbuches angehört: ursl. **jьstъba*. Es wird durch folgende Wörter repräsentiert: bulg. *ízba* 'Keller, Keller in der Erde; ärmliche Hütte, Erdhütte', dial. *ízba* 'Erdhütte, in der gewebt wird', *ízbă* 'Keller, Keller in der Erde'; maked. dial. *izba* 'Keller in der Erde'; skr. dial. *ízba* 'Zimmer; Raum, häufig unterirdischer; Keller (in der Erde)', *izba* 'Viehstall; Stall'; slowen. *îzba* 'Zimmer; Dachboden'; atschech. *jistba* 'Zimmer, gute Stube im Bauernhaus'; tschech. *jizba* 'Wohnraum, Zimmer', dial. (mähr.) *izba* 'gute Stube im Bauernhaus; obere Stube', 'Hütte, Haus'; slowak. *izba* 'Wohnraum, Zimmer'; os. *(j)stwa* 'Zimmer'; ns. *śpa* 'gute Stube, großes Zimmer'; polab. *jåzbă* 'Gastzimmer'; apoln. *histba* 'Hütte, Zimmer; reiches Gemach, prunkvolles Gebäude'; poln. *izba*, dial. *istba*, *zdba*, *źba* 'Zimmer'; slowinz. *jĩzbă* 'Wohnung, Behausung'; aruss. *istьba*, *izba* 'Haus, Gebäude'; russ. *izbá*, dial. *izbá* 'Wohnhaus aus einem Zimmer bestehend (mit russischem Ofen)', 'eines der beiden bewohnten Gebäudeteile, die sich unter einein Dach befinden und durch eine Diele getrennt sind; der beheizte Teil der Behausung'.

Die Versuche, dieses alte Wort als echt slawisches zuerklären, überzeugen nicht. Die erfolgreichste Etymologie ist wahrscheinlich die, die **jьstъba* aus einer romanischen Ableitung des vulgär-lat. *extūfāre* 'verdampfen, verdunsten' herleitet, vgl. die Beziehung von **jьstъba* zum Dampfbad. Hier ist auch eine neue, von außen bezogene kulturelle semantische Information deutlich vorhanden, da erstmalig der Hinweis auf e i n Zimmer figuriert bzw. auf das aus zwei oder sogar drei Zimmern bestehende Wohnhaus, was bei den oben angeführten Benennungen für die Wohnstätten fehlte, denn sie bezeichneten alle das aus einem Zimmer (Wohnraum) bestehende Haus. Das Wort *jьstъba* ist fest mit der slawischen Lexik zur Bezeichnung des Wohnhauses verwurzelt. Vielleicht ist es auch deshalb kein Zufall, daß es verschiedentlich die Bedeutungen 'Raum in der Erdhütte, (vertiefte) Erdhütte' aufweist (vgl. weiter oben die bulg. Beispiele sowie ukr. *príz'ba* 'Erdaufschüttung um das Haus herum', 'ein Attribut der Lehmhütte oder der halb vertieften Erdhütte'). Aus dem dargestellten Material kann man die Schlußfolgerung ziehen, daß fast alle urslawischen Benennungen der stationären (nichtfahrbaren) Behausung die Bedeutung (oder als eine ihrer Bedeutungen) 'Erdhütte' haben, wie die deskriptive Beschreibung oder der Vergleich, die Etymologie ergibt. Diese Beobachtung trifft zu auf die Wörter, die in den lebenden slawischen Sprachen und Dialekten bekannt sind: **chata*, **chatarъča*, **chlěvъ* / **chlěvina*, **chormъ* / **chormina*, **chyša* / **chyža*, **jьstъba*.

Die vertieften Behausungen (Erdhütten, halb in der Erde vertieft angelegte Hütten, Grubenhäuser) sind historisch und archäologisch gesehen die ältesten und hauptsächlichsten Wohnstätten der Slawen. Vgl. dazu: *S. L. Niedrele*. Slavjanskie

drevnosti / Perevod s češsk. M., 1958. S. 248 (Kap. V.: «Žilišče i chozjajstvennye postrojki»); Słownik starożytności słowianskich. T. I. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1961. S. 184ff. (Budynki mieszkalne); *A. Pitterová.* K některým problémům slovnalského domu a vesnice // Vznik a počátky Slovanů, I. Praha, 1956. S. 158ff., 162—163; *J. Kudrnáč.* Die slavischen. eingetieften Wohnstätten // Vznik a počátky Slovanů, VI. Praha, 1966. S. 197ff.; *P. Donat.* Voprosy domostroitel'stva i etnogenez slavian (doklad) // Simpozium «Etnogenez slavjan» 20—25 nojabrja 1978 g., Kiev; *V. V. Sedov.* Proischoždenie i rannjaja istorija slavjan. M., 1979. S. 97 (vertiefte Wohnstätten — Erdhütten und halbvertiefte Erdhütten — in der Černajchovsker Kultur als Neuerung), S. 114 (P. Donat folgend löst er bei den Slawen des 6.—7. Jh. zwei Zonen hinsichtlich des Hausbaues heraus — eine Zone der überirdischen Blockhäuser im Einzugsgebiet der Weichsel, Oder, in Mecklenburg und Brandenburg und eine mehr südlichere Zone der halbvertieften Erdhäuser, in Kleinpolen aber eine Vermischung beider Zonen); Rapports du III[e] Congrès International d'archéologie slave. Bratislava, 7—14 septembre 1975. T. I. Bratislava, 1979: *V. V. Sedov.* Slavjane v rimskuju i rannevizantijskuju ėpochi (S. 15 — slawische halbvertiefte Erdhäuser; S. 25 — das typische quadratförmige slawische halb vertiefte Erdhaus geht seiner Herkunft nach auf die Wohnstätten der Černjachovsker Kultur zurück; hier erfolgte eine Assimilation der iranischen Bevölkerung durch die Slawen); *J. Herrmann.* Probleme der Herausbildung der archäologischen Kulturen slawischer Stämme des 6.—9. Jh. (S. 53: nach Theophilaktos Simokatte saßen die «Sklavenen» auch am «westlichen Ozean», d. h. an der Ostsee, die Grubenhäuser fehlen dort aber, sowie zwischen Elbe und Oder und zwischen Oder und Weichsel, d. h. im ganzen nordwestslawischen Gebiet); *P. Donat.* Zur Struktur der westslawischen Dorfsiedlungen (auf S. 184 befindet sich eine Karte, die als vorherrschenden Typ auf dem westslawischen Territorium die Blockhäuser gegenüber den Grubenhäusern zeigt); *I. Pleinerová.* Zu den frühslawischen Grubenhäusern (S. 629 — die slawischen Grubenhäuser sind nach Donat südlich und östlich der folgenden Linie verbreitet: von der mittleren Elbe über die Lausitz zur mährischen Pforte und im Gebiet von Kraków).

Die urslawischen Wörter **domъ*, **věža*, **kǫtja*, **termъ*, **chalupa*, **jata* / **jatъka* hatten nach unseren Informationen n i c h t d i e B e d e u t u n g 'G r u b e n h a u s'. Es ist dies gleichbedeutend damit, wenn wir sagen, daß d i e s e L e x e m e n i c h t a l s B e n e n n u n g e n f ü r W o h n s t ä t t e n i m u r s l a w i s c h e n S i n n e aufzufassen sind (**domъ* — bedeutet höchstwahrscheinlich 'Gesamtheit einander nahestehender Menschen und der Wirtschaft', es ist ein sozialer Terminus, gerade deshalb dient dieses Wort als Basis für die Bezeichnungen der Heimat; was die anderen hier aufgezählten Wörter betrifft, so ist — wie bereits erwähnt — **věža* etymologisch 'Wagen, Gefährt', mit der Fortbewegung hängt in gleichem Maße das Wort **jata* / **jatъka* zusammen; **chalupa* ist eine

temporär genutzte primitive Hütte, während * *kǫtja* eine Bezeichnung für einen ursprünglich natürlichen Ort der Zuflucht darstellt und etymologisch als Ableitung auf *-i̯-a* von **kǫtъ* 'Winkel' aufzufassen, obwohl bis in die jüngste Zeit hinein **kǫtja* als vom Verb **kǫtati* 'einhüllen, einwickeln; verstecken' [5] abgeleitet interpretiert wird, was morphologisch wenig wahrscheinlich ist). Die Aufzählung schließt mit dem unklaren Wort **termъ* ab.

Die Archäologen und Historiker, darunter auch die weiter oben erwähnten, unterstreichen in ihren Forschungen, daß die Grubenhäuser nicht auf eine bestimmte ethnische Größe oder mehrere solcher Größen bezogen werden können, daß sie in dieser oder jener Form bei den verschiedensten Völkern anzutreffen sind. Die Linguisten ihrerseits sind in der Lage, Feststellungen und wesentliche Ergänzungen zu machen, die darauf hinauslaufen, daß gerade in der Lexik der slawischen Sprachen, in der urslawischen Lexik das kulturelle Stadium der Grubenhäuser mit außerordentlicher Deutlichkeit gespiegelt ist im Unterschied zu den germanischen und anderen indoeuropäischen Sprachen (zum Vergleich kann man die bereits etwas veralteten und auch unvollatändigen, aber immer stimulierenden Fakten des folgenden Wörterbuches anführen: *G. D. Buck.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago; London, third impression, 1971. P. 457 ff.: House). Vgl. dazu noch speziell: *J. Knobloch.* Ergologische Etymologien zum Wortschatz des indogermanischen Hausbaus // Sprachwissenschaft / Herausgeg. von R. Schützbichbl. Bd. 5. H. 2. Heidelberg, 1980. S. 180ff. (3. Das Grubenhaus bei den Indogermanen), S. 185ff. (4. Indogermanische Bezeichnungen für das Wohngrubenhaus): germ. **dunga*, *skreunia*, **kuba*, griech. θάλαμος.

Wir sind fast nicht auf die Frage eingegangen, daß die Territorien an der Weichsel und Oder (wie oben aus den Arbeiten der Historiker lind Archäologen hervorging) nicht zum alten Areal der slawischen Wohngrubenhäiiser gehörten, wenn wir auch wissen, daß diese Frage für die Erforschung der urslawischen Dialekte und der kulturellen Räume der Urslawen von nicht geringem Interesse ist. Die Sprache erinnert die Völker an ihre Vergangenheit. Sie tut das nicht in der Art eines unparteiischen Registrators, sondern jedes Mal originell und manchmal in unerwarteter Weise und darin gerade besteht der Reiz dessen, was man sprahliche Widerspiegelung nennt. So erinnert die Sprache die heutigen Slawen an jene rauhen Zeiten, als sich ihre Vorfahren mit einem Leben in dürftigen Grubenhäusern begnügen mußten, während sie den Germanen unbarmherzig jene noch älteren Zeiten ins Gedächtnis zurückruft, als das Bett eine in der Erde

[5] Vgl. in allerletzter Zeit *O. Szemerényi.* Iranica VI // Studia Iranica. T. 9. fasc. l. Leiden, 1980. S. 57.

ausgehobene Vertiefung war, was seinen Niederschlag in got. *badi*, dtsch. *Bett*, engl. *bed* 'Ruhelager, Bett', ursprünglich 'in die Erde gegrabenes Lager', fand. Diese semantische Evolution ist ihrerseitn den Slawen völlig unbekannt, bei denen die Bezeichnungen für das Bett (**lože*, **postel'a*, *o(*b*)*drъ*) nicht mit der Erde in Verbindung stehen, sondern etwas Gebautes, Verfertigtes bezeichneten. Unser Ziel oder eines unserer Ziele war es — und wir bemühten uns, es nicht aus dem Auge zu verlieren —, die urslawischen Dialektbeziehungen anhand von Materialien aus der Lexik zu verfolgen. Die Lösung dieser Frage stellt eine Aufgabe für große Forschungen dar und kann nicht anhand einer bewußt eingeschränkten lexikalischen Gruppe wie der erörterten bearbeitet werden. Außerdem haben wir absichtlich den Weg einer komplizierten Aufgabe beschritten und nicht eng begrenzte urslawische lexikalische Dialektismen untersucht (wir hatten von dieser Art nur ein Beispiel unter den analysierten — **chatarъča*), sondern Wörter mit einer weiten Verbreitung. Aber auch die Lexik mit weiter Verbreitung, darunter solche, die zum Grundbestand gehört, ist von alten Dialektbeziehungen durchzogen. Innerhalb dieser Beziehungen lassen sich ebenfalls Areale herauslösen, wie z. B. das vorwiegend auf die Karpaten und Alpen orientierte Areal von **chalupa*, und ein besonderes südliches Areal für **kolyba*, das um das Ukrainische sich gruppierende Areal von **chata* und das in seinen Konturen sehr undeutliche Areal von **kotъ* / **kotьcь*. Noch deutlicher trat die sekundäre Okzidentalisierung des Sorbischen hervor, die schon früher anhand der alten Dialektbeziehungen in der Lexik und Wortbildung dieser Sprache festgestellt worden ist.

ИСТОРИЧЕСКАЯ И ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

> Древняя культура влияет на современную через посредство неразрывной цепи традиций, лишь последняя часть которой является письменной традицией.
>
> *Дж. Бернал.* Наука в истории общества

Что такое историческая лексикография? Что такое история слова? Речь идет как будто о вещах всем известных. И все-таки, может быть, стоит попытаться пересмотреть эти понятия, взглянуть на них, так сказать, глазами этимолога. Предлагаемый аспект (взгляд этимолога на исторический словарь и на историю слова) — отнюдь не произвольная и не праздная постановка вопроса. Дело в том, что время от времени высказываются суждения о неуклонной эволюции этимологии в сторону истории, что якобы надо всячески приветствовать и поощрять, так как сближение с историей помогает изжить такой недостаток этимологии, как гипотетичность. Это суждение можно почти буквально найти в работах Ф. Славского: «...по возможности полное знакомство с историей ⟨...⟩ исследуемого слова ⟨...⟩ позволяет получить объяснения, в которых гипотетичность сведена до минимума. Проводимые сейчас в разных частях славянского мира систематические исследования по истории ⟨...⟩ славянского лексического состава будут способствовать дальнейшему развитию и углублению этимологических исследований» [1].

Может быть, такой ход мыслей устраивает людей, которые по каким-то причинам начали тяготиться занятиями по этимологии. Нам больше импони-

---

[1] *Ф. Славский.* Из опыта работы над этимологическим словарем польского языка // ВЯ. 1967, № 4. С. 59.

руют слова О. Семереньи о том, что «вся “история” немецкого слова *Messer* перевешивается глубиной проникновения и удовлетворением, получаемым от знания того, что оно происходит из *mezzi-rahs*»[2]. Но вопрос гораздо серьезнее. Мы сталкиваемся с несколькими противоречиями, которые надо устранить. Начнем с первого противоречия. Совершенствовать науку значит прежде всего совершенствовать ее собственную методику; данные других, в том числе даже близких, наук всегда останутся на положении вспомогательных. Судите сами: если мы сведем всю аргументацию к историческим данным с историческими же выводами, то тогда мы и получим, естественно, исследование по истории языка, но не по этимологии. Второе противоречие мы видим в стремлении с помощью исторических данных свести на нет гипотетичность этимологии. Как будто настоящая научная история — будь то история общества или история языка — возможна без гипотетичности, без гипотезы. Так недолго предать анафеме и интуицию... Не благоразумнее ли принять во внимание тот очевидный факт, что гипотетичность этимологии — не порок, а отличительная особенность этимологии и ее метода; этимология в этом отношении, далее, представляет собой не исключение, а частный случай наук объясняющих, т. е. таких, в которых полнее всего как раз выражена идея историзма (в противоположность наукам описательным). Главное оперативное понятие этимологии — р е к о н с т р у к ц и я. Однако оказывается, что к реконструкции вынуждена прибегать и историческая лексикография, если она хочет углубить картину, получаемую на документальном уровне. Я не касаюсь здесь вопроса о парадигматической реконструкции, которую историческая лексикография вынуждена применять на каждом шагу (когда, например, на основании личных форм глагола в тексте цитат дается заглавная форма инфинитива в словарной статье). Такой специалист, как Игорь Немец, на первом заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при Международном комитете славистов (конец янв. 1973 г., Смоленице под Братиславой) посвятил этой проблеме свой доклад «Rekonstrukce jednotek neúplně doloženého lexikálního systému»[3]. Дело в том, что лексико-семантические отношения в действительности богаче, чем их отражение в письменной традиции. В практике работы над «Старочешским словарем» приходится восстанавливать слабо засвидетельствованные значения слов, опираясь на ясное свидетельство их антонимов, предпринимать различные уточнения фонетической

[2] *O. Szemerényi.* Principles of etymological research in the Indo-European languages // II. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 10—15. Oktober 1961 (= Innsbrucker Beiträge zur Kulturwissenschaft. Sonderheft 15.) Innsbruck, 1962. S. 178. Примеч. 11.

[3] Slavica Slovaca. Roč. 11. 1976, čislo 1. S. 66 и след.

формы в случаях испорченной письменной фиксации, опираясь на показания того же словообразовательного типа, даже реконструировать целые слова, прямо не засвидетельствованные в памятниках языка, но подтверждаемые свидетельством ближайших членов своей семьи слов (например, *nabósti* на базе известных *nabádati* и *nabodenie*). «Для лексикографического описания неполно засвидетельствованного словарного состава отсюда вытекает, — говорит автор, — что в исторических словарях всегда по необходимости некоторые лексически значимые единицы будут толковаться неполно, лишь схематически. Применением приведенных критериев мы, однако, можем достигнуть того, что таких схематических толкований будет как можно меньше и что из данного лексического материала мы извлечем как можно больше надежно реконструированных единиц»[4]. Такой смелой методики придерживаются далеко не все, больше того, пока что правилом можно считать следующее противоположное высказывание другого специалиста по исторической лексикографии: «Для исторического словаря невозможно заполнение “пустых клеток”, если слово потенциально возможное не фиксировано источником»[5].

Мы исходим из положения, что именно этимология наиболее полно выражает идею историзма, и эту свою точку зрения считаем необходимым объяснить подробнее. Судя по всему, сейчас самое время заняться уточнением границ, взаимоотношений и особенностей этимологии и этимологического словаря, с одной стороны, и истории, исторического словаря — с другой. На первых порах создается впечатление, что главная забота этимологии и этимологической лексикографии — утвердить себя, уточнить демаркационные линии между ней и исторической лексикографией, поскольку есть тенденция со стороны последней поглотить этимологическую лексикографию. На международном симпозиуме под названием «Круглый стол, посвященный большим историческим словарям»[6] в таком духе высказывался нидерландский лексикограф Ф. Толленаре (F. de Tollenaere). Он полагал, что прежняя функция этимологии — доистория слова и сравнительно-историческая фонетика — сменяется новой функцией — биографией слова, после чего цели этимологического и исторического словарей совпадают. Такой крайней точки зрения придерживаются как будто единицы, большинство оперирует противопо-

---

[4] Там же. S. 74.

[5] *Ю. С. Сорокин.* Что такое исторический словарь? // Проблемы славянской исторической лексикологии и лексикографии: Тезисы конференции (октябрь 1975 г. Москва). Вып. 3. Теория и практика исторической лексикографии. М., 1975. С. 22.

[6] Table ronde sur les grands dictionnaires historiques (Florence, 3—5 mai 1971). Firenze, 1973. P. 109.

ставлением «историческое расположение языковых фактов — этимологические исследования, т. е. гипотетическое изучение доистории (разрядка наша. — *О. Т.*) словаря» [7]. Это противопоставление, процитированное нами из работы известного романиста Я. Малькеля, сейчас, кажется, наиболее распространено; например, такой этимолог-индоевропеист, как О. Семереньи, убедительно отстаивающий жизненность этимологических исследований в собственном смысле слова, тоже разделяет противопоставление между «l'histoire du mot» и «l'origine du mot» [8]. Стремление понять этимологию как историю слова (биографию слова, жизнь слова), перенести в этимологии акцент исследования на период письменной истории слова кажется естественным, если видеть в нем в масштабах эволюции всей науки реакцию на предшествующий перевес фонетического и сравнительно-исторического аспектов в этимологии. Но именно здесь коренится главное (третье) противоречие — противопоставление истории и этимологии (доистории). Названное противопоставление получило наиболее законченное выражение в концепции А. Мейе, который выпустил в сотрудничестве с А. Эрну «Этимологический словарь латинского языка. История слов» (ряд изданий, 1-е изд. —1932 г., в моем распоряжении было 3-е изд. [9]). Известная строгость метода замечательного лингвиста А. Мейе и опыт обоих авторов не могут закрыть от нас факта видимой сейчас уязвимости их подхода. Правда, в их совместном «Avertissement» к этому словарю высказывается вполне приемлемое положение: «История языка — вещь непрерывная, и тот факт, что для ее изучения необходимо прибегать к двум методам — сравнительному методу и филологическому исследованию текстов, не обязывает разделять изложение на две отдельные части» (s. V). Однако на практике получилось именно так. Этимологическая часть дана очень скупо, консервативно и даже недостаточно информативно, не отражены иногда надежные сравнения; ср. отсутствие под *tēlum* (т. II, s. 1199) 'метательное оружие' сближения со слав. *teslo*, др.-в.-нем. *dehsala* 'топор', которое позволяет убедительно реконструировать *tēlum* как **tecslom*; как наиболее частый рефрен на протяжении всего словаря звучит «étymologie inconnue», «pas d'étymologie connue». А как выглядит историческая часть — основная часть словаря Эрну—Мейе? После слова дано значе-

---

[7] *Y. Malkiel.* A typological classification of dictionaries on the basis of distinctive features // Problems in lexicography. Report of the conference… held at Indiana university, nov. 11—12, 1960 / Eds by F. W. Householder, S. Saporta. Bloomington, 1962 (= International Journal of American Linguistics. 1962. Vol. 28, № 2. Pt IV. P. 16).

[8] *O. Szemerényi.* Op. cit. S. 178.

[9] *A. Ernout, A. Meillet.* Dictionnaire étymologique de la langue latine. Hisloire des mots. 3éme éd. T. I—II. Paris, 1951.

ние, цитата (цитаты) и характеристика вроде «ancien, usuel», «usité de tout temps». Любопытно, что картина, как правило, статична, в исторической части нет истории, динамика и эволюция представлены в исключительных случаях и чаще там, где вводятся элементы реконструкции, т. е. «доистории» в истории, чего, строго говоря, с точки зрения принципов Эрну и Мейе, делать как раз не следовало. Возьмем несколько примеров: *aequus* (т. I, s. 19—20) 'ровный', откуда производные моральные значения 'равный', 'справедливый' (примеры), «древнее, употребительное», даются производные слова и в конце — заключение: «Aucun rapprochement sûr». Но 'ровный' — сложное понятие. Его формирование и историю могут прояснить старые этимологические сближения *aequus* с др.-инд. *éka-* 'один, один и тот же' (ср. фин. *oikea* 'правый', 'правильный' < индоар.) из и.-е. **oi-ku̯o-* [10], опущенные у Эрну—Мейе. Дальше: *altus* «во все времена значило 'высокий' и 'глубокий'». Вот и вся «история» (т. I, s. 44), но ведь и на этот раз речь идет о понятии скорее сложном, т. е., очевидно, производном, что было ясно еще древним, производившим *altus* от *alō*, *alere* 'питать, кормить'; это вынуждены признать и Эрну—Мейе, называя *altus* «прич. прош. от *alō*». Но регулярное причастие от *alō* — *ali-tus*, следовательно, здесь налицо использование исторического (нерегулярного) словообразования, т. е. этимологии, элементов реконструкции в истории слова. Без обращения к этим ресурсам историческая часть крайне бедна. Ср., например, *bustum* (т. I, s. 141): «...быстро стало синонимом *tumulus* или *sepulcrum*». А то, что предшествует этой собственно исторической документации, является откровенной реконструкцией на базе глагола *amb-ūrō* с опорой на древнюю глоссу Павла Феста: *bustum* 'место, где сжигался и хоронился мертвый'. Слово *caecus* (т. I, s. 147) засвидетельствовано только в значениях 'слепой, незрячий', 'невидимый'. Подлинную семантическую историю его намечает лишь этимологическое сравнение с др.-ирл. *caech*, готск. *haihs* и их более древним значением 'кривой на один глаз, одноглазый'. Не случайно то, что однозначное и практически не имеющее в словаре Эрну—Мейе подлинной истории слово *īra* 'гнев' (т. I, s. 576) не имеет и хорошей этимологии («Etymologie mal déterminée»), в противном случае мы получили бы ощутимо более глубокое представление об истории слова и значения 'гнев', поскольку значение 'гнев' всегда производно от более простых значений ('желчь', 'сердце', 'пар', 'драть' и т. д. [11]). Слово *palūs*, *-ūdis* 'болото' с документальной констатацией «ancien, class., usuel» и набором не

---

[10] *A. Walde, J. B. Hofmann.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch [4]. Bd. I. Heidelberg, 1965. S. 18.

[11] *C. D. Buck.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. A contribution to the history of ideas [3]. Chicago; London, 1971. P. 1134.

очень убедительных этимологий (vol. II, p. 847) обретает подлинную историю формы и значения лишь после того, как мы этимологизируем его как **pal-ūd-*, тождественного русскому *полая вода*[12], т. е. 'широкое, открытое водное пространство'.

Из предыдущих наблюдений вытекает, кажется, совершенно очевидно, что мы не могли бы сейчас согласиться с Л. В. Щербой, который в 1940 г. назвал словарь Эрну—Мейе «вполне историческим».

Исторический план латинского этимологического словаря Эрну—Мейе целиком повторяет труд покойного французского историка греческого языка П. Шантрена, который так и называется: «Этимологический словарь греческого языка. История слов»[13]. Почтенный автор провозглашает в предисловии: «Но этимология должна была бы быть полной историей словаря в его структуре и его эволюции...» (p. VII). Это не мешает автору в дальнейшем строить свои словарные статьи из четко различных частей: история греческого письменного слова, затем — этимология. Впрочем, уже в Предисловии, несколькими страницами ниже, автор дает понять, что́ именно он имеет в виду, когда говорит об истории: «... история (читай: письменная история греческого слова. — *О. Т.*)... простирается на сорок веков» (p. XII).

Заниматься оправданием самостоятельности такой дисциплины, как этимологическая лексикография, возможно, и не стоило бы, если бы из специального рассмотрения этого вопроса, из наметившегося в литературе противопоставления этимологии и истории, из обсуждения таких понятий, как исторический словарь, история слова, не ожидалась бы какая-то польза, конкретизация проблемы для исторической лексикографии прежде всего.

Почтенное и древнее слово и с т о р и я употребляется, надо признать, иногда весьма нечетко. Этимологически и долгое время спустя греческое слово ἱστορία означало 'знание, наука вообще', 'информация', затем — 'историческая наука по преимуществу'. В новое время слово и с т о р и я все больше синонимизируется со словом э в о л ю ц и я и близкими. Вместе с тем слово и понятие и с т о р и я цепко сохраняет следы древнего значения 'закрепленная, фиксированная информация'. Конечно, с давнего времени подразумевалась письменная фиксация. Отсюда стойкое противопоставление истории и доистории, преодоленное советской наукой, но весьма живучее в зарубежной науке (préhistoire, prehistory, Vorgeschichte и т. д.). Мы предпочитаем пользоваться терминами и понятиями истории письменной и дописьменной,

---

[12] *О. Н. Трубачев.* Несколько древних латинско-славянских параллелей // Этимология. 1973. М., 1975. С. 13 и след.

[13] *P. Chantraine.* Dictionnaire étymologique de la langue grecque. Histoire des mots. Vol. 1—2. Paris, 1968; Vol. 3, 1974.

но в словоупотреблении исторический словарь, история слова, принятом и у нас и относимом только к письменной истории, живет и здравствует все та же несколько устаревшая дихотомия слов и понятий.

Действующая сейчас в языкознании антитеза «история — этимология» есть прямой отголосок упомянутого устаревшего противопоставления история — доистория. В целом, по-прежнему история понимается языковедами как письменно документированная эволюция.

Между тем чисто внешний характер письменной фиксации в отношении эволюции языка, а также, как правило, относительно поздний характер введения письма заставляют со всей серьезностью, отнюдь не отвлеченно-формально поставить вопрос о том, что этимология слова это есть его история по преимуществу, а этимологический словарь есть наиболее выраженный вид исторического словаря. Таким образом, цитированный выше тезис о редукции этимологии к истории я считаю абсурдным и, наоборот, предлагаю проверить, что же остается из собственно истории на долю исторического словаря.

Возьмем один крайний пример — осетинский язык, который почти не имеет письменной истории в собственном смысле слова. То, что в этих условиях история слов осетинского языка на протяжении целых тысячелетий доступна контролю и прослеживается нами, надлежит всецело приписать триумфу этимологии. В. И. Абаев снимает привычное противоположение истории и этимологии и говорит по этому поводу следующее: «Под историческим словарем понимают обычно филологический словарь, основанный на документации по письменным памятникам. При таком понимании язык, не имеющий старых письменных памятников, как осетинский, вообще не может иметь исторического словаря. На деле это не так. Сравнительно-исторический метод, внутренняя реконструкция, а также соотнесение лексических фактов с реалиями исторической жизни народа позволяют наметить вехи фонетической, словообразовательной и семантической истории слов зачастую более надежно, чем показания письменных памятников, в которых всегда много случайного и неточного...» [14].

Свежим, нерутинным предстает перед нами в этом свете название историко-этимологического словаря, присвоенное В. И. Абаевым этимологическому словарю младописьменного осетинского языка, потому что другие известные нам историко-этимологические словари представляют собой традиционные комбинации филологического словаря письменной истории и этимологического словаря дописьменного периода: таковы новый историко-

[14] *В. И. Абаев.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. II. Л., 1973. С. 4. Примеч. 1.

этимологический словарь венгерского языка [15], некоторые аналогичные словари в романском языковом мире. Крайний характер примера с осетинским словарем состоит в том, что история огромного большинства осетинских слов сложилась до появления регулярной осетинский письменности.

Но вот другой крайний пример: греческий. Как уже упоминалось, греческий язык и его словарь имеют древнейшую (сорокавековую) письменную традицию, начиная от микенских табличек II тысячелетия до н. э. вплоть до новогреческого языка наших дней. Настоящий рай для историка языка! 4000 лет непрерывной письменной традиции — это своеобразный абсолютный рекорд в индоевропейском языковом мире и большой промежуток времени в масштабах развития человеческого языка вообще. Здесь, казалось бы, история практически всех слов должна была пройти на глазах исследователя-документалиста, начиная с самых начал. Гарантией такого прямого наблюдения служит установка уже цитированного нами автора соответствующего словаря — П. Шантрена, который пишет, что прилагал все усилия, чтобы «следить за историей словаря» [16]. Однако оказывается, что и там есть случаи, удивительно напоминающие ситуацию в более молодой письменной традиции, скажем русской, а именно когда сложение или производное выступает гораздо раньше, чем простая основа, например ἀφηρωΐζω 'превращать в героя, героизировать' встречается раньше, чем ἡρωΐζω (последнее отмечено в специальном значении 'слагать эпические поэмы') [17]. Более того, там не редкость случаи, столь знакомые славистам и русистам по собственному опыту, когда история слова не только начинается до первых собственно греческих письменных текстов, но и завершается во всем существенном до их появления.

Ср. греч. αἷμα/-τος ср. р. 'кровь', характеризуемое П. Шантреном как «употребительное, обиходное слово начиная с Гомера вплоть до современного греческого языка» [18]. Может быть, слово αἷμα — индоевропейский архаизм? Все обстоит как раз наоборот: αἷμα — раннее греческое новообразование, так сказать, «неологизм» 4—5-тысячелетнего возраста, потому что общеиндоевропейское название крови неизвестно, возможно, забыто под действием табуистических запретов, а греч. αἷμα, реконструируемое как древнее *sai̯m- и сближаемое с нем. *Seim* 'патока', ведет себя как местная — тоже, видимо, табуистическая замена — иносказание в роли названия крови.

[15] A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára. I. kötet: *A—Gy* / Főszerkesztő Benkő L. Budapest, 1967.

[16] *Chantraine P.* Op. cit. T. 1—2. P. XII.

[17] Там же. P. X.

[18] Там же. P. 34.

Семантическая, лексическая история слова αἷμα < 'кровь' < 'патока' (вспомним польск. *jucha* 'похлебка', вторично употребленное в значении 'кровь') носила, можно сказать, крутой, бурный характер, в общеиндоевропейских масштабах она представляет собой вторичное, позднее явление, но греческая письменная традиция эту историю уже не застала, а зафиксировала лишь готовый результат, тот период относительного покоя, который наступает в жизни каждого слова.

А теперь мы подготовлены к тому, чтобы правильно оценить ситуацию в славянской исторической лексикографии. Славянская письменная традиция, насчитывающая свыше 1100 лет, несравненно старше осетинской, но много моложе греческой. И хотя славянский в ряде отношений представляет более продвинутое индоевропейское языковое состояние сравнительно с греческим, история значительного пласта славянской лексики прошла раньше, чем первоучитель Константин (Кирилл) сложил буквы и переложил книги на славянский язык. Если взять синоним греч. αἷμα — рус. *кровь*, праслав. **kry* / **krъve*, то его письменная история выражается в двух словах или, точнее, в одном слове: на всем протяжении письменной документации во всех славянских языках с самого начала и по сей день это слово значило только 'кровь'. Было ли так всегда? Нет, этимологическое родство греч. κρέας 'мясо', др.-инд. *kravís* 'сырое мясо', авест. *χru-* 'кусок кровавого сырого мяса', др.-в.-нем. *(h)rô* 'сырой, несваренный', лат. *cruor* 'загустевающая кровь из раны' показывает инновационную природу славянского значения 'кровь', а также его вероятную историю, происхождение из более древнего синкретического значения 'сырое, кровоточащее мясо'. На долю письменной истории тут также приходится период относительного покоя. Похоже, что аналогичная характеристика применима вообще к древней лексике славянских языков — праславянскому лексическому фонду. Свидетельства древнейших письменных текстов оказываются слишком молоды, чтобы знать и помнить то, что реконструируют сравнительно-историческое языкознание и этимология, без помощи которых немалое количество лексем не имело бы вообще истории в настоящем смысле.

Довольно крупный разряд праславянского словаря — слова на *g*-начальное в процессе подготовки «Этимологического словаря славянских языков» может служить поучительным примером в этом отношении. Специальный просмотр всего словника на букву *g* выявил только два «благополучных» случая комплектной истории, когда письменная история и собственно лексико-семантическая история совпадают: **grivьna* и **grobъ*. Например, в Материалах для словаря древнерусского языка И. И. Срезневского (т. I, стб. 588 и след.), а теперь и в «Словаре русского языка XI—XVII вв.» (Вып. 4. М., 1977. С. 135—136) находим засвидетельствованные в письменности значения

слова *гривьна* 'ожерелье' (Быт. XXXVIII. 18 по сп. XIV в. и др.), ср. **гривна златага на выи** (Дан. V. 7, 16 — Упыр.) 'кольцо, обруч', ср. и четкое указание на адъективность *гривьна* в виде формы прил. м. р. *гривьныи* 'шейный': **Милостынею яко гривною утварью златою украсуяся**. Ип. л. 6796 г. (Там же, т. I, стб. 591)[19]. Есть там и многочисленные записи исторически более позднего значения 'вес', 'денежная единица': **гривьна золота, гривьна серебра, гривьна денегъ** (множество примеров с самого раннего времени. — Там же, т. I, стб. 589—690). Уместно расположить эти документальные значения в линейную схему исторического развития: 'шейный, шейное украшение' → 'слиток дорогого металла определенного веса', 'денежная единица'. Но одно то обстоятельство, что письменные тексты свидетельствуют об этих двух значениях как о параллельных и даже свидетельствуют несколько превратно, показывая, несомненно, вторичное, производное значение *гривьна* 'денежная единица' как хронологически более раннее в письменности (Русская правда Ярослава), достаточно говорит нам, что письменность зафиксировала продукт, отголосок более древнего развития, а не самый момент развития. Проще, но достаточно комплектно рисуется письменная история слова *гробъ*: преимущественное значение — 'яма, могильная яма, могила' (Прол. И. Публ. б., Остр. ев., Изб. 1073 г., До. екз. Бог. 197 и мн. др., Срз. I, 594; СлРЯ XI—XVII вв. 4, 137 определяет значение несколько точнее: 'яма; место погребения, могила') и значение современного русского *гроб* — 'ящик для погребения'. При этом, как и в случае с **grivьna*, основное, так сказать этимологическое, значение слова **grobъ* как имени, производного старого типа с *-o*-вокализмом от глагола **grebti*, 'яма' (не только могильная, ср. значение 'яма для картофеля' в словенском) опять-таки оформилось задолго до зарождения древнерусской и вообще славянской письменности.

Нижеследующие примеры показывают более типичную и распространенную ситуацию, когда о комплектной лексико-семантической истории по письменным памятникам не приходится и говорить. Др.-рус. *гайка* известно нам из контекста XVII в., который позволяет принимать в этом слове значение, близкое к современному: «... в шестерне гайка железная; выше шестерни сквозь мост гайка с гнездом». Кн. Тул. и Каш. заводов, 8. 1647 г. (СлРЯ XI—XVII вв. 4, 8, там же пример 1645 г.; в словаре Срезневского отсутствует), ср. совр. рус. *гайка* 'металлическое кольцо, обод, обруч, нагоняемый на деревян-

[19] Правда, в последнее время было выявлено, что это место в основе своей восходит к соответствующему месту «Слова о законе и благодати» Илариона, где мы имеем дело уже с субстантивным употреблением *гривна*: **милостынею ꙗко гривною и оутварью златою красѧщаꙗ** (указакие А. М. Молдована, которому приношу благодарность).

ную или иную вещь, для скрепы' (Даль). Можно сказать, что эти однородные свидетельства XVII и XIX—XX вв. не дают еще достаточного материала для истории слова; налицо одна из возможных семантических реализаций первоначально несравненно более емкой производящей основы и значения. Только этимологическое сравнение с сербохорв. *гајка* ж. р. 'подвижное кожаное кольцо на узде', 'глазок у виноградной лозы', 'гайка', 'срезанная ветка или шест, служащие знаком запрета пасти скотину в каком-либо месте' (по данным больших Загребского и Белградского словарей), ст.-чеш. *hajky* 'штаны?' (картотека «Старочешского словаря» в Праге) и чеш. диал. *hájka* 'соломенная веха на шесте, с помощью которой запрещается использовать поле, межу, дорогу и т. д.' (Hruška. Slovník chodský) дает возможность увидеть связь этого производного с суффиксом *-ъka* от глагола **gajiti* в подходящих значениях ('защищать, охранять, предохранять'), т. е. восстановить этимологию Горяева вопреки Фасмеру[20]. Если в предыдущем примере семантическая реализация русского слова удачно дополняется семантическим разнообразием близких лексических соответствий в других славянских языках и диалектах, что позволяет нащупать вполне вероятную историю слова, так сказать, не выходя за пределы славянского, то нередко единообразие семантики слова в масштабах всех славянских языков, их старых письменных и диалектных данных просто лишает нас возможности получить объективный ответ об эволюции, истории значения славянского слова без обращения к другим индоевропейским языкам. Примером этого, кроме такой относительно архаичной лексемы, как *кровь*, праслав. **kry* (о нем выше), может служить слово, более молодое и по своей природе даже экспрессивное, но с ранним обретением статуса нейтральности: др.-рус., рус.-цслав. **глѧдѣти** 'смотреть' (Златостр. XII, Срз. I, 523; СлРЯ XI—XVII вв. 4, 40 — более подробно, со значениями 'обращать внимание', 'наблюдать, следить', 'осматривать'), рус. *глядéть* то же, ст.-польск. *ględzieć* 'смотреть, глядеть' (Słownik staropolski. II. S. 415), чеш. *hleděti* то же. История у этого слова (в понимании письменной истории) практически отсутствует (положения не меняют вторичные ответвления значений 'стараться, заботиться', 'присматривать' в некоторых славянских диалектах на базе единого значения 'смотреть'). Только этимологическое сравнение с родственным ср.-в.-нем. *glinzen* 'блестеть'[21] помогает надежно восстановить подлинную истории славянского слова. В случае со слав. **glǫbokъ* (ст.-слав. **глѫбокъ** βαθύς profundus, рус. *глубóкий* и родственные) мы тоже имеем ситуа-

[20] *М. Фасмер.* Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1964. С. 384.

[21] См., вслед за И. Шмидтом: *E. Berneker.* Slavisches etymologisches Wörterbuch. I. Heidelberg, 1908. S. 303.

цию семантического однообразия по всем старым и новым письменным свидетельствам, что как бы исключает мысль о письменной истории для этого слова. Но само значение 'глубокий', будучи не простым, а производным (ср. то, что говорилось раньше о синонимичном лат. *altus*), недвусмысленно указывает нам, что история (эволюция) здесь была и притом довольно давняя. Об этом еще определеннее свидетельствуют и старые сближения в этимологических словарях: слав. **glǫb-okъ* — из инфигированного варианта и.-е. **gleubh-*, ср. греч. γλύφω 'выдалбливать'[22]. Таким образом, реконструированная полная история славянского слова и значения 'глубокий' уводит нас в глагольную лексику со значениями 'долбить, выдалбливать'.

Встречаются случаи, когда общеславянскую семантическую однозначность лишь мимолетно нарушают отдельные семантические диссонансы, которые нелегко бывает использовать, хотя они того вполне заслуживают, давая ключ к реконструкции истории слова, недостижимой путем изучения одних письменных данных. Таково слав. **gněvъ*: ст.-слав. **гнѣвъ** м. р. ὀργή, θυμός, μῆνις, *ira*, *furor*, рус. *гнев* и т. д., везде — в значении 'гнев', но ср. сербохорв. *гњѐв, гњȇв* м. р. также 'множество, масса, уйма'[23] и полаб. *gnevoi* мн. (собственно **gněvy*) 'железы (в сале, мясе и т. п.)'. Имя **gněvъ* может быть отглагольным от **gněvati*, в котором продленный вокализм дуратива восходит к *-е-* нормальному, ср. возможно родственное сербохорв. *гњáвити* 'давить, душить', словен. *gnjáviti* то же, чеш. диал. *hňaviť* 'лупить, бить' с экспрессивным смягчением согласного и перестройкой вокализма. Первоначальная семантика при этом: 'душить, давить, мять', ср. рус. *гнев, злость душит*; отсюда же ('мять' > 'комок') производно значение 'железа' (полаб.). Исходные мотивы для изложенных размышлений — типологическая неисконность, производность самого значения 'гнев', как и в случае с синонимичным лат. *ira*, упомянутым ранее. Праслав. **golenь*, **golěnь* во всех славянских языках с древнейшей поры выступает в одном и том же значении 'голень, crus, tibia', и для определения его семантической и словообразовательной истории надо сделать всего лишь один шаг — указать на производность от прилагательного **golъ, голый*, но этот шаг уже уводит нас за рамки письменной истории, которая значения 'голая часть ноги' прямо не фиксирует. Не знает письменная история и истоков, очевидно, непервоначального общеславянского значения **golva* 'голова, caput'; только этимология и этимологический словарь с помощью сведений о родстве со славянским же лексическим гнездом желваков, шишек и т. п. — праслав. **žely/-ъve* — устанав-

[22] *F. Miklosich.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. S. 66.

[23] Речник српскохрватског књижевног и народног језика. Београд. Св. III. С. 380; *Г. Елезовић.* Речник косовско-метохиског дијалекта. I. Београд, 1932, s. v.

14. Заказ № 2261.

ливают здесь наличие метафорической эволюции. В основном за рубежом письменной истории остаются также истоки формирования значения славянского слова **gor'estь* (рус. *го́ресть* и родственные), **gorьjь* (др.-рус., рус.-цслав. *горuu* 'худший'. Остр. ев., Срз. I, 554; Изб. 1073 г., 37, там же. III, 76), и если элементарно образованный филологически человек обычно знает, что *го́ре* от *горе́ть,* то это уже факт этимологии. Рус. *гото́вый* и его родственники в остальных славянских языках (ст.-слав. **готовъ** ἕτοιμος Супр.) всегда выступают в одном и том же значении 'готовый', исторический словарь здесь не может ничего добавить, и, однако, 'готовый' — типологически вторичное, производное значение (ср. производность синонимичных германских слов — *bereit*, *ready*), вот почему этимологи настойчиво ищут происхождение слова и значения **gotovъ* 'готовый'. Письменная история слова **gromada* / **gramada* в славянских языках, опираясь на постоянную чересполосицу значений 'громада-куча' и 'громада-общество, толпа, сходка', оказывается вынужденно однонаправленной, особенно если предположить здесь развитие более общего значения из конкретного (или наоборот); однако о б а значения берут начало еще в индоевропейском, ср. их отражение в однокоренных лит. *grãmatas* 'куча' и др.-инд. *grā́ma* 'толпа, деревня, община'. Письменной истории слав. **grěxъ* (с древности только ἁμαρτία 'грех, проступок') недостаточно для того, чтобы говорить об истории слова и значения **grěxъ* 'грех'; истоки могут весьма отличаться от письменной данности, как учат нас аналогии лат. *peccatum* 'грех' < 'неверный шаг, преткновение' и нем. *Sünde* 'грех' < 'то, что есть в наличии, сущее'. Курьезно отметить, что истории не имеет такая прозрачная морфологическая форма, как слав. **gubiti,* которое означает с древнейших текстов только 'губить', 'терять' (ст.-слав. **гоубити** ἀπολλύειν, Супр.), тогда как сравнительный анализ **gъbnǫti* — **gubiti* легко реконструирует здесь семантику 'гнуть'.

То, что показал беглый просмотр славянского материала на *g*-начальное, едва ли опровергнут данные из других разделов славянского словарного состава. Сказанное касается отнюдь не одних индоевропейских архаизмов, но и новой, производной лексики, как можно было заметить. Иначе как средствами реконструкции нельзя получить историю, например, славянского слова **obědъ* (рус. *обе́д*, чеш. *oběd* и т. д.), как показывают разыскания И. Немеца, который восстанавливает более древнее значение 'круговая трапеза' (сложение с приставкой *ob-* 'вокруг, кругом'! Staročeský slovník, 8. Praha, 1976. S. 1077: *oběd* (там же изображение круговой трапезы в иллюстрации к Библии Вацлава, XIV в.), особенно с. 1079: 'společné jedení' > 'jedení v kruhu, kolem něčého') у этого достаточно старого слова с известным значением 'главная дневная трапеза', к констатации которого сводится письменная история слова. Примеры такого рода могут быть умножены. Польск. *potępić* с самого на-

чала польской письменности по настоящее время значит только 'осудить, наказать, покарать', 'пренебречь' [24], тогда как одного этимологического сравнения с рус. *потýпить* и его значениями достаточно для стремительного углубления истории польск. *potępić*, вернее — для воссоздания этой истории в подлинном смысле, включая кардинальный переход из сферы конкретного ('уткнуть, (тупо) упереть', первоначально возможно, 'опустить острием вниз (меч), осуждая на смерть') в абстрактное ('осудить'). Точно так же обстоит дело с польск. *powiedzieć*. Здесь имел место сдвиг значения типа каузативного перехода 'сказать' < первонач. 'сделать, чтобы знал (*wiedział*)', но ничего этого не дает, не содержит письменная история, польская историческая лексикография, которая на всем протяжении письменной фиксации указывает для *powiedzieć* только одно значение 'сказать, narrare, loqui' [25].

Дальнейшее умножение числа примеров, думаю, не привело бы к изменению главной мысли сказанного. Фундаментальный Словарь избранных синонимов в главных индоевропейских языках Карла Дарлинга Бака [26], целиком построенный на данных этимологии, носит подзаголовок: «Вклад в историю идей» («A contribution to the history of ideas»). Трудно найти более подходящее определение для этимологии и этимологической лексикографии хотя бы потому, что из всех лингвистических дисциплин именно этимология аккумулирует максимум материалов по значению слов в современном языке, его истории, диалектах и родственных языках [27].

Разумеется, всякая письменная фиксация слова и значения в более ранний исторический период времени — ценность. Не нужно только строить очень больших надежд на получение полных данных по истории слов исключительно от исторических словарей, сохраняющих при всем том важное значение филологической базы всякого дальнейшего исследования. Идея тезауруса, трудно осуществимая в полном объеме, все равно не даст нам алфавитного собрания историй слов. Данных такого тезауруса по памятникам письменности было бы недостаточно для суждений о полной истории древних слов. Тезаурус даст однородный подтвердительный материал, большую избыточность. На вопрос, чего ждет от исторического словаря этимология, я бы ответил: прежде всего — комплектного словника и его адекватной семан-

---

[24] Słownik staropolski. T. VI, zesz. 7 (40), 1973. S. 487—488.

[25] Там же. S. 515 и след.

[26] *C. D. Buck.* Op. cit. (1st ed., 1949).

[27] Предоставляю внимательному читателю в связи со сказанным самому судить, был ли прав Л. В. Щерба, когда писал: «Сами этимологические словари, хотя и содержат некоторый материал по истории слов, однако вовсе не представляются мне историческими» (*Л. В. Щерба.* Опыт общей теории лексикографии // Изв. АН СССР. ОЛЯ. 1940, № 3. С. 116. Примеч.).

тической инвентаризации. Обилие экземплификаций, полные выборки в пределах этого словника, возможно, представят интерес для истории языка, для исторической грамматики, но мы в данный момент говорим об истории слова. Выше мы попытались показать, что временны́е масштабы истории древней лексики и древнейшей письменной истории, как правило, несоизмеримы. Значит, лучший исторический словарь выполнит эту задачу только отчасти, и это нельзя ставить в вину его составителям. Большая часть слов каждого языка образована очень давно. Отдавая себе в этом отчет, мы поймем всю недосягаемость как щербианского, так и виноградовского идеалов разработки истории слова. В далеком 1940 г. Л. В. Щерба называл «историческим в полним смысле… такой словарь, который давал бы историю всех слов…». Надо отдать ему должное, он сам открыто признавал, что не знает, «как это сделать»[28]. Но Л. В. Щерба, если не ошибаюсь, вообще ничего не написал по истории слов. Другое дело — В. В. Виноградов. В одном только ежегоднике «Этимология» опубликованы десятки его заметок по истории слов. Это такие слова, как *письмоносец*, *поединок*, *предвзятый*, *представитель*, *начитанный*, *переживание*, *закал*, *набожный*, *перелистывать*, *сосредоточенный* и другие им подобные, как правило, производные образования литературной и просторечной лексики, в большинстве своем позднего происхождения, последних двух веков. «История слова, — говорил В. В. Виноградов (заметим, о лексике вроде перечисленной выше), — должна воспроизводить все содержание, всю цепь его смысловых превращений, все "метаморфозы" 〈…〉 История слова всегда жизненнее, динамичнее и реальнее этимологии». Конечно, этимология слов типа *поединок*, *предвзятый*, *представитель*, *начитанный* и т. п. сводится либо к указанию на кальку, либо вообще она не требуется ввиду очевидности словообразовательных связей. Но так ли уж богата всегда их история? Много ли превращений и метаморфоз можно указать для слова *письмоносец* или *перелистывать*? Размышляя над высказыванием акад. В. В. Виноградова, а также над некоторыми современными аспектами проблемы, мы должны иметь в виду, что противоположение более древнего лексического фонда и многих тысяч новых слов литературно-книжного языка в действительности может обрести несколько иной смысл, чем тот, который в нее вкладывал покойный ученый. На первом заседании Комиссии по лексикологии и лексикографии при МКС в Смоленицах 1973 г., которое я уже упоминал вначале, в докладе Й. Мистрика «Kvantitatívne a retrográdne skúmanie zlovnej zásoby»[29]

---

[28] *Л. В. Щерба.* Опыт общей теории лексикографии. С. 117.

[29] Slavica Slovaca, roč. 11. S. 63 и след. Теория Мистрика восходит, в сущности, к закону Г. К. Ципфа. См. о последнем специально: *W. Mańczak.* Z zagadnień językoznawstwa ogólnego. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1970. S. 27 и след.

были сформулированы любопытные закономерности теоретического характера: чем слово короче, тем оно чаще встречается в текстах, и наоборот; чем слово старше, тем оно короче и тем больше у него значений, и наоборот: чем оно моложе, тем длиннее (часто при этом оно переносное по употреблению или заимствованное) и тем меньше у него значений.

Подведем итоги. Вышеизложенные наблюдения преследовали одну цель — показать необходимость широкого понимания истории слова и реальный вклад в нее разных дисциплин, прежде всего этимологии и этимологических словарей. Остановившись на этом избранном для данной статьи аспекте с большей подробностью, автор меньше всего хотел бы быть понятым превратно. Во всяком случае ему чуждо стремление заменить прежний, несколько односторонний подход новым, тоже односторонним. Равным образом хотелось бы еще раз подчеркнуть неприемлемость слишком широких, непомерных требований к историческому словарю. Подобные претензии могут проистекать нередко от недостаточно четкого представления о том, что такое, собственно говоря, исторический словарь. Насыщение исторического словаря сравнением с диалектными и иноязычными данными, а также сведениями по этимологии способно лишь взорвать изнутри исторический словарь как таковой и потому нежелательно. При всей относительности письменной фиксации, ее кодифицирование и адекватная интерпретация в филологических словарях документальной истории (исторических словарях) — дело огромной не только научной, но и общекультурной важности. История слова невозможна без исторического словаря так же, как невозможна без него этимология.

ПРАСЛАВЯНСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ

Памяти Федота Петровича Филина

В нынешнем году, можно считать, исполнилось десять лет с того момента, как было выдвинуто понятие праславянской лексикографии [1]. Реализация нашего замысла праславянской лексикографии совпала с последними годами жизни покойного ученого; не будучи его собственным делом, она как бы пересеклась с его путями и мыслями, не однажды отпечатавшись в них. Поэтому показалось полезным напомнить здесь и сейчас о понятиях и идеях, стоящих за термином «праславянская лексикография», а также затронуть при этом (разумеется, со всей краткостью) несколько самых общих вопросов, которые должны интересовать тех, кому небезразлично русское и славянское языкознание. Вот уже почти десять лет публикуются продолжающиеся труды: наш «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд». Вып. 1—11: *А—К* (М., 1974—1984) и краковский «Słownik prasłowiański». T. I—V: *A—D* (Wrocław etc., 1974—1984). Кроме этих двух основных словарей, начавших издаваться одновременно в декабре 1974 г. [2], другие, в общем немногочисленные, словарные публикации последних десятилетий,

---

[1] *О. Н. Трубачев.* Лексикография и этимология // Славянское языкознание. VII МСС. Доклады советской делегации. М., 1973. С. 298.

[2] См. о них: *H. Schuster-Šewc.* Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд. Вып. 1. // ZfSl XX, 5 / 6, 1975. S. 824 и след.; *Фр. Копечный.* О новых этимологических словарях славянских языков // ВЯ. 1976, № 1. С. 3 и след.; *E. Dickenmann.* Zu den slavischen Etymologica der letzten Jahre // Beiträge zur Namenforschung. 1976, № 3. S. 321 и след.; *Š. Ondruš.* Tri slovanské etymologické kompendiá // Slavia. XLV. 1976, № 3. S. 296 и след.; *R. Aitzetmüller.* Słownik prasłowiański. T. 1 // AfslPh. 1977, № 9. S. 445 и след.; *L. Moszyński.* Dwa nowe słowniki etymologiczne języka prasłowiańskiego // RS. XXXVIII. 1977, № 1. S. 105 и след.

главным образом в Чехословакии, хотя и прибегают также к праславянской лексической реконструкции, в целом преследуют более широкие, сравнительные цели, восходящие еще к традициям неоконченного словаря Бернекера начала века, поэтому мы не будем здесь обращаться к этим другим словарям [3].

К тому же, нас сейчас интересует русистский аспект проблемы, что отнюдь не означает утраты интереса к прочим аспектам. И материал, и новые задачи его изучения напоминают нам, что для русистики важно очень многое из того, что традиционно к русистике не относится.

Абстрактно-хронологически выглядит так, что словарь праславянского периода (скажем, наш «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд») открывает собой серию словарей славянского, в нашем случае — русского языка; за ним следуют исторические словари, словарь XVIII в., словари современного языка, диалектные словари. Люди, знавшие и слышавшие Ф. П. Филина, помнят, что он любил прибегать к этому образу фронта словарей в своих публичных выступлениях. На самом же деле праславянский словарь как бы завершает пирамиду словарей любого славянского языка, он опирается на опыт, в частности, всей русской лексикографии. Он не случайно выходит позже всех этих словарей.

Думаю, что выход трудов по праславянской лексикографии — не односторонний акт, а ответ на обозначившуюся потребность более глубокого познания праславянского языка. Что значит познать язык? Исследовать системы его фонологии, морфологии, словообразования явно недостаточно, это дает лишь знание схемы, скелета, тогда как требуется знание языка. Аналогично судил В. В. Виноградов: «Что такое знание древнерусского языка? Морфологические схемы эволюции древнерусских именных, местоименных и глагольных парадигм, общий каркас характерных синтаксических конструкций — форм сочетаемости слов и типов образования предложений в их историческом движении нам более или менее известны. Однако это еще не дает полного знания языка» [4]. Поскольку в мировой науке уже ставится вопрос именно о лексикографе как посреднике между языкознанием и обществом [5], ясно, что на специалиста по праславянской

---

[3] Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Sv. 1 / Sest. F. Kopečný. Pr., 1973; Sv. 2 / Sest. F. Kopečný, V. Šaur, V. Polák. Pr., 1980; *F. Kopečný.* Základní všeslovanská slovní zásoba. Pr. 1981; *L. Sadnik, R. Aitzetmüller.* Vergleichendes Wörterbuch der slavischen Sprachen. Lief. 1—7. Wiesbaden, 1963—1975 (издание прекращено).

[4] *В. В. Виноградов.* Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968, № 1. С. 9.

[5] *Y. Malktel.* The lexicographer as a mediator between linguistics and society // Theory and method in lexicography: Western and Non-Western perspectives / Ed. by L. Zgusta. Columbia; Hornbeam press, 1980. P. 43—58. — Non vidi.

лексикографии (а не на специалиста по праславянской фонетике — фонологии, грамматике и даже словообразованию) ложится главная тяжесть поставщика информации о праславянском языке, его семантике и, как сейчас говорят, картине мира. Эти две последние категории познаваемы почти исключительно из реконструкции праславянской лексики и ее происхождения. При вспомогательной роли таких лингвистических дисциплин, как фонетика и морфология здесь приобретают важность и нелингвистические дисциплины, например, археология, в сотрудничестве с которой лексикология (этимология) и лексикография праславянского языка рассматривают проблемы религии, погребального обряда, хозяйства, домостроительства, общественных отношений древних и древнейших славян, их географическую среду обитания.

В глазах современного исследователя, вообще — нашего современника ситуация праславянского языка и его словарного состава двойственна. С одной стороны, это — мертвый язык, но, с другой стороны, он продолжает в преобразованном виде жить в нашем языке и его лексиконе. Если верно, что каждый мертвый язык ценен и поэтому не мертв для человечества, то это вдвойне верно о нашем языке — предке для нас. Стремясь глубже понять его, мы готовы к более глубокому осмыслению собственного языка. И все же поучительно заметить, что в то время как у нас судьбы славянского праязыка занимают умы считанных специалистов, а широкую культурную общественность эта проблема вряд ли задевает, в современной Франции, например, о мертвом языке напряженно размышляют поэты и беллетристы, ср. заголовки статей «Любовь к мертвому языку», «Языки и смерть», «Поэзия и древние языки» в специальном выпуске «Action poétique» (№ 80, 1979)[6]. Здесь говорится о недостаточной релевантности противопоставления живого языка языку мертвому, вводится существенное различение мертвых, но дошедших до нас языков, и языков исчезнувших, умолкнувших без следа; теплые слова посвящены любителю мертвых языков, который вдыхает в них жизнь, приостанавливает разрушения смерти. Есть французские поэты, которые и сейчас пишут стихи по-латински. Здесь, далее, говорится об отчаянии, в которое впадаешь перед молчащими письменами, но и о сомнениях по поводу кажущейся бесполезности мертвого языка. Есть даже такие слова: «...и любовь к нашему собственному языку, ведущая нас к тому языку, из которого вышел наш, открывает нам смысл нашего выбора: именно потому, что мы любим его, живой язык, и его лексику и его синтаксис, мы стремимся узнать тот, другой язык, который предшествовал ему...»[7]. При моем переводе неизбеж-

---

[6] *M. Broda.* L'amour de la langue morte; *P. Quignard.* Les langues et la mort; *A. Liberati.* Poésie et langues anciennes // Action poétique. 1979, № 80.

[7] *A. Liberati.* Poésie et langues anciennes. P. 37.

но пропал женский род французского *la langue* 'язык', поэтому чувства поэта как бы потускнели, и все равно тут есть чему позавидовать нам, русским, славянам. Французский праязык — латынь — зафиксирован в богатейшей литературе и лексикографии, а слова нашего славянского праязыка (о текстах я уж не говорю) доступны нам лишь в наших — временами спорных — реконструкциях, поэтому нам бы не мешало перенять у «беспечных» французов хотя бы часть этого святого беспокойства. Мое отступление преследовало одну цель — показать общественную важность серьезных занятий праязыком.

Таким образом, ясно без лишних слов, что праславянская лексикография — это разновидность праязыковой лексикографии [8]. В этой связи кажется естественным, чтобы заглавное слово (лемма) словарной статьи в таком словаре давалось в праязыковой (обычно реконструированной) форме, как в нашем «Этимологическом словаре славянских языков» (далее — ЭССЯ) или в польском «Праславянском словаре» (далее — ПС). На практике прибегают и к иным приемам, ср. опыт «Этимологического словаря тюркских языков» Э. В. Севортяна, где обычно заглавным служит слово о д н о г о из тюркских языков, а также характерный подзаголовок этого словаря: «О б щ е тюркские и м е ж тюркские основы». Вопрос о пратюркских основах или лексемах в сущности здесь прямо не ставится. В таких случаях бывает трудно понять, в чем причина разности трактовки — в неразработанности праязыковой стадии языка в науке или в некотором консерватизме терминологии, которая давно обслуживает вполне современные научные представления, как, например, в случае с франц. slave commun, англ. Common Slavic, в сущности — 'общеславянский', термин, который передает идею праязыка менее адекватно, чем наше п р а с л а в я н с к и й или нем. Urslavisch.

Обозначение праязыковой стадии всех 15 славянских языков — живых и мертвых — как общеславянской в современной науке не принято, потому что оно имплицирует идею единства, не соответствующую действительному положению вещей. Раньше, во времена господства теории родословного древа, понятие праязыка, действительно, синонимизировалось с понятием единства или попросту подменялось последним. Так, немногие появлявшиеся тогда праязыковые словари носили название «словарных составов языкового единства», например: *Wh. Stokes, A. Bezzenberger.* Wortschatz der keltischen Spracheinheit. (4. Auflage. Göttingen, 1894); *Hj. Falk, A. Torp.* Wortschatz der germanischen Spracheinheit. (4. Auflage. Göttingen, 1909). Но и таких опытов было мало, а более новые за ними не последовали. Возможно, настораживали возросшие симптомы древнедиалектной сложности, несовместимые с понятием

[8] *О. Н. Трубачев.* Этимологический словарь славянских языков и Праславянский словарь (опыт параллельного чтения) // Этимология. 1976. М., 1978. С. 15.

исходного единства? Праязык, трудно сводимый к единству (пример: балтийский, где западнобалтийский тяготеет в ряде случаев не к восточнобалтийскому, а к славянскому или другим индоевропейским), ex silentio считался малоподходящим объектом для праязыковой лексикографии (не было необходимой гарантии первоначального «единства»), хотя в нашем представлении здесь противоречия нет. Перечень лакун праязыковой лексикографии можно продолжить. Нет настоящего праиранского словаря (таковым нельзя считать «Altiranisches Wörterbuch» Бартоломэ по письменным древнеперсидскому и авестийскому, но с полным отсутствием праязыковой реконструкции средне- и новоиранских лексических данных), еще не написан и не скоро будет написан праиндоарийский словарь в современном понимании.

А может быть, и нам рано браться за праславянскую лексикографию? Сама собой, казалось, напрашивается мысль, что пока не закончено лексикографическое описание русского языка и его диалектов, преждевременно решать праязыковые проблемы. Примерно такой обмен мыслями у меня состоялся давно с одним коллегой, нашим известным славистом, который говорил, что есть дела н более насущные. Конечно, важны полные описания языка, его лексики, говоров. Значит, лучше отложить реконструкцию праславянского словаря еще на 15—20 лет в ожидании большей полноты фактических данных? Нет, думаю, не будет лучше, нельзя безнаказанно слишком долго откладывать подготовку обобщающих трудов. Только они могут внести принципиальную методологическую ясность там, где мы ее не скоро еще дождемся (или не дождемся вовсе) на пути одного накопительства фактов. Мы сейчас давно пожинаем плоды того ущерба, который проистекает от слишком запоздалых обобщений по праславянскому языку. Упрощенческий образ первоначально бездиалектного единства — славянского, восточнославянского и т. д. — пронизывает современные исследования. Помню, я тому коллеге тогда ответил, что нельзя ставить в зависимость изучение проблем индоевропеистики от состояния изученности коломенских говоров. Теперь я склонен ставить вопрос более остро: верное понимание эволюции коломенских (и любых других) говоров требует незамедлительной разработки праязыковых — праславянских, праиндоевропейских проблем. И это не парадокс. Взять хотя бы тот факт, что к идее изначальной диалектной региональности словарного состава первыми пришли индоевропеисты. А ведь эта идея должна быть нашим общим достоянием, она касается любого праязыка, в том числе праславянского; это, так сказать, праязыковая универсалия. Я не скажу, что все индоевропеисты думают так; есть ученые, которым обязательно требуется какой-нибудь terminus post quem, ну, хотя бы 3000 лет до н. э., которыми они датируют начало диалектного деления прежде единого индоевропейского праязыка. Этим ученым эта дата нужна, что называется, для

спокойного сна. Возможно, привычному сознанию психологически вместить идею изначальной диалектной множественности (свидетельств чему предостаточно) — это все равно, что вместить идею о бесконечности Вселенной.

В индоевропеистике идея древнего диалектного членения раньше прижилась, раньше представилась как самоочевидная, поскольку за диалекты вынужденно принимались целые большие группы языков; ни одна попытка сведения их к одному уровню не давала и не могла дать картины исходного единства. Труд В. Порцига о членении индоевропейской языковой области увидел свет в немецком оригинале еще в середине нашего века (1954 г.)[9]. А в частных филологиях упорно держится один из мифов сравнительного языкознания — о «додиалектном» единстве каждого праязыка. До сих пор продолжает жить иллюзия «удивительного единообразия» праславянского языка, ср. так буквально В. Маньчак: «...język prasłowiański jest zdumiewająco jednolity»[10]. Приходится признать, что все это лишь свидетельствует о плохом нашем знании праславянского языка, причем именно по части словаря — лексикологии и лексикографии. Бывает, что даже первоклассные специалисты по славянскому языкознанию не принимают серьезно в расчет древнедиалектного членения языка праславян в лексике, склоняясь к идее изначальной однородности праславянского лексикона. Мне вспоминается беседа на эту тему на семинарском занятии проф. Ф. В. Мареша в Венском университете весной 1978 г. Разговор велся в присутствии нескольких студентов, которые слушали нас внимательно. Иллюстрируя свою противоположную точку зрения, я прибег к примеру бесспорно праславянской еще диалектной чересполосицы глаголов с фундаментальным значением 'продолжаться, длиться, упорствовать': праслав. диал. **trъvati* (чеш., словац., польск.; в укр. и блр., видимо, на правах полонизмов) и праслав. диал. **trajati* (юж.-слав. языки и заодно с ними — оба серболужицких, при переходной позиции чешского). Остается добавить, что собственно русские восточные славяне не знают и, по-видимому, никогда не знали ни того, ни другого из приведенных выше достаточно древних диалектных славянских слов с особыми соответствиями в других индоевропейских языках[11], но выражали эти важные понятия иначе. Перед нами формы, делившие на своеобразные ареалы славянское языковое пространство практически всегда. Речь идет о случае ярком, но в общем известном нашей науке. То обстоятельство, что данный

[9] *W. Porzig.* Die Gliederung des indogermanischen Sprachgebiets. Heidelberg, 1954. Рус. пер.: *В. Порциг.* Членение индоевропейской языковой области. М., 1964.

[10] *W. Mańczak.* O praojczyźnie Słowian // Etnogeneza i topogenoza Słowian. Warszawa; Poznań, 1980. S. 14. Ср. еще: *W. Mańczak.* Praojczyzna Słowian. Wrocław etc., 1981.

[11] *О. Н. Трубачев.* Из славяно-иранских лексических отношений // Этимология. 1965. М., 1967. С. 58 и след.

случай, при всей очевидной важности глагольных слов и весомости стоящего за ними фондового понятия, а также рельефной географии, все же продолжает пребывать в тени и не заинтересовал еще славистов должным образом, далее, вероятие целого ряда других подобных случаев, наконец, актуальность их выявления, собирания и исследования — все это уже дает нам в руки если не программу, то направление работы праславянской лексикологии (этимологии) и лексикографии.

Можно сказать, что славистика и русистика обязаны сравнительному индоевропейскому языкознанию, во-первых, идеей древнего диалектного членения (и древнего диалектного словарного состава) и, во-вторых, гармонично дополняющей ее идеей волнообразного распространения инноваций через сложившиеся границы диалектов. Без этих двух идей не может плодотворно работать не только праславянская лексикография, но и лингвистическая география. Важность понимания волнового продвижения инноваций (в том числе лексических) показывает еще недооцениваемые подчас потенции древнего междиалектного общения и относительность (проницаемость) диалектных границ — главные условия существования наддиалектных слоев языка и словаря.

Работа в области праславянской лексикографии есть работа над проблемой состава праславянского словаря (лексики), в первую очередь, как это следует из предыдущего, над соотношением общих и частных, т. е. диалектных, элементов этой лексики. Все эти годы, стараясь не оставлять без внимания и лексики общеславянского распространения, я обращал главные усилия на ту менее исследованную часть праславянской лексики, которую образуют праславянские лексические диалектизмы. Здесь проделана известная работа, начиная с формулировки самого́ понятия праславянского лексического диалектизма более 25 лет назад [12] и кончая тем, чему не суждено кончиться, видимо, никогда — выявлением и анализом диалектизмов этого рода. Личный опыт показал, что самое неблагодарное дело в этой области называть какие-то цифры, даже выведенные на основании определенных предварительных подсчетов. Так, если 20 лет тому назад я называл общую цифру слов праславянского лексического фонда — 5000—6000, то она в общем достигнута уже сейчас, когда написаны 13 выпусков ЭССЯ (*А—К*), а словарь в целом только перевалил за треть и еще не достиг и половины своего объема. 20 лет назад это было трудно предвидеть. Ф. П. Филин, который в конце жизни взялся с жаром за подсчеты, уже опираясь на опубликованные первые семь выпусков ЭССЯ, предсказывал нам наш общий оконча-

[12] См. подробно с дальнейшей литературой: *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. V МСС. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 169.

тельный объем — более 20000 слов праславянского лексического фонда. Интересно будет впоследствии проверить этот прогноз; возможно, он не далек от истины. Так же или еще характернее обстоит дело с оценкой праславянских диалектизмов лексики. Тогда, давно мне казалась новой и смелой моя предварительная оценка их количества в 25 % (четверть) всего праславянского лексического фонда[13]. Редактор «Праславянского словаря» Ф. Славский лет десять спустя указывал, что в 1-м томе его словаря на 900 статей приходится около 400 явно диалектных[14]. Ясно, что цифры всегда заслуживают проверки, но знаменательна, как увидим ниже, сама тенденция, стремительная эволюция воззрений на праславянский язык и его словарь, поскольку думается, что не будь такой эволюции — не было бы и таких цифр. А еще через несколько лет Ф. П. Филин, проделав подсчеты на нашем материале в указанном выше объеме опубликованного ЭССЯ, пришел к феноменальному заключению, что в праславянском языке региональных, диалектных слов было больше, чем общеславянских, т. е. более половины всего праславянского словарного состава[15]. Можно допустить, что этимолог кладет в основу своего понимания древнего лексического диалектизма более фундаментальные отличия (разные этимологии — разные слова), чем оттенки значений и отклонения в словообразовании, и что в дальнейшем величины будут сбалансированы в сторону уменьшения, но это детали, в остальном же тут есть над чем задуматься привычно мыслящим слависту и русисту. Пестрота и лексическая разобщенность праславянских диалектов — так или иначе — превосходит все прежние ожидания и вероятия. Разумеется, она характеризовала в первую очередь низовые, территориальные диалекты нашего языка-предка. Здесь серьезнейшему испытанию подвергается сама идея существования праславянского языка. Ф. П. Филин пишет так: «Праславяне говорили на близкородственных диалектах, каждый из которых и был реальной коммуникативной единицей, а праславянского языка (в современном понимании термина “язык”) не существовало: на нем никто не говорил), а говорили на диалектах»[16]. Правда, уже относительно давно замечено, что к древнему языку, праязыку, будь то праславянский или любой другой, целесообразно подходить как к живому языку. Любой живой язык предполагает и низовые, и средние, и высокие формы общения. Наш праязык тоже, несомненно, имел не только пестрые низовые диалекты, но и над-

[13] *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи). С. 186.

[14] *F. Sławski.* Wstęp // Słownik prasłowiański. T. 1. S. 10.

[15] *Ф. П. Филин.* Проблемы исторической лексикологии русского языка: Древний период // ВЯ. 1981, № 5. С. 12.

[16] Там же. С. 10.

диалектные формы речи. Наличие этой вертикальной страты праязыка снимает принципиальное различие между праязыком и языком современным, при всех возможных второстепенных различиях. Столь же осторожно мы отнесемся к утверждению, что иных древних форм устной речи, кроме диалектных ее разновидностей, не было [17].

Наддиалектная страта, охватывающая весь праславяпский язык (речь), собственно, и может одна нам объяснить такой, в противном случае не объяснимый, феномен, как вырабатывание единого славянского этнического самосознания, которое явствует и из единого самоназвания *славяне* — праслав. **slověne*. Таким образом, любая слишком острая постановка вопроса рано или поздно корректируется, и мы не вправе ничего преувеличивать: ни исконного единства, ни, наоборот, его антитезы — полной якобы изоляции и даже естественного древнего бездорожья.

Междиалектное общение и обмен, межэтническая торговля процветали, вопреки примитивности путей сообщения, с давних пор — с так называемой неолитической революции, выдвинувшей ремесленное производство; с последней, собственно, и ведет свое начало макроэтническая консолидация предыдущих абсолютно изолированных микроэтносов [18].

Наддиалектная лексическая конвергенция возможна даже при различии контактирующих грамматических систем; так, в Африке это явление встречается в масштабах, совершенно невиданных для индоевропеиста [19].

Поэтическая, жреческая лексика, терминология высоких понятий (социальных, моральных и т. д.), вообще многое общеславянское в праславянском — это и был наддиалект. Название койне — ἡ κοινὴ διάλεκτος 'общая речь' — меньше подходит, потому что не передает идею стратиграфически более высокой ступени, а тем самым не объясняет и природу общности. Понятие аристократическая лексика Мейе и его последователей способно ввести в заблуждение, так как включает идею аристократии для эпох, когда последней еще не могло быть, в то время как наддиалект мог развиться как форма высокой речи и при слабой социальной дифференциации. «В известной мере сохранилась лексика только аристократическая; мы почти не имеем сведений о просторечных словах», — писал Мейе об индоевропейском

---

[17] *Ф. П. Филин.* О словарном составе языка великорусского народа // ВЯ. 1982, № 5. С. 18.

[18] *В. К. Журавлев.* Внешние и внутренние факторы языковой эволюции. М., 1982. С. 18, 26.

[19] *Alberto M. Mioni.* La ricostruzione linguistica in Africa con particolare riguardo al metodo di Guthrie // Problemi della ricostruzione in linguistica. Atti del Convegno Internazionale di studi. Pavia, 1—2 ottobre 1975 a cura di R. Simone e U. Vignuzzi. Roma, 1977. P. 207.

словаре[20]. Сейчас это не может быть принято; «аристократическая», а точнее — наддиалектная лексика (поэтического, высокого языка) есть не что иное как сублимация первоначально народной лексики. Путем этой сублимации, т. е. повышения по стратиграфической шкале, собственно диалектной, низовой лексики вырабатывался наддиалектный словарь при условии междиалектного общения.

В любом наддиалектном, «аристократическом» (а если продолжить этот ряд относительных синонимов, то и общенародном, литературном) слове любого языка поражает как раз возможность разглядеть, в конечном счете, народную, «низкую» диалектную первооснову или, по крайней мере, ее строительные элементы. Вертикальные страты лексики отделены друг от друга четко, но не абсолютно. Между ними постоянно имеет и имело место сообщение — отмеченная сублимация низкого (возьмем слово *pastyrь — смиренное 'пастух, пасущий стада' в ряде славянских языков и высокое его употребление 'пастырь душ, руководитель людей'), осуществлялось также и опускание, снижение высокого.

Эти лексические страты (локальнодиалектное — общенародное — наддиалектное) только на первый взгляд не перемешиваются, подобно тому как это утверждалось раньше о водных слоях Черного моря; на самом же деле, как и черноморские воды, они неуклонно сообщаются и питают друг друга.

Виды лексической сублимации — метафора, в основе которой часто лежит парабола-притча евангельского образца. Распространен был перенос слова из скотоводческой лексики в религиозную (ср. выше *pastyrъ), социальную, как например *sǫprǫgъ 'супруг', дв. ч. м. р. *sǫprǫga 'упряжка из двух волов' в проникновенном обращении Кирилла к своему брату Мефодию: «...**се, брате, вѣ** ***соупроуга*** **бѧховѣ, единоу браздоу тѧжаща, и а́зь на лѣсѣ падаю, свои дн҃ь съконьчавъ**» (Жит. Меф. VII). Образ и способ пополнения возвышенной лексики, бесспорно, древний и свойственный для различных языков, ср. др.-груз. *cxoreba*, груз. *cxovreba* (ცხოვრება 'жизнь', первоначально — 'овцеводство')[21] или др.-инд. *gáviṣṭi-* 'бой, битва', первоначально — 'жажда крупного рогатого скота, стремление обладать быками и коровами'[22].

Ономастика (гидронимия и топонимия) также в значительной своей части наддиалектна. Естественно, что наддиалект консервативнее, чем низовые диалекты, поэтому трудно ожидать на уровне территориальных диалектов и

[20] *А. Мейе.* Введение в сравнительное изучение индоевропейских языков. М.; Л., 1938. С. 384.

[21] *Г. А. Климов.* Этимологический словарь картвельских языков. М., 1964. С. 231.

[22] *Mayrhofer* I, 331.

их лексики полного совпадения с ономастическими ареалами. Например, давно уже обратили внимание на соответствие целых групп топонимов в Мазовше (Польша) и Поочье [23], однако мы не имеем данных об эквивалентных ареалах западнославянско-вятичских соответствий диалектной апеллативной лексики. Возможно, они тоже существовали, но сгладились раньше.

Консервативность именно наддиалектных форм, будь то ономастика или поэтический, литературный язык, лишний раз укрепляет нас в убеждении, что эти слои очень важно привлекать для праязыковой лексической реконструкции, не ограничиваясь одной лексикой низовых диалектов.

Древний устный наддиалект был наделен чрезвычайной прочностью и устойчивостью, представляя собой отдаленный прообраз литературного языка до появления письменности, ср. уже высказывавшиеся в нашей науке мысли о наддиалектном статусе фольклора и другие близкие идеи [24].

Таким образом, объект нашей праславянской лексикографии исторически реален и вместе с тем сложен: он включает постепенно вскрываемое многообразие лексики древних народных диалектов и перекрывающее его единообразие лексики праславянского наддиалекта. Можно только высказывать предположения относительно длительности формирования этого наддиалекта, отражавшего макроэтническую консолидацию славянства. И то и другое было, очевидно, длительным процессом. Идеальному осуществлению консолидации праславянского этноса и его наддиалекта должны были противодействовать тенденции дивергентные, которые в конце концов, как известно, взяли верх, что получило выражение в языках славянских народностей. О том, что путь этот был порой зигзагообразным, зависящим от исторических и политических причин, и что существующий состав группы славянских языков и народов не является единственно возможным, имеются достоверные сведения. Не говоря уже о крупных союзах славянских племен, которые рас-

---

[23] *О. Н. Трубачев.* Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. 1971, № 6. С. 7 и след.

[24] *А. В. Десницкая.* Наддиалектные формы устной речи и их роль в истории языка. Л., 1970. С. 13—14, 19 («“общегерманский” понимается не как исходное состояние, предшествовавшее дроблению на племенные диалекты, но как своего рода наддиалект, употребление которого было связано с культурными сферами жизни древних германцев»), 26 («Существование таких наддиалектных форм устной речи могло играть роль одного из важных факторов в образовании древнерусской народности, а также в закреплении и поддержании ее единства»), 34 (о фольклоре как сублимированной форме устной народной речи, отличной от речи повседневнобытового общения); *И. А. Оссовецкий.* Лексика современных русских народных говоров. М., 1982. С. 27, 28 (о наддиалектных и междиалектных чертах языка фольклора); *О. И. Блинова.* Введение в современную региональную лексикологию. 2-е изд. Томск, 1975 (о двусторонних контактах лексики фольклора и диалектов).

творились (ассимилировались) на Греческом Юге Балканского полуострова и на Германском Северо-Западе и которые при иных обстоятельствах могли сложиться в самобытные народы со своими полнокровными славянскими языками. Известны случаи, когда реальные задатки образования особого славянского народа и, возможно, языка были затем полностью сведены на нет новыми неблагоприятными центробежными тенденциями. Так мог еще сформироваться моравский народ и язык, но до этого не дошло, и теперь только специалисты-историки помнят о раннесредневековой моравской народности[25]. Ясно, что праславянская лексикография опирается на знание этнической истории славянства, но, принимая во внимание, что речь идет о дописьменных эпохах, для которых вступают в силу показания косвенных данных и не в последнюю очередь — лингвистической реконструкции, праславянская лексикография оказывается сама как бы в роли источника по древней и древнейшей этнической истории славян (я имею в виду этимологическое комментирование как инструмент праславянской лексикографии). Конечно, позднее развитие праславянской лексикографии сказывается на том, что мы не только плохо еще знаем праславянский язык, но также и эти внелингвистические древности.

И однако, при всех недостатках и небольшом объеме сделанного, разработка праязыковой лексикографии на сегодняшний день наиболее продвинута именно на материале славянской группы индоевропейских языков, что налагает на нас ответственность и повышает теоретический интерес разысканий. Славистика имеет на своем счету не одни только отставания, но и серьезные достижения, выдвигавшие ее на первое место среди других частных филологий, как это было в свое время в области фонологии. Ответственная задача наших праславянских словарей — московского ЭССЯ и краковского ПС — ввести в научный оборот надежные данные о составе и ареалах древней лексики славян.

Вышеизложенное есть одновременно ответ на вопрос, кому и зачем нужна праславянская лексикография, хотя все вопросы исчерпать в кратком изложении трудно, приходится даже на существенном останавливаться выборочно. Говоря об отличиях, нельзя упускать из виду принципиальных сходств. В самом деле — что такое словарь праславянского языка? Это словарь с реконструированным словником, внешне не похожий на другие словари. Но реконструкция — это прежде всего высокая степень обобщения, которое — в меньшей степени — присутствует в других словарях и их словниках. Праславянская лексикография теснейшим образом связана с этимологией (у нас эта связь особо подчеркнута и вынесена в название нашего ЭССЯ, в ПС

[25] *Л. Гавлик.* Моравская народность в эпоху раннего феодализма // Вопросы этногенеза и этнической истории славян и восточных романцев. М., 1976, passim.

это меньше выражено), но любой другой словарь в большей или меньшей степени зависит от уровня этимологии, не говоря уж о лексикологии вообще, так что и здесь мы имеем дело скорее с разной степенью признака, чем с его полным наличием или отсутствием. Сказанное непротиворечиво вытекает из наших рассуждений о праязыке: если праязык принципиально ничем не отличается от современного живого многофункционального языка, то и праязыковая лексикография гораздо больше сродни любой другой лексикографии (синхронной, исторической), чем может показаться на первый взгляд. Отсюда неизбежный вывод о том, что производное слово — равноправный сюжет и словарная позиция в праязыковой и этимологической лексикографии; именно здесь аналогия со словарем живого языка особенно плодотворна. Надо сказать, что на Западе еще мало задумывались над этими кардинальными вопросами, как это видно из недавнего обмена мнениями между М. Майрхофером и Ю. Унтерманом. И ЭССЯ, и ПС давно и положительно решили для себя проблему трактовки производных слов и применяют ее в своей практике.

Но одно дело — фонетическая (фонематическая) и даже лексическая реконструкция: проецировать слово в праславянскую древность, пусть с большей или меньшей дозой гипотетичности, не так уж трудно. Другое дело — семантическая реконструкция праславянского слова. С той поры, как мы поставили акцент на автономности и имманентности свойств каждого уровня языка и усомнились в структуралистском тезисе изоморфизма языковых уровней, мы вступили на трудную стезю. Понимать ли бесхитростно праславянскую семантическую реконструкцию как транспозицию засвидетельствованных значений слов славянских языков? Практика эта целиком повторяла бы в духе изоморфизма упомянутую формально-фонетическую реконструкцию. Так поступают составители краковского ПС: *bujь* 'сильно разросшийся, развитый; мощный, сильный, безудержный, неистовый; неукротимый; бешеный, глупый' (ПС 1, 441). Ниже, в соответствующей статье ПС мы найдем эти же значения при засвидетельствованных словах. Налицо, таким образом, неэкономная тавтология, не говоря о более принципиальных теоретических минусах. Ясно, что назвать это реконструкцией древнего значения нельзя. Все эти значения присутствуют и у нас в обзоре слов, объединенных под праслав. **bujь* (ЭССЯ 3, 84—83), но на тавтологическую транспозицию их в праславянский период мы не идем. Таково же различие между нашими трактовками производной формы **bujьпъ(jь)* и ее значений, как, впрочем, и всех других случаев. Нельзя поручиться, что все столь различные значения — 'пышно разросшийся; буйный; сильный; большой; глупый' — наличествовали у праслав. **bujь* и **bujьпъ* уже в древности

как значения одного слова, что они не принадлежали разным диалектам или разным, в том числе поздним, эпохам, как, впрочем, трудно и доказать обратное. Нетрудно заметить, что ПС реконструирует для праславянского также явно вторичные, переносные значения 'безудержный, неистовый; неукротимый; бешеный, глупый', но оставляет в стороне значение 'крупный', в первичном характере и родстве которого этимологическому значению исходного и.-е. **bhou-* / **bhū-* 'расти', лежащего в основе этой группы слов, вряд ли можно сомневаться. Для блр. *буйны́* значение 'крупный' является основным, и оно едва ли представляет собой инновацию, скорее наоборот. Впрочем, хорошо, что мы точно знаем значение этого белорусского слова, в противном случае, если бы нам были даны в ограниченном по объему старом письменном тексте только слова *буйная рагатая жывёла* и зная лишь об этимологическом родстве данного прилагательного прочим славянским словам с перечисленными выше достаточно разнообразными значениями, мы имели бы — в рамках той же этимологии — с л и ш к о м б о л ь ш о й в ы б о р, чтобы можно было поручиться за точность семантической реконструкции. Ничто, например, не мешало принять здесь значение — в согласии со значениями большинства славянских соответствий — 'буйствующая скотина', и это было бы даже правдоподобно, но неточно, потому что мы знаем действительное значение блр. *буйная рагатая жывёла* — 'крупный рогатый скот'. Пример наш поучителен как предостережение для тех случаев, когда мы не знаем действительного значения исследуемого слова и вдохновляемся только знанием значений его этимологических родственников. Ни суммирование известных значений, ни их транспозиция в древнюю эпоху, ни даже оперирование достоверными этимологическими соответствиями не дают, как видим, нам гарантии адекватной реконструкции реального значения слова. Утешать себя тем, что мы даем древнее значение в некотором приближении, можно тоже только до известного предела, потому что дистанция между нашим реконструктом и реальной семантической величиной может все-таки оказаться слишком большой, как в описанном случае, который, к тому же, не является самым трудным, а напротив, отличается довольно благоприятными условиями. Это сказано не в осуждение этимологического метода семантической реконструкции. Самые хорошие методы имеют свои ограничения, оказываются недостаточно тонкими. Следует иметь в виду, что перед трудностями семантической реконструкции до настоящего времени пасуют все методы. Будет лучше, если мы трезво отдадим себе отчет в том, что этимологический анализ вскрывает основной семантический признак, но не все живое значение. Механический перенос или суммирование способны породить грубые ошибки. На словарном гнезде **bujь* мы задержались несколько дольше еще и потому,

что оно уже служило предметом анализа таких лексикологов, как В. В. Виноградов и Б. А. Ларин[26], не говоря о более ранних, — анализа, чреватого небесспорными обобщениями и отклонениями.

Вообще почему-то считается, что главную трудность как для этимологии, так и для семантической реконструкции представляют слова затемненной структуры, а с так называемыми «прозрачными» словами никаких проблем нет. Наверное, в этом убеждении залегает все та же подспудная изоморфистская идея о том, что словообразовательно-морфологической производности должна соответствовать такая же семантическая производность или что знание значений отдельных морфем дает нам знание значения всего слова. Определенным шагом на пути преодоления этого можно считать равномерное включение в словники ЭССЯ и ПС как непроизводных, так и «прозрачных» производных и сложений. Первоначальный принцип ПС (Славский) — ограничиваться немотивируемыми словами — открывал свободу для субъективной интерпретации и практически не соблюдается в самóм ПС, выполняющем реконструкцию всей лексики праславянского словаря. Можно сказать, что эта старая антитеза этимологической литературы снимается в современной праславянской лексикографии. Но трудности «прозрачных» слов по-прежнему подстерегают исследователя, которому может показаться, что, раз он знает и видит состав слова, он может «прочесть» его значение. Здесь приходит в голову ситуационно очень близкий парадокс с названиями ломбарда. Нем. *Lombard* (откуда рус. *ломбард*) формально-этимологически значит 'ломбардец, житель Ломбардии', франц. *mont-de-piété* и того «прозрачнее», оно буквально значит 'гора благочестия'. Спрашивается, что общего между этой их «прозрачной» структурой и реальным значением обоих слов — 'кредитное учреждение, ссужающее деньги под залог движимого имущества, ломбард'? Не случайно проблеме «прозрачных» слов сейчас посвящаются специальные труды[27], и она в полный рост стоит перед нами в практике праславянской лексикографии.

Впадать в пессимизм, впрочем, тоже не следует, правильное представление относительно наших возможностей и их ограничений — это тоже достижение в таком деле как реконструкция древних значений. На этом пути мы все-таки можем продвинуться и углубить семантическую историю известных нам слов прозрачной словообразовательной структуры или хотя бы сущест-

[26] *В. В. Виноградов.* Чтение древнерусского текста и историко-этимологические каламбуры // ВЯ. 1968, № 1. С. 17; *Б. А. Ларин.* История русского языка и общее языкознание. М., 1977. С. 83 и след.

[27] *G. Ernst.* Ein Blick durch die durchsichtigen Wörter. Versuch einer Typologie der Wortdurchsichtigkeit und ihrer Einschränkungen // Linguistica. XXI. Ljubljana, 1981. S. 47—70.

венные моменты этой истории. Среди этих слов могут быть такие важные социальные термины, как др.-рус. *изгои*. Мои соображения на этот счет оформились уже после сдачи в производство 9-го выпуска ЭССЯ, и включить их туда уже не было возможности, поэтому я пользуюсь случаем, чтобы поделиться ими здесь. Это может также считаться ответом на вопрос: что дает праславянская реконструкция для познания более поздних слов и значений. «Материалы» И. И. Срезневского (I, 1052) предельно кратки, они толкуют слово *изгои* с помощью лат. *exsors* и нем. *friedlos*. СлРЯ XI—XVII вв. (Вып. 6, 138) дает, основываясь на «Правде Русской» (кр.) и некоторых других источниках, весьма обстоятельное толкование: 'человек, оторвавшийся от своего сословия (выкупившийся холоп; князь, потерявший княжество; разорившийся купец и т. п.)'. Это созвучно с толкованием Даля (Даль^2 II, 19): *изгóй* м. стар. 'изверженец? исключенный из счету неграмотный попович; князь без княженья, владенья; проторговавшийся гость (банкрут), не платящий податей'. В нашем привычном сознании изгой, действительно, сливается, синонимизируется со словами ряда *отверженный*, *отщепенец*, но определяющим и более ранним значением, или признаком, было нечто другое. Помня свои собственные предостережения, мы не претендуем на реконструкцию всего живого значения этого слова в древности. Однако семантико-этимологическая реконструкция слова *изгои* может идти по пути более внимательного учета семантики глаголов, непосредственно мотивировавших слово *изгои*: др.-рус. *изжити* 'потратить, израсходовать на существование', особенно — рус.-цслав. *иждивитися* 'израсходоваться', значение которого подкрепляется и другими славянскими (в.-луж. 'прокормить'). Данные по истории общества тоже говорят о том, что изгойство означало определенное о б е с п е ч е н и е, пусть с моментами отделения и ограничения в правах. Эти наблюдения оформились у меня при рецензировании труда историка М. Б. Свердлова «Генезис и структура феодального общества в Древней Руси». Попутно напомню, что и Даль заключает свое толкование слова *изгой* весьма информативным указанием: «...н е п л а т я щ и й п о д а т е й». Так что сводить все к прямолинейному толкованию слова и семантики *изгой* как 'изжитый, выжитый (из своей среды)' было бы не вполне точно. Справедливее акцентировать связь *изгои* с активным и поныне социальным термином *иждивение*. Слав. **jьz-gojь*, **jьz-živiti* очень напоминают по структуре греч. ἐκ-τρέφω 'выкармливать, вскормить', ἐκ-τεθραμμένος 'вскормленный (например, сын)'. Есть ли основания говорить тут о ранней славянской кальке с греческого юридического термина (что может поставить под вопрос праславянскую древность нашего слова), неясно.

Понятно, что проблема реконструкции — главная и всеобъемлющая в праславянской лексикографии. Она обязательно присутствует при решении

всех других теоретических и практических проблем, которые встают перед составителями словаря праславянского языка. Для краткости остановимся на двух важнейших проблемах лексикологии, которые часто встречаются в практике праславянской лексикографии. Первая из них — омонимы в праславянском словаре, вторая — антитеза нарицательных и собственных имен и праславянский словарь.

С омонимами и омонимизацией приходится считаться на всех уровнях исследований по лексикологии и лексикографии — синхронно-описательной и исторической. Существует небезосновательное мнение, что наиболее строгое, однозначное решение об отсутствии или наличии омонимов возможно на уровне непосредственного наблюдения и описания. Но и сама эта точка зрения строится на презумпции в т о р и ч н о с т и процесса омонимизации. Ясно, что история языка и реконструкция должны первым долгом вскрывать природу этой вторичности. Было бы странно механически переносить избыточную подачу омонимов в принципе в словарь диахронического типа, хотя на практике это встречается. Разумеется, праславянская лексикография показывает исходное единство вторично омонимизировавшихся случаев. Более подробно я говорю об этом в работе «О семантической теории в этимологическом словаре (Омонимы подлинные и ложные)». Там, где единства не удается доказать и мы имеем дело с подлинными омонимами, возникает вероятие интересной этнолингвистической ситуации — разнодиалектной их природы, как это вероятно и относительно древних синонимов. Категории лексикологии и лексикографии помогают пролить свет на сложную древнюю диалектную картину, этнические связи. Что касается трактовки омонимов в праславянской лексикографии, она, при всей ясности упомянутых принципов, оказывается разной в двух разных словарях — в ЭССЯ и ПС (возможно, если праславянских словарей было бы больше, мы имели бы еще больше разных вариантов трактовки древних омонимов, хотя хочется думать о возможности приближения к наиболее объективной картине действительного состояния). Возьмем один, но достаточно показательный пример. ЭССЯ (5, 119—120) содержит одну словарную статью **drobъ*, в которой объединено довольно много слов отдельных славянских языков с разными, казалось бы, значениями: 'внутренности; кусочки хлеба, накрошенные в молоко, суп и т. п.; осадок, подонки; крошка, мелочь; дробь; мелкие домашние животные'. Однако главное, что их объединяет в одной статье морфологически, — это производность или соотносительность с глаголом **drobiti* 'дробить, мельчить, разделять на кусочки'; семантически их объединяет одно основное значение или два близкородственных значения 'остаток; мелочь'. Именно так — как 'остаток' — можно понять региональные значения 'внутренности; потроха' (болг., сербохорв., словен., чеш., в.-луж., н.-луж.), потому что легкие, сердце, печень обо-

значены как о с т а т о к после отделения более ценных сортов мяса; осадок, подонки тоже обозначается как 'остаток', но вместе с тем, как это известно по способу обозначения (виноградных) выжимок и дрожжей, — это одновременно и крошево, крошки. Это замечание демонстрирует родство и как бы нейтрализацию трудноразличаемых значений 'остаток / мелочь'. Поэтому понятен способ обозначения д о м а ш н е й птицы и мелких д о м а ш н и х животных словами **drobъ*, **drobь* (польск., укр.) — это то, что остается за вычетом крупной скотины. Таким образом, мотивы объединения этого материала в одной словарной статье ЭССЯ как будто ясны. Это единое слово с общим значением лишь в т о р и ч н о у п о т р е б л е н о применительно к р а з н ы м объектам в отдельных славянских языках, общая природа чего видна, и она должна быть выделена при достаточно глубокой реконструкции. ПС поступает непоследовательно с этим материалом. Мы читаем в нем (ПС IV, 245—248): *drobъ* 1. 'то, что о с т а е т с я (осадок) после варки пива', затем *drobъ* 2. 'мелкие предметы, мелочь, отходы, остатки, крошки, мелкие домашние животные, птица' (семантическая доминанта 'остатки, отходы после обработки разных материалов' прослеживается и здесь по примерам из живых славянских языков) и, наконец, *drobъ* 3. 'внутренности животных (обычно — сердце, легкие, печень)'. Мы уже знаем (выше), что это — не что иное как вторичная лексикализация разных употреблений одного и того же значения и, чтобы быть последовательным, ПС мог бы выделить еще одно *drobъ* 'мелкие домашние животные и птица', которое в нем включено в одну статью *drobъ* 2. вместе с 'мелкими предметами'.

Поскольку я коснулся тома IV ПС, вскользь замечу, что этот словарь краковских коллег использует свое наметившееся значительное отставание от нашего словаря (ЭССЯ, Вып. 5 на D — 1978 г.; ПС, Т. IV — 1981 г.) для своеобразного рецензирования и комментирования нашего словаря в несколько одностороннем, большей частью критическом духе. Обычно не раскрывая своей аргументации, ПС сообщает свое предельно краткое мнение в ряде случаев, в том числе и по поводу нашего зачисления остатков после варки пива в остатки вообще: «Mało prawdopodobne», вариант — «Nie widać podstaw». Это меня и вынудило выше изложить подробнее эти «podstawy».

К вопросу об антитезе и м я н а р и ц а т е л ь н о е — и м я с о б с т в е н н о е могу сообщить, что для праславянской лексикографии, в частности для нашего ЭССЯ, она во многом снимается. Речь идет об эпохе или эпохах, когда исконно славянская ономастика (топонимия, особенно — антропонимия) еще не образует четкой антитезы, оппозиции, противостояния в отношении к апеллативному лексикону (сейчас это остаточно сохраняется только в микротопонимии), и это типологически очень интересно. Ведь известно, скольких терзаний сто́ит упомянутая антитеза лексикографии собственно русского

языка. Сказанное делает понятной практику нашего ЭССЯ — давать имя собственное (личное, местное, водное, племенное) со строчной буквы: **bělъ-gordъ*, **dorgobǫdjь*, **čamyslъ*. Это отвечает их формальной постановке в ряд с апеллативами, из которых они образованы. Правда, этот единый принцип (со строчной, а не с прописной буквы) распространяется нами и на ранние иноязычные включения в праславянский лексикон: **dunajь* / **dunavь, dъněprъ*, **dъněstrъ* и т. д.

Кончая, я хотел бы выразить нашу уверенность, что праславянская лексикография нужна как верный способ и путь к исследованию национально- и международно важных проблем. Достаточно сказать, что только из систематических занятий праславянской лексикографией и лексикологией могут вырасти по-настоящему новые, современные теоретические работы по праславянскому лингвоэтногенезу. С ростом народной культуры жажда самопознания стремительно возрастет, и удовлетворять ее призвана также и праславянская лексикография. Методологические искания языкознания всегда, как известно, находят отклики в смежных науках о человеческом обществе. Кажется симптоматичным, что вслед за лингвистами и их разысканиями древнедиалектного членения праязыка заговорили о диалектологии археологии и диалектологии этнографии. Впрочем, если эти диалекты не находят отражения в антропологии, это тоже по-своему интересно. Стремления во что бы то ни стало моделировать одну науку по другой, один уровень языка по другому и так уже принесли достаточно ущерба.

И самое последнее, что еще нужно сказать: лексикография, словари — это многие годы жизни составителей. Но серьезно заниматься из года в год составлением большого словаря — это не означает привычной р у т и н ы, т е о р е т и ч е с к о г о з а с т о я, как может показаться со стороны (сильно со стороны). Кто знает практику большой лексикографии ближе, тот не сомневается в том, что здесь каждый новый день приносит новое, заставляет ступать на неизведанные пути, решать новые задачи не только практики, а и теории.

О СЕМАНТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ В ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ. ПРОБЛЕМА ОМОНИМОВ ПОДЛИННЫХ И ЛОЖНЫХ И СЕМАНТИЧЕСКАЯ ТИПОЛОГИЯ

Вот уже более ста лет прошло с того времени, как Мишель Бреаль впервые употребил в 1883 г. слово *семантика*[1]. С тех пор общее языкознание то сближалось с этим понятием, то отдалялось от него, чтобы в наши дни вновь выстроить все свои насущные проблемы единым строем, лицом к единому центру притяжения — семантике. Не так давно предпринимались более и менее серьезные попытки «фонологизации» всех уровней языка, в том числе семантики, описания ее в духе семантических дифференциальных признаков, семем = фонем и их семантических вариантов, их семантизации и т. д. Теперь же мы все чаще видим, что не только семантика слова описывается через семантизированный контекст, но сама дефиниция слова, специально сконструированное высказывание, синтаксическое сочетание зондируется как порождающая среда, которая мотивирует значение слова и его словообразование. На смену структурному изоморфизму разных уровней пришли концепции семантического преобразования, трансформации неких единых (глубинных, общих, универсальных) семантических структур синонимическими средствами разных уровней[2]. Каждая концепция претендует на особую

---

[1] *F. Schalk.* Les tendances actuelles de la sémantique historique: la filiation des significations // Lexicologie et lexicographie françaises et romanes. Orientations et exigences actuelles. Colloques internationaux du Centre national de la recherche scientifique. Strasbourg, 12—16 nov. 1957. Paris, 1961. P. 69.

[2] *Е. С. Кубрякова.* Типы языковых значений: Семантика производного слова. М., 1981, passim: *В. Н. Телия.* Типы языковых значений: Связанное значение слова в языке. М., 1981. С. 46.

близость к реальным процессам в языке, и каждая концепция имеет право на объективный анализ ее возможностей, для которого здесь нет места. Отметим лишь, что оба названных выше подхода — структуралистский и генеративистский — пробовали силы на семантике слова, в конечном счете замкнулись, так сказать, на ней; больше того, семантика — это и есть основной фокус (focus) исканий нынешнего общего языкознания.

Ввиду усиливающегося напора новых идей и терминов каждому из нас было бы полезно выработать правильное представление о предмете, а это вовсе не так легко, поскольку в нынешней лингвистике слишком многое развивается под знаком метафоры, как неоднократно уже отмечалось. «Вычислить» порождающую синтаксическую модель, описать и вместе — объяснить акт порождения словообразовательной модели, в качестве источника деривации изучать собственную интерпретаторскую дефиницию, свой, так сказать, семантический метаязык, соглашаться с тем, что наша «перифраза, приписываемая производному слову, является одновременно и реальным источником его порождения»[3], соотносительность существовавших задолго до того производных слов и их значений с нашими возможными синонимическими суждениями о них принимать за сам а к т п о р о ж д е н и я слова, полагать достаточным при описании семантики через синтаксис, чтобы наша дефиниция отражала «простейшее суждение об обозначаемом», «знание обычного говорящего / слушающего»[4], забывая при этом, что это знание и компетенция того, кто впервые назвал, обозначил (νομοθέτης, ὀνοματοθέτης — автор номинации), — по меньшей мере, не одно и то же, — может ли все это объективно приблизить нас к познанию предмета — значения слова? Такой вопрос кажется закономерным. Не предвзяты ли популярные идеи о компрессии, универбации в слове и его значении целых предложений? Скажем, утверждают, что слово *финка* 'нож' есть фамильярное образование от терминологического сочетания *финский нож*[5]. С таким же — или даже бóльшим — основанием можно считать словосочетание *финский нож* развертыванием первичного *финка*. Вполне реально, что это *финка* II 'нож' — фигуральное употребление нейтрального *финка* I 'женщина', а процесс универбации приписывается данной ситуации искусственно. Номенклатура финки идет не от Госкомитета стандартов и не от финнов, потому что у финнов, естественно, все ножи «финские», а означенная реалия у них называется *puukko* от *puu* 'дерево', т. е. 'нож с деревянной ручкой'. На *финский нож* у Есенина тоже не стоит осо-

---

[3] *Е. С. Кубрякова.* Указ. соч. С. 47.

[4] Там же. С. 55.

[5] Пример взят из: *Л. Л. Кутина.* К вопросу об омонимии и ее отражении в словарях современного русского языка // Лексикографический сборник. М., 1960. Вып. IV. С. 57.

бенно полагаться; людям поверхностной культуры свойственно иногда выражаться книжно, а у финки среда порождения явно блатная. Я не настаиваю, что дело с финкой было именно так, вплоть до деталей (нужна документированная история даже для такого позднего слова), но я настаиваю на отрицательном воздействии всякого рода предвзятых идей, одной из которых я считаю утверждение, что значение всякого сложного или производного слова есть обязательно свертывание целой фразы, синтаксического высказывания. Мы не должны забывать о возможности иного пути — одноактного, моментального образования слова и его значения несинтаксическим способом (здесь вспоминается не очень престижная, но уместная идея штампа, word-coinage, Wortprägung). Анализ глубинных предпосылок данного явления лучше предоставить психологам. Это не отрицает возможности переформулировать, «rewrite» всякое такое слово нашей собственной перифразой, но будем называть при этом описание — описанием, а порождение — порождением.

Но если отвлечься от того несколько неблагоприятного впечатления, которое создается вследствие затянувшейся недооценки автономности такого уровня языка, как семантика, сначала со стороны структуралистов с их изоморфизмом, потом — генеративистов с их универсальными трансформациями, — если от всего этого отвлечься, то можно утешить себя одним положительным итогом: в центре внимания языкознания сейчас находится синонимия. Что же, синонимия этого заслуживает. Типология семантики строится в основном на изучении синонимии, это применяется все шире и в этимологических исследованиях, этимологических словарях. Опыт исследования синонимов поучителен для изучения омонимов, к которому мы переходим. Ср. их комплементарные характеристики: синоним — общность значения минус форма ~ омоним — общность формы минус значение. Ясно, насколько остро фокусируется внимание этимолога на значении омонима. Триумф этимологического исследования — это умение решать задачи на омонимы. Недаром Э. Бенвенист посвятил свои «Семантические проблемы реконструкции» омонимам, вскрытию единства вторичных омонимов. Это, в сущности, реконструкция этимологических связей франц. *voler* 'летать' и *voler* 'воровать', у которых все различно — семантика, грамматика, деривация, сочетаемость, но есть моменты нейтрализации — общая форма *vol* 'полет' и 'воровство' и тонкий семантический переход, значение 'ловить на лету', показывающие, что вначале было одно слово [6]. В том, что это не случайность, а правильно подмеченная типологически повторяющаяся в разных

---

[6] *Э. Бенвенист.* Семантические проблемы реконструкции // *Э. Бенвенист.* Общая лингвистика. М., 1974. С. 332—333.

языках ситуация, мы убеждаемся, работая над синонимически близким материалом славянских языков. Славянский пример более архаичен, чем французский (постлатинский). В славянском мы имеем остатки отношений семем и еще более реликтовые следы индоевропейской *-e/-o-*апофонии. Известно, что в славянских языках в значении 'лететь, летать' широко распространены продолжения праслав. **letěti*, **lětati*. Вокализм этих форм обобщен даже именными производными, что, скорее всего, вторичная черта. Но вот «Похвала Кириллу Философу Климента» по списку XIV в. дает дважды совершенно особые формы с той же семантикой: «**Ѩко крилатъ прѣлатааше всѧ страны; Прѣлата ѥж ѩко ѡрелъ**»[7] (этими словами прославляется св. Константин-Кирилл, моментально реагировавший на всякую ересь и устремлявшийся на борьбу с ней). Казалось бы, какая нам польза в этом случайном свидетельстве? Но стоит обратить внимание на глагол **latiti*, представленный в сербохорватском и словенском языках в значении 'хватать(ся), браться за что-либо'. Между прочим, это последнее слово до сих пор не объяснено (Э. Бернекер пишет о нем «dunkel», а П. Скок даже и этого не пишет). Можно не сомневаться, что оно так и осталось бы без этимологии, если бы не семантика, семантическая типология, конечно, с опорой на данные формальных уровней.

Не трудно заметить, что у глагола **latiti* 'хватать' много общего с упомянутым цслав. **прѣлатати** 'пролетать (об орле, т. е. о птице хищной, хваткой)'; что же касается последнего глагола, то он семантически почти сливается с известным **lětati*[8]. Корневое *-a-* (**latiti*, **latati*) — это продленное *ō* в производных формах на базе форм на *-e-*. А семемы 'летать' и 'хватать', как видим, и здесь сошлись в переходном значении 'хватать на лету', как в позиции нейтрализации. И здесь вначале было одно слово. Вот именно «было», — скажут нам, а поэтому дело этимологии — заниматься тем, что было давно, и не распространять свои внушения на общелингвистическую теорию семантики, омонимии, лексикологии, поскольку преимущественная база этой теории (или теорий) — синхрония или даже панхрония. Но тут происходит аберрация понятий: думают — то, что было, то уже отошло в прошлое, и уж, конечно, безвозвратно. Такие примерно мнения высказывались и в споре с В. И. Абаевым другими участниками известной дискуссии по омонимии[9].

---

[7] *П. А. Лавров.* Материалы по истории возникновения древнейшей славянской письменности. Л., 1930. С. 93. (Тр. Славян. комис. АН СССР. Т. 1).

[8] Бесспорно сюда же относится цслав. **разлатыи** 'широкий (о чаше)', не из **раззлатыи,* как см.: *S. Herodes.* Církevněslovanské ad. *разлатыи* // Slavia. 1980. Roč. 49. Seš. 4. S. 397—398.

[9] См. выступления В. М. Жирмунского, Б. А. Ильиша // Лексикографический сборник. С. 66, 91.

Во-первых, никто еще не доказал бесследного исчезновения того, что было в языке, хотя упрощенные представления о коммуникации, кажется, работают в пользу этого мнения. Во-вторых, в языке абсолютных утрат гораздо меньше, чем переосмыслений, а это уже меняет дело.

В данный момент нас больше всего интересует проблема омонимов в этимологических словарях. Эта проблема специфична не потому, что лексикология и лексикография различны. Я бы не хотел быть так понятым. Просто трактовка слова и подача словника в словаре требуют постоянного учета их специфики. Словарь — это не текст, а список, поэтому он вынужденно дает интенсивную, сгущенную сравнительно с текстом информацию, и на это уже указывали разные исследователи. Не нужно ждать от словаря отражения системы языка, тем более что имеются сомнения в ее существовании [10], и тут не помогут никакие силлогизмы вроде того, что «в языке все системно, и если лексика — язык, то и она должна обладать качеством системности» [11], или пражского тезиса, что язык — это система систем, или метафоры, что словарь дает диасистему. Но именно словарь — великолепный критерий правильности лексикологической работы. Лучший ответ на вопрос о лексикализации грамматической или словообразовательной формы слова — это включение соответствующей самостоятельной словарной позиции и, наоборот, невключение, когда лексическое грамматикализуется. Свидетельства словарей — лучший материал при обсуждении проблемы омонимов.

Две важные омонимические словарные позиции в новом капитальном «Этимологическом словаре тюркских языков» Э. В. Севортяна также привлекли наше внимание. В томе «Общетюркские и межтюркские основы на букву Б» (М., 1978. С. 59—60) читаем: *балық* / *balıq* 'стена; обнесенный стеной', 'город, окруженный стеной', 'крепость', 'загородь' и *ба:лық* / *ba:lıq* 'рыба'. Эти названия города и рыбы трактуются как абсолютные старые омонимы и в других словарях [12]. Действительно, между ними нет ничего общего, кроме чрезвычайно близкой формы, значение же сопротивляется объединению этих слов. Имеющиеся сведения по типологии образования синонимов со значением 'город' в разных языках не содержат указания на рыб; напротив, они восходят обычно к словам 'ограда', 'укрепленное место', 'место',

---

[10] *M. Wandruszk.* Das asystematische System der menschlichen Sprache // Systeme und Systemgrenzen / Hrsg. von J.-H. Scharf. Halle; Saale, 1978. Цит. по рец.: *F.-H. Lange.* Deutsche Literaturzeitung. 1979. Jg. 100. Sp. 618.

[11] Выступление А. А. Реформатского на дискуссии по омонимии // Лексикографический сборник. С. 90.

[12] *M. Räsänen.* Versuch eines etymologischen Wörterbuchs der Türksprachen. Helsinki, 1979. S. 60—61.

'жилье' [13]. Таким образом, индоевропейская семантическая типология отвечает отрицательно на вопрос о связи слов 'город' и 'рыба'. Можно, конечно, допустить, что оба эти значения непервоначальны, и кое-какие основания для такого допущения содержатся в словаре Э. В. Севортяна. На слово *балық* 'город' приводится мнение Дёрфера о связи с названием глины, а в статье *ба:лық* 'рыба' сочувственно упоминается мысль С. П. Толстова о связи с названием болотистого водоема [14]. 'Рыба' как первоначально 'водяная, прудовая', а 'город' как 'замешанный из жидкой глины' — типологически уже вполне приемлемые семантические реконструкции, правда, в словаре они не даются, может быть, потому что это слишком выходит за рамки тюркского языкового состояния. Уже монгольский дает особые соответствия как для значения 'город', так и для значения 'рыба'. Если это, может быть, не абсолютные омонимы, то во всяком случае омонимы древние.

Разумно оставить вопрос открытым со всей вытекающей отсюда двусмысленностью, как, например, возможность двоякой интерпретации одного этнокультурного эпизода из древней истории Юга нашей страны. Мы остановимся на этом эпизоде, потому что, опираясь на свой опыт работы над «Этимологическим словарем славянских языков», считаем омонимы, как и синонимы, также категориями этнолингвистики, ее плохо изученным материалом. Но сначала все-таки о тюркских названиях города и рыбы в географической номенклатуре и прочих реликтах, дошедших до нас из истории Причерноморья и Приазовья. Встречая в этом регионе формы, созвучные тюрк. *balıq*, исследователи обычно видят в них названия рыбы. В первую очередь сюда попадает название *Балаклава* в Крыму [15]. Но эта этимология встречает серьезные возражения, и гораздо более веским представляется отождествление, кстати, очень старое, *Балаклава* и Παλάκιον 'город Палака'. Византийское название Меотиды, Азовского моря, — Καρμπαλούκ тоже довольно уверенно производят от тюрк. *baliq* 'рыба' или даже от незасвидетельствованного **kärbalyq täŋiz*, якобы 'осетровое, белужье море' и даже ссылаются на позднее ит. *Mare delle Zabache* 'чебачье, рыбье море' [16]. Но византийский автор Цецес, подробно говорящий об этом редком названии в

[13] *C. D. Buck.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages: A contribution to the history of ideas. Chicago; London, 1971. P. 1307—1309.

[14] *С. П. Толстов.* Города гузов. III. «Балык» — город, и «балык» — рыба // Сов. этнография. 1974. № 3. С. 71, след.

[15] Фасмер I, 112.

[16] *M. Vasmer.* Untersuchungen über die ältesten Wohnsitze der Slaven. I. Die Iranier in Südrußland // M. Vasmer. Schriften zur slavischen Altertumskunde und Namenkunde. Bd. I. Berlin; Wiesbaden, 1971. S. 166.

поэме «Хилиады» (XII в.), задает гораздо более сложную загадку, чем требуется для «рыбьей» этимологии:

Τοῖς Σκύθαις αὕτη καρμπαλοὺκ ἡ λίμνη κλῆσιν φέρει.
Τὸ Καρμπαλοὺκ δ᾽ἑλληνισθὲν πόλις ἰχθύων λέγει.
Τὸ Κὰρμ γὰρ πόλις σκυθικῶς, τὸ δὲ παλοὺκ ἰχθύες.

(У скифов это озеро носит название καρμπαλούκ.
Καρμπαλούκ по-гречески значит 'город рыб',
ибо κάρμ по-скифски — 'город', а παλούκ — 'рыбы') [17].

Для книжного эрудита XII в. тюрки тоже были скифами, ср. у него «скифское» παλούκ 'рыба'. Но упорное упоминание города и даже какого-то скиф. κάρμ 'город', не известного ни в тюркских, ни в других языках региона, не следует считать сплошной выдумкой византийца [18], хотя, конечно, его толкование 'πόλις ἰχθύων' — это плод путаницы. Но здесь отразилась и глухая традиция, ср. несколько темную скифскую глоссу Гесихия: Καρδίαι οἱ Ἕλληνες παρὰ Σκύθαις διὰ τὸ πόλιν αὐτοὺς Ἑλληνίδα Καρδίαν διαρπάσαι Καρδίαι — 'греки у скифов, <прозванные> за то, что они (скифы) разграбили греческий город Καρδία'. Греческого, конечно, здесь только созвучие с καρδία 'сердце', в остальном ср. осет. *kært* 'двор' и прочую культурную лексику вокруг арм. *k̄ert'* 'город' [19]. В общем, вместо того чтобы отождествить этот след скифского названия города с тюрк. *balıq* 'город', почтенный византиец прибег к более популярному омониму *balıq* 'рыба', что в отношении рыбообильного Азовского моря так естественно. Но мы подозреваем, что связь с рыбой у этой номенклатуры вторична.

Другой византийский автор, Феофан, упоминает Βαλγίτζιν, τὸν ἄρχοντα Βοσπόρου (Theophanes I, 373, ed. de Boor) 'Балгици, архонта боспорского', в рассказе о событии конца VII в. н. э. в Фанагории. Исследователь текста В. Ф. Минорский, понимая, что здесь речь может идти только о тюркизме, отмечает «the strange ambivalence of the Turkish *balïy* / *balïq*, meaning both 'fish' and (in older texts) 'town'» [20]. По его сообщению, Коковцов связывал *Balgitzi* со значением 'город', но сам Минорский предпочитает значение 'рыба'. Он опирается при этом на осет. *Kæftysaer* 'Глава рыб' в нартовском эпо-

[17] *J. Marquart.* Καρμπαλοὺκ, der «skythische» Name der Maiotis // KSz., 1910. XI, old. 1 kk.

[18] Там же. С. 8.

[19] *В. И. Абаев.* Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М.; Л., 1958. С. 586—587.

[20] *V. Minorsky.* Balgitsi — Lord of the fishes // Wiener Zeitschrift für die Kunde des Morgenlandes. 1960, № 56. S. 130 и след., особенно 134.

се, которое В. И. Абаев истолковал как название боспорского царя[21]. На выделяемом здесь скиф. *kapa-* 'рыба' построена известная этимология В. И. Абаева, который увидел в названии города Παντικάπαιον скифское 'путь рыбы' и даже в названии города Кафа (визант. Καφᾶς) осторожно предположил алан. *kafa* 'рыба'[22]. Против этой интереснейшей этимологии не хотелось бы спорить, но одно дело город при проливе как 'путь рыбы' и другое дело город *Кафа* — просто 'рыба'... Известная нам семантическая типология не знает примеров такой реконструкции для апеллатива 'город', но она знает примеры происхождения 'город' от 'возвышенное место'. Такой доскифский апеллатив **kapa-* со значением 'гора', вторично — 'город' может скрываться в названии Кафы. Вспомним, что и Παντικάπαιον (**panti-kapa-*) первоначально назывался холм у пролива. Естественно предположить, что скифы осмыслили эти названия вторично в связи со своим *kapa* — 'рыба', потом район освоили тюрки и поступили так же — с помощью своего *balıq* с той разницей, что у них это слово допускало омонимическую широту толкования 'рыба' — 'город'.

При решении нашей омонимической дилеммы очень важен культурный контекст. И надо сказать, что городами этот район Северного Причерноморья славился, пожалуй, еще больше, чем рыбой. Не следует проходить мимо того факта, что и нынешнее название *Азовское море* — это, в сущности, 'море города Азова'. Подобно тому как позже средневековые путешественники отмечали «сорокоградье» Крымской Готии, до них некий Равеннский аноним перечислял удивительно многочисленные города — свыше 30 civitates на свежих руинах античного Боспорского царства[23].

Изложенный этюд об омонимах 'город' и 'рыба', — конечно, этимологический. Вместе с тем его трудно отнести только к тюркологии, ибо его задача по силам совокупному методу, в данном случае — методу семантической типологии. Перспектива извлечения этноисторической информации из изучения омонимов важна для всей нашей науки и культуры. Категория омонимов больше, чем иные лексические категории, связана с фактором времени. Синонимизация, т. е. употребление другого слова в том же значении, — не обязательно длительный процесс, ср., например, заимствование нового синонима из другого языка или диалекта. Но омонимизация первоначально близких словоупотреблений — дело немалого времени. Отраженная в омонимах смена значений иногда столь глубока, что ее можно приравнять к миниатюрной ломке сознания, а ломка сознания, как известно, — самый труд-

---

[21] *В. И. Абаев.* Указ. соч. С. 575—576.

[22] См.: Основы иранского языкознания: Древнеиранские языки. М., 1979. С. 293.

[23] *T. Pekkanen.* The Pontic civitates in the Periplus of the Anonymus Ravennas // Arctos. Acta philologica fennica. 1979. XIII. P. 116.

ный вид ломки. Можно сказать, что критический анализ и потенциальная редукция инвентаря омонимов языка — ответственнейшая задача этимологической реконструкции. На известной дискуссии по омонимии в Ленинграде некоторые участники обменялись мнениями о словах *ласка* I 'животное Mustela vulgaris' и *ласка* II 'нежность' и согласились с тем, что это абсолютные омонимы: очень уж злое, хищное животное ласка, так что какая тут нежность, ласка. Но дело в том, что именно злое в окружающей природе человек остерегался называть своими именами и предпочитал задабривать хорошими эпитетами. Табу в названиях ласки — это целая проблема, например в романском и вообще европейском языкознании. Семантика этих названий — 'женушка', 'красавица', 'невеста', 'кумушка' и т. д. — говорит сама за себя и, конечно, делает совершенно очевидным первоначальное этимологическое единство слов *ласка* 'Mustela vulgaris' и *ласка* 'нежность'.

Мы видели, что и более древние омонимы могут на поверку оказаться давно разошедшейся полисемией. Фактор времени скрадывает и примиряет, как все на свете, непримиримую, казалось бы, антитезу «омоним — полисемия». Как между исконными и заимствованными элементами лексики, так и между омонимами и полисемией главное различие — хронологическое.

Любой плодотворный метод не всесилен. Этимология может успешно анализировать сложнейшую проблему доказательства неизначальности омонимов *ласка* I и *ласка* II, глаголов *voler* 'летать' и *voler* 'воровать', аналогично — слав. **latati* I и **latati* II. Неизначальность множества словообразовательных омонимических случаев (глагольных, приставочных) этимологически ясна. Но от этого степень их омонимичности или омонимизации не делается яснее. Очевидно, для решения этих задач консультации одной этимологии недостаточно. Как это ни парадоксально, установить давний процесс омонимизации иногда бывает легче, чем процесс омонимизации, совершающийся на наших глазах. Это вовсе не значит, что с древними омонимами, доказательством их подлинности / неподлинности этимология всегда справляется легко. Достаточно сличить разные этимологические словари, чтобы увидеть, как здесь трудно бывает преодолеть инерцию традиции и как здесь подчас нужна новизна типологически обоснованного критического взгляда, учет внешнелингвистического, этноисторического и культурного аспектов, чтобы продвинуть исследование вперед.

Об омонимии слов писали и говорили много. Но было бы ошибкой думать, что о ней сказано все. Жильерон ярко (слишком ярко) говорил о разрушительной потенции омонимии, в чем другие позднее усмотрели «остроумные преувеличения Жильерона» [24]. На омонимию, как и на синонимию, по-

[24] *E. Öhmann.* Über Homonymie und Homonyme im Deutschen // Annales Acad. scient. fennicae. Ser. B. 1934. T. 32. 1. S. 1.

15. Заказ № 2261.

жалуй, больше обращалось внимания в плане словесного искусства и художественного творчества, стилистики слов. При этом в принципе редко выходили за рамки вопросов использования средств. Принципиальное нежелание многих лингвистов-специалистов одного языка говорить о синонимах в разных языках или диалектах (в чем их только поддерживал жупел единства языковой системы) приводило к тому, что оставался в тени важный вопрос диалектного генезиса синонимов и омонимов. Очевидно, так думают не все, ср. хотя бы пример известного «Словаря избранных синонимов в основных индоевропейских языках» К. Д. Бака. Вертикальная стилистическая стратиграфия, например высокий / низкий / средний стиль и соответственные синонимы — высокие и низкие, восходят тоже в конечном счете к горизонтальной — диалектной — стратиграфии и ее синонимии, ср. «язык богов» у древних греков, поэтический (жреческий) наддиалект у других индоевропейцев, проявляющийся прежде всего в междиалектной синонимии. Вообще лишенным синонимии и омонимии, как и прочих избыточных черт, мог бы быть лишь язык искусственный, метаязык. Множество синонимов и омонимов есть проявление полидиалектности любого естественного языка с длительной историей. Наличие синонимов в древней лексике славянских языков уже используется при изучении этнических судеб праславян. Я имею в виду работу В. В. Мартынова «Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия» (Минск, 1978), и если несколько прямолинейны выводы автора о том, что в праславянской лексике элементы, близкие к латинскому, заимствованы из италийского, а близкие к балтийскому происходят из последнего, то это лишь доказывает, что надо продолжать поиски в этом ответственном направлении.

Относительно омонимов показательны данные «Этимологического словаря славянских языков». В опубликованных восьми выпусках этого словаря содержится значительное количество потенциально древних омонимов: *abolnь I 'яблоня' — *abolnь II 'заболонь в дереве'; *bag(ъ)rъ I 'багряница' — *bag(ъ)rъ II 'колесо, часть колеса и т. п.'; *bajati I 'говорить' + *bajati II 'гореть, мерцать'; *bredъ I 'бессознательное состояние' < 'брод' + *bredъ II 'лоза; ива'; *brězgъ I 'терпкий вкус' — *brězgъ II 'рассвет'; *brъvьno I 'десна' — *brъvьno II 'бревно'; *bukъ I 'Fagus' — *bukъ II 'шум'; *bъtarь I 'бочка' — *bъtarь II 'стебель'; *cěniti I 'ценить' — *cěniti II 'скалить зубы'; *cěriti I 'лечить' — *cěriti II 'ухмыляться'; *čakati I 'ждать' + *čakati II 'бить, ломать'; *čapъ I 'орудие' + *čapъ II 'пчела'; *čekati I + *čekati II; *čilěti I 'исчезать' — *čilěti II 'выздоравливать'; *činъ I 'ряд' — *činъ II 'зев'; *čurъ I 'дым' — *čurъ II 'запрет'; *čьvanъ I 'надутый' — *čьvanъ II 'смешанный'; *durъ I 'глупый' — *durъ II 'острие'; *dylъ(ь) I 'пыль' — *dylь II 'длина';

**gaditi* I 'гадить' — **gaditi* II 'угождать'; **gajь* I 'роща' — **gajь* II 'крик'; **galъ* I 'голый' — **galъ* II 'черный'; **gasati* I 'угасать' — **gasati* II 'бегать'; **gorniti* I 'говорить' — **gorniti* II 'иметь прогорклый вкус'; **gričь* I 'утес' — **gričь* II 'пес'; **gromъ* I 'гром' — **gromъ* II 'жертва'; **grotъ* I 'острие' — **grotъ* II 'жерло'; **grudьnъ* I 'неровный' — **grudьnъ* II 'отвратительный'; **xula* I 'хула' — **xula* II 'сустав'; **jьva* I 'Salix' — **jьva* II 'полоса'(зна́ком «+» обозначена непервоначальная омонимия).

Подавляющее большинство перечисленных омонимических пар выдвигается и анализируется впервые в этимологической лексикографии. В известном славянском этимологическом словаре Э. Бернекера учтены из них лишь немногие: **bag(ъ)rъ* I, II, **bajati* I, II, **brězgъ* I, II, **grotъ* I, II (т. е. четыре пары вместо 30). Остальные лексемы или поданы неполно (без омонимов) или полностью отсутствуют. Вместе с тем в предшествующей славянской этимологической традиции трактовались как омонимические многие лексические связи, которые не выдержали критики и в результате семантической реконструкции признаны едиными словами, тем самым общая картина древней славянской лексической омонимии как бы сдвинулась и приняла иную конфигурацию, а через нее — и древний образ мыслей и культуры в известном, разумеется, приближении. Например, доказываемая нами неизначальность омонимии, т. е. этимологическое единство праслав. **borna* 'борона' и **borna* 'защищенный вход, ворота', отражает переход к более совершенной бороне в виде четырехугольной решетки с зубьями, которая — в случае надобности — могла преграждать вход.

Выше уже можно было наблюдать, что в качестве отдельных членов омонимических пар оказываются ранние заимствования (**bagъrъ* I) или слова узкодиалектного распространения (**brъvьno* 'десна', **čьvanъ* 'смешанный', **dylь* 'пыль', **gričь* 'пес'). Омонимизация как бы сигнализирует (и символизирует) схождение разнодиалектных элементов, которое, видимо, следует признать сущностью любого, в том числе и праславянского, глоттогенеза, многокомпонентность которого, раньше обычно игнорировавшуюся, мы должны изучать во всех проявлениях, в том числе и в древнедиалектных свидетельствах омонимии и синонимии. Некоторых лингвистов, привыкших выводить всякое языковое развитие из первоначального монолитного единства, заботит реальность сосуществования разнодиалектных элементов в «едином языковом сознании». Но, во-первых, потенциально такое сосуществование было возможным на правах междиалектного общения. А, во-вторых, «единство языкового сознания» не следует понимать в образе одного праславянина, который владел бы всеми, даже узкодиалектными лексемами, омонимами и синонимами, число которых было велико. Такого собирательного носителя языка мы не нашли бы и сейчас, в нынешних условиях. Тем более его не бы-

ло тогда, в условиях ранней диалектной сложности, далекой от того образа единства, каким себе представляли праязык. С мыслью о диалектной сложности словарного состава мы лучше поймем предпосылки для создания как синонимии, так и омонимии.

Резюмируя изложенное, можно отметить, что сейчас центр интересов общего языкознания — в семантике. Резкая семантизация языкознания породила и предвзятые идеи об обязательном порождении семантики слова из фразы, хотя слова и их значения, определенно, могут получаться несинтаксическим путем. Недооценка автономности семантики слов — недостаток языкознания, но внимание к синонимии в целом оправданно. Вся типология семантики основана на синонимии, и она важна в этимологических исследованиях и словарях. Задачи этимологической реконструкции тесно связаны с изучением омонимии. Природа как синонимии, так и омонимии диалектна, изучать ее необходимо также в плане внешней лингвистики, заимствований, этнолингвистики, истории культуры, в больших диахронических масштабах. Разнодиалектная омонимия, а из нее — омонимия междиалектная сопутствовала глоттогенезу, в частности образованию праславянского языка.

ПОСЛЕСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОГО СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА» М. ФАСМЕРА

Хотя выход второго издания переведенного на русский язык и дополненного «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера первоначально не предполагалось приурочить к 100-летнему юбилею со дня рождения покойного автора, совпадение одного и другого события в нынешнем, 1986 г. трудно не признать знаменательным. Во всяком случае, перед нами еще один и притом яркий пример из жизни и судьбы книг, и особенно словарей. Возвращаясь к своим размышлениям о том, что этимологические словари — словно люди, которые их пишут: они живут и стареют, они тоже не бессмертны (об этом говорится в моей статье в «Вопросах языкознания» за 1978 г. и в ее немецкой версии в «Zeitschrift für slavische Philologie», 1986 г., — последний том этого западногерманского журнала целиком посвящен 100-летию Фасмера), мы с глубоким удовлетворением видим, что словарь Фасмера живет, что он нужен и сейчас. Собственно, поэтому он и переиздается еще раз.

Долгожительство — удел классических произведений науки, одно из которых перед нами. Правда, и среди классики закономерно встречается много такого, что сохраняет историческое значение и держится как бы на плаву в основном с помощью мощного издательского аппарата и комментариев. В словаре Фасмера — и в этом его истинно классическое значение — полностью сохраняет свою научную актуальность первоначальный авторский текст, даже если бы он был оставлен без всяких дополнений и поправок. Прийти к такому заключению сейчас, три с половиной десятилетия спустя после начала выпуска немецкого издания, — значит признать выдающиеся качества оригинала. И это при том, что именно истекшая треть столетия ознаменовалась новым большим подъемом развития этимологических исследова-

ний и этимологической лексикографии, — развития, центром которого постепенно перестала быть Германия, прежде бывшая почти исключительным его центром (большая часть известных этимологических словарей языков мира — это отнюдь не преувеличение — вышла все в том же издавшем немецкого Фасмера гейдельбергском издательстве «Карл Винтер»). Непреходящая научная ценность того, что можно бы назвать «авторским инвариантом», — вот на что хотелось бы обратить внимание научной общественности и читателей с филологическими интересами, напутствуя новое издание Фасмера. Таких инвариантных ценностей насчитывается не так уж много в науке, успевшей поссориться и вновь помириться с младограмматиками, пережить структурализм и генеративизм, не говоря о многом другом. Ценность данного словаря — в богатстве фактического материала, в объективности и разностороннем освещении проблем. И сейчас, перелистывая и перечитывая (в который уже раз) этот первый том, понимаешь, что эта мысль — главная. Немаловажно отметить, что подобное стойкое впечатление испытывает пишущий эти строки, посвятивший немало труда не только переводу на русский язык, но и новым дополнениям из литературы, наконец, новым этимологиям, включенным в первое русское издание словаря Фасмера. Всему этому тоже свое место и время, и нельзя сказать, чтобы переводимый в нашей стране впервые словарь такого рода во всем этом не нуждался.

Последние мои научные дополнения и исправления, внесенные в предыдущее издание словаря Фасмера, датированы началом 1970-х гг., после чего прошло около 15 лет, а наука, конечно, не стоит на месте, и, задавшись целью «обновить» русского Фасмера еще раз, мы наверняка составили бы вновь картотеку последующих публикаций и дополнений, имеющих прямое отношение к разъяснению этимологической сущности целого ряда слов. Но для этого, во-первых, совершенно не оставалось необходимого резерва времени (оно уходило все последние годы на активно создаваемый и выпускаемый «Этимологический словарь славянских языков», о котором — ниже), во-вторых, новое, второе издание русского Фасмера уже по своему характеру не предназначалось для внесения новых дополнений: издательство прибегло к безнаборному, фотомеханическому воспроизведению неизмененного текста, уже известного читателям первого нашего издания. Надо отдать справедливость с том, что этот экономичный и достаточно быстрый способ дает возможность удовлетворить потребность в словаре Фасмера, покрытую далеко не полностью в результате осуществления первого русского издания. Мысль о новом, «исправленном и дополненном» издании, таким образом, угасала уже в зародыше, будя одновременно некоторые сожаления по этому поводу — отчасти у меня, отчасти у других, насколько мне об этом известно. Правда, сейчас, рассматривая эту ситуацию, я нахожу, что, как говорится,

«нет худа без добра» и что издавая словарь Фасмера неизмененным как бы к 100-летию ученого, мы не наихудшим образом показываем истинную ценность прежде всего упоминавшегося авторского инварианта, а не наших возможных дополнений, которых с течением времени может набежать довольно много. И не будем забывать, что основу, которую можно дополнять и поправлять бесконечно, дал один ученый, благодаря которому мы имеем первый полный современный (и по научному уровню — академический) этимологический словарь русского языка. Разумеется, до того были словари Горяева, Преображенского, но все это не полные и давно уже не современные словари; ныне издаваемый в МГУ словарь далек от завершения, а на новые проекты понадобится время, не говоря о прочих условиях. Я не хотел бы пускаться в историю вопроса или давать характеристику нынешнего состояния проблемы. Меня сейчас заботит другое.

История замысла перевода словаря Фасмера с немецкого языка на русский — история борьбы, имевшей целью доказать длительную пользу для нашей науки от такого предприятия, — оставалась уязвимой в глазах людей, привыкших рассуждать в таких случаях прямолинейно. «Фасмер — немец, — говорят эти люди, — а нам нужен наш русский этимологический словарь». Для работ такого рода единственный критерий — знание и умение, но не отбор участников по национальному признаку. Немецкая языковая оболочка гейдельбергского издания Словаря Фасмера, его, так сказать, метаязык описания были препятствием, которое вкупе с рыночной недоступностью (словарь вышел в ФРГ — малым тиражом — большой стоимостью на западногерманские марки) мешало ознакомлению с ним интересующихся советских читателей. Гейдельбергское издательство «Карл Винтер», как я уже сказал, выпустило с успехом много этимологических словарей древних и новых индоевропейских языков; они были изданы почти все на немецком языке, за малым исключением (например, греческий этимологический словарь Буазака был издан по-французски). Следствием этого и явилось наше намерение перевести словарь Фасмера с немецкого на русский, приблизив его тем самым к нашему широкому читателю-филологу (сам по себе факт перевода этимологического словаря с одного языка на другой — случай, редкий в мировой практике).

Теперь — о фигуре Фасмера. Фасмер Максимилиан Романович (а именно так звался он среди близко знавших его русских людей) родился в Санкт-Петербурге, там же учился, получил образование и выступил со своими первыми исследованиями как русист, славист, этимолог. Все его дальнейшие успехи, его замечательные обширные труды последующего времени коренятся в русской филологической школе. Он был русский немец, как тогда говорили, а среди русских немцев было немало достойных людей, и Фасмер из их

числа. Трудные послереволюционные годы застают его то в Саратове, то в эстонском Тарту, и лишь со временем он оседает в Германии. Но он навсегда остался связан с Россией через предметы своих ученых занятий — русский язык и русскую литературу (по условиям западных, в частности немецких, университетов филологам приходилось преподавать не только языкознание, но и литературу, без привычной для нас специализации на лингвистов и литературоведов). И в 1920-е, и в нелегкие 1930—1940-е гг. Фасмер не изменил этой своей репутации друга русского языка и культуры за границей. Об этом свидетельствовали очевидцы, знавшие ученого в годы нацистского режима, да и рассказы, слышанные от него самого. Фундаментальные исследования Фасмера по русской и славянской этимологии и ономастике по достоинству оценила Академия наук СССР, избравшая его своим иностранным членом.

С Фасмером-человеком я познакомился лично 30 лет назад, в дни работы Международного комитета славистов в Москве. Русский язык он знал и говорил на нем так, как говорят на родном языке, и происшедший затем отрыв был для него отрывом от родины (так, запомнилось, что он трогательно и несколько забавно сокрушался, что из-за этого не знает, как он выразился, нашей «трамвайной терминологии», и я до сих пор так и не понимаю, что же он имел в виду — лексику вождения трамвая, что сомнительно, или непринужденные трамвайные диалоги). По рождению, по культуре, приобретенной в детстве, по образованию он был русским человеком, ученым, сохранившим верность русской теме до конца жизни. Он был филологом русской школы; раскройте его словарь, и вы увидите, как много места отведено там диалогу с ее светилами — с Шахматовым (с которым он чаще расходится в толкованиях), с Ильинским (к которому бывает настроен критически), с Соболевским (многие конкретные суждения которого нередко принимает). Русская классическая русистика и славистика имеет право считать М. Р. Фасмера своим, и это не парадокс, а феномен сложной культурной истории, не более, впрочем, сложный, чем известный из учебников феномен «казанской школы польской лингвистики» с фактом одновременного вхождения Бодуэна де Куртенэ и Крушевского в число русских и польских языковедов.

К настоящему времени и немецкое издание Фасмера 1950—1958 гг., и русское дополненное 1964—1973 гг. заняли свое место в науке и ее истории, и между наличием одного и другого установились отношения, которые ни в коей мере нельзя трактовать в духе примитивном и поверхностном. Совсем наоборот, и я не боюсь повториться, сказав, что «оба издания словаря Фасмера — немецкое и русское — оказываются нужными друг другу, и в этом мимолетно отразилось глубоко серьезное представление об отношениях наших культур и наук друг к другу» (ВЯ. 1978, № 6. С. 22). Кстати, русским изданием, широко вошедшим в исследовательскую практику в нашей стране, до-

вольно активно пользуются за рубежом, хотя, впрочем, не всюду в одинаковой степени (более регулярно, например, в славянских странах, в США и реже в ФРГ, где обычно прибегают к немецкому).

Как известно, в начале 1950-х гг. положение сравнительного языкознания и этимологии у нас было еще далеко от условий, необходимых для создания своего такого словаря — ввиду перерыва традиций. И поэтому то, что потом было реально сделано, было продиктовано деловым, оперативным стремлением заполнить зияющую брешь, не вырывая при этом советскую науку из контекста мировой науки.

Слово похвалы надлежит адресовать всегда в первую очередь создателям таких словарей. Надо отдать должное чутью Фасмера как автора в плане науковедения, как сказали бы сейчас: момент для публикации он выбрал как нельзя лучше. Сам он об этом не пишет, а пишет лишь о внешних и в какой-то мере случайных биографических моментах. Суть же в том, что его словарь, опубликованный в первое послевоенное десятилетие, требовался именно тогда и притом как насущный хлеб нашей общей науки. Все это и свою единственную роль по уровню подготовленности и причастности к русской филологии ученый понял своим безымянным, так никогда и не высказанным чувством. А дело было в том, что, кроме Фасмера, тогда такой словарь для русского языка не сделал бы никто. Неслучайные эти соображения вызывают в памяти близкую параллель — другой человек, тоже в Германии и тоже в послевоенное десятилетие, также правильно оценил свои уникальные познания и свой долг, на этот раз в балтистике, и создал известный всем «Литовский этимологический словарь» (Э. Френкель, место издания, кстати, тоже Гейдельберг, «Карл Винтер»), до сих пор единственный словарь такого рода для литовского языка.

Сейчас другое дело: сейчас у нас имеются в достаточном количестве и достаточно опытные работники в области этимологической науки, есть — что тоже важно — читатели, способные с пониманием прочесть этимологическую публикацию, есть, наконец, общественное сознание нужности таких исследований и таких публикаций. Наши работы теперь — это заметная струя в мировом научном потоке. Время не прошло даром. Вот уже второе десятилетие Академия наук СССР продолжает регулярное издание нового «Этимологического словаря славянских языков (Праславянский лексический фонд)». Уже опубликованы 12 выпусков этого словаря (*А—К*), и сейчас ведется составление его статей на букву *L*. Словарь этот охватывает всё предположительно древнее лексическое богатство всех живых и мертвых славянских языков. Ясна не только научная, но и общественно-культурная важность такого труда (ср. выступление газеты «Правда» от 13 дек. 1984 г.). На этом достаточно обширном древнем славянском фоне особенно впечатляет

огромность собственно русского лексического вклада. И по-прежнему нельзя не сказать о чувстве неизменной признательности, которое испытывают к Фасмеру и его словарю практически на каждом шагу своей работы составители «Этимологического словаря славянских языков». Не будь своевременно выпущен труд Фасмера, наши дальнейшие исследования были бы во многом поставлены под вопрос. Преемственность поколений в науке и зависимость последующих успехов от первых надежных шагов предшественников — это вещи в общем понятные. Но мы видим сейчас эту связь как еще более конкретную, живую и обратимую. Если когда-то Мейе говорил (после выхода «Славянского этимологического словаря» Бернекера) о том, что публикацию этимологических словарей славянских языков вряд ли можно заменить общим славянским этимологическим словарем и выход последнего лишь заставляет острее осознать нужду в этих отдельных этимологических словарях, то это было справедливо для того этапа развития науки. К настоящему времени этимологической лексикографией охвачены монографически почти все отдельные славянские языки. И вот именно теперь вступает в силу своего рода обратная связь: мы вновь обращаемся к лексике каждого славянского языка и видим русские слова на бóльшую временну́ю глубину, в более широкой пространственной и типологической перспективе. Правда, этимология русского слова всегда имплицировала выход за собственно русские рамки в названных параметрах (за исключением, может быть, типологического), и все же начатые у нас регулярные работы по праславянской лексикографии придают более регулярный характер также этим возможностям. Таким образом, можно добавлять к русскому Фасмеру новую текущую библиографию, вносить новые поправки, и это тоже было бы полезным делом, а можно и попробовать изменить фасмеровский угол ви́дения и взглянуть на ряд лексем в означенных выше параметрах, и это даст уже качественное отличие без отрыва, впрочем, от старой традиции.

И тот, и другой путь далеко увел бы нас за пределы настоящего напутственного слова, поэтому придется сразу отказаться от обоих, хотя и не совсем, чтобы предыдущие рассуждения не остались совершенно голословными, но и, разумеется, настолько, насколько нам позволит оставшееся место.

В 1970-е гг. вышло несколько книг по славянским и индоевропейским терминам родства (монографии Семереньи, Шаура), что, естественно, должно было бы отразиться на содержании таких словарных статей настоящего первого тома, как *баба*, *брат*, *внук*, *дева*, *деверь*, *дед*, *дочь*. Пошли широким фронтом исследования по этногенезу и этнонимии славян, в связи с чем пришлось бы внести коррективы в статью о слове *дулеб*. Уже давно ведутся упорные и разносторонние работы по всему кругу ономастики, учет которых, конечно, серьезно повлиял бы на объяснение оронима *Бескиды*. Понятно, что

здесь я ограничиваюсь отдельными примерами, не входя в подробности. Скажу, например, что по одному только названию реки *Десна* возникла своеобразная дискуссия, выдвинувшая интересные аспекты типологии: каковы мотивы обозначения рек-притоков словами ‘правая’ (= Десна) и ‘левая’ и не отражен ли в гидронимии прежде всего народный способ отсчета — так сказать, стоя лицом к истокам реки (известный, например, среди южных славян), в отличие от научного способа — при ориентации лицом к устью главной реки. Ономастика и статьи по ономастике, именам собственным (местным, водным названиям, личным именам людей и этническим именам), богато, хотя и выборочно представлены в словаре Фасмера, и это очень ценно, потому что, во-первых, лучшие этимологии Фасмера вообще посвящены главным образом именам собственным (ср., например, принадлежащее ему блестящее истолкование греч. Ἄξεινος / Εὔξεινος Πόντος как первоначального иранского элемента — в связи с значением нынешнего *Черное море*; статью об этом см. в т. IV данного словаря), во-вторых, потому что Фасмер хорошо понимал невозможность отделения ономастики от апеллативной лексики, проводимого формально авторами большинства других этимологических словарей, которые ограничиваются нарицательными словами и отказываются включать имена собственные.

Разумеется, этимологический словарь академического типа, каким является труд Фасмера, должен внимательно выявлять темные и редкие слова и имена, поэтому, продолжая работу, начатую Фасмером, мы должны были бы принять некоторые новые исправления и уточнения, в результате чего, например, статья *вéрмие* могла бы быть снята или сохранена условно, ввиду нового чтения *вершие* (*дубное*), т. е. ‘побеги дуба’, а не ‘саранча, черви’.

Особая проблема — отсутствие тех или иных слов в Словаре Фасмера. При этом мне совершенно чужда мысль наводнить этот Словарь отсутствующими там поздними заимствованиями, профессионально-технической лексикой, т. е. всем тем, что мы зовем иностранными словами, отчего, к примеру, объем буквы *А* вырос бы раза в три. Проку русской этимологии от этого все равно было бы мало, место этой «транснациональной» лексики — в словарях иностранных слов и в отраслевых словарях, к тому же происхождение большинства из них в русском языке очень недавнее и лежит, так сказать, на поверхности. Лексикограф, а тем более лексикограф-этимолог обязан здесь проявить такт и здравый смысл. Преимущество на включение перед такими внешними новыми заимствованиями имеют, на мой взгляд, заимствованные слова, теснее связанные с традиционной культурой и отражающие межнациональные контакты в традиционных рамках старой России. Здесь случаются — причем не у одного только Фасмера с его 18000 словарных статей, но даже у Даля с его 200000 словарным запасом, а также и в других, со-

временных нам словарях — занятные пропуски вроде отсутствующего, но вполне реального (и не такого уж редкого!) слова *бастурма́* (ж. р.) 'мясо, приготовленное впрок особым способом', которое я так нигде и не нашел; речь идет о слове тюркского происхождения, ср. тюрк. (тат.) *bastyr-* 'давить', каузатив от инфинитива *basmak*. Любители русской книжной старины могут обратить внимание на отсутствие у Фасмера слова (или имени) *гамаюн*: др.-рус. *гамаюнъ* 'сказочная райская птица', которое я связываю (как книжное заимствование) с иранским — младоавестийским эпитетом *Humāiiā-* 'хитроумная, чудодейственная'. Изредка, но встречаются у Фасмера пропуски фондовых слов; к таким, вероятно, принадлежит отсутствующее в томе I слово *дрын* '(большая) палка, дубина', которое при всей низовой, диалектной семантике и экспрессивности может рассматриваться как одно из древнейших — не только праславянских, но и праиндоевропейских образований (из **drūno-* 'деревянный, дубовый'; см. об этом наш «Этимологический словарь славянских языков». Т. 5. С. 145). Но таких лакун или авторских недосмотров (ответственность за которые я уже отчасти чувствую своим долгом переложить с Фасмера на себя, потому что должен был, очевидно, включить этот *дрын*, когда работал еще над переводом и дополнениями) немного; они, можно сказать, лишь оттеняют принципиальную полноту и насыщенность словаря традиционной лексикой, т. е. лексикой, последовательно отражающей историю, жизнь, быт и контакты русского народа, собирательного носителя русского языка. Умение отобрать эту лексику характеризует Фасмера как человека, которому присущ здравый смысл и такт, что не исключает само по себе смелых, нестандартных решений, как мы видели это в случае с ономастикой (включена именно традиционная ономастика).

Нельзя также забывать, что одной из излюбленных областей исследования была для Фасмера заимствованная лексика, я бы даже решился утверждать, что задачи и загадки вскрытия заимствованного происхождения его привлекали больше, чем разыскания индоевропейских истоков исконно славянской лексики русского языка. Поэтому было бы всецело в духе покойного автора, если бы мы внесли одну-другую поправку этого рода, основываясь на своих наблюдениях или на литературе. Так, известный («шолоховский») южнорусский диалектизм *баз*, *базо́к* 'загон, скотный двор', относительно которого Фасмер не может прийти к окончательному мнению, хотя и подозревает заимствование, можно все-таки, наверное, возвести к одной из форм, продолжающих иранское **upa-aza-* 'загон', что соответствовало бы и семантике, и географии русского слова. Другое слово — *бока́лда* 'озеро, оставшееся от разлива', далее — *бакала́* 'наледь', *бака́й* 'речной проток', которые все вместе на Фасмера «производят впечатление заимствований» (Фасмер I, 109), я бы сейчас попытался истолковать как затемненные продолжения исконной

славянской, незаимствованной лексемы, как это и было сделано в нашем «Этимологическом словаре славянских языков» (ЭССЯ I, 142—143), с древним значением белизны, блеска (в данном случае — водного зеркала) .

Отдельные дополнения к настоящему первому тому могли бы серьезно перестроить этимологию слова. Например, относительно слова *бара́н* автор, похоже, склоняется на сторону тех, кто видит здесь слово альпийского культурного ареала и к тому же — междометного происхождения, из подзывания животных. Однако сейчас больше вероятий имеется в пользу совершенно иной ориентации и другого первоначального культурного ареала этого слова, которое мы вместе с некоторыми другими исследователями истолковали как заимствование (возможно, через тюркское языковое посредство) из иранского **bārān* < **vārān*, родственного др.-инд. *urana-* 'ягненок, баран'. Типологически сходный путь (через тюркские из иранских) проделало понятийно смежное слово *чаба́н* 'овечий пастух'. В других случаях этимологические уточнения могли бы приобрести вид коррективов по историческому словообразованию, как, например, в случае со словом *брыла́*, обозначающим в ряде русских диалектов отвисшую нижнюю губу; сейчас представляется целесообразным усматривать в нем первоначальное сложение с приставкой **об-рыло*, в общем ясное по составу, оставив в стороне слово *bryła* 'глыба' в польском и некоторых других славянских языках как совершенно не родственное русскому слову.

Этими немногочисленными примерами я проиллюстрировал упомянутый выше аспект приемлемых конкретных текущих дополнений по этимологии и всему тому, что за ней традиционно обычно стоит (от фонетики и критики письменных источников до культурного фона), по соображениям краткости не развертывая здесь библиографического аппарата. Другой аспект, или аспект иных масштабных измерений, продиктованный как более широкими рамками «Этимологического словаря славянских языков», так и более жесткими требованиями относительно контрольных критериев, мог бы в свою очередь быть продемонстрирован здесь — с той же, разумеется, краткостью. Примеры взяты из практики работы над нашим ЭССЯ, собственно из его уже опубликованных частей, и касаются слов, которые уже есть в томе I словаря Фасмера. Так, относительно числительного *девяносто* наш ЭССЯ использует некоторые новые данные (старопольская форма), далее, углубляет тезис о собственных индоевропейских истоках этого, главным образом, восточнославянского слова, чему способствует выдвинутое нами положение о реальности подобных диалектизмов большой древности, тогда как поколение Фасмера, в известном смысле, сковывала доктрина обязательной вторичности подобных локализмов, опуская некоторые расхождения в реконструкции, укажу еще на использование нами карты-схемы, где центр занимают инновационные обо-

значения 90 как 'девяти десятков', тогда как наше *девяносто* и другие продолжения модели '«девятеричная» сотня', или 'сотня девяток', помещаются на периферии ареала, что отвечает позиции архаизма в духе принципов лингвистической географии. Фасмеру, безусловно, были известны эти принципы, но для его, скорее, младограмматического склада ума они оставались чем-то менее существенным, чем сами формы языка. Что касается типологии, то о ней заговорили лишь при жизни следующего поколения, если иметь в виду типологию всех уровней языка и языковые универсалии. Впрочем, семантические изменения и аналогии, занимавшие и Фасмера (ср. его ностальгическое признание, которое можно прочесть в данном томе на с. 14: «Если бы мне пришлось начать работу снова, я уделил бы больше внимания калькам и семасиологической стороне»), уже близки к семантической типологии в собственном смысле, хотя основная работа здесь еще впереди, и это видно при сравнении трактовки одинаковых слов у Фасмера и в ЭССЯ, чтобы не ходить далеко за примерами. Например, углубляя семантическую историю слова *босóй*, мы показываем, что оно испытало специализацию значения 'босой, голый (только о ноге)' из первоначального и.-е. **bhoso-* 'голый (вообще)', и приводим примеры еще сохранного первичного значения (так еще К. Мошинский). При этимологизации слова *боль* и его гнезда Фасмер предпочитает остаться в русле традиции сравнения с синонимичной лексикой, обозначавшей зло, злость в германских языках, отвергая уже тогда реальную и более гибкую версию, подсказывающую наличие здесь табу — охранительного иносказания ('болеть' — из первоначального 'быть в силе'), которыми так изобилует номенклатура жизненно опасных понятий. Мы в ЭССЯ пошли по этому второму пути. Замечательным примером могло бы послужить гнездо слова *дýмать* и два разных подхода к нему и его значениям. Собственно, Фасмер, как это было принято в современной ему литературе, как бы исходит из молчаливого убеждения, что значение 'мысль, мыслить' было присуще этому корню всегда, и в результате так и не может выйти из созданного таким образом заколдованного круга. Все решает в конечном счете угол зрения, который не позволяет видеть (или оценить по достоинству) иные версии, которые встречались и Фасмеру. Мы в ЭССЯ задаемся кардинальным вопросом о природе явно вторичного значения 'мыслить' и о том, как оно получено, что приводит нас, вслед за Г. Якобссоном и некоторыми другими авторами, к типологически вероятной семантической реконструкции 'дышать, дохнýть' → 'произнести', откуда 'сказать; слово' (болг. *дума*), причем становится понятным и значение польск. *duma* 'гордость' ← 'надутость'. Возможности семантической типологии далеко еще не исчерпаны, и это очень важно, потому что именно реконструкция значения развита менее других разделов сравнительного языкознания, а если мы сравним ее состояние с

блестящими достижениями формально-фонетической реконструкции, то картина отставания станет вопиющей. Здесь открываются далеко не исчерпанные культурно-исторические перспективы, новые материалы на тему «язык и мышление». Один пример такого рода: привычными при Фасмере методами предпочтения формальных соответствий при полной неразработанности типов эволюции значений не удается продвинуться в этимологии слова *груша*; он, вслед за другими, допускает заимствование названия этого плода откуда-то извне и, надо сказать, на слишком незначительных основаниях. Однако *груша*, как и близкий дублет *kruša* 'груша' в других славянских языках, слишком укоренены в славянском глагольно-именном словообразовании (ср. наше *крушить*), чтобы подозревать здесь иноязычное происхождение; некоторые этимологически тождественные формы в славянских языках вообще не имеют значения 'груша' (сербохорв. *груша* 'молозиво'!). Значение 'груша' оказывается в т о р и ч н ы м, оно восходит к значению 'размельчать, крошить', и это так естественно: каждый, кто хоть раз в жизни съел одну грушу, знает, что у этого плода мякоть к р у п и т ч а т а я, т. е. совсем не такая, как, скажем, у яблока. Если к этому добавить, что и лат. *pirum* 'груша' < **pisom* в свою очередь восходит к и.-е. **peis-* / **pis-* 'раздроблять, крошить', то придется признать, что мы имеем дело с некоторой устойчивой семантической моделью. И вся традиционная версия об однозначном внешнем заимствовании рассеивается.

Вот то немногое, что хотелось бы сказать, отмечая такое значительное событие, как выход в свет второго русского издания словаря Фасмера. И истинный смысл изложенного выше, пожалуй, не в том, как далеко мы ушли от Фасмера после него, а в пути, проделанном вместе, — будь то расхождение со старым ученым, все равно остающимся для нас точкой отсчета, или полное приятие нестареющих истин науки.

ПРАСЛАВЯНСКАЯ ОНОМАСТИКА В «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМ СЛОВАРЕ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ». ВЫПУСКИ 1—13

Настоящие заметки посвящены краткому обзору сделанного в области ономастики в праславянском словарном составе в рамках готовой части ЭССЯ — от *А* до *К* (выпуски 1—13), т. е. неполностью. Эта неоконченность Словаря накладывает, безусловно, ограничения на возможную общую картину. Однако уже сейчас возможны не только отдельные конкретные, но и некоторые общие наблюдения. Примером одного из последних может послужить решение вопроса об антитезе имя нарицательное — имя собственное: «...для праславянской лексикографии, в частности для нашего ЭССЯ, она [антитеза. — *О. Т.*] во многом снимается. Речь идет об эпохе или эпохах, когда исконно славянская ономастика (топонимия, особенно — антропонимия) еще не образует четкой антитезы, оппозиции, противостояния в отношении к апеллативному лексикону (сейчас это остаточно сохраняется только в микротопонимии), и это типологически очень интересно. Ведь известно, скольких терзаний сто́ит упомянутая антитеза лексикографии собственно русского языка. Сказанное делает понятной практику нашего ЭССЯ — давать имя собственное (личное, местное, водное, племенное) с малой, строчной буквы: **bělъgordъ*, **čamyslъ*, **dorgobǫdjь*. Это отвечает их формальной постановке в ряд с апеллативами, из которых они образованы» [1].

Для нашего ЭССЯ характерно довольно широкое включение ономастики в качестве заглавных слов словарных статей; в словарях Миклошича и Бернекера это встречается крайне редко или полностью отсутствует. Довольно не-

[1] *О. Н. Трубачев.* Праславянская лексикография // Этимология. 1983. М., 1985. С. 17.

последователен здесь и новый «Słownik prasłowiański» (Краков). В русском этимологическом словаре Фасмера в особые словарные статьи выделены онимы, обладающие этимологическими сюжетами (по мнению автора) и литературой. В качестве свободной аналогии укажу на то, что латинские этимологические словари Вальде—Хофмана и Эрну—Мейе трактуют лишь единичные собственные имена [2].

Сейчас, оглядываясь на свою работу над ЭССЯ в области ономастики, можно сказать, что она могла бы быть еще полнее и последовательнее в духе заявленных нами выше принципов, и ономастических словарных статей у нас могло бы быть больше, хотя в целом, кажется, что их довольно много, сравнивая с нашими предшественниками. Дело в том, что наше сознание чисто апеллативного происхождения ряда гидронимов и топонимов в славянских языках приводило к их подчиненной трактовке внутри словарной статьи как ономастического употребления апеллативных слов, хотя это ономастическое употребление может быть тоже древним. Вот почему мы несколько увереннее давали в виде отдельных словарных статей иноязычные включения или более своеобразные славянские гидронимы и топонимы: **bara* (ср. иллирийск. *Metu-baris*, междуречье Савы и Дравы, *Колу-бара*, приток Савы), **bobrava*, **dunajь* / **dunavъ*, **dъněprъ*, **dъněstrъ*, **jьbrъ*, **berzьno*, **bělověža*, **bělъ gordъ*, **bělьsko* / **bělьskъ*, **bobrujьskъ*, **čьrtoryjь*, **kan'evъ* (с его балканско-славянско-украинской изоглоссой), **koporyje* (рус. *Копорье*), **kyjevъ* / **kyjevo*. Словообразовательное своеобразие этих отапеллативных случаев позволило увидеть в них еще праславянские онимы. Особняком стоит случай **kuna* II со значениями 'столб; колода; оковы' и т. п., апеллатив, собственно, субстантивация старого, несохранившегося причастия страдательного прошедшего **kunъ* < и.-е. **kou̯no-* 'вбитый, забитый (sc. lic. кол)' от **kovati*, — апеллатив, который позволяет понять индоевропейские топонимы, названия городов как 'огороженных частоколом' — лит. *Kaũnas*, а также Καῦνος в Карии и на Крите, для которых в этих языках (во всяком случае — в литовском) не сохранилось *-n*-овых причастий.

Как отмечалось, особенно зыбкой представляется граница между апеллативом и микротопонимом, ср. **dorъ*, **garъ*, **glinišče*, **jьzrojь*, **jьzvorъ*. **kališče*, что выразилось в латентной трактовке последних как оним внутри словарных статей. Ср. также отношение имен собственных (в том числе — личных) и апеллативов в случаях **dorgomilъ*, **gorazdъ*, **jьzborъ*, **koldorǫbъ*, **konotopъ*.

---

[2] *B. Forssman.* Etymologische Nachschlagewerke zum antiken Latein: Stand und Aufgaben // Das Etymologische Wörterbuch. Frage der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. von A. Bammesberger (= Eichstätter Beiträge. Bd. 8. Abteilung Sprache und Literatur). Regensburg, 1983. S. 62.

Далее, из ономастического содержания ЭССЯ следует назвать словарные статьи, посвященные ономам, которые занимают в праславянской ономастике как бы промежуточное положение и тяготеют прежде всего к антропонимам — либо по своему типу, либо по происхождению. Их немного; это теоним **dadjьbogъ* / **dabogъ*. Следующий затем разряд — этнонимы — в своей сущности являются антропонимами — именами и прозвищами людей — как исконно славянского образования (**drъgъvitji* 'жители болот'), так и иноязычного происхождения (**dudlěbi*, **xъrvati*, включая экзотический этноним **jьspolinъ*). Продуктом древнего славянско-неславянского языкового контактирования может считаться этноним **čexъ*, **česi*, если он калькирует семантику кельтского племенного имени *Boii* 'бойцы, рубаки' (во всех таких случаях, называемых нами здесь со всей краткостью, мы отсылаем интересующихся более полной информацией к статьям нашего ЭССЯ). Примыкают, с одной стороны — к этнонимам, а с другой — к антропонимам, групповые прозвища людей, специально выделенные у нас в словарные статьи: **kozojědъ*, **kozolupъ*, сохранившиеся в местных названиях, и **xlěbojědъ*, любопытное как культурно маркированное прозвище. Особых комментариев не требуют прозвища животных, в общем редкие в нашем материале, но зато представленные очевидно еще праславянской моделью на *-ul'a* (**květul'a*, **krasul'a* и — за рамками готовой части ЭССЯ — **pisul'a*), клички коров по масти.

Мы подходим к той части потенциально праславянской ономастики, которая в ходе работы оказалась основной, будучи представлена наибольшим количеством специальных статей ЭССЯ. Это антропонимы, личные имена собственные. Не хочу утверждать, что ЭССЯ дает здесь исчерпывающий материал, поскольку некоторые новые публикации, как, например, по хорватским антропонимам IX—XI вв., уже показывают возможность включения в праславянский антропономастикон имен **bol'eněgъ* или **bol'eněga*, также других с компонентом *něg-*, с компонентом **čьrn-*[3]. Конечно, в этих древних дипломатических документах отражено, по-видимому, также немалое количество узколокальных антропонимов, так сказать, ἅπαξ εἰ ρημένα.

Антропонимия оказывается основным разделом ономастики, а также важнейшим материалом при исследовании вопроса о лингвистическом отражении истории культуры, что может пояснить нашу мысль о совмещении наблюдений над праславянской ономастикой с заметками о языковом отражении культурной истории. Если мне зададут вопрос о том, какие своеобразные отражения нашла история культуры в праславянской лексике и семантике, в языке, я теперь подумаю в первую очередь не о следах доземледель-

[3] *M. Šimundić.* Nepoznata i manje poznata hrvatska osobna imena IX., X. i XI. stoljeća // Filologija. Kn. 11. Zagreb, 1982—1983. S. 159 и след.

ческих значений (следы доземледельческого термина для семени) и реликтах экономики собирательства (этимологическая связь **grab(r)ъ* и **grabiti*), не о смене индоевропейского названия бороны новым, славянским, не о понятиях, связанных с общинным выпасом скота и не о традиционных единицах счета, запечатленных в языке; даже не о том, наконец, важном обстоятельстве, что отраженный в языке «деревянный» характер древней народной культуры славян (присущий им, как и другим древним жителям умеренной зоны Европы) самобытно сочетался у них с умением закалять металл, производить сталь науклаживанием полос металла и знакомством с металлургической домной, с широко распространенным обычаем жить в землянках, но иметь наряду с ними и отличные функционально, а также, по-видимому, идеологически маркированные — «высокие дома», храмы, хотя, разумеется, для полного и пространного ответа на вышеупомянутый вопрос мне пришлось бы вспомнить и привести все это и многое другое. В частности (выходя за рамки проэтимологизированного словарного состава от *А* до *К*), можно вспомнить, например, то, что наш язык и его культурная терминология, как бы далеко они ни ушли в своем развитии, никогда ничем не смогут заменить таких слов, созданных еще языком и культурой праславян, как *наука*, *завод*, *станок*, *самолет* (причем в принципе не так уж важно, что **nauka* первоначально значило, скорее, 'обучение', **zavodъ* — 'занятие', 'разведение', **stanъkъ* обозначал преимущественно ткацкий стан, а **samoletъ* принадлежал к понятиям мифологии).

Но ни древний обряд острижения волос у подростков, отпечатавшийся в словах **xolpъ*, **xolstъ*, **xolkъ*, **xoliti*, ни зафиксированные славянской лексикой разные виды клятв (**klętva*, **prisęga*, **rota*, соответственно — 'коленопреклонение', 'касание рукой', 'изречение, формула'), ни древнее отсутствие своего особого термина (а, значит, и института?) юридического свидетеля и ни многое другое в таком роде приходит в голову в первую очередь, в качестве наиболее яркого проявления языка в его роли отражателя древних культурных стадий. Ответ на вопрос о таком искомом отражателе наиболее, быть может, органических связей языка и культуры способно дать, по-видимому, в первую очередь углубленное изучение эволюции позиции имени собственного в языке и культуре. Именно так — в языке и культуре неразделыно одно от другого, потому что в проблеме имени собственного делается зыбкой или вовсе утрачивается грань, отделяющая и противопоставляющая язык и культуру, что дает нам право в проблеме имени собственного, проблеме лингвистической, ономастической, искать и видеть, быть может, наиболее эффективный способ ответа на вопрос об отражении истории культуры в языке. Человеку, в конечном счете, интересен больше всего сам человек, что объясняет особое положение антропонимии как квинтэссенции имени собственного, а в нашем случае позволяет из всей совокупности ономастики выделить

личные имена собственные людей. Но сначала сам материал ЭССЯ от *А* до *К*. Там содержится — главным образом в виде заглавных форм — 115—116 личных имен собственных, предположительно относимых к праславянскому периоду, хотя и распространенных довольно неравномерно по славянскому ареалу (особенно много в старочешском и в сербохорватском): **bezbirъ*, **bezdarъ*, **bezdědъ*, **bezdrъvъ*, **bezmirъ*, **bezobpašь*, **bezrędъ*, **bezstryjь*, **bezstudъ*, **bezujь*, **bělovoldъ*, **bivojь*, **bobrъkъ*, **bogodanъ* / **bogъdanъ*, **bogomilъ* / **bogumilъ*, **boguxvalъ*, **boguslavъ* / **bogoslavъ*, **bojeslavъ*, **bojьmirъ*, **bolgǫtъ*, **bol'eborъ*, **bol'ečajь*, **bol'ečьstь*, **bol'egostъ*, **bol'emilъ*, **bol'emьstь*, **bol'eslavъ*, **bol'esǫdъ*, **boręta* / **borętъ*, **borigněvъ*, **borislavъ*, **borivojь*, **bornimirъ*, **bornislavъ*, **bornisǫdъ*, **božetěxъ*, **božęta*, **brętjislavъ*, **budimirъ*, **budislavъ*, **budivojь*, **bъdigostь*, **cětol'ubъ*, **cětoradъ*, **cětogněvъ*, **cětomyslъ*, **čagostь*, **čamyslъ*, **časlavъ*, **čelomyjь*, **čęstovojь*, **čьstibogъ*, **čьstiborъ*, **čьstimirъ*, **čьstiradъ*, **dal'evojь*, **daliborъ*, **dalimilъ*, **daniborъ*, **dobrogostь*, **dobromilъ*, **dobromirъ*, **dobromyslъ*, **dobroslavъ*, **dobrovitъ*, **dobrovojь*, **dobrožirъ*, **dobrožiznъ*, **domagojь*, **domagostь*, **domasědъ*, **domažirъ*, **dorgobǫdъ*, **dorgomirъ*, **dorgoslavъ*, **gordislavъ*, **gor'eslavъ* / **gorislavъ*, **gostęta*, **gostislavъ*, **gostomyslъ*, **gъrdęta*, **xodislavъ*, **xodivojь*, **xodota*, **xornimirъ*, **xornislavъ*, **xotęta*, **xotiborъ*, **xotibǫdъ*, **xotimirъ*, **xotimyslъ*, **xotislavъ*, **xotivojь*, **xvalęta*, **xvalibogъ*, **xvalibudъ*, **xvalimirъ*, **xvalislavъ*, **jarobojь*, **jarobudъ-* / *bǫdъ*, **jarogněvъ*, **jaroměrъ*, **jaropъlkъ*, **jaroslavъ*, **jьzborъ*, **jьzbygněvъ*, **jьzęslavъ*, **kazimirъ*, **kojęta*, **krěsimirъ*, **krěsislavъ*, **krěsomyslъ*, **kroměžirъ*, **kupislavъ*.

Очевидно, что в славянском продолжает (продолжала) функционировать двуосновная словообразовательная антропонимическая модель развитого индоевропейского со всеми главными ее отличиями — перестановка компонентов (**dorgobǫdъ* — **bǫdodorgъ*, ср. Ἀρχίππος — Ἱππάρχος), обратная контракция двуосновных в одноосновные: **gostęta* — **gostislavъ*) и др. Однако при этом удивительно практически полное отсутствие славянско-индоевропейских соответствий двуосновных антропонимов, что, видимо, привело выдающегося исследователя индоевропейской антропонимии Милевского к заключению: «...system słowiański jest najmniej zmechanizowany, najmłodszy»[4]. Однако было бы справедливо взглянуть на материал с другой стороны и увидеть в факте относительно свежего формирования славянской антропонимии проявление славянской языковой и культурной архаики, как и в том, что, по Милевскому, славянская антропонимия небогата, насчитывает около 220 лексических основ, как и балтийская (в сравнении с 1000 лексических основ греческой антропонимии, 900 — древнеиндийской, около 500 —

[4] *T. Milewski*. Indoeuropejskie imiona osobowe. Wrocław etc., 1969. S. 216.

германской, около 340 — кельтской[5]; равным образом бедность индоевропейской антропонимии латинского следует отнести к архаичности латинского языка и культуры).

Между славянской и индоевропейской двуосновной антропонимией можно лишь констатировать единичные полные совпадения на уровне семем, ср. **dalíborъ* / **dal'eborъ* и греч. Τηλέ-μαχος собственно 'бьющийся издалека'. Вообще лексико-семантические реконструкции типа 'бьющийся издалека' или 'тот, чьи кони белые' весьма популярны в исследованиях по индоевропейским личным именам собственным такой структуры, что позволяет нам теперь обратиться к отношению антропоним—апеллатив. В праславянской антропонимии ЭССЯ от *А* до *К* представлено примерно 74 лексические основы (корня), в том числе: *bez-*, *běl-*, *bi-*, *bir-*, *bobr-*, *bog-*, *boj-*, *bol'e-*, *bolg-*, *bor-*, *bori-*, *borni-*, *bože-*, *bǫd-*, *brętji-*, *budi-* / *bud-*, *bъdi-*, *by-*, *čěto-*, *ča-* / *čaj-*, *čelo-*, *čęsto-*, *čьst-* / *čьsti-*, *dal'e-* / *dali-*, *dani-* / *dan-*, *dar-*, *děd-*, *dobro-*, *doma-*, *dorgo-*, *drъv-*, *ę- (jьzę-)*, *gněv-*, *goj-*, *gordi-*, *gor'e-* / *gori-*, *gost-*, *gъrd-*, *xodi-* / *xod-*, *xorni-*, *xoti-*, *xval-* / *xvali-*, *jaro-*, *jьz-*, *kazi-*, *koj-*, *krěsi-* / *krěso-*, *kromě-*, *kupi-*, *l'ub-*, *měr-*, *mil-*, *mir-*, *mysl-*, *my(ti)-*, *mьst-*, *obpaš-*, *pъlk-*, *rad-*, *ręd-*, *sěd-*, *slav-*, *sǫd-*, *stryj-*, *stud-*, *těx-*, *uj-*, *vit-*, *voj-*, *vold-*, *žir-*, *žizn-*. Все перечисленные выше корни и основы, действительно, принадлежат к славянской апеллативной лексике, что как будто подтверждает известный тезис о вторичности имен собственных. На XV Международном ономастическом конгрессе, центральной темой которого было «Собственное имя в языке и обществе», был прочитан специальный доклад «Der Eigenname als sekundäre Benennung»[6]. Однако внимательное исследование обнаруживает более сложную картину отношений, ср. уже такой многозначительный сигнал, как то, что именные основы *čěto-* и *měr-* (выше) фактически не имеют доономастической, апеллативной стадии употребления. Можно, конечно, предположить, как это часто и делается, что эта обязательная апеллативная стадия была утрачена, сохранившись лишь в ономастике, не без оснований рассматриваемой как резерв этимологии и лексической реконструкции. Но тут приходит на помощь большинство остальных известных нам достаточно старых славянских антропонимов, которые составлены из достоверно апеллативных лексических основ и вместе с тем несут новое качество, поскольку являются тем, что можно назвать onomata tantum: сложения **čьstibogъ*, **čьstiborъ*, **čьstimirъ*, **čьstiradъ*, **dal'evojь*, **dal'eborъ*, **dalimilъ*,

---

[5] *T. Milewski.* Указ. соч. S. 11—13.

[6] *W. Fleischer.* Der Eigenname als sekundäre Benennung // XV. Internationaler Kongreβ für Namenforschung. Karl-Marx-Universität, Leipzig, 13—17. Aug. 1984. Resümees der Vorträge und Mitteilungen. S. 5.

danibor*ъ, **gor'eslav*ъ, **gostislav*ъ, **xodislav*ъ, **xornimir*ъ, **xotimysl*ь, **xvalibog*ъ, **jaroboj*ь, **jarogněv*ъ, **jaroslav*ъ, **jьzbygněv*ъ, **jьzęslav*ъ, **kazimir*ъ, **krěsimir*ъ и некоторые другие лишь формально допускают развертывание фраз типа 'тот, кто борется за честь', 'кто рад чести', 'кто воюет издалека', 'кто мил вдали', 'кто славен гостями', 'кто охраняет мир', resp. 'кто губит мир' (kazimir*ъ), ономастическим свертыванием которых эти имена якобы являются. На самом деле у этих антропонимов история другая, что доказывается практическим отсутствием у двуосновных имен, выделяемых нами в группу onomata tantum, идентичного исходного апеллативного сложения. Это означает, что перед нами чистые изначальные nomina propria, созданные в результате моментального однократного акта номинации (Namenprägung, name-coinage), для которого не потребовались предварительные акты апеллативного словосложения и синтаксического фразообразования. Это главное лингвистическое наблюдение данной работы направлено против излишне прямолинейных традиционных индоевропейских лексико-семантических реконструкций, например гомеровское ἐγχεσίμωρος, которое Шантрен, вслед за другими, читает как 'illustre grâce à sa lance', но характеризует вместе с тем как «inexplicable à l'intérieur du grec» (Chantraine 1—2, 311) — характеристика, которая дает повод увидеть здесь устойчивый эпитет на грани с nomen proprium и тоже — скорее акт word-coinage, чем свертывание пресловутого описательного оборота. Кроме того, всячески подчеркнуть и выделить явление Wortprägung, word-coinage при номинации кажется актуальным именно сейчас, когда популярная генеративистика, кажется, сильно преувеличивает феномен свертывания синтаксической фразы как основу всех слов и их значений.

Остается специально выделить культурную важность созревания в языке класса оном и как их центра — антропонимов, необходимость правильного культурно-исторического и лингвотипологического осмысления этого феномена.

Самый последний по времени очерк принципов одной из индоевропейских антропонимий, насколько я знаю, принадлежит Абаеву[7] — на материале осетинской антропонимии. Представляют интерес сформулированные там общие закономерности формирования л ю б о й антропонимии: вначале — на материале апеллативной лексики с в о е г о языка, например, скифосарматская антропонимия; затем может наступить о т р ы в антропонимии от собственной апеллативной лексики и заполнение ее иноязычными элементами, ср. позднейшие — русскую антропонимию с ее культурными заимствованиями — в основном греческими христианскими именами — и осетинскую антропонимию, насыщенную заимствованными тюркскими элементами.

[7] *В. И. Абаев.* Тюркские элементы в осетинской антропопимии // Теория и практика этимологических исследований. М., 1985. С. 23 и след.

Однако мы теперь знаем также о вероятности вхождения в скифосарматскую антропонимию, помимо исконно иранского апеллативного состава, также ряда иноязычных индоарийских включений (о чем я писал в других работах). Древняя славянская антропонимия, помимо своей исконной апеллативной базы (см. выше), уже обнаруживает иноязычные элементы — герм. *pъlk-*, *měr-* и следы иранских влияний (сложения с *bog-*, с компаративом *bol'e-*, употребленным в духе иранских аналогий). Уже высказывались соображения о формировании основного корпуса праславянской антропонимии в скифское время, чем объясняется ее чуткость именно к скифским влияниям (около середины I тыс. до н. э.). Между скифосарматской и праславянской антропонимиями остаются серьезные различия, взять хотя бы культурно-тематический набор апеллативных основ в каждой из них: в скифосарматских личных именах нашла отражение важность коневодства, ср. семь антропонимов от иран. *aspa-* 'конь, лошадь'[8]; в славянских антропонимах мы пока не нашли образований с коневодческой семантикой.

Но самое главное, что, пожалуй, объединяет праславянскую антропонимию лингвотипологически и культурно-исторически с другими индоевропейскими антропонимиями, в частности — со скифосарматской, — это то, что развитые двуосновные антропонимы формировались, по-видимому, сразу как генуинные onomata tantum — из апеллативного лексического материала, но без предшествующей стадии двуосновных апеллативных сложений. Язык маркировал своим особым способом это важное культурно-историческое событие.

[8] *T. Milewski.* Указ. соч. S. 161.

РЕГИОНАЛИЗМЫ РУССКОЙ ЛЕКСИКИ НА ФОНЕ УЧЕНИЯ О ПРАСЛАВЯНСКОМ ЛЕКСИЧЕСКОМ ДИАЛЕКТИЗМЕ

В настоящее время наука развивается под знаком повышенного интереса к общим проблемам, к целям, выходящим за рамки специальных дисциплин, что символизирует в нашем случае готовность обдумывать и решать вопросы широко, в масштабах и возможностях всей славистики (я имею в виду современную славистику, сравнительно-историческое языкознание, умудренное методами типологии и внутренней реконструкции, новый — исправленный и дополненный — вариант нашей науки). Решать широко вовсе не значит пренебрегать спецификой, наоборот — это означает воспитывать и развивать в себе острый научный интерес к неповторимому своеобразию своего частного объекта — языка, которое виднее из более широкой перспективы более сложного целого — группы родственных языков. Всегда ли мы были готовы правильно видеть, скажем, неповторимую специфику древней лексики русского языка? Думаю, что нет; мы и сейчас еще не вполне и не всегда способны к этому. И у сегодняшних исследователей наблюдается свободный переход мысли от «праславянского» к «общеславянскому» и обратно и совершается подстановка одного понятия вместо другого. Такой исследователь верит, например, что если нет лексико-семантической однородности лексемы, то нет и шансов причислить ее к праславянизмам, словам древнего, праславянского лексического фонда. А ведь, кажется, учили и писали о том, что праславянское — это категория хронологическая, а общеславянское — пространственная категория, что они м о г у т пересекаться (п р а с л а в я н с к о е может быть общим для всех славянских языков, но в большом числе случаев может и не быть им). Значит, мало учили.

Сказанное подводит нас к мысли об актуальности настоящей нашей темы: регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме. Славистика, как и вообще сравнительное языкознание, неоднородна, ее развитие, как и у всякой науки, отмечено противоречиями. Ей надлежит многое преодолеть в себе самой. Концепция первоначально небольшой прародины, единства праязыка, вторичного деления на диалекты должна преодолеваться, это старое теоретическое наследие отрицательно сказывается на способе ви́дения чисто русской, казалось бы, проблематики. Поэтому все меньше оправданий находит партикуляристский подход, полагающий возможным трактовать русистику в отрыве от славистики. Этим сказано еще не все. Объединение славистики и русистики, выполненное поверхностно и поспешно, тоже не сулит больших удач. Такой исследователь, вполне возможно, станет опираться на удобные старые истины в унитаристском духе вроде упомянутых выше: маленькая прародина, малочисленный пранарод, единый праязык. При такой точке зрения проводится как бы молча разделительная черта между сложным живым языком и древним идеально понятым языком, из которого исключается все, что противоречит идеальному понятию. Этот путь может далеко увести от истины, и он уводит. Как объяснит такой исследователь многолюдье исторических славян, обширность занимаемых ими территорий, диалектную сложность их языка, лексики? Внутренними ресурсами языка? Но он не верит в них, его взгляды сложились под воздействием унитаристской концепции, ответ он ищет по-прежнему во внешних импульсах — в иноязычном субстрате, в контаминации элементов разных языков, в ассимиляции соматических аллоэтносов. Не стремясь понять внутренней сущности явлений, обычно обнаруживают естественную склонность преувеличить внешние воздействия, например, все тот же соматический вклад иноплеменных старожилов Русского Севера в русское многолюдье. Вопрос только: был ли он сколько-нибудь значительным, этот вклад веси, корелы и прочих, если сами антропологи большую роль в Восточной Европе отводят притоку популяционных волн с юга и запада [1]. Возникает опасение, что на этом пути ответы, которые мы получаем сегодня, — это наука вчерашнего дня. Наверное, никто не заинтересован в кажущейся новизне. Единственный выход из создавшегося положения — в пересмотре привычных концепций праславянского языка, глотто- и этногенеза в пользу более перспективной теории сложного в диалектном отношении праславянского языка, занимавшего достаточно обширный ареал. Это допущение уже само по себе повышает интерес к каждому элементу языка и лексики

[1] *Т. И. Алексеева.* Этногенез восточных славян по данным антропологии. М., 1973. С. 195.

сколь угодно узкого распространения, но потенциально древнему. Отсюда следует важность учения о праславянском лексическом диалектизме также для правильного понимания русской диалектной и региональной лексики.

Да, разумеется, нельзя сбрасывать со счетов иноязычный субстрат, не каждый лексический диалектизм восходит к праславянскому, не следует фетишизировать диалектизм, как, впрочем, и что бы то ни было другое. Лишь специальный анализ может дать ответ на вопрос о праславянском статусе явления, но он может и не дать его. И все же даже для такого конкретного уровня, как лексический, важнее всего принципиальная ясность. Взять хотя бы два таких самых общих вопроса из этой области, как (1) возраст лексического диалектизма как такового и (2) объем праславянского словарного состава. Наиболее оптимальные ответы на них сейчас: (1) лексические диалектизмы существовали всегда — и в праславянском, и в праиндоевропейском, как существовали всегда сами диалекты; (2) количество праславянского лексического фонда в точности пока неизвестно, но, конечно, сейчас странно повторять цифру в одну — две тысячи; более правы те, которые называют 15—20 тысяч слов. Оппоненты этого прогноза прежде всего подвержены некоему торможению теоретической мысли, недоумения, как мог такой многочисленный словарный состав быть достоянием о д н о г о праславянского языкового сознания. Но дело как раз в том, что он и н е б ы л д о с т о я н и е м о д н о г о и д е а л ь н о г о п р а с л а в я н и н а. Нашим исходным постулатом должен быть с о б и р а т е л ь н ы й характер носителя любого словарного фонда — индоевропейского, праславянского, современного русского, и это тоже можно понять, только признав изначальную диалектную сложность праславянского и русского языковых ареалов. В русистике идеи изначальной диалектной сложности, легшей в основу русского языка, были высказаны сравнительно уже давно и независимо, однако это был вполне абстрактный тезис, потому что, как и в других отраслях славистики, диалектное для наших ученых старшего поколения начиналось с фонетического и морфологического, а в сущности им и ограничивалось. Лексические диалектные признаки как древнейшие всерьез не принимали, обманываясь зыбкостью лексики, и это было заблуждением, потому что прочность слова как целого видна сквозь всю изменчивость фонетической оболочки и морфологического оформления. Сейчас эта истина как-то не требует особых доказательств. И именно сейчас, и поэтому концепция древнего диалектного членения обретает свое конкретное воплощение, невозможное ранее в нашей науке.

Возможности каждого метода не беспредельны, следует помнить, что они ограничены. На первый план выдвигается р е к о н с т р у к ц и я древнего лексического состава средствами сравнительного языкознания и этимологии. Без них будет невозможно дальше разрабатывать картину древнего словаря и

его компонентов. Древние диалектные связи лексики на основе этих методов прослеживаются в глубь времен, причем множественность вскрываемых оригинальных славянско-индоевропейских отношений не позволяет ни хронологически, ни принципиально выделять резко славянский из индоевропейского, мы говорим поэтому о преемственности развития, об индоевропейских собственных истоках славянского, принимаем удревнение относительной хронологии славянского и его явлений. Устраняется почва для неверия в собственный индоевропейский тип праславянского. К сожалению, при этом приходится преодолевать не только старые теории, но и негативное воздействие современной теории славянского языка как производного от балтийского, которая во многом парализует использование внутриславянских ресурсов объяснения языковой эволюции, поощряя всевозможные наслаивания и внешние контаминации.

Сравнительная и этимологическая реконструкция древнего диалектного лексического состава должна разрабатываться в пространственном и временно́м плане, с использованием методов и достижений европейской лингвистической географии и пространственной лингвистики. У нас как-то получило перевес понимание лингвистической географии как дисциплины в основном синхронно-описательной и, наоборот, не привилось выдвинутое зачинателями лингвистической географии во Франции понятие лингвистической географии как широкой исторической дисциплины и прежде всего — как реконструкции истории слов, о чем мне уже приходилось давно писать[2]. Может быть, здесь, в этой отклоняющейся трактовке лингвистической географии сказалось совпадение по времени с подъемом у нас синхронно-структуралистских направлений. Но факт остается фактом: понятия лингвистической географии и диалектологии у нас синонимизировались, и это не обошлось без ущерба для самих этих понятий, но главное — для адекватного изучения объекта. Несмотря на некоторое оживление работ в этой области, фактически игнорировались постулаты лингвистической географии, или пространственной лингвистики, из них первейший — сохранение архаизмов на периферии ареала, иначе говоря — в зоне экспансии. Приходилось читать монографии о формировании русского языка, вышедшие за последние годы и построенные в значительной мере на диалектных данных, в которых в сущности ни разу не упомянуты и не использованы кардинальные идеи, достижения пространственной лингвистики о центре языкового ареала как источнике инноваций и перифериях ареала (зонах экспансии) как зонах консервации архаизмов. Кажется, что свежий взгляд в этой области, при поддержке и

---

[2] *О. Н. Трубачев.* Лингвистическая география и этимологические исследования // ВЯ. 1959, № 1. С. 17.

правильном использовании названных достижений науки мог бы оказаться продуктивным, причем не только на лексическом уровне.

Восточнославянский ареал в большей своей части — типичная зона экспансии; следовательно, априори здесь надо предполагать в первую очередь сохранение архаизмов. Но, к сожалению, как часто бывает и притом — не только у нас, возобладали разнообразные прямолинейные концепции, которые из географической миграции восточнославянских диалектов делали прямой вывод о вторичности, даже привнесенности восточнославянских явлений разных языковых уровней, ср. субстратные (балтийские) версии происхождения аканья / яканья или концепцию далеко зашедшей эволюции сочетаний гласных с плавными *tort* (восточнославянское полногласие) и, бесспорно, еще другие. Уже давно славистика работает с положением о первичности форм звукосочетаний *tarat*, *talat*, привычно обозначаемых «дометатезной» формулой *tort* и т. д., см. работы Мареша[3]. Тут достаточно назвать восточнославянское слово *король*, которому предшествовало, вероятно, еще праслав. **korolь* , «полногласный» вид которого документирует как исходный и древний также для невосточных славян личное имя др.-н.-нем. (др.-сакс.) *Karal* (лат. вариант *Carolus*) франкского императора, умершего в начале IX в. Один только этот эпизод с *королем*, подробно проанализированный нами в «Этимологическом словаре славянских языков», вып. II, s. v., показывает нам потенциальную архаичность восточнославянского полногласного состояния *torot*. Похоже, что в нашей литературе были оставлены без внимания интересные соответствующие наблюдения польского лингвиста Милевского, который, занимаясь позднепраславянскими инновациями, исходившими, по его мнению, из дунайского центра, рассматривает восточнославянский как периферию с сохранением периферийных архаизмов и, в частности, считает, например, что в восточнославянском не было метатезы плавных, а был лишь перенос слогораздела *to/rot* ← *tar/t*[4].

Восточнославянский ареал — вторично освоенная зона, но его выделение насчитывает, говоря грубо, более 1000 лет. Результатом явилось формирование нового ареала с новым центром и периферияими. Его центр, или центральная зона, начинавшаяся в непосредственной близости к Среднему Поднепровью и Киеву, распространялась, видимо, полосой в Подесенье и Поочье. Правый, приокский фланг этой центральной зоны со временем существенно не изменил своего положения, тогда как левый, приднепровский фланг постепенно

---

[3] *F. V. Mareš.* The origin of the Slavic phonological system and its development up to the end of Slavic language unity. Ahh Arbor, 1965. S. 24, 30.

[4] *T. Milewski.* Archaizmy peryferyczne obszaru prasłowiańskiego // Sprawodzania z posiedzeń komisji PAN, Oddział w Krakowie, styczeń — czerwiec 1965. Kraków, 1966. S. 134.

смещался к северу, так что вероятное первоначальное протяжение центральной зоны с юго-запада на северо-восток сменилось последующим более или менее широтным протяжением. В нашей литературе преобладает концепция, не совсем ясная с точки зрения принципов лингвистической географии (пространственной лингвистики). По этой концепции, среднерусские говоры явились продуктом взаимодействия (?) севернорусской и южнорусской зоны; более того, иногда утверждается, что они появились в результате встречного движения севернорусского наречия и южнорусского наречия. Идея центра восточнославянского языкового ареала и центра восточнославянских инноваций при этом начисто пропадает, снимается, а между тем эта идея остро необходима для правильного понимания языковых процессов. Без признания функционирования мощного центра, инноваций невозможно объяснить генезис аканья / яканья — явления, фонологическую уникальность которого без надобности преувеличивают, чем вызваны поиски иноязычных импульсов, тогда как аканье / яканье находит глубоко органическое объяснение и параллели в языках Восточной и Центральной Европы — не только в балтийских, но и в венгерском, в которых краткое *е* получает открытую артикуляцию *ä*, с тем отличием, что эта взаимозаменяемость *е/а* в архаичном краткостном вокализме оригинально переинтерпретирована в центре восточнославянского ареала в категориях безударного вокализма. На первоначально балтийскую территорию Белоруссии аканье распространилось позднее.

В этом духе — с правильным учетом функционирования восточнославянского ареала — полезно проводить разыскания в области лексики и ее реконструкции. Примером может послужить название коромысла, этого преимущественно русского слова — *коромы́сло* ср. р., диал. *коромы́сел*, *коромыс(л)* м. р., сюда же укр. *коро́мисел* м. р., *коро́мисло* ср. р., блр. *каро́мысел* м. р., диал. *каро́мiсла* ср. р., др.-рус. *коромыслъ*, *коромыселъ* (начало XVI в. и позже). Занявшись специально этим словом в свое время, я обратился к Атласу русских народных говоров в его изданном и неизданных томах и почерпнул оттуда сведения, что форма литературного вида *коромысло* среднего рода распространена полосой с юго-запада на северо-восток, в то время как на западной и восточной периферии господствует форма мужского рода *коро́мы́сел*, *коро́мы́сл*. Видимо, эта последняя периферийная форма и была более архаичной, одним из восточнославянских, русских регионализмов древнего, возможно, еще праславянского времени, с единственным, хотя тоже в вокализме отличным инославянским соответствием в кашуб. *čarmëslë* pl. t. 'деревянные коромысла', что все вместе позволяет нам реконструировать русское слово как праслав. диал. **kъrmyslъ* с редуцированным в корне [5].

---

[5] *О. Н. Трубачев.* Наблюдения по этимологии лексических локализмов (Славянские этимологии 48—52) // Этимология. 1972. М., 1974. С. 35 и след.

Средневеликорусский и южновеликорусский видятся не противопоставленными, но охваченными центральной (инновационной) зоной всего восточнославянского ареала. В этой связи очень интересны наблюдения о практическом отсутствии в западной части русских говоров прослойки между северными и южными говорами (Г. В. Судаков). Южная периферия восточнославянского ареала испытала сильные деформации; именно на нее обрушились с Востока иноплеменные нашествия. То, что она принадлежит сейчас к восточнославянскому ареалу, — это уже результат вторичных колонизационных волн как с украинской, так и с русской территории. Однако та древняя южная периферия восточного славянства существовала и в свое время нормально функционировала. Если бы не произошла уже в древности редукция этой части восточнославянского ареала, мы знали бы несравненно больше о ней, в том числе в лексическом плане. А сейчас, при нынешнем положении приходится реконструировать реликты региональной восточнославянской, древнерусской лексики, используя побочные ресурсы ономастики, например гидронимии Дона, где можно встретить следы старых непродуктивных префиксальных сложений на *су-*, *ко-* апеллативного происхождения в виде гидронимов *Суверня*, приток *Вороны*, *Кошмар*, приток *Шмарухи*[6]. Не будь суровых внешних воздействий и деформаций, которым вследствие этого подверглась южная периферия восточнославянского, древнерусского ареала, мы имели бы в руках доказательства существования Азово-Черноморской Руси, той, видимо, Артании восточных источников, от которой доходят только глухие предания, вдохновляющие историков на трудоемкие поиски. Древнюю Русь и даже более древнюю периферию распространявшегося праславянского ареала болезненно отсекли от Черного моря интервенции, прервав тем самым традиции связей, восходящие еще к славяно-иранским отношениям середины I тыс. до н. э. и к нащупываемым славяно-индоарийским связям, возможно, той же приблизительно эпохи. Имевшее, видимо, место мирное просачивание славян в Северное Причерноморье внешне почти не оставило следов в северопонтийской античной ономастике и эпиграфике, но это лишь совпадает с нашими предположениями в работах по славянскому этногенезу, что славяне до начала нашей эры еще находились на архаичной стадии, когда ономастика этноса четко не отграничена от его апеллативного словаря — не фиксирован его этноним, личные имена трудно отделимы от прозвищных апеллативов. Тем не менее, загадку русской Тмуторокани можно понять только как имеющую длинную местную предысторию, языковые, лексические следы которой

---

[6] *О. Н. Трубачев.* Отзыв официального оппонента о кандидатской диссертации Н. И. Панина «Лексико-семантический и формальный анализ русских наименований текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий». М., 1982.

установимы в отдельных случаях и могут датироваться достаточно рано, например, эпохой существования здесь остаточного индоарийского (в данном случае — синдомеотского) элемента. Я имею в виду опыт реконструкции др.-рус. *Копыль* как названия нынешнего города Славянск-на-Кубани, стоящего при ответвлении реки Протоки от Кубани. Это периферийное древнерусское название-апеллатив еще хранит древнюю семантику 'ответвление, отросток' (в живых русских диалектах *копы́л*, *копы́ль*, *копыло́* — это в основном 'стояк разного назначения'), которая лучше прослеживается в южнославянском — болг. диал. *ко́пиле* 'побочный початок кукурузы' и т. д. Данные свидетельства с южной древнерусской периферии, поддерживаемые, кстати, синонимичным синдомеотским названием того пункта на Кубани, которое мы реконструируем как **Utkanda*, тоже 'отросток' [7], весьма существенны в праславянской перспективе, поскольку позволяют отвести стойкую версию заимствования соответствующего южнославянского слова с преобладающим там, но вторичным значением 'внебрачный ребенок', из других балканских языков.

В свое время, а именно — 20 лет тому назад, при начале разработки проблемы состава праславянского словаря была сделана попытка самого предварительного каталогизирования праславянских лексических диалектизмов русского языка на основе «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера и имевшихся там этимологических данных [8]. Понятие праславянского лексического диалектизма было выдвинуто нами еще раньше, и оно было задумано прежде всего как этимологическое (отсутствие или крайняя скудость инославянских соответствий при наличии других этимологически родственных индоевропейских форм). Принципиально новым, в этом было, пожалуй, акцентирование изначального, невторичного характера этих древних диалектизмов именно лексики. С этим связано и выдвинутое тогда же оперативное понятие автономности праславянских состояний лексики отдельных славянских языков, означавшее применение принципа внутренней реконструкции. Им руководствовались при создании словника «Этимологического словаря славянских языков», когда сначала делали праславянские словники отдельно для каждого из 15 славянских языков и лишь потом сводили их в единый праславянский словник будущего словаря. Понятна при этом относительность границ понятия «отдельный язык». Всякая реконструкция вглубь заставляет считаться с относительно-

[7] *О. Н. Трубачев.* Indoarica в Северном Причерноморье // Этимология. 1979. М., 1981. С. 129.

[8] *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. Доклады советской делегации.V МСС (София, сент. 1963). М., 1963. С. 170 и след.

стью различий между языком и диалектом, группой диалектов. Формирование языковых ареалов и вообще этноязыковых пространств зависит еще от местных исторических факторов с положительным, но также и с отрицательным результатом. Так, практически на глазах письменной истории не состоялось наметившееся было формирование моравского народа, а может быть, и моравского языка, если говорить об отдельных славянских языках. Не секрет, что и конфигурация и деление восточнославянского этноязыкового пространства могли быть иными (могло вообще не быть никакого деления, а только конвергенция и консолидация), если бы иначе сложилась судьба Юго-Западной Руси. Недаром мы говорим здесь об одном восточнославянском ареале с его инновационным центром и перифериями.

В упомянутом старом опыте 1963 г. насчитывается 70 праславянских лексических диалектизмов собственно русского языка, выделенных по этимологическому принципу. Они иногда перекликаются с украинскими и белорусскими словами, хотя есть там, далее, и отдельный список (почти столько же) праславянских диалектизмов белорусского, среди них — ряд довольно интересных случаев. Ясно, что все это были очень предварительные и неполные данные. Лексика русских диалектов содержит еще много нераскрытых древностей праславянского и индоевропейского значения, лежащих пока втуне и не привлекших внимания исследователя. Они продолжают выявляться, ср., например, вологодское *двя́чить* 'жевать, пережевывать', родственная форма болг. *дъ́вча* 'жевать' находится на другом конце славянского мира, сюда же словен. *dvečiti* 'жевать, пережевывать'; далее — производящее слово того же гнезда, тоже вологодское *двя́ка* 'жвачка, получаемая при выкурке дегтя из бересты', ср. болг. (Геров) *дъ́вка* 'смола', сербохорв. *двȅка* 'деготь, смола из березовой коры', т. е. вновь соответствия с противоположного конца славянства. Эту лексическую изоглоссу, охватившую южнославянский и вологодские говоры русского языка, вскрыла и объяснила Меркулова: в основе здесь лежит числительное *два* и образ повторного пережевывания[9]. Раньше русские соответствия не привлекались, а сами южнославянские слова не имели убедительной этимологии. Вскрытие этой и подобных изоглосс, соединяющих разные удаленные друг от друга славянские области и даже уголки этих областей всегда ценно для науки, однако не нужно заранее предвкушать, что эти изоглоссы образуют затем правильные пучки, по которым мы легко разгадаем древние ареалы, междиалектные связи и направления миграций. Изоглоссный метод принадлежит к числу эффектных находок языкознания,

[9] *В. А. Меркулова.* Старославянское *двека* 'жвачка' // Этимология. 1972. М., 1974. С. 100 и след.; Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 5. М., 1978. С. 188—189.

но с ним связывались слишком большие исследовательские надежды. Как-то мне попался на глаза юмористический журнальчик американских студентов-филологов, в котором досталось и этому методу: когда едешь на автомобиле вдоль пучка изоглосс, — резвился автор, — то слышно ровное гудение, как от линий электропередач, а стоит переехать изоглоссу, она издаст звук, как струна… Работая уже более двух десятилетий над сравнительно-этимологическим анализом лексики славянских языков и диалектов и заметно подвинувшись в составлении «Этимологического словаря славянских языков», мы должны признаться, что вместо четких пучков получаем сложнейшую мозаическую картину и едва ли в будущем, в итоге итогов, она уложится в нечто стройное. Сейчас кажется, что иначе и не могло быть и что получаемая сложность это и есть та реальная картина, где многократно на конвергенцию наслаивалась дивергенция, постоянно присутствовали шумы, затемняющие ясность. Изоглоссы, которые мы находим сейчас, — это обрывки из обрывков изоглосс древности. Но надо уметь читать и их. Раньше надежды восстановить стройную, единообразную картину подогревались концепциями додиалектного единства, образами этнических миграций, которые будто бы трогались с места едиными монолитами, однородными потоками. Но с течением времени изучающему раннеславянские экспансии (а говоря иначе — и раннеславянские диалектно-племенные группировки) приходит в голову в целом пестрая картина русского диалектного освоения Сибири, о чем уже приходилось писать ранее, по вопросу славянского освоения Юга Балканского полуострова и Греции.

Естественно, что у нас — в силу приобретенной профессии — выработался этимологический взгляд на древние диалектизмы и регионализмы (очевидно, после вышеизложенного нет надобности объяснять, в чем он состоит), но возможен и более широкий — словообразовательно-семантический критерий выделения регионализма (отличие в форманте, значении слова), хотя этот критерий сулит известную расплывчатость и уже трудно поддающуюся охвату множественность объекта. В этом вопросе не следует быть чересчур педантичным, иначе большая часть лексики языка окажется в регионализмах и диалектизмах.

Исследование затронутой нами проблематики поднимает много вопросов, скажем, — не только констатации соответствий и изоглосс, но и регионального н е у ч а с т и я всего восточнославянского или его частей в ареалах слов, представленных в других славянских языках. В другой работе, посвященной праславянской лексикографии, я уже приводил пример полного отсутствия — прежде всего — в русском праславянских диалектизмов **trajati* и **trъvati* (и то и другое — в значении ‘продолжаться, длиться’), каждый — со своим особым ареалом. Осталось неизвестным собственно великорусскому

16. Заказ № 2261.

древнерусское слово *зерем*ѧ 'бобровая колония', известное Юго-Западной Руси (ст.-укр., ст.-блр.) и обладающее бесспорно индоевропейской праформой.

Последнее, о чем обязательно стоит сказать, — это переоценка объекта собственного исследования, в которую психологически рискует впасть исследователь, посвятивший себя древним диалектизмам лексики. Он видит в том отдаленном дописьменном прошлом только диалектизмы, считается только с существованием диалектов. Реальность языков — праславянский язык? древнерусский язык? — почти сомнительна для него. Однако междиалектное общение и высокие формы речи создавали и тогда, и в более древние эпохи, так называемый наддиалект, реальную форму существования в с е г о языка и вместе — основу этнического самосознания, задолго до появления письменности и государства позволявшую славянам считать себя славянами.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКАЯ ЛЕКСИКОГРАФИЯ И ИСТОРИЯ КУЛЬТУРЫ

Поставленная тема налагает известные ограничения на отбор фактов и означает необходимость сосредоточить внимание на тех фактах языка, лексики, этимологии, которые интересны не только лингвистически, но и культурно-исторически, хотя современная широта трактовки проблем культурологии допускала бы и вполне органичное включение в культурологию даже чисто лингвистических проблем. Речь пойдет (со всей вынужденной краткостью, конечно) и о результатах этимологического исследования и этимологического ви́дения фактов языка преимущественно с тех позиций обозримости и совокупной трактовки материала, которые предоставляет этимологическая лексикография, впрочем, не обязательно — только этимологическая. Деление лексикографии на этимологическую и историческую весьма условно, как условно и закрепление названия «историческая» только за той лексикографией, которая основывается на письменных текстах (как если бы история языка начиналась с началом письменности). Не менее условно и умозрительно понятие «синхронных», «описательных», «современных» словарей. Их концепция может быть признана «удобной», а во имя удобств человек, как известно, готов поступиться очень многим, но полезно отдавать себе также отчет в относительности этих удобств. Именно относительность всякой лексикографии, претендующей на синхронность, важно иметь в виду. Абсолютна лишь диахроническая лексикография. Естественно, это повышает ответственность этимологической лексикографии, которая, с моей точки зрения, есть квинтэссенция лексикографии исторической. Сказанное выше приложимо и к культуре, которую невозможно себе представить в отрыве от истории культуры.

Прогресс этимологической лексикографии глубоко небезразличен для всего круга названных дисциплин, в их числе — для общей теории и типо-

логии. Нельзя изучать проблематику языкового развития, древних диалектов, наддиалектных связей, конвергенцию и дивергенцию без учета опыта этимологических словарей. Так, русский, украинский, белорусский языки — продукт вторичной дивергенции, в их основе лежит единство, но это единство сложное, изначально полидиалектное. Представление о древней диалектной дробности полнее всего дает этимологичеокий словарь, инвентаризирующий диалектизмы лексики, никогда не распространявшиеся на весь восточнославянский (все другие уровни языка подвержены нивелировке неизмеримо больше, чем лексика). Древние лексические диалектизмы демонстрируют диалектную сложность языка, но не опровергают его единства, которое всегда существовало в наддиалектных формах. Нельзя не видеть культурологическую значимость этих подходов, их перспективность, в частности, для проблемы зарождения литературного языка. Упомянутая нивелировка нелексических уровней языка, к сожалению, повлекла за собой негативную нивелировку также научных представлений о языковом развитии, причем факты чисто периферийного выпадения из (отставания от) общеязыковой эволюции подобно тем, которые вскрываются в древненовгородских текстах русского языка, ученые иногда стремятся поспешно объяснить как генетически чужеродные, «нерусские», хотя и лингвистическая география, и этимологические исследования постоянно напоминают нам об изначальной диалектной сложности языков. Праязыковые штудии, праязыковая лексикография (например, «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд») актуальны уже тем, что большая часть праязыковой лексики живет и сейчас в современных славянских языках. Преимущество, которое всегда приписывалось, например, латыни как письменно засвидетельствованному праязыку романских языков, сейчас целесообразно существенно оговаривать тем обстоятельством, что классическая латынь это обработанный, «санскритизированный» наддиалект; наряду с ним и до него существовали народные латинские диалекты. Сосуществование «санскритов» и «пракритов» извечно всюду. Вместе с тем сокращается хрестоматийное преимущество пралатинской ситуации сравнительно с праславянской, и выступает универсальное сходство обеих праязыковых ситуаций.

«Этимологический словарь славянских языков» с установкой на выделение праславянского слоя имеет прямое отношение к проблеме этногенеза славян. Реконструкция праславянского лексического фонда ознаменовала начало праславянской лексикографии, новой словарной отрасли. При этом типологически оправданна и теоретически интересна трактовка праславянского как живого языка; место прежнего узкоэтимологического корневого подхода занял интерес к цельному древнему слову. Этимологически фундированная праславянская лексикография у нас оказывается наиболее разработанным на-

правлением в рамках международной науки о праязыках ввиду отсутствия подобных разработок и даже подходов в дисциплинах, традиционно считающихся передовыми, например, в мировой германистике (отсутствие современного общегерманского или прагерманского словаря) да и в романистике, где, не без импульсов со стороны славистики, назрела надобность в ревизии взглядов на латынь.

Эти одна-две предшествующие странички близко передают содержание моих тезисов по славянской этимологической лексикографии, которыми я откликнулся на приглашение так называемого ЕВРАЛЕКСа принять участие в будапештской конференции осенью 1988 г. Признаться, я был удивлен, когда тему моего доклада организаторы отклонили. Да, я знаю, на конференции задавала тон двуязычная, описательная, современная лексикография, но продемонстрированное при этом отсутствие даже любопытства в отношении уроков, представляющих общий интерес, все же озадачивало, тем более что мысли, высказанные мной, были совсем не такими уж банальными. Я решил об этом вспомнить сейчас, потому что считаю вопрос серьезным. Все-таки я уверен, в общих интересах будет, если на смену некоему снобизму одной (своей) дисциплины, моральную ответственность за который (снобизм) несет миновавший структурализм, придет интердисциплинарный обмен. Что касается меня, я давно в своей словарной практике присматриваюсь к удобным приемам передачи адекватных значений слов в двуязычной лексикографии, вижу в этом определенную экономизацию взамен громоздкой, обязательно описательной передачи значения толковых словарей, совершенно излишней, когда речь идет о другом языке (а в нашем словаре с русским языком описания все языки — «другие»), и возникает выгода двуязычности в этимологическом словаре, хотя некоторые составители продолжают по-прежнему игнорировать эту очевидную выгоду. Но это здесь — к слову, а моя тема сейчас, скорее, — уроки этимологической лексикографии.

Возьмем синонимы — проблему, интересующую словари и словарников всех типов (при передаче-переводе, при синонимическом описании, трансформации значений во всех словарях, при раскрытии типологии формирования синонимичных значений в этимологических словарях). Именно при взгляде на синонимы и именно под этимологическим углом зрения открывается возможность нащупать то, что можно было бы назвать экологическим чутьем языка. Синонимическая плодовитость языка проявляется в отношении всего, что связано о человеком. На вечные явления природы язык реагирует совсем по-другому: их названия отличаются нарочитой бессинонимичностью, это как бы «вечные» слова — *солнце*, *день*, *свет*, *земля*, *вода*, *небо*, *ветер* (поэтические иносказания не в счет, они лишь оттеняют «вечность» основных наименований). Позиция языка косвенно определяет экологию как

нечто неподвластное человеку, стихийно противопоставленное его культуре. Если культура — это осуществленный человеческий фактор, то экология, в здоровом, первобытном понимании, находится за пределами человеческого фактора, в этом также этимологическая суть экологической лексики, и с этого представилось полезным начать конкретные наблюдения этимолога-лексикографа в связи с историей культуры. За малостью отпущенного времени и места наблюдения и примеры не могут не быть выборочными, хотя я стремился сосредоточиться на случаях нестандартных и вместе узловых.

Вот следующий пример, тоже близкий к экологической лексике, но со вскрываемым более заметным участием человеческого фактора, человеческого отношения, т. е. культуры. Одновременно это наблюдение также по составу словаря и по вопросу комплектности отражения его в описательных, объясняющих, толковых словарях. Слабая закрепленность слова в словообразовательно-этимологическом гнезде, разрушенность, стертость этимологических связей, особенно если последние роковым образом перекрыты вторичными переосмыслениями, адидеациями, приводят, способны привести к тому, что лексикограф теряет слово, а вместе с ним и стоящий за ним кусочек культуры. И это — в случае, когда слово еще живет в языке, когда оно еще не мертвое. Примером такого живого слова является *косу́ля*, название малого оленя. В словаре Даля нет *косу́ля*, есть только *козуля*, уже видоизмененное по народно-этимологическому сближению с *коза*, с которым *косуля*, однако, этимологически не связано, оно, как и омонимичное *косуля* 'соха', происходит от глагола *чеса́ть*, применительно к косуле-оленю — в значении 'счесывать, сбрасывать (рога)', особенность, присущая рогатым животным леса (в отличие от домашнего рогатого скота), запечатленная и в некоторых других — славянских и неславянских — синонимичных названиях. В известном русском этимологическом словаре Фасмера отсутствует в этом значении не только *косуля*, но и *козуля*. Мимо этой косули, к сожалению, прошел и наш «Этимологический словарь славянских языков», и только в дополнениях и исправлениях ко 2-му изданию Фасмера (Т. III. С. 830) я смог исправить свою ошибку. Вообще с названиями оленей не повезло не только всей нашей лексикографии, но и словарному составу русского языка, что затрагивает уже вопрос адекватности отражения языком окружающей действительности. Так, одним и тем же словом *олень* мы вынуждены обозначать совершенно разных животных — оленя благородного Cervus elaphus и северного оленя Rangifer tarandus. В других языках они называются совершенно разными словами, ср. например нем. *Hirsch* 'олень' и *Rentier* 'северный олень'. Неблагополучное состояние этой лексико-семантической группы русского словарного состава ощущал и Даль, когда он писал, что *лань* «вообще самка оленя» и лишь «ошибочно» — вместо *чубарый олень*, Cervus dama. Выходит, что и для особого чубарого оленя у нас,

в сущности, нет специального названия, в отличие от некоторых других языков, ср. нем. *Damhirsch*, чеш. *daněk*. В вопросе о лани этимологический комментарий подтверждает правильность далевского чутья слова: *лань* < праслав. **olni* этимологически и словообразовательно — обозначение самки оленя (праслав. **elenь*, *олень*). Менее точен четырехтомный словарь русского языка, определяющий лань как видовое название 'парнокопытное млекопитающее рода оленей, отличающееся стройностью тела и быстротой бега'.

Что представляется особенно интересным и перспективным, далее, это неиспользованные возможности этимологической и культурно-исторической реконструкции, таящиеся в точном описании словопроизводной и семантической иерархии слов на уровне, скажем, того же четырехтомного словаря русского языка. Комплектное, корректное описание употребления и значения слов уже содержит в себе элементы реконструкции, т. е. операции сугубо диахронической (когда создается как бы ситуация внутренней реконструкции). Это влечет за собой, надо сказать, интереснейшие смежные вопросы, например, пересмотр или ограничение расхожего понятия, обозначаемого как деэтимологизация, поскольку анализ словоупотреблений говорит как раз о большой инерции или потенциальной сохранности древних, этимологических значений. В данный момент я имею в виду характеристику слова *дом* и уменьшительного *домик*. Производные с уменьшительными суффиксами — это, как известно, излюбленные примеры на однонаправленность, изоморфизм деривации формально-словообразовательной и деривации семантической. Так, в нашем случае *дом* → *домик* указывает — внешне бесспорно — на то, что форме, производной с уменьшительным суффиксом, отвечает уменьшительное значение 'маленький дом'. Но приглядимся внимательно. Слово *дом* имеет, кроме значения 'здание, строение', еще значения 'жилье', 'семья, люди, живущие вместе', 'род'. При этом оказывается, что уменьшительное производное, образованное с суффиксом *-ик*, не распространяется на последнее значение 'семья, род'. Факт этот не сразу и не для всех заметен, будучи затушеван кажущейся производностью *домик* от слова *дом* со всей будто бы семантикой производящего имени. На самом деле это не так. Неслучайно четырехтомный словарь русского языка дает *домик* как «уменьш. к *дом* в I знач.», т. е. только в значении 'небольшой дом (здание, строение)'. Следовательно, совершенно точно можно констатировать, что значения 'небольшая семья, небольшой род' и даже 'небольшое жилье' производному *домик* не свойственны. Возникает естественный вопрос, что это за значения и каково их место в общей иерархии значений слов *дом*, *домик*. Вопрос оказывается отнюдь не праздным и даже спорным в этимологической литературе по слову *дом*, слову, кстати сказать, глубоко древнему, с индоевропейской родословной. Споры об этимологии, происхождении нашего русского, славянского и индоевропейского слова *дом*

обрели вид соперничества двух точек зрения: согласно одной из них, *дом* произошло от соответствующей древней глагольной основы, означавшей 'строить, плотничать', тогда как по другой версии такое словопроизводство сомнительно ввиду старого характера значений 'семья, род' (как пример древности также этого значения — 'семья, семейное хозяйство' — сошлюсь здесь на слова из «Метаморфоз» Овидия, сказанные о верных супругах Филемоне и Бавкиде: Tota domus duo sunt 'Все-то хозяйство — в двоих'). Поскольку данные генетического (внешнего) сравнения оказались исчерпаны без решающего перевеса для той или другой названной версии, в суждениях об истоках слова *дом* и его значений установилась некая этимологическая «ничья», когда предпочтение описанного словопроизводства или его отрицание трудно убедительно мотивировать. Дальнейший прогресс этимологического комментирования слова *дом* обнаруживает свою прямую зависимость от точного описания семантического и словообразовательного акта, представленного в нашем уменьшительном *домик*, причем оказываются возможными сразу два нетривиальных вывода: 1. слово *домик* произведено от слова *дом*, только в значении 'здание, строение', которое мы вправе считать этимологически первичным значением ('дом' ← 'построенное'); 2. уменьшительное *домик*, будучи формально словообразовательным производным от *дом*, в семантическом плане древнее, чем производящее, так как не содержит его значений 'семья', 'род', тоже имеющих индоевропейскую родословную, но все же вторичных по сравнению со значением 'строение, здание', единственно представленным в производном *домик*. Этот пример, который вполне можно считать наблюдаемым экспериментом, поучителен и своим, так сказать, анизоморфизмом двух разных уровней, выразившимся в противоположной как бы направленности словообразовательной и семантической дериваций.

Достоинством лексикографии считается способность углубить наши представления о мире, дать объективную картину действительности. В мои задачи не входит сравнительный анализ того, как с этим справляются разные словари, более показательным, думаю, будет случай, когда лексикография не справляется с этим своим назначением. Пример взят из исторического словаря, хотя в равной степени он поучителен в сущности для всех словарей (с чем-то аналогичным приходилось встречаться и в этимологической лексикографии — в случаях неоправданной дублетной реконструкции, т. е. двух праформ для одного реального слова) [1]. Но особенно заметный в этом смысле

---

[1] Таким грехом, бывает, грешат и не очень образованные переводчики, с чьей легкой руки начинают гулять по литературе новые названия объектов, уже имеющих свое название. Вспомним того «Доброго человека из Сезуана» (Брехт), который на самом деле — из Сычуани…

случай привлек мое внимание в историческом словаре, если иметь в виду, что наша историческая лексикография крайне редко прибегает к реконструкциям.

В новом древнерусском словаре XI—XIV вв. итоги весьма различающихся чтений одного и того же слова в знаменитой гнездовской надписи X в. получили своеобразное словарное выражение. В этом словаре, с некоторыми оговорками в виде вопросительных знаков и прочего, даны в качестве самостоятельных словарных статей, в сущности, четыре разных чтения этой надписи в одно слово: *гороунща* (?), *гороухща* (?), *гороушна* (?), *гороуща* (?). Повторяю, в действительности (в надписи) дано одно слово, а словарь, трактуя о том же предмете, дает четыре слова, в чем нельзя не видеть элементарное нарушение правила entia non sunt multiplicanda 'не следует умножать сущностей'. Ясно, что требовались какие-то более адекватные и более тонкие способы подачи соответствующей информации в словаре. Больше того, оказалось, что составители словаря учли не все чтения слова, известные к тому времени в науке, они сделали выбор, который оказался произвольным. Сейчас это особенно очевидно, потому что дискуссия о гнездовской надписи длится в литературе уже 40 лет. Так, отразив чтения гнездовского слова Авдусиным-Тихомировым, Черных, Корзухиной и Львовым, составители оставили без внимании наиболее вероятное чтение Якобсона, не поколебленное, по сути дела, и Шенкером (Russian linguistics, 1989). Якобсон констатирует в надписи притяжательное прилагательное *Горуня* 'Горуну принадлежащая' (имеется в виду корчага, или амфора, на которой это слово нацарапано), и именно такое прочтение подтверждают дальнейшие исследования и общее правдоподобие в плане культурной истории и типологии.

Лексикография в целом, как никакая другая лингвистическая дисциплина (даже в большей степени, чем лексикология), причастна к тому, что затрагивает все сферы жизни и, конечно, культуры, — определению значений слов. Само понятие дефиниции (лат. definitio) — определение понятия, смысла слов — разработано в немалой степени именно лексикографами. Основная суть всякой дефиниции — уточнение границ, пределов (definitio: finis мн. 'пределы'). Здесь мы затрагиваем то, без чего не может ступить ни шагу наша нынешняя культура, — понятие границы, предела. Человек не сразу опутал себя границами всякого рода[2], для этого ему оказалось необходимо пройти очень долгий путь. Какой путь, какие способы, — ответ на эти вопросы знает (или ищет в первую очередь) этимологическая лексикография. Классическим случаем понятия 'граница' является 'государственная граница, граница владений'; можно сказать даже, что это значение сыграло особую роль. Лат.

[2] Оставляем в стороне вопрос о соотношении, возможно, более архаичных, внутренних запретов — табу, и внешних запретов, именуемых границами.

termen, *terminus*, откуда наш *термин*, обозначало пограничный, межевой знак. Однако пограничный знак, знамя, зарубка — это еще не граница в современном понимании. Любопытно также глубокое, изначальное различие между обозначениями границы и межи. Наше русское *межа́*, слав. **medja* этимологически значит 'средняя', то есть 'полоса посередине (между двух участков земли)'. Граница имеет совсем другую, несрединную идеологию. Процесс терминообразования здесь был длительным, и его результат носит относительно поздний характер. Родоплеменная жизнь древности не знала границ в нашем понимании, не знали их и раннегосударственные объединения. Римский *limes* 'пограничная полоса с валом' — новшество передовой по тому времени римской государственной мысли и дела (впрочем, и в латинской литературе долго еще обходились без строгого понятия 'границы', оперируя расплывчатыми указаниями на конец, предел: *hic finis Sarmatiae* 'здесь конец Сарматии'). Но уже соседи Римской империи — германцы первоначально не имели слова и понятия 'граница', и это прослеживается этимологически: английские обозначения границы (*frontier*, *border*) — заимствования романского, французского происхождения; немцы тоже заимствовали свое специальное название границы *Grenze* (прежде всего слово означало 'госграница' и лишь затем — любой другой конкретный и абстрактный предел, вплоть до философских, умственных употреблений, что было выработано уже в само́м немецком языке, опираясь на лексическое и понятийное гнездо 'граница', оказавшееся очень продуктивным и перспективным). Немецкое *Grenze* было заимствовано на Востоке у славян. До того немцы обходились иным, видимо, более древним понятием пограничной, окраинной области — нем. *Mark*. Такие славянские слова, как *край*, *краина*, *окраина*, *Украина* (*украина*), удобные своей расплывчатостью обозначения целых (в основном окраинных) земель, видимо, архаичнее, чем четкие названия границ. Этнос умел сохранять свою самобытность и самодостаточность, обходясь без границ в теперешнем представлении. Эта древность не может не интересовать нас хотя бы потому, что мы на какой-то высокой грядущей культурной стадии однажды придем к тому, что сейчас выглядит как далекое прошлое. И сейчас то тут, то там объявляется об открытии границ (правда, потом подчас объявляется и о закрытии их), люди помышляют об этом из гуманных побуждений. В этой уникальной культурной ситуации (своего рода «воспоминания о будущем») сведения этимологии и этимологической лексикографии могут выполнять роль прогностическую именно тем, что документируют развитие, возникновение слов и понятий и описывают вероятную ситуацию жизни общества, человека без понятия 'граница'.

В славянских языках дело выглядит так, что всюду распространено слово *граница*, *granica*, и везде оно уже имеет это столь привычное для нашего ны-

нешнего ума значение ‘госграница’. Недаром немцы в древности получили от славян это слово с его уже готовым, современным значением. Но этимологический словарь приоткрывает завесу, и это суровое значение оказывается вторичным и получилось оно не сразу, первоначально слово *граница* значило что-то вроде ‘ветка’, ‘куча веток, пучок веток’, что во все времена широко использовалось для знаковых, сигнальных целей (сюда же, к понятийной сфере древесных веток принадлежат наши *грань*, *гранка*, этимологически родственные слову *граница*, и только эта семантика ‘отростка, выроста’ оказывается действительно древнейшей, еще индоевропейской в данном гнезде слов, хотя наше нынешнее культурное сознание уже ни с чем иным гранку не ассоциирует, кроме как с типографским делом). И наши не такие уж отдаленные предки далеко не всегда прибегали к слову *граница* даже тогда, когда имели дело с фактической государственной и военной границей, вспомним *засечную черту* на старом русском Юге, которая именно таким своим особым способом обозначалась (вообще слова *черта*, *чертеж* в славянских языках знаменовали собой свой древний мир понятий лесной вырубки, планомерного корчевания леса, с четкими свидетельствами древних значений ‘отметка, зарубка’ у нас, а также ‘прорезь, просека’ — у западных славян, и этот мир лишь позднее уступил место целому миру новых понятий, особенно в русском языке, ср. значения ‘рисунок, особым образом выполненный’ и даже — ‘географическая карта’ у старорусского «*Большого чертежа*»). Любопытно, что, например, Литва тоже позаимствовала название границы у славян, у Руси, но при этом избрала почему-то не слово *граница*, как это сделали немцы, а другое наше слово — *рубеж*, откуда литовское *rubẽžius* ‘граница’ наряду с латышским *rùobeža*. Это сейчас наши слова *чертеж* и *рубеж* не имеют ничего общего между собой, а первоначально (этимологически и семантически) все это была лексика для обозначения порубок, зарубок.

Кончая наш культурно-этимологический эпизод о границе, а заодно и подходя к концу настоящего сообщения, мы все еще ощущаем надобность дополнительно выделить методологическую, принципиальную важность затронутой категории в исследовательской работе, шире — в поведении. Культура вообще представляется неким множеством границ, и также того, что в качестве границ нам преподносится и в чем внимательный, критический глаз может уловить лишь рутину. Наиболее благословенным в науке, жизни, культуре кажется средний путь, предполагающий в принципе искусство соблюдать и уважать границы, но и дерзновенно ломать те из них, которые, как оказывается, мешают нам пойти дальше и увидеть больше, и я думаю, не надо удивляться тому, что эти речи исходят не от модерниста в языкознании, а от этимолога, компаративиста, т. е. специалиста дисциплины, как привыкли считать, традиционалистской, которой с разных сторон пророчили то упадок,

то кризис, то застой, а она — эта дисциплина — дисциплинированно, небойко работала все это время и сумела-таки благодаря этому накопить огромный опыт и материал, делающий возможными большие обобщения. Что касается «Этимологического словаря славянских языков», то доброжелательные критики (Ф. Копечный в «Вопросах языкознания» середины 1970-х гг.) уже с первых его шагов отметили в нем умение сочетать и консерватизм (осторожность, взвешенность), и дерзкое новаторство, взламывающее привычные, рутинные представления. Эта особенность ЭССЯ, как мы сокращенно именуем наш словарь, сохранилась за ним по сей день, и ее надо беречь, как зеницу ока, если не хотим превратить свое детище в большой склад чужих теорий и мнений. Заключительный мой пример поэтому тоже на тему 'границы'. Имеющий уши да слышит и извлечет свой урок — по этимологии ли, по истории культуры ли, по методу. Действующие лица: составитель, ответственный редактор и рецензент. Речь идет о статье **lьnъ, лен* в 17-м выпуске ЭССЯ. Составитель добросовестно собрал все формы слова *лен* в славянских и все довольно единообразные его этимологические соответствия в других индоевропейских языках со ссылками на литературу, получилась полезная сводка того, что известно, но никакой этимологии тут еще не было. На этом можно было остановиться, и никто, как говорится, не осудил бы этот state of the art report. Однако ответственный редактор не удовольствовался этой границей и, опираясь на забытые догадки старых авторов и на типологические аналогии других, неродственных названий льна, объяснил преформу слова *лен* как первоначальное прич. прош. страд. на *-н-* от *лить* — **li-no-* с древним значением 'литой, политый', одновременно апеллируя к производственной процедуре мочки льна. Только с этого момента стало возможно говорить об этимологии слова *лен*, и для этой этимологизации пришлось не посчитаться с границами общепринятых представлений. Рецензент, прочтя 17-й выпуск в рукописи, оценил по достоинству новый шаг к пониманию не только этимологии, но и культуры льна, охарактеризовав его как «наиболее перспективный» и написал пространный опус под названием «О "льняном" мифе в ареальной перспективе» (вышел недавно в одном австрийском фестшрифте). В этом опусе собрано огромное множество относящегося и слабо относящегося сюда материала, вплоть до ностратических аллюзий. Мне не хочется повторять «гора рожала и родила мышь», как уже было критиком сказано об одном из таких опусов (Der Berg kreischte…), отмечу только, что вся существенная этимологическая и историко-культурная информация — *лен* из первоначального 'политой' с отражением производственной мочки стеблей, а если угодно — и ритуала на базе последней, весь, так оказать, «льняной» миф у славян, балтов, etc. был закодирован в самом слове, а затем декодирован нами уже в вышеупомянутой этимологии 17-го выпуска ЭССЯ.

СЛАВЯНСКАЯ ЭТИМОЛОГИЯ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ*

1. Хотя тема «Этимология вчера и сегодня» в известной степени популярна и органично представлена в различных филологиях [1], это не делает ее менее трудной. А причины тому есть: «Этимология в сущности столь же древняя, как и само человечество» [2]. Вся классическая древность, которой мы, в конечном счете, обязаны своими главными терминами *этимология*, *этимологизировать* — ἐτυμολογία, ἐτυμολογέω [3], ученое средневековье, европейские классики нового времени, короче говоря — все смертные этимологизируют (что касается последних, то, согласно Кипарскому, они желают знать ответ на вопросы вроде «Откуда произошло слово *фокус-покус* (нем. *Hokus-pokus*)?»). В таких условиях трудно решить, что, собственно, есть в ч е р а, а что — с е г о д н я, в том числе — в рамках славянской этимологии, одной из

---

* Авторский перевод с собственного немецкого оригинала: *O. N. Trubačev.* Slavische Etymologie gestern und heute // Wiener slavistisches Jahrbuch. Bd. 37. 1991. S. 197—212. В основу статьи положен доклад автора на международном симпозиуме к 100-летию со дня смерти Миклошича в Венском университете 30 сент. — 1 окт. 1991 г.

[1] См.: *P. Thieme.* Etymologie — einst und heute // Lautgeschichte und Etymologie. Akten der 6. Fachtagung der Indogermanischen Gesellschaft. Wien, 24—29 Sept. 1978. / Hrsg. M. Mayrhofer (et al.). Wiesbaden, 1980. S. 485—494; *K. Baldinger.* L'étymologie hier et aujourd'hui (1959) // Etymologie / Hrsg. R. Schmitt. Darmstadt, 1977; *V. Kiparsky.* Slavische Etymologie gestern und heute (в настоящий момент мне недоступно); *V. Vinja.* Etimologija danas. — Цит. по: *J. Влајић-Поповић.* Први југословенски научни скуп о етимологији // Јужнословенски филолог 54. 1988. С. 113 и след.

[2] *W. Sanders.* Grundzüge und Wandlungen der Etymologie // Etymologie / Hrsg. R. Schmitt. Darmstadt, 1977. S. 7.

[3] A Greek-English lexicon compiled by H. G. Liddell and R. Scott. A new edition (s. a.). P. 704.

дочерних дисциплин в отношении индоевропейской этимологии, и в рамках научной этимологии, насчитывающей полтора столетия, приблизительно со времен Потта. Прибавим, что любая периодизация хромает. Называя эпоху Миклошича нашим великим Вчера, мы едва ли вправе утверждать, что это «вчера» уже кончилось.

Высказывалось мнение, что младограмматический период в этимологической лексикографии продолжался с 1880-х гг. (Миклошич) вплоть до 1950-х гг., т. е. до настоящего времени[4]. И вряд ли было бы большим преувеличением сказать, что все мы вышли из труда Миклошича, не случайны и эти слова посвящения на «Этимологическом словаре польского языка» Брюкнера: «Памяти величайшего слависта Франца Миклошича», и, далее, там же, в «Предисловии»: «Я никогда не приводил имен авторов-специалистов, кроме имени, которое я проставил на титуле книги, — того, кому одному я обязан больше, чем всем прочим славистам вместе, — Миклошича».

Известно, как прореагировал на это Младенов в предисловии к своему «Этимологическому словарю болгарского языка»: «Александр Брюкнер ⟨…⟩ нигде не упоминает никаких специалистов по этимологии польского языка, кроме Миклошича ⟨…⟩ которому автор, согласно его собственным словам, обязан больше, чем всем остальным славистам вместе ⟨…⟩ Покойный Брюкнер был во многих отношениях форменным чудаком, и его поведение отнюдь нельзя ставить в пример…» (после этих слов отсутствие каких бы то ни было библиографических ссылок в корпусе словаря самогó Стефана Младенова производит не менее сильное впечатление).

2. Как было сказано, славянская этимология представляет часть индоевропейской этимологии, и было бы недальновидно отделять их друг от друга. А это означает, что все спорные вопросы индоевропейской этимологии и ее разделов — это также и наши спорные вопросы. Чрезвычайно благоприятное положение романских языков, письменно засвидетельствованный романский праязык — латынь — и богатство романской письменности в целом породили эту контроверзу между этимологией слова и историей слова — не в пользу этимологии, и эта тенденция возымела также влияние на некоторых славистов. И все же специфика этимологии пребудет. Германист Клюге указывает в этой связи на необходимую гипотетичность и на этимологическое мышление, обретенное начиная с Якоба Гримма[5]. Для нас не лишено интереса то

[4] См.: *V. Putanec.* Daničićeva etimološka metoda (s nacrtom povijesti etimoloških metoda u Hrvatskoj do njegova vremena) // Zbornik o Đuri Daničiću. Zagreb; Beograd, 1981. S. 306.

[5] См.: *F. Kluge.* Aufgabe und Methode der etymologischen Forschung (1911) // Etymologie / Hrsg. R. Schmitt. Darmstadt, 1977.

обстоятельство, что и в богато оснащенной фактическими данными романистике гипотеза относится к числу постоянных рабочих методов [6]. Принципиально здесь, по-видимому, то, что письменная традиция носит нередко случайный характер и почти никогда не бывает свободна от лакун (а нам, славистам, такое положение дел известно слишком хорошо); помимо этого, письменная традиция представляет во многих случаях, так сказать, период относительного покоя, что в первую очередь касается древнейшего словарного состава и его семантического развития, а это побуждает нас признать, что именно этимология есть квинтэссенция историзма [7].

3. Другие коллизии тоже сотрясают здание нашей этимологической науки или во всяком случае ощутимо затрагивают его. Если атомизм в исследовании языка преодолен, то появился новый атомизм семного (признакового) анализа лексического значения, и это уже один из парадоксов «сегодня». Многие исследователи возлагают на этот анализ немалые надежды [8], но собственный опыт настраивает нас скорее сдержанно. Разве процедура отождествления сем и их сложения не является слишком механистичной, чтобы связывать с ней перспективы внутренней семантической реконструкции? Компонентный анализ, задуманный как метод описания значений слов, в сущности остается гипотезой, но описание, оказывающееся гипотетичным, таит в себе противоречие. По-прежнему сохраняет свою актуальность виноградовская антитеза значения слова и контекстного употребления слова [9].

4. Вынужденно опуская многочисленные этимологические исследования отдельных славянских слов, мы считаем своим естественным долгом упомянуть здесь, хотя бы кратко, главные виды славянской этимологии и прежде всего — славянские этимологические словари. При этом не так легко провести черту между «вчера» и «сегодня», скорее всего такая черта вообще отсутствует, и насыщение словарей материалом и этимологическими решениями осуществлялось постепенно.

---

[6] См.: *M. Pfister.* Einführung in die romanische Etomologie. Darmstadt, 1980. S. 23.

[7] См.: *О. Н. Трубачев.* Историческая и этимологическая лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984.

[8] См.: *V. Blanár.* Lexikálno-sémantická rekonštrukcia. Bratislava, 1984; *O. Panagl.* Zur Problematik semantischer Rekonstruktion in der Etymologie // Lautgeschichte und Etymologie. Akten der 6. Fachtagung der Indogermanistischen Gesellschaft. Wien, 24—29. Sept. 1978 / Hrsg. M. Mayrhofer (et al.). Wiesbaden. S. 316—327.

[9] См.: *О. Н. Трубачев.* Приемы семантической реконструкции // Сравнительно-историческое изучение языков разных семей. Теория лингвистической реконструкции. М., 1988.

И сегодня, как и вчера, «Этимологический словарь славянских языков» Миклошича (1886 г.) остается единственным законченным словарем такого рода для всех славянских языков. Этот великий труд тоже был в свое время объектом разнообразной критики (ср. А. Лескин: «...собрание материала» [10]), и все же этот не совсем устаревший общеславянский этимологикон остается в ряде отношений авторитетным также сегодня. По известным причинам Э. Бернекеру с его гораздо более современным «Славянским этимологическим словарем» не удалось полностью заменить Миклошича. Назвать еще два более ранних этимологических словаря русского языка — Н. В. Горяева и А. Преображенского — достаточно, чтобы тем самым подвести итог славянской этимологической лексикографии до Первой мировой войны и непосредственно после нее. Результат двух междувоенных десятилетий был крайне скуден: кроме уже названного вначале словаря Брюкнера 1927 г., был еще краткий этимологический словарь И. Голуба 1937 г., название которого в настоящее время звучит несколько странно («...jazyka československého»). Словарь Младенова, равным образом названный ранее, вышел уже во время войны.

Обычно, когда говорят о достижениях языкознания в послевоенное время, подразумевают при этом триумф структурализма и различные постстуктуралистские течения, научные школы, трактовавшие о функции и семантике, сплошь и рядом — без учета значения слова и даже — без учета слова как такового. (Сравните в связи с этим книгу О. Семереньи «Направления современного языкознания II: пятидесятые годы (1950—1960)». Гейдельберг, 1982, автор которой, сам будучи именитым этимологом, посвятил этимологической лексикографии лишь несколько страничек.) В действительности же начиная с 1950-х гг. состоялось подлинное возрождение этимологической лексикографии, и оно, может быть, не в меньшей степени, чем все прочее, характеризовало филологию послевоенной эпохи. Лично для меня остаются загадкой довольно распространенные у нас (праздные) разговоры о застое, в который якобы погрузилось этимологическое исследование. Ведь находит же Семереньи для этимологических словарей именно этого времени совсем другие слова: «славная страница европейской науки». В этом убеждает даже краткий обзор. Уже в начале 1950-х гг. выходят первые выпуски нового польского этимологического словаря Ф. Славского, в 1957 г. переиздается Словарь Брюкнера, издается чешский этимологический словарь И. Голуба и Ф. Копечного, важный труд В. Махека выходит в своем первом варианте (для чешского и словацкого). Этот заметный процесс получает достойное продолжение в ближайшие годы: в 1960-е гг. начинается публикация большого нового

---

[10] См.: *E. Eichler.* August Leskien und Franz Miklosich // Zeitschrift für Slawistik. 1982, 27/1. S. 115 и след.

болгарского этимологического словаря, свой собственный этимологический словарь получают и дравено-полабские реликты, дальнейшие издания Махека — уже только в чешском варианте — следуют после смерти автора, монументальный сербохорватский (или хорватско-сербский) этимологический словарь скончавшегося еще раньше П. Скока выходит в свою очередь, как и словенский — Ф. Безлая. Кроме большого русского этимологического словаря М. Фасмера (одно немецкое издание и два русских), наряду с незаконченным проектом московского университета, создаются многотомные этимологические словари также для украинского языка (сначала в Виннипеге, Канада, а в настоящее время — в Киеве) и для белорусского. Лейпцигский славист Х. Шустер-Шевц составляет за короткое время первый капитальный историко-этимологической словарь верхне- и нижнелужицкого языков (уже полностью опубликован). В будущем ожидается появление словацкого этимологического словаря. И это еще не все: существует информация о потенциальном кашубском этимологическом словаре, и мы не можем не отметить похвальность специального этимологического интереса к языкам, которые, так сказать, не достигли литературного стандарта. Немалая работа была проведена в области общеславянского и праславянского: я имею в виду 19 выпусков нашего «Этимологического словаря славянских языков» (праславянский лексический фонд, от *А* до *М*), «Праславянский словарь» в Кракове (первые пять томов — от *А* до *D* и новинка, относимая к «сегодня» — том 6-й: *E*), а также два, к сожалению, прерванных проекта — «Этимологического словаря славянских языков» в Брно, Чехословакия, с двумя вышедшими томами по служебным словам, и «Сравнительного словаря славянских языков» Л. Садник и Р. Айцетмюллера (вышли только *А* и *В*). Мы, конечно, надеемся, что новому брненскому проекту этимологического словаря старославянского языка будет уготована более благополучная судьба. Все это необычное богатство готовых или продвинутых публикаций в области славянской этимологической лексикографии, отвечающих академическому уровню либо на него претендующих [11], можно сказать, не имеет себе подобных в современной европейской науке.

5. Множество лексического материала и идей по этимологии слов, а также построению словарей, содержащееся в этой славянской этимологической лексикографии послевоенного времени, оттачивает теоретическую мысль, а

[11] См.: *R. Aitzetmüller.* Über etymologische Wörterbücher des Slavischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. A. Bammesberger. Regensburg, 1983; *E. Havlová.* Etymologické slovníky jednotlivých slovanských jazyků // Slavia. 1983, № 52/3—4. S. 417 и след.; *E. Havlová a kol.* Etymologický slovník jazyka staroslověnského. Zásady práce a ukázky hesel // Slavia. 1986, № 55. С. 337—354.

вместе с ней и остроту критического проникновения в вопросы составления словарей. В последнем случае подразумеваются поиски более совершенного типа этимологического словаря языка или группы языков. Параметры этимологического словаря как цель исследования уже были в свое время определены и подвергнуты рассмотрению в романской филологии. Таким образом, мы обращаемся сначала к принципам этимологической лексикографии, которые, похоже, подводят нас ближе к специфике собственно этимологического исследования, чем так называемые принципы, или правила, самих этимологических исследований. Особенно следует выделить то, что говорит по типологии этимологических словарей Яков Малкиел в ряде специальных исследований [12].

Мы намерены здесь кратко обсудить некую вариацию на эту тему и притом те из параметров, которые кажутся нам наиболее существенными, в их числе — временну́ю глубину. Специфичность славянской этимологической лексикографии, как, впрочем, и славянских этимологических исследований, непосредственно видна при сравнении с практикой романистики. При этом важно отсутствие принципиальной границы между славянской этимологией (и в целом — славянским материалом, подлежащим этимологическому лексикографированию) и индоевропейским (пример: древнезападнорусское *зерема* 'колония бобров' трактуется в равной степени и как заглавная позиция в праславянском этимологическом словаре — **zerdmę / mene* и как дославянское, еще индоевропейское **ĝherdh-men-* 'ограждение, ограда'). Совсем по-другому смотрят на свои задачи романисты: «...une chose est étymologie romane, autre chose est étymologie indoeuropéenne» [13] (одно дело — романская этимология, а другое дело — индоевропейская этимология).

Вторым по важности параметром этимологического словаря является, по-видимому, целевая ориентация труда. Так, латинскому этимологическому словарю Вальде—Гофмана можно предъявить упрек в том, что это в большей степени индоевропейский, чем собственно латинский словарь [14]. Далее, вызывает сожаление, что индоевропейский этимологический словарь Ю. Покорного дает почти исключительно корни, вместо реконструкций потенциальных слов. В духе оппозиции «вчера» — «сегодня» словарь Миклошича — это по преимуществу корневой словарь, тогда как наш ЭССЯ

---

[12] См.: *Y. Malkiel.* Etymological dictionaries. A tentative typology. Chicago; London, 1976; Idem. Models of etymological dictionaries // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. A. Bammesberger. Regensburg, 1983. S. 117—145.

[13] См.: *V. Väänänen.* [Рец. на кн.:] *M. Pfister.* Einführung in die romanische Etymologie // Neuphilologische Mitteilungen 82. 2. 1981. S. 217.

[14] См.: *B. Forssman.* Etymologische Nachschlagewerke zum antiken Latein: Stand und Aufgaben // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. A. Bammesberger. Regensburg, 1983. S. 49—73.

имеет выраженную целевую ориентацию на реконструкцию потенциальных лексем.

На третьем месте в качестве дальнейшего словарного параметра можно назвать подробность, или богатство фактического материала. Естественно, сюда относится число словарных позиций, которое в этимологическом словаре будет меньше, чем в словаре языка общего типа. Словарь Брюкнера содержит свыше 5000 словарных статей, большой фасмеровский словарь насчитывает более 18000, однако особенно поучительно сравнение с великими литературными традициями: по Бальдингеру, одна лишь этимологически темная часть «Французского этимологического словаря» насчитывает до 40000 слов, что составляет не более 20% всего этого словаря. Другой красноречивый пример: трехтомный словарь М. Майрхофера, как и во времена Уленбека, носит название «Краткий этимологический словарь древнеиндийского языка», и автор признается пессимистически: «Далеко еще не пришло время для этимологического словаря древнеиндийского языка, который по праву мог бы носить свое название» [15].

Отсюда логический вывод: ни один из наших этимологических словарей не может претендовать на полноту. Попутно можно указать на то, что этимологическая монография не обязательно гарантирует бóльшую подробность, чем алфавитный этимологический словарь, и я как рецензент мог убедиться в том, что и чехословацкий «Этимологический словарь славянских языков», организованный по принципу этимологической монографии, и алфавитный сербохорватский этимологический словарь П. Скока прошли мимо префикса *oz*, ср. сюда же сербохорв. *ȍzdō*, *ȍzgō*, особенно *ȍzbiljan* [16].

6. Разумеется, дальнейший важный вид исследования представляют этимологические монографии. Отнюдь не претендуя на полноту и вместе с тем строго не отграничивая славянский от индоевропейского, можно сказать, что за последние десятилетия были обработаны в специальных монографиях следующие лексикосемантические группы: астрономия и понятия времени, метеорологические термины, термины родства и общественного строя, названия растений, деревьев, явлений природы, рыб, птиц, домашних (и других) животных, земледельческая и ремесленная терминология, древняя и новая религиозная терминология, терминология пчеловодства, названия обуви [17].

---

[15] *M. Mayrhofer.* Kurzgefaβtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. 1. Heidelberg, 1956. S. IX.

[16] *О. Н. Трубачев.* [Рец. на кн.:] Etymologický slovník slovanských jazyků. Slova gramatická a zájmena. Svazek 1 // Этимология. 1974. М., 1976. С. 177.

[17] См.: *W. Budziszewska.* Słowiańskie słownictwo dotyczące przyrody żywej. Wrocław etc., 1965; *Л. А. Булаховский.* Общеславянские названия птиц // ИАН ОЛЯ 7,

Не было недостатка также в специальных этимологических изданиях, сборниках и прочих инициативах, среди них — наша серия «Этимология» (с 1963 г.), сборник «Etymologica Brunensia» (1978 г.), специальный том «Etymologie» в дармштадской серии «Wege der Forschung» (1977 г.) и др. Мне приятно напомнить в связи с этим о том, что первый международный симпозиум по славянской этимологии состоялся у нас в Москве в 1967 г.

7. Это, так сказать, внешняя сторона, но имела место и внутренняя «перестройка», причем не обошлось без влияния на существующую систему понятий, ср., например, пару терминов праславянский — общеславянский, и не только это. Словари, специально посвященные праславянскому, свидетельствуют о существовании праславянской лексикографии, причем впервые в области индоевропейских языков мы имеем дело с праязыковой лексикографией. Я полагаю, что, например, германистике придется здесь еще многое наверстывать (я имею в виду и понятийную антитезу 'прагерманский' — 'общегерманский', и в особенности прагерманскую лексикографию, которой, как известно, попросту еще нет). Необходимая детализация понятия 'праславянский' коренится в диалектологии и лингвистической географии. При этом главным понятием служит праславянский лексический диалектизм, т. е. древний элемент лексики, который потенциально с самого начала не был общеязыковым образованием.

1948; *R. Eckert.* Untersuchungen zur historischen Phraseologie und Lexikologie des Slawischen und Baltischen (Systemfragmente aus der Terminologie der Waldimkerei) // Linguistische Studien, Reihe A, Arbeitsberichte 81. Berlin. 1981; *P. Friedrich.* Proto-Indo-European trees. The arboreal system of a prehistoric people. Chicago; London, 1970; *В. Т. Коломиец.* Происхождение общеславянских названий рыб. Киев, 1983; *V. Koseska.* Bułgarskie słownictwo meteorologiczne na tle ogólnosłowiańskim. Wrocław, 1972; *W. Kupiszewski.* Polskie słownictwo z zakresu astronomii i miar czasu. Warszawa, 1974; *V. Machek.* Ceská a slovenská jména rostlin. Praha, 1954; *В. А. Меркулова.* Очерки по русской народной номенклатуре растений. Травы. Грибы. Ягоды. М., 1967; *Г. Ф. Одинцов.* Из истории гиппологической лексики в русском языке. М., 1980; *A. Scherer.* Die Gestirnnamen bei den indogermanischen Völkern. Heidelberg, 1953: *W. Sędzik.* Prasłowiańska terminologia rolnicza. Rośliny uprawne. Użytki rolne. Wrocław etc., 1977; *O. Szemerényi.* Studies in the kinship terminology of the Indo-European languages. Leiden; Téhéran; Liège, 1977; *V. Šaur.* Etymologie slovanských příbuzenských termínů. Praha, 1975; *О. Н. Трубачев.* История славянских терминов родства и некоторых древнейших терминов общественного строя. М., 1959; *О. Н. Трубачев.* Происхождение названий домашних животных в славянских языках (Этимологические исследования). М., 1960; *О. Н. Трубачев.* Ремесленная терминология в славянских языках (Этимология и опыт групповой реконструкции). М., 1966; *И. С. Вахрос.* Наименования обуви в русском языке I. Древнейшие наименования, до Петровской эпохи. Хельсинки, 1959.

Подобная концепция основана не на чистом теоретизировании, а на этимологической практике и типологической вероятности (праязык как некогда живой язык). То, что мысли эти разделяются не всеми, можно видеть, например, на принципах (правилах) этимологических исследований Семереньи: правило D (к этим принципам мы еще вернемся) как раз отражает идеальное — бездиалектное — понимание праязыка. Изучению германо-славянских, а также балто-славянских отношений, возможно, пошло бы на пользу, если бы исследователи уделяли больше внимания междиалектному распространению древних диалектизмов и изоглосс, а также тенденциям (задаткам) к формированию языковых союзов.

8. Взгляд на положение праславянского в индоевропейском языковом ареале через призму праславянского лексического состава и отношение последнего к совокупной индоевропейской модели — таковы, думается, задачи современного славянского этимологического исследования. Нередко оказывается возможным также проследить и вскрыть этимологически непрерывную эволюцию славянского словообразования из индоевропейских начал. Тезис о преимущественной ориентации праславян на древнеиндоевропейскую Центральную Европу, несмотря на его этимологическое и лингвогеографическое обоснование [18], встретил сопротивление со стороны приверженцев различных балто-славянских теорий, которых мы можем здесь коснуться лишь со всей краткостью, включая и теорию западнобалтийского происхождения праславян. Известно, что вопрос о принадлежности славянского к северо-западной группе индоевропейских диалектов на основе лексических свидетельств выдвинул уже Мейе.

Позднее этот тезис получил совершенно естественное продолжение в концепции центральной позиции славянского в индоевропейском языковом ареале [19]. Новые доказательства этого дали этимология и типология индоевропейских названий деревьев. Я имею в виду исследование П. Фридри в 1970 г. Похоже, что самого автора озадачило его собственное заключение о тесном родстве славянского с праиндоевропейским, в особенности же — с италийским [20], хотя наша «Ремесленная терминология» 1966 г. указывала в том же направлении. Далеко еще не исчерпаны славяно-латинские (италийские) этимологические связи, например, стоит обратить внимание на прочтение лат. *volup*, *voluptas* как **u̯elo-lub-* (Семереньи, Топоров [21]) как раз с помо-

[18] *О. Н. Трубачев.* Ремесленная терминология в славянских языках, passim.

[19] См.: *H. Schelesniker.* Die Schichten des urslavischen Wortschatzes // Studien zum indogermanischen Wortschatz / Hrsg. W. Meid. Innsbruck, 1987. S. 227—244.

[20] См.: *P. Friedrich.* Op. cit. P. 173—174.

[21] См.: *В. Н. Топоров.* Славянские комментарии к нескольким латинским архаизмам // Этимология. 1972. М., 1974. С. 9 и след.

щью слав. **vele* + **l'ub-*, ср. в связи с этим еще такой дополнительный факт, как позднедревнерусское *велелюбительный* 'особенно любимый' (1613 г., Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 2. М., 1975. С. 58). Правда, Топоров скорее принадлежит к противникам равноправного партнерства праславянского с италийским.

Утрированный смысл теории балтийского происхождения праславянского видится в том, что италики (или венеты?) наслоились будто бы на прежний западнобалтийский континуум и лишь отсюда якобы возникли собственно праславяне. Так гласит ряд специальных этимологических работ Мартынова[22]. Его теория ингредиентов основывается на парах слов, в которых один ингредиент имеет специальные латинские соответствия, что в глазах Мартынова означает вторичное заимствование из италийского в славянский (или еще западнобалтийский?).

Так, например, в италийские ингредиенты попадают слав. **svinъ* и **moltъ*, ср. лат. *suīnus* и *malleus*, *marculus*. Но непредубежденный взгляд в состоянии все же видеть значительно более глубокую укорененность обоих этих славянских слов в славянско-индоевропейском лексико-словообразовательном материале, чем это вытекает из учения об ингредиентах, ср. сюда же перекрестное свидетельство индоевропейского корня **su-* 'производить, рождать', пронизывающего славянский и притом этимологически выявленного отнюдь не только в **svinъ* 'свинья', но и в терминах родства (**svekrъ*, **svьstь*, **svojь* и т. д.).

Таким образом, название животного (**svinъ*) не является изолированным в славянском. Точно так же объяснение **moltъ* как италийского ингредиента построено исключительно на вторичном значении славянского слова, а именно — '(большой) кузнечный молот'. Интересно, что как в славянском, так и в романском (португальский), сохранилось вплоть до нашего времени первоначальное значение 'молотильный цеп, то, чем молотят': рус. *молотить*, *молотьба* не имеют ведь ничего общего с кузницей, и этот архаизм доказывает, во-первых, что слово это исконно праславянское, а, во-вторых, что этот латинско-славянский случай, пожалуй, сложнее, чем одностороннее развитие, будучи либо параллелизмом, либо совместным развитием.

Конкретной мелкой работы здесь определенно хватит и в будущем; сначала надлежит подвергнуть проверке существующие мнения, как, например, (у Порцига и других) относительно принадлежности рус. *пескарь*, польск. *piskorz* то же к западноиндоевропейскому **(a)p-isk-* (откуда нем. *Fisch*, лат. *piscis* 'рыба' и т. д.), первоначально 'водяной, водяная'. Существенно, что

---

[22] См.: *В. В. Мартынов.* Балто-славяно-италийские изоглоссы. Лексическая синонимия. Минск, 1978 и др.

русское слово представляет собой явно позднее и даже словообразовательно продуктивное производное. Поскольку мы заговорили о славянских названиях рыб, нельзя не упомянуть мнения специалиста[23] о том, что в славянской рыбной номенклатуре число индоевропейских элементов как раз минимально: **ǫgorь* 'угорь', **lososь* 'лосось' — и это всё. Точно так же минимален индоевропейский компонент в славянской номенклатуре дикорастущих трав, грибов, ягод[24], и остается еще выяснить, относится ли причина этого к истории языка или к истории культуры.

Балто-славянские общности и различия в лексике всегда находятся в центре славянской этимологии. Эта традиция ведет начало примерно с Траутмана, она не оставлялась без внимания и впоследствии и не исчерпывается более новыми исследованиями, как, например, работа Х. Станга 1972 г.[25], в деталях, кажется, уже устаревшая, или коллективный труд украинских исследователей[26], в котором также сосредоточено до ста германо-балто-славянских соответствий.

9. Что касается метода этимологических исследований, то некоторые вопросы (подходы) не только оказываются особенно живучими, но и побуждают также постоянно к ним возвращаться. Примерно так обстоит дело с понятиями семья слов и гнездовой способ. Повернувшись спиной к корневой этимологии, знаменующей «вчера», и обратившись лицом к тому, что называется «жизнь» реального слова, современное исследование, однако, не совсем распрощалось с названными понятиями, а это уже само по себе является неплохим доказательством того, что за теми понятиями стоит объективная реальность.

Есть и современные исследователи, сознательно применяющие гнездовой способ. Иногда, правда, это случается по практическим соображениям: «Bohužel 〈…〉 budeme muset hnízdovat» (к сожалению, мы будем вынуждены гнездовать), сообщает чешская коллега в связи со своим проектом старославянского этимологического словаря. Гнездовой способ оказался излюбленной темой Мельничука[27], причем гнездо, или, вернее, корень, понимается им как

[23] См.: *В. Т. Коломиец.* Происхождение общеславянских названий рыб.

[24] См.: *В. А. Меркулова.* Очерки по русской народной номенклатуре растений. С. 236 и след.

[25] См.: *Chr. Stang.* Lexikalische Sonderübereinstimmungen zwischen dem Slavischen, Baltischen und Germanischen. Oslo etc., 1972.

[26] Общая лексика германских и балто-славянских языков / Отв. ред. А. П. Непокупный. Киев. 1989.

[27] См.: *А. С. Мельничук.* Об одном из важных видов этимологических исследований // Этимология. 1967. М., 1969; *А. С. Мельничук.* Корень **kes-* и его разновидности

нечто до такой степени разветвленное, всеохватное и вместе с тем — столь оголенное от семантического содержания, что наметилась тенденция этого своеобразного (макро-)гнездования в направлении к макросравнению (megalocomparison), что, собственно, и совершилось в последнее время, поскольку на уровне кратких корней типа *ks-, *u̯e- с любой мыслимой семантикой, не говоря о разнообразных детерминативах, мы обретаемся уже в сущности на языковом уровне φύσει в духе Кратила.

Приблизительно так я понимаю новейшую работу Мельничука о всеобщем родстве языков мира [28], т. е. в том смысле, что о каком-то родстве всех языков мира речь может идти только на ономатопоэтическом уровне φύσει. Этимология же, которая изучает мотивацию, останавливается в более высоких слоях языка. Естественно, что и в более поздних образованиях языка звукоподражание играет определенную роль, и этим объясняется интерес исследователей к подобным кратиловским образованиям [29]. Особенно характерны в этом отношении, например, названия птиц, ср. суждения на этот счет Булаховского и Мареша [30]. Может быть, можно было бы с определенным правом утверждать, что интерес к ономатопее свойствен чешской этимологической школе. В таком случае утверждение И. Немца о том, что праславянский язык был более звукоподражательным языком [31], не является случайным.

10. Но подавляющая часть словарного состава — это мотивированные и производные образования, хотя, впрочем, граница между тем, что мотивировано, и тем, что звукоподражательно, порой оказывается размытой. Это дает повод к возможной дискуссии, например, о происхождении праславянского названия вороны — **vorna* — в смысле выяснения, является ли оно чистым звукоподражанием, послужившим базой для дальнейшего производного **vornъ* (см. *F. V. Mareš.* Указ. соч. С. 359), или же, согласно распространенному толкованию, последнее название вóрона со своей циркумфлексной интонацией древнée, чем вновь образованное от него праслав. **vőrna* с акутовой

в лексике славянских и других индоевропейских языков // Этимология. 1966. М., 1968; *А. С. Мельничук.* Этимологическое гнездо с корнем **u̯ei-* в славянских и других индоевропейских языках. Доклад на VIII МСС. Загреб — Любляна, сент. 1979 г. Киев, 1978.

[28] См.: *А. С. Мельничук.* О всеобщем родстве языков мира // ВЯ. 1990, № 2; 1991, № 3.

[29] См.: *В. И. Абаев.* Как можно улучшить этимологические словари // Этимология. 1984. М., 1986.

[30] См.: *F. V. Mareš.* K metodice etymologického bádání: Etymologie některých slovanských pojmenování ptáků onomatopoického původu // Slavia. 1967, № 36. 3.

[31] См.: *I. Němec.* Morfonologicko-slovotvorná systematika Ž. Varbotové a rekonstrukce psl. slov // Slavia. 1985, № 54. 3. S. 266.

долготой. Определенную аналогию вышеназванной лексике, не мотивированной на почве праславянского, составляют заимствования, противостоящие в каждом языке исконному словарному составу. Исконно славянские слова в общем и целом мотивированы, даже если эта мотивированность оказывается доступной лишь в результате этимологического исследования.

Кое-что из этой области мы уже продемонстрировали выше, в связи с неизбежными дискуссиями между концепцией исконно славянской принадлежности и ингредиентной теорией. Разумеется, и с одной, и с другой стороны желательно дальнейшее совершенствование критериев. Например, вряд ли возможно удовольствоваться откровенными корневыми этимологиями, утверждают ли они исконно славянское происхождение (я имею при этом в виду неудачную идею произвести топоним *Дукля*, название одного перевала в Карпатах, а также местное название в Иллирии, от сомнительного, будто бы славянского корня **duk-* [32], или предполагают заимствование. В обоих случаях произвольное членение слова не является хорошей гарантией вероятной этимологии. Я заранее предпочитаю отклонять, скажем, толкование *Zanoga*, гидроним на польской территории, из и.-е. **ghan-* 'зевать, зиять' — не только потому, что подобное этимологизирование с кратким корнем практически не находит поддержки в суффиксальном словообразовании, но также и на основе элементарного знания того факта, что *Zanoga* скорее связано с польск. *od-noga* 'речной рукав'.

Особенно же оставляет желать лучшего, на наш взгляд, современное исследование заимствований в славянских языках. Исследователи, работающие в этой области, часто обходятся без всякой типологии, а значит, мало заботятся о вероятности того или другого смыслового перехода, и это несмотря на то, что именно таким путем может быть облегчена (или — затруднена) постановка вопроса о том или ином источнике происхождения. Тот, кто придумал этимологию слав. **uklěja* 'уклейка Cyprinus alburnus' < греч. εὔκλεια 'добрая слава'(?!) [33], в моем представлении, абсолютно не помышлял о типологической вероятности.

Такое толкование не оправдано ничем, в том числе и мнимой темнотой русского слова *уклейка*, вообще же это название рыбы вряд ли древнее. Примеров этого рода можно привести много, гораздо больше, чем здесь позволяет место. Достаточно типична попытка вывести блр. *сикляки* 'мелкие красные муравьи', рус. *сикля́ха* 'муравей' прямо из балтийского, со ссылкой на ла-

---

[32] См.: *J. Udolph.* Studien zu slavischen Gewässernamen und Gewässerbezeichnungen. Ein Beitrag zur Frage nach der Urheimat der Slaven. Heidelberg, 1979 (= BNF, Neue Folge, Beiheft 17). S. 420.

[33] См.: *H. Kunstmann.* Beiträge zyr Geschichte der Besièdlung Nord- und Mitteldeutschlands mit Balkanslaven. München, 1987. S. 22.

тышское *siklis* 'маленький' [34]. Конечно, муравьи — мелкие насекомые, но это, так сказать, немаркированная особенность, маркированной же, напротив, оказывается способность муравьев выделять специфическую кислоту. Короче говоря, здесь нет и в помине латышского *siklis*, а *сикляха* родственно глаголу *сикать*. Ср. специально по этому поводу английское *piss-ant*, что-то вроде 'сикающий муравей' [35]. На этих безобидных примерах *уклéйка* и *сикля́ха* надобно учиться, особенно тем, кто ощущает поползновение выискивать заимствования из некоего «прежде неизвестного языка» [36].

Какие нелегкие дискуссии могут возникнуть вокруг относительно позднего иноязычного заимствования, показывает обмен мнениями между Ондрушем и покойным Копечным по поводу слова *chotár*; и все же это околовенгерское слово имеет иноязычное, определенно не славянское происхождение. Случается также спустя десятилетия возвращаться к тому же самому слову с тем, чтобы пересмотреть его заимствованный статус и притом — с отрицательным результатом; так обстояло дело со словом *площадь*, явно русским производным от *плоск-* с суффиксом *-ядь*, ср. *чернядь (-еть)*, *лещадь*, о чем справедливо писал Лант [37], выступая против попытки Пизани вывести его из греч. πλατειάδες.

11. Оказывается плодотворным постулат, рассматривающий как диалектно расчлененные (полидиалектные) образования праязыки, в том числе также праславянский, ср. в качестве сигнала об этом ранее названный нами праславянский лексический диалектизм. Путь к разъяснению здесь таких базисных понятий лексикологии, как омонимы (омофоны), синонимы и т. д., указывает этимология. В ходе этого становится явной первоначальная принадлежность таких слов к различным диалектам; сведения подобного рода небезразличны и для этнической истории. Мысль о разноязычной природе синонимов, сама по себе, возможно, и неновая (ее учитывает, например, теория ингредиентов, см. выше), до сих пор практически еще не использована. Но в славянской и индоевропейской этимологии ведется немалая работа над проблемами омонимии [38].

---

[34] См.: *Ю. А. Лаучюте.* Словарь балтизмов в славянских языках. Л., 1982. С. 131.

[35] Последняя английская параллель получена мной от Фрэнка Глэдни, университет штата Иллинойс, г. Урбана-Шампейн (в письме).

[36] См.: *G. Holzer.* Entlehnungen aus einer bisher unbekannten indogermanischen Sprache im Urslavischen und Urbaltischen. Wien, 1989.

[37] См.: *H. G. Lunt.* Russian *площадь* // Зборник за филологиjу и лингвистику. Кн. IV—V. Нови Сад, 1961—1962.

[38] См.: *А. Е. Аникин.* Опыт семантического анализа праславянской омонимии на индоевропейском фоне. Новосибирск, 1988; *F. Bader.* Le liage, la peausserie et les poètes-chanteurs Homère et Hésiode: la racine *$*seh_2$* 'lier' // Bulletin de la Société de linguistique de Paris 85. 1990. Fasc. I.

Некоторые синонимические ряды обнаруживают свою вторичность, ср. знаменитую пару и.-е. *$\hat{g}$enə- I ‘знать’ и *$\hat{g}$enə- II ‘производить, рождать’; пытались связать их на недостаточной семантической базе значений вроде ‘мочь’ или даже ‘подбородок’, ‘колено’ (см. выше Панагль). Однако первоначальное состояние следует рассматривать не только в семантическом, но и в идеологическом плане: древнейшее *$\hat{g}$enə- первоначально относилось не к вещам, а к человеку. ‘Родить’ человека, а тем самым ‘быть родственным’ с ним — это и был путь к празначению ‘знать (человека)’ [39].

Это выглядит одновременно как классическое упражнение на тему нейтрализации оппозиции, т. е., по канонам структурализма, как лучшее доказательство исходного единства. Непервоначальность, вторичность многих отношений и значений слов является важным итогом этимологического анализа, который, например, вскрывает, что члены оппозиционной пары ‘левый’ — ‘правый’ в славянском обладали этой семантикой не всегда. Так, все слова со значением ‘левый’ — **kъrxъ*, **šujь*, **lěvъ* — прежде означали ‘кривой, согнутый’, слово **pravъ* первоначально значило ‘прямой’, а **des(ь)nъ* ‘правый’ значило ‘подходящий, удобный’ [40]. То обстоятельство, что прилагательное **lěvъ* обладает западноиндоевропейскими соответствиями (*laevus*, λαιός), по свидетельству внутриславянской семантической эволюции, отнюдь не дает права для допущения какого-либо италийского заимствования.

12. Отмеченную выше общность целей этимологии и лексикологии правомерно перенести также на другие уровни языка, например, на этимологию и историческую фонетику, причем и там можно говорить о взаимозависимости.

Может быть, важнее всего отношения между этимологией и историческим словообразованием, интерес к которым неизменен [41]. Едва ли было бы большим прегрешением против истины, если вообще принять практическое тождество обеих дисциплин, тем более, что их различение дается с гораздо бóльшим трудом [42]. Исследования, посвященные историческому словообразованию, нередко допустимо безоговорочно считать этимологическими, как например, работа И. Немца о префиксальном *la-* в славянском, а именно — в

[39] См.: *О. Н. Трубачев.* История славянских терминов родства. М., 1959.

[40] См.: *I. Němec.* Opozice dexter / sinister v slovanské toponomastice a etymologii // Slavia. 1975, № 44. 3. С. 225 и след.; *I. Němec.* Rekonstrukce lexikálního vývoje. Praha, 1980. S. 9, 125.

[41] См.: *M. Furlan.* Etimologija in besedotvorje // Slavistična Revija. 1990, № 4.

[42] См.: *Ж. Ж. Варбот.* Древнерусское именное словообразование. Ретроспективная формальная характеристика. М., 1969: *Ж. Ж. Варбот.* Праславянская морфонология, словообразование и этимология. М., 1984.

ст.-чеш. *laskominy*, ст.-слав. *ласкръдь*, ст.-чеш. *laloky*, сербохорв. *labrnja*[43]. В качестве дальнейших примеров этой праславянской словообразовательной категории можно, пожалуй, назвать праслав. **ladъ* 'лад, согласие, порядок' и **lagoda* 'удовольствие, наслаждение; мягкость, кротость', как о том явствует прекрасная комбинаторика отношений рус. диал. *ла-гóжий* и *при-гóжий* практически абсолютно синонимичных. Пожалуй, уместно не предполагать здесь экспрессивную связь с глаголом *lokati* 'пожирать, есть с жадностью', а возводить все к особому указательному местоимению — и.-е. **ol-*[44]. Прежде всего важно также установить иерархическую последовательность словообразовательных моделей, идет ли речь о глагольных образованиях или о глагольно-именных отношениях[45].

Ясно без лишних слов, насколько основательно этимология просеивает всякий раз при этом словообразовательный материал, и если время от времени приходится слышать, скажем, о недостаточном развитии исторического словообразования русского языка, остается признать это по большей части недоразумением. Само собой разумеется, что неоспорима также тесная связь этимологии и грамматики (в смысле реконструкции морфологии). Верное понимание при этом нередко достигается путем вскрытия вторичной грамматикализации изначально словообразовательных категорий. Поучительна этимология личного местоимения и.-е. **eĝ(h)om*, слав. **az(ъ)* 'я' из некой первичной фразы **e ĝ(h)o em* 'это я'[46]. Этимологические ряды часто оказываются рядами чередований[47]. Жаль, что еще очень мало исследуются селективные (избирательные) склонности морфем, для которых был в свое время применен термин избирательное родство (было, собственно, использовано название романа Гете — «Die *Wahlverwandtschaften*»)[48].

По этой причине мы слишком часто проходим мимо таких селективных признаков, не задумываясь о том, почему, например, в случае с **pol'e* оказались возможны целых три адъективных производных, так сказать, одно за

---

[43] См.: *I. Němec.* O slovanské expresivní předponě *la-* // Slavia. 1979, № 48.

[44] См.: Этимологический словарь славянских языков. Вып. 14. М., 1987. С. 11—14.

[45] См.: *V. Šaur.* K slovanským inchoativům // Slavia. 1987, № 56. 2.; *W. Smoczyński.* Porównania słowiańsko-litewskie a rekonstrukcje bałto-słowiańskie, 1. Słow. *lěčiti*: lit. *laikýti* // Slawistyczne studia językoznawcze. 1987.

[46] См.: *O. Szemerényi.* On reconstruction in morphology // Linguistic and literary studies in honor of A. A. Hill III. 1979. P. 276. Еще раньше об этом см.: Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1. М., 1974. С. 102.

[47] См.: *Л. В. Куркина.* Диалектная структура праславянского языка по данным южнославянской лексики // АДД. М., 1987.

[48] См.: *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря (Проблемы и задачи) // Славянское языкознание. Доклады советской делегации. V МСС. М., 1963. С. 165.

другим — **polьskъjь*, **polьnъjь*, **poľevъjь* (все — с одним и тем же значением 'полевой'!), а в случае со словом **rajь* 'рай' — только одно: **rajьskъ*[49]. Не исключены здесь сакральные мотивы. Совершенно очевидно значение реконструкции (т. е. тем самым — этимологии) для общей теории языкознания и для истории культуры, ср. такой яркий пример, как бенвенистовская этимология и.-е. **pork̂o-* 'поросенок, детеныш свиньи' и **su-* 'взрослая свинья' с заключением о наличии у индоевропейцев свиноводства, но также и — оседлости[50]!

Многое еще можно было бы сказать (из области курьезных этимологических случаев, например, своеобразная эпатирующая этимология Семереньи — и.-е. **g̯uen-* 'жена' < и.-е. **g̯uou-* 'корова', нерешенный вопрос о происхождении слав. **strъdь* 'дикий мед'[51], далее, диалектный индоевропейский характер славянского словарного состава, а именно — отсутствие в славянском и.-е **ag̑-* 'гнать', **ag̑ros-* 'поле', **bhendh-* 'вязать, связывать', **deik-* 'показать, сказать', **deuk-* 'тянуть', **g̑hornā-* 'кишка', **g̑hesr-* 'рука', **sen-* 'старый' и т. д.), но необходимость вынуждает быть кратким.

То, что мы без большой охоты и лишь под конец собираемся сказать о принципах этимологических исследований, имеет свои причины. Литература о них существует почти на всех языках: «Этимология» Пизани и, конечно, многое другое[52], вплоть до исследований на тему этимологической формулы (Я. Рудницкий, Киш, Росс), как будто такой универсальный ключ в самом деле возможен… Но вся эта литература появилась почти без исключения в нашем специфическом столетии и, похоже, — главным образом из опасения быть в противном случае обвиненным в приверженности скорее к искусству, чем науке (но этимология — это и то, и другое!). Говорят, первый и самый продуктивный этимолог Август Фридрих Потт мало рассуждал о принципах

---

[49] См.: *G. Rytter.* O badaniach nad prasłowiańską terminologią religijną // Slavia Occidentalis. 1986, № 43.

[50] См.: *J. Haudry.* La reconstruction // La linguistique 21. Paris, 1985. P. 104.

[51] См.: *M. Snoj.* Dve slovansko-germanski izoglosi za pojem 'favus melis' // Slavistična revija. 1990, № 4. C. 371 и след.; *W. Smoczyński.* Studia bałtosłowiańskie I. Wrocław, etc. 1989. S. 15.

[52] См.: *A. Erhart, R. Večerka.* Úvod do etymologie. Brno, 1975; *Вл. Георгиев.* Принципи за установяване етимологията на собствени имена // Български език XXVIII. Кн. 5. 1978; *P. Cuiraud.* L'étymologie. Paris, 1967^2 («Que sais-je?» 1122); *Th. Hristea.* Probleme de etimologie. Bucureşti, 1968; *I. Iordan.* Ce este etimologia // Limba română 1972. 3; *V. Kiparsky.* Zum gegenwärtigen Stand der etymologischen Untersuchungen // Prace filologiczne 21. 1971; *E. Lewy.* Schwierigkeiten des Etymologen // Münchener Studien zur Sprachwissenschaft 14. 1959; *F. Scholz.* Slavische Etymologie. Eine Anleitung zur Benutzung etymologischer Wörterbücher. Wiesbaden, 1966; *L. Zawadowski.* O próbie syntezy problemów etymologii // Biuletyn Polskiego towarzystwa językoznawczego 15. 1956.

и методах этимологии[53]. Широко известные «Принципы этимологического исследования индоевропейских языков» Семереньи[54], впервые опубликованные 30 лет назад, остроумны, как все, что он пишет, но при этом тавтологичны, в особенности первых три принципа (у него — *A*, *B*, *C*: по фонетике — фонологии, словообразованию — морфологии, значению слов).

А все дело, думается, в том, что этимологии не нужны свои «собственные» принципы, они у нее общие с языкознанием, или точнее — со сравнительным языкознанием плюс лингвистическая типология плюс внутренняя реконструкция.

---

[53] См.: *R. Schmitt.* Einleitung // Etymologie. Darmstadt, 1977. S. 2.

[54] См.: *O. Szemerényi.* Principles of etymological research in the Indo-European languages // 2. Fachtagung für indogermanische und allgemeine Sprachwissenschaft. Innsbruck, 1962; *O. Szemerényi.* // Etymologie / Hrsg. R. Schmitt. Darmstadt, 1977.

СИНХРОНИЯ, ДИАХРОНИЯ — UND KEIN ENDE...

Маргиналии к конференции по русскому историческому словообразованию (Звенигород, осень 1989 г.)

Нижеследующие замечания можно рассматривать как реакцию на услышанное, а можно — как собственное кредо, изложенное ad hoc, но касающееся вопросов серьезных и достаточно общих. Внешний повод дали участившиеся сетования на отставание исторического словообразования. Немалое влияние на сложившуюся ситуацию и на распространенные мнения о ней оказала употребительная терминология. Она несет — по крайней мере отчасти — ответственность за то, о чем мы собираемся говорить дальше. Синхронное, или современное, словообразование, увлечение которым, возможно, уже миновало свой пик, все еще и сейчас довольно популярно. Лично я продолжаю думать, что синхронное словообразование есть не что иное как функциональный аспект словообразования вообще и что словообразование едино и как таковое оно по преимуществу исторично. Возражения в том смысле, что существуют фонетика историческая и описательная, равным образом — морфология историческая, морфология описательная, синтаксис исторический и описательный, — не убеждают, потому что как раз на словообразование такую дихотомию не удается распространить, не вызвав при этом сомнений. Мне кажется, что нет особой надобности доказывать, почему я думаю именно так.

Все в той или иной степени согласны с тем, что уже понятие *словообразование*, *образование слов* имплицирует представление о процессе, причем на долю собственно синхронии остается не так уж много, строго говоря — ин-

вентарь, описание. Не станем преуменьшать важности инвентаря, с него начинается всякое историческое изучение словообразования. Но я думаю, что и Миклошич, и Вондрак искренне удивились бы, если бы им сказали, что в их сравнительных грамматиках славянских языков даны синхронные обзоры старославянских, русских и других словообразовательных средств, как оно, казалось бы, выглядит с нынешних привычных позиций. Впрочем, не следует спешить с пересмотром позиций старых ученых, для которых сравнительный и исторический аспекты начинались так естественно с обзора сравниваемых языковых, в том числе словообразовательных, данных. По-моему, в самую пору пересмотреть собственные нынешние непримиримые оппозиции и антитезы, незаметно утрачивающие свою былую остроту и актуальность, и задуматься, вправе ли мы называть историческим словообразованием только то, что остается за вычитанием словообразования синхронного. Думаю, что такие мысли смущают не меня одного; все мы, хоть и в разной степени, понимаем искусственность подобного деления, и с фактическим единством словообразования, я уверен, считаются даже наиболее радикальные и «синхронно ориентированные» из нас. А терминология, похоже, уже не в первый раз выходит из-под контроля и сбивает нас же самих с толку. Вспомним, как с возникновением структурного языкознания наметилась тенденция все остальное языкознание обозначить как традиционное, с различимым «оттенком отсталости». Сейчас мы уже лучше понимаем (вновь стали понимать), что языкознание едино. Сказанное правомерно и в отношении подразделений языкознания. Так, вновь уместно поставить вопрос об объеме и единстве понятия *современной лексикографии*: понимая под «современной» не одну лишь ту, что толкует семантику через синтаксис, как это странным образом нередко сейчас понимается, но с неменьшим правом и все то, что на современном научном уровне и в современную эпоху делается также по части исторической и этимологической лексикографии [1]. Нам подсказывает здравый смысл, что восстановление единства — в интересах здоровья науки, данной научной дисциплины, хотя дело отнюдь не только и этом, но и в сомнительной действенности чрезмерно изолированных методов исследования, давно нуждающихся в своей «критике отвлеченных начал», говоря словами Вл. Соловьева, с выдвижением, взамен этих исчерпавших себя лингвистических

[1] Что касается вклада, в частности, этимологических словарей в теорию и практику современной лексикографии, достаточно указать на тот факт, обычно забываемый, что лексикограф-этимолог — как бы вдвойне лексикограф, поскольку ему приходится не просто описывать значения слов, но и реконструировать (воссоздавать) их древние (утерянные) значения, не говоря об их древнем звучании.

«отвлеченных начал», некой положительной программы в духе лингвистической концепции «всеединства», опираясь опять-таки на аналогичные общечеловеческие воззрения нашего замечательного русского философа. Но о действенности отдельных методов исследования еще будет случай сказать далее.

Я настаиваю на единстве словообразования в общем контексте лингвистического всеединства. Нас не должно удивлять, что в каждую эпоху получает преобладание свой взгляд, который с прошествием времени исчерпывает себя, и, как правило, наступает возврат, естественно, совершающийся на новом уровне и новых, более комплектных данных. Мне очень импонирует в этой связи мысль о том, что языкознание — это наука возвратов. Говоря конкретно, у нас нет оснований не верить тем исследователям-синхронистам, которые утверждают, что в начале XX в. словообразование страдало от неразличения синхронии и диахронии (накануне подъема структуральных учений так, возможно, и было, правда, при этом нелегко отделить сами умонастроения от объективных оценок материала). Но верно также и то, что сейчас, пожалуй, словообразование как лингвистическая дисциплина определенно страдает как раз от не в меру строгого разграничения синхронии и диахронии. Вооружившись таким пониманием мы, думается, благополучнее сможем миновать своих «Сциллу и Харибду», чем если бы мы истово верили в наличие здесь раздирающих оппозиций. Иначе говоря, я взываю к духу компромисса. Тема компромисса здесь не случайна и не навязана извне, как могло бы показаться, а наоборот, диктуется трезвым взглядом на предмет. Основания для этого я черпаю в словарной практике, а еще Щербой замечено, что с л о в а р ь — э т о к о м п р о м и с с. В словарной практике, в том числе в практике специальной исторической, этимологической лексикографии, мы на каждом шагу привыкли ценить о п и с а н и е фактов лексики и словообразования. Комплектное, корректное описание употребления и значения слов уже содержит в себе предпосылки реконструкции, т. е. операции сугубо диахронической (когда создается как бы ситуация внутренней реконструкции, но не парадигматически, а синтагматически). Тем самым размывается граница, отделяющая резко синхронию от диахронии, описание от реконструкции. Одно от другого отграничивать — напрасный труд.

Вообще — если смотреть на вещи широко (а такую возможность никогда не стоит упускать), то делается ясной у с л о в н о с т ь г р а н и ц м е ж д у д и с ц и п л и н а м и. Всякая синхрония при ближайшем рассмотрении сползает в диахронию. В этих условиях я не вижу данных для глобальных утверждений, формулировок типа с л о в о о б р а з о в а т е л ь н а я с и с т е м а (всего!) русского языка. Ведь «система» имплицирует идеи «равновесия», «самодовления» и «неизменности», которые опровергает и просто не допускает известный п а р а д о к с неумолимого, вечного и з м е н е н и я языка. Право-

17. Заказ № 2261.

мочно говорить скорее об элементах или фрагментах системы и системности, в свою очередь бесконечно воспроизводимых в новых, изменяемых условиях. Эта изменяемость и — одновременно — эта воспроизводимость («язык, изменяясь, остается самим собой») находят свое выражение в том проявлении единства всего языка, что в нем (языке) оказывается не так уж много абсолютных новообразований и абсолютных утрат. В языке важны переосмысления.

Словарная практика и словарь как конечный критерий всех лексикографических и лексикологических теорий безоговорочно отбрасывают всякое предпочтение морфов и морфемики, всякую недооценку слова, этого основного объекта лексикологии, лексикографии и в конечном счете — языкознания, если иметь в виду прежде всего славянский языковой материал и славистический научный опыт (известны иные существующие подходы в англо-американской лингвистике, когда слово не считается основной единицей языка, но эти подходы нельзя без ущерба для познания материала переносить на русскую, славянскую языковую почву). Главное для нас — адекватное исследование языка на всех его уровнях, а не самодовлеющее («строгое») применение исключительно одного какого-то метода. Если «строгость» метода (иначе — «чистота» метода) вступит в коллизию с широтой охвата данных языка, мы предпочтем широту. Любой метод, как мы знаем, не безграничен, нужно от каждого метода брать лучшее и не пугать жупелом эклектизма ни себя, ни других, помня, что сложность языковых явлений, вообще — явлений действительности, превосходит возможности любого метода. Неслучайно наука нового времени все более склоняется к интегрированному методу, куда входят 1) генетическое сравнение, 2) внутренняя реконструкция, 3) структурная типология. Если исследование словообразования русского языка поставить на широкую базу этого интегрированного метода, то не может не показаться искусственным и неактуальным это противопоставление синхронного и диахронического словообразования, которое и так уже никого не устраивает.

Установка на решение проблемы силами одного метода, в рамках одного уровня все менее и менее перспективна. Мне уже не раз приходилось отмечать не всегда четко осознанную, но оттого не менее явную тягу к межуровневым аспектам исследования (например, в практике международных съездов славистов). Надо продолжить работу в этом направлении. Малополезная доктрина изоморфизма разных уровней языка давала себя знать и на недавней конференции по историческому словообразованию. Думаю, что именно этим объясняется то, что недостаточно говорилось, например, специально о семантической деривации, видимо, на основании представлений о ее синонимичности и однонаправленности с деривацио-

ей формально-словообразовательной, а это далеко не так во многих случаях, не говоря о тех случаях, где обе деривации, образно говоря, занимают полосы встречного движения. Излюбленными примерами на однонаправленность обеих дериваций всегда были производные с уменьшительными суффиксами, ср. такой, кажется, бесспорный, как *дом* → *дом-ик*: форме, производной с уменьшительным суффиксом, отвечает значение 'маленький дом'. Но приглядимся внимательно к этому случаю. Кроме значения 'здание, строение', слово *дом* имеет еще значения 'жилье', 'семья, люди, живущие вместе', 'род'. Интересно отметить, что уменьшительное производное, образованное с суффиксом *-ик*, не распространяется на последнее значение 'семья, род'. Факт этот оказался не сразу и не для всех заметен, будучи затушеван кажущейся производностью *домик* от слова *дом* со всей будто бы семантикой производящего имени. На самом деле это не так. Неслучайно четырехтомный «Словарь русского языка» дает *домик* как «уменьш. к дом в 1 знач.», т. е. только в значении 'небольшой дом (здание, строение)'. Следовательно, совершенно категорично можно утверждать, что значения 'небольшая семья, небольшой род' и даже 'небольшое жилье' производному *домик* не свойственны. Возникает естественный вопрос, что это за значения и каково их место в общей иерархии значений слов *дом*, *домик*. Вопрос оказывается отнюдь не праздным и даже спорным в этимологической литературе по слову *дом*, — слову, кстати сказать, глубоко древнему, с индоевропейской родословной. Споры об этимологии, происхождении нашего русского, славянского и индоевропейского слова *дом* обрели вид соперничества двух точек зрения; согласно одной из них, *дом* произошло от соответствующей древней глагольной основы, означавшей 'строить, плотничать', тогда как по другой версии такое словопроизводство сомнительно ввиду старого характера значений 'семья', 'род'. Поскольку данные генетического (внешнего) сравнения оказались исчерпаны без решающего перевеса для той или другой названной версии, в суждениях об истоках слова *дом* и его значений установилась некая этимологическая «ничья», когда предпочтение описанного словопроизводства или его отрицание трудно убедительно мотивировать. Дальнейший прогресс этимологического комментирования слова *дом* обнаруживает свою прямую зависимость от точного описания семантического и словообразовательного акта, представленного в уменьшительном *домик*, причем оказываются возможными сразу два нетривиальных вывода: 1. слово *домик* произведено от слова *дом* только в значении 'здание, строение', которое мы вправе считать этимологически первичным значением («дом» ← «построенное»); 2. уменьшительное *домик*, будучи формально-словообразовательным производным от *дом*, в семантическом плане

древнее, чем производящее, так как не содержит его значений 'семья', 'род', тоже имеющих индоевропейскую родословную, но все же вторичных по сравнению со значением 'строение, здание', единственно представленным в производном *домик*. И последнее (и наиболее важное здесь для нас как проявление того, что можно назвать анизоморфизмом в отношениях двух разных уровней): поскольку за уменьшительным суффиксальным производным закрепилось более первоначальное значение, а за производящим закреплена уже преобразованная, расширенная семантика, имеет смысл говорить в случае *дом* ↔ *домик* о противоположном направлении семантической деривации.

Далее, ничем, кроме огрубленного представления о реальных отношениях, не могут увенчаться прямолинейные попытки решить вопрос «Как развиваются значения аффиксов?» путем синонимизации лексем и формантов, например, попытки соположения суффикса *-ик* как словообразовательного выразителя «всего маленького» и полнозначного прилагательного *маленький*. В действительности все сложнее, т. е., попросту говоря, все не так, и мы еще будем иметь возможность коснуться далее процессов имитации лексического со стороны неполнозначных словообразовательных средств. Приписывание же тем и другим одинаковых «глубинных» смыслов вполне может оказаться актом исследовательского произвола.

Стоит задуматься над тем, правильно ли поступают специалисты, решившие посвятить себя словообразованию да, к тому же, собравшиеся в одно место, скажем, на одну конференцию, если они всё или почти всё объясняют из словообразования. Нужно чаще напоминать себе и друг другу, что мы — лингвисты и что язык в сущности не знает сечений, придуманных нами для нашего же удобства. Если, скажем, зашла речь об имени *властель* (с вариантом *властелин*), то нельзя не принимать в расчет, что в его образовании участвует не одно словообразование в собственном смысле (суффикс имени деятеля *-тель* плюс дополнительный выделяющий формант *-ин*). Известно, что существительные на *-тель* — это первоначальные основы на согласный, славянские парадигмы слов на *-tel-* до сих пор хранят их остаточные следы. Здесь можно говорить об участии по меньшей мере еще двух других уровней. Так, морфологический механизм эволюции проявлялся в данном случае в общем так же, как в судьбе других консонантных основ, т. е. в тематизации прежде атематических исходов. При этом в качестве тематического гласного, как правило, присоединялся *-i-*: *-tel-* → *-telь*. Этот новый исход фонетически (ввиду органичности наложения однородных гласных) и содержательно (имя лица, индивидуума) оправданно дооформлялся затем в этих названиях сингулятивным формантом *-inъ*: *властель* → *властелин*. Реальный ход развития всех названных факторов не оставляет места для смелых

предположений в том духе, что *-ин* в слове *властелин* якобы сыграло роль артикля (к а к о г о артикля? если определенного, то типологически сомнительно обращение языка к форманту *-ин*, поскольку последнее — из первоначального знаменательного слова со значением 'один', что было бы как-то оправдано только для н е о п р е д е л е н н о г о члена, судя по известным аналогиям). Главное же возражение в том, что в этом и подобных примерах наличие оппозиции «определенность — неопределенность» вообще сомнительно. Комплексная фонетико-морфологическая и словообразовательно-семантическая мотивация форм типа *славянин*, *властелин* распространилась, к тому же, не во всех славянских языках, она не получила развития в некоторых языках и диалектах, ср. чеш. *Slovan* 'славянин', *zeman* 'землевладелец' (особенно если сравнить отсутствие исходного *-in* в этих чешских словах с рус. *славянин*, *землянин*). Наконец, наличие этого *-in* в языке с развитым грамматическим членом-артиклем, как, например, в болгарском, наглядно показывает, что случаи типа болг. *славянин* не допускают истолкования в связи с категорией определенности — неопределенности.

Недостаток правильного осмысления взаимодействия различных уровней языка неизбежно сказался и на обсуждении других примеров. Так, облик слова *канитель* (из франц. *cannetille*) определило не наличие в русском словообразовании производных на *-тель*, уже затронутых выше, так как ни функционально, ни семантически в этом не было нужды. Конкретная причина появления формы *канитель* — и никакой другой (из франц. *cannetille* ожидалось бы **канетиль*) — коренится в фонетике русского народно-разговорного языка: развитие *-е-* из *-и-* перед последующей сильной мягкостью. Ср. огласовку рус. *апрель* при др.-рус. *априль*, в конечном счете из лат. *aprilis*; далее — такое народное слово, как *артель*, определенно восходящее к более старой форме *артиль*, ср. наиболее вероятное толкование заимствованием из татарско-башкирского *арт ил* 'народ, находящийся позади; резерв' (как мне сообщили, огласовка *артиль* действительно встречается в старых русских пермских памятниках, при этом интересно, что и этимология, и письменные свидетельства согласно обнаруживают первоначально приуральский географический ареал). Таким образом, изменение исходов слов **канетиль*, *априль*, *артиль* в *канетель*, *апрель*, *артель* (возможны и другие случаи, в том числе в ономастике) скорее всего представляет собой явление ф о н е т и ч е с к о е — возможно, своеобразный аналог развитию напряженного редуцированного перед йотом с последующим переходом *ij* > *ej* (*Сергий* > *Сергей*, *Россия* > *Расея*)[2].

---

[2] Близость трактовки и взаимозаменяемость йота и интенсивного смягченного *ль* — явления, известные нашей диалектологии («сладкоязычие») и истории языка (*Гомии* = *Гомель*).

Два слова об историзме наших исследований. У меня по-прежнему сохраняется стойкое впечатление, что для исследователей, привыкших работать с памятниками, «засвидетельствовано в письменных текстах» — это практически все равно, что впервые появилось в языке. Эти квалификации необходимо решительно развести, идет ли речь о производном *крыша* или каком другом. На форму *крыша* особенно охотно указывают ввиду ее известной поздней письменной фиксации. Но довольно близкие образования в других славянских языках делают вероятным несравненно более древнее, потенциально праславянское образование этого слова. А ситуации, когда производное бывает раньше зафиксировано в письменности, чем производящее (например, *крышка* — раньше, чем *крыша* и т. д., вплоть до таких курьезов, как со словом *береза*, одним из наиболее выдающихся по своей безусловной, еще индоевропейской древности слов, которое встречается в русской письменности позже, чем производное от него *березовый*), тоже хорошо известны. Такие ситуации в наших глазах говорят об одном и том же: о случайном, в общем, характере письменной фиксации (vice versa — нефиксации) даже в такой богатой письменности, как русская. Это положение, надо сказать, вообще не редкость в письменностях на разных языках; например, в богатейшей греческой письменности, насчитывающей (с микенским периодом) не менее трех с половиной тысячелетий, есть случаи, когда производное слово 'героизировать' (ἀφηροΐζω) выступает в более древней записи, чем производящее 'герой' (ἥρως). Вот почему не только этимологи, в принципе широко применяющие реконструкцию слов и форм, но и историки языка, работающие исключительно с письменными текстами, поневоле приходят к заключениям о потенциальной дефектности письменной истории слов и их словообразовательных гнезд, что вынуждает, подчеркиваю, даже лексикологов и лексикографов-историков прибегать порой к парадигматической реконструкции.

Расцвет словообразовательной модели не однозначен во всей ее жизни и истории, которая может быть и притом — в своей значительной части — также подспудной, латентной. Скажем, у нас принято относительно поздно датировать русские фамилии вообще, в том числе — фамилии на суффикс *-ов*. Но одно дело их расцвет, окончательная категоризация, и совсем другое дело начальные потенции этих производных патронимических антропонимов, в которых можно видеть некие синкретичные квазиотчества, квазифамилии на *-овъ*. Их появление надо датировать очень рано, гораздо раньше, чем это делал Унбегаун, который считал их фамилиями православных славян на основании встречаемости фамилий на *-ов*, главным образом, у русских, украинцев, белорусов, болгар, частично — сербов. Но он явно недооценил тот факт, что фамилии, производные с таким

формантом, есть также у славян-католиков, например у чехов (Martinů), поляков (Janów, Lesiów и др.), и они принадлежат там явно к числу архаизмов, а не новообразований, и это для нас гораздо более показательно, чем сам по себе факт их малого количества в славянском католическом ономастиконе.

Вообще наличие продолжающихся ономастических словообразовательных, праславянских и глубже — еще индоевропейских — моделей в исторических и ныне действующих славянских антропонимах, этнонимах, катойконимах не только не вызывает споров, но заслуживает дальнейшего выявления и изучения. Речь идет об очень богатом словообразовательном наследии. Когда затрагивают популярную тему «обогащения» словообразовательных средств языка, часто невольно допускают неточность, поскольку в этом вопросе уместна осторожность, и, возможно, правильнее представлять себе эту эволюцию как некую смену старого богатства новым богатством (а, может быть, и новым оскудением старого богатства).

Коротко остановлюсь на таком непростом вопросе, как значения аффиксов. У исследователей можно наблюдать непроходящую склонность к иллюзиям на этот счет, я имею в виду прежде всего иллюзию полнозначности аффиксов, вплоть до готовности к прочтению их глубинной полнозначности. Однако похоже, что аффиксы, эти служебные и в принципе неполнозначные морфемы, порою как бы имитируют полнозначные морфемы, т. е. имена и корни, основы имен. Так, мы вправе говорить скорее лишь о подобии апофонии в суффиксах *-ъkъ* : *-yka*, *-ьсь* : *-ica* и др. Равным образом знаменательное, лексическое значение сплошь и рядом только ассоциируется с рядом суффиксов, распространяясь на них с полнозначных лексических основ, с которыми суффиксы обычно соединяются. Правда, достаточно бывает такому суффиксу соединиться с основой иной семантики, и от «значения» суффикса ничего не остается. Я почти не касаюсь здесь случаев действительного происхождения формантов из полнозначных корней, такие примеры известны из германских языков (ср. нем. *-heit*, *-schaft*, оформляющие названия свойств и качеств), имеются подобные случаи и в славянских языках; так, прилагательные *šir-okъ*, *vys-okъ* включают суффикс *-okъ*, этимологически тождественный апеллативу *oko* 'глаз' и, следовательно, с восстановимой полнозначной семантикой этого форманта *-okъ* 'имеющий вид', причем эта словообразовательная модель обнаруживает еще индоевропейские истоки, правда, древний прообраз этой модели представлял собой, скорее, сложение со вторым полнозначным компонентом. Но это все же отнюдь не норма в истории аффиксов, особенно суффиксов.

Ничем иным как упрощениями действительных функций являются, на мой взгляд, услышанные недавно однозначные квалификации нашего фор-

манта *-ский* как якобы «указывающего на страну». Действительно, прилагательное *иран-ский* производно от *Иран*, но ведь это факт, так сказать, молодой, из того же ряда, что и *камбоджийский* (до недавнего времени было *кампучийский*), *бирманский* (кто следит за газетами, тот в курсе, что следует уже говорить *мьянманский* (!), поскольку новые правители переименовали свою Бирму в Мьянму...). А между тем речь идет о форманте еще индоевропейском, каковым, как известно, является суффикс *-ский*. Достаточно обратить внимание на родственный формант в древневерхненемецком *diut-isc* 'народный, свойственный народу', производном от *diot* 'народ', чтобы увидеть с древности широкий спектр употребления индоевропейского суффикса *-isk-*. Попутно, дабы избежать ненужных анахронизмов и модернизированных представлений, отметим такую этнокультурную универсалию, как по большей части вторичное развитие названий стран из первоначальных названий народов, племен (ведь и *Иран*, *Iran*, *Eran* 'страна Иран' — это лишь вторичное, территориальное закрепление, «Verterritorialisierung», первичного этнического определения *aryānām*, род. мн. 'арийский'). Сделав эти необходимые уточнения, мы должны еще отметить, что употребление *-isk-*, *-ский* этим не ограничивается, с равным успехом он может указывать на принадлежность индивидууму, ср. наши *муж-ской*, *женский*, как и лит. *vyriškas* 'мужской', *moteriškas* 'женский' с тем же генетически суффиксом. Ясно, что любые наши, как нам может показаться, удачные, теоретические соображения корректируются знанием конкретного материала в обоих измерениях — синхроническом и диахроническом.

Беседы о русском историческом словообразовании неизменно приводят к упоминанию его сводов и курсов, больше того — сопровождаются жалобами на дефицит этих последних. Впрочем, и тут надлежит быть точным. Нельзя сказать, чтобы курсов таких не было совсем. На их отсутствие или нехватку в библиотеках наших высших учебных заведений, особенно — чуть в сторону от центров (Вологда, Смоленск, Нижний Новгород и другие города) следует смотреть, не забывая о том, что русистика — мировая наука. В мировой русистике такие пособия все же есть, возьмем том III труда Кипарского «Historische Grammatik der russischen Sprache. Die Entwicklung des Wortschatzes». Там уже дана сводка русского исторического словообразования, предпринята попытка хронологии и стратиграфии. Маленький эпизод — из истории науки. Книга эта вышла в ФРГ в 1975 г., и вскоре после этого мы с Ф. П. Филиным предприняли попытку добиться ее перевода и издания на русском языке в издательстве «Прогресс». На первых порах нам как будто удалось заручиться согласием издателей. В 1976 г. я был в Хельсинки и счел возможным сообщить об этом самому В. Р. Кипарскому, и он (говоря буквально его словами) воспринял это как «благую весть». Ко-

нец этой истории был выдержан вполне в традициях «эпохи застоя»: подумали и вспомнили, что Кипарский, к тому же — заграничный русский ученый, позволял себе негативные высказывания в адрес нашей страны (сейчас бы никто и не подумал на это оглянуться). От издания книги вскоре же отказались. В нынешнее время, понятно, история имела бы совсем иное продолжение, и книгу Кипарского издали бы сейчас. Но это как раз тот случай, когда время безвозвратно упущено, с выхода немецкого издания прошло 17 лет. У меня, естественно, нет оснований поминать добрым словом тех «прогрессовских» издателей, типичных, так сказать, перестраховщиков своего времени и своего дела. Насколько эти люди «разбирались» профессионально в том, что хорошо и что плохо для русского языкознания, лучше скажет еще один штрих из опыта нашего тогдашнего малоприятного с ними общения. Они мне и Ф. П. Филину в лицо заявили, что, например, издание Этимологического словаря М. Фасмера в русском переводе для них «было ошибкой»... Речь идет об общеизвестном издании, которое не нуждается в том, чтобы его отстаивали и защищали, и которое особенно не пострадает, если на него станут нападать. Достаточно факта, что прошло не так уж много времени, и тот же самый «Прогресс» вновь переиздал словарь Фасмера в 1986—1987 гг. вторым изданием и вдвое большим тиражом.

А возвращаясь к руководству Кипарского и признавая, что упущено, может быть, время для его полного перевода и издания у нас, нельзя забывать, что это не исключает возможности (и необходимости!) более широкого, чем до сих пор, использования этой работы у нас. Так что курс вузовского уровня по истории русского словообразования есть. Что-то делать можно и нужно. Полезно, между прочим, иметь при этом в виду трудолюбивую рецензию на этот том Кипарского, опубликованную в те годы в «Вопросах языкознания» покойным нашим сотрудником Г. Ф. Одинцовым.

Разумеется, средства, как и цели, имеет смысл эшелонировать, отдавая себе при этом отчет в том, что, например, названный труд Кипарского, в общем достаточный для учебного процесса, не удовлетворит тех, кто стремится дальше и глубже. Перед тем, кто намерился сам в исследовательских целях изучать эволюцию словообразования русского языка, расстилается море изданного и неизданного, более или менее изученного и неизученного совсем. Для этих исследователей уже стоят на полках богатые словари древнерусского и последующих периодов, диалектные, современные и специальные словари. И, если доверять апробированному временем опыту науки, трудно мыслить себе историю образования слов в каком-то нарочито самостоятельном отрыве от исторической лексикологии нашего языка.

МАРГИНАЛИИ К НОВОМУ «ЭТИМОЛОГИЧЕСКОМУ СЛОВАРЮ ДРЕВНЕИНДОАРИЙСКОГО ЯЗЫКА» М. МАЙРХОФЕРА

Одним из значительных событий индоевропейского сравнительного языкознания последних лет стала продолжающаяся публикация нового труда М. Майрхофера — «Этимологического словаря древнеиндоарийского языка»[1]. Разумеется, это специальное и капитальное (в нескольких томах) издание заслуживает, чтобы о нем отозвались наши специалисты-индологи, к которым автор этих «маргиналий» не может себя причислить. Об этом я и сказал лично М. Майрхоферу при встрече в Вене в конце сентября — начале октября 1991 г. по случаю проведения там этимологической конференции к 100-летию со смерти Миклошича. Но ответные аргументы венского индоевропеиста (издатель большого «Этимологического словаря славянских языков» должен иметь под рукой этот словарь, а для получения Rezensionsexemplar'a необходимо дать хотя бы короткую рецензию) меня почти убедили, тем более, что у нас рецензии на этот словарь еще не появлялись, в отличие от Запада (ср., например, рецензии Ф. Бадер на новый словарь М. Майрхофера, публикуемые из года в год в «Бюллетене Парижского лингвистического общества»).

Я избрал для себя достаточно трудоемкий способ параллельного чтения обоих трудов Майрхофера — его ранее изданного «Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка»[2] и вышеупомянутого нового. Это

---

[1] *M. Mayrhofer.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen. Lf. 1—13. Heidelberg, 1986—1993. — Далее EWA.

[2] *M. Mayrhofer.* Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I—III. Heidelberg, 1956—1976. — Далее KEWA.

чтение оказалось чрезвычайно поучительным для меня лично, дав пищу для разнообразных наблюдений, т. е. в конечном счете и для рецензии тоже. Но особенно важной мне показалась возможность продолжить принципиальный разговор об этимологической лексикографии, имея в виду и собственный опыт, и интерес, обнаруженный Майрхофером в некоторых сопутствующих публикациях, включая важный обмен мнениями между Майрхофером и Унтерманом. Именно это и побудило меня, в конце концов, взяться за дело, несколько медленное исполнение которого извиняется тем, что оно не является собственно рецензированием, хотя и включает его элементы. Я начну с них, чтобы перейти потом к вопросам, которые занимают, как представляется, не меня одного.

Из предисловия к новому словарю Майрхофера мы узнаем, что «“Этимологический словарь древнеиндоарийского языка” не является новым изданием “Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка”. С этой более ранней книгой его объединяют только предмет исследования и автор» (Vorbemerkungen. S. IX). Ф. Бадер, рецензент словаря Майрхофера, солидарна с тем, как автор дистанцируется от своего предыдущего словаря[3]. И все-таки трудно отделаться от впечатления, что мы имеем перед собой в немалой степени то, что можно было бы принять за новое (второе) издание уже известного древнеиндийского этимологического словаря. Тот же (как уже сказано самим автором) предмет, тот же запланированный автором трехтомный объем словаря «древнего языка» (Ältere Sprache), наконец, тот же (опуская детали) словник из заглавных слов письменного древнеиндийского языка. Последнее кажется весьма существенным, поскольку само понятие «древнеиндоарийский» тяготеет к сфере праязыка и вполне допускает трактовку соответствующего словника как реконструкции. Заглавных форм под звездочкой в новом индоарийском словаре Майрхофера практически нет. Редкие случаи реконструированных индоарийских форм запрятаны внутрь словарных статей, ср. s. v. *JAN*[1] (S. 568): «indoar. viell. **nava-jñ-a-* ‘*neugeboren*’» (вслед за Тернером).

Надо отдать должное Майрхоферу, который предстает перед читателем как исключительно объективный, строгий к себе самому исследователь, который не щадит своего собственного предыдущего детища и прямо указывает, чтó в нем кажется ему теперь нелепым или «непонятно почему воспринятым» от других авторов (s. v. *kúśala-*. S. 379), или «праздным глоттогоническим сопоставлением» (Bd. II. S. 13, s. v. *NABH*). Признавая, вслед за автором, начальные слабости его первенца — «Этимологического словаря древнеиндийского языка», — к осуществлению которого Майрхофер приступил еще в

[3] *F. Bader.* — BSLP. 1990. T. LXXXV. Fasc. 2. P. 94: Rec.: *Mayrhofer M.* Etymologisches Wörterbuch des Altindoarischen.

свои студенческие годы (!), все же считаю здесь необходимым отметить, что он завершил его на достаточно высоком уровне и заслужил этим глубокую благодарность всех, кто этим словарем пользуется вот уже десятки лет.

Явное стремление Майрхофера при составлении нового своего словаря отталкиваться в том или ином смысле от своего же древнеиндийского этимологического словаря не заслоняет от нас того существенного обстоятельства, что оба словаря как бы взаимодействуют. Уже упомянутое выше параллельное чтение приводит нас далее к не менее важному заключению, что хотя новый словарь в одних случаях содержит новые решения, дает новые материалы, новую, улучшенную этимологизацию, в других (как представляется, не менее многочисленных) отказывается (без достаточных оснований) от прежней здравой трактовки, предпочитает не самые удачные решения, чрезмерно расширяет практику корневой этимологии. О последнем приеме и о том, что от этого страдает, мы еще будем говорить специально дальше, теперь же — ряд избранных постраничных иллюстраций к сказанному выше и другие замечания о новом словаре Майрхофера.

S. 89: *apvā́* — 'паника, смертельный страх', с уточнением значения против KEWA I, 40: *a*° 'название какой-то болезни'.

S. 89—90: *apsarás-* название женских ду́хов. Тесная связь с водой и, естественно, с *áp-* 'вода', признаваемая в KEWA I, 40—41, здесь подвергается сомнениям со стороны грамматики.

S. 90: *ápsas-* 'грудь, лоб, передняя сторона', оставляемое в KEWA I, 41 без объяснения, сближается, вслед за Бейли, с осет. *ǽfcæg* 'выдающаяся часть тела, шея'.

S. 102: вместо *éti* — 3-е л. ед. ч. наст. вр. (KEWA I, 128), дана статья с заглавным корнем *AY*[1] 'идти'.

S. 112: *aritár-* 'гребец', *arítra-* 'весло' совмещены в одной статье; KEWA I, 49 трактует их раздельно, как самостоятельные позиции.

S. 114: *arghá-* 'стоимость, цена'; сближение с именными же соответствиями лит. *algà* 'награда, жалование', греч. ἀλφή (см. KEWA I, 50) здесь отсутствует, будучи перенесено в корневую статью с глагольным этимоном *ARH* (S. 124) 'заслуживать, стоить'.

S. 116—117: *árṇa-* 'волнующийся; волна, пучина, поток'; сравнение с хеттск. *aruna-* 'море' (KEWA I, 51) отсутствует.

S. 191: *índu-* 'капля; луна'; оставляется безо всякого толкования. Ср. KEWA I, 88 с обзором литературы.

S. 231, s. v. *ulū́khala-* приводится неизвестное мне «russ. *vol* 'Walze'».

S. 291: *káṇa-* 'зерно, семя' признается неясным, причем автор готов прибегнуть к умозрительной этимологии из незасвидетельствованного **kána-* 'маленькое', сюда же *kánīyas* 'меньший', оставляя без объяснения церебраль-

ность *-n-*. Кажется нелишним напомнить, что к древнеиндийскому названию зерна и семени относится и индоиранское название конопли (как семенного растения) **kana-*, откуда осет. *gæn* / *gænæ* 'конопля' и, возможно, далее, греч. κόνις 'пыль', лат. *cinis* 'зола'; при этом упомянутая церебральность объяснима экспрессивностью значения и употребления слова, ср. как эквивалент последней геминацию в греч. καννaβις 'конопля' из «скифского» источника [4].

S. 300—301: *kapí-* 'обезьяна'. «Неясно». Проблематичными сочтены отношения к созвучным названиям обезьяны в греческом и семитских, а также в германском (нем. *Affe* и родственные). Автор полностью обходит молчанием версию «общеиндоевропейского названия обезьяны» у Т. В. Гамкрелидзе и Вяч. Вс. Иванова [5].

S. 317: *karta-* 'яма, дыра'. Сохраняется сближение с младоавест. *vouru.kaša-* 'имеющий широкие заливы (о Каспии)' (ср. KEWA I, 173). Но, может быть, последнее относится к др.-инд. *kakṣa-*?

S. 358: *kīstá-* 'певец панегириков, поэт'. «Не прояснено». Можно попытаться объяснить как **kī-stá(va)-* 'кого славящий?'. Ср. *stáva-* 'хвала'. Мнимая фонетическая необъяснимость непалатализованного *k-* перед *-i-* (там же) как раз объяснилась бы как архаизм в вопросительном местоимении *kí-* (EWA. S. 347, s. v.).

S. 368: *kúbha-* 'название какой-то реки, предположительно реки Кабул'. Думается, автор излишне строг, отвергая всякие «попытки обнаружить это **kubhā* за пределами Индии (в названиях Кубани, Буга [Южного], Кумы)».

S. 372—373: *kúla-* 'сотрапезники'. Лит. *kùrtas* 'борзая собака', несомненно, заимствованное из слав. **хъrtъ*, вопреки В. П. Шмиду [6], необходимо удалить тем самым из числа аргументов в пользу произведения *kúla-* из и.-е. **kur-*.

S. 424: *kṣáp-* 'ночь'. Кажется, напрасно опускается важное сближение с европейскими названиями вечера и прежде всего — с греч. ἑ-σπέρα, лат. *vesper* (см. KEWA I, 285, вслед за Гётце), речь, видимо, идет о потенциальном префиксальном сложении — и.-е. **u̯e-ks(e)per*.

S. 428—429: *KṢAR* 'течь', *kṣárati*, *KṢAL*. Остается неясным, почему предпочтение отдано громоздкой консонантной реконструкции $*d^h g^{uh} er$ ($*g^{uh} ber$), а, скажем, не более логичной конструкции «преформант» *k-* + *sar-* / *sal-* 'течь'?

S. 462: *gandharvá-* 'название мифических существ'. Соответствующая статья в KEWA I, 321—322 информативнее хотя бы в том отношении, что уделяет внимание роли табуистических искажений для понимания этого слова.

---

[4] *О. Н. Трубачев.* Этногенез и культура древнейших славян. М., 1991. С. 76, 168.

[5] *Т. В. Гамкрелидзе., Вяч. Вс. Иванов.* Индоевропейский язык и индоевропейцы. II. Тбилиси, 1984. С. 523—524, 867, 872.

[6] Этимологический словарь славянских языков. Вып. 8. М., 1981. С. 149.

S. 481: *gávya-*, *gavyá-*... s. v. *gáv-*. Типичный пример лексикографического обеднения, сравнительно с KEWA I, 332, где вместо упомянутой отсылки проводится сравнение идентичных или однотипных производных в ряде языков: кроме авест. *gavyō-* 'коровий', также еще арм. *kogi* '(коровье) масло', греч. -βοιος в сложениях.

S. 486: *GĀH* 'погружаться в воду'. Для суждений об этом лексическом гнезде существенно, что славянские соответствия распространены не только в южнославянском, но шире[7].

S. 691—692: *daṇḍá-* 'палка, посох', *dáṇḍana-* 'вид тростника'. «Не объяснено». В решении вопроса об этимологии, в частности как критерий для окончательного отвода сближений с греч. δένδρον 'дерево' δένδρε(ϝ)ον, и.-е. **der-dreu̯o-* или догадок о неиндоевропейском происхождении, призвано играть важную роль местное название *Daṇḍaka-*, название леса в Деккане, здесь Майрхофером опущенное (но см. KEWA II, 11, где, правда, дана реконструкция и этимологизация **Dandra-ka-* 'voll von Bäumen'). Думаю, что конец этим всем домыслам кладет более внимательный учет побочной традиции (Nebenüberlieferung) в виде северопонтийского индоарийского реликта Δανδᾴκη, местность в Херсонесе Таврическом, т. е. в Крыму (Ptol. III, 2, 6), по-видимому, тождественная одной из тамошних трех страбоновских гаваней. Предпринятая мной идентификация птолемеевской Δανδᾴκη и, в сущности, калькирующего ее сохранившегося поныне местного названия *Камышовая* бухта (в городской черте Севастополя) неуклонно возвращает нас к пониманию индийского *Daṇḍaka-* как изначального 'тростниковый, камышовый (лес)', а не 'лес, полный деревьев' (!)[8]. Обращаю внимание на изложенные выше данные еще и потому, что знаю о неприятии Майрхофером тезиса о наличии в Северном Причерноморье индоарийских языковых следов.

S. 755—756: *DRAV* 'бежать, спешить'. Еще один (из многих) пример той тенденции к лексикографическому обеднению, которую мы наблюдаем при сравнении нового словаря Майрхофера с его предшествующим словарем. Автор упоминает о вхождении индоевропейского корня **dreu̯-* в древнеевропейские гидронимы *Dravos*, *Druentia*, *Druta* в конце словарной статьи. Но это не ослабляет негативного итога его отказа от особой словарной статьи о словообразовательном производном *dravantī* 'река', собственно 'бегущая, текущая', сравнимом с европейскими названиями рек — галльск. *Druentia*, польск. *Drwęca* (KEWA II, 73).

S. 764—765: *dvár-* 'дверь, ворота'. Статья выглядит свернутой сравнительно с KEWA II, 83—84, в частности урезаны попытки объяснения, почему

[7] См. Этимологический словарь славянских языков. Вып. 6. М., 1979. С. 113—114, где приводится блр. диал. *газ* 'брод' с дальнейшей литературой.

[8] См. специально: *О. Н. Трубачев.* О синдах и их языке // ВЯ. 1976, № 4. С. 62.

реально представлена как бы дезаспирированная форма, вместо ожидавшейся закономерной **dhvār-*.

Bd II. S. 17 и след.: *NAY* 'вести, направлять' там же, далее — обзор индоарийских, иранских и хеттских соответствий, объединяемых глагольным корнем и.-е. **nei̯H-*. Здесь было бы полезно упомянуть о праслав. диал. **něti* 'нести, приносить', сохраненном только в сербохорватском, в связанных формах вроде *zànijeti* 'понести, забеременеть' [9].

Теперь я намерен затронуть практически еще только одну проблему этимологической лексикографии — сначала в том виде, в каком она решена или могла бы быть решена в новом словаре Майрхофера, если бы не дала себя знать авторская установка на бóльшую компактность, обернувшаяся потерями, которые мы формулируем как лексикографическое обеднение. Эту проблему мы кратко рассматриваем далее на фоне лексикографических дискуссий нашего времени, в которых, как всегда, наверное, в подобных случаях, проявляются склонности и к минимализации, и к максимализации. Последняя, по всей вероятности, наиболее полно формулируется в виде принципа: одно слово — одна словарная (этимологическая) статья. Как любая крайняя точка зрения она подвержена различным ограничениям и оговоркам, которые сводятся к указанию на возможность параллельных (независимых) новообразований в разных языках, не говоря о сомнительных случаях. И тем не менее целиком удовольствоваться в этом вопросе только позицией сомневающегося (во многом, я согласен, удобной) на практике — да и в теории тоже — означало бы только одно: помеху в деле создания многих поучительных страниц этимологической лексикографии, к тому же страниц новых. Конечно, и тут самый благой путь пролегает, скорее всего, где-то посредине, не сливаясь ни с одной, ни с другой крайностью. Но о деталях дискуссии — несколько позже, а сначала, признав реальность тенденции к дальнейшему расчленению словника также в этимологической лексикографии, обратимся к конкретному материалу на эту тему, который составили мои *Lesefrüchte* — плоды параллельного чтения обоих названных словарей. Предлагаемый материал — это результат отбора, за рамками которого остались случаи, вызывающие сомнение, как, например, следующий, возможно, самый знаменитый и самый сомнительный.

Собственно говоря, речь может идти только о фиктивном тождестве др.-инд. *prahlāda-* 'освежение, наслаждение' и русского, а точнее — церковнославянского, *прохлáд*, *прохлáда* 'приятная свежесть', каково актуальное зна-

---

[9] *О. Н. Трубачев.* Об одном случае глагольного супплетивизма: праслав. **-něti* 'нести, принести' // В честь на акад. Вл. Георгиев. Езиковедски проучвания. София, 1980. С. 273—274.

чение слова, при старых и областных его значениях (по Далю) 'покой, нега, жизнь в довольстве, утеха', хотя, повторяю, слово в русский язык заимствовано, чисто восточнославянский эквивалент представлен в укр. *прохоло́да* 'прохлада'. Праславянская форма корня **xoldъ* будет еще дальше, и необходимое историческое тождество отсутствует, поскольку корень древнеиндийского слова имеет совсем другую природу и связи, ср. др.- инд. *hradá-* 'водоем' (KEWA III, 614—615, 618). Остается случайное сходство др.-инд. *prahlāda-* и рус.-цслав. *прохла́да* (KEWA II, 373; Фасмер III, 385), согласимся, по справедливости не удостоенное в новом словаре Майрхофера особой статьи, если не считать типично отсылочной «*prahrā́da-*, *prā́hrādi-*, s. v. *HLĀD*» (Bd. II. S. 187).

Нижеследующие случаи, к которым хотелось бы привлечь внимание, как раз принципиально отличаются от случая *prahlāda-*, поскольку представляют собой сложные или производные слова с исторически тождественными образованиями в других родственных языках, и эти исторические тождества как бы подтверждают реальность самостоятельной жизни слов и необходимость их раздельной — не корневой-гнездовой — лексикографической трактовки.

Итак, возвращаемся к началу древнеиндоарийского этимологического словаря Майрхофера:

S. 65: *ádman-* см. статью *AD*. Типично отсылочная статья, представляющая шаг назад по сравнению с KEWA I, 30, где дано отдельной статьей *ádma* 'пища', ср. греч. инф. ἔδμεναι (= др.-инд. *ádmane*), лит. мн. ч. *ė̃dmenys* 'Maul', к *átti* 3-е л. ед. ч. 'ест'. Именные соответствия слову *ádman-*, практически проигнорированные в корневой статье *AD* нового словаря, могут быть существенно дополнены этимологическим лексическим соответствием праслав. диал. **ědmę / -mene* в виде др.-рус. *ѣмена* 'зерно для еды', рус. диал. *е́мены*, блр. *е́ме*, *е́мя*, *е́міna* 'пища, еда' (ЭССЯ. Вып. 6, 41—42, там же лит. *ėdmenẽ* 'съестное', лтш. *ēdmenis*, *ēdmanis*).

S. 91: *abhí* 'сюда, к; против; ради, через'. В эту статью оказались запрятаны (S. 92) важные сложные слова, более удачно выделенные в особые словарные статьи в KEWA I, 41—42: *abhicara-* 'спутник, слуга', ср. греч. ἀμφίπολος 'слуга', лат. *anculus* 'слуга'; *abhidhā̊nī* 'недоуздок', ср. авест. *-aⁱwidāna-* то же. Далее, имеются основания выделить в отдельную словарную статью др.-инд. *abhí-dhā-* 'запрягать' (букв. 'налагать'), с которым образует глагольно-именную этимологическую пару ст.-слав. обьдо 'θησαυρός, сокровище' (о славянском слове см. Фасмер III, 98, без древнеиндийского соответствия).

S. 135: *ávi-* 'овца, баран'; суффиксальное производное *avikā́-* 'овечка' (внутри статьи) было бы целесообразнее дать отдельной статьей, имея в виду старые равнооформленные производные в некоторых европейских языках и

прежде всего слав. **ovьca* и кимр. *ewig* 'олениха, лань' (**oui̯kā*), еще приводимые в KEWA I, 59, s. v. *áviḥ*, но полностью опущенные в новом словаре.

S. 202: *ihá* 'здесь, сюда, теперь' < **idha*. Индоевропейский фон можно было бы усилить сравнением со слав. **jьde* (см. Berneker I, 418; Фасмер II, 117; ЭССЯ. Вып. 8. С. 206).

S. 594: *JĪV* 'жить'. Даже внутри этой корневой статьи мы не встретим упоминания производного *jīvaka-* 'живой, живущий', которое в KEWA I, 439 не без основания было выделено в особую статью, с привлечением однотипных производных — лат. *vīvāx* 'полный жизненных сил', лит. *gyvókas* 'живой, оживленный'.

S. 620—621: *tanú-* 'тонкий'. Ни здесь, ни отдельно не дано такое важное производное, как *tánuka-* 'маленький, тонкий'. См. в KEWA I, 474 особую статью *tánukaḥ*, мотивированную хотя бы весомостью внешнего сравнения с новоперсидским *tanuk* 'тонкий', ст.-слав. *тьнъкъ* то же. Оба последних соответствия наличествуют в новом словаре Майрхофера под заглавным *tanú-*; тем загадочнее отсутствие там *tánuka-*.

S. 698: *DAM* 'укрощать, подавлять'. И тут мы тоже наблюдаем, как, по сути, была рассыпана особая словарная статья, убедительно выделяющая в KEWA II, 19, судя по всему, старое производное имя деятеля *damitár-* 'укротитель' вместе с его четкими этимологическими соответствиями с их тождественными значениями — лат. *domitor* 'укротитель', греч. δμητήρ то же, -δαμάτωρ, иллирийск. *Domator*. То обстоятельство, что некоторые из них мелькают в произвольном порядке внутри упомянутой корневой статьи *DAM*, в значительной степени утрачивает смысл.

S. 713: *DĀ*[1] 'давать, дарить, воздавать'. Очень невыразительно присутствие внутри этой типично корневой статьи такой безусловно самостоятельной словарной позиции, как *dā́tar-*, *dātár-* 'податель, дающий', тем более что ниже (S. 715) автор признает индоевропейский возраст уже для словосочетания *dātā́ vásūnām* 'податель благ'. Поэтому и тут вызывает сожаление отказ автора от практики KEWA II, 30, где дана особая статья *dā́tar-*, *dātár-* и сравнение с равнозначными авест. *dātar-*, греч. δωτήρ, δώτωρ, δοτήρ, лат. *dator*. Сюда же, в конечном счете, слав. **datelь* (близкая вариантность формантов *-tel-* / *-ter-*), см. ЭССЯ. Вып. 4. С. 193—194). Столь же оправдана отдельная словарная статья для *dātrá(m)* 'дар, подарок' (KEWA II, 32), сравнимого не только с авест. *dāϑrəm*, *dāϑra-* 'дар, пожертвование', но, очевидно, на индоевропейском уровне и с лит. *dúoklė*, *duoklẽ* 'подать, дань' (и.-е. **dō-tl-i̯ā*, с меной *-tl-* / *-tr-*). То же следует сказать об упраздненной отдельной словарной статье *dā́ti-* 'дар' (см. KEWA II, 31), ср. авест. *dāⁱti-* 'выдача, предоставление', слав. **datь* (см. ЭССЯ. Вып. 4. С. 196), греч. δῶτις, δόσις 'даяние', лат. *dōs* / *dōtis* 'приданое, дар', лит. *dúotis* 'дар' < и.-е. **dōt-s*. И, наконец, равным образом

упраздненная отдельная словарная статья для такого индоевропейского производного, как *dānā(m)* ʻдарʼ (KEWA II, 32), ср. лат. *dōnum*, слав. **danь*.

S. 728—729: *dīrghá-* ʻдлинный, долгийʼ. Не упомянуто — вероятно, по причине отнесения к более позднему языку — *dīrghatá* ʻдлинаʼ, трактуемое в KEWA II, 47 как самостоятельная словарная позиция; ср. слав. **dьlgota*.

S. 721: *dāru-* ʻдеревоʼ. Из производных от *dru-*, *dāru-* названо и даже выделено в особую статью *drōṇa* ʻдеревянная посуда, кадкаʼ (S. 761), но осталось даже не упомянутым (ввиду недостаточной или поздней документации?) *druṇa(m)* ʻлукʼ (см. KEWA II, 78), достаточно древнее *-n*-производное с этимологически тождественными обозначениями лука, дуги, радуги в иранском, сюда же слав. **drynъ* (рус. диал. *дрын* ʻпалка, дубинкаʼ); все вместе, видимо, еще из и.-е. **drū-no-* ʻдеревянныйʼ. См. ЭССЯ. Вып. 5. С. 145.

Bd. II. S. 26: *návya-*, см. *náva-*. Гораздо выгоднее смотрится специальная статья, посвященная этому производному в KEWA II, 14: *návya(h)* ʻновый, молодойʼ, тождественное греч. ион. νεῖος, галльск. *Nevio-*, *Novio-*, др.-ирл. *nūe*, готск. *niujis*, лит. *naũjas* — все со значением ʻновыйʼ, сюда же латинское имя собственное *Novius*. Понимание весомости этих производных форм, вплоть до готовности допустить, наряду с и.-е. **néu̯o-* ʻновый, молодойʼ, также индоевропейскую праформу **néu̯i̯o-* то же, не покидало автора и при написании корневой статьи *náva-* ʻновый, молодойʼ (II. S. 25). Тем более непонятен этот регресс в трактовке словника нового словаря сравнительно с KEWA.

II. S. 54: *NEJ* ʻмыть, очищатьʼ. Внутри этой обобщеннокорневой статьи можно найти (в несколько разбросанном виде, отчего пропадает самое главное — эффект этимологического родства) все формы, составлявшие особую словарную статью в KEWA II, 158: *nikta(ḥ)* ʻмытый, очищенныйʼ, тождественное греч. гомер. ἄ-νιπτος ʻнемытыйʼ, др.-ирл. *necht* ʻчистыйʼ. Речь идет о рано адъективированном причастии, что существенно для суждений о древности образования.

II. S. 173—174: *prá* ʻперед, впереди, прежде, впередʼ. Это служебное слово, выступающее и первым компонентом многих сложений, трактуется очень сдержанно и кратко, в два с лишним раза короче, чем в KEWA II, 350—353, куда читатель и отсылается, с замечанием, что сложения с *pra-* «нуждаются в сравнительном комментарии», для чего, как нам кажется, наилучшим способом было бы выделение, по крайней мере, некоторых из них в самостоятельные словарные статьи, но автор относится скептически к унаследованному характеру внеиндоиранских параллелей этих сложений («sind schwerlich ererbt». Bd. II. S. 174). На этот раз, правда, уже KEWA начал проявлять эту склонность к корневой этимологии, причем любопытно, что в особые статьи там выделены, скорее, те сложения с *pra-*, которые носят специфически индийский характер, без заметного индоевропейского фона, как, например,

prakṛti(ḥ) 'основа, природа' (KEWA II, 354—355), тогда как ряд других подверстаны под общее заглавное *pra*, несмотря на наличие у них серьезных индоевропейских словообразовательно-этимологических параллелей и оснований для раздельной лексикографической трактовки. Таковы *pra-jñu-* 'кривоногий' = авест. *fra-šnu-* 'у кого колени вперед' = греч. гомер. πρόχνυ (sc. lic. *πρό-γνυ то же; знаки равенства из KEWA II, 351!); *prá-ṇapāt* 'правнук', ср. лат. *pronepōs-*; *pra-dā-* 'отдать, передать, предоставить', ср. греч. προδιδόναι 'передать, выдать', лат. *prō-dō* 'передавать, отдавать', слав. **prodati* (рус. *продáть* и др.; *pra-vāhá-* 'поток', 'непрерывное продолжение', авест. *fravāza-* 'продвижение', ср. рус. *про-вóз* (Уленбек у KEWA II, 352); *préti-* 'уход, бегство' из *pra-i-* и, в конечном счете, к и.-е. **pro-i-ti̯o-*, ср. др.-сакс. *frēthi*, др.-в.-нем. *freidi* 'беглый' (KEWA II, 353), куда мы можем добавить и слав. **projьti*.

KEWA II, 366 дает отдельной словарной статьей *prabhú(ḥ)* 'выдающийся', ср. лат. *probus* 'хороший, честный'. KEWA II, 372: *prastará(ḥ)* 'подстилка', ср. рус. *простóр*, что, впрочем, считает результатом независимого развития. Новый словарь довольствуется корневой отсылкой: *prastará-*, s. v. *STAR* (II. S. 187).

Едва ли оказывается прогрессом утрированная корневая трактовка, наблюдаемая сразу в двух статьях — *PRAY* 'радовать, услаждать(ся)' (II. S. 181—182), где хотя бы названо производное *pretár-* 'друг, любовник' (но больше — ничего!), *priyá-* — 'милый, желанный' (II. S. 189—190), где даны внешние сравнения — готск. *freis*, др.-в.-нем. *frī* 'свободный', ст.-слав. *приꙗти* 'проявлять доброжелательство, заботу'. KEWA II, 380 сообщает, по крайней мере, иранское соответствие — авест. *ā-frītar-* 'благословитель'. Но ведь перед нами образование явно индоевропейского возраста **prei̯-ter-* / **prii̯ātel-*, ср. слав. **prijatelь*, др.-в.-нем. *friudil* 'возлюбленный' (см. Фасмер III, 369).

Др.-инд. *plutá-* 'залитый, наводненный, плавучий' лишь упомянуто в новом словаре под корневым *PLAV* (II. S. 195), тогда как следует говорить о целой серии родственных рано лексикализованных форм part. praet. pass., ср. греч. πλυτός 'мытый', слав. **plъtъ* (рус. *плот*), откуда, возможно, лтш. *pluts* (см. KEWA II, 386).

Некоторые упущения могут при этом носить и случайный характер. Так, например, в укрупненной корневой статье *BĀDH* 'притеснять, угнетать' (II. S. 222) не обращено должного внимания на полезное специальное именное тождество: др.-инд. *bādhá-* 'утеснение' — лит. *bãdas* 'голод' (ср. в этом смысле точнее — KEWA II, 426).

Под заглавным *bhága-* 'благосостояние, счастье, имение, удел' (II. S. 239—240) помещены, несколько порознь, такие тяготеющие друг к другу данные, как *su-bhága-* 'имеющий благую часть' и близкое младоавест.

hubaya-, а также слав. **sъbog-* в укр. *збіжжя*, блр. *збóжжe* (Фасмер II, 84. Так же еще в KEWA II, 458—459). Однако адекватная лексикографическая и этимологическая инвентаризация требовала бы выделения *subhága-* в отдельную статью, как, разумеется, и в случае с др.-инд. *su-drú-* 'хорошее, крепкое дерево', которое запрятано в новом словаре s. v. *dāru-* 'дерево' (I. S. 721), а в KEWA II, 479 — s. v. *sú* 'хороший, добрый'), тогда как полное родство с праслав. **sъdorvъ*, рус. *здорóвый* свидетельствует о наличии еще и.-е. **su-dru-* / **su-deru̯-* и о позиционной самостоятельности др.-инд. *su-drú-*.

Работе Майрхофера над «Этимологическим словарем древнеиндоарийского языка» предшествовало не только издание «Краткого этимологического словаря древнеиндийского языка». Годы, истекшие между окончанием одного и началом другого словарного предприятия, были в немалой степени также посвящены размышлениям над предпочтительным типом этимологического словаря вообще, что делает их (эти размышления), естественно, интересными не только для индологов. Поскольку, не зная этих предшествующих авторских исканий, трудно понять манеру выражаться и терминологию предисловия Майрхофера к его новому словарю (EWA. Bd. I. S. IX) мы должны, очевидно обратиться, по крайней мере, к двум его специальным работам: Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer «Grosscorpus-Sprache» Wien, 1980; Überlegungen zu einem neuen etymologischen Wörterbuch des Altindoarischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983.

Этимологу-словарнику должны быть понятны терзания Майрхофера, и хотя он, если я не ошибаюсь, нигде не говорит буквально о компромиссе (в духе более известного у нас щербианского понимания, что словарь есть компромисс), он думает именно об этом, размышляя о форме словаря, который, с одной стороны, отличался бы практичностью и удобозавершаемостью (praktikabel und abschließbar), а с другой стороны, приближался бы к идеальным параметрам этимологического словаря «большекорпусного» языка (Vorbemerkungen. S. IX). Этот тяжеловесный термин, эквивалент которому в русской терминологии отсутствует и к которому сам автор привыкал не сразу, судя по первоначальному написанию полуслитно, в кавычках — «Grosscorpus-Sprache» (1980) и только в последнее время — в одно слово и без кавычек Großcorpussprache (1992. Vorbemerkungen), все же относительно понятен в силу своей описательности. «Язык большого корпуса» — это язык с богатой письменной традицией (примеры: латынь, древнегреческий, санскрит, в более широком смысле — древнеиндоарийский [10]. Термин этот употребляется

[10] *M. Mayrhofer.* Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer «Grosscorpus-Sprache». Wien, 1980. S. 17.

Майрхофером в совокупности с другими терминами-понятиями. Так, «языками корпуса» являются, в его изложении, языки, представленные в текстах, надписях и подобных источниках (иначе и не очень точно — «мертвые языки»). Наконец, «языки малого корпуса» — это языки, которые могут наличествовать в относительно крупных текстах, но все же представлены лишь фрагментарно, например готский, древнеперсидский. К последним примыкают реликтовые языки, дошедшие порой лишь в глоссах, косвенных свидетельствах, личных и местных именах: фракийский, лидийский, мессапский, фригийский [11].

Реакция на критику своего предыдущего словаря (притом что эта критика выдвигала подчас взаимоисключающие требования и пожелания), со своей стороны, побуждала Майрхофера сосредоточиться на мыслях об идеальном словаре такого рода, а попросту говоря — на невозможности «угодить всем» («es allen recht zu machen») [12]. Особенным же стимулом послужили, как сам Майрхофер признает, внешне «непритязательный рабочий доклад» «Etymologie und Wortgeschichte» Ю. Унтермана (1975) и переписка с этим кёльнским лингвистом. Унтерман решает дилемму «étymologie-origine» и «étymologie-histoire-des-mots» в пользу последней и вообще выступает как максималист (что чаще случается именно с людьми, в своей жизни ни одного этимологического словаря — подобно Унтерману, не написавшими). Максималисту нетрудно смутить даже опытного этимолога-лексикографа, имеющего за плечами такую большую словарную практику, как у Майрхофера. Этимолог-словарник и сам постоянно одолеваем сомнениями — о границах этимологизации, о составе словника. А тут вас припирают к стенке тезисом, сводящим всю этимологию к (письменной) истории («étymologie-histoire-des-mots»), звонко закругляя этот тезис утверждением, что этимология «тем самым» («damit») принадлежит к синхронному описанию языка... Правда, при некотором опыте и терпении это поддается разоблачению все-таки как терминологическая игра, потому что история («histoire des mots») процессуальна, процесс этот не идентичен рамкам письменной традиции, но получает наиболее полное выражение как раз в этимологии («étymologie-origine»).

Более существенно, пожалуй, другое требование Унтермана к этимологическому словарю, смутившее Майрхофера. Последний даже, с присущей ему строгостью к себе, чистосердечно кается, что, следуя «старой школе» и веря лишь «дидактике фонетического закона», прежде решительно «выбрасывал за борт» все, что грозило отнять лишнее место [13]. Тогда как Унтерман

---

[11] Там же. S. 16—18.

[12] Там же. S. 18.

[13] Там же. S. 13—14.

пишет (цитирую по Майрхоферу, там же): «Этимология делается всегда для отдельного слова, для однажды запечатленной формы с подчиненным ей содержанием. Каждая из этих форм, если она стоит на правах автономного включения в синхронном лексиконе, может также претендовать на автономную позицию в этимологическом словаре… Чем лучше этимологический словарь, тем полнее дает он в качестве заглавных слов синхронно засвидетельствованные единицы лексики (items)…». Майрхофер демонстрирует отличное понимание затронутой Унтерманом проблемы и очень точно указывает при этом как на недостаток лучших этимологических словарей греческого и латинского языков отсутствие в них самостоятельных словарных статей — (греч.) ἄκτωρ 'предводитель' и (лат.) *āctor* 'погонщик; лицедей', производных с продуктивным формантом *-tor-* от и.-е. **agō* 'гнать' [14]. Этот пример стоит удержать в памяти хотя бы для того, чтобы правильно оценить аналогичные отмеченные нами выше «невключения» самого Майрхофера. Конечно, Майрхофер знает, что ответить нам на возможный при этом упрек, и он отвечает: «И при этом истолковании умных положений Унтермана меня охватывает неприятное чувство, сто́ит только подумать о массах слов латинского, греческого и — рассуждая ближе к моим интересам (pro domo) — древнеиндоарийского…» [15].

Рассуждать на тему о том, что каждой синхронной лексеме языка должна соответствовать позиция в этимологическом словаре, легко в случае с готским, продолжает Майрхофер. Все зависит от масштабов и типов письменной традиции, считает он, переходя затем к своей классификации языков под этим углом зрения — большого, малого корпуса и т. д. (о чем у нас см. выше). Очевидно, что великий практик Майрхофер представляет себе лучше, чем теоретик Унтерман, что это такое — перевести в с е самостоятельные позиции большого словарного корпуса в словарные статьи этимологического словаря… [16]. На практике от этого приходится отказаться — таково мнение Майрхофера [17], — по-прежнему продолжая трактовать слова в составе лексических гнезд (семей), ограничиваясь и при этом «избранными производными», с неожиданной информацией (unerwartete Aussagen) по словообразованию, семантике или исторической фонетике.

[14] *M. Mayrhofer.* Überlegungen zu einem neuen etymologischen Wörterbuch des Altindoarischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983. S. 13—14.

[15] *M. Mayrhofer.* Zur Gestaltung des etymologischen Wörterbuches einer «Grosscorpus-Sprache». Wien, 1980. S. 15.

[16] Там же. S. 22.

[17] Там же. S. 24.

И в последующие годы Майрхофер лишь укрепился во мнении о неисполнимости того — идеального — типа этимологического словаря великокорпусного языка, который «потребовал бы от издателя двузначной цифры количества томов», а от составителя — обязательства «прожить и проработать трехзначное количество лет» [18]. Вместе с тем он разумно признает необходимость иметь этот идеал в виду и попытаться — по возможности — к нему приблизиться. Понимает он также и главную свою задачу — создать не словарь индоевропейских корней в древнеиндоарийском, а этимологикон древнеиндоарийского лексического состава [19].

Другое дело — насколько удалось реально воплотить эти планы в словарную практику теперь уже наполовину готового словаря и насколько они (планы) остались в области теоретических пожеланий. Ответить на этот непростой вопрос отчасти помогает предпринятое нами параллельное чтение в соединении с некоторым собственным опытом индоевропейской и праславянской лексико-этимологической реконструкции, о котором я скажу также ниже. Проделанная выше процедура все же показала, что Майрхофер на практике стремился к означенному идеалу непоследовательно и предпочел в довольно многих случаях работать с чистыми корнями, а не с реальными словами языка. Отход в эту сторону очевиден даже при сравнении с его первым этимологическим словарем, недостатки которого, как теперь кажется, сам автор сильно преувеличивает. В итоге оказались неоправданно лишенными своих собственных словарных позиций древнеиндоарийские лексемы: _ádman-_, _abhicara-_, _abhidhā́nī_, _abhī-dhā-_, _avikā́_, _jīvaka-_, _gávyá-_, _tánuka-_, _Daṇḍaka-_, _damitár-_, _dā́tar- / dātár-_, _dātrá(m)_, _dāti-_, _dāná(m)_, _dīrghatā_, _dravantī_, _druṇa(m)_, _návya-_, _nikta-_, _pra-jñu-_, _prá-ṇapāt_, _pra-dā-_, _pra-vāhá-_, _préti-_, _prabhú-_, _prastará-_, _pretár-_, _plutá-_, _bādhá-_, _su-bhága-_, _su-drú-_. Потенциальной гарантией древности этих производных и сложных слов, как уже указывалось выше, служат словообразовательные и лексико-этимологические соответствия, параллели в других родственных языках. Нисколько не умаляя такого рода соответствий из других индоевропейских языков (см. о них выше), выделим здесь только славянские, поскольку дальше будет речь идти о близком (славистическом) опыте. В порядке следования приведенного выше индоарийского лексического материала это будут праслав. *_ědmę / -mene_, *_obьdo_, *_ovьca_, *_tьnъkъ_, *_datelь_, *_datь_, *_danь_, *_dьlgota_, *_drynъ_, *_prodati_, *_provozъ_, *_projьti_, *_prostorъ_, *_prijatelь_, *_plъtъ_, *_sъbog-_, *_sъdorvъ_ (подчеркнуты заглав-

[18] _M. Mayrhofer._ Überlegungen zu einem neuen etymologischen Wörterbuch des Altindoarischen // Das etymologische Wörterbuch. Fragen der Konzeption und Gestaltung / Hrsg. von Bammesberger A. Regensburg, 1983. S. 147.

[19] Там же. S. 152.

ные лексемы уже опубликованных частей ЭССЯ, остальные займут свое место в продолжении Словаря). Здесь перед нами производные с индоевропейскими формантами и сложения старого типа. Разумеется, подобные славянско-индоарийские лексико-этимологические схождения не ограничиваются только перечисленными здесь. Можно рассчитывать и на новые результаты поисков, актуальность которых имеет как бы двухсторонний характер, подтверждая потенциальную древность как индоарийского, так и славянского (праславянского) члена пары. В памяти языкознания давно отложились и другие, не менее яркие соответствия такого рода, например, праслав. **pьjanъ* (рус. *пьяный*) и др.-инд. *pyānā-*, *píyāna-* 'напоенный'. Мы давно работаем с таким материалом. В практике подготовки нашего «Этимологического словаря славянских языков», можно сказать, вот уже тридцать лет как место корневой этимологии и гнездового расположения словарного материала заняла этимология лексемы, цельнолексемное соответствие (Ganzlexem-Entsprechung), чем подразумеваются внеславянские параллели. Максимально расчлененная подача словника (префиксальные и прочие сложения и дериваты, даже групповые лексемы [Wortgruppenlexeme] как регулярные заглавные формы) придают нашему ЭССЯ скорее характер словообразовательно-этимологического, а не традиционно этимологического словаря, причем грань между историческим словообразованием и этимологией если не стирается, то становится во многом условной. ЭССЯ — словарь праязыка («словарь-реконструкция», в нашей терминологии), но праязык мы трактуем как живой язык. Это означает, что уже давно мы поняли необходимость перестроить всю систему понятий этимологической лексикографии. Наши ориентиры в чем-то напоминают унтермановские (см. выше), но, в отличие от этого идеального теоретизирования, мы имеем огромную словарную практику, которая не только подтверждает наши искания, но и корректирует их, не позволяя ни на один день забывать о том, что словарь — это компромисс. О масштабах нашей словарной практики дает представление то фактическое обстоятельство, что ЭССЯ доведен в рукописи до *Ni...* (выпуск 23); вышло из печати с 1974 по 1993 гг. 19 (1—19) выпусков; в каждом выпуске — 300—400 и более словарных статей. ЭССЯ, кроме заглавных реконструированных форм (Stichwörter), дает материал соответствий из 15 живых и мертвых славянских языков. Остается добавить, что гораздо полнее и систематичнее эти принципы были изложены в свое время в печатных изданиях [20],

---

[20] [*О. Н. Трубачев.*] Этимологический словарь славянских языков (праславянский лексический фонд). Проспект. Пробные статьи. М., 1963. С. 9, 21, 25, 29; *О. Н. Трубачев.* Работа над «Этимологическим словарем славянских языков» // ВЯ. 1967, № 4. С. 34 и след.; *О. Н. Трубачев.* От редактора // Этимологический словарь славянских

которые должны быть известны и на Западе. Но... Rossica non saepe leguntur[21].

языков. Праславянский лексический фонд / Под ред. О. Н. Трубачева. Вып. 1. М., 1974. С. 3 и след.

[21] Как показывают изложенные краткие сведения о нашем словаре, эффект словаря «Groβcorpussprache» здесь налицо. Больше того, здесь, пожалуй, целесообразно говорить о «словаре-левиафане» («Leviathan-Wörterbuch») с особо большим словником (Wortindex). К тому же, словник этого словаря не дан нам в непосредственном наблюдении, как это имеет место в словаре языка сколько угодно большого корпуса. В нашем словаре применяется как бы двухступенчатая модель реконструкции: 1) сначала отбираются (реконструируются) праславянские словники для каждого из 15 отдельных славянских языков; 2) только затем — путем слияния этих частных праславянских словников — получается единый словник праславянского языка и его диалектов.

ПРАСЛАВЯНСКОЕ ЛЕКСИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ И ДРЕВНЕРУССКАЯ ЛЕКСИКА ДОПИСЬМЕННОГО ПЕРИОДА

1. Нижеследующие заметки носят характер предварительных тезисов и содержат некоторые общие соображения, подкрепляемые конкретными примерами, без претензий на полноту. Это, скорее, подходы к структуре соответствующей главы в более крупной работе по русской исторической лексикологии, чем сама структура. Разумеется, что-то из предлагаемого мной можно было бы использовать и при непосредственной работе над главой о праславянском наследии. И все же сейчас кажется важнее обратить особое внимание на трудности раскладки «по полочкам», порой превышающие саму надобность подобной раскладки. Поэтому уместно говорить о широте, о необходимости широкого (не узкопрофессионального) подхода. Меня поддерживает надежда, что только на этом пути можно обрести новизну и свежесть взгляда, которых иные скептики, похоже, уже не ждут от русской исторической лексикологии.

В самом деле, существуют привычные антитезы, и я могу понять людей, неплохих работников, которые работают в привычном русле и не очень склонны усложнять себе свою научную жизнь. Но, с другой стороны, опыт этой самой жизни и работы порой взывает взломать блокаду условностей, ибо все границы и противопоставления условны. Это в полной мере относится к тем, с которыми работаем и будем работать мы. Позвольте перечислить. Историческое — описательное (корректное описание порой содержит больше истории, чем «исторический очерк» с примерами разной датировки, очень часто статичными или эволюционно далеко не полными). Далее, лексикология и лексикография (их практическое противопоставление искусственно, в сущности перед обеими стоит цель корректного опи-

сания значений, все остальное — детали). Противопоставление исторической лексикологии и этимологии в значительной степени — терминологическая избыточность (и этимология давно интересуется не одним корнем, а всем словом, его употреблением, семантическим и словообразовательным развитием). Также в немалой степени искусственно противопоставлять историческую лексикологию и историческое словообразование как разные дисциплины (каждый, кто серьезно занимается одним, обязательно занимается и другим). То, что противопоставление литературного и диалектного в исторической лексикологии во многом снимается, думаю, понятно (хотя на практике — далеко не всегда, причем ряд слов диалектных, иногда жаргонных, просторечных рискует пропасть из поля зрения исследования). Здесь уместно вспомнить и противопоставление «дописьменное — письменное», вспомнить с тем, чтобы попытаться смягчить его остроту, безусловную в глазах специалистов по исторической лексикологии. Постулат единой и непрерывной истории языка и слова для нас все же важнее. Дальше нам еще придется возвращаться также к этой условности. Определенная толерантность в том, что касается перечисленных далеко не абсолютных понятий и терминов, думается, сделает нас восприимчивее к опыту других дисциплин и вообще ко всему тому, что зовется интердисциплинарным обменом.

2. Проблема адекватности описания значения, включая риск, вызванный неудачной записью значения слова, занимает меня давно. Вот первый пример, когда дефектность описания, неполное знание лексического гнезда приводят к тому, что и лексиколог, и лексикограф теряют слово, кстати сказать, слово живое и притом — в условиях современной богатейшей письменности: *косу́ля*, название малого оленя. В словаре Даля нет *косуля*, есть *козуля*, явный плод ложной этимологии (или неверной записи?) в связи с *коза*, с которым наше *косуля* как раз не связано, оно родственно глаголу *чесать*, что применительно к малому оленю значило 'счесывать (сбрасывать) рога' (4-томный словарь даст *косуля* ⟨...⟩ см. *козуля*). Этой лексикографической лакуны не избежал и «Этимологический словарь» Фасмера, в нем отсутствуют и *косуля*, и *козуля*, и наш «Этимологический словарь славянских языков» (ЭССЯ), и только в дополнениях и исправлениях ко 2-му изданию Фасмера (Фасмер^2 III, 830) я смог исправить свою ошибку, о чем и сообщаю также сейчас, поскольку речь идет о старом, по-видимому, еще праславянском слове, входящем в словарный состав также современного русского языка, но в силу ряда негативных обстоятельств крайне скудно засвидетельствованном (СлРЯ XI—XVII вв. (7, 376) отмечает тоже только омонимичное *косуля* 'вид сохи').

3. Говоря о праславянском периоде, условимся не поддаваться смешению двух терминов — «праславянский», относящийся к соответствующей эпохе, и «общеславянский», относящийся к распространению во всех славянских языках, несмотря на словоупотребление влиятельной книги А. Мейе «Общеславянский язык» и аналогичный англо-американский термин. Следует иметь в виду, далее, что праславянский период отнюдь не поддается четкому выделению, и с прогрессом науки (признание изначальной сложности языка) дело оборачивается даже труднее. Собственно, удручать это не должно, потому что все опыты историко-лингвистической периодизации имеют, к сожалению, по большей части не языковую, а общественно-историческую, хронологическую основу. Здесь уместно повторить, что язык непрерывен, и почти с тем же успехом мы могли бы принять, что праславянский период никогда не кончался, ибо диалекты существовали всегда (а не с какого-то определенного момента, которым было бы удобно датировать окончание праславянского периода и появление этих диалектов...), просто с течением времени древние диалекты перегруппировались в исторические славянские языки. Остается чисто условно (и не очень настойчиво) придерживаться хронологической близости праславянского и дописьменного.

4. Наши знания о праславянском словарном составе имеют вынужденно опосредствованный характер, поскольку праславянский язык прямо не засвидетельствован. Подобные знания неизбежно подвержены постоянной корректировке и пересмотрам. Определенная умозрительность представлений выражалась еще и в том, что с относительно древней датировкой существования праславянского языка (1500—2000 лет назад) условно связывали не только невысокий уровень культуры праславян, но и сравнительно небогатый словарный состав, с небольшим развитием отвлеченной лексики высокой культуры. Конечно, это ходячее представление априорно в своей сути и отдает определенной недооценкой, так что возможность серьезных научных поправок здесь велика. Вместе с тем весь основной спектр человеческих знаний (иначе говоря — слов-понятий) наличествовал, и это безусловно относится и к праславянскому наследию в древнерусской лексике, большую часть которой допустимо квалифицировать как праславянскую, имея в виду при этом продолжающееся функционирование, скажем, в дописьменном, дохристианском древнерусском (древневосточнославянском) в принципе все того же совокупного словаря, охватывающего все те же лексико-семантические группы: человек и все, что связано с человеком, его жизнью, родом, обществом; дом, жилье, простейший хозяйственный обиход, одежда, пища, питье; окружающий мир, природа, животные и растения (дикие и культурные); земледелие, скотоводство, ремесло; представления о времени, про-

странстве, количестве; религиозные представления. Этот обобщенный перечень, разумеется, лишь приблизительно очерчивает праславянский фонд русской и древнерусской лексики и при специальном рассмотрении подлежит дальнейшей детализации.

5. Праславянский лексический фонд русского языка не пребывал неизменным; он жил, «изменялся, оставаясь самим собой», как и сам язык. Его продуктивность, выразительные потенции не исчерпаны и сейчас. Несмотря на постоянные контакты с другими языками и воздействие этих последних и стоящих за ними культур, фондовые понятия до сих пор нередко обозначаются лексемами еще праславянской древности. При этом среди них мы находим и такие русские термины высокоразвитой культуры, как *наука*, *завод*, *станок*, *самолёт*, *поезд*, *палуба*, *судно*, *корабль*. Все это праславянские слова. Ясно, что палуба современного лайнера не имеет ничего общего ни с лубом, ни с лубяной будкой; масштабы семантической эволюции этих слов замечательны. Какая-то аналогия при этом может быть проведена с тем обстоятельством, что специальные отрасли современной науки и техники нередко черпают свои термины из лексики народных говоров. Ограничусь примером слова *колт*, которым археологи обозначают ископаемые женские украшения-подвески. Ср. диалектное (сев., печор., псков.) *ко́лтки*, *колтки́* мн. 'металлические серьги с подвесками (или удлиненной формы)' (СРНГ 14, 195), производное от диалектного же *колта́ть* 'болтать'. Случай показался мне интересным, потому что это одновременно и лексика праславянской древности.

6. Вспомогательная (разумеется, не единственная) методика определения, выявления праславянского лексического фонда в словарном составе древнерусского языка может быть следующей. Мы имеем возможность сейчас сопоположить существующие словари древнерусского языка и наш «Этимологический словарь славянских языков. Праславянский лексический фонд» (уже вышел 21 выпуск от *A* до *N*, недостающая часть алфавита представлена в картотеках соответствующего академического отдела). Стремление историков языка рассматривать в качестве древнейшей ту часть древнерусской лексики, которая отражена в древнейших русских письменных текстах, по-человечески понятно, но такую точку зрения нельзя абсолютизировать, потому что это было бы в лучшем случае наивностью. Приходится многократно повторять, что факт письменной фиксации слова — это сплошь и рядом случайность. Первая фиксация и возникновение слова совпадают крайне редко, хотя в научной литературе часто исходят как раз из презумпции единства этих двух актов. Целесообразно поэтому говорить о праславянской основе русского словарного состава в целом.

7. Воззрения на праславянский язык и его словарный состав постепенно меняются. До недавнего времени господствовало мнение, что к праязыку возводимо только то, что засвидетельствовано во всех или нескольких родственных языках. Собственно, этим и объясняется предпочтение предыдущих поколений ученых, отдававшееся термину «общеславянский», ныне устаревшему. Исподволь накапливались наблюдения и доводы в пользу того, что праславянский язык вообще не мог существовать как бездиалектный, если понимать его как реально существовавший живой язык. Так возникла идея праславянского лексического диалектизма, к которой причастен и автор этих строк. Это была нужная идея, сразу либерализовавшая и научную мысль, и активизировавшая значительный фактический материал, который, как в таких случаях бывает, уже имелся в немалом количестве, но как бы лежал под спудом. Ведь фактически действовал своеобразный запрет на то, чтобы считать праславянизмом очевидно древнее образование, если оно известно только из одного языка или (боже, упаси) только из части диалектов этого одного-единственного языка. Сохранилось воздействие теории родословного развития. Все это искусственно упрощало наши теоретические представления о неизмеримо более сложной языковой действительности. Признание изначальной полидиалектности в рамках любого языкового (в том числе — праязыкового) единства многое поставило на свои места. В этой ситуации естественно прозвучало и положение об автономности праязыковых состояний лексики каждого славянского языка в отдельности и о праславянском лексическом диалектизме. Сказанное прямо относится к вопросу о праславянском лексическом наследии в (древне)русском словарном составе. Потребовались дополнительные критерии, необходимость регулярного привлечения данных сравнительного языкознания, этимологии, поскольку праславянский лексический диалектизм (локализм, регионализм) ограниченного распространения, не будучи подтвержден данными других славянских языков, обнаруживал нередко подтверждения (этимологические соответствия), а иногда — полные лексические тождества в других родственных индоевропейских языках. Это направление сулило не только этимологические находки, но (что, пожалуй, не менее важно) новые подходы к интересующей нас здесь проблеме: состав праславянского словаря[1] и внутри этой общей проблемы — более специальная, о праславянских диалектизмах русского словаря. Тогда, 30 лет назад, я сделал первую предварительную выборку этимологических случаев этого рода на основе словаря Фасмера. В этот перечень из нескольких десятков лексем, не претендующий, как это сейчас оче-

---

[1] *О. Н. Трубачев.* О составе праславянского словаря. Проблемы и задачи // Славянское языкознание. V МСС. Доклады советской делегации. М., 1963. С. 159—196.

видно, на исчерпанность и полноту, вошли слова: *бу́га* 'низкий берег реки'; *бугóр*; *вазнь* (др.-рус.) 'счастье, удача'; *вéблица* 'червь'; *верпу* (др.-рус.) 'рву, граблю'; *волмина* (др.-рус.), название дерева; *ворóбы*; *вóроб* 'мотовило'; *глу́да* 'глыба, ком'; *глудкий* 'гладкий, скользкий'; *дук* 'ямка'; *éмины* 'запас хлеба'; *ёрш*; *жень* 'бортнические ремни'; *зуд*; *клёк* 'лягушачья икра'; *клыпáть* 'хромать'; *кóмель*; *лѣкъ* (рус.-цслав.) 'остаток'; *лепестóк*; *лигозить* 'путать нити при тканье'; *мизги́рь* 'паук'; *мьшелъ* (др.-рус.) 'стяжание'; *ови́н*; *плень* 'гниль'; *пóлба*; *прию́т*; *юти́ть*; *уют*; *ружь*; *ружа* 'наружность'; *свигáть* 'гоняться, спешить, бегать'; *угрю́мый*; *у́дить* 'зреть, наливаться (о зерне)'; *услó* 'начатая ткань'; *ушь* (др.-рус.) 'чертополох'; *шест*; *шу́стрый*; *щёлок; я́глый*. Как видно, здесь представлены слова общенародного русского языка, древнерусские слова и слова диалектные, для краткости никак не выделенные. Семантический спектр приведенных слов весьма разнообразен. Остается сказать, что неменьший перечень в упомянутом докладе дан по праславянским диалектизмам белорусской лексики, а это имеет прямое отношение к праславянскому фонду лексики древнерусского языка, общего предка русского, белорусского, украинского языков. Совершенно очевидно, что, поставив вопрос о праславянских диалектизмах украинского языка, мы тоже, как говорится, вернулись бы не с пустой сетью. В украинском словарном составе, в старых текстах и народных говорах, тоже немало праславянских древностей, взять хотя бы такую крупную находку того же времени, как древнеюгозападнорусское (общее для староукраинского и старобелорусского) *зерем*ѧ 'бобровая колония', при всей своей изолированности в славянском, уверенно реконструируемое как праслав. диал. **zerdmę/-mene* (корень тот же, что в *зарóд* / *зорóд*) и даже — как и.-е. **ĝherdh-men-*. Важность этой лексической изоглоссы повышается тем обстоятельством, что собственно великорусскому слово *зерем*ѧ неизвестно. Нехудо иметь в виду положение, что «восточнославянский ареал в большей своей части — типичная зона экспансии; следовательно, априори здесь надо предполагать в первую очередь сохранение [периферийных] архаизмов»[2]. Интересный праславянский диалектный случай, объединяющий все восточнославянские языки, представляет собой рус. *коромы́сло* (диал. *корóмысел*), укр. *корóмисел*, блр. *карóмысел* — слово, неизвестное другим славянским языкам, но безусловно древнее, даже этимологически трудное. Не так давно обнаружили своеобразное соответствие, с другой ступенью корневого гласного, в остатках языка балтийских славян — кашуб. *čarmëslë* 'деревянные коромысла', то есть на другой периферии славянства.

---

[2] *О. Н. Трубачев.* Регионализмы русской лексики на фоне учения о праславянском лексическом диалектизме // Русская региональная лексика XI—XVII вв. М., 1987. С. 21.

Разумеется, и сравнительно-лингвистический (этимологический) метод не всемогущ, и не всякий диалектизм, даже старый, обязательно восходит к праславянской древности. Все это необходимо иметь в виду, решая задачу реконструкции праславянского состояния прарусской лексики. Не могу не упомянуть здесь с теплым чувством о том поистине молодом энтузиазме, с которым откликнулся на идею автономности праславянского состояния лексики каждого славянского языка и идею праславянского лексического диалектизма Ф. П. Филин в последние уже годы своей жизни. Любовно изданная посмертная подборка его работ под названием «Историческая лексикология русского языка. Проспект» [3] — хорошее тому свидетельство. Разумеется, это явилось лишь продолжением собственных давних интересов Ф. П. Филина к исторической диалектологии и древней диалектной лексике, которой в его капитальной книге «Происхождение русского, украинского и белорусского языков» [4] отведена добрая сотня страниц.

8. Резервы самой богатой древней письменности исчерпаемы, в особенности, если интересы исследователя обращены в дописьменное время. Здесь вступают в силу косвенные резервы, в том числе письменность на других языках. Правда, возможности углубить историю древнерусской лексики таким путем довольно скудны, и случаи вроде глоссы *rex Boz*, которую можно прочесть как *rex* (лат. 'король, царь') = **vožь* / **voǯь* (прарус. 'вождь') (Иордан, Getica, о владыке антов, упомянуто в связи с готско-славянской войной IV в.), встречаются редко. Гораздо более информативен другой резерв реконструкции древнего состояния лексики — ономастика всякого рода (топонимия, гидронимия, антропонимия, этнонимия). Замечено, что восточнославянские топонимия и гидронимия славянского происхождения обнаруживают репертуар лексических основ, подчас отсутствующих в известной восточнославянской апеллативной лексике [5]. Это наводит на мысль, что первоначально эти лексические основы имелись и в древнерусском нарицательном лексическом составе, но потом выбыли из него и сохранились лишь на такой периферии словаря, каковой является ономастика.

Метод реконструкции утерянных на апеллативном уровне слов, ориентирующийся на выявление их следов в топо- и гидронимии, систематически применяется в языкознании других славянских стран. Так, например, прасла-

[3] *Ф. П. Филин.* Историческая лексикология русского языка. Проспект. М., 1984.

[4] *Ф. П. Филин.* Происхождение русского, украинского и белорусского языков. Л., 1972.

[5] *О. Н. Трубачев.* Заметки по славянской ономастике // Onomastica Jugoslavica. 1982, № 9. С. 159 и след.

вянское слово **sosna* отсутствует в словарном составе южнославянских языков[6]. Однако это слово обнаруживается на южнославянском ономастическом уровне — в македонской топонимии[7]. И таких случаев, когда в ономастике удается обнаружить все еще живые остатки лексем праславянского и старославянского (древнеболгарского), там немало. Аналогичную ситуацию мы встречаем и в восточнославянском. Наибольший интерес представляют случаи вроде нижеследующего.

Исследователи обратили внимание на топоним *Плота* в Воронежском крае, одновременно указав, что соответствующий апеллатив в местных говорах русского языка не отмечается, хотя в словаре Даля зафиксировано *плота́* в значении 'овраг' с пометой «воронежское»[8]. В действительности местное и водное название *Плота* распространено несколько шире — также в орловских и тульских местах, ср. довольно многочисленные случаи в Верхнем Поочье: *Плота*, *Старицкая*, *Ржавая*, *Долгая*, *Сорочья*, *Черемоченская Плота*[9]. Сюда еще речные названия *Бутежская Плата*, *Лещинская Плота*, *Гнилая Плота*, в бассейне Сейма, Употребление в сочетании с различными определениями (см. выше) свидетельствует о былом апеллативном статусе названия Плота; о том же, со своей стороны, говорит речное название *Двеплота* (сочетание с числительным) в Верхнем Поочье. Так что перед нами былой апеллатив **плота́*, в существовании которого и Даль был не очень уверен, снабдив его, с одной стороны, ударением, а с другой стороны — знаком вопроса. Хотя ареал этого исчезнувшего слова несколько шире Воронежского края, все же очевидна его региональность. Относящееся явно сюда же речное название *Пополта*, тоже в Верхнем Поочье, позволяет поставить вопрос о реконструкции для нашего **плота* праславянской формы **plъta* и включении его в лексическое гнездо слова *плот* 'средство передвижения по воде', с дальнейшим родством с *плыть*, *плыву*, что в общем естественно для обозначения водного тока или русла. Таким образом, внимательное рассмотрение ономастического случая привело нас к выявлению потенциального праславянского диалектизма **plъta*, без которого было бы неполным гнездо **plъtъ* (плот), гнездо достаточно архаическое и разрушающееся (так, для мотивировки отнесения к нему слова *плоть*, **plъtь* требуется уже этимологический комментарий: 'тело, кожа' из первоначального 'наплыв, наплывшее, натек').

---

[6] *F. Kopečný.* Základní všeslovanská slovní zásoba. Praha, 1981. S. 337: «chybí v jsl.».

[7] *Т. Стаматоски.* Македонска ономастика. Скопје, 1990. С. 223.

[8] *В. И. Дьякова.* Местные географические термины и их роль в топонимии Воронежского края // Воронежское краеведение: опыт и проблемы. Воронеж, 1990. С. 142.

[9] *Г. П. Смолицкая.* Гидронимия бассейна Оки. М., 1976.

18. Заказ № 2261.

9. Проблема разрушения лексических гнезд чрезвычайно интересна для исторической лексикологии, но прежде чем уделить внимание различным ее случаям, я бы хотел кратко указать на интереснейший район, куда нас привел случай *Плота*: Окско-Донская равнина, Средний Восток Древней Руси, неизменно притягивавший шахматовскую интуицию. Оставаясь в рамках проблематики исторической лексикологии, нужно сказать, что именно на Верхнем Дону (отчасти — на Северском Донце) наблюдается некоторое скопление определенно древнерусских, славянских гидронимов древнего вида, но без опоры в существующей апеллативной лексике: *Снова* (также в Посемье), *Калитва*, *Идолга*, *Щигор*, *Иловай*, *Московая Ряса*, *Излегоща*, *Разлатая* (балка), *Толотый*, *Стубло* (последние два — по Северскому Донцу)[10]. Украинско-русская чересполосица здесь для нас неактуальна; речь идет об образованиях общей древности, хотя и выразительно региональных.

Таким образом, в большую программу русской исторической лексикологии, в разделе о праславянском наследии, должны войти также этимологически выверенные сведения о фондовой ономастике (топонимии, гидронимии, антропонимии, этнонимии). Можно спорить об объеме понятия фондовая ономастика, хотя в целом оно представляется интуитивно достаточно ясным. Речь может идти об архаичном, непродуктивном слое образований. Как уже было показано, ономастика здесь важна не сама по себе, а как резерв для выполнения основной задачи. Разрушающиеся лексические гнезда оказываются подчас на стыке апеллативной лексики и ономастики. К упомянутой выше фондовой ономастике принадлежат, например, названия *Москва*, *Тула*, являющиеся исконно славянскими (другие этимологические версии для *Москвы* вызывают у меня сейчас сомнение) и вместе с тем — региональными, вятичскими включениями в восточнославянский ономастический ландшафт. Случайный факт довольно поздней хронологии письменной фиксации названий *Тула*, *тульские украины* не мешает нам принципиально увязывать это название с приходом вятичей (исход I тыс. н. э.) и с древним лексическим гнездом *тул* 'футляр для лука', *тыл* 'задняя (мясистая) часть'. Гнездо это чрезвычайно разветвлено семантически, самобытно в плане словообразования, фонетики, морфологии. С названием южновеликорусской Тулы связывают — более или менее корректно исторически и этимологически — первоначальную идею прибежища, укрытия ('место, где можно притулиться'). Можно справиться у Фасмера, на слово *Тула*. Безответственные публичные

[10] Материал см.: *Н. И. Панин.* Лексико-семантический и формантный анализ русских наименований текучих вод Окско-Донской равнины и прилегающих территорий / Канд. дисс. М., 1982; *П. Л. Маштаков.* Список рек Донского бассейна. Л., 1934.

рассуждения историка Л. Н. Гумилева о том, что название города Тулы — от имени татарской ханши Тайдулы (так!) [11], с наукой ничего общего не имеют, к сожалению. Далее, сюда же, помимо *тулить* 'укрывать, помещая, втискивая куда-либо', принадлежат *туловище*, др.-рус. *тулово*, но также и *тулуп/б*, *тулья́* (головного убора), старое префиксальное сложение *сутулый*. Основная идея заполнения емкости, разрастания плоти представлена в глаголе *тыти*, при всей самостоятельности семантики и огласовки бегло перечисленных нами образований на *-л-*, достаточно хорошо известных разным славянским языкам и не перестающих удивлять своим словообразованием, ср. сюда др.-рус. *тылѣснь*, *тыльснь* — о тупом конце оружия [12]. Но проблем, связанных с этим гнездом, гораздо больше. Здесь довольно много — тоже древней лексики, произведенной иными способами от того же корня, ср. *тук* (с суфф. *-к-*), откуда *тучный*, далее — *отава*, с древним словообразовательным удлинением корневого гласного. Наше замечательное корневое гнездо, оказывается, содержит также бессуффиксные производные весьма архаического вида и выразительно региональные, как, например, *това* в смоленском тексте конца XVII в.: четыре лыка сухие рыбы *товы* [13]. Назову еще два важных этимологически затемненных случая, также принадлежащих к рассматриваемому гнезду (оба они включены в дополнения ко 2-му изданию Словаря Фасмера, т. IV): *тволага*, рус.-цслав. 'телка', прежде признававшееся темным, теперь достаточно вероятно объясняется (**tv-ol-*) как этимологически родственное *тул*, *тыл*, *тыти* ('тучное животное'); предложенная этимология перспективна, поскольку может быть распространена и на широко известное, но необъясненное этимологически слово *тюлень*, первоначально, видимо, **твелень* (ср. форму редкой русской фамилии *Твеленев*). Нельзя не согласиться с тем, что *тюлень* тоже 'толстяк'! Заметим, что этимологический комментарий позволяет констатировать в словах *тволага*, *тюлень* лексические диалектизмы праславянского образования (иную точку зрения представляет И. Г. Добродомов, который, вслед за О. Прицаком, видит в *тволага* тюркизм, что осложняется, однако, гипотетичностью некоторых тюркских промежуточных звеньев, а также наличием апофонии *тволага*: **твелень* на славянской почве). Ну, и последний небольшой, но явно поучительный пример, один из тех, мимо которых легко пройти не заметив, тогда как он имеет прямое отношение к реконструкции утерянных лексем, явно расположился на стыке онома-

---

[11] *Л. Н. Гумилев*. Меня называют евразийцем… // Наш современник. 1991, № 1. С. 136.

[12] Ср. также *тылье:* изрежь толщиною в ножевое *ты*^{л}*е* (Артикул поварнич., нач. XVIII в., ркп. ГПБ. — Пример сообщила мне Л. Ю. Астахина).

[13] Цит. по кн.: *Е. Н. Борисова*. Лексика Смоленского края по памятникам письменности. Смоленск, 1974. С. 142.

стики и апеллативного лексикона и прежде всего — относится к тому же замечательному гнезду с корнем *тул-*. Среди гидронимии Окско-Донской равнины мое внимание привлекло название *Волчья Тулава* (материал диссертации Панина, см. выше). Зная польский глагол *tułać się* 'бродить, бродяжничать, ходить без пристаница', нетрудно заметить, что *Тулава* имеет вид отглагольного производного, но такого глагола **тулать* в русском нет. Можно высказать осторожное суждение, что либо глагол этот первоначально существовал в языке восточных славян, либо (как и ряд других элементов, включая местное название *Тула*) он был занесен на Окско-Донскую равнину давними ляшскими предками вятичей.

Выпадение слова из словарного состава складывается порой причудливо; легче его констатировать, нежели объяснить. И если бы не недвусмысленные показания ономастики, мы бы потеряли все следы слова, хотя речь иногда идет о слове как будто заметном и конкретном, стоящем в четком словообразовательном ряду, как, например, **обиток* (ср. известное *обиход*), восстанавливаемое нами на базе местного названия *Обиточная коса*, на северном берегу Азовского моря, сюда же речка *Обыточка* на Среднеднепровском Левобережье (см. соответствующее дополнение в русских изданиях словаря Фасмера).

10. Таким образом, как и в нашей убыточной экономике, главная проблема, объемлющая все, пожалуй, остальные, — это наши потери и как им противостоять. При этом масштабы этих потерь могут незаметно перерастать рамки узкопрофессиональных интересов и оборачиваться нашими общекультурными потерями. Это бывает, когда средства массовой информации, в сущности поощряемые поверхностностью наших филологических суждений, занимаются дальнейшим тиражированием наших ошибок, нашего не очень точного словообразовательно-семантического истолкования слова. Таков случай, постигший нас с хорошим древнерусским и праславянским словом *изгои*. Известно, с каким значением в первую очередь слово *изгои* ассоциируют современный журналист, политик, вообще — «масса» грамотных людей. Уверен, что все они, в согласии с современной лексикографией русского языка, назовут значение 'отверженный, отщепенец'. Сказался, безусловно, авторитет Даля (см. 2-е изд., т. II, 19): «*изгóй* м. стар. 'изверженец? исключенный из счету неграмотный попович; князь без княженья, владенья; проторговавшийся гость (банкрут), не платящий подателей'». В сущности, Далю нельзя отказать в корректности, свое толкование 'изверженец' он дает под вопросом, как увидим, оправданно. Срезневский в своих «Материалах» слишком краток. СлРЯ XI—XVII вв. (вып. 6, 138) достаточно осторожен, но в целом созвучен с Далем, акцентируя значение отрыва от своего сословия.

Я уже писал о том, что при описании значения (а заодно и при семантико-этимологической реконструкции) слова *изгои* целесообразно пойти по пути более внимательного учета семантики непосредственно мотивирующих глаголов — др.-рус. *изжити* 'потратить, израсходовать на существование', рус.-цслав. *иждивитися* 'израсходоваться'. Похоже, что изгойство означало определенное обеспечение, иждивение. Ведь и далевское толкование информативно в указанном смысле, на что мало обращали внимания: «не платящий податей» заключает в себе момент иждивения, как бы льготу, а не отвержение прежде всего. Конечно, нельзя не видеть того, что *изгой* — слово книжное, не народное, хотя и построенное по древней модели, с *-о*-вокализмом корня. До конца трудно исключать влияние образца греческих ἐκ-τρέφω 'выкармливать', ἐκ-τεθραμμένος 'вскормленный' [14].

11. Извечная проблема соотношения письменной истории слова и его полной истории, вопрос о том, какая часть этой полной истории осталась (состоялась) за пределами собственно письменного отрезка, позволяет и понятие «дописьменности» применять более гибко, индивидуально и притом иногда — к словам поздних периодов. Так, слово *Домострои* засвидетельствовано только в качестве названия известной книги, кодекса домашнего хозяйства и права. Есть основания предполагать фигуральное употребление первоначального нарицательного имени деятеля **домострои* (не засвидетельствовано), слишком напоминающего кальку с греч. οἰ καιόμος 'домохозяин' и функционально отличного от известного *домостроитель*. Ср. аналогичную судьбу — от имени деятеля (апеллатив) к названию книги: *Назиратель*. Конечно, здесь речь совсем уже не идет о праславянских образованиях, но навыки, приобретенные при анализе последних, могут принести пользу и в случаях с более поздними новообразованиями.

12. Размышляя над контрастивным (сопоставительным) определением задач исторической лексикологии, конкретно — над сравнением исторической лексикологии и, скажем, истории культуры по данным языка, сразу видишь подтверждение тому, что историческую лексикологию отличает принципиальная установка на возможно более полную инвентаризацию лексического состава в его развитии и функционально-семантической классификации. В то время как история культуры нацелена на раскрытие духа культуры и — при более выборочной установке в отношении лексического состава — на выявление ключевых слов [15].

---

[14] *О. Н. Трубачев.* Праславянская лексикография // Этимология 1983. М., 1985. С. 15.

[15] См.: *О. Н. Трубачев.* Славянская этимология и праславянская культура // Славянское языкознание. X МСС. Доклады советской делегации. М., 1988. С. 301.

Полная инвентаризация словарного состава в обозначенных параметрах — это программа-максимум, но, спрашивается, какую другую достойную задачу должна выдвигать академическая русская историческая лексикология. Тем более что до сих пор такая задача не только не решалась, но и не ставилась — ни книга Черных, ни книга Кипарского, ни какая-либо другая не преследовали эту цель в полном объеме. Книга П. Я. Черных «Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период» (МГУ, 1956) была представлена самим автором как первый опыт русской исторической лексикологии, по заключению рецензентов, добавим, — малоудачный опыт. «Очерк» Черных целиком принадлежит своему времени с его комплексами: боязнь заимствований, отсюда (а также по другим причинам) — много ошибочных этимологий, явно недостаточный учет мировой славистической литературы. Автору свойственны ошибочные прямолинейные суждении, в духе тех, которые мы уже разбирали выше, скажем, форма **вѣта* (при производном *ветка*) не существовала, потому что не засвидетельствована в письменности (но ср. укр. *віта*, говорящее о реальности прарусского **вѣта*!). Коротко говоря, это не был мировой уровень и для своих, 1950-х гг. [16]. В остальном следует отметить в книге большой раздел «Общеславянский словарный фонд и его развитие в древнерусскую эпоху», после чего словарный состав рассматривается по главным семантическим группам (человек, люди, терминология родства, животный мир, природа, труд, материальная и духовная культура), сообщаются определенные сведения об отличиях восточнославянской лексики от лексики остальных славянских языков и о лексических отличиях древнерусских диалектов.

К сожалению, слишком схематичным и потому неудовлетворительным справочником оказалась и гораздо более близкая к нашему времени книга Кипарского, если говорить, так сказать, об основных вехах [17]. «Развитие словарного состава» — так назвал Кипарский свою историческую лексикологию — занимает объемистый том III его «Русской исторической грамматики». Главную свою задачу автор, судя по всему, усматривал в охвате материала, что привело к чрезмерной, «алфавитной» (как, помнится, заметил по этому поводу Ф. П. Филин) манере изложения, обеспечивающей обозримость, но почти без аппарата. Материал распадается на главные рубрики: Исконные слова. Заимствованные слова. Новообразования на русской почве. Суффиксальные образования. Префиксальные образования. Сложения. Раздел

[16] *О. Н. Трубачев.* [Рец. на:] *П. Я. Черных.* Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М.: МГУ, 1956 // Краткие сообщения Ин-та славянов. АН СССР. 1958, № 25. С 89 и след.

[17] *V. Kiparsky.* Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975.

исконных слов начинается с «русских слов индоевропейского происхождения (возраст около 3500 лет)», далее идут «русские слова балто-славянского происхождения (возраст — минимум 2500 лет)», «русские слова праславянского (общеславянского) происхождения», и читателю как бы предлагается однозначно поверить и в существование балто-славянского единства, и в эти абсолютные даты, абсолютность которых не очень правдоподобна. Внутри каждого такого подраздела членение однотипно: Тело человека. Родство и половая жизнь. Явления природы. Животный мир. Растительный мир. Виды деятельности. Свойства и отвлеченные обозначения. Материальная культура. Техника. Облегченность до школьного уровня объясняется не только стремлением охватить всю историю русской лексики до современности, но и — главное — адресованностью этого вузовского учебника нерусскому читателю. Автор не без гордости включил также непристойную лексику, которая, как он специально отмечает, не была допущена даже в русском издании «Этимологического словаря русского языка» М. Фасмера, а сейчас, как мы знаем, прорывается и в беллетристику, и на сцену, и в кинематографию. Табу в отношении этих русских слов у нас все же кое-где еще соблюдается, поэтому, например, наш «Этимологический словарь славянских языков» дает эту русскую лексику латиницей, дабы не оскорблять нравы, но и не поступиться академической полнотой (речь идет о древних образованиях языка).

Если верить Кипарскому, индоевропейских слов в русском — 454, «балто-славянских» — 300, праславянских — 420 (здесь сообщается и возраст последних — «минимум 1500 лет»), но поскольку индоевропейские слова одновременно — праславянские (*сидеть*, *рыть*), все цифры сомнительны. Несколько обстоятельнее в книге трактуются заимствованные слова (поздние заимствования, иностранные слова нашего столетия не учитываются). Суммарно рассматриваются германские, иранские, тюркские, старославянские, греческие, финно-угорские, балтийские элементы, а также польские и некоторые другие, более поздние. Краткость изложения усилила неизбежный субъективизм и односторонность суждений, при всем том, что автор был выдающийся лексиколог с огромной эрудицией, знанием языков и литературы. Безжалостного устарения не избежала также и эта, в целом полезная работа, получившая много откликов (среди них — трудолюбивая рецензия нашего покойного Г. Ф. Одинцова[18]). Интересно, что половина книги Кипарского посвящена словообразованию, причем автор насчитывает более 200 русских суффиксов (среди них, правда, немало дублетов или незначительных вариантов вроде *-анин*, *-янин*, *-чанин* или таких суффиксов, которые, собственно,

[18] *Г. Ф. Одинцов.* [Рец. на:] *V. Kiparsky.* Russische historische Grammatik. Bd. III. Entwicklung des Wortschatzes. Heidelberg, 1975 // ВЯ. 1977, № 1. С. 134—140.

нельзя считать, особенно с позиций исторического словообразования, ни славянскими, ни русскими: *-абельный-*, *-изация*), а также 70 (!) префиксов (цифра тоже неумеренно завышенная, если учесть, что в «русские» префиксы у Кипарского попадают даже компоненты молодых сложений *прод-*, *пром-*).

Главное наблюдение, которое мы вправе сделать, — это то, что Кипарский представляет себе как бы одномерное — вертикальное «развитие русского словарного состава» от индоевропейской основы и до заимствований нового времени (верхним пределом ему чисто условно служит 1900-й г.). Иной стратиграфией автор в сущности не занимается: вклад диалектов бегло признается, но в поле зрения автора находится практически исключительно лексика письменного, литературного языка. В наших глазах, это концептуальный недостаток, и в предыдущем изложении мы уже наметили иной подход, опирающийся на постулат изначальной диалектной сложности, праславянские лексические диалектизмы, а также положение об ограниченности письменных свидетельств и пути по преодолению, восполнению этой ограниченности. Вертикальную стратиграфию словарного состава надо, в сущности, дополнять горизонтальной стратиграфией, подразумевая под ней постоянную установку на изучение древнедиалектных компонентов. Подход это новый, поэтому опереться на прецеденты да еще в масштабе, сравнимом с исторической лексикологией русского языка, затруднительно по той причине, что полных аналогов нет. Есть, правда, аналогичные новые разработки в области ранней восточнославянской топонимии [19].

Этот путь малохоженый не для нас одних. В сравнимых очерках исторической лексикологии других языков мы находим в основном все ту же вертикальную стратиграфию. Это можно видеть и по работе такого опытного этимолога и лексиколога, как О. Семереньи. Работа, которую я имею в виду: *O. Szemerényi.* An den Quellen des lateinischen Wortschatzes. Innsbruck, 1989. Несколько выборочный метод изложения (авторские новые находки, а не фронтальное исследование латинской исторической лексикологии), тем не менее, обнаруживает привычную схему: древние унаследованные элементы и древние заимствования (из греческого, кельтского, семитского). У Семереньи ход мыслей заведомо ограничен латинским письменным материалом, тогда как именно специфика раннелатинского языкового развития принципиально означает поглощение практически всех других древнеиталийских диалектов,

[19] См. на укр. яз.: *О. М. Трубачев.* Етимологічні спостереження над стратиграфією ранньої східнослов'янської топонімії // Мовознавство. 1971, № 6. С. 3 и след.: выделение в восточнославянской топонимии общеславянских, восточнославянских элементов, а также других славянских элементов, имеющих подтверждение только в южнославянском и только в западнославянском.

с переходом (включением) части лексики последних в латинский словарный состав. Иными словами, горизонтальная стратиграфия для латинской исторической лексикологии особенно актуальна, и в то же время она недооценивается, как и в других известных случаях.

13. Собственно говоря, объективный материал постепенно накапливается; я имею в виду выявление древних диалектизмов лексики. Другого пути просто нет. Хранилищами такой недостаточно пока исследованной лексики по различным соображениям могут оказаться в первую очередь не центральные по своему положению произведения письменности, лексика которых претерпевала определенный отбор, а как бы периферийные продукты этой письменности. Общий закон преимущественного оседания архаизмов на периферии проявляется и здесь. Такой периферийной сферой оказывается письменность на бересте, в первую очередь новгородские берестяные грамоты (о других периферийных ресурсах, уже полностью за рамками письменности, мы с некоторой подробностью выше говорили на примере русской ономастики). В целом ряде новгородских берестяных грамот чтение выделило особый диалектный деловой термин древнего происхождения — *намъ* 'проценты, лихва', отсюда прилагательное *намьныи*, с индоевропейскими связями корня [20].

Конечно, сложность берестяных текстов способна сыграть злую шутку и с опытнейшими исследователями, следствием чего могут оказаться неверное членение на слова, ошибочное чтение и ложные объекты лексикологии и лексикографии — слова и имена людей, которых, скорее всего, не было на свете. Для поучительности — один такой отрицательный пример. Речь идет о новгородской грамоте № 481, относимой к XIII в.:

**поклонъ. ѿловцакоѡстаѳинипослиграмотоуѡжекоуны. насѣть.
инаимитоу. арожекаковъ. зѣидоубодастьловъта. ковъ. змоуть.**

Опуская здесь первую, относительно однозначно читаемую часть текста, задержимся на второй, которую издатели членят и читают: «А роже, каковъ Зеиду бо(гъ) дасть ловъ, тако възмуть» — «а что касается ржи, то ее возвращение зависит от того, какой бог даст Зеиду улов» [21]. Чтение нельзя назвать удачным, поэтому в свое время было предложено другое, кажется, более натуральное и в смысле конструкции, и в плане реалий: ...а роже (им. мн.) како

---

[20] *А. А. Зализняк.* Наблюдения над берестяными грамотами // Вопросы русского языкознания. 1984. Вып. V. М.: МГУ, 1984. С. 101 и след.

[21] *А. В. Арциховский, В. Л. Янин.* Новгородские грамоты на бересте. М., 1978. С. 74—76; чтение сохранено без поправок и в издании: *В. Л. Янин, А. А. Зализняк.* Новгородские грамоты на бересте. М., 1986. С. 277, см. там ЛИ *Зѣидъ* в Словоуказателе.

възѣиду(ть) бо(гъ) дасть ловъ тако възмуть 'а рожь как взойдет, бог даст лов, так возьмут'. — Календарный смысл ссылки на время появления всходов ржи, четкий гипотаксис (како… тако) — все здесь ясно, ничего лишнего. В число лишних домыслов попадает и «непашенный ловец Зеид» вместе со своим мусульманского вида именем, не подтверждаемым источниками [22]. В отличие от века нынешнего, когда и на Новгородской земле можно встретить всякого рода «ловцов», включая мусульман, в XIII в. это было там маловероятно.

14. Из предшествующего изложения в целом видно, как различаются в вопросе сохранения архаизмов и древних (праславянских) диалектизмов центр и периферия, причем именно последняя нередко оказывается резервом сохранения названных элементов словаря. Однако оппозиция центр — периферия не только и не столько пространственная (нагляднее всего эти отношения, действительно, наблюдаются в лингвистической географии, откуда и взято данное понятие), сколько общеязыковая. Это означает, естественно, что под понятие периферии подпадают различные непрестижные, низовые формы языка и речи, в их числе лексические, а также такие, которые, по ходячему представлению, не имеют достаточно шансов на собственную историю, преимущественно ассоциируются с поздней производностью, с лексикой современного быта. Два разных примера подобных недооцениваемых периферийных элементов я хотел бы кратко рассмотреть.

Стоит назвать первое из этих двух слов — *киря́ть* 'пьянствовать', то есть 'пить систематически', ясно, что нормальной ответной реакцией будет недоверчивая улыбка: нашли, мол, праславянский элемент. Репутация у этого слова плохая, достаточно справиться в СРНГ 13, 225: *киря́ть* 'пьянствовать' (пензенск., с пометой собирателя «из воровского арго»). Лексика воровского арго считается в основном сформировавшейся из новогреческих, финских, цыганских слов, древние исконно славянские элементы для нее не характерны. Но это суждение слишком огульно, поэтому в ЭССЯ 13, 268 отнеслись к этому слову-парии внимательно, не пошли на поводу у ходячего предубеждения, и основания для этого у нас были, ср. блр. *ке́рiць* 'кутить, пить' и польск. *kirzyć* 'пить; мочиться'. Я позволю себе процитировать и далее оттуда: «Ссылки на бытование в арго, при всей их возможной справедливости, приобретают дезориентирующий характер в том, что касается этимологии, заставляя искать источник ⟨…⟩ в новых заимствованиях ⟨…⟩ У Фасмера пропущено. Между тем, одного указания на соответствие рус. *-р'-* мягкого и польского *-rz-* < *r'* достаточно, чтобы поставить вопрос о довольно старых

[22] См. *О. Н. Трубачев.* Языкознание и история // Л. А. Булаховский и современное языкознание. Киев, 1987. С. 120.

отношениях, возможно, исконно родственных, праславянских. По нашему мнению, представляет собой продление первоначально нулевого вокализма ⟨...⟩ связанного чередованием с **kuriti* 'курить, дымить'. Последнее значение вполне подходило для экспрессивного называния действия 'пить, пьянствовать'. В арго попало (спустилось) вторично».

Другой пример — слово *ору́довать*, слово современного обиходного языка, внешне прозрачное и потому, казалось бы, малоинтересное. Интерес к его истории гасится убеждением, что это — отыменный глагол от современного же существительного *ору́дие*. Внешне все правильно: figura etymologica *орудовать орудием*, в смысле 'манипулировать инструментом'. Однако нужно и тут приглядеться внимательно. Глагол *орудовать* ведет себя все-таки не совсем так, как подобает прямому производному от *орудие*. Налицо формальные отличия, а потом этот не очень уловимый отвлеченно-иронический оттенок глагола *орудовать*: 'обделывать свои делишки'. Кстати, словари его передают плохо: 'производить действие, выполнять работу при помощи орудия, предмета; распоряжаться, управлять; проявлять деятельность, действовать' (4-томный словарь русского языка). Похоже, тот, кто составлял эту статью, проникся уверенностью, что основной является производность от *орудие* 'инструмент', ср. и порядок значений. Правда, у Даля, который даже поместил, следуя своим принципам, глагол *орудовать* внутрь статьи *орудие*, подозрительно возрастает, сравнительно с современным словарем, едва проглядывающая в последнем отвлеченность глагольного значения: «делать что, управлять чем, действовать; начальствовать». Дальше делается понятно, что Даль ориентировался на язык древней книжности. Ср. *орудовати* 'действовать' (Срезневский II, 708), 'обратиться по делу' (СлРЯ XI—XVII вв. 13, 71, в обоих словарях один и тот же пример XIV в.). Здесь, как видим, нет и тени значения 'действовать орудием, инструментом'. Впрочем, нельзя не обратить внимания на то, что древнейшим и первым, по сути, значением также слова *орудие* в наших памятниках оказывается 'дело', далее, следом — 'судебное дело' и только более позднее — 'орудие, инструмент'; наличие среди последних отвлеченных словоупотреблений типа *орудие дьяволе* тоже несколько усложняет картину. Эту картину окончательно усложняют (а может быть, вносят в нее ясность?) инославянские данные, особенно — такие красноречивые, как польские, где имя, этимологически тождественное нашему *орудие*, — *orędzie* имеет только отвлеченные значения — 'обращение, весть, поручение' и, что важно, имеется также этимологическое соответствие нашему *орудовать* — *orędować* 'действовать, обращаться в чью-либо пользу, ходатайствовать, посредничать'. Это подкрепляется и в общем известным этимологическим родством слов *орудие* и *ряд*, последнее также — 'договор' (Фасмер III, 154). Несомненна праславянская древность слова *орудие*, при

этом любопытно, что и у тех славян, у кого праслав. **orǫdьje* (или **obrǫdьje*) получило значение 'орудие, инструмент', оно раньше имело значение более общее 'дело' (Bruckner 381). Для нас же сейчас не менее важна закономерная констатация, что и в слове *орудовать* представлено праславянское образование, история которого насчитывает не одну тысячу лет.

15. Говоря об истории слова, мы не раз уже имели случай убедиться, что полную историю слова и его значений дописывает этимология. Нам чуждо желание сколько-нибудь умалить важность письменной истории слова, но, что касается фондовой лексики, которая нас интересует здесь в первую очередь, то есть лексики древнейшей, сплошь и рядом ее семантическая история оказывается в основном состоявшейся в дописьменный период, а на письменный период приходится в таком случае период относительного покоя[23]. В самом деле, трудно отрицать у письменности ее роль стабилизирующую, т. е. импульс если не остановки семантического развития, то некоторого замедления его все же от письменности, от кодификации человеческих знаний исходит. Если мы усвоим это понятие универсальности и преемственности развития, мысль о том, что в истории языка преобладали не абсолютные утраты, а переосмысления, не покажется нам такой уж неестественной. Во всяком случае, поиски якобы утраченного явно обещают быть в отдельных случаях плодотворными; «утраченное» языком обретается при этом под иной личиной в языке же. Так, точку зрения об отсутствии в славянском родственного соответствия латинскому *creō-*, *-āre* 'создавать, творить', *crēscō* 'расти' возможно существенно оговорить со ссылкой на поведение глагола **kresati*, особенно в древнем словосочетании **kresati ognь*, которое следует, по-видимому, толковать (читать) не 'выбивать, высекать огонь, искру', а 'создавать, делать огонь'. Это предположение подкрепляется изучением всего славянского лексического гнезда, ср. **krěsъ*, обозначение летнего солнцеворота как 'возрождения', откуда производное **krěsiti* 'оживлять, вновь создавать, воскрешать'. С именем **krěsъ* связано древним чередованием имя **krasa*, не вообще 'красота, красивость', а 'цвет жизни' прежде всего, то есть. применительно к человеку, который был мерой всех вещей всегда, — это 'здоровый цвет лица, румянец', с переносом (по-видимому, весьма древним) — 'цветение растений' (так в украинских и белорусских диалектах)[24]. При этом

[23] См. специально об этом: *О. Н. Трубачев.* Историческая и этимологическая лексикография // Теория и практика русской исторической лексикографии. М., 1984. С. 23 и след.

[24] *O. N. Trubačev.* Aus slavischen Etymologien: **kresati, *krasa, *krěsъ* // Festschrift für H. Bräuer zum 65. Geburtslag. Herausgeg von R. Olesch und H. Rothe. Köln; Wien, 1986. S. 641 и след.

имеет смысл вернуться к вечному вопросу об истории значения русского прилагательного *красный* из первоначального 'красивый' (это одновременно относится и к старому названию *Красная площадь* в Москве). Свои рассуждения выше о слове *краса* мы считаем необходимым распространить и на его производное *красный*, древним значением которого было не просто (абстрактно) 'красивый', а 'наделенный румянцем'. Специфика случая русского прилагательного *красный* — в его древнем синкретизме значения, в том, что оно не столько семантическая инновация (в других славянских языках продолжения праславянского **krasьnъ* имеют только значение 'красивый, прекрасный'), сколько архаизм ('красный' в изначальном смысле 'цвета жизни, румяный, краснощекий').

Нелишне повторить, что возможно точная запись значения и употреблений слова — главная точка опоры для необходимых дальнейших экскурсов в предписьменное состояние. Избыточное лексикографическое описание, когда факту наличия в действительности надписи в одно слово на гнездовской корчаге X в. противостоят четыре самостоятельные словарные позиции в древнерусском словаре XI—XIV вв. (*гороунща* (?), *гороухща* (?), *гороушна* (?), *гороуща* (?), причем зафиксированы дефектные чтения, а наиболее вероятное — посессивное *гороуня* — отсутствует), не может вызвать одобрения, ибо нарушено элементарное правило: не следует умножать сущностей.

Максимальное использование свидетельств письменности не исключает надобности того, что можно назвать эмансипацией лингвистического исследования от рамок письменности. Рабская зависимость от этих рамок, боязнь за них выглянуть чревата ошибками, как и, в свою очередь, неучет письменных данных. Тут уместно напомнить неверные суждения старых исследователей (Черных 1956: не существовало, потому что не засвидетельствовано) да и у новых, молодых исследователей подобных ошибок предостаточно. Я вкратце упомяну свой спор с чешским исследователем В. Шауром, поучительный, думаю, еще и потому, что речь шла там о таком специфическом разделе лексической реконструкции, как реконструкция глагольного слова[25]. Нельзя так безоговорочно отождествлять, как это делает молодой чешский коллега, относительную хронологию языковых форм и «хронологию засвидетельствованных форм», ведь в последней всегда возможен элемент случайного. Скажем, из факта, что *избавити* зафиксировано раньше, чем **baviti*, нельзя делать вывод, что образования **baviti*, **traviti*, **otaviti* — сплошь вторично депрефигированные образования. Для этого надо — как минимум — в упор

---

[25] См. подробнее: *О. Н. Трубачев.* Приемы семантической реконструкции // Теория лингвистической реконструкции. М., 1988. С. 221.

не видеть в них производных на *-iti*; от имен **bava*, **trava*, **otava*. Функциональная вторичная взаимосвязь глаголов (например, каузативизация **traviti* в его отношении к **truti* и т. п.) не должна заслонять первичных словообразовательно-этимологических отношений. Узкий, предвзятый взгляд на вещи способен заслонить нам многое, тогда как широта взгляда, так необходимая для исторической лексикологии ввиду особого положения последней, делает восприимчивее к новому в общей теории языка, например к тезису Куриловича, который прозвучит здесь кстати — о том, что «отглагольный глагол всегда отыменен по происхождению».

Резюмируя, напомню, что вначале мы обратили внимание на некоторую условность привычных антитез: историческое — описательное, лексикология — лексикография, историческая лексикология — этимология, историческая лексикология — историческое словообразование, литературное — диалектное, дописьменное — письменное. Сквозь эти частные антитезы необходимо видеть, что языкознание едино и объект у него один. Универсально актуальной признается адекватность описания значения. После небольших терминологических уточнений (праславянский — общеславянский) обсуждается характер наших знаний о праславянском и жизнь праславянского фонда в русском словаре вообще. Ввиду естественной неполноты наших знаний о праславянском уточняются методы выявления праславянского, такие научные понятия, как праславянский лексический диалектизм, и резервы реконструкции, в их числе — ономастика. Интердисциплинарная проблема разрушения лексических гнезд выводит нас на общую проблему потерь в лексике и семантике. Индивидуальный подход к слову позволяет говорить об индивидуальной «дописьменности» слова, в том числе позднего. Правомочно говорить об установке исторической лексикологии на полную инвентаризацию, однако при этом стратиграфия вертикальная (собственно историческая) должна дополняться горизонтальной (разнодиалектной) стратиграфией. Концепция исторической лексикологии одного лишь литературного языка излишне стерильна и нежизненна. Неуклонное объективное накопление материала склоняет к более жизненной концепции в рамках всего языка. Эти более широкие рамки несут не усложнение, а более широкое ви́дение, более адекватное применение положений общей теории языка, включая такое важное, как языковой центр и языковая периферия (последняя — как резерв сохранения лексических архаизмов). Эмансипация от младограмматического взгляда на литературный язык как на искусственное построение, принятие альтернативного взгляда на органичное единство всех структур языка, в том числе — литературной, эмансипация от излишне негативного догмата письменной формы языка, продуктивное сращивание исторической лексикологии и этимологии — такими кратко видятся задачи.

Список слов и форм, упоминаемых или объясняемых в тексте
(русское особо не выделяется)

***bava*, праслав.
***baviti*, праслав.
Boz, вождь антов
буга, диал.
бугор

вазнь, др.-рус.
веблица, диал.
верпу, др.-рус.
**вѣта*, прарус.
ветка
віта, укр.
волмина, др.-рус.
Волчья Тулава, водное название
воробы, *вороб*, диал.

глуда, диал.
глудкий, диал.
гороуня, др.-рус.
гороунща (?), др.-рус.
гороухща (?), др.-рус.
гороушна (?), др.-рус.
гороуща (?), др.-рус.

Двеплота, водное название
Домострои, др.-рус.
домостроитель, др.-рус.
дук, диал.

емины, диал.
ёрш

жень, диал.

завод
зарод / *зород*, диал.
**Зѣидь* (?), др.-рус.
зеремѧ, др.-рус. диал.
зуд

Идолга, водное название
иждивитися, рус.-цслав.
избавити, ст.-слав., рус.-цслав., др.-рус.
изгой
изжити, др.-рус.
Излегоща, водное название
Иловай, водное название.

Калитва, водное название
кирять, жарг., диал.
kirzyć, польск.
клёк, диал.
клыпать, диал.
козуля
колт
комель
корабль
коромысло, *коромысел*
косуля
**krasa*, праслав.
Красная площадь
красный
**krasьпъ* праслав.
creō, *-āre*, лат.
**kresati*, праслав.
crēscō, лат.
**krěsiti*, праслав.
**krěsъ*, праслав.

лѣкъ, рус.-цслав.
лепесток
лигозить, диал.

мизгирь, диал.
Москва
Московая Ряса, водное название
мьшелъ, рус.-цслав.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКОВ. ПРАСЛАВЯНСКИЙ ЛЕКСИЧЕСКИЙ ФОНД

Настоящая статья касается только исследовательской и составительской работы, проделанной в ходе написания выпусков 23, 24, 25 «Этимологического словаря славянских языков» в рамках совокупного алфавитного отрезка от **narodьnъjь* до **nьzti*.

С прежне написанными (и уже опубликованными) 22 выпусками ЭССЯ вновь подготовленные выпуски объединяет общность основных принципов Словаря: установка на исчерпывающее использование всех доступных источников выявления и реконструкции древнего (праславянского) словарного состава всех славянских языков и диалектов, с преимущественным интересом не к набору корней, а к полному, живому слову во всем разнообразии его словообразования, что влечет за собой более широкое понимание также собственно этимологических задач Словаря (тождество слов, изоглоссы, изолексы), возможно более полные, систематические справки по этимологии, истории и географии слов.

Широко распространено мнение, что алфавитный порядок расположения слов в словаре — удобная, но произвольная традиция, и монографические исследования слов обычно строятся на других принципах: тематических и структурных. Однако это справедливо далеко не всегда, и в случае с алфавитным отрезком реферируемых здесь выпусков ЭССЯ мы обратим внимание прежде всего на (продолжающееся) изложение такой важнейшей модели славянского (и праславянского) словообразования, как сложения с префиксом *na-*. Далее следует весьма насыщенная модель словосложений с отрицанием *ne-* и этимологически родственным *ni-*, и полноту насыщения обеих моделей

славянского словообразования, а равно и наших представлений о них наилучшим образом обеспечивает именно алфавитная подача материала.

Имея в виду обусловленный сказанным выше некоторый примат скорее словообразовательного анализа над этимологическим, как бы определяющий теоретическое лицо выпусков ЭССЯ (хотя от однозначных заключений тут имеет смысл воздержаться), следует выделить наличие в общем алфавитном порядке «непрефиксальных» случаев с начальным *na-*, носящих чисто этимологический характер в традиционном понимании. При этом речь идет практически всякий раз об индоевропейском языковом (словообразовательном, морфологическом, лексическом) наследии в составе лексики славянских языков. Сюда относятся, например, словарные позиции **našъ* (в виде форм под звездочкой даются праславянские реконструкции), восходящее к праиндоевропейской форме родительного падежа множественного числа личного местоимения **nōs-sōm* 'нас', а также следующее далее **našь* 'наш' — притяжательное местоимение, восходящее к производной форме также еще праиндоевропейского образования **nōs-i̯o-s*. Праиндоевропейскую природу обнаруживает целая корневая группа культурно и исторически важных терминов **navь, *navьjь, *navьje* с семантикой 'мертвый', 'мир мертвых, расположенный за водной преградой', 'корабль мертвых' с чертами архаического синкретизма 'корабль храм', 'храмовый связанный с мертвыми'. Любопытен реликт **nevęsilъ* (сербохорв., чеш.), при более «регулярной» форме названия этого растения **devęsilъ, девясил*, с сохранением рефлекса праиндоевропейской формы этого числительного **neu̯n̥* 'девять', с вторично преобразованным началом этого слова во всех других случаях **devętь, девять*. По-своему интересен случай **natь* 'ботва', где начальное *na-* констатируется как префиксальное или оспаривается как таковое в зависимости от этимологического выбора: от **na-ti(na)* 'нарезка' к **tęti* 'резать' или к лит. *nókti* 'зреть, созревать'. В остальном огромное большинство примеров на префикс *na-* не вызывают сомнений относительно своего состава, и при их анализе и характеристике мы имеем дело почти исключительно со славянским языковым материалом. Это дает повод как бы для квалификации соответствующих образований как «прозрачных» в духе обычной антитезы «прозрачное» versus «этимологически реконструируемое, непрозрачное». Впрочем, все «прозрачные» случаи желательно в принципе трактовать осмотрительно, допуская также их потенциальную древность и тем ослабляя означенную антитезу, что подтверждал бы, несмотря на свою единичность, пример **naznati* из выпуска 24 ЭССЯ, с содержащимся там наблюдением о нем как о возможном продолжении и.-е. **ana-ĝnō-*, ср. параллель в греч. ἀνα-γιγνώσκω 'узнавать'.

На фоне подавляющего большинства «прозрачных», подтвержденных только славянским материалом сложений с отрицанием *ne-*, выделяются та-

кие архаизмы индоевропейской эпохи, как вскрытое, надо сказать, лишь в процессе работы над выпуском 24 ЭССЯ, праславянское **nebasъ* (значения 'негодяй' и близкие), особенно же его полное соответствие, отрицательное сложение лат. *ne-fās* 'грех'; фундаментальная славянско-латинская этимологическая изоглосса и изопрагма из сферы древних нравственных норм, немаловажная для концепций этногенеза. Главным образом, древними этимологическими соответствиями в других родственных индоевропейских языках и также с древним наличием отрицания *ne-* (выявляемым, правда, лишь через этимологический анализ) оказываются славянские названия побочного кровного родства, племянницы и племянника, **nepti* / **neptere*, **neptьjь*. Весьма интересным, затемненным случаем сложения с отрицанием потенциально оказывается праславянское **nědro*, **nědra* 'грудь, пазуха, внутренность' (откуда потом более широко известные фигуральные значения, например рус. *недра*), этимологически из **ne-ed-* 'не поедаемое, несъедобное'. По крайней мере относительно двух слов мнение о наличии отрицания *ne-* явилось результатом длительных этимологических споров. Это **netopyrь* 'летучая мышь' < 'не-птица', 'будто птица' и **nevěsta*. В каждом из случаев критическое, аннотированное изложение литературы вопроса занимает достаточно много места. Особенно перспективным и поучительным представляется эпизод со словом **nevěsta*. Сейчас можно с уверенностью утверждать, что мы имеем здесь дело, в сущности, с прозрачным генетическим прилагательным в значении 'неизвестная', причем его прилагательность подтверждает, являясь его суффиксальной субстантивацией, форма **nevěstъka*, *невестка*, как, впрочем, и наличие «чистого» прилагательного **nevěstъjь* 'неизвестный'. К такой мысли пришли очень давно (ср. Словарь Миклошича, изданный более 100 лет назад), но оставались непреодолимые сомнения. Несмотря на последовавшие попытки чисто индоевропейских этимологий, вообще отрицавшие здесь наличие негативной конструкции, мы возвращаемся к старому толкованию в новом свете: «игра в неизвестность» с новой женщиной рода, табуистическое иносказание из страха перед злыми силами, подчеркнуто вещный статус брачащейся (откуда употребление вещной глагольной основы 'знать' — **věd-*, а не **znati*) в духе известного в языкознании соположения женского и вещного начал.

Обе главенствующие словообразовательные модели **na-* + *x* и **ne* + *x*, несомненно, продуктивны в славянском с достаточно раннего времени. Эти именные и глагольные сложения во многих случаях несут на себе печать древней жизни носителей языка — праславян, ее условий и особенностей. За последнее прежде всего ответственна семантика слов. Ср. слова и значения, сложившиеся, по-видимому, еще в праязыковой древности: **narogъ* / **naroga* 'зубец на сохе, плуге', 'лемех', **narъtъ* 'верх обуви, подъем ноги', также 'лыжа, лыжи', четкий исконно славянский рисунок которого конкурирует с

проблемой наличия весьма близких финно-угорских форм; **nasada* / **nasadъ* ‘часть воза’, а также ‘судно с набитыми бортами’ (с точки зрения методики лексико-семантической реконструкции полезно при этом иметь в виду, что отдельные значения слова характеризуются как позднейшие, как, например, ‘отложение’ калька с нем. *Aufsatz*); **natonъ*, отглагольное имя от **natęti*, обозначающее ‘колоду’, ‘участок леса, где рубят дрова’ и т. п. Не совсем обычное обозначение ткацкого станка, ткацкой основы **natьra* (юж.-слав.), от глагола **natьrǫ*, **naterti* ‘натереть’, находит подтверждение со стороны этнографии в обыкновении натирать нити основы воском или мучным раствором. На праславянскую древность, далее, претендует термин для вала ткацкого станка **navojь*, от **naviti*. Широко представлена земледельческая терминология внесения удобрений — **navozъ*, от **navezti*, и **nazemъ* / **nazьmъ* ‘верхний слой земли’, ‘навоз’. Крупную словарно-этимологическую и культурно-историческую проблему представляет слово **nevodъ* ‘большая волоковая сеть’, где отрицание *ne*-, оказывается, может выполнять роль охранного иносказания табуистической природы «чтобы рыбы не узнали...». Почти повсеместное наличие здесь форм с *ne,* скорее всего, не изначально, как о том свидетельствуют изолированные отклоняющиеся формы с *na*-, в сербсколужицком и у южных славян, ср. также проблематичную близость финских названий невода, скорее, уводящих от форм на *ne*-. Лексика земледелия включает, кроме индоевропейского термина **sěmę* ‘семя’, старый диалектизм **nasěnьje* ‘семя’ — признак развитости соответствующей терминологии. К экологической лексике принадлежит любопытная пара слов **nastъ* ‘твердая кора’ — **nenastьje* ‘плохая погода’, активно употребляемые в том или ином объеме в современных русских *наст* — *ненастье.*

Весьма велико вероятие, что значительная часть современной, живой лексики народной медицины, болезней и их врачевания восходит еще к праязыковой древности. В рассматриваемой части Словаря сюда относятся **nasmъrkъ* (верхнелужицкое, русское, белорусское) ‘насморк’, отчасти **nazola* (восточнославянское) ‘досада’, если к **nazoliti* ‘посыпать золой’, ср. диалектное *назол* ‘зола, пепел’ и факт применения золы как народного лечебного средства. Далее — любопытное, по-видимому, реликтовое **nečьvenьje* / **necevenьje* (др.-рус., рус. диал.) ‘беспамятство’; наконец, понятийно емкое **nežitъ* в значениях ‘боль’, ‘зубная боль’, ‘воспаление, насморк’. Лексика физических недугов порой служит базой фигурального обозначения (обозначений) недугов нравственных, во всяком случае мы имеем возможность наблюдать, как это достигалось (путем дополнительного префигирования) в важной иерархизации понятий ‘слепота’ → ‘ненависть’, ‘зависть’, что немаловажно ввиду наличия этимологических опытов, затемняющих дело. Ср. **nevistь* (старочешское и русско-церковнославянское) ‘слепота’ и — выше по алфави-

ту — **navistь* (сербохорватское, словенское, русское диалектное) ‘зависть’, (старочешское) ‘приязнь, любовь’, так относящееся к глаголу **naviděti*, как **nenavistь* — к **nenaviděti*.

Несомненно достаточно древнее наличие понятий-терминов умственной деятельности, например уже праславянский статус слова **nauka*, с тем отличием, что его древним значением было не ‘scientia, Wissenschaft’, а скорее, ‘урок, учеба, навык’. Представители этого глагольно-именного гнезда присутствуют в рассматриваемой части словаря и в составе сложений, в которых реконструкция отделяет ранние, народные употребления, как в случае **nenaučьnъ(jь)* ‘необразованный; глупый’ (сербохорв. диал.), ‘необученный’ (ст.-польск.), от книжных, более поздних вроде современного русского *ненаучный* (так же в болгарском). Сюда же, далее, достаточно раннее **neukъ* / **neuka* с характерной для него гаммой значений ‘неприученный, необъезженный (обычно о быке, лошади, также — о неуче-человеке)’. Последовательность / градация значений ‘невежа’, ‘невежда (в том числе в делах веры)’ помогает увидеть, как праславянская дохристианская лексика реквизировалась христианской понятийно-терминологической системой, см. статьи **nevědja* и **nevě(d)golsъ* ‘невежда, неверующий’. Последний пример интересен еще и тем, что как двукомпонентное сложение с отрицанием он подводит к реконструкции целого исходного речевого фрагмента **ne věd*$^{ě}/_{a}$*ti golsъ* / *golsa*, тем самым — к актуальной проблеме текста из дописьменной эпохи. Проблемы дохристианского в христианском славянском мы касаемся и на материале слов **nevěra*, **nevěrъ*, *nevěrьje*, имея в виду их еще праславянскую древность, как и индоевропейские истоки базового славянского слова **věra*. Сюда примыкает самобытное славянское обозначение ‘маловера’ — **nejęvěrъ* на базе фрагмента текста **ne jęti věry*, как бы ‘не принимать на веру’, ‘не верить’, с великолепной структурной параллелью **nejęsytь* ‘ненасытное существо; пеликан’ ← **ne jęti syti* ‘не насыщаться’.

Грамматические и семантические функции префигирующих элементов *na-*, *ne-* сочетаются также с их как бы прикрывающей функцией. Суть последней выражается в том, что те или иные корни сохраняются, выступают только в сочетании с префиксами, отсутствуя в свободном виде. Довольно яркий пример одной такой очевидно старой глагольной основы, известной нам исключительно в связанном виде — **-těјati*, в настоящем словарном отрезке в сочетании **natějati* (в русских диалектах) наряду с другими примерами замечательного многообразия приставочных сложений этого корня, уже знакомых нам по предыдущим партиям Словаря (см. **jьztějati*), а также тех из них, которые займут свое место в дальнейших его частях, как, например, **vytějati* и особенно **zatějati*, известное как рус. *затеять*. Как это ни парадоксально, только в таком префиксально «прикрытом» виде сущест-

вуют отнюдь не одни лишь подобные элементы, подходящие под наше определение праславянского лексического диалектизма, но и корни очевидно широкого, общеславянского распространения, каково, например, *-*uti* 'надевать на ноги, обувать' и всё соответствующее глагольно-именное гнездо: в нашем словарном отрезке это **na*(*v*)*utьje* (болг.) 'портянка' — **na*(*v*)*uti,* ср. сюда же такое разнообразие оформления однокоренных имен и глаголов, как **obuti*, **obutja*, **onutja*, **vъzuti*, **vъzutьje*. В случае **nenatьlъjь* (украинское диалектное) 'ненасытный' представлен, вернее сказать, дошел до нас в связанном виде этимологически самобытный диалектизм со своими индоевропейскими связями, ср. сюда (к **na-tьl-*) литовское *nu-tìlti* 'умолкнуть, утихнуть'.

Означенная прикрытость корня префиксом, будучи словообразовательно вторичным актом, создает подчас изолирующую среду употребления, благоприятную для консервации древних, первичных моментов, прежде всего — лексического значения. Это относится не только к классическим случаям большей сохранности этимологического значения во вторичных словообразовательных формах (сложениях, производных), например **negotovъjь* в архаическом его употреблении, представленном в др.-рус. *неготоваю дорога* 'непроторенная дорога' (Слово о полку Игореве), с его сохранностью связи древнего значения **gotovъ* 'проезжий' ← глагол ***goti* 'ехать, идти', при вторичности нынешних значений вроде рус. *готовый* 'окончательно выполненный, сделанный, предрасположенный к чему-либо'. Есть примеры и более тонкие, а тем самым ускользающие нередко от исследовательского внимания, преувеличенно сосредоточенного на корне слова. Нас заинтересовал в этом отношении случай **nepravьda,* весьма помогающий разобраться в исходном значении базового **pravьda,* которое обычно чересчур прямолинейно синонимизируют с **jьstina*, рус. *истина* и др., тогда как первоначально это были разные по значению слова: **pravьda*, *правда* отнюдь не являлось oppositum к **lъžь*, *ложь,* как это наблюдается во вторичном, современном его употреблении, будучи процессуальным термином древнего славянского права. Возвращаясь к нашему алфавитному материалу, укажем, что уже **nepravьda* — это, скорее, 'несправедливость', а не 'ложь', но особенно показательно тут, казалось бы, третьестепенное образование в словообразовательной иерархии — прилагательное **nepravьdьnъjь*, *неправедный* и значения последнего с их минимумом семантического компонента 'ложь, лживый'.

Пристальное внимание к словообразовательной иерархии подводит к мысли о потенциальной древности внешне эфемерных образований вроде полипрефиксального **nedosolъ*, ср. рус. *недосол*, своеобразный термин застольного ритуала, отпечатавшегося и во фразеологии (*Недосол* — на столе, пересол — на спине), ср. и потенциальную древность географически разорванного ареала (сербохорв. диал., рус., укр., блр.). Единичные сложения оказываются,

тем не менее, связанными четкими отношениями вариантности с другими, заведомо архаичными, префиксальными образованиями, как в случае **neroka* (др.-рус. *hapax*, в псковском разговорнике 1607 г.) 'нянька', ср. **otrokъ* 'infans, малолетнее дитя' (*ne-* : *ot-*).

В глагольных префиксальных образованиях существенным оказывается видо-временной узус, как показывает пара **nazьdati* — **nazidati*; второе из них в духе универсальной имперфективации глагола в славянском может быть охарактеризовано как инновация — обстоятельство, благоприятствовавшее восприимчивости славянским **nazidati* переносных, фигуральных значений синонимичного греческого ἐποικοδομεῖν не только 'надстраивать, строить на чем-либо', но и 'наставлять, назидать'. Заметим, что перфективное (и более древнее) **nazьdati* (церковнославянский, старый сербохорватский, русско-церковнославянский) имеет только первичные значения 'построить, воздвигнуть'.

Реконструкция древнего словарного состава в принципе должна считаться с недостаточностью ресурсов, что повышает роль побочной традиции всякого рода, в частности — ономастики (антропонимии, топонимии, гидронимии, этнонимии). В последней нас интересуют прежде всего апеллативные истоки, что приводит к существенному ослаблению (и даже снятию) антитезы «nomen proprium — nomen appellativum» в практике ЭССЯ. Примеров этого достаточно и в реферируемом отрезке **narodьnъjь* — **nьzti*. Назовем те из них, когда исходный апеллатив (имя нарицательное) бывал спасен для лексикографической памяти, как в случае **nebojьsa*, представленном в русской части только в затемненной форме старой фамилии *Небольсин*, далее **nečajь* (древнерусское личное имя собственное *Нечаи* и др.), **nemirъ*, на базе ряда антропонимов-прозвищ, и **nedamirъ*, ср. старочешское *Nedamir*, или **nepěja* — только как личное имя рус. *Непея*; **nesměјanъ* / **nesměјana*. Замечательное изобилие личных имен собственных **něgomirъ*, **něgoslavъ*, **něgošь*, **něgovojь* и главное — их ареалы позволяют по-иному взглянуть на ареал исходных **něga*, **něgati*.

Кроме такого достаточно затронутого выше ресурса реконструкции, как редкие сложения (ср. еще проблематичное, снабженное в силу этого знаком вопроса **natъkъvinь?* на базе русского диалектного *натквúнь* 'скатерть', к **tъkati* либо к более близкому формально польск. *tkwić* 'торчать'), уделяется постоянное внимание случаям чисто этимологических реликтов, в частности в духе парадигматической реконструкции, как это предпринято при выделении новой словарной позициии **něti* (исключительно в связанном виде в сербохорв. *donijeti*), синонимичного **nesti*, с которым **něti*, по-видимому, связывали отношения древнего супплетивизма в рамках одной глагольной парадигмы; такие случаи для древних индоевропейских глаголов 'нести' вообще известны.

Внимательное чтение ЭССЯ также на отрезке **narodьnъjь* — **nьzti* очевидно углубляет и детализирует наши знания и представления о древнем составе славянской лексики предположительно праславянской эпохи. Кроме таких, не требующих доказательств своей важности аспектов, как древнеславянская картина мира, которые вправе заинтересовать довольно широкий круг специалистов, данные Словаря конкретизируют и наполняют новым содержанием целый ряд других, более частных аспектов, касающихся структурирования словарного пространства, внутриславянских изоглосс (изолекс) и лексической стратиграфии, или хронологизации. В порядке названных проблем это случаи лексических парных оппозиций вроде реконструированных по антропонимии **ničьvoldъ* 'ничем не владеющий' — **vьsevoldъ* 'всем владеющий', далее — словообразовательная изоглосса **nikъva* (кашубско-словинский) 'пропажа', (белорусский) 'топь', отглагольное имя, в конечном счете от **nikati* / **nicati*. Наконец, по данным Словаря, рельефно выступает на базе праславянского **ni edinъ* 'ни один' серия периферийных преобразований, отчасти обязанных межъязыковым интерференциям: **ni že edinъ* (западнославянский), **ni bo edinъ* (словенский), **ni to edinъ*, **po*(*ne*)*edinъ* (болгарский и македонский).

Написание и публикация «Этимологическою словаря славянских языков» продолжаются. Уже упомянутое обстоятельство, что этому Словарю в начальной стадии сопутствовали еще три родственных словарных проекта в развитых странах, из которых реально остался (правда, очень далеко позади) только один краковский «Праславянский словарь», объективно свидетельствует, что ЭССЯ надежно занял свою довольно обширную «нишу» в науке о славянских языковых и культурных древностях. Нельзя лишний раз не повторить, что трудами (в первую очередь) по составлению ЭССЯ начата и уже продвинута новая отрасль словарного дела — праславянская лексикография, на сегодня, пожалуй, самое продвинутое направление праязыковой лексикографии в мировой науке вообще. На фоне комплексов, завладевших умами значительной части наших гуманитариев в эту переломную эпоху нашей истории, отрадно сознавать, что есть еще гуманитарные сферы, в которых не мы от других, как водится (и притом усердно насаждается), а другие от нас «отстали навсегда».

ИЗ РАБОТЫ НАД ЭССЯ 26

Работа над нынешним алфавитным отрезком «Этимологического словаря славянских языков» (сокращенно — ЭССЯ) своей внешней монотонностью и почти сплошь откровенным словообразовательным характером — сложение префикса *об-* с именной или глагольной основой — подвергает немалому испытанию склонности и предпочтения лексикографа-этимолога, сильно удаляясь от стереотипного представления об этимологическом словаре. Не ошибусь, допустив, что то же впечатление испытывают читатели и критики, даже самые привычные из них. Односложность словообразовательного анализа, почти полное отсутствие анализа этимологического в классическом понимании, «оголенность» вместо оснащенности аппаратом, которым по праву могли бы гордиться составители этимологических партий ЭССЯ, — все это способно зародить сомнения в правильности пути, а с ними — соблазн опустить словообразовательно однородные, «неэтимологические» пассажи вроде нынешнего. Не стану детально опровергать это, по моему мнению, заблуждение, не буду повторяться об установках нашего Словаря на живой тип праславянского языка и лексикона. Ограничусь здесь напоминанием, что префиксация (и даже полипрефиксация) — характерная славянская и индоевропейская черта[1], и возможно полная ее инвентаризация остается важной частью ре-

[1] См. *Л. И. Ройзензон.* Многоприставочные глаголы в русском и других славянских языках. Самарканд, 1974, где собран большой материал и разнообразные наблюдения, ср. с. 151 — о полипрефиксации в ст.-слав. **възненавидѣти**, **ненавидѣти** как условии сохранения исходного ***навидѣти**; с. 209 — о древней и поздней литературной традиции, с большим количеством полипрефиксации именно в последней, как и в живой разговорной речи, но ср. также с. 222; с. 225 — об особенной насыщенности полипрефиксальными глаголами русской народно-поэтической речи, русского фольклора.

конструкции, в нашем понимании. Кроме разительных соответствий за пределами славянского, которые порой открываются нашему взору совсем неожиданно и которые лежат на поверхности, как всё в этом интереснейшем материале (а составительский опыт учит, что неинтересных партий в словаре нет вообще!), назову еще одно только, важнейшее и для настоящих моих словарных выдержек, — это замечательная консервирующая способность словосложений, замеченная еще старыми лексикографами, да и сейчас достойная упоминания. В сложении, в связанном виде основа (глагольная, в частности) обретает дополнительную способность противостоять забвению, выпадению из словарного состава. Это относится и к преимущественной сохранности значения. И то, и другое вправе интересовать этимолога.

***obpojьskati**, ***obpojьščǫ**: болг. *опóскам* 'поискать вшей' (БТР; Геров: *опóскамь*), также *опóщя* (БТР), диал. *упóштъ* 'поискать в голове вшей; обобрать (все плоды)' (Ралев БД VIII, 175), *упóшк'ъ, упóшт'ъ* то же (Петков БД VII, 153).

Префиксальное сложение *ob-* и гл. **pojьskati* (см.) или полипрефиксальное — *ob-, po-* и **jьskati* (см.). Фонетическая затемненность и специализация значения говорят о древности. Отсутствует в БЕР 4, 905, на алфавитном месте (*опоск-, опощ-*).

obporomiti** (ob-po-romiti** ?): рус. диал. *опорóмить* 'проявить заботу о ком-либо, осуществить уход за кем-либо; присмотреть (Сл. говоров Соликамского р-на Пермской обл., 397).

Префиксальное (полипрефиксальное?) сложение с гл. **romiti,* в свободном виде не засвидетельствованным потенциальным этимологическим соответствием лит. *ramìnti* / *ramýti* 'успокаивать, унимать, смягчать', лтш. *ramît* 'хоронить, погребать'. Сближение представляло бы интерес в силу большой проблематичности надежных славянских соответствий этому балтийскому лексическому гнезду, однако оно остается гипотетичным по ряду обстоятельств, в том числе слабая засвидетельствованность славянской формы.

***obpovirati**: словен. *opovîrati,* несврш. от *opovreti* 'затормозить, помешать, воспрепятствовать' (Plet. I, 840), рус. диал. *оповирáть* 'оплетать' (пинеж., арх.), 'пеленать' (пинеж., арх.) (Филин 23, 269).

В конечном счете префиксальное сложение *ob-* и гл. **poverti* (см.) или его имперфектива **povirati*, при всей своей очевидной вторичности, обращает на себя внимание изоглоссной связью (словен.-рус. диал.).

***obpruliti** ?: сербохорв. стар., редк. *opruļiti* 'уничтожить' (J. S. Reļković 274...: < *o-pruļiti*; «*pruļiti*, возможно, не засвидетельствовано». RJA IX, 123).

Выделяемый в составе сложения с *ob-* проблематичный глагол **pruliti* (передаваемая RJA s. v. семантика сложения 'уничтожить' может быть приблизительной ввиду единичности и реликтовости словоупотребления) вызывает в памяти близкую форму **bruliti* со значениями 'сбивать (с дерева), ударять с силой (о ветре), трясти' (ЭССЯ 3, 46), при наблюдаемой также семантической близости **bruliti* и **pruliti:* 'ударять' — 'уничтожить'. Само собой разумеется, формальное отношение **bruliti* и **pruliti* в таком случае пополнило бы известный ряд соответствий из разряда «*b/p-Fälle*» в балтийском и славянском. Заговорив о балтийском, напомним лтш. *brauļât* 'проводить рукой по лицу', приведенное у нас s. v. **bruliti.* Собственно говоря, возможны поиски внеслав. соответствий также для глухого варианта — **pruliti.* Предположительно это могло бы быть лтш. *praûls* 'гнилое дерево, гнилая древесина', если из первоначального **proulos* 'ломкий' (иначе о лтш. *praûls* — прямо к лит. *piáulas* 'гнилое дерево' см. Pokorny I, 849, впрочем, с формальными оговорками).

***obpuliti sę*:** болг. *опу́ля (се)*, сврш. 'вытаращить(ся), вытаращить глаза' (БТР; Геров: *опу́льѭ*), диал. *упу́л'ъ съ* 'огрызнуться; вытаращиться' (В. Ковлиева; К. Димчев БД V, 94), *опу́ла съ* (Д. Евстатиева БД VI, 203), *упу́лъ съ* (там же, 234), макед. диал. *опули се,* сврш. 'уставиться, вытаращить глаза; взглянуть' (И—С), сербохорв. *opúļiti* 'ободрать' (FJA IX, 149: «из *o-puļiti;* само *puļiti*, похоже, не засвидетельствовано, будучи, к тому же, темного происхождения. Только в словаре Вука»), словен. *opúliti,* сврш. 'общипать, обдергать' (Plet. I, 845), также стар. *opuliti* (Hipolit), *opuliti* 'expilare, degrassari, spoliare' (Kastelec; Kastelec—Vorenc, 648).

Сложение *ob-* и слабозасвидетельствованного гл. **puliti,* как будто сохранившегося в основном в сложениях, ср. еще рус. просторечн. (составителю известно по Сталинграду 1930-х гг.) *упу́литься* 'уставиться (на что-либо), вытаращиться'. Что касается этимологии **puliti*, целесообразно напомнить о возможной (экспрессивной) паре со звонким / глухим начальным согласным, которую **puliti* составляло бы с ранее рассмотренным и семантически близким **buliti* (см.). Ср. сходные сближения уже в кн.: Н. И. Толстой. Избранные труды. Т. 1. Славянская лексикология и семасиология. М., 1997. С. 254.

***obpuriti (sę)*:** сербохорв. *ȍpuriti,* сврш. 'обжечь' (RJA IX, 150: «< *o-puriti.* Нет ни в одном словаре»), словин. *u̯opᵘuřəc* 'обмануть, ввести в заблуждение' (Lorentz. Pomor. IV, 3, 1716), рус. диал. *опу́ри́ть* 'обмочить мочой' (тихв., новг., опоч., псков., твер. Филин 23, 312; (Даль[3] II, 1781), *опу́ри́ться* 'обмочиться мочой' (тихв., новг., опоч., псков., твер.), 'надорваться, надсадиться' (пензенск.), 'переутомиться, перенапрячься' (теренг., ульян.), 'слишком тепло одеться, накутаться' (пензенск.) (Филин 23, 312).

Сложение *ob-* и гл. **puriti*, сохранность которого в свободном виде для нас крайне проблематична (один из ряда наблюдаемых здесь случаев консервирующей функции префиксальных сложений)[2]. Допустимая изначальность значения 'обжечь, согреть' (ср. изоглоссную семантическую перекличку сербохорватского и последнего из приводимых выше русского диалектного свидетельств), при переносной вторичности прочих отмеченных выше значений — 'надорваться, насадиться', 'обмочить(ся)', — делает возможной мысль о родстве с одним из индоевропейских названий огня, обычно отраженным в славянской долгой ступени **pyr-* (см.).

obpuskněti* / **obpyskněti: ст.-слав. (др.-болг.) **опѫснѣти (ѿт сего оубѡ опѫснѣ каиново, и на авела възирааше очима братоненавистныма, и на ничьсоже озлобившаго его ни оскрьбивша възложити мышлѣаше длани оубїистъвныѧ.** Добрейшово Евангелие // Материалы староболгарского сл.), цслав. **опоуснѣти** ἀλλοιοῦσθαι, *mutari*, μαίνεσθαι, *furere* (Mikl. LP; SJS), **опоустнѣти** *mutari* (Mikl. LP), рус.-цслав. *опуснѣти* 'измениться, исказиться' (1093. Радзив. лет., 128 об.; Дан. III, 19. Библ. Генн. 1499 г.; ВМЧ, Сент. 1—13, 154. XVI в. СлРЯ XI—XVII вв. 13, 54; Срезневский II, 699), *опустнѣти* 'измениться, осунуться' (1093. Лавр. лет., 225; Пов. бел. клоб., 295. XVII в. ~ XV в. Пов. Ап. Тир., 9. XVIII в. ~ XVII в. СлРЯ XI—XVII вв. 13, 55), *опыснѣти* 'измениться, исказиться' (1093. Лавр. лет., 225. Мин. XVI в. (М.). СлРЯ XI—XVII вв. 13, 58; Срезневский II, 701). — Похоже, что сюда же, в конечном счете, принадлежит производное имя сербохорв. редк., стар. *opusnost* ж. р. (RJA IX, 150: «слово с темным значением, только в примере: Bog odvraća tim takima za *opusnos* svoga puka. Kavańin 454[a]»).

Это слово (или группа слов, см. также ниже) обращает на себя внимание затемненностью формы и значения. Что касается формы, можно сразу отнести за счет гиперкорректности написание через ѫ (выше), как и отдающее народной этимологией наличие в некоторых записях *-т-* (*опустнѣти*, с вторичной адидеацией к *пуст*). Не менее показательна и обнаруживаемая лексикографами приблизительность трактовки значения слова, взять хотя бы это уклончивое толкование 'измениться', 'исказиться' (в чем?), вплоть до случаев, совершенно оставленных безо всякого толкования (Добрейшово Евангелие). Впрочем, отдельные элементы, уже наличествующие в лексикографических толкованиях, все же перспективны, поскольку могут быть развернуты в дальнейшем. Так, в этом отношении явно удачно 'осунуться' (СлРЯ XI—XVII вв.,

---

[2] Бесприставочная форма рус. диал. *пурить* 'мочиться' приведена в: *А. Н. Афанасьев.* Поэтические воззрения славян на природу. Т. 1. М., 1994. С. 672. — *Примеч. ред. к первому изданию.*

выше), потому что подсказывает верный путь конкретизации толкования значения: 'измениться в лице' — иначе говоря, 'исказиться гримасой (о лице)', 'исказиться от ярости, от злобы, от гнева', что в целом лучше соответствует греч. и лат. эквивалентам μαίνεσθαι, *furere,* в противном случае, хотя и приводимым, но как бы остающимся втуне при прочтении славянского слова.

В сущности перед нами слово, проигнорированное славянской этимологией и этимологической лексикографией, что побуждает остановиться на нем подробнее, используя, как и в других подобных случаях, консервирующий эффект префиксального сложения (вне **ob-pyskněti* / **ob-puskněti* производящий гл. **pyskněti* / **puskněti* нам пока неизвестен). Тем не менее, резервы реконструкции имеются — как внутренние, так и внешние. Из них, например, важен случай др.-рус. *пысканити* 'насмехаться' (СлРЯ XI—XVII вв. 21, 82: *пысканити.* Насмехаться. *Пысканю* (Ἐπιμύττω... Μυκτηρίζω... Εκμυκτηρίζω...). Влх. Словарь, 407. XVII в.), интересный тем, что, за вычетом (при реконструкции) явно вторичного, вставного *-а-,* четко ориентирует нас на восстановление древней формы именно в виде **pyskn-*. Столь же существенно для нас свидетельство рус. диал. *опы́сконить* 'обнюхивать пищу и не есть', где проявляется также вставной гласный *-о-*, а значение, кажется, более точно может быть приравнено к современному грубопросторечному *воротить морду,* что в конечном счете согласуется изнутри с предлагаемой нами ниже этимологией. В том же, уточняющем, ряду и предлагаемая нами корректура толкования уже упомянутого позднедревнерусского *пысканити:* не вообще 'насмехаться', как выше, а 'строить рожи'. Понятно, что мы расходимся в объяснении рус. диал. *опы́сконить* с Шахматовым, которому мы обязаны самим примером и который, в духе своей концепции, видел здесь связь с *пырскнуть* 'брызнуть, лопнуть' и в целом — сочетание с плавным *ar* (А. Шахматов. К истории звуков русского языка. Замена долгих плавных слоговыми и третье полногласие // ИОРЯС VII. 2. 1902. С. 343).

Резюмируя предварительно, приходим к более точной, как нам представляется, и, во всяком случае, более конкретной реконструкции формы и значения: **obpyskněti* 'измениться в лице', 'исказиться гримасой от ярости, злобы, гнева (о лице)', 'строить рожи', 'воротить морду'. Предпринятые коррективы прямо подводят нас к выделению в корне глагола производящего имени **pyskъ* (см.) 'морда'. Несмотря на все сомнения Махека (Machek^2 503), слово **pyskъ* этимологически тождественно **pyx-* (см. **pyxati* 'дуть, надувать' и т. д.) и, как правильно в общем оценивает его сам Махек, «изначально вульгарно», откуда, в частности, и эта сохранность *sk*, не перешедшего в *x*. 'Морда, рожа, гримаса' получают осмысление как 'нечто надутое'. Последнее, со своей стороны, подтверждают семантически более отдаленные, но этимологически родственные случаи, когда исходный признак 'нечто наду-

тое' лексически реализовался не в названиях 'морды' / 'рожи' / 'гримасы', а в иных, как это мы наблюдаем в славянских и более отдаленных, неславянских соответствиях. Ср. (ниже) **ob-pъsk-nъ* 'плотно прилегающий, обтягивающий' (< '*надутый'), откуда, видимо, вторично **ob-pъsk-nǫti* (см.) 'выскользнуть' (< '*гладкий' < '*надутый') и, далее, этимологически родственное, при всей разнице лексико-семантической реализации, др.-инд. *puccha-* 'хвост' (sc. lic. 'пышный, распушенный хвост'!), этимологическое тождество которого со слав. **pyskъ* мы, вслед за Махеком, принимаем, равно как и заложенную в его наметках идею апофонии *-y-(ū)* : *-u-(ou)* : *-ъ-(ŭ)*. Это выражено у нас в допущении как варианта **ob-pusk-nĕti* (заглавного, выше), так и **ob-pъskn-,* ниже. Перспективность предлагаемой лексико-семантической реконструкции и этимологии — в получаемой при этом большей объяснительной силе, в том числе таких традиционно темных случаев, как сербохорв. стар., редк. *opusnost* (RJA, выше), которое следует понимать как 'надменность' «своего народа», от которого по этой причине отвернулся сам Бог.

***obpъrcati**: сербохорв. *opŕcati* 'поесть всласть' («*prcati,* возможно, не засвидетельствовано и, к тому же, темное по происхождению. Только в словаре Вука: *oprcati,* jarac kozu, bespringen, coeo». RJA IX, 108), *ȍrcati* 'покрыть козу (о козле)' (там же: «Только в словаре Вука»), *opŕcati* 'разодрать, разорвать' (RJA IX, 108: «Нет ни в одном словаре… в Лике. Богданович»), диал. *опр́ца* 'покрыл (козел козу)' (J. Динић. Речник тимочког говора. Додатак други 106 (484).), *опр́цати* 'жадно поесть' (М. Вујичић. Рјечник говора Прошћења 84).

Гл. на *-ati* (собственно, **obpъrcati* < **obpъrkati* в юж.-слав.), соотносительный с **obpъrčiti* (см.).

Что касается этимологической природы этого исходного (плохо прослеживаемого) глагола **pъrkati,* то существенно отметить, что он стоит в одном ряду с другими однокоренными, как правило расширенными, глагольными основами **pъrk-*, **pъrl-*, **pъrsk-* 'брызгать' (> 'пачкать, марать'), с производной семантикой 'оплодотворять, bespritzen, bespringen'. Только эта вторичная, достаточно ранняя семантика дала своеобразное имя деятеля 'козел, «Bespringer»', отнюдь не наоборот, ср. еще Machek[2] 482; Трубачев. Дом. жив. 90 (в обеих названных работах приоритетность именно этой глагольной семантики сформулирована еще недостаточно четко).

***obpъsknǫti**: словен. *opésniti se* 'выскользнуть, улизнуть; сорваться, не удаться; подходить к концу' (Plet. I, 833).

Родственно **obpuskněti* / **obpyskněti* (см.; там же этимология), при чередовании **pysk-* : **pusk-* : **pъsk-*. Иначе, и менее вероятно, см. *F. Bezlaj.* Etimo-

loški slovar sloven. jez. II, 251, где, во-первых, содержится устаревшее утверждение об изолированном («только словен.») статусе *opésniti se*, сюда же прил. *opésen* 'тесный, слишком узкий', а во-вторых, предлагается более сомнительная этимология из **o-pěs-* < и.-е. **poik̂-* Противоречива там и семантическая характеристика.

****obpъsknъ***: словен. *opésen, -sna,* прил. 'плотно прилегающий, обтягивающий': *opesne hlače* (Plet. I, 833).

Вместе с гл. **obpъsknǫti* (см.) родственно **obpuskněti* / **obpyskněti* (см.; там же этимология).

****obpytati***: ст.-слав. **опытати** φηλαφᾶν 'внимательно исследовать, проверить' (Супр., Ст.-слав. сл. 415; SJS; Mikl. LP; Sad.; Вост.), болг. *опи́там,* сврш. 'попробовать, отведать, испытать' (БТР; Геров: *опы́тамь*), также диал. *опи́там* (М. Младенов. БД III, 125; Д. Евстатиева. БД VI, 203), макед. *опита,* сврш. 'расспросить' (И—С), также диал. *опита* (Б. Конески. Материјали за преспанскиот говор од збирката на С. Н. Томиħ // MJ VIII. 2. 1957. С. 191), сербохорв. стар. *opitati* 'спросить; затребовать; осудить' (XV в., RJA IX, 59—60; Mažuranić I, 828—829), диал. *опи́та,* сврш. 'спросить' (J. Динић. Речник тимочког говора 185), *опи́та се* 'расспросить' (Н. Богдановић. Говори Бучума и Белог Потока 158), словен. *opítati,* сврш. 'опросить; допросить' (Plet. I, 835), ст.-словац. *opýtat'* 'попросить; спросить; запросить' (Histor. sloven. III, 343), словац. диал. *opýtat' sa* 'спросить' (Kálal 429: Sloven. Pravno v Turč. ž., вост.-словац.; Kott VII, 119: *opýtat',* «Slov.»), в.-луж. *wopytać* 'посетить; навестить, прийти в гости, проведать' (Трофимович 366; Pfuhl 846), н.-луж. *hopytaś* 'попробовать, испытать; отведывать, вкушать' (Muka Sł II, 287), ст.-польск. *opytać* 'спросить' (Sł. stpol. V, 623), 'расспросить, допросить' (Sł. polszcz. XVI w., XXII, 68), польск. *opytać* 'расспросить, разведать; запросить, спросить' (Warsz. III, 821), также диал. *opytać* (Sł. gw. p. III, 460), словин. *vəpãtăc,* сврш. 'расспросить, спросить' (Lorentz Slovinz. Wb. II, 761), *u̯opətac* (Lorentz. Pomor. I, 627), др.-рус., рус.-цслав. *опытати* 'испытать, проверить' (Изб. Св. 1073 г., 129 об.), 'познать, постичь' (Златостр., 4. XII в.), 'узнать, разузнать, разведать' (Прус. д., 54. 1518 г.), 'расспросить, допросить' (Суд. Ив. III, 21. 1497 г.) (СлРЯ XI—XVII вв. 13, 58—59; Срезневский II, 701), рус. диал. *опытать, опы́тывать* 'испытать, проверять' (борович., новг., Филин 23, 324), *обпыта́ть* 'опросить' (смолен., Филин 22, 189), ст.-укр. *опытати* 'опросить' (Словн. староукр. мови XIV—XV ст. 2, 90), укр. *опита́ти* 'расспросить; найти, расспрашивая' (Гринченко III, 57; Укр.-рос. словн.), диал. *обпита́ти* 'спросить (всех)' (Васильк. у., Гринченко III, 22), блр. *апыта́ць* 'опросить' (Блр.-рус.; Носов.: *опыта́ць*), диал. *апыта́ць* 'спросить' (Бяль-

кевіч, 57), *апытáць* 'найти, расспрашивая' (Жывое слова 104), *опытáтысь* 'поздороваться за руку' (Жывое народнае слова 86).

Сложение *ob-* и **pytati* (см.). Достаточно древнее и широко распространенное славянское сложение **ob-pytati* перекликается с аналогичным сложением (сложениями) в лат. *op-puto* (*ob-putō*) 'подрезать', *amputo* (*amb-putō*) 'отрезать' (обычно довольствуются только сближением корней слав. **pytati* — лат. *putō, -āre* 'обдумывать, полагать; резать').

obpьnǫti (***sę***): болг. *опьна,* сврш. 'натянуть' (БТР; Геров: *опьнѫ, óпнѫ*), макед. *опне* 'напрячь, натянуть', *опне се* 'напрячься, натянуться' (И—С), чеш. *obepnouti* 'обернуть, завернуть, покрыть; охватить', *opnouti* то же, *opnouti se* 'опереться', др.-рус. *опнутися* 'стать, утвердиться' (Астрах. а., № 2788. Отп. 1653 г. СлРЯ XI—XVII вв. 13, 25), рус. диал. *обопнýть* 'обтянуть' (Сл. русских донских говоров 2, 194), *абапнýть* 'покрыть, обвернуть' (П. А. Расторгуев. Сл. народных говоров Западной Брянщины), *абпенýть* (там же, 29; Филин 22, 188: *обпéнуть* 'покрыть голову', зап.-брян.), *опянýть* 'надеть платье' (стародуб., брян., Филин 23, 325), *опнýться* 'отдохнуть' (Ярославский областной сл. (О—Пито) 51), 'остановиться, подождать' (Герасимов. Сл. уездного череповецкого говора 62; Иркутский областной сл. II, 92), *обопнýться* 'одеться в верхнее платье' (Ярославский областной сл. (О—Пито) 17]; Мельниченко 128), *обопнýться* 'передохнуть, немного отдохнуть' (Сл. русских говоров Новосибирской обл. 342; Полный сл. сибирского говора 3, 231; Иркутский областной сл. II, 78; Сл. Красноярского края 232), *обопнýться* 'споткнуться; сделать кратковременную остановку; неожиданно перестать говорить, запнуться; опереться' (Сл. Среднего Урала III, 26, 61; Филин 22, 189), *опынýться* 'очутиться, оказаться где-либо' (юж., зап., Даль; смол., курск., Филин 23, 323), укр. *обінýтися* 'покрыть, надеть; обтянуть' (Словн. укр. мови; Укр.-рос. словн.), ст.-блр. *опнути* 'завесить' (Скарына 1, 438), блр. *апынýцца* 'очутиться, оказаться' (Блр.-рус.; Байкоў—Некраш. 34; Носов.: *опынýцьца*), также диал. *апынýцца* (Бялькевіч 57), *опунýцца* (Тураўскі слоўнік 3, 26), *абпянýцца* 'накрыться; прижаться, прильнуть' (Жывое народнае слова 76), *абапнýць* 'покрыть, обернуть; завесить' (Слоўн. паўночн.-заход. Беларусі 1, 28, Янкова 10; Сцяшковіч, Грод. 7), *абпянýць* 'покрыть' (*Абпяні* платок, а то сьнег пайшóў // Матэрыялы для слоўніка 83), *обопнýцца* (Тураўскі слоўнік 3, 232), *аппянýцца* 'покрыться' (Расторгуев, Северск.-блр. 139).

В принципе **obpьnǫti* есть не что иное как инновационная замена первоначального **obpęti, *obpьnǫ* (см.), но замена достаточно старая, замечательная, особенно в восточнославянском регионе, своим семантическим и формально-фонетическим богатством вариантов, с передачей нулевой ступени гласного корня **obp-ь-nǫti* через Ø (нуль звука), *е, я,* далее — *ы* (рус. диал.

опыну́ться, блр. *апыну́цца), у* (блр. диал. *опуну́цца* (выше), представляя собой яркий пример не только само́й замены нулевой ступени, но и смешения двух рядов чередования (*е*-ряда и *й*-ряда). О блр. *апыну́цца* см. специально ЭСБМ 1, 140 (с допущением украинского влияния на *-ы*-формы).

***obpьša*:** рус. диал. *опша* ж. р. 'отходы при обмолоте и очистке зерна; мякина' (шенк., арх. Филин 23, 322).

Сложение *ob-* и глагольной основы **pьs-* (здесь **pьs-j-a),* в свободном виде не представленной ввиду повсеместного перехода более древнего слав. **pьsti* в **pьx-a-ti* (см.). Тем не менее, именно это как бы атематическое **pьsti* представлено в «окаменелостях», каковыми являются настоящее сложение **ob-pьša* и производное от него **obpьšina* (см. след.), образования очень локальные, но потенциально древние, как и широко распространенное **pьšeno* (см.), обычно неточно интерпретируемое как прич. от **pьxati* (Фасмер III, 417, с литературой), в действительности же — причастие от забытого глагола **pьsti* (в противном случае мы имели бы **pьxano,* а не **pьšeno).*

***obpьšina*:** рус. диал. *опшина* ж. р. (ударение?) 'густая каша из ржаных, ячменных или овсяных высевок' (ст.-рус., новг. Филин 23, 322), *опшины* 'сор от ячменя, толченного в ступе' (Г. Потанин. Этнографические заметки на пути от г. Никольска до г. Тотьмы // ЖСт. IX, 1899, II, 227). Производное с суфф. *-ina* от **obpьša* (см.; там же подробнее об образовании).

19. Заказ № 2261.

Часть III

СЛАВЯНСКАЯ
И ИНДОЕВРОПЕЙСКАЯ
ЭТИМОЛОГИЯ

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 1—7

зима; *железо*; *гвоздь*; *шляться*; *клевета*; слав. *хъrtъ* — рус. *мухортый*; рус. *хрыч* — др.-рус. *гричь* — чеш. диал. *gruc*

1. *Зима*

Название зимы является общим во всех славянских языках и прослеживается всюду без каких-либо отклонений в значении [1]. Общеславянское **zima*, получаемое в результате сравнения всех славянских названий, восходит к индоевропейскому **ĝhei-m-* [2], любопытному во многих отношениях. Исследователи отмечают, что из всех индоевропейских названий времен года это название наиболее распространено [3]. Индоевропейское **ĝhei-m-* не обнаруживает больших колебаний в значении в различных языках (так, ср. греч. χεῖμα, χειμών 'зима, буря') [4]. Основным же значением индоевропейского **ĝhei-m-*

[1] *F. Miklosich*. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. S. 403; *А. Г. Преображенский*. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. М., 1910—1914. С. 251; *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 654; *С. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941. С. 192; *J. Holub, F. Kopečný*. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952. S. 436; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 6. Heidelberg, 1952. S. 455—456, там же перечень основной литературы.

[2] *A. Walde, J. Pokorny*. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Bd. I. Berlin; Leipzig, 1930. S. 546—548; *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 5. Bern, 1951. S. 425—426.

[3] *O. Schrader*. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Aufl. 2. / Hrsg. von A. Nehring. Bd. II. Berlin; Leipzig, 1929. S. 661.

[4] *E. Boisacq*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 2 éd. Heidelberg; Paris. P. 1053.

является 'зима, зимнее время' [5]. Поскольку индоевропейскому названию зимы родственно название снега, ср. арм. *jiun*, греч. χιών, объединяемое с вышеназванной основой как одна из ее разновидностей [6], считают, что значение 'снег' является в известной степени исходным в образовании значения индоевропейского термина 'зима, зимний сезон'. Как с формальной, так и со смысловой стороны подобное сопоставление представляется оправданным: снег, действительно, непременный атрибут зимы для всего умеренного климатического пояса. Правда, рассуждая так, мы забываем о возможных значительных переменах климатических условий, а также (и это более реально) о несомненных крупных передвижениях древних индоевропейцев из одних климатических районов в другие. Конечно, одни лишь общие доводы не в состоянии поколебать смысловую пару 'снег —зима'.

Однако в упомянутых сопоставлениях фигурирует, по-видимому, не весь имеющий сюда отношение сравнительный материал. Дополнительный материал дает хеттский язык. Помимо индоевропейского названия зимы в хеттском *gimmanza* [7], хеттскому языку известно также и другое слово, которое, как нам кажется, поможет несколько продолжить историю индоевропейского названия зимы. Это хеттск. *ḫe(i̯)u-* 'дождь': им. п. ед. ч. *ḫeuš*, род. п. *ḫeu̯aš*, *ḫei̯au̯aš-*, глагол *ḫeu̯ai*, *ḫei̯au̯ai* 'идти (о дожде)' [8]. Это хеттск. *ḫe(i̯)u-* не лишено индоевропейских соответствий: греч. χέω 'лить, сыпать', лат. *fundo* < **ĝheu-n-d-* то же, санскр. *juhṓti*, лтш. *žaut*. Значение этих слов, в пределах известных колебаний, всюду примерно одно: 'лить'. В этом контексте среди большинства обобщенных значений — 'лить (сыпать)' — особенно интересно конкретное значение хеттск. *ḫe(i̯)u-* 'дождь'. Его конкретность (литься не вообще, а именно о дожде) представляется весьма древней особенностью, позволяющей, очевидно, трактовать это значение как исходное для всех развившихся позднее. В данном случае, как и в некоторых других, сказалась замечательная архаическая особенность хеттского словаря: наряду с соответствиями известным производным общеиндоевропейским именам хеттский подчас обнаруживает и непроизводную древнюю основу (глагольную), так, при и.-е. **nokᵘ̯t-* 'ночь' имеем уникальное хеттск. *neku-* 'смеркаться'. В нашем случае при и.-е. **ĝheim-* : **ĝhim-* 'зима' имеем хеттск. *ḫe(i̯)u-* 'дождь', которое помогает нам понять развитие значения индоевропейского названия зимы.

[5] *A. Walde, J. Pokorny*. Указ. соч. Там же; *J. Pokorny*. Указ. соч. Там же; *A. Ernout, A. Meillet*. Dictionnaire étymologique de la langue latine. Troisième éd. T. 1. Paris, 1951. P. 523—524.

[6] Ср. *J. Pokorny*. Указ. соч. S. 425—426.

[7] *J. Pokorny*. Там же. (Словарь Вальде—Покорного еще не отражает соответствующего хеттского материала, см. с. 546—548.)

[8] *J. Friedrich*. Hethitisches Wörterbuch. Lief. 1. Heidelberg, 1952. S. 68.

Трудность представляют, во-первых, отношения хеттск. *gimmanza* : *ḫei̯u-*, но надо думать, что это трудность преодолимая, поскольку каждое из этих слов в отдельности соответствует формам с *ĝh* палатальным. Так, ср. хеттск. *gimmanza* : греч. χεῖμα, χειμών, санскр. *hémant-*, лит. *žiemà*, слав. *zima*; хеттск. *ḫei̯u-* : греч. χέω, χεῦμα, фригийск. ζεῦμα[9], лтш. *žaut*. Во-вторых, известную трудность представляет различие конца сравниваемых основ. Их отношения хорошо видны в греческом, где достаточно представлены обе основы:

χεῖμα, χειμών, χιών < *ĝhei-* : *ĝhi-*
χέω, χεῦμα, χύτρα 'горшок' < *ĝheu-* : *ĝhu-*,

т. е., в конечном счете, *i* : *u*, что является возможным чередованием в конце основы. Э. Бенвенист[10] говорит, кстати, о возможности расширения корня, в том числе глагольного, звуками *-y-* и *-w-* (*-i̯-*, *-u̯-*. — *О. Т.*). О том, что эти звуки могут находиться в отношении чередования, говорит соотношение в слав. *ni-tь* (**snei̯-*) : *snov-ati* (**sneu̯-*).

Помимо этого довольно убедительного соответствия, массу примеров чередования *i* : *u* собрал в свое время Я. Отрембский, специально занимавшийся вопросом[11]. Говоря о следах чередования *i* : *u* в хеттском, Отрембский сопоставляет, между прочим, хеттск. *aiš* 'рот' : др.-прусск. *ausfo*, ст.-слав. **оуста**, т. е. *ai* : *au*, что совершенно аналогично *ĝhei-* : *ĝheu-*.

Наше толкование индоевропейского названия зимы от древнего глагола **ĝhei-* 'лить (о дожде)' находит себе подтверждение и в отглагольном характере образования с суффиксом *-men-*, *-mn̥-*, которым было это название: греч. χεῖ-μα < **ĝhei-mn̥-*[12], ср. аналогичное ῥεῦ-μα 'поток' < ῥέω 'течь, струиться'.

Таким образом, индоевропейское **ĝhei-m-*, давшее слав. *zima*, получает вполне определенное значение 'пора дождей', что интересно во многих отношениях[13].

---

[9] Фригийск. ζευμα (см. *F. Solmsen*. Zum Phrygischen // KZ. 1895. Bd. 34. S. 62; еще раз указывает на наличие *gh* в **gheu-* 'дождь, литься' (фригийский — язык satəm). Значение дает глосса Гесихия ζευμαν· τὴν πηγήν, т. е. 'источник' ≈ 'вода', греч. χεῦμα (см. *F. Solmsen*. Указ. соч.).

[10] *E. Benveniste*. Origines de la formation des noms en indo-européen. Paris, 1935. P. 86, 153.

[11] Ср. его статью «Les traces de l'alternance indo-européenne *i* : *u* en hittite» в журнале «Archiv Orientální». 1950, T. XVIII. P. 366 и след., со ссылкой на его прежнее исследование (Studia Indoeuropeistyczne. Wilno, 1939. S. 1 и след.), а также на исследование Ф. Шпехта «Der Ursprung der indogermanischen Deklination» (Gottingen, 1944).

[12] *W. Porzig*. Bedeutungsgeschichtliche Studien // Indogermanische Forschungen. 1924. Bd. 42. S 236.

[13] Греч. χιών, арм. *jiun* 'снег' могут быть объяснены как результат вторичного развития значения 'дождь' > 'снег'. Остаток древнего значения и.-е. **ĝhei̯-mn-* очеви-

2. *Железо*

Название железа — общее у всех славянских языков [14]. Отличия названий в восточнославянских языках, ср. рус. диал. *зелёзо*, *зялёзо* [15], укр. *залізо*, можно, по-видимому, объяснить как поздние местные фонетические явления (ассимиляция согласных) [16]. В остальном все названия правильно соответствуют общеславянскому *želězo*.

Для существа дела важно прежде всего отметить, что названия металлов, в том числе одного из древнейших металлов — железа, в отличие от названий ряда других природных реалий (рельефа земной поверхности, водоемов и рек, растительности, некоторых животных), не могут считаться исконными уже потому, что сами металлы стали известны человеку сравнительно недавно. Казалось бы, что это общеизвестный факт, но тем не менее многие исследователи надлежащим образом с ним не считаются. Это сказалось на характере этимологических исследований нашего названия.

Круг ближайших соответствий славянского *želězo* за пределами славянских языков установлен давно. Из балтийских это лит. *geležìs*, *gelžìs*, лтш. *dzèlzs*, др.-прусск. *gelso* 'железо', далее греч. χαλκός 'медь, бронза' [17]. Вопрос о дальнейших соответствиях этого небольшого круга близких названий металла ('медь, бронза'; 'железо'), напротив, остается до сих пор спорным. В частности, некоторые авторы отрицают какие-либо соответствия в индоевропейских языках. А. Мейе [18], например, считает эти названия, как и вообще названия всех металлов, заимствованными у доиндоевропейского населения Европы. Против подобных попыток справедливо восставал еще А. Брюкнер: «Сейчас оперируют заимствованиями арийских (индоевропейских. — *О. Т.*)

ден в лит. *Žeimėna* — название реки в Восточной Литве, поскольку известно, что названия рек в большом числе случаев произведены от слов со значением 'вода, течь' (ср. *A. Meyer*. Glotta. 1936. Bd. 24. S. 181, — об иллирийск. *Zèta*, река в Черногории, из **ĝheu-* 'лить').

[14] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. S. 416, там же указывается литература.

[15] Там же.

[16] Об изменении гласных — укр. *залізо*, рус. диал. *жализо* — ср. в статье: *А. А. Шахматов*. РФВ. Т. XXIX. 1893. С. 5 и след.; ср. диал. *жаних*.

[17] Ср. из более новой литературы: *O. Schrader*. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Bd. 1. 1917—1923. S. 236; *V. Ceorgiev*. Lat. *ferrum*, griech. χαλκός, abg. *želězo* und Verwandtes / KZ. 1936. Bd. 63. S. 250ff.; *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörturbuch. S. 435; *M. Vasmer*. Указ. соч. S. 416.

[18] Ср. его рецензии на работы: *R. Trautmann*. Baltisch-slavisches Wörterbuch // BSL. 1923. T. 24. P. 138; *K. Oštir*. Vorindogermanische Metallnamen in Alteuropa // BSL. 1927. T. 28. P. 64—65.

языков из языков каких-то древних народов. Приводимые при этом примеры вряд ли можно было бы подобрать менее удачно; так, заимствованным из доиндоевропейского языка является, как полагают, *želězo-geležìs* 'железо', как будто доиндоевропейским народам известно железо...»[19]. Ясно, что догадки о доиндоевропейском источнике нашего названия (о котором не сохранилось никаких данных) недостаточны для решения вопроса в пользу заимствования. Признать вероятность заимствования можно было бы, лишь придя к окончательному выводу об отсутствии каких-либо близких форм в самих индоевропейских языках. Есть основания думать, однако, что такие формы имеются. То, что эти формы не принимались в расчет, является очень показательным и в связи со сказанным выше очень важным с точки зрения значения. Надо отметить, что разбираемые нами слова всегда фигурировали в исследованиях только как названия металлов. Вопрос о возможном развитии их значений обычно даже не ставился. Ошибочность этого вытекает не из общих суждений о развитии значений в словах, а из специфики истории знакомства индоевропейцев с металлами. Ведь возможность заимствования названия металла — это лишь частный случай, мало реальный для ранней ступени культуры железа, когда не у кого было заимствовать, поскольку знакомство с железом не восходит к эпохе, по-видимому, ранее вероятного появления индоевропейцев в Европе[20]. Мысль о самостоятельном образовании из собственной лексики названий древних металлов[21] с естественным при этом переносе значений как-то игнорируется, хотя, по-видимому, именно она ближе других точек зрения к исторической истине.

Прежде чем попытаться выявишь упомянутые выше формы, родственные нашему названию, остановимся коротко на самих названиях железа.

Слав. **želězo*, непосредственно предшествующее всем рефлексам названия по отдельным славянским языкам, является, по-видимому, славянским новообразованием, вызванным акцентологическими преобразованиями в слове. Ударение **želězo*, насколько о нем свидетельствует рус. *желéзо*, неисконно. Напротив, все родственные формы согласно говорят о другом, ср. лит.

[19] *A. Brückner*. Über Etymologien und Etymologisieren // KZ. 1912. Bd. 45. S. 33, в ответ на мнение А. Мейе (Rocznik slawistyczny, II) о заимствовании слав. *želězo*.

[20] Ср. БСЭ. 2-е изд. Т. 15. С. 647 (железный век): «Культурой железного века называется обычно культура первобытных племен Европы и Азии, обитавших к северу от области древних рабовладельческих цивилизаций. В среде этих племен металлургия железа распространилась в 8—7 вв. до н. э.»; с. 650 (там же): «В Средней Европе к раннему периоду железного века относятся культура лужицких племен ⟨...⟩ в 7—8 вв. до н. э. у них распространилась железная металлургия».

[21] Ср. наличие у балто-славян, германцев и кельтов, италиков и греков своих особых названий железа.

geležìs, *gelžìs* (род. п. ед. ч. *-iẽs*), греч. χαλκός, т. е. о славянской форме и ударении **želězó* (рус. **железó*). О таком ударении говорит и родственное сущ. ж. р. *железá* (о котором также — ниже), возможно, также и ударение *Железнóв*, *-óва* (не *Желéзнов*). К последствиям славянского переноса ударения относится, вероятно, и образование *ě́*(*ē*) в *želzo*. О возможности такого переноса свидетельствует отмеченная К. Бугой балтийская метатония (образование двойственной интонации в одном слове) для лит. *geležìs*, *gelžìs*[22]. Кстати, именно лит. (диал. жемайтское) *gelžìs* наиболее точно (сравнительно с более поздним *geležìs*) соответствует общеслав. **želzo* (ср. и вокализм др.-прусск. *gelso*, греч. χαλκός).

Перейдем к рассмотрению вероятных близких форм. Родственным нашему слову представляется ст.-слав. **жєлы (жьлы)**, греч. χέλῡς 'черепаха'[23]. В формальном отношении они оба полностью покрывают друг друга, оба являются древними *u*-основами, полностью тождественно их значение. Далее, сюда же рус. *желвак*[24], развитие той же *u*-основы, а также и более далекие семантически лит. *galvà* — слав. **golva*[25]. Несмотря на значительные расхождения, значения этих слов могут восходить к некоему общему ('шишка', 'голова', 'черепаха' < *'костяное, костеобразное'). Эти слова представляются нам родственными названиям железа, предполагающим древнюю форму **ghelĝhos*[26] < **ghel-ĝho-s*, где *-ĝho-* древний формант[27]. О несомненности такого членения слова — с корнем *ghel-* — говорит, помимо приводившихся выше фактов, также структура польск. *żel-iwo* 'чугун'.

Сюда же, вероятно, следует отнести польск. *głaz* (**ghlā-ĝho-s*) 'камень'; рус. *глаз*[28] 'камешек' > 'глаз', как известно, — метафорически. Таким образом, приходим к разновидности корня **ghel-* — **ghla-* со значением 'камень'[29].

---

[22] *K. Būga*. Die Metatonie im Litauischen und Lettischen // KZ. 1923. Bd. 51. S. 140, 142.

[23] *J. Pokorny*. Указ. соч. S. 435.

[24] *M. Vasmer*. Указ. соч. S. 414—415.

[25] *H. Pedersen*. Zur Akzentlehre // KZ. 1904. Bd. 39. S. 252.

[26] Ср. *J. Pokorny*. Указ. соч. S. 435: греческие диалектные разновидности (например, критск. καυχός) указывают на *χαλχός (< **ghelĝhos*), подвергнувшееся диссимиляции.

[27] *V. Georgiev*. Указ. соч. S. 251 (подробно об этом суффиксе).

[28] Попытки Норберта Иокля объяснить *głaz* < *ględěti* 'потерей назализации' вряд ли убедительны: ср. *A. Brückner*. Indogermanische Forschungen. 1908—1909. Bd. 23. S. 206 и след.; ср. далее *H. Pedersen*. Indogermanische Forschungen. 1909. Bd. 26. S. 293. *N. Jokl*. Indogermanische Forschungen. 1910. Bd. 27. S. 297—324.

[29] Ср. еще греч. χάλιξ 'булыжник, щебень, известковый камень', лат. *calx* то же. Здесь нет возможности подробнее осветить все разновидности этого корня, ср. лит. *gãlas* 'конец', *įgélti* 'ужалить', *galą́sti*, *galándu* 'точить, острить', с аналогичным развитием значения, ср. и.-е. **ok̑r-* (лит. *aštrùs*, слав. *ostrъ*) от и.-е. *(*a*)*k̑amōn* 'камень'.

Сопоставим наиболее общие значения, содержащиеся в разобранных выше словах[30]: 'костяное, костеобразное' и 'камень'. Вопрос о последовательности решить трудно, но поскольку индоевропейское название кости известно — **ost-* (греч. ὀστέον, лат. *os*, *ossis* и родств.), а **ghel-* 'костяное, костеобразное' (*желвак* и проч.) встречается лишь в частных значениях, вполне законным будет предположение о первичности значения 'камень' для этого корня, а значения слав. *žely*, греч. χέλῦς, рус. *желвак* объясняются как метафорические по природе, ср. рус. *глаз*[31] 'глаз' < 'камешек'. Итак, в общих чертах развитие значения было таково: 'железо' < ...'камень'. Кроме соображений родства форм, за такое семантическое развитие говорят и некоторые аналогии из других языков, ср. тохар. В *eñcuwo*, тохар. А *añcw-* 'железо', сопоставляемое с санскр. *adri* 'камень, скала, гора', ср.-ирл. *ond*, *onn* то же[32]. Столь же показательна аналогия развития известных значений и.-е. **nŏgh-* 'камень (особый)', ср. др.-прусск. *nagis* 'кремень', лит. *tìt-nagas* 'кремень', ср. слав. *nogъtь*, рус. *ноготь*, лит. *nagà* 'копыто'. Дальнейшее развитие представляет в данном случае наибольший интерес: 'камнеобразный, костный' > 'металлический предмет', ср. нем. *Nagel* I 'ноготь', II 'гвоздь' и слав. *nožь*, рус. *нож*, восходящие, в конечном счете, к древнему названию разновидности камня.

Сюда же, очевидно, следует отнести название цвета лит. *žãlias*, *žel̃vas*, *žal̃vas* 'зеленый', которое сравнивали, например, со ст.-слав. **желы**, греч. χέλῦς, лит. *žaliũkė* 'grüner Frosch'[33]. Это интересное сопоставление напоминает мысль П. Кречмера[34] о более вероятном (чем χαλκός — *želězo*) сближении χαλκός с χάλκη, χάλχη 'пурпурная раковина', из которой добывали краску — пурпур, т. е. по цвету. Этимология Кречмера отнюдь не теряет силы, но предстает в новом свете. Название металла, очевидно, действительно близко к названиям черепахи, раковины (греческий, славянский), с которыми его объединяет общее происхождение от названия камня. Связанные с ними названия

---

[30] О неисконности значения 'металл, железо' говорилось выше, поэтому оно не рассматривается здесь.

[31] E. Berneker (Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 302) относит к др.-в.-нем. *glas* 'янтарь, стекло' и т. д., не объясняет конца слова (слав. *z*).

[32] *A. J. van Windekens*. Nouvelles recherches sur l'étymologie du tokharien // BSL. 1941. T. 41. P. 185.

[33] *F. Specht*. KZ. 1932. Bd. 59. S. 255; ср. также *V. Georgiev*. Указ. соч. S. 250 и след., который считает исходной формой и.-е. *$gh^{w}el$-* 'желтый, зеленый, блестеть'. Это, однако, уводит в сторону от возможного развития значений: из первичного 'блеск' нельзя объяснить такие значения, как 'шишка, костный нарост', 'черепаха', которые вернее объясняются путем, изложенным выше.

[34] *P. Kretschmer*. Einleitung in die Geschichte der griechischen Sprache. Göttingen, 1896. S. 167—168. Примеч. 3.

цветов несомненно вторичны, ср. и колебания их значений: 'пурпурный' (греч.)— 'зеленый', 'желтый' (слав., балт., герм.).

Выделение особого корня **ghel-* 'камень' при известном и.-е. *(*a*)*k̂amōn* 'камень' не должно нас смущать. Это были, вероятно, названия различных видов камня (ср. выше о **nŏgh-*), которые в древнем языке могли четко разграничиваться[35]. Недостаток реконструкции в том, что от нас ускользают точные характеристики подобных разновидностей, причем естественно также предположить различное использование одного корня в разных индоевропейских диалектах. Предположение о множестве названий разновидностей вещества (а также и разновидностей действия) при возможном отсутствии общего названия вполне оправдано для древнейшей эпохи. Ср. наличие и.-е. **sreu-* 'течь, струиться' (например, о речной воде) и **ĝhei-* 'литься' (первоначально — о дождевой воде, см. выше), в то время как индоевропейский глагол с общим значением 'лить, литься' было бы трудно указать.

Следует заметить, что рус. *железá* и родственные, привлекавшиеся выше для сравнения с *желéзо*, обычно не считаются родственной формой, а рассматриваются как совершенно особое образование[36]. Однако, несомненно, что отношения между *желéзо* и *железá* — нечто большее, чем созвучие, ср. тождественное вост.-лит. *gẽležaonis*, *gẽležuones* 'железа у лошади'[37].

3. *Гвоздь*

Не меньший интерес представляет слово *гвоздь* (также общеславянское), очень близкое по семантическому развитию к рассмотренному выше названию железа. Правда, в отличие от последнего, исконно славянский характер слова *гвоздь* обычно признается большинством авторов[38]. Общеслав. *gvozdь*,

[35] В этой связи не совсем верно для древнейшего периода языка (с его обилием конкретных терминов) утверждение Р. Мерингера (*R. Meringer*. Wörter und Sachen // Indogermanische Forschungen. 1904. Bd. 16. S. 101), что «небо, земля, к а м е н ь (разрядка моя. — *О. Т.*) ⟨...⟩ означают везде одно и то же».

[36] Ср. *H. Pedersen*. KZ. 1904. Bd. 39. S. 361; *M. Vasmer*. Указ. соч. S. 414—415, с указанием литературы; *J. Pokorny*. Указ. соч. S. 435, где раздельно рассматриваются *ghel(ĕ)ĝh-* 'металл', *ghelĝh-* 'железá' и *ghel-ōu- / ghel-ū-* 'черепаха'.

[37] Ср. *К. Буга*. РФВ. Т. LXVII. С. 249.

[38] *F. Miklosich*. Указ. соч. S. 81—82: *gvozdij* Nagel, eig. Keil; *gvozdĭ*... Wald; *E. Berneker*. Указ соч. С. 365—366: *gvozdъ*... Wald, Forst; *gvozdь*... Nagel...; *A. Brückner*. Słownik etymologiczny ięzyka polskiego. S. 166: *gwozd, gozd* 'las', w. 15. wieku jeszcze znane...; *gwóźdź*... dziś żelazny... był niegdyś drewnianą zatyczką. *С. Младенов*. Указ. соч. С. 98: *гвозд, гвóздей*; *J. Holub, F. Kopečný*. Указ. соч. S. 137: *hvozd* 1. les, lesni pustina.. Je—li pův. v. 'drĕvo', pak souvisi s psl. **gvozdĭ*...; *А. Г. Преображенский*.

gvozdьjь представляет собой образование с суффиксом *-io-*, *-ijo-* от основы *gvozd-* (**gvozd-io-*), которую имеем в слав. *gvozdъ*, сохранившемся в чеш. *hvozd* 'лес'[39]. Поэтому неправ Э. Бернекер[40], рекомендующий отделять *gvozdъ* от *gvozdьjь*. Большинство этимологов (в частности, А. Брюкнер, И. Голуб и Ф. Копечный, М. Фасмер, Ф. Славский в цитируемых трудах) правильно указывают на исконное родство этих форм. Тем более странной выглядит в последнее время попытка Ю. Покорного[41] разделить слав. *gvozdъ* 'лес' и *gvozdь* 'гвоздь' и возвести их к особым индоевропейским формам. Это недопустимо ни с формальной, ни со смысловой точек зрения. В смысловом отношении произведение *gvozdь* от *gvozdъ* дает прекрасную возможность довольно точно наблюдать развитие значения в нашем слове. И, как правильно отмечали исследователи (ср. хотя бы Ф. Славский), слав. *gvozdь* должно было обозначать 'кусок дерева, клин'.

Таким образом, слово *gvozdь* оформилось еще до знакомства с железом и вообще металлами в условиях широкого применения местного древесного материала. На железное изделие это название было перенесено позднее.

Общеслав. *gvozdъ*, *gvozdь* пытались объяснить на индоевропейском этимологическом материале[42]. Э. Бернекер, стремясь объяснить наличие наряду с *gvozdь* форм **gozdь* (польск. *góździ*, в.-луж. *hózdź* 'гвоздь') и оправдать сближение с некоторыми неславянскими (ср. лат. *hasta* 'копье', готск. *gazds* 'колючка'), принимал *gh-* и *ghu̯-* как варианты начала славянского *gozdь*, *gvozdь*[43]. В духе предшествующих исследований говорит о словах *gvozdъ* и *gvozdь* и Ю. Покорный[44], сравнивающий слав. *gvozdъ* 'лес' с др.-в.-нем. *questa*, новонем. *Quaste* 'кисть, пучок веток, веник'.

Однако упомянутые индоевропейские этимологии наших слов не учитывают всего славянского материала. Это было бы не так важно, если бы новый материал не противоречил существу этимологий, но, как увидим ниже, такое противоречие налицо.

В перечисленных работах не отражено чеш. диал. *závozda* 'klín do sekery, kosy a p.'[45]. И тем не менее, близость этого приставочного образования

Указ. соч. Вып. 1. С. 121: *гвоздь*; *M. Vasmer*. Указ. соч. Lief. 4. 1951. S. 263; *F. Sławski*. Słownik etymologiczny języka polskiego, zes. 3. Kraków, 1954. S. 329.

[39] *J. Holub, F. Kopečný*. Указ. соч. S. 137.

[40] *E. Berneker*. Указ. соч. S. 365—366.

[41] *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. S. 480, 485.

[42] Ср. *H. S. Falku, A. Torp*. Norwegisch-dänisches etymologisches Wörterbuch. T. I. Heidelberg, 1910. S. 568—569: *Kost* I ... aslav. *gvozdĭ* 'Wald'.

[43] *E. Berneker*. Указ. соч. S. 365, 366.

[44] *J. Pokorny*. Указ. соч. S. 480, 485.

[45] *V. Machek*. Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954. S. 80.

zá-vozda 'клин' к слав. *gvozdь* очевидна и в фонетическом, и в смысловом отношении. Известным препятствием здесь является отсутствие *g-*: *závozda*. Этой-то особенности и не могут объяснить индоевропейские этимологии, постулирующие исконное *g(u̯)-*. Если славянский знает потерю лабиализации задненёбного, ср. и.-е. *g^uou-* > слав. *gověędo* и отдельные поздние примеры вроде польск. *gwóźdź* > *góźdź*, то ему неизвестна потеря задненёбного перед губным: и.-е. *gu̯*, *ku̯* всегда > слав. *gv*, *kv* (с последующей палатализацией или без нее). Таким образом, упомянутые этимологии не объясняют существования **vozd-*, и их придется оставить.

Нам представляется возможным развитие *gvozd-* < **vozd-* уже на славянской почве. Явление такой протезы *g* распространено очень незначительно в славянских языках, представлено небольшим числом примеров, каждый из которых в известном смысле индивидуален, и тем не менее, развитие *g-* во всех этих случаях в основном хорошо доказывается. Таково развитие *g-* в словен. *gǫžvica*, в *gušter* (наряду с *jašter-*, ср. болг. *гущер* 'ящерица'), что отмечал, например, А. Брюкнер в специальной статье, которую он так и назвал «Игнорируемые фонетические явления»[46]. А. Вайан аналогично объясняет *g* перед *-u̯-* в слав. *mǫzь* < **mongju-*, ср. санскр. *mánu-ḥ*[47]. Таким образом, исконность формы **vozd-* наиболее вероятна. Об этом (а также о чисто славянском происхождении *g-* в *gvozd-*) говорит балтийский материал, кажется, еще не привлекавшийся для сравнения с нашими словами: лит. *vẽzdas*, мн. ч. *vẽzdai* 'дубина', лтш. *vę̀zda*, *vę̄za* 'Ein Stock, Prügel', которые К. Буга[48], вслед за Эндзелином, объясняет из **vẽž-das* с суфф. *-do-*. Фонетическая и семантическая близость, например, лит. *vẽzdas* 'дубина' — слав. **vozdъ* (ср. значение чеш. *závozda*) сомнению не подлежит. В дополнение к объяснению фонетической формы напомним, что лит. *-zd-* = слав. *-zd-*[49].

Судя по балтийским соответствиям, слав. **gvozd-ijo-* будет уже вторичным производным для усиления его сингулятивного значения ('дерево, кусок

---

[46] *A. Brückner*. Verkannte Lauterscheinungen // KZ. 1913. Bd. 45. S. 289. Ср. еще рус. *гуж*, *гусеница* и родственные слова.

[47] *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. T. 1. Paris, 1950. P. 96, 185—186. Вайан приводит сходный пример ром. *gaerra* < герм. *werra* (англ. *war*) 'война'. Из неславянских ср. далее франц. *sergent* < лат. *servientem*, особенно в кельтских — ср.-брет. *gwyn* < франц. *vin*, *guyc* < лат. *vicus*. Хороший пример наращения такого протетического *g-* перед губным согласным видим в чеш. *hbratr* < *bratr* (см. *J. Gebauer*. Historická mluvnice. T. I. S. 464).

[48] См. РФВ. Т. LXV. С. 324; ср. также *K. Mülenbach*, *J. Endzelīn*. Latviešu valodas vārdnica. IV sējums. 1929—1932. S. 573, где и дальнейшие сопоставления.

[49] Ср. еще лит. *žvaizdẽ* / *žvaigzdẽ* : слав. *gvězda* (См. *Я. Эндзелин*. Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911. С. 114).

дерева, дубина'), ввиду того что древняя *о*-основа **gvozd-o-* приняла в славянском собирательное значение. В то же время о древности именно сингулятивного значения свидетельствуют как лит. *vẽzdas* 'дубина', так и славянские реликты вроде чеш. *závozda* 'клин'.

4. *Шляться*

Это слово, насколько известно, еще не было объектом этимологического исследования, если не считать упоминания А. Г. Преображенского: «*шляться*... — Неясно, м. б., новообразование от *шлендать*, *шлепать*...»[50]. Из других славянских близкую форму можно указать в болг. *шля́я се* (*шле́я се*): «...рус. *шля́ться*... срод. с *шлякам*...»[51].

Очевидно, в заблуждение вводила просторечность слова *шляться*, откуда и попытка произвести его от заимствованного *шлендать*[52] или звукоподражательного *шлепать*, т. е. рассматривать его как сравнительно новое слово.

В неверности этого убеждают различные факты. Исходной славянской формой рус. *шляться* можно с полным основанием предположить **sьlěti*(*sę*), которая (если отрешиться от просторечного оттенка значения, вероятно, позднего) могла значить 'двигаться (определенным образом)' и находилась в прямом отношении к общеслав. **sъlati*, рус. *слать* как глагол движения — к каузативному глаголу (*с л а т ь*, собственно 'заставлять идти'). Больше того, значение 'двигаться' в этом корне должно быть первичным, потому что наличие славянского глагола **sъlati*, несомненно каузативного, обязательно предполагает исходный глагол движения, из которого он единственно мог образоваться, т. е. отношение **sьlěti*(*sę*) — **sъlati* равносильно *bъděti* — *buditi*.

Для решения вопроса о вторичности значения 'слать' в этом корне очень показательно то, что, например, литовский знает для этих корней только значение 'двигаться', ср. лит. *selė́ti* 'красться, идти крадучись', кстати, и по форме и по значению близкое рус. *шляться* < **sьlěti*(*sę*), ср. далее во фразе: *vanduõ lig var̃tų atsãlo* 'вода дошла до ворот'[53]. Об этом же свидетельствует

[50] *А. Г. Преображенский*. Этимологический словарь русского языка. Вып. последн. (*тело—ящур*) // Тр. ИРЯ. Т. 1. 1949. С. 100.

[51] *С. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. С. 695.

[52] Ср. нем. *schlendern* 'бродить, шататься'.

[53] См. *К. Буга*. РФВ. Т. LXVII. С. 244; то же и в его рукописной картотеке к литовскому этимологическому словарю (хранится в Ин-те лит. яз. и лит-ры АН Лит. ССР, Вильнюс).

и.-е. глагол **sel-* 'двигаться' [54], который Вальде и Покорный делят без видимой необходимости, по причине якобы различного значения, на *sel-* 'прыгать' и *sel-* 'ползти'. История слов знает и более резкие расхождения первоначально единого значения. Возражение скорее вызывает помещение лит. *sálti* 'течь' (ср. *atsãlo* у К. Буги) в словарную статью *sel-* 'прыгать', а лит. *selù*, *selėti* 'красться' — в статью *sel-* 'ползти', причем отрываются друг от друга близкие формы. Сам материал указывает, что это один индоевропейский корень **sel-* 'двигаться'. Значения каузативности получили выражения в слав. *sъlati* и из германских — в готск. *saljan* 'приносить, жертвовать', англ. *sell* 'продавать' [55]. Нем. *Ge-selle* 'товарищ', собственно 'совместно идущий', помогает выявить первичное значение глагольной основы.

Редуцированный характер корневого гласного в слав. **sьl-* : **sъl-* соответствует вокализму родственных лат. *salio*, греч. ἅλλομαι < *s_el̥i̯ō* [56] 'прыгать'.

Таким образом, в слове *шля́ться* русский язык сохранил древний глагол движения (слав. **sьlěti*) [57].

5. *Клевета*

Это слово в русский язык пришло из старославянского [58]. Оно было неоднократно предметом этимологических исследований. Так, Миклошич [59] связывает его с *клепать*. Р. Брандт [60], а также Бернекер [61] и Педерсен [62] относят слово *клевета* к *klevati*, *клевать*. Уленбек [63] считает его неясным.

Предположение о связи этого слова с *клепать* (см. выше, Миклошич) надо с самого начала отвергнуть как необоснованное. Что касается сближения *клевета* и *клевать*, внешне гораздо более правдоподобного и приня-

---

[54] Ср. *Fick*. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Aufl. 4. Bd. I. S. 140, 557; *Th. Zachariae*. Wurzel idg. *sel* im Sanskrit // KZ. 1893. Bd. 33. S. 444 и след.; *A. Walde, J. Pokorny*. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Bd. II. S. 505—506. Новый словарь Ю. Покорного еще не доведен до *sel-*.

[55] Ср. о последних: *A. Walde, J. Pokorny*. Указ. соч.

[56] Там же.

[57] От *шляться* — просторечн. *шлюха* (*шл'-уха*) с сохранением вокализма корня. К этой же основе, по-видимому, но с сильной ступенью корневого гласного *š'al-* < -*šēl-*: *шали́ть*, *ша́лый*, *шально́й*, польск. *szał* 'бешенство', а также просторечн. *шала́ва-шлюха*.

[58] *А. Преображенский*. Указ. соч. Т. 1. С. 312.

[59] *F. Mikiosich*. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. S. 118.

[60] Дополнения и заметки к славянскому этимологическому словарю. С. 82.

[61] *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. S. 526.

[62] KZ. Bd. 40. S. 175.

[63] Indogermanische Forschungen. Bd. 17. S. 95.

того авторитетным словарем Бернекера, то оно нуждается в серьезной поправке[64].

Непосредственной словопроизводственной связи между *клевета* и *клевать* действительно нет. Помимо возражений, касающихся смысла, и даже более существенными представляются возражения фонетико-морфологического характера: *клева́ть* дало бы скорее **клево́та*, ср. *зева́ть* — *зево́та*. Наличие в действительности формы *клевета*, производной от *клевать*, непонятно. В связи с этим, более вероятным нам представляется сближение слова *клевета* с чеш. диал. *kleviti*(*se*) 'сплетничать' и рус. диал. (арх.) *клеви́ть* 'дразнить', которое отмечено в «Словаре архангельского областного наречия» Подвысоцкого, ср. и пример употребления: «Покинь, не клеви малово-то, ан и то завсё крятатся». Именно с этим словом непосредственно и связано, как нам кажется (и морфологически и семантически), слово *клевета*.

6. Слав. *хъrtъ* — рус. *мухортый*

Общеславянское *хъrtъ* хорошо сохранилось во всех славянских языках, причем везде оно имеет значение 'борзая, охотничья собака', не обнаруживая также отклонений от общеславянской фонетической формы: рус. *хорт*, укр. *хорт*, польск. *chart*, чеш. *chrt*, н.-луж. *chart*, в.-луж. *khort*, словен. *hr̀t*, сербохорв. *xр̏т*, болг. *хрът*, *хры́тка*, ст.-слав. хъртъ[65].

Для русского словаря *хорт* обычно отмечается как областное, ср. свидетельство В. И. Даля[66]. Некоторые вторичные его значения, ср. смолен. *хорт* 'борзый, худой, голодный'[67], получены метафорически, через сравнение, ср. также чешские производные *vý-chrt-lý* 'тощий', *vy-chrt-nouti* 'худеть'.

---

[64] Следует упомянуть, что Преображенский (там же) тоже возражает — правда, только по соображениям значения — против этимологии *клевета* < *клевать*.

[65] См., соответственно, *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. Т. IV. С. 1224; Опыт областного великорусского словаря. С. 250; *Добровольский*. Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. С. 965; *Б. Гринченко*. Словарь украинского языка. Т. IV. С. 411; *Ф. М. Пискунов*. Малороссийско-червонорусский словарь. С. 277; *S. B. Linde*. Słownik języka polskiego. 1. Warszawa, 1807. S. 232; *F. Trávníček*. Slovník jazyka českého. 4-е изд. Praha, 1952; *J. Gebauer*. Slovník staročeský. 1. Praha, 1903. S. 558. *E. Muka*. Słownik dołnoserbskeje rěcy. Вып. 1. S. 483; *Pfuhl*. Łužiski serbski słownik. 1866. S. 317; *M. Pleteršnik*. Slovensko-nemški slovar. 1. Любляна, 1894. S. 283; *С. Б. Бернштейн*. Болгаро-русский словарь. М., 1953. С. 811; *F. Miklosich*. Lexicon palaeoslovenico-graeco-latinum. Wien, 1862—1865.

[66] *В. И. Даль*. Указ. соч. Там же.

[67] *Добровольский*. Указ. соч. С. 965.

Ранние этимологии слова см. у А. Будиловича[68], где приводятся сближения слав. *хъrtъ* с лит. *kur̃tas*, нем. *Rüde*, санскр. *krtag'na* 'chien' (*Pictet*. Les Origines Indoeuropéennes. I. P. 379), нем. *hurtig*. Высказывавшееся некоторыми лингвистами мнение, что *хъrtъ* заимствовано из герм. **χruþi̯an-* (Гирт, Пейскер, Клюге, Шрадер), вызывало серьезные возражения, ср. в последнее время В. Кипарский[69], который указывает на сомнительность герм. **χruþi̯an-* (скорее было бы **ruþi̯an-*) и на то, что **χruþi̯an-* дало бы *хрътъ* — рус. **хрот*. Одна из попыток этимологии этого слова принадлежит Г. А. Ильинскому[70], который также считает **хъrtъ* исконно славянским. Помимо специально лингвистических соображений, Ильинский в своем дальнейшем анализе слова основывается на следующем указании В. И. Даля[71]: «...хортыми собаками вообще зовут борзых с низкою гладкою шерстью, для отличия от псовых и густопсовых, мохнатых...»

Имея в виду именно это противопоставление, Ильинский считает значение **хъrtъ* 'охотничья собака' неосновным и производит это слово от и.-е. **kher-* 'резать', высшая ступень которого — рус. *короткий*, лат. *curtus*, нем. *kurz*, а низшая ступень — слав. *хъrtъ* 'собака с короткой гладкой шерстью'. Таковы, вкратце, попытки толкования анализируемого слова, из которых, надо сказать, ни одна не получила достаточно широкого признании. В итоге весьма характерным представляется недавнее указание Ф. Славского[72] на невыясненность этимологии слав. **хъrtъ*.

Соглашаясь с В. Кипарским (см. выше), следует, очевидно, отказаться от мысли о заимствовании слав. **хъrtъ* из германского. Поскольку заимствование из других соседних языков менее вероятно[73], перед нами действительно исконно славянское слово. Необходимо удовлетворительно объяснить его славянское происхождение. Серьезной попыткой такого рода является изложенная этимология Ильйнского. Однако Ильинский исходил из индоевропейской формы **kher-*, которая нуждается в уточнении. Сейчас мы вправе говорить только об и.-е. **ker-* 'резать', поскольку лишь отдельные языки знали поздний

[68] Изв. Ист.-фил. ин-та кн. Безбородко. Нежин, 1878. С. 195.

[69] *V. Kiparsky*. Die gemeinslavischen Lehnwörter aus dem Germanischen // AASF. Bd. XXXII, a. 2. Хельсинки, 1934. S. 277—278.

[70] РФВ. 1913, № 1. С. 12—14.

[71] *В. И. Даль*. Указ. соч. Т. IV. С. 1224.

[72] *F. Sławski*. Słownik etymologiczny języka polskiego. S. 60—61.

[73] Напротив, достоверным является славянское происхождение лит. *kar̃tas* (ср. *K. Būga*. Zeitschrift f. slavische Philologie. Bd. I. S. 41—44; *B. Kiparsky*. Revue des études slaves. T. XXIV. P. 42) и фин. *hurtta* (ср. *Я. К. Грот*. Филологические разыскания. СПб., 1899. С. 447—448 со ссылкой на кн.: *A. Ahlquist*. Die Kulturwörter der westfinnischen Sprachen. Helsingfors, 1875. S. 2).

переход *k* > *kh*, например санскрит [74]. Славянский не развил такого *kh*, унаследовать же упомянутый корень он мог только как **ker-*, **kor-*, *kъr-*, что действительно имело место для большой группы слов: рус. *короткий*, *кора*, *черта*. Ясно, что **xъrtъ*, *хорт* не имеет сюда никакого отношения. Этимология Ильинского в своей фонетической части устарела и после необходимых уточнений сама собой отпадает. Одно современное понимание выражения *хортая собака* (= 'низкошерстная', сравнительно с 'густопсовой') не может ее спасти.

Нам представляется незаслуженно упущенным точное соответствие слав. *xъrtъ* в литовском: *sar̃tas* 'светло-гнедой (о лошади), желтоватый', *sar̃tis* 'гнедая лошадь', *sárti* 'загрязняться, рыжеть' [75]. Согласный *x*, как известно, является специфически славянским звуком вторичного происхождения. В определенных условиях (после *i*, *ŭ̆*, *r*, *k*) он развился из и.-е. *s*. Это имело, по-видимому, место и в нашем случае, т. е. слав. *xъrtъ* < **sъrtъ*, которое уже точно соответствует лит. *sar̃tas* с его архаическим консонантизмом. Что касается конкретных условий перехода *s* > *x*, здесь мы, очевидно, имеем полную аналогию известному слав. **xodъ*, рус. *ход* < *sodъ*, ср. греч. ὁδός (**sodos*) 'путь, дорога', которое развило *s* > *x*, вероятно, в сложениях типа *vy-xod-*. Таким образом, слав. *xъrtъ* < *sъrtъ* возможно в употребительных сложениях, ср. чеш. *vý-chrtlý*, *vy-chrtnouti*.

В акцентологическом отношении лит. *sar̃tas* с циркумфлектированным ударением дифтонга в корне — из древнего окситонированного **sartá-s*. Об этом балтийско-славянском *sartá-s* говорит и подвижное ударение укр. *хорт*, род. п. ед. ч. *хортá*, им. п. мн. ч. *хортú* [76].

Что касается значения литовских слов, определяющих лошадиную масть, при другом значении слав. *xъrtъ* 'борзая собака' эти семантические различия, как увидим ниже, отнюдь не препятствуют сближению наших слов. Дело в том, что непосредственно связанным с *xъrtъ*, *хорт* является, по-видимому, такой сугубо коневодческий термин, как рус. *мухортый* — разновидность гнедой масти

---

[74] Ср. в последнее время в статье: *J. M. Kořínek*. Le dévеloppement du système consonantique du grec // Récueil linguistique de Bratislava. 1948, № 1. P. 78 и след.; *J. M. Kořínek*. Od indoeuropského prajazyka k praslovančine. Bratislava, 1948.

[75] См. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas. Вильнюс, 1954. S. 698. Ср. также лтш. *sārts* 'красноватый, розовый', далее — лтш. *sarks*, *sa kans* 'красный, красноватый' (см. *K. Mūlenbach, J. Endzelīn*. Latviesu valodas vārdnīca. XXXI burtnīca. 1928. P. 721. XXXII burtnīca. 1928. P. 807.

[76] См. относительно этимологии самого лит. *sar̃tas*: *H. Petersson*. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 40. S. 93; *H. Petersson* (Baltisches und Slavisches. S. 33: *sărtas* (sic!) 'fuchsig (von Pferden)') относит к лат. *sorbus* 'Vogelbeere', швед. *sarf* 'Rotauge, Name eines rotlichen Fisches', рус. *сорóга* (см. *Loewenthal*. Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur. Bd. 49. 1925. S. 77). (Таким образом, *sar̃tas* можно возвести к и.-е *$s_e r$-* или **sər-*, название определенного цвета, с суффиксом *-to-*. — *О. Т.*).

(ср. значение лит. *sar̃tas*!) — результат очевидной гаплологии первоначального **мухо-хърт*[77]. Первая часть предполагаемого сложения *мухо-* обнаруживает сильную ступень корневого гласного (**u*), слабую ступень которого (**ŭ*) видим в рус. *мха* < **мъха* 'ржа на хлебе', родственном лит. *mùsos* 'плесень'[78]. Мы приходим к значению 'плесень', ср. лит. *mùsos*; с ним, вероятно, первоначально было связано название особого, белесого сероватого цвета, ср. лит. *musóti*, далее — ср. наше *плесень* с лит. *paĩ-šas*, *piĩ-kas* 'серый'. О второй части сложения — *хорт* см. выше. Таким образом, **тихо-хъrtъ* = 'светло-гнедой'. Это толкование находит подтверждение в современном значении названия *мухортый*, ср. В. И. Даль[79]: «мухортый, о лошади, гнедой, с желтоватыми подпалинами у морды, у ног и в пахах». Что касается структуры сложения **мухо-хортый*, она находит массу соответствий именно в семантически близких детализирующих названиях цветов типа *светло-зеленый*, где названию основного цвета (*-зеленый*) предшествует название дополнительного оттенка (*светло-*).

В пользу предложенной этимологии слав. *хъrtъ* — точность фонетических соответствий, а также вероятность семантического развития. Как следует из сопоставления с лит. *sar̃tas* и некоторыми ранее сюда не привлекавшимися словами (рус. *мухортый*), это семантическое развитие (название по окраске шерстного покрова) представляется весьма древним.

В заключение — о нескольких семантически близких словах.

Изложенная выше этимология слав. *хъrtъ*, как названия собаки по масти дает повод пересмотреть и некоторые другие этимологии названий собаки. Здесь только укажем, что выявленное значение слав. *хъrtъ*, а также значения таких поздних, но распространенных названий, как рус. *мурýгий* — о собаке (по масти), укр. *Рябкó* (распространенная собачья кличка, от *рябúй* 'рябой'), реабилитируют толкование слав. *рьсъ*, рус. *пес* от и.-е. **pik̂-* 'красить, писáть', ср. *пестрый*[80]. Иное, более популярное толкование — ср. Г. Остгоф[81]; к и.-е. **pek̂eu-* 'скот' (подробнее см. указ. соч.), близко к нему — Г. А. Ильинский[82]: **pek̂u-* 'скот, дающий шерсть' > 'собака с густой, мохнатой шерстью'[83].

---

[77] Во всяком случае, толкование Ф. Миклошича **мухо-ръть*, мухоротый, сомнительно (Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. S. 285; см. также *Преображенский*. Этимологический словарь русского языка. Т. 1. С. 573).

[78] *К. Буга*. Славяно-балтийские этимологии. РФВ. Т. LXXII. 1914. С. 153.

[79] *В. И. Даль*. Указ. соч. Т. II. С. 948.

[80] Ср. в последнее время в кн.: *С. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. С. 419.

[81] *H. Osthoff*. Etymologische Parerga. 1. Leipzig, 1901. S. 266 и др.

[82] *Г. А. Ильинский*. Славянские этимологии. LI—LX // РФВ. Т. LXXIII. 1915.

[83] Основное доказательство такого развития у Ильинского — рус. *густопсовый*, т. е. 'густошерстный', — говорит лишь о связи с поздним производным *псовина*

И уже совсем сомнительной представляется этимология слав. *рьсъ*, принадлежащая И. М. Коржинеку[84] и имеющая хождение среди чехословацких лингвистов: к иррациональному междометному *ps/p's*, с которым обращаются к собакам.

Таким образом (возвращаясь несколько назад), в слав. *рьсъ* можно видеть соответствие (с краткой ступенью корневого гласного) лит. *paišai* (мн. ч. 'сажа'), *paĩšinas* 'вымазанный сажей', т. е. *рьсъ*, *пес* — также одно из древних названий собаки по масти.

7. Рус. *хрыч* — др.-рус. *гричь* — чеш. диал. *grус*

Рус. *хрыч*, насколько известно, еще не имеет этимологии.

Ниже излагается попытка объяснить этимологию слова, показать его значительную древность и связь с некоторыми славянскими и другими родственными словами.

В своем современном виде рус. *хрыч* с его характерной спецификой, действительно, загадочно. Вполне возможно, однако, что оно состоит в ближайшем родстве с др.-рус. *гричь* 'пес', ср. в Хронике Георгия Амартола, 21: «**Єраклии видѣ грича** (κύνα) **пастушнаго ядоуща г҃лемую коньхилии и пастоухоу мнящоу кровь текоущоу из грича** (τὸν κύνα) **веземъ ѿ овчих волнъ роуно ѿтре истекающее изъ оусть гричь**»[85]. В фонетическом отношении сопоставление вполне оправдано. Соотношение *гр* : *хр* имеет полную аналогию в таком достоверном соответствии, как польск. *grzbiet* : рус. *хребет*[86]. Правда, трудно согласиться с Эндзелином, когда он видит здесь чередование *kh* : *gh*.

По-видимому, здесь нужно исходить из соседства с плавным (*r*), воздействию которого обязано изменение *g* > *x*, поэтому удобнее говорить об изменении *gr* > *xr*. Кроме упомянутого *grzbiet* : *хребет*, это изменение, вероятно, имело место к в случае с др.-рус. *гричь* : рус. *хрыч*. Редкость подобного изменения не может служить аргументом против него ввиду очевидности соответствий. Известно к тому же, что именно этимологии в первую очередь приходится иметь дело с периферийными изменениями звуков, которые обнаруживаются в значительной части «темных» слов. О том, что характер данного изменения (*g* > *x*) именно таков, как указано выше, свидетельствует этимоло-

'шерсть. на ногах и на хвосту у собаки' (см. *Даль*. Указ. соч. Т. III. С. 1401) и ни к каким выводам не обязывает.

[84] Ср., например, *J. M. Kořínek*. Poznámky k metodice etymologisování // Slovo a slovesnost. R. II. 1936.

[85] *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. 1; там же ряд других примеров из этого и других памятников. М., 1898.

[86] Ср. *Эндзелин*. Славяно-балтийские этюды. С. 127.

гия в примере *grzbiet* : *хребет* — *grzbiet* < **grьbьtъ* к **gъrbъ*, рус. *горб*, т. е. первично *g*, а *х* вторично и обусловлено положением. Таким же вторичным является *х* и в нашем *хрыч*, следовательно, этимологически оно вполне может восходить к др.-рус. *гричь*[87].

Что касается различия значений, то использование названия собаки для пополнения бранной лексики, которое мы, очевидно, имеем в данном случае, не представляет собой чего-либо исключительного в семантическом отношении, ср. словоупотребление типа *старый пес*, *старый кобель*, далее — отмеченное И. И. Носовичем[88] белорус. *вы́пса* 'хрыч, хрычевка', производное от *пес*.

Наконец, сюда же, по-видимому, относятся чеш. диал. (мор.) *gryc*, в фонетическом отношении точно соответствующее др.-рус. *гричь*, а по употреблению довольно близкое рус. *хрыч*, ср. указание Фр. Бартоша[89]: g r y c. 1. gryci na Hané říkají chlapcům, kteří chodí «za tři krále», 2. nadávka: «Ty staré grycu!» Последнее выражение слово в слово соответствует рус. *старый хрыч* (презрительно о старике).

Сравнение позволяет предположить общеслав. **gritjь*, название разновидности собак. Возможно, сюда же исл. *grey* 'собака', ср. его фонетическую и смысловую близость. Вид германского слова говорит об общей древней форме **ghrei̯-*. В славянском древняя основа распространена новым суффиксом: **grī-tjo-*. Из балтийской лексики родственно, очевидно, лит. *greĩtas* (**ghrei̯-to-s*) 'быстрый'[90] — значение, которое могло быть исходным для названия определенной породы быстроногих, гончих собак[91]. Такое развитие значения весьма вероятно, ср. прекрасную аналогию рус. *борзая*, *борзой* (о собаке) — из общеслав. **bъrzъ* 'быстрый'. В этом смысле важно, что литовский, не зная значения 'собака', сохранил древнее значение 'быстрый'.

---

[87] Примеры соотношения *ры* : *ри* в одних и тех же словах хорошо известны, ср. *крыло*, вм. этимологического *крило*, обл. *грыб* при *гриб*.

[88] *И. И. Носович*. Словарь белорусского наречия. СПб., 1870. С. 92.

[89] *F. Bartoš*. Dialektický slovník moravský. Praha, 1906. S. 86.

[90] О неясности этимологии лит. *greĩtas* см. *P. Skardžius*. Lietuvių kalbos žodžių daryba. Вильнюс, 1943. S. 320.

[91] Не следует смешивать с корнем лит. *grietinẽ* 'сметана', *griẽti* 'снимать (сливки)' и родственных.

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 8—9

слав. *obilьje* 'хлеб в зерне'; слав. *rota* 'клятва'

8. Слав. *obilьje* 'хлеб в зерне'

Слово общеславянское. За исключением польского, где оно как будто не оставило следов, оно известно всем славянским языкам: ст.-слав. **обилъ** 'обильный', **обильнъ, изобильнъ, обилие, изобилие**, словен. *obilo* 'во множестве', *obilje* 'полнота', серб. *ȍбил*, *обѝлат* 'обильный', чеш. *obilí* 'хлеб в зерне', *obilný* 'хлебный', др.-рус. *обилъ* 'обильный', *обилѣ*, *обило*, *обиль* 'обильно', *обилие* 'обилие, хлеб, хлеб на корню', рус. *обилие* 'изобилие, множество', диал. 'хлеб на корню и в земле'.

С первого же взгляда обращает на себя внимание наличие двух разных значений слав. *obilьje* 'изобилие' и 'хлеб на корню, в зерне'. Вопрос о направлении развития значений слав. *obilьje* является основным для настоящей этимологии.

Совершенно очевидно, что слав. **xlěbъ* не могло служить общим названием хлеба во всех видах вроде того, что мы имеем в современном русском: *хлеб на корню*, *скошенный*, *обмолоченный хлеб*, *печеный хлеб.* Известно, что слав. **xlěbъ* < герм. **hlaib-* ср. нем. *Laib* 'ковриги хлеба', поэтому первоначально это заимствование обозначало, вероятно, и с п е ч е н н ы й хлеб. Так, чеш. *chléb*, в отличие от русского, сохранило именно это древнее узкое значение. Вместе с тем, славянский, очевидно, имел свое название для хлеба в зерне.

Видимо, таково было древние значение слав. *obilьje*, хорошо сохраненное чешским и некоторыми русскими говорами, а также известное из древнерусских памятников [1]. Слав. *obilьje* — собирательное с суффиксом *-ьje* от **bi-lo-*

---

[1] *Fr. Trávniček.* Slovník jazyka českého. 4-е изд. Прага, 1952. S. 1054: *obilí* 'хлеб в зерне' ⟨...⟩ *obilka* ⟨...⟩ народн. 'зерно'; *В. И. Даль.* Толковый словарь живого велико-

к *biti* 'бить', полаб. *beit* также — 'молотить'[2]; **bi-lo-* — причастное образование, в данном случае, очевидно, страдательного залога: 'битое, обмолоченное'[3]. Слав. *obilьje* оказывается земледельческим термином, хорошо отразившим момент технологии: зерно обозначается как «вымолоченное битьем», так как скошенный хлеб вымолачивался на току цепом. Битье цепом вручную, как известно, — древнейший способ молотьбы, вытесненный затем отчасти молотьбой с применением домашнего скота, топчущего снопы.

Согласно одной из прежних этимологий[4], слав. *obilьje* < **ob-vil-*, сюда же ст.-слав. **извилие, въꙁвить** 'изобилие, прибыль' < и.-е. **vei-*, а значение 'хлеб' — вторично. Но самостоятельное развитие одного и того же значения 'хлеб' в разных языках — чешском и русском — менее вероятно. Что же касается значения 'изобилие', чешскому оно совершенно неизвестно, для русского в отдельных случаях возможно влияние старославянского[5], и только в южнославянских языках это значение распространено всюду. Расширение значения 'хлеб в зерне' > 'хлеб, злаки' > 'общее изобилие' вполне возможно. Ст.-слав. **обилие** и **извилие, въꙁвить** могли сблизиться в семантическом отношении сравнительно поздно, так что их этимологическое родство не очевидно. Этимология слав. *obilьje* : лат. *fēlix* 'счастливый'[6] также не убедительна: лат. *fēlix* сближают с лат. *fēlō* 'кормлю грудью', и.-е. **dhē-*, слав. **dě-*. Сопоставление *obilьje* : греч. ἄφενος[7] 'богатство' не учитывает структуры

русского языка. Т. II. 2-е изд. С. 602: «Старое и северное 'хлеб на корню и в земле', 'слетье, огородина, овощ всякого рода', псковское. *Обилье еще и не убрано, не молочено*, архангельское. *Ведуны обилие держат*, северное, 'наводят голод, неурожай'...; *Ф. П. Филин*. Лексика русского литературного языка древнекиевской эпохи // Уч. зап. Ленинградского techинститута им. А. И. Герцена. Т. 80. 1949. С. 133, примеч. 1. С. 265—266: др.-рус. *обилие* «зерно; хлеб на корню». *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. II. СПб., 1902. Стб. 506—508: *обилие* — изобилие, обилие, богатство ⟨...⟩ хлеб, продовольствие ⟨...⟩ хлеб на корню: — *Поби мразъ обилье по волости*. Новг. 1 л., 6723 г.

[2] См. *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. 1. Heidelberg, 1924. S. 117.

[3] Ср. также с суффиксом *-lo-* отглагольное слав. *dělo* < *děti*: 'сделанное'. Сопоставление см. у *A. Meillet*. Études sur l'étymologie et le vocabulaire du vieux slave. II partie. Paris, 1905. P. 415.

[4] См. *Fr. Mikiosich*. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Vien, 1886. S. 218; *А. Г. Преображенский*. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1910. С. 627—628 ; *A. Meillet*. Указ. соч. Р. 413: помещает это сопоставление под вопросом; *Ст. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941. С. 365.

[5] *А. Г. Преображенский*. Указ. соч. Там же.

[6] Цит. по: *А. Г. Преображенский*. Указ. соч. Там же.

[7] *F. Miklosich*. Указ. соч. С. 430.

славянского слова. Наконец, происхождение слав. *obilьje* < **olbijь*, ср. греч. ὄλβιος 'богатый' [8], — просто невероятно.

Слабая сторона перечисленных этимологий, которая повлекла за собой и ошибочные суждения касательно фонетико-морфологического развития слова, состоит в непонимании семантического развития: значение 'изобилие, богатство', явно вторичное и имеющее в своей основе, как мы пытались показать, чисто земледельческую апперцепцию, рассматривалось обычно как раз навсегда данное.

9. Слав. *rota* 'клятва'

Рус. обл. *рота́* 'божба, клятва', *ротьба́* то же, *роти́ть* 'клясть, бранить', др.-рус. *рота* 'клятва', *ротити ся* 'давать клятву', *ротьникъ* 'клянущийся', ст.-слав. **ротити сѧ** 'клясться', **ротьникъ**..., словен. *rotiti* 'заклинать', серб. *ро̀та* 'клятва', *ро̂тити се*, *ро̀тим се* 'божиться', *ро̏тан* 'клятвопреступный', чеш. *rotiti* 'проклинать', польск. *rota* (*przysięgi*) 'присяжный лист', в.-луж. *rоćić so* [9]. Преображенский сообщает принятую этимологию: к санскр. *vratam* 'воля, приказ, закон, обет', греч. ῥῆμα 'слово', ῥῆσις 'речь', ῥήτρα, кипрск. ϝρήτα 'изречение, договор', сюда же лат. *verbum* 'слово', лит. *var̃das* 'имя', нем. *Wort* 'слово'. Таким образом, слав. *rota* < **u̯rota*. Ср. далее *врать* [10].

Из перечисленного можно согласиться только с сопоставлением санскр. *vratám* (значения см. выше) с греч. ϝρη- и рус. *врать*. Напротив, предположение об утрате *u̯* в слав. **u̯rota* следует расценивать как схоластическое, не учитывающее фонетических особенностей славянского, который не знал органического выпадения *u̯* перед *r* в начале слова, как, например, греческий (ῥῆμα, ῥῆσις < ϝρη-). На неприемлемость такого взгляда указывал уже А. Брюкнер [11]. Однако, помимо этого указания, этимология Брюкнера содержит только маловероятное сближение с **rъtъ*, рус. *рот*.

Брюкнер прав, утверждая, что при таком виде, в каком сохранилось слав. *rota*, трудно определить его древнюю форму при полном отсутствии литовского соответствия. Вполне возможно, однако, что слав. *rota* упрощено из **rokta* : **rekti*, ст.-слав. **рєшти**, рус. *речь*. Ср. слав. *potъ*, рус. *пот* — из **pokto-* : **pekti*, рус. *печь*, согласно общепринятой этимологии. Оба — **rokta* и **pokto-* отглагольные образования, причастия с суффиксом *-ta-*, *-to-*. Дальнейшие со-

[8] *J. Holub — Fr. Kopečný*. Etymologický slovnik jazyka českého. Praha, 1952. S. 250.

[9] *А. Г. Преображенский*. Указ. соч. Т. II. Москва, 1914. С. 216—217.

[10] *А. Г. Преображенский*. Указ. соч. Там же, с перечнем литературы.

[11] *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 463—464: *rota*.

поставления — те же, что и для слав. **rékti*. Кстати, таким образом отыскивается и литовское соответствие: лит. *rĕkti* 'кричать'. Возможно, что женский род слав. *rota* (ср. польск. *rota* и др.) — результат позднего аналогического выравнивания по женским *a*-основам. Первоначально это могла быть форма именительно-винительного падежа множественного числа среднего рода: **rok-ta*, ср. ст.-слав. **реченнаꙗ**, греч. τὰ εἰρημένα, что лучше объясняет самостоятельность употребления слав. *rota* (**rokta*). Значение, полученное в результате предложенной этимологии, подтверждается значением польск. *rota* : 'точно установленная формула присяги на суде', т. е. именно 'реченное'.

От отглагольного *rota* (**rokta*) в свою очередь произведен новый глагол слав. *rotiti* (*sę*). Здесь также наблюдается полная аналогия со слав. *potъ* (**pokto-*) : *potěti* рус. *потеть*.

Так, славянский обнаруживает несколько специальных обозначений клятвы, присяги: **klętva* — **kloniti*, т. е. 'коленопреклоненная клятва', **prisęga* к **sęgati* 'клятва с прикосновением к предмету', **rokta* 'клятва-формула', к **rekti*.

SLAWISCHE ETYMOLOGIEN 10—19

poln. *nać*; serbokroat. *забо̀равити*, bulg. *забра́вям*; ukr. *барити*, *баритися*; aruss. выть; russ. *на́ры*; slaw. *rači*; slaw. *myšь*; slaw. *polje*; slaw. *gъmyzъ- / gъzъ*; russ. *жимолость*

10. Poln. *nać* 'Blätter u. Stengel von Krautern' u. Verwandtes

Poln. *nać* gestattet, zusammen mit dem bedeutungsabweichenden slowen. *nât*, *natî* den Ansatz einer gemeinsamen Ausgangsform slaw. *natъ*. Dieses offenbar alte Wort vergleicht man gewöhnlich mit apreuß. *noatis* 'Brennessel', lit. *notrẽ*, *nõterė*, *notrà*, *nõtrynė* id., lett. *nâtre* id. [1].

Beachtung verdient allerdings die spezielle Bedeutungsentwicklung der baltischen Wörter ('Brennessel'), während das slawische Wort die recht allgemeine Bedeutung 'Stengel mit Blättern' besitzt. Dem Bedeutungsunterschied ist im vorliegenden Falle insofern ein gewisses Gewicht beizumessen, als die Brennessel ihrer bekannten Eigenschaft häufig auch ihren Namen verdankt. Vgl. z. B. slaw. **kopriva* < **ku̯op-*: *kypěti* 'sieden' (gleicher Vokalismus wie in dem Worte *копоть*) [2], lit. *dilgėlẽ* 'Brennessel': *dìlgti*, *dìlginti* 'brennen'; dt. *Brennessel*: *brennen*. In slaw. *natь* mit seinem weiten Bedeutungsfeld dürfen wir mit Recht eine andere semantische Entwicklung annehmen, die in unmittelbarer Beziehung zur Etymologie des Wortes steht. Insbesondere ist es möglich, daß slaw. *natь* die

---

[1] *R. Trautmann*. Baltisch-slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923. S. 194; *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 353; *T. Lehr-Spławinski*. O pochodzeniu i praojczyźnie Słowian. Poznań, 1946. S. 67.

[2] Zu andern Etymologien von slaw. *kopriva*, *kropiva* vgl. *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913. S. 622; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 656.

Form **nāktь* fortsetzt, vgl. lit. *nókti* 'reifen'. Eine solche Zusammenstellung ist sowohl der Form wie auch der Bedeutung nach vertretbar, vor allem hinsichtlich der letzteren. Slaw. **nāktь*[3] könnte 'das, was gereift war' bezeichnen, und eine solche Grundbedeutung erscheint nur ganz natürlich als Bezeichnung einer Pflanze bzw. genauer «ihres der Erde entsprießenden Teiles», wie in unserem Falle. Beispiele dafür sind recht gut bekannt. Griech. φυτός 'Gewächs, Baum' ist hierher zu rechnen wie auch russ. *ботва* < ie. **bheu-* 'sein, wachsen, leben'[4], d. h. 'das Gewachsene'. Zugunsten unserer Etymologie von slaw. *natь* dürfte auch das Material des polnischen Dialektwörterbuches sprechen: «Drobne liście razem z gałązkami na ziemniakach, koniczynie, karpielach, burakach, kapuście, rzepie, grochu i t. p. zowią się 'nacią'; pozostałe częśći na ziemniakach, grochu i koniczynie zowią się 'badylami'»[5].

Die Entfaltung von Zweigen mit jungen Blättern, d. h. dessen, was im vorliegenden Dialekt — im Unterschied zu den unteren Stengeln (*badyle*) — mit *nać* bezeichnet wird, zeugt gleichsam vom Herannahen des Reifens. Dieser Umstand macht die Gleichung slaw. *nać*: lit. *nókti* 'reifen' wahrscheinlich.

Apreuß. *noatis* und andere ähnliche baltische Benennungen der Brennessel verdienen eine besondere Betrachtung. Es geht darum, daß mit diesen verwandte Bildungen vor allem in den germanischen Sprachen weit verbreitet sind: nhd. *Nessel*, ahd. *neȝȝila*, asächs. *nętil*, engl. *nettle*, schwed. *nätla*, norw. *netla* (dial. *natla*), welche urgerm. **natilōn*, eine Ableitung von **natōn* (mit gleicher Bedeutung), fortsetzen. Die germanischen Wörter gehen, wie auch griech. ἀδίκη (aus **n̥d-ikā*) 'Brennessel', auf ie. **nad-* 'flechten' zurück; vgl. noch nhd. *Netz* u. Verwandte[6]. Urgerm. **natilōn* 'Brennessel' ist in den germanischen Schprachen von vielen verwandten Formen umgeben, während die erwähnten baltischen Benennungen der Brennessel im baltischen Wortbestand isoliert stehen. Die Ähnlichkeit der baltischen und germanischen Wörter ist wahrscheinlich im Sinne einer Entlehnung aus dem Urgermanischen zu deuten; vgl. z. B. apreuß. *noatis* < urgerm. **nati(lōn)*. Hierfür spricht auch die Unmöglichkeit einer Entsprechung von baltischem *t* und germanischem *t* im Falle einer Urverwandtschaft der betreffenden baltischen und germanischen Wörter. Der vorgenommene Vergleich der baltischen und germanischen Wörter ist für uns insofern von wesentlicher Bedeutung, als er zeigt, daß apreuß. *noatis*, lit. *nõterė*, *notrà*, lett. *nâtre* offensichtlich aus dem Kreis der mit slaw. *natь* zu vergleichenden Formen auszuschließen sind.

---

[3] Bei solcher Grundlage wäre aber poln. *nac*, slowen. *nač* zu erwarten. — *F. Liewehr*.

[4] *M. Vasmer*. Op. cit. Bd. I. S. 112.

[5] *L. Młynek*. Zycie sierskich pasterzy przed 20 laty // Lud. Bd. IV. H. 3. Lwów, 1898. S. 281. (Das Dorf Siereza liegt im Kreis Wieliczka. — *O. T.*).

[6] *F. Kluge* — *A. Götze*. Etymol. Wb. der deutschen Sprache, 15. 1951. S. 522—523.

11. Serbokroat. *забòравити*, bulg. *забрáвям* 'vergessen' und Verwandte

Diese präfigierten Verben stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit südslawischen Bildungen in der Art von bulg. *борáвя* 'sich beschäftigen, handeln, verfügen', skr. *бòравити* 'leben, sich aufhalten', bulg. *борáвене* 'Beschäftigung', skr. *бòравиште* 'Wohnsitz'. G. A. Il'inskij versuchte, sie durch eine Kontamination von **boriti* und *baviti* zu erklären [7]. V. Jagić sah ihren Ursprung in Wendungen des Typs skr. *како бора ви бавите* (wobei *бора ви* aus *бога ви*) [8], während E. Berneker die Wörter im ganzen für unklar hielt [9]. V. Machek deutete die fraglichen Wörter als im Resultat eines unorganischen Analogie-Wechsels *b* < *m* aus der Form **moraviti* < ie. **(s)mer-* entstanden, vgl. lat. *me-mor* 'ich erinnere mich', lit. *mir̃šti* 'vergessen' [10].

Uns scheint, daß bulg. *забрáвям*, skr. *забòравити*, *бòравити* genetisch mit den slaw. Formen *by-*, *bāv-* 'sein, sich befinden, sich beschäftigen', *za-by-*, *za-bъv-* 'vergessen' verbunden sind; vgl. auch die Gleichartigkeit ihrer Bedeutungen. Auf den Charakter der Beziehungen zwischen ihnen gibt möglicherweise bulg. dial. *забувáр'ям* = 'забравям' einen Hinweis [11]. Diese Form zeigt ziemlich klar, daß Formen vom Typ *борáвя* und *забравям* durch Metathese ursprünglicher Formen vom Typ *забувáрям*, **забъвáрям* entstehen konnten. Die letztgenannten Wörter stellen Ableitungen mittels *-r*-Suffix von der bekannten gemeinslawischen Verbalwurzel *(za)by-*, *(za)bъva-* dar. Die Metathese **bu̯ariti* > **buraviti*, *boraviti* ist für einen bedeutenden Teil der südslawischen Dialekte allgemeinverbindlich. Einige Tatsachen gestatten ferner den Schluß, daß sie ziemlich früh erfolgt sein muß, u. zw. zu einer Zeit, als die Liquida-Metathese noch produktiv war, die bekanntlich ein ganz bestimmtes vollautartiges Stadium vom Typ *ără* usf. voraussetzte [12]. In den Wirkungsbereich dieses mächtigen Prozesses wurden einige Wörter einbezogen, die im fraglichen Zeitpunkt diesem Zwischenstadium strukturell nahestanden; vgl. die bekannten Beispiele aslaw. **срацининъ** < *saracenus*, **четврѣногъ** < *četveronogъ*. Nur so kann man, wie uns scheint, den

[7] Русский Филологический Вестник. Bd. LX. S. 72.

[8] *V. Jagić*. Rez. von Berneker. Slav. etymol. Wb. // AfslPh. XXX. S. 458.

[9] *E. Berneker*. Op. cit. Bd. I. S. 72.

[10] *V. Machek*. Българските глаголи *боравя*, *заборавям*, *забравя* // Списание на Българската Ак. на науките. Bd. 70. Sofia, 1945, S. 119—124; *V. Machek*. Slav. *bǫdǫ* 'ich werde sein' // ZfslPh. XXI. 1951. S. 155.

[11] *St. Stojkov*, *K. Kostov*, *P. Vankova*, *G. Georgiev*, *Ž. Želev*, *A. Kirjanov*, *B. Novačkova*, *I. Penčev*. Говорът на село Говедарци, Самоковско // Известия на Института за български език. Bd. IV. Sofia, 1956. S. 303.

[12] Vgl. neuerdings *F. V. Mareš*. Vznik slovanského fonologického systému a jeho vývoj do konce období slovanské jazykové jednoty // Slavia XXV. S. 457ff.

Grund für das Vorhandensein der für das Bulgarische charakteristischen Form *забравям* richtig verstehen. Die Bewahrung der Dublette bulg. *боравя* ist in semantisch-morphologischer Hinsicht dadurch motiviert, daß eine solche Form sich natürlicherweise zum Ausdruck durativer Verbalbedeutungen als geeigneter erwies. Darüber hinaus verallgemeinerte das Serbokroatische den Vokalismus der durativen Formen, vgl. *забораввити*, *боравити*. Die Durchführung der Metathese **bu̯ariti* > *boraviti* begünstigte die Annäherung der neuen Form an einige ursprünglich ferner stehende Wörter. Vgl. maked. dial. *borávi* 'il touche, il manie, il tourmente', *izboràvi* 'il agite' [13], das den Stempel eines möglichen im gleichen Dialekt (Ortschaft Boboščica in Süd-Albanien) vorkommenden Einflusses des homonymen Verbs *bori* (*se*) 'il lutte' trägt.

12. Ukr. *барити* 'verzögern, aufhalten', *баритися* 'zögern, säumen'

G. A. Il'inskij schlug vor, dieses Verb wie die Iterativform *bariti* zu dem besonderen **boriti* < **bh*(*u̯*)*or-*, **bheu̯ā-*(*r*) 'sein' zu betrachten [14]. Das genannte Wort läßt sich indessen weitaus einfacher erklären, indem man es als Resultat einer Verlegung der Silbengrenze der alten präfigierten Bildung auffaßt: ukr. *барити* (*ся*) < **обаритися* < **об-варитися*, d. h. letztlich zurückgehend auf das gemeinslavische Verb mit temporaler Bedeutung *variti* [15]. Das Präfix *ob-* konnte hier in der Bedeutung 'Nichterfüllung bzw. erfolgloser Vollzug einer Handlung' auftreten; daher auch die Bedeutung von **об-варитися*: 'sich aufhalten, sich verspäten', vgl. im Russischen Verbpaare wie *молвить — обмолвиться*, *говорить — оговориться*. Eine derartige Verlegung der Silbengrenze bei Verben sowie gleichzeitige phonetische Veränderungen (*br* > *b*) sind gut bekannt, poln. *bagnić się* < **obagnić się* 'Lämmer werfen', ukr. *бáчити* 'sehen' < **об-ачити*, dial. *бертатися* 'sich umwenden' < *обертáтися* [16].

13. Aruss. выть 'Landanteil, Stück Land'

Das zu untersuchende Wort ist nur der altrussischen Sprache [17] und einem Teil der heutigen russ. Dialekte bekannt. Die Forscher bemerken, daß dieses Wort,

[13] *A. Mazon*. Documents, contes et chansons slaves de l'Albanie du Sud. Paris, 1936. P. 395, 409.

[14] Русский Филологический Вестник. Bd. X. S. 251.

[15] Zu letzterem siehe *A. Preobraženskij*. Этимологический словарь русского языка. Bd. I. S. 65.

[16] *E. Želechovskij*. Малоруско-німецкий словар. Bd. I. L'viv, 1886. S. 25.

[17] *I. I. Sreznevskij*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Bd. I. СПб., 1893. Sp. 455—456.

ungeachtet der weiten Verbreitung, die es zur Zeit des Feudalismus erfuhr, nichtsdestoweniger nordgroßrussischer Herkunft sein muß und nur in einen kleinen Teil der südrussischen Dialekte (u. zw. in die Dialekte von Rjazan) Eingang gefunden hat. Das allerälteste Verbreitungsgebiet des Wortes **выть** ist der Westteil der nordgroßrussischen Dialekte [18]. Das Wort ist nicht gemeinslawisch, ja nicht einmal gemeinrussisch. Die Verbreitung von aruss. **выть** auch auf einem Teil des südgroßruss. Territoriums steht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Befestigung des feudalen Wirtschaftssystems der Leibeigenschaft und offensichtlich auch mit der Kolonisierung nichtrussischer Gebiete (Rjazan'). In **выть** haben wir somit einen typischen Terminus der feudalen Epoche vor uns, der in den heutigen Dialekten allmählich verschwindet. Davon zeugt auch die Materialsammlung F. P. Filins, der sich speziell mit diesem Wort beschäftigt und eine Reihe von Beispielen primärer und sekundärer Bedeutungen gesammelt hat: «*выть* 'часть сельской общины, группа домохозяев, объединённая общим владением большим участком земли', ярославское *вытка* 'общая полоса нескольких домохозяев', симбирское *выть* 'пай пли надел в лугах', тетюшское (казан.) *выть* 'часть барщины', пермское *выть* 'тягло, часть земельного надела, доля земли при раздеде', тихвинское *выть* 'доля, участок' твер., владим., рязанск. *выть* 'пашня, загорода, двор, строение' далее такие значения как 'отрезок времени, время от завтрака до обода, от обеда до ужина, участок земли, обрабатываемый в один приём'» [19]. Wir können Filin nicht darin folgen, russ. *выть* zu jenen Wörtern zu rechnen, in denen uns Überreste einer alten Gesellschaftsordnung überkommen sind. Dem widersprechen Überlegungen lexikologischer wie historischer Art. Höchst bemerkenswert ist das Fehlen von Entsprechungen für unser Wort in anderen slawischen Sprachen und das unbefriedigende Bild der dafür vorgebrachten Etymologien, nämlich der Vergleich mit aind. *ūtiṣ* 'Förderung, Erquickung, Hilfe', *ávati* 'freut sich', lat. *aveo*, *-ere* 'gesegnet sein, gegrüßt sein' [20]. Es läßt sich unschwer erkennen, daß der Vergleich sich nur auf dialektale Bedeutungen von *выть* stützt, wie 'Essenszeit, Zeit zwischen zwei Mahlzeiten', usf. Offensichtlich sind diese Bedeutungen sekundär und haben sich gerade unter den Bedingungen der bäuerlichen Arbeit herausgebildet: 'Landanteil' > 'Arbeit auf dem Landanteil' > 'Arbeit auf dem Felde, durchgeführt in einem Arbeitsgang von einer Mahlzeit zur ändern' usw. Auf diese Weise kann man zu dem Schluß gelangen, daß die allerälteste Bedeutung von russ. *выть*: 'Landanteil' war (eine Konkretisierung der Bedeutung siehe weiter unten). Wir haben ein etymologisch isoliertes

[18] *F. P. Filin.* Исследование о лексике русских говоров. По материалам сельскохозяйственной терминологии. М.; Л.: Изд. АН СССР, 1936. С. 126—127.

[19] *F. P. Filin.* Op. cit. S. 48—50.

[20] *A. Preobraženskij.* Op. cit. Bd. I. S. 105. Dort auch Literaturverzeichnis.

altrussisches Wort vor uns, einen landwirtschaftlichen Terminus. Da ist es wohl nicht abwegig, in dem Wort ein altes Kulturlehnwort zu sehen. Ansichten dieser Art wurden schon geäußert, wobei man die Möglichkeit einer Entlehnung aus altskandin. **ýti* annahm, vgl. schwed. dial. *yte* 'Abgabe, Steuer, Naturalienabgabe', *yta*, *yda* 'erlegen, bezahlen', dän. *yde* 'produzieren, bezahlen, liefern' [21]. Wenn auch die nordwestliche Verbreitung unseres Wortes im russischen Sprachgebiet dieser Erklärung nicht gerade entgegensteht, so möchte man der semantischen Schwierigkeiten wegen die Hypothese des skandinavischen Ursprungs nicht vorbehaltlos billigen.

Der Artikel **выть** in den «Materialien» I. I. Sreznevskijs ist zwar weit davon entfernt, den Gebrauch des Wortes vollständig widerzuspiegeln, doch lassen sich glücklicherweise mit Hilfe des nützlichen Registers von G. E. Kočin [22] die Grenzen der Belege über die Verwendung des Wortes etwas erweitern wie auch seine Grundbedeutungen genauer bestimmen. Beispiele: ...**а Галицькие ми выти не взяти въ выходъ на три годы** (Urkunde eines Vertrages des Großfürsten Vasilij Vasil'evič mit dem Fürsten Dmitrij Jur'evič Šemjaka und mit seinem Bruder, dem Fürsten Dmitrij Jur'evic vom Jahre 1440) [23]: ...**а что дѣлали города Володимеря, и они свою выть дѣлаютъ**... (Urkunde des Großfürsten Vasilij Vasil'evič über die Befreiung des dem Metropoliten unterstehenden Dorfes Vseslavskoe von fürstlichen Abgaben für zwei Jahre, aus dem Jahre 1460) [24]. Besonders folgerichtig aber ist die Anwendung von aruss. **выть** und gleichzeitig damit auch besonders reichhaltig die Zahl der Beispiele dieses Wortes in einem so wichtigen Dokument, wie es die Novgoroder Grundbücher darstellen, die das Nowgoroder Land der Zeit gegen Ende des XV. Jahrhunderts katastermäßig erfassen: **Д.<еревня> Врагово: дв. Степанко Васков, дв. пустъ, а выть того двора князь пашеть на себя**... [25] Analog wird das Wort **выть** auch in anderen Büchern dieser Sammlung gebraucht [26]. Offenbar im Zusammenhang mit dieser Verwendung wird **выть** im Wörterverzeichnis G. E. Kočins als «окладная и кадастровая единица» erklärt. Genauer ist **выть** nicht eine Einheit der Be-

[21] Vgl. *M. Vasmer.* Op. cit. Bd. I. S. 242—243.

[22] *G. E. Kočin.* Материалы для терминологического словаря древней России. М.; Л., 1937. С. 62.

[23] Собрание государственных грамот и договоров, хранящихся в Государственной коллегии иностранных дел. Teil 1. Moskva, 1813. S. 131.

[24] Vgl. *M. Gorčakov.* О земельных владениях всероссийских митрополитов, патриархов и св. Синода. СПб., 1871. Beilage I. S. 14.

[25] Новгородские писцовые книги, изданные Археографической комиссиею. Bd. I. Переписная оброчная книга Деревской пятины, около 1495 года. SPb., 1859. Sp. 362, analog — 381—382, 397, 399, 551, 588, 722, 739, 876.

[26] Bd. II. SPb., 1862. Sp. 114, 294, 297, 314, 319, 351, 440, 837; Bd. III. SPb., 1868. Sp. 560, 565; Bd. IV. SPb., 1886. Sp. 108; Bd. V. SPb., 1905. Sp. 113.

steuerung schlechthin, sondern — wie sich aus den Beispielen seiner Anwendung ergibt — in erster Linie ein Stück Land, das abhängigen Leuten zugeteilt wird und der Besteuerung unterliegt. In dieser Bedeutung: '(zu Lehen gegebener) Landbesitz' und in seiner äußeren phonetischen Gestalt steht **вытъ** einer Reihe alter germanischer Feudal-Termini sehr nahe: ahd. *al-ôd* (fränkisch), das durch Entlehnung auch im Mittellateiniachen: *alodis*, *aloduc*, *alodium*, *allodium* und im Altfranzösichen *alleu*[27] weit verbreitet war; ferner asächs. *ôd* 'Landbesitz', *al-ud* 'freier Landbesitz'[28]; vgl. auch noch mhd. *ein-oete*, *ernôte* 'Einöde', *heim-ôde*, *heim-ôte*, *heim-uote* 'Heimat', *oede* 'öde'[29]; nhd. dial. *Einet* 'Einzelgehöft', das zusammen mit ahd. *einōti* möglicherweise das urgerm. **ōt* 'Landbesitz' fortsetzt[30]. Uns dünkt, daß die wahrscheinliche Quelle für eine Entlehnung des altrussischen Wortes die alten deutschen Formen **ōt*, **ōti* sind, die von Dialekten des Altrussischen als **ūtь* **ᵛytь*: aruss. **вытъ** übernommen worden sein können. Dabei ist es wichtig, die möglichen Bedingungen für eine Entlehnung zu studieren. Das wahrscheinlichste Territorium für das Eindringen eines altdeutschen Wortes in die altrussische Sprache war das Gebiet der intensiven politischen und ökonomischen Beziehungen Novgorods und Pskovs zum Livländischen Orden im Baltikum, in zeitlicher Hinsicht bedeutet das: nicht vor dem XIII. Jahrhundert. Die Pskover Chroniken legen nicht nur ein beredtes Zeugnis ab von dem Vorhandensein lebhaftester politischer Kontakte mit dem Livländischen Orden, sondern enthalten auch eine Reihe von Hinweisen auf die zeitweise praktizierte Einfuhr von Getreide aus Livland nach Pskov im Falle von Mißernten. Die Historiker Lettlands verzeichnen das Bemühen der deutschen Eroberer, das feudale System in jener Form nach Livland zu verpflanzen, in der es in Deutschland selbst um das XIII. Jahrhundert herrschte[31]. Die Einführung des entwickelten deutschen Feudalsystems war von grundlegendem Einfluß auf das ökonomische Gesicht des Landes: unter der Herrschaft der Eroberer entstand in Livland ein Netz von feudalen Gütern, welche die alten Landgemeinden ablösten[32]. All das ist prinzipiell wichtig für die Erklärung der möglichen

[27] *E. Karg-Gasterstädt*, *Th. Frings*. Althochdentaches Wörterbuch. 4. u. 5. Lief. Berlin, 1955. Sp. 232.

[28] *F. Holthausen*. Altsächsisches Wörterbuch. Münster; Köln, 1954. S. 2, 56.

[29] *Matthias Lexers* Mittelhochdeutsches Wörterbuch. 27. Aufl. Leipzig, 1953. S. 37, 84, 154.

[30] *H. Hirt*. Etymologie der neuhochdeutschen Sprache. 2. Aufl. München, 1921. S. 212; anders siehe *F. Kluge* — *A. Götze*. A. a. O. s. v. *Einöde*, *Heimat*, *öde*.

[31] История Латвийской ССР. Сокращенный курс / Hg. von K. Ja. Strazdinja. Riga, 1955. S. 41.

[32] История Латвийской ССР. Bd. I. С древнейших времён до 1860 г. Академия наук Латвийской ССР. Riga, 1952. S. 220. — Ich benutze die Gelegenheit, um unserm Historiker V. D. Koroljuk für seine Ratschläge und Hinweise in der mich interessierenden Frage meinen Dank auszusprechen. — *O. T.*

20. Заказ № 2261.

Geschichte von aruss. **выть** 'Landanteil, mit Steuer belegtes Landstück'. Die gegenseitigen Beziehungen zwischen den feudalen Einrichtungen des germanisierten Livland und der benachbarten russischen Fürstentümer Novgorod und Pskov konnten ihren Ausdruck auch in dem Einfluß der deutschen Art der Steuer-Erhebung, die vom Hof, von der Wirtschaft, dem einzelnen Grundbesitztum her erfolgte, auf das russische System mit seiner ursprünglichen Abgabenerhebung von der Gemeinde her finden. Diese Erwägungen ermunterten uns, eine Entlehnung von aruss. **выть** gerade aus der altdeutschen feudalen Terminologie anzunehmen. Zweifellos bedürfen die oben dargelegten Gedanken noch ergänzender Überprüfungen, um so mehr, als die historische Seite der vorliegenden Frage (die erwähnten gegenseitigen Beziehungen der feudalen Systeme) noch nicht genügend untersucht ist.

14. Russ. *нáры* 'Schlafpritsche, Bretter-Belag zum Schlafen'

Die Etymologie dieses Wortes ist noch nicht geklärt. Allerdings wurden in der Literatur schon seit langem Hypothesen über den Lehnwortcharakter des Wortes vorgebracht, wobei als Quelle bald finno-ugrische Formen mit der Bedeutung 'schlafen', vgl. tscheremiss. *neren*, bald das deutsche *Bahre*, im Sinne von 'Totenbahre' genannt wurden [33].

Die Hypothese einer Entlehnung aus dt. *Bahre* für alle slawischen Formen kann in Anbetracht der phonetischen Schwierigkeiten nicht einfach in Bausch und Bogen übernommen werden. Als Entlehnung aus jener Quelle darf lediglich nsorb. *bory*, *bora* gelten. Die Erklärung aus tscheremiss. *neren* 'schlafen' stützt sich, wie wir unten sehen werden, hauptsächlich auf die sekundäre phonetische Form und die ebenso sekundäre Bedeutung des russischen Wortes. Man darf dabei aber den Umstand nicht übersehen, daß außer dem Russischen mit seiner Form und Bedeutung *нáры* 'Belag zum Schlafen' die übrigen slawischen Sprachen eine andere Form mit abweichender Bedeutung aufweisen: poln. *mary* 'Totenlager, Tragbahre für Tote', čech. *máry* id., osorb. *mary* id., wruss. *mary* id. (Nosovič), vgl. schließlich auch russ. dial. *мáры* id. (V. I. Dal'). Die weite Verbreitung der vorliegenden Form und Bedeutung in einer Reihe slawischer Sprachen und gleichzeitig der deutlich volkstümliche Charakter des Wortes stehen dem entgegen, hier eine späte Entlehnung aus deutschen Formen mit anschließendem Analogiewechsel *b* > *m* unter dem Einfluß der Wörter *умирать*, *мёртвый* u. ä. anzunehmen. Man kann, im Gegenteil, gerade das slawische *mary* als Ausgangswort, abgeleitet von **morъ*, **merti* mit langer Stufe des Stammvokals auffassen. In sol-

---

[33] *A. Preobraženskij*. Op. cit. Bd. I. S. 594; *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. s, v.; *C. Thörnqvist*. Studien über die nordischen Lehnwörter im Russischen. Uppsala; Stockholm, 1948. S. 192—194.

chem Falle erscheint russ. *нары* als Sekundär-Form im Verhältnis zur eben genannten und spiegelt einen Wechsel *n* < *m* wider, der aus Tabu-Motiven erfolgt sein dürfte; vgl. die sehr nahestehende Analogie in ukr. *мáвка* < *нáвка* 'Geist, Gespenst, Nixe'. In beiden Fällen ist der Lautwechsel durch das Bestreben hervorgerufen, alle «gefährlichen», mit dem Tode zusammenhängenden Wörter zu vermeiden.

15. Slaw. *račiti* 'sich eifrig bemühen, wollen'

Das Wort, wie auch seine Ableitungen, ist in den slawischen Sprachen gut erhalten. Hierher gehören in erster Linie die Verben russ. dial. *рáчить*, *рáчý*, *рáчúшь* 'wünschen, trachten, sich sorgen, sich eifrig bemühen', ukr. *рáчити* 'sich herablassen', wruss. *рáчыць* 'wünschen', aruss., aslaw. **рачити** 'θέλειν, βούλεσθαι', bulg. *рáча* 'wollen', skr. *рáчити* 'wollen', slowen. *ráčiti*, *râčim* 'wollen, geruhen', čech. *ráčiti*, slowak. *ráčit'*, poln. *raczyć* 'geruhen, sich herablassen'; hierher gehört ferner die Komparativform des Adjektivs ukr. *рачíй*, poln. *raczej* 'besser, eher, lieber' sowie die durchsichtigen Verbalableitungen russ. *рачитель*, *рачительный* 'eifernd, s. kümmernd um etw., fürsorglich, eifrig'. Die Bedeutungen dieser Formen sind also ziemlich gleichartig. Bisher fand sich jedoch keine befriedigende Etymologie für slaw. *račiti*. Offenbar mißglückt sind die Vergleiche mit den bedeutungsmäßig fernstehenden Formen *рекý*, *рок*, *речь*, mit aind. *racáyati* 'verfertigt, bildet, macht zurecht', *racanam* 'Ordnung, Anordnung', got. *rahnjan* 'rechnen', wie auch die Annahme einer Entlehnung aus dem Germanischen, vgl. asächs. *rôkian*, aisl. *røkja* 'sich kümmern, sorgen', ahd. *ruohha* 'Sorge', *ruohhen* 'sorgen', nhd. *geruhen*, wie auch die Erklärung aus **ark-*, einer angeblichen Parallelform zu dem Verbalstamm **alk-* in **лакать*, *алкать* 'wünschen' u. a.[34].

Als außerhalb der slawischen Sprachen dem slaw. *račiti* am nächsten stehende Formdarf lett. *ęr̃ka* 'Mut, Tatkraft', *ercêtiês* 'toben'[35] gelten. Hinsichtlich der Intonation müßte lett. *ęr̃ka* eine Entsprechung in einem lit. **érk-*, **'árk-* mit Akut-Intonation haben. Dabei ist zu berücksichtigen, daß im Litauischen dieser Stamm im wesentlichen verlorenging, im unterschied zum Lettischen, wo er im Gegenteil recht gut erhalten blieb, u. zw. mit Bedeutungen, die denen des slawischen Wortes recht nahe stehen. Lit. **érk-*, **árk-* mit Akut-Intonation entspricht genau slaw. *račiti*, das sich auf die Urform **árk-* (mit Akut) zurückleiten läßt, einer Form, der — wie die baltischen Belege zeigen — volle Realität zukommt. So ist denn ein Vergleich der slawischen Wörter mit den genannten lettischen sowohl in phonetischer wie in semantischer Hinsicht gerechtfertigt.

---

[34] *A. Preobraženskij*. Op. cit. Bd. II. S. 187; *M. Vasmer*. Op. cit. Bd. II. S. 498.

[35] Zu den lettischen Wörtern siehe *K. Mülenbach* — *J. Endzelin*. Latviešu valodas vārdnīca. I sējums. Riga, 1923—1925. S. 570—571.

16. Slaw. *myšь* 'Maus' und analoge Bildungen

Vor einer Präzisierung der Etymologie von slaw. *myšь*, ie. **mūs*, die das Ziel der vorliegenden Skizze darstellt, wollen wir uns einigen semantisch nahestehenden Benennungen zuwenden. Ein Vergleich mit diesen Benennungen wird bestimmte Schlüsse hinsichtlich der Entwicklung von ie. **mūs*, slaw. *myšь* begründen helfen.

Lit. *pelẽ*, 'Maus', das die alte Bezeichnung der Maus verdrängt hat, wurde richtig als Benennung nach der Farbe ('die Graue') erklärt, vgl. lit. *pìlkas* 'grau', wie auch griech. πελιδνός, πελιός, πολιός 'grau'[36]. Aslaw. **плъхъ, пълхъ**, bulg. *плъх* 'Ratte', ukr. dial. *повх* 'Rellmaus, Siebenschläfer'; 'нориця'; 'Kartoffelmaus, Hamster'[37] finden eine gute Erklärung als Verwandte von lit. *pelẽ*[38] oder genauer von lit. *pal̃šas* 'grau', mit dem es auch die Gemeinsamkeit des Formans verbindet: slaw. *pl̥chъ* < **pl̥-so-*. In diesen baltischen und slawischen Benennungen der Maus bzw. der Ratte ist also die ie. Stamm **pel-* 'grau, hell' verwendet, vgl. aus den slaw. Sprachen noch russ. *плесень* und aslaw. **пелесъ** 'grau' < **peles-o-*[39].

Der beschriebene Fall ist typisch für die verschiedenen ie. Benennungen der Maus. In der Literatur sind viele gut fundierte Etymologien bekannt, welche die Rolle der aus Tabu-Gründen erfolgten Umbenennung verschiedener Tiere zeigen. Hierher gehören insgesamt die indoeuropäischen Benennungen der Maus, denen zu alledem noch die Besonderheit zukommt, daß schon das gemein-indoeuropäische **mūs* 'Maus' zweifellos einen Euphemismus darstellt: bedeutet doch **mūs* eigentlich auch: 'd. Graue', wozu auch slaw. *mucha* 'die Fliege', *mъchъ* 'Moos', lit. *musojaĩ* 'Schimmel' u. a. gehören. Die Eigenart des Falles von ie. **mūs* 'Maus' besteht darin, daß wir, fassen wir ihn als Euphemismus auf, schon nicht imstande sind, zu sagen, welches alte «gefährliche» Wort er ersetzt hat, so allgemein ist hier der Ersatz. Die vorgelegte Etymologie von ie. **mūs* slaw. *myšь* ist unseres Wissens bisher noch nicht vorgebracht worden; sie darf wohl als sicher gelten und gehört zu jenen Etymologien, die sozusagen «in der Luft liegen»[40].

Das weitere Schicksal des Euphemismus **mūs* vollzog sich in gewöhnlicher Weise: das Wort lebte sich ein, und man begann es in einzelnen indoeuropäischen Dialekten seinerseits als gefährliche direkte Benennung der Maus aufzufassen;

---

[36] *H. Petersson.* Einige Tier- und Pflanzennamen aus indogermanischen Sprachen // K(uhn's) Z(eitschr.). Bd. 46. 1914. S. 132; zu *pelẽ* und *pìlkas* vgl. noch *P. Skardžius.* Lietuvių kalbos žodžių daryba. Vilnius, 1943. S. 74, 122.

[37] *E. Želechovskij.* Малоруско-німецкий словар. Bd. II. L'viv, 1886. S. 671.

[38] *F. Kluge — A. Götze*, a. a. O. s. v. *Bilch.*

[39] *F. Solmsen* K(uhn's) Z(eitschr.). Bd. 38. 1902. S. 442.

[40] Natürlich entfällt dann der Vergleich von ie. **mūs*, slaw. *myšь* mit aind. *muṣati, muṣṇāti, mōsati* 'stiehlt', den, früheren Forschern folgend, sogar M. Vasmer wieder holt (vgl. op. cit., Bd. II. S. 186).

daher auch sein Ersatz in lit. *pelẽ*, slaw. *p̥lchъ* 'd. Graue'; vgl. ferner noch altthrak. (Glossen) ἄργιλος 'Maus', eigtl. 'd. Helle'.

17. Slaw. *polje*

Die Literatur zur Etymologie der gemeinslawischen Benennung des Feldes ist recht umfangreich und enthält eine Reihe im ganzen mehr oder weniger überzeugender Deutungen[41]. Die im folgenden vorgetragene Etymologie basiert auf einigen Analogien in der Bildung entsprechender Benennungen in anderen Sprachen. In Verbindung hiermit scheint es uns, daß das hauptsächliche charakteristische Kennzeichen, welches die slawische Benennung für das Feld bestimmte, weder der offene noch gar der ebene Charakter des Feldes waren. (Ein Feld ist ja nicht unbedingt eben; zudem ist der ebene Charakter des Bodenreliefs im ganzen typisch für das gesamte altslawische Territorium.) Wenig überzeugend ist auch die Deutung von slaw. *polje* als 'abgebrannte Fläche, Brandrodung': aslaw. *polěti*, *plamę* und Verwandtes[42]. Weitaus wahrscheinlicher ist es, slaw. *polje* als Gegend aufzufassen, die durch ihren im Verhältnis zum Wald relativ hellen Charakter gekennzeichnet ist. Dafür finden wir Beispiele in: lit. *laũkas* 'Feld', eigtl. 'das Weiße'; vgl. griech. λεύκος 'weiß', gall. *belsa* 'campus' < **belisa* < ie. **bhel-*, vgl. slaw. *běl* 'weiß'[43]. Wie diese Beispiele überzeugend darlegen, ist Helligkeit das Grundlegende, was das Feld vom Wald in den Augen der alten Waldbewohner unterschied. Dementsprechend läßt sich slaw. *polje* mit **pel* 'grau, hell' verbinden, das schon oben in anderem Zusammenhang berührt wurde (bulg. *плъх* und Verwandtes). Die ursprüngliche Bedeutung von slaw. *polje* war also 'das Helle'.

18. Slaw. *gъmyzъ-* / *gъzъ* 'Pferdebremse'

In den slawischen Sprachen existiert eine interessante Gruppe von Verben: poln. (alt u. dial.) *giemzić* 'kitzeln, jucken, kratzen; wimmeln (von Ameisen)'; tschech. *hemžiti se*, dial. u. alt *hemzati* (*se*) 'wimmeln, kriechen'; russ. dial. *гомозиться* 'sich umherbewegen, wimmeln'; ukr. *гомзатися* 'sich umherbewegen'; russ. ksl. **гомъзати, гомъзити** 'kriechen, sich rühren'; skr. *гàмизати*, *гàмзити* id.; bulg. *гъмжá* 'wimmeln'; vgl. noch poln. dial. *gimzać*, ukr. *гимзíти* 'wimmeln'. Was bei den genannten Wörtern auffällt, ist vor allem das Schwanken ihrer phonetischen Gestalt, die dazu zwingt, eine Anzahl von Ausgangsformen anzusetzen: **gъmъziti*, **gъmъzati*, **gymъzati*, **gъmyzati*. Hauptsächlich deshalb

---

[41] Siehe *A. Preobraženskij*. Op. cit. Bd. II. S. 91—92; *M. Vasmer*. Op. cit. Bd. II. S. 391.
[42] *V. Terras*. Slavische Etymologien // ZfslPh. Bd. XIX (1944). S. 120—123.
[43] *V. Bertoldi*. Gaulois *belsa* 'campus' = lituanien *laũkas* 'champ' // BSL. Bd. 30 (1930). P. 170—173.

sehen hier einige Forscher Lautnachahmungserscheinungen, eigtl. die Reduktion der Wurzel **gom*, die in russ. *гам*, *гом*, *гóмон* 'Lärm, Geschrei' [44] vorliegt.

Es ist zu betonen, daß in semantischer Hinsicht diese Etymologie nicht unanfechtbar ist. Die Bedeutungen der ganzen Gruppe stehen Lautnachahmungs-Bildungen doch recht fern, während Wörter wie *гам*, *гомон* tatsächlich als solche anzusehen sind. Slaw. *gъmъziti*, *gъmъzati* bezeichnen eher verschiedene Bewegungen, vgl. die oben angeführten Beispiele. Deshalb suchten andere Forscher hier die Wurzel **gᵘem-* 'gehen' [45]. Diese letztere Gleichung erscheint indessen allzusehr vereinfacht und ungenügend begründet. In der im folgenden vorgelegten Etymologie versuchen wir, von einer Nominal-Bildung auszugehen, die der zu untersuchenden Gruppe von Verben nahe steht: tschech. *hmyz* 'Insekt', vgl. das gleichbedeutende aruss. **г(ъ)мыжь**.

Möglicherweise verbirgt sich in tschech. *hmyz*, aruss. **гъмыжь** (**gъmyzъ*, **gъmyzjь*) ein altes Kompositum **gъ-mysъ*, bei dem **gъ-* < **gŭ-*, ein alter Stamm mit Vokal in reduzierter Stufe zu ie. **gᵘoй* 'Stier, Kuh' und **-mysъ* < **mus* zu slaw. *mucha*, russ. *муха* ist und somit bedeutet: 'Insekt, das den Rindern zusetzt'. Eine interessante, in Struktur und materieller Hinsicht nahestehende Bildung finden wir in afghanisch *γu-mašā* 'Moskito' [46]. Afg. *γu-mašā* enthält im ersten Teil der Komposition die gleiche Reduktionsstufe des Vokals wie auch das hypothetische slaw. **gъ-mysъ*. Was das Auftreten von *-z-* statt zu erwartendem *-s-* in dem slawischen Worte betrifft, so ist es nicht ausgeschlossen, daß der Wechsel *s* > *z* schon in der Serie von expressiven abgeleiteten Verben: *gъmъziti*, *gъmъzati* usw. vorlag und dann in allen Wörtern dieser Gruppe (tschech. *hmyz*) verallgemeinert wurde. So darf man annehmen, daß slaw. **gъmysъ* 'Kuh-Fliege' später viele expressive und phonetisch labile Zeitwörter lieferte. Unsere Hypothese zum Ursprung von slaw. *gъmyzъ* ist hauptsächlich darum schwer beweisbar, weil in diesem Falle fast völlig die expressiven Bedeutungen 'wimmeln, sich umherbewegen, kriechen' die Oberhand gewannen, die Bedeutung von tschech. *hmyz*, aruss. **гъмыжь** 'Insekten' aber ziemlich allgemein ist. Nichtsdestoweniger hat die beschriebene Bedeutungsentwicklung 'Kuh-Fliege, Bremse' > 'wimmeln, umherschwirren, sich herumtreiben' viel Wahrscheinlichkeit, wovon auch die folgenden Beispiele zeugen.

Slaw. *gъzъ*, vgl. vor allem poln. *giez*, ist bekannt als Benennung der Bremse bzw. Pferdebremse (Hypoderma bovis, Familie Oestridae). Dieses Insekt ist eine

---

[44] *G. A. Il'inskij*. Русский Филологический Вестник. Bd. XI. S. 339— 340; ders. Известия ОРЯС. Bd. XVI. H. 4. S. 2; *F. Slawski*. Słownik etymologiczny języka polskiego. H. 3. Kraków, 1954. S. 277; *M. Vasmer*. Op. cit. Bd. I. S. 290—291.

[45] Vgl. *A. A. Potebnja* bei *A. Preobraženskij*. Op. cit. Bd. I. S. 143; *J. Holub—Fr. Kopečny*. Etymologický slovnik jazyka ceského. Praha, 1962. S. 122.

[46] Ausführlicher zu dem afghanischen Wort siehe *G. Morgenstierne*. An Etymological Vocabulary of Pashto. Oslo, 1927. P. 29.

furchtbare Plage der Rinder. Der letztere Umstand wie auch die im gegebenen Falle gute Bewahrung der Bedeutung 'Bremse, Pferdebremse' legt den Gedanken nahe, daß das slaw. *gъzъ* die mittels Suffix *-ĝho-* (*-zъ*) von dem eben behandelten **gu-* 'Kuh, Stier' gebildete Form **gu-ĝho-* fortsetzt (**gu-* : **gᵘou-*; vgl. *gověędo*). Das Suffix *-ĝho-* ist als recht altes Formans bei Adjektiv-Bildungen bekannt, weshalb **gъ-zъ* als Ableitung mit der Bedeutung 'Kuh... Rinder...' aufgefaßt werden kann. Das von Bremsen überwältigte Rind gerät in Raserei: *gzi się*, wie die Polen sagen, wovon auch das expressive Verb *gzić się* selbst herrührt. Dieses Beispiel ist insofern wichtig, als das Vorhandensein durchsichtiger Wortbildungsverhältnisse hilft, recht genau den sekundären Charakter der expressiven Bedeutungen des abgeleiteten Verbs festzustellen. Aber gerade diesen expressiven Bedeutungen verdanken wir die unrichtigen Etymologien von poln. *giez*, slaw. *gъzъ*, die sich gewöhnlich von dem erwähnten sekundären Verb[47] herleiten. Im Falle von *gъmъziti*, *gъmyzъ* gewann der expressive Charakter die Oberhand, und die Orientierung über die Herkunft der Formen wurde bedeutend erschwert, obgleich eine analoge Erklärung auch hier zulässig ist.

19. Russ. *жимолость* 'Geißblatt, Lonicera'

Die unten vorgebrachte Etymologie stellt, ähnlich der vorhergehenden, den Versuch dar, in dem slawischen Wort die Spuren einer alten Wurzel zu finden, womit sich seinerzeit bekanntlich, wenn auch mit unterschiedlichem Erfolg, A. L. Pogodin[48] befaßt hat.

A. Preobraženskij[49] erklärt *жимолость* aus **зи́молисть*, d. h. 'Baum, der im Winter sein Laub behält'. Bei M. Vasmer[50] finden wir den berechtigten Hinweis, daß die ungewöhnliche Vielfalt von Dialektformen des Wortes (*жимоли́ста*, *жимолю́ста*, *желому́т*, *жаломудина*, *жиломудина*, *жиломустина*, *жи́ломус*, *жилому́чина*, vgl. ukr. *жи́молость*, wruss. *жиломоцъ*) die Feststellung der ältesten Form und die Erklärung des Wortes erschweren. V. Machek spricht von einer beträchtlichen Entstellung der alten Form des Wortes, wobei er dazu neigt, es aus **zimozel* 'im Winter grün'[51] herzuleiten. Die beachtlichen Schwierigkeiten, vor

---

[47] Vgl. die Angaben bei *F. Sławski*. Słownik etymologiczny języka polskiego. H. 3. S. 278. Nicht genügend klar sind übrigens die Beziehungen der slaw. Wörter zu lit. *guža* 'Insektenschwarm', *gužėti* 'schwärmen, wimmeln'.

[48] Vgl. seine Monographie «Следы корней-основ в славянских языках» (Varšava, 1903). Das wertvollste aus seinen Etymologien dieser Art ist zweifellos die Erklärung von *гитьно* aus der Wurzel *gu-* und *męti* 'мять'.

[49] Op. cit. Bd. I. S. 233.

[50] Op. cit. Bd. I. S. 425.

[51] *V. Machek*. Česká a slovenská jména rostlin. Praha, 1954. S. 223.

denen die etymologischen Erklärungen dieser Pflanzenbenennungen stehen, basieren offensichtlich, auf den verschiedenen Störungen der regulären phonetischen Entwicklung unter Einwirkung von Volksetymologien. Solche Volksetymologien sind in allen jenen Formen zu spüren, die an *зима*, *жила*, *-мут*, *-мусть*, *-муд-*, *-муч-* anklingen. Die Vorschläge Preobraženskijs und Macheks konstatieren lediglich die Tatsache der Volksetymologie. Aller Wahrscheinlichkeit nach verbirgt sich die alte Form unter der Schicht dieser späteren Kreuzungen. Die älteste der erwähnten Formen, die keine offensichtlichen Anzeichen einer Volksetymologie trägt, d. h. die dunkelste von ihnen ist *жимолость*. Um ein fruchtbares Urteil über eine Pflanzenbenennung zu gewinnen, ist offenbar die elementare Bekanntschaft mit der Pflanze selbst nicht ganz unwichtig. Bekanntlich erinnert beispielsweise bei dem gewöhnlichen Geißblatt (Lonicera xylosteum, russ. 'волчьи ягоды') die ungeöffnete doppelte Knospe an ein Ziegenkehlchen, daher auch die slowen. Benennung für Geißblatt: *kozji zizek*[52]. In der lateinischen Benennung der Pflanze haben wir eine teilweise entstellte Form vor uns: *caprifolium*, eigtl. 'Ziegen-Blatt' (woher Lehnübersetzungen wie dt. *Geißblatt* u. a.). Der Sinn der ursprünglichen Benennung war in Vergessenheit geraten und in 'Ziegen b l a t t' «verbessert» worden. Möglicherweise spiegelt russ. *жимолость* mit seiner wahrscheinlich alten Form das obenerwähnte charakteristische Merkmal der Pflanze Lonicera wider. Diese Hypothese gestattet, in *жимолость* ein altes Kompositum zu sehen, dessen erster Bestandteil die alte Wurzel **ži-* < ie. **ghī*, **ghei-d-* 'Ziege', dessen zweiter Teil aber **-molz-tь*, zu slaw. **-ml̥zǫ* 'ich melke' gewesen sein kann. Für die Form **-molztь* zeugt auch ukr. *жи-молость* ohne Übergang *o* > *i*. Hierher gehört ferner poln. dial. *zimołza* 'Lonicera xylosteum', *zimalza*[53], die man als Fortsetzung von **zi-ml̥za* auffassen darf, insbesondere die erstere Form *-zimołza* (*-oł-* ist bekanntlich der nordpolnische Reflex des silbenbildenden *l̥*). Der zweite Teil des Kompositums *жи-молость*: **-molz-tь* konnte hier als Bezeichnung der Kehle füngieren, d. h. in der Rolle von slaw. **gъr̥dlo*, möglicherweise als dessen expressives Äquivalent; vgl. tschech. *lalok* 'Kehle'. Zugunsten dieser Hypothese spricht die im gegebenen Fall vorliegende Wiederholung der onomasiologischen Beziehungen, die die bekannten Benennungen der Kehle auszeichnen: die Benennungen der Kehle sind nämlich gewöhnlich Ableitungen von Stämmen mit der Bedeutung 'essen, trinken', vgl. *gъr̥dlo*: *žьrǫ*, russ. *жру*, tschech. *la-lok*, eine Reduplikation vom Typ *hla-hol* zu dem Verb *lokati*, russ. *лакать*. In unserem Falle gehört also *-molz-tь* 'Kehlchen' zu **ml̥zǫ* 'ich melke, sauge', hier vom Ziegenlamm.

---

[52] Vgl. *V. Machek*. a. a. O.

[53] Die polnischen Dialektwörter sind der zitierten Arbeit *V. Macheks*. a. a. O. entnommen.

Die Kernfrage unserer Etymologie des Wortes ist die nach der Herkunft des ersten Kompositions-Bestandteils, nämlich *жи-*. Wie schon gesagt, kann *жи-* ie. **ghī-*, **ghei-d-* 'Ziege' widerspiegeln; vgl. griech. χί-μαιρα, dt. *Geiß*, engl. *goat* mit dieser Bedeutung. Diese Reihe etymologisch verwandter Benennungen der Ziege in verschiedenen indoeuropäischen Sprachen soll durch das albanische Wort *dhi* 'Ziege' ergänzt werden. G. Meyer nahm an, daß alb. *dhi* (δῖ) zur Gruppe ai. *ajá*, lit. *ožỹs* 'Ziegenbock' gehört[54]. Diese Etymologie ist in phonetischer Hinsicht nicht ganz einwandfrei. U. E. besteht mehr Wahrscheinlichkeit, daß alb. *dhi* ein indoeuropäisches **ghi̯-* fortsetzt; vgl. die völlige Identität von Form und Bedeutung: Das Vorhandensein des anlautenden Konsonanten *dh* (eigtl. stimmh. interdental. *ð*) im albanischen Wort weist möglicherweise auf einen palatalen Charakter des ursprünglichen ie. Konsonanten: **ĝhī-*; vgl. andere bekannte Beispiele dieses Reflexes im Albanischen, z. B. *-dhëndër* 'Schwiegersohn' < **ĝenəter*. Übrigens ist hier darauf hinzuweisen, daß die Entscheidung, ob *gh* oder *ĝh* vorliegt, im gegebenen Falle nicht kategorisch sein kann, angesichts der ungenügenden Klarheit der Vertretungen von *gh* und *ĝh* im Albanischen; vgl. die neuere Arbeit des bekannten englischen Albanisten S. E. Mann[55] über die Reflexe der indoeuropäischen Konsonanten in der albanischen Sprache. In diesem Zusammenhang ist es schwer zu sagen, ob das *ж* in russ. *жимолость* ursprünglich oder sekundär ist (vgl. poln. dial. *zimołza*, *zimałza*), um so mehr, als bekanntlich in den Vertretungen jener Velare, deren alte Palatalität als sicher bewiesen gelten darf, die Zahl der Unregelmäßigkeiten keineswegs gering ist. So steht offensichtlich dem nichts im Wege, die Identität von alb. *dhī* und russ. *жи*(*молость*) anzuerkennen.

Eine wichtige Perspektive der dargelegten Etymologie liegt darin, daß sie die Möglichkeit einer Bewahrung der alten ie. Benennung der Ziege: **ghī-* im Slawischen zuläßt. Dieser Umstand verdient ein gewisses Interesse, besonders wenn man in Betracht zieht, welch eigenartige und komplizierte Situation bei den Benennungen der Ziege im Slawischen wie auch andererseits in den Beziehungen der slawischen zu den indoeuropäischen Benennungen herrscht.

---

[54] *G. Meyer*. Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache. Straßburg, 1891. S. 85; vgl. auch die Wiederholung dieser Gleichung in den Arbeiten: *Ernst, Julius Leumann*. Etymologisches Wörterbuch der Sanskrit-Sprache. Leipzig, 1907. S. 10; *J. Pokorny*. Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949. S. 7; *M. Mayrhofer*. Kurzgefaßtes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Heidelberg, 1953. S. 23; vgl. ferner auch: *W. Cimochowski*. Dwie etymologie albanskie // Lingua Posnanieneis. Bd. I. 1949. S. 184.

[55] *S. E. Mann*. The Indo-European Consonants in Albanian // Language. Bd. 28. 1955. P. 33—35.

SLAWISCHE ETYMOLOGIEN 20—23*

slaw. *korkъ*; russ. *холудина*, *захолустье*; russ. *Полота*; poln. *Gopło*

20. Slaw. *korkъ* 'Bein'

Auf diese gemeinsame Form gehen zurück ksl. длъгокракъ 'Art Insekt' (Langbein), bulg. *крак* 'Bein, Fuß', skr. *кра̑к* 'langes Bein', slowen. *krâk*, poln. dial. *krok* 'Teil des Leibes zwischen den Schenkeln', bulg. *крáка* 'Bein, Fuß', slowen. *kráka* 'Schweinefuß', ferner die russ. Weiterbildung *ó-корок* 'Hinterkeule vom Schwein'. Die anderen slawischen Entsprechungen haben andere Bedeutungen, vor allem: 'Schritt'; alle diese Bedeutungen aber lassen sich leicht als Entwicklungen aus gemeinslaw. **korkъ* 'Bein' deuten. Von den übrigen ie. Entsprechungen wird gewöhnlich auf lit. *kárka* 'Teil des Beines (vom. Schwein)' verwiesen [1]. Freilich bedeuten die eben genannten Daten noch keine Etymologie.

Im vorliegenden Falle erscheint es ganz angebracht, mit einigen allgemeinen Überlegungen zu beginnen. Ie. **pod-s* 'Fuß' wurde in den slawischen und baltischen Sprachen infolge besonderer lokaler Bedingungen früh durch Neubildungen ersetzt. Der Ersatz erfolgte auf expressivem Wege; vgl. slaw. *noga*, eigtl. 'd. Knöcherne': slaw. *nogъtь* 'Nagel an Finger od. Zehe', lit. *nagà* 'Huf', griech. ὄνυξ 'Nagel, Kralle'. Eine analoge Erscheinung finden wir später in einzelnen slawischen Sprachen, vgl. bulg. *крак* 'Bein, Fuß'; *нога* aber blieb in dieser Bedeutung bekanntlich nur in einigen Dialekten des Bulgarischen erhalten. Der

---

* Übersetzt von U. Bamborschke

[1] *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908—13. Bd. I. S. 571—572; *A. Preobraženskij*. Этимологический словарь русского языка. Bd. I. S. 298; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1953ff. Bd. II. S. 261.

Ersatz erfolgte auch hier durch expressive Mittel, wovon die möglichen etymologischen Verbindungen von slaw. **korkъ* zeugen (näheres darüber s. u.). Die Rolle der expressiven Neubildungen auf dem Gebiete der Benennungen von Körperteilen ist im allgemeinen bekannt, vgl. z. B. slaw. *rǫka*, lit. *rankà* 'Hand' (eigtl. das, womit man sammelt: lit. *riñkti* 'sammeln'). Der Hauptweg des Eindringens dieser Neubildungen ist der metaphorische Gebrauch. Dadurch erklärt sich die Vielfalt von Benennungen der wichtigsten Körperteile in den einzelnen ie. Sprachen.

Im Hinblick hierauf könnte man folgende Etymologie vorschlagen: slaw. **korkъ*: Ableitung mittels Suffix *-kъ* von der Verbalwurzel **kor-* 'hängen' (: lit. *kárti* id.), die im Slawischen kaum vertreten ist. Hiervon **korkъ* = 'das, was hängt, baumelt', vgl. das sehr nahestehende und mit dem gleichen Suffix erweiterte lettische Verb *kar̂cinât* 'schütteln, in zappelhafte Bewegung bringen', *kar̂cinêt* 'sitzend die Beine baumeln lassen'[2]. Wie ersichtlich, grenzen diese lettischen Wörter sowohl in phonetisch-morphologischer (*kar̂cinât*, *kar̂cinêt* < **kark-*) wie auch in semantischer Hinsicht an die slawischen. Mit der Zeit verlor slaw. **korkъ* seinen expressiven Charakter und begann in einem Teil der slawischen Sprachen als Grundbenennung des Fußes zu füngieren.

21. russ. *холудина* 'lange dünne Stange', *захолустье* 'abgelegener Ort'

Im allgemeinen hat das unzusammengesetzte Wort — russ. *холудина* — keine Beachtung seitens der Etymologen gefunden (es fehlt z. B. in Vasmers Wörterbuch), während das zweite Wort: *захолустье* hinsichtlich des Vorhandenseins von volksetymologischen Formen in der Art von *захолужье* Gegenstand von Mißverständnissen war und als unklar bezeichnet wurde[3]. Russ. *холудина* entwickelte sich aus *хлудина*, vgl. russ. *хлуд* 'Stange, Knüppel'[4], was schon V. I. Dal' bekannt war. Das zusätzliche *о* (*холудина*) erweist sich als Wuchervokal. Russ. *захолустье* darf man als Ableitung des oben erwähnten Nomens auffassen, vgl. russ. dial. *х(о)лудьё*, angeführt im Wörterbuch von V. I. Dal', mit der Erklärung 'хворост, мелкий лес, кустарник'. So kann denn die ursprüngliche Bedeutung von *захолустье* (koll.) mit 'verwilderter, von Strauchwerk überwachsener Platz' angesetzt werden.

---

[2] *K. Mülenbach — J. Endzelin.* Latviešu valodas vārdnīca. II sējums. Riga, 1925 bis 1927; I sējums. Papildinājumi 1934—1938. S. 588.

[3] *A. Preobraženskij.* Op. cit. Bd. I. S. 243; *M. Vasmer.* Op. cit. Bd. I. S. 446.

[4] *E. Berneker.* Op. cit. Bd. I. S. 390; *M. Vasmer.* Op. cit. Bd. III. S. 247—248; vgl. *V. Machek.* Untersuchungen zum Problem des anlautenden *ch-* im Slavischen // Slavia XVI. 1939. S. 180—181.

22. Russ. *Полота*, rechter Nebenfluß der Düna

Hinsichtlich des alten russischen Namens des Flusses Polota besteht seit langem die Meinung, daß er zur Benennung bestimmter Wasser-Reservoirs, bzw. Sümpfe (slaw. **pol-t-*, **pъl-t-*) gehört; vgl. poln. *Płock*, *Pełty*, *Pełtew*, das auch den baltischen Sprachen bekannt ist: lit. *Paltìs*, *Pálčia-balės*, lett. *pal̃ts*, *pal̃te* 'Pfütze, stehendes Gewässer' [5]. Neben diesen sehr populären Deutungen, existiert eine andere, derzufolge die oben aufgeführten slawischen Gewässernamen und anderen Ortsbezeichnungen mit slaw. *polje*, dt. *Feld* zusammenhängen [6].

Möglicherweise ist jedoch die Ähnlichkeit von russ. *Полота*, *Полоцк* und poln. *Płock*, *Pełty*, *Pełtew* irreführend, und wir haben es bei den russischen Wörtern mit Bildungen anderer Art zu tun. U. E. kann russ. *Полота* mit einer ihrer Herkunft nach lettischen Ortsbezeichnung des Gebietes von Wilna zusammenhängen, u. zw. den Flußnamen *Leta*, *Lata*, *Letanka*, *Łota*. Mit diesen Namen hat sich K. Būga beschäftigt, der ein reiches Material zusammengetragen und bearbeitet hat: «*Lãt-upis*- 1. Nebenfluß der Striuna im Kreise Kaunas ..., 2. Fluß im Kirchspiel Anykščiai = lett. *Lat-upe*, Nebenfluß d. Gauja ,.., *Lata* — kl. Flüßchen in Vidzeme ... = lit. **Latà*, woher poln. *Łota* — Fluß bei Dorf gleichen Namens, Kr. Oszmian, 17 Werst von Oszmian ... : *Latuvà* — l. rechter Nebenfluß d. Flusses Šventoji in den Kreisen Troškūnaĩ, Anykščiai 2. Nebenfl. d. Flusses Levuõ ... im Kr. Pasvaljai ...» [7]. «*Łotwa* — Flüßchen, rechter Nebenfl. d. Turgija bei dem Dorf Łotwyna, Kr. Stuck ... == *Łotwa* — See bei d. Dorfe *Łotwa* ... aus dem älteren russ. Namen **Лотъва** (RFV. Bd. LXXII. S. 188) = lit. *Latuvà* l. rechter Nebenfluß d. Šventoji i. d. Kreisen Anykščiai, Troskūnaĩ, 2. Nebenfluß d. Levuõ...: lett. *Lata* 'Charlottenberg' .... *Latas muiža*..., *Latas kalns* ..., *Lotenieki*... (*o* aus *a*), *Latupe* ... und *Latvasas*. Neben *Lat*- existieren auch Parallelformen *Lei*-: lett. *Letes* ..., *Liel-Letva* . .. (in der Mundart der Gegend: *Latva*). Der Name *Latuva*, eines Nebenflusses d. Šventoji, ist offenbar entstanden aus **Letuvà*: ripa Lettowiae ... *Łotwa* l. Vorwerk ... Kreis Mohylew, 2. Dorf im Kreis Mohylew ...können ihren Namen von dem Namen eines Flusses oder Sees *Latuvà* oder von dem Völkernamen **Lat*(*u*)*và* (poln. *Łotwa* = 'die Letten') erhalten haben. Auch *lãtvis* und **lêtis* (Lothos, qui proprie dicuntur Lethigalli, Heinrich von Lettland X, 3...)

---

[5] *J. Otrębski*. Les mots d'origine commune dans les langues slaves et baltiques // Lingua Posnaniensis. Bd. I. 1949. S. 149; *M. Vasmer*. Op. cit. Bd. II. S. 397.

[6] *J. Rozwadowski*. Studia nad nazwami wód słowianskich. Kraków, 1948. S. 182ff.; *M. Rudnicki*. Rez. d. zitierten Buches von J. Rozwadowski // Lingua Posnaniensis. Bd. I. 1949. S. 272—274.

[7] *K. Būga*. Upių vardų studijos ir aisčių bei slavénų senovė // Tauta ir Žodis. Bd. I. Kaunas, 1923. S. 17.

können ihren Namen von dem alten Flußnamen *Latuvà* und *Letė*[8] erhalten haben. Und weiter: «DenVolksnamen *let-* (*Lette*, *letigali*) u. *lat-* (*lãtvis*, *Лотыгола*) leite ich von dem Flußnamen **Leta* und **Lata* ab. Die Letten erhielten ihren Namen keineswegs ... in Lettgallien, sondern schon früher, d. h. vor der Übersiedlung aus dem Wilnaer Gebiet, wo sich bis heute die alten Flußnamen *Letà* und *Latà* behauptet haben ... Beide Namen brachten die Letten aus dem Gebiet von Wilna mit nach Lettgallien ..., und von dort nach Vidzeme...»[9].

Üblich und gesetzmäßig ist die Beziehung: 'Flußname, Gewässername > Benennung einer ethnischen Gruppe'; wahrscheinlich hatte Būga recht, wenn er **letis*, *latvis* 'Lette' aus dem Gewässernamen *Leta*, *Lata* erklärte. Wir stellen hierzu auch russ. *По-лота*, nur kann dies weniger als gleichwertiger, in eine Reihe mit *Leta*, *Lata* zu stellender Gewässername gelten, sondern dürfte vielmehr als Sekundärableitung von einem bereits vorliegenden Völkernamen anzusehen sein. Entsprechend dem Gesagten kann russ. *По-лота* als 'Fluß an der Grenze zu lettischen Volksstämmen' aufgefaßt werden. Die Frage des Verhältnisses von ethnischen und Gewässernamen in der einen, wie der anderen Richtung wird von H. Krahe analysiert[10]. Seine Beispiele für die Ableitung eines Gewässernamens aus einem Völkernamen sind: *Merskaja* (*Rečka*) < *Merja*, *Čeremiska* < *Čeremisy* (S. 243). Zugunsten unserer Deutung von *Полота* = 'an der Grenze zu den Letten.' spricht die präfixale Bildung des russ. Namens, die es nicht gestattet *По-лота* und *Leta*, *Lata* vorbehaltlos gleichzusetzen.

23. Poln. *Gopło*, Name eines Sees

A. Brückner versuchte diesen interessanten Namen zu erklären, indem er hier die Wurzel *gop-*, *gep-* ansetzte, vgl. poln. *gapa*, *gapić się* 'gaffen, mit offenem Mund schauen', woher die mögliche Ausgangsbedeutung 'weites, unter Wasser stehendes Gebiet'[11]. Im allgemeinen ist das Wort dunkel, und das weist gleichfalls auf seine Altertümlichkeit hin. Indessen ist die Etymologie Brückners nicht die einzig mögliche Deutung unseres Namens, wovon die in derartigen Fällen nützliche Zusammenstellung vor allem mit Wörtern ein und desselben Bedeutungsfeldes zeugt. Im Zusammenhang hiermit gilt es, die Aufmerksamkeit auf das

[8] *K. Būga*. Aistiškosios kilmės Gudijos vietovardžiai // Tauta ir Žodis. Bd. I. S. 29f.

[9] *K. Būga*. Rezension des Buches: Latvijas vietu vārdi. I daļa. Riga, 1922 // Tauta ir Žodis. Bd. I. S. 388; vgl. ferner *K. Mülenbach — J. Endzelin*. Latviešu valodas vārdnīca, s. v. *Late*; *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. 5. Lf. Heidelberg; Göttingen, 1956. S. 343.

[10] *H. Krahe*. Völkernamen und Flußnamen // Festschr. f. Friedrich Zucker. Berlin, 1954. S. 227—244.

[11] *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 160.

altpolnisohe Wort *pło* 'weite Wasserfläche, See', dial. *pło* 'Regenpfütze' zu lenken, das slaw **ple-*, **plese* (*s*-Stamm) fortsetzt; vgl. tschech. *pleso* 'Teich, Wasser-Reservoir', russ. *плёс* 'Flußabschnitt von einer Biegung zur anderen'; vgl. ferner aus der Toponymie: slowen. *Pleso*, wie auch *lacus Pelsonis* 'Neusiedlersee' (zur Römerzeit)[12]. Den nahen Beziehungen des Seenamen *Gopło* zu dem poln. Appellativum *pło* hat schon seit längerer Zeit der polnische Spezialist für alte slawische Toponomastik des Weichselbeckens und des Ostseegebietes, M. Rudnicki, seine Beachtung geschenkt. Er erklärt *Gopło* als ursprünglich slawischen, polnischen Namen, der sich aus dem oben charakterisierten Stamm *pło* und einem besonderen Augmentativpräfix *go-* zusammensetzt, woher *go-pło* = 'großer, weite Gebiete bedeckender See'[13].

Wir übernehmen die Etymologie M. Rudnickis *Go-pło* < *pło* in ihren Grundzügen. Zweifel verursacht nur das hier abzutrennende Präfix *go-*. Fest steht jedoch, daß es sich bei *Gopło* um eine alte Zusammensetzung handelt, deren erster Teil recht unklar ist. In phonetischer und morphologischer Hinsicht kann dieser Name eine Zusammensetzung **gotъ plo* fortsetzen, in der **gotъ* die gemeinslawische Form vom Gen. Plur. des Völkernamen 'die Goten' darstellt; vgl. got. *Gotones*, in possessiver Funktion: 'Goten-See'. Diese Funktion des Genitivs ist gut bekannt; vgl. insbesondere die unserem Falle nahestehenden baltischen Bildungen, des Typs altpreuß. *Tlokunpelk*, eigtl. *tlokun pelk* 'Bären-Sumpf, Ortsbezeichnung im ehem. Ostpreußen[14]. Die phonetische Entwicklung von *gotъ plo* vollzog sich in der Vereinfachung der Konsonantengruppe **go(t)plo* > *Gopło* in dieser erstarrten Verbindung. In historischer Hinsicht ist diese Etymologie gerechtfertigt durch das, was wir über die zu Beginn unserer Zeitrechnung erfolgte Ansiedlung von Goten an der Weichselmündung, möglicherweise unweit von slawischem Territorium, wissen. In der Toponymie dieses Gebietes erinnert vieles an den Aufenthalt gotischer Stämme bzw. an die Bekanntschaft der Slawen mit ihnen: *Gdynia*, *Gdańsk*, *Grudziądz* < got. *Greutungi*. Außerdem — und das ist nicht weniger wichtig — überzeugt schon eine flüchtige Bekanntschaft mit den historischen Quellen davon, daß der See *Gopło*, einstmals weitaus wasserreicher als jetzt, den wichtigsten Schnittpunkt der Wasserwege darstellte, die Warthe, Weichsel und Ostsee miteinander verbanden. Gerade über den *Gopło* führten die Handelsstraßen von der Adria zur Weichsel und der Ostseeküste: die berühmte «Bernsteinstraße» des Altertums, an der entlang sich Spuren in Form von Bernstein erhalten haben, wie man ihn im See *Gopło* bei niedrigem Wasserstande finden kann.

---

[12] Siehe *A. Brückner*, s. v. *pło*; *F. Miklosich*. Die Bildung der slawischen Personen und Ortsnamen. Heidelberg, 1927. S. 297—298.

[13] *M. Rudnicki*. Gopło i Pelso // Slavia Occidentalia. Bd. III / IV. S. 292—323; *ders.*, *Gopło* // ebd. Bd. VII (1928). S. 505—507; *ders.* // Lingua Poenaniensis. Bd. 1 (1949). S. 273.

[14] *G. Gerullis*. Die altpreussischen Ortsnamen. Berlin; Leipzig, 1922. S. 183.

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 24—27

слав. *žьzlъ*; слав. *kǫdělь* (*kǫdeľa*) и *kǫdrь*; рус. *ра́жий*; рус. *обоюдный*

24. Слав. *žьzlъ*

Анализируемое слово представлено во всех трех группах славянских языков, внутри которых оно, однако, распределено неравномерно: из южнославянских оно известно, прежде всего, старославянскому — **жьзлъ** 'ῥάβδος, посох', ср. болг. *же́зъл* 'жезл' и сербохорв. *же́жељ* 'дубинка, кол; палка, к которой привязывают собак вместо цепи', также *же́зло* 'жезл'. Из восточнославянских сюда относятся рус. *жезл* 'знак власти, скипетр' и диал. (колым.) *жезе́л* 'палка'. В западнославянских языках можно назвать чеш. (и словац.) *žezlo* 'жезл'.

Болг. *же́зъл* не может считаться закономерным развитием ст.-слав. **жьзлъ**, но, вероятно, является книжным заимствованием из церковнославянских текстов, если не из русского *жезл*, ср. абстрактные значения русского и болгарского слов. Рус. *жезл* в свою очередь заимствовано из церковнославянского. Весьма подозрительны, далее, формы чешского языка — др.-чеш. *žezl* (*zlatý žezl* в рукописи начала XV в.), *žezlo* 'sceptrum' [1], очень близкие церковнославянским формам по значению: 'скипетр, знак власти'. Ясно, что это последнее значение развилось вторично и отсутствие признаков его самостоятельного развития в данном языке служит аргументом в пользу заимствования слова, распространившегося книжным путем. Так, сербохорв. *жезло* (*жезло краљевско*) обязано своим распространением «школам и проповедни-

---

[1] *J. Gebauer*. Historická mluvnice jazyka českého. Díl III. Tvarosloví. 1. Skloňování. Praha, 1896. S. 95.

кам», как на это указывают Ф. Ивекович и И. Броз в своем словаре[2]. Сербохорватский язык наряду с книжной формой *жезло* имеет также форму с конкретным обиходным значением *же̏жел* (см. выше). К ней примыкает русское народное *жезе́л* и, наконец, собственно старославянское слово — **жьзлъ**, обнаруживающее столь же конкретное, отнюдь не символическое значение 'палка, посох, ῥάβδος' [3]. Эти три последних слова образуют как бы более древний пласт в группе привлекаемых здесь слов и сходятся в близких значениях 'палка, кол, дубинка, посох', очевидно, послуживших материалом для развития символических значений.

Этимология слав. *žьzlъ*, *žezlъ* не ясна. Его сравнивают как исконно родственное с нем. *Kegel*, др.-в.-нем. *kęgil* 'кол' [4]. Это сравнение прочно вошло во все этимологические словари, тем не менее оно элементарно ошибочно, так как не учитывает истории немецкого слова. Др.-в.-нем. *kęgil* представляет собой морфологическое новообразование, в котором суффикс *-ila* играет уменьшительную роль. Вместе с другими родственными германскими формами это слово восходит к герм. **kag* [5].

Произведение славянского слова от корня *жгу*, *жечь*, предлагаемое С. Младеновым [6], мало вероятно. К тому же, С. Младенов сохраняет и старое сравнение с нем. *Kegel*, которое не может иметь ничего общего с *žьgǫ* < **geg-* < **deg-*.

В слав. *žьzlъ*, *žezlъ* допустимо видеть древнее образование. Определению соответствий в прочих родственных индоевропейских языках в немалой степени препятствует звуковая сторона славянского слова. Первоначальный звуковой облик слова мог измениться в результате взаимовлияния согласных, при этом могла произойти обычная регрессивная ассимиляция по звонкости **žьzlъ* < * *žьslъ*. Условия для этого были благоприятны после I палатализации **žьzlъ* < **gьslъ*. Изложенное предположение позволяет реабилитировать старое сопоставление слав. *žьzlъ* и др.-исл. *geisl̦* 'палка', которое представляется М. Фасмеру невозможным в фонетическом отношении [7]. Весьма важна бли-

---

[2] *F. Iveković, I. Broz*. Rječnik hrvatskoga jezika. Svezak II. U Zagrebu, 1901. S. 867.

[3] *L. Sadnik, R. Aitzetmüller*. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955.

[4] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 414; *L. Sadnik, R. Aitzetmüller*. Указ. словарь. S. 340; *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 594.

[5] *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Auflage 17 / Bearbeitet von W. Mitzka. Berlin, 1957. S. 360.

[6] *С. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. Софии, 1941. С. 165.

[7] *M. Vasmer*. Указ. словарь. Там же.

зость значений славянского и древнеисландского слов. Здесь целесообразно привести формы, обычно сопоставляемые с исландским словом: др.-исл. *geirr* 'метательное копье' (с результатом грамматического чередования), норв. диал. *geisl* 'лыжная палка, луч', *geisle*, *gisle* 'палка, посох', швед. *gissel* 'бич', др.-в.-нем. *geisala* 'бич', греч. χαῖος 'пастушеский посох', галльск. *gaesum* 'тяжелое метательное копье' [8]. Наиболее типичные значения этих родственных слов — 'палка, (пастушеский) посох' и 'копье'. Из славянских названий, кроме перечисленных выше, сюда относится также сербохорват. *жȁжалица* 'копье' [9] < **žьzl*.

Что касается дальнейших соответствий для германских и славянских слов с их древними значениями, то следует обратить внимание на несколько форм с функциями числительного 'тысяча' в ряде южных индоевропейских языков. Как наиболее четкую из них возьмем греческую форму аттич. χίλιοι (ион. χείλιοι, лесб. фессал. χέλλιοι) 'тысяча'. Греческие слова продолжают, в зависимости от диалектного варианта, **ghesl-* или **ghisl-* [10]. Крупное числительное может представлять собой развитие более раннего конкретного значения, абстракцией которого является значение числа. В основе такого числительного может лежать, например, обозначение палки, особенно пастушеского посоха, который обычно покрывался множеством зарубок, служивших целям деловых расчетов. Практическое значение этого древнего способа счета и самóй палки как меры счета, помимо других ее производственных функций в пастушеском быту, — очевидно. Славянская этнография располагает ценными свидетельствами о сохранении этого обычая до наших дней в отдельных районах — Закарпатской Украине, на польских склонах Карпат, в Моравской Валахии [11]. Для иллюстрации предполагаемого развития значений 'палка с зарубками для счета' > 'тысяча' показателен такой простой пример: современное укр. *карбóванець* с символическим значением 'рубль, денежная единиц' происходит из польского языка, в диалектах которого известно слово *karbowaniec*, обозначающее палку с зарубками, на которой регистрировали количество сжатого хлеба в поле [12].

---

[8] *A. Jóhannesson*. Isländisches etymologishes Wörterbuch. Bern, 1952. S. 286—287.

[9] *F. Iveković*, *I. Broz*. Указ. словарь. I. S. 561. II. S. 862.

[10] *É. Boisacq*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 2-e éd. Heidelberg; Paris, 1923. P. 1060.

[11] *R. W. Harasymczuk*, *W. Tabor*. Etnografia połonin huculskich // Lud. T. XXXV. Lwów, 1937. S. 150—151; *L. Młynek*. Życie sierskich pasterzy przed 20 laty // Lud. T. IV. 1898. S. 289; *O. Schrader*. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Aufl. 2 / Herausgeg. von A. Nehring. Bd. 2. Berlin; Leipzig, 1929. S. 341. Таблица LXXXIX.

[12] Ср. информацию А. Севинского из местности Острув около Сокали. Lud. T. II. 1896. S. 62. Примеч. 1.

Эти рассуждения непосредственно связаны с вопросом о генезисе значения 'тысяча' у греч. χίλιοι и ближайше родственных форм. Общеиндоевропейское название тысячи неизвестно, и вряд ли когда-либо существовало такое название, которое охватывало бы все индоевропейские диалекты. Все известные индоевропейские названия тысячи региональны. К числу основных германо-балто-славянских изоглосс относится соответствие герм. **þusundi* — лит. *tūkstantis* — слав. *tysętja*, ограниченное только названными языками. Причина оформления этого общего для части индоевропейских диалектов числительного коренится в длительном общении диалектов. Тем не менее и в славянском, и в германском имелись слова, которые тоже могли быть использованы для обозначения тысячи, однако в условиях названного взаимодействия диалектов не были использованы и остались при своих древних значениях (примеры выше). В то же время в греческом и некоторых других языках древнее **ghislo-*, **gheslo-* 'палка, посох' — ср. родственное χαῖος (**ghaisos*) 'пастушеский посох' — выдвинуто в роли числительного 'тысяча' вплоть до забвения прежнего значения.

Эта попытка определить круг соответствий слав. *žьzlъ*, *žezlъ* усложняется указанием на палатальный характер задненёбного в и.-е. **ĝheslo-*, **ĝhislo-* : санскр. *sahásram*, авест. *hazaϑrəm*. Однако славянский знает целый ряд таких нарушений, которые сами по себе не могут поколебать известных сопоставлений при условии надежности остальных соответствий.

Примечание. Чеш. *žehlo*, *žehle* 'tyčka k tenatům', которое В. Махек относит к *žezlo*, видя в *žehlo* результат диссимиляции *ž-z* > *ž-h* [13], скорее всего, не имеет ничего общего с нашими словами, но связано непосредственно с болг. *жéгъ́л*, *жеглá* 'поперечный прут, соединяющий верхнюю и нижнюю части воловьего ярма'. Что касается болгарского слова, то оно, вне всякого сомнения, этимологически связано с глаголом *жежá* 'жгу', как на это указал уже С. Младенов, который, однако, неправильно отнес эти слова также к группе *жезъл* и родственных [14]. Развитие значений 'жечь' > 'поперечный прут в ярме' будет вполне вероятным, если представить себе типичное устройство воловьего ярма, применяемого также и в Болгарии: верхняя и нижняя деревянные части соединяются вертикальными прутьями, вдеваемыми в специальные отверстия [15]. Железные прутья (*жегъл*, *жегла*) могли по-видимому, одновременно использоваться для прожигания отверстий в деревянном ярме,

[13] *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. S. 594.

[14] *С. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. С. 165.

[15] *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Część I: Kultura materialna. Kraków, 1929. S. 647—652, специально — изображение болгарского ярма см. рис. 524, 5) и 525, 4).

чем можно объяснить и их названия. Деревянные прутья являются в данном конкретном случае, скорее, вторичными заменителями.

25. Слав. *kǫdělь* (*kǫdel'a*) и *kǫdrь*

Рус. *куде́ль*, *куде́ля* 'лен, приготовленный для пряденья', укр. *куде́ля* 'прялка', ц.-слав. **кѫдѣль**, болг. *къде́ля* 'кудель', сербохорв. *ку̏деља* 'конопля, пенька; кудель', словен. *kodȇlja* 'Rupfe (soviel Flachs, Hanf, als man auf einmal um den Rockenstock windet)', чеш. *koudel* 'пакля', словац. *kúdeľ*, польск. *kądziel* 'прялка, веретено', в.-луж. *kudźěl*, н.-луж. *kuźeľ* 'прялка', полаб. *kǫdéľa*. Эти славянские формы сравнивают с лит. *kedenù*, *kedénti* 'трепать, чесать шерсть'. В пределах славянского сюда же относят рус. *кудéрь*, *ку́дри*, слав. *kǫdrь*, далее — *кудло́*, слав. *kǫdьlo* [16]. Сразу следует отметить, что указанные сравнения внутри славянских языков приемлемы, однако отнюдь не в том смысле, который в них обычно вкладывается.

Разберемся в состоянии разработки вопроса. М. Фасмер, который относит к слав. *kǫdeľa* также *kǫdrь*, рус. *кудéрь*, *ку́дри*, сопоставляет с последним укр. *ку́дер*, *куди́р*, болг. *къ̀дър* 'кудрявый', сербохорв. *кудар*, *кудра* то же, словен. *kǫ́der* 'кудря', чешск, *kudrna* 'локон', польск. *kędzior*, в.-луж. *kudźeř*, н.-луж. *kuźeř* [17]. Однако этот перечень не полон. Э. Бернекер, на которого ссылается М. Фасмер, называет еще такие формы, принципиально важные, на наш взгляд, для определения этимологии всей анализируемой здесь группы слов, как чеш. *kadeř* 'кудри', *kadeřavý* 'кудрявый'. Привлечение этих чешских слов, несомненно родственных и одновременно столь отличных по вокализму, весьма усложняет общую картину, и Э. Бернекер не скрывает этого [18]. В таком виде, в каком материал интерпретирован у Э. Бернекера и — в последнее время — у М. Фасмера, этимологию нельзя считать выясненной. Можно думать, что положение не изменится, пока основными соответствиями слав. *kǫdeľa* и близких форм будет по-прежнему считаться лит. *kedenù*, *kedénti* 'трепать, чесать шерсть', на первый взгляд, весьма близкое во всех отношениях.

Мне представляется допустимым охарактеризовать слав. *kǫdeľa*, *kǫdělь*, далее — *kǫdrь*, *kǫdr'avъ*, а также *kǫdьlo*, рус. *кудло́*, *кудла́тый* как специфически славянские образования, сложения приименного префикса *kǫ-* [19] с корнями

---

[16] *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1908—1913. S. 598—599; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 680; *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 227—228.

[17] *M. Vasmer*. Указ. словарь. I. S. 681.

[18] *E. Berneker*. Указ. словарь. I. S. 598—599.

[19] Аналогичного взгляда на эти образования придерживается Р. М. Цейтлин, исследующая сложения с приименными префиксами в славянских языках.

der-, *dьr-*, *ar-* 'драть, рвать', *děl-*, *del-*, *dьl-* 'длина, длинный'. Так, слав. *kǫdelь* представляет собой сложение именно с этим последним корнем, который в свободном виде содержится в семантически близком существительном рус. *дель*. Обстоятельное описание предмета, обозначаемого этим словом, привожу из П. И. Мельникова (А. Печерского): «...толстая пеньковая нитка для неводов. Бывает четырех сортов: одноперстник, для ячей в палец, двухперстник, трехперстник и ладонник, то есть для ячей в ладонь. Делью называется также часть сети в восемь сажен длины и в полтора аршина ширины» (На горах. Кн. I). Однако и это значение, и значение, обнаруживаемое этой основой в *kǫdelь*, представляются закономерными развитиями основного значения *del-*, *dьl-* 'длина, длинный'. Между прочим, это основное значение без особого труда можно определить и в самых сложениях *kǫ-delь*, *kǫ-del'a*, ср. словен. *kǫdȇlja* 'количество льна или пеньки, которое можно обернуть за раз вокруг прялки'. В этом терминологически окрашенном значении отчетливо проступает основное значение 'длина'. Понятна и модифицирующая роль приименного префикса, откуда *kǫ-delь* первоначально означало 'нечто имеющее определенную длину', т. е. лен, пеньки, растрепанные до известной длины для пряденья. Предположение, согласно которому, слав. *kǫdel'a* первоначально было обозначением самой прялки [20], не подтверждается данными этимологии. Географическое распространение значения 'прялка' у этого слова также показательно: оно охватывает польский, лужицкие и украинский, т. е. компактную срединную территорию, в то время как полабский, русский и все южнославянские языки, а также отдельные диалекты польского [21] знают значение, согласное с изложенной этимологией **kǫ-delь* 'лен, пенька определенной длины'.

Любопытное слово *дель* в указанном выше значении в Словаре М. Фасмера, к сожалению, отсутствует. Во всяком случае его нельзя путать с омонимом *дель* 'пчелиное дупло, борть', иного происхождения — к *дело*, *деть* [22].

Возвращаясь к главной теме нашей заметки, еще раз подчеркнет, что близость слов *kǫdelь* (*kǫdel'a*), *kǫdьlo* и *kǫdrь* следует понимать в том смысле, что все это сложения с одним и тем же префиксом *kǫ-*. На этом их общность кончается, и в остальном это формы, произведенные от разных корней. Что касается необычных чеш. *kadeř*, *kadeřavý*, то и они вполне поддаются анализу как сложения корня *der-*, *ar-* 'драть, рвать' с префиксом с тем лишь отличием, что в данном случае фигурирует неназализованный вариант

---

[20] Ср. *J. Heydzianka-Pilatowa*. Słownictwo połabskie w zakresie wyprawy lnu // Slavia Occidentalis. T. 12. Poznań, 1933. S. 261.

[21] *J. Karłowicz*. Słownik gwar polskich. T. II. S. 329—330.

[22] *M. Vasmer*. Указ. словарь. I. S. 338.

префикса *ка-*. Этот прииженной префикс вообще отличается обилием вариантов: *kǫ-*, *ko-*, *ka-*[23].

26. Рус. *ра́жий*

Сюда относятся следующие формы, являющиеся почти исключительно достоянием диалектов: вологодск., олонецк., яросл., твер., пензенск., тамб. *ра́жий*, также в восточных диалектах — *ражо́й*, *ражо́вый* 'дюжий, матерый, дородный; крепкий, плотный, здоровый, сильный; хороший, годный; видный, красивый'; *ражо́нный* арх. 'весьма большой, здоровенный', *ра́жево*, *ра́же*, *ражо́* 'много, обильно'[24].

Среди этимологов, занимавшихся этим словом, царит полное единогласие в вопросе его происхождения: рус. *ра́жий* толкуется как форма от основы *род*, ср. близкое по значению рус. *дородный* 'рослый, крупный'[25]. Интересно отметить, что как А. Г. Преображенский, так и М. Фасмер повторяют в данном случае мысль, высказанную еще В. И. Далем, который в статье словаря, посвященной слову *ражий*, говорит: «Судя по значения слов *родный* (матерый) и *доро́дный*, *ражий* одного корня с ними, от *рожать*». Думается, однако, что именно к этому месту труда выдающегося русского лексикографа следовало отнестись более критично. Внимательное знакомство с основой *род*, а главным образом с глагольными формами, показывает, что нормальным вокализмом форм всюду является *о*. Примеры с вокализмом *а* для этой славянской основы тоже известны, но они обладают совершенно недвусмысленной морфологической характеристикой: это итеративные формы типа ст.-слав. **раждати**, и вокализм *а*, наличие которого объясняется удлинением корневого гласного, выполняет здесь определенную функцию[26]. Других случаев с вокализмом *а* эта основа не знает. Такие истины не имело бы смысла повторять лишний раз, если бы к этому не побуждало содержание соответствующей статьи в новейшем этимологическом словаре, где как раз, вопреки очевидной закономерности, ступень *а* абстрагируется от условий своего употребления и обнаруживается в прилагательном *ра́жий*.

Ясно, что эту этимологию нужно оставить. Слово *ражий* можно гораздо проще и вероятнее объяснить как прилагательное, произведенное с суффик-

---

[23] Рус. *кучеря́вый* не имеет сюда никакого отношения. Его этимологию см. *M. Vasmer*. Указ. словарь. I. S. 709.

[24] *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. IV. М., 1955. С. 12.

[25] *А. Г. Преображенский*. Этимологический словарь русского языка. Т. II. С. 174; вслед за ним — *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. Heidelberg, 1955. S. 483.

[26] В рус. *рождать*, *рожать* вокализм *о* заимствован из *родить*.

сом *-jь* от существительного *разъ* — общеслав. *razъ* 'удар': **raz-jь* > *ражь*, *ражий*. В пользу такого толкования говорят как будто и значения современного рус. *ражий* 'крепкий, сильный, здоровый...'. Ср. развитие значений *хват* 'лихой человек' < *хватать*, *хватить*. Значения, принадлежащие к семантической сфере 'энергия, сила', легко могут оформиться именно из значения 'удар'. Русский язык также сохранил слово *раз*, но уже с видоизмененным, отвлеченным значением 'единица счета': *раз*, *два*... Интересно, что первоначальное значение 'удар, ударять, резкий' сохранилось, как это часто бывает, в производных формах: рус. *рази́ть* 'наносить удар', в нашем случае — *ражий*.

В вопросах этимологии не последняя роль принадлежит наблюдению семантических закономерностей, оперированию проверенными семантическими аналогиями. Точность этих наблюдений прямо пропорциональна степени их конкретности. В связи с этим обратим внимание на несколько примеров из богатого выбора, представленного у В. И. Даля, в которых можно констатировать почти завершившуюся кристаллизацию значения 'очень': *ра́жево*, *ра́же*, *ражо́* 'много, обильно; ладно, гоже, изрядно, довольно хорошо'. Усилительные слова со значением 'очень', как правило, образуются из слов со значением 'резко, сильно, больно', ср. нем. *sehr* 'очень' < стар. нем. *sehren* 'ранить' (новое *versehren*), франц. *fortement* 'очень', собственно 'сильно', польск. *bardzo* 'очень' < общеслав. *bṛzъ* 'быстрый', наконец, рус. просторечн. *бо́льно* в значении 'очень'. Все это говорит о связи *ра́жий* и *раз*, а также о невозможности связи нашего слова с основой *род*.

27. Рус. *обою́дный*

Разбор этого слова целесообразно начать с соответствующей статьи в словаре М. Фасмера:

> ...*обою́дный* 'beiderseitig', *обою́ду* 'zu (von) beiden Seiten', aruss. *obojudu*, abulg. *obojǫdu* ἑκαθέρωθεν, sloven. *ọbojód* 'auf beiden Seiten'. Zu *о́ба*, *обо́е* gebildet mit *-ǫdu'* wie *всю́ду*, abulg. *vьsǫdu* zu **vьsь*[27].

Против основной мысли статьи нельзя ничего возразить, мы имеем здесь дело с прозрачной этимологической связью. Однако тотчас же приходится констатировать, что данная словарная статья написана некоторым образом не на тему: она посвящена выяснению формы *обою́ду*, в то время как помещение слова *обоюдный* в качестве заглавной формы представляется чистой формальностью. Структура этого последнего слова остается нераскрытой. Вполне возможно, что автор считает словообразовательные отношения *обою́дный*

[27] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 243.

и *обою́ду* ясными без дальнейших комментариев. В действительности дело, по-видимому, обстоит иначе. Словообразовательный анализ, который должен быть основным критерием в решении вопросов такого рода, свидетельствует о необычности для славянского словообразования производной формы *обою́дный*. Можно сказать, что если мы поймем это русское слово как прямое продолжение некоего праслав. **obojǫd-ьnъ*, мы совершим ошибку. Уже одно знакомство с перечнем близких форм у М. Фасмера, показывающим, что все прочие славянские языки знали только рефлекс слав. **obojǫdu*, заставляет рассматривать рус. *обоюдный* как нечто локальное. Впрочем, это еще не главный аргумент против древности формы *обоюдный*. Важно, что данное конкретное соединение морфем *обоюд-ный* является, по-видимому, неорганическим по своему характеру. Здесь можно говорить о контаминации в русском языке форм **obojǫdu* и **obojętьnъ*, собственно *obo-jętьnъ* 'предназначенный для хватания обеими руками', ср. чеш. *obojetný*, польск. *obojętny* — с вторичным развитием значения 'равнодушный, безразличный'. Форма *obojętьnъ* является древним славянским словообразовательным типом[28]. Рус. **обоютный*, по-видимому, послужило материалом для контаминации, результатом которой явилось современное *обоюдный*. Этому способствовала и близость значений.

---

[28] Прекрасный анализ чешских и польских слов см. *J. Zubatý*. Studie a články. I. Část první. Praha, 1945. S. 46.

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 28

болг. диал. *мăкắ* ‘скот’

В языке болгар, населяющих Ольшанский район Одесской области Украинской ССР, отмечено слово *мăкắ*, обозначающее домашний скот [1]. И. К. Бунина, которой мы обязаны обширным монографическим исследованием упомянутого говора, пишет по этому поводу следующее: «Для обозначения родового понятия домашнего скота в ольшанском говоре имеется два слова: *мăкắ* (с собирательным значением) и *дуб'и́чи*. “*Дуб'и́чи — ц'е идно́, мăкắ то мл'о́гу*”, — объяснил один болгарин разницу в значении между этими словами. Сло́ва *мăкắ* в болгарских словарях и диалектологических материалах нет» [2]. Исследовательница, кроме того, констатировала, что интересующее нас слово является существительным женского рода, а в фонетическом отношении отличается такой характерной для данного говора особенностью, как открытый широкий гласный *ӑ*. Этим примерно ограничиваются непосредственные данные для характеристики слова *мăкắ*, которые можно извлечь из работы, решающей в основном задачи синхронного анализа.

Вместе с тем работа И. К. Буниной содержит ценные сведения, делающие возможной реконструкцию важных моментов истории слова внутренними средствами данного говора. На основании их [3] описанная форма *мăкắ* должна

---

[1] См. *С. Б. Бернштейн*. Наукові записки Одеського держ. педінституту. Т. I. 1939. С. 116; *И. К. Бунина*. Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. Вып. 5. М., 1954. С. 33.

[2] *И. К. Бунина*. Лексический состав говора ольшанских болгар // Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. Вып. 3. М., 1953. С. 56.

[3] Ср. *И. К. Бунина*. Говор ольшанских болгар // Краткие сообщения Института славяноведения АН СССР. 7. М., 1952. С. 56, 58.

рассматриваться как продолжение старого винительного падежа основ женского рода на *-а* с окончанием на носовой гласный ѫ. На месте первоначального носового ѫ и его различных новоболгарских рефлексов в ольшанском говоре произносится под ударением гласный *ӓ*. Определение развития второго, безударного гласного в слове *мӑкӓ́* затруднительно. Это обстоятельство является существенным препятствием для решения вопроса о происхождении слова *мӑкӓ́*, которое, как мы видели, признается изолированным среди остального болгарского словаря.

Некоторые коррективы в историческую фонетику ольшанского болгарского говора помогает внести этимология. Так, с этимологической точки зрения представляется возможным отождествить ольшанск. *мӑкӓ́* 'скот' с болг. *мъ́ка*. Последнее слово в общенародном и литературном болгарском языке имеет значения 'страдание, мука, усилие'. Помимо этого, ряду диалектов на юге Болгарии известно значение 'имущество', ср. разложск. *мàкą*, 'мъка, имот', родопск. *мàка* 'имот'[4]. Далее, Н. Геров приводит, кроме упомянутых общенародного и диалектного значений слова *мъ́ка*, также значение 'скот', совершенно, впрочем, не локализуя эти факты[5]. Наконец, следует отметить, что значение *мъка* 'скот' учитывает «Програма за събиране на материали за български диалектен атлас»[6].

Семантическое развитие, хотя и представляет ряд расчлененных этапов, не может вызывать сомнений ввиду предельной ясности их взаимоотношений: *мука, труд* > *приобретение, имущество* > *домашний скот*. В этимологической литературе хорошо известны аналогичные и вполне надежные примеры, и чистой случайностью следует считать то, что диалектное семантическое развитие болг. *мъка* еще не сделалось достоянием этимологических пособий и словарей[7]. Из различных славянских языков можно указать названия скота, прошедшие подобный путь развития значения: польск. *bydło*, чеш. *dobytek*, болг. *доби́тък*; сербохорв., болг. *стока*; словен. *blagô* 'имущество, скот', хорв. *blâgo* 'скот'. Во всех них совершенно отчетливо видно происхождение значения 'домашний скот' из значений 'приобретение, имущество'. Болг. диал. *мъ́ка* 'скот', в том числе и ольшанск. *мӑкӓ́*, ближе примыкает к таким эвфемистическим по происхождению названиям, как укр. *худо́ба* 'домашний скот' < 'бедность'.

---

[4] См. *Н. Алексиев*. Разложкият говор. Речник // Македонски Преглед. Година VI. София, 1931. С. 119; *В. Стоин*. Родопски песни // Сборник за народни умотворения, наука и книжнина. Кн. 39. 1934. С. 304.

[5] См. *Н. Геровъ*. Рѣчникъ на блъгарскый языкъ. Ч. 3. Пловдивъ, 1899. С. 107.

[6] Програма за събиране на материали за български диалектен атлас. София, 1957.

[7] Так, например, С. Младенов находит возможным совершенно умолчать об этих интересных отношениях внутри болгарского (*С. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941. С. 314: *мъка*).

Естественно, что в таком случае ольшанск. *мăкä́* (как и болг. литер. *мъ́ка*) должно продолжать праслав. **mǫkǫ* 'мука', точнее — *мăкä́* продолжает форму вин. ед. **mǫkǫ-* — ст.-слав. **мѫкѫ**. Соответственно сказанному можно, по-видимому, пересмотреть некоторые детали интерпретации И. К. Буниной, записавшей на основании личных наблюдений форму *мăкä́*; при этом надо принять во внимание, что знак *ă* у нее обычно обозначает безударный вариант гласного *а*, в то время как на месте безударного *ä* (древнего носового **ѫ**) она, как правило, фиксирует особый «звук средне-заднего образования, средне-нижнего подъема [α]». Ср. *грат* : *грăдó* — болг. литер. *град*, но *зäп* : *зαбó* — болг. литер. *зъб*, ст.-слав. **зѫбъ**[8].

Ударение ольшанск. *мăкä́* заслуживает специального упоминания, поскольку оно не может быть признано прямым акцентологическим продолжением праславянской формы вин. ед. **mǫkǫ*. Судя по свидетельствам рус. *му́ка*, чеш. *mика*, сербохорв. *му̏ка*, праславянский язык имел здесь акутовую долготу (**mǫ́ka*) и постоянное ударение на основе, ср. рус. *му́ка* — вин. ед. *му́ку*. Ударение *мăкä́* является относительно поздним морфологическим новообразованием, служившим для более четкой характеристики формы винительного падежа в отношении к старому именительному.

---

[8] См. *И. К. Бунина*. Звуковой состав и грамматический строй говора ольшанских болгар // Статьи и материалы по болгарской диалектологии СССР. Вып. 4. М., 1953. С. 7, ср. также с. 28; суммарный обзор рефлексов носового **ѫ** на территории болгарского языка см. *St. Mladenov*. Geschichte der bulgarishen Sprache. Berlin; Leipzig, 1929. S. 113, 119—121.

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 40

слав. *gotovъ*

Нельзя не признать, что этимологические соответствия и происхождение этого общеславянского слова выяснены далеко не удовлетворительно, хотя из одного словаря в другой переходят — не без влияния неизбежной при этом рутины — несколько сравниваемых форм других языков. Критику существующей точки зрения относительно этимологии слав. *gotovъ* целесообразно, впрочем, начать не с доказательства сомнительности неславянских соответствий, а с пересмотра некоторых моментов внутреннего развития славянского слова, после чего ревизия иноязычных сравнений станет, надо думать, более доказательной.

Характерным для данного случая является то обстоятельство, что абсолютно общеславянским оказывается не только распространение слова *gotovъ* (рус. *гото́в*, *гото́вый*, польск. *gotów* и т. д.), но и его семантическое содержание: 'готовый, ἕτοιμος'. Это как бы гарантирует древность именно данного значения (что, впрочем, отнюдь не обязательно), однако вместе с тем мы лишены возможности наблюдать историю формирования интересующего нас значения. Говорит ли это о том, что перед нами факт дославянской, еще индоевропейской древности, иными словами, — унаследовал ли славянский значение 'готовый' от более ранних эпох? — Скорее всего, нет. Тогда неизбежно встает вопрос о предшествующей этому значению семантической эволюции. Очевидно, с этого вопроса и должен начинаться этимологический анализ слова *готовый*. Нетрудно заметить, что существующие опыты этимологии славянского слова построены совершенно иначе, и в этом их авторы почти единодушны, расходясь подчас весьма далеко в собственно этимологических выводах: все они исходят в сущности из презумпции изначальности

значения 'готовый' для слав. *gotovъ* (хотя большинство из них этот вопрос попросту не ставит).

Для пользы дела целесообразно на некоторое время отвлечься от конкретной языковой формы *gotovъ* и поставить более общий вопрос о путях развития значения 'готовый', а также об относительной древности термина 'готовый'. Древность такого термина, действительно, относительна, более того, он оформлен всюду местными средствами. Случаи соответствия термина 'готовый', охватывающие более одной языковой семьи, отсутствуют или же крайне сомнительны. Отсутствует, как известно, и соответствующее общеиндоевропейское слово [1]. Все эти общие моменты не могут остаться неиспользованными при этимологизировании нашего *gotovъ*, *готовый*. Яркие примеры того, как конкретно осуществляется образование этого термина (точнее сказать — вспомогательного слова) в отдельных языках, находим в германском. Например, родственные англ. *ready* 'готов(ый)', н.-в.-нем. (с приставкой) *bereit* то же — восходят к прагерм. **raiđja-*, сюда же англ. *ride*, н.-в.-нем. *reiten* 'ехать (верхом)' [2]. Близкую аналогию представляет н.-в.-нем. *fertig* 'готовый', др.-в.-нем. *fartīg*, ср.-в.-нем. *vẹrtec*, производные от *Fahrt* 'поездка, путешествие', с первоначальным значением 'готовый в путь', ср. и современное *reisefertig* [3]. При различных материальных средствах образования терминов 'готовый' тенденция использования глаголов движения при этом вполне очевидна. Различие форм ее осуществления даже в рамках одной семьи языков дает нам право довольно уверенно оперировать обнаруженной семантической аналогией и проследить параллельные проявления такой тенденции также далеко за пределами германских языков.

Обращаясь непосредственно к этимологии слав. *gotovъ*, мы можем теперь отметить, что у нас есть определенные основания не верить в исконность его известного засвидетельствованного значения, а вместе с тем и в приемлемость неславянских его соответствий, подобранных этимологами исключительно с точки зрения близости к известному значению славянского слова. Тесно связан с этим наиболее трудным моментом этимологического анализа слав. *gotovъ* и другой, словообразовательный момент: *gotovъ* → *gotoviti* или *gotovъ* ← *gotoviti*. Этот заколдованный круг словообразования вместе с невыясненностью семантического развития определяет, очевидно, неуспех известных этимологий. *Gotoviti* значит 'делать готовым'. Оно лишено само-

[1] *C. D. Buck*. A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago, 1949. P. 983—984.

[2] *F. Kluge, A. Götze, W. Mitzka*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. Aufl. 17. Berlin, 1957. S. 66; *A. S. C. Ross*. Etymology, Fair Lawn. (New Jersey), 1958. P. 153 (Chapt. III: Selected. English Etymologies).

[3] *F. Kluge, A. Götze, W. Mitzka*. Op. cit. P. 193.

стоятельной семантической характеристики и очевидно деноминативно: *gotovъ → gotoviti*. Таким образом, должна потерять вероятность этимология *gotoviti* < готск. *gataujan*[4], которая как раз предполагает известную самостоятельность семантической характеристики славянского глагола. Остается слав. *gotovъ* и его значение 'готовый'.

Опираясь на достоверные аналогии развития этого последнего значения в германском, мы можем предложить новое объяснение слав. *gotovъ*. Это слово имеет во всех славянских языках неоспоримые признаки прилагательного. Генетически оно могло быть производным на *-o* от основы на *-u*: **gotou̯-os*. Вероятно, средствами деривации этого прилагательного от очевидной *u-* основы явилось не только тематическое *-o-*, но также и полная ступень гласного конца исходной основы (*-u* > *-ou-*): **got-ou̯-o-s*, **got-ou̯o-s* от **gotŭ*, ср. греч. κερα(ϝ)ός (*ker-au̯-os*) от *korŭ-*. В таком случае след более древнего количества сохраняет, возможно, болг. *го́твя* 'готовлю' (**gotŭ-*) при болг. *гото́в*, сербохорв. *го̀тов* (**gotou̯-os*). Пережиточное сохранение древних черт исходной основы как раз естественно ожидать в производных формах.

После того, что было сказано выше, быть может, целесообразно видеть в исходном праслав. **gotŭ-* след имени с основой на *-u*, генетически близкого супину. Вероятно, развитие такого же состояния находим в слав. *britva*, рус. *бри́тва* — расширение основы **britŭ* и т. д. Говоря о супине **gotŭ*, мы тем самым вынуждены взять на себя ответственность утверждать существование известной основы со значением 'идти', помимо вариантов и.-е. ***g^{u}*-a-*, ***g^{u}*em-*, ***g^{u}*n̥*, ***g^{u}*m̥-*, также в виде ***g^{u}*ă-*, **gă*: праслав. **gotŭ-* < *gătŭ-*. Нельзя не признать проблематичным существование этого варианта с *ă* кратким, особенно ввиду отсутствия достоверных примеров[5]. Ср. лит. *gãtvė* 'улица, выгон', лтш. *gat(u)ve* 'проход, тропа, улица, аллея' с *ă* кратким, которые, однако, объясняются преимущественно как заимствованные из германского[6]. Тем не менее, представилось небесполезным изложить эти соображения, особенно учитывая современное состояние этимологии слова.

Что касается прочих сближений слав. *gotovъ*, то, например, близкие албанские слова — *gatuej*, *gatuaj* 'готовлю, варю'[7], все-таки носят на себе не-

---

[4] *H. Hirt.* Beiträge zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur 23, 347; *А. Мейе.* Общеславянский язык. М., 1951. С. 409. Хотя готск. *gataujan* всюду фигурирует без звездочки, оно на самом деле нигде не засвидетельствовано, тексты знают только *taujan* ποιεῖν, πράσσειν 'делать'; см. *S. Feist.* Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Aufl. 3. Leiden, 1939. S. 474—475.

[5] См. сводку форм: *J. Pokorny.* Indogermanisches etymologisches Wörterbuch. Bern, 1949. S. 463—465.

[6] *E. Fraenkel.* Litauisches etymologisches Wörterbuch. Göttingen; Heidelberg, 1955. S. 139.

[7] *S. A. Mann.* An Historical Albanian-English Dictionary. London, 1948. P. 123.

двусмысленный отпечаток заимствования из славянского, на что указывал еще Иокль[8]; сравнения с др.-инд. *ghaṭatē* 'усердно занимается' и с греч. νηγάτεος вообще сомнительны[9]. Значение последнего слова, к тому же, в точности не установлено[10].

В заключение еще несколько слов о вероятных условиях генезиса значения *готовый*, вернее — о той начальной стадии употребления слова, когда еще нельзя было говорить о его позднейшем терминологическом значении *готовый* и когда тенденция к преимущественному употреблению его в совершенно определенной вспомогательной функции еще нисколько не заслоняла собой словообразовательно-этимологических связей с соответствующей основой *идти*. Словом, на этом этапе налицо было только употребление слова в определенной семантической и грамматической функции, но не новое значение, упомянутое выше. Возьмем несколько близких примеров:

англ. *I am ready to do…*
нем. *ich bin bereit zu machen…*
польск. *jestem gotów (s)robić…*

Аналогичность употребления бросается в глаза, даже если не принимать в расчет вероятного параллелизма в развитии и генезисе. Что касается последнего, то можно думать, что эти новые слова со значением готовый с самого начала характеризовались приглагольным употреблением. Вероятные первоначальные условия употребления слав. *gotovъ* — обороты, напоминающие французский futur immédiat: *je vais faire*, *je vais devenir* 'я сделаю, стану', буквально 'я иду делать, становиться' (≈ 'я готов тотчас сделать, стать'). Правда, здесь можно говорить лишь о сходных моментах, не забывая о существенном различии между грамматикализацией презентных форм глагола *aller*, приведшей к возникновению особого глагольного времени, и лексикализацией слав. *gotovъ*, производного от глагола *идти*, что привело к индивидуализации, изоляции в определенном смысле. Но есть все основания говорить о сходстве отправных точек развития и о значении готовности, параллельно, хотя и в разной степени развившемся у этих форм.

---

[8] IF 49. C. 290.

[9] См. подробные сведения по этимологии: *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 301; *F. Sławski*. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. 1. S. 329; *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. 1957. S. 140.

[10] *E. Boisacq*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque². P. 668.

СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 41—47*

41. Укр. *бру́нька*; 42. Слав. *dvigati*; 43. Рус. *реполо́в* и вопрос отражения праслав. **rępь/ъ* в восточнославянском; 44. Рус. диал. *брыла́*, мн. *бры́лы́*; 45. Сербохорв. *поре́кло*, *подриjѐтло*; 46. Рус. диал. *ле́ньга́с*; 47. Болг. *бу́ло*

41. Укр. *бру́нька*

Слово *бру́нька* является основным названием древесной почки в украинском языке[1]. Расхождение с великорусским названием того же предмета — *почка* (праслав. **pъtjьka* < **pъtja*) — отражает, по-видимому, в отличие от ряда других примеров лексических украинско-русских различий, не позднюю дифференциацию, а лексический диалектизм большой древности. Вполне возможно, что современное значение слова *брунька* оказалось результатом взаимодействия семантически близких слов, ср., например, праславянскую

---

* Предыдущие статьи этой серии: Славянские этимологии 1—7 // ВСЯ 2, 1957. С. 29—42; Славянские этимологии 8—9 // Езиковедски изследвания в чест на акад. Ст. Младенов. София, 1957. С. 337—339; Slawische Elymologien 10—19 // ZfS 3, 1958. С. 668—681; Slawische Etymologien 20—23 // ZfS 4, 1959. С. 83—87; Славянские этимологии 24—27 // Езиковедско-етнографски изследвания в памет на акад. Ст. Романски. София, 1960. С. 137—143; Славянские этимологии. 28. Болг. диал. *makă{a???}* // Этимологические исследования по русскому языку I. М., 1960. С. 87—89; Славянские этимологии 29—39 // Там же 2. М., 1962. С. 26—43; Славянские этимологии. 40. Слав. *gotovъ* // PF XVIII, 1964. С. 153—156.

[1] Ср. ст.-укр. *брунька* ‘пупяшок’ (XVIII в.), см.: *Є. Тимченко.* Історичний словник українського язика. Т. І. Харків; Київ, 1930. С. 144.

основу **pъtj-*, также проделавшую длительную семантическую эволюцию, в результате которой рус. *по́чка* по значению уже отличается от польск. *pestka*, стар. *pecka* 'семячко', чеш. *pecka*, даже от укр. *по́чка* 'тыквенное зернышко'. Принимая во внимание вторичный характер семантической конкретизации укр. *бру́нька* 'почка на дереве', мы получаем возможность установить этимологические связи исходного праслав. диал. **brunь* (< **brouni-* < **br-ou-ni-*) с др.-инд. *bhrūṇá-* 'зародыш', лтш. *braũna* 'чешуя, шелуха, рубашка (в которой иногда рождаются дети)', чеш. *brnka* 'послед' в границах словопроизводной активности одного исходного и.-е. **bher-* 'нести, приносить (на свет); рожать', ср. готск. *baíran* и др.[2]

42. Слав. *dvigati*

известно во всех славянских языках. Этимологически это очень трудное слово, во всяком случае, если судить по имеющимся в литературе объяснениям, которые все без исключения сомнительны в высшей степени[3]. Когда одинаково безнадежны различные этимологии, а дальнейшее умножение числа попыток этимологизации не выводит исследование слова из тупика, уместно задуматься, верны ли отправные посылки этимологий этого слова. В такой ситуации наиболее уязвима обычно семасиологическая сторона, поскольку именно семасиологическая концепция этимолога влияет затем на его выбор из числа доступных ему фонетико-морфологических ассоциаций и сближений в каждом конкретном случае. Имея в виду прежде всего эту ответственность реконструкции семантической истории слова, обратимся к пересмотру исследований праслав. **dvigati*. Дело в том, что известные этимологии **dvigati*, при всех своих коренных различиях, имеют общую семантическую базу, исходят из значения 'двигать, передвигать, перемещать'. Таковы предпринимавшиеся с разными натяжками старые и новые сближения **dvigati* с др.-в.-нем. *zwangan* 'колоть, щипать', ирл. *dedaig* 'oppressit', с предлогом и.-е. **ad* и др.-инд. *vējate* 'спешит', авест. *vaeg-* 'махать', греч. οἴγνυμι 'открываю', др.-в.-нем. *wihhan* 'трогать', др.-исл. *vīkia* 'двигаться', а также мысль о заимствовании праслав. **dvigati* из готск. *du-wigan* 'двигать', родственного нем. *be-wegen*[4]. Особенно последняя этимология основывается на молчаливом

---

[2] См.: *F. Specht.* Ursprung der indogermanischen Deklination. 2. Aufl. Göttingen, 1947. S. 148 (без славянских и украинского слов); о чеш. *brnka* см. еще: *V. Machek.* Etymologický slovník... S. 44.

[3] См.: *Berneker* I. S. 240—241; *Преображенский* I. С. 175; *Vasmer* I. S. 330—331.

[4] См.: *В. В. Мартынов.* Гото-славянское лексическое взаимопроникновение // Тези доповідей V міжвузівської республіканської славістичної конференції. Ужгород, 1962. С. 11.

убеждении, что первоначальным и исконным значением праслав. **dvigati* было 'двигать, перемещать (в горизонтальной плоскости)'. Однако уже беглое ознакомление с засвидетельствованным семантическим содержанием продолжений праслав. **dvigati* по отдельным языкам показывает ошибочность этого убеждения. В значительной части славянских языков продолжения **dvigati* выступают в значении 'поднимать', а не 'двигать горизонтально' и тем более не 'двигать вообще'. Так, значение 'поднимать' представлено у этого глагола в польском, чешском, словацком, лужицких, сербохорватском, болгарском. Конечно, могут возразить, что значение 'поднимать' могло явиться у **dvigati*, **dvignǫti* вторично, тогда как значение 'двигать, перемещать' здесь исконно, ср. ст.-слав., цслав. **двигати, двизати, двигнѫти** 'двигать, двинуть, movere, κινῆσαι'. Но это мнение в общем не трудно уличить в ошибочности. Вескими аргументами в пользу точки зрения, согласно которой **dvigati* исконно означало 'поднимать', затем на части славянской территории получило значение 'двигать', служат свидетельства отдельных сложений и производных с этой основой. Общим положением словообразовательно-этимологического и семантического анализа (если говорить в первую очередь о внутренних резервах реконструкции) можно считать первостепенную важность значений сложений и производных в вопросе восстановления первоначального значения самой основы. Мы имеем в виду лучшую сохранность древнего значения, которая характеризует обычно именно производные и прочие связанные формы основы сравнительно с ее непроизводной формой. Так, нам представляется, что ст.-слав., цслав. **подвигъ, подвигнѫти, подвигнѫти сѧ** содержат в своих значениях и примерах словоупотребления ясное указание на движение вверх, подъем, поднятие; **подвизати** соответствует, например, греч. φέρειν 'нести' (Срезневский II. Стб. 1034). В диалектах Восточного Полесья часть сохи, дубовая развилка, подпирающая одним своим концом правую полицу, называется, по свидетельству Мошинского, *pòdwih*[5]. Наконец, мысль о возможности семантической эволюции **dvigati* 'поднимать' > 'двигать вообще, перемещать по горизонтали' находит подтверждение в наблюдениях над некоторыми внешними аналогиями, ср., например, др.-в.-нем. *reisa* 'отправление, поездка', нем. *reisen* 'ездить, путешествовать' — иными словами, 'двигаться вообще' — при, очевидно, более старых значениях готск. *urreisan* 'вставать', англ. *rise* 'подниматься, вставать'.

Резюмируя изложенное выше, мы можем сказать, что мнение о семантической эволюции праслав. **dvigati* 'поднимать' > 'двигать вообще' опирается на три аргумента: 1) наличие значения 'поднимать' у продолжений праслав. **dvigati* в значительной части славянских языков; 2) наличие значений, род-

[5] *K. Moszyński.* Polesie wschodnie. Warszawa, 1928. S. 58.

21. Заказ № 2261.

ственных 'поднимать', у производных и сложений с основой *dvig- в других славянских языках; 3) некоторые общие наблюдения над семантической эволюцией глаголов 'двигать(ся)'.

Теперь об этимологии праслав. *dvigati. В свете семантической реконструкции последнего, приведшей нас к древнему празначению 'двигать вверх, поднимать', и указаний отдельных современных диалектных форм, например полесск. *pòdwih* 'дубовая развилка, подпорка', мы можем понять праслав. *dvigati как отыменный глагол, образованный от существительного *dvigъ 'развилка, разветвленная ветка'. То, что такая ветка могла использоваться как подпорка или рычаг, объяснит нам реальную сторону образования *dvigъ > *dvigati 'поднимать'. Праслав. *dvigъ точно соответствует нем. *Zweig* 'ветка' и другим родственным германским, восходящим вместе с праслав. *dvigъ к и.-е. *du̯īgho-s / *duu̯īgho-s, собственно *du̯-ī-gh-o-s, производное от и.-е. *du̯ō 'два'. Любая ветвь образует с основным стволом парную развилку, поэтому мотивы такого называния вполне ясны. Прекрасную семантическую аналогию отношению праслав. *dvigъ 'ветка, развилка' : *dvigati 'поднимать' можно указать в словац. диал. *posošiť sa* 'подняться', *sošit'* 'поднимать' : *socha* 'развилка' (см. Machek. S. 463).

43. Рус. *реполóв* и вопрос отражения праслав. *rępь/ъ в восточнославянском

У слова *реполóв* не было собственной этимологии, причиной чего служило ощущение прозрачности его структуры. В соответствии с этим слово членили как сложение *репо-лов* (см. Vasmer REW II. S. 514). Однако достаточно несколько подольше присмотреться к этому слову, чтобы задуматься над справедливостью такого понимания или восприятия. Мы постараемся показать, что ощущение прозрачности структуры в данном случае ложно и может быть классифицировано как одна из разновидностей народной этимологии. *Реполóв*, согласно Далю, — *рéполов* или *рéпел* м. 'одна из певчих пташек, Sylvia rubecola' (Даль [2] IV. С. 123). Об этой птичке, которую называют еще коноплянкой, известно, что она относится к семейству вьюрковых, питается зерном, имеет пестрое оперение, небольшой черноватый хвостик, отличается веселым нравом, распространена во всей Европейской России [6]. Уже в свете хотя бы одних только этих данных прозрачность сложения *репо-лов* скорее вводит нас в заблуждение, чем дает какую-либо информацию, а связь с репой выглядит абсурдной. К счастью, перед нами, по-видимому, наиболее легко обнаружимый вид народной этимологии — осмысление без реально-логи-

[6] *Ф. Ф. Остапов.* Певчие птицы нашей Родины. М., 1960. С. 52—55.

ческой мотивации, поскольку внешняя связь с репой опровергается сведениями об обозначаемой реалии, птичке Sylvia rubecola. Дальнейшая проверка лингвистической стороны вопроса позволяет найти довольно близко лежащие, сугубо внутренние данные, вполне отводящие связь с *ре́па* как вторичную. Это прежде всего — варианты названия птицы: *ре́пел* (Даль), *реполиха* 'самка реполова'. Цезура словопроизводного членения формы *реполов* в свете этих показаний перемещается: не *репо-лов*, а *репол-ов*. Уже одни эти данные довольно авторитетно говорят о том, что основой слова следует считать *репел- / репол-*. Прежде чем перейти к этимологии, необходимо учесть все, что известно по истории нашего названия птицы. Прямыми свидетельствами о древнерусских формах современного слова *реполов*, *репел* мы, к сожалению, не располагаем, однако есть достаточно косвенных указаний, причем важных для новой этимологии названия птицы. Мы имеем в виду княжескую фамилию *Ряполовский*, неоднократно встречающуюся в русских летописях, ср. следующие примеры: **и послѣ того князь Θеодоръ Семеновичь Хрипунъ Ряполовскый билъ Татаръ на Волзѣ, іюня** 4… (Софийская I летопись под 1469 г // ПСРЛ. Т. 5. СПб., 1851. С. 275); **царь же Магамедъ Аминь Казаньскый отпусти воеводу великого князя из Казани, князя Семена Ивановичя Ряполовского**… (Софийская I летопись под 1495 г. // ПСРЛ. Т. 6. СПб., 1853. С. 40). В этих и во многих других примерах упоминания этой фамилии в XV в. абсолютно последовательно соблюдается такая черта, как отражение вокализма [*а*]: *Ряполовский*. Названная древнерусская фамилия интересна для нас в двух, по крайней мере, отношениях: во-первых, не оставляет сомнений ее родство с современным апеллативом *реполов*, *репел*, а во-вторых, древний корневой вокализм основы *ряпол-* в фамилии *Ряполовский* окончательно кладет конец внешне очевидному сближению *реполов* : *репа* и направляет наши дальнейшие этимологические поиски по иному пути. Так, мы считаем возможным производить современное название *реполов*, *репел* из старого **рягол*, **ряпел*. Эта последняя форма продолжает, по нашему мнению, более древнее имя **rępelъ* / **rępolъ*, образованное с суффиксом *-el-/-ol-* от праслав. **rępъ* / **rępь* 'хвост'. Праслав. **rępъ* / **rępь* известно по своим продолжениям в западно- и южнославянских языках, ср. польск. *rząp* (род. *rząpia*) 'копчик', сербохорв. *pȇn* 'хвост', в.-луж. *rjap* 'спинной хребет'. До сих пор мы как будто не располагали материалом для того, чтобы утверждать, что и в восточнославянских языках сохранились следы праслав. **rępъ* 'хвост'. С того момента, как перед нами встает описанная выше возможность этимологизации слова *реполов*, *репел*, ставится вопрос о реальном наличии также восточнославянских форм от праслав. **rępъ* 'хвост'.

Кстати, о первоначальном семантическом наполнении, этимологии и реально-семантическом субстрате праслав. **rępъ*. Это уточнение необходимо

ввиду многочисленности названий хвостов, лексем со значением ʻхвостʼ в праславянском. Мы можем попытаться уяснить себе место лексемы **rępъ* ʻхвостʼ среди прочих названий хвостов, каковы, например, **xvostъ* (рус. *хвост* и родственные), **obgonъ* (польск. *ogon*), **obpašь(ka)* > болг. *опáшка*, **otjasъ* (чеш. *ocas*). Праслав. **rępъ* / **ręръ* не было абсолютным синонимом всех прочих названий хвостов, но означало, вероятно, короткий хвост, обрубок хвоста, сам хвост как продолжение позвоночного столба, без шерсти и волос, ср. значение польск. *rząp* ʻкопчикʼ, а также вероятную этимологию праслав. **rępъ*, которое, очевидно, родственно праслав. **rǫbiti* (рус. *рубить*) — с иным губным расширителем *-b-*, а также нем. *Rumpf* ʻтуловищеʼ. Праслав. **rępъ* обозначало тем самым первоначально лишь основание хвоста или короткий хвост, но во всяком случае не опушку хвоста, т. е. не то, чем машут (праслав. **xvostъ*, **obgonь* и др.). Семантическая реконструкция и этимология праслав. **rępъ* как будто соответствуют тому, что известно о реполове, этой птичке с явно небольшим хвостиком. Дальнейших мотивов обозначения лексемой **rępъ* / **rępъ* именно птички Sylvia rubecola мы не можем да и не чувствуем себя обязанными доискиваться здесь; разумеется, данное называние так же произвольно — в известных пределах, — как и всякий другой акт номинации в языке. Кстати, курьезнейшее по формальной полноте соответствие нашему прарус. **rępolъ*, **rępelъ* мы имеем в польск. *rzępoła* ʻтот, кто пиликает, скверно играет (на скрипке)ʼ, которое еще Брюкнер связал с *rząp* ʻкопчик, задʼ [7]. Экспрессивная мотивация, различимая в польском слове, могла иметь место и в русском, столь близком к польскому, при всем их семантическом различии.

Итак, *реполов*, *репел* отражают праслав. **rępъ*. Единственные ли это продолжения праславянского слова в восточнославянских, в русском? — Вполне возможно, что нет. Обратим внимание, во-первых, на рус. *рéпица* ʻхвост позвоночного животного, кроме шерсти и волосу; вся связь хвостовых косточек, продолжение позвонковʼ (Даль [2] IV, стр. 123). Как видим, близость значения рус. *рéпица* и польск. *rząp*, в.-луж. *rjap* очень велика. Отклонения в вокализме — *рéпица* вместо ожидаемого **ряпица* — представляются нам в любом случае вторичными, хотя мотивы и условия их еще недостаточно ясны. Во-вторых, к числу восточнославянских, русских следов праслав. **rępъ* можно отнести, вероятно, местное название *Урюпинск*, точнее — лежащее в его основе древнерусское личное собственное имя **Урюпа* (посредствующее звено — фамилия *Урюпин*?) [8]. Здесь наступает момент, когда, говоря о реф-

[7] *Brückner.* S. 474.

[8] В «Словаре древнерусских личных собственных имен» Н. М. Тупикова (СПб., 1903. С. 410) мы, действительно, находим имя *Урупа*, чернобыльский мещанин

лексах праслав. **rępъ* в русском, мы вынуждены, правда, на очень короткое время, отвлечься в область апофонии. Это вызвано необходимостью правильно оценить характер формы **у-рюп-* в русском в связи с реконструируемой праславянской формой **rępъ*. Наряду с этой последней мы вправе предположить существование иной ступени вокализма — праслав. **rǫp-*, мотивированного производным характером содержащих его образований. Праславянские отношения **ręp-* / **rǫp-* должны были нормально отразиться на восточнославянской почве как *ряп-* / **руп-*. Первая ступень, как мы показали выше, реально засвидетельствована в русском языке. Надо сказать, что и вторая ступень тоже существовала, как о том говорят косвенные данные, а именно форма *-рюп-* в сложении с предлогом (*Урюпинск*, *Урюпино*, **Урюпа*). Природу этого варианта *-рюп-* мы объясняем следующим образом. Если апофоническая соотнесенность **rępъ* / **rǫpъ* на праслaнянском уровне не оставляет сомнений и, видимо, носила характер прозрачной связи, то в отношениях *ряп-* / **руп-* на восточнославянской почве представлены лишь разрушающиеся остатки древней апофонии. Внешним следствием и как бы противодействием этому разрушению в языке явилась замена двойственного отношения **rępъ* / **rępъ* тройственным *ряп-* / *руп-* / **рюп-*, где *рюп-* получено путем контаминации двух исконных ступеней. Эта перестройка осуществилась столь же закономерно на восточнославянской почве, как в случае с праслав. **blęd-* / **blǫd-* > вост.-слав. *бляд-* / *блуд-* / *блюд-*, откуда объясняется наличие, кроме регулярных форм *блядь*, *блуд*, также и контаминированного *ублюдок*.

44. Рус. диал. *брылá*, мн. *брЫлЫ*,

довольно распространенное народное слово со значением 'губа', 'губы', также в форме двойственного числа *брылé* 'губы' (тамбовское, «Опыт областного словаря»), в некоторых говорах — только о собаках (например, вятском), в значении 'рыло' — в костромских говорах; костромский (Чухломск. уезд) *брилá* 'половина уст', мн. *брúлы* 'уста'; в русских пословицах XVII в., изданных П. Симони, читаем выражение: «ел смерд блины да засалил брилы»[9]. Этимология слова оставалась неясной, во всяком случае сближения с созвучным словом, обозначающим глыбу[10], ее не проясняют. Тем не менее это об-

(1552 г.). Эта белорусская форма (Чернобыль!) может отражать как **Урюпа*, так и **Урупа*.

[9] Обстоятельную подборку географического распространения форм и значений находим в ст.: *S. Obnorskij*. Dualspuren in der nominalen Deklination des Russischen // ZfslPh II, 1925. S. 67.

[10] См. *Vasmer* I: *брыла*.

ластное русское название губы у человека или животного этимологизируется очень просто. Наиболее авторитетна в плане этимологии форма, которая последовательнее всего представлена в большом числе говоров — *брылá* 'губа' (вологодский, вятский, пермский, тульский, енисейский), ср. также выше. Самым строгим образом придерживаясь сведений о форме и значении слова, мы можем объяснить его из **обрыла* = 'то, что вокруг рыла' (*об-рыла*), ср. значение *брылá* 'губа', а также диал. *брылы́* 'рыло'.

45. Сербохорв. *порéкло*, *подриjѐтло*

продолжает по-прежнему представлять собой загадку для этимологов, несмотря на то, что им уже занимались опытные ученые, которые выдвинули внешне бесспорные объяснения[11]. Дело в том, что известное толкование *порекло* < *по* + *рећи* (Маретич), основанное на признании первичности значения 'прозвище, (родовое) имя', во-первых, оставляет без объяснения ряд старых форм, не знающих этого значения и вместе с тем определенно связанных с нашим словом, и, во-вторых, это старое толкование, как нам кажется, упрощает действительную сложность взаимоотношений форм. Не претендуя на исчерпывающую ревизию материала и его интерпретации, мы хотели бы выдвинуть новую возможность объяснения хотя бы части фактов, явно остающихся в тени, если принять однозначную старую этимологию. Суть этой старой этимологии состоит в том, что сербохорв. *порéкло* (воеводинский, Вук), *подриjѐтло*, *подриjѐкло*, *podréklo*, *podriklo* с современным значением 'происхождение' явилось результатом сербско-хорватской семантической инновации при исконности значения для всех названных форм 'прозвище'. Нарушение связей с глаголом *порећи* повлекло семантическую и словообразовательную перестройку, откуда форма на *под-*, тогда как форму *подриjѐтло* объясняют контаминацией *порекло* и *podrijet*. Нам кажется, что в своей основе эта этимология может быть принята, во всяком случае форма *порекло* проще всего этимологизируется действительно от *порећи*, первоначально 'назвать'. Ошибкой было стремление распространить эту этимологию на все формы и значения. Если *порекло* еще имеет также значение 'прозвище', то *подриjѐтло* (исключительно 'происхождение') своими формальными, семантическими особенностями, а главным образом, своим распространением сопротивляется толкованию контаминацией восточного *порекло* и локального дубровникского *podrijet*, что признает и сам автор толкования Скок. Если же мы обратимся к обособленным, достаточно старым и самостоятельным фор-

[11] См.: *P. Skok.* Leksikologijske studije // Rad Jugoslavenske Akademije znanosti i umjetnosti. 272. Zagreb, 1948. S. 21—25.

мам *podrilo* (XVIII в.), *podrìtolica* (Мостар) и уже упомянутому *podrijet* ж. р. (Дубровник), которые все значат лишь 'происхождение, род' (см. Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika Югославянской Академии. Т. X: 313), то свести их к единому *порекло* еще труднее, чем в случае с *подриjѐтло*, точнее — совсем невозможно. Сознательных преобразований в связи с отталкиванием от непристойной лексики, которые Скок принимает для мостарского *podrìtolica*, нельзя предполагать для *podrilo*, *podrijet*. Нам кажется уместным допустить в целом для всех относящихся сюда слов более или менее сильное вторичное сближение с *порекло*, причем *подриjѐтло* этим сближением затронуто в наибольшей степени, тогда как такие формы, как *podrilo*, *podrijet*, еще вполне сохраняют свою самобытность. Эти последние, особенно икавское *podrilo* 'происхождение, род', мы этимологизируем особо — из праслав. **podrědlo* / **porědlo* (где *pod-* — инновация вм. *po-*) < **po-roi̯-tlo*. Дубровникское *podrijet* в свою очередь из **po-roi̯-to-*. Названные слова родственны лит. *rìstis* 'вылупляться (из яйца)', 'катиться, кататься', *išsi-rìsti* то же, *raidà* 'развитие', *riedė̃ti* 'катиться', *pa-riedė̃ti* 'покатиться', *paristi* то же (сврш.). Основа и.-е. **roi̯-* / **rei̯-* / **rī-* представлена в балтийском и славянском с расширениями *-t-* / *-d-* и без них. О возможности семантического развития 'катить, кататься' > 'рождать(ся), происходить' говорит полная аналогия слав. **kotiti* (*sę*), рус. *коти́ться*[12].

46. Рус. диал. *лéньгáс* 'лентяй'

неясное слово, для которого предполагалось иноязычное происхождение[13]. Нам не хотелось бы умножать число гадательных и беспочвенных этимологий, но, имея в виду невыясненность слова, полезно обратить внимание на возможную его близость к сербохорв. диал. (икавск.) *lingaza* 'лентяйка' ж. р. (Босния)[14]. Сербохорватское слово из прасл. **lenьgǫzъ*, сложение **lęnь* + **gǫzъ* 'гузно, задница', можно было бы считать тождественным рус. диал. *лéньгáс* при условии, если последнее — из *леньгуз* с теми же древними компонентами (ср. диал. курск. *ленгу́з* 'лодырь'; псков., твер. *лынгу́з* 'лентяй'). Преобразования в северновеликорусском слове могли наступить в условиях заударного слога или в результате сознательного отталкивания от слова *гуз*?

[12] О последнем: *В. Н. Топоров.* О праславянском **kot-* // ВСЯ. Вып. 6, 1962. С. 174.

[13] См.: *Vasmer* II. S. 31. Этимология Пизани из *лень* + нем. *Geist* едва ли заслуживает упоминания.

[14] *I. Klarić.* Narodne pripovijetke // Zbornik za narodni život i običaje južnih Slavena XXII. Zagreb, 1917. S. 300.

47. Болг. *бýло* 'покрывало невесты, фата'

признается неясным[15], однако обычные в таких случаях для болгарской лексики ресурсы объяснения заимствованием из соседних балканских языков или из турецкого здесь как будто отказывают. Нам кажется, что мы имеем тут дело с древним исконно славянским элементом болгарского словаря. В связи с этим представляется возможным этимологизировать болг. *бýло* < **обуло*, собственно говоря, — **об-уло* (ср., помимо широко известного в разных славянских языках *bagniti* < **ob-agniti*, еще типично болгарское *бéся*, *бесúлка* < **ob-věsiti* и т. д.). Несохранившееся болг. **об-уло* восходит к праслав. диал. **ob-u-dlo*, ср. **obuti*, а главным образом родственное и тождественное *-tl-* производное лит. *anklẽ* 'портянка' < **ou-tl-*, к которому восходит в конечном счете и болг. *бýло* 'покрывало невесты'. И.-е. **eu̯-* / **ou̯-*, помимо ранней специализации в значениях 'обувь', 'надевать обувь', имело, несомненно, и более общее значение 'надевать, повязывать' (ср. лат. *sub-uculum* 'нижняя туника'), сохраненное в болг. *бýло*.

---

[15] *В. Георгиев и др.* Български етимологичен речник. Св. 2. София, 1963: *було*; ср.: *Младенов.* С. 49.

НАБЛЮДЕНИЯ ПО ЭТИМОЛОГИИ ЛЕКСИЧЕСКИХ ЛОКАЛИЗМОВ (СЛАВЯНСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ 48—52)

Праслав. диал. *gaziti — *gazъ, *napъtъ / *napъta — *napъtati, *brusna, *perestъjь, *kъrmyslъ / *čьrmyslъ

Памяти Макса Фасмера
(1886—1962)

Исследования состава лексики славянских языков по мере накопления фактов показывают многочисленность так называемых локализмов — слов ограниченного распространения, нередко известных лишь в пределах одного языка или части его диалектов. В каждом славянском языке есть слова, известные только ему, но среди них огромное большинство — продукт позднего развития, и такие слова не представляют большого интереса для славянского языкознания в целом. Естественно, что лексические локализмы каждого отдельного славянского языка неоднородны. Среди них есть такие локализмы, которые имеют большую важность в глазах специалиста по сравнительно-историческому изучению славянских языков. Это образования значительной древности, часто — современные эпохе существования праславянских диалектов. Существенно также, что это, как правило, образования, изолированные в словаре соответствующих славянских языков, с несколько неожиданными связями в отдаленных славянских языках или вообще за пределами славянской языковой семьи. Их обособленность повышает значение их свидетельств и отношений, их вскрываемой структуры.

Своеобразие разбираемых ниже случаев заключается в том, что их этимологизация, насчитывающая к настоящему времени определенную литературу,

строится на презумпции полной их изолированности, а наше исследование вскрывает до известной степени мнимый, или относительный, характер этой изолированности, ставит вопрос о связях и новых аспектах отношений, но не снимает, впрочем, и тезиса об изолированности, трактуя ее как вид лексических связей в историческом плане. Нижеследующие заметки вводят в обиход этимологии некоторые новые факты, позволяющие прийти к однозначным этимологическим решениям для части слов. Впрочем, и по тем словам, по которым окончательное решение остается пока проблематичным, этот аспект модифицируемой изолированности лексических локализмов оказывается удобным и открывает дополнительные возможности для эксперимента в этимологии.

В первых двух из нижеследующих заметок (№ 48, 49) нами оспаривается принимаемое в существующих этимологиях местное неславянское (субстратное или адстратное) заимствованное происхождение соответствующих слов. Контраргументом служат новые словарные данные. В этюде № 48 речь идет о глагольно-именной паре **gaziti* — **gazъ*, комплектно представленной в южнославянских языках и частично — в некоторых восточнославянских диалектах (имя **gazъ*), при отсутствии в остальных восточнославянских диалектах, а также других славянских языках. Ввиду сомнительности заимствования из других балканских, в том числе — древних субстратных языков выдвигается мнение об общем архаизме ряда праславянских диалектов. Новые словарные данные, таким образом, в силу своей специфики (непредвиденное наличие в отдаленных и не контактирующих диалектах, изолированное, в свою очередь, положение новых данных в их конкретном языковом окружении) приводят к тому, что существующая интерпретация не дополняется, а в корне меняется. В этюде № 49 восстанавливается глагольно-именная пара **napъtati* — **napъtъ* / **napъta*. Эти ясные (в реконструированном виде) отношения сохранились в более остаточном, реликтовом состоянии, чем разобранная выше пара. Имя **napъtъ* / **napъta* сохранил только церковнославянский (русская редакция), глагол **napъtati* засвидетельствован только в чешском. Бесспорный характер связи, разные прочие яркие моменты (например, уникальный глагольный вокализм) заставляют решительно отказаться от мысли о заимствовании церковнославянского имени из германского.

Этюд № 50, в отличие от предшествующих, трактует о редком, старом слове, которое вообще засвидетельствовано только в русско-церковнославянском и не обнаруживает ни именных, ни глагольных соответствий в известных нам материалах по лексике других славянских языков и диалектов. Классически изолированное слово оказывается, к тому же, семантически темным. Семантическая его неясность компенсируется, однако, незатемненностью его фонетической формы, которая делается очевидной в результате впервые выдвигаемого здесь сближения с кельтским. Опираясь на хорошую сохранность фонетической формы, позволяющей провести сравнение с отдаленнородст-

венными языками, предпринимаем попытку семантической реконструкции для праслав. диал. **brusna*.

Совсем иной случай описывается в этюде № 51, где на примере чешского и белорусского слов рассматриваются лексемы с тождественным словообразованием и значением в неконтактирующих диалектах. Своеобразие случая: ясность словообразования при одновременной изолированности в конкретном языковом окружении. Парадоксальность случая проявляется в том, что изолированность образования даже при наличии ясной структуры порождает спорные или противоречивые толкования. Другая ложная аксиома заключается в понимания ясной структуры как презумпции позднего образования. Применяемое здесь сравнение одной изолированной формы с другой, также изолированной и словообразовательно ясной, приводит к удревнению относительной хронологии вскрываемого общего образования (**perestъjь*).

Заключительный этюд № 52 содержит новое сравнение русского слова *коромысл* / *коромысло* и своеобразной родственной формы в одном отдаленном славянском диалекте. Сравнение делает единственно возможной реконструкцию праслав. **kъrmyslъ* / **čьrmyslъ*, причем обе формы на праславянском уровне надлежит трактовать как варианты практически одного слова; лексикализовавшееся впоследствии расщепление **kŭrmyslŭ* / **kĭrmyslŭ* носило до I палатализации чисто фонетический характер. Изолированное и темное русское слово не удается окончательно разъяснить и после перспективного отождествления его с другим изолированным славянским диалектным реликтом. (Причина отчасти — в нашем неполном знании процессов славянского словообразования.) Однако свидетельство древнего фонетического варианта позволяет ограничить число возможностей интерпретации русского слова, придать ему более строгое формальное толкование. Так, в результате отпадают как неверные этимологии рус. *коромысл(о)* от якобы древних форм **коро-*, **коло-*; элемент *-м-* типологически интерпретируется как древний суффикс-детерминатив основы, а не начало какого-то второго корня сложного слова, следовательно, все образование в целом обретает смысл суффиксального производного, а не двуосновного сложения; словообразовательное членение, вскрываемое при этом: **кърм-ыс-л-*. Морфологически старший тип: *коромысл*, мужского рода.

48. Праслав. диал. **gaziti* — **gazъ*

Эти древние формы реконструируются, в первую очередь, на основе следующих слов живых славянских языков: болг. *гáзя* ‘ходить по воде, по траве, золе и т. п., ступать, погружая ноги’, ‘переходить вброд (реку)’, ‘топтать’ [1],

[1] БТР. С. 88.

макед. *гази* 'наступать, топтать', 'идти, ходить, ступать', 'идти вброд' [2], сербохорв. *га̏зити* 'переходить вброд', 'наступать, попирать', *га̑з* м. р. 'брод' [3], причем имя, по данным словаря Югославянской Академии, засвидетельствовано с XIV в., а глагол — с XVI; словен. *gáziti* 'переходить вброд', 'идти по грязи, по снегу', *gȃz* м. р. 'тропа', 'тропинка в снегу', *gȃz* ж. р. то же, *gȃza* ж. р. с тем же значением [4].

Для правильных суждений об этих словах нужно иметь в виду, что к реконструируемым нами праслав. **gaziti*, **gazъ*, с их семантикой 'брод', 'идти вброд' не относится словен. диал. *gáziti se* 'возбуждать отвращение (например о еде)' [5]. Это последнее слово связывали с блр. *агáзны*, *агáзълiвы* 'надоедливый, озорной' [6], что, как увидим далее, верно, но само по себе недостаточно и нуждается в разъяснениях. Словен. *gáziti se* 'возбуждать отвращение', по-видимому, этимологически тождественно рус. диал. (тульск.) *газúть* 'ломить' [7]; оба слова можно объяснить как продолжение (и упрощение) древнего **gazditi* < **gad-diti*, экспрессивного образования с удвоением согласного и последующей диссимиляцией, ср., далее, родственное рус. *гвáздаться* 'пачкаться', укр. *гвáздати,* польск. *gwazdać* 'пачкать, марать', словен. *gvazdati* 'нести чушь' [8], а также — с другой ступенью чередования корневого гласного — слав. **gydъkъ*, **gadъ*, **gaditi* и продолжающие их формы. Как бы подтверждением данной этимологии служит отождествление словен. *gaziti se* = *gaditi se* в словаре Плетершника. Таким образом, в результате необходимого

---

[2] Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања / Сост. Т. Димитровски, Б. Корубин, Т. Стаматоски, ред. Б. Конески. I. Скопје, 1961. С. 91; *Д. Толовски, В. М. Иллич-Свитыч*. Македонско-русский словарь / Под ред. Н. И. Толстого. М., 1963. С. 69.

[3] *Караџић* s. v.; RJA D. III. S. 116 и след.

[4] *Pleteršnik* I. S. 208.

[5] Там же.

[6] *Ф. Безлай*. Опыт работы над словенским этимологическим словарем // ВЯ. 1967, № 4. С. 53 (значение белорусского слова дано здесь не совсем точно); *Bezlaj*. Eseji. С. 137.

[7] *Даль*[2] I. С. 340; также см. *Филин*. Вып. 6. С. 94.

[8] *Фасмер* I. С. 398. — Сюда (а не к праслав.**gaziti!*), наверное, относится болг. *гáзя* 'кричать, бранить' (ср., например, значение словен. *gvazdati,* включаемое авторами «Болгарского толкового словаря» в единое *гáзя* (см. выше), что вряд ли правильно). Ср. еще укр. диал. *огáзнути* 'покрыться инеем' (о котором неверно — к **gaziti* — см. *Р. Смаль-Стоцький* // Slavia. 1926, № 5. С. 37), удачно связываемое со словен. *gáziti se* 'возбуждать отвращение' в последнее время Безлаем, который допускает и близость к рус. *гвáздать*, при общем исходном **g(v)azd-* (так *F. Bezlaj*. Etimološki slovar slovenskega jezika. Рукопись. Любляна). Ср. еще, с отличиями в деталях, *О. Н. Трубачев*. О составе праславянского словаря // Славянское языкознание. V МСС. М., 1963. С. 176.

отграничения материала получаем особое праслав. **gazditi* с отличной этимологией и особым ареалом, включающим также собственно русскую лексику. Последнее существенно, потому что ареал вышеупомянутого **gaziti* и родственных образований не распространяется на великорусскую территорию. Вместе с тем неверно и традиционное воззрение на **gaziti* 'идти вброд, по воде и т. п.' как на исключительно южнославянское слово. Этому в корне противоречат нижеследующие любопытные данные, которые мы ставим в прямую связь с упомянутой болгарско-македонско-словенско-сербохорватской лексикой с корнем *gaz-*, обозначающей брод.

Мы имеем в виду блр. диал. *газ* 'брод': «В Лепельщине еще употребляют слово *газ* в значении 'мелкое место во всю ширину реки или озера'. Такой газ я видел на Красненском озере (Дисненский у.), это, как мне кажется, искусственная подводная дорога, какие строились в доисторические времена с стратегическими целями» [9].

Южнославянские слова с корнем *gaz-* и значениями 'брод', 'переходить вброд' этимологизировались в литературе весьма разнообразно. Начнем с мнения издателей сербохорватского словаря Загребской академии: «Основа *gaz-* находится только в южнославянских языках, откуда следует, что это — иноязычное слово, возможно, венг. *gáz* с тем же значением, *gázolni* 'переходить вброд'» [10]. С венгерским связывает это южнославянское слово и Миклошич [11]. Лишь Бернекер, вслед за Ашботом, дал правильную оценку этим отношениям, отвергнув мысль о венгерском происхождении славянского слова: «...скорее венг. *gázolni* произошло из слав. *gaziti*» [12]. Совершенно недвусмысленно — как заимствованное из южнославянских языков — характеризуется венг. *gázol*(*ni*) (засвидетельствовано с конца XV в. и обнаруживает практически все значения своего славянского первоисточника: 'переходить вброд', 'топтать, попирать ногами', 'идти') в новом венгерском историко-этимологическом словаре [13]. Венгерское слово используется при этом иногда как след существования **gaziti* в ассимилированных венгерским паннонскославянских диалектах, т. е. в зоне, непосредственно примыкающей к историческим южнославянским языкам [14].

---

[9] *В. Ластоўскі*. Падручны расійска-крыўскі (беларускі) слоўнік. Коўна, 1924. С. 42. Ср. еще *I. Я. Яшкін*. Беларускія геаграфічныя назвы. Тапаграфія. Гідралогія. Мінск, 1971. С. 43: «...*газ* 'очень широкий брод в реке или озере' (Леп.); урочище Газ на Красенском озере в Дисенщине...».

[10] RJA D. III. C. 116 и след.

[11] *Miklosich*. C. 61.

[12] *Berneker* I. C. 299.

[13] A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára / Főszerkesztő Benkő L., szerkesztők Kiss L., Papp L. I. kötet. Budapest, 1967. 1039. old.

[14] *Skok* I. S. 557.

Существует ряд индоевропейских этимологий слав. **gaziti.*

Бóльшая их часть, правда, не приурочена специально к конкретному индоевропейскому ландшафту Балканского полуострова. Таковы этимология **gaziti* из и.-е. **gāg'*- или **gōg'*-, ср. арм. *kacan* 'узкая дорога, тропинка' [15]; сближение слав. **gaziti* с др.-инд. *gā́hate* 'погружается' [16]; с праслав. **gasati* 'бить' < и.-е. **ghes*- 'резать, уничтожать', но с другим расширением [17]; сложная этимология, предполагающая родство слав. **gaziti* 'переходить вброд' с лит. диал. *góti* 'идти', лтш. *gãju,* прошедшее время от *iêt* 'идти', и контаминацию со слав. **laziti* [18]; сближение с лит. *gõžti* 'опрокидывать, проливать', 'неуклюже, неловко шагать' [19]. Наряду с этим выдвинута этимология, объясняющая болг. *гáзя*, сербохорв. *гȁзити*, словен. *gáziti* как древнее заимствование из местных индоевропейских языков Балкан, причем прототип в предполагаемом дако-мизийском субстрате возводится к и.-е. *$*g^{w}$ādhjo-s* и этимологически отождествляется с др.-инд. *gādhá*- 'мелкий, неглубокий'; ответственная роль в передаче и.-е. *dhi̯* как *z* (необъяснимой на славянской языковой почве) приписывается при этом фракийскому (дако-мизийскому, праалбанскому) субстрату, принимая во внимание наличие такой фонетической трактовки именно в албанском [20]. Еще более серьезное значение, чем этому формально-фонетическому критерию, автор названной этимологии придает тому, что «эти слова встречаются только в южнославянских языках» [21]. Очевидно, что этот последний аргумент сохраняет свой вес до того момента, пока не обнаружится его опровержение в виде соответствия в другой группе славянских языков, каковое мы получаем в форме блр. диал. *газ* '(широкий) брод' (см. выше). Древнеалбанские, или фракийские, заимствования в белорусском неизвестны и невозможны, поэтому остроумную новую этимологию В. Георгиева нужно отклонить так же решительно, как это было в свое время сделано (и, как мы судим из наличия того же белорусского диалектного свидетельства, — справедливо) со старой венгерской этимологией.

[15] Так, вслед за Э. Лиденом, см. *Berneker* I. С. 299; *Младенов*. С. 96.

[16] *V. Machek*. Ario-slavica // KZ LXIV. С. 266 (цит. по: RS XIV. 1938. С. 188); *Mayrhofer* I. С. 334—335 (сомневается в семантической стороне славянско-санскритского сближения, предлагаемого В. Махеком).

[17] *Г. А. Ильинский*. Славянские этимологии // ИОРЯС XXIII. 1921. С. 236—237.

[18] *J. Otrębski*. Studja indoeuropeistyczne. Wilno, 1939. S. 63. *J. Otrębski*. Les mots d'origine commune dans des langues slaves et baltiques // LP 1. 1949. P. 130.

[19] *Fraenkel* I. С. 162.

[20] *В. Георгиев*. Въпроси на българската етимология. София, 1958. С. 38—39; ср. *I. Popović*. Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 17. О древнеиндийском слове ср. еще *Mayrhofer* I. С. 333.

[21] *В. Георгиев*. Въпроси на българската етимология. С. 38; ср. еще БЕР III. С. 224.

Таким образом, в общем ряду продолжений слав. **gaziti* — **gazъ* белорусское соответствие приобретает значение отнюдь не рядового свидетельства. С его помощью удается доказать ошибочность двух только что названных этимологий, опиравшихся на моменты внешней лингвистики (заимствование из неславянских языков в славянские при наличии территориальных и культурно-исторических условий). Блр. диал. *газ*, изолированное в своем конкретном языковом окружении и лишенное поддержки соответствующего глагола, тем не менее обнаруживает то же четкое, вполне сложившееся значение 'брод', что и южнославянское имя. Это тождество, наблюдаемое в двух несообщающихся, изолированных районах, показывает нам древность этой формы в этом значении. Сказанное приобретает характер немаловажного внутрилингвистического критерия, поскольку очевидная древность значения 'брод' позволяет сделать выбор между этимологиями (а этимолог знает, как трудно бывает подчас именно сделать обоснованный выбор при изобилии существующих этимологий). В этом смысле значение 'брод' благодаря своей однородности и ранней отграниченности представляет благодарный материал из области семантической типологии этимологических исследований. Как получено значение 'брод'? Это наглядно демонстрирует этимология синонимических обозначений в различных индоевропейских языках. Лат. *vadum* 'брод' связано с лат. *vādere* 'идти' < и.-е. *g^{u}ādh-*, расширение *g^{u}ā-* 'идти' или **u̯ādh-* < **u̯ā-* с тем же значением[22]; авест. *pərətu-* 'брод', галльск. *ritu-* 'брод', нем. *Furt* то же < и.-е. **pr̥tu-* < **per-* 'переходить, перевозить', сюда же греч. πόρος 'брод'[23]; слав. **brodъ* 'брод' < **bredǫ*, **bresti* 'брести, идти'. Сопоставление древних синонимов, обозначающих брод, заставляет нас отдать предпочтение тем из рассмотренных выше этимологий слав. **gazъ* 'брод', **gaziti* 'переходить вброд', которые связывают эту славянскую основу, в конечном счете, с и.-е. *g^{u}ā-* 'идти' (см. выше сближения Отрембского и других с лит. диал. *góti* 'идти', лит. *gõžti* 'неуклюже шагать').

Начав нашу заметку о слав. **gaziti* с разграничений между **gaziti* и омонимизирующимся с ним глаголом **gaz(d)iti*, мы закончим ее еще одним таким наблюдением: между **gaziti* 'переходить вброд' и **gaz(d)iti* 'вызывать отвращение' (словен.), 'ломить' (рус.), 'бранить' (болг.) и т. п. (см. подробнее выше), кроме территориальных различий, наблюдаются еще более серьезные семантические различия. Если значения **gaz(d)iti* явно тяготеют к центральному экспрессивному значению 'гадкий, отвратительный', то значения 'брод', 'переходить вброд' базируются на исходном значении 'идти', 'переправляться', т. е. на значении нейтральном.

---

[22] *Waide*[2]. С. 802; *Ernout — Meillet*[3] II. С. 1256—1257; *Pokorny* I. С. 463 и след.; 1109.
[23] *Pokorny* I. С. 816—817.

Что касается глагольно-именной пары **gazь* — **gaziti*, то свидетельство блр. диал. *газ* полезно и для суждений о хронологии образования членов этой пары. Белорусский пример представляет вполне сложившееся имя при отсутствии парного глагола. Отсутствие глагола могло быть вызвано его утратой, но оно могло быть и изначальным для данного диалекта. Глагол на *-iti* **gaziti* — каузативный (фактитивный) глагол, семантически и формально (ср. корневой вокализм) построенный на базе имени **gazъ:* 'осуществлять переход вброд'. Если говорить о более древней предыстории форм, то имеет смысл охарактеризованные выше индоевропейские родственные связи относить в первую очередь к имени **gazъ*, а глагол **gaziti* считать собственным новообразованием части славянских диалектов.

49. Праслав. диал. **napъtъ /*napъta — *napъtati*

В настоящем этюде речь пойдет о слове, представленном рядом вариантов в памятниках церковнославянского языка, главным образом русской редакции: *напъ* 'наемник, mercenarius'. *Напъ*, обиталникъ (πάροικος καὶ μισθωτός, advena vel mercenarius; по др. сп. наимитъ и обитательникъ). Исх. XII. 45 по сп. XIV в. Аще ли напъ ес҃, да буде҃т емꙋ за напа даемꙋ (по др. сп.: аще ли напъ есть, да боудеть емоу за напасть; да бꙋдеть емꙋ запона на преди). Исх. XXII. 15 (Библ. 1499 г.). Напъ ерѣевъ (πάροικος, inquitinus, по др. сп. наимитъ, населникъ). Лев. XXII. 10. Ꙗко҃ж напа ѡиденань (ѡиденьна — поденного) жизнь его (ὥσπερ μισθίου αὐθημερινοῦ). Иов. VII. 1 по сп. XVI в. (В. II. 20). Аще ли напъ, то възираи на възѧтиѥ тъчиѫ (ε μισθωτὸς, πρὸς τὸ λαβεὶν βλέπε μόνον). Гр. Наз. XI в. 106. Паче же и напа бѣ҃гоунива приеметь сѫдъ (μισθίου). Панд. Ант. XI в. л. 247. Не бо напъ бысть (μισθωτός, mercenarius). Жит. Еутх. 31. Мин. чет. апр. 116. Бяахомъ на поути пять насъ: самъ же бл҃женыи и азъ и два напа и инъ слоуга оунъ (duo agazones). Жит. Порф. 14. Мин. чет. февр. 287[24]. *Напъта* 'наемник': Стоужающи си ѿгонѧхоу напъты своꙗ, дроузи же рабы своꙗ. Жит. Нифонт. XIII в. 106. Ничсо же небрѣгъ ѿгна напты своꙗ. т. ж. 107[25]. *Напьда=набьда* μισθός, merces, μίσθωμα: Да не даси набды ѿ блоудницы (μίσθωμα, mercedem; по др. сп. мьзды). Втз. XXIII. 18 по сп. XIV в. Да не лишиши набды ꙋбогаго (μισθόν, mercedem; по др. сп. наіма). Втз. XXIV. 14. т. ж. Да не ѿдаси нап'ꙋд емꙋ. Втз. XXIV. 15. Библ. 1499 г. Вся напьды ея запалять огнемь. Мих. I.7. И отъ кыхъ зълии съзьдасѧ и лишеныхъ напьдъ просѧ, и отъмьштениꙗ врѣжденыихъ възиска. Изб. 1073 г. (ср. Иер. XXII. 13). Напъдоу възимаста цѣноу или наимъ (μισθόν; в лат. пер. нет). Пат. Син. XI в. 122. Има-

[24] *Срезневский* II. Стб. 314—315; см. также *Miklosich*. LP. S. 410.
[25] *Срезневский* II. Стб. 316.

ше отъ обою напьдоу (mercedem operis, μισθόν). т. ж. Не стыдяся, приди възяти напьдѫ. Конст. Сказ. XII в. 235. Кыꙗ же соуть мьзды и напьды и въздааныꙗ. т. ж.[26]

Таким образом, в нашем распоряжении представлены формы *напъ*, *напъта*, *напьда*, *набьда*, *напъда*, *набда*, которые, несмотря на серьезные различия, являются не словообразовательными, а чисто формальными вариантами одного и того же слова. Количество вариантов должно быть даже умножено, потому что, например, слово *напъта*, даваемое Срезневским только из «Жития Нифонта», реально представлено в тексте в форме винительного падежа множественного числа (как это видно и из цитат у Срезневского), на базе которой может быть реконструирован незасвидетельствованный именительный падеж как в форме *напъта*, так и в форме *напътъ*[27]. Множество письменных вариантов и значительные колебания между ними — первый признак того, что слово было темным и недостаточно понятным. К каким кривотолкам и разночтениям это приводило, хорошо видно хотя бы на примерах одной цитаты на слово *напъ* в разных списках: 1) ...да бꙋдеть емꙋ за напа даемꙋ; 2) ...да боудеть емоу за напасть; 3) ...да бꙋдеть емꙋ запона на преди (так! см. Срезневский, выше). Современный русский перевод этого места Библии (Исх. XXII, 15: «(если он взят был в наймы за деньги,) то пусть и пойдет за ту цену».

Как показывает употребление в церковнославянских цитатах и значение греческих и латинских эквивалентов, изучаемое слово выступало то в значении 'μισθωτός, μίσθιος mercenarius, наемник', то в значении 'μισθός μίσθωμα, merces, наемная плата, плата по найму'. Наличие функций имени деятеля и имени действия обычно характеризует отглагольные существительные, и об этом важно помнить при этимологизировании слова. Двойственная семантическая функция слова помогает как-то объяснить множественность его вариантов, сделать правдоподобным наличие здесь единого слова, из чего согласно исходят все известные этимологии, не пытаясь доказать то, что также нуждается в определенном доказательстве. Можно заметить, что значение 'наемник' закреплено за формами *напъ*, *напътъ* / *напъта*, а значение 'наемная плата' — за формой *напьда* / *набьда* / *напъда* / *набъда*. В последнем случае не исключено, как нам кажется, формальное влияние семантически близких слов *мьзда* (есть в качестве варианта в списках, см. Срезневский, выше), особенно — созвучное *набъдꙗ* ἐπιμέλεια, т. е. 'забота, попечение',

---

[26] *Срезневский* II. Стб. 316.

[27] *К. И. Ходова*. Из наблюдений над лексикой древнерусского списка «Жития Нифонта» 1219 г. // Уч. зап. Института славяноведения АН СССР. Т. IX. М., 1954. С. 189.

'дело'[28]. В случае с формами *напъ*, *напътъ* / *напъта* влияние посторонних форм как будто отсутствует, сами формы *напъ*, *напътъ* ни с чем не ассоциируются и представляются темными, что все вместе и позволяет нам считать их этимологически наиболее авторитетными вариантами, в отличие от форм с иным исходом *напьда* / *набъда*, где нетрудно увидеть подравнивание под известную лексику и вторичное осмысление. Таково, как нам кажется, необходимое доказательство того, что перед нами единое слово.

В семантическом, а также этимологическом отношении существенно, далее, отметить, что *напъ*, *напъта* обозначало не наемного солдата, как иногда толкуют его в литературе[29], а говоря точнее — наемного рабочего[30], поденщика, «напа ѡиденьна», а это также влечет за собой не одни лишь семантические уточнения, но и ограничения в выборе этимологий: так, этимологии, исходившие из молчаливого принятия первоначального значения 'наемный солдат', уже, видимо, не подойдут, см. специально ниже.

Изучение цитатного материала помогло произвести уточнения по всем основным характеристикам слова: значение ('наемный работник', 'плата по найму'), грамматическая функция (вероятное отглагольное существительное), этимологически наиболее авторитетная форма (*напъ*, *напътъ* / *напъта*). Сделать это удалось до известной степени независимо от этимологии в собственном смысле, к которой мы и переходим теперь. Предпринятый выше предварительный филологический анализ, помимо полезных показаний и направляющих ограничений, ставит перед собственно этимологическим исследованием отдельные вопросы, на которые этимология должна будет дать ответ, т. е. своеобразно программирует направление этимологического анализа. Так, если выше поставлен вопрос о наличии у имени *напъ*, *напътъ* / *напъта* признаков отглагольного существительного, то отсюда вытекает необходимость наличия исходного глагола. Далее, сказанное надо понимать как свидетельство о незаимствованном происхождении данного слова.

---

[28] Цслав. **набъдıа**, видимо, калькирует греч. ἐπι-μέλεια (*на-* + основа глагола *бъдѣти*); от него, в свою очередь, произведено рус. *снабдить*, ст.-слав. **сънабъдѣти**, не имеющее никакого отношения к нашему *напъ*, *напъта* 'наемный работник'.

[29] Ср. *Фасмер* III. С. 42; см. еще *V. Pisani* [Рец. на кн.:] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. 12—14. Lief. Paideia. X, № 4, 1955. S. 261 (толкует *напъ*, вернее — *напьда* 'наемный солдат', из 'наемная плата', этимологически: приставка *на-* + **pidā*, где **pi-* якобы древняя приставка 'на-', а корень — к и.-е. **dō-* 'давать'). — Отсутствие слова *напъ*, *напъта* в «Истории военной лексики в русском языке XI—XVII вв.» Ф. П. Сороколетова (Л., 1970), таким образом, вполне оправдано.

[30] *К. И. Ходова*. Указ. соч. С. 189.

Этимологизация этого церковнославянского слова имеет уже более чем столетнюю историю, если начать с чисто умозрительного, не обязательного ни в формальном, ни в семантическом плане толкования А. Фика [31], который объясняет *напъ* из **на-апъ*, где *на-* — приставка, а корень *-апъ* сближается с др.-инд. *apa-* 'достижение, обретение' (точнее — *āpa-* 'дело, действо, священнодействие' [32]). Еще более случайна этимология, сближающая слово *напъ* с названием народа Ναπαῖοι [33].

Очевидной слабостью приведенных этимологий является невозможность объяснить с их помощью наиболее полный вариант *напътъ, напъта*. Этот недостаток объединяет их с третьей этимологией, самой популярной до недавнего времени. Мы имеем в виду объяснение И. Ю. Микколы, который увидел в цслав. *напъ* заимствование из древневерхненемецкого *knappo* (= современное нем. *Knappe*) [34]. Автор этой этимологии объяснял разность начала слова нем. *kn-* при слав. *n-* субституцией, или заменой немецкого сочетания *chn-* (Миккола останавливается на варианте *chnappo* немецкого слова) славянским *n-*; форму *напъты* он производит от соответствующего древневерхненемецкого образования с элементом *-t-*, не указывая конкретно, — какого именно. Древневерхненемецкое *knappo* обозначало юношу, который готовится стать рыцарем, пажа, оруженосца [35]; это значение отражено и в нем. *Knappe* 'паж, оруженосец'. Военный, рыцарский термин плохо подходит как прототип для названия поденного рабочего. Древневерхненемецкое производное с суффиксом *-t-* от *knappo* пока что нам неизвестно, а следовательно, объяснить форму *напътъ / напъта* средствами немецкого словообразования не представляется возможным. Субституция *kn-* > *n-* на славянской почве крайне сомнительна (в другом месте мы уже показывали устойчивость звукосочетания *kn* в славянском), и апелляция к варианту *chn-* в начале немецкого слова тоже не спасает эту этимологию. Как видим, данное толкование всесторонне уязвимо и ненадежно, и хотя А. Вайан не так давно высказался в его поддержку [36], оно, вероятно, должно быть оставлено. В довершение сошлемся на старопольское слово *knap* 'ткач, суконщик', заимствованное из средне-

---

[31] *A. Fick*. Etymologische Beiträge. KZ XIX, 1870. S. 260.

[32] *Mayrhofer* I. S. 75.

[33] *Срезневский* II. Стб. 314.

[34] *J. J. Mikkola*. Zur slavischen Wortkunde // Jagić-Festschrift. Zbornik u slavu Vatroslava Jagića. Berlin, 1908. S. 359; *J. J. Mikkola*. Urslavische Grammatik. I. Teil. Lautlehre, Vokalismus, Betonung. Heidelberg, 1913. S. 11. Против см. *Фасмер* III. С. 42.

[35] *O. Schade*. Altdeutsches Wörterbuch. 2. Aufl. Halle a. S., 1872—1882. S. 501 (производного с суфф. *-t-* словарь не дает).

[36] *A. Vaillant*. Vieux-slave *napй* «serviteur à gages» // Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор. 25. Београд, 1959. S. 256—257.

верхненемецого *knappe* довольно рано (известно с XV в.[37]) и, как видим, отлично сохранившее начальное *kn-* немецкого слова.

Критика перечисленных этимологий и доэтимологические постулаты об отглагольности и незаимствованном происхождении слова *напъ*, *напътъ* / *напъта* (см. филологический анализ, выше) толкают нас на поиски иной этимологии. Попытки интуитивного толкования от какого-либо «подходящего» глагола имели место и ранее. Так, П. О. Потапов производил *напътъ* / *напъта* из «Жития Нифонта» от сербохорв. *на̀патити* 'приобретать, наживать, зарабатывать'[38]. Сербохорватский глагол совершенного вида *на̀патити* 'измучить', 'приобрести, нажить, заработать, стяжать'[39] образован от бесприставочного *па̏тити* 'страдать, мучиться', также 'разводить, умножать, размножать'[40]. Близкое слово может быть указано еще в болг. *па́тя* 'испытывать, переносить, терпеть'[41]. Названные сербохорватское и болгарское слова являются очевидными романскими заимствованиями из лат. *patior*, *pati*, народно-лат., ит. *patire* 'терпеть, страдать'[42]. Как видим, сербохорватское *-а-* корневое представляет собой здесь этимологически полный гласный, что абсолютно противоречит увязке сербохорв. *патити*, *напатити* с рус.-цслав. *напътъ*, *напъта*, не говоря о других возражениях (по́зднее, местное заимствованное происхождение болгарского и сербохорватского глаголов, существенное семантическое различие между этими «глаголами страдания» и обозначениями наемной платы, наемного рабочего).

Тем не менее, глагол, послуживший словопроизводящей базой для *напъ*, *напътъ*, существует, и он относится к исконно славянскому фонду лексики. Мы имеем в виду чешское диалектное слово *naptat'* 'нанять на работу'[43], *naptať* 'нанять рабочих'[44].

Семантические отношения русско-церковнославянского *напътъ* / *напъта* 'наемный рабочий', 'наемная плата' и чешского диалектного *naptat'* 'нанять на работу', 'нанять рабочих' нуждаются в комментариях. Чешское диалект-

---

[37] *Sławski* II. S. 284. — Включение рыцарского, сословного термина в состав терминологии развитой цеховой ремесленной организации в данном случае понятно и оправдано, и состоялось оно еще на немецкой почве.

[38] Цит. по: *К. И. Ходова*. Указ. соч. С. 189.

[39] RJA D. VII. C. 482.

[40] Указ. словарь. D. IX. C. 701.

[41] БТР. С. 542.

[42] *Младенов*. С. 415.

[43] *A. Kašík*. Popis a rozbor nářečí středobečevského (= Rozpravy České Akademie císaře Františka Josefa pro vědy, slovesnost a umění. Třída. III. Ročn. IX. Číslo 26). Praha, 1908. S. 94.

[44] *F. Svěrák*. Karlovické nářečí. Brno, 1941. S. 126.

ное слово образовано с приставкой *na-* от чеш. *ptáti* 'спрашивать, просить'. Несколько слов об этой исходной форме, поскольку знание ее особенностей помогает внести ясность в главный вопрос настоящей заметки. Чеш. *ptáti* (*se*) продолжает праслав. **pъtati*, родственное прежде всего праслав. **pytati*. Отношения между ними весьма контрастны в плане лингвистической географии, причем **pъtati* сохранилось только в чешском языке, а **pytati* представлено во всех остальных славянских: польск. *pytać*, рус. *пытать*, словац. *pytat'* (диалектно **pytati* есть и в чешском). Чеш. *ptáti* так относится к **pytati* прочих славянских языков в количестве своего корневого гласного, как чешское же *psáti* 'писать' к общеславянскому **pisati*. Вероятно, *ptáti*, *psáti* обобщили вокализм старых претеритальных форм **pŭtas*, **pĭsas*, как это имело место в инфинитиве **bьrati* 'брать', правда, в последнем случае явление охватило все славянские языки, а формы *ptáti*, *psáti* носят выразительно чешский характер. Так или иначе, **pъta* (прошедшее время) — **pytati* (инфинитив на *-ati* с продлением корневого гласного) — **pъtati* (инфинитив, не содержащий упомянутого продления), при всей локальности следов вокализма **pъtati*, отражают старые апофонические отношения еще праславянского времени. Хотя существует мнение об общеславянском характере связи форм **pъtǫ* — **pytajǫ* (итератив с удлинением ъ > *y*)[45], мы не можем игнорировать того, что свидетельства о **pъtati* есть только в чешском, почему и говорим здесь о праславянском диалектизме. Только чешскими являются и отмеченные в современных диалектах следы приставочного глагола **napъtati* (см. выше чеш. диал. *naptat'*). Исключительно на чешской языковой почве могло возникнуть и производное отглагольное имя **napъtъ*, **napъta*, содержащее все ту же отмеченную краткость гласного в корне.

Свидетельства географии слов и корневого чередования гласных (только чешская ступень краткости в **pъtati*, **napъtati*, **napъtъ*) позволяют считать слово *напъ*, *напътъ* / *напъта* в русско-церковнославянских текстах еще одним весьма достоверным чехоморавизмом лексики церковнославянской письменности. Неустойчивость написания, наличие ряда вариантов (о чем см. выше), наличие явной порчи в *напъ*, усеченном из *напътъ*, делаются понятными, если взглянуть на это слово как на иноязычное и неясное для древнерусских книжников и переписчиков.

50. Праслав. диал. **brusna*

В древнерусском памятнике «Степенная книга» встречается неясное слово в форме множественного числа *брȣсны* 'какая-то часть тела или лица?',

[45] *Machek*[2]. С. 496.

отмечаемое И. И. Срезневским вслед за А. Х. Востоковым на основании единственной цитаты: «Плеща же и груди отъ стрѣльнаго ударения и отъ сабельнаго и брусны его бяху сини яко и сукно»[46].

Изолированность слова как среди известной русской лексики, так и в целом в словаре славянских языков давала простор для реконструкции и этимологизации, одновременно существенно затрудняя и ту и другую. Исходя из естественного допущения, что русское слово, по-видимому, проделало большой путь видоизменения и развития, начиная от праславянской формы, Э. Бернекер восстанавливал для др.-рус. *брꙋсны* праславянскую форму с носовым гласным в корне и редуцированным в суффиксе **brǫsьna*[47]. Повторяя эту реконструкцию вслед за О. Видеманом, он приводит, вслед за последним, и семантическую реконструкцию 'верхняя часть руки, плечо'. Бернекер не скрывал своих сомнений насчет правильности этой реконструкции и этимологии Видемана (последняя состояла в отнесении славянского слова к и.-е. **bhrenk̂*- 'крепко обхватывать', ср. греч. φράσσω 'окружаю, заключаю'). Скепсис Бернекера кажется вполне оправданным, даже если бы мы не могли предложить для этимологизируемого слова никакого более убедительного толкования. Достаточно обратить внимание на то, что здесь приходится иметь дело в сущности с двойной реконструкцией — и внешней формы слова и его значения. И то и другое необходимо, но тогда любой неверный ход толкования оказывается неверным вдвойне.

Предположим, что перед нами древнее слово, сохранившее, несмотря на свою древность, практически неизменным свой первоначальный вид. Если вспомнить изолированный характер слова *брꙋсны*, подобное предположение не покажется странным. Короче говоря, предположим простейшую возможную реконструкцию: праслав. **brusna*. Идентичная праформа (и.-е. **bhrusnā*) восстанавливается для целого ряда слов в кельтских языках: кимрское *bronn* ж. р. 'грудь', бретонское *bronn*, *bron* то же, ср., с иным древним исходом основы, др.-ирл. *bruinne* (< **bhrusni̯o*-) 'грудь'[48]. Названное этимологическое тождество праславянского диалектного слова **brusna* (после сказанного выше серьезных сомнений в его вероятном праславянском характере как будто не должно оставаться) и упомянутого кельтского названия груди, сводимое к исходному индоевропейскому **bhrusnā*, представляет собой заметную славяно-кельтскую изоглоссу, не упоминаемую в известной нам литературе. Славянское слово — архаизм лексики, с явным забвением значения (*'грудь'? 'часть груди'?), ср. плеонастическое в таком случае употребление рядом с

---

[46] *Срезневский* I. Стб. 181; см. также *Miklosich* LP. S. 45.
[47] *Berneker* I. S. 88.
[48] *Pokorny* I. S. 170 (без славянского слова).

ним в единственной известной нам древнерусской цитате (см. выше) слова *груди*. И.-е. **bhrusnā* членится, далее, на основу с расширителем **bhru-s-* и суффикс *-nā,* ср. родственное слав. **br'uxo* (рус. *брюхо* и др.), содержащее корень с вокализмом в иной апофонической ступени (и.-е. **bhreu-s-*). Сближение слов *брȣсны* и **br'uxo* дал еще А. Брюкнер [49], одновременно приписывавший без достаточного основания древнерусскому слову *брȣсны* значение 'бедро, ляжка'. Еще менее убедительно предложенное им там же сближение *брȣсны* также с литовским *prusnà* 'морда (коровы, быка)', которое объясняется совершенно иначе, как специфически литовское образование.

51. Праслав. диал. **perestъjь*

Современное чешское слово *peřestý* 'пестрый' [50] имеет вполне отчетливую структуру прилагательного, производного с суффиксом *-est-* от *pero* 'перо', т. е. первоначально что-то вроде 'пернатый'. Этот состав слова *peřestý*, по-видимому, хорошо ощущается в современном чешском языковом сознании, о чем свидетельствуют составители цитированного нами большого толкового словаря чешского языка, где современное значение 'pestrý' выводится из 'peřitý, peřovitý'. Как будто по своим данным слово *peřestý* не нуждается в специальном этимологическом анализе ввиду очевидности своего состава и прозрачности словообразования. Сведения по истории слова в чешском у нас отсутствуют, в доступных нам диалектных материалах оно не встречается. По словам В. Махека, «слово *peřestý*, в конечном счете, — исключительно литературное слово в чешском языке» [51]. Усматривая в описанной своеобразной изолированности чешского слова (отсутствии соответствий в чешских народных говорах, в близкородственных языках) сигнал якобы имевшей место перестройки структуры, Махек толкует чеш. *peřestý* как контаминацию чешских слов *pelestý* 'пестрый, разноцветный' и *pestrý* 'пестрый', причем первое из них он относит к праслав. **pel-es-ъ,* а второе восходит к **pьstrъ* (ср. рус. *пестрый* и другие славянские родственные формы этого общеславянского слова); Махек приходит к выводу, что слово *peřestý* «получило значение 'пестрый' скорее в домыслах писателей». Пока в нашем распоряжении остается такое же ограниченное количество фактов, какое было в данном случае у Махека, мы не можем не считаться с предложенным им объяснением, хотя нас может не удовлетворять заведомая сложность самого объяснения (контаминация двух разных слов); равным образом мы не можем от-

[49] *A. Brückner* // Slavia. Ročn. 13. 1935. S. 275.
[50] PSJČ IV. 1. С. 211.
[51] *Machek*[2]. S. 445.

казать этимологу в праве подойти критически к так называемому языковому сознанию, или чутью, носителей языка, т. е. усомниться в словопроизводстве *peřestý* < *pero*, как это и сделал Махек. С неменьшим основанием мы могли бы выдвинуть, пожалуй даже более логичную, этимологию чеш. *peřestý* как метатезы слова *pestrý* < слав. **pьstrъ*, с последующим сближением с *pero* 'перо', достигнув этим путем включения более или менее изолированного слова в ряд продолжений общеславянской по своему распространению формы.

Однако в славянской лексике есть факты, оставшиеся неизвестными Махеку, которые корректируют вывод покойного чешского ученого о значении чеш. *peřestý* 'пестрый' как сложившемся якобы лишь в домыслах писателей и — главное — кладут конец сомнениям в древности формы чеш. *peřestý*. Мы имеем в виду блр. *пярэ́сты* 'пестрый', 'пегий, чубарый (о масти лошадей)' [52]. Нам неизвестно, было ли это белорусское слово предметом этимологизации в литературе и сравнивалось ли оно, в частности, с чеш. *peřestý*, тем более, если учесть очевидный характер связи, тождества формы и значения чеш. *peřestý* 'пестрый' и блр. *пярэ́сты* 'пестрый'. Это тождество тем более значительно в наших глазах, что названное белорусское слово одиноко в восточнославянском. Данное соответствие исключает мысль о контаминации или метатезе, приведшей к образованию какого-либо из этих двух слов или обоих сразу. Трудно предполагать тут также вторичное проникновение или заимствование из языка в язык. Мнение о совершенно независимом параллелизме образования чешского и белорусского слов было бы, как нам кажется, неубедительно ввиду оригинального развития значения 'пестрый' из 'пернатый', 'цвета перьев' (ибо примерно таково этимологическое значение данного слова, производного от названия пера). Единственно возможное заключение, к которому приводит сближение чеш. *peřestý* и блр. *пярэ́сты*, — это вероятность существования диалектного праславянского слова **perestъjь*.

52. Праслав. диал. **kъrmyslъ / *čьrmyslъ*

Слово, на котором базируется первый из двух приведенных выше вариантов праславянской реконструкции, распространено исключительно в восточнославянских языках и в первую очередь — в русском языке.

Рус. *коромы́сло* ср. р. 'деревянная дуга с выемками или крючками на концах для ношения ведер', (обл.) 'длинный и тонкий шест у колодца, употребляемый в качестве рычага при доставании воды', диал. *коромы́сло* 'стре-

---

[52] Белорусско-русский словарь / Под ред. К. К. Крапивы. М., 1962. С. 771; *М. Байкоў, С. Некрашэвіч*. Беларуска-расійскі слоўнік. Менск, 1925. С. 266.

коза', 'палка, которой толкут в ступе белье' [53], *коромы́сло* 'коростель, дергач' [54], *коромысло* 'кормовая веревка' [55], *коромы́сло* 'пара ведер воды' [56], 'детская игра (в ножички)' [57]; *коромы́сел*, род. п. *-сла*, м. р. 'коромысло' (новг., твер.), 'стрекоза, насекомое' (нижег.) [58], *коромысл* 'коромысел', 'плечная кость' [59], *коромы́с* 'созвездие Большой Медведицы' (Буирск. у.) [60], *коромысел*, род. п. *-сла*, м. р. 'коромысло' [61], *коромы́с*, *коромы́сел* 'коромысло' [62], сюда же уменьшительное производное *коромы́сик* 'стрекоза' (сарат.) [63].

Укр. *коро́мисел*, род. п. *-сла*, м. р., и *коро́мисло* ср. р. 'коромысло', 'рычаг, которым приводятся в движение при звоне языки маленьких колоколов', 'детская игра: двое детей становятся друг к другу спиной, переплетаются руками и поочередно каждый нагибается вперед, отчего другой подымается на воздух' [64], диал. *коро́мисел*, род. п. *-сла* 'перекладина на возу, к которой прикрепляются постромки', 'коромысло' [65], сюда же *коро́мыслы* мн. 'часть ткацкого станка' [66], *коро́мысло*, *коро́мисло* ср. р., *коро́мыс'ол*, *коро́мысел* м. р., *коро́мыслы*, *коро́мысли*, *коро́мисли* мн. 'короткая палка, которая в упряжке «на орчик» привязывается к «ручке», а в дышловой упряжке — к «стельваге»; прочная жердь, укрепленная в передке телеги' [67].

Блр. *каро́мысел* м. р. 'коромысло', диал. *каро́місла* ср. р. то же [68].

---

[53] *Куликовский*. С. 41.

[54] *Н. Кедров*. Материалы лексикографические по новгородским говорах. Слова ладожские // ЖСт VIII. 1898. С. 402.

[55] Труды Московской диалектологической комиссии (Новосильский у. Тульской губернии) // РФВ LIX. 1908. С. 310.

[56] Сл. Сред. Урала II. С. 50.

[57] Там же.

[58] Опыт. С. 90.

[59] *Добровольский*. С. 346.

[60] *А. Мотовилов*. Симбирская молвь. К материалам для изучения областных наречий русского языка // Сб. ОРЯС XLIV. № 4. 1888. С. 23.

[61] Говоры Прибалтики. С. 129.

[62] Сл. Сред. Урала II. С. 50.

[63] Картотека Словаря русских народных говоров. Институт русского языка АН СССР. Л.

[64] *Гринченко* II. С. 287.

[65] *П. С. Лисенко*. Словник діалектної лексики середнього і східного Полісся. Київ, 1961. С. 36.

[66] *Н. Г. Владимирская*. Полесская терминология ткачества // Лексика Полесья. М., 1968. С. 222.

[67] *Л. И. Масленникова*. Из полесской терминологии транспорта // Лексика Полесья. С. 173.

[68] *Г. Юрчанка*. Дыялектны слоўнік (з гаворак Мсціслаўшчыны). Мінск, 1966. С. 109.

Др.-рус. *коромыслъ* (Тежъ вѣсъ мѣдовы (дѣдовы), соляныи, музолки, коромыслъ, тымъ его милость Смолнянъ жаловалъ. Жалованная подтвердительная грамота смоленскому владыке Иосифу 1505 г. [69], коромыслъ дубовый на крюках железных (1647 г.) [70], *коромыселъ* (...на*д* меха*ми* коромысе*л* деревяно*и* виси*т* на крюку желѣзно*м*... 1657—1663 гг. Куплено др̑вни Бо*р*цова у кр͠стьянина Дениска Му*р*нака восмьна*т*ца*т* коромысе*л* вѣдръ дано за коромысел по по*л* восмы дн̑ги итого два*т*цать два а*л*тына по*л*торы дн̑ги. Книга Иверского монастыря. 1665 г. ⟨...⟩ а въ тѣхъ важняхъ двои терези, карамыслы желѣзные и доски окованы желѣзомъ, да старой корамыселъ желѣзной... Псковские акты. 1699 г.) [70], *коромысло* (коромысло желѣзное отъ вѣсковъ... 1709; ...2 ска*л*ки да коромысло деревя*н*ные... 1710 г.) [70], сюда же производное *карамысцы* мн. (...серги жъ серебреные карамысцы съ зерны жъ. Рядная на замужество, 1695 г.) [70].

Польское диалектное слово *koromysło*, известное только на востоке польской языковой территории, заимствовано из восточно-славянских языков, как полагает Брюкнер, из украинского [71]. Прочим славянским языкам слово неизвестно. Однако существует одно бесспорно родственное слово, остававшееся до последнего времени как будто неизвестным для славистов-этимологов. Это кашубское plurale tantum *čårmëslë* 'деревянные коромысла, которые кладут на плечи для переноски ведер и корзин' [72]. Кашубско-словинские говоры — типичные окраинные диалекты, которые уже не раз открывали и, видимо, еще будут открывать в дальнейшем взору внимательного исследователя архаические черты фонетики, морфологии, словообразования и лексического состава славянских языков. К числу таких архаизмов может быть отнесено и слово *čårmëslë*, соответствий которому ни в соседнем польском, ни в других дальних и близких славянских языках мы пока не знаем. Реконструируя на этом основании праславянское **čьrmysly* мн. ч., а отсюда — совершенно регулярное **čьrmyslъ* м. р. (см. второй вариант праславянской реконструкции в заглавии настоящей заметки), мы не можем не обратить внимания на разительную близость этой формы и восточнославянского названия коромысла. С первого взгляда ясно, что мы имеем здесь дело не со случайным сходством, а с фактом близкого родства. Собственно, если говорить о сходстве, то необходимо указать и на своеобразные отличия, которые обнаруживаются между нашими словами и которые, как увидим ниже, могут быть в своей сущности сведены к историческому тождеству. Сближать оба слова, оче-

---

[69] *Срезневский* I. Стб. 1291.
[70] Картотека МДРС.
[71] *Brückner*. S. 257.
[72] *Sychta* I. S. 149.

видно, следует на приблизительно одинаковом временно́м уровне, для чего необходимо получить праславянскую реконструкцию также для рус. *коромысло* / *коромысел* и др. (см. перечень форм выше). Этот вопрос тесно связан с этимологией (или этимологиями) слова *коромысло*. Вся сложность заключается в том, что мы имеем дело с этимологически темным словом. Но «этимологически темный» еще не значит «заимствованный», и в этом косвенно убеждают нас неудачи попыток объяснить рус. *коромысло* как заимствование (из греч. κρεμαστήρ 'крюк для котла', лат. *cremasclum*, рум. *curmeziş* 'поперек'… [73]). Пожалуй, у нас во всяком случае не меньше оснований предположить здесь старое, исконно славянское слово. Но с какой древней формой? При недостатке как внешних, так и внутренних критериев нам остается выбирать между несколькими теоретически одинаково возможными реконструкциями: **kor(o)myslo*, **kolomyslo* [74], **kъrmyslo*. Но несомненное родство рус. *коромысло* и кашуб. *čårmëslë* все-таки позволяет предпринять некоторые ограничения выбора возможностей и, тем самым, остановиться на наиболее вероятной реконструкции. Прежде всего делается очевидной древность *-р-* (праслав. *-r-*) в составе русского слова и, соответственно, отпадает реконструкция **kolomyslo*. Остаются **kor(o)myslo* и **kъrmyslo*. Мы предпочитаем праформу **kъrmysl-* (о конечном гласном см. специально ниже), так как вариант **čьrmyslъ*, восстановленный из кашубского слова, свидетельствует, по нашему мнению, именно в пользу реконструкции праслав. **kъrmysl-*, а не **kormysl-*. Хотя отношения типа **čьrm-* (**kĭrm-*): **korm-* возможны, их следовало бы ожидать в морфологически и словообразовательно оправданных обстоятельствах, тогда как здесь представлены тождественные словообразовательные модели, следовательно, здесь можно говорить только о фонетических вариантах типа **krъtъ*: **čьrtъ* [75], без четкой словообразовательно-морфологической функции. Таким образом, прав был Брюкнер, который, говоря о рус., укр. *коромысло*, *коромисло*, утверждал: «drugie o niepierwotne» [76]. Приходя после сказанного к дублетным **kъrmysl-* / **čьrmyslъ*, мы отмечаем определенную диспропорцию в морфологическом оформлении восстановленных вариантов. Не представляет, конечно, труда проецировать в праславянское состояние морфологический тип наиболее ав-

[73] См. обзор соответствующих объяснений: *Фасмер* II. С. 334.

[74] *Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская*. Краткий этимологический словарь русского языка. 2-е изд. М., 1971. С. 213.

[75] Об этимологическом тождестве этих двух слов, нередко объясняемых поразному, говорит сходство их поведения и употребления, ср. сложения **krъtoryja* : **čьrtoryja*.

[76] *Brückner*. S. 257. — В русской научной литературе такие случаи определяются как второе полногласие.

торитетного сейчас русского варианта *коромысло* и предположить существование праславянского **kъrmyslo*. Но диалектология и история подсказывают другое решение вопроса. Укажем на хорошо известное колебание типов склонения *коромысло* ср. р. и *коромысел* м. р.[77] Правда, такая квалификация как «колебание» еще совершенно недостаточна для суждений о направлении развития. Подлинную услугу оказывают нам поэтому данные лингвистической географии, которые рисуют в общих чертах такую картину для территории русского языка: если брать в расчет относительно старую территорию, освоенную русскими в Европе, то форма *коромысло* ср. р. (и исторически тождественные ей вроде *коромысла* в южновеликорусских говорах) занимает в южновеликорусских говорах подобие неширокого коридора, вытянутого в направлении юго-запад — северо-восток, с расширением в области средневеликорусских говоров (откуда форма *коромысло* ср. р. и попала в литературный язык) и с абсолютным господством в северновеликорусском наречии приблизительно к северу от линии Новгород—Боровичи—Ярославль—Солигалич. В то же время на значительных периферийных пространствах к западу и югу от Новгорода, далее — на запад от линии Бежецк—Калинин—Мосальск—Жиздра—Брянск—Трубчевск с одной стороны от означенного выше «коридора» и к востоку и юго-востоку от Костромы, Ярославля и Мценска, Орла, Курска — с другой стороны — господствуют формы типа *коро́мы́сел*, *коро́мы́сл* м. р.[78] Опыт исследований в плане лингвистической географии учит, что центр ареала как правило занимают новообразования, а архаизмы имеют тенденцию смещаться к периферии, где они и лучше сохраняются. Картину распределения форм *коромыс(е)л* ~ *коромысло* нужно толковать совершенно однозначно, а именно: более древним является *коромыс(е)л* м. р., тогда как *коромысло* ср. р. — новообразование. К сожалению, лингвистическая география соседнего белорусского языка не представляет столь яркой картины распределения родственных форм. Восточная часть белорусской языковой территории является как бы продолжением западного русского пе-

[77] *С. П. Обнорский*. Именное склонение в современном русском языке. Вып. 1. Единственное число. Л., 1927 (= Сб. ОРЯС. Т. С. № 3). С. 45.

[78] Атлас русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы. М., 1957, сводная карта № 13; остальные сведения почерпнуты из неизданных томов Атласа: «Атлас русских народных говоров к западу от Москвы» [= т. V], карта № 358; «Атлас… к северу от Москвы», карты № 368, 369; «Атлас… северо-западных областей», карта № 150; «Атлас… к югу от Москвы» [= т. IX], карта № 257. Диалектные и исторические сведения см. еще: *А. П. Семенова*. Из склонения имен и местоимений по данным нижегородской письменности XVII века // Статьи и исследования по русскому языку и языкознанию (= Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. Т. 450). М., 1971. С. 178.

риферийного ареала форм мужского рода: на территории к востоку от линии Полоцк—Минск—Мозырь абсолютно преобладают формы *каро́мысел*, *карэ́мысел*, *каро́місел*, *карэ́місел*, *карамы́сел* м. р., а к западу от этой линии — формы среднего рода *каро́мысла*, *карэ́мысла*, *каро́місла*, *карэ́місла*, *карамы́сла*[79]. Данными по географии украинских форм мы пока не располагаем. Известные нам древнерусские формы XVI—XVII вв. согласно показывают мужской род (см. выше). Все это дает нам право восстановить праславянскую форму мужского рода **kъrmyslъ* и этим довершить словообразовательно-морфологическое тождество фонетических вариантов **kъrmyslъ* и **čьrmyslъ* (последний вариант, будучи, как сказано выше, классическим примером периферийного реликта, убедительно подтверждает наше лингвогеографическое наблюдение об относительной хронологии рус. *коромысло* / *коромысел* также в плане общеславянской лингвистической географии).

Итак, получив с немалой достоверностью праславянскую реконструкцию **kъrmyslъ*, а не **kъrmyslo*, мы можем заняться дальнейшим пересмотром морфологической и словообразовательной характеристики слова. Неоднократно высказывалось мнение о том, что рус. *коромысло* — производное с суффиксом *-сло*[80]. Суффикс *-сло* — древний формант отглагольных имен, достаточно привести образования с ним из «Материалов» И. И. Срезневского — *масло*, *весло*, *число*, *сусло*, *поврѣсло*, *увѧсло*, *съвѧсло*, *прѧсло*[81], — чтобы стало очевидно, что мы здесь имеем дело уже с праславянскими производными **maz-slo*, **vez-slo*, **čit-slo*, **sut-slo*, **poverz-slo*, **uvęz-slo*, **sъvęz-slo*, **pręd-slo*. Ясна и связь этих производных с соответствующими глаголами. Если мы, далее, заинтересуемся древнерусскими именами с исходом *-слъ*, то обнаружим только *-мыслъ* и сложения с ним (*замыслъ*, *премыслъ*, *розмыслъ*, *примыслъ*, *домыслъ*, *зъломыслъ*, *промыслъ*, *умыслъ*, *съмыслъ* и т. п.[82]), объясняемые особо, с которыми древнерусское *коромыслъ*, стоящее рядом в обратном словаре, не имеет, конечно, ничего общего, а также обнаружим знаменательное полное отсутствие парных образований на *-сло* и *-слъ*. Бесспорная первичность дублета *коромыслъ* и — наоборот — праславянская древность форманта *-slo* говорят о том, что перед нами разные образования с различными формантами. К тому же, нельзя назвать сколько-нибудь убедительно глагол, от которого могло бы быть образовано слово *коромысл* / *коромысло*, пра-

[79] Дыялекталагічны атлас беларускай мовы / Пад рэд. Р. І. Аванесава, К. К. Крапівы і Ю. Ф. Мацкевіч. Мінск, 1963. Карта № 249.

[80] *Brückner*. С. 257; *Н. М. Шанский, В. В. Иванов, Т. В. Шанская*. Указ. соч. С. 213.

[81] Indeks a tergo do Materiałów do słownika języka staroruskiego I. I. Srezniewskiego / Opracowały I. Dulewicz, I. Grek-Pabisowa, I. Maryniak pod kierunkiem A. Obrębskiej-Jabłońskiej. Warszawa, 1968. S. 217.

[82] Indeks a tergo… С. 255.

слав. **kъrmyslъ*, поэтому приходится отвергнуть мысль о наличии здесь суффикса *-slo*, который предполагает отглагольность.

Всесторонне обосновав реконструкцию праформы **kъrmyslъ* / **čьrmyslъ*, мы, однако, еще не решили вопроса о ее происхождении. Этот главный вопрос этимологии каждого слова в данном случае до конца сохраняет некоторую проблематичность, хотя критическое рассмотрение примера с названием коромысла кажется весьма поучительным случаем «трудной» этимологии и поэтому излагается нами подробно. Слово такой длины как **kъrmyslъ* может быть суффиксальным производным или двукорневым сложением. Совершенно очевидно наличие здесь древнего звукосочетания **tъrt* / **tьrt*. Это само собой разумеющееся утверждение открывает, как кажется, перед нами дополнительные эвристические возможности. Необходимо решить вопрос о морфемном составе; следует ли членить слово как **kъr-myslъ* или как **kъrm-yslъ*? Сочетания согласных с плавным типа *tъrt*, *tьrt* обнаруживают в славянском ту особенность, что они всегда состоят из одной основы (в широком смысле слова, поскольку согласный, следующий за плавным, может быть суффиксом). Случаи членения *tъr-t...* нуждаются в особом объяснении и, насколько нам известно, не отражают древнего состояния, например рус. *кур-носый*, польск. *kur-dupel* 'карапуз', в которых состоялось стяжение, гаплология первоначальных **kъrno-nosъ*, **kъrno-dup-*. Одноосновность сочетаний *tъrt*, *tьrt* закономерна, в ней прекрасно проявляется апофоническая природа этих сочетаний. Следовательно, единственно возможный морфемный состав нашего слова: **kъrm-yslъ*. Вторая морфема представляет собой суффиксальную группу *-ys-l-*. Основу слова верно проэтимологизировал уже Брюкнер, связав ее с рус. *кормá*, праслав. **kъrma*[83], во всяком случае, предложить более удовлетворительное толкование было бы трудно. Его ошибочное выделение в слове *коромысло* суффикса *-сло*, неприемлемое по изложенным нами выше причинам и не объясняющее всех особенностей слова *коромысло*, мы отвергаем. Но имеющееся у Брюкнера там же сближение также с украинским словом *кормúга* ж. р. 'иго, ярмо, власть'[84] представляет для нас интерес и кажется ценным, поскольку **kъrmyslъ* может быть развитием некоего суффиксального **kъrm-ys-* (ср. блр. диал. *хрaслы́* мн., *храсёл* м. р. 'гриб груздь' < **xręs-l-*), которое могло дать и **kъrm-yx-a* (с переходом *s* > *x*) наряду с суффиксальным вариантом **kъrm-yg-a*. Предвидя скептическую реакцию на сближение двух как будто далеких семантических слов *корма*[85] и *коромысло*, напомним одно

[83] *Brückner*. С. 257.

[84] *Гринченко* II. С. 285.

[85] Необходимо, разумеется, считаться и с эволюцией реалии, обозначаемой словом *корма* и первоначально, по-видимому, весьма примитивной.

не совсем обычное значение слова *коромысло*, записанное в начале века в Новосильском уезде Тульской губернии для «Трудов Московской диалектологической комиссии» (см. обзор в начале заметки): 'кормовая веревка'.

Уже после того как была написана эта статья, автор ознакомился с работой Ф. Хинце «Die Namen Scharmützel, Schermützel, Zermützel, Schermeisel und ihre Deutung. Zugleich ein Beitrag zur Etymologie von ostslav. *коромысло* 'Wassertrage' (ZfS. XVII. 1972. S. 19 ff.). Ф. Хинце, опираясь на более раннюю статью Г. Поповской-Таборской «Kaszubskie čerep, čᵉrmëslë polską wersją czerepa i koromyseł» («Slavia Oricntalis» 18, 1968. С. 369—370), также неизвестную нам прежде, связывает русское слово с реликтовым прибалтийско-словинским *čårmëslë*, встреченным в словаре Сыхты. Немецкий ученый, правда, реконструирует праславянские варианты **kormyslo* и **čъrmyslo*, тогда как мы пришли на основании изложенных выше доводов к другой концепции вокализма корня и конца основы этого слова, почему представилось целесообразным сохранить наш этюд в полном объеме.

К ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА *СОБАКА*

Слово *собака* известно лишь части современных славянских языков: рус., укр. — *собака,* блр. — *сабака*, польск. — *sobaka*[1]; на наличие слова *sobaka* у прибалтийских славян (словинцев, кашубов) указывают Фр. Миклошич[2], Фр. Лоренц[3]. В словаре Ст. Рамулта[4] это слово, против ожидания, отсутствует.

Так как слово *собака* распространено широко только у восточных славян, его наличие в некоторых из западнославянских языков объясняют обычно заимствованием из восточнославянских[5]. Именно это ограниченное распространение слова в славянских языках привело к тому, что заимствованием стали считать и восточнославянское слово *собака*, причем источник последнего находили в существовавшем, по свидетельству древних, в языке иранцев-мидийцев названии для собаки — *spaka.* Этому взгляду благоприятствовало и то, что, по данным истории, восточные славяне в древности близко соприкасались с иранскими племенами скифов. Иным образом не могли объяснить присутствие в языках восточных славян этого слова, столь отличного от индоевропейского **k̂uon*.

[1] *J. Karłowicz.* Slownik gwar polskich. T. 5. Kraków, 1910. S. 185; *S. B. Linde.* Słownik języka polskiego. T. III. Warszawa, 1809.

[2] *F. Miklosich.* Etymologisches Wörterbuch der slawischen Sprachen. Wien, 1886. S. 312 (с оговоркой, что польское, кашубское — из русского).

[3] *F. Lorentz.* Slowinzisches Wörterbuch. Ч. 2. SPb., 1912. S. 1073; sobačka — gemeines, unzüchtiges Weib, sobaka — gemeiner, unzüchtiger Mensch, bzw. Weib (оба слова — с измененным, эмоционально окрашенным значением).

[4] *St. Ramułt.* Słownik języka pomorskiego czyli kaszubskiego. Kraków, 1893. S. 198.

[5] *F. Miklosich.* Указ. соч. S. 312.

22. Заказ № 2261.

Так, от мидийск. *spaka* производит слово *собака* Пикте[6], мидийское происхождение признает А. Маценауэр[7], Миклошич[8] указывает на зендское *çpaka* (*hundsartig*), иранским склонны считать это слово также О. Шрадер[9] и Остгоф[10]. Преображенский[11] повторяет мнение Миклошича. Впрочем, этот вопрос продолжал все время оставаться не решенным окончательно. Так, Остгоф[12] указывает на возможность происхождения слова *собака* (и *сука*) из форм, родственных др.-инд. *śvā́*, др.-греч. χύων.

Итак, большинство исследователей считает слово *собака* иранизмом, ставя его при этом в зависимость от мидийского *spaka.* К последней форме следует, однако, подойти внимательнее.

Говоря о мидийском *spaka,* ссылаются обычно на Геродота, часто цитируя целую фразу: «τήν γάρ κύνα καλέουσι σπάκα Μῆδοι...» — Бартоломэ[13]; «σπάκα την κύνα καλέουσι οἱ Μῆδοι...» — З. Фейст[14]. Упомянутое σπάκα обычно берется исследователями из контекста и в неизмененном виде предлагается читателю как прототип слова *собака.* Но ведь σπάκα — форма вин. ед., и если Геродот не сообщает другой формы, это еще не дает права приводить в качестве иранского слова чисто греческую падежную форму. На это в сущности еще указывал А. Маценауэр: «Собака ⟨...⟩ из мидийского σπάξ, приводится вин. ед. σπάκα у Геродота»[15]. Если бы Геродот знал название σπάκα (им. ед.), он употребил бы вин. ед. σπάκαν. Предполагать, что Геродот ради единичного иностранного слова поступился требованиями греческой конструкции, употребив его в форме именительного падежа, у нас нет оснований. Следовательно, сближение *собака* — σπάκα надо расценивать как произвольное. Больше того, в существовании мидийского *spaka* 'собака' (именно в этой форме) можно усомниться. Хр. Бартоломэ сообщает такие данные из древне- и новоиранских языков: «...*spaka* — прилагательное 'собакообразный, собачий'

---

[6] *A. Pictet.* Les origines indo-européennes. T. 1. Paris, 1859. P. 377. На Пикте ссылается А. Будилович. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным // Изв. Института кн. Безбородко. 1878.

[7] *A. Matzenauer.* Cizí slova ve slovanských řečech. Brno, 1870. S. 309.

[8] *F. Miklosich.* Указ. соч. S. 312.

[9] *O. Schrader.* Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg, 1901. S. 382.

[10] *H. Osthoff.* Etymologische Parerga. 1901. Вып. I. S. 256.

[11] *А. Преображенский.* Этимологический словарь русского языка. М., 1910—1914. Т. II. С. 347.

[12] Там же. С. 255—256.

[13] *Ch. Bartholomae.* Altiranisches Wörterbuch. Strassburg, 1904. Стб. 1610—1612.

[14] S. *Feist.* Vergleichendes Wörterbuch der gotischen Sprache. Leiden, 1939. 3-е изд. S. 276—277.

[15] *А. Маценауэр.* Указ. соч. С. 309.

⟨...⟩, производное от *span-* ⟨...⟩; *spa-čiθra* — прилагательное ‘принадлежащий к собачьему роду ⟨...⟩’: *span-: sū̆n* — муж. ‘собака’ ⟨...⟩ Начало сложений (*spå, spā̊, spō̊*); производное (см. также *spānå*). Ср. *sūnī.* древнеиндийские *śvā́, śúnah*; афганское *spai,* сравни новоперсидское *sag* — перевод пехлеви: *sak*»[16]. То есть как раз в качестве существительного со значением ‘собака’ приводится авестийское существительное мужского рода *span-: sū̆n-,* а не *spaka-.* Миклошич для сравнения с *собака* приводит тоже не существительное, а прилагательное «*zend. çpaka hundsartig*»[17]. З. Фейст, ссылаясь на Бартоломэ, указывает, что авест. *spaka* известно лишь в связанном виде[18]. Современные иранские формы, как видно из перечня Бартоломэ (см. выше), еще более далеки от славянского слова. Наконец, мидийск. *spaka-* с кратким *a* в корне (<**ku̯n̥-ko-*, Остгоф. Указ. соч.) дало бы в славянском **soboka,* а не *sobākā.* Увязывать же наше слово с иран. *sabah*[19] нельзя, так как самые поздние соприкосновения славян с иранцами относятся к скифскому времени.

Когда говорят об иранском происхождении слова *собака,* указывают обычно на скифов, с которыми славяне долго соприкасались. Но если вспомнить, что о скифском языке имеются самые общие сведения (в частности, неизвестно, как называлась у них собака) и что надежный древнеиранский прототип для нашего слова фактически отсутствует, предположение об иранском источнике слав. *собака* представляется слабо аргументированным.

Особая точка зрения на судьбу интересующего нас слова имеется у Н. Я. Марра. Он «тоже против» заимствования *собака* из иранского *spaka*[20], но к этому его побуждало не пристальное изучение материала славянских языков, их исторических взаимоотношений с иранскими и свидетельств истории материальной культуры, о которой он любил поговорить. К этому его побуждала последовательная реакция против всего «индоевропеистского», против самой идеи заимствования. Взамен он предлагает невероятнейшие и беспочвенные фантастические сопоставления далеких слов, подводя под эти эксперименты социологическую базу. Так, Марр приходит к мысли, что «...собака носит название человеческой общественности на всех языках, она тезка человека, а не природного сознания...»[21]. Элементы омонимии *соб* — в

[16] *Ch. Bartholomae.* Указ. соч. Стб. 1610—12.

[17] *F. Miklosich.* Указ. соч. S. 312.

[18] *S. Feist.* Указ. соч. S. 276—277.

[19] *C. C. Uhlenbeck.* Archiv für slavische Philologie. T. 17. S. 629.

[20] *Н. Я. Марр.* Бретонская нацменовская речь в увязке языков Афревразии // Изв. ГАИМК. Т. VI. 1930; *Н. Я. Марр.* Родная речь — могучий рычаг культурного подъема. Л., 1930. С. 35.

[21] *Н. Я. Марр.* Одомашнение собаки // Труды лаборатории генетики АН СССР. С. 63 и след.

собака с местоименным корнем *соб* — (особа) получают совершенно неожиданное толкование: *о-соба* < *soba* ‘животный тотем эпохи матриархального права’; *soba* увязывается с *собакой*[22], *о-соба* же, оказывается, значит ‘один [из коллектива] Собы’. В другом месте *sobaka* препарируется так: *-soba* + *ka*, где *soba* — усеченное **so-bal*, которое ставится в один ряд с *ka-bal* ‘лошадь’, у которой оказывается двойник **so-bal* ‘соболь’ и т. д.[23] Сумбурно, наконец, утверждение Н. Я. Марра о переходе названий ‘собака’, resp. ‘олень’ — на ‘лошадь’[24]. История материальной культуры не дает основания сближать по роли *оленя* и *собаку* в древний период. Напротив, есть данные о самом конкретном их противопоставлении: олень — промысловое животное (если даже имелись случаи его приручения в древности)[25], и собака — охотничье животное, между прочим, для ловли того же оленя. О переходе *собака* > *лошадь*[26] говорить не приходится. Никакой преемственности между ними не было. Собака — животное охотничье и пастушье, это ее действительно древние функции, никогда не свойственные лошади. Собака в упряжке — это местное явление, арктическое, хотя именно эта аналогия внушила, по-видимому, Марру мысль о собаке — древнем средстве транспорта. Там же[27] Марр пытается еще объяснить *spaka—sobaka* общностью происхождения. В целом, при всем обилии суждений Н. Я. Марра о слове *собака*, в них нельзя найти ничего рационального.

Вернемся к предположению об иранском источнике слова *собака*. Скифы, на которых обычно в этом вопросе указывают, действительно долго соседили со славянами, что известно примерно с VIII в. до н. э. Ряд исследователей на основании археологических данных считает древними славянами именно земледельческо-скотоводческую часть населения Скифии, совпадающую отчасти со скифами-пахарями Геродота. Так полагает Л. Нидерле[28], подобные мысли находим в труде П. Н. Третьякова[29], в статье Б. Н. Гракова и А. И. Мелюковой[30], которые приходят к выводу об автохтонности местной славянской культуры Скифии.

---

[22] *Н. Я. Марр*. В тупике ли история материальной культуры? // Изв. ГАИМК. Вып. 67. 1933. С. 100.

[23] *Н. Я. Марр*. Родная речь — могучий рычаг культурного подъема. С. 35.

[24] *Н. Я. Марр*. Яфетидология в Ленинградском университете // Избранные работы. Т. I. 1933.

[25] См. *П. П. Ефименко*. Первобытное общество. 3-е изд. Киев. С. 15, 519—520.

[26] *Н. Я. Марр*. Карфаген и Рим, fas и jus // Сообщения ГАИМК. Т. II. Л., 1929. С. 392.

[27] Там же. С. 392.

[28] *L. Niederle*. Manuel de l’antiquité slave. T. I. Paris, 1923. P. 173.

[29] *П. Н. Третьяков*. Восточнославянские племена. М.; Л., 1953. С. 61—63.

[30] *Б. Н. Граков, А. И. Мелюкова*. Две археологические культуры в Скифии Геродота // Сов. археология. Т. XVIII. 1953. С. 120—127.

Известно, что особая роль собаки сохраняется лишь в условиях охоты, как это типично для более северной лесной полосы Восточной Европы древнего периода (см. ниже). Племена славян, непосредственно соседствовавшие со скифами, жили земледелием и скотоводством. В этих условиях охота приобретает подчиненное значение, роль собаки также незначительна. Неясно, почему в таких условиях славяне должны были заимствовать термин *собака* у скифов. К тому же знакомство славян с собакой весьма древнее, так как в области своего древнего обитания на среднем Днепре, в лесах, они (как охотники) имели собаку и долгое время одну лишь ее. Уже с древнейших времен населению различных областей Восточной Европы было хорошо известно несколько типов собак, что, между прочим, отличает Восточную Европу от иных частей Европы (см. ниже).

Тем меньше поводов предполагать, как это делает Е. А. Богданов [31] на основании одной лишь мысли Шрадера и Остгофа о *собака* < мидийск. *spaka,* что «в Россию проникли когда-то из Мидии особенно хорошие собаки, превосходившие по красоте ли, по росту ли оттесненных ими "псов"». Никакими дополнительными данными Богданов это предположение не подкрепляет. Признание известных связей Скифии с Востоком [32] еще ничего не может решить.

Зоолог проф. А. Браунер [33] указывает на большую близость к южнорусской овчарке черепа греко-скифской собаки из Неаполиса, близ Симферополя, но, учитывая широкое распространение волкообразных пород собак по всей русской равнине [34], вовсе не обязательно видеть здесь возможность заимствования у скифов собаки подобного типа.

Нидерле [35] говорит о том, что славяне-язычники древности при погребениях вместе с умершим убивали и погребали часто его коней, собак, других животных, как и жен и невольников. Подобный обычай был не только у скифов и других восточных соседей славян, но и у скандинавских германцев. При этом нет достаточных оснований для того, чтобы указывать на заимствование. Не обязательно также искать скифское влияние в захоронении собаки с хозяином в ряде восточнославянских могильников, ибо для скифов особо типичным было захоронение коня, что отвечало характеру их культуры, как отмечает Нидерле (там же).

Для лесной полосы Восточной Европы более древнего периода исследователи восстанавливают следующую картину: «...в то время как в Западной

---

[31] *Е. А. Богданов.* Происхождение домашних животных. 1937. С. 54.

[32] *П. Н. Третьяков.* Указ. соч. С. 50.

[33] *А. Браунер.* Домашние собаки Палеарктики // Записки Одесского общества естествоиспытателей. Т. 44. 1928. С. 327.

[34] Ср. костромская гончая. См. там же.

[35] *L. Niederle.* Slovanské starožitnosti. T. I. Praha, 1912. S. 257.

Европе население неолита эпохи робенгаузена (3000—2000 лет до н. э. — *О. Т.*) пользовалось в своем обиходе мелким торфяным домашним быком, в то же время в лесной полосе Восточной Европы жители, по-видимому, не знали еще никаких домашних животных, кроме собаки, и были типичными охотниками и рыболовами. Общеизвестные стоянки этого возраста — Ладожская (южный берег Ладожского оз.), Волосовская (Муромский у., Владимирская губ.), Бологовская, Коломцовская (Новогородская губ., близ оз. Ильмень), Льяловская (Московская губ.) — изобилуют остатками рыб и диких зверей, из которых численно преобладают: лось, кабан и бобр; из домашних же животных в стоянках этого типа попадается одна собака (Ладога, Волосово)»[36]. Об охотничьем быте при наличии собаки у населения в древнюю эпоху говорят В. А. Городцов[37], С. Н. Боголюбский[38] и др. К палеолиту, по-видимому, восходит появление собаки на востоке древнейшей области обитания славян[39]. Специалисты-зоологи давно пришли к выводу об автохтонности русских собак, среди них — наиболее древних охотничьих пород[39]. Для многих собак устанавливается близость к местному русскому волку[40]. Авторы в основном согласны относительно преимущественно охотничьего использования собак в этих районах в неолите. Предположение о собаке как ездовом животном высказывалось только для окраинных северных районов[41].

Археологи говорят о большом типовом разнообразии собак, свойственном именно для Восточной Европы, где насчитывалось четыре типа собак эпохи неолита. Западная Европа к этому времени имеет лишь один основной тип[42]. В. А. Городцов прямо указывает на то, что один крупный тип собаки (*Canis f. matris optimae*), прослеживаемый в русском неолите (Бологовская

---

[36] *В. И. Громова*. Тур и древнейшая история домашнего быка в СССР // Природа. 1930, № 7—8. С. 767—768.

[37] *В. А. Городцов*. Панфиловская палеометаллическая стоянка // Тр. Владимирского Гос. областного музея. Вып. II. 1926. С. 14—15, 19.

[38] *С. Н. Боголюбский*. О путях к овладению эволюцией домашних животных // Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних животных. Изд-во АН СССР. 1940. С. 14, 22.

[39] *В. Громоў*. Фауна Бердыскай палеолітычнай стаянкі // Працы археалёгічнай камісіі. Минск, 1930. С. 26.

[40] *Th. Noack*. Über die Abstammung der nordrussischen Haushunde // Zoologischer Anzeiger. T. XXXIII. 1908. S. 254.

[41] *А. Я. Брюсов*. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952. С. 133.

[42] *В. А. Городцов*. К истории приручения собаки в пределах СССР, по данным археологии // Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних животных. Изд-во АН СССР. 1940. С. 152—153; *L. Rütimeyer*. Die Fauna der Pfahlbauten der Schweiz. S. 117.

стоянка) и затем в бронзовую эпоху в Швейцарии, появился там «с русского Востока» [43].

С древнейших времен среди животных, бывших предметом охоты населения равнин Центральной и Восточной Европы, видное место занимают оленьи (Cervidae). В палеолите и на грани неолита из них всюду преобладает северный олень [44]. Сюда относится стоянка в Пржедмости (Чехословакия) с северным оленем и дикой собакой [45]. Но уже к седьмому тысячелетию до н. э. северный олень исчезает в Южной Балтике [46]. На протяжении неолита охотились и на других оленьих, в частности на благородного оленя. О его остатках в позднем неолите Польши (наряду с остатками других зверей, собаки и прочих домашних животных) говорит Костшевский [47]. Но уже ко второму тысячелетию до н. э. население территории Польши приобретает преимущественно земледельческо-скотоводческий характер при подчиненном значении охоты [48]. Восточная часть славянства к этому времени знает, по-видимому, лесную охоту (преимущественно), а из домашних животных — только собаку (см. выше — у В. И. Громовой). Иначе здесь обстоит дело и с промысловыми животными. Ушедший к северо-востоку северный олень во время сезонных переходов регулярно возвращался, проникая вглубь Восточно-Европейской равнины. Подобные явления отмечались и для недавнего исторического времени [49]. В древности они были еще чаще. Так, О. Шрадер [50] приводит сообщение Псевдо-Аристотеля о появлявшемся в скифских землях к северу от Черного моря северном олене (τάηανδος — *Rangifer tarandus*). Это говорит о том, что древние охотники Восточной Европы должны были хорошо знать северного оленя. Об этом говорят и данные археологии [51].

---

[43] *В. А. Городцов*. Указ. соч. С. 153.

[44] *П. П. Ефименко*. Указ. соч. С. 226, 490.

[45] Аналогичные свидетельства о палеолитических стоянках Польши — см. *Krukowski*. Paleolit // Prehistoria Ziem Polskich. Kraków, 1939—1948. S. 29, 34, 36.

[46] *П. П. Ефименко*. Указ. соч. С. 24, 25.

[47] *Kostrzewski*. Od mezolitu do okresu wędrówek ludów // Prehistoria Ziem Polskich. Kraków, 1939—1948. S. 127—128, 131—133.

[48] Там же. S. 131—133.

[49] *П. П. Ефименко*. Указ. соч. С. 226, 490.

[50] *O. Schrader*. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Strassburg, 1901. S. 373.

[51] *О. Н. Бадер*. Фатьяновские могильники Северного Поволжья // Материалы и исследования по археологии СССР. 1950, № 13. С. 87; *П. Н. Третьяков*. К истории племен Верхнего Поволжья в 1 тысячелетии н. э. Некоторые данные об истории Верхнего Поволжья до 1 тысячелетия н. э. // Материалы и исследования по археологии СССР. 1941, № 5. С. 22, 48—49. Отмечается наличие земледелия и скотоводства, оттесняющих охоту.

При осваивании восточной частью славян редконаселенных районов на востоке Европы охота продолжает сохранять известное, местами даже большое значение вплоть до раннеисторического времени. Так, для городищ VIII—X вв. в верховьях Дона П. Н. Третьяков отмечает даже превышение числа костей диких животных (среди них лось, олень) над костями домашних [52]. Помимо северного оленя, исследователи отмечают присутствие среди промысловых животных Восточной Европы других оленьих — благородного оленя, лося [53].

Охота на крупных промысловых животных (северный олень, благородный олень, лось) с древнейших времен связана с использованием домашней охотничьей собаки [54], что отмечается археологией и историей материальной культуры для разных мест; ср. рисунок резной печати среднеминойского периода с Крита (2100—1580 гг. до н. э.) — собака в прыжке на несущегося оленя [55]. В той же книге [56] сообщается о керамическом изображении собаки рядом с оленем, козой и козлом времен трипольской культуры (Винницкая обл.), а также о ряде изображений типично охотничьей, несущейся собаки на трипольской керамике. Зоологи говорят о существовании до последнего времени в различных областях Европы специальных оленьих собак, собак для охоты на лося [57].

После всего сказанного выше вернемся к слову *собака*. Близким к нему в пределах славянской семьи языков является, вероятно, чешское *sob* 'северный олень'. В свете приводившихся выше данных связь между ними с различных точек зрения представляется возможной. Смысловое отношение в принципе то же, что в *Hirsch* — *Hirschhund*, *Elch* — *Elchhund*, ср. рус. *волк* — *волкодав*, т. е. *собака*, таким образом, приобретает значение 'собака для охо-

[52] *П. Н. Третьяков*. Восточнославянские племена. 1953. С. 271.

[53] См. статьи М. Н. Серебренниковой и Е. Г. Андреевой // Проблемы происхождения, эволюции и породообразования домашних животных. Изд-во АН СССР. 1940.

[54] Интересно коснуться в связи с этим судьбы глаголов 'охотиться' в ряде индоевропейских языков. Они обнаруживают большое разнообразие, которое (насколько явствует из этимологической прозрачности большинства их) — позднего происхождения: рус. *охотиться*, укр. — *полювати*, польск. — *polować*, нем. — *jagen*, в сущности 'гнать', то же франц. *chasser*. Общего индоевропейского термина для древнейшего промысла как будто нет. Какое же из имеющихся названий охоты можно признать наиболее древним? Таким представляется английское (*to*) *hunt*, близкое к *hound*, *Hund* (и.-е. *k̑uon*). Если это справедливо, перед нами древний термин, отражающий применение охотничьей собаки: герм. **hunda* > *hinþan* (*hunt*). З. Фейст (Указ. соч. С. 276—277), отвергая *hinþan* > *hunda*, не говорит о возможности обратного.

[55] *Б. Л. Богаевский*. Орудия производства и домашние животные Триполья. Л., 1937. С. 184.

[56] Там же. С. 189.

[57] В терминологии Л. Рейнгардта (Kulturgesch. d. Nutztiere, 21—22) и Т. Ноака (Zool. Anz. XXXIII — Hirschhund, Elchhund).

ты на (северного) оленя' (соб-ака)[58]. Конечно, слово *собака* стоит у исторических славян несколько изолированно, но ведь еще более изолировано чеш. *sob*, которое, однако, как будто не заподозрили в заимствовании. Этимология последнего, которую находим у И. Голуба и Фр. Копечного, очень немногосложна: 'только чешское, древнее, неясное'[59]. Очевидно, перед нами действительно древнее, непроизводное слово, чем и объясняется его этимологическая неделимость.

Важно отметить, что в ряде европейских языков имеются названия северного оленя, по-видимому, позднейшего происхождения, ср. отчетливо сознаваемые сложения нем. *Renn-tier*, англ. *rein-deer* и тем более поздние названия описательного характера вроде рус. *северный олень*. Перечисленные названия вряд ли можно считать древними.

После ухода северного оленя из Центральной Европы местные жители-охотники по-прежнему хорошо знакомы с оленями (благородный олень, лось), что было особенно характерно для равнин Восточной Европы вплоть до исторического времени (см. выше). Может быть, именно это обстоятельство явилось условием сохранения древнего местного названия первоначально охотничьей собаки у восточных славян. Отступление северного оленя, почти полное забвение древнего **sobъ*, кроме единичного в чешском языке, привели к обобщению слав. **jelenjъ* в роли общего названия для оленя. Эти факты, а также резкое сокращение числа оленей на территории славян могли послужить для ряда славянских племен условием забвения древнего **sobaka*. Восточные славяне, сохранившие это слово, со временем также перестали сознавать его связь с **sobъ*.

Вполне очевидно, что ближайше родственно слову *собака* и слав. *соболь*. Обозначение северного промыслового зверька по названию собаки — явление возможное, тем более что при этом существенную роль могло сыграть внешнее сходство соболя с собакой. Прекрасную аналогию отношениям *собака* — *соболь* находим в паре: *пес* — *песец*. Вторичность названий *соб-оль*, *пес-ец*, образованных по названиям известных ранее животных, иллюстрирует продвижение славян к Северу и знакомство с его фауной. Морфологический характер сближаемых слов (*соб-ака*, *соб-оль*) объясняется, очевидно, реальной некогда членимостью слова *соб-ака*, утраченной впоследствии. Ср. также немногочисленные примеры сочетания *соб-* с иными суффиксами: рус. диал. *соб-арник*, *соб-арничать*, 'буян — буянить'[60]; *собарно* (*сабар-*

[58] По образованию ср. рязанск. *ражâка* 'уроженка': «Мать ражака из Кидусова». Цит. по: *А. Б. Шапиро*. Очерки по синтаксису русских народных говоров. 1953. С. 162.

[59] *I. Holub, F. Kopečný*. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952. S. 344.

[60] *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. 4-е изд. Т. IV. С. 332.

но) — свора собак, собаки... *Собарня* (*сабарня*) — то же[61]; топонимические названия типа *Сабанеевка* < *Соб-анеевка*.

Словинцы и кашубы также сохранили слово *sobaka*, как указывалось выше, причем у них (как, впрочем, очевидно и у поляков) это не русизм, а одно из последствий длительной культурно-исторической замкнутости кашубской группы лужицкой культуры. Польский археолог Костшевский рассказывает об этой изоляции местной археологической культуры[62], видя в ее носителях автохтонов-славян. Это обособление, которое он датирует 900—700 гг. до н. э., говорит о том, что местные славяне были слишком далеки от какого-либо соприкосновения с иранцами-скифами, с VIII в. до н. э. обосновавшимися в Юго-Восточной Европе. Вполне возможно, что сохраненное приморскими славянами слово *sobaka* — древний реликт, отсутствующий у большинства западных славян[63]. Вряд ли это заимствование из польского, не говоря уже о русском.

Перечисленные наблюдения сводятся к такому итогу: происхождение слова *собака* < **sobъ* представляется более вероятным, чем принимавшееся ранее: *собака* < иран. *spaka*.

В общем, получаем довольно сложную картину соотношений славянских названий для собаки.

Индоевропейское **k̂uon* в общем значении забыто. На его остатки указывают либо в *suka*, либо в *štenę*. Наличие нескольких пород или разновидностей собак с первоначально узкими названиями привело, по-видимому, к известной борьбе названий за роль общего термина для собаки. Из узких терминов развились в общие названия для собаки такие слова, как *pьsъ* (ср. в западнославянских языках), *собака* (в восточнославянских языках). О *pьsъ* — см. Г. А. Ильинский[64]. О слове *собака* — см. выше[65].

---

[61] *А. В Миртов*. Донской словарь. 1929. С. 302.

[62] *I. Kostrzewski*. Prehistoria Ziem Polskich. Kraków, 1939—1948. S. 276—278.

[63] Любопытную деталь находим у Л. Рейнгардта. *L. Reinhardt*. Kulturgeschichte der Nutztiere. München, 1912. S. 547. Автор говорит об охотничьих собаках в Германии при Карле Великом: «Die Hunde hatten schon damals eigene Namen, mit denen man sie rief. So spricht Hrabanus Maurus von einem Hunde Fax, und anderswo ist von einer Hündin Zoba die Rede». Последнее очень интересно. *Zoba* вполне может передавать *soba-*(*ka*) при устном заимствовании, ср. нем. *Zobel*, общепризнано < слав. *sobol*. При тесных связях полабян с германцами это было возможно. Ср. также местные нем. *Zauk*, *Zauck* < слав. *suka*.

[64] РВФ. Т. LXIX. Варшава, 1913; и др.

[65] Аналогию, при учете крупных различий, видим в английском, где местное *dog* (первоначально, вероятно, узкое, специальное название) вытеснило с течением времени в функции общего названия для собаки слово *hound* (< и.-е. *k̂uon*), которое теперь значит ‘охотничья собака, гончая’.

Кстати, в статье В. М. Жирмунского (ВЯ. 1954, № 4. С. 19) упоминается немецкое диалектное название *суки*, засвидетельствованное в вариантах — нижненем. *tēf* и верхненем. *zaub* (со ссылкой: «Kulturströmungen…», карты 65, 55 — *Th. Frings*. Sprache. Bonn, 1926).

Эти диалектные *tēf* и *zaub* очень любопытны. Фонетически они могут быть с точностью возведены к *sob*-(*ака*), заимствованному немецкими диалектами у ближайших славянских племен, возможно — у вымерших полабян, в достаточно отдаленном прошлом. Непосредственно к слав. *sob* примыкает в фонетическом отношении верхненем. *zaub*; ср. передачу слав. *s* в *Zobel*, *Zauck*, а также в упомянутой в примечании 2 старонемецкой кличке охотничьей собаки *Zoba*. Среди прочих германских названий собаки эти слова стоят как будто обособленно, что также говорит об их заимствовании.

Таким образом, в этих фактах немецкой диалектологии находит новое подтверждение мысль об исконно славянском характере слова *собака*, имевшем, по-видимому, в древности гораздо большее распространение в славянских языках.

ИЗ ИСТОРИИ ТАБУИСТИЧЕСКИХ НАЗВАНИЙ

росомаха, болеть

1. Рус. *росомаха* Gulo gulo

Русское слово *росомаха*[1] не имело удовлетворительной этимологии до настоящего времени. Ф. Миклошич (MEW. S. 282) ставит весьма неопределенно вопрос о связи с лат. *rosomacus*, однако этого слова не знает Du Cange (Glos. med. T. VII). Форма *rosomacus* правильнее объясняется как поздняя латинизация одной из славянских форм, например польск. *rosomak* (ср. BrSł. S. 463). Рус. *росомаха*, польск. *rosomak* обычно считаются словами неизвестного происхождения; вместе с тем в них также видят возможные иноязычные заимствования, например из финских языков (см. и то и другое в словарях А. Преображенского, II, с. 216, и А. Брюкнера, с. 463; подробную сводку этимологий см. у М. Фасмера. II, с. 537—538). Для нас ценно свидетельство В. Кипарского, который отводит предположение о заимствовании из финских языков. В. Кипарский подробно занимается этимологией рус. *росомаха* в специальной статье (см. ZfslPh. Bd. XX. 1950. S. 359—365). Он считает это слово заимствованием, но не из финских, а из обско-угорских языков, ср. вогульск. *tolmaχ*, *tolmiχ* 1) 'вор', 2) 'росомаха'; юж.-остякск. *totmaχ*; вост.-остякск. *i̯almak* 'разбойник', 'вор'; сев.-остякск. *lalmaχ* 'росомаха'. Первоначальное значение всех относящихся сюда угро-финских слов — 'вор' (Указ. соч. S. 363). Такое эвфемистическое обозначение вредного лесного хищника вполне допустимо. Далее, как справедливо указывает сам автор, «труднее перекинуть мост от вышеупомянутых обско-угорских форм к рус. *росомаха*

[1] Написание *россомаха* является неточным.

⟨...⟩ Если даже предположить существование рус. **росомахъ* (ср. засвидетельствованное у Мицкевича польск. *rosmak*), то по-прежнему остается налицо большое различие между вогульско-остякскими *t* и *l*, с одной стороны, и рус. *р* или *с* — с другой ⟨...⟩ Ввиду этих фонетических трудностей моя попытка объяснения может расцениваться лишь как осторожная гипотеза, хотя я и верю, что она отнюдь не лишена внутренней убедительности» (там же).

Далее В. Кипарский излагает очень гадательные предположения о возможности перехода *totmaχ* > рус. **сосмахъ* > **росмахъ* (в результате диссимиляции). О вероятности этого перехода имеет право судить, конечно, специалист по угро-финским языкам.

Тем не менее для нас очевидна гадательность этого предположения с точки зрения развития русской формы. Совершенно неясно, например, отсутствие **росмах* в русском, когда, казалось бы, как раз эта форма с успехом могла выжить без изменений. Развитие **росмах* > *росомаха* необъяснимо.

Как отмечает В. Кипарский, никто до сих пор не думал о возможности рассматривать рус. *росомаха*, как исконное слово (Указ. соч. S. 361). И вместе с тем общее состояние вопроса, изложенное выше, заставляет думать также и об этой возможности. К этому побуждает малая вероятность заимствования русского слова, прежде всего — из финских, обско-угорских языков.

Таким образом, следует поставить вопрос об исконно славянском происхождении рус. *росомаха*. Сразу надо указать, что в своем современном виде русское слово стоит как будто обособленно по отношению к другим образованиям индоевропейского языка в целом, в том числе к индоевропейским названиям животных. В непосредственной связи с этим вполне допустимо предположение о неисконном происхождении современной формы рус. *росомаха*, возникшей в результате своеобразного изменения звуков. Своеобразие изменения звуков находит здесь объяснение в его психологической основе. По-видимому, изменение совершилось сознательно, в интересах табу, как это будет показано ниже.

Обширной проблеме истории любого языка — проблеме табу — посвящены многочисленные специальные исследования. Так, Дж. Фрезер посвятил этой проблеме большой труд, в котором, подчеркивая универсальное распространение табу как одного из проявлений суеверия среди всех народов мира [2], он приводит ряд примеров, как охотники, рыбаки и крестьяне стран современной Европы избегают употреблять названия вредных, опасных животных во время охоты, в определенные сезоны [3]. Упоминается обыкновение назы-

---

[2] *J. G. Frazer*. The Golden Bough. Part II. Taboo and the Perils of the Soul. 3rd ed. London, 1922. P. V.

[3] Там же. P. 396—398.

вать лесных зверей (медведя, волка, рысь) ласковыми и льстивыми иносказательными прозвищами в Швеции, Финляндии, Эстонии и других странах.

Важность проблемы табу слов для индоевропейского исторического языкознания впервые обосновал А. Мейе в работе «Quelques hypothèses sur des interdictions de vocabulaire dans les langues indo-européennes»[4]. Исходя из табуистических запретов, Мейе объясняет исчезновение в ряде индоевропейских языков древних названий медведя, змеи, мыши, лисицы, жабы, оленя.

Исключительно богат материалом труд Д. К. Зеленина «Табу слов у народов Восточной Европы и Северной Азии. Часть 1. Запреты на охоте и иных промыслах»[5].

Совершенно очевидно, что упомянутая работа А. Мейе далеко не исчерпывает всего индоевропейского словарного материала из области названий животных, затронутых табуистическими запретами. Об этом свидетельствуют и отдельные позднейшие попытки пополнить список табуизированных индоевропейских названий животных, имеющихся у Мейе. Так, к изложенному выше перечню причисляются еще названия ласки и зайца[6].

В общем и в представлении Хаферса круг табуизированных животных у индоевропейцев еще довольно узок (см. Havers. Указ. Соч. С. 28—55), как узок он и у Мейе. О том, что знакомый нам перечень может отражать лишь часть действительно табуизируемых животных, видно из материалов Д. К. Зеленина.

В частности, представляется пробелом отсутствие в упомянутом списке росомахи.

Росомаха — «...коренной обитатель сплошных густых дебрей лесной полосы Европейской и Азиатской России, откуда она перебралась в область тундр...»[7]. Все пространство хвойных лесов до недавнего времени было густо заселено росомахами. Промысловая ценность росомахи как пушного зверя, видимо, никогда не была значительна. Больше того, ее значение прямо отрицательно: росомаха похищает запасы охотников, выкрадывает добычу из капканов и силков, нападает на различных животных и отличается чрезвычайной прожорливостью. «Присутствие ее в лесу одинаково ненавистно как прочим животным, так и промышленникам, величающим ее всевозможными бранными названиями»[8].

Надо сказать, что в литературе мало упоминаний о табу, связанном с росомахой. Так, в богатой фактами работе Д. К. Зеленина отмечается для росо-

---

[4] См. сборник: *A. Meillet.* Linguistique historique et linguistique générale. 2-е éd. Paris, 1926. P. 281 и след.

[5] Сборник Музея антропологии и этнографии. VIII. Л., 1929. С. 1 и след.

[6] Ср. *W. Havers.* Neuere Literatur zum Sprachtabu // Abhandlungen der Wiener Akademie der Wissenschaften, philosophisch-historische Klasse. Bd. 223, № 5, 1946.

[7] *А. А. Силантьев.* Обзор промысловых охот в России. СПб., 1898. С. 56—57.

[8] Там же.

махи только один случай: «Бурятские охотники, преследуя росомаху, приговаривают “не теряй имени!”, т. е. не теряй своего достоинства, не нарушай своей чести! Делают это с целью, чтобы росомаха не испустила дурного запаха, вредного для следующих за нею собак и человека (Жив. Стар., 1913, № 1. С. 181; В. Михайлов). Здесь росомаха представляется, с одной стороны, понимающей людскую речь, с другой — существом, которому не чуждо человеческое представление о чести и достоинстве» (Указ. соч. С. 16).

Древние охотники наделяли обитателей леса сверхъестественными способностями и качествами. В хищной росомахе они, несомненно, видели злого духа. Эти анимистические воззрения чудесным образом сохранились с древности на старой славянской территории, у белорусов. Как отметил В. Даль (Толковый словарь. Т. IV. С. 104), белорусы считали росомаху злобным духом, человеком со звериной головой и лапами, который живет в конопле. Ср. бранное выражение «Каб цябе расамаха задрала!». Такие фантастические представления сохранялись до последнего времени в тех местах, где сама росомаха давно исчезла. Ср. любопытное свидетельство в записи А. Сержпутовского: «Стары́я лю́дзі ка́жуць, што ко́лісь тут у лі͡есі вадзіліса зьверы́ расама́хі, але́ гэто ма́быць непра́ўда, бо я сам з дзецюка́мі ба́чыў расама́ху, дак яна́ была́ ў по́стаці жанчы́ны з распу́шчанымі ко́самі. Гэ́то не зьвер, а яка́ясь не́чысь. У нас лю́дзі ка́жуць, што расама́хаю ро́біцца жанчы́на, як яна́ зьні́шчыць свае дзіця́ да и́ сама́ ўто́піцца...» [9].

Табуизирование названия животного могло носить характер сознательного изменения порядка звуков в старом названии.

Примеры такого табуизирования уже неоднократно указывались среди индоевропейских названий животных. Это так называемая табуистическая метатеза [10].

К числу вероятных примеров табуистической метатезы индоевропейских названий животных могут быть отнесены нем. *Ziege* ‘коза’ < **dighā* < **ghaido-*, ср. нем. *Geiß* ‘коза’ (так считает Gunter Ipsen. IF. 41), и.-е. **lukos*, **luku̯os* ‘волк’, ср. греч. λύκος, лат. *lupus* при **u̯l̥qu̯os*, ср. слав. *vьl̥kъ* [11], из более поздних — укр. *ведмідь* < *медвідь* — ‘медведь’ [12].

Нельзя отрицать того факта, что табуистические изменения звуков широко распространены, тем более, что соответствующий лингвистический мате-

---

[9] *А. Сержпутоўскі*. Прымхі і забабоны беларусаў-паляшукоу // Беларуская этнографія ў досьледах і матар’ялах. Кн. VII. Минск, 1930. С. 262—263.

[10] Ср. *G. Bonfante*. Études sur le tabou dans les langues indo-européennes // Mélanges de linguistique offerts à Charles Bally. Genève, 1939. P. 196; *W. Havers*. Указ. соч. S. 120—122; *H. Kronasser*. Handbuch der Semasiologie. Heidelberg, 1952. S. 171.

[11] Ср. *W. Havers*. Указ. соч. S. 37.

[12] См. *R. Smal-Stocki*. Taboos on Animal Names in Ukrainian // Language. Vol. 26, № 4, 1950. P. 489 и след., ср. *Д. К. Зеленин*. Указ. соч. С. 105.

риал еще недостаточно исследован. Отдельные случаи, совершенно необъяснимые средствами регулярной фонетики, получают в этом освещении правдоподобную этимологию [13].

Наша попытка этимологии рус. *росомаха* сводится к предположению именно такой табуистической метатезы. Причина табуистических изменений звуков коренится в эмоциональном моменте значений [14]. Вполне возможно поэтому современная форма рус. *росомаха* сменила старую форму **соромаха*, чтобы избежать омонимии с др.-рус. *соромъ* — 'стыд', 'срам'. Это, кажется, противоречит тому, что уже говорилось выше о росомахе — враге охотника. Но на самом деле никакого противоречия нет. В лесу, во время охоты, охотник должен был тщательно маскировать от «злых духов» и от самих зверей свои истинные намерения. Ни в коем случае нельзя «оскорблять» зверя или говорить что-либо обидное для него. В таких условиях даже созвучие с обидным словом могло оказаться недопустимым, откуда и изменение старого названия росомахи. Достаточно вспомнить при этом, с какой вежливостью обращаются к преследуемой росомахе бурятские охотники, уговаривая ее «не терять имени» (см. выше, у Д. К. Зеленина).

Таким образом, мы пришли к предположению о развитии рус. *росомаха* из древней формы **соромаха* в результате табуистической метатезы. Последняя форма легко может быть объяснена как восточнославянское продолжение гипотетического слав. **sormaxa*. Эта славянская форма, в отличие от современного русского слова, отнюдь не одинока, напротив, она очевидно связана с другими индоевропейскими названиями ближайших биологических родственников росомахи. Сюда относятся дороманск. *carmo* — 'ласка' [15], нем. *Hermelin* 'горностай', др.-в.-нем. *harmo* 'горностай', лит. *šarmuõ*, *šermuõ* 'горностай', лтш. *sar̂mulis*, *sęrmulis* 'горностай', 'ласка'. (См. *Р. Траутманн*. Balt.-Sl. W. С. 300, и *Мюленбах-Эндзелин*. Латышский словарь. Т. III. С. 722). Родство названных германских, романских и балтийских форм между собой является давно доказанным фактом (ср., например, KEW. S. 246—247). В случае правильности предложенной этимологии рус. *росомаха* < **sormaxa* эта группа пополняется еще одним родственным словом, правильно восходящим к общему и.-е. **k̂orm-*.

Сформулируем некоторые доводы в пользу нашей этимологии: 1) метатезы такого рода известны; 2) слово *росомаха*, не имеющее сколько-нибудь точной этимологии, при нашем объяснении становится в один ряд с очевидно близ-

---

[13] См. *H. Kronasser*. Указ. соч. S. 172.

[14] Там же. S. 174.

[15] См. *J. Kuryłowicz*. Sur quelques mots pré-romans // Mélanges linguistiques offerts à J. Vendryes. Paris, 1925. P. 208—209.

кими формами родственных языков; 3) все эти близкие формы, восходящие к общему **k̂orm-*, обозначают вместе с тем биологически четко обособленное семейство куньих (Mustelidae) — росомаха, куница, соболь, горностай; 4) названиям куньих вообще не чужды явления, связанные с табу (ср. исчезновение в ряде индоевропейских языков старого названия собственно куницы, вместо него немецкий имеет *Marder* — ср. KEW. S. 376, — славянский — *kuna*).

Следовательно, в слове *росомаха* русский сохранил в измененной форме очень старое название. Суффикс *-аха*, словообразовательное новшество славянского, играл здесь, видимо, увеличительную роль: **sorm-аха* — 'большая куница'. Росомаха, действительно, — крупнейшее животное из куньих (длина ее тела — до 80 см).

В отличие от других славян русские до последнего времени хорошо знают на своей территории росомаху как лесного зверя. В определенной зависимости от этого обстоятельства находится отсутствие соответствующей старой формы в других славянских языках. Польск., чеш. *rosomak* заимствованы из русского (последнее — через посредство польского). Мена суффиксов — *-ok* вместо *-ах(а)* — могла осуществиться уже в польском, видимо, по аналогии некоторых других названий животных на *-ak*.

Старого названия росомахи не сохранили — видимо, тоже по мотивам табу — балтийский, германские, ср. описательные названия *Gulo gulo*, характеризующие ее прожорливость: нем. *Vielfraß*.

Термин *болеть* в славянском, балтийском и хеттском

Замечательно, что почти все доказанные случаи табу относятся к названиям животных. Это объясняется, видимо, более очевидным характером табу в названиях животных. Однако совершенно несомненно, что табу наложило отпечаток также на другие стороны жизни и на другие элементы лексики [16]. Своеобразие заключается в том, что эти проявления табу труднее поддаются изучению. Тем не менее их нужно постоянно иметь в виду, так как они должны были существенно влиять на судьбу многих слов. Это касается в первую очередь названий ряда важных жизненных функций человека, к которым, в его представлении, причастны сверхъестественные силы.

Одним из типичных примеров этого является, по нашему мнению, судьба термина *болеть* в некоторых индоевропейских языках. Общий индоевропейский термин *болеть* как будто не известен. Взамен общего названия отдельные языки представляют целый ряд местных названий термина *болеть*. Представляются две возможности объяснить такое положение:

[16] Ср. *A. Meillet*. Указ. соч. P. 288.

1. Общий термин *болеть* в индоевропейском вообще отсутствовал и развился как таковой позднее из названий конкретных болезней по языкам.

2. Общий индоевропейский термин *болеть* был в силу определенных причин вытеснен по языкам другими названиями.

К этой последней возможности применима мысль А. Мейе: «Вообще отсутствие общего индоевропейского названия в условиях, в которых a priori можно было бы ожидать наличие такового, всегда нуждается в объяснении, и отнюдь не будет совершено насилие над значением принципа лингвистических запретов, если мы припишем своеобразным проявлениям табу отсутствие индоевропейского термина для понятия, которое в нормальных условиях должно было бы иметь такой термин»[17].

В наши задачи не входят поиски общеиндоевропейского названия *болеть*. Для нас здесь представляет больший интерес определение характера, который носила замена возможного общего индоевропейского термина *болеть* по языкам. С этим связаны и некоторые конкретные этимологические выводы нашей статьи.

Одним из названий, заменявших старый общий термин *болеть*, было, вероятно, и слав. *bolěti*. Целесообразно видеть в известном значении этого общеславянского слова вторичное семантическое развитие какого-то исконного значения. Мы считаем исконным для основы, представленной в слав. *bolěti*, значение 'сильный', 'сила', 'быть сильным' и предполагаем для слав. *bolěti* этимологическое происхождение, общее с др.-инд. *bála-m* 'сила', 'власть', греч. βελτίων 'лучший', ст.-слав. **болии, болѥ**, рус. *большой*, объединяемыми обычно вокруг и.-е.***bel-* 'сильный' (Ср. *Walde—Pokorny*. Bd. II. S. 110—111). В принципе это сближение выдвигалось уже А. Вайаном, предлагавшим, однако, маловероятное морфологическое обоснование (*A. Vaillant*. La dépréverbation // RÉS. XXII. 1946. P. 40). Прежние этимологии, исходящие из признания исконным для слав. *bolěti* значения 'болеть', при сколько-нибудь пристальном изучении производят впечатление бесперспективности. В этом нас убеждает и знакомство с привлекаемым обычно при этом сравнительным материалом, который нельзя признать доброкачественным: герм. **bolwa* 'дурной', 'злой', 'несчастье', 'зло'. Еще Э. Бернекер сомневался в верности сближения, указывая на различие суффиксов и значений (BEW. I. S. 71—72, см. также *Преображенский*. Этимологический словарь. Т. I. С. 36). Тем не менее эта этимология продолжает держаться, ср. упомянутый словарь А. Вальде и Ю. Покорного. Bd. II. S. 189; и.-е. **bhol* — 'дурно', ст.-слав. **боль, болѣти** и готск. *balwa-wesei* 'Bosheit'.

Вполне допустимо, что древние славяне, избегая старого термина *болеть*, употребляли эвфемизм с фактическим первоначальным значением

---

[17] *A. Meillet*. Указ. соч. P. 291.

'быть сильным'. Природа такого эвфемистического обозначения совершенно очевидна и может быть проиллюстрирована примерами обозначения болезней разными «хорошими» названиями. Арабы о человеке, который укушен змеей, говорят, что он «здоров»; проказу или чесотку они называют «благословенной болезнью»[18]. Замалчивая настоящие и употребляя иносказательные «хорошие» обозначения, человек надеется повлиять на болезнь. Как известно, в этом заключается древняя вера в магическую силу слова.

На конкретном примере слав. *bolěti* мы обнаруживаем, что в основе местных общих терминов *болеть* может лежать не конкретное название какой-либо болезни, а эвфемистическое обозначение. Это позволяет нам избрать вторую из двух изложенных выше возможностей объяснения. Стремление избежать прямого названия *болезнь*, *болеть* приводит к его замене, забвению и к табуистическим наименованиям. В. Хаферс специально обращает внимание на распространенность запретов действительных названий болезней и отмечает также случаи табу общего термина *болезнь*, *больной*[19].

В подтверждение сказанного мы приведем еще один пример, который, в случае правильности, может рассматриваться как новая балто-славяно-хеттская изоглосса. Хеттск. *ištark-* 'заболеть', собственно — *stark-*[20], может быть объяснено из и.-е. **stergh-*, **storgh-*, что делает вероятным его сближение со слав. **stergǫ*, ст.-слав. **стрѣгѫ**, рус. *стерегу*, *сторож*. Пропасть между значениями хеттского и славянского слов заполняет балтийский, имеющий несомненно родственные формы с корнем *serg-*, *sarg-*. Свидетельство балтийского особенно ценно благодаря наличию в пределах близких форм обоих сравниваемых выше значений, ср. лит. *sérgėti* 'охранять', 'стеречь' и *sir̃gti*, *sergù* 'болеть'. Изложенные выше наблюдения позволяют и здесь предположить для индоевропейской основы **stergh-* значение 'стеречь', 'охранять' как первоначальное. В литовском и хеттском эта глагольная основа выступила в новом значении 'болеть' уже в порядке табуистической замены какого-то старого названия[21].

---

[18] *J. G. Frazer*. Taboo and the Perils of the Soul. P. 400.

[19] *W. Havers*. Указ. соч. S. 90.

[20] См. *И. Фридрих*. Краткая грамматика хеттского языка. М., 1952. § 24.

[21] Соотношение *st* : *s* в начале славянского и балтийского слов не является препятствием для сопоставления этих близкородственных форм. Ср. *J. J. Mikkola*. Slavica // IF. Bd. 6. 1896. S. 349—351; *А. Преображенский*. Этимологический словарь. Т. II. С. 384; *R. Trautmann*. Baltisch-Slavisches Wörterbuch. Göttingen, 1923. S. 257. Попытка объяснить это соотношение старым чередованием *st* : *s* в начале слов в индоевропейском принадлежит И. М. Эндзелину (Славяно-балтийские этюды. Харьков, 1911), позднее также — *K. Mülenbach, J. Endzelin*. Latviešu valodas vārdnīca. T. III. S. 716. Есть и другие примеры достоверного соотношения *st* : *s*, ср. рус. *стегать* и лит. *sègti*. Во всяком случае родство лит. *sérgéti* : слав. *stergǫ* несомненно. Что касается последо-

Семантическое развитие в этом последнем случае, хотя и носит вполне вероятный характер табу, представляется, естественно, несколько более гипотетичным, чем в разобранном выше случае со слав. *bolěti.* Для большего обоснования перехода значений 'хранить', 'стеречь' 'болеть' у нас отсутствуют необходимые факты. При всем этом этимологическая связь хеттск. *ištark-*, слав. **stergǫ*, балт. *serg-* вполне возможна, а развитие значений 'хранить' > 'болеть' находит существенную поддержку в факте сосуществования обоих значений в пределах названной глагольной основы балтийского.

вательного разграничения лингвистами в балтийском основ *serg-* 'стеречь' и *serg-* 'болеть' (ср. *R. Trautmann.* Указ. соч. S. 257—258; *Mülenbach — Endzelin.* Указ. соч. Т. III. S. 845—846), то для этого нет видимых оснований, кроме действительно глубокой разницы значений, которая, однако, может быть объяснена вторичным переносом, как мы это пытались показать. Исконная самостоятельность этих двух основ гораздо менее вероятна.

ЕЩЕ РАЗ ОБ ЭТИМОЛОГИИ СЛОВА *РОСОМАХА*

В статье «Из истории табуистических названий» [1] мной была предложена гипотеза о происхождении рус. *росомаха* в итоге табуистической метатезы из **соромаха* < праслав. **sormaxa*, ср. этимологически родственные названия близких животных: лит. *šarmuõ*, *šermuõ* 'горностай', лтш. *sar̃mulis* 'горностай; ласка', др.-в.-нем. *harmo* 'горностай'. Против этой этимологии было бы трудно возражать в принципе, однако основная форма, на которой она построена, нигде не была засвидетельствована и носила условный характер: **соромаха*. Тем более ценной поэтому представляется опубликованная недавно запись формы *соромáха* со значением 'росомаха', существующей в украинском говоре села Лозивок Черкасского района Черкасской области УССР [2].

---

[1] Вопросы славянского языкознания. Вып. 3. М., 1958.

[2] См. *П. С. Лисенко*. Словник специфічної лексики правобережної Черкащини // Лексикографічний бюлетень. Вип. VI. Київ, 1958. С. 19.

СЛЕДЫ ЯЗЫЧЕСТВА В СЛАВЯНСКОЙ ЛЕКСИКЕ*

trizna, pěti, kobь

Слав. *trizna*

Слово *trizna* известно только восточным и южным славянским языкам, причем и здесь оно давно вышло из употребления в живой речи и сохраняется только в памятниках древней письменности: ст.-слав. **тризна** 'ἔπαθλον' [1] др.-рус. *тризна*, *трызна* 'борьба, состязание; подвиг, награда; торжественные поминки в честь умершего в языческой Руси' [2].

Для объяснения этого древнего и, очевидно, исконного славянского слова выдвигались различные этимологии. Согласно одной из них, предложенной П. Перссоном [3], слав. *trizna* и его вариант *tryzna* продолжает и.-е. *(*s*)*t*(*e*)*rēi-* / *(*s*)*t*(*e*)*rēu-* 'столбенеть, цепенеть', ср. др.-исл. *strið* 'состязание, спор'. Эту этимологию поддержал и дополнил Г. А. Ильинский [4], считавший возможным развитие *trizna* только из **trizd-na*, ср. прилагательное ст.-слав. **триздьнъ** 'certaminis', а также лит. *triznà* 'пылкий, горячий' < **trizdnà*. Полученное таким образом слав. **trizd-na* Ильинский объясняет как результат

* Članek je bil namenjen za Nahtigalov zbornik, a je prišel prepozno, zato ga objavljamo naknadno. (Op. ur.)

[1] *L. Sadnik, R. Aitzetmüller*. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955. S. 138.

[2] *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. III. СПб., 1912. С. 995—996.

[3] *Per Persson*. Beiträge zur indogermanischen Wortforschung. Uppsala, 1912. S. 442.

[4] *Г. А. Ильинский*. Славянские этимологии. V. Праслав. *trizna* 'certamen' // Изв. ОРЯС. XXIII. Кн. 1, 1919. С. 133—135.

расширения индоевропейского корня *(*s*)*trei-* зубным детерминативом, точнее — как контаминацию **treis-* и **treid-*. Вариант *tryzna* он считает праславянским дублетом названной формы, сближая его с чеш. *tryzniti* 'терзать, мучить', польск. *tryznić* 'теснить, напрасно терять время; баловать' с общим происхождением из *(*s*)*treu-d-*, куда также относится ср.-в.-нем. *struz*. Объяснение Р. А. Ильинского недавно повторили Л. Садник и Р. Айтцетмюллер [5]. Другая известная этимология исходит из *tryzna* как основной формы с корнем *try-*, сюда же слав. *traviti*, польск. *tryznić* [6]. Эту этимологию принимает и М. Фасмер, специально ссылаясь на западнославянские формы: чеш., словац. *trýzeň* 'мучение' и другие, упомянутые выше [7].

Можно еще указать оригинальную, но в высшей степени проблематичную этимологию М. Будимира [8], не отраженную в словаре Фасмера. Будимир сближает слав. *trizna* со старосербским *trzni* (Босния) 'свободное пространство для поединков (по случаю похорон представителя военной аристократии)', ср. сохранившееся диал. *trzan*. Фонетические отношения *trzan* и *trizna* более чем неясны, что признает сам автор. Далее Будимир привлекает греч. ταρχύω 'похоронить с царскими почестями' и *στέρχανα, τέρχνεα,* а наличие *i* после *r* в слав. *trizna* (при *trzan*) объясняет как «иррациональное». Все это очень гадательно и произвольно.

Рассмотренные этимологии слав. *trizna* весьма противоречивы. Для того, чтобы обратиться к их оценке, нужно проверить привлекаемый материал. Из ознакомления со старославянским словообразованием явствует, что древнейшие памятники знают только **тризна**, но не **тризнь**, далее — что существительные на **-знь** (ж. р.) не имеют парных форм на **-зна**. Пользование обратным индексом слов в прекрасном словаре Л. Садник — Р. Айтцетмюллера чрезвычайно облегчает наблюдения такого рода. Так, мы видим, что ни одно из десяти существительных на **-знь** [9]: **казнь, каязнь, покаязнь, приязнь, неприязнь, боязнь, болѣзнь, жизнь, кързнь, кызнь** — не имеет соответствия на **-зна** [10]. Разумеется, эти подсчеты произведены на основании сравнительно небольшого лексического материала древнейших славянских памятников, но вполне возможно, что это положение вообще характерно для славянского. Такой вывод должен определенным образом повлиять на оценку некоторых

[5] *L. Sadnik, R. Aitzetmüller*. Указ. соч. S. 321.

[6] *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 579.

[7] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. Heidelberg, 1956. S. 138—139. Там же подробный перечень литературы.

[8] *М. Будимир*. Протословенски и староанадолски Индоевропљани // Зборник Филозофског факултета Београдског универзитета. Књ. II. 1952. С. 261—262.

[9] *L. Sadnik, R. Aitzetmüller*. Указ. соч. С. 195.

[10] Там же. С. 174.

слов, сравниваемых со слав. *trizna*, главным образом западнославянских. Так, чеш. *trýzeň* представляет собой типичное отглагольное существительное на *-znь* (**tryznь*), которое, в свете вышеизложенного, не имеет, очевидно, парной формы на *-zna*, что побуждает нас исключить чешское слово из числа сопоставляемых со слав. *trizna*. То же следует сказать о чеш. *tryzniti*, польск. *tryznić*, глаголах деноминативного происхождения, ср. аналогичное *казнь* — *казнить*. Древнерусское *трызнь* 'борьба'[11] как будто противоречит вышесказанному, но это крайне сомнительная форма, встречающаяся только один раз в одном памятнике (Пандект Антиоха), причем в одном из списков вместо нее стоит *трызно*[12].

Второй вопрос — это генезис формы *tryzna*. Ясно, что это не праславянский вариант, как думал Ильинский, и не наиболее древняя славянская форма, как полагает Фасмер. Ареал распространения формы *tryzna* — типично русский, что особенно бросается в глаза после того, как оставлено обычное сравнение с западнославянскими словами. Форма *трызна* исключительно характерна для Изборника Святослава 1073 г., Повести временных лет. Развитие *ри > ры* известно в ряде случаев в русском языке: *крыло*, *корысть*, обл. *грыб*. Таким образом, др.-рус. *трызна* обязательно предполагает общеславянское (или известное части древнеславянских диалектов) *trizna*, ср. важное в этом отношении ст.-слав. **тризна**. Что касается формы **триздьнъ**, на которой строит свою этимологию Ильинский, она вторична, ср. **праздьнъ**, **праздьникъ**, при более древних **празникъ**, **непразнъ**.

Изложенные уточнения показали недостоверность существующих этимологий слав. *trizna*. Неудача этих этимологий объясняется также недостаточным вниманием исследователей к развитию значений слова. Засвидетельствованные памятниками значения 'борьба, состязание' обычно принимались за исконные. Главное содержание тризны видят в бое, состязании на погребальном торжестве[13], хотя высказывалось также мнение, что первоначальное значение слова тризна — 'прощальный, поминальный пир'[14]. Остановимся на первом из названных значений. А. Котляревский, представивший исчерпывающий анализ письменных источников о погребении у славян[15], также считал древним значением слова *тризна* 'воинские упражнения, битва', но уже ему было ясно, что из имеющихся упоминаний тризны ни одно не говорит о

[11] *И. И. Срезневский*. Т. III. С. 997; Выписки из Пандектов Антиоховых X в. … сообщенные архимандритом Амфилохием // Изв. ОРЯС. VII. Вып. 2, 1858. С. 187.

[12] *А. Х. Востоков*. Словарь церковнославянского языка. Т. II. СПб., 1861. С. 233; *И. И. Срезневский*. Там же.

[13] *L. Niederle*. Rukověť slovanských starožitností. Praha, 1953. S. 222 и след.

[14] *E. Mahler*. Die russische Totenklage. Leipzig, 1936. S. 675.

[15] О погребальных обычаях языческих славян. М., 1868.

реальном содержании тризны (ср. «Повесть временных лет»), а «Житие Константина Муромского» прямо различает тризнище и битву [16].

Вполне возможно, что первоначальное терминологическое значение др.-рус. *тризна*, *трызна* расширилось и слово стало обозначать всю торжественную часть погребения, позднее даже приобрело целиком отвлеченные значения 'борьба, состязание, подвиг'. Для изучения слова *тризна* важна его несомненная связь с погребальным обрядом. Нужно иметь в виду, что главный мотив всей похоронной обрядовости — это, как известно, страх перед мертвым [17]. В таком случае каждый частный обряд получит наиболее естественное объяснение как подчиненный, будь то многолюдное бдение, древний обряд сожжения [18], или, наконец, состязания, бои. Ночное бдение родичей и особенно обряд угощения покойника, о котором подробно ниже, принадлежат как раз к числу древнейших. Этого нельзя сказать о состязаниях. У соседних с русскими народов, хорошо сохранивших язычество чуть ли не до наших дней — у марийцев и чувашей, — бросается в глаза то обстоятельство, что состязания в лучшем случае концентрируются вокруг жертвенного животного, предназначенного покойнику, чаще же вовсе отсутствуют.

Строго говоря, др.-рус. *тризна* — это не пир, который, как известно из летописного сказания о мести Ольги, происходил «по семъ», и не бой, как уже говорилось выше. На этом кончаются прямые свидетельства древнерусской письменности о содержании погребальной тризны. К косвенным свидетельствам относятся следы четкого разграничения действия **тризнѹ творити** и **бъдынъ дѣяти**, причем, как полагают, второе выражение обозначало бдение в собственном смысле [19]. Ниже мы приведем еще одно косвенное свидетельство, помогающее установить первоначальное значение слова.

Определение древнейшего значения слав. *trizna*, предпринятое в этой статье, опирается, помимо данных этимологии, которые являются, в конечном счете, решающими, также на свидетельства этнографии о быте восточнофинских народов. Привлечение этнографических данных представляется совершенно необходимым, без них попытка исследовать слово *trizna* скорее всего даст превратные результаты и не представит интереса. Насколько можно судить по древнерусским источникам, наиболее богатым в этом отношении, тризна была каким-то погребальным обрядом славян-язычников, кото-

---

[16] О начальных обычаях языческих славян. С. 129.

[17] *O. Schrader, A. Nehring*. Reallexikon der indogermanischen Altertumskunde. Bd. I. Berlin und Leipzig, 1917—1923. S. 35—36; *Dm. Zelenin*. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 331; *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Część II. Kultura duchowa. Zesz. I. Kraków, 1934. S. 430.

[18] *V. J. Mansikka*. Die Religion der Ostslaven. I. Quellen, Helsinki, 1922. S. 17.

[19] Там же. С. 83—84.

рый был искоренен христианством. Принявшая христианство Ольга завещала не совершать тризны при ее погребении. Как известно, наши сведения о древнейшей славянской религии крайне скудны [20]. Помимо фрагментарных сообщений в тенденциозных церковных проповедях, а также разнообразных остатков в быте славян, исключительно важны соответствующие особенности у древних соседей восточных славян — волжских финнов [21]. К. Мошинский призывает в обязательном порядке при реконструкции древнего культа славян-язычников использовать данные с территории, население которых до последнего времени оставалось языческим: «Ведь на основании целого ряда указаний мы имеем полное право не только предполагать, но прямо утверждать, что многое из старой языческой (и переходной раннехристианской) культуры славян (а также балтов) перешло к соседящим с ними с востока и находящимся на более низком культурном уровне волжским финнам и что, исчезнув затем с течением времени на славянских землях, оно удержалось на восточнофинских ⟨...⟩ Если речь идет специально о культе, то здесь следует принять в расчет еще один важный момент, дающий возможность уже совершенно свободно черпать из сокровищницы восточнофинских этнографических материалов с тем, чтобы — разумеется, со всей необходимой осторожностью — восполнять ими пробелы, имеющиеся в славянских материалах; я имею в виду поразительное сходство совокупности языческого культа на берегах Волги с культами древних славян, балтов и германцев, насколько мы в состоянии восстановить их на основе древних свидетельств» [22].

Ознакомление с обрядами марийцев чрезвычайно поучительно [23]: мы узнаем, что при погребении покойника закалывалось домашнее животное, которое сообща съедалось; в поминки едут на кладбище пригласить покойного, режут для него овцу, устраивают всей родней пир, на котором якобы присутствует покойник. Обряд представляет собой чрезвычайно ярко выраженный культ предков. Всякий раз центральное место в поминальных празднествах занимает принесение в жертву покойнику животного. Исключительной живучестью отличался культ предков у мордвы. Мордовское население Нижегородской губернии закалывало при погребении мужчины быка, при погребении женщины — корову [24].

---

[20] *L. Niederle.* Život starých Slovanů. Díl II, svazek I. Praha, 1916. S. 7.

[21] *V. J. Mansikka.* Указ. соч. С. 6 и след.

[22] *K. Moszyński.* Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. 1. Kraków, 1934. S. 256—237.

[23] *U. Holmberg.* Die Religion der Tscheremissen // Folklore Fellows Communications. Vol. XVIII. Helsinki, 1926. S. 25—27 и след., 36.

[24] *И. Н. Смирнов.* Мордва. Историко-этнографический очерк. Казань, 1895. С. 166, 174, 176.

Хорошо изученное этнографами жертвенное заклание в честь покойного у восточных финнов позволяет смелее использовать отдельные реликты соответствующего обряда у славян. А такие реликты действительно имеются. Южные и восточные славяне хорошо помнят жертвоприношение душам умерших [25]. Сохранилось также немало примеров принесения в жертву покойным животных — овец, крупного рогатого скота, свиней, коз. Для древнейшего периода об этом свидетельствует нахождение в могильниках, например, на восточнославянской территории костей сожженных или съеденных при погребении домашних животных [26]. Обычай приносить в жертву лошадь, возможно, заимствован с востока, в то время как для славян более характерно заклание коровы, особенно овцы. У карпатских горцев и словенцев отличался обычай умерщвлять на могиле барашка [27]. У сербов часто над могилой погребенного приносили в жертву взрослого барана [28]. Северновеликорусы бывшего Каргопольского уезда после похорон близкого человека отдавали коровунетель какому-нибудь бедняку со словами: «Коровку покойнику» [29]. Практиковавшееся у белорусов во время осеннего поминовения душ принесение в жертву на могиле петуха или курицы [30] является типичной заменительной жертвой, судя по марийским материалам. Имеется ряд других черт похоронной обрядовости, которые уже утратили смысл, но в итоге восходят к древнему жертвоприношению [31]. Исчезновение последнего обычая не должно удивлять. Его наиболее яркие формы истребило официальное православие.

У славян, известных с древности в качестве оседлых земледельцев, как известно, употребление в пищу мяса животных играло относительно небольшую роль, причем в первую очередь ели мясо в праздники и при исполнении обрядов [32]. Естественно поэтому предположить, что соответствующие обряды воспринимались в значительной степени как поедание мяса жертвенных жи-

---

[25] *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. I. Kraków, 1954. S. 245.

[26] *V. J. Mansikka*. Указ. соч. С. 14, 19, 21.

[27] *И. И. Срезневский*. Святилища и обряды языческого богослужения древних славян. Харьков, 1846. С. 88.

[28] *С. Трojановић*. Главни српски жртвени обичаји // Српски етнографски зборник. Књ. 17. Београд, 1911. С. 89.

[29] *Г. И. Куликовский*. Похоронные обряды Обонежского края // Этнографическое обозрение. Кн. IV. М., 1890. С. 54.

[30] *Dm. Zelenin*. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 333.

[31] М. Федеровский рассказывает, как возница, перед тем как везти покойника на кладбище, льет воду на лошадь в упряжке (Lud białoruski na Rusi litewskiej. T. I. W Krakowie, 1897. S. 322). Между прочим, то же делали жрецы марийцев и других язычников, чтобы узнать, угодна ли богу жертва.

[32] *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Część I. Kultura materialna. Kraków, 1929. S. 267.

вотных, что будет справедливо также в отношении славянской погребальной тризны. Приведем в этой связи место на «Жития Константина Муромского». Князь Михаил погиб мученической смертью. Его христианское погребение необычайно удивляет местных язычников[33]: «Невѣрніи же людіе, видяще сія, дивляхуся, еже не по ихъ обычаю творимо бѣ погребеніе <...> ни тризнища, ни дымы, ни битвы, ни кожи кроянія, ни лицедранія, ни плача безмѣрного не творяху». Мансикка переводит *тризнище* описательно: 'поминки' (Gedächtnisfeier). Однако следующий далее контекст самого жития, очевидно, помогает выяснить более конкретное значение слова *тризнище*: «Гдѣ коня заклающіи, и по мертвыхъ ременная плетенія древолазная с нимъ в землю погребающіи, и битвы и кроенія и лиц натресканія творящіи!». Кроме опускания в могилу древолазных ремней покойного, перечисление богомерзких действий (битвы, кожи кроеніе, лицедраніе = лиц натресканіе) почти совпадает, за одним исключением. В первом случае говорится вначале о тризнище, во втором случае перечисление начато упоминанием о заклании коня. Можно догадываться, что *тризна*, *тризнище* — это обычай принесения в жертву животного при погребении[34].

На основании всего сказанного выше представляется возможным объяснить слав. *trizna* как производное от слав. *trizь*, др.-рус. *тризь* 'трехгодовалый (о животных)', прилагательного архаического типа, произведенного с помощью редкого суффикса *-z-* от числительного *три*, ср. лит. *treigỹs* с тем же значением[35]. Архаичность др.-рус. *тризь* говорит о гораздо более широком его распространении и, возможно, общеславянской древности. Характерное употребление др.-рус. *тризь* в качестве определения жертвенного животного встречаем в Изборнике Святослава 1073 г.: **Почто трѣбоу положити повелѣ б҃ъ авраамоу юницѭ трии лѣть и козоѭ тризоѭ**[36]. Слав. *trizь* было почти повсеместно вытеснено более популярными производными, ср. серб. *трѐћа̂к*, рус. *третьяк* в том же значении, причем в русском языке это произошло позже, чем в остальных славянских. Слав. *trizna* могло, таким образом, иметь значение 'жертвенное заклание трехгодовалого животного', но впоследствии это конкретное значение было забыто, поскольку ощущение словообразова-

[33] Цит. по: *V. J. Mansikka*. Указ. соч. С. 294.

[34] Указание на литературную зависимость памятника от предшествующих образцов, в частности от Летописи (*V. J. Mansikka*. S. 295), не имеет для нас в данном случае решающего значения. Важно определить возможные следы первоначального значения интересующего нас слова. Житие относится ко 2-й половине XVI в.

[35] О *тризь* см. *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. III. 1956. S. 139.

[36] Цитата дана по новейшему болгарскому изданию: Симеонов сборник (по Светославовия препис от 1073 г.). Т. I. Изследвания и текст. София, 1991.

тельных связей рано утратилось, а также в силу других обстоятельств, не благоприятствовавших сохранению славянского язычества.

В дополнение ко всему следует отметить, что образование нашего слова от названия именно трехгодовалого животного, возможно, не является случайностью. Этнографы отмечают, что число *три* характерно для похоронных церемоний у разных народов [37]. В данном случае причина может корениться не столько в магическом характере числа, сколько в подразумеваемом при этом числе поколений предков. О роли тройственности отцов, дедов и прадедов в культе предков говорится в словаре О. Шрадера, ср. также греч. τριπάτορες, τριτοπάτορες 'прапрадеды' [38]. Чтобы понять отношение этой тройственности к каждому вновь умершему, нужно обратить внимание на обычай приема в число почитаемых предков у белорусов, который обставляется церемонией обращения ко всем предкам. Приводим описание П. В. Шейна: «Войдя в избу, одна из старших женщин берет горбушку хлеба, оборачивается к двери и, скобля медный грош, говорит следующие слова, включающие покойника в общий список ее умерших родных: "Дзеды, бабульки, бацьки, матульки, дзядзюхны, цетухны, примеце к себе помершего нашего бацюхну (если умер отец) и живице тамоки з им добре, не спорецеся и пр."» [39]. В этом смысле жертва предку отличалась, по-видимому, от жертвы богам, которым у древних славян, как и у других язычников, принадлежало все первородное — первые ягнята, плоды первого урожая, даже собственные дети [40].

Слав. *pěti*

Слово, рассматриваемое в настоящем разделе, представляет значительный интерес для исследования. Констатируя его общеславянское распространение с одинаковым значением 'петь' во всех славянских языках, мы вместе с тем должны отметить полную невыясненность его древнейшей истории. Слово по сути дела не имеет этимологии, что в значительной степени связано с отсутствием сколько-нибудь надежных соответствий за пределами славянских языков. Попытки отыскать индоевропейские соответствия слав. *pěti* имели место, причем обычно указывают на греч. παιάν 'торжественный гимн',

---

[37] Ср. *U. Holmberg*. Указ. соч. С. 35, сноска 1.

[38] *O. Schrader, A. Nehring*. Указ. соч. Bd. I. S. 21—22.

[39] *П. В. Шейн*. Материалы для изучения быта и языка русского населения Северо-Западного края. Т. 1. // Сборник ОРЯС. LI, № 3. СПб., 1890. С. 534—535. Поминки всех предков у белорусов («дзяды») имеют большее значение, чем поминки отдельного покойника (ср. *M. Murko*. Das Grab als Tisch // Wörter und Sachen. Bd. II. Heft I. Heidelberg, 1910. S. 86).

[40] Ср. *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Część II. S. 243—244.

готск. *faian* 'порицать', но эти сравнения, как справедливо признается, носят случайный, далеко не достоверный характер. Поэтому признание слав. *pěti* чисто славянским образованием, содержащееся в известных этимологических словарях[41], является весьма обоснованным и подтверждается некоторыми новыми наблюдениями, излагаемыми ниже.

Причину этимологической невыверенности слав. *pěti* следует, как нам кажется, усматривать в возможности коренного изменения значения слова. Фактор значения слова играет чрезвычайно большую роль в этимологии. Известно немало примеров, когда этимологи не в состоянии использовать совершенно очевидное родство морфем и структуры только из-за недостаточной разработанности истории значений. Особенно ощутимо это оказывается в тех случаях, когда отдельные, первоначально тождественные формы в результате оригинального семантического развития приобретают действительно далекие значения, что побуждает исследователей считать эти формы омонимами, а их тождество случайным, ср. и.-е. **ĝenə* I. 'рождать' и **ĝenə* II. 'знать'. Этимологи, пытаясь установить индоевропейские связи слав. *pěti*, заведомо привлекают слова со значением 'петь' или близкими, что, однако, пока еще не привело к положительному результату. Очевидно, это служит указанием на то, что нужно избрать иной путь и при этимологическом исследовании слав. *pěti* пересмотреть близкие славянские формы, что, возможно, позволит взглянуть на изучаемое слово совершенно с другой стороны.

Пересматривая славянские формы, близкие к *pěti*, мы обращаем внимание на личную форму *pojǫ*, рус. *пою*. Эта форма замечательна своим полным тождеством с формой *pojǫ*, *пою* в смысле 'даю, заставляю пить'. Это тождество и является, собственно, опорным пунктом предлагаемой ниже этимологии слав. *pěti*. Что касается второй формы *pojǫ*, *пою* 'даю пить', то она не вызывает никаких сомнений как совершенно прозрачный каузатив от слав. *piti*, рус. *пить*. Другой ее аспект, а именно формальное тождество с нашим *pojǫ*, *пою* (от *pěti*, *петь*), как будто еще не получил своего объяснения. Тем не менее, рассматриваемое тождество форм чуждо всякой случайности, более того — это генетически единая форма: правильный каузатив *pojǫ* 'даю пить, пою' от глагола *piti*. Итак, *pojǫ* 'пою, воспеваю' восходит к *pojǫ* 'даю пить'. Различие значений действительно велико, что представляет известную трудность, но есть основания думать, что эта трудность преодолима.

---

[41] *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 1927. S. 404; *J. Holub*, *Fr. Kopečný*. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952. S. 271; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 422; *L. Sadnik, R. Aitzetmüller*. Handwörterbuch zu den altkirchenslavischen Texten. Heidelberg, 1955. S. 282. В индоевропейском словаре А. Вальде — Ю. Покорного слав. *pěti* не отражено.

Чтобы устранить эти затруднения, носящие целиком семантический характер, необходимо обратиться к сфере понятий и представлений, современных, по всей вероятности, описанному общеславянскому факту перехода значения 'поить' в значение 'петь, воспевать'. Все говорит за то, что это была сфера типично языческих представлений. Абсолютно всем языческим культам свойственно применение жертвенных возлияний богам с одновременным вознесением песнопений и молитв. Можно было бы привести множество примеров, но поскольку речь идет о чисто славянском образовании, нас, естественно, больше всего здесь интересуют подобные свидетельства о славянах и близких им по культу соседях — финских народностях Восточной Европы. Что касается последних, великолепно сохранивших память о языческом культе, изучение их материалов и в нашем случае приносит большую пользу. Этнограф Уно Гольмберг лично наблюдал, как жрецы марийцев во время религиозных церемоний льют в огонь жертвенные напитки, иногда — горячую кровь убитых животных [42]. Языческая марийская молитва свидетельствует о важности, которая придавалась возлиянию [43]. Определенные следы близкого обряда сохранились и у славян. Так, датский хронист Саксон Грамматик рассказывает, как в Арконе на острове Рюгене в храме Святовита жрец проливал старое вино из кубка в руках бога у его ног и, наполнив кубок заново, в торжественных словах просил у божества счастья для себя и своей отчизны и благосостояния для сограждан, после чего быстро осушал кубок и, вновь наполненный, вкладывал его снова в правую руку идола [44]. Л. Нидерле на основании хроники Гельмольда указывает на обычай полабских славян при осушении кубка произносить слова, заклинания к богам [45]. В древнерусских церковных проповедях, изобличающих остатки язычества среди паствы, много говорится о вероотступниках, которые «верьтячеся пьютъ <...> въ розѣхъ» языческим богам и демонам, «чашю пиють бѣсомъ» и т. п. [46]. Наличие этих свидетельств о язычестве сводит до минимума кажущуюся парадоксальность объяснения значения 'петь' из 'поить'.

В правдоподобности предложенной этимологии слав. *pěti*, помимо прочего, убеждает также аналогичная этимология и.-е. **gheu̯ā* — др.-инд. *hávatē* 'призывать, обращаться', слав. *zъvati*, правильно обоснованная в свое время

[42] *U. Holmberg*. Указ. соч. S. 140—141, 164.

[43] *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. 1. Kraków, 1934. S. 240—241.

[44] *Saxo Grammaticus*. Gesta Danorum. XIV / Ed. Holder. P. 564. = *K. H. Meyer*. Fontes historiae religionis slavicae. Berolini, 1931. P. 50. См. также *St. Urbańczyk*. Religia pogańskich Słowian. Kraków, 1947. S. 81— 82.

[45] *L. Niederle*. Rukověť slovanských starožitností. Praha, 1953. S. 213.

[46] *V. J. Mansikka*. Die Religion der Ostslaven. S. 162, 175, 179.

Г. Хиртом[47] и незаслуженно забытая впоследствии. Хирт объяснял *ĝheu̯ā- 'призывать' из *ĝheu̯- 'лить', ср. др.-инд. *juhóti* 'лить масло в огонь, жертвовать', греч. χέω 'лить', совершенно справедливо считая семантические трудности для сравнения минимальными, так как обращение к богу всегда производится при жертвенном возлиянии. Эту этимологию необходимо признать одной из наиболее достоверных этимологий вообще. Тем более интересно отметить, что когда в славянском языке с течением времени этимологические связи *zъvati* стерлись ввиду утраты соответствующего глагола со значением 'лить'[48], появилось новообразование, совершенно аналогичное в семантическом плане, в результате чего был создан новый славянский языческий термин *pěti* 'взывать, обращаться с молитвой' < 'совершать возлияния, поить'.

Таким образом, в слав. *pěti* 'петь' можно видеть старый каузатив **poi̯ti*, *pojǫ* к глаголу *pīti*. Собственно говоря, с самого начала письменности в роли каузатива засвидетельствовано слав. *pojiti*, *поить*, однако эта форма могла развиться вторично, она в точности повторяет вокализм основы настоящего времени *pojǫ*. Это имело место, очевидно, уже после упрощения старых дифтонгов (*po-iti*). Но необходимость в новом слове явилась, главным образом, потому, что первичный каузатив *pěti* перестал ощущаться как таковой, приобретя функции характерного термина: 'петь, воспевать'.

Слав. *kobь* и родственное

Языческая религия древних славян, в целом плохо и неполно отраженная хрониками и другими древними письменными памятниками, оставила отдельные весьма красноречивые следы в самом языке. К ним, кроме разобранных выше слов, относится и слав. *kobь* с родственными образованиями: ст.-слав., др.-рус. кобь 'гадание по птичьему полету или по встрече, предзнаменование, колдовство', кобение 'гадание', болг. *кóба* 'дурное предзнаменование', серб. *кȏб* 'хорошее предзнаменование', др.-чеш. *pokobiti se* 'удаться'. Сюда же, несомненно, следует, вместе с И. Желтовым, отнести рус. *кобениться* 'корчиться, гримасничать'. Это объяснение хорошо согласовано с тем известным обстоятельством, что волхвы во время прорицаний кривлялись, впадали в экстаз[49], и вряд ли прав М. Фасмер, отвергающий эту этимологию, даже не сообщая мо-

[47] *H. Hirt*. Indogermanische Grammatik. Teil II. Heidelberg, 1921. S. 189. Его этимологию отвергает без особых аргументов А. Вальде (*A. Walde, J. Pokorny*. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Bd. I. Berlin; Leipzig, 1930. S. 529—530).

[48] Ср. его остатки в латышском *žaut* 'лить воду в большом количестве (*J. Endzelin*. IF. Bd. 33. 1913—1914. S. 126).

[49] *И. Желтов*. Этимологические афоризмы // Филологические записки. Вып. IV. Воронеж, 1876. С. 41—42.

тивов [50]. Слово *кобениться* образовано, возможно, от существительного *кобение*, хорошо известного из памятников, особенно древнерусских церковных проповедей и заповедей, изображающих в самых неприглядних красках религиозное исступление волхвов: *кобение, вертимое плясание* [51]. Отсюда, очевидно, экспрессивное слово *кобениться* получило свой отпечаток уничижительности.

Для сравнения со слав. *kobь* этимологи обычно привлекают ряд скандинавских форм: др.-исл. *happ* 'счастье', норв. *heppen* 'счастливый, благоприятный', *heppa* 'случаться, происходить', швед. *hampa sig* — то же [52]. У М. Фасмера приводятся в числе соответствий славянского слова также англ. *hap* 'случай', *to happen* 'случаться', но их следует удалить, так как они известны как скандинавские заимствования в английском. Однако не намного удачнее и остальные приведенные выше сравнения, поскольку эти скандинавские слова могли развиться также из общей формы герм. **hamp-* [53]. Анализ значений скандинавских слов еще больше подтверждает это предположение: герм. **hamp-* может продолжать и.-е. **kamp-* 'изгиб, гнуть' [54], из которого хорошо объясняются значения 'счастье, случай' скандинавских слов, ср. совершенно аналогичное развитие значений рус. *случай* < **lǫk-* 'изгиб, кривизна'. Очевидно, что германские слова не имеют со слав. *kobь* ничего общего ни в формальном, ни в семантическом отношении.

Гораздо удачнее, на наш взгляд, объяснял слав. *kobь* в свое время В. Ягич [55], сближая его с лит. *kabėti* 'висеть'. Однако, кроме верной основной мысли, его предложение содержало, по-видимому, неверное семасиологическое обобщение. Он выбирает из значений литовского слова только значение 'касаться' (*kiemą kabinti* 'поравняться с усадьбой') и, сопоставляя его с серб. *кобити, сукобити* 'встречаться, попадать, совпадать', предполагает его как исходное и в слав. *kobь* 'судьба и т. д.'. Вернее всего, перечисленные значения развивались вторично. Памятники говорят о том, что *кобь* было конкретным языческим термином. Словари указывают как будто на древность значе-

---

[50] *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 582.

[51] *V. J. Mansikka*. Указ. соч. S. 267 и в других местах.

[52] *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Aufl. 2. Heidelberg, 1924. S. 535; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 584.

[53] *E. Hellqvist*. Svensk etymologisk ordbok. Bd. I. Lund; Malmö, 1948. S. 332.

[54] Вальде—Покорный (Bd. I. S. 350: *qamp-*) приводят только др.-в.-нем. *happa, habba, heppa* 'Hippe', *happa* 'Sichel, Hippe', которые лучше сохранили исконное значение, ср. гнутое лезвие серпа.

[55] *V. Jagić*. Zum litoslavischen Sprachschatz // AfslPh. Bd. II. 1876. S. 397. Ср. также *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 3. Heidelberg, 1955. S. 200. Можно еще назвать этимологию *kobь* < *kobyla* (*Sz. Matusiak*. Wieszczba i żreb // Lud. T. XVII. Lwów, 1911. S. 221).

23. Заказ № 2261.

ния 'гадание по птицам, по птичьему полету', но исконности последнего значения противоречат этимологические связи слова. Что касается близкого названия птицы слав. *kobьсь*, *кобчик*, то оно скорее всего произошло вместе с *kobь* из общей глагольной основы **kob-*, ср. выше лит. *kabėti* 'висеть'.

Чтобы обосновать полученное таким образом гипотетическое значение слав. *kobь* '*то, что висит, подвешенное', нужно снова обратиться к показаниям этнографии. Известно, что местом отправления культа у славян в древности был лес. Деревья в священном лесу почитались как воплощения божества, к ним обращались во время церемоний. До недавнего времени такие священные рощи сохранялись у марийцев и вотяков (удмуртов), и подробные описания их, составленные этнографами-очевидцами, представляют большую научную ценность. На их основании можно составить себе вполне реальное представление о том, как могли выглядеть священные рощи славян [56]. В священной роще марийцев к особому жертвенному дереву подвязываются небольшие части мяса принесенного в жертву животного и предметы, которыми пользовались во время церемонии, чтобы узнать волю божества. Все эти подвязанные к дереву вещи должны были свидетельствовать, что божество довольно жертвой и пошлет счастье [57]. Еще ярче соответствующий обряд у вотяков, известный из рассказа очевидца. Когда съедена последняя жертва, кости животных уносятся в глубь леса, там подвешиваются на сук ели. Когда люди, сделавшие это, возвращаются, их специально спрашивают: «Ну, как провожали? — Хорошо. — Что сказали? — Говорили, что будем жить хорошо» [58]. Обычай вешать на священное дерево предметы с целью предотвратить несчастье, вызвать выздоровление, обеспечить счастье в будущем, а также чтобы узнать волю божества, отмечен также в разных частях славянской территории [59]. Все это как будто подтверждает предложенную этимологию слав. *kobь*.

Что касается прочих индоевропейских соответствий, то слав. *kobь* вместе с лит. *kabėti* 'висеть' и другими родственными балтославянскими формами имеют ближайшие соответствия, по-видимому, в нем. *heben* 'поднимать', *heften* 'прикреплять' (герм. **hafja-*) с общей исходной формой **kap-* / **kabh-* 'хватать' [60].

---

[56] *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Część II, zesz. 1. S. 249.

[57] *U. Holmberg*. Указ. соч. S. 133—134, 153, 154.

[58] *П. М. Богаевский*. Очерки религиозных представлений вотяков // Этнографическое обозрение. Кн. IV. М., 1890. С. 139—140.

[59] *K. Moszyński*. Указ. соч. S. 252; *A. Fischer*. Drzewa w wierzeniach i obrzędach ludu polskiego // Lud. T. XXXV. Lwów, 1937. S. 67; *Fr. Krauss*. Volksglaube und religiöser Brauch der Südslaven. Münster, 1890. S. 31, 35; *С. Тројановић*. Главни српски жртвени обичаји // Српски етнографски зборник. Књ. 17. Београд, 1911. С. 98.

[60] См. словарь А. Вальде — Ю. Покорного (Bd. I. S. 343: *qap-* / *qabh-*), которые, однако, не относят сюда литовских и славянских слов.

ТРИ ЛИТОВСКИЕ ЭТИМОЛОГИИ

kaktà, šiáudas, lopšỹs

Первая из предлагаемых здесь заметок не является этимологией в полном смысле этого слова. Это, скорее, попытка установить новую изоглоссу с вытекающими отсюда поправками в привлекаемых обычно этимологических сравнениях лит. *kaktà*. Это слово имеет в литовском языке значение 'лоб', в то время как близкие ему формы в других балтийских языках обнаруживают несколько иные значения, ср. лтш. *kakts*, *kakta* 'угол, образуемый двумя плоскостями' [1], ср. также лит. *kaktas* 'выступ'. Можно думать, что значение 'лоб' здесь вторично, ср. существующие рядом технические значения 'выступ', 'угол' и так, по-видимому, обычно думают этимологи, подбирая сравнения, близкие этим последним значениям: лат. *conquiniscere*, *conquexi* 'пригибаться', *coxim* 'сидя ссутулившись' < *k^{u}eks* [2].

Однако имеется большее основание думать о первичности именно значения 'лоб' у лит. *kakià*. В этом убеждает наличие близких слов с тем же значением в индоиранских языках: согд. *čakt* / *čk't* 'лоб', перс. *čakūd* 'темя, верхушка', пехлев. *čakāt*, арм. *čakat* 'лоб', заимствованное из персидского, др.-инд. *kakāṭikā-* 'часть лобной кости', сюда же осет. *cægat* 'северный склон горы' [3]. Близость литовского и этих индоиранских форм очевидна. Сравнение позволяет указать несколько древних вариантов этого названия **kokt-* / **kekāt-* / **kokāt-*.

---

[1] *K. Mūlenbachs, J. Endzelīns*. Latviešu valodas vārdnīca. II. Rīga, 1925—1927. S. 139.

[2] *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 3. S. 206.

[3] См. *В. И. Абаев*. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. 1. М., 1958. С. 296; иначе см. *M. Mayrhofer*. Kurzgefasstes etymologisches Wörterbuch des Altindischen. Bd. I. Heidelberg, 1956. S. 135, 256.

Единство литовского и индоиранских названий лба тем более интересно, что вообще именно в названиях лба индоевропейские языки обнаруживают значительное разнообразие, ср. греч. μέτωπον, лат. *frōns*, ирл. *ētan*, др.-в.-нем. *stirna*, а также лтш. *pìere*, др.-прусск. *ballo*[4].

Многие из этих названий представляют собой поздние местные новообразования, и лишь некоторые распространяются на несколько языков.

Близкие названия лба в литовском и индоиранском образуют, таким образом, балтоарийскую изоглоссу, которую, наверное, следует расценивать как общий архаизм. Иного рода близость, например общую балтоарийскую инновацию, вряд ли можно здесь усматривать. Говорить о независимо полученном одинаковом результате параллельного развития родственных диалектов тоже представляется менее вероятным решением, поскольку речь идет не о какой-то тенденции более или менее общего характера, ср. судьбу местоименных прилагательных, а о слишком частном факте лексического характера[5].

Значения 'выступ', 'угол' в литовском и латышском могут быть поняты соответственно как вторичные переносы. В этом отношении близкие вторичные значения можно указать в лит. *Al̃kos kaktà* — название горы (цит. по Френкелю, там же) и осет. *cægat* 'северный склон горы' (Абаев. Там же).

* * *

Ниже предлагаются этимологии двух различных слов, которые, однако, сближает, как мне кажется, аналогичное происхождение. Кроме того, с самого начала следует отметить тот факт, что оба эти слова употребляются только в литовском и в других балтийских языках они неизвестны.

Лит. *šiáudas* является названием соломы. Другие балтийские языки употребляют в этом значении названия, близкие славянским: лтш. *sol̃ms,* др.-прусск. *salme.* Можно уверенно полагать, что этимология такого важного в культурном отношении слова должна стоять в тесной связи с историей самой реалии. Это подтверждается примером слав. **solma,* рус. *солома* и родственных. Сейчас рус. *солома*, польск. *słoma,* болг. *слама* и др. — это срезанные стебли злаков, культурных (хлебных) растений. О том, что это не исконное значение, а своего рода культурное приобретение (правда, вероятно, уже пра-

[4] См. *C. D. Buck.* A dictionary of selected synonyms in the principal Indo-European languages. Chicago, 1949. P. 218: 'Forehead'.

[5] См. *H. W. Bailey.* Missa suppletum // Bulletin of the School of Oriental and African Studies. XXI. London, 1958. P. 40. В этой и предыдущей статьях (BSOAS XVIII. P. 34—42) анализируется ряд балтоарийских соответствий: иран. *maiz-* 'seminare', лит. *miežỹs* 'ячмень', лтш. *miezis* то же: др.-инд. *dhānā* 'зерно', иран. *dānā-* : лит. *dúona* 'хлеб' : лит. *javaĩ* 'зерно', др.-инд., авест. *yava-* 'зерно'.

славянской давности), говорит значение родственных слов в других индоевропейских языках: нем. *Halm* 'стебель', греч. κάλαμος 'тростник', лат. *culmus* 'стебель', тохар. В *kulmänts* 'тростник'. Древним значением праслав. **solma* и этих родственных слов было 'стебель', 'травинка'.

Следует напомнить, что древний способ жатвы заключался в том, что срезался лишь колос с зернами, а солома оставлялась. Использование соломы, как и настоящее кошение с помощью косы, — более позднее культурное новшество. В этом смысле наблюдения над языковым материалом весьма ценны, поскольку этнографы в ряде культурных районов уже не в состоянии обнаружить даже пережиточных остатков описанной древности. «О древнем способе жатвы — срезании одних только колосьев, предшествовавшем современному способу и сохранившемся еще кое-где в Европе (например в окрестностях Лежи в Албании), — мне ничего до сих пор со славянских территорий не известно», — писал покойный К. Мошинский[6]. Например, если мы обратимся к перечисленным выше названиям, мы сможем получить ряд небезынтересных указаний об эволюции и относительной хронологии этого явления.

Так, в то время как слав. **solma* с самого начала письменной истории известно только в функции культурного термина: 'солома, стебли хлебных злаков после обмолота', — прочие индоевропейские соответствия относятся к дикорастущим растениям. Ясно, что применение нового способа жатвы одновременно с хозяйственным использованием соломы наступило уже после того, как славяне обособились, например от древних германцев. Это важное событие состоялось также после эпохи наибольшей близости и общения праславянского языка с прабалтийским языком, так как последний обнаруживает весьма существенные древние диалектные различия: лтш. *sal̃ms* 'соломинка', др.-прусск. *salme* 'солома[7] при лит. *šiáudas* 'солома'. Можно думать, что у древних носителей балтийских языков названный выше способ жатвы и сама солома появились достаточно поздно, очевидно, позже, чем у славян. С этим связано также наличие особого названия для соломы в литовском языке.

Литовский язык не пережил того же развития, что славянский на примере слова **solma*, более того, литовский вообще не знает формы, близкой слав. **solma* (было бы лит. **šálma*). Предки литовцев проделали интересующую нас культурную эволюцию обособленно не только от славян, но и от прочих балтов. Далее, очевидно, условия получения названия для соломы были у

[6] Kultura ludowa Słowian. Część I. Kraków, 1929. S.192.

[7] Красноречивая близость этих слов также в терминологическом значении к слав. **solma* заслуживала бы, возможно, специального изучения: здесь имеется основание предполагать воздействие славянского.

древних литовцев довольно своеобразными, о чем также говорит лит. *šiáudas,* стоящее особняком в балтийском и индоевропейском словаре [8].

Интересно отношение лит. *šiáudas* 'солома' к следующим финно-угорским словам: фин. *haasia, hasia* 'сушилка для сена, гороха, скирда', карельск. *hoaśśa*, *hoazia*, *hoaǯa*, карельско-олонец. *hoadžu,* люд. *huadź, hoadźu* 'козлы, прясло для сушки ячменя, овса', вепс. *haź* 'прясло для сушки сена', эст. диал. *aas*, *erneaasad* 'прясло для сушки гороха', коми *šodź* 'жердь для сушки льна или конопли', 'палочка, спица' [9].

Возможно, наше литовское название соломы было заимствовано, причем источником его послужила архаическая форма перечисленных финно-угорских слов. В этом случае лит. *šiáudas* отражает празападнофинское *š* (давшее позднее *h* в этих языках) или, быть может, соответствующую волжско-финскую форму, о существовании которой можно заключить лишь косвенно, ср. выше западнофинские и коми соответствия. Возможно, эта этимология возбудит сомнения в некоторых своих фонетических моментах. Однако, несмотря на это, а также на акутовую интонацию дифтонга в лит. *šiáudas,* которая как бы «гарантирует» исконность этого слова, высказать это предположение о заимствовании изолированного слова представляется необходимым. Источником, таким образом, могло послужить финское название сушилки для сена, овса, ячменя. О тождестве значений говорить не приходится. Однако перенос названия сушилки для сена и хлеба на солому нельзя считать невозможным. По-видимому, это был один из тех немногочисленных случаев, когда балты (в данном случае точнее — древние литовцы) получили от финнов слово, знакомясь одновременно с новыми реалиями, а именно — со способом кошения хлеба и его особой сушки снопами, т. е. вместе с соломой. Кстати, среди разнообразных типов соломосушилок, описываемых К. Мошинским [10], одной из наиболее примитивных, следовательно древних, называется волжско-финская — из ямы в земле (с огнем) и конусообразно составленных над ней жердей, к которым прислоняются вокруг снопы хлеба. В труде по марийской этнографии Т. А. Крюковой [11] читаем: «Сушили хлеб в овине особого типа, характерном для ряда народов Поволжья — чуваш, марийцев, татар. У русских овин этот назывался "шиш", у марийцев — "марла агун" (марийский овин)...». Далее следует такое же описание, как и у Мошинского. Важно отметить, что форма, родственная другим финно-угорским

---

[8] Этимология этого слова еще не установлена, ср. *J. Otrębski*. Lingua Posnaniensis. IV. 1953. S. 312.

[9] См. сводку финно-угорских форм в кн.: *Y. H. Toivonen*. Suomen kielen etymologinen sanakirja. I. Helsinki, 1955. S. 47.

[10] Указ. соч. I. S. 197—198.

[11] Материальная культура марийцев XIX века. Йошкар-Ола, 1956. С. 13 и след.

названиям сушилки, в несомненно искаженном по народной этимологии виде *шиш* сохранена именно русскими, общавшимися с поволжскими народами.

Второй привлекаемый нами случай выгодно отличается от первого определенностью связей, недвусмысленно указывающих на тот источник заимствования, о котором в только что приведенном случае можно лишь догадываться. Это лит. *lop(i)šỹs* (Мажвидас, Бреткунас), *lopšỹs* '(подвесная) колыбель'. Э Френкель вслед за Р. Траутманом объясняет его из лит. *lãpas* 'лист', *lõpas* 'латание' якобы на том основании, что в старину литовцы плели колыбели из ивовых веток и подвешивали к потолку [12]. Непонятно, однако, при чем тут листья? Колыбели плелись из прутьев, а между *lop(i)šỹs* и *lãpas* имеется лишь внешнее сходство, как постараемся доказать ниже, — обманчивое.

Важно отметить, что *lop(i)šỹs* тоже является исключительно литовским словом, неизвестным в других балтийских языках. С другой стороны, близкие во всех отношениях формы находим в волжско-финских языках: эрзя-морд. *lavś* 'колыбель' [13], марийск. *lepš* 'походная, переносная колыбель (употреблявшаяся марийцами в старину)' [14]. Для названных языков эти формы являются исконными, о чем можно судить по многочисленным родственным формам в самодийских языках: ненец. *yeeps*, *jeepc* 'колыбель', тавги-самоедск. *lapsu*, селькуп. *t'opse*, камасинск. *t'epsü* [14]. Самодийские соответствия говорят о том, что перечисленные слова восходят, по всей вероятности, к эпохе прауральской общности. Кроме того, в самих волжско-финских языках существует ряд форм с различными значениями: марийск. *leßaš* 'навес', *lêp^φš лувш*, *лупш* 'плеть', *lêp^φšem лупшэм* 'качаю', *лыпшаш* 'гибкий тонкий прут' [15]. Разнообразие и характер перечисленных значений близких форм в марийском языке являются залогом древности и исконности соответствующего слова. Колыбели плелись из прутьев, а держались и переносились на шесте, жерди [16].

---

[12] *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. 5. S. 386.

[13] *М. И. Коляденков, Н. Ф. Цыганов*. Эрзянско-русский словарь. М., 1949. С. 117.

[14] *В. П. Троицкий*. Черемисско-русский словарь. Казань, 1894. С. 30; *G. J. Ramstedt*. Bergtscheremissische Sprachstudien. Helsingfors, 1902. S. 75; *Y. Wichmann*. Tscheremissische Texte mit Wörterverzeichnis. Helsingfors. S. 68—69; *В. М. Васильев*. Марий мутэр (Сравнительный словарь наречий марийского языка). М., 1926. С. 115; *H. Paasonen*. Ost-tscheremissisches Wörterbuch / Bearb. u. hgb. von Paavo Siro. Helsinki, 1948. S. 175; *А. А. Асылбаев, В. М. Васильев и др*. Марийско-русский словарь. М., 1956. С. 287.

[15] *B. Collinder*. Fenno-Ugric Vocabulary. Stockholm (Uppsala), 1955. S. 31.

[16] *В. П. Троицкий*. Указ. словарь. С. 29, 31; *G. J. Ramstedt*. S. 67, 73; *Y. Wichmann*. S. 68—69; *В. М. Васильев*. Указ. словарь. С. 108—111, 113; *H. Paasonen*. S. 67; *Ö. Beke*. Zur Ceschichte der finnisch-ugrischen *s*-Laute // FUF. Bd. 22. Helsinki, 1934. S.121—122.

Именно этот вид колыбели, своебразная походная люлька[17], засвидетельствованная в старину у марийцев и распространенная, по-видимому, в свое время также у других близких племен, например у мордвы, произвела на древних литовцев известное впечатление, откуда заимствованное лит. *lop(i)šȳs*. Ясно, что одной из важнейших конструктивных частей этой колыбели была жердь, называющаяся, кстати, в марийских диалектах так же, как и сама колыбель *lep$^{\varphi}$še*, *lep$^{\varphi}$š*[18]. Это заставляет задуматься над возможностью привлечения дополнительного сравнительного материала и вместе с тем поставить вопрос о целом ряде близких слов неродственных языков как о своего рода культурном слове Восточной Европы. Здесь имеются в виду рус. *лаба́з* 'сарай, навес, (мучной) амбар', 'навес или помост в лесу для складывания охотничьих и хозяйственных припасов', 'небольшой амбар на сваях или козлах', так же — 'мучная лавка, мучной ряд'. Исключительное богатое значениями слово насчитывает также много фонетических вариантов: *ла́баз*, *ла́боз*, *лоба́з*, *ло́боз*, *лобо́з*, затем *ла́вас*, *лапа́с*, *лопа́с*[19]. Неустойчивая форма, наличие колебаний *б*/*п*/*в* давно наводили на мысль о заимствовании слова в русском языке из языка коми *lobos* 'хижина', в то же время для близких коми *labaz* 'охотничий помост', чув. *luBas* 'сарай', казанско-тат. *lapas* считалось вероятным русское происхождение. Вместе с тем формы на *б* могут быть объяснены также как исконно славянские, родственные рус. *лабази́на* 'холудина, палка', укр. *лабу́з* 'кустарник, сорняк', польск. *łobozg* 'сорная трава', ст.-польск. *łobóź*, *łobozie*, *łobuzie*, *łabuzie* 'стебель, хворост, кустарник', *łabuzie*, *łabuź*, *łobuzíe* 'тростник', которые связывались непосредственно даже с др.-инд. *líbujā* 'тростник, вьющееся растение'[20]. Однако еще А. Брюкнер справедливо обращал внимание, помимо исключительной неустойчивости формы слова, также на его распространение, ограниченное польским и восточнославянскими языками: «Słowo istnieje tylko u nas i na Rusi, tam oznacza i wszelakie 'przybory z plecionek', a w końcu i całe 'budy, kramy'...»[21].

На территории русского языка слово известно весьма широко, поэтому заимствование, если предполагать таковое, должно было состояться довольно рано. А заимствование представляется наиболее вероятным источником этого

[17] Описание и изображение марийской люльки из липового луба с сетчатым дном на дуге из молодой липки, подвешенной к потолку, см. у Т. А. Крюковой: Указ. соч. С. 119.

[18] Ö. Beke. S. 121—122.

[19] *Даль*^{2} II. С. 230; Словарь современного русского литературного языка. Т. VI. М.; Л.: АН СССР, 1957. С. 6; *M. Vasmer*. REW. II. S. 1.

[20] *M. Vasmer*. REW. II. S.1, там же литература.

[21] *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Wyd. 2. Warszawa, 1957. S. 310.

слова, вернее — всех этих слов, куда также нужно отнести близкие названия палки, прута, сорняков, кустарника в польском, русском и украинском языках. Общую картину затемняют разнообразные изменения формы слов на русской почве и возможные многократные странствования из языка в язык этих названий охотничьих помостов, сарайчиков и т. п. Однако представляется возможным выделить как наиболее древние формы рус. **лабъзъ*, **лобъзъ*, **лобузъ*. Первоначальное ударение было, по-видимому, **ла́бъзъ*, **ло́бъзъ*, ср. явные следы в *ла́боз* (см. выше). Эту древнерусскую форму **ла́бъзъ*, **ло́бъзъ* мы тоже связываем с марийск. *lepš, lep$^{\varphi}$š,* морд. *lavś,* считая ее заимствованной из волжско-финских языков, как и лит. *lop*(*i*)*šỹs*. Все это названия обиходных предметов, связанных с жердями, шестами или просто — плетеных из прутьев. Из центра заимствования волны расходятся в стороны, оседая в диалектах, оформившихся позднее в украинский язык, и даже на территории польского языка. В русском языке и его диалектах эти слова представлены наиболее богато в формальном и семантическом отношении. Славянские языки имели собственную старую терминологию для всяких плетенок из прутьев, ср. в первую очередь древнее отношение **prǫtъ*, рус. *прут*: **prętati*, рус. *прятать*. Однако, очевидно, в новых условиях древнерусской экспансии на Восточно-Европейской равнине явилась необходимость в заимствовании новых терминов у местного населения.

Лит. *lop*(*i*)*šỹs* 'колыбель', вероятно, восходит к тому же источнику, но должно рассматриваться как самостоятельное раннее заимствование прямо из волжско-финских, ср. марийск. *lepš*, *lep$^{\varphi}$š*, морд. *lavś*. Кстати, лит. *š*, возможно, в данном случае представляет специальный интерес как отражение финно-угорского *ś*, поскольку для названных волжско-финских слов вопрос о наличии здесь *ś* или *s* специалисты считают как будто спорным.

Но наиболее интересный вывод из этимологии лит. *lopšỹs* < марийск. *lepš*, морд. *lavš* — это возможность непосредственных достаточно ранних контактов уже отделившегося литовского языка с волжско-финскими. Обычно полагали, что древние балто-финские контакты осуществлялись, во-первых, в эпоху балтийской общности, во-вторых — главным образом с западными финнами, от которых слова, например из балтийских языков, уже как-то потом охватывали и волжские финские языки. Очевидно, в действительности балто-финские контакты были многообразнее, о чем может свидетельствовать и изложенное сопоставление.

ИЗ ИСТОРИИ НАЗВАНИЙ КАШ В СЛАВЯНСКИХ ЯЗЫКАХ

Эволюция народной пищи и связанной с ней терминологии представляет глубокий научный интерес. Тем не менее, действительное положение в науке, изучающей народный быт, — этнографии — как будто противоречит сказанному. Так, известно, что состояние исследования пищи, например первобытных народов, несравненно менее удовлетворительно, чем исследование духовной и материальной (в широком смысле) культуры этих народов. Отсутствуют необходимые подготовительные работы. Специальная литература и музеи бедны сведениями о пище [1].

Само собой разумеется, что проблема развития народной пищи может быть правильно понята лишь в связи с развитием материальной культуры в целом и главным образом — в связи с уровнем производства материальных благ. Об этом свидетельствует пример, в общем достаточно хорошо известный, но имеющий самое прямое отношение к предмету настоящей статьи. Так, славяне с древнейших времен являются земледельцами по преимуществу. Разведение полезного домашнего скота также сохраняет у них с древности большое, хотя и не самодовлеющее значение и, наконец, уже совершенно подчиненную роль играет у славянских народов охота наряду с другими промыслами. При этом понятно, почему типичной пищей широких масс славянского земледельческого населения с древности вплоть до недавнего времени была пища преимущественно р а с т и т е л ь н а я. Последнее обстоятельство особенно бросается в глаза при сравнении с некоторыми финно-угорскими или тюркскими народами, у которых основное содержание пищи составляет мясо.

---

[1] *C. Seyffert.* Einige Beobachtungen über die Ernährung der Naturvölker // Zeitschrift für Ethnologie, 63. Berlin, 1932. S. 53 и след.

Наиболее распространенная форма растительной пищи — каша. В этом убеждает даже беглое знакомство с материалами по народной пище славян. Ниже мы несколько более подробно остановимся на этих материалах. Правда, это влечет за собой угрозу перегрузки лингвистической работы нелингвистическими, этнографическими данными, но является вместе с тем единственной возможностью глубже исследовать интересующий нас предмет. Дело в том, что в славянской этнографии изучение народной пищи находится не в лучшем состоянии, чем соответствующие разделы этнографии других народов. Поэтому ниже, кроме задач специально лингвистических, предпринята попытка обобщить материал, имеющий непосредственное отношение к этнографии.

Этнографы-славяноведы всегда отмечали значение каши в пище и обрядах славянских народов [2]. Правда, даже лучшие и наиболее богатые работы в этой области и, прежде всего, работы Н. Ф. Сумцова, рассматривают такую форму пищи, как каша, лишь в плане других проблем — славянской обрядовости, мифологии. Нельзя, пожалуй, назвать ни одного этнографического исследования, специально посвященного кашам в народной пище славян. Этот пробел особенно разителен при сравнении со степенью разработки таких областей материальной культуры славян, как народная одежда или типы жилищных построек, пользующихся неизменным вниманием этнографов. Отсутствие упомянутых специальных работ сказывается, как этого следовало ожидать, на содержании таких капитальных общих трудов по славянской этнографии и материальной культуре славян, как «Народная культура славян» К. Мошинского, «Восточнославянская этнография» Д. Зеленина, «Польский народ» А. Фишера [3]. К. Мошинский, правда, указывает, что специальные исследования над материалом по кашам у славян «могут пролить новый свет на старые культурные связи и, между прочим, на культурные связи разных народов между собой. Потому что различные кушанья и их названия чрезвычайно охотно заимствуются у соседних народов» [4]. Но эти слова следует скорее понимать как призыв к изучению, тогда как само исследование каш представлено в обширнейшем труде Мошинского крайне скудно. Несколько богаче конкретным материалом соответствующий раздел книги А. Зеленина, но и здесь автор в сущности не идет дальше перечисления ряда каш, указывая

---

[2] *Н. Ф. Сумцов.* Хлеб в обрядах и песнях. Харьков, 1885. С. 40—42, 63, 73, 85—86; см. также очень бегло: *С. А. Токарев.* Религиозные верования восточнославянских народов XIX—начала XX вв. М.; Л.: АН СССР, 1957. С. 140.

[3] *K. Moszyński.* Kultura ludowa Słowian. Część I. Kraków, 1929. S. 272 и след.; *D. Zelenin.* Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 117—119; *A. Fischer.* Lud polski. Podręcznik etnografii Polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1926. S. 79—80.

[4] *K. Moszyński.* Указ. соч. Там же.

для некоторых ареал распространения. Об исследовании говорить не приходится, дело ограничивается несколькими наметками. Трудно сказать, можем ли мы надеяться на то, что славянские этнографы в ближайшем будущем восполнят названный выше пробел. Новый «Польский этнографический атлас» (судя по реферату о нем) тоже не охватывает ни способов приготовления пищи вообще, ни способов приготовления «хлебной» пищи, каш [5].

В описанной ситуации при работе над лингвистической темой «История славянских названий каш» приходится собирать фактический этнографический материал из весьма разнородных источников, затем — и это наиболее рискованный шаг — делать определенные выводы этнографического характера, если они требуются для решения основной, лингвистической задачи работы.

Круг источников, используемых в настоящей работе, довольно широк. Кроме названных выше обязательных общих пособий, здесь привлекаются немногочисленные известные автору работы о пище, как, например, *Н. Маркевич.* Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860; *В. Щ.* Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями и приметами // Этнографическое Обозрение. Год 11, кн. XL—XLI. М., 1899, № 1—2; *B. Szydłowska-Ceglowa.* Zdobywanie i przygotowywanie żywności u Połabian // Studia z filologii polskiej i słowianskiej. T. II. Warszawa, 1957; используются, далее, работы общего краеведческого и описательно-этнографического характера: *W. Szuchiewicz.* Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902; *П. П. Чубинский.* Малоруссы юго-западного края // Труды этнографическо-статистической экспедиции в западнорусский край. T. VII. Вып. 2. СПб., 1877; целый ряд статей такого рода в «Этнографическом сборнике» Русского географического общества; исторические сочинения, как, например, *Н. И. Костомаров.* Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1905; описания путешествий Боплана, Адама Олеария, Гюльденштедта.

Что касается необходимости широкого привлечения этнографических материалов, о ней красноречиво свидетельствует само понятие ‘каша’. Это понятие очень часто распространяется на кушанья, которые, строго говоря, кашей не являются. Уступку этому «обывательскому» пониманию каши пришлось сделать и нам, озаглавив работу «Из истории названий каш в славянских языках», поэтому поспешим здесь оговориться, что нам пришлось прибегнуть к этому только в интересах краткости и удобства и что на самом деле в работе будут привлечены не только названия каш в собственном

[5] Ср. *J. Gajek.* Znaczenie kartografii etnograficznej dla slawistyki w świetle prac nad Polskim Atlasem etnograficznym // Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa, 1958. S. 222.

смысле, но и названия целого ряда «хлебных» кушаний различной консистенции, предшествующих хлебу. Между прочим, в плену серьезного заблуждения находился даже такой этнограф как Н. Ф. Сумцов, полагавший, что «первоначально каша — жидкая похлебка из муки» [6]. После этого не удивительно, что лингвисты — составители «Атласа русских народных говоров центральных областей к востоку от Москвы» (М., 1957) говорят о «мучной каше». В действительности же «мучная каша» — это миф; в народном употреблении у тех из славян, которые сохранили каши в наиболее чистом виде, никогда не смешиваются в громадном большинстве случаев собственно каши — из зерен или крупы — и разные заварихи, затирухи, саламаты, лемешки — из муки, теста. Никогда не смешивают их и многочисленные краеведы-любители, точно отразившие народное употребление, чьи работы нам пришлось неоднократно использовать. Смешение понятий и предметов наступает лишь в окраинной зоне, где славянство соприкасается с западноевропейскими народами, уже забывшими настоящую кашу и употребляющими только продукт поздней культурной контаминации — «мучную кашу», нем. *Mehlbrei*. Акцентировать внимание читателя на первичном содержании понятия «каша» у славян методологически важно, чтобы полнее охарактеризовать культурное своеобразие славянства в данном случае. Это своеобразие выражается в том, что в то время как Западная Европа (неславянские страны) знает, как уже было сказано, одну «мучную кашу» (*Mehlbrei*), у славян представлен целый ряд типов «каш», а именно: 1) каша из немолотых и нетолченых зерен, 2) каша из толченых зерен и 3) из молотых зерен, муки. Эта классификация, представляющая интерес, казалось бы, только для этнографии и истории материальной культуры, имеет, однако, большое значение для правильного понимания образования и развития самих названий, и ниже мы постараемся это показать, рассматривая и комментируя лингвистический материал в рамках этой нелингвистической классификации. Впрочем, совершенно очевидно, что между обеими сферами существует тесная и многообразная связь, которую нужно постоянно учитывать в этимологии. Мы имеем в виду такую связь всякий раз, когда говорим о тематических группах лексики. «Удачную этимологию слова иногда может подсказать наблюдение над его синонимами» [7].

Названные выше типы «каш» у славян представляют — каждый в отдельности — этапы исторической эволюции форм растительной пищи. Этим этапам соответствуют определенные способы производства, нашедшие отражение в языке. Минуя поджаривание и затем варку цельных зерен как наибо-

[6] *Н. Ф. Сумцов.* Указ. соч. С. 41.

[7] *Fr. Sławski.* Uwagi z badań etymologicznych nad słownictwem słowiańskim // Z polskich studiów slawistycznych. I. Warszawa, 1958. S. 105.

лее архаический способ приготовления «хлебной» пищи, также сохраненный славянами (ср. ниже), укажем дальнейшие способы приготовления и соответствующие им формы в славянских языках: 1) ломание, разбивание зерен между камнями — слав. **boršьno* : укр. *бо́рошно* 'мука'; 2) толченье в ступе — слав. **pьšeno*, рус. *пшено*, слав. **tolkъno*, рус. *толокно*; 3) перетирание, размельчение жерновами ручной (и проч.) мельницы — слав. **mǫka*, рус. *мука́*. Индоевропейские соответствия в виде близких форм имеет только слав. **boršьno*, одновременно отражающее наиболее древний из этих трех видов обработки зерен: лат. *farina* 'мука', лтш. *bẹ̄rzumi* 'хлебные крошки', хеттск. (глагол) *paršii̯ašk* = 'ломать хлеб' — все из **bher-s-* 'острый, твердый'. Пшеница начала культивироваться славянами, видимо, лишь на следующей ступени — применении ступы с пестом, ср. связь *pьšeno* : *pьšenica* во всех славянских языках. Наконец, общеславянский характер носит также третий культурный этап — применение мельничных жерновов, отраженное в **mǫka* : *mękъkъ* 'мягкий'. Позднему характеру этого последнего этапа как будто противоречит индоевропейский характер слова *жернов* (**g̑ʹr̥nu-s*). Но это противоречие кажущееся, и мы имеем здесь дело еще с одним случаем, когда необходимо учитывать собственную эволюцию предмета. Этнографам известно, что предшественником мельничного жернова было примитивное приспособление из двух камней — вогнутого и меньшего выпуклого — для дробления и ломания зерен. Именно это приспособление, с помощью которого еще нельзя было получить муки, обозначалось, по-видимому, словом **g̑ʹr̥nu-s* и соответствовало первому из трех перечисленных этапов.

Говоря о кашах, нельзя не сказать об эволюции растительной пищи в целом, в которой каши занимают почетное место. Трудами этнографов и биологов доказано, что каша — предшественница хлеба, что древней формой хлеба была хлебная похлебка, каша. Эта точка зрения высказывалась еще в прошлом веке русским этнографом Н. Ф. Сумцовым[8], но учение об эволюции растительной пищи было детально разработано и поставлено на прочную научную основу биологом А. Маурицио. В своем замечательном труде «История нашей растительной пищи с древнейших времен до современности»[9] А. Маурицио на основании большого фактического материала определяет границы культурных зон в соответствии с видами растительной пищи. В наи-

---

[8] Ср. также его книгу: *Н. Ф. Сумцов.* Культурные переживания. Киев, 1890. С. 114 и след.

[9] *A. Maurizio.* Die Geschichte unserer Pflanzennahrung von den Urzeiten bis zur Gegenwart. Berlin, 1927; см. еще *R. Rapaics.* A kenyér es táplálékot szolgáltató növényeink története. Budapest, 1934. 140. old.; очень бегло см. *М. О. Косвен.* Очерки истории первобытной культуры. М., 1953. С. 92.

большем многообразии каши сохранились в Европе у славян, главным образом — у поляков и восточных славян, пища которых до недавнего времени по преимуществу состояла из каши. Западная граница каши пролегает по территории Западной Польши. Эволюцию растительной пищи А. Маурицио представляет следующим образом. У истоков ее он помещает поджаривание зерен; настоящий период расцвета каш начинается с того времени, когда человек научился варить зерна. Варка, кипячение остаются основным способом приготовления, хотя сама техника приготовления многократно меняется впоследствии: в кашу употребляется толченое зерно (крупа), мука, наконец замешанная мука, тесто. Каша — наиболее древняя и устойчивая из ныне существующих форм растительной пищи, сохраняющаяся с эпохи собирательства до наших дней. Так, например, хлеб не идет в отношении древности ни в какое сравнение с кашей. Период господства хлеба в пище вообще не велик, у многих народов он минимален, в то время как период преимущественного потребления каши гораздо значительнее, в ряде культурных областей он продолжается и сейчас. В течение этого периода появляется первая, грубая форма хлеба — пресная лепешка, выпеченная из каши. «Повсюду, где в древности, в том числе библейской, идет речь о хлебе, подразумеваются лепешки...». Этот древний плоский хлеб без бродила и закваски коренным образом отличался от нашего кислого хлеба: он быстро затвердевал и обычно не резался, а ломался, крошился. В силу ряда экономических причин хлеб такой примитивной архаической выпечки дольше всего сохраняется в ряде горных районов Европы. Следующий, завершающий этап — хлеб из кислого теста [10]. Память о пресном хлебе живет довольно прочно, ср. русскую поговорку о хлебе: «Бог ломал и нам велел». Кстати славянское название хлеба, возобладавшее еще в общеславянский период, — **xlěbъ*, заимствованное из герм. **hlaib-* 'краюха, штука хлеба', по-видимому, с самого начала употреблялось для обозначения кислого хлеба; с другой стороны, в одном углу славянской территории — у словенцев и хорватов, сохраняется особое название для хлеба — *krȕh*, которое можно считать весьма архаическим названием, относившимся первоначально только к традиционному местному пресному хлебу, который ломался, крошился (*krȕh* : слав. *krušǫ*, *krušiti*, *kr̥šiti*), но не резался ножом.

Как уже сказано выше, славяне употребляют (во всяком случае употребляли до недавнего времени) все возможные типы каш. На первый взгляд, отношения между различными видами славянских каш представляются очень сложными, и последовательность их развития трудно установить. Это происходит оттого, что у славян все типы каш существуют одновременно, и архаи-

[10] *A. Maurizio.* Указ. соч. S. 106, 140, 172—173, 204, 206, 255, 264, 266, 325, 390—394, 396.

ческий тип спокойно уживается с поздним местным нововведением. Но установлению действительного развития каш помогает проделанная учеными работа в области эволюции растительной пищи, о которой уже упоминалось. Кроме того, на помощь приходят сами названия каш в славянских языках. Интересные как самостоятельный предмет лингвистического исследования, эти названия дают дополнительную аргументацию в подтверждение изложенного учения об эволюции растительной пищи и, в частности, каш. В этом смысле нельзя согласиться с Маурицио, который не придает никакого значения самим названиям. Верно, что тождество названий каш еще не означает тождества самих каш и под одним названием могут выступать довольно разные кушанья, ср. хотя бы семантическую эволюцию слова *мамалыга* от Румынии до южновеликорусских диалектов. Но не следует также приписывать этому утверждению абсолютного значения. При анализе славянских названий каш в плане изложенной этнографической классификации оказывается, что меньше всего новообразований приходится на названия двух первых наиболее древних типов каш: 1) из цельных зерен и 2) из толченых зерен, крупы. Здесь терминология вообще единообразнее, общеслав. *kaša* относится именно сюда и обозначает каши в самом первоначальном смысле слова. В этих группах немного заимствований из других языков. В то же время третий, более поздний тип каш — из муки, теста — отличается необыкновенно богатой терминологией, здесь есть ряд старых слов, но огромное большинство названий составляют новообразования и заимствования. Терминология этого типа каш обогащалась новыми названиями почти до самого последнего времени, в каждой местности создавались свои названия, на некоторых из них еще чувствуется отпечаток «моды». Вывод ясен: способность этой последней терминологии к новообразованиям вполне соответствует относительно позднему характеру каш из муки и теста.

Необходимость в настоящей работе понятна, если учесть, что такая важная группа лексики еще не подвергалась комплексному исследованию, а целый ряд названий еще вообще не изучался этимологами и не попал в словари. А. Маурицио ставит в заслугу Н. Ф. Сумцову, что тот собрал «у одних только славян» около 20 разных названий хлебных каш и похлебок [11]. В настоящей работе представлено около 80 названий каш в славянских языках, не считая словообразовательных вариантов. Тем не менее, и эта работа не претендует на исчерпывающий характер; наиболее полно собраны восточнославянские, затем — польские названия, остальные представлены единицами. Некоторое оправдание это соотношение находит в том, что как раз восточные славяне и отчасти поляки лучше других славян сохранили кашу в качестве основной пищи.

[11] *A. Maurizio.* Указ. соч. S. 259.

Славянские названия каш

1. из немолотых, нетолченых зерен: слав. *kaša*, польск. *prażmo* (чеш. *pražmo*), рус. *гуща*, словен. *pšéno*, словен. *jâgli*, рус. *боровая каша*, словен. *bê rovec*, *bârovec*, рус. *кулеш* (укр. *куліш* и др.), рус. *кандёр* (укр. *кандьор*); 2. из толченых зерен: слав. *tolkъno*, слав. *kyselь*, рус. *крупник* (*крупенник*), рус. *манная каша* (польск. *kasza manna*), укр. *зубці*, рус. *зобанец* (укр. *dzióbawka*); 3. из молотых зерен, муки, теста: рус. *гамула*, рус. *мудра*, рус. *лемешка* (укр. *лемішка*, польск. *lemieszka*), польск. *prażucka*, блр. *прижанина*, укр. *суканиця*, укр. *плескана* (*плескавка*), рус. *жур* (польск. *żur*), рус. *мамалыга* (и близкие формы), рус. *поливка*, рус. *саламата* (и близкие), укр. *juchwarka*, укр. *токан*, рус. *кулага*, рус. *тюря*, рус. (укр.) *тетеря*, укр. *чир*, укр. *бануш*, польск. *pecak*, укр. *логаза*, серб. *варица*, рус. *веренина*, блр. *варгеня*, рус. *заварушка* (*завара*, *разварка*), рус. *пустовора*, укр. *щерба* (полаб. *srabóněk*), польск. *galas*, польск. *siemieniec*, укр. *дз'ама*, укр. *rosiwnycia*, укр. *lyzanka*, укр. *hółubci*, рус. *ерлы*, рус. *моня*, рус. (укр.) *путря*, *путра*, рус. *тесто*, рус. *мыльцы*, рус. *абилиха*, рус. *сыроежа*, словен. *jit*, рус. *луда*, рус. *дежень* (*дежня*), рус. *поспа*, рус. *заспинка*, рус. *штейница* (*щи*, польск. *syto*), рус. *драчона*, рус. *калина*, рус. *рули*, рус. *мурцовка*, рус. *затерка* (*притирка*, *тертая каша*), рус. *крутень*, рус. *муковня* (*мучница*, полаб. *mǫ̈kə*), блр. *баў-туха*, белорус. *калатуха* (*калатуша*), рус. *солодуха* (словац. *slad*), блр. *цюпки* (польск. *cipkały*), блр. *чекуляда*, рус. *кваша* (*квашенина*), укр. *вівсяник*, словен. *tarana*, словац. *zapara*, польск. *barszcz*, рус. диал. *кач*, рус. диал. *повалиха*.

Слав. *kaša*, обозначающее просяную, овсяную, пшенную, гречневую кашу, а в польском языке диалектно также — крупу, имеет различные этимологии. М. Фасмер объясняет *kaša* < **kāsi̯ā* 'процеженное', ср. лит. *kóšti* 'цедить' [12]. Нам кажется более вероятным объяснение Г. А. Ильинского, который считал *kaša* родственным с *kvasъ*, *kysnǫti* и предполагал выпадение *u̯* перед гласным [13], с той, однако, разницей, что выпадение *u̯* мы объясняем не обязательным соседством с последующим *o* < и.-е. *ə*, как Ильинский, а упрощением первого, неслогового, компонента долгого дифтонга (*kaša* < **ku̯aša*), ср., например, ст.-слав. бѣ 'он был' < **bu̯ē*. Форма рус. *кваша* является фонетико-морфологическим новообразованием на основе *kvasъ*, *kysьlъ*, *kysnǫti*; ее связь с *kaša* носителями языка не сознается. *Кваша* обозначает мучную по-

---

[12] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 543—544; *Fr. Sławski.* Słownik etymologiczny języka polskiego. T. II, zesz. 1 (6). Kraków, 1958. S. 94—95.

[13] *G. Iljinskij.* Der Spirant *v* vor *o* aus idg. *ə* im Urslavischen // AfslPh. Bd. 29. 1907. S. 164 и след.

хлебку, кашеобразное кушанье. Лит. *kóšė* 'каша' в таком случае, очевидно, заимствовано из славянского, иначе оно имело бы вид **kvošė* [14].

Польск. *prażmo*, чеш. *pražmo* 'полусозревшие зерна, поджаренные на сковороде в начале урожая' [15] название архаического вида хлебной пищи, отчетливо связано с *prażyć* 'поджаривать'.

Рус. *гуща*, широко распространенное в значении 'густая каша, сваренная из целых зерен ячменя, иногда — вместе с горохом' [16], ср. уже в поговорке, записанной в XVII в.: *Наливай на гущу, зять приѣхалъ* [17]; совершенно прозрачное в этимологическом отношении собирательное существительное на *-ja* от *густ*, общеславянского характера, ср. общенародное (и первоначальное) значение *гуща* 'густой осадок в результате обработки и отделения жидкости', существующее параллельно с областным значением [18].

Словен. *pšéno* 'Grütze', словен. *jâgli* 'Hirsbrei', словен. *bârovec*, *bȇrovec* то же [19]; к последнему словенскому слову примыкает образованное от родственного названия проса *бор* 'Panicum Miliaceum' русское название *боровая каша* 'из боровой крупы, из пшена бора' [20].

Слову *кулеш* в южновеликорусских диалектах соответствует укр. *куліш*, диалектно также — *кýлеш'е* (гуцульск.), польск. *kulesza*, *kulasza*. Значения этих близких слов в различных языках колеблются: 'похлебка или каша из пшена с салом или маслом', 'болтушка из различной муки' [21]. М. Фасмеру

---

[14] Оригинальную в словообразовательном отношении форму имел полабский язык: *t'ösǿŕ* (**košorь*) 'каша, крупа', см. *B. Szydłowska-Ceglowa*. Zdobywanie i przygotowywanie żywności… // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. II. 1957. S. 420, 432.

[15] *Н. Ф. Сумцов*. Хлеб в обрядах и песнях. С. 85; *A. Fischer*. Указ. соч. S. 79; *A. Maurizio*. Указ. соч. S. 140.

[16] Труды Общества любителей российской словесности при императорском Московском университете. Ч. 20. М., 1820. С. 154 (тверское); *М. Н. Макаров*. Опыт русского простонародного словотолковника. М., 1847. С. 67 (твер.); *И. П. Сахаров*. Сказания русского народа. I. СПб, 1885. С. 288 (новг.); *В. П. Строгова*. Лексика говоров по течению реки Мсты // Канд. дисс. М., 1955. С. 208; *П. В. Шейн*. Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. СПб., 1902 // Сб. ОРЯС. LXXII, № 4. С. 17.

[17] *П. Симони*. Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий. Вып. 1. СПб., 1899. С. 129.

[18] См. *М. А. Соколова*. Очерки по языку деловых памятников XVI века / Докт. дисс. (Рукопись). Л., 1951. С. 452.

[19] Цит. по: *А. Будилович*. Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Ч. II. Вып. 1. Киев, 1882, С. 54.

[20] *В. И. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. 2-е изд. С. 118.

[21] *К. Арандаренко*. Записки о Полтавской губернии. Ч. II. Полтава, 1849. С. 266; *А. Афанасьев-Чужбинский*. Быт малорусского крестьянина // Вестник Русского Гео-

слово *кулеш* представляется неясным [22]. Впрочем, в «Исправлениях» к своему словарю он замечает: «Согласно Якобсону, “Slavic Word” 2 (1955), с. 612, славянские слова происходят из венг. *köles* 'просо'» [23]. Однако М. Фасмер ошибается, так как приоритет этой этимологии принадлежит не Р. Якобсону, а И. Книеже, который уже давно высказал предположение о заимствовании польск. *kulesza*, *kulasza*, укр. *куліш* из венг. *köles* через посредство рум. *coleaşa* [24]. Не исключена возможность, что это слово принадлежит к числу венгерских элементов карпатской пастушеской терминологии, к изучению которых призывал И. Книежа уже четверть века тому назад [25]. Широкое распространение слова, известного даже далеким от Карпат южновеликорусским диалектам (*кулеш*), не противоречит этимологии И. Книежи, ср. знакомство южновеликоруссов с названием *мамалыга* (в диалектной форме), проделавшим примерно такой же путь — из румынского языка.

Рус. *кандёр* 'крупник', 'похлебка из пшена с салом и луком' 'постная каша из пшена', 'кашица из пшенной крупы', также — презрительное название всякого невкусного, дурно приготовленного жидкого блюда, можно считать довольно широко распространенным словом, судя по данным многих диалектологов и этнографов. Оно употреблялось и употребляется, по-видимому, до сих пор в значительной части южновеликорусских диалектов — от смоленских говоров на Западе до донских говоров на Юго-Востоке [26]. В географическом отношении эти говоры образуют широкий пояс, примыкающий с севера

графического общества. Ч. XIII. 1855. Отд. 2. С. 151, 155; *А. Афанасьев-Чужбинский.* Общий взгляд на быт приднепровского крестьянина // Морской сборник. XXVI. 1856, № 14. СПб. С. 71—72; *Н. Маркевич.* Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860. С. 155; *А. В. Богданович.* Сборник сведений о Полтавской губернии. Полтава, 1877. С. 168; Памятная книга Воронежской губернии на 1870—1871 гг. Воронеж, 1871. С. 253—254; *W. Szuchiewicz.* Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. C. 164 и след.; *Б. Кобилянський.* Гуцульський говір і його відношення до говору Покуття // Український діялектологічний збірник. Кн. І. Київ, 1928. С. 71; *J. Karłowicz.* Slownik gwar polskich. T. II. Kraków, 1901. S. 519—520.

[22] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 688.

[23] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. 25. Lief. Heidelberg, 1957. S. 517.

[24] *I. Kniezsa.* Etnographia. 45. kötet. Budapest. S. 64; *I. Kniezsa.* A magyar nyelv szláv jövevényszavai. I. kötet. 1. Rész. Budapest, 1955. S. 293—294; *V. Machek.* Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. S. 246.

[25] *I. Kniezsa.* Pochodzenie hungaryzmów karpackiej terminologii pasterskiej // II Międzynarodowy zjazd slawistów. Księga referatów. Sekcja I. Warszawa, 1934. S. 49 и след.

[26] *В. Н. Добровольский.* Смоленский областной словарь. Смоленск, 1914. С. 310; *П. Тиханов.* Брянский говор // Сб. ОРЯС. Т. LXXVI, № 4. СПб., 1904. С. 51; *А. В. Миртов.* Донской словарь. Ростов-на-Дону, 1929. Стб. 129; Словарь русского языка / Сост. Вторым отделением Академии наук. Т. IV. Вып. 2. СПб., 1908. Стб. 350.

к территории украинского языка. Украинскому языку и его диалектам известна форма *кандьóр* 'жидкая кашица из круп или пшена', которая более или менее широко употребляется, судя по записям диалектологов, в киевско-полтавских говорах, в Харьковщине, Поднепровье и Херсонщине[27], т. е. в общем по соседству с областью распространения слова *кандёр* на территории русского языка. Ни в западноукраинских, ни в закарпатскоукраинских говорах слóва *кандьор* обнаружить не удалось. Можно также с уверенностью сказать, что ни словацкие народные, а также профессиональные диалекты, ни, наконец, диалекты чешского языка не знают подобного слова с близким значением[28], как не знает его, по-видимому, также польский язык. Слово, близкое укр. *кандьор*, отсутствует, очевидно, и в белорусском языке[29].

Даже в границах той диалектной территории, на которой слово *кандёр* употребляется, оно является, скорее всего, новым словом. В диалектологических материалах и словарях ранее конца XIX в., а также в старых сочинениях о народной кухне этого слова обнаружить не удалось.

Этимологией слова *кандёр* занимался, по-видимому, только М. Фасмер, который допускает здесь заимствование из польск. *kędzior* 'завиток волос, хлопья'[30]. Это объяснение нельзя считать серьезно аргументированным, особенно с семантической точки зрения. Этимологически рус. *кандёр*, укр. *кандьóр* 'жидкая каша из пшена' — экспрессивное образование, распространившееся из говоров в просторечие, может быть объяснено как своеобразное сложение корня *дёр* : (*драть*, глагол, нередко употребляемый при описании приготовления каш, ср. каша из ободранного ячменя и т. п.) и особого префикса, встречаемого лишь в экспрессивных образованиях *кан-* : *кан-дёр*. Так, в словаре Б. Д. Гринченко находим подряд следующие образования на *кан* : *кандзю́ба* 'кривизна, крючок', *канди́ба* 'плохая лошадь, кляча', *кандьóр*...

---

[27] *Б. Д. Гринченко.* Словарь украинского языка. Т. II. Киев, 1908. С. 215; *Б. Д. Гринченко.* Этнографические материалы, собранные в Черниговской и соседних с ней губерниях. Т. III. Песни. Чернигов, 1899. С. 561—562; *В. Милорадович.* Житье-бытье лубенского крестьянина // Киевская старина. Т. LXXVII. 1902, июнь. С. 424; *И. В. Бессараба.* Материалы для этнографии Херсонской губернии // Сб. ОРЯС. Т. 94, № 4. Пг., 1916. С. 542. Пользуюсь также письменным сообщением доцента *В. С. Ващенко* (Днепропетровский университет) о распространении слова в Поднепровье.

[28] В рукописном словаре закарпатскоукраинских говоров покойного *И. Панькевича* нет слова *кандьор*, по сообщению молодого украиниста *А. Курымского* (Прага). За аналогичные справки о чешских, словацких и прешовских украинских диалектах приношу благодарность *С. Утешеному* (Прага), *А. Габовштяку*, *В. Латте* и *И. Грозиенчику* (Братислава).

[29] Ср. его отсутствие в «Словаре белорусского наречия» И. И. Носовича (СПб., 1870).

[30] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 517.

(т. II. С. 214—215). Образование совершилось, вероятно, на почве украинского языка и затем распространилось в русских диалектах.

Теоретически существует также другая возможность объяснить укр. *кандьор* (рус. *кандёр*) — из венг. диал. **kend'ēr*, ср. венг. *kenyér* 'хлеб'. Правда, названная диалектная разновидность слова *kenyér* до сих пор не была засвидетельствована в говорах[31]. Что же касается самого явления эпентетического наращения *d'* в группе «согласный + *j*», или, как считают некоторые, диссимилятивного развития *nd'* < *n'n'*, то его случаи известны в разных частях венгерской языковой территории, в том числе и на востоке, ср. *tányér* > *tánygyér*, *dinnye* > *gyingye*, *kanyarodik* > *kangyarodik* и др. Как показал И. Книежа, в старой венгерской топонимии есть примеры вариантов *ny* : *gy* (*d'*) для элемента *kenyér*, а именно рум. *Cugir* на берегу реки *Părăul Cugirului* = венг. *Kudzsiri patak*, левого притока реки Марош, < др.-венг. **Kügyér* / *Kenyér*[32]. И. Книежа не связывает специально формы **Kügyér* / *Kenyér* и описанное выше диалектное явление и считает вариант **Kügyér* весьма древним, в то время как диалектное развитие *n'n'* > *n'd'* обычно признается поздним. Ввиду всего этого объяснение укр. *кандьор* < венг. диал. **kend'ēr*, сохраняет значение лишь весьма осторожной гипотезы, тем более что и западноукраинским диалектам, в которых единственно могло осуществиться заимствование, слово *кандьор* неизвестно. С семантической точки зрения эта гипотеза, тем не менее, очень заманчива, поскольку значению укр. *кандьор* 'каша из пшена' хорошо соответствуют значения близких этимологических родственников венг. *kenyér* 'хлеб': вотякское (удмуртское) *keńi̯r*, *keŋi̯r* 'крупа, каша'[33]. Закономерная эволюция современного хлеба и его связь с кашей уже была предметом обсуждения выше. Не будет опрометчивостью

---

[31] Сотруднику Венгерского лингвистического атласа (Институт языкознания Академии наук в Будапеште) *Дьёрдю Сепэ* за соответствующую справку в письме от 19 июня 1958 г. приношу искреннюю благодарность.

[32] *Ö. Beke.* Kemenesalja nyelve. Nyelvészeti Füzetek. 33. Budapest, 1906. 9. old.; *A. Horger.* A magyar nyelvjárások. Budapest, 1934. 34. old.; *B. Kálmán.* A mai magyar nyelvjárások. Budapest, 1951. 18. old.; *L. Deme.* A *j* > *gy* ~ *ty* változás emlékei és eredetének kérdése. Magyar Nyelv. 50 évf. 1954, 1—2 szám. 27. old.; *I. Kniezsa.* Kudzsir. Magyar Nyelv. 42 évf. Budapest, 1946. 66—67. old.; ср. еще *L. Tamás.* Les recherches linguistiques slaves et roumaines en Hongrie (1939—1946) // Études slaves et roumaines. Vol. I, fasc. 2. Budapest, 1948. P. 121. За справки по литературе вопроса благодарю Э. Д. Балецкого (Будапешт).

[33] *J. Wichmann.* Etymologisches aus den permischen Sprachen // Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. 14. Helsinki, 1914—1922. S. 86—87; *Y. H. Toivonen.* Über Alter und Entwicklung des Ackerbaus bei den finnisch-ugrischen Völkern // Mémoires de la Société finno-ougrienne. T. LVIII. 1928. S. 231; *G. Barczi.* Magyar szófejtő szótár. Budapest, 1941. 159. old.; см. еще *E. Moór.* Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae. 1958.

предположить вторичное и относительно позднее развитие значения 'хлеб' у венг. *kenyér*, осуществившееся уже в отдельную эпоху жизни венгерского языка, тогда как в близких обско-угорских и пермских языках в роли названия хлеба выступило заимствование персидское *nān*[34]. С фонетической точки зрения этимология укр. *кандьор*[35] < венг. диал. *kend'ēr* не более спорна при условии допущения звуковых субституций.

Толокно и *кисель* — древние славянские названия кашеобразных кушаний, первоначально обычно из толченых овсяных зерен и овсяной муки, слова, этимологически прозрачные (см. то, что говорилось выше об относительном времени образования слав. *tolkъno*). Это последнее образование известно главным образом в северных славянских языках: рус. *толокно*, польск. *tłókno*, но восстановимо косвенным путем и для словенского языка, из которого немецкие диалекты получили формы *Talken*, *Talggen*. Вообще овсяные каши — характерное кушанье Севера Европы[36]. Рус. *толокно* употребляется также в значении 'толченая, немолотая овсяная мука'[37], в таком виде толокно заготовлялось в больших количествах впрок как полуфабрикат.

Названием, характерным для польского и восточнославянских языков, является польск. *krupnik*, укр. *крупник* 'жидкая кашица', блр. *крýпник*, *крупéня* 'похлебка из ячменной, гречневой или просяной крупы'[38]. Это название, производное от *крупа*, употребляется на Западе также в значении 'хмельной напиток', ср. аналогичное развитие значений тат. *буза*, относящегося к злаку и к напитку из него.

В украинском языке известно название каши, сваренной из толченого ячменя, — *зубцi*[39].

---

[34] См. *J. Harmatta*. Iráni nyelvi adatok a kenyér történetéhez // Ethnographia. LXIV. évf. Budapest, 1953. S. 167 и след.

[35] В порядке предостережения заметим, что закарпатскоукраинское *киндириц'а*, *тиндириц'а* 'кукуруза' происходит, как известно, из венг. *tengeri* (buza) 'кукуруза' и никакого отношения к укр. *кандьор* 'каша из пшена' не имеет.

[36] *C. Rhamm*. Talken und Geislitz usw. // Carinthia, Jg. 99. I. № 6. 1909. S. 214. Цит. по: *A. Maurizio*. Указ. соч. S. 167; *K. Moszyński*. Kultura ludowa Słowian. Cz. I. Kraków, 1929. S. 275; *Н. И. Костомаров*. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях. СПб., 1905. С. 68.

[37] *Н. К. Соколова*. Обиходно-бытовая лексика в языке воронежских грамот XVII в. / Канд. дисс. (Рукопись). Воронеж, 1956. С. 112.

[38] *A. Fischer*. Lud polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1926. S. 79—80; *П. П. Чубинский*. Малоруссы юго-западного края // Труды этнографическо-статистической экспедиции в западно-русский край. Т. VII. Вып. 2. СПб., 1877. С. 439; *П. В. Шейн*. Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. 3. С. 30; Россия // Полное географическое описание нашего отечества / под ред. В. П. Семенова. Т. VII. Малороссия. СПб., 1903. С. 108—110.

[39] *Н. Маркевич*. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. С. 153.

В русских памятниках XVII в. встречается упоминание кашеобразной похлебки — *зобонец* (т. е. *зобанец*), ср. также *горох зобаной*. Эти слова образованы от *зоб*, *зобать*, ср. того же происхождения укр. (гуцульск.) *dziòbawka* 'вареная пшеница с сахаром, медом, солью' — в записи В. Шухевича[40].

Наибольший интерес из славянских названий крупяных каш представляет, несомненно, *манная* (крупа, каша). На первый взгляд, слово имеет очень простую этимологию. Если же от нее отказаться, происхождение слова представляется весьма загадочным. Такой наиболее легкой возможностью является объяснение слова *манная* (крупа, каша) происхождением от названия библейской манны, древнееврейского происхождения[41], ср. к тому же известное в специальной литературе положение о том, что в XI в. огородничество в Северной Европе находилось под влиянием монастырей[42]. Тем не менее, ближайшее рассмотрение вопроса показывает сомнительность этого объяснения. Среди доводов против библейской этимологии слова *манная* (крупа, каша) есть доводы лингвистического и культурно-исторического характера.

М. Фасмер объединяет *манна*, библейск. μάννα, и *манна* 'манная крупа'; близкими формами в других славянских языках он не интересуется. Однако сразу следует отметить, что формы рус. *манна* 'манная крупа' не существует, есть *манная крупа*, *каша*, *манка*, затем *манник* 'растение, Glyceria fluitans', укр. *манна* (трава) 'манник, Glyceria fluitans', польск. *manna* (kasza) 'манная крупа, каша', *manna jadalna* (właściwa), *trawa manniana* 'манник', *manna trawna* (samorodna) 'растение Panicum saguinale, кровяное просо'. Лингвистический довод против библейской этимологии заключается, таким образом, в том, что близкие, но морфологически и словообразовательно самостоятельные формы охватывают не один славянский язык и даже не одну из трех групп, а целиком северные славянские языки. Причем характер этих близких названий таков, что он не позволяет говорить о заимствовании из библейского μάννα: в словах *манка*, *man-na*, *ман-ник* легко выделить общую основу *man-* (отнюдь не *mann-*!). Культурно-исторический довод состоит из нескольких аргументов. Во-первых, близкие слова в данном случае охватывают сферы отличных церковных влияний: западно-католическую и византийско-православную. Во-вторых, μάννα, манна небесная — атрибут Ветхого Завета, т. е. как раз той

[40] *М. А. Соколова.* Очерки по языку деловых памятников XVI века. С. 457—458; *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. С. 459; *W. Szuchiewicz.* Huculszczyzna. Т. 1—2. Lwów, 1902. S. 164 и след.

[41] *J. Bal, A. Zaręba, K. Nitsch.* Ze słownictwa gwarowego. 4. Manna // Język polski. T. XXXII, zesz. 4. 1952. S. 182 и след.; *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II, s. v. *манна*.

[42] *A. Maurizio.* Die Geschichte unserer Pflanzennahrung von den Urzeiten bis zur Gegenwart. Berlin, 1927. S. 130.

части Св. Писания, которая играла в восточном христианстве меньшую, сравнительно с Евангелиями, Новым Заветом роль, представлена поздними переводами (новгородская Библия Геннадия конца XV в.) и по силе влияния на лексику и фразеологию древнерусского языка не может идти ни в какое сравнение с Новым Заветом. Этот факт находится в явном противоречии с народным характером хотя бы названия растения рус. *манник* и др. В связи с изложенным выше целесообразно объяснять все приведенные славянские слова из основы слав. *man-*, рус. *манить*, *обман*, что, между прочим, предлагал еще В. И. Даль в своем словаре. Таким образом, *манка* собственно — «обманка». Эта единственно верная этимология слов *манка*, *манная* (крупа, каша), незаслуженно забытая современными этимологами, находит целый ряд серьезных подтверждений. Одно из подтверждений заставляет нас снова вернуться в область биологического ученья об эволюции культурных растений и растительной пищи. Известно, что многие полезные растения, употреблявшиеся прежде в пищу, вытеснены затем другими и опустились до положения сорняков. Манник, Glyceria fluitans Brown, нем. Mannagras, Schwadengras единственный европейский злак, который никогда не выращивался, но лишь собирался в дикорастущем виде. Употребление манника и каши из его зерен ограничено Северо-Востоком Европы, в основном — районами современного и прежнего расселения славян. Отсюда манник вывозился через города Восточной Германии в Западную Европу. Важно также отметить, что манник, манная трава смешивается — позднее все чаще — с подобным, но культурным растением — кровяным просом, Panicum sanguinale [43], вплоть до того, что, например, в польских диалектах *manna* зачастую обозначает только кровяное просо. Вероятно, эти условия постоянного смешения и выработали название *manna*, *манник*, т. е. 'растение, обманчивое по виду'. Дальнейшая семантическая эволюция слов *манная крупа*, *каша* выразилась в том, что они стали обозначать впоследствии уже не пищу из зерен манника или проса, а пшеничную крупу тонкого помола. Из славянских языков, вернее — из польского, это слово перешло в западноевропейские языки: нем. *Manna*, франц. *manne*, англ. *manna-croup* 'манная крупа' (уже в современном значении). На путь распространения указывает франц. *manne de Pologne*, *manne de Prusse*.

Другое подтверждение принятая здесь этимология получает в сравнении немецких названий *Mannagras* — *Schwadengras* 'манник' и *Mannagrütze* — *Schwadengrütze* 'манная каша'. Нетрудно заметить, что эти парные названия представляют собой прямое заимствование — *Manna* < польск. *manna* и кальку *Schwadengras*, где нем. *Schwaden* 'пар, туман, испарение, чад, угар' свободно передает польск. *manna* 'обманная' (ср. еще нем. *Schwade* 'болтов-

---

[43] *A. Maurizio.* Указ. соч. S. 5, 44—46.

ня')[44]. Это может быть использовано и как свидетельство того, что в момент образования кальки лицам, понимающим польский язык, было понятно исконное значение польск. *manna* 'обманная'. Затем правильное понимание утратилось, уступило место народной этимологии: от библейск. *манна*, *manna*.

Названия похлебок, каш из муки чрезвычайно разнообразны, как об этом уже приходилось говорить выше.

Рус. диал. *γамула*, название каши из муки, отмеченное в западной части южновеликорусских диалектов[45], тождественно с рус.-церковнослав. **гомола** 'ком', общеславянского происхождения, ср. еще лит. *gãmalas* 'ком снега, кусок хлеба, мяса', *gãmulas* 'комок, месиво', *gùmulas* то же[46].

В тех же говорах русского языка существует название *мудрá* 'каша из муки'.

Повсеместно распространено — опять-таки в пределах северных славянских языков — рус. диал. *лемéшка* 'вареное тесто, завара, саламата', укр. *лемішка* 'жидкая похлебка, сваренная из пшеничного или ржаного теста', 'похлебка из гречневой муки', *л'імішка* 'мамалига з некукурудзяної муки', польск. *lemieszka* 'вареное тесто', блр. *лемéшка* 'кушанье из муки'[47]. Согласно наиболее вероятной этимологии, это слово в славянских языках заимствовано из формы, родственной фин. *liemi* (*liemessä*) 'похлебка, суп', морд. *l'ɛm'*, мансийск. *lääm*, марийск. *lem*. Таким образом, близкие названия охватывают

---

[44] В немецком этимологическом словаре Ф. Клюге слово *Schwaden(gras)* отсутствует: *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17. Aufl. / Bearb. von W. Mitzka. Berlin, 1957. S. 687.

[45] Атлас русских народных говоров юго-западных областей (готовится к печати). Пользуюсь случаем, чтобы выразить благодарность за эти сведения М. Н. Преображенской (ИРЯ АН СССР).

[46] *Ф. Поликарпов*. Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704; *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1924. S. 326; *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 291; *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. 2. Lief. S. 132.

[47] *М. Н. Макаров*. Опыт русского простонародного словотолковника. С. 144; *Н. Арандаренко*. Записки о Полтавской губернии. Ч. II. С. 266; *А. Иваница*. Домашний быт малоросса // Этнографический сборник. Вып. I. СПб., 1853. С. 348; *Н. Маркевич*. Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. С. 156; *Г. П. Данилевский*. Нравы и обычаи украинских чумаков // Библиотека для чтения. Т. 142. СПб., 1857. С. 132; *В. Щ*. Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями и приметами // Этнографическое обозрение. Год 11, кн. XL—XLI. М., 1899, № 1—2. С. 288; *О. С. Мельничук*. Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського району, Одеської області) // Лексикографічний бюлетень. Вип. II. Київ, 1952. С. 84; *Е. Ф. Карский*. Белоруссы. Т. 1. Варшава, 1903. С. 107.

целый ряд финно-угорских и славянских языков, распространенных от Урала до Татр[48].

Польск. *prażucha* 'мучная похлебка, разновидность лемешки', блр. *прижанина* (собственно *прыжаніна*) 'жидкое ржаное тесто, которое варится с салом, луком, мясом'[49] представляют собой апофонические варианты одной славянской основы *pražiti, pŗžiti* 'поджаривать', очевидно, — от предварительного поджаривания муки.

В закарпатскоукраинских говорах есть название *суканúця* 'жидкая болтушка из пшеничной муки'[50].

Укр. *плескáна, плескáвка* 'куски гречишной лемишки, обсыпанные конопляным семенем и изжаренные' представляет специальный интерес и будет рассмотрено ниже, в связи с проблемой межъязыковых влияний.

Укр. *жур, джур* 'кушанье, сваренное из прокисшего раствора овсяной муки', блр. *жур* 'очень жидкий кисель', польск. *żur* 'похлебка из заквашенной ржаной или овсяной муки', чеш. диал. *žur* 'квашеная мука, каша', луж. *žur* 'закваска, каша из закваски'[51]. Из восточнославянских языков это слово распространено, главным образом, в украинском и белорусском, т. е. в зоне преимущественных польских языковых влияний и, по-видимому, заимствовано непосредственно из польского языка. Дальнейшие этимологические связи обсуждались неоднократно. Гипотеза об исконности славянских слов менее вероятна, вопреки М. Фасмеру, чем предположение о происхождении лужицких и польских слов из ср.-в.-нем. *sûr* 'квашеная каша из муки', выдвигавшееся, например, Г. Г. Бильфельдтом[52]. Впрочем, впервые эту мысль высказал еще Н. Ф. Сумцов, объяснивший славянские слова как заимствование из нем. *sauer* 'кислый'. Он правильно обращал в связи с этим внимание на рас-

---

[48] *K. Moszyński.* Kultura ludowa Słowian. Cz. I. Kraków, 1929. S. 273; *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 30.

[49] *Н. Ф. Сумцов.* Хлеб в обрядах и песнях. С. 73.

[50] *С. П. Бевзенко.* До характеристики складу лексики українських діалектів. Наукові записки Ужгородського державного університету. Т. XXVI. Діалектологічний збірник. Вип. 2. 1957. С. 168.

[51] *Н. Закревский.* Старосветский бандуриста // Словарь малороссийских идиомов. Кн. 3. М., 1861. С. 326 (в Галиции); *Л. С. Паламарчук.* Словник специфічної лексики говірки с. Мусіївки (Вчорайшенського району, Житомирської області) // Лексикографічний бюлетень. Вип. VI. Київ, 1958. С. 25; *П. В. Шейн.* Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. С. 29; *A. Fischer.* Lud polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1929. С. 80; *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. T. VI. Kraków, 1911. C. 450; *А. Будилович.* Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. С. 54.

[52] *H. H. Bielfeldt.* Die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen. Leipzig 1933. S. 297; цит. по: *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 433.

пространение слова: «В Левобережной Украине, кажется, не знают жура...»[53]. Связь названия преимущественно овсяного кушанья с нем. *sauer* 'кислый' весьма вероятна, ср. например, название другого, первоначально — только овсяного кушанья слав. *kyselь*: *kysьlь*, рус. *кислый*.

Укр. *мамалúга* 'каша из кукурузной, муки'; «в одних местах Малороссии мамалыгой называют хлебную похлебку, в других хлебные лепешки»[54]; польск. *mamałyga* 'болтушка из кукурузной муки', юж.-в.-р *мумулыга*, *момолыга* 'каша из ржаной муки'[55]. Слово представляет собой сравнительно новое широко распространившееся заимствование из румынского языка[56].

Юж.-в.-р *пóл'иwка* 'каша из муки'[57] в словообразовательном и семантическом отношении очень близко польск. *polewka* 'суп, похлебка'.

Довольно старым словом неясного происхождения является рус. *соломата* 'вареное тесто с конопляным соком или квасом', *саломáто* 'каша из крупы с салом', укр. *соломаха* 'гречишное тесто, запущенное в соленый кипяток, с маслом', диалектно также *чаламáха* 'густая болтушка, неудавшаяся, густая еда', экспрессивное изменение звуков с экспрессивным значением; польск. *salamacha* 'жидкая каша, мамалыга, мучная болтушка'[58]. Еще в первой половине XVII в. французский путешественник Гильом Боплан упоминает и описывает употребляемую запорожскими казаками саламату 'тесто, раз-

---

[53] *Н. Ф. Сумцов.* Культурные переживания. Киев, 1890. С. 117 и след.

[54] *М. М. Левченко.* Несколько данных о жилище и пище южноруссов // Записки Юго-Западного Отдела Географического Общества. Т. 2. 1874. С. 146; *П. П. Чубинский.* Малоруссы юго-западного края. С. 442—443; *К. М.* Путевые очерки Подолии // Киевская Старина. 1884. № 7, июль. С. 387; *Н. Ф. Сумцов.* Указ. соч. С. 117.

[55] *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. T. III. Kraków, 1903. С. 108; Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

[56] *G. Weigand.* Die Terminologie des Maises im Bulgarischen, Rumänischen und Kleinrussischen // 17. und 18. Jahresbericht des Instituts für rumänische Sprache. Leipzig, 1911. S. 372 и след.; *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 93.

[57] Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

[58] Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 20. С. 131 (рязанск.); Энциклопедия русской опытной городской и сельской хозяйки, ключницы, экономки, поварихи, кухарки, скотницы и птичницы *Бориса Волжина.* Ч. I. СПб., 1842. С. 396, 401 (Кушанья для служителей); *П. Малыхин.* Быт крестьян Воронежской губернии Нижнедевицкого уезда // Этнографический сборник. Вып. 1. СПб., 1853. С. 211; *Машкин.* Быт крестьян Курской губернии Обоянского уезда // Этнографический сборник. Вып. V. СПб., 1862. С. 13 и след.; *А. И. Федоров.* О происхождении словарного состава беломорских говоров (Автореф. канд. дисс.). Л., 1952. С. 13; *Н. Маркевич.* Указ. соч. С. 161; *О. С. Мельничук.* Словник специфічної лексики говірки села Писарівки (Кодимського района, Одеської обл.). С. 97; *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. T. V. Kraków, 1907. S. 99; *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 571.

веденное на воде, перемешанное затем с вареным просом' [59]. Ср. также русскую пословицу, записанную в XVII в.: *Бродитъ саламаха и без рубахи* [60].

В гуцульских говорах украинского языка отмечено название кушанья *juchwarka* 'вареный картофель с сыром и кусочками теста из белой муки' [61].

Многим закарпатским диалектам украинского языка известно также название *тока́н* 'кушанье, приготовленное из кукурузной муки, похожее на мамалыгу' < рум. *tocánă* [62].

Рус. *кулага* (тульск.) 'вареное тесто', (ворон.) 'сырое соложёное и пареное тесто', (калининск.) 'кисло-сладкая масса из квашеного пареного теста', ср. также диал. блр. (витебск.) *кулага* [63]. Это слово употребляется главным образом на территории русского языка, хотя является относительно старым образованием, судя по наличию в древнерусских памятниках XVI—XVII вв. собственного имени *Кулага* [64]. Этимология слова *кулага* признается неясной. Э. Бернекер сравнивал *кулага* и *кулеш* [65], правда, в проверенных нами этнографических источниках название кушанья *кулага* в украинских диалектах не указывается, и словообразовательная связь *кулага* : *кулеш* могла оказаться реальной скорее всего на русской языковой почве, где представлены широко оба названия. На связь обеих форм, возможно, указывает встречающийся в южновеликорусских диалектах вариант *кул'ага* (*кyl'aγa*, *кул'аγа*) [66], который может быть объяснен как производное от *кулеш*, *кулиш* (где *-еш*, *-иш* вторично осмыслено как суффикс), образованное с помощью суффикса субъективной оценки *-ага* (*-яга*) [67].

---

[59] *Г. Боплан.* Описание Украйны. СПб., 1832. С. 63.

[60] *П. Симони.* Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII—XIX столетий. Вып. 1. С. 83.

[61] *W. Szuchiewicz.* Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. S. 164 и след.

[62] *С. П. Бевзенко.* До характеристики складу лексики українських діалектів. С. 168.

[63] Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 20. М., 1820. Тр. 121; *П. Малыхин.* Быт крестьян Воронежской губернии Нижнедевицкого уезда. С. 211; *М. Н. Макаров.* Опыт русского простонародного словотолковника. С. 133; *В. А. Флоровская.* Лексика говоров Старицкого района Калининской области / Канд. дисс. (Рукопись). Калинин, 1955. С. 220; *Н. Ф. Сумцов.* Хлеб в обрядах и песнях. С. 82.

[64] *Н. М. Тупиков.* Словарь древнерусских личных собственных имен // Записки Отделения русской и славянской археологии Русского археологического общества. Т. VI. СПб., 1903. С. 271.

[65] Ср. также *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 687.

[66] Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

[67] О суффиксе субъективной оценки *-ага* см. специально: *A. Belić* // AfslPh, Bd. XXIII. S. 202—203; *A. Belić.* Природа и происхождение существительных субъективной оценки // Јужнословенски Филолог. Књ. XXII. 1958. С. 134.

Преимущественно русское *тюря* 'черный хлеб, накрошенный в холодную воду, с солью, иногда с луком', ср. также блр. *цюря*, и преимущественно украинское *тетеря* 'гречневое тесто, вареное с пшеном, солью, также — из сушеного хлеба, кваса и лука' целесообразно рассмотреть ниже, в связи с проблемой межъязыковых влияний, для которой названия каш дают нередко очень интересный материал.

Западноукраинским диалектам известно название *чир* 'pulmentum' [68].

В гуцульских говорах распространено название скоромного кашеобразного кушанья *banusz* 'сметана с кукурузной мукой' [69].

Названием мучной каши является польск. *pecak*, *pęcak*, возможно, связанное этимологически с польск. *pecka* 'зернышко, косточка', ср. также укр. *почка* 'косточка', рус. *почка* < **pъtja*; форма *pęcak*, наверное, содержит вторичную назализацию, примеров которой немало в польском языке.

В гуцульских говорах украинского языка отмечено слово *логаза* 'вареная ячменная каша с маслом, сахаром или медом' [70].

Как и следовало ожидать, большое количество названий кашеобразных кушаний из муки оказывается образованным от основы *var-*, ср. рус. *варить*, и ее апофонических разновидностей. Сюда относятся серб. *вара*, *варица*, соотнесенное, видимо, по народной этимологии с именем св. Варвары [71]; польск. *rozwarka*, *nawarka*, ср. рус. диал. (вышневолоцк.) *разварка* 'кашица', (вологодск.) *завара* 'каша, круто сваренная из крупно смолотой ржи', (рязанск.) *завара* 'жидкая каша, саламата'; блр. *варгеня*; юж.-в.-р *веренина* [72] (отсутствующее в этимологическом словаре М. Фасмера); наконец, рус. диал. (беломорск.) *пустовóра* 'каша из ячменной муки' [73], по всей вероятности, сложение *пусто-вора* (: *варить*), где *вора* < *вара*, ср. вокализм 3-е л. ед. ч. диал. *вóрит* 'варит', т. е. 'пустая, постная похлебка'.

---

[68] *А. Будилович.* Первобытные славяне… С. 54.

[69] *W. Szuchiewicz.* Huculszczyzna. Т. 1—2. Lwów, 1902. С. 164 и след.

[70] Там же.

[71] *В. С. Караџић.* Живот и обичаjи народа српскога. У Бечу, 1867. С. 1; *Н. Ф. Сумцов.* Культурные переживания. С. 42.

[72] *Н. Ф. Сумцов.* Культурные переживания. С. 114 и след.; *В. П. Строгова.* Лексика говоров по течению реки Мсты (Бологовский и Удомельский районы Калининской области). С. 208; *М. Н. Макаров.* Опыт русского простонародного словотолковника. С. 87; Атлас русских народных говоров юго-западных областей. Интересно отметить, что значение *заварýха* 'сумятица, давка, драка' закономерно развилось из значения 'каша', сохраняемого в диал. *завара*, *заварушка* (юж.-в.-р.), ср. *каша* в значении 'свалка, побоище' (заварить кáшу), *бузá* в значении 'скандал, потасовка'.

[73] *А. И. Федоров.* О происхождении словарного состава беломорских говоров. Л., 1952. С. 165.

Запорожские казаки употребляли в пищу кушанье из квашеной, жидкой, вареной ржаной муки с рыбой, называвшееся *щерба*[74], ср. полаб. *srabóněk* 'похлебка из овсяной крупы' < **srьbanikъ*[75]. Эти слова продолжают распространенную основу слав. **sr̥b-*, **ščr̥b-*, звукоподражательную по своему происхождению и используемую поэтому для обозначения похлебок, того, что хлебается, всасывается (польск. *sarbać*), ср. лит. *sriubà* 'суп, похлебка'.

Польские этнографы приводят описание народного кашеобразного кушанья из вареных свежих яблок и груш, заправленных мукой, — *galas*[76].

Польск. *siemieniec* (: *siemię* 'семя') представляет собой жидкую мучную похлебку, известную в окрестностях Кракова[77].

Зап.-укр. (гуцульск.) *дз'ама* 'картофельный, фасолевый, бобовый отвар, в который крошится *малай* 'кукурузная лепешка', хлеб или кулиш', 'мясной отвар, бульон, уха из свежей рыбы', слово, заимствованное из рум. *zeama*[78], с поздним украинским фонетическим развитием *з* > *дз*, ср. *ж* > *дж* в *джур*, *жур*, о котором — выше.

В. Шухевич отметил диал. гуцульск. *rosiwnycia* 'квашеная капуста, вареная в рассоле и воде, с рисом, кукурузной крупой и тертым маком'[79]. Тот же автор записал в упомянутых говорах названия: *łyzanka* 'пресное молоко, кипяченое с белой мукой и солью', *hółubci* 'кукурузная крупа, вареная в капустных листьях'[80], ср. наши *голубцы*, польск. *gołąbki*.

В словотолковнике М. Н. Макарова находим рус. диал. (тульск.) *ерлы* 'род каши, постное кушанье из протертого пшена, изюму и пр.'[81].

М. Н. Макаров отмечает далее рус. диал. (рязанск.) *моня* 'гречневая каша, перемешанная с бараньею головою и изготовленная в ее перепонке'[82]. М. Фасмер дает только *мóня*, *мóнька* 'молоко' (Курск, Херсон), образованное в детской речи от *молоко*[83].

Рус. *пýтря*, *пýтра* 'род толокна', укр. *пýтря* 'ячменная каша, кутья с ржаным солодом, пареная', польск. диал. *putra* 'кашеобразная похлебка, сваренная из ржаной или ячменной муки' относится к числу тех названий каш,

---

[74] *Н. Закревский.* Старосветский бандуриста. С. 596.

[75] *B. Szydłowska-Ceglowa.* Указ. соч. С. 420—421.

[76] *A. Fischer.* Lud polski. Lwów; Warszawa; Kraków, 1926. S. 73.

[77] *A. Fischer.* Указ. соч. S. 79—80.

[78] W. Szuchiewicz. Huculszczyzna. T. 1—2. Lwów, 1902. S. 164 и след.; *С. П. Бевзенко.* До характеристики складу лексики українських діалектів. С. 168.

[79] *W. Szuchiewicz.* Там же.

[80] *W. Szuchiewicz.* Там же.

[81] *М. Н. Макаров.* Опыт русского простонародного словотолковника. С. 78.

[82] *М. Н. Макаров.* Указ. соч. С. 162.

[83] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 155.

которые представляют значительную ценность при решении вопросов межъязыковых влияний и вместе с этими названиями будет специально упомянуто ниже.

Поскольку мучные похлебки при достаточной степени густоты являются, собственно говоря, различными видами съедобного теста, неудивительно широко известное русским народным говорам употребление слова *тесто* в значении 'каша из муки', ср. сев.-великорус. *тесто* 'густой раствор из овсяной муки' [84], 'распаренный солод в виде теста', юж.-в.-р *т'е́ста* 'каша из муки' [85].

Южновеликорусская терминология каш знает название *мыльцы́* 'каша из муки' [86].

Особого упоминания заслуживает юж.-в.-р (тульск.) *абилиха* 'соломата' [87], собственно, *обилиха* в южновеликорусской огласовке. М. Фасмер в своем словаре не приводит ни *обилиха*, ни *абилиха*. У него имеется только статья *обилие* 'Überfluß' со следующими сравнениями: др.-рус. *обилье* 'Getreide', чеш. *obilí* 'Getreide', словац. *obilie* то же [88]. Рус. диал. *абилиха*, вероятно, восходит к слову *обилье* в значении 'обмолоченное зерно', потому что *абилиха* — каша из муки, т. е. обмолоченных и перемолотых зерен. Значение 'обмолоченное зерно', таким образом, реально для слав. *obilьje* не только на чехословацкой языковой территории, но может быть реконструировано и на русской. Об этимологической первичности именно этого значения у слав. *obilьje* : *biti* 'бить, молотить' мне уже приходилось писать в другом месте [89].

Юж.-в.-р *сыроежа* 'каша из муки' [90] и словен. диал. (резьянск.) *jit* 'polenta' произведены от основы слав. *jěd-*, рус. *еда* [91].

Только русским является слово *луда* 'саламата, завара', известное мне по записям двух разных авторов, причем оба раза указывается на употребление этого слова в бывшем Касимовском уезде Рязанской губернии [92]. Характерное

---

[84] Песни, собранные *П. Н. Рыбниковым.* 2-е изд / Под ред. А. Е. Грузинского. Т. 3. М., 1910. С. 378 (Словарь).

[85] *В. П. Строгова.* Лексика говоров по течению реки Мсты. С. 209.

[86] Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

[87] *А. Руднев.* Село Голунь и Новомихайловское Тульской губернии, Новосильского уезда // Этнографический сборник. Вып. II. СПб., 1854. С. 100.

[88] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 239—240.

[89] *О. Н. Трубачев.* Славянские этимологии 8—9 // Езиковедски изследвания в чест на акад. С. Младенов. София, 1957. С. 337—338.

[90] Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

[91] См. *А. Будилович.* Первобытные славяне... С. 54.

[92] Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 20. С. 134; *М. Н. Макаров.* Опыт русского простонародного словотолковника. С. 147.

географическое распространение этого слова — на части территории одного языка — позволяет поставить вопрос о заимствовании. М. Фасмер не знает слова *луда* 'завара, саламата'. В его словаре приводится несколько слов, омонимичных с нашим словом, но из них лишь одно имеет прямое отношение к *луда* 'саламата'. Это *лу́да* III 'илистая, холодная глиняная почва', которое М. Фасмер сопоставляет с зырянск. (коми) *l'ut* 'тина, ил' [93]. Упомянутое выше диал. *луда* 'саламата, завара' есть не что иное, как семантическое развитие этого очевидного заимствования. Связь значений 'болото, грязь, тина' и 'каша' подтверждается надежными примерами вроде лит. *tỹrė* 'каша' : *týruliai* 'болотные пространства' и является таким же достоверным фактом, как связь значений 'каша' и 'сумятица, скандал, драка', о которой уже говорилось, ср. *завара*, *заварушка* 'каша': *заваруха* 'сумятица, паника, свалка'.

Рус. диал. *дежень* (вологодск.) 'с толокном или с мукою наболтанное молоко', *дежня* (беломорск., арханг.) 'толокно с сывороткой и сметаной', пермск. *дежень* 'толокно, замешанное на воде или кислом молоке' [94], не учтенное М. Фасмером, представляет собой производное от рус. *дежа*, праслав. **děža* 'квашня, посудина для замешивания теста', слова индоевропейского происхождения, ср. др.-инд. *dḗhati* 'обмазывает', готск. *daigs* 'тесто', нем. *Teig* то же [95]. Значения родственных слов указывают, что рефлексы праслав. **děža* в большинстве славянских языков имеют непервоначальное значение 'посудина, в которой замешивают тесто'. В то же время производная форма *дежень*, *дежня*, известная мне только из русского языка, сохранила значение, которое можно считать более древним: 'тестообразное, кашеобразное кушанье'. Эта важная форма, не отраженная до сего времени в этимологических словарях, является вместе с тем указанием, что слав. **děža* обозначало вначале тесто или тестообразное кушанье, ср. готск. *daigs* 'тесто'. Переход значения слав. **děža* 'тесто' > 'сосуд для замешивания теста' был осуществлен позднее. Отношения рус. *дежа*: *дежень* свидетельствуют, что древнее значение основной формы во многих случаях сохраняется производной формой, морфологически вторичной.

Типично русскими названиями каш из муки, неизвестными уже украинскому языку, являются названия, образованные от основы *сып-* (*сыпать*), собственно от ее варианта с вокализмом в ступени редукции *съп-*: юж.-в.-р *по́спа* 'каша из муки' [96], ср. диал. *по́спа* 'мука, применяемая при побелке

---

[93] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 65—66.

[94] *М. Н. Макаров.* Опыт русского простонародного словотолковника. М., 1847. С. 69; *Н. Ф. Сумцов.* Хлеб в обрядах и песнях. С. 86; *А. И. Федоров.* О происхождении словарного состава беломорских говоров. С. 39—40 (Приложение).

[95] См. *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. S. 336.

[96] Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

стен', а также выражение *посопный хлеб* 'хлеб, собранный зерном' в воронежских грамотах XVII в.[97]; более северной по распространению является другая форма от той же основы *съп-* — сев.-великорус. (костромск.) *заспинка* 'постная кашица', ср. вологодск. *заспа* 'овсяная крупа', беломорск. *зáспа* 'ячменная крупа', др.-рус. *заспа, заспица* 'крупа', причем и древнерусское слово тоже представлено главным образом в северных памятниках[98].

К общей основе праслав. **syt-* / **sъt-*, ср. рус. *сыт*, восходят сев.-великорус. *штейница* (Выгозеро, Карельский остров) 'кашка из житной муки, молока и воды'[99], рус. *щи*, диал. и стар. *шти*, объяснявшееся еще А. И. Соболевским из *съти*, ед. ч. *сътъ*, наконец, польск. диал. *syto* 'лемешка, мучная похлебка'[100]. Значение *щи* 'похлебка из рубленой капусты' является более поздним, первоначальное значение слова 'крупяная похлебка без капусты' до сих пор живет в говорах[101]. Сохранилось первоначальное значение и в упомянутом диал. *штейница*, производном от *шти*.

Рус. диал. *драчóна* — запеканка, приготовляемая различными способами: (оренбургск.) 'каша, сваренная из сечки; варится густой и после того как застынет, режется на куски', 'кушанье из размоченного пшеничного хлеба, смешанного с маслом, куриными яйцами и запеченного в печи'[102]; (калининск.) 'запеканка на сковороде из толченого картофеля'[103].

Юж.-в.-р *калúна* 'мучная каша', названная так потому, что в кашу для кислости добавляют калину[104].

Блр. *рули* 'тюря, хлеб, крошеный в воде с солью'[105] неясного происхождения.

В. П. Строгова отмечает в говорах Калининской области название *мурцовка* 'кушанье из воды, хлеба, лука и соли'[106].

---

[97] *Н. К. Соколова.* Обиходно-бытовая лексика в языке воронежских грамот XVII в. С. 81.

[98] Труды Общества любителей российской словесности при Московском университете. Ч. 20. *М. Н. Макаров.* Опыт... С. 90; *А. И. Федоров.* О происхождении словарного состава беломорских говоров. С. 60 (Приложение); *М. А. Соколова.* Очерки по языку деловых памятников XVI века. С. 368, 453—454.

[99] См. *М. М. Пришвин.* Собр. соч. Т. II: Путешествия. В краю непуганых птиц. Очерки Выговского края. М., 1956. С. 49.

[100] *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. T. V. Kraków, 1907. S. 278.

[101] Ср. *П. Я. Черных.* Очерк русской исторической лексикологии. Древнерусский период. М., 1956. С. 69.

[102] *Б. А. Моисеев.* Словарный состав говора села Саратовки Соль-Илецкого района Чкаловской области / Канд. дисс. (Рукопись). М., 1955. С. 332.

[103] *В. П. Строгова.* Лексика говоров по течению реки Мсты. С. 209.

[104] Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

[105] Цит. по: *А. Будилович.* Указ. соч. С. 54.

24. Заказ № 2261.

Польск. *zacierka*, укр. *затірка* 'вареные шарики из крутого теста с салом, маслом' [107], рус. диал. *зáтирка*, *затирýха* 'каша из пшеничной муки, немного замешанной с водой и подсушенной в виде небольших кусочков' [108], также *прúтирка* 'каша из муки' (юж.-в.-р) и др.-рус. *каша тертая* [109] — названия, образованные от основы рус. *тереть* и родственных, в соответствии с основным способом приготовления самих кушаний.

В одной этнографической работе прошлого века отмечается рус. диал. (тульск.) *крутень* 'крутая каша' [110].

Вполне естественно, что приготовление каш, похлебок из муки накладывало отпечаток на их терминологию, ср. такие названия как юж.-в.-р *мукóвня* [111], сев.-великорус. *мучница* [112] < *мукá*, ср. далее полаб. *mŏkə* 'густая мучная похлебка', также *vor'enə mŏkə* 'вареная мука' [113].

Прозрачными местными образованиями являются названия кушанья, которое до недавнего времени было, как говорят этнографы, национальным белорусским блюдом: *калатýха*, *калатýша*, *баўтýха* 'похлебка из муки с маслом', 'кулеш', 'жидкая кашица, похлебка из всякой муки, с солью, маслом, жиром' [114].

Юж.-в.-р *солодýха* 'каша из муки, с добавлением солода, из соложеного теста', блр. *солодуха* 'похлебка из ржаной муки', рус. диал. (калининск.) *солодáнка* 'жидкая похлебка из солода' [115] образованы от *солод*, ср. еще словац. *slad* 'polenta, far' [116].

---

[106] *В. П. Строгова.* Цит. дисс. С. 209.

[107] *П. П. Чубинский.* Малороссы юго-западного края. С. 440.

[108] *Б. А. Моисеев.* Цит. дисс. С. 328.

[109] Атлас русских народных говоров юго-западных областей; *М. А. Соколова.* Очерки по языку деловых памятников XVI века. С. 452—453.

[110] *А. Руднев.* Село Голунь и Новомихайловское Тульской губернии, Новосильского уезда. Этнографический сборник. Вып. II. СПб., 1854. С. 100.

[111] Атлас русских народных говоров юго-западных областей.

[112] *М. М. Пришвин.* Собр. соч. Т. II: Путешествия. За волшебным колобком. М., 1956. С. 215.

[113] *B. Szydłowska-Ceglowa.* Zdobywanie i przygotowywanie żywnosci u Połabian. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. T. II. Warszawa, 1957. S. 427; *B. Szydłowska-Ceglowa.* Semantyczna analiza połabskiego zasobu leksykalnego // Z polskich studiów slawistycznych. Warszawa, 1958. S. 204.

[114] *Н. Ф. Сумцов.* Культурные переживания. С. 114 и след.; *П. В. Шейн.* Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. С. 18; *И. А. Сербов.* Белоруссы-сакуны. Сб. ОРЯС. Т. XCIV, № 1. Пг., 1916. С. 38; *D. Zelenin.* Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 118.

[115] Атлас русских народных говоров юго-западных областей; *П. В. Шейн.* Материалы для изучения быта и языка русского населения северо-западного края. Т. III. С. 18, 29; *В. П. Строгова.* Лексика говоров по течению реки Мсты. М., 1955. С. 209.

[116] См. *А. Будилович.* Первобытные славяне... С. 54.

Блр. *тцюпки* 'обыкновенная тюря, т. е. накрошенный в воду хлеб' [117], ср. польск. диал. *cipkały* 'род лапши, нарезанного теста' [118].

Блр. диал. *чекуляда* 'та же тюря на воде, квасу с добавлением постного масла' [119] представляет собой совсем новое заимствование из польск. *czekolada* 'шоколад' и одновременно с этим является примером 'модного' нововведения в терминологии каш.

Рус., укр. *кваша* 'ржаная, гречневая мука с солодом, разводится полукипяченой водой, солодеет, затем варится' [120], ср. др.-рус. *квашенина* [121], а также интересное др.-рус. *квашня* 'раствор для теста', 'мука, замешанная для выпечки хлеба' [122], при современном значении рус. *квашня* 'посудина для теста'; *кваша* < *квасить* (об отношении форм *каша* и *кваша* см. выше).

В числе «хлебных» похлебок Н. Ф. Сумцов упоминает укр. *вівсяник* [123] < *овес* (род. ед. *вівса*).

Польск. *barszcz* в ряде диалектов знает значения 'вид похлебки из ржи или овса', 'похлебка из сыворотки с мукой' [124] и тем самым представляет собой оригинальное семантическое развитие, поскольку первоначальным значением слова было (в польском, украинском, русском) 'похлебка из диких трав, преимущественно Heracleum sibiricum L., польск. *barszcz*, рус. *борщóвник*'. Современное значение, например, укр. *борщ* 'похлебка из красной свеклы' — результат долгого развития [125].

Рус. диал. *кач* 'похлебка из толченой осиновой коры с примесью муки или крупы' < коми *kač* 'кора, лыко'.

Местный характер носит сев.-великорус. *повалúха* 'мучная, заварная каша' (Карсовайский район Удмуртской АССР).

Перечень и анализ славянских названий каш можно закончить упоминанием словен. *tarana* 'Mehlgrütze' и словац. *zapara* 'polenta', приводимыми А. Будиловичем в его известной книге [126], в разделе «Яства и пития», в кото-

---

[117] *П. В. Шейн.* Указ. соч. С. 30.

[118] *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. T. I. Kraków, 1900. S. 239.

[119] *П. В. Шейн.* Там же.

[120] *Н. Ф. Сумцов.* Культурные переживания. С. 114.

[121] См. *П. Симони.* Старинные сборники русских пословиц, поговорок, загадок и проч. XVII— XIX столетий. Вып. 1. С. 119.

[122] *М. А. Соколова.* Очерки по языку деловых памятников XVI века. С. 450; *В. Н. Прохорова.* Бытовая лексика в языке московских памятников второй половины XVII в. / Канд. дисс. М., 1953. С. 158.

[123] *Н. Сумцов.* Культурные переживания. С. 114 и след.

[124] *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. T. I. Kraków, 1900. C. 52.

[125] *D. Zelenin.* Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 117.

[126] Первобытные славяне в их языке, быте и понятиях по данным лексикальным. Ч. II. Вып. 1. Киев, 1882. С. 54.

ром он объединяет весьма богатый материал, представляющий значительную ценность для настоящего исследования.

В ходе ознакомления со славянскими названиями каш и — по возможности — с их историей и происхождением (этимологией) выяснялись взаимоотношения между отдельными языками в этой группе лексики. Так, не оставляет никакого сомнения гораздо большее развитие и лучшая сохранность терминологии каш именно в северных славянских языках — русском, белорусском, украинском, из западных — в польском. Пожалуй, более всего развита эта терминология у восточных славян, хотя и здесь нет единообразия, некоторые названия, типичные для русского, как, например, *толокно*, *кулага*, в сущности отсутствуют в украинском и т. д., о чем говорит и Д. Зеленин в своей «Восточно-славянской этнографии». Именно восточнославянская терминология каш таит в себе, как нам кажется, возможность постановки новых вопросов межъязыковых взаимоотношений Восточной Европы. Ниже предлагается — в заключение — попытка показать эту возможность, а также использовать нашу терминологию как новый материал по отдельным старым проблемам межъязыковых влияний.

Терминология каш проливает новый свет, как мне кажется, на литовско-восточнославянские языковые отношения, а именно — показывает их интенсивность и активность воздействия литовского языка. Эти особенности названных отношений выражаются в том, что несколько важных названий в одной узко ограниченной группе лексики восточнославянских языков — терминологии каш — заимствованы из литовского языка. Это названия каш *путря*, *плескана*, *тюря*. Выше они упоминались бегло, здесь интересно рассмотреть подробно каждое в отдельности.

Рус. диал., блр. *пу́тря*, *пу́тра*, укр. *пу́тря* 'каша из очищенного ячменя', 'ячменная кутья, обсыпанная солодом', польск. диал. *putra* 'похлебка из вареной ржаной или ячменной муки' [127]. Это название (кушанье) чрезвычайно характерно для украинского народного быта и кухни. Из русских диалектов его знают либо те, что непосредственно граничат с украинским языком, ср. форма ворон. *пу́тря*, тождественная украинскому слову во всех деталях, либо те диалекты, которые примыкают к белорусской языковой территории. И там и тут это пришлое в русском языке, ср. смолен. *пу́тра* с его твердым *р*, выдающим белорусское происхождение. Белорусским, собственно, является и

[127] *Н. Арандаренко.* Записки о Полтавской губернии. Ч. II. С. 266; *Г. П. Данилевский.* Нравы и обычаи украинских чумаков. С. 132; *Н. Маркович.* Обычаи, поверья, кухня и напитки малороссиян. Киев, 1860. С. 157; *П. П. Чубинский.* Малоруссы юго-западного края. С. 440; *В. Щ.* Пища и питье крестьян-малороссов, с некоторыми относящимися сюда обычаями, поверьями и приметами. С. 294; *J. Karłowicz.* Słownik gwar polskich. T. IV. Kraków, 1906. S. 456.

«польское» диал. *putra*, сообщенное Я. Карловичу из Жмуди. Таким образом, из восточнославянских языков это слово раньше появилось в белорусском и украинском. Источник этого слова выяснен давно: укр. *пýтря*, блр. *пýтра* заимствовано из лит. *putrà* 'каша' (ср. лтш. *putra*), ср. еще лит. *pùtelis* 'овсяная болтушка, забеленная молоком', которое свидетельствует об исконно литовском характере слова *putrà* < *pũt-* 'каша, грязь, ил' < *pu-* + детерминатив *-t-* [128]. Если балтийская этимология слова *пýтря* является общепризнанной, то этого нельзя сказать о двух других словах того же происхождения.

Плескáна 'куски гречишной лемішки, обсыпанные истолченным конопляным семенем и изжаренные', также *плескавка* 'конопляное семя с гречневыми лепешками' [129] является словом исключительно украинским. «Русский этимологический словарь» М. Фасмера не дает слова *плескана*, хотя вообще его автор не строг в разграничении русской и украинской лексики и помещает много украинских слов. Укр. *плескана*, название кашеобразного кушанья, сдобренного конопляным семенем, можно объяснить как заимствование из лит. *pleiskãnė* 'конопля с мужскими цветами, без семян'. Вопрос с названиями конопли в славянских языках довольно сложен, имеется ряд терминов, в большинстве своем — неясного происхождения, среди них — очень старые образования, повторяющиеся в близкой форме в других индоевропейских языках, а также за их пределами, например рус. *конопля* и его славянские соответствия, рус. *пóсконь*, укр. *пóскінь*, *плóскінь* 'мужская конопля' и родственные [130], рус. *замашка*, *замашки* 'мужская конопля'. Укр. *плескáна* в указанном значении имеет несомненную связь с названиями конопли, но его форма на позволяет говорить о родстве с укр. *плоскінь*, *поскінь* и т. д. Другие, более близкие названия конопли в славянских языках отсутствуют; форма *плёски*, указываемая Н. Анненковым [131], ошибочна, поскольку единственный его источник, Гюльденштедт, упоминает только «die männlichen Hanf-Pflanzen... die man *Ploski* (Плоски) nennet...» [132]. Укр. *плескáна*, несомненно,

---

[128] *К. К. Буга.* Балтийские (айстийские) этимологии // РФВ. Т. LXVI, № 3—4. Варшава, 1911. С. 245; *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. II. S. 469.

[129] *Б. Д. Гринченко.* Словарь украинского языка. Т. III. Киев, 1909. С. 194; *В. Щ.* Там же. С. 294; *В. Милорадович.* Житье-бытье лубенского крестьянина. С. 405.

[130] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. 1. S. 165; Bd. II, S. 414. Важной статьи И. М. Коржинка М. Фасмер не использовал (см. *J. M. Kořínek.* Odkud je slovanské *poskonь* 'cannabis mas' // Sborník věnovaný Josefu Jankovi. Praha, 1938. S. 136—143).

[131] *Н. Анненков.* Простонародные названия русских растений. М., 1858. С. 27. В своем Ботаническом словаре (М., 1859) под Cannabis sativa L. Н. Анненков уже не приводит слова *плёски*.

[132] *D. J. A. Güldenstädt.* Reisen durch Rußland und im Caucasischen Gebürge / Hrsg. von P. S. Pallas. 2. Teil. SPb., 1791. S. 206 (запись 4 августа 1774 г., речь идет о левобережной Украине).

связана с лит. *pleiskãnė* 'мужская конопля', но фонетическая форма позволяет здесь говорить не о сепаратном родстве, но лишь о заимствовании. Заимствование укр. *плескана* < лит. *pleiskãnė* должно было произойти довольно поздно, ср. субституцию укр. *е* < лит. *ei* (дифтонг), а также отсутствие слова в других восточнославянских языках. Отсутствие его даже в белорусском удивительно, и оно весьма усложняет объяснение путей заимствования, если это не кажущееся отсутствие, объясняемое нашим недостаточным знанием белорусской диалектной лексики.

Повсеместно распространенное рус. *тю́ря* 'хлеб, крошеный в воду, квас', диалектно (вятск.) — 'болтушка, сваренная из муки' [133], ср. также блр. *цю́ря*, напротив, как будто совершенно неизвестно украинскому языку [134]. Слово *тюря* до сих пор не имеет надежной этимологии. Во всяком случае прежние объяснения, перечисляемые одно за другим М. Фасмером, — от *тереть* или к греч. τυρός 'сыр', др.-инд. *tūras*, авест. *tūiri-* 'скисшее молоко' — маловероятны и не могут удовлетворить самого автора [135]. Последняя этимология не выдерживает критики в семантическом отношении. Кроме того, неудача этого толкования заключается в слишком прямолинейном понимании развития корневого гласного в слове *тюря*. Рус. *тюря* можно гораздо проще и правдоподобнее объяснить, предположив и на этот раз относительно новое заимствование, сопровождаемое фонетической субституцией, а именно *тюря* < лит. *tỹrė* 'каша'. Слово *tỹrė* является исконно литовским, родственным *týras* 'чистый', например *týras vandũ* 'чистая вода'. Таким образом, лит. *tỹrė* — 'жидкая кашица', рус. *тю́ря* тоже жидкое кушанье на воде или на квасу.

Констатируемое выше на новом фактическом материале влияние литовского языка имело преимущественно юго-восточное направление. Это подтверждает большинство слов, близких семантически (*путря*, *плескана*). Подтверждают это также совершенно неожиданным образом данные профессиональных языков. В языке ремесленников-шаповалов местечка Новый Ропск Новозыбковского уезда бывшей Черниговской губернии есть слово *свисло* 'масло', 'олей (конопляное масло)', которое может быть объяснено как занесенное из литовского языка, ср. лит. *sviestas* 'сливочное масло' (*свисло* — по аналогии *масло*). Как и всякий профессиональный (тайный) жаргон Восточной Европы, шаповальский язык Нового Ропска имеет массу самых разных

133 Сообщено мне устно уроженкой вятских краев.

134 Трудно сказать, какая связь существует между рус. *тю́ря* и укр. *тетеря* 'гречневое тесто с вареным пшеном, солью, маслом', также 'кушанье из сушеного хлеба, кваса и лука'.

135 *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. 21. Lief. Heidelberg, 1956. S. 165.

заимствований: греческие (*впу́лить* 'купить', *га́ласть* 'соль'), волжско-финские (*дуля́сным* 'огонь'), венгерские (*хаз* 'двор, дом')[136].

Греческие, цыганские, еврейские, финские лексические элементы являются — в том или ином сочетании — общим достоянием подобных жаргонов Восточной Европы, и их присутствие в данном жаргоне не может удивлять. Но литовские заимствования до сих пор в таких профессиональных языках не указывались. Поэтому литовское слово в шаповальском жаргоне северноукраинского местечка — факт достаточно знаменательный, особенно в связи с выявленными литовскими заимствованиями именно в украинском языке: *путря*, *плескана*.

Одно русское название каши, которое еще не приходилось упоминать выше, представляет дополнительную иллюстрацию древнебулгарско-русских языковых связей. Это *юра́жная каша*, от *юра́га* 'избоины, сыворотка, пахтанье, сколотины, остатки от сбитого молока', 'подонки масла'[137]. Слово *юрага* широко распространено в южно-великорусских диалектах — на юге, на западе и на востоке территории наречия. М. Фасмер ничего не может сообщить об этимологии этого слова: «Unklar»[138]. Рус. *юра́га* получает достоверное объяснение как заимствование из др.-булг. (др.-чув.) **yraγ* 'сыворотка, пахтанье'. Древнебулгарское слово не засвидетельствовано и реконструируется на основе сравнения фактов остальных тюркских языков и учета характерных особенностей их булгарской (чувашской) ветви. Реконструкция этого слова представляется важной, например, для венгерской этимологии, так как венг. *író* 'пахтанье, сыворотка' может быть объяснено только как заимствование из др.-булг. **yraγ*[139]. Прямой потомок древнебулгарского языка — современный чувашский язык — не сохранил этого слова: его не знает исчерпывающий «Словарь чувашского языка» Н. И. Ашмарина. Поэтому рус. диал. *юра́га* было заимствовано, очевидно, еще в эпоху древнебулгарского языка. Таким образом, диалектное русское слово *юра́га* оказывается лингвистическим фактом

[136] Сведения о языке см.: *Ф. Николайчик.* Отголосок лирницкого языка // Киевская старина. Т. XXIX. 1890, апрель. С. 121 и след.

[137] *К. А. Авдеева.* Записки о старом и новом русском быте. СПб., 1842. С. 75; *В. И. Даль.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. IV. СПб., 1882. С. 668—669; *А. Будилович.* Указ. соч. С. 58; *Б. А. Моисеев.* Словарный состав говора села Саратовки Соль-Илецкого района Чкаловской области / Канд. дисс. М., 1955. С. 333.

[138] *M. Vasmer.* Russisches etymologisches Wörterbuch. 24. Lief. Heidelberg, 1957. S. 471.

[139] *Z. Gombocz.* Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Mémoires de la Société Finno-Ougrienne. XXX. Helsinki, 1912. S. 88; *G. Bárczi.* Magyar szófejtő szótár. Budapest, 1941. 137. old.; *G. Bárczi.* Magyar hangtörténet. Budapest, 1954. 51. old.

большой важности и причем — не только в рамках русского языка: с момента идентификации *юрага* = др.-булг. **yraγ* последнее перестает быть гипотетической формой. Далее, рус. диал. *юрáга* небезынтересно и для этимологии венг. *író* как дополнительный аргумент (см. выше). Наконец, прямое значение слова *юрага* — это новый след древнебулгарско-русских языковых отношений. Эти отношения уже обсуждались в литературе, приводился ряд старых и новых заимствований. Особенно яркое открытие в этой области принадлежит финскому лингвисту Тойвонену, объяснившему рус. *брага* 'хмельной напиток небольшой крепости из солода и муки' как заимствование из чув. *pǝ̄raga*[140].

К числу лексических заимствований древнебулгарского периода в русском языке относится, таким образом, и рус. диал. *юрага*. С фонетико-морфологической точки зрения, в этом слове представлена субституция начального *ы* (*y*) др.-булг. **yraγ*, невозможного в русском слове; окончание *-а* развилось точно так же, как в тюркизмах *ватага*, *лачуга*, *яруга*.

Предыдущее изложение показывает, что исследование славянской терминологии каш как самостоятельной, характерной группы лексики вполне оправдано. Помимо большого специального интереса, который представляет, по крайней мере, часть разобранных названий, некоторые из них составляют ценную аргументацию по важным вопросам языковых отношений.

[140] См. *M. Räsänen*. Neuere Forschungen über altaisch-slavische Berührungen // ZfslPh XX (1950). S. 446 и след.; *M. Vasmer*. Rusisches etymologisches Wörterbuch. I. S. 116.

НЕСКОЛЬКО РУССКИХ ЭТИМОЛОГИЙ

бардадым, будоражить, норка, околоток, харя, худощавый, шушун

Задачи, стоящие перед этимологическим словарем русского языка, чрезвычайно важны и обширны. Это выражается также в их многообразии и той особенной актуальности, которая, надо думать, вообще отличает этимологический словарь каждого отдельного языка. Сказанное справедливо отнести также к русской этимологии как таковой, поскольку, например, на страницах этимологического словаря русского языка должна найти наиболее полное выражение именно русская этимология со всей своей спецификой. Здесь имеются в виду различные заимствования с ограниченным распространением, случаи сохранения изолированных древних слов, обладающих сепаратными этимологическими связями за пределами русского и славянских языков, а также в значительной степени русский аспект славянского этимологического словаря, продолжение истории общеславянских элементов в русском языке.

Четкие рамки русского словаря и вместе с тем русской этимологии помогают составить довольно вероятные суждения о возрасте заимствований, вообще об этимологии слов. С другой стороны, упомянутое ограничение никогда не означает отказа от выхода за пределы словаря русского языка. Напротив, этот выход необходим, и задачи этимологического словаря русского языка ни в коем случае нельзя понимать как словообразовательные по преимуществу. Предлагаемые ниже заметки как раз и посвящены таким специфически русским словам, которые являются объектом русской этимологии и, как правило, остаются за рамками общеславянского или праславянского этимологического словаря, куда могли бы быть включены условно лишь некоторые из них.

Настоящие этимологии являются, главным образом, заметками на полях словаря Фасмера и могут рассматриваться как ряд поправок или новых предложений, касающихся непосредственно этого словаря, с этимологическими и структурными принципами которого я в целом согласен.

Бардадым

Даль приводит это слово в указанной форме с толкованием 'в картежной игре *хлюст* или *три листа*, король черной масти' [1]. Примерно так же характеризует значение слова Фасмер, привлекающий некоторые дополнительные источники: *бардады́м* 'пиковый или трефовый король черной масти' [2]. Он дает этимологию, восходящую еще к Преображенскому [3]: от *борода́*, т. е. **бородо-дым*, причем *-дым*, выделяемое таким образом, остается неясным элементом.

Изучение более или менее изолированных слов обычно целесообразно начинать с их географии, однако своеобразие данного случая заключается в том, что мы имеем дело с термином карточной игры, причем с термином просторечным, даже, по-видимому, арготическим по своему употреблению. Последние, как известно, обладают значительной летучестью, в силу чего территориальные рамки в вопросе их употребления или не установимы, или не показательны. Тем не менее имеет смысл собрать как можно больше указаний относительно мест употребления слова *бардадым*. Даль снабжает это слово пометой «пермск.» (правда, только для его переносного употребления) и приводит как сибирский вариант *барда́шка* 'трефовый, крестовый, желудевый король' (там же). В. И. Чернышев в своей интересной специальной работе «Терминология русских картежников и ее происхождение» [4], упущенной Фасмером, сообщает дополнительные сведения о распространении слова, а именно: *барнадым* 'король', селение Верхо-Тишанка бывш. Воронежской губ., жители которого — выходцы из Московской губернии; *бардадым* (без конкретной локализации) и *брадады́м*, Покровский уезд бывш. Владимирской губ. [5]. Как видно, сведения по географии слова *бардадым* и его вариантов в общем скудны. Можно лишь довольно определенно сказать, что это слово великорусское, неизвестное ни украинскому, ни белорусскому языкам.

---

[1] *В. Даль*. Толковый словарь живого великорусского языка. Т. 1. ГИС. М., 1955. С. 48.

[2] *M. Vasmer*. REW. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 55.

[3] Ср. также *А. Преображенский*. Этимологический словарь русского языка. Т. I. 1910—1914. С. 17.

[4] Сб. Русская речь. Т. II. Л., 1928.

[5] *В. И. Чернышев*. Указ. соч. С. 49 и след.

Этимология Преображенского, в которую верит В. И. Чернышев, с самого начала вправе возбудить недоверие, и она действительно ошибочна, как увидим ниже. В. И. Чернышев использует ее в соответствии со своей предварительной гипотезой о южнославянском происхождении старого, простонародного слоя русской картежной терминологии: «В русском народном языке есть и еще одно карточное слово из той же показательной группы югославянских сочетаний (выше говорится о словах *хлап*, *краля*. — *О. Т.*). В игре в «три листа» король черной масти называется *бардады́м*. Вот это слово произносится иногда *брадады́м*...»[6]. Однако дальнейший анализ терминологии карт приводит автора к интересному заключению: «Мы получили карты и термины карточной игры от чехов»[7]. Действительно, об этом свидетельствует, кроме различных других доводов, приводимых В. И. Чернышевым, тождество чеш. *králka*, *královna* 'дама' и русское народное *краля* 'дама'; чеш. *chlap* 'валет' и русское народное *хлап* — то же. К сожалению, в дальнейшем автор совершенно забывает о вскользь упомянутом в числе мнимых южнославянизмов *бардадыме*. Это несколько невнимательное отношение к слову извиняется, по-видимому, тем обстоятельством, что *бардадым* не находит, во-первых, соответствий в карточной терминологии других стран, в том числе Чехии, а во-вторых, строго говоря, не является общим названием карты. Это король только черной масти. Вполне допустимо предположить, что название с таким значением могло быть позаимствовано в порядке метафорического употребления из совершенно иной словарной сферы. В связи с этим представляется возможным объяснить рус. диал. *бардады́м*, *барнады́м* 'король черной масти' из польск. *bernardyn* 'монах-бернардинец', точнее из ст.-польск. *barnadyn* с тем же значением, ср. также варианты *bernadyn* и *bařnardyn* у Николая Рея (XVI в.)[8].

Бернардинцы — монахи-католики, последователи Бернарда из Клерво, — появляются в Польше и Литве во второй половине XV в., очень скоро покрывают страну сетью своих монастырей и приобретают значительное влияние. Этот монашеский орден был достаточно широко известен, в частности, своим более строгим монастырским уставом[9]. Это и явилось, по-видимому, основа-

---

[6] *В. И. Чернышев*. Указ. соч. С. 49 и след.

[7] Там же. С. 55.

[8] См. об этом слове *S. B. Linde*. Słownik języka polskiego. Wyd. 2. T. I. S. 73; *J. Karłowicz, A. Kryński, Niedźwiedzki*. Słownik języka polskiego. T. I. S. 116; *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. Warszawa, 1957. S. 21.

[9] См. S. Orgelbranda Encyklopedja powszechna. T. II. S. 353; Encyklopedja staropolska ilustrowana. T. I. Warszawa, 1900. S. 146—147; *Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон*. Новый энциклопедический словарь. Т. VI. С. 156; Encyklopedia staropolska / Opracowal A. Brückner. T. I. Warszawa, 1939. S. 87.

нием для шутливого использования, переносного употребления названия бернардинцев, в нашем случае — для обозначения карточного короля черной масти. В. И. Чернышев отмечал некоторое участие Польши в передаче и образовании русских картежных терминов [10].

В фонетическом и в специально лингвистическом доказательстве этимология *бардадым* (*барнадым* < *barnardyn*), кажется, не нуждается. Остается добавить, что это русское слово никогда, вероятно, не отличалось значительным распространением. К сожалению, неизвестна степень его современного употребления. Тем не менее оно оставило определенный след в русском словаре, о чем говорит и существование фамилии *Бардадым*.

После того как настоящая статья была сдана в издательство, автор обнаружил, что такая же этимология слова *бардадым* была предложена в книге А. И. Попова «Из истории лексики языков Восточной Европы» (Л., 1957. С. 50). Однако дополнительная лингвистическая аргументация и сведения по литературе в настоящей статье побудили автора сохранить данный этюд.

Будора́жить

Это ныне общеупотребительное слово русского литературного языка насчитывает лишь одну попытку этимологии [11], принадлежащую А. А. Шахматову, который считал первоначальным вариант *бутара́жить* и анализировал это слово как *бу-тара́жить* — к *буторга́*, ср. *-торга́ть* (*расторга́ть*, *исторга́ть* и др.) [12]. В оценке этимологии Шахматова можно согласиться с Фасмером, который заканчивает словарную статью *будоражить* словом «неясно» [13]. Очевидно, что Шахматов пошел по неверному пути и не сумел выяснить реального происхождения слова. Правда, в данном случае основное затруднение представляет характерное экспрессивное значение слова *будоражить*. Известно немало случаев, когда именно преобладающее современное экспрессивное значение не дает возможности восстановить историю слова и служит вместе с тем поводом для неверных толкований. Ошибочность последних заключается в том, что современная экспрессивность предполагается в них как черта, всегда присущая данному слову. Одним из таких слов является, по-видимому, глагол *будора́жить*.

Собственно, история слова *будора́жить* в русском языке невелика. «Словарь современного русского литературного языка» АН СССР (Т. I. 1949.

[10] *В. И. Чернышев*. Указ. соч. С. 63.

[11] Это неверно: глагол *будоражить* этимологизировался также и нами — см. ВЯ. 1959, № 5. С. 38—39 (*Примеч. ред. к первой публикации*).

[12] ИОРЯС. Т. 7. Кн. 2. 1902. С. 354.

[13] *M. Vasmer*. REW. Bd. I. S. 136.

С. 669) приводит *будоражить* из Державина, *будора́жить* из Словаря 1847 г. и *будора́жить*, *бутора́жить* из словаря Даля. Не представляется прежде всего возможным говорить об эволюции значения на основании известного русского материала. Последнее довольно часто характеризует заимствования. О том, что в рус. *будоражить* мы имеем заимствование, может говорить сравнение его с интересным укр. *бударажити* 'снаряжать челны, будары' [14]. Слово встречается только один раз в тексте думы, которая считается фальсифицированной, но ведь это еще не означает фальсифицированности слова; о противном свидетельствует реальное *будоражить* в современном русском языке, которое представляется возможным объяснить именно из украинского. Совершенно ясно, что в основе глагола *будара́жити* лежит существительное *буда́ра* 'челн, лодка', хотя сам глагол образован не прямо от названия судна, а от своего рода имени деятеля **бударага*, обозначавшего, вероятно, человека, имеющего отношение к бударам. Этих данных достаточно, чтобы понять укр. *будара́жити* как первоначально специальный термин, связанный, по всей вероятности, с бытом запорожских казаков, в походах которых челны имели огромное значение, а их постройка и снаряжение носили характер довольно шумной весенней кампании.

Связь между рус. *будора́жить* и укр. *будара́жити*, по-видимому, не оставляет никаких сомнений, а сопоставление их значений делает вероятным вывод, что русское слово заимствовано из украинского, из семантики которого оно удержало лишь побочный оттенок значения, обобщив его затем как единственное значение слова: 'вносить волнение'. Слово, лишенное в русском своей первоначальной конкретной почвы употребления, приобрело определенную неустойчивость формы, характеризующую экспрессивные элементы словаря, откуда вариант *бутара́жить*.

Таким образом, рус. *будора́жить* представляет собой очевидный украинизм, правда, весьма основательно завуалированный [15]. Отсутствие исторических словарей, к сожалению, и здесь мешает детальнее определить условия и время заимствования.

Но́рка

Этим словом в русском языке обозначается небольшой куницеобразный зверек Mustela lutreola, однако тождественное в сущности название носит и

---

[14] См. *Э. Желеховський*. Малоруско-нiмецький словар. Т. I. С. 47; *Б. Д. Гринченко*. Словарь украинского языка. Т. I. С. 105; *П. Кулиш*. Записки о Южной Руси. Т. I. СПб., 1856. С. 178.

[15] В свете этимологии рус. *будоражить* < *бударажити*, правописание *будоражить* (через *о*) как будто теряет смысл. По нашему мнению, правильнее *бударажить*.

другой куницеобразный зверек, ласка Mustela nivalis, а именно диал. *норóк*. Относительно происхождения этих слов в этимологической литературе утвердилась ошибочная, на мой взгляд, точка зрения, представленная в последнее время Фасмером. Вот полностью статьи из его словаря, посвященные этим словам:

Нóрка —Mustela lutreola, укр. *норúця*, *нірка* то же, сербохорв. *нòрац* — 'нырок', чеш. *nořes* — 'нырок', в.-луж. *nòrc* — 'норка' (отсюда нем. *Nörz*, *Nerz* — 'норка'). От *норá*, рус.-цслав. **ньрѣти** 'нырять', Матценауэр L. F. II, с. 322, Траутман BSL 197, Миклошич EW 212, Томсон SA 4, с. 348. Ср. *норóк*.

Норóк — ласка, Mustela nivalis, от *нóрка*, *норá*. Ср. *язвéц* от *я́зва*, Соболевский РФВ 71, с. 433, Преобр. I, с. 612 и след. [16].

Прежде всего, укр. *нориця* вовсе не «то же», что и рус. *нóрка*, оно значит 'мышь-полевка', что отмечено, кстати, и Преображенским [17]. Далее обращает на себя внимание тот факт, что остальные слова, сравниваемые с *нóрка*, *норóк*, в действительности норку не обозначают, например сербохорв. *нòрац* — 'птица-нырок', чеш. *nořes* то же. Исключение как будто представляет в.-луж. *nórc* 'норка', но оно само заимствовано из нем. *Nörz* 'норка', а не наоборот, как думает Фасмер, тем более что немецкое слово хорошо объясняется как заимствованное из рус. диал. *норица* 'норка' (твер., Даль) через промежуточную ступень нем. **noriz* [18].

Критический пересмотр форм, привлекаемых для сравнения с рус. *норка*, *норок*, привел к загадочной ситуации: выяснилось, что этимологически родственные им названия норки и тем более ласки в других славянских языках отсутствуют. Такой результат проверки позволяет поставить вопрос о заимствовании. На первых порах это кажется как будто излишним; так думают, по-видимому, все, в том числе и этимологи, относящие название зверька *нóрка* к *норá*, *ныря́ть*. Однако связь слов *нóрка*, *норица* 'норка' и *норóк* 'ласка' с *норá* и *ныря́ть* есть не более как мощное проявление народной этимологии. В этом утверждении нам очень помогает общность в данном случае названий норки и ласки (*норóк*). Оба зверька действительно очень близки между собой, что очевидно не только для зоологов, относящих Mustela lutreola и Mustela nivalis к одному семейству Mustelidae, но и для каждого, кто их видел. Однако было бы ошибкой считать, что связь с норами — это и есть то общее между ними, что особенно бросается в глаза. Напротив, как увидим

---

[16] *M. Vasmer*. REW. Bd. II. S. 227—228.

[17] Ср. *Э. В. Опельбаум*. Древньоруські лексичні елементи в німецькій мові // Мовознавство. Т. XII. Київ, 1953. С. 100 и след.

[18] Там же. С. 101—102.

ниже, связь, отразившаяся в этих названиях, носит другой характер. Кстати, если в вопросе о связи слова *норка* Mustela lutreola и слова *нора* еще остается какое-то вероятие, то среди многочисленных названий ласки в разных языках нет ни одного подобного примера. Это дает право считать близость слов *нор́ок* и *нора́* также вторичной, народной этимологией.

Источник заимствования помогает определить знакомство с соответствующим материалом прибалтийско-финских языков, ср. фин. диал. *nirkka*, *nirkko*, *nirkku*, *nirkki* 'ласка', также в сложениях *luminirkko*, *luminirkka*, *talvinirkko* буквально 'снежная, зимняя ласка', карельск. *luminirkku*, эст. *nirk*, *nürk* 'горностай, ласка', *valge nirkk* 'горностай', ливск. *nir̄t* 'ласка'. Эти слова, широко представленные в прибалтийско-финских языках, являются древними местными названиями ласки, как полагают, эвфемистическими по природе, причем основой для обозначения зверька послужило фин. диал. *nirkko* 'острие, кончик', имеющее соответствия с близким значением также за пределами прибалтийско-финских языков. При эвфемистическом обозначении ласки была использована особенно бросающаяся в глаза ее острая, веретенообразная форма [19].

Прибалтийско-финские формы типа фин. *nirkko*, эст. *nürk* 'ласка' с кратким гласным корня могли попасть в форме **ньркъ*, **нъркъ* в древнерусский язык, откуда современное диал. *норок* 'ласка' в результате развития так называемого второго полногласия. Ср. рано заимствованный этноним др.-рус. *търци*, *торки* < *türk*, где мы имеем пример аналогичной субституции *ü* > ъ в соседстве с плавным. Заимствованное происхождение формы *норо́к*, изолированно стоящего названия ласки, следует отметить в первую очередь как несомненный факт. Далее должен, по-моему, вполне естественно последовать вывод об аналогичном происхождении рус. *норка* — Mustela lutreola, в пользу чего говорит все вышеизложенное. Правда, в материалах по финским языкам значения 'норка, Mustela lutreola' не указано, но, с другой стороны, особой строгости в обозначении также нет, одна и та же форма в отдельных случаях является названием и ласки и горностая. Вообще такие колебания в обозначениях куницеобразных не редкость, и сами куницеобразные (Mustelidae) очень близки между собой. Кстати, — и это важно для обоснования финской этимологии рус. *но́рка*, *норо́к* — близость между норкой и лаской особенно ярко выражается в их стройности, вытянутых очертаниях тела. Что же касается связи с норами, под гипнозом которой находился, по-видимому, даже

[19] См. *M. Hako*. Das Wiesel in der europäischen Volksüberlieferung mit besonderer Berücksichtigung der finnischen Tradition. Helsinki, 1956. S. 13—14, 19—20, 162; *Y. H. Toivonen*. Suomen kielen etymologinen sanakirja. II. Helsinki, 1958. S. 385, там же и о других вариантах — *nirppa*, *nirppu*.

автор статьи «Норка» в БСЭ (2-е изд. Т. 30. С. 165), где прямо сказано: «...селятся в норах...», то другие естествоиспытатели были осторожнее. Так, в «Жизни животных по А. Э. Брему» (Т. 5. Под ред. Б. М. Житкова. М., 1941. С. 405) читаем: «О жизни этого животного на свободе мы знаем очень мало. Она, видимо, любит покрытые тростником берега озер и рек, где, как и хорек, устраивает свое гнездо у разросшихся корней ольхи, но закладывает его поближе к воде и снабжает немногими выходами...». Ласка находится вне подозрения в связи с норами, но для полноты отметим, что она живет повсюду: в дуплах, под камнями, в развалинах, наконец, в чужих норах [20]. Таким образом, едва ли норка, а в диалектах ласка получили название от умения при необходимости жить в чужих норах. Напротив, связь рус. *нóрка*, *норóк* и соответствующих финских названий как будто чужда всякой случайности. На вопрос почему были заимствованы названия для животных, хорошо известных на территории русского языка, можно лишь ответить, что заимствования действительно бывают прихотливы, особенно когда для этого имеются мотивы табуистического характера, играющие не последнюю роль в истории названий ласки повсюду. Не ставя специально этот вопрос для разобранных русских названий, укажем, что, например, рус. *ласица* 'ласка' общеславянского происхождения в свою очередь заимствовано эстонским языком по эвфемистическим соображениям [21].

Околóток

Это, в общем, совершенно прозрачное по своему образованию слово до сих пор как будто не получило правильного объяснения. Фасмер (II. S. 260), не сообщая своей собственной точки зрения, перечисляет ряд прежних этимологий: от *коло* 'колесо' (Бернекер), из **koltъ* 'перегородка, ограда' (Торбьёрнссон), из *колóда*, ср. *околóдок* (Потебня). С автором словаря следует, несомненно, согласиться в том, что форма *околóдок* вторична и вызвана влиянием слова *колóда*. Что касается этимологий, приведенных выше, они, по-видимому, ошибочны. Их авторов мало интересует действительная семантическая сфера этимологизируемого слова, они сразу переходят к сравнениям, подбор которых, в общем, довольно произволен. Между тем в самом значении слова *околоток* 'полицейский участок' (затем более общее: 'окрестность, округа') содержится указание на этимологию, которым не следует пренебрегать. *Околóток* связано непосредственно с *колотить*, т. е. буквально это 'участок, охраняемый («околачиваемый») сторожем с колотуш-

[20] Жизнь животных по А. Э. Брему. Т. 5. М., 1941. С. 402—404.
[21] См. *М. Hako*. Op. cit.

кой'. Точнее, первоначальное значение слова *околоток* можно понимать как 'участок, на котором слышится стук одной колотушки (одного сторожа)'. В семантическом отношении совершенно аналогично немецкое название церковного прихода *Kirchspiel*, т. е. 'звон церковных колоколов', — иными словами, вся территория, на которой слышны колокола одной церкви. В том и другом случае способность звука разноситься на определенном пространстве использована как своеобразная мера площади.

Ха́ря

Единственная этимология этого слова, которая представляется Фасмеру приемлемой[22], это *ха́ря* как уменьшительное от имени собственного *Харито́н*. Это объяснение кажется правдоподобным, особенно если вспомнить очевидные случаи вроде *еме́ля* < *Емельян* и более спорные, вроде *о́лух* < *Олуферий*, *Елевферий*.

Тем не менее объяснение из сокращенной формы имени собственного в данном случае неверно. Нетрудно заметить, что, в отличие от слов *емеля*, *олух*, слово *харя* никогда не обозначает человека в целом. Поэтому естественно объяснить *ха́ря* 'морда, рожа' как изменение первоначального *ухаря* от *ухо*, собственно, 'ушастая маска'. Форма *ухаря* 'харя, маска' действительно встречается, например, в сочинениях протопопа Аввакума. В дальнейшем *ухаря* утратило начальный гласный, воспринимавшийся, очевидно, как предлог, чему сопутствовали, несомненно, сдвиги значения слова. Ф. Поликарпов в «Лексиконе треязычном» (1704) приводит *харѧ* 'личина', προσωπετον, larva, т. е. примерно в значении 'маска'. В значении, близком к современному, находим слово *харя* в «Недоросле» Д. И. Фонвизина.

Худоща́вый

Это слово может быть объяснено как сложение *худо-щавый* со второй частью, производной от **щав*, **щава* < **съчав-*, ср. чеш. *šťava* 'сок' и родственные. Таким образом, в слове *худощавый* мы имеем образование, во всех отношениях близкое слову *худо-сочный* 'худой, худощавый'. И *худо-*, и *щав-* употребляются в различных сочетаниях еще в ряде сложений со значением 'тощий, худой': *сухо-па́рый*, *сухо-те́лый*, *сухо-ща́вый*.

Это объяснение освобождает нас от необходимости предполагать исходную форму **худощь*, как это делает вслед за Желтовым Фасмер[23].

[22] *M. Vasmer*. REW. Bd. III. S. 232.
[23] Там же. S. 277.

Шушун

Это русское народное название особой женской одежды Фасмер объясняет, впрочем, в достаточно осторожной форме, из слова *šišä* 'грубая хлопчатобумажная ткань' в одном тюркском диалекте к востоку от Кашгара, в Центральной Азии[24]. Разницу в значениях этих, сближаемых Фасмером, слов — рус. *шушун* 'короткая шубка, вид женской кофты, сарафан' и доланск. *šišä* 'грубая хлопчатобумажная ткань' — еще можно было бы как-то примирить, но вряд ли само тюркское слово является достаточно ясным. Пока неизвестны тюркские формы, более близкие территориально к русским словам, заимствование из этого источника остается сомнительным ввиду невозможности прямых контактов с центральноазиатским тюркским диалектом.

Слово *шушун* обладает разнообразными значениями. Однако некоторые из них, очевидно, сравнительно нетрудно объясняются эволюцией самой одежды. Так, отмечалось, что этим словом называют на Севере долгополую верхнюю одежду, на южновеликорусской территории, напротив, — короткую одежду, кофту[25]. Наиболее интересным представляется употребление слова *шушун* в олонецких говорах в качестве обозначения сарафана с висящими сзади рукавами прежде всего потому, что это значение можно, по-видимому, считать наиболее архаичным, как и соответствующий ему вид платья[26]. Если это действительно так, то именно область распространения наиболее архаической формы *шушуна* можно, по-видимому, будет считать центром дальнейшей экспансии и эволюции *шушуна.* Упомянутый Крайний Северо-Запад был издавна областью русско-финских контактов. Интересно отметить, что по указаниям специалистов, из прибалтийских народностей особенно выделяются своеобразием женской одежды водь и ижора, отличающиеся в этом отношении также от финнов-суоми. Пастор Трефурт (конец XVIII в.) отметил существование у водской женской рубахи очень длинных и широких рукавов. У ижорцев также была в ходу архаическая женская верхняя рубаха с длинными свободно висящими сзади рукавами[27]. Констатация особой близости женской одежды соседних северновеликоруссов и этих финских народностей позволяет искать источник слова *шушун* в финских языках. Собственно, *-ун* здесь может быть отделено как вторично присоединенный формант, ср. фор-

---

[24] *M. Vasmer*. REW. Bd. III. S. 442.

[25] *D. Zelenin*. Russische (ostslavische) Volkskunde. Berlin; Leipzig, 1927. S. 217.

[26] См. *Г. С. Маслова*. Народная одежда русских, украинцев и белорусов в XIX — начале XX вв. // Тр. Ин-та этнографии им. Н. Н. Миклухо-Маклая. Т. XXXI (Восточнославянский этнографический сборник). М., 1956. С. 614.

[27] *J. Manninen*. Die finnisch-ugrischen Völker. Leipzig, 1932. S. 87, 88, 96.

му *шушка*[28]. Это последнее, точнее его основу *шуш-*, представляется возможным объяснить как заимствованное из празападнофинского **šiša*, к которому восходят ныне существующие названия рукава: фин. *hiha*, водск. *iha*, эст. диал. *iha*[29]. Современный вокализм рус. *шуш-* получен, вероятно, в результате вторичных приспособлений из **шиш-*. Что касается консонантизма, то русское слово донесло до нас довольно раннюю ступень развития современного финского *h*, а именно древнефинское *š*. Правда, *шушýн*, *шошóн* указывается также для украинского, но такой же путь проделало укр. *кéньги*, ср. блр. *кéньги*, рус. диал. *кéньги* ‘вид зимней обуви’ из фин. *kenkä* ‘башмак’. Названия одежды, предметов туалета распространялись особенно легко.

О ПЛЕМЕННОМ НАЗВАНИИ *УЛИЧИ*

Уличами называлось древнерусское племя, жившее на Крайнем Юго-Западе Руси и очень рано — в сущности до начала письменного периода русской истории — исчезнувшее. Об уличах наука знает крайне мало, если иметь в виду полноту и содержательность сведений, хотя упоминаются они много раз и самыми разнообразными современными и более поздними источниками[1]. В связи с этим немаловажное значение приобретает любое косвенное указание, помогающее выяснению судеб этого интересного племени. Такое указание может быть, по-видимому, извлечено из лингвистического анализа названия самого племени. Сразу следует отметить правильность основной этимологии названия *уличи* — от *угол*, слав. **ǫglъ*, выдвинутой уже очень давно[2]. Однако проверка свидетельствует о том, что как природа такого наименования, так и обилие вариантов формы этнонима не получили правильного объяснения. Что касается обилия вариантов формы, среди которых многие весьма далеки от слав. **ǫglъ*, рус. *угол*, то это обилие в самом деле поразительно. Летопись дает следующие формы: *угличи*, *улучи*, *улучичи*, *улутичи*, *уличи*, *улици*, *ульци*, *лутичи*, ср. также формы *Uglici*, *Ulici*, *Unlizi* в средневековых латинских памятниках[3]. Любопытно отметить, что связь

[1] Ср. *П. Н. Третьяков.* Восточнославянские племена. 2-е изд. М., 1953. С. 218, 248.

[2] Ср. в последнее время, например: *V. Kiparsky.* Ueber die Betonung altrussischer Völkernamen // Scando-Slavica. T. IV. Copenhagen, 1958. S. 263.

[3] *Н. П. Барсов.* Очерки русской исторической географии. 2-е изд. Варшава, 1885. С. 92, 96, 98; *М. К. Любавский.* Историческая география России в связи с колонизацией (литогр. курс). М., 1909. С. 18; *С. М. Середонин.* Историческая география. Пг., 1916. С. 124; *T. Lehr-Spławiński.* Nazwy ludów i plemion słowiańskich // Słownik starożytności słowiańskich (Zeszyt dyskusyjny). Wrocław, 1958. S. 76.

большинства этих форм со слав. **ǫglъ*, рус. *угол* кажется сомнительной, вернее, она не укладывается в наши представления о возможных славянских словопроизводственных и главное — фонетических связях. Что касается формы *угличи*, наиболее «правильной» из всех, то А. Ф. Бычков считал именно чтение *угличи* невозможным[4]. Можно даже думать, что эта форма данного этнонима представляет собой уже как бы вторичное образование, восстановление формы под влиянием названия местности: *углъ* — *угличи*, т. е. форма *угличи* не может использоваться как свидетельство древних отношений.

Одна из главных проблем этого имени заключается, таким образом, в необходимости объяснить характер подавляющего большинства, вернее — всех действительно употреблявшихся летописью форм (перечень см. выше). Как уже было сказано, довольно загадочная форма др.-рус. *улучи*, *уличи* как будто противоречит принятой этимологии — от *ǫglъ*, *угол*: фонетическое развитие форм нельзя объяснить с точки зрения закономерностей древнерусского языка. Упрощение группы *-gl-* > *-l-* вообще чуждо славянским языкам. Не менее странны особенности вокализма, ср., например, *улучи*. Все это отнюдь не ограничивается графическими колебаниями, но является естественным отражением языка, носители которого близко столкнулись с уличами на Древнерусском Юге.

Форма *улучи*, *уличи* правильно отражает тюркскую передачу др.-рус. **угличи*, а именно: **uγluč*, **üγlüč*, **öγlüč* с перестройкой вокализма целиком в духе тюркской гармонии гласных. Отсюда затем вполне закономерно получилось **uluč*, **ülüč* с развитием *γl* > *l*. Это развитие также вполне отвечает фонетическим тенденциям ряда тюркских диалектов. Можно предположить, что в данном случае это упрощение облегчалось сходством русского племенного названия с тюркскими терминами «сын», «молодой», почему известную роль могло также сыграть сближение по народной этимологии с тюрк. *oγly*, *oγlan*.

Общение с кочевниками-тюрками южнорусских степей было, по-видимому, весьма оживленным. Оно оставило с древних времен следы в виде ряда переводов-кальк, например, *Буджак* 'угол' (ср. слав. **Ǫglъ* — название соответствующей части Северного Причерноморья). Однако определение тюркского языка, своеобразно видоизменившего древнерусский этноним, сопряжено с некоторыми трудностями. Половецкий (куманский, кыпчацкий) язык как будто сохранял звонкий спирант *γ* перед *l*, ср. *oвly* 'его сын'[5]. С другой стороны, формы *ul* из *oγul*, *oγly* обнаруживает современный каракалпакский язык, носители которого, как полагают, пришли из южнорусских степей, и

[4] См. *Н. П. Барсов*. Указ. соч. С. 92, 96, 98.

[5] Ср. *Т. И. Грунин*. Памятники половецкого языка XVI века // Акад. В. А. Гордлевскому. Сборник статей. М., 1953. С. 95.

памятники печенежского языка IX—X вв. [6]. Последнее особенно интересно и, кстати сказать, соответствует историческим сведениям об активной роли печенегов в этом районе в X в. Печенежские племена вытеснили венгров из Причерноморья на запад, кочевали в соседстве с уличами и частично оттеснили, частично, возможно, ассимилировали этих последних [7]. Итак, форма *уличи*, *улучи*, известная русской летописи, представляет собой, по-видимому, уже видоизмененное и полученное, так сказать, «из вторых рук», от печенегов, древнерусское племенное название. Это не удивительно, потому что летописец сообщал рассказ о племени, к его времени давно исчезнувшем. Значение русско-печенежских контактов в судьбе уличей, а также для самого летописного предания о них очевидно, о чем говорит также история их имени. Поэтому следует отнестись критически к тому мнению, что уличи покинули свою область по Днестру еще перед походом венгров из Северного Причерноморья на запад в 892 г. [8]. Очевидно, они долго оставались здесь и позже и, несомненно, общались с распространившимися сюда с востока печенегами вплоть до полного своего исчезновения со страниц истории. Исчезновение уличей М. К. Любавский совершенно правильно ставит в зависимость от передвижений кочевников-тюрок [9].

О непрерывности преемственной связи сменявших друг друга племен в западной части Северного Причерноморья говорит и стойкость названия **Qglъ* (῎ Ογγλος ∞ тюрк. *Budžak* (собственно ‘угол’), с которым связано этимологически название уличей: др.-рус. **угличи*, прарус. **ǫglitje*.

Что обозначал топоним *Qglъ*, *Угол*? Начиная с Надеждина до наших дней его считают обозначением изгиба Черного моря [10]. Действительно, каждому, кто интересуется этим вопросом, при взгляде на карту бросаются в глаза в первую очередь углообразные очертания Одесского залива. Таким образом, ученые обычно полагают, что местность названа *Угол*, *Qglъ* от изгиба линии морского побережья. Но здесь, по-видимому, допускается ошибка. Еще Середонин отмечал, что «понятие “залив” летопись передает греческим словом “лименъ” и лишь позже прибегает к слову “лука”» [11]. Особый интерес представляет для нас летописное известие еще об одной местности, называвшейся *Угол* и точно локализующейся по Днепру и его притоку реке Орель, на Севе-

---

[6] См. *Н. А. Баскаков.* Каракалпакский язык. II. Фонетика и морфология. Ч. 1. М., 1952. С. 52.

[7] *М. К. Любавский.* Историческая география России в связи с колонизацией. М., 1908. С. 131.

[8] Ср. *С. М. Середонин.* Указ. соч. С. 131.

[9] *М. К. Любавский.* Указ. соч. С. 31.

[10] См. *Н. П. Барсов.* Указ. соч. С. 92 и след.

[11] *С. М. Середонин.* Указ. соч. С. 158.

ре современной Днепропетровской области. Так, летопись совершенно определенно говорит под 1152, 1183 гг. о месте «нарицаемѣмь Ерель, его Русь зоветь Уголъ» [12]. Видимо, по той причине, что уличи считались названными по «углу» Черного моря, вопрос о связи уличей с другим Углом — на Днепре — как будто еще не ставился. Тем не менее, сделать это необходимо. Хорошо известно другое летописное указание, одновременно ценное для выяснения пути уличей: «...и бѣша сѣдяще улицѣ по Днѣпру внизъ, и посемъ приидоша межи Богъ и Днѣстръ и сѣдоша тамо» [13]. Таким образом, очевидно, еще задолго до перехода к Черному морю уличи уже жили в местности Угол. Это обстоятельство позволяет окончательно усомниться в точности толкования названия Угол от изгиба, залива Черного моря. Больше того, это название, надо полагать, совершенно не связано с заливом и вообще с морем.

Название *Угол* интересно сопоставить, кроме тюрк. *Budžak*, с названием Ἀτελκουζου (Константин Багрянородный) — обозначением места остановки венгров в Южной Руси, гибридным тюрко-венгерским образованием из (тюрк.) *itil* / *etel* 'река' + (венг.) *köz* 'между'. Это специфически венгерское топонимическое образование, обозначающее территории в развилке рек (главной реки и притока) по притоку, ср. *Bodrogköz* 'земля между р. Бодрогом и р. Тиссой'. В данном случае под Ἀτελκουζου, др.-венг. *Etelköz* венгры IX в. понимали, очевидно, область между впадениями в один общий (Днепро-Бугский) лиман двух рек Днепра и Буга [14]. Характер впадения двух названных рек в общий лиман весьма напоминает слияние реки и ее притока. Действительно, наиболее характерной особенностью этого района Северного Причерноморья является то, что на небольшом пространстве сходятся под углом друг к другу течения трех рек: Днепра, Буга и недалеко от них Днестра. Это издавна обращало на себя внимание наблюдателей, ср. в «Книге Большому чертежу» (начало XVII в.): «А в тои же Ильмень от усть Днепра 30 верст пала река Бокг... А от усть Бокга реки 90 верст пала в Черное море река Нестр» (изд. К. Н. Сербиной. М.; Л., 1950. С. 112).

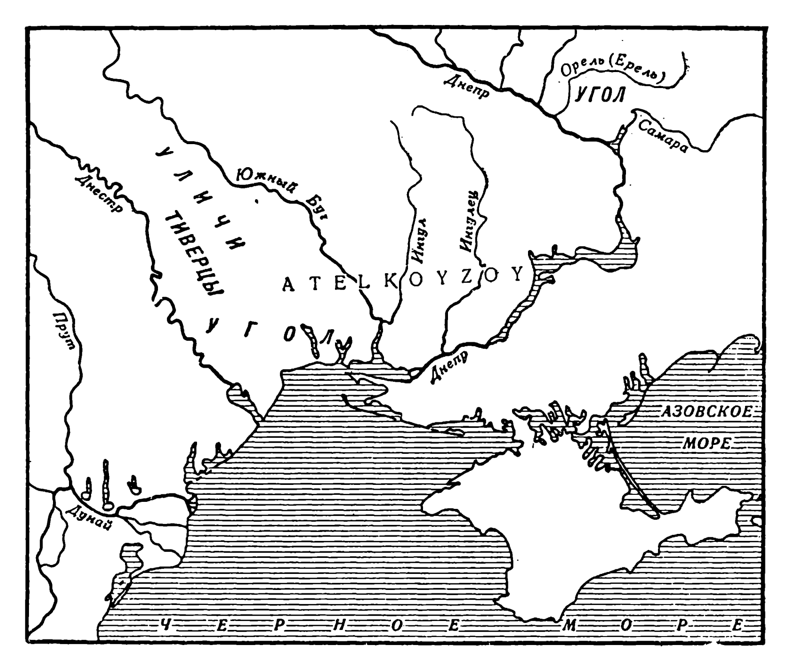
Возвращаясь к др.-венг. *Etelköz*, отметим, что это название, построенное по типу венгерского *Bodrogköz* и подобных ему, также не могло обозначать ничего иного, кроме местности, ограниченной реками, сходящимися под углом, причем весьма знаменательно непосредственное соседство вероятной локализации др.-венг. *Etelköz* и др.-рус. **Углъ*.

---

[12] *С. М. Середонин*. Указ. соч. С. 172.

[13] Там же. С. 125.

[14] Дополнительные соображения о местоположении Этелькеза см. *Й. Перени*. Взаимоотношения между венграми и восточнославянскими племенами // Studia Slavica Academiae Scientiarum Hungaricae. T. II. Budapest, 1956. S. 18 и след.



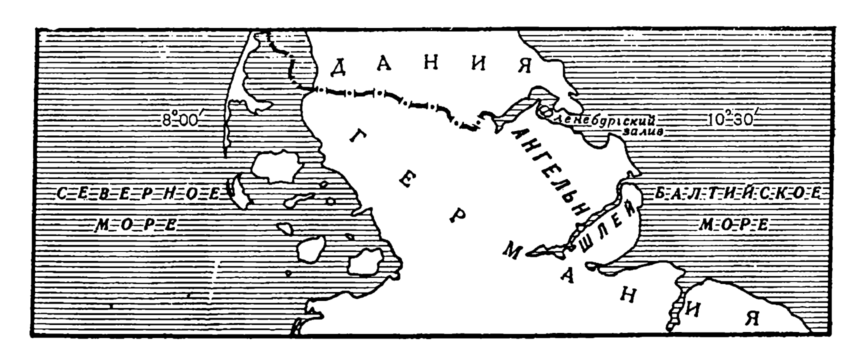
Карта 1

Все изложенное выше заставляет нас окончательно порвать с принятым пониманием др.-рус. **Углъ* как названия изгиба Черного моря. Бесспорное для нас при взгляде на карту подобие угла, которое имеет северо-западная часть моря, было отнюдь не так очевидно для ранних насельников — уличей, тюрок и венгров. Можно даже с большой степенью вероятности предположить, что очертание морского залива было им весьма безразлично и уж во всяком случае неизвестно в точности.

В то же время реки и характер их течения представляли жизненную важность для перечисленных народов. Поэтому др.-рус. **Углъ* (**Ǫglъ*) и связанные с ним ср.-греч. Ὄγγλος, тюрк. *Budžak* возникли как названия углообразной территории между реками.

Решив определенно вопрос о природе названия Угол, связанного с этнонимом *уличи*, мы можем, далее, произвести некоторые наблюдения над близкими названиями, дополнительно подтверждающими высказанное выше объяснение, а также позволяющими судить о возрасте этих обозначений. Таким близким названием является древний западногерманский этноним *англы* — лат. *Anglii* (Тацит, Германия, 40); это племенное название связывают с названием местности *Angeln* (Шлезвиг-Гольштейн), правдоподобно объясняя последнее как родственное лат. *angulus* 'угол', ст.-слав. **ѫглъ** 'угол', греч.

ἀγκύλος 'изогнутый' [15]. К сожалению, мотивы такого наименования как будто оставались невыясненными.



Карта 2

Как явствует из прилагаемой схематической карты (2), местность Ангельн находится между узкими, фьордообразными заливами Flensburger Föhrde и Schlei, напоминающими эстуарии рек, образующие угол относительно друг друга. На основании этих физико-географических данных и приведенных выше этимологических соответствий естественно заключить, что колыбель англов обозначалась как «Угол»; ср. аналогичные обозначения «Угол» на Юге Древней Руси (карта 1). Ознакомление в каждом случае с физико-географическими условиями и сопоставление древнерусского и западногерманского примеров, обеспечивающее возможность объективной взаимопроверки, позволяет констатировать интересную ономасиологическую закономерность: называние «Углом» местности, лежащей у стечения или слияния рек. Тождественное называние, таким образом, проявляется в двух, по крайней мере, местах индоевропейской территории, на значительном расстоянии друг от друга. Однако вряд ли следует здесь говорить об общем наследии от древней эпохи. Скорее всего, перед нами пример независимого, параллельного развития значений этимологически общей исходной основы. Тем не менее, исследуемый здесь параллелизм, действительно, замечателен вплоть до образования материально близких племенных названий *англы* и *уличи*.

[15] Р. Мух у И. Хоопса: Reallexikon der germanischen Altertumskunde. Bd. 1 / Hrsg. J. Hoops. Strassburg, 1911—1913. S. 86.

О ПРАСЛАВЯНСКИХ ЛЕКСИЧЕСКИХ ДИАЛЕКТИЗМАХ СЕРБОЛУЖИЦКИХ ЯЗЫКОВ

Как известно, правильное суждение о диалектизмах складывается на основе возможно полного представления о распределении функционально близких элементов (фонетических, морфологических, синтаксических, семантических, лексических) во всей языковой области. Но если в условиях синхронной диалектологии упомянутое распределение доступно непосредственному наблюдению, то отрасль языкознания, занимающаяся выяснением аналогичных вопросов для праязыкового состояния, лишена этого важного преимущества. Здесь, прежде чем обратиться к выявлению элементов ограниченного распространения, требуется еще воссоздать общеязыковую картину, составить инвентарь элементов, характеризующихся — с большей или меньшей степенью вероятности — как общие для всех диалектов данной языковой области этого периода времени. Совершенно очевидно, сколь велики трудности при решении этой задачи и как мала возможность получить однозначный ответ на вопрос о характере, по-видимому, большого числа элементов. Однако и такая оценка возможностей выявления ранних диалектизмов, например в лексике, не может заставить отказаться от поисков. Кроме того, думается, что и сейчас можно, опираясь на доступные материалы, сделать определенные шаги, направленные на решение в будущем (на основе систематического обзора) всей этой проблемы в целом.

Таким образом, проблема праславянских лексических диалектизмов входит в более общую проблему состава праславянского словаря и предполагает, по меньшей мере, две операции: 1) реконструкцию праславянского словаря в целом и 2) выделение праславянских словарных диалектизмов и регионализмов [1].

---

[1] Необходимость в терминологических разъяснениях, по-видимому, отсутствует, так как здесь употребляются только термины, достаточно оправдавшие себя и обще-

Разумеется, в этой статье едва ли можно даже ставить вопрос о составе праславянского словаря в совокупности. Подойти вплотную к этому вопросу, как и к проблеме диалектизмов в рамках всего праславянского словаря, можно будет лишь по мере специального изучения словарных материалов по всем славянским языкам в плане реконструкции их собственных праславянских состояний. За этим должно последовать сведéние полученных результатов с одновременным выявлением более или менее общего праславянского лексического пласта, а также праславянских слов, ограниченных частью диалектов, с возможно четким указанием ареала. Эта работа предусматривает полное использование доступных исторических и словообразовательно-этимологических критериев, особенно при определении древних лексических диалектизмов, для установления которых решающее значение имеют внеславянские этимологически близкие формы. В результате сформулируются, по-видимому, насколько можно судить сейчас по неполным и предварительным данным, достаточно ответственные выводы о действительной сложности состава праславянского словаря, в пользу чего говорит, с одной стороны, вероятная древность названных выше праславянских лексических диалектизмов, не сводимых обычно к более простому состоянию на материале славянских языков, и, с другой — значительное их количество.

Работа по этим проблемам находится еще в начальной стадии, и было бы нецелесообразно предвосхищать ее окончательные выводы. Но отдельные наблюдения могут быть высказаны уже сейчас, хотя бы с целью их проверки и существенных уточнений в последующем. Так, целесообразно отметить тот факт, что древние лексические диалектизмы (я не спешу сказать «изоглоссы», потому что для последних допускают нередко происхождение в порядке совместной инновации, чего мы в нашем случае не вправе предполагать обязательно) очень часто не укладываются в рамки известных исторически классификационных отношений славянских языков. Правда, с другой стороны, сейчас трудно судить о том, какие другие, раннеславянские диалектные отношения отражают эти лексические диалектизмы. Может быть, систематические наблюдения над всем материалом (а не над отдельными случаями) позволят составить в будущем более определенные суждения и по этому вопросу.

Пока можно в рабочем порядке высказать мнение, что случаи, когда очевидный праславянский лексический диалектизм известен лишь части диалек-

---

принятые в лингвистической традиции. Под праславянским здесь понимается скорее язык последнего периода его существования, как более доступный изучению имеющимися средствами. Это не означает, разумеется, позднего появления праславянских диалектизмов.

тов одного современного славянского языка или же охватывает часть диалектов одного языка и какую-то часть другого, должны рассматриваться как потенциально архаические, в то время как совпадение ареалов аналогичных праславянских диалектизмов с областью современного славянского языка могло явиться инновацией, экспансией данного слова на территории ранее его не знавших диалектов. Сложность картины довершает возможная с течением времени редукция первоначальных ареалов лексических диалектизмов. Как бы то ни было, ясно одно: было бы наивно употреблять, не отдавая себе отчета в их недостаточности и условности, такие понятия, как «праславянские лексические диалектизмы русского», «праславянские лексические диалектизмы западнославянских, лехитских языков», даже такое, казалось бы, локально узкое понятие, как «праславянские лексические диалектизмы лужицких языков» (о чем — ниже).

Что касается упомянутого выше значительного количества праславянских лексических диалектизмов, то пока известное представление о нем дает, например, тот факт, что только для русского языка (с распространением иногда на другие восточнославянские или у́же — в части русских диалектов, ср. сказанное выше) можно назвать уже на основании этимологической разработки, представленной у Фасмера, свыше 60 праславянских лексических диалектизмов. Есть все основания полагать, что аналогичные сведения о наличии таких элементов даст проверка по каждому из славянских языков.

Ведя поиски в этих направлениях, мы все более и более убеждаемся в упрощенности обычных представлений о праславянском словаре, в полной пока еще невыясненности в нем диалектных черт, вопрос о которых по сути дела и не ставился, если не считать обратного тезиса более общего характера о первоначальной однородности праславянского языка с вторичным оформлением в нем диалектных черт и групп. Вряд ли нас может удовлетворить это положение. Опираясь на него, мы просто будем не в силах правдоподобно и просто объяснить такую реальную величину, как ранние лексические диалектизмы праславянских диалектов. Предположение заимствования в любом из этих случаев гораздо менее вероятно ввиду неясных мотивов заимствования, а также неизбежной сложности и искусственности комбинаций (ср. четкое указание фонетико-морфологических критериев на исконность слова в славянском, древнее отсутствие ареальной смежности у праславянского лексического диалектизма и его внеславянского соответствия и др.). Более правильно методологически и более плодотворно в нашем случае будет допущение конвергентных тенденций в протославянских и праславянских диалектах. В этом смысле древние лексические диалектизмы, сохранившиеся до нашего времени, приобретают особую ценность как показатели отношений, во многом сглаженных позднейшими конвергенциями.

Предлагая в настоящей статье замечания о праславянских лексических диалектизмах[2] серболужицкого, мы не претендуем на исчерпывающее освещение всего относящегося сюда материала. Более полные заключения откладываются до того момента, когда будет закончена работа по реконструкции праславянского словника в ровной мере для нижнелужицкого и для верхнелужицкого языков. Систематическая работа в этом плане в основном проведена в настоящий момент только для нижнелужицкого, из верхнелужицкого привлекаются лишь отдельные слова. Избранная последовательность отнюдь не означает предпочтения материала одного из этих языков, просто работу по описанной проблематике над словарем этой группы языков было удобнее начать с более современного и надежного нижнелужицкого словаря Муки[3], обширно привлекающего диалекты и старую письменность, инославянские соответствия и представляющего вместе с монументальной сравнительно-исторической грамматикой того же автора[4] хорошую базу для изучения словаря нижнелужицкого языка.

Реконструкция праславянского словника языка предполагает как первый этап снятие всех новых (в широком смысле) заимствований. Для лужицких языков это будут, в первую очередь, немецкие заимствования, в общем легко выделяемые по своим признакам. При изучении этого вопроса в нижнелу-

---

[2] (Праславянский) лексический диалектизм, или диалектную лексему, можно понимать в общем достаточно широко, с допущением на правах самостоятельных слов лексикализации словообразовательных и семантических актов; как пример последнего можно указать луж. *blido* 'стол', которое позволяет предположить праслав. диал. **bl'udo* 'стол', более полно соответствующее герм. **biuđa*, откуда оно заимствовано, и праслав. **bl'udo* 'блюдо, поднос' в остальных диалектах. В остальном же методику изучения праславянских лексических диалектизмов должна отличать важность определения и характеристики корневой морфемы, в частности ее этимологических индоевропейских связей. Словообразовательное оформление, разумеется, здесь также важно, по преимущественный объект характеристики этой последней — скорее общие элементы праславянского словаря, реконструируемого в связи с этим с максимальной доступной словообразовательной конкретностью. Все эти вопросы, а также пробивка индоевропейских параллелей словооформления в той части, в которой она покрывается для лужицкого с праславянским материалом других славянских языков, естественно, не нашли отражения в данной работе.

[3] *Э. Мука*. Словарь нижнелужицкого языка. Вып. I. Пг., 1921; *E. Muka*. Słownik dolnoserbskeje rěcy a jeje narěcow. II. Praha, 1928 (в дальнейшем — Muka I, II).

[4] *K. E. Mucke*. Historische und vergleichende Laut- und Formenlehre der niedersorbischen Sprache. Leipzig, 1891 (в дальнейшем — Mucke L.- u. Formenl.). Верхнелужицкая лексика представлена, кроме целого ряда более новых небольших словарей, главным образом старым обширным словарем Пфуля: *Pfuhl*. Lausitzisch-wendisches Wörterbuch. Budissin, 1866 (в дальнейшем — Pfuhl), ценность которого снижают возрожденческие опыты автора, черпавшего отсутствующие формы из чешского.

жицком полезно привлечь монографию Бильфельдта, посвященную заимствованиям из немецкого в верхнелужицком [5]. Названная книга содержит почти целиком выявление лексических германизмов. Но влияние немецкого отложилось в еще более завуалированной форме во множестве разнообразных кальк, которые также должны быть сняты при реконструкции праславянского состава лексики. Вот ряд примеров этого рода в нижнелужицком: *gnilc*, *gnilej*, *gnilica* = нем. *Faulpelz*; *góřejbraś* = *aufnehmen*; *hobejś* = *begehen*; *hobrukowaś* = *umarmen*; *hulět* = *Ausflug*; *domk hyś* = *heimgehen*; *kórabja/je* = *Gerippe*; *wótełdgaś* = *ableugnen*; *łožiś* = *schiffen*; *lagnišćo* = *Lager*; *lubej* = *lieber* (*skeřej a lubej* — *je eher je lieber*); *pśemoc* = *vermögen*; *wótmysliś* = *beabsicktigen*; *pótšawk* = *Nachheu*; *psyki* < **spiki, pl.* = *Schläfe* 'висок'; *pśewinuś* = *überwinden*; *pśiḿe* = *Beiname*, *Zuname*; *rownoś* = *obgleich*.

Далее, снимаются все случаи местной словообразовательной инновации на основе исконных элементов, как, например, н.-луж. *gryzda* — контаминация н.-луж. *huzda* 'узда' и *gryzaś* 'грызть, кусать' (возможно, не без влияния нем. *Gebiss*, *Pferdegebiss* 'узда, удила': *beissen* 'кусать'), *mawchaś* < *mawaś* × *machas* (Muka I. 869). Выделению подлежат также слова, построенные по моделям, вступившим в пору особой продуктивности только в период обособленного развития лужицкого, в частности образования на *-awa* — н.-луж.: *dudawa*, *dudlawa*, *dujawa*, *dybawa*, *gjagotawa*, *gjargawa*, *glugotawa*, *grajkawa*, *grakawa*, *grěbawa*, *hobẃertawa*, *hokawa*, *hopušawa*, *hośepawa*, *humpawa*, *chŕapawa*, *chŕochawa*, *chychawka*, *klampawa*, *klekotawa*, *klinkawa*, *kóńcawa*, *kopawa*, *kósawa*, *kóžawa*, *krokawa*, *kšutawa* и др. [6]

Основное же ядро исконно славянских слов, в том числе все вероятно ранние префиксально-суффиксальные производные (причем не последнюю роль играет установление тождественных образований по другим славянским языкам, а для глагольных производных решающее значение приобретает критерий четкой лексикализации), войдут в реконструируемый праславянский словник для данного языка. Получаемый нами в ходе такой работы праславянский словник, разумеется, — не точное воссоздание первоначального состава, но скорее отражение потенций праславянского словаря, особенно в отношении производных форм и сугубо словообразовательных категорий [7].

---

[5] *H. H. Bielfeldt*. Die deutschen Lehnwörter im Obersorbischen // Veröff. das Slav. Instituts an der Univ. Berlin. 8. Leipzig, 1933 (далее — Bielfeldt).

[6] Ср. *Л. В. Щерба*. Восточнолужицкое наречие. Т. I. Пг., 1915. С. 76 и след., где среди «производительных» суффиксов местного диалекта упоминается *-av-* (ж. р.); *rod-av-a*, *kliŋkotava*.

[7] Более систематически эти соображения и аргументация, на которой здесь нет возможности останавливаться, будут изложены в специальных работах.

Поэтому не должно казаться удивительным, что получаемый таким образом праславянский словник для нижнелужицкого составит не менее 4500 слов (примерно 10% слов из словаря Муки). Различие между фрагментарно излагаемым здесь методом и методом, представленным в работах Т. Лер-Сплавинского и Т. Орлось [8], заключается не только в количестве слов — оба названных автора выделяют примерно 1700 праславянских слов соответственно в польском и чешском, — но также в вопросах методического и методологического характера. Здесь ставится вопрос о реконструкции праславянского словника для всего известного лексического запаса языка, в то же время как упомянутые ученые преследовали цель установления праславянского элемента в словаре современного языка, главным образом «warsiw wykształconych». Далее, почти единственным критерием праславянского характера того или иного образования в работах Лер-Сплавинского и его учеников служит наличие надежных соответствий в других славянских языках. Мы же, в соответствии с изложенным выше, считаем принципиально важным допущение значительного числа праславянских лексических и словообразовательных диалектизмов, в отношении которых применение названного критерия было бы ошибкой. Разумеется, предполагаемый подход тоже не гарантирует от ошибок, но это еще не означает порочности основного тезиса, который можно было бы сформулировать предварительно так: автономность праславянских состояний лексики славянских диалектов.

Ниже мы разбираем ряд образований преимущественно непроизводного характера, для которых решающим является этимологический анализ. Но, помимо этого, приводятся также примеры внешне прозрачной производной словообразовательной модели, которую мы относим к праславянскому, несмотря на сомнительность инославянских соответствий.

Н.-луж. *bagi* мн. ч. 'болота' представлено также в топонимии (Muka I. 9), для верхнелужицкого Пфуль не отмечает этого слова. Форма *bagi* представляет собой, как это указывает и Мука (там же), множественное число от незасвидетельствованного **bag*. Собственно говоря, не оставляет сомнений связь нижнелужицкого слова с праслав. **bagno*, **bagnъ*, представленными в ряде славянских языков, прежде всего — н.-луж. *bagno* 'болото', *bagan* (**bagnъ*) 'der Quellensumpf, болото при ключе' (Мука I. 9, 10), в.-луж. *bahno* 'болото, ил' (Pfuhl. 4), польск. *bagno*, чеш. *bahno*, словац. *bahno* 'болото, грязь', укр.

[8] *T. Lehr-Spławiński*. Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie polskim // Studia historyczne ku czci Stanisława Kutrzeby. T. II. Kraków, 1938. S. 469 и след. То же перепечатано в его «Rozprawy i szkice z dziejów kultury Słowian». Warszawa, 1954. S. 138 и след. *T. Lehr-Spławiński*. Польский язык. М., 1954. С. 63 и след. *Teresa Z. Orłoś*. Element prasłowiański w dzisiejszym słownictwie czeskim // Studia z filologii polskiej i słowiańskiej. 3. Warszawa, 1958. S. 267 и след.

багно́ 'болото, топь, глубокая грязь', рус. диал. *багно́*. Ценность н.-луж. *bagi* состоит в том, что оно свидетельствует о возможности праслав. диал. **bagъ* — формы, непроизводной по отношению к праслав. **bagnъ*, **bagno*. Это дает основание расценивать последнее как вторично оформленное уже в славянском, откуда малая вероятность архаического чередования гетероклитического типа *-r* / *n-*[9], при котором второй член пары (на *-r-*) указывается либо в славянских языках, не знающих **bagno*, либо вообще за пределами славянского. К тому же ст.-слав. **багръ** πορφύρα, указываемое в связи с **bagn-*, скорее всего заимствовано из тюркских[10]. Таким образом, вероятная реальность праслав. **bagъ* (н.-луж.) позволяет с бо́льшим правом применить к нему старое сближение **bagno* с др.-в.-нем. *bah*, нем. *Bach* 'ручей'[11], исходной для всех основой **beg-*/**bog-*, причем в праслав. **bagъ* могло быть представлено вторичное удлинение именного вокализма *-o-*, знаменующее собой новый словообразовательный акт. Интересно (для связи с **beg-* 'бежать') значение н.-луж. *bagan* (**bagnъ*) 'болото при ключе'.

beno, н.-луж. 'желудок, брюхо, пузо (у скота)' (Muka. 1, 30), в верхнелужицком не отмечено (Pfuhl). Вполне возможно, что мы здесь имеем отражение праслав. диал. **bъdno* 'дно, низ', единственно близкого соответствия целому ряду индоевропейских названий дна, группирующихся вокруг и.-е. **bhudhno-* и близких форм: др.-инд. *budhná-*, лат. *fundus*, греч. πυθμήν (иное словообразовательное оформление), прагерм. **baþma-*, откуда др.-в.-нем. *bodam*, нем. *Boden*, нидерл. *bodem*, др.-исл. *botn*, ирл. *bond*[12]. Ничто не мешает принятию мысли о связи праслав. **bъdno* с праслав. **dъbno* 'дно', которое представлено во всех славянских, в том числе и в н.-луж. *dno* 'дно', а также *deno* 'пузо, брюхо, желудок (у скота)' (Muka I. 163, 173), последнее — в том же

[9] См. *A. Brückner*. Słownik etymologiczny języka polskiego. 2 wyd. Kraków, 1957. S. 11 (далее в тексте — Brückner); *F. Sławski*. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. I. Zesz. I. Kraków, 1952. S. 25 (далее—Sławski).

[10] *K. H. Menges*. Schwierige slavisch-orientalische Lehnbeziehungen // UAJB. Jg. 31. Wiesbaden, 1959. S. 177—178.

[11] *А. Преображенский*. Этимологический словарь русского языка. Т. I. М., 1910. С. 11, там же прочая литература (далее — Преображенский); *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1953. S. 36 (далее — Vasmer). О германском слове см.: *F. Kluge*. Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache. 17. Aufl. Berlin, 1957. S. 43 (далее — Kluge); *Frank — N. Van Wijk*. Etymologisch Woordenboek der nederlandsche Taal. 's-Gravenhage, 1949. S. 39—40 (далее — Frank — Van Wijk).

[12] *Kluge*. 88; *Franck — Van Wijk*. 39—40; *E. Boisacq*. Dictionnaire étymologique de la langue grecque. 4 éd. Heidelberg, 1950. P. 825—826 (далее — Boisacq); *A. Walde*. Lateinisches etymologisches Wörterbuch. 2. Aufl. Heidelberg, 1910. S. 325 (далее — Walde); *J. Pokorny*. Indo-germanisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Lief. 2. Bern, 1951. S. 174 (далее — Pokorny).

специальном значении, что и *beno* (см. выше). Праслав. **dъbno* имеет, в свою очередь, внешние соответствия в балтийском (лит. *dugnas* 'дно', лтш. *dibens*, *dubens*), кельтских (галльск. *dubno-* 'мир', кимр. *dwfn* 'глубокий'), группирующиеся вокруг и.-е. **dheubh-*/**dhubh-* 'глубокий, делать глубоким'. Обе группы названий, очевидно, связаны отношениями метатезы, однако у нас нет точных указаний, произошла ли она между **bъdno* и **dъbno* или значительно ранее — на уровне **bhudhno-* : **dhubhno-*. Предполагались оба возможных направления метатезы[13]; допустимо видеть в упомянутом отношении к **dheubhos*, **dhubhos* 'глубокий' вторичное осмысление, охватившее к тому же лишь часть языков. Но в данном случае для нас это имеет второстепенное значение, важно было обратить внимание на ценный старый диалектизм в нижнелужицком, не привлекавшийся до этого в этимологической литературе.

bluraś, н.-луж., 'hingiessen eine Flüssigkeit, dass sie auseinander stiebt'; von Vögeln (z. B. Gänsen) die Exkremente ausspritzen, нагадить' (Muka I. 53), верхнелужицкого соответствия Пфуль не указывает. Точно так же не находим близких слов в других славянских. Этимологизации это слово не подвергалось, если не считать ремарки Муки (там же): *Vb.* ⟨…⟩ *on.* («звукоподражательный глагол») ⟨…⟩ vgl. *pluraś* «verspritzen». В любом случае это не говорит еще о возрасте слова, а вторая форма могла быть вызвана поздними сближениями. Интересно отметить совершенно точное соответствие н.-луж. *bluraś* и его значению в лит. *biauróti* 'гадить, загадить'[14], например, *musės apibiaurojo lempą* 'мухи загадили лампу' (Dab. žod.). Н.-луж. *bluraś* продолжает праслав. диал. **bl'urati* < **bjouratei*, которое тождественно форме, лежащей в основе прибалт. диал. **bjaurātei* > лит. *biauróti*, сюда же лит. *biaurùs* 'гадкий' и родственные. Оба соответствия обнаруживают одинаковое расширение *-r-* корня, который мы находим в праслав. **bl'ujǫ*, **blьvati*. Полезно отметить, что этимология н.-луж. *bluraś*, праслав. *bl'urati*, предложенная здесь, одновременно является этимологией литовского слова *biaurùs* и родственных ('гадкий' < *'плевый' и 'гадить, брызгать' < 'плевать, блевать'), по-видимому, единственно приемлемой из выдвигавшихся, ср. старое сближение балтийских слов со слав. **bur'a*, рус. *буря* или — с др.-рус. *бьрние*[15].

---

[13] См. Преображенский I. 186; *V. Machek*. Etymologický slovník jazyka českého a slovenského. Praha, 1957. S. 90 (далее — Machek); *Brückner*. 91; *Sławski*. 150; *J. Holub, F. Kopečný*. Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1952. S. 103 (далее — Holub—Kopečný).

[14] См. Dabartinės lietuviu, kalbos žodynas. Vilnius, 1954. S. 78 (далее — Dab. žod.); *M. Niedermann, A. Senn, F. Brender*. Wörterbuch der litauischen Schriftsprache. Bd. I. Heidelberg, 1932. S. 81.

[15] См. сводку: *E. Fraenkel*. Litauisches etymologisches Wörterbuch. Lief. I. Heidelberg; Göttingen, 1955. S. 42—43 (далее — Fraenkel).

25. Заказ № 2261.

drastwa н.-луж., *drasta* стар. и диал. 'одежда, платье' (Мука I. 198), в.-луж. *drasta* то же (Pfuhl. 159) представляют, по-видимому, старое местное суффиксальное производное от глагольной основы **der-* в ступени редукции (**dr-a-*); ср. попытку объяснить лужицкие слова из **drap-ta* (Holub—Kopečný. 106), где проводится разграничение между этой формой и **dras-*, **drask-*. Махек (94) считает эти слова неясными. Точные соответствия форме **drasta*, включая характерное значение 'одежда', за пределами серболужицкого скорее сомнительны.

gnybaś, н.-луж. 'грызть' (Muka I. 287) не находит соответствия уже в верхнелужицком (Pfuhl), а также как будто в других славянских. Это слово могло бы быть объяснено из праслав. диал. *gnybati*, которое продолжает и.-е. **g(h)nūbh-*, **gneabh-*, наряду с **ghneu-* и близкими в других диалектах, ср. нижненем. *knuffen* 'толкать' и др., отражающие вторичные оформления и диссимиляцию первоначальных придыхательных, далее греч. κναύω 'грызу'.

grěba, н.-луж. 'die Schwadenzeile, der Schwaden beim Mähen von Getreide und Heu, горстка хлеба или сена, образовавшаяся одним ударом косца'; 'der Mittelrücken auf dem Acker, der Hügelrücken' (Muka I. 317—318), сюда же в.-луж. диал. *hrjaba* (Muka. Там же; Pfuhl. 1070). Из праслав. диал. **gręba*, которое продолжает и.-е. **g(h)rembh-* / **g(h)rombh-*, откуда нем. *Krampf* 'судорога', *krumm* 'кривой'... (Kluge. 413; Pokorny I. 387). Прочие славянские знают только функционально близкое **gręda*, иное расширение той же основы в индоевропейском. Ср., впрочем, ст.-польск. *grzęba*, польск. диал. *gręba* 'возвышенность, холм, гряда, межа', о котором см. Sławski (370): «...pewnych odpowiedników słow. brak».

grud 'тошнота, отвращение', *gruda* (то же), *grudać se* 'чувствовать отвращение', *grudny* 'страшный, отвратительный, грустный' — все нижнелужицкие диалектные слова (Muka I. 336), в.-луж. диал. *grudać so* 'sich ekein' (Pfuhl. 193), сюда же в.-луж. *zrudny* 'traurig, betrübt' (Pfuhl. 1029). Последнее слово встречается множество раз в издании *L. Haupt und J. E. Schmaler*. Volkslieder der Wenden in der Ober- und Niederlausitz. I. Teil. Grimma, 1841. Эти слова представляется возможным объяснять из праслав. диал. **grudъ* / **gruda*, **grudьnъjь*, **sъgrudьnъjь* (тематическое глагольное образование *grudać se*, возможно, поздняя инновация и на этом основании может быть опущено при реконструкции праславянского состава). Думаю, что неправ Мука (II. 1113), объясняя *zrudny* из **vъzrydьnъ*. Еще менее прав Бильфельдт, который видит в *grudać so* заимствование из нижненем. *he grūd sik* 'er graut sich' (Bielfeldt. 300), тем более что известно в.-луж. *grawować so* < *sich grauen* (Bielfeldt. 136). Напротив, хорошие соответствия по форме и значениям находим в литовском, причем важно отметить полное тождество праслав. диал. **gruda* (н.-луж. *gruda* 'тошнота, отвращение'): лит. *graudà* 'грусть, печаль' (Dab. žod.

266). Далее, в какой-то мере покрываются слова н.-луж. *grudny* 'страшный, отвратительный, грустный' (праслав. **grudьnъjь*) и лит. *graudìngas* 'жалобный, тоскливый, грустный' (Dab. žod. 226), включая тождественное префиксальное оформление: луж. *zrudny* (**sъgrudьnъjь*), лит. *su-sigraudenti* 'растрогаться, огорчиться'. Перед нами очевидная параллель между частью праславянских и частью прабалтийских диалектов. Рус. *грусть* (см. Vasmer I. 313) говорит о самостоятельном прасл. **grustь* < **grud-tĭ*, а сербохорв. *гр̂ст* (ж. р.) 'отвращение (к еде)' < праслав. диал. **grъstь* < **grŭd-tĭ* отлично и по вокализму, и по словообразованию.

iaduš, н.-луж. 'одышка, удушье' (Muka I. 524), сюда же — вторичные образования на базе этого слова *jadušyś* 'душить', *jadušywy* 'kurzatmig, engbrüstig; asthmatisch' (Muka. Там же), а также в.-луж. диал. *jadušiwy*, отмечаемое для одного диалекта Хойерсверда и Мукой и Пфулем (Pfuhl. 229). В остальном это типично нижнелужицкое образование отсутствует в верхнелужицком, где в его роли выступает основной эквивалент *zadušiwy*. Это последнее сложение с префиксом *za-* абсолютно господствует также во всех остальных славянских языках (*za-dux-*, *za-duš-*, *za-dyš-*). В то же время на части восточнославянской территории, главным образом в украинском, находим, наряду с *za-dux-/š-*, близкое нижнелужицкому *ядýха* 'удушье' [16]. Таким образом, в двух изолированных районах современной славянской территории продолжают существовать отражения праслав. диал. **jadušъ* (н.-луж.), **jaduxa* (укр.), которые представляют собой образования с характерной приставкой *ja-*, трудно определимой функционально и, по-видимому, никогда не отличавшейся продуктивностью (см. Vasmer III: *ядуха*, а также *ябредь*, *яводь*).

jašk, н.-луж. диал. 'отверстие верши или рыбачьего кузова' (Muka I. 535—536), для верхнелужицкого у Пфуля не приводится. Догадка Муки (там же: из ст.-слав. **jaštьkь*, рус. *ящик*?) неудачна. Правильную этимологию н.-луж. *jašk* (закономерно полученного из **jask*) указал Махек (Machek. 177), связав его с чеш. *jeskyně*, словац. *jaskyňa*, польск. *jaskinia* 'пещера', производными от той же исходной основы с суффиксом *-yni*. Собственно говоря, н.-луж. *jašk* тождественно словац. *jask*, но последнее представляет собой, очевидно, обратное образование от *jaskyňa*, неологизм культурного языка (см. Machek. 177; Sławski. 512) со специальным значением 'туннель' [17]. Таким образом, н.-луж. *jašk* — рыбачий термин — остается единственным отражением непроизводного праслав. диал. **jaskъ* 'определенное отверстие'.

---

[16] См., вслед за Желеховским, *Б. Д. Гринченко*. Словарь украинского языка. Т. IV. Киев, 1909 (фотографич. воспроизведение — 1959). С. 536 (далее — Гринченко).

[17] См. *A. V. Isačenko*. Slovensko-ruský prekladový slovník. Diel I. Bratislava, 1950. S. 247 (далее — Isačenko).

jěsny, н.-луж. 'быстрый, скорый; ранний' (Muka I. 547), только нижнелужицкое, чисто условно включаемое в верхнелужицкий словарь Пфулем (Pfuhl. 238): *jesno* 'schnell, spěšnje, khětře'. Мука (там же) возводит его к **jęsьnъ*, сравнивая со ст.-слав. *jęzdrъ, jędrъ* 'citus', словен. *jadern* 'быстрый', польск. *jędrzny* 'зернистый, ядреный', в.-луж. *jadrny* 'кремнистый, каменистый'. Эта этимология и праформа **jęd-s-o-*, вытекающая отсюда, не кажутся мне убедительными. С другой стороны, нужно обратить внимание на одно весьма характерное название — «быстрый», представленное главным образом в словацком языке в остаточном виде: словац. *jastrit'* 'пристально глядеть' (Isačenko I. 248). Мы относимся очень сочувственно к попытке конструировать на базе последнего слова праслав. **astrъ* (Sławski. 518), только лишь подчеркивая особо диалектный характер этого праславянского слова, возводимого Славским (там же) к и.-е. диал. **ōk̂-ro-*, ср. **ōk̂u-s* в греч. ὠκύς 'быстрый'. В отношении н.-луж. *jěsny* 'быстрый' вполне допустимо говорить о праслав. диал. *(*j*)*asnъ-jь* (с отклонением вокализма для разграничения от **jasnъ* II 'ясный' из **ěskno-*?) из **asno-* < и.-е. диал. **ōk̂-no-*.

jurica, н.-луж. 'das Queckengras, пырейник, Triticum repens L.', *jurik* (то же) (Muka I. 558), отсутствует у Пфуля. Происхождение этого исключительно нижнелужицкого слова представляется не вполне ясным. То же самое растение Triticum repens носит название, широко распространенное в славянских языках: **pyrь*, **pyrьjь*, **pyrьje*, ср. н.-луж. *pyŕ*, *pyŕo*, возможно, также **pyrica* — ср. местное название *Pyritz* в Восточной Германии (Vasmer II, 474, вслед за Мукой), — с которым однозначное н.-луж. *jurica* образует рифмованную пару. Может быть, это дает нам некоторое основание анализировать праслав. диал. **jurica*, **jurь* как **ju-r-* с оформлением под влиянием **pyr-* основы **eu̯-* старого названия хлебных злаков, известного в ряде индоевропейских диалектов, ср. лит. *javaĩ*, греч. ζειαί. В славянской языковой области эта основа представлена очень слабо, ср. **jevьna*, **jevinъ*, рус. *овин*. Подобно слову *пырей*, **pyrь* — в данном случае в н.-луж. *jurica* — деградация названия и реалии от съедобного хлебного растения к сорняку кажется совершенно нормальной.

kastwej, *kastwja*, н.-луж. 'das Schilf, осока, лесной ситник, Phragmites communis' (Muka I. 580), также *kastŵe*, ср. р. собир. Для верхнелужицкого приводит Пфуль (Pfuhl. 1075) только *kastwja* 'Schilfgras, Futterschilf' на правах нижнелужицкого элемента. Это, по-видимому, старое слово как будто не служило предметом этимологического анализа. В словаре Бернекера оно пропущено. Объяснение его из каких-либо других славянских форм пока трудно подкрепить убедительными аргументами. Затруднительно и определение первоначальной формы слова. Внешние признаки современного н.-луж. *kastwej*, род. *kastŵe* (ж. р.) как будто говорят в пользу реконструкции

**kasty*, род. **kastъve*, с вторичным обобщением основы косвенных падежей. Дальнейшие связи неясны; быть может, это праславянское диалектное слово родственно праслав. **kosa*, **česati*, ср. особенно с зубным расширением основы: др.-инд. *śastrám* 'острое орудие, нож', лат. *castrō* 'вырезаю, кастрирую'. С другой стороны, следует иметь в виду возможность родства праслав. диал. **kasty / -ъve* с лит. *kókštas / kúokštas* 'пук, куст' с исходным **kōusto-*, сюда же рус. *куст* (праслав. диал. **kustъ*).

kśida, н.-луж. 'das Sieb, сито', в.-луж. — *křida* (то же) (Muka I. 727; Pfuhl. 285) представляет собой классический пример совершенно четко выделяемого праславянского лексического диалектизма **krida*, располагающего надежными соответствиями за пределами славянского: лат. *cribrum* 'сито', англосакс. *hridder* (то же), — как определил уже Мука (Mucke L.- u. Formenl. 221). Этимология принята Бернекером (Berneker I. 635) [18] и нельзя не пожалеть, что сам Мука позднее изменил свое мнение, усмотрев здесь обратное заимствование из нем. провинц. *Schied* 'низкая корзина' — из слав. *sito* (Muka I. 727), в чем мы за ним не последуем. Что касается деталей отношений праславянского и других индоевропейских слов, то **krida* (ж. р.): лат. *crībrum* (**krīdhro-*), др.-ирл. *criathar* (**krītro-*), др.-в.-нем. *hrīttara* (**krītro-*? > **krīdhro-*?), как праслав. **stado*: праслав. **stadlo*, лат. *stabulum* (**stadhlo-m*).

kśud, н.-луж., 'бич, плеть', диал. и стар. *kŕud* 'бич, кнут', 'мучение, пытка' (Muka I. 702, 732), откуда *kśužiś* 'бичевать, бить кнутом' (Muka I. 732), в.-луж. *křud* 'Peitsche', *krjud* 'Geissel, Peitsche; Plage' (Pfuhl. 289, 292). Это слово служит нам основой для реконструкции праслав. диал. *kŕudъ* (куда также полаб. *chräud*, *chriaud* 'бич'), которое можно было бы сравнить с прагерм. **hriuđa*, откуда нем. *Riet*, *Ried*, *Riedgras* 'осока'. Прагерм. **hriuđa / *hriuþa* продолжает и.-е. **kreud- / *kreut-* 'махать, качать' (см. Kluge. 616). Миклошич [19] приводит *krjudŭ* без объяснения. Сложность состоит в том, что для этого слова предполагается заимствование из ст.-нем. *crude* 'мучение', *cruden* 'мучить, притеснять' (Berneker I. 635; Bielfeldt. 173—174), ср., однако, типично лужицкую мягкость *r* в сочетании *kr-*.

mil, *wódna mil*, н.-луж. 'das Pfeilkraut, стрелолист. Sagittaria sagittifolia L.; der Froschlöffel oder Wasserwegerich, водяной попутник, шильник, Alisma plantago aquatica L.' (Muka I. 901) [20], в.-луж. *mil*, *wódna mil* 'Pfeilkraut' (Pfuhl.

---

[18] *E. Berneker*. Slavisches etymologisches Wörterbuch. Heidelberg, 1908 и след. (далее — Berneker).

[19] *F. Miklosich*. Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886. S. 141 (далее — Miklosich).

[20] См. еще *M. Móń*. Dółnoserbske rostlinske ḿeńa // ČMS. Lětnik LX. Budyšin, 1907. S. 129.

1087), по мнению Бильфельдта (Bielfeldt. 197), заимствовано из вост.-ср.-нем. *mil* 'Milbe, клещ': «Ботаническое значение, возможно, основывается на смешении маленького водного растения с маленьким водяным животным». Но стрелолист не такое уж маленькое растение, и упоминаемое сходство его с маленьким водяным животным весьма сомнительно. Напротив, бросается в глаза прямизна стебля и стреловидность листьев, отраженная и в научном латинском термине Sagittaria sagittifolia. Мысль о заимствовании из соседних немецких диалектов теряет вероятность, особенно если обратить внимание на очень близкое формально и семантически название растения в блр. *міліца* 'камыш Scirpus L.; тросточка'[21]. Характерные элементы полисемичности значений как лужицкого, так и белорусского названий растений как будто не позволяют видеть в них научные термины, а распространение только в двух ограниченных и не связанных друг с другом территориально районах дает возможность предположить здесь старый праславянский диалектизм **milь*, **milica*, который мы объяснили бы (с учетом реалий) из и.-е. *(*s*)*meil*- / *(*s*)*mil*- 'острый, остроконечный', ср. лит. *smailùs* с этим значением и некоторым отличием вокализма, лтш. *smaile* 'острие', *smaĩls smèils* 'острый, клинообразный' (см. о балтийских словах *Fraenkel*. Lief. II. 839).

muriś, н.-луж. 'мутить, омрачать; тревожить' (Muka I. 947—948), из верхнелужицкого нам неизвестно. Судя по префиксальным сложениям вроде *pódmuriś*, *zmuriś* (последнее — в значении 'затемнить, очернить; запутать'; *-se* 'почернеть'), слово *muriś* может продолжать **muriti*. Это последнее на правах праславянского лексического диалектизма сопоставимо за пределами славянского с греч. ἀμαυός 'темный, неясный', μαῦρος то же. Слав. **muriti* носит внешне небольшое и вместе с тем достаточно четкое отличие от представленного в прочих славянских языках **smur*-, **xmuriti* (с экспрессивным началом слова), оценка которых еще усложняется существованием параллельно с ними формы **xmara* (Sławski. 71—72).

muš (м. р.), н.-луж. 'die Vogelmiere, куриная трава, Stellaria media L. A.: плющ, вероника, Veronica hederifolia L.' (Muka I. 949), по сути дела тоже только нижнелужицкое. Этимология слова вполне ясна: судя по старой форме *myš*, известной еще Моллеру, оно происходит из **myšь* и несомненно связано с **mъxъ*, н.-луж. *mech*, рус. *мох* и др. (см. Muka. Там же). Однако дело здесь не обходится одним растяжением вокализма, к тому же двухмерное удлинение гласного (*й* → *и* → *ū*) требовало бы специальной мотивации в этом сугубо именном образовании. Во всяком случае, эти количественные отношения скорее восходят еще к дославянскому состоянию. Иными словами, мы

[21] Известно мне пока только из одного словаря: *М. Байкоў, С. Некрашэвіч*. Беларуска-расійскі слоўнік. Менск, 1925. С. 170.

имеем здесь соответствия, с одной стороны, праслав. диал. **myšь* (название растения) < **mūs̯io* — лит. *mūsāĩ*, *mūsojaĩ* мн. ч. 'плесень', др.-в.-нем. *mios* 'мох', сюда же, возможно, нем. *Miere* 'куриная трава'[22] (синоним н.-луж. *muš*!) < прагерм. диал. **miuza-* / **miusa-* < и.-е. **meuso-*, с другой стороны, праслав. **mъхъ* < **muso-* — др.-в.-нем. *mos* 'мох', лат. *muscus* (то же).

napowaś, н.-луж., Verbum iterativum zu *napojś* 'напоить' (Muka I. 987) (для верхнелужицкого не отмечено Пфулем), в целом прозрачное образование с ясными этимологическими, точнее — чисто словообразовательными связями. Однако вокализм этой глагольной формы не укладывается в известные отношения **pi-ti* : **poj-iti*. Далее, обращает на себя внимание полное соответствие н.-луж. *napowaś* и укр. *напувáти* то же, где *-ува-* < *-ова-*. Других таких же соответствий мы пока не можем назвать. Об архаическом, праславянском характере **napovati* говорят изолированные ареалы *napowaś*, *напувати* и формальные признаки иррегулярных отношений, как будто исключающие мысль об инновации. Это прежде всего оформление *-ova-* или скорее *-va-*, позволяющее выделить корневую морфему **po-*, становящуюся в один ряд с и.-е. **pō̆-* в других языках (ср. греч. πότος, лит. *púota*, см. Pokorny I. Lief 9. 839—840) наряду с регулярным **pī-* / **pei̯-* / **poi̯-* в славянском. Иное объяснение *napowaś*, *напувати* — в частности синкопой **napoi̯vati*? — было бы весьма затруднительно. Поэтому лучше говорить о праслав. диал. **napovati* в изложенном смысле. Неясно польск. *napawać*, где *-a-* может отражать обычное западнославянское стяжение *-aja-* / *-oja-*.

pakowěž, н.-луж., 'die Zaunwinde, Ackerwinde, die lange Stockwinde, Convolvulus sepium, повойник заборный, вьюнок заборный' (Muka II. 10), только нижнелужицкое, если не считать приводимого Пфулем (Pfuhl. 1094) в.-луж. *pakowěž* то же, которое он сам определяет как нижнелужицкий элемент. Здесь нас интересует не столько само сложение, которое сильно смахивает на кальку немецкого сложного *Zaun-winde* 'заборный повойник, вьюн', сколько то вероятное праславянское слово, которое мы получаем косвенным путем, через реконструкцию чисто условного **pako-vęžь*, а именно — **pakъ* 'кол, столб'. Остальные указания на то, что это праслав. диал. **pakъ* действительно существовало, мы получаем уже только извне, из сравнения с лат. *pāx*, род. п. *pācis* 'мир', *pālus* 'кол' < **pāk-slos* и родственными (см. о последних *Walde*. 551, *Pokorny* I. Lief. 9. 787, 788).

póraś, н.-луж. 'приводить в движение, приглашать, побуждать' (Muka II. 37), сюда же возвратное *póraś se* 'sich in Bewegung setzen, sich regen' (там же), в.-луж. *porać* (*so*) (то же) характеризуется как сугубо диалектное и нижнелужицкое по происхождению (Pfuhl. 497: Das Wort ist nicht edel). Это опять-

[22]См. *J. Grimm, W. Grimm*. Deutsches Wörterbuch. Bd. VI. Leipzig, 1885. Стб. 2175.

таки типично нижнелужицкое слово не имеет точных соответствий в других славянских, за исключением укр. *nópamu* 'обрабатывать (землю), убирать (хлеб), ухаживать (за скотом)', *nópamucя* 'заниматься по хозяйству, стряпать; возиться, одеваться' (Гринченко III. 342); ср., впрочем, также польск. *porać* (*się*) в близких значениях. На это соответствие указал еще Мука (там же), правда, он ослаблял это точное сопоставление, относя сюда же на равных правах формы *-poriti*, *-pira*. Связь с ними, как и с существительным **pora*, собственно говоря, несомненна, но она отнюдь не носит непосредственного характера. Форма **porati* (*sę*) заслуживает особого выделения как свойственная, вероятно, еще отдельным диалектам праславянского. В частности, она формально и семантически точнее соответствует готск., др.-в.-нем. *faran* 'идти', чем праслав. **perti*, с которым обычно связывают эти германские слова (Преображенский II. 42—43; Vasmer II. 341).

pśiski, н.-луж. 'поспешный, суетливый; отвесный, крутой' (Muka II. 261), существует в языке как вариант слова *pśismy* то же. Ни одна из этих форм не приводится для верхнелужицкого у Пфуля. Что касается второй из них, то она продолжает **pres*(*k*)*nъ*, широко известное в славянских языках, ср. ст.-слав. прѣснъ, рус. *пресный*, польск. *przaśny*, чеш. *přesný* и др. (Miklosich. 263; Преобр. II. 140—141; Machek. 400; Vasmer II. 429—430). В этой связи особенно интересно н.-луж. *pśiski* как продолжение праслав. диал. **prěskъjь* < **prēsko-* / **proisko-* (?), тогда как прочие славянские знают только производное **prēsk-no-*. Праслав. диал. **prěskъ-jь* близко соответствует зап.-герм. **friska-*, откуда нем. *frisch* 'свежий' (ср. Kluge. 227).

pulaś, н.-луж. стар. (Якубица), *pulaśi* (Мегизер) 'приводить в движение, гнать' (Muka II. 274) у Пфуля отсутствует. Соответствия этому слову в других славянских мне не известны, если не считать рус. диал. *пуля́ть* 'бросать, кидать' (Даль III^2. 538), которое может вызвать сомнения ввиду возможных связей с *пуля*, и словен. *peljati se* с иным вокализмом, приведенного Мукой (там же). Тем не менее н.-луж. *pulaś* допустимо реконструировать как праслав. диал. **pul'ati*, итеративное образование на базе несохранившегося **pъl-* (**pŭl-*) со сверхкратким гласным корня, для которого мы предполагаем родство с лит. *pùlti* 'падать, попада́ть, напада́ть' (прочие сближения см. *Fraenkel*. Lief. 9. 666). Снятие количественного новообразования **pul'ati* (тоже достаточно раннего, праславянского диалектного) и реконструкция **pŭltei* позволяет связать его корневую морфему, возможно, также с лат. *pellō* 'толкаю, гоню' (**pḷiō*?).

rěso (ср. р.), н.-луж. 'die Horde, die Hürde, толпа, шайка' (Muka II. 304—305), приводится Пфулем в верхнелужицком только как заимствование из нижнелужицкого (Pfuhl. 1107). Другие славянские языки как будто не знают этой формы. Совершенно очевидно, что славянские формы, восходящие к **lěsa* 'плетенка, решетка', не имеют сюда никакого отношения вопреки Муке (там

же). На основе современного нижнелужицкого слова можно предположить праслав. диал. **rěso* с элементами значения, представленного сейчас. Праслав. **rěso* 'толпа', по-видимому, связано с прагерм. **reise-* / **reiza-*, **raisa-*, ср. др.-в.-нем. *reisa* 'отправление, выход', отглагольное, ср. прагерм. **reisan* 'подниматься', англ. *rise* то же, нем. *reisen* 'путешествовать' (о германских см. Kluge. 609). Сказать уверенно, какой характер носила эта очевидно древняя связь, мы затрудняемся. Необязательно видеть здесь заимствование из германского в славянский только на том основании, что в германском широко распространено и имя и соответствующий глагол. В своей изолированности праслав. диал. **rěso* напоминает нам другие старые названия толпы, стаи, которые тоже утратили соответствующие исходные глаголы, о существовании которых мы узнаем более или менее косвенным путем: рус. *толпа*, праслав. **tьlpa* (ср. лит. *tìl̃pti* 'войти, поместиться'), праслав. **jata* : **jati* 'ехать, идти', обычно уступившее место вторично расширенным формам. Сходство праслав. **rěso* и **tьlpa*, **jata* состоит и в близости названных значений этих слов, и в вероятном аналогичном образовании всех трех от глаголов движения. Основа **reis-*, исходная для праслав. диал. **rěso*, не могла сохраниться в таком виде, однако можно допустить, что она удержалась в расширенной детерминативами форме, например в **riskati* (ср. о последнем Kluge. Там же).

ścerizńa, н.-луж. собир. 'die Läuse, вши' (Muka II. 387), которому у Пфуля не находим верхнелужицких соответствий, нужно признать недостаточно ясным. Целесообразно пока ограничиться допущением, что это слово отражает праслав. диал. **sterizпь* с суффиксом *-izпь* и с неопределенными этимологическими связями корня.

ścěgor, н.-луж. 'der Mastbaum, мачта' (Muka II. 388), выступает наряду с общепринятым н.-луж. *ścažor*. Последнее — с праславянской формой **stežerъ*, **stožerъ* — засвидетельствовано и в других славянских. Праслав. диал. **stegorъ* реконструируется на основе одного н.-луж. *ścěgor*. Эта диалектная праславянская форма может быть непосредственно соотнесена с лит. *stãgaras*, *stegerỹs* 'сухой стебель, ствол'.

śeło (ср. р.), н.-луж. 'die Hode, яичко' (Muka II. 474), сюда же в.-луж. *šnjelki* 'картофельные клубни' (Pfuhl. 1118). Неясно. Праслав. диал. **śeło* < **sn-e-lo*, ср. герм. **hn-u-t*, нем. *Nuss* 'орех', лат. *nux* то же (**kn-u-d*) или нем. *Knollen* 'клубень, ком', ср.-в.-нем. *knolle*, англосакс. *cnoll* 'холм'?

srokopel, н.-луж. диал. 'der Neuntöter, сорокопут' (MukaII. 510), в.-луж. *srokopjel* то же (Pfuhl. 673). Это название птицы восходит, по-видимому, к сложению с основой, рассмотренной выше, на *pulaś*. Праславянская диалектная форма наряду с более широко известным **sorkopǫdъ*.

šṕeńc, н.-луж. 'заноза, ость, колючка, жало (в особенности жало пчелы, осы); стрела; росток различных семенных плодов, например картофеля в по-

гребе' (Muka II. 663), в.-луж. *špjeńc* 'жало, заноза' — из н.-луж., как отмечает сам Пфуль (Pfuhl. 725). Едва ли прав Мука, стремясь объяснить все разнообразие нижнелужицких значений заимствованием из нем. *Spahn* 'щепа'. Можно согласиться, что какая-то часть форм подверглась влиянию немецкого слова, например в.-луж. *špjena* 'лучина, Schleiss, Spahn (zum Leuchten)' (Pfuhl. Там же). В остальном, зная о регулярном *-sp-* > *-šp-* в лужицком, н.-луж. *šṕeńc* можно объяснить из **spěnьcь*, **spьnьcь*(?). Едва ли также сюда относится *špica*, *spica*, рус. *спица*, вопреки более ранней этимологии Муки (Mucke L.- u. Formenl. 186). Единственная близкая славянская форма, которую мы можем привести, это укр. диал. (гуцульск.) *спінь* (м. р.) 'острый конец веретена' (см., вслед за Шухевичем, Гринченко IV. 178). В порядке гипотезы укажем внеславянскую родственную форму этого праславянского диалектного **spьnь*, **spinь* в лат. *spīna* 'игла, шип', *spīnus* 'терн, терновник'.

waka, н.-луж. 'der (kriechende) Käfer, Wurm, жук, червь; переносный накожный сап (у скота)' (Muka II. 832), в.-луж. *waka* 'Wurm, Käfer; Bandwurm' (Pfuhl. 769). Это, по всей видимости, старое слово, для которого мы условно восстановим праславянскую форму **vaka*, в высшей степени интересно и заслуживает специального изучения. Однако, к сожалению, материал для суждений о его этимологии пока что отсутствует, точно так же как и близкие формы в других славянских языках. Разумеется, не может быть речи о сравнении слов *waka*, *wacka*, в.-луж. *waka*, *wačka* с польск. *ważka* 'owad nadwodny', поздней книжной калькой лат. *libellula*. Для дальнейших поисков представит интерес указание, что название *waka* носят именно жесткокрылые насекомые, жуки, но никак не черви; в заблуждение вводит нем. *Wurm*; ср. *Kornwurm* = в.-луж. *žitna wačka*. (Подробное описание всех жуков с названием *waka* см. в специальной работе: *Michał Postok*. Bruki // ČMS. Lětnik XXV. Budyšin, 1872.)

wótery, н.-луж., также стар. и диал. *wótary*, *wótory* 'mancher, иной, кое-какой' (Muka II. 939, 942, 950), только нижнелужицкое слово, неизвестное верхнелужицкому языку, Мука (II. 942) неправильно понял как **vъtorъ* 'второй'. Скорее прав Вайян, который видит здесь соответствие ст.-слав. **ѥтєрь** 'некий', ср. далее др.-инд. *yataraḥ*, авест. *yatārō* 'который из двух'[23]. Таким образом, праслав. диал. **jeterъ* восстанавливается из старославянского и нижнелужицкого слов.

wowa, н.-луж., стар. 'die Grossmutter, бабушка' (Muka II. 964), в.-луж. *wowka* 'Grossmutter' (Pfuhl. 881). Как правильно поняли уже оба названных лужицких ученых, данное слово восходит к праслав. диал. **ova*, не известно-

---

[23] *A. Vaillant*. Grammaire comparée des langues slaves. T. II. Deuxième partie. Lyon; Paris, 1958. P. 489.

му более нигде на славянской территории, с собственным внеславянским соответствием в лат. *ava* 'бабка'.

Таким образом, результат данной работы можно прежде всего видеть в установлении на материале лужицких языков следующих узких праславянских диалектизмов и регионализмов: **bagy* (**bagъ*), **bъdno*, **blurati*, **drasta*, **gnybati*, **gręba*, **gruda* (**grudъ*), **grudьnъjь*, **jadušъ*, **jaskъ*, *(*j*)*asnъjь*, **jurъ* / **jurica*, **kasty* (ж. р.), **krida*, **kŕudъ*, **milь*, **muriti*, *myšь* (м. р.) — название растения, **napovati*, **pakъ* (сущ., м. р.), **parati* (*sę*), **prěskъjь*, **puľati*, *rěso*, **steriznь*, **stegorъ*, **snelo*, **sorkopъlь*, **spinь*, **vaka*, **jeterъ*, **ova* — всего 30 слов, не считая совершенно сомнительных случаев и словообразовательных вариантов. Это дает право надеяться, что завершение работы над праславянским словником для нижнелужицкого и проведение аналогичной систематической работы с верхнелужицким материалом принесет новую жатву. Приведенный выше перечень праславянских диалектных лексем, вероятно, не исчерпывает всех случаев такого рода, которые еще поддаются выявлению. В итоге мы получим, наверное, вполне внушительный список в несколько десятков слов праславянских лексических диалектизмов (преимущественно) серболужицкого, присутствие которых будет ощутимо даже в полном праславянском словнике этой группы славянских языков (может быть, до 5 тыс. слов). Само собой разумеется, в этом случае более выгодным оказалось бы сравнение с экономным списком праславянских элементов по методу Лер-Сплавинского. Однако дело не в этом, важно обратить внимание на то, что уже выявленные слова обозначают разные важные понятия, предметы и действия, располагают значительным весом в современном живом языке, отнюдь не периферийны. Если, как мы уже предполагали выше, они отражают древние отношения, во многом нарушенные вторичной нивелировкой и конвергенцией, то устойчивость этих сохранившихся элементов поистине замечательна.

Этимологизация выявила подчас сложный характер праславянско-индоевропейских соответствий на рассматриваемом здесь лужицком материале. Но при смешанном, естественно, характере соответствий большинства слов есть несколько очень четких лексико-этимологических параллелей «лужицко»-балтийских (см. н.-луж. *bluraś*, *gruda*, *sćěgor*), «лужицко»-германских (см. н.-луж. *bagi*, *kśud*, *póraś*, *rěso*), «лужицко»-италийских (см. н.-луж. *pakoẃež*, *šṕeńc*, *wowa*).

В высшей степени интересно складывается на нашем материале картина нижнелужицко-верхнелужицких отношений, а именно: на девять случаев, когда праславянский лексический диалектизм известен и нижнелужицкому, и верхнелужицкому (*drastwa* / *drasta*, *grěba* / *hrjaba*, *zrudny*, *kśida* / *křida*, *kśud* / *křud, mil*, *srokoṕel* / *srokopjel*, *waka*, *wowa* / *wowka*) приходится 21 случай, ко-

гда верхнелужицкий не участвует в праславянском диалектизме и слово известно только в нижнелужицком (таковы *bagi*, *beno*, *bluraś*, *gnybaś*, *jaduš*, *jašk*, *jěsny*, *jurica*, *kastwej*, *muriś*, *muš*, *napowaś*, *pakoẃež*, *póraś*, *pśiski*, *pulaś*, *rěso*, *sćerizńa*, *sćěgor*, *šṕeńc*, *wótary*). Мы склонны видеть в этом нечто большее, нежели простую случайность.

Иными словами, именно на древних элементах лужицкой лексики, которые связаны подчас надежными соответствиями в отдельных диалектах славянского и других индоевропейских, явственно рисуется столь глубокая граница, отделяющая нижнелужицкий от верхнелужицкого. Древние диалектные связи и рубежи в лексике, выявляемые этимологически, очевидно, вполне годятся как объективное средство при изучении истории языковых отношений, многократно перекрытых и сглаженных позднейшими напластованиями. На совершенно ином материале мы приходим к концепции Штибера о так называемом «пралужицком» языке: «"Język prałużycki" nigdy nie istniał» [24].

[24] *Z. Stieber*. Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich // Biblioteka Ludu Słowiańskiego. Dział A. № 1. Kraków, 1934. S. 93. В другой работе (Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich. Warszawa, 1956. S. 47) З. Штибер также говорит о значительных различиях между двумя лужицкими языками в словаре, приводя, однако, как кажется, факты неодинаковой древности: в.-луж. *třěcha* — н.-луж. *kšywo*, *kšyśo*, в.-луж. *khěža* — н.-луж. *wjaža*, в.-луж. *huno* — н.-луж. *tła*, в.-луж. *kostrianc* — н.-луж. *ḿodrak*, в.-луж. *kraholc* — н.-луж. *jašćerb*, в.-луж. *wotka* — н.-луж. *kózyca*, в.-луж. *pěc* (ж. р.) — н.-луж. *pjac* (м. р.), в.-луж. *kowař* — н.-луж. *kowal*, в.-луж. *porst* — н.-луж. *palec*.

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
Fr. Sławski. Słownik etymologiczny języka polskiego. T. II, zesz. 2(7). *Kaznodzieja — klimkować.* Kraków, 1961

После трехлетней паузы читатели, наконец, получили очередной (седьмой) выпуск нового этимологического словаря польского языка, публикуемого Славским. Новый выпуск содержит небольшую часть буквы *K*, которая, судя по взятым темпам, займет еще не один выпуск. Достаточно сказать, что на десять страниц этимологического словаря Брюкнера в тех же алфавитных рамках приходится 110 страниц текста у Славского! В связи с этим можно назвать единственный в общем серьезный недостаток труда Славского — это медленный выход в свет частей словаря (выпуск первый — в 1952 г.).

В остальном названный недостаток с избытком компенсируется выдающимися достоинствами нового этимологического словаря, которые делаются все более очевидными по мере выхода новых выпусков. Здесь имеется в виду умелое использование автором достижений польской лексикографии, применение критериев лингвистической географии и высокий уровень словообразовательного анализа с одинаково полным учетом характеристики всех морфем, образующих слово, т. е. как раз те черты, которые делают польский этимологический словарь Славского (в особенности его последние выпуски) наиболее современным из существующих этимологических словарей славянских языков. Материалы по истории каждого польского слова, как правило, весьма значительны, причем даются иногда поправки к сведениям у Брюкнера (как, например, на *klicz*), хотя известно, что последний располагал уникальными знаниями в области истории польской лексики, что нашло также отражение и в его словаре как наиболее сильная сторона труда. Что касается диалектных данных, то здесь сравнение с Брюкнером попросту отпадает. Словарь Славского, в частно-

сти аннотируемый здесь выпуск его, приносит богатейший диалектный материал как польского языка, так, например, болгарско-македонской области и других частей славянской территории. Диалектный аспект, территориальная приуроченность слова и динамика его распространения постоянно вводятся Славским в этимологическую аргументацию. Так, *kipiątek*, включенное Брюкнером в статью *kipieć*, выделяется у Славского особо и самостоятельно этимологизируется как заимствование из рус. *кипяток* или укр. *кипяток*. Польское слово встречается только у авторов — выходцев из восточных районов Польши. Это слово заслуживает одновременно специального упоминания как прекрасный пример заимствования в двуязычной среде с четко выработавшимися представлениями о морфемно-звуковых соответствиях у самих носителей контактирующихся языков, так как у этого позднего заимствования фактически нет фонетико-морфологических примет иноязычного происхождения.

Словник подается достаточно расчлененно, вплоть до лаконичного упоминания слова с отсылкой к основной статье. От прежних ограничительных установок [1] автор в общем давно отошел, и мы с удовлетворением найдем в словаре ряд старых и диалектных слов. Таково *kirść*, *kierść* 'кость бедра', впервые вводимое Славским в обиход этимологических словарей и сближаемое как праслав. диал. **kyrstь* с лит. *krūtis* 'женская грудь' или с лат. *crūs* 'голень'. Автор плодотворно оперирует и в других случаях понятием праславянского лексического диалектизма, ср., в частности, *kleczyć*, хотя в примере с польск. диал. *kądek* 'кусок' он проявляет явную непоследовательность, ставя под сомнение древность образования и точность внеславянских соответствий (лит. *kándu*, *kąsti* 'кусать') только потому, что слово не известно другим славянским.

Из статей о новых словах представляет интерес (в том числе, например, и для русиста) *kefir*, где дается обзор распространения слова в европейских языках. Здесь была бы уместна ссылка на Абаева (Ист.-этимол. словарь. 1, 1958. С. 627: осет. *k'æpy* / *k'æpu*).

Можно пожалеть, что автор предпочел сохранить традиционное объяснение в случаях с *kądziel*, *kędzierzawy*, *kędzior*, тем более что ему приходится бороться с непреодолимыми трудностями, которые отпадают, если принять здесь сложение равных корней с вариантами местоименного префикса *kǫ-*, *ka-* (чеш. *kadeř*! — для Славского: «z niejasnym *-a-*»). Для польск. *kleczyć*, ст.-польск. *oklek*, др.-рус. *олекъ*, рус. диал. *олек* правильнее предполагать праслав. **otlěkъ*, а не **otъlěkъ*, последнее (для ст.-слав., др.-рус. **отълѣкъ** 'остаток') следовало бы специально оговорить как более позднее воспроизводство той же словообразовательно-морфологической модели.

---

[1] См. мою рецензию «Новые этимологические словари славянских языков» (ВЯ. 1958, № 4. С. 129).

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ: Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych / Pod redakcją W. Kowalenki, G. Labudy i T. Lehra-Spławińskiego. T. I, część I: *A—B*. Wrocław; Warszawa; Kraków, 1961, XII + 216 с.

Названная публикация представляет собой начало монументального комплексного издания, рассчитанного на несколько томов и призванного охватить проблемы древнейшей культуры славянства, огромный круг вопросов славяноведения в широком понимании. Трудно переоценить значение этого важного опыта, который в течение ближайших нескольких лет даст нам первый «Reallexikon der slavischen Altertumskunde». До сих пор справочники такого рода имелись только по классическим древностям, по проблемам доистории, по германским древностям и по индоевропейским древностям. Этими изданиями Паули—Виссова, Эберта, Хоопса и Шрадера—Неринга постоянно вынуждены были пользоваться и слависты, вполне сознавая, что отсутствие специального аналогичного справочного пособия по славянским древностям не может быть восполнено ничем. Поэтому инициатива польских ученых, взявших на себя нелегкий труд подготовки такого современного комплексного издания, не может не вызывать чувства искренней благодарности. Трудности, связанные с определением состава словника и самой его подачи, сложность сотрудничества лингвистов с историками на современном этапе, необходимость краткого, суммарного изложения, не говоря о более конкретных затруднениях, делают понятным то, что осуществление этой задачи возможно только на том уровне развития славяноведения, который отличает польскую науку. Разумеется, удобнее будет судить о словаре по выходе в свет хотя бы большей его части. Кроме того, оценка исторической, археологической, этнографиче-

ской, искусствоведческой частей словаря, естественно, является делом специалистов соответствующей компетенции. Здесь же мы намерены кратко охарактеризовать его лингвистический, точнее — этимологический материал.

Новый «Словарь славянских древностей», обращенный главным образом в отдаленное прошлое (хронологические рамки Словаря — с начала славянства до условной даты 1200 г. н. э.) не может не заинтересовать тех, кто занимается проблемами славянской этимологии, древних лексических связей славянства, а также, например, проблемами реконструкции древнего состава славянской ономастики. В этой связи достойна особого упоминания такая деталь внешнего оформления, как подача отдельных заглавных слов статей в реконструированном праславянском виде (см. с. 101: *Bělъgordъ*). Конечно, словарь этого типа направлен в первую очередь на выявление реалий, и опыты вроде упомянутого могут находить в нем лишь ограниченное применение — на материале этнических, территориальных и личных названий, но в этом нельзя не видеть определенного новаторства польского труда по сравнению с аналогичными известными словарями.

Как указывается во Введении (с. V), «в лингвистический аппарат комплексных статей синтетического характера, а также в лексические статьи включено много этимологических решений, объясняющих значение названий племен, лиц и стран». В составлении лингвистических статей приняли участие Лер-Сплавинский (статьи *Adriatyk*, *Aistowie*, *Alanowie*, *Albańczycy*, *Alta*, *Bałtyk*, *Borystenes*, *Bosna*, *Budynowie* и др.), Рудницкий (*Arkona*, *Bełz*, *Berlin*, *Buda*), Сафаревич (*Bałtyckie języki i ich narzecza*; *Bałto-słowiańskie stosunki językowe*), Урбанчик (*Bóg*), Цимоховский (*Albańczycy*; *Albańczycy — stosunki językowe*; *Albańsko-słowiańskie stosunki językowe*), Славский (*Athos*) и др. Особенно интересны, обширны упомянутые статьи албановеда В. Цимоховского, носящие характер самостоятельных исследований. Этимолог не может пройти мимо ряда изоглосс, намечаемых автором в области лексики между албанским, балтийским, славянским, германским. Вслед за ним мы тоже специально укажем на любопытный факт соответствия фин. *pihti* 'forceps' < **pišti*, морд. *peš* 'светильник' и алб. *pishtar* 'приспособление из дерева и металла, поддерживающее зажженную лучину' (с. 17). Финские слова объясняются как заимствованные, особенно если принять во внимание связи алб. *pishtar* на албанской почве, ср. алб. *pishë* 'сосна', *pishtë* 'сосновый'. Эта пока единственная финно-угорско-албанская этимология, к тому же обладающая всеми признаками формального и семантического правдоподобия, может принести пользу дальнейшему изучению проблемы древней внешней истории албанского, индоевропейской диалектологии и индоевропейско-финно-угорских контактов.

Кроме того, Цимоховский обобщает сведения о балканской прародине албанского языка; в этом вопросе он, как и Э. Чабей, является представите-

лем автохтонистской теории, по которой албанцы с древности (а не со средневековья, как полагают многие) занимали часть современной Албании (с. 13 и след.)[1]. По мнению Цимоховского, албанский — это продолжение древнеиллирийского диалекта, смешавшегося с фракийскими элементами. По-видимому, эти вопросы еще останутся предметом споров. Можно пожалеть, что почти ничего не говорится о внутрибалканском пребывании древних албанцев и его возможных следах, ср. алб. *Shqipëtar* 'албанец' < *Shkup-* < антич. *Scupi* 'Скопле', т. е. первоначально 'скоплянин', а также ср. шопскую проблему, в частности старую этимологию племенного названия *шоп* через характерное албанское посредство (*s* > *š*) из фрак. Σαπαῖοι[2].

Значительное место в Словаре занимают топонимы, оронимы и близкие названия со слав. **bělъ*, ср. хотя бы *Белград* в Сербии, *Белград* в Албании (*Берат*), *Белгород*, не говоря о других тождественных, далее — *Biała Góra* и под. Едва ли нужно, вслед за П. Скоком, связывать *bělъ* с положением у воды исключительно во всех случаях (ср. с. 101—102). Такое название могло носить и иной характер, о чем говорит глосса Βελαγράδον — Πουλχεριοπόλις (лат.-греч.) 'красивый город', приводимая и в Словаре (с. 102) для албанского Белграда, ср. аналогичное глоссирование Белой горы у Титмара (Словарь, с. 110). Несомненно, что в ряде случаев такое название могло означать 'белокаменный город'[3] и, по-видимому, другие природные условия места. В статье *Atelkuzu* ('Ατελκούζου), к сожалению, отсутствует, против обыкновения, лингвистический комментарий этого интересного древневенгерско-тюркского гибридного названия западной части Северного Причерноморья в IX в. н. э. Досаден пропуск более новой этимологии *Berlin* из зап.-слав. **Bъdlinъ* в соответствующей статье Словаря (с. 107—108).

В остальном сообщенные выше замечания целесообразно расценивать скорее как результат интереса, вызываемого чтением этого полезного нового справочного пособия по древностям славян. Еще одним таким сугубо факультативным замечанием позволю себе закончить аннотацию этимологической части Словаря. Так, имея в виду актуальность предпринимаемых также и в последнее время поисков южных границ балтийского ареала, в частности южной границы ятвягов, можно попытаться истолковать *Bełz*, название одного из червенских городов (см. с. 102), как полонизацию ятвяжского *bilsas* 'белый'.

---

[1] См еще: *W. Cimochowski.* Des recherches sur la toponomastique de l'Albanie // LP, 1960, VIII. P. 133 и след.

[2] Ср.: *I. Polović.* Geschichte der serbokroatischen Sprache. Wiesbaden, 1960. S. 84, 242.

[3] См.: *L. Papp, L. Kiss.* Рец. на кн.: *J. Staszewski.* Słownik geograficzny. Pochodzenie i znaczenie nazw geograficznych. Warszawa, 1959 // Studia Slavica. T. VII. Budapest, 1961. S. 247.

ЗАМЕТКИ ПО СТАРОСЛАВЯНСКОЙ ЭТИМОЛОГИИ

болярин҄ъ, врачь

Болярин҄ъ

Это название вельможи, знатного человека представлено исключительно в южнославянских языках: старосл. *болярин҄ъ*, мн. ч. *боляре*, μεγιστᾶνες (Супрасльская рукопись), болг. *болярин*, *боля́р*, сербохорв. *бо̏љарин*. Отсутствие его в западнославянских языках настолько красноречиво, что может служить существенным аргументом в пользу заимствования также др.-рус. *болярин҄ъ*, рус. *боя́рин* из южнославянских, собственно из старославянского (древнеболгарского) языка. Для древнерусского слова характерен непервоначальный фонетический облик: «Выговор этого слова с *я*, а не с *ля* можно считать преимущественно русским; встречается, впрочем, и в списках переводов греческих писателей» [1]. Первоначальная фонетическая форма представлена в старосл. *болярин҄ъ*, с чем в первую очередь должно считаться этимологическое исследование этого слова [2].

Из этимологий слова *болярин҄ъ* наиболее распространено объяснение его как заимствования из тюркского языка древних булгар, именно дунайско-булгарского, носителей которого судьба связала с союзом славянских племен, предков современных болгар. При этом старосл. *болярин҄ъ* непосредственно связывают с др.-тюрк. *boila* 'титул'. Совершенно ясно, что эта этимология

---

[1] *И. И. Срезневский*. Материалы для словаря древнерусского языка. Т. I. СПб., 1893. Стб. 160.

[2] См. *M. Vasmer*. Russisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1950—1953. S. 114 (о природе вторичной русской формы).

сопряжена с многочисленными трудностями фонетического характера[3]. Трудности состоят прежде всего в принципиальном несоответствии вокализма тюрк. *boila* и старосл. *болꙗринъ*. Это несоответствие усугубляется тем, что существует достоверное заимствование из тюрк. *boila*: старосл., др.-рус. *быля* 'вельможа', где все обстоит благополучно также и с вокализмом. Так, тюрк. *boila* или *buila* дало старосл. *быля* с совершенно естественной для того раннего времени субституцией *-ui-* славянским *-ы-*. Уже одного этого факта как будто достаточно, чтобы сделать крайне сомнительными попытки объяснить из тюрк. *boila* также и *болꙗринъ*. Упомянутый древнетюркский титул, употреблявшийся булгарами, попал также в греческий язык Византии, видоизменившись в нем соответственно возможностям греческого языка; ср. βοιλᾶς, βοηλᾶς (Феофан), также βολίαδες (Константин Багрянородный). При этом несколько свободное поведение *j*, результатом чего можно считать вариант βολίαδες, осуществлялось исключительно на греческой почве, подобно другим примерам этого рода. Это значит, что βολίαδες не отражает какой-то специальной тюркской формы и уж тем более не имеет никакого отношения к старославянскому языку, который смог воспринять тюрк. *boila*, *bu̯ila* только как *быля*. С самого начала в старославянском языке отсутствовало *j*, и — тем самым — вариант **bolja*. Греческое посредство в данном случае исключается также ввиду характера начального согласного в слав. *быля*, *болꙗринъ*[4]. Гипотеза И. Маркварта о происхождении *болꙗринъ* из сочетания тюрк. **bojla äri* 'знатный муж' свидетельствует лишь о бесперспективности сближений *болꙗринъ* и *boila*[5].

Этимологию *болꙗринъ* < тюрк. *boila* повторил в последнее время О. Прицак, много занимающийся вопросами тюркско-булгарского языка[6]. Прицак толкует старосл. *болꙗринъ* из др.-тюрк. *boila* + собирательный суффикс **-ŕ*. Вряд ли можно считать, что это объяснение устранило главные трудности, стоящие перед данной этимологией.

В общем, из сказанного выше с достаточной ясностью следует потребность в поисках новых возможностей объяснения этого старославянского слова. Вместе с тем следует отметить, что основное направление прежних поисков было, по-видимому, правильным, так как слово *болꙗринъ* — этот первоначально только древнеболгарский (старославянский) термин — может быть объяснено правдоподобно только как тюркизм. Однако необходимо, очевидно, исходить из такой тюркской формы, которая могла бы целиком

---

[3] Ibid. S. 115.

[4] См. *M. Vasmer*. Op. cit. Bd. I. S. 158..

[5] Ibid. S. 115.

[6] См. *O. Pritsak*. Die bulgarische Fürstenliste und die Sprache der Protobulgaren. Wiesbaden, 1955. S. 18, 75.

дать слав. **boljar-* (т. е. ту часть слова, которая остается за вычетом славянского индивидуализирующего суффикса *-инъ*), а не из частично созвучных *boila*, *buila*.

Мне кажется, что слав. *boljar-* продолжает вариант известного древнетюркского этнонима *bulγar*, а именно форму с передним вокализмом **böiγär* / **bülγär*. Такие дублеты одного и того же слова в языках с гармонией гласных не редкость. Между прочим, отмечается, что они характерны особенно для чувашского языка, продолжающего язык древних булгар[7]. Ср., например, заимствование одного и того же булгарского слова в двух вариантах сингармонизма: ср.-греч. Ἀσπαρούχ, старосл. *Есперихъ*, *Испериxъ* < **äspärüx*[8]. Точнее говоря, слав. *boljar-* продолжает вариант **bül'är* / **böl'är* этнонима *bulγar* с развитием группы согласных *lγ* > *l'*, документированным для древнебулгарского; ср. дунайско-булг. *дванъ* 'заяц' из **dval'an* < **tavl'an* < **tavl'γan* < **tabl'γan*[9]. Больше того, данное фонетическое развитие неоднократно засвидетельствовано также для упомянутого древнебулгарского этнонима *bulγar*, ср. его след в известном местном названии Биляр, на Волге (Волжская Болгария). В венгерских хрониках содержится известие о том, что Hunor и Magor похитили жен сыновей царя по имени Belar. Последнее имя представляет собой вариант этнонима *bulγar* с охарактеризованным выше фонетическим изменением[10]. Несоответствие в вокализме старосл. *боляр-*, др.-булг. **böl'är* / **bül'är* может быть объяснено как субституция чуждого славянскому языку звука *ö*/*ü* > *o*, ср. старосл. *корѣлъкъ*, *коурѣлъкъ* 'изображение, форма, вид' < дунайско-булг. **köril-*[11].

Таким образом, помимо достоверного остатка др.-булг. этнонима *bulγar* в современном названии одного из южнославянских народов (болг. *б'ългарин*, мн. ч. *б'ългари*) возможен еще один след того же этнонима — в иной форме — в специальном термине старосл. *болярinъ*. Очевидно, в данном случае есть основание говорить о ранней семантической дифференциации обоих фонетических вариантов. Использование чужого племенного названия в качестве социального обозначения представляет собой известное явление; ср. ингуш. *alae* 'князь' из осет. *allon* 'осетин', др.-иран. *ăryan* 'арийский'[12].

---

[7] См. *М. Рясянен*. Материалы по исторической фонетике тюркских языков // ИЛ. М., 1955. С. 52.

[8] См. *O. Pritsak*. Op. cit. S. 51.

[9] Ibid. S. 56—57.

[10] См. *G. Bárczi*. A magyar szókincs eredete. 2 kiadás. Budapest, 1958. 65. old.

[11] См. *O. Pritsak*. Bolgarische Etymologien // Ural-Altaische Jahrbücher. 1957. Bd. 29. S. 212—213.

[12] *В. И. Абаев*. Историко-этимологический словарь осетинского языка. Т. I. М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 47.

Врачь

Относительно этимологии этого слова, соответствующего греч. ἰατρός в старославянских переводах Нового Завета, в настоящее время в литературе как будто достигнуто полное единогласие. Вместе с болг. *врач* 'колдун', сербохорв. *вра̑ч* 'прорицатель', словен. *vráč* 'врач' и рус. *врач* оно связывается с рус. *врать* или *ворча́ть*, откуда первоначальное значение было бы 'заклинатель, колдун' [13]; в конечном счете большинство исследователей возводит перечисленные слова к и.-е. **u̯er-*, **vrā-* 'говорить' [14].

Но ближайший анализ данных слов и их словообразовательных связей, а также некоторые неиспользованные возможности сравнения позволяют усомниться в этой известной этимологии. Прежде всего характерно уже само распространение исследуемых слов в южнославянских и восточнославянских языках при полном отсутствии в западнославянских. О восточнославянском (рус. *врач*) следует сказать особо. Дело в том, что давно и широко распространенное в русском языке, это слово тем не менее представляется церковнославянским заимствованием (подвижное ударение *врач*, род. *врача́* в данном случае обманчиво, оно говорит об исконности или словообразовательной мотивированности данного слова так же мало, как, например, подвижная схема ударения таких церковнославянских элементов, как *враг — врага́*; *раб — раба́*). Как и во многих других случаях, здесь приходит нам на помощь свидетельство украинского языка, который не знает слова *врач*, как не знает и многих других церковнославянизмов, укоренившихся в великорусском языке. В результате получаем картину, поразительно напоминающую судьбу слова *болярин*ъ, которое известно всем южнославянским языкам и рано заимствовано в восточнославянские. Но в случае с *болярин*ъ мы имели дело с очевидным тюркским заимствованием. Необходимо поэтому проверить, распространяется ли сходство судьбы этих слов также на их происхождение, или в случае с *врачь* мы имеем дело, как и во многих других примерах, лишь с частичной сохранностью исконных форм древнего происхождения. Действительно, одного только указания на то, что старосл. *врачь*, болг. *врач*, сербохорв. *вра̑ч*, словен. *vráč* являются исключительно южнославянскими элементами словаря, мало для решения вопроса в пользу заимствования. Однако если мы поставим вопрос о возможностях внутренней реконструкции, то получим скорее всего отрицательный ответ: *врачь* (и близкие формы) является изолированным словом. Сближение *врачь* и *врать* как будто удовлетворяет

[13] *M. Vasmer*. Op. cit. Bd. I. S. 234—235.

[14] *Ст. Младенов*. Етимологически и правописен речник на българския книжовен език. София, 1941. С. 78.

наиболее строгим требованиям, но и тут, оказывается, отсутствуют необходимые промежуточные звенья, предполагаемые, по-видимому, этимологами как нечто само собой разумеющееся. Дело в том, что *врать* — только великорусское слово, возможно, местная семантическая эволюция древней основы и.-е. **u̯er-* 'говорить', неизвестная южнославянским языкам, в то время как *врачь* — исключительно южнославянское слово, в восточнославянском — пришлый элемент. Невольно является мысль, что сторонники этимологии *врач* < *врать* не продумали реальных возможностей этого образования. Если отпадает эта единственная исконно славянская этимология данного слова, то перед нами остается изолированный термин *врачь* неясного происхождения. Здесь уместно заметить, что его характерное значение ἰατρός 'лекарь' позволяет видеть в нем фактическое название деятеля, что делает еще более странным отсутствие исходного для имени *врачь* глагола во всех южнославянских языках. Вряд ли может считаться случайностью столь полное отсутствие. Отношения *врачь* : *врачевати* и вторичный характер глагола совершенно объективно свидетельствуют об изолированности имени, которая была, видимо, достаточно ощутима в эпоху старославянских переводов (интересно отметить, что исследователи склонны считать слово *врачь* более новым сравнительно с *балии* в этом значении) [15].

Целесообразно, по-видимому, поставить вопрос об иноязычном происхождении слова *врачь*. При этом существенную пользу приносит сравнение с венгерским языком. Венг. *orvos* 'врач' и старосл. *врачь* обладают чертами несомненного сходства, однако — что особенно интересно — эта близость совершенно иного свойства, чем та, которая характеризует многочисленные славянские заимствования древнеболгарского типа в венгерском языке. Венг. *orvos* нельзя объяснить из старосл. *врачь*: если бы слово *врачь* попало в венгерский язык, оно дало бы что-нибудь вроде **varács*, но никак не *orvos*. Исключается и обратное направление заимствования. Единственную причину этого сходства между венг. *orvos* и старосл. *врачь*, на котором мы считаем необходимым настаивать, можно видеть в том, что оба слова были самостоятельно заимствованы из общего третьего источника. Определить возможный источник помогают этимологические исследования самóго венгерского слова. Правда, происхождение венг. *orvos* считается спорным, допускается даже исконное финно-угорское образование, в то время как заимствование называется лишь как одна из возможностей [16]. Однако сложный характер сходства старославянского и венгерского слов в данном случае неожиданно оказыва-

[15] См. *А. С. Львов*. Из наблюдений над лексикой старославянских памятников // Ученые записки Института славяноведения АН СССР. 1954. Т. IX. С. 152.

[16] См. *G. Bárczi*. Magyar szófejtő szótár. Budapest, 1941. 225—226. old.

ется выгодным обстоятельством и позволяет считать как раз заимствование наиболее вероятным происхождением венгерского слова. Старославянское слово не может быть объяснено ни из одного финно-угорского слова, ср. фин. *arpa* или удм. *urvesj*, предположительно называемые в числе родственных венг. *orvos* форм. Напротив, сходство венгерского и старославянского слов и гипотеза о заимствовании венг. *orvos* из тюркских языков делают вероятным аналогичное заимствование старослав. *врачь*, тем более что предположение о тюркском происхождении того или иного старославянского слова отнюдь не противоречит в принципе нашим объективным сведениям об истории словаря этого языка. Поэтому позволительно высказать предположение о заимствовании старосл. *врачь* ἰατρός из тюркского слова, близкого уйгур. *arvyščy* 'колдун', откуда объясняли также венг. *orvos* [17].

Совершенно ясно, что сравнение старосл. *врачь* и уйгур. *arvyščy* не принадлежит к числу «очевидных» и может представиться весьма проблематичным, поэтому мы специально остановимся на возможных в данном случае спорных моментах. Наиболее существенным из них является расхождение в вокализме старосл. *врачь* : уйгур. *arvyščy*, собственно [арвышчы]. Последнее слово засвидетельствовано в ранних тюркских памятниках, например в Словаре Махмуда Кашгарского (XI в.). Однако известно, что лексика тюркских языков весьма недостаточно отражена письменными памятниками, о существовании многих форм приходится говорить условно, используя при этом косвенные данные. Речь идет об известном в ряде тюркских языков фонетическом переходе *a* > *y*, ср., например, варианты древнего этнонима *Sabar* (*Sabyr*), давшего название Сибири [18]. Сюда же относятся примеры типа алтайскописьменного *алгын* из *алган* 'видевший' и др. [19]. Поэтому есть смысл говорить о заимствовании старосл. *врачь* из незасвидетельствованного тюрк. **arvaščy* (до перехода *a* > *y* во втором слоге).

При заимствовании говорящие, по-видимому, отдавали себе отчет в том, что тюркский язык не допускает двух согласных в начале слова, в то время как славянская речь вполне позволяет подобное стечение согласных, почему тюрк. **arvaščy* могло быть передано и без начального гласного. Кроме того, этот гласный мог вскоре утратиться и на славянской почве. Колебание в порядке сочетания «плавный + губной» — **arvaščy*: *врачь* не должно вызывать

[17] См. *L. Rásonyi-Nagy*. Török jövevényszavainkhoz // Magyar Nyelvőr. 1934. XXX. 157. old.

[18] См. *Gy. Németh*. A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930. 188. old.

[19] См. *Н. А. Баскаков*. Алтайский язык. Изд-во АН СССР. М., 1958. С. 50; ср. также *М. Рясянен*. Материалы по исторической фонетике тюркских языков. С. 55, 87.

удивления в заимствованном слове, тем более что именно это сочетание особенно склонно к перестановкам, интерверсии [20].

Тюрк. **arvaščy* могло быть заимствовано достаточно рано, и конечный гласный суффикса деятеля *-čy* был передан в виде слав. *-čĭ* (*-чь*) в отличие от более поздних передач *-чи*, *-чии* в старославянском. Ср. аналогичное предположение об отражении тюркского адъективного форманта *-ly* в раннем старославянском, как *-ль* у А. Вайяна. Сразу же возникает вопрос: почему же в таком случае старосл. *врачь* не отразило группу согласных *šč* тюркского слова? Однако это, по-видимому, было невозможно, так как эволюция *šč* > *št* (*щ*) в старославянском ко времени заимствования уже, вероятно, закончилась, старославянский не знал группы *šč*, и действовавшая в языке тенденция к открытости слогов решила проблему передачи тюркского слова довольно радикально: *aš-či* > *a-či*.

Обращает на себя внимание совпадение ряда ранних тюркизмов в старославянском и венгерском языках, например, старосл. *ковъчегъ* ʻковчег, ящик, ларь'; κιβωτός, νήκη, венг. *koporsó* ʻгроб'; старосл. *капь* ʻизображение', εἴδωλον, εἰκών, венг. *kép* ʻкартина'; старосл. *тыкъръ* ʻзеркало', εἴσοπτρον: венг. *tükör* ʻзеркало'. В свете предложенной выше этимологии сюда же относятся старосл. *врачь* ʻлекарь' ἰατρός: венг. *orvos* ʻврач'. Поэтому нелишним будет подчеркнуть значение ранних тюркизмов венгерского языка для выявления аналогичных элементов в старославянском. Конечно, не следует упрощать представления о возможных в ту отдаленную эпоху языковых отношениях. Важно помнить, что и венгерский, и старославянский заимствовали из тюркских языков самостоятельно. Этим объясняется, например, что некоторые ранние старославянские тюркизмы — *коурѣлъкъ* (см. выше), *сынъ* ʻбашня' πύργος, βᾶρις [21] как будто не имеют венгерских соответствий.

Выше мы рассмотрели два возможных ранних тюркизма старославянского языка. Общее, что объединяет слова *болярин*ъ и *врачь*, — это проникновение из тюркского языка-источника в эпоху контактов с дунайскими булгарами. Известно, что древние булгары в языковом отношении — прачуваши, засвидетельствованные на Волге, на Капкане и с VII в. н. э. — на Дунае. «Чувашские» особенности большинства древних тюркизмов венгерского языка позволили З. Гомбоцу признать их древнебулгарскими заимствованиями [22].

Однако резко отличный от других тюркских языков характер древнебулгарского языка не означает, что тюркский племенной союз, известный под

---

[20] См. *M. Grammont*. L'interversion // Streitberg — Festgale. Leipzig, 1924.

[21] См. *B. von Arnim*. Ungarische Jahrbücher. 1935. Bd. XV. S. 385.

[22] См. *Z. Gombocz*. Die bulgarische Frage und die ungarische Hunnensage // Ungarische Jahrbücher. 1921. Bd. I. S. 194.

именем булгаров, болгар, был един в языковом отношении. Напротив, исследователи неоднократно отмечали следы нечувашских черт, например, в памятниках, надписях Волжской Болгарии и т. д. Этот союз, как и другие подобные союзы тюрок, был смешанным по составу, что в общем хорошо соответствует племенному названию *bulγar*: тюрк. *bulγa-* 'мешать'. Так, мощную небулгарскую этническую и языковую струю в древнебулгарском конгломерате образовали объединившиеся с ними гунны, как полагают, — носители тюркского языка алтайского типа[23]. Этим, по-видимому, объясняется то обстоятельство, что ряд тюркизмов старославянского языка, которые можно приурочить к эпохе дунайско-булгарской державы, находит соответствия не в чувашском, а в алтайском, уйгурском, древнетюркском языках: таковы старосл. *быля*, *сынъ* 'πύργος'. Таково, очевидно, и старосл. *врачь*. По ряду признаков оно не могло быть заимствовано из древнебулгарского (древнечувашского) языка (ср. наличие *r* перед *v*, рано утраченного древнебулгарским) и является, вероятно, словом гуннского происхождения.

В заключение отметим, что значения 'колдун, прорицатель', сохраненные продолжением старосл. *врачь* в современных сербохорватском и болгарском языках, соответствуют значению уйгур. *aruyščy* 'колдун', который мог быть вместе с тем и лекарем, ср. телеутск. *arbyš* 'колдовство, заклинание болезней' (см. Л. Рашоньи-Надь, там же). Заимствование слова *врачь* из названного источника можно поставить в зависимость от доисламского шаманизма, с которым славяне могли познакомиться у тюркских булгар. Таким образом, старосл. *врачь* не было полным эквивалентом греч. ἰατρός в эллинском понимании этого слова, о чем свидетельствуют и остатки более древних значений, дожившие до наших дней в болг. *врач*, сербохорв. *вра̑ч*.

[23] См. *Gy. Németh*. A honfoglaló magyarság kialakulása. 127. old.

ЭТИМОЛОГИЧЕСКИЕ МЕЛОЧИ

выпе́ндриваться*; *гры́мза*; *драндуле́т*; *в пи́ку*; *сту́колка*; *фи́фа*; *шкет

Настоящие заметки посвящены словам, которые не только не этимологизировались до сих пор по большей части, насколько известно, но и не включены еще нередко в толковые словари русского языка (таково, по крайней мере, слово *выпе́ндриваться*). Тем не менее эти слова существуют и вполне заслуживают фиксации и выяснения их этимологии. Известный смысл, быть может, ложно понятый, их невключения в толковые словари общенародного языка заключался в ощущении того, что на этой лексике лежит печать арго, просторечия, что в общенародном языке их как бы нет и они должны фиксироваться иным путем. Решать эти вопросы здесь не входит в наши задачи. Вместе с тем предлагаемая статья в некотором роде тенденциозна, если обратить внимание на подбор этимологизируемой лексики. Да, арго и просторечие очень интересны в лексико-этимологическом плане, их словарь причудливо совмещает новые и древние элементы, заимствованное и исконное (последнее нередко с печатью индивидуальной формально-фонетической эволюции, мотивированной здесь стилистически). Этимологизация в пределах этой лексической сферы имеет, следовательно, свою специфику и сталкивается с элементами или целыми их пластами, которые отсутствуют вне этой сферы (ср., например, ряд сугубо просторечных, арготических ч е х и з м о в, о которых ниже). Деление на литературное и нелитературное абсолютно неактуально с точки зрения этимологии, которая занимается всем, что заслуживает этимологизации, в том числе и собранными здесь словами.

Этимологические мелочи 795

Выпе́ндриваться

Выпе́ндриваться 'выставлять себя напоказ' (в словарях не отражено), видимо, восходит к областному **выпетриваться*, где затем было инфигировано *-н-*, а *-тр-* перешло в *-др-* в условиях экспрессивного употребления. Форма **выпетриваться* может быть объяснена из **выпятриваться*, **выпятрить*(*ся*), ср. блр. *вы́петрыць* 'выветрить, высушить' [1] и то и другое — из исконного слав. **vy-pętriti*, собственно, 'выставить, растянуть, расстелить на приспособлении **pętro*'. Это последнее означало 'стояк, станина (для растяжки)', представлено достаточно широко в ряде славянских языков и связано этимологически с **pęti*, **pьnǫ* 'натягивать, напяливать, пялить'.

Гры́мза

Гры́мза, бранно — о старом человеке [2], может быть понято в связи с *грымать* (*грым-з-а*) и т. д. [3], что, однако, неизбежно повлекло бы за собой вывод о южном, украинском источнике распространения слова, ср. характерность рефлекса *-ры-* < *-рь-* именно для украинского. Это, впрочем, маловероятно: словарь Гринченко не знает такого слова для украинского языка, а Даль (I^3, 993) определяет эту форму скорее как восточную (моск., симб.). Другой возможностью происхождения, с которой приходится серьезно считаться, нам представляется экспрессивное инфигированне *-м-*: *гры-м-за* < **грыза*, ср. *огрызаться*, *грызть* в значении 'изводить попреками' и т. п. Совершенно аналогичную экспрессивную инфиксацию такого же элемента находим в в.-луж. *hrymzać* наряду с *hryzać* 'грызть, хрустеть' [4].

Драндуле́т

Драндуле́т — о старом, расхлябанном экипаже, повозке и т. п. [5], насколько известно, еще по привлекал внимания этимологов, тем не менее представляет определенный интерес с точки зрения своего происхождения. Мы лишены здесь возможности обстоятельно документировать примерами время появления и историю этого слова, но не оставляет никаких сомнений,

---

[1] *М. Байкоў, С. Некрашэвіч.* Беларуска-расійскі слоўнік. Менск, 1925. С. 68.

[2] Словарь современного русского литературного языка. III. М., 1954. Стб. 453; Даль I^3. Стб. 993.

[3] *Vasmer* I. S. 314.

[4] *Pr. Dr. Pfuhl.* Lausizisch-wendisches Wörterbuch. Budissin, 1866. S. 223.

[5] Словарь русского языка в четырех томах. Т. I. М., 1957. С. 601.

что это — новое слово. Оформление — конечное *-ет* в *драндулéт* — мы считаем вторичным, приобретенным под влиянием, например, слова *кабриолет*. Дальнейшая этимологизация имеет дело только с основой *драндул-*, близкие соответствия которой мы находим прежде всего в польском: *dryndula*, *dryndulka*, *drendulka* 'наемная повозка, бричка, извозчик'[6]. Имея в виду выразительную ономатопоэтическую физиономию основы *drd- / drnd- / drynd-* и других подобных вариантов в целом ряде языков как славянских, так и за их пределами, мы допускаем здесь возможность того, что можно назвать «элементарным родством», т. е. близостью, не основанной на генетических связях, примеров чего особенно много в экспрессивной, звукоподражательной лексике. Однако, может быть, именно польск. *dryndula* и рус. *драндул-éт* связаны отношением заимствования (польск. > рус.)[7].

В пику

В пúку 'наперекор, назло' — широко распространенный русский просторечный идиоматизм — обнаруживает особенности употребления, не позволяющие здесь видеть слово *пúка* в значении 'вид копья' (или в значении карточного термина), которое, бесспорно, заимствовано из французского языка, ср. франц. *pique* во всех этих значениях. Более того, именно этот элемент контекста побуждает нас говорить об особом русском **пúка* II — в отличие от *пúка* I, только что упомянутого выше. Видя оправдание в семантической, ономасиологической аналогии образования польского предлога 'вопреки' — *wbrew* < **vъ brъvь*, собственно, 'в бровь', мы объяснили бы наше выражение *в пúку* как образованное от **пúка* II 'физиономия, лицо, рот'. Предложенную гипотезу едва ли нужно упрекать в излишней смелости, так как искомое **пúка*, неизвестное в русском языке, широко представлено уже в украинском: *пúка* 'морда'[8]. Это слово родственно, далее, рус. *пúкать*, *пúкнуть*, с другим суффиксальным оформлением — *писк*, *пищáть*. Перед нами, таким образом, экспрессивное, но несомненно древнее образование со значением 'морда, лицо'. На основании сказанного мы получаем как будто право реконструировать праслав. **pika* 'лицо, морда', продолжающее существовать в отдельных современных языках. Сюда же, очевидно, блр. *упíка* 'попрек', *папíка*, то же,

[6] *J. Karłowicz, A. Kryński, W. Niedźwiedzki* I. S. 569.

[7] Далее о польск. *drynda* и соответствующих глаголах см.: *Sławski* I. S. 172: «Звукоподражательные слова от звука при езде, ходьбе, движении». Ср. еще: *A. Brückner*. S. 99. Кратко о рус. диал. *дры́нда* см.: *Vasmer* I. S. 375.

[8] *Грінченко* III. С. 150.

Этимологические мелочи797

значения которых, мне кажется, подтверждают изложенные выше соображения о нашем идиоматизме *в пику*.

Сту́калка

Сту́калка 'род азартной карточной игры' [9] представляет собой кальку с нем. *Pochspiel* — от *pochen* 'стучать' [10].

Фи́фа

Фи́фа 'пустая, легкомысленная девушка или молодая женщина, думающая только о развлечениях, нарядах и т. п.' [11] следует рассматривать как заимствование относительно недавнего времени, восходящее, в конечном счете, к ср.-в.-нем. *pfīfe* при современном нем. *Pfeife* 'дудка, свисток'. В семантическом отношении ср. тоже просторечное *свисту́шка* 'фифа'. Весьма возможно, что слово *фифа* поступило из профессиональной лексики, ср. приводимое Далем *фе́фка*, *фи́фка* 'трубочка, коею раздувают на свече или жирничке боковой, жаркий огонь, для пайки мелочей', с этимологической пометой И. А. Бодуэна де Куртенэ (*Pfeifchen*), указывающей на источник заимствования [12].

Шкет

Шкет (просторечное, бранное, из воровского арго) 'мальчишка, подросток' [13] представляет собой заимствование из чеш. *šketa*, *čketa* 'болван, зверь, изверг' [14]. Оставляя открытым вопрос о конкретных путях проникновения данного заимствования, обратим лишь внимание читателя на тот несомненный факт, что целый ряд важных слов разговорно-просторечной сферы, а также более низких стилистических сфер русского словаря заимствован относительно недавно именно из чешского языка. Сюда относятся такие

---

[9] Словарь современного русского литературного языка. Т. XIV. М., 1963. Стб. 1102 (вслед за Далем).

[10] О немецком слове см.: *Kluge*. S. 573: *pochen*.

[11] Словарь русского языка в четырех томах. Т. IV. М., 1961. С. 779.

[12] *Даль*³ IV. Стб. 1137.

[13] *Ушаков* IV. Стб. 1349; Словарь русского языка в четырех томах. Т. IV. С. 984.

[14] О чешском слове см. специально: *K. Štrekelj*. Slavische Wortdeutungen // AfslPh XXVII, 1905. S. 41 и сл. Маловероятно сближение Фасмера рус. *шкет* с ит. *schietto* 'откровенный' (*Vasmer* III. S. 406).

слова, как *грубиян*, *франт*, *краля*, *мандá*[15]. Того же происхождения и арготизм *шкет*.

[15] О последнем слове Фасмер сообщает с сомнением следующее: *мандá* ‘cunnus’. Ср. чеш. *paní manda* (из *Magdalena*), по мнению Брюкнера (KZ 46. S. 217), первоначально ‘грешница’ (Мария Магдалина), а также ‘потаскуха’. См.: *Vasmer* II. S. 95. В связи с этим значительный интерес представляет слово *мандовóшка* ‘pediculus pubis’, требующее специальных пояснений. Это слово в числе других таких же слов по принятому у нас обыкновению, к сожалению, игнорируется или избегается даже крупнейшими нашими словарями, так, оно пропущено даже в дополнениях И. А. Бодуэна де Куртенэ к словарю Даля! Между тем перед нами несомненно древнее сложение, сохраненное исключительно устной традицией. Внешние сравнения, главным образом в виде польск. *mędoweszka*, *mądoweszka*, *mandoweszka* ‘pediculus pubis’, позволяют уверенно реконструировать праслав. **mǫdovъšьka*, которое войдет на правах самостоятельной позиции в словник будущего «Этимологического словаря славянских языков (праславянский лексический фонд)». Правильным русским, восточнославянским рефлексом этой праславянской формы было бы незасвидетельствованное **мудовошка* (ср. *мудé* ‘testiculi’), которое, надо полагать, позднее подверглось воздействию заимствованного *мандá* (или польских форм?).

Олег Николаевич Трубачев

ТРУДЫ ПО ЭТИМОЛОГИИ

Слово. История. Культура

Том 1

Издатель А. Кошелев

Художественное оформление переплета Ю. Саевича

Оригинал-макет подготовлен В. Гусевым

Подписано в печать 10.10.2004. Формат 70x100 1/16.
Бумага офсетная № 1, печать офсетная, гарнитура Таймс.
Усл. п. л. 64,5. Тираж 1000. Заказ № 2261.

Издательство «Языки славянской культуры».
ЛР № 02745 от 04.10.2000.
Тел.: 207-86-93. Факс: (095) 246-20-20 (для аб. М153).
E-mail: Lrc@comtv.ru

Отпечатано с готового оригинал-макета
в ОАО "Чебоксарская типография № 1"
428019, г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, 15.

*